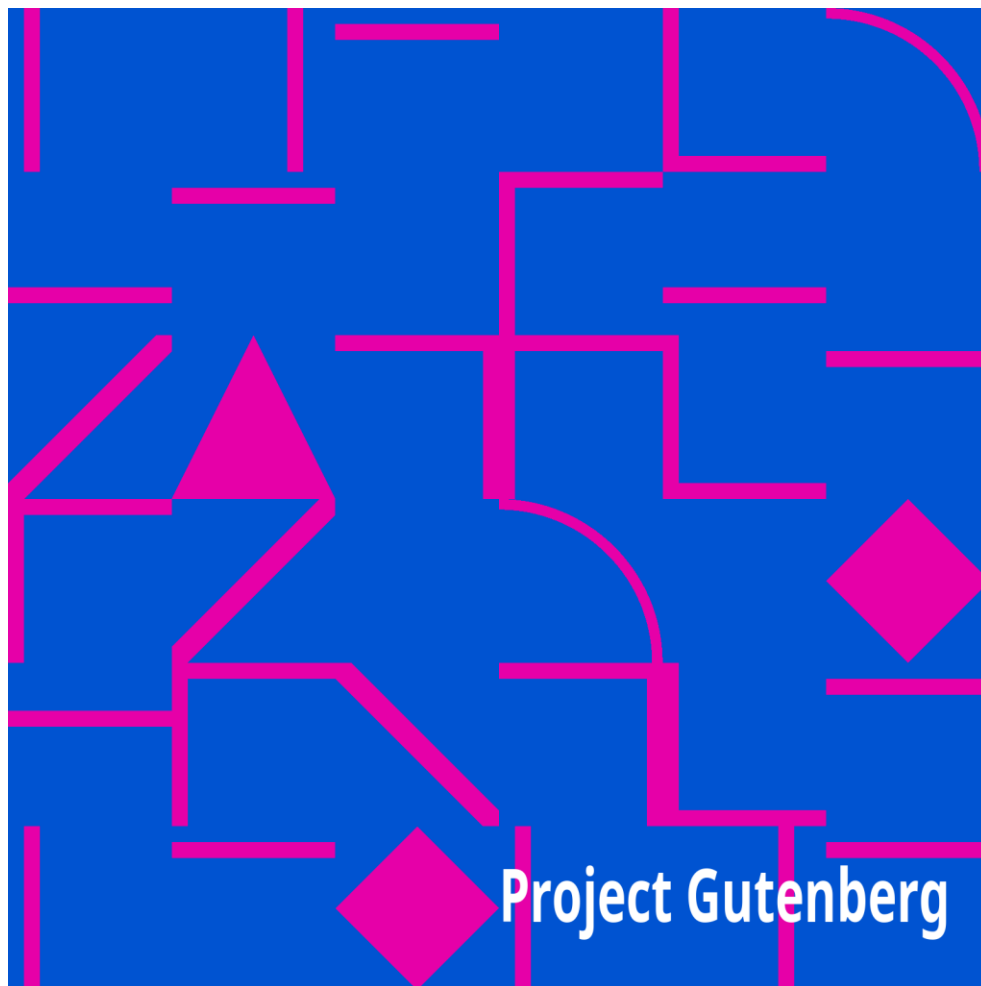


Жизнь Наполеона I

Дж. Холланд Роуз

The Life of Napoleon I (Complete)

J. Holland Rose



Project Gutenberg

Электронная книга проекта "Гутенберг" о Жизни Наполеона I (полная)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Жизнь наполеона I (Полная)

Автор: Дж. Холланд Роуз

Дата выхода: 8 декабря 2004 г. [Электронная книга № 14300]

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсер Пол Мюррей и команда корректоров PG Online Distributed.

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА I"
(ПОЛНОСТЬЮ) ***

ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА I

"Пусть мой сын почаще читает историю и размышляет над ней: это единственная истинная философия". —*Последние наставления Наполеона королю Рима.*

ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА I

Содержание

ВКЛЮЧАЯ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БРИТАНСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ

ДЖОН ХОЛЛАНД РОУЗ, доктор ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ,
ПОКОЙНЫЙ СТИПЕНДИАТ КОЛЛЕДЖА ХРИСТА,
КЕМБРИДЖ

ЛОНДОН, Г. БЕЛЛ И СЫНОВЬЯ, ЛТД.
1910

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 8-ГО ВЫПУСКА

Впервые опубликовано в декабре 1901 года.

Второе издание, исправленное, март 1902 года.

Третье издание, исправленное, январь 1903г.

Четвертое издание, исправленное, сентябрь 1907 г.

Перепечатано в январе 1910 г.

ИЗДАНИЕ CROWN 8VO

Впервые опубликовано в сентябре 1904 г.

Переиздано в октябре 1907 г.; июле 1910 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОСТОПОЧТЕННОМУ ЛОРДУ ЭКТОНУ, К.К.Н., проф. СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, В ЗНАК ВОСХИЩЕНИЯ ЕГО ГЛУБОКИМИ
ИСТОРИЧЕСКИМИ ПОЗНАНИЯМИ И В БЛАГОДАРНОСТЬ За ЩЕДРО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кажется , следует принести извинения всем , кто дарит миру новую Жизнь Наполеона I. Мое оправдание должно заключаться в том, что в течение многих лет я стремился пересмотреть традиционную историю его карьеры в свете фактов, почерпнутых из британских архивов, и многих ценных материалов, которые недавно были опубликованы континентальными историками. Чтобы объяснить, как я обращаюсь с этими источниками, потребовалось бы подробное критическое введение; но, поскольку ограниченность моего пространства абсолютно исключает любую подобную попытку, я могу лишь кратко коснуться наиболее важных тем.

Чтобы сначала разобраться с опубликованными источниками, я бы назвал в качестве наиболее важных работы М. Олара, Шу, Уссе, Сореля и Вандаля во Франции; Херрена Бера, Дельбрюка, Фурнье, Леманна, Онкена и Вертхаймера в Германии и Австрии; и барона Лумброзо в Италии. Я также в значительной степени воспользовался научными монографиями или сборниками документов благодаря трудам "Общества современной истории", Генерального штаба французской армии, мм. Бувье, Кодрилье, капитана "Ж.Г." Леви, Мадлена, Саньяка, Шиута, Живи и других во Франции; и Херрена Байе, Демелича, Хансинга, Клиновстрема, Лаквальдта, Ульмана и других в Германии. Некоторые из недавно опубликованных французских мемуаров, посвященных тем временам, не лишены ценности, хотя к этой категории литературы следует относиться с осторожностью. Новые письма Наполеона, опубликованные М. Леоном Лесестром и М. Леонсом де Бротомом [стр. VIII] также открыли новые перспективы в жизни великого человека; и, похоже, пришло время, когда мы можем смело пересмотреть наши суждения о многих ее эпизодах.

Но я бы не отважился на это великое начинание, если бы не мог внести что-то новое в наполеоновскую литературу. Во время изучения этого периода для более ранней работы, опубликованной в "Кембриджской исторической серии", я убедился в огромной ценности британских архивов за 1795-1815 годы. Безусловно, дискредитирует наши исторические исследования тот факт, что, помимо плодотворной работы Военно-морского архивного общества, г-на Дж. Оскара Браунинга и Херефорда Джорджа, а также мистера Боумана из Торонто, едва ли появилось какое-либо английское произведение, основанное на официальных отчетах того периода. Тем не менее, они представляют большой интерес и ценность. Наши дипломатические агенты тогда умели добывать государственные секреты в большинстве иностранных столиц, даже когда мы находились в состоянии войны с их правительствами; и в архивах нашего военного министерства и адмиралтейства я также нашел несколько интересных

"находок". М. Леви в предисловии к своей книге "Время Наполеона" (1893) хорошо заметил, что "документальная история войн империи еще не написана. Чтобы написать это точно, будет важнее досконально изучить иностранные архивы, чем французские". Архивы России, Австрии и Пруссии в настоящее время по большей части изучены; и я думаю, что могу утверждать, что изучил все важные части архивов нашего Министерства иностранных дел за рассматриваемые годы, а также за часть периода острова Святой Елены. Я стремился воплотить результаты этого поиска в настоящих томах, насколько это было совместимо с ограничениями пространства и с повествовательной формой, к которой, по моему мнению, всегда должна стремиться история.

В целом британская политика проявляется тем лучше, чем [стр. IX] полнее она известна. Хотя она часто была слабой и колеблющейся, в конце концов она обрела твердость и достоинство; и министры завершили цикл войны актами великодушия по отношению к французскому народу, которые старательно игнорируются теми, кто призывает нас проливать слезы по поводу мученической смерти Святой Елены. Тем не менее, великолепие финала не должно заслонять от нас вялую эксцентричность, которая сделала британскую государственную мудрость посмешищем Европы в 1801-3, 1806-7 и 1809 годах. Действительно, сомнительно, было ли возобновление войны между Англией и Наполеоном в 1803 году вызвано больше его врожденной напористостью или презрением, которое он испытывал к кабинету Аддингтона. Когда вспоминаешь также о наших невероятных промахах в войне Третьей коалиции, кажется чудом, что Британская империя выжила в борьбе не на жизнь, а на смерть против человека сверхчеловеческого гения, который был полон решимости осуществить ее свержение. Я обратил особое внимание на масштабы и настойчивость планов Наполеона по созданию Французской колониальной империи в Индии, Египте, Южной Африке и Австралии; и не может быть никаких сомнений в том, что события 1803-13 годов определили не только судьбы Европы и Наполеона, но и общую тенденцию колонизации мира.

Поскольку было необходимо сжать историю жизни Наполеона в некоторых частях, я решил с особой краткостью описать 1809-11 годы, которые можно назвать *постоянными периодами* его карьеры, чтобы иметь больше места для последующих решающих событий; но даже в эти менее насыщенные событиями годы я стремился показать, как его Континентальная система приводила в действие мощные экономические силы, которые способствовали его свержению, так что после *разгрома* 1812 года это стало борьбой Наполеона и Франции *контра мундум*. [стр. X]

Не пренебрегая личными подробностями жизни великого человека, я остановился главным образом на его общественной карьере. Помимо его блестящих бесед, в его личной жизни мало что вызывает постоянный интерес, возможно, потому, что он рано устал от поверхностности Жозефины и корсиканской угловатости своих братьев и сестер. Но причина также крылась в его собственном характере. He once said to M. Gallois: "Je n'aime pas beaucoup les femmes, ni le jeu— enfin rien: *je suis tout à fait un être politique*." Описывая его как воина и государственного деятеля и избавляя моих читателей от подробностей о том, как он поглощал пищу, спал на концертах и предавался любовным утехам, в которых для него не было очарования романтики, я подчеркиваю то, что интересовало его больше всего — одним словом, я показываю его в лучшем виде.

Я не смог бы выполнить эту задачу даже нынешним неадекватным способом, если бы не щедрая помощь, оказанная со многих сторон. Мои сердечные благодарности Лорд Актон, Региус-

профессор современной истории в Кембриджском университете, за советы высочайшего значения; Мистер Хьюберт за Государственной документации, за руководство в моих исследованиях есть; барону Лумброзо Рима, редактор "Bibliografia ragionata" компания Dell' Ероса с Наполеоника, намеки на итальянском и других дел; Д-Luckwaldt, приват доцент Боннского университета, автор книги "Холдинг УНД умереть Anfänge de Befreiungs-Krieges," для своих научных внесение изменений в главы на немецком дел; г-на Ф. Е. Канлифф, М. А., научный сотрудник колледжа Всех Душ, Оксфорд, за ценные советы в кампании 1800, 1805 и 1806; профессор Caudrillier Гренобля, автор "Pichegru," для информации в отношении роялистов участка; и Г-Ж. Э. Моррис, М. А. и Л. Е. С. Horsburgh, Б. А., подробные сообщения, касающиеся Ватерлоо, [ПГ.Си] племянниц покойного профессора Вествуда Оксфорд большинство любезно разрешили факсимиле нового Наполеона письмо, напечатанное напротив стр. 156 вол. я., должны быть сделаны из оригинального в их владении, и мисс Лоу любезно разместили в моем распоряжении документы ее отца, относящиеся к 1813-15, а также к Святой Елены срок. Я хочу здесь выразить свою признательность за все эти дружеские любезности, которые придали ценность книге, помимо того, что избавили меня от многих ловушек, которыми изобилует эта тема. Трудно представить, что я полностью избежал их, но я могу честно сказать, говоря словами покойного епископа Лондонского, что "я пытался написать правдивую историю".

Дж.Х.Р.

[ПРИМЕЧАНИЕ.—Ссылки на "Переписку" Наполеона в примечаниях относятся к официальному французскому изданию, опубликованному под эгидой Наполеона III. "Новые письма Наполеона" - это те, которые были отредактированы Леоном Лесестром и переведены на английский леди Мэри Лойд, за исключением очень немногих случаев, когда под его именем цитируется еще более свежее издание М. Леонса де Бротонна. Под "F.O.", Франция, №..., и "F.O.", Пруссия, №... подразумеваются тома депеш *нашего* Министерства иностранных дел, относящихся к Франции и Пруссии. Для краткости я назвал маршалов и высших должностных лиц Наполеона по именам, а не по титулам, но список их приведен в конце тома ii.] [стр.XII]

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Спрос на эту работу настолько превзошел мои ожидания, что я не смог внести какие-либо существенные изменения во второе издание, вышедшее в марте 1902 года; и обстоятельства снова не позволяют мне дать работе то подробное изложение, которого я желал бы. Однако я внимательно рассмотрел предложения критиков и в некоторых случаях принял их на вооружение. Профессор Фурнье из Вены весьма любезно снабдил меня подробностями, которые, по-видимому, относят к области легенд знаменитую ледяную катастрофу при Аустерлице; и я добавил примечание на этот счет на стр. 50 тома ii. С другой стороны, я могу справедливо заявить, что публикация отчетов графа Бальмена, касающихся острова Святой Елены, подтвердила во всех важных деталях мой рассказ о пленении Наполеона.

Остается только добавить, что я очень сожалею об упущении имени г-на Омана во II. 12-13 на странице viii Предисловия, упущение, ставшее еще более заметным после выхода первого тома его "Истории войны на полуострове" весной этого года.

Дж.Х.Р.

Октябрь 1902 года.

Примечания были добавлены в конце главы v., том i.; главы xxii., xxiii., xxviii., xxix., xxxv., том ii.; и Приложение о битве при Ватерлоо было добавлено на стр. 577, том ii.

Содержание

СТРАНИЦА	ГЛАВЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ	VII
ПРИМЕЧАНИЕ К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ	XV
ТОМ I	
I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ГОДЫ	1
II. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КОРСИКА	24
III. TOULON	44
IV. VENDÉMIAIRE	57
V. ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ (1796)	77
VI. БОИ За МАНТУЮ	105
VII. ОТ ЛЕОБЕНА До КАМПО ФОРМИО	140
VIII. ЕГИПЕТ	174
IX. СИРИЯ	201
X. БРЮМЕР	216
XI. MARENGO: LUNÉVILLE	240
XII. НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ФРАНЦИИ	266
XIII. ПОЖИЗНЕННОЕ КОНСУЛЬСТВО	302
XIV. АМЬЕНСКИЙ МИР	331

XV. ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ: САН-Доминго- ЛУИЗИАНА-ИНДИЯ- АВСТРАЛИЯ	355
XVI. ИНТЕРВЕНЦИИ НАПОЛЕОНА	386
XVII. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЙНЫ	401
XVIII. ЕВРОПА И БОНАПАРТЫ	430
XIX. ЗАГОВОР РОЯЛИСТОВ	446
XX. РАССВЕТ ИМПЕРИИ	465
XXI. БУЛОНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ	462
XXII. ПРИЛОЖЕНИЕ: НЕОПУБЛИКОВАННЫ Е ОТЧЕТЫ О (a) ПРОДАЖЕ ЛУИЗИАНЫ; (b) ИРЛАНДСКАЯ ДИВИЗИЯ НА СЛУЖБЕ У НАПОЛЕОНА	509
ИЛЛЮСТРАЦИИ, КАРТЫ И ПЛАНЫ	
ОСАДА ТУЛОНА, 1793 г.	51
КАРТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ КАМПАНИИ В СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ	81
ПЛАН, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ПОБЕДУ При АРКОЛЕ	125
ОКРЕСТНОСТИ РИВОЛИ	133
ФАКСИМИЛЕ ПИСЬМА	156

НАПОЛЕОНА "ГРАЖДАНКЕ ТАЛЬЕН", 1797 г.	
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, после заключения мира при Кампо Формио, 1797 г.	171
ПЛАН ОСАДЫ АККО из современного наброска	205
БИТВА При МАРЕНГО, иллюстрирующая атаку Келлермана	255
ФРАНЦУЗСКАЯ КАРТА ЮГА АВСТРАЛИИ, 1807 г.,	378

ТОМ II

XXII. УЛЬМ И ТРАФАЛЬГАР	1
XXIII. АУСТЕРЛИЦ	29
XXIV. ПРУССИЯ И НОВЫЙ КАРЛ ВЕЛИКИЙ	51
XXV. ПАДЕНИЕ ПРУССИИ	79
XXVI. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ФРИДЛАНД	103
XXVII. ТИЛЬЗИТ	125
XXVIII. ВОССТАНИЕ В ИСПАНИИ	159
XXIX. ЭРФУРТ	174
XXX. НАПОЛЕОН И АВСТРИЯ	189
XXXI. ИМПЕРИЯ На ПИКЕ СВОЕГО МОГУЩЕСТВА	208
XXXII. РУССКАЯ КАМПАНИЯ	231
XXXIII. ПЕРВАЯ	267

САКСОНСКАЯ КАМПАНИЯ	
XXXIV. ВИТТОРИЯ И ПЕРЕМИРИЕ	300
XXXV. ДРЕЗДЕН И ЛЕЙПЦИГ	329
XXXVI. ОТ РЕЙНА До СЕНЫ	368
XXXVII. ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ	399
г. XXXVIII. ЭЛЬБА И ПАРИЖ	435
г. XXXIX. ЛИНЬИ И КАТР-БРА	453
XL. ВАТЕРЛОО	487
XLI. ОТ ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА До УЛИЦЫ Св. ЕЛЕНА	512
XLII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	539
ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСОК ГЛАВНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ И ПОЧЕСТЕЙ, ПОЖАЛОВАННЫХ НАПОЛЕОНОМ	575
ПРИЛОЖЕНИЕ II: БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО	577
УКАЗАТЕЛЬ	579
КАРТЫ И ПЛАНЫ	
БИТВА При УЛЬМЕ	15
БИТВА При АУСТЕРЛИЦЕ	39
БИТВА При ЙЕНЕ	95
БИТВА При ФРИДЛАНДЕ	121
БИТВА При ВАГРАМЕ	196
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ПОСЛЕ 1810 г.	215
КАМПАНИЯ В	247

РОССИИ	
БИТВА При ВИТТОРИИ	310
КАМПАНИЯ 1813 г.	336
БИТВА При ДРЕЗДЕНЕ	343
БИТВА При ЛЕЙПЦИГЕ	357
КАМПАНИЯ 1814 г. <i>лицом к лицу</i>	383
ПЛАН КАМПАНИИ	458
ПРИ ВАТЕРЛОО	
БИТВА При ЛИНЬИ	465
БИТВА ПРИ <i>лицом к лицу с</i>	490
ВАТЕРЛОО, около 11	
часов утра,	
улицей.	
	УКАЗАТЕЛЬ
СНОСОК HELENA	
540	

ЗАМЕТКА О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Республиканский календарь состоял из двенадцати месяцев по тридцать дней в каждом, каждый месяц был разделен на три "декады" по десять дней. Пять дней (в високосные годы шесть) были добавлены в конце года, чтобы привести его в соответствие с солнечным годом.

An I началось 22 сентября 1792 года.

" II" " 1793.

" III " " 1794.

" IV (високосный год) 1795.

* * * * *

" VIII началось 22 сентября 1799 года.

" IX " 23 сентября 1800 года.

" X " " 1801 год.

* * * * *

" XIV " " 1805 год.

Новое вычисление, хотя и ведется с 22 сентября 1792 года, было введено только 26 ноября 1793 года (An II). Это прекратилось после 31 декабря 1805 года.

Месяцы следующие:

Вандемьер с 22 сентября по 21 октября.

Брюмер с 22 октября по 20 ноября.

Фример с 21 ноября по 20 декабря.

Нивоз с 21 декабря по 19 января.

Плювиоз с 20 января по 18 февраля.

Вентоз с 19 февраля по 20 марта.

Жерминаль с 21 марта по 19 апреля.

Флореаль 20 апреля " 19 мая.

Прериаль 20 мая " 18 июня.

Мессидор 19 июня " 18 июля.
Термидор 19 июля " 17 августа.
Фруктидор 18 августа " 16 сентября.

Добавьте пять (в високосные годы шесть) "Санкюлотов" или "Jours complémentaires".

В 1796 году (високосный год) числа в таблице месяцев, касающиеся всех дат с 28 февраля по 22 сентября, должны быть *уменьшены на единицу* из-за включения 29 февраля, которое не компенсируется до конца республиканского года.

Дело еще больше осложняется тем фактом, что республиканцы считали VIII год високосным, хотя по григорианскому календарю его нет. Следовательно, тот год закончился 22 сентября, а IX и последующие годы начались 22 сентября. 23. Следовательно, в приведенной выше таблице месяцев номера всех дней от Вандемьера 1, An IX (23 сентября 1800 г.) до Нивоса 10, An XIV (31 декабря 1805 г.) включительно должны быть *увеличены на единицу*, за исключением только следующего високосного года между Вентосом 9, An XII и Вандемьером 1, An XIII (28 февраля- 23 сентября 1804 г.), когда два революционных отклонения нейтрализуют друг друга.

ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА I

ГЛАВА I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ГОДЫ

"Я родился, когда моя страна погибала. Тридцать тысяч французов вырвало на наших берегах, утопив трон Свободы в волнах крови, - таково было зрелище, поразившее мои глаза". Это страстное высказывание, написанное Наполеоном Бонапартом в начале Французской революции, описывает состояние Корсики в год его рождения. Эти слова созвучны пылкости молодежи и экстравагантным чувствам того времени: они являются лейтмотивом его карьеры. Его жизнь была полна напряжения от колыбели до могилы.

По своему темпераменту, как и в обстоятельствах своего времени, молодому Бонапарту была уготована выдающаяся карьера. В шатающуюся цивилизацию он ворвался со всей властной силой Алариха. Но он был Аларихом с юга, соединявшим неукротимую силу своих островных сородичей с умственными способностями своих итальянских предков. В его личности присутствует сложное сочетание силы и изящества, животной страсти и ясности ума, северного здравого смысла с порывами восточного воображения; и это соединение в его природе кажущихся противоположностей объясняет многие тайны его жизни. К счастью для любителей романтики, гениальность не поддается полному анализу даже самым искусным историческим философам или самым требовательным поборникам наследственности. Но в той мере, в какой можно измерить источники могущества Наполеона, их можно проследить до беспрецедентных потребностей человечества в революционную эпоху и до его собственных исключительных способностей. Таким образом, очевидно, что характеристики его семьи требуют определенного внимания со стороны всех, кто хотел бы понять этого человека и то влияние, которым он должен был обладать в современной Европе.

Судьба его Дома заключалась в том, что он был предметом споров от начала до конца. Некоторые авторы пытались проследить его происхождение от римских цезарей, другие - от византийских императоров; один исследователь генеалогии проследил за семьей до Майорки и, изменив ее название на Бонпарт, обнаружил ее прародителя в Человеке в Железной маске; в то время как герцогиня д'Абрантес, отправившаяся на восток в поисках своих предков, уверенно заявила о греческом происхождении семьи. Кропотливое исследование развеяло эти фантазии исторических *труверов* и связало этот загадочный род с флорентийцем по имени Вильгельм, который в 1261 году принял фамилию *Бонапарт* или *Буонапарте*. Это название, по-видимому, было присвоено, когда среди непрекращающихся распрей между гвельфами и гибеллинами, раздиравших гражданскую жизнь Флоренции, партия Вильгельма, Гибеллины, на короткое время получила господство. Но флорентийская политика не была вечной, и вскоре он стал беглецом в тосканской деревне Сарцана, недоступной победоносным гвельфам. Здесь семья, кажется, прожила почти три столетия, с удивительным упорством поддерживая свои гибеллинские и аристократические принципы. Эпоха не отличалась ни постоянством, ни какой-либо другой добродетелью. Политика и частная жизнь были одинаково деморализованы непрекращающимися интригами; и среди распрей папы и императора, герцогств и республик, городов и автократов сформировался тот тип итальянского характера, который описан на страницах Макиавелли. От глубин унижения того циничного века Буонапарте спасли их бедность и уединение, в котором они жили в Сарзане. И все же посольства, время от времени отправляемые наиболее талантливыми членами семьи, показали, что способности к интриганству были лишь дремлющими; и они, несомненно, передались в своей интенсивности величайшему отпрыску расы.

В 1529 году Франсис Буонапарте, то ли придавленный нищетой, то ли охваченный отчаянием из-за несчастий, которые тогда обрушились на Италию, эмигрировал на Корсику. Там семья была привита к более жесткой ветви итальянской расы. К лисьим чертам характера, развившимся под сенью Медичи, теперь добавились качества более мужественной натуры. Несмотря на то, что над островитянами поочередно господствовали хозяева Средиземноморья, карфагеняне, римляне, вандалы, жители Пизы и, наконец, Генуэзская республика, они сохранили поразительную индивидуальность. Скалистое побережье и гористая внутренняя часть помогли сохранить основные черты первобытной жизни. Иностранные державы могли повлиять на города на побережье, но они оставили кланы внутренних районов сравнительно нетронутыми.

Их жизнь была сосредоточена вокруг семьи. Правительство значило мало или вообще ничего; ибо разве оно не было символом ненавистного иностранного правления? Поэтому его законы были ничтожны, когда вступали в противоречие с неписаным, но всемогущим кодексом семейной чести. Легкое прикосновение к соседу вызвало бы предостерегающие слова: "Берегись себя: я настороже". Немедленно началась кровная месть, вендетта, которая часто тянулась своим мрачным чередом на протяжении поколений заговоров и убийств, пока, после исчезновения главных действующих лиц, в дело не вступали побочные ветви семей. Ни одного корсиканца не ненавидели так сильно, как этого бездельника, который уклонялся от мести за семейную честь, даже дальнему родственнику первого обидчика. Убийство Наполеоном герцога Энгиенского в 1834 году вызвало трепет ужаса на Континенте. Корсиканцам это показалось не более чем авторитарной версией *траверсейла вендетты*^[1].

Вендетта была главным законом корсиканского общества вплоть до сравнительно недавнего времени, и ее последствия все еще заметны в жизни суровых островитян. В своем очаровательном романе "Коломба" месье Проспер Мериме изобразил типичного корсиканца, даже городского, озабоченным, мрачным, подозрительным, всегда настороже, кружащим вокруг своего жилища, как сокол над гнездом, словно готовясь к нападению или защите. Смех, песни, танцы редко можно было услышать на улицах, потому что женщин, после того как они выполняли обязанности домашней прислуги, ревниво держали дома, в то время как их хозяева курили и наблюдали. Если затевалась опасная игра, она протекала своим чередом в тишине, которая нередко нарушалась выстрелом или уколом — первым предупреждением о том, что имела место закулисная игра. Дело всегда предшествовало слову.

В такой жизни, где коммерцию и сельское хозяйство презирали, где женщина была в основном тяжелой работой, а мужчина - заговорщиком, вырос типичный корсиканский темперамент, капризный и требовательный, но при этом пронизательный, храбрый и постоянный, который смотрел на мир как на школу фехтования для прославления семьи и клана^[2]. Высшим образцом такого типа должен был стать Наполеон, и судьба предоставила ему в качестве арены хаотичную Францию и растерянную Европу.

Среди этого мрачного корсиканского существования Буонапарты провели свою жизнь в семнадцатом и восемнадцатом веках. Занятые в качестве адвокатов такими деталями закона, которые имели какое-либо практическое значение, они, должно быть, были вовлечены в семейные распри и часто повторяющиеся споры между Корсикой и державой-сюзереном, Генуей. Как и подобает высокопоставленным лицам в муниципалитете Аяччо, несколько Буонапарте перешли на сторону генуэзцев; и генуэзский сенат в документе 1652 года назвал одного из них, Жероме, "Эгрегиус Иероним ди Буонапарте, прокуратор Нобилиума". На эти различия они, похоже, мало претендовали. Очень немногие семьи принадлежали к корсиканской *знати*, и их феоды были неважны. На Корсике, как и в Лесных кантонах Швейцарии и Высокогорьях Шотландии, классовые различия ни в коем случае не были столь желанными, как в землях, подвергшихся основательной феодализации; и Бонапарты, довольствовавшиеся своим гражданским достоинством в Аяччо и привязанностью своих сторонников к своим загородным поместьям, по-видимому, редко употребляли приставку, подразумевавшую благородство. Их жизнь мало чем отличалась от жизни многих старых шотландских лэрдов, которые, хотя, возможно, и были *буржуа* по происхождению, все же из вежливости считались вождями среди своих арендаторов и были облагорожены местным

языком, возможно, тем охотнее, что отказывались носить почести, которые приходили из-за Границы.

Но теперь новое влияние должно было призвать на помощь все силы этого жесткого племени. В середине восемнадцатого века мы находим главу семьи, Шарля Мари Буонапарте, пылающего пламенем корсиканского патриотизма, который тогда был разожжен благородной карьерой Паоли. Этот одаренный патриот, защитник островитян сначала от генуэзцев, а затем от французов, желал укрепить образование основы Корсиканского содружества и основал университет. Именно здесь отец будущего французского императора получил юридическое образование и ментальный стимул, который должен был поднять его семью над уровнем *капорали* и адвокатов, с которыми веками была связана ее судьба. Его честолюбие проявляется в стремлении, успешно осуществленном его дядей Люсьеном, архидьяконом Аяччо, добиться признания родства с тосканскими Бонапартами, которые были облагорожены великим герцогом. Его патриотизм проявляется в его горячей поддержке Паоли, благодаря чьей доблести и энергии генуэзцы в конце концов были изгнаны с острова. Посреди этих патриотических триумфов Чарльз столкнулся лицом к лицу со своей судьбой в лице Летиции Рамолино, красивой девушки, происходившей из почтенной флорентийской семьи, которая веками проживала на Корсике. Свадьба состоялась в 1764 году, жениху было тогда восемнадцать, а невесте пятнадцать лет. Союз, хотя и опрометчиво предпринятый в разгар гражданских беспорядков, все же был хорошо составлен. Обе стороны этого были патрицианского, если не определенно благородного происхождения, и происходили из семей, которые сочетали интеллектуальные способности Тосканы с энергией их более позднего островного дома ^[3]. Происходя из рода своей матери, семьи Пьетра Санта, Летиция переняла привычки самой отсталой и дикой части Корсики, где были распространены кровные мести, а образование было почти неизвестно. Оставленная в неведении в первые дни своей жизни, она все же привыкла к трудностям и часто демонстрировала изобилие ресурсов, которые всегда развивает такая жизнь. Следовательно, на момент своего замужества она обладала твердостью воли, далеко не свойственной ее годам; а ее сила и мужество позволили ей пережить ужасные невзгоды ее юности, а также со спокойным достоинством матроны встретить необычайные почести, оказанные ей как матери французского императора. Она была приучена к бережливости, которая вновь проявилась в личных вкусах ее сына. На самом деле она до сих пор сохраняла свои старые бережливые привычки даже среди великолепия Французского императорского двора, чтобы подвергнуть себя обвинению в скупости. Но во всем этом есть трогательная сторона. Кажется, она всегда чувствовала, что после великолепия снова наступят старые дни невзгод, и ее инстинкты в каком-то смысле были верны. Она дожила до преклонного возраста восьмидесяти шести лет и умерла через двадцать один год после крушения империи своего сына - поразительное доказательство жизнеспособности и стойкости ее сил.

Милостивое Провидение скрыло будущее от молодой пары. На них быстро обрушились неприятности как в личной, так и в общественной жизни. Их первые двое детей умерли в младенчестве. Третий, Джозеф, родился в 1768 году, когда корсиканские патриоты предпринимали свои последние успешные усилия против своих новых французских угнетателей: четвертый, знаменитый Наполеон, увидел свет 15 августа 1769 года, когда свободы Корсики были окончательно уничтожены. Еще девять детей родились до того, как разразившаяся Французская революция вновь вызвала гражданские беспорядки, в ходе которых семья, оставшаяся тогда без отца, металась туда-сюда и, наконец, уехала во Францию.

Судьба уже связала судьбу молодого Наполеона Бонапарта с судьбой Франции. После падения генуэзского владычества на Корсике Франция приняла на себя, за пустые обещания, притязания испытывающей трудности итальянской республики на ее беспокойное владение островом. Это был дешевый и практичный способ восстановить, по крайней мере в Средиземноморье, пошатнувшийся престиж французских бурбонов. Ранее они вмешивались в дела Корсики на стороне генуэзцев. Тем не менее, в 1764 году Паоли обратился к Людовику XV. за защитой. Она была предоставлена в виде войск, которые спокойно заняли прибрежные города острова под прикрытием дружеских заверений. В 1768 году, перед истечением неофициального перемирия, французский командующий Марбеф начал военные действия против патриотов^[4]. Напрасно Руссо и многие другие поборники народной свободы протестовали против такого обмена островной свободой; напрасно Паоли поднимал своих соотечественников на другую, более неравную борьбу и пытался удержать гористую внутреннюю часть страны. Бедные, плохо экипированные, раздираемые семейными распрями и клановыми расколами, его последователи не могли противостоять французским войскам; и после полного разгрома своих войск Паоли бежал в Англию, прихватив с собой триста сорок самых решительных патриотов. С этими непримиримыми Шарль Бонапарт не связал свою судьбу, но принял помилование, предложенное тем, кто должен признать французское господство. Со своей женой и их маленьким ребенком Жозефом он вернулся в Аяччо, и там вскоре после этого родился Наполеон. Как прекрасно сказал патриотически настроенный историк Якоби, "Корсиканский народ, измученный созданием мучеников за дело свободы, произвел на свет Наполеона Бонапарта"^[5].

Учитывая, что Шарль Буонапарте был горячим приверженцем Паоли, его внезапная смена имиджа вызвала резкое осуждение. У него определенно не было той выдержки, из которой делаются герои. Он, по-видимому, был неуравновешенной натурой, вскоре воспламенявшейся энтузиазмом и столь же быстро угасавшей из-за его испарения; наделенной достаточной ученостью и культурой, чтобы быть вольтеровцем и писать второсортные стихи; и талантом к интриге, которого было достаточно, чтобы поставить в неловкое положение его никогда не очень богатое состояние. Наполеон, безусловно, не унаследовал от своего отца никаких притягательных для мира качеств: ими он был обязан более дикой натуре, которая текла в крови его матери. Отец, несомненно, видел в связях с Францией шанс на светское продвижение и освобождение от финансовых трудностей, поскольку новые правители теперь стремились привлечь на свою сторону патрицианские семьи острова. Многие из них были возмущены диктатурой Паоли; и теперь они с радостью приняли связь с Францией, которая обещала обогатить их страну и сделать блестящую карьеру во французской армии, где должности были доступны только отпрыскам знати.

Многое можно сказать в оправдание решения Шарля Бонапарта, и никто не может отрицать, что Корсика в конечном счете многое выиграла благодаря своей связи с Францией. Но его смена имиджа была открыта для обвинения в том, что это было вызвано личным интересом, а не философским предвидением. Во всяком случае, его второй сын на протяжении всего своего детства лелеял глубокую обиду на своего отца за то, что тот предал дело патриотов. Симпатии юноши были на стороне крестьян, чью преданность нельзя было купить за безделушки, чье постоянство и храбрость долго противостояли французам в безнадежной партизанской войне. Его горячая корсиканская кровь вскипала при рассказах о притеснениях и оскорблениях, которые он слышал от своих более скромных соотечественников. Когда в одиннадцать лет он увидел в военном колледже в Бриенне портрет Шуазеля, французского министра, который

настаивал на завоевании Корсики, его страсть вылилась в поток проклятий в адрес предателя; и даже после смерти его отца в 1785 году он воскликнул, что никогда не сможет простить ему того, что он не последовал за Паоли в изгнание.

Какие пустяки, кажется, порой меняют ход человеческих дел! Если бы его отец поступил так, молодой Наполеон, по всей вероятности, поступил бы на военную или военно-морскую службу Великобритании; он мог бы разделить энтузиазм Паоли по поводу усыновленной им страны и последовать примеру корсиканского героя в его предприятиях против Французской революции, с тех пор фигурируя в истории просто как великий Мальборо, сокрушивший военные усилия демократической Франции и заманивший Англию на путь завоевания Континента. Монархия и аристократия остались бы неприкосновенными, за исключением "естественных пределов" Франции; а другие нации, никогда не потрясенные до глубины души, влачили бы свое старое инертное фрагментарное существование.

Решение Шарля Бонапарта изменило судьбу Европы. Он решил, что его старший сын Жозеф должен вступить в Церковь, а Наполеон должен стать солдатом. Его восприятие характеров его мальчиков было правильным. Анекдот, за который отвечает старший брат, проливает свет на их темпераменты. Мастер их школы устроил для своих учеников мимический бой - римлян против карфагенян. Иосиф, как старший, встал под знамена Рима, в то время как Наполеона отчитали среди карфагенян; но, задетый тем, что его выбрали на стороне проигравших, ребенок волновался, умолял и бушевал до тех пор, пока менее воинственный Иосиф не согласился поменяться местами со своим требовательным младшим. Этот инцидент стал пророческим для многого в более поздней истории семьи.

Ее имперское будущее открылось благодаря искусной уступчивости, которую теперь проявил Шарль Бонапарт. Вскоре была получена награда за его быстрое подчинение Франции. Французский командующий на Корсике использовал свое влияние, чтобы добиться поступления юного Наполеона в военную школу Бриенна в Шампани; и поскольку отец смог убедить власти не только в том, что у него не было состояния, но и в том, что его семья была знатной на протяжении четырех поколений, Наполеон был принят в эту школу для получения образования по распоряжению короля Франции (апрель 1779 г.). Теперь, в нежном девятилетнем возрасте, он был чужаком в чужой стране, среди людей, которых он ненавидел как угнетателей своих соотечественников. Хуже всего было то, что ему приходилось терпеть насмешки из-за принадлежности к подчиненной расе. Что за положение для гордого и требовательного ребенка! Неудивительно, что официальный отчет представлял его молчаливым и упрямым; но, как ни странно, в нем добавлялось слово "властный". Это был жесткий характер, который мог противостоять репрессиям в таком окружении. Что касается его учебы, то здесь мало что нужно говорить. В своей "Истории Франции" он прочел о славе далекого прошлого (когда "Германия была частью Французской империи"), великолепии правления Людовика XIV, бедствиях Франции в Семилетней войне и "грандиозных завоеваниях англичан в Индии". Но его воображение было воспламенено из других источников. Мальчики с ярко выраженным характером всегда были гораздо больше обязаны своему личному чтению, чем заданным занятиям; и юный Буонапарте, неохотно изучая латынь и французскую грамматику, питал свои мысли "Жизнеописаниями" Плутарха — во французском переводе. Искусное сочетание реального и романтического, исторического и личного в этих ярких зарисовках древних достойных людей и героев завоевало любовь многих умов. Руссо извлекал неиссякаемую пользу из их прочтения, а мадам Ролан находила в них "пастбище великих душ". Так было и с

одиноким корсиканским юношей. Держась в стороне от своих товарищей в мрачной изоляции, он уловил в подвигах греков и римлян отдаленный отголосок трагической романтики своего любимого родного острова. Школьный библиотекарь утверждал, что уже тогда молодой солдат строил свою будущую карьеру по образцу героев древности; и мы вполне можем поверить, что, читая о подвигах Леонида, Курция и Цинцинната, он видел фигуру своего собственного античного республиканского героя Паоли. Сражаться бок о бок с Паоли против французов было его постоянной мечтой. "Паоли вернется, - воскликнул он однажды, - и как только у меня появятся силы, я отправлюсь ему на помощь, и, возможно, вместе мы сможем сбросить гнусное ярмо с шеи Корсики".

Но было еще одно произведение, оказавшее большое влияние на его юный ум, — "Галльская война" Цезаря. Для молодого италика завоевание Галлии человеком его собственной расы, должно быть, было близкой темой, и в самом Цезаре будущий завоеватель, возможно, смутно распознал родственную душу. Властная энергия и всепобеждающая воля старого римлянина, его острое проникновение в суть проблемы, широкий кругозор, охватывающий интриги римского сената, меняющуюся политику десятков племен и бесчисленные административные детали великой армии и могущественной провинции, — вот качества, которые обеспечили главную умственную подготовку молодому кадету. Действительно, карьере Цезаря было суждено оказать особое очарование на династию Наполеонов, не только на ее основателя, но и на Наполеона III.; и изменение в характере и карьере Наполеона Великого можно мысленно отметить по стиранию портретов Леонидаса и Паоли портретами Цезаря и Александра. Позже, во время его пребывания в Аяччо в 1790 году, когда первые тени пробежали по его доселе безоблачной любви к Паоли, мы слышали, что он проводил целые ночи над историей цезаря, заучивая наизусть многие отрывки в своем страстном восхищении этими чудесными подвигами. Он с готовностью принял сторону Цезаря против Помпея и не менее горячо защищал его от обвинения в заговоре против свобод содружества^[6]. Это было опасное занятие для юноши-республиканца, в котором военные инстинкты были столь же укоренившимися, как и гений правления.

О жизни молодого Бонапарта в Бриенне сохранилось мало достоверных записей и много сомнительных анекдотов. Из последних, наиболее правдоподобный и наводящий на размышления, связан с его предложением своим школьным товарищам построить снежные валы во время суровой зимы 1783-4 годов. По словам его школьного товарища Бурьена, эти имитирующие укрепления были спланированы Бонапартом, который также руководил методами нападения и защиты: или, как говорят другие, он реконструировал стены в соответствии с потребностями современной войны. В любом случае, этот инцидент свидетельствует о его огромной способности к организации и контролю. Но в целом проявлений его оригинальности и энергии было немного. Похоже, он недолюбливал всех своих товарищей, кроме Бурьенна, так же сильно, как они ненавидели его за угрюмый нрав и яростные вспышки гнева. Сообщается даже, что он поклялся, что причинит как можно больше вреда французскому народу; но это замечание отдает сказкой. Столь же сомнительны два письма, в которых он молится о том, чтобы его избавили от унижений, которым он подвергся в Бриенне^[7]. В других письмах, которые, несомненно, подлинные, он с жаром рассказывает о своей будущей карьере и ни слова не пишет об издевательствах, которым его подвергло корсиканское рвение. Особого внимания заслуживает письмо его дяде, в котором он умоляет его вмешаться, чтобы помешать Жозефу Бонапарте сделать военную карьеру. Джозеф, пишет младший брат, мог бы стать хорошим гарнизонным офицером, поскольку был хорошо

образован и умел делать легкомысленные комплименты — "следовательно, хорош для общества, но для боя..."

Решительность Наполеона была замечена его учителями. Им не удалось сломить его волю, по крайней мере, в важных вопросах. В более мелких деталях его итальянская ловкость, по-видимому, сослужила службу, поскольку офицер, инспектировавший школу, сообщил о нем следующее: "Телосложение, здоровье отличное: характер покорный, милый, честный, благодарный: поведение очень правильное: всегда отличался прилежанием к математике: сносно знает историю и географию: очень слаб в достижениях. Он будет отличным моряком: достоин поступить в школу в Париже". Соответственно, в свое время его отправили в военную школу в Париже, и он поступил туда в октябре 1784 года. Переход от полумонашеской жизни в Бриенне к великолепному зданию, выходящему окнами на Марсово поле, произвел меньший эффект, чем можно было ожидать от пятнадцатилетнего юноши. Он еще не проникся симпатией к французам. Любовь к Корсике и ненависть к французской монархии укрепили его против роскоши нового окружения. Возможно, дополнительным ударом было то, что он получил образование за счет монархии, которая покорила его родных. Тем не менее, он с энергией предавался своим любимым занятиям, особенно математике. Дефектным в языках он по-прежнему был и навсегда остался, поскольку его критическая проницательность в литературе всегда была сосредоточена на предмете, а не на стиле. До конца своих дней он так и не смог с точностью написать ни по-итальянски, ни тем более по-французски; и его наставник в Париже не совсем удачно описал его мальчишеское сочинение как напоминающее расплавленный гранит. Те же качества - прямота и порывистость - также оказались фатальными для его попыток овладеть движениями танца. Несмотря на уроки в Париже и частные уроки, которые он впоследствии брал в Валенсе, он никогда не был танцором: его явно тянуло к точным наукам, а не к искусству, к геометрическому, а не к ритмическому: двигаясь, он мыслил по прямым линиям, а не по изгибам.

Смерть его отца в течение года, который юноша провел в Париже, обострила его чувство ответственности перед семьей младшими братьями и сестрами. Его собственная бедность, должно быть, внушала ему отвращение к роскоши, которую он видел вокруг себя; но есть веские причины сомневаться в подлинности памятной записки, которую он, как утверждается, отправил из Парижа второму мастеру в Бриенне по этому поводу. Письма парижских ученых находились под строгим наблюдением; и если бы он взял на себя труд составить список критических замечаний по поводу своего нынешнего обучения, то, несомненно, он был бы уничтожен. Несомненно, однако, он посочувствовал бы неизвестному критику в его жалобе на непригодность роскошных блюд для молодежи, обреченной на тяготы лагеря. В Бриенне его окрестили "спартанцем" - пример той почти сверхъестественной способности школьников подчеркивать в прозвище характерные черты характера. Эта фраза была верна почти на протяжении всей жизни Наполеона. Во всяком случае, парижская пышность лишь укрепила его юношеские привязанности к скалам Корсики.

В сентябре 1785 года, то есть в возрасте шестнадцати лет, Бонапарт был назначен младшим лейтенантом артиллерийского полка Ла Фер, расквартированного в Валенсе на Роне. Это был его первый близкий контакт с реальной жизнью. Правила службы требовали, чтобы он провел три месяца на строгих тренировках, прежде чем его допустят к службе. Работа была тяжелой: платили мало, 1120 франков, или менее 45 фунтов стерлингов, в год; но все сообщения сходятся в том, что он очень любил свою профессию и что вышестоящие офицеры признавали его

выдающиеся способности. ^[8] Именно там он овладел азами войны, из-за отсутствия которых многие генералы благородного происхождения быстро завершили карьеру, начавшуюся многообещающе: там же он усвоил самый тяжелый и лучший из всех уроков - немедленного подчинения. "Научиться подчиняться - это фундаментальное искусство управления", - говорит Карлайл. Так было и с Наполеоном: в Валансе он проходил обучение искусству завоевания и искусству управления.

Этот весенний период его жизни интересен и важен во многих отношениях: он раскрывает многие приятные качества, которые до сих пор были омрачены реальным или воображаемым презрением богатых кадетов. В Валансе, избегая своих собратьев-офицеров, он искал общества, более соответствующего его простым вкусам и сдержанному поведению. В нескольких лучших буржуазных семьях Валанса он нашел счастье. Там тоже расцвела самая нежная, самая чистая идиллия в его жизни. В загородном доме образованной дамы, подружившейся с ним в его одиночестве, он увидел свою первую любовь, Каролину де Коломбье. Это было мимолетное увлечение, но ей открылась вся страсть его южной натуры. Похоже, она ответила ему взаимностью, потому что на бурном закате своей жизни на острове Святой Елены он вспомнил несколько восхитительных прогулок на рассвете, когда они с Кэралайн вместе ели вишни. С нежностью вспоминаешь эти сцены его суровой в остальном карьеры, ибо они раскрывают его способность к общественным радостям и к глубокой и нежной привязанности, если бы его судьба сложилась иначе. Насколько другой могла бы быть его жизнь, если бы Франция никогда не завоевала Корсику и не вспыхнула Революция! Но Корсика по-прежнему была его главной страстью. Когда его отозвали из Валанса для подавления бунта в Лионе, его чувства, на какое-то время отвлеченные Каролиной, повернулись обратно к его дому на острове; и в сентябре 1786 года он имел счастье вновь увидеть сцены своего детства. Хотя он тепло приветствовал свою мать, братьев и сестер после почти восьмилетнего отсутствия, больше всего его радовали скалистые берега, зеленые долины и горные вершины Корсики. Запах лесов, закат солнца в море, "как на лоне бесконечности", спокойная гордая независимость самих горцев - все это очаровывало его. Его восторг раскрывает почти вертеровскую силу "чувствительности". Даже семейные неурядицы не смогли умерить его пыл. Его отец пустился в сомнительные спекуляции, которые теперь угрожали Буонапартам банкротством, если французское правительство не проявит самодовольства и щедрости. В надежде предъявить один из семейных претензий к королевской казне, второй сын добился продления отпуска и поспешил в Париж. Там в конце 1787 года он провел несколько недель, надеясь извлечь деньги из обанкротившегося правительства. Это было время разочарования во многих смыслах этого слова; ибо там он воочию увидел изнанку парижской жизни и ненадолго окунулся в головокружительный водоворот Пале-Рояля. Каким контрастом с прозрачной жизнью Корсики было это мутное, пенистое существование, уже готовое к своему могучему падению!

После двадцатиоднолетнего отпуска он вернулся в свой полк, теперь уже в Оксоне. Там его здоровье значительно пострадало не только от миазмов болот реки Соны, но и от семейных тревог и тяжелого литературного труда. К этим последним сейчас необходимо обратиться. Действительно, внешние события его ранней жизни имеют ценность только потому, что они раскрывают многогранность его натуры и рост его умственных способностей.

Как получилось, что он перерос замкнутый патриотизм своих ранних лет? Приведенный выше перечень фактов, должно быть, уже предлагал одно очевидное объяснение. Природа так щедро

одарила его разнообразными дарами, главным образом властного порядка, что он едва ли мог ограничить сферу своей деятельности Корсикой. Как бы глубоко он ни любил свой остров, здесь не было сферы, соизмеримой с его разнообразными способностями и властной волей. Слова его отца на смертном одре о том, что его Наполеон однажды свергнет старые монархии и завоюет Европу, не были пустым бахвальством.^[9] И сам великий полководец не преувеличивал особенности своего темперамента, когда признавался, что инстинкты всегда подсказывали ему, что его воля должна восторжествовать, и что то, что ему нравится, обязательно должно принадлежать ему. Большинство избалованных детей на короткое время питают ту же иллюзию. Но все удары судьбы не смогли изгнать его из молодого Бонапарта; и когда отчаяние относительно своего будущего могло ослабить силу его властных инстинктов, его ум и воля приобрели новую твердость, попав под обаяние этого философствующего доктринера Руссо.

Были все причины, по которым он рано заинтересовался этим фантастическим мыслителем. В своей знаменитой работе "Социальный конфликт" (1762) Руссо привлек внимание к античной энергии, проявленной корсиканцами в защите своих свобод, и в поразительно пророческой фразе он воскликнул, что этот маленький остров однажды удивит Европу. Источник такого пристрастия Руссо к Корсике очевиден. Родившийся и выросший в Женеве, он испытывал любовь швейцарца к народу, который не был "ни богатым, ни бедным, но самодостаточным"; и в простой жизни и неистовой любви к свободе отважных островитян он видел следы того общественного договора, который он постулировал как основу общества. Согласно ему, истоки всех социальных и политических институтов следует искать в некоем соглашении или контракте между людьми. Так возникают клан, племя, нация. Нация может делегировать многие из своих полномочий правителю; но если он злоупотребляет этими полномочиями, договору между ним и его народом приходит конец, и они могут вернуться к примитивному состоянию, основанному на соглашении равных с равными. В этом заключалась привлекательность Руссо для всех, кто был недоволен своим окружением. Казалось, он безошибочно продемонстрировал абсурдность тирании и необходимость возвращения к первобытному блаженству общественного договора. Не имело значения, что упомянутый контракт был совершенно неисторичен и что его аргументы изобиловали ошибками. Он внушил целому поколению отвращение к настоящему и тоску по золотому веку. Поэты воспевали это, но Руссо, казалось, сделал это доступным для многострадальных смертных.

Первая дошедшая до нас рукопись Наполеона, написанная в Валансе в апреле 1786 года, показывает, что он искал в арсенале Руссо логическое оружие для демонстрации "права" корсиканцев восстать против французов. Юный поклонник героев начинает с того, что отмечает, что сегодня день рождения Паоли. Он пускается в панегирик корсиканским патриотам, когда его останавливает мысль о том, что многие осуждают их за то, что они вообще бунтуют. "Божественные законы запрещают бунт. Но какое отношение имеют божественные законы к чисто человеческим делам? Только подумайте об абсурдности — божественные законы повсеместно запрещают сбрасывать узурпаторское ярмо!... Что касается человеческих законов, то их не может быть после того, как принц их нарушит". Затем он постулирует два источника правления, насколько это возможно. Либо народ установил законы и подчинился князю, либо князь установил законы. В первом случае князь по самой природе своей должности обязан выполнять соглашения. Во втором случае законы стремятся или не стремятся к благосостоянию народа, что является целью любого правительства: если они этого не делают, договор с князем расторгается сам собой, ибо тогда народ снова возвращается в свое первобытное состояние. Доказав таким образом суверенитет народа, Бонапарт использует

свою доктрину для оправдания восстания корсиканцев против Франции и таким образом завершает свою любопытную статью: "Корсиканцы, следуя всем законам справедливости, смогли сбросить иго генуэзцев и могут сделать то же самое с игом французов. Аминь".

Пять дней спустя он снова дает волю своей меланхолии. "Всегда один, хотя и среди людей", он сталкивается с мыслью о самоубийстве. Обладая врожденной способностью обобщать и уравнивать мысли и ощущения, он приводит аргументы за и против этого поступка. Он на заре своих дней, и через четыре месяца он увидит "la patrie", которую не видел с детства. Какая радость! И все же — как люди оторвались от природы; как раболепствуют его соотечественники перед своими завоевателями: они больше не враги тиранов, роскоши, подлых придворных; французы развратили свою мораль, и когда "la patrie" больше не существует, хороший патриот должен умереть. Жизнь среди французов отвратительна: их образ жизни отличается от его так же сильно, как свет луны отличается от света солнца.—Странное излияние для семнадцатилетнего юноши, живущего среди весеннего великолепия в Дофине. До созревания вишен оставалось всего несколько недель. Неужели эта вишневая идиллия с мадемуазель де Коломбье вернула его к жизни? Или надежда нанести удар за Корсику остановила его руку самоубийцы? Вероятно, последнее, поскольку вскоре после этого мы находим его выступающим против протестантского священника из Женевы, который осмелился критиковать одну из догм евангелия Руссо.

Женевский философ утверждал, что христианство, утвердив в сердцах христиан идею Царства не от мира сего, нарушило единство гражданского общества, поскольку оно оторвало сердца новообращенных от государства, как и от всего земного. На это женевский министр успешно ответил, процитировав христианское учение по рассматриваемому вопросу. Но Буонапарте яростно обвиняет пастора в том, что он не понимал и даже не читал "Социального контраста": он швыряет в своего оппонента тексты Священного Писания, предписывающие подчиняться законам; он обвиняет христианство в том, что оно делает людей рабами антисоциальной тирании, потому что его священники установили власть вопреки гражданским законам; а что касается протестантизма, то он сеял раздор между своими последователями и тем самым нарушал гражданское единство. Христианство, утверждает он, является врагом гражданского правительства, поскольку оно направлено на то, чтобы сделать людей счастливыми в этой жизни, вдохновляя их надеждой на будущую жизнь; в то время как цель гражданского правительства - "оказать помощь слабым в борьбе с сильными и таким образом позволить каждому наслаждаться сладостным спокойствием, дорогой счастья". Поэтому он приходит к выводу, что христианство и гражданское правление диаметрально противоположны.

В этой тираде мы видим бунтарский дух юноши, толкающий его не только против французского законодательства, но и против религии, которая его санкционирует. Он не видит ни малейшей красоты Евангелий, которую признавал Руссо. Его взгляды более жесткие, чем у его учителя. Едва ли он может представить себе два влияния, духовное и государственное, действующие параллельно, на разные стороны человеческой природы. Его концепция человеческого общества - это концепция неделимого, неразличимого целого, в котором материализм, время от времени приправляемый религиозными чувствами и личной честью, является единственным заслуживающим внимания влиянием. Он не находит ценности в религии, которая стремится действовать изнутри вовне, которая направлена на преобразование характера и, таким образом, на преобразование мира. В своем стремлении к осязаемым результатам его нетерпеливый дух презирает столь запоздалый метод: он "заставит людей быть счастливыми", и

для достижения этого результата есть только одно практически осуществимое средство - Общественный договор, государство. Все, что подрывает единство Общественного договора, должно быть разрушено, чтобы у государства было чистое поле для осуществления своего благотворного деспотизма. Таково политическое и религиозное кредо Бонапарта в возрасте семнадцати лет, и таким оно оставалось (со многими оговорками, подсказанными более зрелым мышлением и личными интересами) до конца его дней. Это вновь проявляется в его политике после Конкордата 1802 года², согласно которому религия была низведена до уровня служанки государства, а также в его частых утверждениях, что он никогда не будет обладать такой же властью, как царь и султан, потому что он не имел безраздельной власти над совестью своего народа.^[10] В этом мальчишеском эссе мы, возможно, сможем разглядеть фундаментальную причину его более поздних неудач. Он никогда полностью не понимал религию или энтузиазм, который она может вызвать; он также никогда полностью не осознавал сложность человеческой природы, многогранность социальной жизни и ограничения, которые мешают действиям даже самого умного законодателя.^[11]

Чтение Руссо подготовило его к изучению человеческого общества и государственного управления, и теперь, во время своего первого пребывания в Оксоне (июнь 1788—сентябрь 1789), он приступает к изучению записей древнего и современного мира. Несмотря на плохое самочувствие, семейные неурядицы и начало Французской революции, он справляется с этой важной задачей. История, география, религия и социальные обычаи древних персов, скифов, фракийцев, афинян, спартанцев, египтян и карфагенян — все это послужило материалом для его энциклопедических записных книжек. С его талантом обобщения все было в порядке. Именно здесь он приобрел те знания о прошлом, которые должны были удивлять его современников. Наряду с предложениями о полковой дисциплине и усовершенствованиях артиллерии, мы находим заметки о начальных эпизодах "Республики" Платона и систематический обзор английской истории с древнейших времен вплоть до революции 1688 года. Это последнее событие вызвало у него особый интерес, потому что виги и их сторонник философии Локк утверждали, что Яков II. нарушил первоначальный договор между принцем и народом. Повсюду в своих записях Наполеон подчеркивает инциденты, которые привели к конфликтам между династиями или между соперничающими принципами. Фактически, во всех этих ненасытных исследованиях появляются признаки его решимости написать историю Корсики; и, вдохновляя своих сородичей воспоминаниями о славном прошлом, он стремился ослабить французскую монархию, написав "Диссертацию о королевской власти". Его первый набросок этой работы выглядит следующим образом:

"23 октября 1788 года. Auxonne.

"Эта работа начнется с общих представлений о происхождении и возросшем престиже имени кинг. Военное правление благоприятствует этому: впоследствии эта работа войдет в подробности узурпированной власти, которой пользовались короли двенадцати королевств Европы.

"Есть очень мало королей, которые не заслужили свержения с престола"^[12].

Это краткое заявление - все, что осталось от планируемой работы. Однако оно достаточно указывает на цель исследований Наполеона. Все они были созданы для того, чтобы вооружить

его для выполнения великой задачи по возрождению духа корсиканцев и подрыву основ французской монархии.

Но у этих стопок рукописных заметок и примитивных литературных усилий есть еще более широкий источник интереса. Они показывают, насколько узким был его взгляд на жизнь. Все это было направлено на возрождение Корсики методами, которые он сам прописал. Поэтому мы можем понять, почему, когда его собственные методы спасения Корсики были отвергнуты, он оторвался от всего и безраздельно отдал свою энергию Революции.

Однако записи о его ранней жизни показывают, что в его характере чувствовалась доля истинных чувств и привязанности. Природа вырезала в нем характер, подобный твердости скалы, но она украсила его цветами человеческого сочувствия и завитками семейной любви. При первом расставании со своим братом Жозефом в Отене, когда старший брат безутешно плакал, маленький Наполеон уронил слезу; но это, по словам наставника, значило не меньше, чем поток слез Жозефа. Любовь к своим родственникам была мощным фактором его политики в дальнейшей жизни; и клевета никогда не могла полностью очернить характер человека, который любил и почитал свою мать, который утверждал, что ее советы часто оказывали ему величайшую услугу, и что ее справедливость и твердость духа выделяли ее как прирожденную правительницу людей. Но когда эти признания принимаются во внимание, все равно остается правдой, что его характер был от природы суровым; что его чувство личного превосходства делало его даже в детстве требовательным и властным; и продолжение должно было показать, что даже от самой сильной страсти его юности, его решимости освободить Корсику от Франции, можно было отказаться, если того требовал случай, и с тех пор вся сила его натуры была сосредоточена на более масштабных приключениях.

ГЛАВА II

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КОРСИКА

"Они стремятся уничтожить Революцию, нападая на мою личность: я буду защищать ее, потому что я и есть Революция". Таковы были слова, произнесенные Бонапартом после провала роялистского заговора 1804 года. Это смелая расшифровка слов Людовика XIV "Государство - это мое". Это было смелое заявление даже для эпохи, приспособленной к прихотям автократов; но заявление молодого корсиканца еще более смелое, поскольку тем самым он приравнял себя

к движению, которое претендовало на то, чтобы быть широким, как человечество, и бесконечным, как истина. И все же, когда он произносил эти слова, они не были восприняты как самонадеянная глупость: большинству французов они казались трезвой правдой и практическим здравым смыслом. Как получилось, спрашивается с удивлением, что за короткий промежуток в пятнадцать лет всемирное движение зависело от одной жизни, что бесконечность 1789 года продолжалась только в форме и с удовольствием Первого консула? Здесь, несомненно, политическое воплощение, не имеющее аналогов за всю историю человечества. Загадка не может быть решена одной только историей. Частично это относится к области психологии, когда эта наука занимается изучением не только человека как единицы, но и стремлений, настроений и прихотей сообществ и наций. Между тем нашей гораздо более скромной задачей будет попытаться указать на отношение Бонапарта к Революции и показать, как могучая сила его воли пригвоздила ее к земле.

Очевидно, что первые вопросы, которые встают перед нами, таковы. Были ли достигнуты высокие цели и устремления Революции? И если да, то следовали ли люди 1789 года их практическим методам? На первый из этих вопросов настоящая глава, по крайней мере частично, послужит ответом. На последнюю часть проблемы некоторый свет прольют события, описанные в последующих главах: в них мы увидим, что великий народный переворот высвободил могучие силы, которые привели Бонапарта к удаче.

Здесь мы можем заметить, что Революция не была простым и, следовательно, сплоченным движением. Она была сложной и содержала семена раздора, которые таятся в многогранных и воинствующих верованиях. Теории его интеллектуальных поборников были столь же разнообразны, как и мотивы, побуждавшие их последователей к нападкам на изжившие себя злоупотребления того времени.

Недовольство и вера были главными движущими силами Революции. Вера подготовила Революцию, а недовольство завершило ее. Идеалистам, которые в различных плоскостях мышления проповедовали доктрину совершенствования человека, удалось постепенно вселить надежду в унылые трудящиеся массы Франции. Опуская здесь какое-либо упоминание о философских спекуляциях как таковых, мы можем кратко остановиться на учениях трех писателей, чье влияние на революционную политику должно было быть определенным и практическим. Это были Монтескье, Вольтер и Руссо. Первый ни в коем случае не был революционером, поскольку он высказался в пользу смешанной формы правления, подобной английской, которая гарантировала государство от опасностей автократии, олигархии и правления толпы. Только рикошетом он обрушился на французскую монархию. Но он вновь пробудил критическое исследование; и любое расследование, несомненно, подорвало бы основы *старого режима* во Франции. Учение Монтескье вдохновило группу умеренных реформаторов, которые в 1789 году пожелали перестроить институты Франции по образцу институтов Англии. Но народные настроения быстро пронесли мимо этих англофилов в сторону более привлекательных целей, поставленных Вольтером.

Этот проницательный мыслитель подверг привилегированные классы, особенно титулованное духовенство, испытующему огню философских бомб и едких острот. Никогда еще не было более ослепительной череды литературных триумфов над пошатнувшейся системой. Высмеиваемые классы морщились и смеялись, и интеллект Франции был завоеван для Революции. Отныне стало невозможным, чтобы номинально свободные крестьяне трудились, удовлетворяя

насуточные потребности государства и поддерживая блестящую компанию дворян, которые весело порхали вокруг монарха в Версале. Молодой король Людовик XVI, правда, провел несколько реформ, но у него не хватило силы воли отменить абсурдные налоговые льготы, которые освобождали дворян и титулованное духовенство от бремени государства. Таким образом, вплоть до 1789 года средний класс и крестьяне несли почти всю тяжесть налогообложения, в то время как крестьяне также были обременены феодальными повинностями и дорожными сборами. Это были вопиющие обиды, которые объединили в сплоченную фалангу как мыслителей, так и практиков и тем самым придали огромный импульс уравнилельным доктринам Руссо.

Здесь нас интересуют только два его политических учения, а именно социальное равенство и неоспоримое верховенство государства; ибо для этих догм, когда они казались обреченными на политическое банкротство, Наполеон Бонапарт должен был выступать в качестве их законного наследника. Согласно Руссо, общество и правительство возникли на основе общественного договора, согласно которому все члены сообщества имеют равные права. Не имеет значения, что дух договора, возможно, испарился среди миазмов роскоши. Это нарушение гражданского общества, и его члены имеют полное право сразу же вернуться к примитивному идеалу. Если существование политического органа находится под угрозой, может быть применена сила: "Тот, кто отказывается подчиняться общей воле, должен быть принужден к этому всем телом; это означает не что иное, как то, что он должен быть вынужден быть свободным". Столь же правдоподобным и опасным было его учение о неделимости общей воли. Выводя каждую общественную власть из своего общественного договора, он легко доказывает, что суверенная власть, которой наделены все граждане, должна быть неподкупной, неотчуждаемой, непредставимой, неделимой и нерушимой. Англичанам, возможно, сейчас трудно понять энтузиазм, вызванный этой квинтэссенцией отрицаний; но для француза, недавно покинувшего эпоху привилегий и воюющего против коалиции королей, клич о единой и неделимой Республике был трубным призывом к смерти или победе. Следовало смириться с любыми переменами, даже с диктатурой, при условии, что удастся сохранить социальное равенство. Как республиканский Рим спас свои ранние свободы, доверив неограниченные полномочия временному диктатору, так, утверждал Руссо, молодое содружество должно аналогичным образом руководствоваться первым законом Природы о самосохранении. Диктатор спасает свободу, временно отменяя ее: на мгновение подавляя законодательную власть, он делает ее по-настоящему громкой.

События Французской революции служат трагическим комментарием к этим теориям. На первом этапе этого великого движения мы видим, как последователи Монтескье, Вольтера и Руссо безраздельно маршируют против бастиионов привилегий. Стены Бастилии рушатся даже при звуке их труб. Отвратительные феодальные привилегии исчезают за одно заседание Национального собрания; и *Парламенты*, или высшие суды провинций, сметаются с лица земли. Сами старые провинции упраздняются, и в начале 1790 года Франция обретает социальное и политическое единство благодаря своей новой системе департаментов, которая предоставляет полную свободу действий в местных делах, хотя во всех национальных проблемах она тесно связывает Францию с новым народным правительством в Париже. Но вскоре разногласия начинают разделять реформаторов: ненависть к клерикальным привилегиям и желание наполнить пустую государственную казну диктуют первые акты разграбления. Десятина отменяется; земли Церкви конфискуются в пользу государства; монашеские ордена пресекаются; и правительство обязуется выплачивать стипендии

епископам и священникам. Более того, их подчинение государству определенно закреплено Гражданской конституцией духовенства (июль 1790 г.), которая лишает их верности Папе Римскому. Большинство священнослужителей отказываются: их называют не присяжными заседателями или православными священниками, в то время как их более покладистые коллеги известны как конституционные священники. Отсюда возникает серьезный раскол в Церкви, который нарушает религиозную жизнь страны и отделяет друзей свободы от поборников строгого равенства, проповедуемого Руссо.

Новая конституция 1791 года также стала источником разногласий. В своей ревности к королевской власти Национальное собрание захватило очень многие исполнительные функции правительства. Результаты были катастрофическими. Законы оставались без силы, налоги не собирались, армия была отвлечена мятежами, и монархия медленно погружалась в пучину банкротства и анархии. Таким образом, в течение трех лет революционеры доводили духовенство до отчаяния, они были близки к свержению монархии, каждый месяц доказывали, что их местное самоуправление не работает, а сами они раскололись на фракции, которые свергли Францию в войну и затопили ее почву организованными массовыми убийствами.

Мы очень мало знаем о впечатлении, произведенном на молодого Бонапарта первыми событиями революции. Его записная книжка, кажется, даже показывает, что он рассматривал их как неудобное вмешательство в его планы относительно Корсики. Но постепенно Революция возбуждает его интерес. В сентябре 1789 года мы застаем его в отпуске на Корсике, разделяющим надежды островитян на то, что их представители во французском Национальном собрании получат дарованную независимость. Он призывает своих соотечественников поддержать демократическое дело, которое обещает скорейшее избавление от злоупотреблений властей. Он призывает их надеть новую трехцветную кокарду, символ парижского триумфа над старой монархией; сформировать клуб; прежде всего, организовать Национальную гвардию. Молодой офицер знал, что военная мощь переходит от королевской армии, теперь переполненной недовольством, к Национальной гвардии. Здесь, несомненно, было спасение Корсики. Но вмешивается французский губернатор Корсики. Клуб закрыт, а Национальная гвардия разогнана. Вслед за этим Бонапарт выражает решительный протест против тирании губернатора и обращается к Национальному собранию Франции с просьбой о каких-либо гарантиях гражданской свободы. Его имя стоит во главе этой петиции, что является достаточно смелым шагом для младшего лейтенанта, находящегося в отпуске. Но его патриотизм и дерзость ведут его еще дальше. Он отправляется в Бастию, официальную столицу своего острова, и оказывается вовлеченным в стычку между населением и королевскими войсками (5 ноября 1789 года). Французские власти, к счастью для него, почти бессильны: его просто просят вернуться в Аяччо; и там он заново организует гражданскую силу и подает островитянам-диссидентам пример хорошей дисциплины, выставив охрану у дома своего личного оппонента.

Теперь произошли и другие события, которые начали ослаблять его неприятие Франции. Благодаря красноречивым усилиям Мирабо корсиканским патриотам, остававшимся в изгнании с 1768 года, было разрешено вернуться и пользоваться всеми правами гражданства. Вряд ли друзья свободы в Париже или даже сам государственный деятель могли предвидеть все последствия этой акции: она смягчила чувства многих корсиканцев к своим завоевателям;

прежде всего, это заставило сердце Наполеона Бонапарта впервые забиться в унисон с сердцем французской нации. Его чувства к Паоли также начали остывать. Поведение этого прославленного изгнанника подвергло его обвинению в неблагодарности по отношению к Франции. Декрет Национального собрания Франции, восстановивший его в гражданстве Корсики, был дополнен такими актами вежливости, какие щедрая французская природа может так удачно обойтись без него. Louis XVI. и Национальное собрание тепло приветствовало его и признало главой Национальной гвардии острова. Тем не менее, несмотря на все поздравления, Паоли увидел приближение анархии и вел себя с некоторой сдержанностью. Внешне, однако, согласие, казалось, было обеспечено, когда 14 июля 1790 года он высадился на Корсике; но ненависть, которую горцы и рыбаки долгое время лелеяли против Франции, не удалось изгнать несколькими демонстрациями. По правде говоря, остров был глубоко взволнован. Священники поднимали народ против недавно принятого Гражданского устройства духовенства; и одно из таких волнений поставило под угрозу жизнь самого Наполеона. Он и его брат Джозеф случайно проходили мимо, когда одна из процессий священников и преданных вызвала жалость и негодование горожан. Двум братьям, которые теперь были хорошо известны как сторонники Революции, угрожала расправа, и их спасло только их собственное твердое поведение и вмешательство миротворцев.

С другой стороны, передача местного самоуправления острову, как одному из департаментов Франции, выявила неожиданные трудности. Бастиа и Аяччо упорно боролись за честь быть официальной столицей. Паоли поддерживал претензии Бастии, тем самым раздражая чемпионов Аяччо, среди которых выделялись Буонапартес. Раскол усилился из-за диктаторского тона Паоли, поведения, которое вскоре стало лидером гражданской силы. На самом деле вскоре стало очевидно, что Корсика - слишком маленькая территория для таких способных и властных натур, как Паоли и Наполеон Бонапарт.

Первая встреча этих двух мужчин, должно быть, вызвала большой интерес. Это было на роковом поле Понте Нуово. Наполеон, несомненно, прибыл туда в духе истинного поклонения героям. Но поклонение героям, способное выдержать напряжение реального общения, действительно встречается редко, особенно когда ожидающий преданный наделен острой пронизательностью и привычкой к резким выражениям. Одна фраза дошла до нас в результате интервью; но эта фраза содержит в себе огромный смысл. После того как Паоли объяснил расположение своих войск против французов у Понте-Нуово, Бонапарте сухо заметил своему брату Жозефу: "Результатом этих действий стало то, что было неизбежно". ^[13]

В настоящее время Буонапартес и другие корсиканские демократы были пристально озабочены преступлениями графа де Буттафуоко, депутата от двенадцати дворян острова в Национальном собрании Франции. В письме, написанном 23 января 1791 года, Бонапарт обрушивает на этого человека поток оскорблений. — Именно он предал свою страну Франции в 1768 году. Личный интерес и только он один побуждал его к действиям тогда и всегда. Французское правление было прикрытием для его замысла подчинить Корсику "абсурдному феодальному режиму" баронов. В своем эгоистичном роялизме он протестовал против новой французской конституции как неподходящей для Корсики, "хотя она была точно такой же, как та, что принесла нам столько добра и была отнята у нас только среди потоков крови". — Письмо примечательно южным накалом страстей и некоторым ужесточением тона по отношению к Паоли. Буонапартес пишет о Паоли, что тот всегда был "окружен энтузиастами и не мог понять в человеке никакой другой страсти, кроме фанатизма свободы и независимости", и что

Буттафуоко одурачил его в 1768 году.^[14] Эта фраза явно отсылает к Паоли 1791 года, окруженному людьми, которые разделяли его долгое изгнание и считали английскую конституцию своим образцом. Буонапарте, напротив, является признанным защитником французской демократии, его яростное послание напечатано якобинским клубом Аяччо.

Выпалив эту тираду, Бонапарт вернулся в свой полк в Оксоне (февраль 1791 г.). Это было давно пора, поскольку его отпуск, хотя и продленный по причине плохого самочувствия, истек в октябре прошлого года, и, следовательно, ему грозило шестимесячное тюремное заключение. Но молодой офицер верно оценил слабость умирающей монархии, и офицеры его почти взбунтовавшегося полка были рады заполучить его обратно на любых условиях. Повсюду в своем путешествии по Провансу и Дофине Бонапарт видел торжество революционных принципов. Он отмечает, что крестьяне, как и рядовой состав полка, стоят за революцию. Офицеры - аристократы, как и три четверти тех, кто принадлежит к "хорошему обществу": таковы и все женщины, ибо "Свобода прекраснее их и затмевает их". Революция, очевидно, все больше овладевала его разумом и несколько размыла его замкнутые чувства, когда отпор Паоли еще больше ослабил его связи с Корсикой. Буонапарте посвятил ему свою работу о Корсике и послал ему рукопись на одобрение. После того как старик бессовестно промолчал, он холодно ответил, что не желает чести панегирика Бонапарту, хотя и сердечно благодарит его за это; что сознания того, что он выполнил свой долг, ему достаточно в старости; и, что касается остального, историю не следует писать в молодости. На дальнейшую просьбу Жозефа Буонапарте вернуть забытую рукопись последовал ответ, что у него, Паоли, не было времени рыться в своих бумагах. Как после этого могло существовать поклонение героям?

Четыре месяца, проведенные Бонапартом в Оксоне, действительно, были временем разочарований и лишений. Из своих скудных средств он оплатил образование своего младшего брата Луи, который делил с ним в остальном заброшенное жилище. Комната, почти пустая, если не считать кровати без занавесок, стола, заваленного книгами и бумагами, и двух стульев — таково было окружение лейтенанта весной 1791 года. Он жил на хлеб, чтобы вырастить своего брата для армии, и мог покупать книги, вне себя от радости, когда его сбережения достигали цены на какой-нибудь желанный том.

Возможно, удручающие условия его жизни в Оксоне объясняют резкий тон эссе, которое он написал там в конкурсе на премию Лионской академии на тему "Какие истины и чувства следует прививать людям для их счастья". Она оказалась неудачной, и современные читатели согласятся с вердиктом одного из судей, что она была неуместна по аранжировке и отличалась плохим и рваным стилем. Мысли изложены отрывистыми, страстными фразами; и вместо *чувствительности* некоторых из его ранних излияний мы чувствуем здесь ледяное дыхание материализма. Он рассматривает идеальное человеческое общество как геометрическую структуру, основанную на определенных четко определенных постулатах. Все люди должны быть способны удовлетворять определенные элементарные потребности своей природы; но все, что выходит за рамки, сомнительно или вредно. Идеальный законодатель ограничит богатство, чтобы вернуть богатым их истинную природу — и так далее. От какого-либо великодушного взгляда на более широкие возможности человеческой жизни не осталось и следа. Его эссе - апофеоз социальной посредственности. Прокрустовыми методами он мог бы вернуть человечество на унылые уровни Спарты: опаловое сияние афинской жизни было выше его понимания. Но, пожалуй, самым любопытным отрывком является тот, в котором он проповедует против греха и безумия честолубия. Он изображает Амбиции как фигуру с

бледными щеками, дикими глазами, торопливой походкой, резкими движениями и сардонической улыбкой, для которой преступления - спорт, в то время как ложь и клевета - всего лишь аргументы и фигуры речи. Затем словами, напоминающими сатиру Ювенала на карьеру Ганнибала, он продолжает: "Что делает Александр, когда он устремляется из Фив в Персию, а оттуда в Индию? Он вечно неугомонен, он теряет рассудок, он считает себя Богом. Каков конец Кромвеля? Он правит Англией. Но разве его не терзают все кинжалы фурий?" Эти слова звучат фальшиво даже для этого периода жизни Бонапарта; и можно легко понять его острое желание в последующие годы сжечь все экземпляры этих юношеских эссе. Но почти все они выжили; и обличительная речь против амбиций сама по себе служит пером, которым история может направить свою стрелу против величественного полета имперского орла. ^[15]

В середине лета его переводят в звании старшего лейтенанта в другой полк, который случайно расквартирован в Валенсе; но его второе пребывание там примечательно только признаками растущей преданности делу революции. Осенью 1791 года он снова в отпуске на Корсике и остается там до мая следующего месяца. Он находит остров раздираемым междоусобицами, описывать которые было бы утомительно. Достаточно сказать, что разрыв между Паоли и Бонапартами постепенно расширялся из-за подозрительности диктатора ко всем, кто поддерживал Французскую революцию. Молодой офицер, конечно, ничего не сделал, чтобы закрыть брешь. Преисполненный решимости добиться своего избрания подполковником новой Национальной гвардии Корсики, он потратил много времени на то, чтобы набрать рекрутов, которые проголосовали бы за него. Далее он обеспечил себе успех, приказав одному из комиссаров, действовавшему в интересах Паоли, увести его от друзей и задержать в доме Буонапартеса в Аяччо — это был его первый *переворот* ^[16] За этим последовали более странные события. На Пасху, когда люди были взволнованы указами о преследовании духовенства и закрытием монастыря, между населением и ротами национальной гвардии Буонапарте произошла ожесточенная драка. Возникнув из мелкой ссоры, которую подхватили рьяные приверженцы, она охватила весь город и дала пылкому молодому якобинцу шанс свергнуть своих врагов. Его планы даже простирались до захвата цитадели, где он пытался отвлечь французский полк от исполнения долга перед офицерами, которых он называл аристократами. Попытка провалилась. Возможно, едва ли можно разглядеть всю правду среди паутины лжи, которая быстро окутала это дело; но не может быть никаких сомнений в том, что на второй день сражения национальная гвардия Бонапарта начала бой и впоследствии угрожала регулярным войскам в цитадели. Конфликт был окончательно остановлен комиссарами, присланными Паоли, и добровольцы были отосланы из города.

Положение Бонапарта теперь казалось отчаянным. Его поведение навлекло на него ненависть большинства его сограждан и упреки военного министерства Франции. Фактически, он согрешил вдвойне: фактически превысил свой отпуск на четыре месяца: технически он был виновен, во-первых, в дезертирстве, а во-вторых, в государственной измене. В обычное время его бы расстреляли, но времена были экстраординарные, и он справедливо рассудил, что когда назревала континентальная война, самый смелый ход был также и самым благоразумным, а именно отправиться в Париж. Туда Паоли позволил ему проследовать, несомненно, из принципа, чтобы дать молодому сумасброду веревку, на которой он мог повеситься.

По прибытии в Марсель он слышит, что Франция объявила войну Австрии за республиканское министерство, возглавляемое Людовиком XVI. недавно они были вынуждены согласиться, полагая, что война против абсолютного монарха усилит революционный пыл во Франции и

ускорит приход Республики. Их предположения были верны. Бонапарт, прибыв в Париж, стал свидетелем заключительных сцен правления Людовика XVI. 20 июня он видел, как толпа ворвалась в Тюильри и в течение нескольких часов оскорбляла короля и королеву. Хотя он горячо поддерживал принципы Революции, его патрицианская кровь вскипела при виде этих вульгарных безобразий, и он воскликнул: "Почему бы им не смести пушками четыреста или пятьсот этих *канарейек*? Тогда остальные достаточно быстро разбежались бы ". Замечание многозначительное. Если его мозг одобрял якобинское кредо, его инстинкты всегда были на стороне монархии. Его карьера заключалась в том, чтобы примирить свой разум с инстинктами и навязать уставшей Франции любопытный компромисс революционного империализма.

10 августа из окна магазина недалеко от Тюильри он наблюдал за странными событиями, которые нанесли *смертельный удар* умирающей монархии. И снова вождь внутри него встал на сторону стервятнического сброда и благонамеренного монарха, который держал свои войска в сдержанной обороне. "Если бы Людовик XVI, - так писал Бонапарт своему брату Жозефу, - сел на коня, победа была бы за ним — я сужу об этом по настрою, царившему утром". Когда все было кончено, когда Людовик вложил шпагу в ножны и укрылся в Национальном собрании, когда свирепые марсельцы резали швейцарских гвардейцев и телохранителей короля, Бонапарт бросился вперед, чтобы спасти одного из этих несчастных от сабли южанина. "Товарищ южанин, давайте спасем этого беднягу.— Вы с юга? — Да.— Хорошо, мы спасем его".

В целом, каким временем разочарования это было для молодого офицера. Какие глубины жестокости и непристойности это выявило в парижской черни. Какая глупость относиться к ним с христианской снисходительностью, проявленной Людовиком XVI. Насколько больше подходила карточка, чем заповеди блаженства. Этот урок был припасен для использования в будущем во время несколько похожего кризиса на этом самом месте.

В течение нескольких дней, когда победоносный Париж оставил Людовику фиктивный титул короля, Бонапарт получил свое капитанское звание, которое было подписано для короля военным министром Серваном. Таким образом, революционное правительство пропустило мимо ушей его двойное нарушение военной дисциплины в Аяччо. Революционный девиз "La carrière ouverte aux talents" никогда так ярко не проявлялся, как в легком попустительстве его проступкам и в этом быстром продвижении по службе. Это было действительно время, чреватое огромными возможностями для всех офицеров-республиканцев или якобинцев. Их коллеги-монархисты устремлялись через границы, чтобы присоединиться к австрийским и прусским захватчикам. Но национальные гвардейцы набирались десятками тысяч, чтобы изгнать прусских и австрийских захватчиков; и когда Европа ожидала увидеть, что Франция падет навсегда, она с удивлением увидела, как ее силы обновились, как по волшебству. Позже он узнал, что эта сила была силой Антея, крестьянства, прочно укоренившегося на своей родной почве. Нужны были только организация и хорошее руководство, чтобы превратить эти пылкие массы в самых грозных солдат; и блестящие военные перспективы, открывшиеся теперь, несомненно, еще теснее связали чувства Бонапарта с делом Франции. Таким образом, 21 сентября, когда новое Национальное собрание, известное как Конвент, провозгласило Республику, мы вполне можем поверить, что искренние убеждения, не менее проникательные расчеты побудили его пойти на все ради нового демократического содружества. ^[17]

Однако в настоящее время семейный долг побуждает его вернуться на Корсику. Он получает разрешение сопроводить домой свою сестру Элизу, и в третий раз мы застаем его в отпуске на

Корсике. Такое ослабление военной дисциплины в условиях такого кризиса объяснимо только при предположении, что революционные вожди знали о его преданности их делу и полагали, что его влияние на острове сделает его неофициальные услуги там более ценными, чем его полковые обязанности в армии, вторгшейся в Савойю в то время. Ибо слово "Республика", которое будоражило его воображение, было оскорблением для Паоли и большинства островитян; а фраза "Республика единая и неделимая", всегда звучавшая на устах французов, казалось, обещала, что остров должен стать жалкой копией Франции — Франции, в которой сейчас правили виновники отвратительных сентябрьских массовых убийств. Таким образом, французская партия на острове быстро приходила в упадок, и Паоли готовился разорвать союз с Францией. За это он подвергся жестоким нападкам как предатель. Но, с точки зрения Паоли, приобретение острова Францией было откровенным предательством; и его верности Франции технически пришел конец, когда король был насильственно свергнут с престола и была провозглашена Республика. Использование названия "предатель" в таком случае является просто детским оскорблением. Это не может быть оправдано ни ссылкой на закон, справедливость, ни на народные настроения того времени. Вскоре факты показали, что островитяне были яростно настроены против партии, господствовавшей тогда во Франции. Эта враждебность кланового, религиозного и консервативного населения к кровожадным и атеистическим новаторам, которые тогда господствовали во Франции, не уменьшилась и от действий примерно шести тысяч французских добровольцев, отбросов южных портов, которые высадились в Аяччо для похода против Сардинии. В своем рвении к свободе, равенству и братству эти *"красные шляпы"* подрались с жителями Аяччо, троих из которых они повесили. Возмущение, вызванное этим безобразием, было настолько сильным, что план совместной экспедиции по освобождению Сардинии от монархической тирании пришлось изменить; и Бонапарте, который снова командовал батальоном корсиканской гвардии, предложил, чтобы островитяне поодиночке атаковали острова Мадалена.

Эти острова, расположенные между Корсикой и Сардинией, представляют двойной интерес для изучающих историю. Одному из них, Капрере, было суждено приютить другого итальянского героя на закате его карьеры, благородного самоотверженного Гарибальди: главный остров группы был целью первого очерка Буонапарте о регулярной войне. После некоторых задержек небольшой отряд отплыл под командованием Чезари-Колонны, племянника Паоли. Согласно официальному заявлению самого Бонапарта в конце дела, он успешно высадил своих людей недалеко от города для атаки и привел оборону Сардинии в замешательство, когда предательский приказ его начальника предписал ему прекратить огонь и вернуться на корабли. Также было заявлено, что это отступление стало результатом тайного соглашения между Паоли и Чезари-Колонна о том, что экспедиция должна провалиться. Это кажется весьма вероятным. Чезари-Колонна назвал мятеж на борту головного корабля флотилии причиной своего приказа об отступлении; но мятежи бывают бесконечные, и этот, возможно, был уловкой паолистов, чтобы сорвать план Бонапарта и оставить его в плену. Как бы то ни было, молодой офицер спас себя и своих людей только тем, что поспешно отступил к лодкам, сбросив в море мортиру и четыре пушки. Таков был финал первого военного предприятия великого полководца.

По возвращении в Аяччо (3 марта 1793 г.) Буонапарте застал дела в полном беспорядке. Недавно поступили известия об объявлении Французской Республикой войны Англии и Голландии. Более того, младший брат Наполеона, Люсьен, тайно донес на Паоли французским властям в Тулоне; и теперь из Парижа были отправлены три комиссара с приказом распустить

корсиканскую национальную гвардию и передать корсиканского диктатора в подчинение французскому генералу, командующему армией Италии.^[18]

Теперь разыгрывается игра с поистине макьявеллиевским мастерством. Французские комиссары, среди которых корсиканский депутат Саличетти, безусловно, самый способный, приглашают Паоли отправиться в Тулон, чтобы там согласовать меры по защите Корсики. Паоли, разгадав уловку и предчувствуя гильотину, умоляет, что его возраст делает путешествие невозможным; но вместе со своими друзьями он спокойно готовится к сопротивлению и удерживает цитадель Аяччо. Тем временем комиссары делают дружеские предложения старому вождю; в них участвует Наполеон, не зная о действиях Люсьена в Тулоне. Искренность этих предложений вполне может быть поставлена под сомнение, хотя Буонапарте все еще выражал привязанность к своему бывшему кумиру. Как бы то ни было, всякая надежда на компромисс рушится фанатиками, стоящими у власти в Париже. 2 апреля они приказывают французским комиссарам любыми средствами задержать Паоли и доставить его во французскую столицу. Сразу же со всех концов Корсики раздается крик негодования, и Бонапарт составляет декларацию, оправдывающую поведение Паоли и умоляющую Французский конвент отменить свое постановление.^[19] Опять же, нельзя не заподозрить, что это заявление предназначалось в основном, если не исключительно, для местного потребления. В любом случае, это не смогло охладить негодование населения, и партизаны Франции вскоре подрались с паолистами.

Саличетти и Буонапарте теперь планируют различными уловками отвоевать цитадель Аяччо у паолистов, но хитрость трижды срыгается хитростью же проницательной. Потерпев неудачу здесь, молодой капитан пытается связаться с французскими комиссарами в Бастии. Он тайно отправляется в путь с верным пастухом в качестве спутника, чтобы пересечь остров, но в деревне Боконьяно его узнают и заключают в тюрьму партизаны Паоли. Некоторые жители деревни, однако, сохранили свою старую привязанность к семье Буонапарте, у которой здесь есть родовое поместье, и тайно освободили его. Он возвращается в Аяччо только для того, чтобы найти приказ о его аресте, выданный корсиканскими патриотами. На этот раз он сбегает, вовремя спрятавшись в гроте сада друга; и с территории другого семейного родства он, наконец, уплывает на корабле в безопасное место, откуда добирается до Бастии. Тем не менее, хотя он и находится в бегах, он упорно продолжает верить, что Аяччо в душе француз, и настаивает на отправке освободительных сил. Французские уполномоченные соглашаются, и экспедиция отправляется в плавание — только для того, чтобы потерпеть полный провал. Аяччо, как один человек, дает отпор французским партизанам; и, когда поднимается сильный ветер, Бонапарте и его люди с величайшим трудом добираются до своих лодок. Неподалеку он находит свою мать, дядю, братьев и сестер. Мадам Бонапарте с необычайным упорством воли, присущим ее знаменитому сыну, хотела защитить свой дом в Аяччо от враждебного населения, но, уступив настоятельным предостережениям друзей, в конце концов бежала в ближайшее безопасное место и оставила дом на растерзание черни, которая чуть не разрушила его.

На короткое время Бонапарт цеплялся за надежду вернуть Корсику Республике, но теперь только с помощью французских войск. Дело в том, что островитяне, уязвленные требованием Французского конвента отправить Паоли в Париж, перешли на сторону диктатора, и престарелый вождь пытался заключить союз с Англией. Партизаны Франции, которым теперь угрожала морская мощь Англии, оказались в совершенно невыгодном положении. Даже стальная воля Бонапарта была сломлена. На этом его карьера на Корсике подошла к концу, и вместе со своими родными он отплыл во Францию.

Интерес вышеописанных событий заключается не в их внутренней важности, а в ярком доказательстве, которое они дают удивительным способностям ума и воли Буонапарте. В проигранном деле и в мелкой сфере он проявляет все качества, которые при благоприятных предзнаменованиях приводили его к господству на Континенте. Он упорно сражается за каждую пядь земли; в каждой критической ситуации он проявляет истинно итальянскую изобретательность, обходя препятствия или стремясь разрушить их одной лишь дерзостью, видя людей насквозь, обольщая их своими намеками или внушая им благоговейный трепет своим умственным превосходством, всегда преисполненный решимости испытать непостоянную нефритовую Удачу до предела и отступая только перед неизбежным. Единственная слабость, обнаруживаемая в этой натуре, в остальном сочетающаяся с силой, - это избыток силы воли над всеми способностями, которые способствуют благоразумию. Его живое воображение только разжигает в нем полную уверенность в том, что он должен преодолеть все препятствия.

И все же, если бы он сейчас перестал хорошо взвешивать уроки прошлого, до сих пор изобиловавшего лишь неудачами и противоречиями, он должен был бы увидеть бессилие собственной воли в конфликте с силами эпохи; ибо теперь он порвал связь с патриотами Корсики, за дело которых всего два года назад был самым страстным защитником. Очевидно, что раскол, который окончательно разделил Буонапарте и Паоли, возник из-за расхождения во взглядах на Французскую революцию. Паоли принимал революционные принципы лишь постольку, поскольку они обещали основать свободу на должном балансе классовых интересов. Он был последователем Монтескье. Он страстно желал видеть на Корсике конституцию, подобную конституции Англии или Франции 1791 года. Эта надежда исчезла одинаково для Франции и Корсики после падения монархии; и по отношению к Якобинской республике, которая изгнала ортодоксальных священников и гильотинировала любезного Людовика, Паоли с тех пор не испытывал ничего, кроме отвращения: "Мы были врагами королей, - сказал он Жозефу Бонапарте. - Давайте никогда не будем их палачами". С тех пор он неизбежно скатился к союзу с Англией.

Буонапарт, с другой стороны, был последователем Руссо, чьи идеи пришли к власти после падения монархии. Несмотря на крайности, о которых он всегда сожалел, эта вторая Революция казалась ему зарей новой и разумной эпохи. Четкие определения нового политического кредо соответствовали его собственным жестким взглядам на жизнь. Человечество должно было быть спасено законом, общество все выравнивалось и выравнивалось до тех пор, пока не будут достигнуты идеалы Ликурга. Следовательно, он рассматривал Республику как могущественное средство социального возрождения не только Франции, но и всех народов. Его островные настроения постепенно влились в эти более обширные планы. Личный интерес и дифференцирующие эффекты партийных распрей, несомненно, способствовали ментальной трансформации; но ясно, что изучение "Общественного договора" было пробным камнем его раннего интеллектуального роста. Он обратился к творчеству Руссо, чтобы углубить свой корсиканский патриотизм: там он впитал доктрины, которые неудержимо вовлекли его в водоворот Французской революции и ее пропагандистских и завоевательных войн.

ГЛАВА III

ТУЛОН

Когда Бонапарт покинул Корсику и направился к берегам Прованса, его карьера была примечательна только странным контрастом между блеском его дарований и полным провалом всех его предприятий. Его французское партизанство, как казалось, привело к краху его собственного состояния и состояния его семьи. В возрасте двадцати четырех лет он был известен только как неудачливый лидер "несбывшихся надежд" и изгнанник с острова, вокруг которого были сосредоточены его самые сокровенные мечты. Его высадка на французском побережье казалась не более многообещающей, поскольку в то время Прованс был на грани восстания против революционного правительства. Даже такие города, как Марсель и Тулон, которые годом ранее были известны своим республиканским рвением, теперь испытывали отвращение к ходу событий в Париже. Во время третьего апогея революционного неистовства, произошедшего 2 июня 1793 года, более просвещенная из двух республиканских фракций, жирондисты, была свергнута своими противниками, горцами, которые с помощью парижской черни захватили власть. Большинство департаментов Франции возмутились этим насилием и взялись за оружие. Но жители Гор действовали с необычайной энергией: они объявили жирондистов в союзе с захватчиками и обвинили своих противников в заговоре с целью разделения Франции на федеративные республики. Комитет общественной безопасности, теперь пришедший к власти в Париже, издал указ о *массовом* сборище дееспособных патриотов для защиты священной земли Республики, и "организатор победы" Карно вскоре довел до ужасающей эффективности войска, возникшие на этой земле. На своей стороне жирондисты не имели никакой организации и были смущены присоединением к ним очень многих роялистов. Следовательно, их колеблющиеся группы быстро уступили под натиском новой, прочной центральной власти.

Движению, столь лишенному определенности, как движение жирондистов, было суждено скатиться в абсолютную оппозицию людям Горы: оно было обречено стать роялистским. Конечно, это не вызвало поддержки у Наполеона. Его наклонности видны в его брошюре "Суп из Бокера", которую он опубликовал в августе 1793 года. Он написал это в перерывах между какими-то полковыми работами, которые подвернулись под руку, и его проход через маленький городок Бокер, по-видимому, подсказал живописную обстановку для этого небольшого диалога. Предполагается, что это запись беседы между офицером - самим Бонапарте - двумя марсельскими купцами и гражданами Нима и Монпелье. В нем подчеркивается необходимость совместных действий под руководством якобинцев. Офицер напоминает марсельцам о великих

услугах, которые их город оказал делу свободы. Пусть Марсель никогда не опозорит себя, призвав испанский флот для защиты от французов. Пусть она помнит, что эта гражданская распря была частью смертельной схватки между французскими патриотами и европейскими деспотами. Это был, действительно, практический момент, о котором шла речь; суровая логика фактов склоняла на сторону якобинцев всех трезвомыслящих людей, которые были полны решимости, что Революция не должна быть подавлена иностранными захватчиками. Исходя из простой целесообразности, люди должны сплотиться ради Якобинской республики. Любое преступление может быть оправдано при условии, что люди, находящиеся сейчас у власти в Париже, спасут страну. Лучше их тирания, чем месть эмигрантской *знати*. Таков был инстинкт большинства французов, и это спасло Францию.

Как *разоблачение* проницательной политики и всепоглощающего оппортунизма, "Суп из Бокера" достоин восхищения. В условиях национального кризиса оправданно все, что спасает государство, — таков его аргумент. Люди горы способнее и сильнее жирондистов; поэтому марсельцы глупы, если не кланяются людям Горы. Автор не испытывает симпатии к великодушным молодым жирондистам, которые, вдохновленные мадам Ролан, стремились установить республику добродетелей, даже когда они мечом обращали монархическую Европу в свою веру. Мало кто из мужчин может сейчас незамутненным взором прочесть трагическую историю своего падения. Но события 1793 года превратили корсиканского юношу в сухоглазого оппортуниста, который отвергает жирондистов, как отбросил бы неисправный инструмент: более того, он обвиняет их как "виновных в величайшем из преступлений". ^[20]

Тем не менее Бонапарт понимал всю пагубность сложившейся ситуации. Он устал от гражданских распр, в которых, казалось, нельзя было добиться славы. Он должен прорубить себе путь к богатству, хотя бы для того, чтобы прокормить свою семью, которая сейчас кочевала из деревни в деревню Прованса и существовала на ничтожные суммы, выдаваемые Республикой корсиканским изгнанникам.

Поэтому он подал прошение, хотя и безуспешное, об обмене полками в Рейнскую армию. Но пока он занимался административной рутинной в Провансе, его обязанности привели его поближе к Тулону, где Республика столкнулась лицом к лицу с торжествующим роялизмом. Час пробил: теперь появился этот человек.

В июле 1793 года Тулон присоединился к другим городам юга в заявлении против якобинской тирании; и городские роялисты, отчаявшись добиться успеха в борьбе с войсками Конвента, впустили английские и испанские эскадры в гавань, чтобы удержать город до Людовика XVII (28 августа). Это событие вызвало электрический трепет во Франции. Это была кульминация длинной череды катастроф. Лион поднял белый флаг бурбонов и отчаянно оборонялся от войск Конвента: крестьяне-роялисты Вандеи несколько раз обращали Национальную гвардию в полное бегство; испанцы переходили Восточные Пиренеи; пьемонтцы были у ворот Гренобля; а на севере и на Рейне бушевало сомнительное сражение.

Таково было состояние Франции, когда Бонапарт приблизился к республиканским войскам, расположенным лагерем близ Оллиуля, к северо-западу от Тулона. Он застал их в беспорядке: их командир Карто оставил мольберт, чтобы постичь военное искусство, и не имел представления о дальноточности своих немногих пушек; Доммартен, их командующий артиллерией, был выведен из строя ранением; а комиссары Конвента, которым было поручено придать новый импульс операциям, были в растерянности из-за нехватки людей и боеприпасов.

Одним из них был Саличетти, который приветствовал его приход как дар божий и убеждал его занять место Доммартина. Таким образом, 16 сентября худая, желтоватая, изможденная фигура приняла командование артиллерией.

Республиканцы угрожали городу с двух сторон. Карто с примерно 8000 человек удерживал холмы между Тулоном и Оллиулем, в то время как корпус численностью 3000 человек под командованием Лапуа наблюдал за крепостью со стороны Ла-Валетт. Несмотря на плохое руководство, они вырвали долину к северу от горы Фарон у аванпостов союзников и почти завершили оборону осаждающих (18 сентября). Фактически, гарнизона, состоявшего всего из 2000 британских военнослужащих, 4000 испанцев, 1500 французских роялистов, а также нескольких неаполитанцев и пьемонтцев, было недостаточно для защиты многих позиций вокруг города, от которых зависела его безопасность. Действительно, генерал Грей написал Питту, что для гарнизона этого места требовалось 50 000 человек; но, поскольку это вдвое превышало численность британской регулярной армии того времени, английский министр мог надеяться только на прибытие австрийского корпуса и нескольких сотен британцев. ^[21]

До прибытия Бонапарта у якобинцев не было артиллерии: правда, у них было несколько полевых орудий, четыре более тяжелых орудия и две мортиры, которые беспомощно рассматривал сержант; но у них не было ни боеприпасов, ни инструментов, а главное, не было метода и дисциплины. Вот и представилась возможность, по которой он так тосковал. Он сразу же берет тон мастера. "Занимайтесь своим делом, а я займусь своим", - восклицает он назойливым пехотинцам. "Крепости берет артиллерия: пехота оказывает свою помощь". Тяжелая работа последних недель теперь приносит плодотворные результаты: его методичный ум, размышляющий над царящим перед ним хаосом, вспоминает ту или иную деталь в каком-нибудь прибрежном форте или журнале; его энергия расходуется на неторопливость провансальцев, и через несколько дней у него есть приличный артиллерийский парк — четырнадцать пушек, четыре мортиры и необходимые припасы. Вкратце члены Комиссии демонстрируют свое одобрение его заслуг, повышая его в звании до *шеф-повара батальона*.

К этому времени ситуация начала меняться в пользу Республики. 9 октября Лион пал перед якобинцами. Эта новость придает новый импульс якобинцам, чье левое крыло (1 октября) подверглось жестокому нападению союзников на горе Фарон. Прежде всего, артиллерия Бонапарта может быть еще больше усилена. "Я отправил, - писал он военному министру, - умного офицера в Лион, Бриансон и Гренобль, чтобы раздобыть то, что могло бы нам пригодиться. Я обратился к армии Италии с просьбой снабдить нас пушками, которые сейчас бесполезны для обороны Антиба и Монако.... Я организовал в Оллиуле арсенал с 80 рабочими. Я реквизирувал лошадей из Ниццы прямо в Валанс и Монпелье.... Я заказываю изготовление 5000 габионов каждый день в Марселе ". Но он был больше, чем просто организатор. Он всегда был со своими людьми, воодушевляя их собственным рвением: "Я всегда находил его на своем посту, - писал Доппет, который теперь сменил Карто. - Когда ему требовался отдых, он лежал на земле, завернувшись в свой плащ: он никогда не покидал батареи". Там, среди осенних дождей, он заболел лихорадочными симптомами, которые в течение нескольких лет усиливали бледность его щек и прорезали круги под глазами, придавая ему тот жуткий, почти призрачный вид, от которого мурашки пробегали по коже у всех, кто видел его впервые и не знал о той огненной энергии, которая горела внутри. Там также его рвение, его неиссякаемая находчивость, его бульдожья храбрость и то неопределимое качество, которое отличает гениальность от таланта, быстро покорили сердца французских солдат. Здесь должно быть

достаточно одного примера этой магнетической силы. Он приказал построить батарею так близко от форта Малгрейв, что, по словам Саличетти, она находилась на расстоянии пистолетного выстрела от английских орудий. Если бы это сработало, его эффект был бы решающим. Но кто мог бы это сделать? В первый день все артиллеристы были убиты или ранены, и даже безрассудные якобинцы дрогнули перед лицом железного града. - Назовите это *батареей "Бесстрашного"*, - приказал молодой капитан. Щедрая французская натура была затронута в самом нежном месте - личной и национальной чести, и с тех пор батарея никогда не испытывала недостатка в полном составе артиллеристов, живых и мертвых.

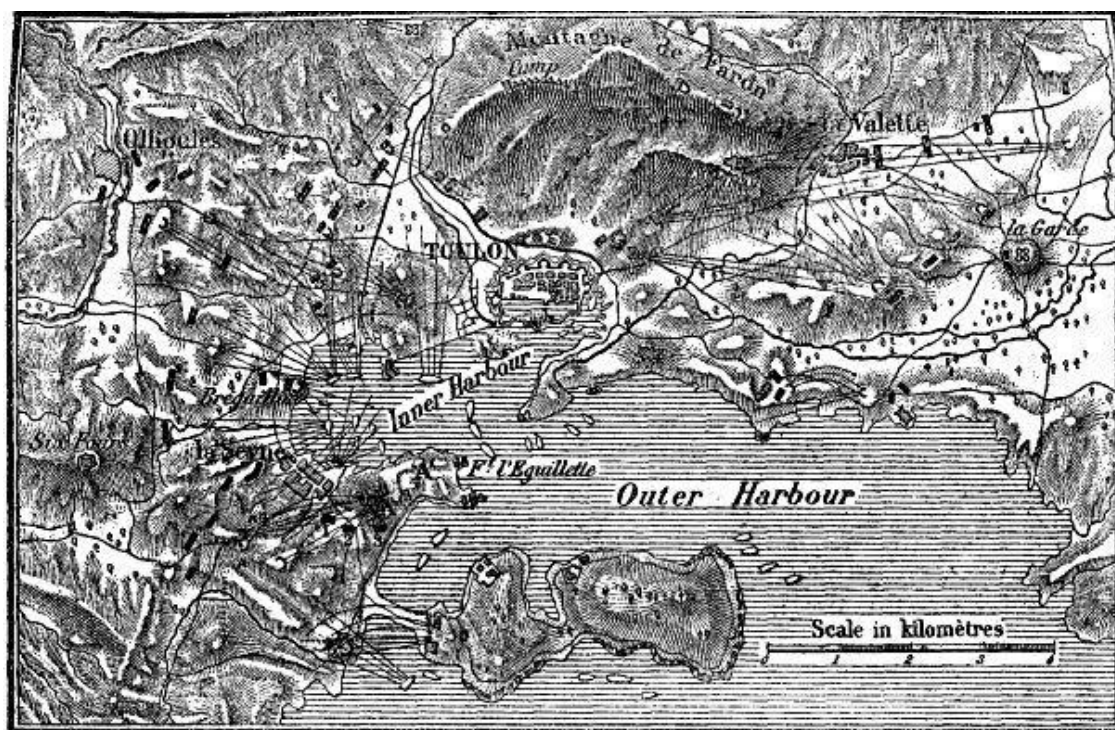
Позиция у форта Малгрейв, или Малого Гибралтара, была, действительно, чрезвычайно важна; ибо, если республиканцы захватят эту господствующую позицию, союзные эскадры могут быть разбиты или, по крайней мере, вынуждены будут отплыть; и с их уходом Тулон должен пасть.

Здесь мы вступаем на территорию, за которую велись ожесточенные бои в словесной войне. Разработал ли план нападения Бонапарт? Или он использовал свой вес и влияние в схеме, разработанной другими людьми рядом с ним? Или он просто выполнял приказы как подчиненный? По словам комиссара Барраса, в последнем случае. Но Баррас находился с восточным крылом осаждающих, то есть в нескольких милях от берегов Ла-Сейн и Л'Эгийет, где сражался Бонапарт. Кроме того, "Воспоминания" Барраса настолько неправдивы в том, что касается Бонапарта, что недостойны серьезного внимания, по крайней мере в этих вопросах. ^[22] Историк М. Юнг аналогичным образом отводит Буонапарте довольно подчиненное положение.

^[23] Но в его повествовании опущены некоторые официальные документы, которые показывают, что Буонапарте сыграл очень важную роль в осаде. Другие авторы утверждают, что влияние Бонапарта на проведение операций в целом было первостепенным и решающим. Так, г-н Дюруи цитирует письмо уполномоченных Конвенту: "Мы позаботимся о том, чтобы не устраивать осаду Тулона обычными средствами, когда у нас будет более надежное средство ослабить ее, то есть сжечь флот противника.... Мы только ждем осадных орудий, прежде чем занять позицию, откуда сможем попасть по кораблям раскаленными ядрами; и мы увидим, не являемся ли мы хозяевами Тулона ". Но само это письмо опровергает утверждение бонапартистов. Оно было написано 13 сентября. Таким образом, *за три дня до прибытия Бонапарта* комиссары полностью приняли решение атаковать Малый Гибралтар; и утверждение о том, что план был разработан Бонапартом, может быть подкреплено только тем, что он предшествовал его прибытию в Тулон.

^[24] Фактически, каждый опытный офицер среди осаждающих и осажденных видел слабое место обороны: в начале сентября Худ и Малгрейв начали укрепление высот за Л'Эгийеттом. Перед лицом этих фактов утверждение о том, что Бонапарт был первым, кто спланировал действия, обеспечившие сдачу Тулона, должно быть отнесено к сфере поклонения героям. (См.

Примечание на стр. 56.)



[ОСАДА ТУЛОНА, 1793 год, из "Истории Франции за революцию 1789 года" Эммануэля Тулужона. Париж, An. XII. [1803].

А. Форт Малгрейв.

Мыс Эгильет.

1 и 2. Батареи.

3. Батарея "Люди без страха".

Черный и заштрихованный прямоугольники обозначают позиции республиканцев и союзников соответственно.]

После того, как Карто был заменен Доппетом, в операции было вложено больше энергии. И все же Буонапарте едва ли испытывал к нему больше уважения. 15 ноября ситуация с аванпостами возле форта Малгрейв показала его слабость. Солдаты с обеих сторон с энтузиазмом вступили в бой; шеренга за шеренгой французы устремлялись к этому хмурому редуту: О'Хара, предводитель союзных войск, подбодрил британцев в вылазке, которая отбросила синих мундиров; после чего Буонапарте возглавил объединяющийся натиск к ущелью редута, когда Доппет протрубил отбой. Наполовину ослепленный яростью и кровью, сочащейся из небольшой раны у него на лбу, молодой корсиканец бросился обратно к Доппету и оскорбил его на языке лагеря: "Наш удар по Тулону не удался, потому что а... сорвал отступление". Солдаты аплодировали этой революционной вольности и осыпали своего командира подобными выражениями.

Несколько дней спустя командование принял рослый воинственный Дюгомье: начали прибывать подкрепления, и в конце концов численность осаждающих возросла до 37 000 человек. Прежде всего, новый командующий дал Бонапарту *карт-бланш* на руководство артиллерией. Соответственно, новые батареи начали окружать Малый Гибралтар со стороны суши; О'Хара, храбро возглавлявший вылазку, попал в руки республиканцев, и защитники

начали падать духом. Самым большим разочарованием стал отказ австрийского двора выполнить свое обещание, торжественно данное в сентябре, направить 5000 регулярных войск для защиты Тулона.

Финальный конфликт произошел в ночь с 16 на 17 декабря, когда проливные дожди, бушующий ветер и вспышки молний добавили новых ужасов к противостоянию. Едва нападавшие покинули защитные стены Ла-Сейна, как лошадь Бонапарта пала под ним, застреленная насмерть; целые роты заблудились в темноте; и все же первая колонна из 2000 человек во главе с Виктором врывается в частокол форта Малгрейв, разрушает их и врывается в редут, но только для того, чтобы грудami упасть перед второй линией обороны: поддерживаемые второй колонной, они сплачиваются, но только для того, чтобы снова сдаться под убийственным огнем. В отчаянии Дюгomme спешит на резервную колонну, с которой Буонапарте переживает ночной кризис. Ведомый доблестным молодым Мюироном, резерв врывается в ущелье смерти; Мюиرون, Буонапарте и Дюгomme прорубают себе путь через ту же амбразуру: их люди набрасываются на превосходящих их по численности красномундирников и испанцев, рубят их у их орудий, и редут завоёван.

Это событие стало решающим. Неаполитанцы, которым было поручено удерживать соседние форты, бросились в море; и сами корабли начали снимать якоря, ибо пушки Бонапарта вскоре обрушили свой залп на флот и на сам город. Но даже в этом отчаянном проливе союзники яростно поворачивали к заливу. Вечером 17 декабря молодой офицер, которому было суждено еще раз помешать планам Бонапарта, повел небольшой отряд отборных людей на верфь, чтобы вырвать из цепких рук якобинцев французские военные корабли, которые не удалось увести. Затем было замечено странное зрелище. Галерные рабы, теперь освобожденные от своих цепей и сбившиеся в разъяренные группы, угрожали незваным гостям. И все же британские моряки разбросали горючие материалы и выпустили на волю демона разрушения. Тотчас же пламя взметнулось вверх по мачтам и сожгло запасы пеньки, смолы и древесины, а взрыв двух пороховых погребов испанцев потряс землю на много миль вокруг. У Наполеона навсегда сохранилась яркая мысленная картина этой сцены, которую он так описал среди ненавистного спокойствия острова Святой Елены: "Вихрь пламени и дыма из арсенала напоминал извержение вулкана, а тринадцать кораблей, пылающих на рейде, были похожи на фейерверки: мачты и формы судов были отчетливо очерчены пламенем, которое длилось много часов и представляло собой беспрецедентное зрелище".^[25] Это зрелище вселило ужас в сердца роялистов Тулона, которые увидели в нем сигнал к дезертирству союзников; и среди зловещей ночи толпы охваченных паникой несчастных заволокли набережные, громко требуя, чтобы их увезли из обреченного города. Отблески пламени, грохот вражеских бомб, взрыв двух пороховых погребов привели в неистовство многие души; и десятки тех, кто не мог найти места в шлюпках, бросились в море, чтобы не встретиться лицом к лицу с пиками и гильотинами якобинцев. Их опасения были слишком обоснованны, ибо две недели спустя Фрерон, комиссар Конвента, хвастался, что ежедневно гибнет двести роялистов.

Остается кратко рассмотреть вопрос, представляющий особый интерес для английских читателей. Намеревалось ли министерство Питта предать доверие французских роялистов и оставить Тулон за Англией? Некоторыми французскими авторами было выдвинуто обвинение в том, что британцы, войдя в Тулон с обещанием передать его в залог Людовику XVII, тем не менее, возомнили себя главенствующими над другими союзниками и заявили о своем намерении сохранить эту крепость. Эти авторы утверждают, что Худ, войдя в Тулон наравне с

испанским адмиралом Лангарой, предъявил претензии на полное командование сухопутными войсками; что английские уполномоченные были направлены для управления городом; и что английское правительство отказалось допустить приезд графа Прованского, который, как старший из двух оставшихся в живых братьев Людовика XVI, имел право действовать от имени Людовика XVII. ^[26] Факты в основном верны, но их интерпретация вполне может быть поставлена под сомнение. Худ, безусловно, вел себя с большим высокомерием по отношению к испанцам. Но когда более вежливый О'Хара прибыл, чтобы принять командование британскими, неаполитанскими и сардинскими войсками, новый командующий согласился отложить в сторону вопрос о верховном командовании. Только 30 ноября британское правительство отправило какую-либо депешу по этому вопросу, который тем временем был урегулирован в Тулоне проявлением того такта, которого Худу, по-видимому, явно не доставало. Весь вопрос был личным, а не национальным.

Еще в меньшей степени поведение британского правительства по отношению к графу Прованскому служило доказательством его намерения удержать Тулон. Отчеты нашего Министерства иностранных дел показывают, что до занятия этой крепости Людовиком XVII мы отказались признать притязания его дяди на регентство. Он и его брат, граф д'Артуа, были печально известны своей непопулярностью во Франции, за исключением роялистов старой школы; и их присутствие в Тулоне, несомненно, вызвало бы неловкие вопросы о будущем правительстве. Поведение Испании до сих пор было аналогичным. ^[27] Но после оккупации Тулона Мадридский суд счел присутствие графа Прованского в этой крепости целесообразным; в то время как министерство Питта придерживалось своего прежнего мнения, настаивало на трудности ведения обороны, если принц присутствовал в качестве регента, поручило мистеру Дрейку, нашему министру в Генуе, использовать все аргументы, чтобы удержать его от поездки в Тулон, и в частном порядке приказал нашим офицерам там, в крайнем случае, отказать ему в разрешении на посадку. Инструкции от 18 октября королевским комиссарам в Тулоне показывают, что Георг III. и его министры полагали, что они скомпрометировали бы дело роялистов, признав регентство; и, конечно, любые попытки союзников нанести ущерб будущему урегулированию сразу же разрушили бы любые надежды на всеобщее объединение на стороне роялистов. ^[28]

Кроме того, если Англия намеревалась удержать Тулон, почему она послала только 2200 солдат? Почему она приняла не только 6900 испанцев, но и 4900 неаполитанцев и 1600 пьемонтцев? Почему она приняла вооруженную помощь 1600 французских роялистов? Почему она срочно умоляла Австрию прислать 5000 белых халатов из Милана? Почему, наконец, в британских официальных депешах нет ни слова о возможном удержании Тулона; в то время как есть несколько ссылок на *контрибуции*, которые Георг III. потребовались бы для покрытия военных расходов — например, на Корсике или в какой-нибудь французской Вест-Индии? Эти депеши убедительно показывают, что Англия не желала сохранять крепость, для которой требовался постоянный гарнизон, равный половине британской армии, в условиях мира; но что она рассматривала ее как хорошую операционную базу для свержения якобинского правления и восстановления монархии; после чего ее услуги должны быть вознаграждены какой-либо подходящей компенсацией, будь то французская Вест-Индия или Корсика. Эти планы были разрушены мастерством Бонапарта и доблестью солдат Дюгомье; но до сих пор не появилось никаких свидетельств, изобличающих министерство Питта в вероломстве, которое Бонапарт, как и почти все французы, приписывал им.

ГЛАВА IV

VENDÉMIAIRE

Следующий период жизни Буонапарте представляет мало интересных особенностей. Его призвали присматривать за оружием и складами для армии Италии, а также инспектировать укрепления и артиллерию побережья. В Марселе его рвение превзошло его благоразумие. Он приказал восстановить крепость, разрушенную во время революции; но когда горожане услышали эту новость, они так яростно запротестовали, что работы были остановлены и был отдан приказ об аресте Бонапарта. Из этого затруднительного положения его спасла дружба младшего Робеспьера и Саличетти, уполномоченных Конвента; но этот инцидент доказывает, что его служба в Тулоне была не настолько блестящей, чтобы возвысить его над общим уровнем заслуженных офицеров, которым аплодировали, пока они преуспевали, но за любое серьезное преступление их могли отправить на гильотину.

В феврале 1794 года он был назначен в Ниццу генералом, командующим артиллерией армии Италии, которая выбила сардинские войска с нескольких позиций между Вентимильей и Онеглией. Оттуда, обогнув перевалы Приморских Альп, они обошли с фланга позиции австро-сардинских войск у Коль-ди-Тенда, которые не поддавались никаким атакам с фронта. Участие Бонапарта в этой поворотной операции, по-видимому, ограничивалось эффективным обращением с артиллерией, и главная заслуга здесь принадлежала Массене, который снискал первые лавры в стране своего рождения. Он был скромного происхождения, но его прямая осанка, гордый оживленный взгляд, короткая проникновенная речь и острые реплики выдавали натуру одновременно активную и осторожную, интеллект расчетливый и уверенный в себе. Таков был человек, которому суждено было обессмертить свое имя во многих состязаниях, пока его слава не померкла перед великим гением Веллингтона.

Большая заслуга в организации этой ранее безуспешной армии принадлежит младшему Робеспьеру, который, будучи комиссаром Конвента, вкладывал свою энергию во все подразделения службы. В течение нескольких месяцев его отношения с Бонапарте были близкими; но можно усомниться в том, простирались ли они до полного сочувствия в политических вопросах. Младший Робеспьер придерживался революционного кредо с достаточным рвением, хотя одно из его писем, датированное Онельей, предполагает, что слава о Терроре пагубно сказывалась на перспективах кампании. В нем говорится, что все соседние

жители бежали перед французскими солдатами, полагая, что они были разрушителями религии и пожирателями младенцев: это было неудобно, поскольку препятствовало поставкам провизии и успеху принудительных займов. Из письма следует, что он был человеком действия, а не идей, и, вероятно, именно это практическое качество связывало Бонапарта с ним дружескими узами. И все же трудно понять идеи Бонапарта о революционном деспотизме, который в то время заливал Париж кровью. Внешне он, казалось, сочувствовал ему. Таково, по крайней мере, свидетельство Марии Робеспьер, с которой сестры Бонапарта были тогда близки. "Бонапарт, - сказала она, - был республиканцем; я даже скажу, что он встал на сторону Горы: по крайней мере, такое впечатление произвели на меня его взгляды, когда я была в Ницце.... Его восхищение моим старшим братом, его дружба с моим младшим братом и, возможно, также интерес, вызванный моими несчастьями, обеспечили мне при консульстве пенсию в размере 3600 франков".^[29] Не менее примечательно более позднее заявление Наполеона о том, что Робеспьер был "козлом отпущения революции".^[30] Таким образом, представляется вероятным, что он разделял якобинскую веру в то, что террор был необходимой, хотя и болезненной стадией очищения политического организма. Его восхищение суровостью Ликурга и его нелюбовь ко всякой излишней роскоши в равной степени подтверждают это предположение; а поскольку он всегда отличался смелостью в своих убеждениях, невозможно представить, чтобы он цеплялся за юбки террористов только из жалкой надежды на будущие благосклонности. Таково альтернативное объяснение его близости с молодым Робеспьером. Некоторые из его неблагодарных поклонников, пытаясь опровергнуть его пособничество террористам, насаживают себя на этот рог дилеммы. Стремясь снять с него обвинение в терроризме, они обвиняют его в пособничестве террористам. Они низводят его с уровня Сен-Жюста до уровня Баррера.

Фраза в одном из писем молодого Робеспьера показывает, что он никогда не был полностью уверен в молодом офицере. Перечислив заслуги своего брата Бонапарта, он добавляет: "Он корсиканец и предлагает только гарантию человека этой нации, который сопротивлялся ласкам Паоли и чье имущество было разорено этим предателем". Очевидно, Робеспьер с некоторым подозрением относился к Бонапарту как к замкнутому Протею, лишенному тех гарантий, умственных и денежных, которые низводят человека до собачьей верности.

И все же, как бы осторожно ни ступал Бонапарт по склонам вулкана революции, ему было суждено ощутить жар центральных пожаров. Недавно ему была доверена миссия в Генуэзскую республику, которая находилась в крайне затруднительном положении. Он подвергся давлению с трех сторон: со стороны английских военных кораблей, атаковавших французский фрегат "Модеста" в генуэзских водах; и со стороны фактического вторжения французов с запада и австрийцев с севера. Несмотря на большие трудности своей задачи, молодой посланник подчинил растерянного дожа и Сенат своей воле. Поэтому он мог бы ожидать благодарности от своей приемной страны, но вскоре после возвращения в Ниццу его арестовали и заключили в тюрьму в форте близ Антиба.

Причины такого стремительного поворота судьбы были на удивление сложными. Робеспьеры тем временем были гильотинированы в Париже (28 июля, или 10 Термидора); и одной этой "термидорианской" реакции было бы достаточно, чтобы поставить под угрозу голову Бонапарта. Но его положение было еще более подорвано его недавними стратегическими предложениями, которые сводили к второстепенной роли французской армии в Альпах. Операции этих сил в последнее время были странным образом сорваны, и их руководители, искавшие

парализующего влияния, обнаружили его в советах Бонапарта. Их подозрения против него были сформулированы в секретном письме Комитету общественной безопасности, в котором говорилось, что Альпийская армия бездействовала из-за интриг младшего Робеспьера и Рикора. Многие головы пали по причинам менее серьезным, чем эти. Но у Бонапарта была одна безошибочная гарантия: его нельзя было пощадить. После тщательного изучения его документов комиссары, Саличетти и Альбитте, временно вернули ему свободу, но не в течение нескольких недель, а в звании генерала (20 августа 1794 года). Главной причиной его освобождения была услуга, которую его знания и таланты могли бы оказать Республике, ссылаясь на знание итальянской береговой линии, которое он приобрел во время миссии в Генуе.

Какое-то время его отважный дух был обречен страдать от сравнительного бездействия при руководстве береговой артиллерией. Но его недостатки были забыты из-за того, что вскоре возникла потребность в его воинской доблести. Была подготовлена экспедиция для освобождения Корсики от "тирании англичан", и в ней Буонапарте отправился в плавание в качестве генерала, командующего артиллерией. С ним были два друга, Жюно и Мармон, которые поддерживали его во время недавних неприятностей; дружба Бонапарта помогла первому обрести богатство и славу, второму - его собственные блестящие способности.^[31] В этой экспедиции их талант оказался бесполезен. Французы потерпели поражение в столкновении с британским флотом и в замешательстве отступили к берегам Франции. И снова корсиканские предприятия Бонапарта были расстроены вездесущими морскими владыками: теперь против них он накопил двойную порцию ненависти, поскольку тем временем его инспектор береговой артиллерии был передан его соотечественнику Касабьянке.

Судьбы этих корсиканских изгнанников колебались туда-сюда во множестве запутанных течений, в чем Буонапарте еще раз пришлось убедиться. Широко распространена была жалоба на то, что слишком многие из них искали работу в армии юга; и замечание о карьере молодого офицера, сделанное генералом Шерером, который теперь командовал французской армией в Италии, показывает, что Бонапарт вызывал по меньшей мере столько же подозрений, сколько восхищения. В нем говорится: "Этот офицер - генерал артиллерии, и в этом роде войск обладает солидными знаниями, но у него слишком много амбиций и интригующих привычек для продвижения по службе". Учитывая все обстоятельства, было сочтено целесообразным перевести его в армию, которая участвовала в подавлении вандейского восстания, службу, которую он ненавидел и был полон решимости, по возможности, уклониться. В сопровождении своих верных друзей Мармона и Жюно, а также своего младшего брата Луи он отправился в Париж (май 1795 г.).

На самом деле Фортуна никогда не была к нему так благосклонна, как тогда, когда она вывела его из круга интригующих корсиканцев на побережье Прованса и привела в центр всеобщего влияния. Умелый интриган в Париже мог решать судьбу партий и правительств. На границах люди могли принимать только указы всемогущего капитала. Более того, революция, пройдя через стадию расплавления, теперь начинала затвердевать, что являлось важной возможностью для политического мастера. Весна 1795 года стала свидетелем странного смешения нового фанатизма со старыми обычаями. Общество, на время скованное спартанской суровостью Робеспьера, теперь возвращалось в привычное русло. На улицах можно было увидеть веселые экипажи; театры, процветавшие даже во время террора, теперь были заполнены до отказа; азартные игры, будь то на деньги или в акции и *ассигнации*, теперь

проникали во все слои общества; и люди, разбогатевшие на конфискованных государственных землях, теперь соперничали с банкирами, биржевиками и заготовителями зерна в вульгарной показухе. Что же касается бедных, то они находили себе равных в золотой молодежи Парижа, которая дубинками отстаивала право богатых на веселье. Если *санкюлоты* попытаются восстановить времена Террора, Национальная гвардия Парижа была готова смести их обратно в трущобы. Такова была их судьба 20 мая, вскоре после прибытия Бонапарта в Париж. Все мечты, которые он, возможно, лелеял о возвращении якобинцев к власти, развеялись, поскольку Париж теперь погрузился в веселье *старого режима*. Террор запомнился только как ужасный кошмар, который придавал изюминку удовольствиям настоящего. В определенных кругах не принимали никого, кто не потерял родственника на гильотине. С характерным для того времени жутким весельем давались "балы жертв", на которые допускались только те, кто мог предъявить смертный приговор какому-либо семейному родственнику: они получали удовольствие танцевать в костюмах, напоминающих костюмы на эшафоте, и время от времени подзывать своих партнеров кивками, имитирующими падение отрубленной головы. Значит, именно ради этого любезный Людовик, величественная Мария-Антуанетта, похожая на Минерву мадам Ролан, жирондисты, поклявшиеся в полном стремлении к свободе, умиротворяющий тиранов Дантон, сам неподкупный Робеспьер ощутили на себе смертельный топор; чтобы имитация их предсмертных мук могла пощекотать пресыщенные аппетиты и помочь заново соткать старые цирцейские чары. Так казалось тем немногим, кто хотел подумать об ужасных жертвах прошлого и сопоставить их с кажущейся безнадежной деградацией настоящего.

Похоже, что некоторые подобные мысли мелькали в голове Бонапарта в те месяцы вынужденного бездействия. Это было время разочарования. С тех пор мы редко находим в его переписке какие-либо проблески веры в высшие возможности человеческой расы. Золотые видения юности теперь исчезают вместе с *румянами от bonnet* и жаргоном Террора. Его склонность всегда была к материальному и практичному: и теперь, когда вера в якобинский символ веры исчезала, было более чем когда-либо желательно привязать этот сбившийся с пути воздушный шар к существенным фактам. Очевидно, Революция должна теперь положиться на привязанность крестьян-собственников к недавно конфискованным землям Церкви и дворян-эмигрантов. Если все остальное было тщетным и преходящим, то здесь, несомненно, была прочная основа материальных интересов, которой упорно придерживалась бы лучшая часть мужского населения Франции, бросая вызов как заговорам реакционеров, так и силам монархической Европы. Решительным гарантом этих интересов должен был стать Бонапарт. Несмотря на многое из того, что было дальновидным в его более поздней политике, он никогда не колебался в своем отстаивании интересов новых крестьянских собственников. Он всегда был крестьянским генералом, крестьянским консулом, крестьянским императором.

Переходу Революции к обычной форме правления способствовала также беспрецедентная серия военных триумфов. Когда имя Бонапарта было еще неизвестно, за исключением Корсики и Прованса, Франция практически обрела свои "естественные границы" - Рейн и Альпы. В кампаниях 1793-4 годов солдаты Пишегрю, Клебера, Гоша и Моро захватили все Нидерланды и прогнали немцев за Рейн; пьемонтцы были отброшены за Альпы; испанцы - за Пиренеи. Государство за государством быстро подавали иски о мире: Тоскана в феврале 1795 года; Пруссия в апреле; Ганновер, Вестфалия и Саксония в мае; Испания и Гессен-Кассель в июле; Швейцария и Дания в августе.

Таково было состояние Франции, когда Бонапарт приехал искать счастья в похожую на Сфинкса столицу. Его командование артиллерией было заменено соответствующим званием в пехоте — шаг, который глубоко возмутил его. Он приписал это злонамеренным интриганам; но все его усилия добиться возмещения ущерба были тщетны. Не имея денег и покровительства, известный только как способный офицер и ловкий интриган обанкротившейся якобинской партии, он вполне мог впасть в отчаяние. Теперь он был почти один. Мармон уехал в Рейнскую армию, но Жюно все еще был с ним, возможно, привлеченный дочерью мадам Пермон, на которой он впоследствии женился. В доме этой любезной хозяйки, старого друга его семьи, Буонапарте время от времени находил облегчение от мрачного своего существования. Будущая мадам Жюно описала его в то время как неопрятного, неопрятного, болезненного, примечательного своей крайней худобой и почти желтым оттенком лица, которое, однако, освещалось "двумя глазами, сверкающими пронизательностью и силой воли" — очевидно, корсиканский сокол, жаждущий действия и теряющий свой парящий дух в этой скучной городской жизни. Действия Бонапарта могли быть, но только такого рода, которые он ненавидел. Он мог бы командовать войсками, призванными сокрушить храбрых крестьян-роялистов Вандеи. Но то ли из презрения к такой хищнической работе, то ли из инстинкта, что в Париже можно найти более благородную добычу, он отказался идти в Западную армию и под предлогом плохого состояния здоровья остался в столице. Там он проводил время, глубоко размышляя о политике и стратегии. Он составил историю последних двух лет и составил план кампании для Итальянской армии, который позже должен был привести его к удаче. Вероятно, географическое понимание, которое он продемонстрировал, могло привести к его назначению (20 августа 1795 года) в топографическое бюро Комитета общественной безопасности. Его первой мыслью, когда он услышал об этом важном продвижении, было то, что это открывало возможность отправиться в Турцию для организации артиллерии султана; и через несколько дней он отправил официальный запрос на этот счет — первое осязаемое доказательство той тоски по Востоку, которая преследовала его всю жизнь. Но, устремив свой взор на восток, он столкнулся с резким отпором. Комитет был готов удовлетворить его просьбу, когда изучение его недавнего поведения доказало, что он виновен в нарушении дисциплины, заключающемся в том, что он не приступил к исполнению своих обязанностей в Вандее. В тот самый день, когда один из отделов Комитета уполномочил его отправиться в Константинополь, Центральный комитет вычеркнул его имя из списка высших должностных лиц (15 сентября).

На этот раз удар казался смертельным. Но Фортуна, казалось, смягчила его падение только для того, чтобы он мог еще более блистательно подняться ввысь. В течение трех недель его приветствовали как спасителя новой республиканской конституции. Причину этой почти волшебной перемены в его перспективах следует искать в политических волнениях во Франции, к которым мы должны теперь вкратце обратиться.

Все лето 1795 года между якобинцами и роялистами шли конфликты. На юге последняя партия явно отомстила за агонию предыдущих лет, и пылкость французского темперамента, казалось, вот-вот приведет этот несчастный народ от "Красного террора" к настоящему "Белому террору", когда два бедствия остановили ход реакции. Попытка большого отряда французских дворян-эмигрантов, подкрепленная британскими деньгами и кораблями, поднять Бретань против Конвента была полностью подавлена способным молодым Гошем; и почти семьсот пленных впоследствии были хладнокровно расстреляны (июль). Незадолго до этого удара маленький принц принял титул Людовика XVII. пал жертвой жестокого обращения тюремщиков в парижском тампле, и надежды роялистов теперь возлагались на непопулярного графа

Прованского. Тем не менее, политические перспективы лета 1795 года не были обнадеживающими для республиканцев; и Комиссия одиннадцати, уполномоченная Конвентом разрабатывать новые органические законы, разработала правительственный документ, который, хотя и был республиканским по форме, казалось, обеспечивал всю стабильность наиболее прочно укоренившейся олигархии. Некоторый такой компромисс, возможно, был необходим; поскольку Содружество столкнулось с тремя опасностями: анархией, возникшей в результате давления толпы, чрезмерной централизацией власти в руках двух комитетов и возможностью *государственного переворота*, совершенного каким-нибудь самозванцем или авантюристом. Действительно, изучающий французскую историю не может не видеть, что это проблема, которая всегда стоит перед народом Франции. Она проявлялась в острых, хотя и разнообразных фазах в 1797, 1799, 1814, 1830, 1848, 1851 и в 1871 годах. Кто может сказать, что проблема уже нашла свое полное решение?

В некоторых отношениях конституция, за которую Конвент проголосовал в августе 1795 года, была умело адаптирована к потребностям времени. Хотя он был демократичен по духу, он предоставлял право голоса только тем гражданам, которые проживали в течение года в каком-либо жилище и платили налоги, таким образом исключая сброд, который оказался опасным для любого оседлого правительства. Он также проверил поспешность принятия законодательства, которое вызывало насмешки на последующих Национальных ассамблеях. Чтобы умерить рвение к изданию указов, которое часто превышало сотню в месяц, теперь следовало сформировать вторую, или ревизионную палату, по возрасту; поскольку было обнаружено, что чем моложе депутаты, тем быстрее появляются трепещущие стаи указов, которые часто возвращаются домой, чтобы устроиться на ночлег под видом проклятий. Теперь предлагалось, что сенаторская гильотина должна проредить птенцов, прежде чем они вообще улетят за границу. Из семисот пятидесяти депутатов Франции двести пятьдесят старейших мужчин должны были сформировать Совет старейшин, имеющий полномочия вносить поправки или отклонять предложения, исходящие от Совета Пятисот. В этом Совете были младшие депутаты, и на них возлагалось единоличное принятие законов. Таким образом, молодые депутаты должны были принимать законы, а депутаты постарше должны были вносить в них поправки или отклонять их; и это приятное согласование характеристик молодости и возраста, должное сочетание энтузиазма с осторожностью, обещало оживить политический орган и в то же время защитить его жизненные интересы. Наконец, для того, чтобы оба Совета постоянно представляли чувства Франции, одна треть их членов должна ежегодно уходить в отставку для переизбрания, что обещало предотвратить любые насильственные изменения в их составе, которые могли бы произойти, если бы по истечении трехлетнего срока их членства всем было предложено немедленно уйти в отставку.

Но настоящая проблема разработчиков конституции до сих пор заключалась в отношениях Законодательной власти с исполнительной. Как мозг политического органа, то есть Законодательной власти, должен быть связан с рукой, то есть исполнительной властью? Очевидно, что, как утверждали все французские политические мыслители, эти две функции различны и их следует разделять. Результаты этой теории разделения властей были четко прослежены в ходе революции. Когда рука оставалась почти бессильной, как в 1791-1792 годах, из-за ревности демократов к королевскому министерству, результатом была анархия. Высшие потребности государства в агонии 1793 года сделали руку всемогущей: Конвент, то есть мозг, был на некоторое время бессилен перед своим собственным инструментом, двумя секретными комитетами. Теперь опыт показал, что мозг должен осуществлять общий контроль над рукой, не

слишком затрудняя ее действия. Очевидно, что депутаты Франции должны были доверить детали управления ответственным министрам, хотя, по-видимому, требовался какой-то руководящий орган для придания энергии и сдерживания роялистских заговоров. Короче говоря, Комитет общественного спасения, лишенный своих более опасных полномочий, должен был послужить образцом для нового органа из пяти членов, получившего название Директории. Этот орган, который должен был дать название всему периоду 1795-1799 годов, не был Министерством. Не было Министерства в том смысле, в каком мы сейчас используем этот термин. Были министры, которые индивидуально отвечали за свои государственные департаменты, но они никогда не встречались для обсуждения и не общались с Законодательными органами; они были только главами департаментов, которые индивидуально отвечали перед Директорами. Эти пятеро мужчин образовали могущественный комитет, обсуждавший в частном порядке всю политику государства и всю работу министров. Директория, правда, не имела права инициировать законы и произвольные аресты, которым оба комитета свободно пользовались во время Террора. Его зависимость от Законодательной власти, по-видимому, также гарантировалась тем, что директора назначались двумя законодательными советами; в то время как один из пяти должен был ежегодно освобождать свой пост для переизбрания. Но в других отношениях директорские полномочия были почти такими же обширными, как те, которыми обладали два секретных комитета, или как те, которые Бонапарт должен был унаследовать от Директории в 1799 году. Они включали в себя общий контроль за политикой в мирное и военное время, право вести переговоры по международным договорам (при условии ратификации законодательными советами), обнародовать законы, принятые Советами, и следить за их исполнением, а также назначать или увольнять государственных министров.

Такова была конституция, которая была провозглашена 22 сентября 1795 года, или 1-й Вандемской, ЧЕТВЕРТОГО года революционного календаря. Важный постскрипtum к первоначальной конституции теперь вызвал ожесточенные волнения, которые позволили молодому офицеру восстановить свое собственное пошатнувшееся состояние. Конвент, напуганный мыслью о всеобщих выборах, которые могли привести к появлению недовольного или роялистского большинства, решил навязать Франции свою власть еще по крайней мере на два года. С бесстыдством, не имеющим аналогов в парламентских анналах, он постановил, что закон новой конституции, требующий переизбрания трети депутатов ежегодно, теперь должен применяться к нему самому; и что остальные его члены должны заседать в предстоящих Советах. Сразу же крик отвращения и ярости вырвался у всех, кто устал от Конвента и всей его деятельности. "Долой две трети!" - таков был крик, который разнесся по улицам Парижа. Движение было не столько определенно роялистским, сколько смутно недовольным. Многие были взбешены существующим дефицитом и неспособностью революции обеспечить даже дешевый хлеб. Несомненно, роялисты стремились довести недовольство до желаемой цели, и во многих частях они придавали движению безошибочно бурбонский оттенок. Но совершенно очевидно, что в Париже они одни не смогли бы разжечь такое всеобщее недовольство, как в Вандемье. Однако столь же несомненно и то, что они извлекли бы выгоду из поражения Конвенции. История революции доказывает, что те, кто сначала просто противостоял бесчинствам якобинцев, постепенно перешли на сторону роялистов. Теперь Конвент подвергся нападению в том самом городе, который был избран обителью Свободы и Равенства. Около тридцати тысяч парижских национальных гвардейцев были полны решимости быстро расправиться с этим Собранием, которое так неприлично цеплялось за жизнь; и поскольку

армии были далеко, парижские недовольные казались хозяевами положения. Без сомнения, так бы и было, если бы не их собственная поспешность и энергия Буонапарте.

Но как получилось, что он получил военную власть, которая должна была так сильно повлиять на ход событий? Мы оставили его во Фруктидоре опозоренным: мы находим его посреди Вандемьера, возглавляющим часть сил Конвента. Это ошеломляющее изменение было вызвано насущными потребностями Республики, его собственными способностями связиста и проницательным взглядом Барраса, чья карьера требует краткого описания.

Поль Баррас происходил из провансальской семьи, и его жизнь была полна приключений как на суше, так и в морских экспедициях. Одаренный крепким телосложением, непревзойденной уверенностью в себе и бойким на язык, он был хорошо подготовлен к интригам, как любовным, так и политическим, когда разразившаяся Революция придала его мыслям более серьезный оборот. Поддерживая ультрадемократическую сторону, он все же ухитрился выйти невредимым из расколов, которые были фатальны для менее ловких триммеров. Он присутствовал при осаде Тулона и стремился в своих "Воспоминаниях" принизить заслуги Бонапарта и возвысить свои собственные. Во время Термидоровского кризиса Конвент доверил ему командование "внутренней армией", и энергия, которую он тогда проявил, обеспечила ему такое же положение в столь же критические дни Вандемии. Хотя впоследствии он придирался к поведению Бонапарта, его поступок доказал его полную уверенность в способностях этого молодого офицера: он немедленно послал за ним и поручил ему самые важные обязанности. В этом главный шанс на бессмертие имени Барраса; не в том, что как террорист он резал роялистов в Тулоне; не в том, что он был военным вождем термидорианцев, которые из страха за собственной шеи положили конец господству Робеспьера; даже не в том, что он унизил новый режим циничной демонстрацией всех худших пороков старого; но скорее потому, что теперь ему выпала честь держать стремя великому полководцу, который легко вскочил в седло.

Нынешний кризис, безусловно, требовал умелого и решительного человека. Недовольных ободрили робкие действия генерала Мену, на которого ранее была возложена задача подавления волнений. Из-за похвального желания избежать кровопролития этот генерал тратил время на переговоры с самой мятежной из "секций" Парижа. Конвент теперь назначил Барраса командующим, в то время как Бонапарту, Брюну, Карто, Дюпону, Луазону, Вашо и Везу было поручено служить под его началом.^[32] Таков был декрет Конвента, который, следовательно, опровергает более поздние утверждения Наполеона о том, что он был командующим, и его поклонников о том, что он был вторым в командовании.

Тем не менее, Баррас с самого начала возложил на него важные обязанности, и он, несомненно, стал вдохновляющим духом обороны. "С самого начала, - говорит Тибо, - его активность поражала: казалось, он был везде одновременно: он удивлял людей своими лаконичными, ясными и быстрыми приказами: все были поражены энергией его распоряжений и перешли от восхищения к уверенности, от уверенности к энтузиазму". Теперь все зависело от мастерства и энтузиазма. Защитникам Конвента, состоявшего примерно из четырех-пяти тысяч линейных войск и от одной до двух тысяч патриотов, жандармов и инвалидов, противостояли почти тридцать тысяч национальных гвардейцев. Таким образом, шансы были почти такими же серьезными, как те, которые угрожали Людовику XVI. в день его окончательного свержения. Но место уступчивого короля теперь заняли решительные люди, которые понимали необходимость сложившейся ситуации. В ранних сценах Революции Бонапарт размышлял об эффективности

артиллерии в уличных боях — подходящая тема для его геометрического гения. Он знал, что с несколькими пушками сможет зачистить все подступы к дворцу; и по приказу Барраса отправил лихого кавалерийского офицера Мюрата — имени, которому суждено было прославиться от Мадрида до Москвы, — доставить артиллерию из соседнего лагеря Саблон. Мюрат захватил их до того, как недовольные в Париже смогли наложить на них руки; и поскольку "секции" Парижа сдали свои собственные пушки после майских беспорядков, теперь у них не было самой мощной силы в уличных боях. Их действия также были парализованы разногласиями: их командир, старый генерал по имени Даникан, двигал своих людей нерешительно; он потратил драгоценные минуты на переговоры и, таким образом, дал время небольшому, но компактному отряду Барраса дать им детальный бой. Бонапарт умело расположил свои пушки так, чтобы они были нацелены на колонны роялистов, которые угрожали улицам к северу от Тюильри. Но в течение некоторого времени обе стороны стояли лицом к лицу, стремясь задобрить или запугать друг друга. Когда осенний полдень пошел на убыль, из нескольких домов рядом с церковью Святого Роха, где располагалась штаб-квартира недовольных, раздались выстрелы. [33] Тотчас же улицы превратились в арену яростной схватки, яростной, но неравной, ибо пушки Бонапарта снесли головы колоннам недовольных. Напрасно роялисты стреляли из-за баррикад или из соседних домов: в конце концов они отступили к забаррикадированной церкви или бежали по улице Сент-Оноре. Тем временем их отряды из-за реки численностью в 5000 человек переправлялись по мостам и угрожали Тюильри с той стороны, пока и здесь не растаяли под градом картечи и мушкетного огня, обрушившегося на их фронт и фланг. К шести часам конфликт был исчерпан. В драке мало подлинных инцидентов, если они вообще есть. Хорошо известная гравюра Хелмана, на которой изображен Буонапарт, руководящий штурмом церкви Святого Роха, к сожалению, совершенно неверна. Он сражался не там, а на улицах дальше на восток: церковь штурмом не брали: недовольные удерживали ее всю ночь и спокойно сдали на следующее утро.

Таков был великий день Вандемии. Это стоило жизни примерно двум сотням человек с каждой стороны; по крайней мере, такова обычная оценка, которая кажется несколько неуместной с рассказами о стрельбе из лука и канонады с близкого расстояния, пока мы не вспомним, что авторы мемуаров и редакторы газет обычно скрывают детали боя, а в случае гражданской войны сводят к минимуму кровопролитие. Несомненно, Конвент проявил милосердие в час победы: только двое лидеров повстанцев были казнены; и приятно помнить, что, когда Мену был обвинен в предательстве, Бонапарте использовал свое влияние, чтобы добиться его свободы.

Бурьен утверждает, что в последние дни жизни победитель глубоко сожалел о своем поступке в этот Вандемский день. Утверждение кажется невероятным. "Запах картечи" сокрушил движение, которое могло привести только к нынешней анархии и, вероятно, вернуло бы Францию к одиозному роялизму. Это преподало суровый урок непостоянному населению, которое, по словам мадам де Сталь, жаждало наживы так же сильно, как и любой политической цели. Из всех событий своей посткорсиканской жизни Буонапарте наверняка никогда не испытывал угрызений совести за Вандемию. [34]

После четырех знаменательных провалов в своей карьере он теперь вступает на путь, усыпанный славой. Первой наградой за его особые заслуги перед Республикой было назначение его заместителем командующего внутренней армией; и когда Баррас подал в отставку с поста первого командующего, он занял этот ответственный пост. Но вскоре

последовали более блестящие почести, первая из которых носила социальный характер, вторая - чисто военный.

Буонапарт уже робко и неловко появился в *салоне* роскошного Барраса, где прекрасная, но хрупкая мадам Тальен — так ее называли в Нотр-Дам де Термидор - ослепила парижское общество своими классическими чертами лица и незаурядной грацией наряда. Там он появился снова, но не в поношенной униформе, которая привлекла хихикающее внимание этой легкомысленной толпы, а как лев общества, которое спасли его таланты. Его предыдущие попытки добиться руки дамы не увенчались успехом. Сначала ему отказала мадемуазель. Клари, сестра жены его брата Жозефа, а совсем недавно и мадам Пермон. Действительно, похожий на пугало молодой офицер не был блестящей партией. Но теперь он увидел, что в *салоне* с очаровательной вдовой, Жозефина де Богарне, чей муж погиб в ужас. Пыл его южного темперамента, долго подавляемый лишениями, быстро разгорается в ее присутствии с новой силой: его чопорные, неуклюжие манеры тают под ее улыбками; его молчание исчезает, когда она хвалит его военные способности; он восхищается ее тактом, ее сочувствием, ее красотой; он решает жениться на ней. Леди, со своей стороны, кажется, была несколько напугана своим сверхъестественным ухажером: она вопросительно отзывается о его "неистовой нежности, почти доходящей до безумия"; она с беспокойством отмечает его "острый необъяснимый взгляд, который импонирует даже нашим режиссерам": как эта нетерпеливая натура, эта властная энергия сочетаются с ее собственной "креольской беспечностью"? Она правильно сделала, что спросила себя, не истощится ли вскоре почти вулканическая страсть генерала и не обратится ли он от ее собственного увядающего очарования к женщинам, равным ему по возрасту. Кроме того, когда она откровенно спросила свое собственное сердце, то обнаружила, что не любит его: она только восхищалась им. Ее главным утешением было то, что если бы она вышла за него замуж, ее друг Баррас помог бы Бонапарту получить командование итальянской армией. Совет Барраса, несомненно, помог усмирить сомнительные предположения Жозефины, и свадьба была отпразднована в соответствии с гражданским договором 9 марта 1796 года. С простительным кокетством невеста внесла в реестр свой возраст на четыре года меньше тридцати четырех, которые ей минули, в то время как ее муж, желая еще больше уменьшить разницу, указал дату своего рождения как 1768 год.

За две недели до свадьбы его назначили командовать итальянской армией, и после двухдневного медового месяца в Париже он оставил свою невесту, чтобы приступить к своим новым военным обязанностям. Тогда ясно, что была какая-то связь между этим блестящим состоянием и его женитьбой на Жозефине. Но утверждение о том, что это приказание было "приданным", предложенным Баррасом несколько сопротивляющейся невесте, скорее пикантно, чем верно. Можно откровенно признать, что блестящие перспективы Бонапарта окончательно рассеяли ее сомнения. Но назначение на командование французской армией не зависело от Барраса. Он был всего лишь одним из пяти директоров, которые теперь решали основные вопросы управления. Его коллегами были Летурнер, Ребелл, Ла Ревельер-Лепо и великий Карно; и, по сути, именно последнее имя в основном определило назначение, о котором идет речь. Он видел план кампании, который Бонапарт разработал для итальянской армии, и размышлял над ним; и сила замысла, мастерское понимание топографических деталей, которые он демонстрировал, и пронзительная энергия его стиля убедили в его стратегическом гении. Бонапарт был обязан своим командованием не закулисным интригам, как в настоящее время считалось в армии, а скорее своим собственным командирским способностям. Служа в итальянской армии в 1794 году, он тщательно изучил береговую линию

и перевалы, ведущие вглубь страны; и, по словам хорошо известного ученого Волни, молодой офицер вскоре после освобождения из заключения в общих чертах изложил ему и комиссару Конвента детали того самого плана кампании, который должен был привести его победоносно с Генуэзской Ривьеры в сердце Австрии. ^[35] Описывая этот шедевр стратегии, говорит Волни, Буонапарте говорил так, словно его вдохновили. Мы можем представить себе, как его изможденная фигура расправляется от ощущения силы, худые желтоватые щеки пылают энтузиазмом, ястребиные глаза вспыхивают при виде беспомощной императорской добычи, когда он указывает на карте Пьемонта и Ломбардии черты, которые благоприятствовали бы лихому захватчику и привели бы его к самым воротам Вены. Великолепие императорского двора в Тюильри кажется безвкусным по сравнению с интеллектуальным величием, которое озарило это скромное жилище в Ницце первыми лучами, возвестившими зарю освобождения Италии.

Обладая более полными знаниями, которые он приобрел недавно, он теперь, в январе 1796 года, разработал этот план кампании, так что он сразу же вызвал восхищение Карно. Директора направили его генералу Шереру, который командовал армией Италии, но быстро получили "жестокый" ответ, что человек, разработавший план, должен приехать и привести его в исполнение. Долгое время недовольная бездействием Шерера и постоянными жалобами, Директория теперь поверила ему на слово и заменила его Буонапарте. Такова правда о назначении Бонапарта в Итальянскую армию.

Итак, 21 марта молодой генерал отправился в Ниццу в сопровождении своих верных друзей Мармона и Жюно, а также других офицеров, в энергии которых он был уверен, - Бертье, Мюрата и Дюрока. Сколько всего произошло с начала лета 1795 года, когда у него едва хватало средств, чтобы оплатить дорогу в Париж! Верный инстинкт привел его в этот рассадник интриг. Он вел отчаянную игру, рискуя своим служебным положением, чтобы поддерживать тесный контакт с центральной властью. Его награда за эту почти сверхчеловеческую уверенность в своих силах была соответственно велика; и теперь, хотя он ничего не знал об обращении с кавалерией и пехотой, кроме как из книг, он решил повести итальянскую армию к серии завоеваний, которые могли бы соперничать с завоеваниями Цезаря. При наличии такой упрямой воли и такого пылкого гения, что удивительного в том, что друг предсказал, что его остановкой будет либо трон, либо эшафот?

ГЛАВА V

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ

(1796)

В личности Наполеона нет ничего более примечательного, чем сочетание дарований, которые в большинстве натур взаимоисключают друг друга; его инстинкты были как политическими, так и военными; его исследование страны охватывало не только географическую среду, но и материальное благосостояние людей. Факты, которые игнорировали его враги, предлагали твердую точку опоры для воздействия на его волю: и их политическое здание или их военная политика превратились в руины под натиском, спланированным с непревзойденным мастерством и доведенным до конца с безжалостной силой.

Какая земля была так же приспособлена для осуществления всех этих даров, как мозаика государств, удостоенных названия Италия?

Эта земля долгое время была полем битвы бурбонов и Габсбургов; и их соперничество, подкрепленное гражданскими разногласиями, довело народ, который когда-то дал законы Европе, до состояния жалкой слабости. Европа когда-то была полем битвы римлян: теперь Италия стала полем битвы Европы. Габсбурги господствовали на севере, где им принадлежало богатое Миланское герцогство, а также великая крепость Мантуя и несколько разрозненных имперских феодалов. Потомок Австрийского дома правил во Флоренции процветающим герцогством Тоскана. Модена и Лукка находились под общим контролем Венского двора. Юг полуострова, вместе с Сицилией, находился под властью Фердинанда IV, потомка испанских бурбонов, который держал свой народ в состоянии средневекового невежества и рабства; и эта династия контролировала герцогство Парма. Папские государства также погрузились в средневековое оцепенение; но в северных округах Болоньи и Феррары, известных как "Миссии", жители все еще помнили времена своей независимости и раздражались из-за раздражающих ограничений папского правления. Это стало очевидным, когда закваска французской революционной мысли начала бродить в итальянских городах. Двое молодых людей из Болоньи были настолько очарованы новыми идеями, что подняли итальянский трехцветный флаг - зеленый, белый и красный - и призвали своих сограждан к восстанию против правления папского легата (ноябрь 1794 г.). Восстание было подавлено, и главные преступники были повешены; но повсюду сила демократии давала о себе знать, особенно среди наиболее мужественных народов Северной Италии. Ломбардия и Пьемонт трепетали от сдерживаемого возбуждения. Даже когда король Сардинии Виктор Амадей III вел войну против Французской Республики, жителей Турина с трудом удерживали от восстания; и, как мы видели, австро-сардинский союз был бессилён отбить Савойю и Ниццу у солдат свободы или защитить Итальянскую Ривьеру от вторжения.

Фактически, Бонапарт — ибо отныне он писал свое имя именно так - обнаружил политическую слабость позиций Габсбургов в Италии. Хозяева одиннадцати различных народов к северу от Альп, как они могли надеяться на постоянное господство над совершенно чужим народом к югу от этого огромного горного барьера? Многочисленные неудачи старых гибеллинов или императорской партии перед лицом любого народного порыва, который трогал итальянскую натуру до глубины души, обнажали искусственность их правления. Разве не могла бы Французская революция придать такой импульс? И разве надежды на национальную свободу и освобождение от феодального гнета не воспламенили бы эти народы рвением к делу Франции?

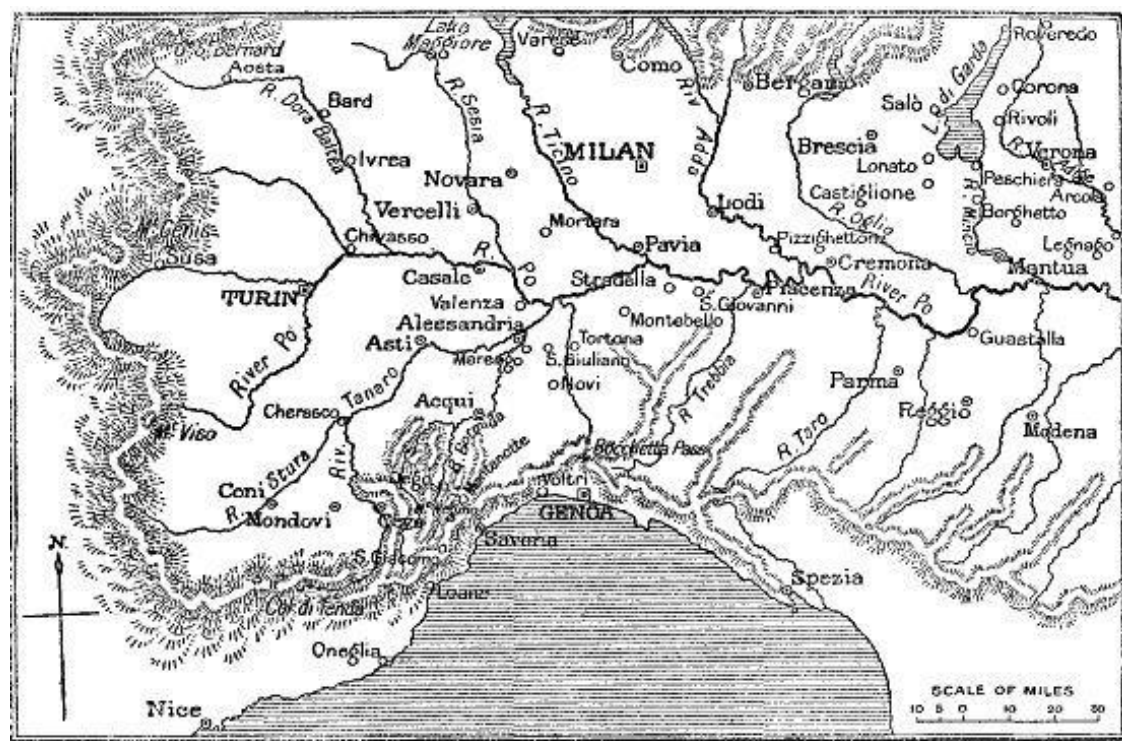
Очевидно, что у демократической пропаганды были огромные возможности. С самого начала расовые симпатии Бонапарта были горячо восприняты в пользу освобождения Италии; и хотя его суждения были искажены побуждениями честолюбия, он никогда не упускал из виду благополучие народа, из которого он происходил. В своих "Мемуарах, написанных на острове Святой Елены" он резюмировал свои убеждения относительно полуострова в таком заявлении государственного деятеля: "Италия, изолированная в своих естественных пределах, отделенная морем и очень высокими горами от остальной Европы, кажется, призвана быть великой и могущественной нацией.... Единство нравов, языка, литературы должно, наконец, в более или менее отдаленном будущем объединить его жителей под властью единого правительства.... Рим, без сомнения, является столицей, которую итальянцы однажды выберут ". Пророческое изречение: оно исходило от человека, который как завоеватель и организатор пробудил этот народ от оцепенения веков и вдохнул в него частичку своей собственной неукротимой энергии.

И опять же, австрийские владения к югу от Альп было трудно удержать по чисто военным причинам. Они были отделены от Вены труднопроходимыми горными хребтами, через которые армии пробивались с трудом. Правда, Мантуя была грозной твердыней, но никакая крепость не могла сделать миланцев чем-то иным, кроме как слабой и разрозненной территорией, удержание которой Венским двором было вызовом евангелию природы, глашатаем которого был Руссо, а воинственным выразителем Бонапарт.

Австро-сардинские войска в настоящее время занимали перевал, отделяющий Апеннины от Приморских Альп к северу от города Савона. Соответственно, они находились недалеко от истоков Бормиды и Танаро, двух главных притоков реки По, и дороги, идущие по долинам этих рек, вели: одна - на северо-восток, в направлении Милана, другая - на северо-запад, к Турину, столице Сардинии. Клин гористой местности разделял эти дороги, поскольку они расходились от окрестностей Монтенотте. Очевидно, что здесь было уязвимое место австро-сардинской позиции. Поэтому здесь Бонапарт намеревался нанести свои первые удары, предвидя, что, если он разъединит союзников, в его пользу будут все преимущества, как политические, так и топографические.

Все это было возможно для командира, который смог преодолеть первоначальные трудности. Но эти трудности были огромными. Положение французской армии в Италии в марте 1796 года было шатким. Его отряды, эшелонированные вдоль побережья от Савоны до Лоано, а оттуда до Ниццы или вглубь страны до Кол-ди-Тенде, насчитывали всего 42 000 человек, в то время как австро-сардинские силы насчитывали 52 000 человек. [36] Более того, союзники занимали сильные позиции на северных склонах Приморских Альп и Апеннин, и, удерживая внутренний и, следовательно, более короткий изгиб, они могли бы умелой концентрацией оттеснить своих более широко разбросанных противников к берегу, где республиканцев преследовали бы орудия британских крейсеров. Наконец, войска Бонапарта были плохо экипированы, еще хуже одеты и вообще не получали жалованья. По прибытии в Ниццу в конце марта молодому командиру пришлось расформировать один батальон за мятежное поведение. [37] На короткое время показалось сомнительным, как армия примет этого стройного, хрупкого на вид юношу, известного до сих пор только как искусный артиллерист в Тулоне и на улицах Парижа. Но он быстро завоевал уважение и доверие рядовых, не только сурово наказав мятежников, но и взяв деньги у местного банкира, чтобы погасить часть долгой задолженности по жалованью. Другие обиды он исправил быстрой реорганизацией комиссариата и родственных департаментов. Но, прежде всего, он взволновал их своими пламенными словами: "Солдаты, вы наполовину

оголодали и наполовину раздеты. Правительство многим вам обязано, но ничего не может для вас сделать. Ваше терпение и мужество достойны уважения, но они не приносят вам ни пользы, ни славы.



MAP TO ILLUSTRATE THE CAMPAIGNS IN NORTH ITALY.

КАРТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ КАМПАНИИ В СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

Я собираюсь повести вас в самые плодородные долины мира: там вы найдете цветущие города и изобильные провинции; там вы пожнете почести, славу и богатство. Солдаты итальянской армии, неужели вам не хватит мужества?" Двумя годами ранее столь открытое требование солдатской верности немедленно привело бы любого французского командира на гильотину. Но многое изменилось со времен господства Робеспьера; спартанский аскетизм исчез; и прежняя безумная ревность к личному превосходству теперь благоприятствовала поразительной реакции, которая вскоре установила единственного в высшей степени способного человека абсолютным хозяином Франции.

Поведение Бонапарта произвело глубокое впечатление как на войска, так и на офицеров. У Массены его энергия и резкие приказы вызвали восхищение, а высокий чванливый Ожеро съежился под его взглядом интеллектуального превосходства. Более того, в начале апреля французы получили подкрепление, которое увеличило их общее количество до 49 300 человек и дало им превосходство в силах; ибо, хотя у союзников было 52 000 человек, все же они были настолько разбросаны, что уступали в любом отдельно взятом районе. Кроме того, австрийскому командующему Болье был семьдесят один год, его только что отправили в Италию, с этой страной он был плохо знаком, и он обнаружил, что треть его войск слегла от болезней. [38]

Теперь Бонапарт начал концентрировать свои силы близ Савоны. Удача улыбнулась ему еще до начала кампании. Зимние снега, все еще лежавшие на горах, хотя и таяли на южных склонах, помогали прикрывать его передвижения от аванпостов противника; и французский авангард продвинулся вдоль береговой линии даже до Вольтри. Это движение было направлено на то, чтобы принудить сенат Генуи к уплате штрафа за его молчаливое согласие с захватом французского судна британским крейсером на нейтральном рейде; но оно встревожило Болье, который, свернув свои расквартирования, направил сильную колонну к этому городу. В то время это обстоятельство сильно раздражало Бонапарта, который надеялся застать империалистов дремлющими на их зимних квартирах. И все же несомненно, что поспешное продвижение их левого фланга к Вольтри в значительной степени способствовало тому блестящему началу кампании Бонапарта, которое его почитатели обычно считали заслугой исключительно его гения.^[39] Ибо, когда Болье вторгся со своей колонной в район разбитого побережья между Генуей и Вольтри, он отрезал ее на опасном расстоянии от своего центра, который двинулся вверх по долине восточного ответвления Бормиды, чтобы занять перевалы Апеннин к северу от Савоны. Это, опять же, ни в коем случае не было связано с тесными контактами с союзниками Сардинии, расположенными лагерем дальше к западу в Севе и за ее пределами. Позднее Болье в письме полковнику Грэму, английскому *атташе* в своей штаб-квартире, приписал свои первые неудачи Аржанто, своему лейтенанту в Монтенотте, который задействовал только треть сил, переданных под его командование. Но разделение сил было характерно для австрийцев во всех их операциях, и теперь они давали прекрасную возможность любому предприимчивому противнику сокрушить их слабый и лишенный поддержки центр. Повинуясь приказам из Вены, Болье перешел в наступление; но он направил свои главные силы против французского авангарда у Вольтри, который он отбросил с некоторыми потерями. Пока он занимал Вольтри, грохот пушек, эхом разносившийся по горам, предупредил его аванпосты о том, что настоящая кампания начинается в разоренной стране к северу от Савоны.^[40] Там слабый австрийский центр занял горный хребет или плато над деревней Монтенотте, через которое проходила дорога, ведущая в Алессандрию и Милан. Атака Аржанто отчасти увенчалась успехом, но упрямая храбрость французского отряда остановила ее перед редут, господствовавшим над южным продолжением высот, названных Монте-Легино.^[41]

Таково было положение дел, когда Бонапарт поспешил вмешаться. На следующий день (12 апреля), сосредоточив атакующие колонны французов под прикрытием раннего утреннего тумана, он вывел их на позиции, так что первые пробивающиеся лучи солнечного света показали изумленным австрийцам присутствие армии, готовой сокрушить их фронт и обойти с флангов. Некоторое время империалисты храбро сражались с превосходящими силами на своем фронте; но когда Массена обошел их правое крыло, они уступили и поспешили отступить, чтобы спастись от полного захвата. Бонапарт не принимал активного участия в сражении: он, как и следовало ожидать, был сосредоточен на более широкой проблеме отсечения австрийцев от их союзников, сначала путем поворота Массены, а затем путем ввода других войск в образовавшуюся таким образом брешь. В этом он полностью преуспел. Радикальные недостатки в расположении австрийцев сделали их совершенно неспособными противостоять ударам, которыми он теперь осыпал их. Сардинцы были слишком далеко на западе, чтобы помочь Аржанто в трудную минуту: они были в Севе и за ее пределами, намереваясь прикрыть дорогу на Турин; тогда как, как впоследствии писал сам Наполеон, они должны были быть достаточно близко к своим союзникам, чтобы сформировать одну мощную армию, которая при

Дего или Монтенотте защитила бы и Турин, и Милан. "Объединившись, эти две силы превосходили бы французскую армию: разделенные, они были бы потеряны".

Конфигурация местности благоприятствовала плану Бонапарта вытеснить империалистов из долины Бормиды в северо-восточном направлении; и естественное желание разбитого генерала отступить к своей базе снабжения также побудило Болье и Аржанто отступить к Милану. Но это разорвало бы их связи с сардинцами, чья база снабжения, Турин, находилась в северо-западном направлении.

Поэтому Бонапарт немедленно бросил свои силы против австрийцев и сардинского контингента у Миллезимо и разбил их, а дивизия Ожеро отрезала отступление тысяче двухстам их солдатам под Проверой. Ослабленные этим вторым ударом, союзники отступили к укрепленной траншеями деревне Дего. Сила их позиции была пропорциональна ее стратегическому значению, поскольку ее потеря полностью разорвала бы всякую связь между двумя их главными армиями, за исключением окольных путей на много миль в их тылу. Поэтому они отчаянно цеплялись за шесть мамелон и редутов, которые перегораживали долину и господствовали над некоторыми соседними высотами. Однако численное превосходство французов было таково, что Массена быстро обошел эти позиции, которому Бонапарт снова доверил наступление на фланг и тыл противника. Последовало странное событие. Победители, грабившие страну в поисках припасов, которые самые жесткие приказы Бонапарта не смогли извлечь из складов на морском побережье, были атакованы глубокой ночью пятью австрийскими батальонами, которым было приказано поддержать своих соотечественников в Дего. Они, заблудившись среди гор, оказались среди банд мародерствующих французов, которых они легко рассеяли, захватив сам Дего. Узнав об этом несчастье, Бонапарт поспешил подвести дополнительные войска с тыла и 15-го числа вернул добычу, которая так чуть было не была вырвана у него из рук. Если бы Болье в это время бросил все свои силы на французов, он мог бы исправить свои первые неудачи; но в австрийском штабе не было предусмотрительности и энергии: внезапность у Дего была делом рук полковника; и на долгие годы некомпетентность их престарелых командиров парализовала прекрасные боевые качества "белых мундиров". В трех конфликтах их перехитрили и превосходили численностью, и они подтянули свои разбитые колонны к Уступке.

Теперь французский командующий повел свои колонны на запад, против сардинцев, которые отступили в свой укрепленный лагерь в Севе, в верхней долине Танаро. Там они отбили одну атаку французов. Проверка перед сильно укрепленной позицией была серьезной. Это могло бы привести к катастрофе Франции, если бы австрийцы смогли оказать помощь своим союзникам. Бонапарт даже созвал военный совет, чтобы обсудить ситуацию. Как правило, военный совет дает робкие советы. Этот совет настоятельно рекомендовал провести повторную атаку на лагерь — поразительное доказательство рвения, которое тогда нервировало республиканских генералов. Они еще не были *кондотьерами*, наживающими состояния своими мечами; еще не были изнеженными приспешниками автократа, озабоченными прежде всего охраной поместий, дарованных его милостью. Робость была скорее отличительной чертой их противников. Когда штурм укреплений Севы собирался возобновиться, было замечено, что сардинские войска отступают на запад. Их генерал тешил себя наивной надеждой сдержать французов на нескольких сильных естественных позициях во время своего марша. Он горько сожалел о своей ошибке. Французские дивизии Серюрье и Доммартена окружили его, вытеснили из Мондови и повели в сторону Турина.

Теперь Бонапарт полностью преуспел. В полной мере используя преимущество своего центрального положения между широко разбросанными отрядами своих врагов, он нанес энергичный удар по их естественной точке соединения, Монтенотте, и тремя последующими успехами — поскольку эвакуацию Севы вряд ли можно назвать победой французов — оттеснил их все дальше и дальше друг от друга, пока Турин не оказался почти в его власти.

Теперь оставалось довести эти военные триумфы до их естественного завершения и навязать условия мира Савойскому дому, который втайне желал мира. Директора приказали Бонапарту попытаться отделить Сардинию от австрийского союза, предложив солидную компенсацию за потерю Савойи и Ниццы в плодородных миланских землях.^[42] Перспектива получения этого богатого приза, по предположению Директоров, приведет к распаду австро-сардинского союза, как только союзники почувствуют всю мощь французского оружия. Не то чтобы сам Бонапарт должен был вести эти переговоры. Он должен был направлять Директории все предложения о подчинении. Более того, он не был уполномочен предоставлять под свою ответственность даже перемирие. Он должен был просто сильно давить на врага и кормить своих нуждающихся солдат на завоеванной территории. Он должен был быть исключительно генералом, а не участником переговоров.

Руководители проявили здесь острую ревность или поразительное невежество в военном деле. Как он мог заставить австрийцев замолчать, пока посланники курсировали между Турин и Парижем? Все требования здравого смысла требовали от него заключить перемирие с туринским двором до того, как австрийцы оправятся от своих недавних бедствий. Но король Сардинии вывел его из затруднительного положения, поручив Колли предпринять шаги к перемирию в качестве предварительного условия для заключения мира. Французский командующий немедленно ответил, что такие полномочия принадлежат Директории; но что касается перемирия, то оно было бы возможно только в том случае, если бы Туринский двор передал в его руки три крепости, Кони, Тортону и Алессанрию, помимо гарантии транзита французских армий через Пьемонт и переправы через По у Валенцы. Затем, со своей непоколебимой верой в свершившиеся факты, Бонапарт двинул свои войска к Чераско.

Недалеко от этого города он принял пьемонтских послов; и из-под пера одного из них мы имеем отчет о поведении генерала в его первом эссе по дипломатии. Его поведение было отмечено той серьезной и холодной вежливостью, которая была сродни пьемонтским обычаям. В ответ на предположения послов о том, что некоторые условия не имели большого значения для французов, он ответил: "Республика, доверив мне командование армией, приписала мне достаточную проницательность, чтобы судить о том, чего требует эта армия, не прибегая к советам моего врага". Однако, помимо этого сарказма, который был произнесен жестким и язвительным тоном, тон его был холодно-вежливым. Он приберег свою домашнюю речь для закрытия конференции. Когда это затянулось значительно позже полудня без определенного результата, он посмотрел на свои часы и воскликнул: "Джентльмены, я предупреждаю вас, что общая атака назначена на два часа, и что, если я не буду уверен, что Кони попадет в мои руки до наступления ночи, атака не будет отложена ни на минуту. Со мной может случиться, что я проиграю битву, но никто никогда не увидит, чтобы я терял минуты ни из-за чрезмерной самоуверенности, ни из-за лени". Условия перемирия в Чераско были немедленно подписаны (28 апреля); они были по существу такими же, как те, которые были впервые предложены победителем. Во время последовавшего завтрака послы были еще более впечатлены его невозмутимой уверенностью и резкими фразами; например, когда он сказал им, что кампания

была точной копией того, что он планировал в 1794 году; или описал военный совет как удобное средство для прикрытия трусости или нерешительности командующего; или заявил, что теперь ничто не сможет остановить его перед стенами Мантуи.^[43]

На самом деле французская армия была в то время настолько дезорганизована грабежом, что едва ли устояла бы перед объединенной и энергичной атакой Болье и Колли. Республиканцы, долгое время подвергавшиеся голоду и лишениям, теперь наслаждались плодородными равнинами Пьемонта. Большие банды мародеров рыскали по соседней стране, и полки часто сводились к простым ротам. От серьезных рисков, связанных с этой ситуацией, Бонапарта спасла робость туринского двора, который подписал перемирие в Чераско через восемнадцать дней после начала кампании. Две недели спустя между Францией и королем Сардинии были подписаны предварительные условия мира, по которым последний уступал свои провинции Савойя и Ницца и отказывался от союза с Австрией. Это известие вызвало сильное возмущение в империалистическом лагере; и было открыто заявлено, что пьемонтцы позволили себя победить, чтобы заключить мир, который был молчаливо согласован в январе месяце.^[44]

Еще до этого благоприятного события депеши Бонапарта Директорам были составлены в почти повелительных выражениях, которые показывали, что он чувствовал себя хозяином положения. Он дал им совет относительно их политики в отношении Сардинии, указав, что, поскольку Виктор Амадей сдал три важные крепости, он практически оказался в руках французов: "Если вы не примете мира с ним, если ваш план состоит в том, чтобы свергнуть его с престола, вы должны развлекать его в течение нескольких десятилетий"^[45] и должны предупредить меня: затем я захвачу Валенцу и двинусь на Турин". В военных делах молодой генерал показал, что не потерпит никакого вмешательства со стороны Парижа. Он попросил Директорию набрать 15 000 человек из Альпийской армии Келлермана для усиления его: "Это даст мне армию в 45 000 человек, часть из которых, возможно, я смогу отправить в Рим. Если вы продолжите проявлять доверие и одобрите эти планы, я уверен в успехе: Италия ваша". Несколько позже директора предложили предоставить необходимые подкрепления, но оговорили сохранение части армии в Милане *под командованием Келлермана*. Вслед за этим Бонапарт ответил (14 мая), что, поскольку австрийцы получили подкрепление, было бы крайне невежливо разделять командование. У каждого генерала был свой способ ведения войны. Келлерман, обладая он большим опытом, несомненно, сделал бы это лучше, но оба вместе сделали бы это очень плохо.

И снова Режиссеры допустили грубую ошибку. Стремясь подчинить Бонапарта тем же правилам, которые были введены для всех французских генералов после измены Дюмурье в 1793 году, они, несомненно, руководствовались жизненно важными интересами Содружества. Но, стремясь предотвратить все возможности цезаризма, они теперь согрешили против того элементарного принципа стратегии, который требует единства замысла в военных операциях. Возражение Бонапарта осталось без ответа, и больше об этом неудачном предложении ничего не было слышно.

Тем временем мир с Савойским домом открыл миланцы для нападения Бонапарта. Удерживая три сардинские крепости, он располагал отличной базой для операций, поскольку земли, возвращенные королю Сардинии, должны были оставаться предметом реквизиций для французской армии до установления всеобщего мира. Австрийцы, с другой стороны, были ослаблены враждебностью своих итальянских подданных и, что хуже всего, в конечном счете зависели от подкреплений, поступавших из-за Альп через Мантую. На богатых равнинах

Ломбардии у них, однако, было одно преимущество, которого они были лишены среди скал Апеннин. Их генералы могли продемонстрировать тактическое мастерство, которым они гордились, а их великолепная кавалерия имела некоторый шанс подражать прежним подвигам венгерской и хорватской кавалерии. Поэтому они ожидали наступления французов, мало встревоженные недавними бедствиями и воодушевленные верой в то, что их противник, не искушенный в регулярных боевых действиях, сразу же потеряет на равнинах репутацию "пузыря", завоеванную в ущельях. Но страна во второй части этой кампании была не менее благосклонна к своеобразным способностям Бонапарта, чем та, в которой он снискал свои первые лавры полководца. Посреди Апеннин, где можно было передвигать лишь небольшие отряды людей, генерал, неопытный в обращении с кавалерией и пехотой, мог сделать свои первые тактические опыты с неплохими шансами на успех. Скорость, энергия и быстрый захват господствующей центральной позиции были главными условиями; справиться с огромными массами людей было невозможно. Равнины Ломбардии способствовали более крупным передвижениям; но даже здесь многочисленные широкие быстрые ручьи, питаемые альпийскими снегами, и сеть ирригационных дамб благоприятствовали плану молодого и смелого лидера, который знал, как использовать естественные препятствия, чтобы сбить с толку и заманить в ловушку своих врагов. Теперь Бонапарту предстояло показать, что он превосходит своих врагов не только в остроте зрения и силе интеллекта, но и в мелочах тактики и в тех более масштабных стратегических концепциях, которые решают судьбы наций. Во-первых, имея превосходство в силах, он был способен атаковать. Это преимущество всегда: агрессор, как правило, может ввести своего противника в заблуждение серией финтов до тех пор, пока не будет нанесен настоящий удар с сокрушительным эффектом. Такова была цель всех великих лидеров со времен Эпаминонда и Александра, Ганнибала и Цезаря, вплоть до эпохи Люксембурга, Мальборо и Фридриха Великого. Агрессивная тактика особенно подходила французским солдатам, всегда нетерпеливым, активным и умным, а теперь наделенным безграничным энтузиазмом по отношению к своему делу и своему лидеру.

С другой стороны, он полностью осознавал порочность ситуации в Австрии. Это было похоже на то, как если бы неповоротливый организм протянул уязвимую конечность через огромный барьер Альп, подставляя ее под атаку более компактного тела. Бонапарту оставалось только обратить против своих врагов более мелкие географические объекты, на которые они тоже неявно полагались. Боле отступил за реки По и Тичино, ожидая, что атака на миланцев будет нанесена через последнюю реку обычным путем, который пересекал ее у Павии. Недалеко от этого города австрийцы заняли сильную позицию численностью 26 000 человек, в то время как другие отряды патрулировали берега Тичино дальше на север и берега По в направлении Валенцы, только 5000 человек были отправлены в сторону Пьяченцы. Бонапарт, однако, был не прочь пойти обычным путем. Он решил выступить в поход, но пока не на север от реки По, где набухшие от снега ручьи стекали с Альп, а скорее на юг, где с Апеннин впадает меньше ручьев, а также меньшего объема. Из крепости Тортонна он мог бы броситься на Пьяченцу, переправиться там через По и таким образом овладеть Миланом почти без единого удара. С этой целью он оговорил в недавних условиях мира, что может переправиться через По у Валенцы; и теперь, забавляя своих врагов ложными маневрами на этом берегу, он энергично продвигал свои основные колонны вдоль южного берега По, где они собрали все доступные лодки. Авангард, возглавляемый пылким Ланном, захватил переправу в Пьяченце до появления австрийской кавалерии и рассеял один или два эскадрона, которые пытались загнать их обратно в реку (7 мая).

Таким образом, было выиграно время для значительного числа французов, чтобы переправиться через реку на лодках или пароме. Действуя под руководством своего предводителя, французы преодолели все препятствия: вскоре через реку был перекинут лодочный мост, который защищал *тет-де-пон*; и с силами, примерно равными по численности австрийцам Липтея, республиканцы продвинулись на север и после упорной борьбы выбили своих врагов из деревни Фомбио. Этот успех вбил прочный клин между Липтаем и его главнокомандующим, который впоследствии горько обвинял его, во-первых, в отступлении, а во-вторых, в том, что он не сообщил о своем отступлении в штаб. Однако, похоже, что у Липте было всего 5000 человек (а не 8000, которые приписывали ему Наполеон и французские историки), что Болье отправил его в Пьяченцу слишком поздно, чтобы предотвратить переправу французов, и что по окончании сражения на следующий день он был полностью отрезан от связи со своим начальником. Болье со своими главными силами двинулся на Фомбио, наткнулся на французов, где надеялся найти Липте, и после беспорядочного боя ему удалось оторваться и отступить в сторону Лоди, где большая дорога, ведущая в Мантую, пересекала реку Адда. К этому ручью он направил свои оставшиеся силы, чтобы отступить. Таким образом, он оставил Милан незащищенным (за исключением гарнизона, удерживавшего цитадель) и покинул более половины Ломбардии; но с военной точки зрения его отступление к Адде было вполне обоснованным. Однако и здесь стратегически правильное движение было омрачено тактическими просчетами. Если бы он сосредоточил все свои силы в ближайшем пункте Адды, который французы могли пересечь, а именно в Пиццигетоне, он сделал бы любой их фланговый марш на север чрезвычайно опасным; но он еще недостаточно усвоил от своего грозного учителя необходимость концентрации; и, имея для охраны по крайней мере три прохода, он держал свои силы слишком рассредоточенными, чтобы противостоять решительному наступлению на любой из них. Действительно, он отчаялся удержать линию Адды и отступил на восток с большей частью своей армии.

Следовательно, когда Бонапарт всего через три дня после захвата Пьяченцы бросил свои почти неразделенные силы против города Лоди, его переход оспаривался только арьергардом, чье стремление прикрыть отступление запоздалого отряда намного превосходило их решимость защищать мост через Адду. Это было узкое сооружение, около восьмидесяти саженей в длину, стоявшее высоко над быстрой, но мелководной рекой. Решительно удерживаемый хорошо укрепленными войсками и пушками, он мог стоять французам ожесточенного сражения; но с империалистами обошлись плохо: некоторые из них были размещены в городе и вокруг него, который находился между рекой и наступающими французами; и слабые стены Лоди вскоре были взяты штурмом пылкими республиканцами. Австрийский командующий Зеботтендорф теперь поспешно расставил своих людей вдоль восточного берега реки, чтобы защитить мост и предотвратить любой переход реки на лодках или вброд выше города. Империалисты насчитывали всего 9 627 человек; они были обескуражены поражениями и сознанием того, что нельзя предпринять никаких серьезных действий, пока они не достигнут окрестностей Мантуи; и их попытки разрушить мост были теперь сорваны французами, которые, расположившись за стенами Лоди на более высоком берегу реки, уничтожили позиции своих противников прицельным артиллерийским огнем. Поколебав стойкость своих врагов и освежив свою пехоту кратким отдыхом в Лоди, Бонапарт в 6 часов вечера тайно сформировал колонну из своих отборных войск и бросил ее на мост. Жаркий огонь картечи и ружейных залпов разорвал ее фронт, и на какое-то время колонна согнулась под железным градом. Но, воодушевленные словами своего молодого лидера, генералы, капралы и гренадеры продолжали наступление. На

этот раз с помощью метких стрелков, добравшихся вброд до островков на реке, нападавшие очистили мост, закололи штыками австрийских артиллеристов, атаковали первую и вторую линии поддержки пехоты и, получив подкрепление, вынудили конницу и пехоту отступить к Мантуе. ^[46]

Таким было дело Лоди (10 мая). Легендарный гламур витает вокруг всех деталей этого конфликта и придает ему фиктивную важность. Основные силы Болье были далеко, и не было никакой надежды заманить в ловушку что-либо большее, чем тыл его армии. Более того, если это было целью, то почему фланговый ход французской кавалерии выше Лоди не был отброшен ранее в ходе боя? Это, при поддержке пехоты, могло бы обойти противника с фланга, пока предпринимался опасный бросок к мосту; и такое поворотное движение, вероятно, охватило бы австрийские силы, пока они были разбиты спереди. Именно с такой точки зрения стратег Клаузевиц рассматривает это столкновение. Совершенно иным было впечатление, которое оно произвело на солдат и французов в целом. Они ценили командира больше за храбрость бульдога, чем за способность рассуждать и умело комбинировать. Это, правда, Бонапарт уже продемонстрировал. Теперь он зачаровал солдат, нанеся прямой резкий удар. Это оказало магическое воздействие на их умы. Вечером того же дня французские солдаты со старинным республиканским духом *товарищества* называли своего командира *маленьким капоралем* за его личную храбрость в бою, и эта милая фраза помогла увековечить историю с мостом Лоди. ^[47] Это вызвало трепет ликования во Франции. С простительным преувеличением люди рассказывали, как он атаковал во главе колонны и вместе с Ланном первым достиг противоположной стороны; и последующие поколения изображали его атакующим перед своими рослыми гренадерами — подвиг, который на самом деле совершили Ланн, Бертье, Массена, Червони и Даллемань. Все было едино. Героем дня был только Бонапарт. Он безраздельно властвовал в сердцах солдат и понимал важность этого завоевания. На острове Святой Елены он признался Монтолону, что именно победа при Лоди разожгла его честолюбивые замыслы в неугасимый огонь.

Желание стимулировать народный энтузиазм по всей Италии побудило молодого победителя отказаться от своей настоящей цели - крепости Мантуя - и отправиться в политическую столицу Ломбардии. Жители Милана с энтузиазмом приветствовали своих французских освободителей: они осыпали цветами загорелых солдат свободы и указывали на их изодранную форму и стоптанную обувь как на доказательства их победоносной энергии; прежде всего, они смотрели с восхищением, не без примеси благоговения, на тонкие бледные черты молодого командира, чей простой наряд свидетельствовал о спартанской деятельности, чей пылкий взгляд и решительные жесты выдавали прирожденного лидера людей. Он немедленно распорядился об осаде цитадели, в которой держались восемнадцать сотен австрийцев; затем он принял главных людей города с непринужденной итальянской грацией; а вечером дал роскошный бал, на котором во всем блеске проявились достоинство, богатство и красота старой ломбардской столицы. На короткое время между лангобардами и их освободителями все шло хорошо. Он с лестью принимал ведущих художников и литераторов, а также стремился активизировать деятельность Университета Павии. Политические клубы и газеты множились по всей Ломбардии; а актеры, писатели и редакторы присоединились к пирушке придворных или подобострастных восхвалений новому Сципиону, цезарю, Ганнибалу и Юпитеру.

Были и другие причины, по которым лангобарды должны были боготворить молодого победителя. Помимо восхищения, которое одаренная раса всегда испытывает к столь

очаровательному сочетанию юношеской грации с интеллектуальной мощью и воинской доблестью, они верили, что этот итальянский герой призовет народ к политической активности, возможно, даже к национальной независимости. Ради этого их самые пылкие души вздыхали, устраивали заговоры или боролись в течение восьмидесяти трех лет австрийской оккупации. Со времен смутных времен Данте были пророческие души, которые уловили видение новой Италии, исцелившейся от бесчисленных расколов, очистившейся от социальной деградации и объединившей доблесть своей древней жизни с более благородными искусствами современности для совершенствования своих собственных сил и на благо человечества. Отблеск этого видения сиял даже среди раскатов грома Французской революции; и теперь, когда гроза разразилась над равнинами Ломбардии, восторженные юноши, казалось, увидели видение, воплощенное в личности самого Бонапарта. При первых известиях об успехе при Лоди на кокарды надели национальные цвета или вызывающе помахали австрийским гарнизонам с балконов и шпилей. Все истинно итальянские сердца верили, что победы Франции ознаменовали рассвет политической свободы не только для Ломбардии, но и для всего полуострова.

Первые действия Бонапарта усилили эти надежды. Он упразднил австрийский правительственный аппарат, за исключением Государственного совета, и одобрил формирование временных муниципальных советов и Национальной гвардии. В то же время он осторожно написал директорам в Париж, спрашивая, предлагают ли они организовать Ломбардию как республику, поскольку она гораздо более созрела для такой формы правления, чем Пьемонт. Дальше этого он пойти не мог, но позже он многое сделал, чтобы выполнить свои первые обещания народу Северной Италии.

Прекрасная перспектива вскоре была омрачена финансовыми мерами, на которых настаивал молодой командующий из Парижа, мерами, которые были катастрофическими для лангобардов и унижительными для самих освободителей. Недавно директора попросили его оказать сильное давление на миланцев и взимать большие взносы деньгами, провизией и предметами искусства, видя, что они не намерены удерживать эту страну. [48] Соответственно, Бонапарт издал прокламацию (19 мая), в которой налагал на Ломбардию сумму в двадцать миллионов франков, отметив, что это очень незначительная сумма для столь плодородной страны. Всего за два дня до этого он в письме Директорам описал ее как истощенную пятилетней войной. Что касается утверждения о том, что армия нуждалась в этой сумме, его можно сравнить с его частным уведомлением Директории через три дня после его заявления о том, что они могут быстро рассчитывать на шесть-восемь миллионов ломбардской контрибуции, которые находятся в их распоряжении, "это сверх того, что требуется армии". Это первое определенное предложение Бонапарта о системе обескровливания завоеванных земель в пользу французской казны, которое позволило ему быстро получить власть над Директорами. С тех пор они стали потворствовать его дипломатическим нарушениям и даже настаивать на его экспедициях в богатые районы при условии, что добыча попадала в Париж; в то время как победитель, со своей стороны, мог молчаливо принять тот властный тон, с которым взяточдатель обращается с подкупленным. [49]

Взыскание этой крупной суммы и различных предметов первой необходимости для армии, а также "изъятие" произведений искусства в пользу французских музеев сразу же вызвало самые горькие чувства. С потерей бесценных сокровищ, таких как рукопись Вергилия, принадлежавшая Петrarке, и шедевры Рафаэля и Леонардо да Винчи, возможно, можно было

бы смириться: это касалось лишь немногих образованных людей, и их буйство вскоре было подавлено патрулями французской кавалерии. Совсем иначе обстояло дело с крестьянами между Миланом и Павией. Истощенные беломундирниками, они теперь отказались проливать кровь на благо синих мундиров Франции. Они бросились к оружию. Город Павия отражал атаку французской колонны до тех пор, пока в его воротах не загрохотали пушки. Затем республиканцы ворвались внутрь, в течение нескольких часов вырезали всех вооруженных людей и утолили свою похоть и ненасытность. По приказу Бонапарта члены муниципального совета были приговорены к казни; но произошла задержка, прежде чем этот свирепый приказ был приведен в исполнение, и впоследствии он был смягчен. Двести заложников были, однако, отправлены во Францию в качестве гарантии хорошего поведения несчастного города, после чего вождь объявил Директории, что это послужит полезным уроком народам Италии.

В каком-то смысле это было правильно. Это дало итальянцам истинное представление о французских методах; и болезненные эмоции охватили народы полуострова, когда они поняли, какой ценой предстояло добиться их освобождения. И все же несправедливо возлагать главную вину за разграбление Ломбардии на Бонапарта. Его действия были лишь развитием существующих революционных обычаев; но никогда еще эти деморализующие меры не применялись так тщательно, как в нынешней системе освобождения и шантажа. Ломбардия была разграблена с почти вандалской жадностью. Бонапарт мало чего желал для себя. Его целью всегда была власть, а не богатство. Богатство он ценил только как средство достижения политического превосходства. Но он позаботился о том, чтобы директора и все его влиятельные сотрудники были по уши у него в долгу. Пяти *состоятельным* правителям Франции он послал сотню лошадей, лучших, каких только можно было найти в Ломбардии, чтобы заменить "бедных созданий, которые теперь тянут ваши экипажи";^[50] своим офицерам его снисходительность была пассивной, но обычно эффективной. Мармон утверждает, что Бонапарт однажды упрекнул его в скрупулезности при возврате всей определенной суммы, которую ему было поручено взыскать. "В то время, - говорит Мармон, - мы все еще сохраняли нежный цветок в этих областях". Этой альпийской горечавке вскоре предстояло увянуть из-за жары на равнинах. Некоторые генералы сколотили большие состояния, особенно Массена, первый как в грабежах, так и в драках. И все же командующий, который был так снисходителен к своим генералам, заполнял свои письма Директории жалобами на тучу французских комиссаров, дельцов и других гражданских гарпий, которые посягали на награбленное в Ломбардии. Кажется, невозможно избежать вывода о том, что эта снисходительность к солдатам и суровость к гражданским лицам были результатом твердой решимости неразрывно связать со своей судьбой генералов и рядовых сотрудников. Контраст в его поведении часто был поразительным. Некоторых из гражданских лиц он заключил в тюрьму, других хотел расстрелять; но поскольку самые отважные грабители, как правило, становились друзьями военной мамы, несправедности, они отделались штрафом, смехотворно несоизмеримым с их реальной прибылью.^[51]

Герцоги Пармский и Моденский также были убиты. Первый из них, из-за его отношений с испанскими бурбонами, с которыми Директория желала поддерживать дружеские отношения, был подвергнут штрафу всего в два миллиона франков и получил двадцать шедевров искусства, последние из которых были отобраны французскими комиссарами из галерей герцогства; но герцог Моденский, который помогал австрийскому оружию, выкупил свое помилование контрибуцией в десять миллионов франков и уступкой двадцати картин, главных

художественных сокровищ его Государства.^[52] Как наивно заявил Бонапарт Директорам, у герцога не было крепостей или пушек; следовательно, их нельзя было от него требовать.

От этой унижительной работы Бонапарт стремился отучить своих солдат, вернув их к более благородному делу - освобождению Италии от гражданских прав. В воззвании (20 мая), которое даже сейчас будоражит кровь, как трубный зов, он призвал своих солдат помнить, что, хотя многое уже сделано, их еще ждет гораздо более важная задача. Потомки не должны упрекать их за то, что они нашли свою Капую в Ломбардии. Рим должен был быть освобожден: Вечный город должен был восстановить свою молодость и снова продемонстрировать добродетели своих древних предков, Брута и Сципиона. Тогда Франция даровала бы Европе славный мир; тогда их сограждане говорили бы о каждом борце за свободу, когда он возвращался к своему очагу: "Он служил в Итальянской армии". Такими волнующими словами он соединил любовь к свободе со страстью к военной славе, которой было суждено задушить Республику.

Тем временем австрийцы отступили за берега Минчо и стены его крепости-стража, Мантуи. Их позиция была очень прочной. Река, которая уносит излишки воды из озера Гарда, впадает в реку По протяженностью около тридцати миль. Наряду с языкообразной впадиной, занятой ее родительским озером, река образует главный внутренний барьер для всех захватчиков Италии. С древнейших времен вплоть до времен правления двух Наполеонов берега Минчо были свидетелями многих состязаний, которые решали судьбу полуострова. В нижнем течении, где река расширяется, превращаясь в полукруглую лагуну, окруженную болотами и заводами, находится исторический город Мантуя. За эту позицию, если мы можем доверять живописным строкам благороднейшего сына Мантуи,^[53] три древнейших народа Северной Италии боролись; и когда могущество императорского Рима пошло на убыль, свирепый Атила разбил свой лагерь на берегах Минчо, и там принял понтифика Льва, чьи молитвы и достоинство предотвратили угрожающий поток о скифском коне.

Именно у этого ручья, прославленного как на войне, так и в песнях, империалисты остановили свои разбитые силы, ожидая подкрепления из Тироля. Они должны были пройти по долине Адидже и в последней части своего марша пересечь земли Венецианской республики. Для этого действия существовало давно установленное право проезда, которое не влекло за собой нарушения нейтралитета Венеции. Но, поскольку часть австрийских войск вторглась на венецианскую территорию к югу от Брешии, французский командующий без колебаний открыто нарушил нейтралитет Венеции, заняв этот город (26 мая). Дивизии Ожеро также было приказано продвигаться к западному берегу озера Гарда и там собирать лодки, как будто предполагалась переправа. Видя это, австрийцы захватили небольшую венецианскую крепость Пескьера, которая контролирует выход реки Минчо из озера, и с тех пор нейтралитет Венеции был полностью проигнорирован.

Ловкими маневрами на берегах озера Бонапарт теперь стремился заставить Болье нервничать по поводу своих коммуникаций с Тиролем через долину реки Адидже; он полностью преуспел в этом: стремясь охранять важные позиции на этой реке между Риволи и Ровередо, Болье настолько ослабил свои силы на Минчо, что в Борgetto и Валеджо у него было всего два батальона и десять эскадронов кавалерии, или около двух тысяч человек. Таким образом, гренадеры Ланна без особых трудностей форсировали проход 30 мая, после чего Болье отступил к верховьям Адидже, весьма довольный собой за то, что снабдил крепость Мантуя продовольствием, позволяющим ей выдержать длительную осаду. Это было практически его

единственное достижение в ходе предвыборной кампании. Оказавшись в меньшинстве, превзойденный общим положением, обанкротившийся как по здоровью, так и по репутации, он вскоре подал в отставку, но не раньше, чем у него появились признаки "откровенного старческого слабоумия".^[54] Однако он обрел бессмертие: его неспособность ярко проявила гениальность его молодого антагониста и, следовательно, заметно повлияла на судьбу Италии и Европы.

Теперь Бонапарт направил дивизию Массены на север, чтобы окружить австрийцев в узкой долине верхнего Адидже, в то время как другие полки начали приближаться к Мантуе. Особенности местности благоприятствовали его инвестированию. Полукруглая лагуна, ограждающая Мантую с севера, и болота с южной стороны очень затрудняют штурм; но они также ограничивают территорию, по которой можно совершать вылазки, тем самым облегчая работу осаждающих; и во время части блокады Наполеон оставил для этой цели менее пяти тысяч человек. Было ясно, однако, что взятие Мантуи будет утомительным предприятием, которое вряд ли мог выдержать смелый и предприимчивый гений Бонапарта, и что его заветный план похода на север для соединения с Моро на Дунае был невыполним. Имея при себе в середине лета всего 40 400 человек, его едва хватало, чтобы удерживать линию Адидже, блокировать Мантую и поддерживать открытыми коммуникации с Францией.

По приказу Директории он повернул на юг против более слабых врагов. Отношения между Папской областью и Французской Республикой были враждебными с момента убийства французского посланника Бассевиля в Риме в первые дни 1793 года; но папа Пий VI ограничился анафемами против революционеров и молитвами за успех Первой коалиции.

Такое поведение теперь нанесло ему сильный удар. Французские войска переправились через реку По и захватили Болонью, после чего перепуганные кардиналы подписали перемирие с республиканским командующим, согласившись закрыть все свои государства для англичан и допустить французский гарнизон в порт Анкона. Папа также согласился передать "сто картин, бюстов, ваз или статуй, как определяют французские уполномоченные, среди которых особо следует выделить бронзовый бюст Юния Брута и мраморный бюст Марка Брута, а также пятьсот рукописей". Он также был вынужден заплатить 15 500 000 франков, помимо животных и товаров, которые французские агенты должны были реквизировать для своей армии, за исключением денег и материалов, взятых из округов Болонья и Феррара. Общая сумма в деньгах и натурой, собранная у папских государств в ходе этого прибыльного рейда, была подсчитана самим Бонапартом в 34 700 000 франков,^[55] или около того; 1 400 000 фунтов стерлингов — щедрая сумма за жизнь одного посланника и *брутальной фульмины* Ватикана.

Не менее прибыльной была поездка в Тоскану. Поскольку великий герцог этой плодородной земли предоставил английским крейсерам и купцам определенные привилегии в Ливорно, это было воспринято как отход от нейтралитета, который он якобы соблюдал с момента подписания мирного договора с Францией в 1795 году. Колонна республиканцев быстро приблизилась к Ливорно и захватила много ценного имущества у британских торговцев. И все же захватчикам не удалось заполучить самую богатую добычу, на которую они надеялись; около сорока английских торговых судов отошли от берега, когда войска приблизились к морскому порту, а английский фрегат, спикировав, унес два французских судна почти на глазах у самого Бонапарта. Это последнее возмущение, правда, послужило небольшим оправданием для проведения реквизиций в Ливорно и его окрестностях; однако, по словам автора мемуаров Мио

де Мелито, это беспринципное действие следует приписать не Бонапарту, а неотложным потребностям французской казны и личной жадности некоторых директоров. Возможно также, что французские комиссары и агенты, которые прибегали к шантажу или отбирали картины, могли иметь некоторое отношение к формированию режиссерской политики: по крайней мере, несомненно, что некоторые из них, в частности Саличетти, сколотили большое состояние на разграблении Ливорно. Чтобы утихомирить негодование великого герцога, Бонапарт нанес краткий визит во Флоренцию. Его встретили в почтительном молчании, когда он проезжал по улицам, где его предки строили козни во имя дела гибеллинов. Искусно сочетая вежливость и твердость, новый завоеватель навязал свою волю правительству Флоренции, а затем поспешил на север, чтобы продолжить осаду Мантуи.

ГЛАВА VI

БОИ За МАНТУЮ

Обстоятельства, которые привели Бонапарта на берега Минчо, были действительно серьезными. Император Франциск был полон решимости любой ценой удержать свою власть над Италией, сняв осаду этой крепости; и если французскому командующему не удастся быстро предотвратить ее падение, у него была перспектива сражаться со значительно превосходящей армией, в то время как его тылу угрожал гарнизон Мантуи. Австрия прилагала беспрецедентные усилия, чтобы изгнать этого самонадеянного молодого генерала с земли, которую она считала своим политическим заповедником. Военные историки всегда были озадачены ее настойчивыми усилиями в 1796-1797 годах вновь завоевать Ломбардию. Но, по правде говоря, причины дипломатические, а не военные, и их не нужно здесь подробно описывать. Достаточно сказать, что, хотя Рейнская армия Моро угрожала землям Габсбургов в Швабии, Франциск был полон решимости любой ценой вернуть свои итальянские владения.

С этой целью император заменил незадачливого Болье генералом Вюрмсером, который приобрел некоторую репутацию в Рейнских кампаниях; и, выделив 25 000 человек из своих северных армий для усиления своей армии на Адидже, он приказал ему победоносно пронести двуглавого орла Австрии на равнины Италии. Хотя было слишком поздно освобождать Миланскую цитадель, он должен был напрячь все силы, чтобы освободить Мантую; и поскольку

последние сообщения представляли французов широко рассеянными для разграбления Центральной Италии, император возлагал самые большие надежды на успех Вюрмсера.^[56] Возможно, этого можно было бы достичь, если бы австрийский император и штаб понимали абсолютную необходимость концентрации при атаке на командующего, который уже продемонстрировал свою исключительную важность в войне. Тем не менее, трудности с маршем армии численностью 47 000 человек через узкое ущелье, прорезанное Адидже в Тирольских Альпах, и широкая протяженность французских линий прикрытия привели к принятию плана, который отдавал предпочтение скорости в ущерб безопасности. Вюрмсер должен был разделить свои силы для трудного марша на юг из Тироля в Италию. В защиту этого соглашения можно было бы призвать многое. Перегружать две дороги, которые тянутся по обе стороны Адидже от Триента к Мантуе, пехотой, кавалерией, артиллерией и бесчисленными сопровождающими армию людьми, животными и повозками, было бы фатально как для скорости марша, так и для успеха в войне в горах. Даже в кампании 1866 года величайший полководец этого поколения придерживался своего принципа: "Маршируйте отдельными колоннами: объединяйтесь для боя". Но Вюрмсер и Ауличский совет^[57] в Вене пренебрегли обеспечением этого воссоединения для нападения, на которое фон Мольтке делал такой упор в своей богемской кампании. Австрийские войска в 1796 году были разделены препятствиями, которые невозможно было быстро преодолеть, а именно озером Гарда и высокими горами, возвышающимися над долиной Адидже. Несомненно, империалисты были недостаточно сильны, чтобы идти на какой-либо риск. Официальные отчеты Австрии показывают, что общая численность войск, собранных в Тироле для вторжения в Италию, составила 46 937 человек, а не 60 000, как рисовалось воображению Тьера и других французских историков. Поскольку у Бонапарта в Ломбардии-Венеции было 45 000 человек (включая 10 000, которые сейчас участвовали в осаде Мантуи), разбросанных по фронту в пятьдесят миль от Милана до Брешии и Леньяго, вторжение войск Вюрмсера, если бы французов удерживали на отдельных позициях отвлекающими маневрами против их флангов, должно было оказаться решающим. Но вина была совершена в том, что австрийцы настолько разделились, что нигде не смогли нанести сокрушительный удар. Квосданович с 17 600 бойцами должен был занять западный берег озера Гарда, захватить французские склады в Брешии и перерезать их коммуникации с Миланом и Францией: основные силы под командованием Вюрмзера, численностью 24 300 человек, тем временем должны были выступить двумя колоннами по обоим берегам Адидже, выбить французов из Риволи и продвигаться к Мантуе: и все же третья дивизия под командованием Давидовича из района Фриули на востоке получила приказ выступить на Виченцу и Леньяго, чтобы отвлечь французов с этой стороны и, возможно, заменить Манту, если два других подхода не увенчались успехом.

Какими бы ошибочными ни были эти диспозиции, они все же серьезно смутили Бонапарта. Он находился в Монтечьяро, деревне, расположенной на дороге между Брешией и Мантуей, когда 29 июля услышал, что "белые мундиры" прорвались в авангарде Массены выше Риволи на Адидже, угрожают другим позициям близ Вероны и Леньяго и наступают на Брешию. Как только стал очевиден весь масштаб опасности, он отправил своим генералам десять депеш, приказывая сосредоточить войска — они, конечно, сражались так, чтобы задержать преследование, — к южной оконечности озера Гарда. Этот мудрый шаг, вероятно, спас его изолированные силы от катастрофы. Именно в этот момент австрийцы предложили объединить две свои главные колонны и разгромить французские отряды. Но, подтянув дивизии Массены и Ожеро к Минчо, Бонапарт быстро собрал внушительные силы и занял центральное положение

между восточными и западными подразделениями империалистов. Он оставил важную оборонительную линию Адидже, это правда; но, быстро сплотившись на Минчо, он занял базу, которая была защищена с севера небольшой крепостью Пескьера и водами озера Гарда. Удерживая мосты через Минчо, он мог наносить удары по своим противникам, где бы они ни атаковали; прежде всего, он все еще прикрывал осаду Мантуи. Таковы были его расположения 29 и 30 июля. В последний день он услышал о потере Брешии и, как следствие, о прекращении его связи с Миланом. Вслед за этим он немедленно приказал Серюрье, осаждавшему Мантую, предпринять последнюю энергичную попытку взять эту крепость, но также обеспечить себе отступление на запад, если удача отвернется от него. Позже в тот же день он приказал ему немедленно отослать свой осадный обоз, выбросив в озеро или закопав все, что он не смог спасти от наступающих империалистов.

Этот явно отчаянный шаг, который, казалось, предвещал отказ не только от осады Мантуи, но и от всей Ломбардии, на самом деле был мастерским ходом. Бонапарт осознал истину, которую кампании 1813 и 1870 годов были в изобилии проиллюстрированы, — что овладение крепостями и, следовательно, их осада захватчиком имеет второстепенное значение по сравнению с решающей победой, одержанной в открытом бою. Оказавшись под угрозой превосходящих сил, наступавших к югу от озера Гарда, он понял, что должен пожертвовать своими осадными сооружениями, даже своим осадным обозом, чтобы на несколько драгоценных дней завоевать то превосходство на поле боя, которое все еще оставалось за ним после разделения империалистических колонн.

Даты этих событий заслуживают пристального изучения; ибо их достаточно, чтобы опровергнуть некоторые из непомерных заявлений, сделанных позднее генералом Ожеро, о том, что только его непоколебимая твердость вынудила Бонапарта вступить в бой и изменить свою тактику отступления на атаку, которая все восстановила. Это экстраординарное утверждение, опубликованное Ожеро после того, как он дезертировал от Наполеона в 1814 году, сопровождается подробным описанием событий 30 июля- 5 августа, в котором Бонапарт предстает как ошеломленный и обескураженный командующий, окруженный малодушными генералами и побуждаемый сражаться исключительно доверием Ожеро. То, что могучая энергия этого генерала оказала большое влияние на восстановление *морального духа* французской армии в последовавших за этим беспорядочных и отчаянных действиях, можно смело признать. Но его заявления о том, что он был главной пружиной французского движения в те тревожные дни, заслуживают краткого рассмотрения. Он утверждает, что Бонапарт, "снедаемый тревогами", встретился с ним в Ровербелле поздно вечером 30 июля и говорил об отступлении за реку По. Официальная переписка опровергает это утверждение. Бонапарт уже отдал приказ Серюрье отойти за реку По со своим артиллерийским обозом; но это, очевидно, была попытка спасти ее от наступающих австрийцев; и командующий приказал северной части французских осаждающих сил присоединиться к Ожеро между Ровербеллой и Гойто. Ожеро далее утверждает, что после того, как он убедил Бонапарта в необходимости быстрого захвата Брешии, главнокомандующий заметил Бертье: "В таком случае мы должны снять осаду Мантуи", чему он (Ожеро) снова энергично воспротивился. Это второе утверждение не делает чести ни точности Ожеро, ни его проницательности. Был отдан приказ о снятии осады, и это было совершенно необходимо для сосредоточения французских войск, на которые Бонапарт теперь полагался как на свою единственную надежду против превосходящих сил. Если бы Бонапарт прислушался к совету Ожеро и продолжал упорствовать в осаде Мантуи, разрозненные французские силы были бы разгромлены по частям. Слова Ожеро принадлежат простому бойцу,

а не стратегу; и робость, которую он невежливо приписывал Бонапарту, была не чем иным, как осторожностью, которую выдающийся интеллект считал необходимой прелюдией к победному шагу.

Можно откровенно признать, что боевые почести последующих дней по праву принадлежат Ожеро. С силами, усиленными северной частью осаждающих Мантую, он быстро двинулся на запад от Минчо к Брешии и спас ее от авангарда Квосдановича (1 августа). Накануне другие австрийские подразделения также после упорных столкновений потерпели поражение близ Сало и Лонато. И все же положение было крайне затруднительным: хотя дивизия Массены из Адидже теперь начинала соприкасаться с главными силами Бонапарта, фронты колонн Вюрмсера угрожали французам с этой стороны, в то время как войска Квосдановича, окружавшие Лонато и Сало, отчаянно пытались протянуть руку помощи своим товарищам на Минчо.

Теперь Вюрмсер обнаружил свою ошибку. Привлеченный к Мантуе ложными сообщениями о том, что французы все еще прикрывают осаду, он двинулся прямо на юг, хотя должен был броситься на выручку своему попавшему в затруднительное положение лейтенанту в Брешии. Войдя в Мантую, он насладился кратким триумфом и послал императору Франциску известие о захвате 40 французских пушек в траншеях и еще 139 на берегах По. Но пока он тешил себя наивной надеждой, что французы полностью отступили из Италии, пришло ошеломляющее известие о том, что они остановили Квосдановича в Брешии и Сало. Осознав свои ошибки и решив исправить их, пока все не было потеряно, он сразу же двинул свой авангард к Кастильоне и легко отбил эту деревню и ее замок у французского отряда под командованием генерала Валетта.

Слабая оборона столь важной позиции повергла Бонапарта в один из тех приступов ярости, которые иногда лишали его здравого смысла. Встретив Валетта в Монтечьяро, он быстро понизил его в звании, отказавшись прислушаться к его заявлению о получении письменного приказа об отставке. В отчете генерала Ландрие утверждается, что гнев главнокомандующего был настолько велик, что на какое-то время даже поколебал его решимость. Перспективы были мрачными. Французы, казалось, вот-вот будут окружены посреди разоренной местности между Кастильоне, Брешией и Сало. Очевидно, что внезапная атака на австрийцев была единственным безопасным и почетным путем. Но никто точно не знал их численности или положения. Неуверенность всегда терзала пылкое воображение Бонапарта. Это был ум, который не трепетал перед видимыми опасностями; но, при всей своей способности к решительным действиям, он сохранил столько корсиканской зловещести, что раздражался перед неизвестным,^[58] и на мгновение утратил способность принимать энергичные решения. Подобно питону, который хватается за хвост свою родную скалу, чтобы обрести полную силу сдерживания, Бонапарт всегда нуждался в фактической основе для должного проявления своей умственной силы.

Один из группы генералов, которых он собрал вокруг себя близ Монтечьяро, предложил им подняться на холм, господствовавший над равниной. Даже с его гребня не было видно австрийцев. Командующий снова разразился раздражительными упреками и даже поговаривал об отступлении в Адду. После чего, если мы можем доверять "Мемуарам" генерала Ландрие, Ожеро запротестовал против отступления и пообещал успех энергичной атаки. "Я умываю руки

и ухажу", - ответил Бонапарт. "А кто будет командовать, если вы уйдете?" - спросил Ожеро. - Вы, - парировал Бонапарт, покидая изумленный круг.

Как бы то ни было, первая атака на Кастильоне, несомненно, была оставлена на усмотрение этого решительного бойца; и сочетание смелости и коварства, которое он продемонстрировал на следующий день, вернуло французам не только деревню, но и замок, расположенный на отвесной скале. И все же отчет полковника Грэма, который в то время находился в штабе маршала Вюрмзера, несколько притупляет блеск подвига Ожеро; поскольку британский офицер утверждает, что австрийская позиция была занята совершенно случайно и что в этой первой битве при Кастильоне участвовало менее 15 000 белых халатов. Более того, рассказы об этой схватке, написанные самим Ожеро и двумя другими генералами, Ландрие и Вердые, которые были недовольны Бонапартом, естественно, должны быть восприняты с большой сдержанностью. Однако император Наполеон великодушно признал влияние неукротимой энергии Ожеро на восстановление уверенности солдат и победу французского триколора; ибо позже, когда на Ожеро посыпались жалобы, он великодушно воскликнул: "Ах, давайте не будем забывать, что он спас нас при Кастильоне". ^[59]

Пока Ожеро восстанавливал эту важную позицию, в нескольких милях севернее, в Лонато, бушевали беспорядочные конфликты. Массена сначала был отброшен наступлением империалистов; но пока они пытались окружить французов, прибыл Бонапарт и совместно с Массеной предпринял центральную атаку, которая часто вырывала победу у противника. Белые мундиры в беспорядке отступили, одни в сторону Гавардо, другие к озеру, за ними гнались французы. В погоне за Гавардо старый друг Бонапарта Жюно отличился своей лихой доблестью. Он ранил полковника, убил шестерых солдат и, покрытый ранами, в конце концов был сброшен в ров. Таков собственный отчет Бонапарта. Отрадно сознавать, что раны ни по отдельности, ни все вместе не были опасными и надолго не подавили деятельность Жюно. Похоже, что оттенок романтики действительно украсил многие из этих повествований; и критический анализ всей истории Лонато, по-видимому, наводит на сомнения в том, была ли победа столь решающей, как часто изображают историки. Если австрийцы были "отброшены к озеру Гарда и Дезенцано", ^[60] трудно понять, почему преследователи не загнали их в озеро. Фактически, почти все разбитые войска бежали в Гавардо, в то время как другие присоединились к своим товарищам, участвовавшим в блокаде Пескьеры.

Странный инцидент служит иллюстрацией опасностей войны и неразберихи на этом этапе кампании. Отряд разбитых австрийских войск численностью около 4000 человек, неспособный присоединиться к своим товарищам в Гавардо или Пескьере, и все же невредимый победоносными преследователями, бродил по холмам и на следующий день случайно наткнулся близ Лонато на гораздо меньший отряд французов. Хотя империалисты и не осознавали всей степени своей удачи, они смело послали посланника, чтобы призвать французского командующего к капитуляции. Когда с его глаз сняли повязку, он был смущен, обнаружив, что находится в присутствии Бонапарта, окруженного генералами его штаба. Глаза молодого командира вспыхнули огнем при виде кажущегося оскорбления, и тоном, вибрирующим от хорошо наигранной страсти, он пригрозил посланнику достойным наказанием за то, что тот осмелился передать подобное послание главнокомандующему в его штабе посреди его армии. Пусть он и его люди немедленно сложат оружие. Ошеломленные этим требованием и видя только победоносного вождя, а не малочисленность его отряда, 4000

австрийцев сдались 1200 французам, или, скорее, ловкости и дерзости одного выдающегося ума.

Воодушевленные этим предзнаменованием дальнейшей победы, республиканцы приготовились к решающему удару. Вюрмсер, хотя и был остановлен 3 августа, получил подкрепление из Мантуи настолько, что все еще тешил себя надеждой выбить французов из Кастильоне и прорубить себе путь к спасению Квосдановича. По чести говоря, он был обязан предпринять эту попытку, поскольку было принято решение, с обычной тщетностью, которая преследовала австрийские советы, объединить свои силы и *сразиться с французами 7 августа*. Эти железные планы теперь соблюдались, несмотря на то, что они были нарушены Бонапартом и Ожеро. Линия фронта Вюрмсера тянулась от деревни Медоле в северо-восточном направлении через шоссе между Брешией и Мантуей; в то время как его правое крыло располагалось в холмистой местности вокруг Сольферино. Фактически, его крайний правый фланг покоился на увенчанных башнями высотах Сольферино, где австрийские войска двумя поколениями позже так отчаянно оборонялись от наступления Наполеона III. и его армия-освободительница.

Из-за того, что корпус Мезароша, шедший из Леньяго, не прибыл, Вюрмсер собрал в своем длинном строю едва ли двадцать пять тысяч человек; в то время как очень своевременное приближение части дивизии Серюрье под командованием Фиореллы с юга дало французам преимущество даже в численности. Более того, наступление Фиореллы к югу от более слабого фланга Вюрмсера, близ Медоле, угрожало повернуть его и поставить под угрозу австрийские коммуникации с Мантуей. Империалисты, по-видимому, не подозревали об этой опасности; и их плохая разведка здесь, как и везде, была в значительной степени ответственна за проблему дня. Желание Вюрмсера протянуть руку помощи Квосдановичу под Лонато и его уверенность в силе собственного правого фланга привели его к фатальной неосторожности. Послав разведку вслед за своим коллегой, оказавшимся в затруднительном положении на севере, он опасно расширил свою линию, ошибка, в которой его ловко поощрял Бонапарт, сдерживавший свое собственное левое крыло. Тем временем французы наступали на другом конце австрийской линии. Мармон, бросившись вперед с конной артиллерией, обошел левое крыло противника с фланга и заставил замолчать многие его орудия. Под прикрытием этой атаки дивизия Фиореллы смогла подобраться на расстояние удара; и французская кавалерия, обойдя с тыла это сильно стесненное крыло, едва не захватила Вюрмсера и его штаб. Энергичная контратака австрийских резервов или немедленный обход всей линии фронта были необходимы, чтобы отразить эту блестящую фланговую атаку; но австрийские резервы были израсходованы к северу от их линии; и попытка сменить фронт, всегда трудная операция, была подавлена стремительной атакой дивизий Массены и Ожеро в их центре. Перед этими атаками вся австрийская линия фронта дрогнула; и, по словам полковника Грэхема, только это отступление, предпринятое "без приказа", спасло все силы от того, чтобы быть отрезанными. Критические замечания нашего офицера в достаточной степени раскрывают причину катастрофы. Мягкотелость и неспособность Вюрмсера, отсутствие ответственного заместителя командующего, незнание численности и позиций французов, решимость продвигаться к Кастильоне и ждать поблизости Квосдановича, пока 7-го числа не удастся провести сражение объединенными силами, почти случайное занятие позиции на линии Кастильоне-Медоле и неспособность обнаружить приближение Фиореллы представляют собой серию недостатков и грубых ошибок, которые могли бы отдать победу третьеразрядному противнику. ^[61]

Сражение ни в коем случае не было кровопролитным: это была скорее серия маневров, чем длительные конфликты. Отсюда его интерес для всех, кто предпочитает сосредотачиваться на интеллектуальных проблемах ведения войны, а не на деталях ведения боевых действий. Бонапарт ранее показал, что может наносить удары с красноречивым эффектом. Легкость и изящество его движений во второй битве при Кастильоне теперь искупили репутацию, которую его неуверенное поведение в течение четырех предыдущих дней несколько подорвало.

Полный и достоверный отчет об этой неделе беспорядочных боев так и не был написан. Архивы Вены еще не раскрыли всех своих секретов; и репутация стольких французских офицеров была омрачена этой длительной схваткой, что даже отчеты победителей стали расплывчатыми и непоследовательными. Цель историков во всем мире дать ясный и яркий отчет, а также желание энтузиастов наполеоновской эпохи представить своего героя всегда ясно мыслящим и действующим решительно, сплавляли надежные руды и бесполезный шлак в сплав, который сошел за настоящий металл. Но ни один исследователь "Переписки" Наполеона, "Мемуаров" Мармона и рассказов Ожеро, Дюма, Ландриэ, Вердые, Деспинуа и других не может надеяться полностью разобраться в сложностях, возникающих в результате почти непрерывных конфликтов, которые простирались на дюжину лье холмистой местности. Война не всегда драматична, как бы сильно ни жаждали читатели "кампаний" захватывающих повествований. В отношении этого третьего акта итальянской кампании все, что можно с уверенностью сказать, это то, что интуиция Бонапарта снять осаду Мантуи, чтобы он мог нанести поражение по частям наступающим армиям, носит отпечаток гениальности: но выполнение этого трудного маневра было неравным, даже временами с остановками; и французскую армию спасли от трудностей только великолепные боевые качества рядового состава и ошибки австрийцев, которые численно превосходили республиканских генералов.

Результаты цикла сражений при Кастильоне также не были столь блестящими, как это было представлено. Вюрмсер и Квасданович потеряли всего 17 000 человек, это правда: но первый восстановил гарнизон и продовольствие в Мантуе, помимо захвата всего французского осадного обоза. Главной целью Бонапарта было захватить Мантую, чтобы он мог беспрепятственно пронестись по Тиролю, взяться за руки с Моро и одолеть беломундирников в Баварии. Целью Аульского совета и Вюрмсера было освободить Мантую и восстановить власть Габсбургов над Ломбардией. Ни одна из сторон не преуспела. Но австрийцы могли, по крайней мере, указать на некоторые успехи; и, прежде всего, Мантуя находилась в лучшем состоянии обороны, чем когда французы впервые приблизились к ее стенам; и пока Мантуя была цела, Бонапарт был удержан в долине Минчо и не мог нанести тех молниеносных ударов по Инн и Дунаю, которые он всегда считал кульминацией кампании. С материальной точки зрения его положение было ничуть не лучше, чем до вторжения Вюрмсера на равнины Венеции. ^[62]

С истинно габсбургским упорством Франциск предпринял дальнейшие усилия по освобождению Мантуи. Помимо побуждений династической гордости, причины, побудившие его так упорно бороться с альпийскими ущельями, итальянские настроения и гений Бонапарта, почти непостижимы; и военные писатели в целом осуждали эту трату ресурсов на Бренте, которая, если бы была брошена против французов на Рейне, вынудила бы Бонапарта отступить из Италии для защиты Лотарингии. Но гордость императора Франциска не позволяла ему уступить свои итальянские владения, и снова Вюрмсер был вынужден покинуть Вену для очередного вторжения в Венецию. Было бы утомительно давать отчет о второй попытке Вюрмсера, которая относится скорее к области политического рока, чем к области военной

истории. Полковник Грэм утверждает, что австрийские рядовые смеялись над своими генералами и горько жаловались, что их довели до развала, в то время как офицеры почти открыто восклицали: "Мы должны заключить мир, ибо мы не знаем, как вести войну". Это снова стало очевидным. Бонапарт предотвратил их атаку. Их разделенные силы стали легкой добычей Массены, который при Бассано наголову разбил силы Вюрмсера и отправил *обломки* в бегство по долине Brenty. Потеряв большую часть своей артиллерии и разделившись на две основные группы, империалисты, казалось, были обречены на капитуляцию; но Вюрмсер, удвоив силы своих преследователей, бросился на запад, в конце концов отрезав себе путь к Мантуе. Там он снова тщетно пытался выстоять. Он был изгнан со своих позиций перед Сен-Жоржем и Ла Фаворитой и был заперт в самом городе. Это увеличение численности гарнизона не увеличило его силы; ибо крепость, хотя и была хорошо снабжена для обычного гарнизона, не могла выдержать длительной блокады, и лихорадка ранней осени вскоре начала уничтожать войска, измотанные форсированными маршами и неспособные переносить миазмы, поднимающиеся с болот Минчо.

Французы также были утомлены своими усилиями в жестокую сентябрьскую жару. В рядах и за столовыми слышался ропот, что сообщения Бонапарта об этих подвигах были окрашены фаворитизмом и чрезмерной суровостью по отношению к тем, чье состояние было менее заметным, чем их заслуги. Одно из этих недоразумений имело определенную важность. Массена, чьи заслуги были блестящими при Бассано, но менее успешными после переправы через Адидже, упрекнул Бонапарта в том, что он отказывает в похвалах наиболее достойным и расточает их людям, которые вовремя пришли пожинать плоды чужих трудов. Его письменный протест, выраженный со старой республиканской прямоотой, только еще больше омрачил отношения между ними, которые со времен Лонато не были сердечными.^[63] Даже в самом начале своей карьеры Бонапарт приобрел репутацию человека, стремящегося к блестящему и безоговорочному успеху и выражающего свое неудовольствие людям, которые по какой бы то ни было причине не лишили Фортуны ее величайшей благосклонности. Таково было его собственное ментальное отношение к непостоянной богине. Приехав в Милан, он цинично заметил Мармону: "Фортуна - женщина, и чем больше она делает для меня, тем больше я от нее потребую". Наводящие на размышления слова, которые объясняют одновременно великолепие его взлета и быстроту падения.

В течение последовавших нескольких недель сравнительного бездействия его внимание привлекли дела Италии. Перспектива повторного завоевания Австрии вызывала не меньшее беспокойство у друзей свободы на полуострове, чем радость у реакционных кругов старых монархов. В Риме и Неаполе угрозы в адрес французов шептались или открыто превозносились. Подписание мирных договоров откладывалось, и в Ватикане готовились гневные выпады против святотатственных нарушителей порядка. После того, как облако австрийской войны рассеялось, пришло время наказать пророков зла. Герцог Моденский был обвинен в том, что позволил конвою проехать из своего штата в гарнизон Мантуи и не заплатил совершенно немислимый штраф, к которому приговорил его Бонапарт. Жителей Реджо и Модены также призвали сбросить его ярмо и довериться французам. Войска в Реджо добились успеха; но в самом городе Модена герцогские войска подавили восстание. Бонапарт соответственно обратился за советом к Директории; но его решение уже было сформировано. Через два дня после обращения к ним за советом он предпринял решающий шаг, объявив Модену и Реджо находящимися под защитой Франции. Этот акт стал чрезвычайно важным поворотным моментом в истории Франции, а также в истории Италии. До сих пор Директории удавалось

удерживать Бонапарта от активного вмешательства в дела высшей политики. В частности, оно предписывало ему проявлять величайшую осторожность в отношении освобожденных земель Италии, чтобы не вовлекать Францию в длительную интервенцию на полуострове или не втягивать ее в *возмутительную* войну с Габсбургами; и его предупреждения теперь звучали с еще большим акцентом, потому что недавно до Парижа дошли вести о серьезном поражении французского оружия в Германии. Но в то время как Директоры призывали к благоразумию, Бонапарт заставил их действовать, объявив, что герцогство Моденское находится под защитой Франции; и когда их сдержанное послание дошло до него, он выразил им свое сожаление по поводу того, что оно пришло слишком поздно. К тому времени (24 октября) он фактически основал новое государство, за безопасность которого была глубоко ответственна честь Франции. Это подразумевало продолжение французской оккупации Северной Италии и, следовательно, продление командования Бонапарта.

Не только герцогство Моденское ощутило на себе бодрящее влияние демократии и национальности. Папские города Болонья и Феррара вышли из-под папского влияния и теперь послали депутатов встретиться с борцами за свободу в Модене и основали свободное содружество. Там среди большого энтузиазма было проведено первое по-настоящему представительное итальянское собрание, собравшееся за многие поколения; и был объявлен набор 2800 добровольцев, получивших название итальянского легиона. Бонапарт посетил эти города, стимулировал их энергию и призывал мятежных остерегаться его мести, которая была бы подобна мести "ангела-истребителя". За короткий промежуток времени эти районы были сформированы в Чиспаданскую республику, которой вскоре суждено было объединиться в еще более крупное образование. Из Модены и Болоньи в Центральную Италию вдохнули новую жизнь. Молодая республика немедленно отменила все феодальные законы, провозгласила гражданское равенство и распорядилась созвать в Болонье всенародно избранное Собрание на следующее Рождество. Эти события знаменуют собой первый этап в начале этого грандиозного движения, *Рисорджименто*, которое после долгих задержек было наконец завершено в 1870 году.

Об этом периоде карьеры Бонапарта вполне могут вспоминать те, кто ценит его живительное влияние на итальянскую жизнь выше, чем его военные триумфы. В ту эпоху он все еще был поборником лучших принципов революции; он сверг австрийское господство на полуострове и до основания потряс внутреннюю тиранию, худшую, чем у Габсбургов. Его триумфы были пока еще незапятнанны. Если не считать разграбления освобожденных и завоеванных земель, акта, за который Директория несла главную ответственность, в то время не было недостатка ни в чем для полного расцвета его славы. Посланник принес ему радостную весть о том, что англичане, утомленные несговорчивыми корсиканцами, покинули остров, на котором он родился; и он немедленно организовал возвращение многих изгнанников, которые были верны Французской республике. Среди них был Саличетти, который теперь вернулся на время в свою старую замкнутую сферу; в то время как его бывший *протеже* завоевывал всемирную известность. Затем, обратившись к делам Центральной Италии, молодой полководец продемонстрировал, что его дипломатические таланты ни на йоту не уступают его военному гению. Здесь достаточно одного примера. Он умолял папу, прервавшего затянувшиеся переговоры с Францией, не навлекать на свой народ ужасы войны.^[64] Красоту этого обращения, как и несколько более раннего обращения к императору Франциску в Вене, однако значительно омрачают другие моменты, которые теперь раскрываются в поучительной переписке Бонапарта. Услышав о

поражениях Франции в Германии, он понял, что директорат может выделить ему очень мало из 25 000 военнослужащих, которых он требовал в качестве подкрепления.

Он также знал, что папа, разгневанный своими недавними потерями денег и земель, стремился возродить Первую коалицию. Поэтому миролюбивые наставления, с которыми молодой корсиканец обратился к папству, следует рассматривать в свете чисто мирских событий и его тайного совета французскому агенту в Риме: "Главное - выиграть время.... Наконец, игра действительно заключается в том, чтобы мы перебрасывали мяч от одного к другому, чтобы обмануть этого старого лиса ". ^[65]

От этих дипломатических удобств генерал был вынужден обратиться к опасностям войны. Оценив послание Бонапарта по достоинству, император решил вновь завоевать Италию - предприятие, которое, казалось, было ему вполне по силам. В октябре месяце победа увенчала усилия его войск в Германии. При Вюрцбурге эрцгерцог Карл наголову разбил Журдана и отбросил и его армию, и армию Моро обратно за Рейн. Воодушевленные возрождающимися надеждами, империалисты собрали теперь около 60 000 человек. Альвинци, шестидесятилетний ветеран, известный своей храбростью, но не обладавший достаточными стратегическими способностями, командовал примерно 35 000 человек в районе Фриули, к северу от Триеста, прикрывая этот морской порт от угрозы нападения французов. С этими крупными силами он должен был наступать строго на запад, к реке Brenta, в то время как Давидович, шедший маршем через Тироль по долине Адидже, должен был встретить его с остальными силами близ Вероны. Как заметил Жомини, австрийцы доставляли себе бесконечные хлопоты и шли на серьезный риск, чтобы избежать соединения сил, которое они могли бы спокойно осуществить с самого начала. Несмотря на все уроки Бонапарта, Городской совет все еще цеплялся за свой старый план окружения врага и стремился сбить его с толку атаками с разных сторон. Возможно также, что сравнительная малочисленность войск Бонапарта придала им смелости повторить этот опасный маневр. Французы могли собрать немногим более 40 000 человек, и из них по меньшей мере 8000 требовалось против Мантуи.

Сначала империалисты добились значительных успехов; ибо, хотя французы удержали свои позиции на Brente, их войска в Тироле были отброшены в долину Адидже с потерями столь значительными, что Бонапарт был вынужден отдать приказ об общем отступлении к Вероне. Он понял, что с этой центральной позиции он мог бы сдерживать войска Альвинци, марширующие на запад из Виченцы, и предотвратить их соединение с империалистами под командованием Давидовича, которые пытались вытеснить дивизию Вобуа с плато Риволи.

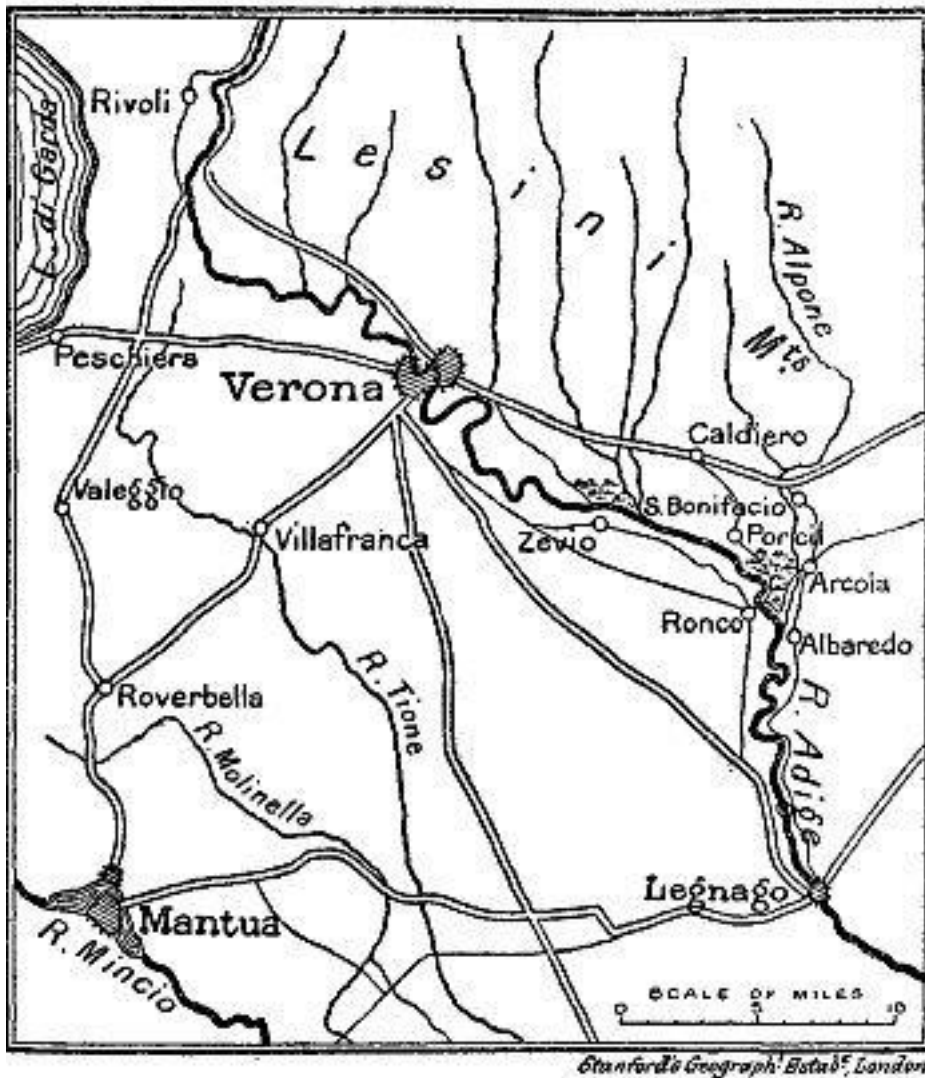
Но прежде чем дать бой Альвинци под Вероной, Бонапарт налетел на своих людей, размещенных на этом плато, чтобы дать отпор колеблющимся и воодушевить все тело своим собственным бесстрашным духом. Выстроив вокруг себя войска, он обратился к двум полкам с речью, полной горя и гнева. Он упрекнул их в том, что они в панике оставили укрепленные позиции, и приказал своему начальнику штаба начертать на их знаменах зловещие слова: "Они больше не принадлежат к армии Италии". ^[66] Уязвленные этим упреком, солдаты с рыданиями умоляли генерала испытать их доблесть, прежде чем опозорить их навсегда. Молодой командир, который, должно быть, рассчитывал на такой результат своих слов, обращенных к французским солдатам, вслед за этим пообещал прислушаться к их призывам; и их храбрость в последующих боях стерла все пятна позора с их цветов. Подобными действиями он защищал своих людей от численного превосходства и неблагоприятной судьбы.

Их стойкость подвергалась серьезному испытанию на всех этапах. Альвинцы заняли сильную позицию на линии холмов в Кальдиеро, в нескольких милях к востоку от Вероны. Его правое крыло было защищено отрогами Тирольских Альп, в то время как его левый фланг был окружен болотами, простирающимися между реками Альпон и Адидже; и он защищал свой фронт пушками, умело расставленными по холмам. Вся храбрость войск Массены не смогла выбить правое крыло империалистов. Французский центр был разорван австрийскими пушками и мушкетным огнем. Безжалостный ливень и слякоть препятствовали продвижению французских орудий и помешали артиллеристам прицеливаться; и, наконец, они отступили в Верону, оставив после себя 2000 убитых и раненых и 750 пленных (12 ноября). Это поражение при Кальдиеро — ибо бесполезно говорить о нем просто как о сдерживании — открыло перед французами мрачную перспективу бедствий; и Бонапарт, хотя и скрывал свои опасения перед своим штабом и солдатами, немедленно написал командующим, что армия чувствует себя брошенной на дальнем конце Италии и что это честное завоевание, похоже, вот-вот будет потеряно. Используя свой обычный прием недооценки собственных сил и преувеличения сил своих врагов, он заявил, что французов как в Вероне, так и в Риволи было всего 18 000 человек, в то время как общая численность империалистов превышала 50 000. Но он должен был знать, что в настоящее время ему приходится иметь дело менее чем с половиной этого числа. Большая часть тирольских войск еще не спустилась по Адидже ниже Ровередо; и с учетом отрядов и потерь силы Альвинцы у Кальдиеро едва превышали 20 000 человек.

Теперь Бонапарт решил отважиться на один из самых смелых поворотных шагов, которые когда-либо были зафиксированы в истории. Необходимо было любой ценой вытеснить Альвинцы с высот Кальдиеро, прежде чем тирольские колонны разгромят отряд Вобуа у Риволи и дебоша на равнинах к западу от Вероны. Но, поскольку Кальдиеро нельзя было взять фронтальной атакой, его нужно было обойти с фланга. Любому другому генералу, кроме Бонапарта, это показалось бы безнадежным; но там, где другие не видели ничего, кроме трудностей, его глаз разглядел средство обеспечения безопасности. К югу и юго-востоку от этих холмов раскинулась обширная впадина, затопленная паводковыми водами Алпона и Адидже. Болота простираются на несколько миль к западу от деревни Аркола, через которую проходит дорога вверх по восточному берегу Альпона, пересекающая этот ручей у вышеупомянутой деревни и ведущая к берегам Адидже напротив деревни Ронко; другая дамба, отклоняющаяся от первой немного к северу от Ронко, ведет в северо-западном направлении к Порчилу. Продвигаясь от Ронко по этим дамбам и захватив Арколу, Бонапарт намеревался обойти австрийцев с фланга и заманить их на арену, где личная доблесть французских ветеранов имела бы достаточный размах, а численность имела бы второстепенное значение. Только головы колонн могли вступить в прямой контакт, и грозная австрийская кавалерия не могла продемонстрировать свою обычную доблесть. На эти факты Бонапарт рассчитывал как на компенсацию своей небольшой численной неполноценности.

Глубокой ночью дивизии Ожеро и Массены отступили через Верону. Офицеры и солдаты были одинаково глубоко обескуражены этим движением, которое, казалось, предвещало отступление к Минчо и оставление Ломбардии. К их удивлению, за воротами они получили приказ повернуть налево по западному берегу Адидже. В Ронко загадка была разгадана. Там через Адидже был переброшен лодочный мост; и, перейдя его без сопротивления, войска Ожеро быстро продвинулись по дамбе, ведущей к Арколе, и создали угрозу австрийскому тылу, в то время как колонна Массены отклонилась на северо-запад, чтобы непосредственно угрожать его флангу у Кальдиеро. Неожиданность, однако, ни в коем случае не была полной;

сам Альвинци намеревался переправиться через Адидже у Зевиио, чтобы совершить рывок на Мантую, и, чтобы защитить свой фланг, он послал отряд хорватов удерживать Арколу. Теперь они упорно оспаривали продвижение Ожеро, поливая из коттеджей с бойницами залпами, которые отрывали переднюю часть каждой атакующей колонны. Напрасно Ожеро, захватив знамена, повел свой передовой полк к мосту Аркола. Изрешеченные ружейным огнем, его люди в беспорядке отступили. Напрасно сам Бонапарт, сойдя со своего коня, схватил знамя, собрал этих ветеранов и повел их к мосту. Хорваты, постоянно подкрепляемые, вели такой смертоносный огонь, что сдерживали наступление: Мюиرون, Мармон и горстка храбрых людей все еще наступали, прикрывая тем самым тело своего командира; но Мюиرون упал замертво, и другой офицер, схватив Бонапарта, попытался оттащить его от неминуемой смерти. Колонна дрогнула под пулями, отступила на дальнюю сторону дамбы, и в суматохе командир упал в глубокую дамбу сбоку. Обезумев от этого зрелища, французы сплотились, в то время как Мармон и Луи Бонапарт спасли своего любимого вождя от плена или от мучительной смерти, и он удалился в Ронко, вскоре за ним последовали уставшие войска. [67]



PLAN TO ILLUSTRATE THE VICTORY OF ARCOLA.

ПЛАНИРУЮ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ ПОБЕДУ АРКОЛИ

Этот памятный первый день боев при Арколе (15 ноября) завершился странной сценой: две армии расположились лагерем на дамбах, истощенные почти сухопутным конфликтом, подобным тому, который вели голландские "Нищие" в их освободительной войне против Испании. Хотя под Арколой республиканцы были жестоко подавлены, все же дальше к западу Массена выстоял; и французское движение в целом вынудило Альвинци приостановить любое наступление на Верону или Мантую, спуститься с высот Кальдиеро и сражаться на местности, где от его превосходства в численности было мало толку. Это было видно на второй день боев на дамбах напротив Арколи, что в целом было благоприятно для меньшего по численности отряда ветеранов. На третий день Бонапарт прибегнул к искусной уловке, чтобы еще больше обескуражить своих врагов. Он разместил небольшой отряд всадников за рощицей недалеко от австрийского фланга, приказав затрубить в трубы, как будто готовясь к большой кавалерийской атаке. Встревоженные шумом и появлением французских войск со стороны Леньяго и за Арколой, деморализованные беломундирники внезапно дрогнули и отступили к Виченце.

Победа снова была объявлена войскам, которые дольше всех могли отваживаться и чей генерал никогда не растерялся перед лицом какой-либо определенной опасности. Обе армии серьезно пострадали в этих отчаянных конфликтах;^[68] но, в то время как австрийцы чувствовали, что чаша победы вырвана из их рук, французские солдаты были ослеплены этим выдающимся подвигом своего командира. Они превозносили его храбрость, которая почти соперничала со сказочными достижениями Горация Коклеса, и преклонялись перед гением, который видел безопасность и победу для своей обескураженной армии среди болот и дамб. Сам Бонапарт, с той странной смесью практичности и суеверия, которая составляет очарование его характера, впоследствии всегда датировал рассвет своей удачи во всем ее великолепии часами величайшего кризиса среди болот Арколы. Но мы можем усомниться в том, что это притворство любимца фортуны не было результатом его глубокого знания легковерия вульгарного стада, которое восхищается гением и боготворит храбрость, но пресмыкается перед постоянной удачей.

Хотя трудно преувеличить мастерство и храбрость французского лидера и его войск, неудача его противников необъяснима, если бы не тот факт, что большая часть их войск не была способна устойчиво маневрировать на открытой местности, что Альвинци был неопытен как главнокомандующий, и ему постоянно мешал плохой план кампании. Тем временем другая австрийская армия, возглавляемая Давидовичем, выбила Вобуа с его позиции в Риволи; и если бы империалистические генералы держали друг друга в курсе своих действий или если бы Альвинци, не обращая внимания на рев труб и демонстрацию на своем фланге и в тылу, удерживал Арколу еще два дня — французы были бы зажаты превосходящими силами. Но, как бы то ни было, отсутствие согласия в австрийских движениях едва не погубило тирольское крыло, которое победоносно продвигалось к Вероне, в то время как Альвинци отступал на восток. Вовремя предупрежденный, Давидович поспешно отступил к Ровередо, оставив целый батальон в руках французов. Завершая эту главу о грубых ошибках, Вюрмсер, чья вылазка после Кальдиеро могла бы быть наиболее эффективной, запоздало попытался прорваться через блокирующих, когда оба его коллеги отступали. Как отличались эти разношерстные действия от действий Бонапарта. Его принципами на протяжении всей этой кампании и всей его военной карьеры были: (1) разделяться для добывания пищи, концентрироваться для сражения; (2) единство командования необходимо для успеха; (3) время - это все. Это твердое понимание основ современной войны обеспечило ему победу над врагами, которые доверяли устаревшим методам защиты устаревших государственных образований.^[69]

Битва при Арколе оказала важное влияние на судьбу Италии и Европы. На полуострове все враждебные республиканцам элементы готовились к взрыву в их тылу, который должен был подтвердить старую поговорку о том, что Италия была могилой французов. Неаполь подписал с ними условия мира, это правда; но естественная враждебность Ватикана к своим грабителям легко могла объединить юг Италии с другими государствами, которые тайно работали над их изгнанием. В то время как австрийцы победоносно наступали, эти цели были почти открыто провозглашены, и в конце 1796 года Бонапарт двинулся на юг, в Болонью, чтобы направлять итальянских патриотов в их дискуссиях и угрожать папе вторжением в Римские государства. От этого понтифика в настоящее время спасли новые усилия со стороны Австрии. Но прежде чем описывать последнюю попытку Габсбургов вырвать Италию у их умелого противника, не мешало бы отметить его растущее влияние в дипломатических делах.

Пока Бонапарт сражался в болотах Арколи, Директория собиралась направить в Вену посланника генерала Кларка с предложениями о перемирии, предваряющими переговоры о мире с Австрией. Этот шаг был предпринят, потому что Франция была отвлечена открытым восстанием на юге, общим недовольством на западе и отступлением ее рейнских армий, теперь отброшенных австрийским эрцгерцогом Карлом на территорию Республики. Не имея возможности содержать крупные силы на востоке Франции за счет своей обанкротившейся казны, Директория пожелала быть проинформированной о настроениях в Вене. Поэтому оно направило Кларку предложения, которые могли бы позволить ему изучить политическую и военную ситуацию в столице противника и понять, нельзя ли добиться мира ценой некоторых завоеваний Бонапарта. Посланник был элегантным и амбициозным молодым человеком, происходившим из ирландской семьи, давно обосновавшейся во Франции, который недавно завоевал расположение Карно и теперь желал продемонстрировать свое дипломатическое мастерство, подчинив Бонапарта нынешним целям Директории.

Секретные инструкции Директоров раскрывают планы, которые они тогда вынашивали по реконструкции Континента. Договорившись о перемирии, которое должно было продлиться до конца следующей весны, Кларк должен был наметить меры, которые могли бы удовлетворить Дом Габсбургов. Он мог бы обсудить возврат всех их владений в Италии и приобретение епископства Зальцбург и других небольших немецких и швабских территорий; или, если она не вернет Милан, Австрия могла бы получить северные части Папской области в качестве компенсации; и герцог Тосканский — Габсбург — мог бы править в Риме, уступив свое герцогство герцогу Пармскому; в то время как, поскольку этот последний властитель был испанским бурбоном, Франция могла бы за свои добрые услуги этому Дому в значительной степени выиграть от Испании в Америке.^[70] В этих и других предложениях повсеместно выделяются два метода ведения переговоров. Великие государства в любом случае выигрывают за счет своих более слабых соседей; Австрию нужно умиротворить; а Франция в конечном итоге получит огромные выгоды за счет меньших германских или итальянских государств. Эти факты следует четко отметить. Впоследствии Наполеона заслуженно обвиняли в применении этих беспринципных методов; но, в худшем случае, он лишь перенял их у тех Правителей, которые с лозунгом Свободы, равенства и Братства на устах жадничали на разграблении освобожденных земель и цинично предлагали разделить добычу более слабых государств с властителями, которых они публично называли тиранами.

Главной целью этих переговоров, как был уверен Кларк, было убедить Венский двор в том, что он добьется лучших условий, ведя переговоры с Францией напрямую и единолично, а не

присоединяясь к переговорам, которые недавно открыла в Париже Англия. Но венские министры отказались позволить Кларку прибыть в их столицу и назначили местом проведения обсуждений Виченцу.

Они были кратки. Сквозь сложную паутину гражданских интриг Бонапарт немедленно протянул закованную в кольчугу руку воина. Ему не составило труда доказать Кларку, что битва при Арколе существенно изменила ситуацию. Падение Мантуи теперь было вопросом нескольких недель. Позволить пополнять его запасы на срок перемирия было актом, который не мог допустить ни один успешный генерал. Ради этой крепости велась вся кампания, и три австрийские армии были отброшены обратно в Тироль и Фриули. Нужно ли было выделять средства для того, чтобы Директория могла обменять Циспаданскую республику? Он быстро убедил Кларка в бессмысленности предложений Директоров. Он внушил ему собственное презрение к перемирию, которое лишило бы победителей их добычи; и, поскольку Венский двор все еще тешил себя надеждами на успех в Италии, переговоры Кларка в Виченце подошли к быстрому завершению.

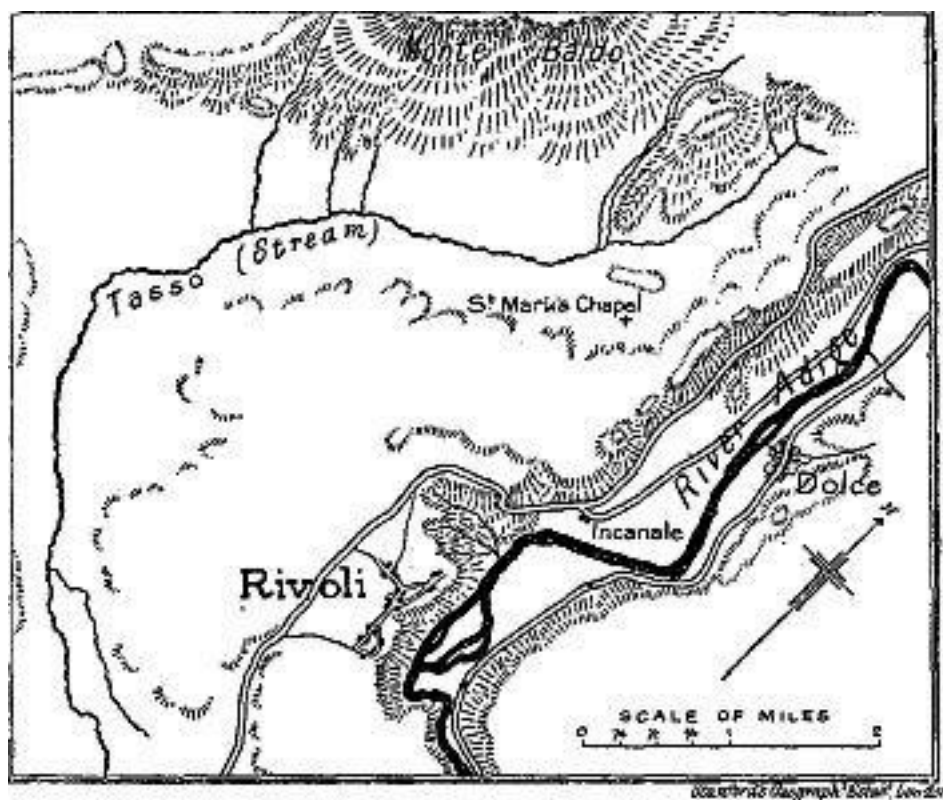
В другом важном вопросе Директория также потерпела полную неудачу. Обеспокоенная амбициями Бонапарта, она тайно приказала Кларку следить за его поведением и частным образом сообщать в Париж. То ли предупрежденный другом при дворе, то ли вооруженный собственной проницательностью, Бонапарт знал об этом и в своем общении с Кларком ловко показал этот факт. Он быстро оценил способности Кларка и цель его миссии. "Это шпион, - заметил он немного позже Мио, - которого Директория натравила на меня: он человек бездарный, только тщеславный". Блеск его достижений и сочетание изящества и властности в его поведении настолько подействовали на посланника, что он быстро попал под влияние того самого человека, за которым ему предстояло наблюдать, и стал его восторженным приверженцем.

Бонапарт находился в Болонье, руководя делами Чиспаданской республики, когда услышал, что австрийцы предпринимают последние усилия для освобождения Мантуи. Другой план был разработан Городским советом в Вене. Альвинци, пополнив свои измотанные силы в Бассано, должен был быстро присоединиться к тирольской колонне в Ровередо, сформировав таким образом армию из 28 000 человек, с помощью которой можно было форсировать позиции Риволи и вытеснить французов в Мантую: 9000 империалистов под командованием Проверы также должны были наступать от Бренты на Леньяго, чтобы отвлечь внимание французов от реальной попытки, предпринятой в долине Адидже; в то время как 10 000 других в Бассано и других местах должны были атаковать французский фронт в разных точках и препятствовать их сосредоточению. Следует отметить, что ошибки июля и ноября 1796 года были совершены теперь уже в третий раз: силы, предназначенные просто для проведения диверсий, были настолько усилены, что перестали быть просто легкими отрядами, отвлекающими внимание французов, в то время как основные силы Альвинци были, таким образом, настолько ослаблены, что им не хватило воздействия, необходимого для победы.

Тем не менее империалисты сначала отбросили своих врагов с некоторыми потерями; и Бонапарт, поспешив на север, к Вероне, в течение нескольких часов пребывал в лихорадочной неуверенности относительно передвижений и силы нападавших. Поздно вечером 13 января он узнал, что наступление Проверы было не более чем демонстрацией, и что настоящий удар придется по 10 000 человек, собранных Жубером у Монте-Бальдо и Риволи. Немедленно он

поскакал к последнему месту и сменил отступление и уныние на энергичное наступление, узнав, что еще 13 000 человек выступили в поход, чтобы защитить сильную позицию Риволи.

Огромная оборонительная мощь этого плато с самого начала привлекла его внимание. Здесь река Адидже, круто изгибаясь на запад, подходит на расстояние шести миль к озеру Гарда. Там тоже горы, которые окаймляют ущелье реки на ее правом берегу, изгибаются к озеру и образуют обширный естественный амфитеатр, недалеко от центра которого возвышается неправильной формы плато, контролирующее выезд из Тироля. Над этим плато на севере возвышается гора Монте-Бальдо, которая, недалеко от ущелья реки, направляет на юг пологий хребет, известный как Сан-Марко, соединяющий его с плато. У подножия этого отрога находится вершина дороги, которая ведет путешественника из Трента в Верону; и когда он останавливается на вершине зигзага, недалеко от деревни Риволи, его взгляд скользит по извилистому ущелью реки вниз, угрожающей массе Монте-Бальдо на севере, а на западе от деревни он смотрит вниз на естественную впадину, которая была резко изрезана стремительным потоком. Даже наименее опытный глаз может увидеть, что эта позиция отличается большой силой. Это настоящий плац среди гор, почти отрезанный от них непрекращающимся течением воды и предназначенный для обороны равнин Италии. Небольшой отряд, размещенный в начале извилистой дороги, может сдерживать армию, с трудом поднимающуюся из долины; но, как и при Фермопилах, позиция может быть обойдена с фланга предприимчивым противником, который должен взобраться по тропинке, ведущей через западные отроги Монте-Бальдо, и, перейдя вброд ручей у его подножия, затем продвинуться на восток к деревне. Отчасти таков был план Альвинци, и, имея почти 28 000 человек, ^[71] он не сомневался, что его тактика охвата должна захватить дивизию Жубера численностью в 10 000 человек. Даже этот храбрый генерал был настолько обескуражен превосходящими силами своих врагов, что приказал отступить на юг, когда на полном скаку прибыл адъютант и приказал ему удержать Риволи любой ценой. Прибытие Бонапарта в 4 часа утра объяснило приказ, и атака, предпринятая в темноте, отбила у австрийцев часовню на гребне Сан-Марко, которая стоит на гребне над зигзагообразной дорогой. Отблески австрийских сторожевых огней в зимнем небе показали ему их общее положение. Неопытному наблюдателю широкий размах зарева предвещал французам гибель. В глазах Бонапарта это зрелище вселило надежду. Это доказывало, что его враги все еще придерживались своего старого плана окружения его: и из информации, которую он вероломно получил от штаба Альвинци, он должен был знать, что у этого командира было намного меньше 45 000 человек, которые он приписывал ему в бюллетенях.



NEIGHBOURHOOD OF RIVOLI.

ОКРЕСТНОСТИ РИВОЛИ

Однако на рассвете того январского дня империалисты были воодушевлены успехом, когда их шесть отдельных колонн ворвались во французские аванпосты и двинулись к Риволи. Из них одна находилась на восточном берегу Адидже и просто вела артиллерийский огонь по долине; другая колонна с большей частью артиллерии и кавалерии с трудом продвигалась вдоль западного берега, направляясь к деревне Инканале и подножию зигзага, ведущего к Риволи; трем другим не удалось пересечь Монте-Бальдо труднопроходимыми для пушек тропами; в то время как шестой, самой западной колонне, петлявшей вдоль хребта у озера Гарда, также не хватало мощности, которую полевые орудия и всадники добавили бы к ее важному повороту. Никогда естественные препятствия не влияли так сильно на ход войны, как при Риволи; ибо со стороны, где нападавшие больше всего нуждались в лошадях и орудиях, они не могли быть использованы; в то время как на восточном краю их прорванного фронта их орудиям и коннице, сбившимся в кучу в долине Адидже, приходилось карабкаться по извилистой дороге под яростным огнем французской пехоты и артиллерии. Тем не менее, пыл австрийской атаки был таков, что поначалу ход сражения сильно склонился в их пользу. Оттеснив французов от хребта Сан-Марко и сильно прижав их центр между Монте-Бальдо и Риволи, они дали возможность своим войскам в долине продвигаться к подножию зигзага; а на западе их дальнейшее правое крыло уже начало угрожать французскому тылу. Несмотря на прибытие войск Массены из Вероны около 9 часов утра, республиканцы проявляли признаки неустойчивости. Жубер на площадке над Адидже, Бертье в центре и Массена слева постепенно были оттеснены назад. Австрийская колонна, продвигавшаяся со стороны Монте-Бальдо по узкому ущелью, обошла фланг французского полка перед дивизией Массены и энергичной атакой обратила его в бегство, вызвав панику, которая обещала распространиться на другой полк, оказавшийся таким

образом незащищенным. Это было слишком для ветерана, которого уже прозвали "избалованным ребенком победы"; он бросился к ее капитану, горько упрекнул его и других офицеров и, наконец, осыпал их ударами плоской стороной своего меча. Затем, во весь опор подъехав к двум испытанным полкам своей собственной дивизии, он приказал им сдерживать врага; и эти непобедимые герои быстро отбросили нападавших. Однако даже в этом случае доблести лучших французских полков и мастерства Массены, Бертье и Жубера едва хватило, чтобы сдержать надвигающуюся волну белых мундиров напротив Риволи.

Однако даже в этот критический момент командующий, уверенный в своей центральной позиции и знающий о своей способности отражать атаки австрийского орла, сохранял то спокойное поведение, которое приводило в изумление умы поменьше. Его уверенность в своих опытных войсках не была напрасной. Империалисты, измученные долгими маршами и ослабевшие теперь из-за нехватки продовольствия, не смогли сохранить свое первое преимущество. Некоторые из их передовых войск, занявших выжженную территорию перед часовней Святого Марка, были внезапно атакованы французской конницей; они в панике бежали, крича: "Французская кавалерия!" - и завоеванное пространство было быстро оставлено трехцветным. Этот внезапный отпор должен был разрушить все их надежды на победу; ибо в тот критический момент главная австрийская колонна численностью почти в 8000 человек с трудом поднималась по зигзагообразному подъему, ведущему из долины Адидже на плато, в наивной надежде, что их враги к этому времени были изгнаны с вершины. Несмотря на ужасный огонь, разрывавший их фланги, империалисты отчаянно цеплялись за плато, когда Бонапарт пустил в ход всю свою ударную мощь. Теперь он мог атаковать скученные ряды обреченной колонны спереди и с обоих флангов. Атака конницы Леклерка и пехоты Жубера размозжила ему голову; залпы пушек и мушкетов с плато разорвали его бока; посреди него взорвался фургон с боеприпасами; и огромный констриктор немедленно свернулся окровавленными кольцами обратно в долину, где и пролежал раздавленный и беспомощный до конца боя.

Воодушевленные этим молниеносным ударом своего командира, французы яростно повернули к Монте-Бальдо и отбросили своих противников во впадину у его подножия. Но уже сзади громкие крики предупредили их о новой опасности. Западный отряд империалистов тем временем обходил их с тыла и, не зная о судьбе своих товарищей, полагал, что армия Бонапарта попала в ловушку. Взгляды всех французских штабных офицеров теперь с тревогой были обращены на своего командира, который тихо заметил: "Теперь они у нас в руках". На самом деле он знал, что другие французские войска, идущие из Вероны, зайдут этим новым врагам в тыл; и хотя Жюно и его всадникам не удалось прорваться, чтобы ускорить их наступление, все же французский полк быстро прорвался через линию окружения и присоединился к последней атаке, которая отбросила этих последних нападавших с высот к югу от Риволи, а позже вынудила их сдаться.

Так завершилась отчаянная битва при Риволи (14 января). Недостатки в австрийских позициях и своевременное прибытие французских подкреплений превратили успех австрии в полный разгром. Обстоятельств, которые гражданскому человеку могут показаться незначительными, было достаточно, чтобы склонить колеблющиеся чаши весов войны, и армия Альвинци теперь беспомощно отступала в Тироль, потеряв в общей сложности 15 000 человек и почти всю свою артиллерию и припасы. Оставив Жубера преследовать его в направлении Трента, Бонапарт теперь летел на юг, к Мантуе, куда ему перерезал путь Провера. И снова его неутомимая энергия, его ненасытная забота обо всех возможных непредвиденных обстоятельствах

принесли успех, который невежда может списать на счет его состояния. Усилив дивизию Ожеро легкими войсками, он захватил в плен всю армию Проверы при Ла Фаворите, у стен Мантуи (16 января). Естественным результатом этих двух ослепительных триумфов стало падение крепости, ради которой император Франциск рисковал и потерял пять армий. Вюрмсер сдал Мантую 2 февраля с 18 000 человек и огромными запасами оружия и припасов. Завершение этой чудесной кампании было отмечено актом милосердия. Великодушные условия были предоставлены маршалу-ветерану, чья верность бестолковым советникам в Вене с блеском продемонстрировала благоразумие, дерзость и находчивость молодого бога войны.

Теперь пришло время наказать папу за его поддержку врагов Франции. Папалини показали себя презренными солдатами. Они убежали, прежде чем республиканцы, и военный променад привел захватчиков в Анкону, а затем еще дальше, в Толентино, где Пия VI. запросили мира. Итоговый договор, подписанный в том месте (19 февраля), обязывал Святой Престол закрыть свои порты для союзников, особенно для англичан; признать приобретение Францией Авиньона и установление Чиспаданской республики в Болонье, Ферраре и прилегающих районах; выплатить 30 000 000 франков французскому правительству; и передать 100 произведений искусства победившим республиканцам.

Нет необходимости описывать оставшиеся этапы кампании Бонапарта против Австрии. До сих пор он сражался против довольно хороших, хотя и недовольных и обескураженных войск, которыми плохо руководили и которым мешал горный барьер, отделявший их от реальной базы операций. В последней части войны он сражался против войск, деморализованных почти непрерывной цепью катастроф. Австрийцами теперь руководил храбрый и умный генерал, эрцгерцог Карл; но ему мешали строгие инструкции из Вены, дряхлые и ленивые генералы, негодование или отчаяние молодых офицеров из-за официального фаворитизма, оставлявшего их в неизвестности, и апатия павших духом солдат. Ни его мастерство, ни природная прочность их позиций во Фриули и Каринтии не могли помочь против ветеранов, окрыленных победой и выстроенных с безошибочной проницательностью. Остальная часть войны только подчеркнула истинность более позднего заявления Наполеона о том, что моральный элемент составляет три четверти силы армии. Преграды, воздвигнутые рекой Тальяменто, и многочисленные господствующие высоты Карникских и Норикских Альп были ничем для торжествующих республиканцев; а с высот, охраняющих провинцию Штирия, гений Наполеона сверкал как устрашающее предзнаменование для Венского двора и властителей Центральной Европы. Когда трехцветные штандарты приблизились к городу Леобен, император Франциск отправил послов просить мира;^[72] и предварительные соглашения, подписанные там, в ста милях от австрийской столицы, завершили кампанию, которая годом ранее началась со столь малообещающих для французов успехов на узкой полоске земли между Приморскими Альпами и маленьким городком Савона.

Эти блестящие результаты были достигнуты в первую очередь благодаря непревзойденному руководству Бонапарта. Его географическое чутье распознало способы воспользоваться естественными препятствиями и обойти их, когда казалось, что они прикрывают его противников. Быстро разгадав их планы, он сбил их с толку смелостью своих комбинаций, которые превосходили их силы в тот самый момент, когда он, казалось, был обречен на поражение. Такого командного гения не проявляли ни Фредерик, ни Мальборо. И все же эти блестящие результаты не могли быть достигнуты армией, численность которой редко превышала 45 000 человек, без безудержной храбрости и тактического мастерства лучших

дивизионных генералов Ожеро, Массены и Жубера, а также офицеров, проявивших себя во многих сомнительных сражениях; Ланна, героя Лоди и Арколы; Мармона, известного своим смелым наступлением при Кастильоне; Виктора, который оправдал свое имя упорными боями при Ла Фаворите; Мюрата, *саблиста* и других. Жюно, оба лихие кавалерийские генералы; и многие другие, чья отвага принесла им солдатскую смерть во имя славы Франции и свободы Италии. Еще меньше следует забывать о солдатах; о тех войсках, чья изодранная форма свидетельствовала об их непрестанном труде, которые роптали на частую нехватку хлеба, но, как заметил Массена, никогда не роптали *перед* сражением, которые даже при отступлении никогда не сомневались в гении своего командира и яростно плачевались при виде долгожданных признаков борьбы. Источник этой удивительной энергии обнаружить нетрудно. Их храбрость подпитывалась тем источником надежды, который превратил Францию в нацию свободных людей, преисполненных решимости освободить миллионы людей за пределами своих границ. Французские колонны были "равенством на марше"; и солдаты, воодушевленные этим великим энтузиазмом, нашли свое боевое воплощение в великом полководце, который, казалось, вот-вот освободит Италию и Центральную Европу.

ГЛАВА VII

ОТ ЛЕОБЕНА ДО КАМПО ФОРМИО

Подписывая предварительные условия мира в Леобене, которые частично легли в основу Кампо-Формио, Бонапарт выступает как дипломат первого ранга. Он уже подписал аналогичные соглашения с Туринским двором и Ватиканом. Но такая сделка с императором была бесконечно важнее, чем с третьеразрядными державами полуострова. Сейчас он пишет эссе о своем первом полете на самые высокие уровни международной дипломатии. По правде говоря, его умственные способности, как и у многих величайших полководцев, были не менее приспособлены для достижения успеха в зале совета, чем на поле битвы; ибо, действительно, мыслительные процессы и методы действий не отличаются в сферах дипломатии и войны. Обходить препятствия, на которые опирается противник, множить их на своем пути, сбивать его с толку финтами, прежде чем сокрушить сокрушительным натиском, - вот искусство, которое приносит успех либо участнику переговоров, либо командиру.

Навязывая императору условия мира в Леобене (18 апреля 1797 г.), Бонапарт низвел Директорию и ее посланника Кларка, отсутствовавшего в Италии, до подчиненной *роли*. Как

главнокомандующий, он имел право только заключить краткое перемирие, но теперь он подписал предварительные условия мира. Его оправдание перед Директорией было остроумным. Признавая неправильность своего поведения, он сослался на изолированное положение своей армии и отсутствие Кларка, а также на то, что при сложившихся обстоятельствах его поступок был всего лишь "военной операцией". Он мог также настаивать на том, что у него в тылу недовольная Венеция и что он считает французские армии на Рейне неподвижными и неспособными пересечь эту реку. Но весьма запоздалое появление Кларка на сцене укрепляет предположение, что Бонапарт в то время отнюдь не горел желанием выступить в роли умиротворителя Континента. Если бы он знал всю правду, а именно, что французы выигрывали сражение на восточном берегу Рейна, в то время как условия мира подписывались в Леобене, он, несомненно, прервал бы переговоры и продиктовал бы более жесткие условия у ворот Вены. Это было видение, которое сияло перед его глазами три года назад, когда он набрасывал своим друзьям в Ницце план кампании, начинавшейся у Савоны и заканчивавшейся у австрийской столицы; и велико было его огорчение, когда 20 апреля он услышал весть об успехе Моро. Новость дошла до него по возвращении из Леобена в Италию, когда он был задержан на несколько часов внезапным разливом реки Тальяменто. Он сразу же решил вернуться и найти какой-нибудь предлог для разрыва с Австрией; и только настойчивые увещания Бертье отвратили его от этого безумного решения, которое немедленно показало бы миру, что он более высоко ценит юношеские порывы судьбы, чем честь французского переговорщика.

Условия, которые он предоставил императору, были достаточно мягкими. Единственной окончательной выгодой для Франции было приобретение австрийских Нидерландов (Бельгии), за это неприятное владение император должен был получить компенсацию в другом месте. О левом, или западном, берегу Рейна не было сказано ничего абсолютно обязательного, за исключением того, что Австрия признала "конституционные пределы" Франции, но подтвердила целостность "Империи".^[73] Это были противоречивые заявления; поскольку Франция объявила Рейн своей естественной границей, а старая "Империя" включала Бельгию, Трев и Люксембург. Но для толкования этих расплывчатых формул были добавлены следующие секретные и чрезвычайно важные статьи. В то время как император отказался от той части своих итальянских владений, которая лежала к западу от Ольо, он должен был получить все материковые территории Венеции к востоку от этой реки, включая Далмацию и Истрию, Венеция также должна была уступить свои земли к западу от Ольо французскому правительству; и в обмен на эти жертвы она должна была получить три посольства Романьи, Феррары и Болоньи — те самые земли, которые Бонапарт недавно преобразовал в Чиспаданскую республику! В остальном императору пришлось бы признать предлагаемую Республику в Милане, а также уже существующую в Модене, при этом где-то была бы найдена "компенсация" для свергнутого герцога.

Из переписки австрийского министра Тугута становится очевидным, что Австрия сама с нетерпением ждала раздела материковых территорий Венеции, и это был план, который Бонапарт *фактически предложил ей в Леобене*. Еще более необычным было его предложение пожертвовать, якобы Венеции, но в конечном счете Австрии, большую часть Чиспаданской республики. Это действительно необъяснимо, если не считать того, что его военное положение в Леобене было скорее блестящим, чем безопасным. Его беспокойство по поводу этой статьи предварительных материалов видно из его письма Директорам от 22 апреля, в котором объясняется, что предварительные материалы не должны иметь большого значения. Но самым

необычным из всех было его поведение в отношении молодой Ломбардской республики. Он, кажется, довольно спокойно обсуждал ее обратную передачу австрийцам, и это после того, как он призвал миланцев основать республику и заявил, что каждая победа Франции была "строкой конституционной хартии".^[74] Наиболее разумным объяснением является то, что Бонапарт переоценил военную мощь Австрии и недооценил энергию людей Милана, Модены и Болоньи, о рекрутских наборах которых он отзывался наиболее презрительно. Несомненно то, что он хотел отстраниться от их дел, чтобы быть свободным для более грандиозных видений восточных завоеваний, которые теперь преследовали его воображение. Какими бы ни были его мотивы при подписании предварительных условий в Леобене, он быстро нашел средства для их изменения на постоянно увеличивающейся площади оборотных земель.

Теперь пришло время вернуться к делам Венеции. В течение семи месяцев города и деревни этой республики были жертвой безжалостной войны и систематического хищничества, участи, которую слабая правящая олигархия не могла ни предотвратить, ни отомстить. В западных городах, Бергамо и Брешии, чьи интересы и чувства связывали их скорее с Миланом, чем с Венецией, население желало союза с зарождающейся республикой на западе и разрыва с мрачным деспотизмом королевы Адриатики. Несмотря на свою славу в расцвете сил, теперь она правила с помощью мракобесных методов, вдохновленных страхом проявления ее слабости; и Бонапарт, сорвав маску, которая до сих пор скрывала ее старческое слабоумие, оставил ее презираемой более прогрессивными из ее собственных подданных. Еще до того, как он впервые вступил на венецианскую территорию, он изложил Директории возможности для грабежа и раздела, которые она предлагала. Ссылаясь на прием графа Прованского (будущего Людовика XVIII) и оккупацию Пескьеры австрийцами, он писал (6 июня 1796 г.):

- Если ваш план состоит в том, чтобы вытянуть из Венеции пять или шесть миллионов франков, я специально подготовил для вас такой разрыв с ней.... Если у вас более явные намерения, я думаю, что вам следует продолжить этот предмет спора, рассказать мне о своих желаниях и дожидаться благоприятной возможности, которой я воспользуюсь в зависимости от обстоятельств, поскольку мы не должны иметь всех под рукой одновременно ".

События, которые сейчас происходили в Венеции, давали ему повод для предполагаемого раздела. Усталость, которую брешианцы и бергамески испытывали от венецианского правления, была искусно разыграна миланскими якобинцами и французскими генералами Килмейном и Ландрием; а попытка венецианских чиновников подавить растущее недовольство привела к беспорядкам, в ходе которых были убиты несколько человек из "ломбардского легиона". Соучастие французов в восстании ясно установлено миланскими журналами и тем фактом, что Ландрием немедленно принял командование повстанцами в Бергамо и Брешии.^[75] Но, хотя эти города поддерживали якобинцев, большинство венецианских городов и все крестьянство оставались верны старому правительству. Было ясно, что конфликт должен был начаться, даже если Бонапарт и некоторые из его генералов не работали тайно, чтобы вызвать его. То, что он и они действительно работали, теперь не подлежит сомнению. Круг доказательств завершен. События в Брешии и Бергамо были частью плана по ускорению разрыва с Венецией; и их успех был настолько обеспечен, что Бонапарт в Леобене тайно выторговал почти все венецианские земли. Более того, за две недели до подписания этих предварительных соглашений он подговорил мерзкого негодяя по имени Сальватори выпустить прокламацию, якобы исходившую от венецианских властей, которая призывала народ повсюду восстать и устроить резню французов. Оно было выпущено 5 апреля, хотя на нем стояла дата 20

марта. Дож сразу же предупредил свой народ, что это подлая фальсификация, но зло было совершено. В пасхальный понедельник (17 апреля) случайная стычка в Вероне дала волю страстям, бушевавшим в течение последних месяцев: население в ярости восстало против расквартированного там французского отряда, и все солдаты, которые не могли найти убежища в цитадели, даже больные в госпиталях, пали жертвами жажды мести за унижения и побои последних семи месяцев.^[76] Таким был пасхальный прилив в Вероне - *les Pâques véronaises*— событие, которое напоминает сицилийскую вечерню в Палермо в ее слепой южной ярости.

Финал несколько превзошел ожидания Бонапарта, но он, должно быть, приветствовал его с тайным удовлетворением. Это дало ему хороший предлог для полного уничтожения Венеции как независимой державы. Согласно секретным статьям, подписанным в Леобене, Венеция должна была сохранить свою независимость и получить Дипломатические миссии. Но ее упорство теперь могло быть наказано уничтожением. Венеция могла бы, фактически, возместить габсбургам убытки за дальнейшие уступки, которых Франция требовала от них в других местах; и в процессе Бонапарт освободил бы себя от вины, которая была связана с его поспешным подписанием предварительных условий в Леобене.^[77] Теперь он был полон решимости обеспечить безопасность границы по Рейну для Франции, получить независимость под опекой Франции не только для Ломбардской республики, но также для Модены и дипломатических миссий. Таковы были его цели во время переговоров, которым он посвятил всю силу своего интеллекта весной и летом 1797 года.

Первым делом было ввести французские войска в Италию, чтобы выторговать более выгодные условия; следующим было объявление войны Венеции. Для этого теперь было достаточно оснований, поскольку, помимо резни в Вероне, было совершено еще одно злодеяние. Французский корсар, упорно стоявший на якоре в запретной части гавани Венеции, был изрешечен батареями и взят в плен. За этот акт и за восстание в Вероне дож и Сенат предложили достаточную компенсацию, но Бонапарт отказался слушать этих посланцев, "обогранных французской кровью", и надменно приказал Венеции покинуть свои материковые территории.^[78] По разным причинам он решил использовать хитрость, а не силу. В Венеции он нашел секретаря французской дипломатической миссии по имени Виллетар, которому можно было доверить умелый подрыв разрушающейся структуры олигархии.^[79] Этот человек убедил перепуганное население, что ничто не успокоит ярость французского генерала, кроме свержения существующей олигархии и формирования демократического муниципалитета. Народ и патриции в равной степени проглотили наживку, и некогда надменный сенат покорно провозгласил свой собственный приговор. Беспорядки, естественно, произошли после падения древней олигархии, особенно когда новый муниципалитет приказал передать венецианские военные корабли в руки французов и ввести французские войска с помощью венецианских судов. Скорбное молчание угнетало даже демократов, когда 5000 французских солдат вошли в Венецию на борту флотилии. Знаменитое государство, которое веками господствовало над водами Леванта и держало в страхе свирепых турок, народ численностью в 3 000 000 душ и доходом в 9 000 000 дукатов, теперь не нанесло ни единого удара завоевателям, пришедшим под видом освободителей.

В тот же день Бонапарт подписал в Милане союзный договор с посланцами нового венецианского правительства. Его дружбу предстояло дорого купить. В секретных статьях, которые имели большее значение, чем туманные заявления о дружбе, которыми был заполнен публичный документ, оговаривалось, что Французская и Венецианская республики должны

прийти к взаимопониманию относительно *обмена* определенными территориями, что Венеция должна внести денежную контрибуцию и военные материалы, должна помочь французскому флоту, предоставив три линкора и два фрегата, и должна обогатить музеи своей благотельницы 20 картинами и 500 рукописями. Пока он подписывал эти условия мира, Директоры отправляли из Парижа объявление войны Венеции. Их решение уже устарело: оно было основано на депеше Бонапарта от 30 апреля; но за это время их проконсул полностью изменил ситуацию, свергнув власть дожа и сената и установив демократию, с помощью которой он мог извлекать богатства этой страны. Соответственно, объявление войны директорами было прекращено в Милане, и больше о ней ничего не было слышно. Таким образом, им принудительно напомнили об истинности его предыдущего предупреждения о том, что все наверняка пойдет не так, если они не проконсультируются с ним по всем важным деталям. ^[80]

Этот Миланский мирный договор был четвертой важной конвенцией, заключенной генералом, которому в начале кампании 1796 года было запрещено даже подписывать перемирие, не посоветовавшись с Саличетти!

За ним быстро последовал другой, который во многих отношениях делает честь молодому завоевателю. Если его поведение по отношению к Венеции вызывает отвращение, то его отношение к Генуе должно вызывать удивление и восхищение. За исключением одной вполне естественной вспышки гнева, в нем мало того суровости, которую можно было бы ожидать от человека, смотревшего на Геную как на воплощение подлого деспотизма. Вплоть до лета 1796 года Бонапарт, по-видимому, сохранял что-то от своей старой ненависти к этой республике; ибо в середине лета, когда он был в самом разгаре своих итальянских завоеваний, он написал Файпу, французскому посланнику в Генуе, убеждая его оставить открытыми некоторые спорные дела, а три недели спустя он снова написал, что время для Генуи еще не пришло. Какие-либо конкретные действия против этого богатого города были, действительно, крайне нежелательны во время кампании, поскольку банкиры Генуи снабжали французскую армию всем необходимым для ведения войны посредством тайных займов, а их торговцы были столь же покладисты в отношении провизии. Эти услуги были оценены Бонапартом в той же степени, в какой они вызывали возмущение Нельсона; и, возможно, помощь, которую генуэзские деньги и корабли тайно оказывали французским экспедициям по возвращению Корсики, возможно, помогла стереть из памяти Бонапарта ассоциации, связанные с некогда почитаемым именем Паоли. От плохо скрываемой враждебности он перешел к позиции терпимости и, в конце концов, дружбы по отношению к Генуе, при условии, что она станет демократической. Если бы ее институты можно было уподобить французским, она могла бы оказаться ценным посредником или союзником.

Уничтожение генуэзской олигархии не представляло больших трудностей. И Венеция, и Генуя давно пережили свое могущество, и постоянное нарушение их нейтралитета лишило их последней опоры слабых - самоуважения. Интриги Файпуля и Саличетти подрывали влияние дожа и Сената, когда известие о падении венецианской олигархии подтолкнуло французскую партию к активным действиям, но Дож и Сенат вооружили банды альпинистов и рыбаков, которые были враждебны переменам; и в долгом и отчаянном конфликте на узких улочках Генуи демократы потерпели полное поражение (23 мая). После этого победители обыскали дома противоборствующей фракции и нашли списки имен тех, кто должен был быть объявлен вне закона, а также документы, свидетельствовавшие о причастности французских агентов к восстанию. Бонапарт был взбешен безрассудством генуэзских демократов, которое расстроило

его планы. Как он писал Директории, если бы они промолчали всего две недели, олигархия рухнула бы от явной слабости. Убийство нескольких французов и миланцев теперь дало ему повод для вмешательства. Он послал адъютанта Лавалетта с обвинением в яростной обличительной речи против дожа и Сената, которые ничего не потеряли в своем выступлении перед этим августейшим органом. В конце несколько сенаторов выкрикнули: "Давайте сражаться", но дух Дориа угас от этих протестов, и выродившиеся отпрыски могущественных предков подчинились оскорблениям адъютанта и диктату его хозяина.

Судьба этой древней республики была решена Бонапартом в замке Монтебелло, недалеко от Милана, где он уже составил ее будущую конституцию. После кратких совещаний с генуэзскими посланниками он подписал с ними секретную конвенцию, которая поставила их республику — вскоре переименованную в Лигурийскую Республику — под защиту Франции и заменила строгое патрицианское правление умеренной демократией. Этот факт очень важен. Его военные инстинкты теперь отучили его от жесткого якобинства его юности; и совместно с Файпоултом и посланниками он договорился о том, что законодательная власть должна быть передана двум всенародно избранным палатам из 300 и 150 членов, в то время как исполнительные функции должны были исполнять двенадцать сенаторов под председательством дожа; эти офицеры должны были назначаться палатами; в остальном были признаны принципы религиозной свободы и гражданского равенства, и местное самоуправление было в полной мере обеспечено. Циники, конечно, могут возразить, что эта превосходная конституция была всего лишь средством обеспечения превосходства Франции и мирной дислокации полков Бонапарта в очень важном городе; но завершение его вмешательства можно назвать столь же похвальным для его суждений, сколь его результаты были благотворны для Генуи. Он даже упрекнул демагогическую партию этого города за то, что она разбила вдребезги статую Андреа Дориа и подвесила обломки на некоторые из бесчисленных деревьев свободы, недавно посаженных.

"Андреа Дориа, - писал он, - был великим моряком и государственным деятелем. В его время аристократия была свободой. Вся Европа завидует вашему городу, которому выпала честь произвести на свет этого знаменитого человека. Я не сомневаюсь, что вы приложите все усилия, чтобы снова воздвигнуть его статую: я прошу вас позволить мне взять на себя часть расходов, которые это повлечет за собой, которые я желаю разделить с теми, кто наиболее ревностно относится к славе и благополучию вашей страны".

В сравнении этого мудрого и достойного поведения с ненавистью, которую большинство корсиканцев все еще лелеяли по отношению к Генуе, величие души Бонапарта становится очевидным и внушает желание: *Утинам семпер так фюисс!*

Немногие периоды его жизни были более насыщены знаменательными событиями, чем его пребывание в замке Монтебелло в мае-июле 1797 года. Помимо завершения падения Венеции и оживления жизни Генуи, он был глубоко озабочен делами Ломбардской или Цизальпинской республики, своими семейными заботами, укреплением собственной власти во французской политике и австрийскими переговорами. Мы рассмотрим эти дела в указанном здесь порядке.

Будущее Ломбардии уже давно беспокоило Бонапарта. Он знал, что его народ был *самым* in all Italy to benefit by constitutional rule, но он должен был зависеть от Франции. Он не испытывал особого доверия к лангобардам, если их предоставить самим себе, как видно из его беседы с Мельци и Миотом де Мелито в замке Монтебелло. Он был в одном из тех настроений, частых в

пору расцвета, когда уверенность в собственном гении доводила его до весьма пикантных неосторожностей. Обратившись к Справочнику, он резко повернулся к Мельци, ломбардскому дворянину:

Что касается вашей страны, господин де Мельци, то в ней еще меньше элементов республиканизма, чем во Франции, и управлять ею легче, чем какой-либо другой. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что мы будем делать с Италией все, что захотим. Но время еще не пришло. Мы должны поддаться горячке момента. У нас здесь будет одна или две республики такого же типа. Монж устроит это для нас ".

У него были некоторые причины не доверять силе демократов в Италии. В конце 1796 года он писал, что в Ломбардии есть три партии: одна, которая приняла руководство Франции, другая, которая даже с некоторым нетерпением желала свободы, и третья фракция, дружественная австрийцам: он поощрял первую, сдерживал вторую и подавлял последнюю. Теперь он жаловался, что чиспаданы и цизальпинцы вели себя очень плохо на своих первых выборах, которые проводились в его отсутствие; поскольку они позволили клерикальному влиянию взять верх над всеми французскими пристрастиями. А чуть позже он написал Талейрану, что подлинная любовь к свободе в Италии слаба и что, как только французское влияние исчезнет, итальянские якобинцы будут убиты населением. Продолжение должно было оправдать его опасения и, следовательно, опровергнуть обвинения тех, кто видит в его поведении в отношении Цизальпинской республики не что иное, как расчетливый эгоизм. Трудность освобождения населения, которое научилось цепляться за свои цепи, была настолько велика, что временный и частичный успех, которого добилось его новое творение, можно рассматривать как доказательство его политической проницательности.

После долгих приготовлений четырех комитетов, которые Бонапарт держал в Милане при непосредственном участии в разработке законов, конституция Цизальпинской республики была завершена. Это была копия Франции в миниатюре, и, чтобы не допустить дальнейших ошибок на выборах, Бонапарт лично назначил не только пятерых директоров и министров, которых они должны были контролировать, но даже 180 законодателей, как Старых, так и младших. Таким странным образом демократия снизошла на Италию, главным образом, не как дело рук народа, а по воле великого организационного гения. Справедливо будет добавить, что он привлек к работе по гражданскому переустройству многих лучших интеллектуалов Италии. Он назначил дворянина Сербеллони первым президентом Цизальпинской республики, а отпрыска августейшего дома Висконти отправил послом в Париж. Многие способные люди, покинувшие Ломбардию во время австрийской оккупации или недавних войн, были привлечены обратно политическим милосердием Бонапарта; и праздник 9 июля в Милане, который украсил инаугурацию нового правительства, стал сценой гражданской радости, которой эта несчастная провинция долгое время была незнакома. Огромное пространство было заполнено огромной толпой, которая подхватила слова гражданской присяги, произнесенной Президентом. Архиепископ Милана отслужил мессу и благословил знамена Национальной гвардии, а завершился день играми, танцами и воззваниями к памяти итальянцев, которые сражались и погибли за свои зарождающиеся свободы. Среди всех этих возгласов "виват" и колокольного звона Бонапарт позаботился о том, чтобы звучала более суровая нота. В тот же день он приказал разогнать миланский клуб, который предавался якобинским излишествам, и призвал людей "показать миру своей мудростью, энергией и хорошей организацией своей армии, что современная Италия не выродилась и по-прежнему достойна свободы".

Зараза миланского энтузиазма быстро распространилась. Некоторые венецианские города на материке теперь ходатайствовали о союзе с Цизальпинской Республикой; и депутаты Циспаданы, присутствовавшие на празднестве, настоятельно просили, чтобы их маленькое государство могло воспользоваться такой же привилегией. До сих пор Бонапарт отклонял эти просьбы, чтобы не помешать переговорам с Австрией, которые все еще продвигались с опозданием; но в течение месяца их желание было удовлетворено, и государство Чиспадане было объединено с более крупной и энергичной республикой к северу от реки По, вместе с важными районами Комо, Бергамо, Брешиа, Крема и Пескьера. Беспорядки в швейцарском районе Вальтелине вскоре позволили Бонапарту вмешаться от имени угнетенных крестьян и включить эту территорию также в состав Цизальпинской республики, которая, следовательно, простиралась от высоких Альп на юг до Римини и от Тичино на западе до Минчо на востоке. ^[81]

Уже во время своего пребывания в замке Монтебелло Бонапарт считался всемогущим проконсулом Французской Республики. Действительно, все его окружение — свита из покладистых генералов и многочисленные посланники и агенты, которые толпились в его приемных, чтобы просить аудиенции, — скорее подходило Сулле или Валленштейну, чем генералу цареубийственной республики. Триста польских солдат охраняли подступы к замку, и в его просторных коридорах и салонах также царила полукоролевская атмосфера. Здесь можно было увидеть итальянских дворян, литераторов и художников, считавших высшей честью посетить освободителя своей земли; и по отношению к ним Бонапарт вел себя с той смесью приветливости и внутренней сдержанности, обольстительного очарования, чередующегося с острым перекрестным допросом, который одновременно свидетельствовал о разносторонности его дарований, остроте его интеллекта и его решимости добиться социального, а также военного и политического превосходства. И все же временами резкость его движений и резкие командирские нотки, скрывающиеся за его самой вкрадчивой речью, время от времени напоминали зрителям, что он принадлежал скорее к лагерю, чем ко двору. Со своими генералами он был далек; за любую провинность даже его любимые офицеры ощущали всю силу его гнева; и адъютантов не часто приглашали обедать за его столом. Действительно, он часто обедал в присутствии своей свиты, почти по обычаю старых королей Франции.

С ним были его мать, а также братья Жозеф и Луи, с которыми он быстро приближался к богатству. Там же были его сестры: Элиза, гордая и замкнутая, которая в то время вышла замуж за благородного, но несколько грубоватого корсиканца Баччокки; и Полина, очаровательная шестнадцатилетняя девушка, руку которой всемогущий брат предложил Мармону, но он необъяснимым образом отказался, по-видимому, из-за прежней привязанности. Этому живому и роскошному юному созданию недолго оставалось оставаться незамужним. Генерал-адъютант Леклерк стал ее поклонником и, несмотря на свое неизвестное происхождение и скудные таланты, быстро сделал ее своей невестой. Бонапарт выделил ей 40 000 франков в качестве приданого; и — знаменательный факт — бракосочетание было тайно благословлено священником в часовне дворца Монтебелло.

Там, в Монтебелло, тоже была Жозефина.

Конечно, Бонапарты не были счастливы в своей любви: единственной темной стороной жизни молодого завоевателя на протяжении всей этой блестящей кампании была жестокость его невесты. В марте 1796 года он оторвался от нее, разрываясь между своей почти безумной любовью к ней и своей решимостью сокрушить главного врага Франции: ей он писал длинные и

нежные письма даже среди сверхчеловеческой активности своей кампании. Десять длинных депеш в день не помешали ему покрыть столько же листов бумаги заверениями в преданности ей и мольбами о том, чтобы она также излила ему свое сердце. Затем последовали жалобы, одни нежно-умоляющие, другие страстно-горькие, на ее жестоко редкие и скудные ответы. Печальная правда о том, что Жозефина очень заботится о его славе и мало о нем самом, что она откладывает приезд в Италию, - эти и другие печальные подробности разрывают его сердце. Наконец она приезжает в Милан после бурного рыдания из—за того, что покидает свой любимый Париж. В Италии она проявляет едва ли больше нежности к своему любящему супругу. Письма Мальборо к своей сварливой герцогине во время Бленхеймской кампании не более переполнены сентиментальными курьезами, чем письма свирепого бича австрийцев к его бессердечной красавице. Он пишет ей мучительное письмо, умоляя ее быть менее милой, менее любезной, менее доброй — очевидно, для того, чтобы он мог любить ее менее безумно: но она никогда не должна ревновать и, прежде всего, никогда не плакать: ибо ее слезы обжигают его кровь: и в заключение он посылает миллионы поцелуев, а также ее собаке! И это безумное излияние исходило от человека, которого внешний мир считал холодным, как сталь: и все же в его натуре была эта лихорадочная, страстная сторона, подобно тому, как луна, обращенная к внешней пустоте, уплотнена изо льда, но обращена фасадом из расплавленного гранита к своему ослепительному, всепоглощающему светилу.

Несомненно, эта пылающая страсть помогла подстегнуть влюбленного к той потрясающей энергии, которая делает итальянскую кампанию уникальной даже среди наполеоновских войн. Болье, Вюрмсер и Альвинци не были соперниками на войне; они были утомительными помехами на пути к его неутоленной любви. Накануне одного из своих величайших триумфов он сочинил для нее следующую рапсодию:

"Я далеко от тебя, кажется, меня окружает самая черная ночь: мне нужен зловещий свет громовых разрядов, которые мы собираемся обрушить на наших врагов, чтобы рассеять тьму, в которую погрузило меня твое отсутствие. Жозефина, ты плакала, когда мы расставались: ты плакала! При этой мысли все мое существо трепещет. Но утешься! Вюрмсер дорого заплатит за слезы, которые, как я видел, ты пролил".

Какое увлечение! чтобы утолить воображаемое горе женщины, он завалит равнины Минчо трупами, не обращая внимания на тысячи домов, где прольются горькие слезы. Это апофеоз сентиментального эгоизма и социальной черствости. И все же этот мозг с безнадежно затуманенным моральным видением безошибочно судил в своей собственной специфической плоскости. Какой силой, должно быть, обладала она, если, не иссушенная пламенем любви, безошибочно постигала мириады проблем войны, тем яснее рассматривая их, возможно, в раскаленном добела угре своей собственной страсти.

Наконец в Монтебелло наступило время плодов - плодов, но не легкости и не полного удовлетворения; мало того, что в среднем восемь отправок в день требовали нескольких часов, в течение которых он ревниво оберегал свое уединение; к тому же поведение Жозефины охладило его пыл. Как во время его отсутствия она пренебрегла его настоятельными просьбами присылать ежедневные письма, так и во время пребывания в Монтебелло она показала поверхностность и легкомыслие своего существа. Праздники, балы и приемы, при условии, что они были оживлены легким треском комплиментов от восхищенного круга, нравились ей больше, чем преданность гения. До замужества она признавалась, что ее "креольская

беспечность" устало отступала перед его пронизательной и пылкой натурой; и теперь, оторванная от *салонов* Парижа, она, кажется, нашла убежище в развлечениях и комнатных собачках.^[82] Несомненно, даже в этот период Жозефина проявляла нечто от того теплого чувства, которое углублялось с годами взросления и освещало ее более поздние печали мягким сиянием; но ее недавнее общение с мадам Тальен и этим легкомысленным *кохью* усилило ее привычку к кошачьей покладистости ко всем без исключения. Ее поверхностная нежность, безусловно, проявлялась слишком широко, чтобы проложить единый канал любви и смешаться с глубоким потоком ранней страсти Бонапарта. Таким образом, со временем его привязанности изменились во многих других направлениях; и было видно, что даже в более позднюю часть этой итальянской эпохи его поведение было нерегулярным.

ФАКСИМИЛЕ ПИСЬМА НАПОЛЕОНА "ГРАЖДАНКЕ ТАЛЬЕН (пропала без вести)" 1797 г.

За это Джозефина должна была благодарить в основном саму себя. Наконец она осознала истинную ценность и величие любви, которую ее пренебрежение притупило и запятнало, но тогда было слишком поздно для полного воссоединения душ: корсиканский орел к тому времени парил далеко за пределами досягаемости ее самых высоких взмахов.^[83]

В Монтебелло, как и в Пассериано, куда вскоре были перенесены переговоры с Австрией, Бонапарт, хотя и строго соблюдал церемонии своего проконсуловского двора, все же проявил теплоту своих социальных инстинктов. После дневных приемов и полулюдного ужина он любил вечером расслабиться. Иногда, когда Джозефина собирала компанию дам на *свадьбу*, он уединялся в уголке и предавался игре в *гуся*; и прохожие с удивлением отмечали, что его любовь к успеху заставляла его хитрить, чтобы "не упасть в яму". В другое время, если беседа затягивалась, он предлагал, чтобы каждый рассказал историю; и когда компания не находила вдохновения в стиле Боккаччо, он иногда пускался в один из тех жутких и захватывающих сольных концертов, которые он, должно быть, часто слышал от *импровизаторов* своего родного острова. Бурьен утверждает, что реализм Бонапарта требовал темноты и кинжалов для полного проявления его дарований, и что кульминация его драматического монолога нередко усиливалась криками дам, что скорее радовало, чем возмущало опытного актера.

Обзор разнообразной деятельности Бонапарта в Италии позволяет читателю отчасти осознать удивление и благоговейный трепет, вызванные его достижениями. Подобно Афине, он вырвался из Революции, полностью вооруженный для любого рода состязаний. Его умственное превосходство произвело впечатление на дипломатов, а его стратегия поставила в тупик империалистических генералов; и теперь ему предстояло еще раз доказать свою пронизательность, вмешавшись во внутренние дела Франции.

Чтобы понять роль Бонапарта в *государственном перевороте* Фруктидора, мы должны кратко рассмотреть ход политических событий в Париже. Во время создания Директории многие лелеяли надежду на то, что Революция теперь полностью ушла в прошлое. Но волнения того

времени проявились в возобновлении роялистских восстаний на западе и в коммунистическом заговоре Бабефа с целью свержения всей существующей системы частной собственности. Цели этих головорезов были раскрыты сообщником; главари были арестованы, и после долгого судебного разбирательства Бабеф был гильотинирован, а его сообщники отправлены в ссылку (май 1797 г.). Раскрытие этих ультрареволюционных целей потрясло не только буржуа, но даже крестьян, которые были поселены на конфискованных землях дворян и духовенства. Тот самый класс, который придал событиям 1789 года их непреодолимый импульс, теперь был склонен успокоиться и испытывать благодарность; и в результате этого быстрого отвращения народных чувств роялисты начали завоевывать позиции. Выборы по обновлению третьей части Советов привели к большим успехам для них, и поэтому они могли бы в некоторой степени повлиять на состав Директории, избрав Бартеlemi, конституционного роялиста. Тем не менее, он не мог превзойти четырех других руководителей царевубийства, хотя один из них, Карно, также все больше и больше склонялся к умеренным взглядам. Таким образом, быстро разразился кризис между все еще якобинской директорией и двумя законодательными советами, в каждом из которых роялисты, или умеренные, одержали верх. Целью этого большинства было усиление роялистских элементов во Франции путем отмены многих революционных законов. Их деятелем был Пишегрю, завоеватель Голландии, который, отрекшись от якобинства, теперь плел интриги с клубом роялистов, собиравшимся в Клиши, на окраине Парижа. Недавно было доказано, что их интриги, направленные на реставрацию Бурбонов. Французские агенты в Венеции схватили графа д'Антрэга, доверенное лицо *соратника* Людовика XVIII; и его бумаги, вскрытые Бонапартом, Кларком и Бертье в Монтебелло, доказали, что во Франции существовал заговор с целью возвращения бурбонов. С присущим ему мастерством Бонапарт утаивал эти бумаги от Директории до тех пор, пока не овладел трудностями ситуации. Что касается графа, он освободил его; и в обмен на этот знаменательный акт милосердия, тогда весьма необычный по отношению к *эмигранту*, он вскоре стал объектом его искажения и клеветы.

Политический кризис обострился в июле, когда большинство Советов попытались навязать Директории министров, которые поддерживали бы умеренные или роялистские цели. Три директора, Баррас, Ла Ревельер-Лепо и Ребелл, отказались прислушаться к этим указаниям и настояли на назначении министров-якобинцев даже вопреки мнению большинства Советов. Это неповиновение французских депутатов было воспринято с отвращением большинством гражданских лиц, но с ликованием армиями; ибо солдаты, далекие от партизанских разборок столицы, все еще придерживались своих строго республиканских взглядов. Известие о том, что умеренные в Париже подвергли резкой критике их поведение в отношении Венеции, пробудило в них самые сильные чувства, военную гордость и демократический пыл.

Тем не менее поведение Бонапарта было в высшей степени осторожным и сдержанным. В мае месяце он отправил в Париж своего самого доверенного адъютанта Лавалетта, проинструктировав его прощупать все стороны, держаться в стороне от всех обязательств и беспристрастно докладывать ему о состоянии общественного мнения. ^[84] Лавалетт посчитал положение Директории, или, скорее, Триумvirата, который ее возглавлял, настолько шатким, что предостерег своего шефа от какой-либо определенной поддержки ее дела; и в июне-июле 1797 года Бонапарт почти перестал переписываться с Директорами, за исключением итальянских дел, вероятно, потому, что он ожидал их свержения как важного шага к своей собственной власти. превосходство. Существовала, однако, возможность того, что роялистская реакция сметет все на своем пути во Франции и направит армии против гражданской власти. Поэтому он ждал и наблюдал, полностью осознавая, какое повышенное значение

неопределенная ситуация придает постороннему человеку, который отказывается раскрыть свои карты.

Более тупые глаза, чем у него, разглядели, что конституционный конфликт между Директорией и Советами не может быть урегулирован мирным путем. Создатели конституции задумали медленно меняющуюся Директорию как сдерживающую Советы, которые обновлялись на треть каждый год; но, стремясь замедлить процесс царубийства в парламентской карете, они не предусмотрели возможности полного переворота. Советы не могли юридически отменить решение Директории; Директория также не могла наложить вето на постановления Советов или, распустив их, принудить страну обратиться с апелляцией. Неккер ясно указал на этот недостаток конституции, и теперь он вызвал у Барраса сетование:

"Ах, если бы конституция III года, предлагающая столько мудрых предосторожностей, не пренебрегла одной из важнейших; если бы она предвидела, что две великие державы государства, вовлеченные в жаркие дебаты, должны закончиться открытыми конфликтами, когда нет высшего апелляционного суда, способного их уладить; если бы она в достаточной степени наделила Директорию правом роспуска Палаты!" ^[85]

Как бы то ни было, узел должен был быть разрублен мечом, а не острым клинком Бонапарта: он осторожно отступил; но там, куда он еще боялся ступить, ворвался Гош. Этот ярый республиканец-генерал был вдохновлен самоотверженным патриотизмом, который не дрогнул перед одиозными обязанностями. Пока Бонапарт снискивал лавры в Северной Италии, Гош выполнял самую необходимую задачу по подавлению восстаний в Вандее, а позже бросил вызов туманам и штормам Атлантики в надежде поднять на восстание всю Ирландию. После неудачной экспедиции в залив Бантри в декабре 1796 года он был отправлен в Рейнскую область. Заключение мира Бонапартом в Леобене снова разбило его надежды, и поэтому он с радостью воспринял приказ Директории направить большую часть своей армии в Брест для второго похода в Ирландию. Директория, однако, намеревалась использовать эти войска ближе к дому и назначила его военным министром (16 июля). Выбор был удачным; Гош был активен, способен и пользовался популярностью среди солдат; но он еще не достиг тридцатого года - предела, требуемого конституцией. На этом техническом дефекте сразу же заиклилось большинство Советов, и их жалобы усилились, когда большой отряд его войск приблизился на расстояние, запрещенное для армии, к столице. Поэтому умеренные могли обвинить триумвиров и Гоша в заговоре против законов; он быстро подал в отставку с поста министра (22 июля) и отвел свои войска в Шампань и, наконец, в Рейнскую область.

Теперь у Бонапарта была возможность взять на себя *роль* Кромвеля, которую Гош так неуклюже сыграл. И как искусно завоеватель Италии играет на этом — через подчиненных. Он был слишком сведущ в управлении государством, чтобы позволить своему мечу блеснуть на глазах у публики. К этому времени он решил действовать, и, несомненно, ярый якобинизм солдат был главной причиной, определившей его действия. На национальном празднике 14 июля он дал волю чувствам и вслед за этим написал Директории, горько упрекая их в слабости перед лицом роялистского заговора: "Я вижу, что Клуб Клиши намерен пройти по моему трупу, чтобы уничтожить Республику". Он закончил обличительную речь своим обычным приемом, когда хотел напомнить правительству о том, что ему необходимо предложить им свою отставку в случае, если они откажутся принять решительные меры против недовольных. Но даже сейчас

его действия были тайными и косвенными. 27 июля он отправил директорам короткую записку, в которой говорилось, что Ожеро попросил разрешения отправиться в Париж, "куда его зовут дела"; и что он отправил через этого генерала оригиналы обращений армии, подтверждающих ее преданность конституции. Из этого никто бы не заподозрил, что Ожеро пользовался доверием Бонапарта и прибыл, чтобы осуществить *государственный переворот*. Секрет хорошо сохранялся. Лавалетт был официальным представителем Бонапарта; и его нейтралитет теперь поддерживался в соответствии с запиской, полученной от его начальника: "Ожеро прибывает в Париж: не отдавайте себя в его власть: он посеял беспорядок в армии: он фракционер".

Но, в то время как Лавалетту оставалось убирать паруса, насколько это было возможно, Ожеро, несомненно, действовал энергично. Бонапарт хорошо знал, что его якобинский лейтенант, прославленный как первый фехтовальщик того времени и командир боевого подразделения армии, будет выполнять свою работу тщательно, всегда превознося собственную доблесть и порицая доблесть своего командира. Это было так. Ожеро бросился в Париж, дыша угрозами расправы над роялистами. Сдерживаемый на время расчетливой *ловкостью* триумвиров, он приготовился покончить с этим одним ударом; и, когда пришло время, он занял стратегические пункты столицы, окружил Тюильри, где заседали Советы, кордоном войск, вторгся в палаты депутатов и отправил в Тампль присутствовавших там роялистов и умеренных вместе с их лидером Пишегрю. Бартелеми также был схвачен; но Карно, предупрежденный другом, сбежал рано в часы этого богатого событиями дня — 4 сентября (или 18 Фруктидора). Обезображенные Советы немедленно отменили запоздалые выборы в сорока девяти департаментах и приняли суровые законы против православных священников и не получивших прощения *эмигрантов*, которые осмелились вернуться во Францию. Директории также была предоставлена полная власть подавлять газеты, закрывать политические клубы и объявлять любую коммуны на осадном положении. Его функции теперь были почти такими же обширными и абсолютными, как у Комитета общественной безопасности, его полномочия ограничивались только некомпетентностью отдельных руководителей и парализующим их сознанием того, что они правят только в угоду армии. Они взялись за меч, чтобы решить политическую проблему: два года спустя им предстояло пасть от этого меча. ^[86]

Ожеро полностью ожидал, что он станет одним из двух директоров, которые были избраны вместо Карно и Бартелеми; но Советы были не более высокого мнения о его гражданских способностях, чем сформировал Бонапарт; и, к его великому отвращению, были выбраны Мерлен из Дуэ и Франсуа из Невшателя. Последние сцены *государственного переворота* были сосредоточены вокруг транспортировки осужденных депутатов. Одно из ранних воспоминаний будущего герцога де Бройля связано с видом "*фруктодорисов*, путешествующих в закрытых экипажах, огороженных перилами, как клетки", в морской порт, откуда им предстояло отправиться навстречу затычным мукам тропической тюрьмы во Французской Гвиане.

Это было тягостное зрелище: негодование было велико, но ужас был еще больше. Все предвидели возобновление правления террора и безропотно готовились к нему.

Таковы были чувства даже тех, кто, подобно мадам де Сталь и ее другу Бенжамену Константу, заявляли перед *государственным переворотом*, что это необходимо для спасения Республики. Эта опытная женщина была наделена почти всеми качествами гения, за исключением политической дальновидности и сдержанности. Как только был нанесен удар,

она начала сожалеть о его результатах, которые мог бы предвидеть любой разум четвертого уровня. "Свобода была единственной по-настоящему завоеванной силой" — таково было ее более позднее суждение о Фруктидоре. Теперь, когда Свобода в страхе бежала, странствующий энтузиазм одаренной писательницы на короткое время прилепился к Бонапарту. Ее хвалебные речи о его подвигах, говорит Лавалетт, слушавший ее за обедом в апартаментах Талейрана, отличались безумным беспорядком и преувеличением вдохновения; и после того, как трапеза закончилась, поклонница отказалась упасть в обморок перед адъютантом Бонапарта! Этот инцидент характерен как для настроений мадам деСталь, так и для капризов населения. Среди разочарований того времени, когда стремление к свободе казалось всего лишь праздным занятием, когда роялисты были поборниками парламентского правления, а республиканцы полагались на военную силу, все взгляды устало отвели от гражданской войны в Париже к видениям великолепия, явленным завоевателем Италии. Мало кто знал, насколько их новый фаворит был ответственен за события при Фруктидоре; все они знали наизусть названия его побед; и его популярность взлетела до небес, когда он снова пересек Альпы, принес с собой выгодный мир с Австрией.

Переговоры с этой Державой медленно тянулись все лето и далеко за осень, главным образом из-за надежд императора Франциска на то, что беспорядки во Франции лишат ее надежды на победу. Несомненно, так бы и было, если бы Бонапарт, разгромив роялистов в Париже через своего лейтенанта, не остался во главе своих победоносных легионов в Венеции, готовый снова вторгнуться в Австрию, если бы представился случай.

В некоторых отношениях *государственный переворот* во Фруктидоре способствовал прогрессу переговоров. Это событие отсрочило, если не сделало невозможным, начало гражданской войны во Франции; и, подобно Чистке Прайда в наших гражданских конфликтах, оно привело к власти правительство, которое выражало чувства армии и ее главнокомандующего. Более того, это избавило его от присутствия Кларка, его бывшего коллеги по переговорам, чьи отношения с Карно вызвали подозрения Барраса и привели к его отзыву. Бонапарт теперь был единственным полномочным представителем Франции. Поэтому заключительные переговоры с Австрией и заключенный в результате Кампо-Формийский мирный договор можно рассматривать почти полностью как дело его рук.

И все же в то самое время главой Министерства иностранных дел в Париже был человек, которому было суждено добиться величайшей дипломатической репутации своего времени. Шарлю Морису де Талейрану, казалось, было предназначено выполнить задачу объединения общества старого *режима* с Францией времен Революции. Пересмотреть его жизнь означало бы пересмотреть Революцию. С реформаторским рвением, порожденным его собственной интеллектуальной проницательностью и негодованием против своей семьи, которая лишила его наследства за преступление хромоты, он возглавил первые атаки 1789 года против привилегий знати и священнослужителей, среди которых волей-неволей оказалась его судьба. Он действовал как глава нового "конституционного" духовенства и даровал свое епископское благословение на Праздник пик в 1790 году; но из-за своей умеренности вскоре он попал в немилость к экстремистам, захватившим власть. После пребывания в Англии и Соединенных Штатах он вернулся во Францию и по предложению мадам де Сталь был назначен министром иностранных дел (июль 1797 г.). На этот пост он пришел с высочайшими дарованиями: его раннее духовное образование придало остроту интеллекту, от природы тонкому и проницательному; общение с Мирабо дало ему представление об основах разумной политики и

дипломатии; пребывание за границей расширило его кругозор и проникло в него восхищением английскими институтами и английской умеренностью. И все же он любил Францию глубокой и пылкой любовью. Ради нее он строил козни; ради нее он бросал друзей или врагов с легкостью Макиавелли. Среди всего блеска наполеоновской империи он разглядел опасности, угрожавшие Франции; и он предупредил своего хозяина — так же бесполезно, как он предупреждал безрассудных дворян, ханжей-священнослужителей и фанатичных якобинцев в прошлом или необучаемых фанатиков восстановленной монархии. Его жизнь, если рассматривать ее не с точки зрения множества грязных подробностей, а с точки зрения главного руководящего принципа, была одной долгой кампанией против французской эланы и партизанского упрямства; и он скрепил ее причудливым заявлением в своем завещании, что, анализируя свою карьеру, он обнаружил, что никогда не покидал партию до того, как она покинула саму себя. Талейран обладал множеством дарований: его взгляд, интеллектуальный, но спокойный, не тускнел, когда он произносил язвительную критику или дипломатическую ложь: его глубокий и проникновенный голос придавал силу всем его словам, а изгиб губ или презрительный подъем бровей иногда приводили оппонента в замешательство больше, чем его едкий сарказм. Короче говоря, этот лишенный наследства дворянин, этот лишенный сана священник, этот разочарованный либерал был полным выражением неподражаемого общества старого *режима*, интеллектуально оживленного Вольтером и притупленного Террором. После того как он многое сделал для разрушения старого общества, теперь ему предстояло принять видное участие в его восстановлении на современной основе. ^[87]

Таков был человек, который теперь приступил к главному делу своей жизни - руководству Наполеоном. "Одно только имя Бонапарта является подспорьем, которое должно уладить все мои трудности" — таковы были подобострастные выражения, в которых он начал свою переписку с великим полководцем. На самом деле он не доверял ему; но то ли из-за неуверенности, то ли из-за слабости своего собственного положения, которое пока было немногим выше положения старшего клерка его департамента, он не сделал ничего, чтобы утвердить преобладание гражданского влияния над военным на ведущихся сейчас переговорах.

За два месяца до того, как Талейран вступил в должность, Бонапарт расширил свои первоначальные требования к Австрии и потребовал для Франции все земли на левом или западном берегу Рейна, а для Цизальпинской республики - всю территорию до реки Адидже. Этим требованиям Венский двор оказал упорное сопротивление, которое сильно раздражало его. "Эти люди такие медлительные, - воскликнул он, - они думают, что о таком мире, как этот, нужно сначала размышлять три года".

Одновременно с франко-австрийскими переговорами в Лилле обсуждались попытки заключения мира между Францией и Англией. В них невозможно углубиться дальше, чем заметить, что в этих усилиях Питт и другие британские министры (за исключением Гренвилла) искренне желали мира, и что переговоры сорвались из-за властного тона, принятого Директорией. Возможно, было неудачно, что английским переговорщиком был выбран лорд Малмсбери, поскольку его поведение в предыдущем году было истолковано французами как медлительное и неискреннее. Но при наличии более веских доказательств Директорам могут быть предъявлены обвинения в откладывании урегулирования до тех пор, пока они не нанесут удар по своим врагам на территории Франции. Письма Бонапарта того времени показывают, что он надеялся на заключение мира с Англией, несомненно, для того, чтобы удвоить свое

собственное давление на Австрию. В этом его ждало разочарование. После Фруктидора Директория приняла надменный вид. Талейрану было поручено призвать французских полномочных представителей придерживаться более возвышенного тона. Марет, французский посланник в Лилле, чьи советы всегда были на стороне умеренности, был внезапно заменен "фруктидорианцем"; и был дан решительный отказ английскому требованию о сохранении Тринидада и Капской провинции за счет Испании и Батавской республики соответственно. Действительно, Директория намеревалась настаивать на передаче Нормандских островов Франции и Гибралтара Испании, и это тоже в конце морской войны, богатой победами Британского флага.^[88]

По отношению к королю Сардинии новая директория была столь же властной. Трон Турина теперь занимал Карл Эммануил IV. Он унаследовал беспокойное наследие. Находясь под угрозой демократических республик в Милане и Генуе, а еще больше - горячности своих собственных подданных, он стремился заключить наступательный и оборонительный союз с Францией как единственную защиту от революции. С этой целью он предложил 10 000 пьемонтцев на службу Бонапарту и даже тайно договорился уступить Франции остров Сардиния. Но эти предложения не могли отвлечь Баррасса и его коллег от их революционной политики. Они отвергли союз с Савойским домом и, несмотря на протесты Бонапарта, разжигали гражданские раздоры в Пьемонте, которые ставили под угрозу его связи с Францией. Действительно, Директория после Фруктидора была глубоко проникнута страхом перед своим командующим в Италии. Теперь их главным желанием было усугубить его трудности; и под предлогом расширения свободы в Италии они поручили Талейрану настаивать на включении Венеции и Фриули в состав Цизальпинской республики. Австрия должна довольствоваться Триестом, Истрией и Далмацией, должна отказаться от всякого интереса к судьбе Ионических островов и найти в Германии всю компенсацию за свои потери в Италии. Таков был ультиматум Директории (16 сентября). Но Бонапарту была оставлена лазейка для отступления; ведение этих переговоров было доверено исключительно ему, и он уже определил их общий характер, дав свое временное согласие на приобретение Австрией восточного берега Адидже и города Венеции. Он не был склонен отклоняться от этих условий. Он устал от "этой старой Европы": его взор был направлен на Корфу, Мальту и Египет; и когда он получил официальный ультиматум, он увидел, что Директория желает возобновления войны на условиях, крайне неудобных для него. "Да, я ясно вижу, что они готовят мне поражение", - воскликнул он своему адъютанту Лавалетту. Они разозлили его еще больше, когда после смерти Гоша вверили свои рейнские войска, насчитывавшие 120 000 человек, командованию Ожеро и послали в итальянскую армию офицера с манифестом, написанным Ожеро относительно Фруктидора, в котором излагалась тревога, испытываемая Директорами по поводу политических взглядов Бонапарта. При этих словах Бонапарт вспылал и снова предложил свою отставку (25 сентября):

"После этого ужасного и самого неожиданного акта неблагодарности со стороны правительства никакая сила на земле не заставит меня продолжать ему служить. Мое здоровье настоятельно требует спокойствия и отдохновения.... Мое воздаяние - в моей совести и во мнении потомков. Поверьте мне, что в любой момент опасности я буду первым, кто встанет на защиту Конституции ТРЕТЬЕГО года".

Отставка, разумеется, была отклонена в самых лестных для Бонапарта выражениях, и директора приготовились ратифицировать мирный договор с Сардинией.

Действительно, когда приступ страсти прошел, им снова овладела решимость доминировать над событиями, и он решил заключить мир, несмотря на недавние инструкции Директории о том, что никакой мир не будет почетным, что принесло Венецию в жертву Австрии. Есть основания полагать, что теперь он сожалел об этой жертве. Его страстные выпады против Венеции после *Вероникских боев*, его осуждения "этого жестокого и запятнанного кровью правления" теперь уступили место некоторому чувству жалости к народу, разорения которого он так искусно добился; а общение с венецианцами, которым он наслаждался в Пассериано, замке дожа Манина, вполне могло внушить некоторое уважение к гордому городу, который он теперь собирался обменять на Австрию. Однако только так он мог мирно завершить утомительные переговоры с императором. Австрийский посланник граф Кобенцль упорно боролся за то, чтобы заполучить всю Венецию и Дипломатические миссии, а также половину Ломбардии. ^[89] От этих непомерных требований его удерживала настойчивая энергия атак Бонапарта. Маленький корсиканец проявил себя экспертом в дипломатических уловках, теперь заманивая империалиста на скользкую почву и время от времени шокируя его рассчитанными вспышками негодования или бравады. После многих дней, проведенных в интеллектуальном фехтовании, дискуссии сузились до Майнца, Мантуи, Венеции и Ионических островов. По поводу судьбы этих островов разгорелась бурная дискуссия, Кобенцль настаивал на их полной независимости, в то время как Бонапарт страстно требовал их для Франции. В одной из таких вылазок его яростные жесты опрокинули шкаф с дорогой вазой; но история о том, что он разбил вазу в знак своей способности сокрушить Австрийский дом, является более поздним уточнением инцидента, о котором Кобенцль просто сообщил в Вену — "Он вел себя как дурак". Вероятно, его ловкое раскрытие суровых условий, которые Директория приказала ему выдвинуть, было гораздо более эффективным, чем эта неистовая *гасконнада*. Наконец, пригрозив немедленной атакой на австрийские позиции, он добился успеха в трех из вышеперечисленных вопросов, но при этом принес Венецию в жертву Австрии.

Международный договор был подписан 17 октября в деревне Кампо Формио. Опубликованные статьи можно резюмировать следующим образом: Австрия уступила Французской Республике свои бельгийские провинции. Из некогда обширных венецианских владений Франция получила Ионические острова, в то время как Австрия приобрела Истрию, Далмацию, районы в устье реки Каттаро, город Венецию и материковую часть Венеции вплоть до озера Гарда, Адидже и нижней части реки По. Габсбурги признали независимость ныне расширенной Цизальпинской республики. Франция и Австрия договорились заключить торговый договор на основе принципа "наибольшего благоприятствования". Император уступил обездоленному герцогу Моденскому территорию Брайсгау на восточном берегу Рейна. В Раштаде должен был состояться конгресс, на котором полномочные представители Франции и Германской империи должны были урегулировать отношения между этими двумя державами.

Секретные статьи обязывали императора использовать свое влияние в Империи, чтобы закрепить за Францией левый берег Рейна; в то время как Франция должна была воспользоваться своими добрыми услугами, чтобы обеспечить императору архиепископство Зальцбурга и баварские земли между этим государством и рекой Инн. В других секретных статьях говорилось о компенсациях, которые должны были быть предоставлены в Германии некоторым властителям, пострадавшим от изменений, объявленных в публичном договоре.

Обмен Венеции вызвал глубокое возмущение. После более чем тысячи лет независимости этот город был оставлен императору тем самым генералом, который обещал освободить Италию.

Напрасно Бонапарт пытался успокоить временное правительство этого города с помощью влияния венецианского еврея, который после своего обращения взял знаменитое имя Дандоло. Вызвав его к Пассериано, он объяснил ему суровую необходимость, которая теперь диктовала передачу Венеции Австрии.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА после Кампо-Формийского мира, 1797 г.

[ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ПОСЛЕ КАМПО-ФОРМИЙСКОГО МИРА, 1797 г.

Границы Священной Римской империи обозначены жирными точками. Австрийские владения обозначены вертикальными линиями. Прусские владения обозначены горизонтальными линиями. Церковные государства обозначены пунктирными областями.]

Франция сейчас не могла

пролить еще немного своей лучшей крови за то, что, в конце концов, было всего лишь "моральным делом": поэтому венецианцы должны культивировать смирение с настоящим и надежду на будущее. Совет был бесполезен. Венецианские демократы решились на последнее отчаянное предприятие. Они тайно послали трех депутатов, в том числе Дандоло, с крупной суммой денег, чтобы подкупить директоров, чтобы те отвергли Кампо-Формийский мирный договор. Это было бы вполне осуществимо, если бы об их поручении не стало известно Бонапарту. Встревоженный и разгневанный этой уловкой, которая, в случае успеха, обрекла бы его на позор, он послал Дюрока в погоню; и послы, пойманные до того, как они пересекли Приморские Альпы, предстали перед генералом в Милане. На его яростные упреки и угрозы они отвечали достойным молчанием, пока Дандоло, взывая к его великодушию, не пробудил те благородные чувства, которые никогда долго не дремали. Затем он тихо отпустил их, чтобы они стали свидетелями падения их любимого города.

Acribus initiis, ut ferme talia, incuriosa fine - эти циничные слова, которыми историк Римской империи критиковал движения своего времени, могут служить почти эпитафией раннему энтузиазму Бонапарта. Провозгласив в начале своих итальянских кампаний, что он пришел освободить Италию, он все же завершил свой черед почти непрерывных триумфов капитуляцией, которую его панегиристы едва ли пытались оправдать. Но судьба Венеции была почти забыта среди ликующих приветствий, которыми был встречен завоеватель Италии по прибытии в Париж. Вся Франция гремела восхвалениями героя, который распространил свободу по всей Северной и Центральной Италии, обогатил музеи Парижа бесценными шедеврами искусства, чья армия захватила 150 000 пленных и одержала победу в 18 ожесточенных битвах — поскольку Кальдиеро теперь считался французской победой - и 47 более мелких сражениях. Правители, скрывавшие свою ненависть и страх перед властным проконсулом под римскими тогами, приветствовали его с неловкой экспансивностью. Кульминация официальной комедии была достигнута, когда во время приема "завоевателя" Баррас, указывая на север, воскликнул: "Отправляйтесь туда и схватите гигантского корсара, наводняющего моря: отправляйтесь наказывать в Лондоне злодеяния, которые слишком долго оставались безнаказанными", после чего, словно охваченный эмоциями, он обнял генерала. На фоне аналогичного внимания, оказанного другими режиссерами, занавес опускается перед первым, или итальянским, актом в карьере молодого героя, который вскоре должен был начать с восточных приключений, напоминающих о подвигах Александра.

ГЛАВА VIII

Египет

Среди многочисленных заблуждений французских революционеров ни одно не было более коварным, чем представление о том, что богатство и могущество британского народа покоятся на искусственной основе. Эта ошибочная вера в слабость Англии возникла из доктрины, которой во второй половине прошлого века учили *экономисты* или *физиократы*, что торговля сама по себе не приносит богатства, поскольку она лишь способствует распределению продуктов земли; но что сельское хозяйство является единственным источником истинного богатства и преуспевания. Таким образом, они возвысили сельское хозяйство за счет торговли и мануфактур, и ход Революции, которая в основном касалась аграрных вопросов, шел в том же направлении. Робеспьер и Сен-Жюст никогда не уставали противопоставлять добродетели простой пасторальной жизни развращенности и слабости, порожденным иностранной торговлей; и когда в начале 1793 года якобинское рвение поссорило молодую Республику с Англией, ораторы Конвента уверенно предсказали падение современного Карфагена. Керсент заявил, что "кредит Англии зиждется на фиктивном богатстве: ... ограниченное территорией, общественное будущее Англии почти полностью зависит от ее банка, и это здание полностью поддерживается морской торговлей. Эту торговлю легко подорвать, особенно для такой державы, как Франция, которая держится только на своих богатствах". ^[90]

Коммерческие интересы играли первостепенную роль на протяжении всей борьбы. Официальная переписка Талейрана в 1797 году доказывает, что Директория намеревалась предъявить права на Нормандские острова, север Ньюфаундленда и все наши завоевания в Ост-Индии, совершенные с 1754 года, помимо возвращения Гибралтара Испании. ^[91] И эти надежды не казались экстравагантными. Финансовый кризис в Лондоне и мятеж в Норе, казалось, свидетельствовали об истощении Англии, в то время как победы Бонапарта подняли могущество Франции на небывалые прежде высоты. До победы "Дункана" над голландцами при Кампердауне (11 октября 1797 г.) Британия, казалось, утратила свое военно-морское превосходство.

Недавнее признание государственного банкротства в Париже, когда две трети существующих обязательств были практически погашены, обострило желание Директории предотвратить разорение Англии - предприятие, которое могло бы послужить восстановлению французского

кредита и, несомненно, вызвало бы те неистовые действия Бонапарта, которые в противном случае могли бы нанести вред Парижу. Со своей стороны, он с радостью принял командование *армией Англии*.

"Жители Парижа ничего не помнят", - сказал он Бурьену. "Если бы я оставался здесь долго, ничего не делая, я был бы потерян. В этом великом Вавилоне все изнашивается: моя слава уже исчезла. Эта маленькая Европа не дает мне ее в достаточном количестве. Я должен искать ее на Востоке: вся великая слава исходит оттуда. Однако сначала я хотел бы совершить экскурсию по [северному] побережью, чтобы самому увидеть, что можно предпринять. Если успех наступления на Англию окажется сомнительным, а я подозреваю, что так и будет, армия Англии станет Армией Востока, и я отправлюсь в Египет". ^[92]

В феврале 1798 года он нанес краткий визит в Дюнкерк и на фламандское побережье и пришел к выводу, что вторжение в Англию в целом слишком сложно, чтобы рисковать им, за исключением последнего отчаянного предприятия. В отчете правительству (23 февраля) он таким образом резюмирует всю ситуацию:

"Какие бы усилия мы ни предпринимали, мы не добьемся превосходства на море в течение нескольких лет. Вторгнуться в Англию без этого превосходства - самая смелая и трудная задача, когда-либо предпринимавшаяся.... Если, принимая во внимание нынешнюю организацию нашего военно-морского флота, кажется невозможным добиться необходимой быстроты исполнения, тогда мы действительно должны отказаться от экспедиции против Англии, *удовлетвориться сохранением ее видимости* и сосредоточить все наше внимание и ресурсы на Рейне, чтобы попытаться лишить Англию Ганновера и Гамбурга: ^[93] ... или же предпринять восточную экспедицию, которая поставила бы под угрозу ее торговлю с Индией. И если ни одна из этих трех операций не осуществима, я не вижу ничего другого, кроме как заключить мир с Англией".

Большая часть его карьеры служит комментарием к этим проектам. К тому или иному из них он постоянно обращался в качестве альтернативных способов подчинения своего самого грозного врага. Первый план он теперь считал невыполнимым; второй, который позже появится в своей полностью созревшей форме как его Континентальная система, в настоящее время был невыполним, потому что Франция собиралась урегулировать германские дела на конгрессе в Раштадте; поэтому к третьему он обратил всю силу своего гения.

Завоевание Египта и восстановление Францией ее господства в Индии отвечали обеим сторонам натуры Бонапарта. Видение трехцветного флага, развевающегося над минаретами Каира и дворцом Великого Могола в Дели, очаровало ум, в котором мистицизм юга странным образом сочетался с практичностью и страстью к деталям, характерными для северных народов. Очень немногим людям в мировой истории было даровано мечтать о грандиозных планах и практически претворять их в жизнь, использовать поочередно телескоп и микроскоп политического наблюдения, планировать обширные комбинации сил и в то же время с бесконечной тщательностью контролировать корректировку каждого дополнения. Цезарь в старом свете, возможно, был умственным равным Бонапарту в этом величественном равновесии творческих и практических качеств; но о Цезаре мы знаем сравнительно мало; тогда как сложная работа величайшего ума современного мира раскрывается в этом хранилище фактов и фантазий, "Переписке Наполеона". Там раскрываются мотивы, побудившие к

Восточной экспедиции. В письме, которое он написал Талейрану незадолго до подписания Кампо-Формио мирного договора, встречается такой наводящий на размышления отрывок:

"Характер нашей нации заключается в том, чтобы быть слишком жизнерадостным среди процветания. Если мы возьмем за основу всех наших операций истинную политику, которая есть не что иное, как расчет комбинаций и шансов, мы еще долго будем *великой нацией* и арбитром Европы. Я скажу больше: мы удерживаем равновесие Европы: мы будем склонять это равновесие так, как пожелаем; и, если таков порядок судьбы, я думаю, что нет ничего невозможного в том, что мы сможем за несколько лет достичь тех грандиозных результатов, которые мелькают в разгоряченном и восторженном воображении и которых может достичь только чрезвычайно хладнокровный, настойчивый и расчетливый человек".

Это письмо было написано, когда Бонапарт обменивал Венецию императору в обмен на приобретение Францией Ионических островов. Его ссыла на живость французов, несомненно, была вызвана полученными им затем приказами "произвести революцию в Италии". Сделать это, в то время как Директория продолжала вымогать у Англии Гибралтар, Нормандские острова и ее восточные завоевания, было программой, продиктованной чрезмерной живостью. Директории не хватало практических качеств, которые позволяли выбирать по одному крупному предприятию за раз и направлять на него необходимую концентрацию усилий. Короче говоря, он выбрал войну против восточной торговли Англии в качестве своей следующей сферы действий; поскольку она предлагала "арену более обширную, более необходимую и блистательную", чем война с Австрией; "если мы вынудим [британское] правительство к миру, преимущества, которые мы получим для нашей торговли в обоих полушариях, станут большим шагом к укреплению свободы и общественного благосостояния". ^[94]

К этой восточной экспедиции он уже подготовился. В мае 1797 года он предложил отобрать Мальту у рыцарей ордена Святого Иоанна; и когда 27 сентября Директория дала свое согласие, он направил туда французского комиссара Пуссельга с "коммерческой миссией", чтобы проинспектировать эти порты, а также, несомненно, подорвать дисциплину рыцарей. Теперь, когда британцы ушли с Корсики, а Франция распоряжалась морскими ресурсами Северной Италии, Испании и Голландии, казалось вполне осуществимым закрыть Средиземное море для этих "интригующих и предприимчивых островитян", держать их в страхе в их скучных северных морях, изматывать их разорительными приготовлениями к ожидаемому вторжению на их южные побережья, в Ирландию и даже в Шотландию, в то время как восточные завоевания Бонапарта иссушили источники их богатства на Востоке: "Давайте сосредоточим всю нашу активность на нашем флоте и уничтожим Англию. После этого Европа у наших ног". ^[95]

Но он столкнулся с противодействием Директории. Они все еще цеплялись за свой план революционизации Италии; и только играя на их страхе перед армией, он мог заставить этих мирных жителей согласиться на высылку 35 000 военнослужащих и их лучших генералов. Над "Ла Ревельер-Лепо" молодой командир работал с мастерством, за которым скрывалась тончайшая ирония. Этот Режиссер был верховным жрецом новоизобретенного культа, названного *Тео-филантропией*, в тлеющие угли которого он все еще усердно раздувал. Этому потенциальному пророку Бонапарт теперь внушил, что восточные завоевания предоставят великолепное поле для распространения новой веры; и Ла Ревельер немедленно отказался от своего плана революционизировать Европу и обратился к более обширной сфере

нравственного прозелитизма, открытой ему на Востоке тем самым вождем, который, высадившись в Египте, сразу же исповедал мусульманское вероучение.

После получения сомнительного согласия Директории Бонапарту пришлось столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Однако нехватка денег была восполнена двумя своевременными вмешательствами. Первый из них касался дел Рима. Прошлогодние беспорядки в этом городе завершились на Рождество беспорядками, в ходе которых был убит генерал Дюфо; это возмущение послужило желанным предлогом Директории для революционизации Центральной Италии. Бертье немедленно получил приказ повести французские войска на штурм Вечного города. Он вошел без сопротивления (15 февраля 1798 г.), объявил о прекращении гражданской власти папы римского и провозгласил *восстановление* Римской республики. Вскоре выявилась практическая сторона освободительной политики. Во второй раз сокровища Рима, как художественные, так и финансовые, были разграблены; и, как язвительно заметил Люсьен Бонапарт в своих "Мемуарах", главной обязанностью новоназначенных консулов и квесторов было следить за упаковкой картин и статуй, предназначенных для Парижа. Бертье не только заложил основу большого частного состояния, но и продемонстрировал свое понимание цели экспедиции, отправив крупные суммы на снаряжение армады в Тулоне. "Отправляя меня в Рим, - писал Бертье Бонапарту, - вы назначаете меня казначеем экспедиции против Англии. Я постараюсь пополнить казну".

Вмешательство Директории в дела Швейцарии было не менее прибыльным. Жители округа Во в своей борьбе против деспотического правления бернской олигархии предоставили французскому правительству повод для вмешательства, и силы, вторгшиеся на эту землю, превзошли сборы в центральных кантонах. ^[96] Установление централизованной формы правления по образцу Французской, отторжение Женевы от этой древней конфедерации и ее присоединение к Франции были не единственными бедствиями, от которых пострадала Швейцария. Несмотря на заявление генерала Брюна о том, что французы пришли как друзья к потомкам Вильгельма Телля и будут уважать их независимость и собственность, французские комиссары продолжили расхищать сокровищницы Берна, Цюриха, Золотурна, Фрибурга и Люцерна на суммы, которые в общей сложности составили восемь с половиной миллионов франков; пятнадцать миллионов были вымоганы в виде принудительных взносов и грабежей, помимо 130 пушек и 60 000 мушкетов, которые также стали добычей освободителей. ^[97] Место назначения части сокровищ было уже определено; 13 апреля Бонапарт написал срочное письмо генералу Ланну, предписывая ему ускорить доставку добычи в Тулон, где три миллиона франков были немедленно израсходованы на завершение строительства армады.

Это письмо, а также показания мадам де Сталь, Барраса, Буррьенна и Малле дю Пан показывают, что он, должно быть, участвовал во вмешательстве в швейцарские дела, которое знаменует собой унижение не только характера Бонапарта, но и французской армии и народа. Это заимствовано у Кольриджа, который ранее видел в Революции зарю более благородной эпохи, возмущенный протест против проституции идей 1789 года:

"О Франция, насмехающаяся над Небом, прелюбодейная, слепая,
Неужели это твое хвастовство, защитница рода человеческого?
Общаться с королями в низменной жажде власти,
Кричать на охоте и присоединяться к кровожадной добыче? ...

Чувственные и темные тщетно восстают
Порабощенные своим собственным принуждением. В безумной игре
Они разрывают свои кандалы, но носят имя
Свободы, выгравированное на более тяжелой цепи".

Оккупация французскими войсками великого центрального бастиона европейской системы казалась вызовом не только идеалистам, но и германским властителям. Это едва не ускорило разрыв с Веной, где разъяренная толпа недавно сорвала французский триколор. Но Бонапарт сделал все возможное, чтобы предотвратить возобновление войны, которая подорвала бы его перспективы на Востоке; и ему это удалось. Оставалась последняя проблема. Во время своего последнего визита в Директорию, столкнувшись с какой-то деталью, он страстно отказался от своего командования. Вслед за этим Ребелл, известный своей резкой речью, составил заявление об отставке и, протянув его Бонапарту, твердо сказал: "Подпишите, гражданин генерал". Генерал не подписал, но удалился с собрания, явно удрученный, но на самом деле обдумывая *государственный переворот*. Это последнее утверждение основано на свидетельстве Матье Дюма, который услышал его от генерала Десо, близкого друга Бонапарта; и из рассказов Буррьена, Барраса и мадам Жюно ясно, что в последние дни своего пребывания в Париже генерал был угрюм, озабочен и боялся быть отравленным.

Наконец-то время подготовки и ожидания подошло к концу. Цели экспедиции, официально определенные секретным указом от 12 апреля, включали захват Египта и лишение англичан "всех их владений на Востоке, до которых может добраться генерал"; Бонапарт также должен был перерезать Суэцкий перешеек; "обеспечить свободное и исключительное владение Красным морем Французской Республикой"; улучшить положение коренных жителей Египта и развивать хорошие отношения с Великим синьором. Другой секретный указ уполномочивал Бонапарта захватить Мальту. К этим планам он добавил еще один, поистине колоссальных масштабов. После завоевания Востока он должен был поднять греков и других христиан Востока, свергнуть турок, захватить Константинополь и "зайти Европе в тыл".

Щедрая поддержка была оказана *ученым*, которые хотели исследовать художественные и литературные сокровища Египта и Месопотамии. Биограф Монжа утверждает, что энтузиазм этого знаменитого физика впервые пробудил желание Бонапарта отправиться в восточную экспедицию; но это, по-видимому, было возбуждено ранее Волни, который много видел Бонапарта в 1791 году. По правде говоря, желание вырвать секреты обучения у таинственного Востока, кажется, всегда подстегивало его крайне любознательную натуру. В зимние месяцы 1797-8 годов он посещал химические лекции знаменитого Бертолле; и это был не формальный выбор, который выбрал его на место в знаменитом институте, оставшееся вакантным после изгнания Карно. То, как он теперь подписывал свои приказы и прокламации — член Института, главнокомандующий армией Востока, — свидетельствовало о его решимости изгнать из жизни Франции тот налет грубого невежества, благодаря которому террористы сделали себя исключительно одиозными.

После долгих задержек, вызванных встречными ветрами, армада отплыла из Тулона. Вместе с конвоями из Марселя, Генуи и Чивита-Веккьи, он, наконец, достиг общей численности в 13 линейных кораблей, 7 фрегатов, нескольких канонерских лодок и почти 300 транспортов различных размеров, перевозящих 35 000 военнослужащих. Адмирал Брюи был адмиралом, но

действовал под началом Бонапарта. Из генералов, которых главнокомандующий взял с собой, высшим командованием были дивизионные генералы Клебер, Десо, Бон, Мену, Ренье от пехоты: под их началом служили 14 генералов, некоторым из которых, как Мармону, предстояло добиться более широкой известности. Кавалерией командовал рослый мулат, генерал Александр Дюма, под началом которого служил Леклерк, муж Полин Бонапарт, вместе с двумя людьми, получившими мировую известность, Мюратом и Даву. Артиллерией командовал Доммартин, инженерами - Каффарелли, а героический Ланн был генерал-квартирмейстером.

Армада появилась у берегов Мальты без каких-либо инцидентов. Этот остров удерживали рыцари Святого Иоанна, последние из тех отрядов христианских воинов, которые когда-то вели войну с неверными в Палестине. Их мужество испарилось в роскошной непринужденности, а их дисциплина стала жертвой внутренних расколов и интриг, которые вели с французскими рыцарями Ордена. Французский флот появился у берегов Валлетты в марте месяце в надежде нанести внезапный удар; но адмирал Брюи, сочтя попытку слишком рискованной, прислал неловкое объяснение, которое только бросило рыцарей в объятия России. Одной из рыцарских мечтаний царя Павла было распространение своего влияния в Средиземноморье путем заключения договора с этим Орденом. Это удовлетворило его крестоносный пыл и пообещало России военно-морскую базу для раздела Турции, который в то время обсуждался с Австрией: чтобы обеспечить контроль над островом, Россия собиралась потратить 400 000 рублей, когда Бонапарт упреждал замыслы Москвы быстрым захватом.^[98] Был легко найден предлог для разрыва с Приказом: несколько рот войск были высажены, и начались военные действия.

Укрывшись за своими могучими стенами, рыцари могли бы сдержать незваных гостей, если бы их не разделяли внутренние разногласия: французские рыцари отказались сражаться против своих соотечественников, а восстание коренных мальтийцев, долгое время не находивших покоя под игом ордена, теперь помогло склонить великого магистра к капитуляции. Свидетельство английского консула мистера Уильямса, по-видимому, показывает, что недовольство местных жителей было даже более сильным, чем влияние французского золота, приведшее к такому результату.^[99] Как бы то ни было, одно из сильнейших мест в Европе приняло французский гарнизон после такой неуклюжей обороны, что генерал Каффарелли, осмотрев укрепления, заметил Бонапарту: "Честное слово, генерал, повезло, что в городе нашелся кто-то, кто открыл нам ворота".

Во время своего семидневного пребывания на Мальте Бонапарт продемонстрировал мощь тех организующих сил, для которых половина Европы вскоре стала слишком маленькой ареной. Он отменил Орден, отправив на пенсию тех французских рыцарей, которые были пригодны к службе; он упразднил религиозные дома и конфисковал их владения в пользу нового правительства; он учредил правительственную комиссию, действующую при военном губернаторе; он временно сохранил существующие налоги и предусмотрел введение таможи, акцизов и окроевых сборов; он подготовил почву для благоустройства улиц, возведения фонтанов, реорганизации больниц и почты. Университету он уделял особое внимание, изменив учебную программу по образцу более продвинутых *центральных школ* Франции, но при этом уделяя особое внимание точным наукам и полезным искусствам. Со всех сторон он оставлял впечатление своего практического ума, который рассматривал жизнь как шахматную партию, из которой были тщательно изгнаны слоны и кони и где не осталось ничего, кроме тяжелых фигур и послушных пешек.

Вырвав Мальту из ее средневекового спокойствия и погрузив ее в водоворот современного прогресса, Бонапарт отплыл в Египет. Его казна была богаче на все золото и серебро, будь то в слитках или в сосудах, которые можно было найти в сокровищнице Мальты или в церкви Святого Иоанна. К счастью, серебряные ворота этой церкви были закрашены, и таким образом другие сокровища избежали участи. ^[100] Во время путешествия в Александрию он изучал библиотеку книг, которые он попросил Буррьена приобрести для него. Состав этой библиотеки представляет интерес как свидетельство сильной склонности его мыслей к истории, хотя позже он постарался ограничить ее изучение в университете и школах, которые он основал. У него было с собой 125 томов исторических трудов, среди которых переводы Фукидида, Плутарха, Тацита и Ливия представляли жизнь древнего мира, в то время как в современной жизни он сосредоточил свое внимание главным образом на нравах и институтах народов и мемуарах великих полководцев — таких, как Тюренн, Конде, Люксембург, Саксен, Мальборо, Эжен и Карл XII. Из поэтов он выбрал так называемых Оссиана, Тассо, Ариосто, Гомера, Вергилия, и шедевры французского театра; но особенно его поразила напыщенный и декламационный стиль Оссиана. Что касается романов, то английская литература была широко представлена сорока томами романов, разумеется, в переводах. Помимо нескольких работ по искусству и науке, у него также было с собой двенадцать томов "Географии Баркляя" и три тома "Путешествий Кука", которые показывают, что его мысли простирались до антиподов; а в раздел политики он включил Библию, Коран, Веды, мифологию и "Дух Лоис" Монтескье! Состав и классификация этой библиотеки также наводят на размышления. Бонапарт тщательно выискивал слабые места организма, на который он собирался напасть, — в нынешней кампании это были Египет и Британская империя. Климат и природные продукты, гений местных писателей и дух их религии — ничто не могло помешать его ненасытному интеллекту, который усваивал самые разнообразные материалы и ставил их себе на службу. Греческая мифология служила аллюзиями для украшения его воззваний, Коран определял его поведение по отношению к мусульманам, а Библия должна была стать его путеводителем по друзьям и армянам. Таким образом, все три были объединены под общим названием "Политика".

И это, в целом, довольно хорошо отражает его ментальное отношение к религии: по крайней мере, это было его отношение к работе изо дня в день. Правда, бывали моменты, когда всепоглощающее ощущение величия вселенной поднимало все его существо намного выше этого мелкого оппортунизма: и в те моменты, которые с точки зрения проявления характера, несомненно, можно считать противовесом целым месяцам, проведенным в тактических маневрах и дипломатических уловках, он был способен воспарить до высот воображаемого благоговения. Такой эпизод, проливающий свет на тайники его сознания, произошел во время его путешествия в Египет. *Ученые* на борту его корабля "Ориент" обсуждали один из тех вопросов, которые часто ставил Бонапарт, чтобы, как арбитр в этом состязании умов, он мог оценить их умственные способности. Ловкость ума, а не сократовское стремление к истине, была целью их диалектики; но однажды, когда обсуждалась религия, Бонапарт высказался более глубокомысленно: подняв глаза к полуночному небесному своду, он сказал философствующим атеистам: "Очень изобретательно, господа, но кто все это создал?" В качестве возражения любителям поцокать языком, что может быть лучше? Обращение от слов к усыпанному звездами куполу было непреодолимым: оно служит наглядным доказательством того, что Карлайл прекрасно назвал своим "инстинктом природы" и "неискоренимым чувством реальности". Вероятно, это и был истинный человек, скрывающийся глубоко под своими мусульманскими одеяниями и соглашательскими сделками.

Нельзя отрицать, что в натуре Бонапарта был оттенок суеверия, какой обычно проявляется у одаренных отпрысков семьи, живущей на побережье;^[101] но его обычное отношение к религии было отношением политического механика, а не преданного, и даже исповедуя формы фаталистической веры, он действительно подчинил их своим собственным планам. К этому глубокому расчету доверчивости человечества мы, вероятно, можем отнести его намеки на его звезду. Настоящий автор считает почти несомненным, что его звезда была вызвана для того, чтобы ослепить вульгарное стадо. Действительно, если мы можем доверять Миоту де Мелито, Первый консул однажды признался в этом кругу друзей. "Цезарь, - сказал он, - был прав, ссылаясь на свою удачу и делая вид, что верит в нее. Это средство воздействовать на воображение других, не оскорбляя ничьего самолюбия". Странное признание; какую безграничную уверенность в себе подразумевает то, что он должен был признаться в обмане. Простое признание этого является доказательством того, что он чувствовал себя настолько выше уровня обычных смертных, что, несмотря на разоблачение, он сам продолжал бы оставаться своей собственной звездой. В остальном, правдоподобно ли, что этот аналитический гений мог когда-либо всерьез принять кредо астролога? Есть ли что-нибудь в его ранних записных книжках или более поздней переписке, что подтверждает такое предположение? Разве не все его упоминания о своей звезде встречаются в прокламациях и обращениях, предназначенных для широкого потребления?

Несомненно, удача Бонапарта была очевидна на протяжении всех этих восточных авантур, и никогда особенно, когда он избежал преследования Нельсона. Английский адмирал разгадал его цель. Подняв все паруса, он оказался почти в пределах видимости французских войск близ Крита и достиг Александрии всего за два дня до того, как его враги скрылись из виду. Не обнаружив там никаких враждебных сил, он изменил курс и обследовал моря между Критом, Сицилией и Моркой, пока известие, полученное от турецкого чиновника, снова не отправило его на восток. От таких мелочей иногда зависит судьба империй.

Тем временем события стремительно надвигались на Бонапарта. Чтобы избавиться себя от ужасного риска, который угрожал его войскам у египетского побережья, он высадил свои войска численностью 35 000 человек со всей возможной быстротой в Марабуте близ Александрии и, направив свои атакующие колонны на стены этого города, захватил его с ходу (2 июля).

Для этого захвата нейтральной территории он не привел иного оправдания, кроме того, что беи, которые были настоящими правителями Египта, благоприятствовали английской торговле и были виновны в некоторых нападках на французских купцов. Однако он стремился убедить турецкого султана в том, что французское вторжение в Египет было дружественным актом, поскольку оно привело бы к свержению власти мамлюков, которые превратили турецкую власть в простую тень. Это был аргумент, с которым он обратился к турецким официальным лицам, но он оказался слишком тонким даже для того, чтобы восточный ум смог его полностью оценить. Главной заботой Бонапарта было привлечь на свою сторону подвластное население, которое состояло из представителей различных рас. На поверхности были мамелюки, могущественный военный орден, обладавший великолепной кавалерией, управляемый двумя беями и едва ли признававший смутный сюзеренитет, на который претендовала Порта. Соперничество беев, Мурада и Ибрагима, породило обильный урожай разногласий в этой правящей касте, и их распри подвергали подчиненные расы, как арабов, так и коптов, постоянным набегам и поборам. Поэтому казалось возможным настроить их против господствующей касты при

условии, что мусульманская щепетильность всего населения будет тщательно соблюдаться. С этой целью командующий предупредил свои войска относиться к мусульманам как к "евреям и итальянцам" и уважать их муфтиев и имамов так же, как "раввинов и епископов". Он также объявил египтянам о своей решимости, свергая мамлюкскую тиранию, уважать мусульманскую веру: "Разве мы не уничтожили папу римского, который повелел людям вести войну с мусульманами? Разве мы не уничтожили мальтийских рыцарей, потому что эти глупцы верили, что такова Божья воля на войну против мусульман?" Французских солдат чрезвычайно позабавил юмор этих действий, и освобожденный народ в полной мере оценил угрозы, которыми завершилось воззвание Бонапарта, подкрепленное непреодолимой силой. ^[102]

Уладив дела в Александрии, где командовать был оставлен доблестный Клебер, Бонапарт приказал продвигаться вглубь страны. Пожалуй, никогда он не демонстрировал ценность быстрых наступательных действий более решительно, чем в этом стремительном марше на Даманхур через пустыню. Другой путь через Розетту был бы проще; но, поскольку он был длиннее, он отверг его и приказал генералу Мену захватить этот город и поддержать флотилию лодок, которая должна была подняться по Нилу и встретить армию на ее марше в Каир. 4 июля первая дивизия основных сил ночью выступила в пустыню к югу от Александрии. Все было ново и ужасно, и когда лучи солнца упали на их усталые спины, ропот солдат стал громче. Значит, это была земля, "более плодородная, чем Ломбардия", которая была целью их странствий. "Смотрите, вот шесть акров земли, которые вам обещаны", - воскликнул шутливый солдат своему товарищу, когда они впервые увидели с борта корабля пустыню к востоку от Александрии; и никакое чувство дисциплины не смогло удержать эту и другие насмешки от ушей штабных офицеров еще до того, как они достигли этого города. Гораздо хуже было их положение сейчас, в зыбучих песках пустыни, окруженные бродящими бедуинами, ужаленные скорпионами и страдающие от невыносимой жажды. Арабы заполнили скудные колодцы камнями, и только после долгого труда саперы смогли добраться до драгоценной жидкости под ними. Затем войска бросились в бой за привилегию выпить несколько капель мутной жидкости. Таким образом, они продолжали бороться, причем следующим дивизиям приходилось хуже всех. Бертье, начальник штаба, рассказывает, что стакан воды продавался на вес золота. Даже храбрые офицеры поддавались приступам ярости и отчаяния, которые повергали их в полную панику. ^[103]

Но Бонапарт не дрогнул. Его суровое самообладание было лучшим упреком таким ребяческим выходкам; и когда из толпы перешептывающихся раздалось смелое замечание: "Ну что, генерал, вы собираетесь таким образом вести нас в Индию", он смутил говорившего и его товарищей быстрым ответом: "Нет, я бы не решился на это с такими солдатами, как вы". Французская честь, задетая за живое, взяла верх даже над муками жажды; и сами войска, с опозданием добравшись до Нила и утолив жажду в его водах, признали превосходство его таланта. Уилл и его глубокая уверенность в их выносливости. Веселье французов не было полностью омрачено даже невзгодами марша по пустыне. Чтобы подбодрить их упавший дух, командующий послал нескольких самых стойких генералов вдоль линии марша. Среди них был одаренный Каффарелли, потерявший ногу в Рейнской кампании: его ободряющие слова вызвали неподражаемый ответ из рядов: "Ах! ему все равно, только не ему: он одной ногой во Франции". Едва ли менее остроумным было описание солдатом рыскающих бедуинов, которые отсекали отставших и рабителей, как "конной дорожной полиции".

Отбросив атаку 800 мамелюков у Шебрейса, армия двинулась вверх по берегу Нила к Эмбабеху, напротив Каира. Там мамлюки, возглавляемые боевым беем Мурадом, разбили свой укрепленный лагерь; и там эта превосходная кавалерия приготoвилась сокрушить захватчиков стремительным наскоком конницы (21 июля 1798 г.). Повод и обстановка были таковы, что внушили обеим сторонам непоколебимую решимость. Это был первый жестокий удар по земле восточного рыцарства и западной предприимчивости со времен Людовика Святого; и пыл республиканцев был едва ли меньше того, который воспламенил воинов креста. Рядом с двумя армиями струился таинственный Нил; за ними сверкали стройные минареты Каира; а на юге высились массивные пирамиды. К сорока столетиям, которые пронеслись над ними, Бонапарт теперь взывал одним из тех творческих приемов, которые всегда доводят французскую натуру до предельного напряжения смелости и выносливости. Таким образом, они сомкнутым строем продвигались к укрепленному траншеями лагерю мамлюков. Дивизии слева сразу же бросились на его земляные укрепления, заставили замолчать его слабую артиллерию и вырезали феллахов внутри.

Но другие подразделения, которые теперь выстроились в каре, наблюдая за этим подвигом, были атакованы мамлюками. Из дымки миража или из-за песчаных гряд и зарослей арбузных растений, усеивавших равнину, внезапно появилось около 10 000 этих великолепных всадников и бросились на каре, которым командовали Десо и Ренье. Их богато украшенные боевые доспехи, развевающиеся плюмажи, дикие боевые кличи и изумительное мастерство владения карабином и мечом придавали атаке живописность и ужас. Мушкетный огонь и картечь скошили их передних бегунов ужасными полосами; но живая масса неслась вперед, почти подавляя передние ряды каре, а затем, отклоняясь в сторону, хлынула через смертоносную воронку между ними. Подкошенные и здесь непрерывным огнем французских шеренг и выстрелами с тыла, они отступили в изнеможении, оставив кучи убитых и умирающих на фронтах каре, а в самой их гуще - два десятка отборных кавалеристов, чья храбрость и искусство верховой езды привели их на верную смерть от штыков. Французы перешли в наступление, и дивизия Десо, угрожая отрезать отступление всадникам Мурада, вынудила этого осторожного командира отвести свои разбитые эскадроны; другие пытались, хотя и с ужасными потерями, переправиться через Нил к последователям Ибрагима. Этот вождь не принимал участия в битве и теперь направился в сторону Сирии. Такова была битва при Пирамидах, в ходе которой колония была завоевана ценой примерно тридцати убитых и примерно в десять раз большего числа раненых: из убитых около двадцати пали жертвами перекрестного огня двух квадратов. ^[104]

Остановившись на две недели в Каире, чтобы набрать свои уставшие войска и уладить дела своего завоевания, Бонапарт двинулся на восток в погоне за Ибрагимом и загнал его в Сирию, в то время как Дезэ вел трудную, но успешную кампанию против Мурада в Верхнем Египте. Но победителям вскоре предстояло понять бесполезность чисто военных триумфов в Египте. Когда Бонапарт вернулся, чтобы завершить организацию новой колонии, он услышал, что Нельсон уничтожил его флот.

3 июля, перед отплытием из Александрии, французский командующий отдал приказ своему адмиралу, хотя следует добавить, что его подлинность вызывает сомнения:

"Адмирал завтра доложит главнокомандующему, может ли эскадра войти в Александрийский порт или, применив бортовой залп на рейде Абукира, сможет ли она защититься от

превосходящих сил противника; и в случае, если оба эти плана окажутся невыполнимыми, он должен отплыть на Корфу... оставляем легкие корабли и флотилию в Александрии.

Брейс быстро обнаружил, что первый план сопряжен с серьезными опасностями: вход в Александрийскую гавань, когда ее прозондировали, оказался наиболее трудным для крупных кораблей — таково было его мнение, а также мнение Вильнева и Касабьянки, — и выход мог быть заблокирован единственным английским линкором. Что касается альтернатив Абукиру или Корфу, Брюэйс далее заявил: "Мое твердое желание - быть полезным вам всеми возможными способами: и, как я уже сказал, мне подойдет любая должность, при условии, что вы будете направлять меня туда активным образом". Судя по этой довольно двусмысленной фразе, он рассматривал альтернативу Корфу как обрекающую его на унижительное бездействие; в то время как в Абукире он считал, что может быть активно полезен в защите тыла армии. Поэтому в этой бухте он поставил на якорь свои самые большие корабли, полагая, что опасности подхода защитят его от любого внезапного нападения, но также делая особые приготовления на случай, если ему придется сражаться на якоре.^[105] Его решение, вероятно, было менее здравым, чем решение Бонапарта, который во время похода на Каир и снова во время своего пребывания там приказал ему направляться к Корфу или Тулону; ибо генерал ясно видел, что французский флот, находясь в безопасности на этих хорошо защищенных рейдовых позициях, действительно будет лучше господствовать в Средиземном море, чем на открытых просторах Абукира. Но эти приказы не дошли до адмирала до того, как был нанесен удар; и, в конце концов, несколько неблагородно осуждать Брюйса за его решение остаться в Абукире и рискнуть вступить в бой, вместо того чтобы подчиниться требованиям разумной, но бесславной стратегии.

Британский адмирал, прочесав восточное Средиземноморье, наконец обнаружил французский флот в заливе Абукир, примерно в десяти милях от Розеттского устья Нила. Он стоял на якоре с подветренной стороны отмели, которая помешала бы любому обычному адмиралу атаковать его, особенно на закате. Но Нельсон, зная, что головной корабль французов может свободно стоять на якоре, справедливо пришел к выводу, что британским кораблям должно быть место для плавания между неподвижной линией Брейса и отмелями. Британские капитаны поставили пять кораблей между французами и отмелью, в то время как другие, пройдя вдоль линии противника со стороны моря, разгромили его по частям; и после ночи кровавой бойни свет 2 августа озарил сцену разрушений, непревзойденных в морской войне. Спаслись только два французских линейных корабля и два фрегата: один, гигантский "Ориент", взорвался с мальтийскими трофеями на борту; остальные, числом одиннадцать, были захвачены или сожжены.

Для Бонапарта эта катастрофа была как гром среди ясного неба. Всего за два дня до этого он написал из Каира Брюйсу, что все поведение англичан заставляет его считать, что они уступают в численности, и полностью удовлетворен блокадой Мальты. И все же, чтобы восстановить *моральный дух* своей армии, совершенно подавленной этим несчастьем, он изобразил уверенность, которой больше не мог испытывать, и сказал: "Хорошо! здесь мы должны остаться или достичь величия, подобного величию древних".^[106] Недавно он заверил своих приближенных, что после разгрома сил беев он вернется во Францию и нанесет удар непосредственно по Англии. Что бы он ни замышлял, теперь он был пленником своего завоевания. Его люди, даже некоторые из его высших офицеров, такие как Бертье, Бессьер, Ланн, Мюрат, Дюма и другие, горько жаловались на свое жалкое положение. Но командир, чье настроение поднялось от невзгод, принял эффективные меры для подавления такого

недовольства. Последнему из названных, могущественному мулату, он воскликнул: "Вы вели мятежные переговоры; позаботьтесь о том, чтобы я не выполнил свой долг: ваши шесть футов роста не спасут вас от расстрела"; и он предложил паспорта для поездки во Францию нескольким наиболее недовольным и бесполезным офицерам, хорошо зная, что после победы Нельсона ими вряд ли можно будет воспользоваться. Другие, опять же, перехитрив Ирода, предлагали разобрать фрегаты и транспорты в Александрии и перевезти на спинах верблюдов в Суэц, чтобы там использовать для вторжения в Индию. ^[107]

Многогранность гения Бонапарта никогда не была так заметна, как в это время уныния. В то время как его враги считали, что он и его измученные войска тщетно пытаются сбежать с этих засушливых пустошей; в то время как Нельсон высаживал французских военнопленных, чтобы усилить свои затруднения с продовольствием, Бонапарт и его *ученые* развивали конструктивные способности высшего порядка, которые сделали армию независимой от Европы. Это было грандиозное начинание. Лишившись большей части своих сокровищ и многих механических приспособлений из-за гибели флота, *ученым* и инженерам пришлось, так сказать, начинать с самого начала. Некоторые стремились справиться с трудностями снабжения продовольствием, расширяя выращивание кукурузы и риса, или строя большие печи и пекарни, или ветряные мельницы для помола кукурузы. Другие сажали виноградники на будущее или пытались утолить непрекращающуюся жажду солдат изготовлением разновидности местного пива. Литейные заводы и мастерские начали, хотя и медленно, поставлять инструменты и станки; из недр земли извлекались ее сокровища, добывался натрон, были открыты селитряные заводы, и таким образом для армии добывался порох с энергией, которая напоминала чудеса деятельности 1793 года.

Со своим обычным рвением к учебе Бонапарт несколько раз в неделю появлялся в химической лаборатории или был свидетелем экспериментов, проводимых Бертолле и Монжем. Желая придать сплоченности усилиям своих *ученых* и воздавать должное не только полезным искусствам, но и сложным исследованиям, он объединил этих пионеров науки в общество, названное Институтом Египта. 23 августа 1798 года он был торжественно установлен во дворце одного из беев, когда Монж был президентом, а Бонапарт вице-президентом. Генерал также записался на математическое отделение института. Более того, он стремился всеми возможными способами содействовать трудам *ученых*, чьи диссертации теперь звучали в большом зале гарема, где раньше раздавались только перезвоны лютен, усталые шутки и праздный смех. Труды *ученых* не ограничивались Каиром и Дельтой. Как только победы Десо в Верхнем Египте открыли среднее течение Нила для мирных исследований, изумленным взорам западных ученых открылись сокровища Мемфиса. Многие из наиболее портативных реликвий были перенесены в Каир, а оттуда в Розетту или Александрию, чтобы украсить музеи Парижа. *Ученые* предложили эти сокровища, но морская держава ими распорядилась. Сейчас они, за редким исключением, находятся в Британском музее.

Помимо археологии, многое было сделано для расширения границ знаний. Астрономия многое приобрела благодаря наблюдениям генерала Каффарелли. Была начата серия измерений для точного обследования Египта: геологи и инженеры исследовали течение Нила, зафиксировали развитие аллювиальных отложений в его устье или на берегах и на основании этого вычислили древность различных частей дельты. Ни одна часть карьеры великого завоевателя так точно не иллюстрирует истинность его благородных слов, обращенных к магистратам Лигурийской

республики: "Истинные завоевания, единственные завоевания, о которых не стоит сожалеть, - это те, которые достигнуты благодаря невежеству".

Такова вкратце история возрождения в Египте. Родина науки и образованности, после почти бесплодного промежутка в 1100 лет после арабского завоевания, теперь развивалась и освещалась применением искусств, которыми в смутном прошлом она обогатила жизнь варварской Европы. Погашение этого неисчислимого долга было связано в первую очередь с предприимчивостью Бонапарта. Это один из его многочисленных титулов на славу и уважение потомков. Как бедны по сравнению с этим энциклопедическим гением способности даже его самых блестящих врагов! В то же самое время эрцгерцог австрийский Карл бесславно прозябал в своих поместьях. Что же касается Болье и Вюрмсера, то они погрузились в свою родную безвестность. Нельсон после своего недавнего триумфа, убеждавший себя, что "Бонапарт отправился к дьяволу", склонялся перед прихотями профессиональной красавицы и отвратительным деспотизмом худшего двора в Европе. В то время как адмирал запятнал свою славу на Сиреневом побережье Неаполя, его великий противник использовал все ресурсы богатого интеллекта, чтобы восстановить свои позиции, и даже во мраке катастрофы бросил луч света на темный континент. В то время как его противники были всего лишь генералами или адмиралами, которым мешали тупое образование и узкая национальность, Бонапарт жадно впитывал новые знания своего времени и видел их возможное влияние на реорганизацию общества. Он не просто генерал. Даже когда он развеивает по ветру гордое рыцарство Востока и предписывает Брюису самый безопасный образ действий, он находит время значительно расширить горизонт человеческих знаний.

Он также не пренебрегал египетской политикой. Он использовал местный совет для консультаций и распространения своих собственных идей. Сразу же после своего въезда в Каир он назначил девять шейхов для формирования дивана, или совета, ежедневно проводившего консультации по вопросам общественного порядка и снабжения города продовольствием. Затем он собрал генеральный диван Египта и совет поменьше от каждой провинции и спросил их совета относительно отправления правосудия и сбора налогов. ^[108] Используя восточную терминологию, эта схема была, несомненно, умной; но ни французы, ни арабы, ни турки не были введены в заблуждение относительно реального правительства, которое полностью принадлежало Бонапарту; и его умение перераспределять налоги оказало некоторое влияние на процветание страны, позволив ей выдерживать нагрузку от его постоянных реквизиций. Благосостоянию новой колонии также способствовало основание монетного двора и Египетской коммерческой компании.

Его изобретательский гений ни в коей мере не был исчерпан этими разнообразными трудами. По пути в Суэц он встретил в пустыне караван верблюдов и, заметив быстроту животных, решил сформировать верблюжий отряд; и в первый месяц 1799 года эксперимент был проведен с таким успехом, что прием в ряды верблюдоводов стал рассматриваться как одолжение. Каждое животное несло двух человек с оружием и поклажей: форма была небесно-голубой с белым тюрбаном; а скорость и точность их движений позволяли им наносить страшные удары даже отдаленным племенам бедуинов, которые склонялись перед гением, который мог перехитрить их даже в их собственных пустынях.

Удовольствиям его офицеров и рядовых также способствовало открытие садов Тиволи; и там, в виду Пирамид, жизнь Пале-Рояля пустила корни: звенели бокалы, гремели кости, головы

кружились в такт сладострастным движениям восточного танца; а сам Бонапарт предавался мимолетной страсти к жене одного из своих офицеров с откровенностью, которая навлекла на него упрек со стороны его пасынка Эжена Богарне. Но он уже был доведен до отчаяния сообщениями о неверности Жозефины в Париже; эти новости вырвали у него это трогательное письмо к своему брату Жозефу — предсмертный крик его давно угасшего идеализма:

"У меня есть много поводов для беспокойства наедине, ибо завеса полностью сорвана. Ты одна остаешься со мной; твоя привязанность мне очень дорога: ничего больше не остается, чтобы сделать меня мизантропом, как потерять ее и увидеть, как ты предаешь меня.... Купите к моему возвращению загородное поместье либо под Парижем, либо в Бургундии. Мне нужно уединение: величие утомляет меня, источник чувств иссяк, слава сама по себе пресна. В двадцать девять лет я исчерпал все. Мне остается только стать законченным эгоистом". ^[109]

Ходило много слухов о публичном появлении Бонапарта в восточном костюме и его присутствии на религиозной службе в мечети. Тьер даже утверждает, что на одном из главных праздников он отправился в большую мечеть, повторил молитвы, как истинный мусульманин, скрестив ноги и раскачиваясь взад и вперед, чтобы "назидать верующих своим православным благочестием". Но весь этот инцидент, каким бы привлекательным он ни был с точки зрения сцены и юмора, кажется, достоверен не лучше, чем религиозные результаты, в которые историк лелеял столь обнадеживающую веру. Похоже, правда заключается в том, что генерал отправился на празднование дня рождения Пророка в качестве заинтересованного зрителя в дом шейха Эль-Бекри. Там присутствовало несколько сотен шейхов: они раскачивались взад и вперед, пока читалась история жизни Магомета; а Бонапарт после этого отведал восточной трапезы. Но он никогда не забывал о своем достоинстве настолько, чтобы публично появляться в тюрбане и свободных штанах, которые он надел только один раз для развлечения своего персонала. ^[110] То, что он пытался выдать себя за мусульманина, не вызывает сомнений. Станьте свидетелем его попыток убедить имамов в Каире в своем желании принять их веру. Если мы можем верить этому сомнительному сборнику "Голос со Святой Елены", он велел им вместе посоветоваться относительно возможности принятия мужчин, которые не были обрезаны и не воздерживались от вина, в лоно истинной церкви. Что касается последнего недостатка, он заявил, что французы - бедные холодные люди, жители севера, которые не могут существовать без вина. Долгое время имамы возражали против этого заявления, которое было сопряжено с большими трудностями, чем вопрос об обрезании, но после долгих консультаций они решили, что от обоих возражений можно отказаться ввиду переизбытка добрых дел. Ответ был продиктован не менее тонкой иронией, чем та, что сопровождала это заявление, и ни одна из сторон не была обманута в этом состязании умов.

Вскоре наступило грубое пробуждение. В течение нескольких дней ходили слухи, что дивизия под командованием Десо, сражавшаяся с мамлюками в Верхнем Египте, была поглощена этими песчаными пустошами; и это сообщение разожгло пламя скрытой враждебности к неверующим. Со многих минаретов Каира вместо обычного призыва к молитве раздался призыв к оружию, и 21 октября французский гарнизон подвергся столь яростному и внезапному нападению, что исход его был поставлен под сомнение. Дисциплина и картечь в конце концов восторжествовали, после чего подавление восточной свирепости подавило дух горожан и жителей соседней страны. В Каире и во всех стратегических точках нижнего течения Нила были построены крепости, и Египет, казалось, был завоеван.

Чувствуя теперь уверенность в своей власти над населением, Бонапарт в конце года предпринял путешествие в Суэц и на Синайский полуостров. Это предлагало то сочетание практичности и романтики, которое всегда привлекало его. В Суэце он попытался оживить торговлю, снизив таможенные сборы, основав филиал своей египетской торговой компании и любезно приняв делегацию арабов из Тора, которые пришли просить его дружбы.^[111] Затем, продолжая путешествие, он посетил источники Моисея; но это неправда, что (как утверждает Ланфри) он отправился на гору Синай и вписал свое имя в монастырский реестр рядом с именем Магомета. Говорят, что по возвращении на перешеек он чудом спасся от прилива Красного моря. Если мы можем поверить Савари, который не был в отряде, то его безопасность была обусловлена тактичностью командира, который, когда на сбитый с толку отряд опустилась темнота, выстроил своих всадников в шеренги, пока снова не была обнаружена более высокая насыпь тропы. К северу от Суэца наметанному глазу командира открылись следы канала, прорытого Сесострисом. Наблюдения инженеров подтвердили его догадку, но огромный объем работ по реконструкции не позволял предпринимать какие-либо попытки построить морской канал. По возвращении в Каир он написал имаму Маската, заверяя его в своей дружбе и умоляя переслать Типпу Сахибу письмо с предложением союза и освобождения от "железного ига Англии" и сообщением, что французы прибыли на берега Красного моря "с многочисленной и непобедимой армией". Письмо было перехвачено британским крейсером; и тревога, вызванная этими масштабными планами, только подстегнула наши силы к действиям, которые стоили Типпу жизни, а французам - большей части их индейских поселений.

ГЛАВА IX

Сирия

Тем временем Турция объявила войну Франции и отправляла армию через Сирию для восстановления Египта, в то время как другая экспедиция собиралась на Родосе. Как и все великие полководцы, Бонапарт никогда не довольствовался обороной: его убеждения и драчливые инстинкты в равной степени побуждали его наносить удары, а не принимать их на себя; и он утверждал, что может атаковать и уничтожить сирийские силы до того, как прекращение зимних штормов позволит другой турецкой экспедиции попытаться высадиться в Абукире. Если бы он подождал в Египте, ему, возможно, пришлось бы отражать две атаки одновременно, тогда как, если бы он нанес удар по Яффе и Акре, он избавился бы от основной

массы своих врагов. Кроме того, как он объяснил в своем письме Директорам от 10 февраля 1799 года, его захват этих городов лишил бы английский флот его базы снабжения и тем самым подорвал бы его деятельность у берегов Египта. Пока что его доводы в пользу сирийской кампании понятны и обоснованны. Но он также сообщил, что, оставив Десо и его эфиопских статистов защищать Египет, он сам завершит завоевание Сирии и Востока: он поднимет на восстание христиан Ливана и Армении, свергнет турецкую власть в Азии, а затем двинется либо на Константинополь, либо на Дели.

Трудно отнестись к этому вполне серьезно, учитывая, что у него было всего 12 000 человек, доступных для этих авантур; и с кем угодно, кроме Бонапарта, они могли быть отвергнуты как крайнее донкихотство. Но в его случае мы должны искать какую-то практическую цель; ибо он никогда не отделял фантазию от факта, и в свои лучшие дни воображение было скорее служанкой политики и стратегии, чем хозяйкой. Вероятно, эти великолепные видения были воплощены в жизнь для того, чтобы вдохновить солдат и поразить воображение Франции. Он уже доказал огромную силу воображения над этим восприимчивым народом. В каком-то смысле вся его экспедиция была всего лишь живописной драмой; и впечатляющую кульминацию теперь можно было найти в плане создания Восточной империи, который открывал ослепительные перспективы славы и окутывал его фигуру грандиозным миражом, рядом с которым гражданские Режиссеры казались карликами, нелепыми марионетками.

Если к этим масштабным планам относиться серьезно, возможно и другое объяснение, а именно то, что он опирался на пример Александра Македонского, который с небольшой, но хорошо обученной армией сокрушил величественные владения Востока. Если Бонапарт доверял этому прецеденту, то он ошибся. Правда, Александр начал свое предприятие со сравнительно небольшими силами, но, по крайней мере, у него была надежная операционная база, а его армия в Фессалии была достаточно сильна, чтобы помешать Афинам сменить свою угрюмую, но пассивную враждебность на наступление, которое поставило бы под угрозу его коммуникации по морю. Таким образом, афинский флот никогда не представлял для македонцев такой опасности, какой Нельсон и сэр Сидней Смит представляли для Бонапарта. С тех пор как французская армада бросила якорь в Тулоне, позиции Британии значительно укрепились. Нельсон был властелином Средиземноморья: восстание в Ирландии полностью провалилось; формировалась коалиция против Франции; и поэтому было ясно, что силы в Египте не могут быть существенно усилены. Бонапарт тогда еще не осознавал всей степени опасности, грозившей его стране; но сам факт того, что ему придется выдержать давление военно-морского превосходства Англии у сирийского побережья, должен был развеять всякую мысль о том, что он может соперничать с подвигами Александра и стать императором Востока.

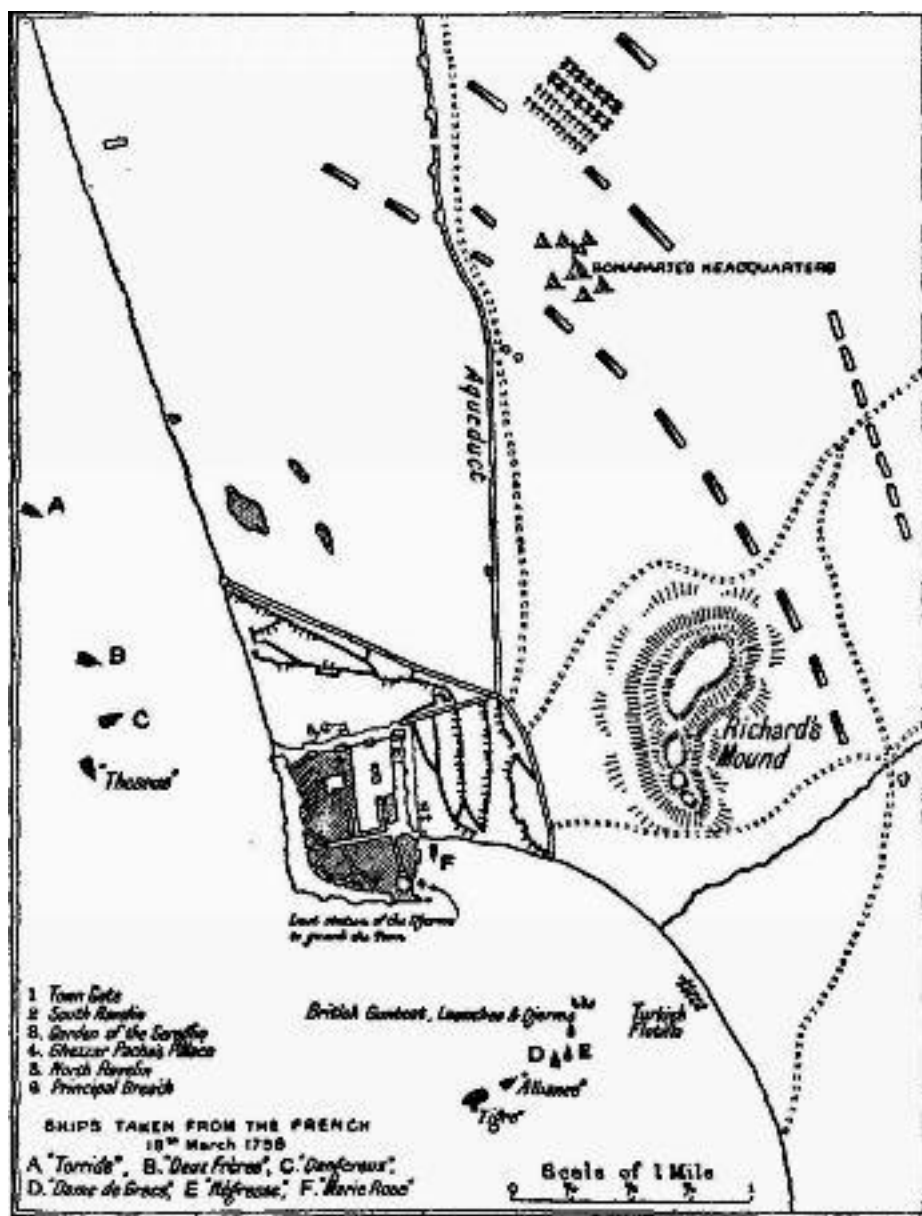
[112]

От догадок о мотивах перейдем к фактам. Выступив в начале февраля, французы захватили большую часть турецкого авангарда в форте Эль-Ариш, но отослали своих пленников при условии, что они не будут носить оружия против Франции по крайней мере в течение одного года. Затем победители двинулись на Яффу и, несмотря на энергичную оборону, взяли ее штурмом (7 марта). Разгоряченные своей победой над жестоким и ненавистным врагом, солдаты уже сдавали город на разграбление и резню, когда два адъютанта пообещали пощаду большому отряду защитников, которые искали убежища в большом караван-сараяе; и победители неохотно сохранили им жизни. Бонапарт яростно упрекал своих адъютантов за их несвоевременное милосердие. Что он мог теперь сделать с этими 2500 или 3000 пленными? Им

нельзя было доверять службу с французами; кроме того, провизии едва хватало для собственных людей Бонапарта, которые начали громко жаловаться на то, что делятся провизией с турками и албанцами. Их нельзя было отослать в Египет, чтобы распространять там недовольство: и таким образом были отосланы только 300 египтян.^[113] Наконец, по требованию его генералов и войск, оставшиеся пленные были расстреляны на берегу моря. Однако нет никаких оснований для злонамеренного утверждения, что Бонапарт с готовностью отдал этот роковой приказ. Напротив, он отложил это на три дня, пока растущие трудности и громкие жалобы его солдат не заставили его прибегнуть к последнему средству.

Более того, несколько жертв уже сражались против него при Эль-Арише и нарушили свое обещание, что они больше не будут сражаться против французов в этой кампании. Утверждение м. Ланфрея о том, что нет доказательств для опознания, несостоятельно, учитывая документ, который я обнаружил в Архивах британского адмиралтейства. К депешам сэра Сиднея Смита прилагается депеша от секретаря Джеззара, датированная Акко 1 марта 1799 года, в которой паша настоятельно умоляет британского коммодора прийти к нему на помощь, потому что его (Джеззара) войска не смогли удержать Эль-Ариш, и *те же самые войска* также оставили Газу и очень боялись французов в Яффо. Рассматриваемая с военной точки зрения, резня в Яффо, возможно, оправданна; и неохотное согласие Бонапарта выгодно контрастирует с поведением многих командиров в подобных случаях. Возможно, эпизод, подобный тому, что произошел в Яффо, небезынтересен для того, чтобы открыть человечеству глаза на ужасные изменения, с помощью которых, возможно, придется завоевывать военную славу. Альтернативой массовому убийству было выделение французского батальона для переправки пленных в Египет. Поскольку это серьезно ослабило бы маленькую армию, пленных расстреляли.

Теперь предстояло столкнуться с более смертоносным врагом. Уже под Эль-Аришем в дивизии Клебера, прибывшей из Розетты и Дамьетты, было зарегистрировано несколько случаев чумы; и остатки отступающих мамелюкских и турецких войск, по-видимому, также передали эту болезнь в качестве фатального наследия своим преследователям. После Яффы болезнь поразила большинство батальонов армии; и это, возможно, ускорило продвижение Бонапарта к Акко. Несомненно то, что он отверг совет Клебера продвигаться вглубь страны к Наблусу, древнему Сихему, и из этого командного центра доминировать в Палестине и бросить вызов власти Геззара.^[114]



ПЛАН ОСАДЫ АККО, сделанный по эскизу современника

Всегда готовый нанести удар в сердце, главнокомандующий решил двинуться прямо на Акко, где этот печально известный турецкий паша сидел, укрепившись за слабыми стенами и валами ужаса, которые воздвиг вокруг себя его расчетливая свирепость. Со времен крестовых походов этот морской порт был главным местом складирования оружия в Палестине; но теперь гавань была почти заилена, и даже соседний рейд Хайфы пришел в запустение. Крепость была грозна только для выходцев с востока. В своей работе "Руины" Волней заметил об Акко: "Во всей этой части Азии совершенно неизвестны бастионы, линии обороны, крытые пути, валы и, короче говоря, все, что относится к современной фортификации; и один тридцатипушечный фрегат мог бы легко обстрелять все побережье и превратить в руины". Это суждение его бывшего друга, несомненно, вселило в Бонапарта иллюзорную уверенность, и рядовые после успеха при Яффо ожидали легкого триумфа при Акко.

Это, несомненно, произошло бы, если бы не помощь Великобритании. Капитан Миллер с корабля Его превосходительства "Тезей" так доложил о состоянии Акко перед прибытием сэра Сиднея Смита:

- Я обнаружил, что почти все амбразуры пусты, за исключением тех, что обращены к морю. Многолетний сбор грязи города, брошенный в такую ситуацию, что полностью прикрывал подход к воротам от единственных орудий, которые могли обстреливать их с флангов и с моря ... ни у одной из их батарей нет казематов, траверз или защиты от осколков: у них много орудий, но, как правило, маленьких и неисправных - лафеты, как правило, такие." ^[115]

Энергия капитана Миллера исправила некоторые из этих недостатков, но место все еще было прискорбно слабым, когда 15 марта прибыл сэр Сидни Смит. Английская эскадра на востоке Средиземного моря, к огорчению Нельсона, была доверена командованию этого пылкого молодого офицера, которому теперь посчастливилось захватить у мыса Маунт-Кармель семь французских судов с осадным обозом Бонапарта. Это событие оказало решающее влияние на исход осады и всей кампании. Французские пушки были теперь поспешно установлены на тех самых стенах, которые они намеревались проломить; в то время как артиллерийские суда усилили два английских фрегата и были готовы вести поисковый огонь по нападающим в их траншеях или когда они бросятся на стены. Они также были спешно укреплены под руководством французского офицера-роялиста по имени Фелиппо, старого школьного товарища Бонапарта, а позже товарища Сиднея Смита как по его заключению, так и по побегу из лап революционеров. Разделив судьбу предприимчивого молодого моряка, Фелиппо отплыл в Левант и теперь привнес в защиту Акко науку опытного инженера. Храбро поддерживаемый британскими офицерами и моряками, он пытался заделать брешь, проделанную французскими полевыми орудиями, и соорудил в наиболее уязвимых точках внутренние укрепления, перед которыми таяли самые упорные усилия штурмующих сторон. Девять раз нападавшие прорывались через проломы с уверенностью, порожденной неизменным успехом и удвоенной взглядом своего великого командира; но так же часто они были отброшены назад упрямой храбростью британских моряков и турок.

Однажды монотонность была нарушена странным происшествием. Говорят, что в ходе переписки с Бонапартом сэр Сидни Смит выразил свое раздражение, послав ему вызов на дуэль. На это последовал очень правильный ответ, что он будет сражаться, если англичане пришлют *"Мальборо"*.

Во время этих отчаянных конфликтов Бонапарт направил значительное количество войск вглубь страны, чтобы отбить крупные силы турок и мамелюков, предназначавшиеся для освобождения Акко и вторжения в Египет. Первое столкновение произошло близ Назарета, где Жюно продемонстрировал решительность и находчивость, которые принесли ему славу в Италии; но решающее сражение произошло на равнине Эсдраэлон, недалеко от подножия горы Фавор. Там дивизия Клебера численностью в 2000 человек в течение нескольких часов подвергалась сильному натиску разношерстной конницы и пехоты, собранной из разных частей владений султана. Героизм дородного эльзасца и стойкость его людей едва сдерживали яростные атаки мусульманской конницы и пехоты. Наконец раздались выстрелы пушек Бонапарта. Главнокомандующий, быстро продвигаясь вперед со своими войсками, построенными в три каре, быстро рассеял окутывающие их тучи выходцев с Востока; наконец, хорошо объединенными усилиями французы отбросили врага на перевалах, некоторые из которых были

захвачены благодаря предвидению командующего. К концу этого памятного дня (15 апреля) армия численностью почти в 30 000 человек была полностью разбита и рассеяна благодаря доблести и умелой диспозиции двух дивизий, которые вместе составляли менее седьмой части этого числа. Ни одно сражение современности так не напоминает подвиги Александра, как эта виртуозная концентрация сил; и, возможно, какое-то воспоминание об этом послужило причиной слов Клебера: "Генерал, как вы велики!" - когда он встретил и обнял своего командира на поле боя. Бонапарт и его штаб провели ночь в Назаретском монастыре; и когда его офицеры расхохотались над историей, рассказанной приором о том, как ангел Гавриил сломал колонну во время Благовещения, их несвоевременное легкомыслие было быстро пресечено нахмуренным взглядом командующего.

Триумф, казалось, заставил ливанских христиан вступить в союз с Бонапартом, и они тайно договорились предоставить 12 000 солдат за его счет; но этот вопрос в конечном счете зависел от осады Акко. Присоединившись к своим товарищам перед Акко, победители обнаружили, что осада продвинулась незначительно: какое-то время осаждающие полагались на горные работы, но без особого успеха; хотя Фелиппо скончался от солнечного удара (1 мая), его место занял полковник Дуглас, который сорвал усилия французских инженеров и позволил крепости продержаться до прихода долгожданной турецкой помощи. 7 мая их паруса были видны далеко в почти безветренном море. Бонапарт сразу же предпринял отчаянные попытки взять "грязевую дыру" штурмом. Ведомые с безрассудной храбростью героическим Ланном, его войска овладели частью стены и водрузили триколор на северо-восточной башне; но все дальнейшее продвижение было остановлено английскими "синими мундирами", которых commodore направил в город; и турецкое подкрепление, переброшенное на сушу попутным бризом, было высажено как раз вовремя, чтобы вырвать крепостной вал из рук нападавших. На следующий день снова была предпринята попытка штурма: с английских кораблей было хорошо видно, как Бонапарт на кургане Ричарда Львиного сердца подстегивал французов; но хотя под предводительством Ланна они проникли в сад сераля Геззара, они грудami падали под пулями, пиками и ятаганами защитников, и лишь немногие вернулись живыми в лагерь. Сам Ланн был опасно ранен и спасся только благодаря преданности офицера.

Теперь обе стороны были измотаны этой экстраординарной осадой. "Этот город не является и никогда не был защищаем в соответствии с правилами искусства; но в соответствии со всеми другими правилами он должен быть защищен", — так написал сэр Сидни Смит Нельсону 9 мая. Но против осаждающих работало негативное влияние; по мере приближения сезона они все больше и больше поддавались разрушительному воздействию чумы; и после очередной неудачи 10 мая многие из их батальонов отказались продвигаться к бреши по гниющим останкам своих товарищей. Наконец, Бонапарт, с отчаянным упорством продолжавший свое предприятие, в ночь на 20 мая отдал приказ отступить.

Эта девятидневная осада стоила ему серьезных потерь, среди которых были генералы Каффарелли и Бон; но хуже всего была потеря репутации непобедимого, которой он до сих пор пользовался. Его поражение при Кальдиеро, близ Вероны, в 1796 году было официально расценено как победа, но Акко нельзя было назвать иначе, как обратным ходом. Напрасно командующий и его штаб заявляли, что после разгрома турок у горы Табор захват Акко был излишним; его отчаянные усилия в начале мая показали пустоту его слов. Правда, для его отступления были веские причины. Он только что услышал о начале войны Второй коалиции против Франции; восстания в Египте также требовали его присутствия. ^[116] Но эти последние

события послужили осуждающим комментарием ко всему его сирийскому предприятию, которое привело к опасному рассредоточению французских сил. И ради чего? Ради завоевания Константинополя или Индии? Эта мечта, похоже, преследовала мозг Бонапарта вплоть до окончания осады Акко. Во время осады и позже было слышно, как он проклинал "жалкую маленькую дыру", которая встала между ним и его судьбой — Восточной империей; и вполне возможно, что идеи, которые он поначалу выдвигал, чтобы ослепить своих товарищей, в конце концов овладели всем его существом. Конечно, только что процитированные слова свидетельствуют о совершенно ненормальном своеволии, а также о чрезвычайно субъективном представлении о фатализме. Его "судьба" должна была быть намечена его собственным предвидением, решена его собственной волей, охвачена его собственными силами. Такой фатализм не имел ничего общего с мрачным вероучением Востока: это был просто избыток индивидуализма: это было зрелое выражение той черты его характера, которая странным образом доминировала даже в детстве: *то, чего он хотел, он должен был обязательно иметь*. Как странно, что это властное упрямство, эта сублимация западной силы воли не были укрощены даже всепобеждающей мощью Природы Востока!

Что касается Восточной империи, то объявленная враждебность племен вокруг Наблуса показала, насколько тщетными были усилия Бонапарта привлечь на свою сторону мусульман: а его более ранние мусульманские воззвания были умело распространены сэром Сидни Смитом среди христиан Сирии и частично послужили нейтрализации усилий, которые Бонапарт прилагал, чтобы привлечь их на свою сторону.^[117] Действительно, тщетными были попытки примирить мусульман в Египте, а в Сирии - настроить христиан против Повелителя Правовверных. Такой религиозный оппортунизм отдавал парижскими бульварами: он полностью игнорировал стойкость веры Востока, где символ веры - это сама жизнь. Результат всего этого *изящества* был очевиден в последние дни осады и во время отступления к Яффе, когда племена Ливана и округа Наблюс, подобно стервятникам, наблюдали с холмов и набросились на отступающие колонны. Боль разочарования, добавленная к его сочувствию к больным и раненым, однажды не выдержала нервов Бонапарта. Приказав всем всадникам спешиться, чтобы было достаточно транспорта для больных и увечных, конюший спросил командира, какую лошадь он оставляет для своего личного пользования. "Разве вы не слышали приказ, - возразил он, ударив мужчину кнутом, - всем идти пешком". Редко этот великий человек омрачал благородный поступок грубым обращением: этот инцидент в достаточной степени показывает напряженность чувств, всегда острых, а теперь переутомленных физическими страданиями и душевным разочарованием.

Его действительно многое выводило из себя. При Акко он потерял почти 5000 человек убитыми, ранеными и пораженными чумой, хотя он ложно сообщил Директории, что его потери за всю экспедицию не превысили 1500 человек: и во время ужасного отступления к Яффе он был потрясен не только случайными самоубийствами солдат в его присутствии, но и крайней черствостью офицеров и рядовых к заявлениям больных и раненых. В качестве упрека этой бесчеловечности он приказал всем идти пешком, и его власть, кажется, даже была задействована для предотвращения некоторых попыток отравления больных чумой. Рассказ Ж. Мио, армейского комиссара, показывает, что эти предположения возникли среди солдат в Акко, когда им угрожала тяжелая работа по транспортировке этих несчастных обратно в Египет; и, поскольку его показания в целом враждебны Бонапарту, и он упоминает ту же ужасную уловку, когда говорит о госпиталях в Яффе, как о лагерном слухе, это едва ли заслуживает доверия.^[118]

Несомненно, сцены в Яффо были душераздирающими; и обычно считалось, что жертвы чумы тут же избавлялись от своих страданий с помощью больших доз опиума. Конечно, госпитали были переполнены ранеными и жертвами чумы, но во время семидневной остановки в этом городе главными врачами Десженеттом и Ларреем были приняты соответствующие меры для их транспортировки в Египет. Более тысячи человек были отправлены на кораблях, семь из которых, к счастью, нашлись; и 800 были доставлены в Египет на телегах или носилках через пустыню.^[119] Еще одного факта достаточно, чтобы опровергнуть клевету, упомянутую выше. Из депеши сэра Сиднея Смита Нельсону от 30 мая 1799 года явствует, что, когда английский коммодор причалил к Яффо, он обнаружил, что некоторые из брошенных *еще живы*: "Мы нашли семерых бедняг в госпитале и позаботимся о них". Он также снабдил французские корабли, перевозившие раненых, водой, провизией и припасами, в которых они очень нуждались, и позволил им проследовать к месту назначения. Это правда, что свидетельства о случаях *Las* на острове Святой Елены, охотно приводимые Ланфреем, кажется, показывают, что некоторые из самых тяжелых случаев в госпиталях Яффо были вылечены с помощью опиума; но признание Наполеоном того, что применение опиума было оправдано, произошло в ходе одной из тех казуистических дискуссий, которые основываются не на фактах, а на мотивах. Выводы, сделанные из таких бесед спустя шестнадцать или более лет после предполагаемого происшествия, в любом случае должны быть подтверждены свидетельствами современников, которые доказывают, что о больных и раненых заботились как можно тщательнее, что предложения об отравлении сначала исходили от солдат, что Наполеон и до, и после Яффы подал благородный пример пешего марша, чтобы было достаточно транспорта, что почти все несчастные прибыли в Египет в хорошем состоянии и что семеро выживших были найдены живыми в Яффе английскими офицерами.^[120]

Об остальных эпизодах Восточной экспедиции можно вкратце умолчать. После мучительного марша по пустыне армия вернулась в Египет в июне; и 25 июля под предводительством Мюрата и Ланна сбросила в море крупные силы турок, которые высадились в Абукирском заливе. Теперь Бонапарт устал одерживать победы над врагами, которых он и его солдаты презирали. Находясь в таком состоянии духа, он получил от сэра Сиднея Смита пачку английских и немецких газет с новостями за период до 6 июня, что быстро привело его к решению. Формирование могущественной коалиции, потеря Италии, поражения на Рейне и расколы, отвращение и отчаяние, царящие во Франции, — все это уводило его воображение на запад от иллюзорного Востока; и он решил оставить свою армию на попечение Клебера и отплыть во Францию.

Моральность этого шага активно обсуждалась. Рядовой состав армии, похоже, расценил это как нечто меньшее, чем дезертирство,^[121] и преобладание личных мотивов в этом важном решении вряд ли можно отрицать. Его личная цель при осуществлении Восточной экспедиции - поразить воображение французского народа и продемонстрировать неспособность Директории - была полностью реализована. Его восточное предприятие теперь сократилось до практических и прозаических размеров, а именно до укрепления французской власти в Египте. Тем не менее, как будет показано в последующих главах, он не отказался от своих восточных планов; хотя на острове Святой Елены он однажды странно отозвался о египетской экспедиции как об "исчерпавшем себя предприятии", ясно, что он упорно трудился, чтобы сохранить свою колонию. Карьера Александра имела для него очарование, с которым не могли соперничать даже завоевания цезаря; и было слышно, как на пике своих европейских триумфов герой Аустерлица бормотал: "Я человек, которому сопутствует удача, а Сен-Жан д'Акр".^[122]

В оправдание его внезапного возвращения можно сослаться на то, что он не раз обещал Директории, что его пребывание в Египте не превысит пяти месяцев; и не может быть сомнений в том, что теперь, как всегда, у него был альтернативный план на случай неудачи или неполного успеха на Востоке. К этой альтернативе он теперь обратился с той быстротой и изобретательностью, которые поражали как друзей, так и врагов в бесчисленных битвах и во время многих политических кризисов.

Ланфри заявил, что назначение Клебера его преемником было продиктовано политической и личной неприязнью; но более естественно считать это данью уважения его способностям как генерала и его влиянию на солдат, которое уступало лишь влиянию Бонапарта и Дезэ. Он также пообещал прислать ему скорую помощь; и поскольку, по-видимому, существовала вероятность восстановления Францией своего военно-морского господства в Средиземном море путем объединения флота Брюи с флотом Испании, он вполне мог надеяться прислать достаточное подкрепление. Вероятно, он не знал действительных обстоятельств дела, того, что в июле Брюи покорно последовал за испанской эскадрой в Кадис и что Директория приказала Брюи вывести французскую армию из Египта. Но, исходя из известных ему фактов, Бонапарт вполне мог полагать, что трудности Франции будут полностью преодолены его собственным возвращением и что Египет можно будет удержать с легкостью. Долг великого полководца - находиться на самом опасном посту, и это было сейчас на берегах Рейна или Минчо.

Усиление юго-восточного ветра, редкое явление в это время года, побудило его поспешно отплыть в Александрию в ночь с 22 на 23 августа. На двух его фрегатах были одни из величайших сынов Франции; его начальник штаба Бертье, чья горячая любовь к мадам Висконти была подавлена его неохотной решимостью разделить судьбу своего шефа; Ланн и Мюрат, оба недавно раненые, но покрытые славой своими подвигами в Сирии и при Абукире; его друг Мармон, а также Дюрок, Андреосси, Бессьер, Лавалетт, адмиралы Гантеом, Монж и Бертолле, его секретарь Буррьен и другие. путешественник Денон. Он также отдал приказ о том, чтобы Дезэ, который отвечал за Верхний Египет, вскоре вернулся во Францию, чтобы соперничество между ним и Клебером не отвлекало французские советы в Египте. Кажется, мало оснований для утверждения, что он отобрал для возвращения своих фаворитов и людей, которые могли бы быть ему политически полезны. Если он оставил позади яркого республиканца Клебера, он также оставил своего старого друга Жюно: если он вернул Бертье и Мармона, он также приказал вернуть почти якобинского Дезе. Сэр Сидней Смит отправился на Кипр для ремонта, и Бонапарт беспрепятственно выскользнул оттуда. По счастливой случайности его фрегаты ускользнули от английских кораблей, курсировавших между Мальтой и мысом Бон, и после кратковременного пребывания в Аяччо он и его товарищи высадились во Фрежюсе (9 октября). Энтузиазм людей был так велик, что, несмотря на все карантинные правила, они сопровождали группу на берег. "Мы предпочитаем чуму австрийцам", - восклицали они, и это чувство лишь слабо выражало волнение Франции при возвращении Завоевателя Востока.

И все же он не обрел семейного счастья. *Связь* Жозефины с молодым офицером месье Шарлем приобрела дурную славу из-за его длительных визитов в ее загородный дом Ла Мальмезон. Встревоженная возвращением мужа, она поспешила ему навстречу, но по дороге разминулась с ним; в то время как он, обнаружив свой дом в Париже пустым, пришел в ярость из-за ее неверности, отказался видеться с ней по возвращении и заявил, что разведется с ней. От этого его отвратили молитвы Эжена и Гортензии Богарне и слезы самой Жозефины. Примирение состоялось, но воссоединения сердец не было, и мадам Дж. Рейнхард повторил чувства

респектабельного общества, когда она написала, что ему следовало немедленно развестись с ней. С тех пор он жил только ради Славы.

ГЛАВА X

БРЮМЕР

Франция редко бывала в более смятенном состоянии, чем летом 1799 года. Восстания роялистов на западе и юге нарушают жизнь страны. Религиозный раскол был неизлечим; образование зашло в тупик; торговля была вытеснена с морей британскими флотами; а торговля с Италией и Германией была прервана войной Второй коалиции.

Создание этого союза между Россией, Австрией, Англией, Неаполем, Португалией и Турцией было в основном результатом тревоги и возмущения, вызванных безрассудным поведением Директории, которая свергла бурбонов в Неаполе, установила Парthenопейскую республику и вынудила короля Сардинии отречься в Турине от престола и удалиться на свой остров. Россия и Австрия приняли ведущее участие в формировании Коалиции. Великобритания, которой всегда мешала ее неумелая организация армии, предложила предоставить деньги взамен войск, которые она не могла должным образом оснастить.

Но под покровом законности монархические власти вынашивали свои собственные эгоистичные замыслы. Эта маскировка Несса Первой коалиции вскоре натерла конечности союзников и сделала их неспособными к длительным и энергичным действиям. Тем не менее, они добились значительных успехов над необученными призывниками Франции. В июле 1799 года австро-русская армия захватила Мантую и Алессандрию, а в следующем месяце Суворов одержал решающую победу при Нови и отбросил остатки французских войск к Генуе. Следующие месяцы были гораздо более благоприятными для трехцветного флага, поскольку из-за австро-русской зависти Массена смог одержать важную победу при Цюрихе над русской армией. На севере республиканцы также в итоге добились успеха. Через десять дней после прибытия Бонапарта во Фрежус они вынудили англо-русские войска, действовавшие в Голландии, к капитуляции Алкмара, в результате чего герцог Йоркский согласился вывести все свои войска с этого побережья. Возмущенный поведением своих союзников, царь Павел

отозвал свои войска от любого активного участия в сухопутных операциях, с этого момента сосредоточив свои усилия на приобретении Корсики, Мальты и выгодных позиций в Адриатике. Эти планы, которые были хорошо известны британскому правительству, служили для того, чтобы ослабить нашу военно-морскую мощь в этих морях и сковать действия австрийского оружия в Северной Италии. ^[123]

И все же, хотя расколы союзников в конце концов принесли победу французам в кампании 1799 года, положение Республики было шатким. Опасность была скорее внутренней, чем внешней. Оно возникло из-за стесненных финансовых условий, из-за гражданской войны, которая с новой силой разразилась на северо-западе, и, прежде всего, из-за ощущения крайней трудности достижения политической стабильности и примирения свободы с порядком. Борьба между исполнительной и законодательной властями, которая была грубо урегулирована в результате *государственного переворота* Фруктидора, была отложена, а не разрешена. Последовавшее за этим якобинское насилие быстро взбудоражило общественное мнение. Подавление свободы прессы и ограничение права на публичные собрания послужили лишь для того, чтобы придать новую энергию партии сопротивления в выборных советах и подорвать республиканское правительство, которое полагалось на венецианские методы правления. Анализируя события тех дней, мадам де Сталь тонко заметила, что только свободное согласие народа могло вдохнуть жизнь в политические институты; и что чудовищная система гарантирования свободы деспотическими средствами служила лишь для создания правительств, которые приходилось периодически ликвидировать, чтобы они не остановились насмерть. ^[124] Такой сарказм, исходящий от одаренной леди, которая помогла и подстрекала к инсульту Фруктидора, показывает, насколько это событие опровергло надежды самых искренних друзей Революции. Таким образом, события теперь благоприятствовали возвращению от методов Руссо к методам Ришелье; и гений, который искусно приспособил республиканизм к автократии, теперь был рядом. Хотя Бонапарт хотел немедленно напасть на австрийцев в Северной Италии, все же верный инстинкт побудил его остаться в Париже, ибо, как он сказал Мармону: "Когда дом рушится, не пора ли заняться садом? Перемены здесь необходимы".

Внезапный приход Бонапарта к верховной власти невозможно понять без некоторой ссылки на состояние французской политики в месяцы, предшествовавшие его возвращению во Францию. Положение партий странным образом осложнялось непопулярностью Директоров. Несмотря на их незаконные уловки, выборы 1798 и 1799 годов для обновления третьей части законодательных советов заметно укрепили ряды антидиректоров. Среди оппозиции были некоторые роялисты, большое количество конституционалистов, будь то типа Фейяна или жирондистов, и многие депутаты, которые либо превозносили имя якобинцев, либо скрывали свои передовые взгляды под удобным названием "патриоты". Многие депутаты были молоды, впечатлительны и, вероятно, последовали бы за любым способным лидером, который пообещал бы излечить расколы в стране. Фактически, старые партийные линии стирались. Поборники конституции 1795 года (III год) не видели лучшего средства защитить ее, чем нарушить избирательные свободы — всегда во имя священной Свободы; и Директория, заявляя, что поддерживает равновесие между крайними партиями, подавляла их поочередно с такой энергией, которая сделала их популярность и официальную умеренность ненавистными.

В этой всеобщей растерянности и апатии остро бросалась в глаза нехватка государственных деятелей. Только истинное величие характера может противостоять иссушающему влиянию

эпохи крушения иллюзий, и Франции какое-то время приходилось полагаться на Сийеса. Пожалуй, ни один человек не заработал репутацию политического деятеля на столь незначительных выступлениях, как аббат Сийес. В Генеральных штатах 1789 года он быстро приобрел славу прорицателя благодаря краткости и остроумию своих выступлений в собрании, где такие добродетели были редкостью. Но ход Революции вскоре показал бесплодие его ума и робость его характера. Поэтому он не смог оказать сколько-нибудь длительного влияния на события. Во времена Террора его ничтожество было его убежищем. Его остроумный ответ на вопрос о том, как он тогда жил, — "Да здравствует он" — достаточно характеризует этого человека. В период правления он проявлял большую активность. Его отправили послом Франции в Берлин, и он превозносил себя за то, что убедил этот двор придерживаться нейтралитета, благоприятного для Франции. Но ясно, что нейтралитет Пруссии был результатом эгоистических соображений. В то время как Австрия испытывала опасности войны, ее северная соперница экономила свои ресурсы, укрепляла свои позиции защитницы Северной Германии и ловко стремилась привлечь туманность среднегерманских государств в свою сферу влияния. От своей задачи изменить баланс сил, который уже был решен, Сийес был отозван в Париж в мае 1799 года из-за известия о его избрании на место в Директории, освобожденное Ребеллом. Другие директора пытались, но тщетно, помешать его избранию: они хорошо знали, что этот непрактичный теоретик быстро парализует правительство; ибо, будучи ранее избранным директором в 1795 году, он отказался служить на том основании, что конституция была совершенно плохой. Теперь он заявил о своей враждебности Директории и огляделся в поисках какого-нибудь покладистого военачальника, который стал бы его орудием, а затем был бы изгнан. Его первый избранник, Жубер, был убит в битве при Нови. На Моро, по-видимому, тогда смотрели благосклонно; он был республиканцем, способным вести войну и на редкость лишенным навыков или амбиций в политических вопросах. Опираясь на Моро, Сийес продолжил свои интриги и после некоторого предварительного фехтования перетянул на свою сторону режиссера Барраса. Но если мы можем верить утверждениям роялиста Хайда де Невиля, Баррас также получал авансы от роялистов с целью реставрации Людовика XVIII, событие, которое тогда было вполне в пределах вероятности. На данный момент, однако, Баррас одобрял планы Сийеса и помог ему избавиться от твердо республиканских директоров La Réveillière-Léreaux и Merlin, которые были свергнуты (30-е Прериала). ^[125]

Новыми директорами были Гойе, Роже Дюко и Мулен; первый - пожилой респектабельный адвокат; второй - жирондист по ранним связям, но триммер по инстинкту, и поэтому Сийес легко завоевал его расположение; в то время как рекомендацией третьего, Мулена, по-видимому, были его политическое ничтожество и некоторые третьеразрядные военные заслуги в Вандейской войне. И все же директория Прериала не была лишена неистовой энергии, которая послужила тому, чтобы отбросить захватчиков Франции. Бернадотт, пылкий гасконец, примечательный своим пылким взглядом, густой копной угольно-черных волос и примесью мавританской крови, которая всегда вызывала почтительные опасения у Бонапарта, был военным министром и быстро сформировал новую армию численностью в 100 000 человек: Линдет взялся восстановить финансы с помощью прогрессивных налогов: движение шуанов в северных и западных департаментах было подавлено законом, легализующим захват заложников; и появилась некоторая надежда, что Франция остановит волну вторжения, сохранит свои "естественные границы". " и вернуться к нормальным методам правления.

Таково было положение дел, когда прибытие Бонапарта вселило во Францию радость, а в Директорию - плохо скрываемый ужас. Как в 1795 году, так и теперь, в 1799 году, он появился в

Париже, когда французская политическая жизнь находилась в переходном периоде. Если когда-либо звезда Наполеона сияла благоприятно, то это было в те месяцы, когда он прокладывал свой путь между крейсерами Нельсона и пробирался сквозь лабиринт интриг Сийеса. Философскому "J'ai vécu" он мог бы противопоставить сокрушительный ответ "J'ai vaincu".

Генерал, встретившись с мыслителем в доме Гойе, старательно игнорировал его. По правде говоря, сначала он был склонен изгнать и Сийеса, и Барраса из Директории. Последний из этих людей был ему ненавистен как по личным, так и по общественным причинам. В прошлом у него были веские причины подозревать Джозефину в отношениях со сладострастным Режиссером и с мужчинами, с которыми она встречалась в его доме. Во время египетской кампании его ревность яростно разгорелась в другой стороне и, как мы видели, привела к почти открытому разрыву с женой. Но в отношении Барраса он все еще питал сильные подозрения; и частота его визитов в дом Директора после возвращения из Египта, несомненно, была вызвана его желанием проникнуть в глубину его личной и общественной безнравственности. Если мы можем поверить *"Смущению мужчин"*, получившему название "Мемуары" Барраса, Жозефина однажды сбежала в его дом и бросилась к нему на колени, умоляя забрать ее у мужа; но история подбивается моралью, к которой неуклюже привязывается рассказчик, относительно доброго совета, который он дал ей.^[126] Хотя Бонапарт, похоже, не нашел оснований подозревать Барраса на этот счет, он все же обнаружил его интриги с различными недовольными; и он увидел, что Баррас, поддерживая баланс сил в Директории между противостоящими парами коллег, интриговал, чтобы получить максимально возможную цену за предательство Директории и конституции 1795 года.

К Сийесу генерал испытывал неприязнь, но и уважение. Вскоре он увидел преимущество союза с таким образованным мыслителем, таким искусным интриганом и таким слабым человеком. Это было действительно необходимо, ибо после тщетных попыток добиться от Гойе изменения закона, исключавшего из состава Директории мужчин моложе сорока лет, генералу понадобился союз Сийеса для свержения конституции. За короткий промежуток времени он собрал вокруг себя недовольных, которых частые кризисы лишали должности, - Редерера, адмирала Брюи, Реаля, Камбасереса и, прежде всего, Талейрана. У последнего, уже известного своими дипломатическими способностями, были особые причины одобрять союз Бонапарта и Сийеса: он был уволен из Министерства иностранных дел в июле прошлого года, потому что в его руках он оказался слишком выгодным для владельца и слишком дорогим для Франции. Ни для кого не было секретом, что, когда незадолго до этого американские уполномоченные прибыли в Париж для урегулирования различных споров между двумя странами, они обнаружили, что переговоры не продвинутся вперед до тех пор, пока 250 000 долларов не перейдут из рук в руки. Результатом было то, что военные действия продолжались, и вскоре Талейран оказался лишенным должности до тех пор, пока очередной поворот революционного калейдоскопа не вернет его на желанное место.^[127] Он разглядел в комбинации Бонапарт-Сийес силу, которая придавала бы необходимый крен теперь, когда Моро отказался от политики.

Армия и большинство генералов также были готовы к некоторым переменам, только Бернадотт и Журден отказались прислушиваться к новым предложениям; и первый из них поступил "достаточно неучтиво", чтобы присоединиться к Бонапарту во время боевых действий. Полиция была обеспечена благодаря этому ловкому приспособленцу, цареубийце Фуше, который теперь ополчился против тех самых людей, которые недавно назначили его на этот пост. Чувствуя

уверенность в солдатах и полиции, новаторы назначили 18 Брюмера датой начала своего предприятия. В домах заговорщиков проводилось множество совещаний; и один из немногих ярких штрихов, которые смягчают унылые тона "Мемуаров" Талейрана, показывает сознание этими людьми того, что они были заговорщиками. Поздно ночью в центре Брюмера Бонапарт пришел в дом Талейрана, чтобы обсудить детали *государственного переворота*, когда шум останавливающихся снаружи экипажей заставил их побледнеть от страха, что их планы были раскрыты. Дипломат немедленно погасил свет и поспешил на балкон, когда обнаружил, что их испуг был вызван всего лишь несчастным случаем с экипажами гуляк и игроков, возвращавшихся из Пале-Рояля, которые охранялись жандармами. Инцидент закончился смехом и шутками; но он иллюстрирует напряжение нервов политических игроков, а также умственную слабость Бонапарта, столкнувшегося с какой-то неизвестной опасностью. Возможно, это было единственным слабым местом в его интеллектуальной броне, но это обнаруживалось на определенных переломных этапах его карьеры.

Тем временем в законодательных советах царило чувство смутного беспокойства. Старики в целом были враждебны Директории, но в Совете Пятисот демократический пыл молодых депутатов предвещал ожесточенную оппозицию. Однако и там заговорщики нашли много сторонников, которые последовали примеру, теперь уже осторожно данному Люсьеном Бонапартом. Этот молодой человек, чьи пылкие речи показали его как безупречного патриота, был теперь президентом этого Совета. Никакое событие не могло быть более благоприятным для заговорщиков. С Сийесом, Баррасом и Дюко как предателями в Директории, с благосклонными Стариками и младшими депутатами под председательством Люсьена заговор казался уверенным в успехе.

Первый важный шаг был сделан Советом Древних, который постановил перенести заседания Советов в Сент-Клу. Опасность якобинского заговора была выдвинута в качестве аргумента в пользу этого предложения, которое было объявлено принятым без ведома ни Директории в целом, ни Пятисот человек, чья оппозиция была бы яростной. Затем Древние назначили Бонапарта командовать вооруженными силами в Париже и его окрестностях. Следующим шагом было добиться отречения Гойе и Мулена. Стремясь заманить Гойе в ловушку, тогдашнего президента Директории, Жозефина пригласила его на завтрак утром 18 Брюмера; но Гойе, подозревая ловушку, остался в своей официальной резиденции, Люксембургском дворце. Тем не менее Директория была обречена, поскольку у двух защитников этого института не было необходимого кворума для приведения в исполнение своих декретов. После этого Мулен сбежал, а Гойе был взят под стражу — солдатами Моро!^[128]

Тем временем Бонапарт в сопровождении блестящей группы генералов направился в Тюильри, где заседали Старейшины; и, произнеся многословную речь, он уклонился от принесения присяги конституции, требуемой от генерала при вступлении в новое командование. В Совете Пятисот Люсьен Бонапарт пресек нетерпеливые вопросы и ропот под предлогом того, что заседание было законным только в Сен-Клу.

Там, на следующий день (19 Брюмера или 10 ноября), должен был быть нанесен гораздо более серьезный удар. Свержение Директории было предрешено. Но с Законодательным собранием дело обстояло совсем иначе, поскольку его жизнь по-прежнему была цельной и энергичной. И все же, ампутируя умирающую конечность, заговорщики не постеснялись парализовать мозг политического тела.

Несмотря на приверженность большинства Древних к его планам, Бонапарт, появившись перед ними, смог произнести лишь ряд коротких, отрывистых фраз, которые скорее отдавали казармой, чем сенатом. Удаляясь в некотором замешательстве, он вновь обретает присутствие духа среди солдат снаружи и входит в зал Пятисот, намереваясь запугать их не только угрозами, но и вооруженной силой. При виде полицейских в форме у дверей загорается республиканский энтузиазм молодых депутатов. Они яростно нападают на него с криками "Долой тирана! долой диктатора! объявите его вне закона!" Тщетно Люсьен Бонапарт требует порядка. Несколько депутатов бросаются к генералу и яростно трясут его за воротник. Он теряет сознание от волнения и досады, но Лефевр и несколько подбежавших гренадеров тащат его из зала. Он выходит, как сомнамбула (говорит очевидец), преследуемый ужасным криком: "Hors la loi!" Если бы эти крики сразу же приняли форму указа, мировая история могла бы сложиться иначе. Один из депутатов, генерал Ожеро, яростно требует, чтобы предложение о введении запрета было поставлено на голосование. Люсьен Бонапарт отказывается, протестует, плачет, наконец сбрасывает свою официальную мантию и спасается от разъяренных депутатов гренадерами, которых заговорщики посылают для этой цели. Тем временем Бонапарт и его друзья спешно совещались, когда один из них принес известие, что депутаты объявили генерала вне закона. От этой новости кровь отхлынула от его щек, пока Сийес, чье *хладнокровие* не покинуло его в этих гражданских разборках, не воскликнул: "Раз они объявили вас вне закона, они и есть вне закона". Эта революционная логика напоминает Бонапарта самому себе. Он кричит: "К оружию!" Люсьен тоже садится на лошадь и обращается к солдатам с призывом освободить Совет от угроз некоторых депутатов, вооруженных кинжалами и находящихся на жалованье Англии, которые терроризируют большинство. Крики команды, подкрепленные ловким упоминанием кинжалов и английского золота, заставляют войска поколебаться в исполнении своего долга; и Люсьен, используя свое преимущество до предела, обнажает шпагу и, направив ее на своего брата, восклицает, что заколет его, если он когда-либо попытается что-либо предпринять против свободы. Мюрат, Леклерк и другие генералы подкрепляют этот мелодраматический призыв криками в честь Бонапарта, которые взволнованно подхватывают войска. Барабаны объявляют наступление, и войска немедленно входят в зал. Напрасно депутаты поднимают крик "Да здравствует Республика!" и ссылаются на конституцию. Призывы к закону заглушаются барабанным боем и криками в защиту Бонапарта, и французские законодатели врассыпную выбегают из зала через двери и окна. ^[129]

Так исполнилось пророчество, которое восемью годами ранее высказал Берк в своем бессмертном труде о Французской революции. Этот великий мыслитель предсказал, что свобода Франции станет жертвой первого великого полководца, который привлек к себе внимание всех людей. "В тот момент, когда произойдет это событие, человек, который действительно командует армией, будет вашим хозяином, хозяином вашего короля, хозяином вашего Собория, хозяином всей вашей республики".

Дискуссии о *государственном перевороте* Брюмера обычно запутывают суть рассматриваемого вопроса, игнорируя разницу между свержением Директории и Законодательного органа. Крах Директории был неизбежен; но мало кто ожидал, что Законодательный орган Франции также исчезнет. Ибо он исчез: почти полвека во Франции не было другого свободного и по-настоящему демократического представительного собрания. Этот результат Брюмера был неожиданным для нескольких людей, которые планировали свержение непопулярных директоров и надеялись пресечь якобинские или роялистские замыслы. Действительно, ни одно событие в истории Франции не является более удивительным,

чем разгон депутатов-республиканцев, большинство из которых желали смены *персонала*, но не революции в методах правления. Еще несколько дней назад Население и солдаты поддерживали Советы; войска в Сен-Клу были верны конституции и уважали личность депутатов, пока Люсьен не ввел их в заблуждение. В течение нескольких минут судьба Франции колебалась на волоске, и заговорщики знали это. ^[130] Бонапарт признался в этом своими бессвязными вздохами; У Сийеса была готова к бегству карета с шестеркой лошадей; ужасный крик "Hors la loi!", если бы он был поднят против Бонапарта в центре Парижа, несомненно, привел бы население в ярость во имя свободы и привел бы заговорщиков к гильотине. Но как бы то ни было, дело было решено в уединении Сен-Клу Люсьеном и батальоном солдат.

Часто предпринимались попытки представить события Брюмера как неизбежные и согласовать их с мнимой философией истории. Но невозможно внимательно изучить их, не заметив, насколько узкой была грань между успехом и провалом заговора и насколько зазубренной была грань дела, которое философы пытаются подогнать под свои симметричные объяснения. По правде говоря, ни одно событие мировой важности никогда не решалось столь незначительными обстоятельствами. "От триумфа до падения всего один шаг. Я видел, что в величайших делах мелочь всегда решает важные события" — так писал Бонапарт за три года до своего триумфа при Сен-Клу: он мог бы написать это об этом событии. Столь же сомнительно, можно ли рассматривать это как спасение Франции от анархии. Его поклонники, это правда, стремились изобразить Францию растоптанной захватчиками, разрушенной анархией и спасенной только ударом Брюмера. Но она уже торжествовала: вполне возможно, что она мирно разрешит свои правительственные трудности: они, конечно, были не больше, чем в 1797 году и после него: Фуше закрыл клуб якобинцев; советы восстановили свое законное влияние и, если бы не заговорщики Брюмера, могли бы вернуться к обычному управлению по типу 1795-17 годов. Это был настоящий удар: мощный ствол, Законодательная власть, была повержена вместе с увядающей Директорской ветвью.

Друзья свободы вполне могли бы прийти в ужас, увидев, как покорно Франция приняла этот поразительный удар. Естественно, поначалу следовало сделать некоторую скидку на народную апатию: якобинцы, уже обескураженные прошлыми репрессиями, были отчасти ошеломлены внезапностью удара, а также не знали о целях людей, которые его нанесли; и пока они ждали, чтобы понять значение событий, власть быстро перешла в руки Бонапарта и его приспешников. Таково объяснение, по крайней мере частично, странной покорности, которую сейчас демонстрирует население, которое все еще хвастается своей лояльностью демократической республике. Но есть и другое объяснение, которое гораздо глубже. Революционные раздоры утомили мозг Франции и приучили его принимать свершившиеся факты. Отвлеченная разговорами о заговорах роялистов и якобинцев, прячущаяся от белого людоеда и красного призрака, наиболее доверчивая часть населения была рада укрыться под плащом великого солдата, который, по крайней мере, обещал порядок. Все говорило в пользу сержантской теории правления. Инстинкты, выработанные тысячелетней монархией, не были искоренены за последнее десятилетие. Теперь они побудили Францию сплотиться вокруг своего способного человека; и, отказавшись от политической свободы как от безнадёжного поиска, она подчинилась властному призыву, который обещал оживить порядок и блеск ее прежнего существования пульсирующей кровью ее новой жизни.

Теперь французская конституция должна была быть восстановлена самозванной комиссией, которая заседала за закрытыми дверями. Это странное завершение всего строительства

конституции за десятилетие произошло благодаря ловкости Люсьена Бонапарта. В конце того богатого событиями дня, 19 Брюмера, он собрал около себя в опустевшем зале Сен-Клу несколько десятков рассеянных депутатов, которые, как известно, были благосклонны к его брату, выступил с речью против якобинцев, чей призрачный заговор оказался столь полезным для настоящих заговорщиков, и предложил этой "Кучке" Совета сформировать комиссию, которая должна была доложить о мерах, которые были сочтены необходимыми для общественной безопасности. Было установлено, что эти меры заключались в низложении Директории, исключении шестидесяти одного члена из Советов, назначении Сийеса, Роже Дюко и Бонапарта временными консулами и переносе заседаний Советов на четыре месяца. Консулы соответственно поселились в Люксембургском дворце, только что освобожденном Директорами, и разработка конституции была поручена им и *временной* комиссии из пятидесяти членов, выбранных поровну от двух Советов.

Незаконность этих устройств была скрыта под маской политического милосердия. В этой комиссии консулы, или, скорее, Бонапарт — ибо его воля вскоре возобладала над волей Сийеса — предложили два наиболее благотворных изменения. Он желал положить конец захвату заложников в деревнях, подозреваемых в роялизме, а также взиманию налогов по прогрессивной шкале, которые преследовали богатых, не принося пропорциональной пользы казне. Эти два средства, принятые Директорией летом 1799 года, были временными мерами, принятыми для сдерживания волны вторжения и подавления восстаний; но они были расценены как признаки постоянной террористической политики, и их устранение значительно укрепило новое консульское правило. Ошибка почти всех революционных правительств заключалась в сохранении суровых законов после того, как необходимость в них перестала быть насущной. Бонапарт с бесконечным тактом распознал эту истину и, как вскоре выяснится, решил основать свое правительство, опираясь на поддержку той огромной нейтральной массы, которая не была ни роялистской, ни якобинской, которая ненавидела жестокость красных не меньше, чем злоупотребления *старого режима*.

В то время как Бонапарт примирял многих, Сийес стремился сформулировать конституцию, которая в течение многих лет туманно витала в его голове. Функцию Сократа [греч. *maieutae*] выполнил Буле де ла Мерт, который с трудом придал этим идеям определенную форму. Новая конституция была основана на принципе: "Доверие приходит снизу, власть - сверху". Это означало, что народ, то есть все взрослые мужчины, допускались только к предварительным этапам выборов депутатов, в то время как окончательный акт отбора должен был производиться более высокими чинами или полномочиями. "Доверие", которое требовалось от людей, должно было проявляться не только по отношению к их кандидатам, но и по отношению к тем, на кого был возложен последний и самый важный акт отбора. Процесс отбора представителей должен был осуществляться по десятичной системе счисления. Взрослые избиратели, собравшиеся в своих нескольких округах, должны были выбрать одну десятую от своего числа, и эта десятая была названа Знаменитостями коммуны. Эти люди, числом около пятисот или шестисот тысяч, собравшись в своих нескольких Департаментах, должны были затем выбрать одну десятую от своего числа; и в результате пятьдесят или шестьдесят тысяч человек, названных Знаменитостями Департаментов, должны были снова назвать одну десятую своего числа, которые были названы Знаменитостями Нации. Но самый важный акт отбора был еще впереди — сверху. Из этого последнего списка руководящие органы должны были выбрать членов законодательных органов, а также главных должностных лиц и слуг правительства.

Исполнительная власть теперь требует краткого уведомления. В плане Сийеса была сохранена избитая теория разделения властей, то есть законодательной и исполнительной. Во главе правительства философ желал возвести на престол августейшую особу, великого курфюрста, который должен был быть избран Сенатом. Этот Великий курфюрст должен был назначить двух консулов, одного для заключения мира, другого для ведения войны; они должны были назначить государственных министров, которые, в свою очередь, выбирали представителей власти из списка знати нации. Два консула и их министры вели исполнительные дела. Сенат, заседавший с достоинством и непринужденностью, должен был просто защищать конституцию, избирать Великого выборщика и отбирать членов *Законодательного* корпуса (собственно) и трибуната.

Недоверие к прежней почти сверхчеловеческой активности в законотворчестве теперь проявилось в разделениях, сдержках и противовесах, весьма изобретательных по своей сложности. Законодательный орган был разделен на три совета: *Законодательный корпус*, собственно так называемый, который молча выслушивал предложения законов, предложенные Государственным советом, и критиковал или устно одобрял трибунат. ^[131] Эти три органа были не только разделены, но и противопоставлены, особенно два говорящих органа, которые напоминали истца и ответчика, выступающих перед судьей с кляпом во рту. Но даже в этом случае конституция не была достаточно защищена от якобинцев или роялистов. Если каким-либо образом опасное предложение проходило через эти взаимно недоверяющие органы, Сенату поручалась задача наложить на него вето, и если Великий курфюрст или любое другое высокопоставленное должностное лицо стремилось установить вечную диктатуру, Сенат должен был немедленно *принять* его в свои ряды.

Более того, чтобы избиратели не выдвинули слишком большую долю якобинцев или роялистов, первый отбор членов больших Советов и главных должностных лиц по местным делам должен был производиться консулами, которые, таким образом, в первую очередь осуществляли не только "власть сверху", но и "доверие", которое должно было исходить снизу. Возможно, этот прием был необходим, чтобы привести в движение систему колес внутри колес Сийеса; поскольку Сенат, который должен был избирать Великого выборщика, которым косвенно должны были быть выбраны исполнительные должностные лица, был частично самодостаточным: консулы назначали первых членов, которые затем кооптировали, то есть выбирали новых членов. Также был необходим какой-то импульс извне, чтобы дать конституции жизнь; и этот импульс должен был сейчас прийти. Там, где у Сийеса были только изобретенные колесики, чеки, регулятор, тормоз и предохранительный клапан, теперь проявилась властная воля, которая не только упростила детали, но и придала им непреодолимую движущую силу.

Сложность большей части механизма, особенно того, что касалось всенародных выборов и законодательной власти, полностью устраивала Бонапарта. Но, одобряя тройной отбор, которому Сийес подверг результаты голосования среди мужчин, и подчинение законодательной власти исполнительной власти, ^[132] генерал выразил полное неодобрение ограничений полномочий Великого выборщика. Название было антиреспубликанским: пусть его изменят на "Первый консул". И в то время как Сийес приговорил своего высокопоставленного чиновника к упокоению *короля фейнана*, Бонапарт закрепил за ним практически все полномочия, предоставленные Сийесом консулам для мира и для войны. Наконец, Бонапарт протестовал против предоставления Сенату права поглощать его. И здесь он

добился успеха; и, таким образом, деликатно уравновешенная бюрократия была превращена в почти неограниченную диктатуру.

Эта метаморфоза вполне может вызвать удивление. Но, по правде говоря, Сийес и его коллеги были слишком утомлены и настроены скептически, чтобы противостоять одному "чрезвычайно практичному человеку". На резкие доводы Бонапарта и язвительный тон теоретик мог ответить только презрительным молчанием, нарушенным несколькими едкими репликами.

Непреодолимой силе генерала он мог противопоставить только хитрость студента. И, действительно, кто может представить себе Бонапарта, величайшего воина эпохи, делегирующего управление всеми военными операциями консулу по военным делам, в то время как австрийские пушки гремели в графстве Ницца, а британские крейсера оскорбляли берега Франции? Было неизбежно, что исполненный спокойствия великий курфюрст превратится во всемогущего Первого консула и что этими полномочиями будет обладать сам Бонапарт. ^[133]

Объем полномочий Первого консула, окончательно установленный совместной комиссией, заключался в следующем. Он имел прямое и единоличное право назначать членов генеральной администрации, членов департаментских и муниципальных советов, а также администраторов, впоследствии называемых префектами и субпрефектами. Он также назначил всех военных и военно-морских офицеров, послов и агентов, направляемых в иностранные державы, и судей по гражданским и уголовным делам, за исключением *судей мира* и, позже, членов *Кассационного суда*. Таким образом, он контролировал армию, флот и дипломатическую службу, а также общую администрацию. Он также подписывал договоры, хотя они могли обсуждаться и должны были быть ратифицированы законодательными органами. Три консула должны были проживать во дворце Тюильри; но, помимо получения 150 000 франков в год и случайных консультаций с Первым консулом, положение этих чиновников было настолько неловким, что Бонапарт откровенно заметил Редереру, что было бы лучше называть их Великими советниками. По правде говоря, они были статистами, приставленными к главе государства в качестве уступки духу равенства и для того, чтобы скрыть реальность нового деспотизма. Все трое должны были быть выбраны на десять лет и были переизбраны.

Таковы общие положения конституции 1799 года (год VIII.). Она была обнародована 15 декабря 1799 года и была предложена народу для принятия в прокламации, которая заканчивалась словами: "Граждане, революция ограничивается принципами, с которых она началась. С этим покончено". Известие об этом последнем факте определило восторженное принятие конституции. В ходе *плебисцита*, или массового народного голосования, проведенного в первые дни 1800 года, он был принят подавляющим большинством, а именно 3 011 007 голосами против всего 1562 отрицательных. Ни один факт с такой убедительностью не доказывает крах абсолютной демократии во Франции; и, что бы ни говорили о методах обеспечения этого национального признания, это было и навсегда должно остаться самым веским из претендентов Бонапарта на власть. Одному педанту, который однажды поинтересовался его генеалогией, он многозначительно ответил: "Она восходит к Брюмеру".

Незадолго до *плебисцита* Сийес и Дюко сложили свои временные полномочия консулов: они были вознаграждены местами в Сенате; а Сийес, учитывая его конституционную работу, получил от нации поместье Кросне.

"Sieyès à Bonaparte a fait present du trône,

Sous un pompeux débris croyant l'ensevelir.

Bonaparte à Sieyès a fait present de Crosne

Pour le payer et l'avilir."

Жало в хвосте эпиграммы Лебрена попало точно в цель. Принятие Сийесом Кросна было, по сути, его согласием на увольнение с общественных дел, к которым он всегда относился с философским презрением. Он прожил до 1836 года с достоинством и непринужденностью, с олимпийским спокойствием взирая на бури французской и континентальной политики.

Двумя новыми консулами были Камбасерес и Лебрен. Первый был известен как образованный юрист и тактичный человек. Он голосовал за смерть Людовика XVI, но его последующие действия были действиями умеренных, и его знание юридических вопросов, вероятно, сослужило бы высшую службу Бонапарту, который доверил ему общий надзор за законодательством. Его тактичность проявилась в отказе поселиться в Тюильри, опасаясь, как он заметил Лебрену, что вскоре ему снова придется переехать. Третий консул, Лебрен, был умеренным человеком, склонявшимся к конституционной королевской власти. Он должен был стать еще одним полезным спутником Бонапарта, который доверил ему общий надзор за финансами и рассматривал его как связующее звено с умеренными роялистами. Главным секретарем консулов был Марет, надежный политический агент, который стремился к миру с Англией как в 1793, так и в 1797 годах.

Что касается министров, то теперь они были усилены Талейраном, который занялся иностранными делами, и Бертье, который привнес свой тяжелый труд в сферу войны, пока его на некоторое время не сменил Карно. Люсьен Бонапарт, а позже Шапталъ, стал министром внутренних дел, Годен контролировал финансы, Форфейт - военно-морской флот, а Фуше - полицию. Государственный совет состоял из следующих секций: *военный*, который возглавлял генерал Брюн; *морская пехота*, адмирал Гантеом; *Финансы*, Дефермон; *законодательство*, Буле де ла Мерт; *внутренние дела*, Редерер.

Первый консул вскоре показал, что намерен проводить беспристрастную и сугубо национальную политику. Это действительно было целью Директоров в их политике уравнивания и подавления экстремистских партий с обеих сторон. По указанным выше причинам они потерпели неудачу; но теперь требовалась более сильная и тактичная хватка, чтобы преуспеть в подвиге, который, естественно, с каждым годом становился все легче, который все дальше отодвигал страсти революционной эпохи на задний план. Люди не могут вечно проповедовать, агитировать и строить заговоры. Неизбежно наступает время, когда

способный лидер может успешно воззвать к их более здравым инстинктам: и этот час теперь пробил. Призыв Бонапарта был обращен ко многим, кого не интересовала политика, при условии, что они сами были оставлены в безопасности и комфорте: к нему призывали спокойно, настойчиво и с опорой на могущественный престиж и подавляющую военную силу. На протяжении всего консульства политика умеренности, которую слишком часто принимают за слабость, упорно проводилась сильнейшим человеком и величайшим воином эпохи.

Истинно национальный характер его правления проявлялся во многих отношениях. Он исключил из числа высокопоставленных лиц печально известных царевичей, за исключением нескольких человек, которые, подобно Фуше, были слишком умны, чтобы без них обойтись. Сторонники конституции 1791 года и даже объявленные роялисты были радушно встречены во Франции, и многие изгнанники-фруктидорианцы также вернулись.^[134] Список *эмигрантов* был закрыт, чтобы ни политическая ненависть, ни личная жадность не могли представить поездку как акт политической эмиграции. Столь же великодушным и благоразумным было обращение с римскими католиками. Теперь терпимость была распространена на православных священников или священнослужителей, не являющихся юристами, от которых требовалось всего лишь *пообещать* верность новой конституции. Благодаря этому акту своевременного помилования православным священникам было разрешено вернуться во Францию, и им даже разрешили совершать богослужения в местах, где это не вызвало противодействия.

Устранив таким образом одну из главных обид нормандских, бретонских и вандейских крестьян, которые восстали как за свою религию, так и за своего короля, он решил подавить их восстания. Северо-запад, да и некоторые районы юга Франции, все еще были охвачены восстаниями и разбоем. В Нормандии смелый и способный лидер по имени Фротте возглавлял значительную группу недовольных, и еще более грозными были бретонские "шуаны", следовавшие за крестьянским вождем Жоржем Кадудалем. Этот человек был прирожденным лидером. Хотя ему было всего тридцать лет, его неистовая храбрость уже давно выделила его как первого бойца своей расы и веры. Черты его лица свидетельствовали о смелом, сердечном духе, а массивное телосложение бросало вызов усталости и лишениям. Он продолжал бороться; и осенью 1799 года фортуна, казалось, была готова благоприятствовать "белым": восстание ширилось; и если бы принц Бурбонов высадился в Бретани до возвращения Бонапарта из Египта, роялисты, вполне возможно, свергли бы Директорию. Но смелость Бонапарта изменила весь аспект дела. Известие об ударе Брюмера заставило роялистов призадуматься. Сначала они полагали, что Первый консул вскоре отзовет короля обратно, и Бонапарт умело поддержал эту идею: он предложил перемирие, которым воспользовались некоторые измученные крестьяне. Сам Жорж какое-то время советовал примириться, и собрание лидеров роялистов проголосовало за человека, которого они хотели бы видеть "королем и вами" (Бонапарт). Один из них, Хайд де Невиль, беседовал с Первым консулом в Париже и оставил запись о своем удивлении при виде хрупкой фигуры человека, чье имя гремело по всей Франции. С первого взгляда он принял его за довольно бедно одетого лакея; но когда генерал поднял глаза и прожег его насквозь своим нетерпеливым огнем, роялист понял свою ошибку и подпал под чары взгляда, который мало кто мог выдержать равнодушно. Собеседование не принесло определенного результата.

Другие попытки Бонапарта были более эффективными. Верный своему плану разделения своих врагов, он обратился к духовенству с призывом положить конец гражданской смуте. Этот призыв задел сердце или амбиции священнослужителя по имени Бернье. Этот человек был всего лишь деревенским священником из Вандеи, но его природные способности обеспечили

ему влияние в советах повстанцев, которым теперь предстояло победоносно воспользоваться Первому консулу. Какими бы ни были мотивы Бернье, он определенно действовал с некоторой долей двуличия. Не предупредив Кадудаль, Бурмона, Фротте и других лидеров роялистов, он тайно убедил менее воинственных лидеров принять условия Первого консула; и было заключено перемирие (18 января), напрасно Кадудаль возмущался этим предательством: напрасно он пытался нарушить перемирие. Фротте в Нормандии был последним, кто капитулировал, и первым, кто почувствовал месть Бонапарта: по сфабрикованному обвинению в предательстве он был поспешно предан военному трибуналу и расстрелян. Из Парижа был отправлен приказ о его помиловании; но письмо, которое Бонапарт написал Брюну в день казни, содержит зловещую фразу: *К этому времени Фротте должен быть расстрелян*; а недавно опубликованное письмо Эдувилю выражает уверенность, что *наказание этого отчаянного лидера, несомненно, будет способствовать полному умиротворению Запада*.

[135]

В надежде одержать верх над шуанами Бонапарт потребовал, чтобы их вожди прибыли в Париж, где к ним относились с величайшим уважением. В священнике Бернье Бонапарт разглядел дипломатические способности высокого порядка, которым вскоре предстояло испытать себя на гораздо более важных переговорах. Дворяне тоже удостаивались лестного внимания, которое задевало их гордость и гарантировало их будущую незначительность. Среди них был граф Бурмон, Иуда кампании при Ватерлоо.

В отличие от священника и знати, Жорж Кадудаль был тверд, как скала. Этот учтивый язык говорил ему о славе, почестях и отечестве; он не обращал на него внимания, ибо знал, что он приказал убить Фротте. Там стояли эти бойцы поодиночке, лицом к лицу, типы севера и юга, прошлого и настоящего, самые свирепые и выносливые из живущих людей, их суровая воля изматывалась в борьбе в течение двух часов. Но южному ремеслу помешала непоколебимость бретонцев, и Жорж пошел своим путем, не устыдившись. Оказавшись за пределами дворца, он сказал своему другу Хайду де Невиллю только одно: "Чего мне стоило задушить его в этих объятиях!" Преследуемый шпионами Бонапарта и услышав, что его собираются арестовать, он бежал в Англию; и в Нормандии и Бретани воцарилось подобие мира. [136]

Так закончилась гражданская война, которая на протяжении почти семи лет раздирала Францию надвое. Что бы ни говорили о деталях действий Бонапарта, мало кто станет отрицать их благотворные последствия для французской жизни. Суровый и безжалостный, как сама Природа, по отношению к отдельным людям, он, безусловно, на этом этапе своей карьеры способствовал миру и процветанию масс. А что еще можно сказать от имени правителя в конце кровавой революции?

Тем временем Первый консул продолжал развивать конституцию Сийеса в направлении автократии. Государственному совету, который был немногим больше, чем расширенное министерство, по требованию консулов была поручена расплывчатая и опасная функция "развития чувства законов"; и вскоре стало ясно, что этот Совет был всего лишь удобной ширмой для сокрытия действий воли Бонапарта. С другой стороны, был нанесен удар по трибунату, единственному государственному органу, имевшему право дебатов и критики. Теперь (январь 1800 г.) было предложено строго ограничить время, отведенное для дебатов. Это ограничение права на свободное обсуждение не встретило особого сопротивления. Один из самых одаренных новых трибунов, Бенжамен Констан, друг мадам де Сталь, красноречиво

выступал против этой политики недоверия, которая привела бы трибунат к молчанию, которое было бы *услышано Европой*. Это было напрасно. Бешеная риторика прошлого заразила Францию глупым страхом перед любыми свободными дебатами. Трибунат подписал себе смертный приговор; и единственным результатом его слабой попытки оказать сопротивление стало то, что *салон* мадам де Сталь был немедленно покинут либералами, которые там черпали вдохновение; а самой одаренной писательнице было официально предложено удалиться в деревню.....

Очередной акт центральной власти нанес удар по свободе печати. Поскольку несколько журналов отважились на остроты в ущерб новому правительству, консулы приказали закрыть все политические журналы Парижа, за исключением тринадцати; и даже три из этих любимых газет были закрыты 7 апреля. Причиной этого деспотического действия была необходимость мудрого руководства общественным мнением во время войны и предотвращения любых статей, "противоречащих уважению, подобающему общественному договору, суверенитету народа и славе армий". С тонкой иронией доктрина Руссо о народном суверенитете была, таким образом, использована для санкционирования его нарушения. Этот инцидент характерен для всей тенденции развития событий, которые показали, что близится рассвет личного правления. Фактически, Бонапарт уже предпринял смелый шаг, переехав в Тюильри, и это в тот самый день, когда он объявил публичный траур по случаю смерти Вашингтона (7 февраля). Никто, кроме великого корсиканца, не осмелился бы бросить вызов комментариям, которые вызвало это совпадение. Но он был необходим Франции, и все это знали. На первом заседании временных консулов Дюко сказал ему: "Бесполезно голосовать по поводу президентства; оно принадлежит вам по праву"; и, несмотря на недовольную гримасу Сийеса, генерал сразу же занял кресло. Едва ли менее примечательным, чем недостаток энергии у государственных деятелей, было замешательство в мыслях населения. Мме. Рейнхард рассказывает нам, что после *государственного переворота* люди поверили, что вернулись в первые дни свободы. Стоит ли тогда удивляться, что один способный и волевой человек возглавил множество беспомощных и изменил конституцию Сийеса способом, который был таким образом удачно спародирован:

"J'ai, pour les fous, d'un Tribunat

Conservé la figure;

Pour les sots je laisse un Sénat,

Mais ce n'est qu'en peinture;

A ce stupide magistrat

Ma volonté préside;

Et tout le Conseil d'Etat

Dans mon sabre réside."

[стр.i240]

ГЛАВА XI

MARENGO: LUNÉVILLE

Оставляя для следующей главы описание новых гражданских институтов Франции, сейчас будет удобно обратиться к иностранным делам. Уладив самые насущные внутренние вопросы, Первый консул был готов встретиться с силами Второй коалиции. Он уже завоевал благосклонное мнение во Франции, попытавшись мирным путем распустить ее. 25 декабря 1799 года он отправил два вежливых письма, одно Георгу III, другое императору Франциску, предлагая немедленное прекращение войны. Завершение письма Георгу III. заслуженно восхищался: "Франция и Англия, злоупотребляя своей силой, могут, к несчастью всех наций, долго истощать ее; но я осмеливаюсь заявить, что судьба всех цивилизованных наций связана с прекращением войны, которая разожжет пожар по всему миру". Это благородное чувство тронуло воображение Франции и сторонников мира во всем мире.

И все же, если принять во внимание обстоятельства того времени, первые приятные впечатления, вызванные прочтением этого письма, должны быть омрачены сомнениями. Первый консул только что захватил власть незаконным и насильственным путем, и пока мало что могло убедить иностранные государства в том, что он удержит ее дольше, чем люди, которых он сместил. Более того, Франция находилась в трудном положении. Ее казна была пуста; ее армия в Италии была вытеснена на узкую береговую линию близ Генуи; а ее восточные войска были заперты в своих новых завоеваниях. Не были ли обращения к Австрии и Англии просто искусным приемом, чтобы выиграть время? Оправдывала ли его прошлая власть в Италии и Египте уверенность в том, что он откажется от полуострова и новой колонии? Можно ли считать человека, променявшего Венецию и захватившего Мальту и Египет, священным миротворцем? В дипломатии слова людей интерпретируются в соответствии с их прошлым поведением и нынешними обстоятельствами, ни то, ни другое не вызывало доверия к мирным инициативам Бонапарта; ни Франциск, ни Георг III. рассматривал нынешнюю попытку как что угодно, только не как искусное средство ослабления Коалиции.

Действительно, эта лига по разным причинам была практически распущена из-за внутренних разногласий. Австрия была полна решимости сохранить за собой всю восточную часть Пьемонта и большую часть Генуэзской республики. Приветствуя вторую половину этого требования, министры Георга III выразили протест против поглощения столь значительной части Пьемонта как акта жестокой несправедливости по отношению к королю Сардинии. Австрия была раздражена британскими протестами и возмущена замыслами царя на Корсике. Соответственно, Бонапарт не мог бы выбрать лучшего времени для попытки распустить Коалицию, как он, несомненно, надеялся сделать с помощью этих двух писем. Только решительная поддержка легитимистских притязаний Англией тогда предотвратила перерождение Коалиции в борьбу за итальянские территории.^[137] И, если мы можем доверять вердикту современников и его собственному признанию на острове Святой Елены, Бонапарт никогда не ожидал от этих писем никакого другого результата, кроме увеличения своей популярности во Франции. Это было усилено британским ответом, в котором говорилось, что Его Величество не может полагаться на "общие заявления о миролюбивых настроениях": Франция вела агрессивную войну, взимала поборы и ниспровергала институты в соседних государствах; и британское правительство пока не могло себе представить отказа от этой системы: для прочного мира требовалось нечто большее: "Лучшим и наиболее естественным залогом его реальности и постоянства было бы восстановление того рода принцев, который на протяжении стольких веков поддерживал французскую нацию в процветании дома и в уважении за границей". Этот ответ подвергся резкой критике, и это справедливо, если учитывать только его влияние на общественное мнение. Но ознакомление с документами Министерства иностранных дел Великобритании показывает причину использования этих жестко легитимистских заявлений. Одна только легитимность обещала остановить бесконечное вращение политического калейдоскопа, будь то во Франции, Австрии или России. Нашему послу в Вене было предложено проинформировать правительство Вены о точной формулировке британского ответа:

"В доказательство рвения и стойкости, с которыми Его Величество придерживается принципов Конфедерации, и в качестве свидетельства уверенности, с которой он ожидает аналогичного ответа от Его Императорского Величества, которому, без сомнения, было сделано предложение аналогичного характера".

Но это правильное поведение, хотя и превосходно приспособленное для поддержки пошатнувшейся коалиции, было в равной степени благоприятно для укрепления власти Бонапарта. Это помогло сплотить французский народ, чтобы противостоять навязыванию их изгнанному королевскому дому внешней силы. Даже Георг III. счел это "слишком сильным", хотя и не предложил никаких изменений. Бонапарт тут же мастерски парировал; он иронически предположил, что Его британское Величество признает право наций выбирать форму правления, поскольку только по этому праву он носит британскую корону; и он предложил ему не применять к другим народам принцип, который вернул бы Стюартов на трон Великобритании.

Дипломатическая игра Бонапарта была полностью выиграна во время дебатов по поводу речи короля в Вестминстере в конце января 1800 года. Лорд Гренвилл усердно доказывал, что мир невозможен с нацией, война которой направлена против всякого порядка, религии и морали; и он приводил примеры французского беззакония от Голландии и Швейцарии до Мальты и Египта. Питт заявил, что Французская революция была самым суровым испытанием, которое Провидение когда-либо обрушивало на народы земли; и, заявив, что переговоры с Францией не были безопасными из-за ее нестабильности, он резюмировал свое положение цicerоновской фразой: *Pacem nolo quia infida*. Министры одержали победу 260 голосами против 64, но почти вся Франция была на стороне Первого консула. Ни один триумф на поле боя не был для него дороже этих филиппик, которые, казалось, призывали Францию создать сильное правительство, чтобы Сент-Джеймский двор мог найти прочную основу для будущих переговоров.

Гораздо более ловким было поведение австрийских дипломатов. Делая вид, что верят в искренность мирного предложения Первого консула, они так сформулировали свою ноту, чтобы добиться от него ответа о том, что он готов обсудить условия мира на основе Кампо-Формийского мирного договора.^[138] Поскольку Австрия с тех пор завоевала большую часть Италии, ответ Бонапарта немедленно продемонстрировал его решимость восстановить французское господство в Италии и Рейнской области. Действия судов Вены и Лондона мало чем отличались от действий солнца и ветра в пресловутой пиле. Венская обходительность побудила Бонапарта снять сюртук и показать себя таким, каким он был на самом деле, в то время как добросовестное бахвальство Гренвилла и Питта заставило Первого консула застегнуть сюртук и изобразить из себя пораженного миротворца.

У союзников были веские основания для уверенности. Хотя Россия вышла из состава Второй коалиции, австрийцы продолжали свое победоносное наступление в Италии. В апреле 1800 года они рассекли французские силы близ Савоны, оттеснив корпус Суше к Ницце, в то время как другой был постепенно окружен генуэзскими редутами. Там империалистическое наступление было стойко остановлено. Массена, умело поддерживаемый Удино и Сультом, которые теперь снискали свои первые лавры генералов, оказывал самое упорное сопротивление, одинаково отражая атаки белых халатов, бомбы, сбрасываемые английской эскадрой, и более смертоносные нашествия голода и болезней. Гарнизон постепенно сократился до менее чем 10 000 человек, но там оставалось вдвое больше австрийцев, в то время как Бонапарт собирался нанести страшный удар по их тылам и по тылам Меласа дальше на запад. Именно ради этого Первый консул убеждал Массену держаться в Генуе до последнего, и приказ был благородно выполнен.

Суше тем временем защищал линию реки Вар от Меласа. В Германии Моро со своими более крупными силами медленно оттеснил главную австрийскую армию генерала Крея от ущелий Шварцвальда, вынудив ее отступить к укрепленному лагерю в Ульме.

Со своей стороны австрийцы стремились вынудить Массену к быстрой капитуляции, а затем большими силами продвинуться в Ниццу, Прованс и, возможно, Савойю, окружив войска Суше и подняв французских роялистов юга на всеобщее восстание. Им также была обещана помощь британских войск, которые должны были высадиться в какой-то точке побережья и взять Суше во фланг или тыл. ^[139] Таков был план, смелый в общих чертах и обещающий великие свершения, при условии, что все пройдет хорошо. Если Массена сдастся, если британское военное министерство и Адмиралтейство сработают вовремя, если ветер будет благоприятным, и если французские роялисты снова отважатся на восстание, то Франция будет разбита, возможно, завоевана. Что касается французской оккупации Швейцарии и продвижения Моро в Швабию, то это не должно было помешать осуществлению первоначального австрийского плана наступления на Прованс и вырвания Ниццы и Савойи из рук французов. Эта схема подвергалась критике, как если бы она основывалась исключительно на военных соображениях; но скорее она была продиктована планами политического усиления. Завоевание Ниццы и Савойи было необходимо для завершения амбициозных планов Габсбургов, которые стремились заполучить большую часть Пьемонта за счет короля Сардинии, а после завоевания Савойи и Ниццы оттеснить этого несчастного короля на край полуострова, который доблесть его потомков в конечном итоге объединила под итальянским триколором.

План союзников противоречил одному из элементарных правил стратегии; он подставлял крупные силы под удар с тыла, а именно из Швейцарии. Важность этой чрезвычайно сильной центральной позиции рано привлекла внимание Бонапарта. 17 марта он позвал своего секретаря Буррьена (так утверждает последний) и разложил вместе с ним карту Пьемонта; затем, поместив булавки с наконечниками, одни из которых были покрыты красным, другие - черным воском, чтобы обозначить позиции войск, он попросил его угадать, где французы будут бить своих врагов:

- Откуда, черт возьми, мне знать? - спросил Бурьен. "Послушай-ка, дурак, - сказал первый консул. - Мелас со своим штабом в Алессандрии. Там он останется до капитуляции Генуи. В Алессандрии у него есть свои склады, свои госпитали, своя артиллерия, свои резервы. Перейдя Альпы здесь (у Большого Сен-Бернара), я обрушусь на Меласа, перережу его сообщение с Австрией и встречу с ним здесь, на равнинах реки Скривия, у Сан-Джулиано".

Я цитирую этот отрывок, чтобы показать, как легко подобные истории о готовых планах завоевывают доверие, пока они не проходят проверку перепиской Наполеона. Там мы не находим стратегических предсказаний, а лишь пристальное наблюдение за событиями по мере их развития день ото дня. В марте и апреле он продолжал убеждать Моро в необходимости скорейшего наступления, в то время как сам рассматривал преимущества, которые давали перевалы Сен-Готард, Симплон и Большой Сенбернар для его собственной армии. 27 апреля он решил отказаться от первого (за исключением отряда), потому что продвижение Моро было слишком медленным, чтобы обезопасить свой тыл на этом маршруте. Теперь он отдавал предпочтение Великому Сенбернару, но все еще сомневался, следует ли после переправы направиться к Милану или нанести удар по осаждающим Массену, на случай, если этому генералу придется очень туго. Как и все великие полководцы, он начал с общего плана, но

детали продумывал так, как того требовала ситуация. В своем письме от 19 мая он осыпал презрением парижских редакторов, которые сказали, что он предсказал, что через месяц он будет в "Милане". "Это не в моем характере. Очень часто я *не* говорю то, что знаю, но никогда не говорю, что будет".

Чтобы лучше скрыть свои намерения, он выбрал в качестве своей первой базы операций город Дижон, откуда, казалось, угрожал либо швабской, либо итальянской армии своих врагов. Но этого было недостаточно. В старой столице Бургундии он собрал свой штаб и несколько полков новобранцев, чтобы ввести в заблуждение английских и австрийских шпионов; в то время как боевые батальоны были призваны разными путями в Женеву или Лозанну. Эти приготовления были настолько искусными, что в первых числах мая большая часть его людей и припасов находилась у Женевского озера, откуда они были легко переброшены в верхнюю долину Роны. Чтобы иметь методичного, трудолюбивого помощника, он отправил Бертье из военного министерства, где тот проявил меньше способностей, чем Бернадотт, на должность главнокомандующего "армией резерва". В действительности Бертье, как и прежде в Италии и Египте, был начальником штаба; но у него было титульное звание командующего, которое конституция 1800 года запрещала Первому консулу присваивать.

6 мая Бонапарт уехал из Парижа в Женеву, где он чувствовал пульс каждого движения в обеих кампаниях. В этом городе, выслушав доклад своего генерала инженерных войск, он решил отправиться в Италию по Великому маршруту Сен-Бернар, а не по Симплону. С удвоенной энергией он теперь следил за тысячами деталей, необходимых для обеспечения успеха: ибо, будучи склонным к осуществлению грандиозных планов, он упивался работой, которая единственная могла сделать их доступными для его понимания; или, как однажды заметил Веллингтон, "Ничто не было слишком великим или слишком маленьким для его хобота". Трудности переброски большой армии через Большой Сен-Бернар были поистине огромны. Этот перевал был выбран потому, что он представлял собой всего пять лиг местности, непригодной для проезда экипажей. Но эти пять лиг подвергли испытанию все силы армии и ее начальников. Мармон, командовавший артиллерией, разработал хитроумный план: снять пушки с лафетов и установить их в выдолбленных стволах сосны, чтобы цапфы, вставленные в большие выемки, удерживали их устойчивыми во время подъема по снегу и еще более трудного спуска.^[140] Работа по перетаскиванию орудий измотала крестьян; затем войскам было предложено — по сотне человек за раз — по очереди взяться за канаты, и они пришли в восторг от воинственных мелодий, исполняемых оркестрами, или от горнов и барабанов, возвещающих атаку в самых трудных местах подъема.

Тропа иногда проходила по узким уступам, где неверный шаг означал смерть, или где следовало опасаться схода лавин. Стихия, однако, была благоприятной, и потери были незначительными. Это было вызвано многими причинами: рвением войск в предприятии, которое привлекло воображение французов и активизировало всю их деятельность; дружелюбием горцев; и организаторскими способностями Бонапарта и его штаба; все это можно назвать элементами успеха. Они представляют собой разительный контраст с маршем армии Ганнибала через один из западных перевалов Альп. Его разношерстное войско пробиралось через длинный горный хребет в короткие октябрьские дни по неведомым тропам, в одной части снесенным обрывом скалы, и время от времени его осаждали тучи вероломных галлов. Учитывая, что трудности великого карфагенянина начались задолго до того, как он достиг Альп, что он был обременен слонами и что его армия состояла из представителей различных рас, удерживаемых вместе

только верой в доблесть их вождя, его подвиг был гораздо более замечательным, чем подвиг Бонапарта, который, действительно, больше напоминает переход Франциском I через реку Сен-Бернар в 1515 году. Разница между условиями предприятий Ганнибала и Бонапарта может быть частично измерена временем, которое они заняли. В то время как переход Ганнибала через Альпы длился пятнадцать дней, три из которых прошли в мучительных вынужденных остановках среди снега, войскам Первого консула потребовалось всего семь дней. В то время как карфагенская армия была ослаблена голодом, французы имели при себе полный паек сухарей, а в начале перевала монахи Странноприимного дома Святого Бернара раздавали хлеб, сыр и вино, которые прислал Первый консул и которые теперь удвоились благодаря их щедрости. Гостеприимные отцы сами прислуживали за столами, накрытыми перед Хосписом.

Обеспечив регулярную переброску войск и припасов, Бонапарт сам начал восхождение 20 мая. На нем было серое пальто, которое уже стало знаменитым, и на чертах его лица застыло то выражение спокойного самообладания, которое он всегда сохранял перед лицом трудностей. Мелодраматические позы лошади и всадника, которые Дэвид увековечил в своей великой картине, являются, конечно, всего лишь символом гения воинствующей демократии, преодолевающего естественные препятствия и уносимого вперед дыханием победы. Живая фигура была примечательна только суровой сдержанностью и подавляемым волнением; вместо гарцующего боевого коня, которым управлял Дэвид, его вьючным животным был мул, ведомый крестьянином; а вместо "виктори" он слышал, что Ланн с авангардом наткнулся на неожиданное препятствие на пути в Италию. Узкая долина Дора-Балтеа, по которой только и можно было продвигаться, была почти полностью блокирована фортом Бард, который прочно удерживался небольшим австрийским гарнизоном и не поддавался всем усилиям Ланна и Бертье. Это была новость, которая застала Первого консула во время его восхождения, и снова в Хосписе. Приняв гостеприимство монахов и проведя короткое время в библиотеке и часовне, он продолжил свое путешествие; и на южных склонах он и его сотрудники время от времени развлекались тем, что соскальзывали с тропинок, которые из-за прохождения тысяч людей стали скользкими. Остановившись в Аосте, он направился вниз по долине к форту Бард.

Тем временем несколько его пехотинцев обошли это препятствие по козьей тропе среди холмов и уже достигли Ивреи, расположенной ниже по долине. И все же форт выстоял под канонадой французов. Его господствующее положение, казалось, исключало всякую надежду на то, что артиллерия обойдет его стороной, а без артиллерии Первый консул не мог надеяться на успех на равнинах Пьемонта. Не сумев захватить форт, он подумал о том, чтобы ночью поспешно перебросить вновь установленные орудия под прикрытие домов деревни. Для этой цели он распорядился, чтобы главная улица была усыпана соломой и навозом, а колеса пушки были прикрыты, чтобы производить меньше шума. Затем их тихо протащили через деревню почти на расстоянии пистолетного выстрела от гарнизона: тем не менее, защитники подняли тревогу и, стреляя из мушкетов и гранат, взорвали несколько вагонов с боеприпасами и нанесли другие потери; все же 40 орудий и 100 повозок были проташены мимо форта.

Как этот неиссякаемый ресурс контрастирует с беспечным поведением врага! Если бы они быстро усилили свой отряд в Барде, не было бы никаких сомнений в том, что передвижение Бонапарта могло быть серьезно затруднено. Но до 21 мая Мелас не знал, что его дальний тыл подвергся нападению, и 3000 австрийцев, охранявших долину Дора-Балтеа, были разделены: часть находилась в Барде, а другая - в Иврее. Последнее место было занято наступлением войск Ланна 22 мая, и Бард был блокирован частью французского арьергарда. Армия Бонапарта, если

считать арьергард, насчитывала 41 000 человек. Тем временем дальше на восток французские войска численностью 15 000 человек, частично набранные из армии Моро и возглавляемые Монси, пересекли перевал Сен-Готард и начали оттеснять австрийские аванпосты в верхней долине реки Тичино; а 5000 человек, перейдя перевал Мон-Сени, угрожали Турину с запада. Целью первого консула теперь было объединить две главные силы, захватить склады противника и принудить его к полной капитуляции. Это дерзкое решение оформилось в Аосте 24-го, когда он услышал, что 19-го Мелас все еще находится в Ницце, не сознавая своей обреченности. Нельзя было упускать шанс закончить войну одним ударом, даже если Массене придется действовать самому.

Но мечта Меласа о триумфе уже развеялась. 21-го, услышав ошеломляющую новость о том, что большие силы переправились через Сен-Бернар, он оставил 18 000 человек противостоять Сюше на Варе, а с остальными поспешил обратно в Турин. В столице Пьемонта он услышал, что ему придется иметь дело с Первым консулом; но только в последний день мая он узнал, что Монси форсирует Сен-Готард и угрожает Милану. Затем, осознав всю степень грозящей ему опасности, он поспешно призвал все имеющиеся в его распоряжении войска, чтобы с боем пробиться к Мантуе. Он даже отправил нарочного к осаждающим Геную с просьбой отступить в Алессандрию; но с Массеной были начаты переговоры о сдаче этой крепости, и мнение английского адмирала лорда Кейта заставило австрийского командующего там настаивать на осаде до самого конца. Город находился в тяжелейшем положении. Лошадей, собак, кошек и крыс наконец стали охотно использовать в качестве пищи, и при каждой вылазке толпы голодающих жителей следовали за французами, чтобы срубить траву, крапиву и листья, которые они затем варили с солью.^[141] Восстание, которому угрожали несчастные горожане, было предотвращено Массеной, приказавшим своим войскам открывать огонь по каждому собранию численностью более четырех человек. Наконец, 4 июня, с 8000 полуголодных солдат он прошел маршем через австрийские позиции с боевыми почестями. Суровый воин и слышать не хотел о слове "капитуляция". Он просто заявил командованию союзников, что 4 июня его войска эвакуируют Геную или расчистят себе путь штыком.

Бонапарта упрекали в том, что он сразу не выступил на помощь Массене: обвинение в дезертирстве было выдвинуто Массеной и Тибо, и Ланфри с присущим ему мастерством отбросил его восвояси. Однако вряд ли она выдержит пристальное изучение. Австрийцы, получив первые достоверные известия о вторжении французов в Пьемонт и Ломбардию, были уверены, что сосредоточатся либо в Турине, либо в Алессандрии. Действительно, Мелас был уже недалеко от Турина и обрушился бы на фланг Первого консула, если бы тот двинулся прямо на юг, к Генуе.^[142] Такой марш всего с 40 000 человек был бы опасным: и это могло, в лучшем случае, спасти только сокращенный и почти голодающий гарнизон. Кроме того, он вполне естественно ожидал, что осаждающие Геную отступят теперь, когда их тыл оказался под угрозой.

Разумная политика и желание нанести решающий удар побудили Первого консула к более смелому и эффективному плану: очистить Ломбардию от империалистов и захватить их склады; затем, объединившись с 15 000 войсками Монси, отрезать путь отступления всем австрийским войскам к западу от Милана.

При въезде в Милан он был встречен бурными приветствиями партизан Франции (2 июня); они превозносили энергию и дальновидность, которые привели две армии, так сказать, с небес,

чтобы посрамить своих угнетателей. Множество людей, связанных с Цизальпинской республикой, были объявлены австрийцами вне закона, изгнаны или заключены в тюрьму; и теперь их друзья приветствовали его как восстановителя их республики. Первый консул потратил семь дней на то, чтобы отобрать людей, которые должны были восстановить Цизальпинское государство, отбросить восточные силы Австрии за реку Адда и организовать свои войска и войска Монси для нанесения последнего удара. Военные проблемы, действительно, требовали большой осторожности и рассудительности. Его положение, как ни странно, было противоположно тому, которое он занимал в 1796 году. Затем французы удержали Тортону, Алессандрию и Валенцу и попытались отбросить австрийцев к стенам Мантуи. Теперь империалисты, занимавшие почти те же позиции, пытались прорвать французские линии, которые отрезали их от этого города-убежища; и Бонапарт, располагавший силами, несколько уступающими его противникам, почувствовал, как трудно помешать их бегству.

Для Меласа были открыты три маршрута. Самым прямым был путь через Тортону и Пьяченцу вдоль южного берега По, через труднопроходимое ущелье Страделла; или он мог отступить к Генуе, пересечь Апеннины и вернуть Мантию рывком через Моденезе; или он мог пересечь По у Валенцы и Тичино близ Павии. Французы должны были следить за всеми этими дорогами, когда они осторожно приближались к своей добыче. Первым шагом Бонапарта было послать Мюрата со значительным отрядом войск захватить Пьяченцу и занять ущелье Страделла. Эти важные посты были отбиты у австрийского авангарда; и этот успех увенчался 9 июня блестящей победой генерала Ланна при Монтебелло над превосходящими силами Австрии, шедшими из Генуи в сторону Пьяченцы, которые он отбросил обратно в сторону Алессандрии. Небольшие отряды французов тем временем наблюдали за течением реки Тичино, а другие захватили склады противника в Кремоне.

Получив ценные новости о передвижениях Меласа из перехваченной депеши, Бонапарт покинул Милан 9 июня и направился в Страделлу. Там он ждал новостей о Суше и Массене со стороны Савоны и Севы, поскольку их силы, если они объединятся, могли замкнуть кольцо, которое он очертил вокруг империалистов.^[143] Он надеялся, что Массена присоединится к Суше близ Савоны; но из-за различных обстоятельств, в которых Массена никоим образом не был виноват, их соединение было отложено; и Суше, хотя и продвигался к Акви, не смог отрезать австрийцам путь отступления к Генуе. Тем не менее, он так потревожил противостоящий ему корпус при отступлении из Ниццы, что только около 8000 австрийцев присоединились к Меласу из этого квартала.^[144]

Несомненно, лучшим решением Меласа по-прежнему было бы броситься к Генуе и довериться английским кораблям. Но этот план уязвил гордость генерала, который снискал множество лавров в Италии, пока приближение Бонапарта не пригрозило сорвать весь венок с его чела. Он и его сотрудники стремились восстановить свое пошатнувшееся состояние смелым броском сквозь кольцо врагов, которое смыкалось вокруг. Никогда еще усилия такого рода не были так близки к успеху и все же так полностью проваливались.

Первый консул, полагая, что австрийцы настроены исключительно на бегство, двинулся из Страделлы, где успех был бы несомненен, на равнины Тортон, откуда он мог сдерживать любое их продвижение на юг, к Генуе. Но теперь пространство, которое он занимал, было настолько велико, что ослабляло его линию в любом отдельном пункте, в то время как у его врагов было

преимущество центральной позиции. Бонапарт также был вынужден прибегнуть к тактике охвата, которая так часто оказывалась фатальной для австрийцев четырьмя годами ранее; и это любопытное изменение его обычной тактики может объяснить беспокойство, которое он проявлял, продвигаясь к Маренго. Однако недавно он был воодушевлен приездом Десо из Парижа после его возвращения из Египта. Этот лихой офицер и благородный человек внушил ему искреннюю привязанность, о чем свидетельствовали три часа оживленной беседы, которую он провел с ним по прибытии, а также его слова Буррьену: "Он довольно античный персонаж". Дезэ с 5300 солдатами теперь был отправлен в ночь на 13 июня в Геную, чтобы остановить бегство австрийцев в этом направлении. Этот эксцентричный шаг подвергся суровой критике, но факты, известные тогда Бонапарту, казалось, свидетельствовали о том, что Мелас собирался двинуться на Геную. Французский авангард под командованием Гардана днем легко выбил фронт противника из деревни Маренго; и Гардан даже сообщил, что через реку Бормида нет моста, по которому враг мог бы выйти на равнину Маренго. Мармон, продвигаясь вперед поздним вечером, обнаружил, что там был по крайней мере один хорошо защищенный мост; и когда рано утром следующего дня стало известно об ошибке Гардана, Первый консул, охваченный гневом против нарушителя, в спешном порядке отправил курьера отозвать Дезэ. Задолго до того, как он смог прибыть, началась битва при Маренго: и на протяжении большей части того богатого событиями дня, 14 июня, у французов было всего 18000 человек, чтобы противостоять наступлению 31000 австрийцев. ^[145]

Как видно из прилагаемой карты, деревня Маренго расположена на равнине, которая простирается на восток от берегов реки Бормида к холмистой местности Страделла.



БИТВА ПРИ МАРЕНГО, иллюстрирующая атаку Келлермана

Деревня расположена на большой дороге, ведущей на восток от крепости Алессандрия, главного опорного пункта северо-западной Италии. Равнина изрезана многочисленными препятствиями. Через Маренго протекает ручей под названием Фонтаноне. Глубокие изгибы Бормиды, крутые берега Фонтаноне, а также деревни, фермы и виноградники, разбросанные по равнине, - все это чрезвычайно затрудняло продвижение перед лицом решительного врага; и эти природные особенности сыграли немалую роль в решении судьбы дня.

Вскоре после рассвета Мелас начал перебрасывать свои войска через Бормиду и атаковал французские аванпосты на Маренго: но там они встретили упорное сопротивление солдат дивизии Виктора, в то время как Келлерманн, сын героя Вальми, совершил свой первый великий подвиг, отбросив несколько отважных австрийских всадников в глубокое русло Фонтаноне. Это дало Ланнесу время вывести свою дивизию численностью 5000 человек в линию между Маренго и Кастель-Чериоло. Но когда около 10 часов утра австрийская атака развернулась в полную силу, империалисты не только овладели Маренго, но и бросили тяжелую колонну во главе с генералом Оттом против Ланна, который был вынужден отступить, оспаривая каждую пядь земли. Таким образом, когда час спустя Бонапарт подъехал с дальнего тыла, торопясь вдоль своей Консульской гвардии, его взгляд упал на его батальоны, разбитые спереди и обойденные с флангов на обоих флангах. Он немедленно бросил свою Консульскую гвардию численностью в 1000 человек против победоносных рядов Отта. Выстроившись в каре близ Кастель-Чериоло, она на короткое время задержала их, пока под огнем пушек и атакой вражеской конницы эти отборные войска также не начали сдавать позиции. Но в этот критический момент прибыла дивизия Монье численностью 3600 человек, которая бросилась в бой, сдерживая поток белых халатов вокруг деревушки Ли Поджи, в то время как Карра Сен-Сир укрепил свою хватку в Кастель-Кериоло. Под прикрытием этого экрана приветствия Виктор и Ланн восстановили некоторый порядок в своих подразделениях и некоторое время сдерживали натиск противника. Однако медленно, но верно удар основной колонны австрийцев, продвигавшейся по шоссе, заставил их отступить к Сан-Джулиано.

К двум часам дня сражение, казалось, было проиграно для французов; за исключением того, что на севере их линии фронта они полностью отступили, и все их пушки, кроме пяти, замолчали. Мелас, подавленный грузом прожитых лет, ужасающей жарой и двумя легкими ранениями, удалился в Алессандрию, оставив своего начальника штаба Зака руководить преследованием. Но, к несчастью, Мелас отправил обратно 2200 всадников для наблюдения за районом между Алессандрией и Акви, к которому продвигались силы Суше. Чтобы защититься от этой отдаленной опасности, он ослабил свои атакующие силы в критический момент и в критическом месте; и теперь, когда австрийцы приблизились к холму Сан-Джулиано с играющими оркестрами и развевающимися знаменами, их конница была недостаточно сильна, чтобы довершить поражение французов. Тем не менее, сила их наступления была такова, что всякое сопротивление казалось бесполезным, пока примерно в 5 часов вечера наступление Десо не вдохнуло новую жизнь и надежду в оборону. Он немедленно поехал к Первому консулу, и, если верить смутным слухам, его встретили нетерпеливым вопросом: "Ну, что вы об этом думаете?" На что он ответил: "Битва проиграна, но еще есть время выиграть другую". Мармон, слышавший разговор, отрицает, что эти слова были произнесены; и они предполагают смелость, в которой даже Десо вряд ли был бы повинен перед своим начальником. На чем он, несомненно, настаивал, так это на немедленном использовании артиллерии для сдерживания

австрийского наступления: и Мармон, поспешно усилив свои пять орудий тринадцатью другими, занял сильную позицию и изрешетил сомкнутые ряды противника, когда они, окутанные облаками дыма и пыли, вслепую продвигались вперед. Первый консул расположил войска Дезэ за деревней и соседним холмом; находясь на небольшом расстоянии слева от французов, Келлерман был готов атаковать со своей тяжелой кавалерией, как только представится возможность.

Это произошло быстро. Пушки Мармона поколебали позиции гренадеров Зака: люди Десо обстреляли их из мушкетов; и пока они готовились к последней попытке, тяжелая кавалерия Келлермана атаковала их с фланга. Никогда еще удивление не было более полным. Эта атака рассекла колонну надвое; и ветераны, которые, казалось, только сейчас преодолеют все препятствия, лежали, искалеченные картечью, изрубленные саблями, беспомощно летали среди виноградников или сдавались сотнями. Паника охватила их товарищей, и они со всех сторон отступали перед яростно сплотившимися французами. Отступление превратилось в бегство, когда отступающие колонны приблизились к мостам через Бормиду, и ночь сомкнулась над сценой дикой неразберихи, когда разбитая армия, выброшенная из укрытия Маренго, бросилась через реку в крепость Алессандрия.

Такова была победа Маренго. Это было куплено дорогой ценой, ибо, помимо тяжелых потерь, составлявших с обеих сторон примерно треть от числа сражавшихся, победители понесли невосполнимую утрату в виде смерти Десо, который пал в тот момент, когда его мастерство и энергия вырвали победу из поражения. Победа была одержана сразу же благодаря блестящей атаке Келлермана; и не может быть никаких сомнений, несмотря на заявления Савари, что этот молодой офицер предпринял атаку по собственной инициативе. И все же его наступление могло бы иметь незначительный эффект, если бы Дезэ не потряс противника и не вызвал у него панику, подобную той, которая принесла катастрофу империалистам в Риволи. Диспозиция Бонапарта во время кризиса, несомненно, была искусной; но в первой части сражения его поведение было ниже его репутации. Мы не слышим о том, чтобы он наэлектризовал свои расстроенные войска каким-либо поступком, сравнимым с поступком Цезаря, когда со щитом в руке он бросился среди легионеров, чтобы остановить поток нервиев. В кульминационный момент боя он произнес слова "Солдаты, помните, что по моему обычаю разбивать лагерь на поле боя" — банальные и эгоистичные слова, учитывая серьезность кризиса.

Вечером того знаменательного дня, делая преувеличенный комплимент Бессьеру и кавалерии Консульской гвардии, он просто заметил Келлерману: "Вы провели очень хорошую атаку"; на что этот офицер, как говорят, ответил: "Я рад, что вы удовлетворены, генерал, ибо это возложило корону на вашу голову". Такая мелочность была недостойна великого капитана, который смог спланировать и провести в жизнь памятную кампанию при Маренго. Если кульминационный момент и не был достоин начала, то кампанию в целом следует признать шедевром. Со времен Ганнибала ни один столь смелый и оригинальный замысел не поражал мир. Великая австрийская армия была остановлена на своем победоносном пути, вынуждена была вернуться на свои разрушенные коммуникации и сражаться за свое существование примерно в 120 милях в тыл территории, которую она, казалось, завоевала. Фактически, прошлогодние победы союзников были сведены на нет этим маршем армии Бонапарта, которая менее чем через месяц после восхождения на Альпы вернула себе Ниццу, Пьемонт и Ломбардию и поставила империалистов в тяжелейшее положение.

Ошеломленный этим ужасающим ударом, Мелас и его штаб были готовы принять любые условия, которые не были бы глубоко унижительными; а Бонапарт со своей стороны был не прочь завершить кампанию в блеске славы. Он согласился, чтобы императорские войска отступили к востоку от Минчо, за исключением Пескьеры и Мантуи, которые им еще предстояло занять. Эти условия подвергались различной критике: Меласа обвиняли в трусости при сдаче многих цитаделей, включая Геную, которую прочно удерживали его люди. Однако следует помнить, что теперь у него в Александрии было менее 20 000 человек боеспособных, и что 30 000 австрийцев отдельными отрядами были практически во власти французов между Савоной и Брешией. Теперь все они могли отступить в Минчо и там возобновить оборону имперских территорий. Политические замыслы Венского двора в отношении Пьемонта, конечно, были разрушены; но теперь он вернул себе армию, которую безрассудно пожертвовал в угоду территориальной алчности. Бонапарта также обвиняли в мягкости его условий. Несомненно, можно было добиться более суровых условий; но теперь он превратил солдата в государственного деятеля. Он желал мира ради Франции и ради себя самого. После этого блестящего удара мир был бы вдвойне благодарен народу, который жаждал славы, но также стремился залечить раны восьмилетней войны. Его собственное положение первого консула было еще недостаточно прочным; и он хотел вернуться в Париж, чтобы обуздать беспокойный трибунал, внушить страх якобинцам и роялистам и восстановить институты Франции.

Движимый этими мотивами, он обратился к императору Франциску с красноречивым призывом к миру, повторив свое предложение вести переговоры с Австрией на основе Кампо-Формийского мирного договора.^[146] Но Австрия еще не была настолько унижена, чтобы принять такие условия; и ей нужен был мастерский удар Моро в великой битве при Гогенлиндене (2 декабря 1800 г.) и поворот ее крепостей к Минчо благодаря блестящему переходу Сплюгена глубокой зимой Макдональдом - подвиг, намного превосходящий подвиг Бонапарта при Гогенлиндене. Сенбернар — чтобы принудить ее к миру. Описание этих событий выходит за рамки данной работы; и теперь мы возвращаемся к рассмотрению карьеры Бонапарта как государственного деятеля.

После краткого пребывания в Милане и Турине, где его принимали как освободителя Италии, Первый консул пересек Альпы через перевал Мон-Сени и был с восторгом встречен в Лионе и Париже. Он отсутствовал в столице менее двух календарных месяцев.

Теперь он отправил письмо царю Павлу, предлагая, что, если французский гарнизон Мальты будет вынужден из-за голода покинуть этот остров, он передаст его в руки царя как великого магистра ордена Святого Иоанна. Редко когда "греческий подарок" был преподнесен более искусно. Во-первых, Валлетта была настолько плотно блокирована крейсерами Нельсона и окружена местными мальтийцами, что ее капитуляции можно было ожидать через несколько недель; и первый консул хорошо знал, с какой тревогой царь стремился закрепить на Мальте, откуда он мог угрожать Турции с юго-востока. В своем желании полностью завоевать Россию Бонапарт также отправил обратно хорошо одетых и вооруженных пленных, взятых у русских армий в 1799 году, шаг, который был вдвойне оценен в Петербурге, потому что с русскими войсками, которые сражались вместе с герцогом Йоркским в Голландии, британское правительство обошлось несколько скверно на Нормандских островах, где они разместились на зимовку. Соответственно, царь отправил Каличева в Париж для формирования франко-русского союза. Его тепло приняли. Бонапарт в общих чертах пообещал вернуть королю Сардинии его прежние владения, а папе римскому - его государства. Со своей стороны, царь

послал заманчивый совет Бонапарту основать династию и тем самым положить конец революционным принципам, которые вооружили Европу против Франции. Он также предложил признать естественные границы Франции, Рейн и Приморские Альпы, и заявил, что дела Германии должны регулироваться при его собственном посредничестве. Когда обе стороны были настолько покладисты, заключить сделку было легко. Франция и Россия, соответственно, объединили усилия, чтобы обеспечить себе господство в делах Центральной и Южной Европы и уравновесить господство Англии на море.

Ибо этого было недостаточно, чтобы разбить Вторую коалицию и вернуть Северную Италию. Политика Бонапарта была не просто европейской; она была океанической. Англия должна быть побеждена в ее собственной стихии: тогда и только тогда молодой воин сможет закрепиться в Египте и вернуться к своим восточным планам. Его переписка до и после кампании Маренго свидетельствует о его стремлении к миру с Австрией и союзу с Россией. Его мысли постоянно обращаются к Египту. Он договаривается с Британией о том, что его армия там может быть восстановлена, и поэтому утверждает, что войска также могут быть легко отправлены. Лорд Гренвилл отказывается (10 сентября); после чего Бонапарт с энтузиазмом приступает к дальнейшим планам уничтожения островитян. Он стремится разжечь гнев царя против английского морского кодекса. Его успех на данный момент является полным. В конце 1800 года Российский император командует балтийскими державами для разгрома английского флота и опережает самые смелые надежды Бонапарта, предлагая франко-российское вторжение в Индию с целью "нанести своему врагу смертельный удар". Этот план, составленный в конце 1800 года, предусматривал сосредоточение 35 000 русских в Астракане; в то время как столько же французов должны были пробиться с боями к устью Дуная, отплыть на русских кораблях в Азовское море, присоединиться к своим союзникам на Каспийском море, доплыть до его южной оконечности и, воодушевив персов и афганцев надеждой на добычу, изгнать британцев из Индии. План был вежливо изучен Бонапартом, но он подверг его нескольким критическим замечаниям, что привело к менее терпеливым ответам со стороны вспыльчивого властителя. Тем не менее, Павел начал продвигать свои войска к нижней Волге, и несколько полков казаков переправились через эту реку по льду, когда известие о его убийстве положило конец этому плану.^[147]

Грандиозные планы Павла исчезли вместе с их фантастическим воплощением; но *сближению* России с революционной Францией в конечном итоге суждено было стать событием далеко идущей важности, поскольку таким образом восточная держава начала оказывать на демократию Западной Европы то тонкое, полуазиатское влияние, которое так сильно исказило ее первоначальный характер.

Начало девятнадцатого века стало свидетелем поразительных перестановок на политической шахматной доске.

В то время как Бонапарт привел Россию и Францию к внезапному сближению, негибкая морская политика Великобритании объединила балтийские державы против владычицы морей. Осенью 1800 года царь Павел, узнав о нашем захвате Мальты, немедленно возродил Лигу вооруженного нейтралитета 1780 года и противопоставил силы России, Пруссии, Швеции и Дании мощи английского флота. Но блестящий успех Нельсона в Копенгагене и убийство царя в результате дворцового заговора разрушили эту лигу всего через четыре месяца после ее образования, и новый царь Александр на время вернулся к дружбе с Англией.^[148] Это внезапное

прекращение первого франко-российского союза настолько разъярило Бонапарта, что он поместил в официальную "Монитор" абзац, обвиняющий британское правительство в организации убийства Поля, инсинуация, которая только подчеркивала его ярость по поводу этого внезапного отпора его доселе успешной дипломатии. Несмотря на то, что на какое-то время ему помешали, он никогда не терял из виду долгожданный союз, которого он добился, умело сочетая силу и убеждение, семь лет спустя после сокрушительного удара при Фридланде.

Страх перед франко-русским союзом, несомненно, помог принудить Австрию к миру. Униженный Моро в великой битве при Гогенлиндене, император Франциск начал переговоры в Люневиле в Лотарингии. Утонченное упрямство Кобенцля нашло там достойное применение в твердой, но учтивой дипломатии Жозефа Бонапарта, который утомил самого Кобенцля, пока поход Моро на Вену не вынудил Франциска признать реку Адидже своей границей в Италии. Другие условия договора (9 февраля 1801 г.) были практически такими же, как и условия Кампо-Формио, за исключением того, что великий герцог Тосканский Габсбург был вынужден уступить свое государство сыну герцога Пармского из династии Бурбонов. Сам он должен был получить "компенсацию" в Германии, где также несчастный герцог Моденский должен был найти утешение в районе Брайсгау на Верхнем Рейне. Беспомощность старой Священной Римской империи действительно была продемонстрирована во всей красе, поскольку Франциск теперь признал право французов вмешиваться в устройство этой мешанины государств. Он также признал Цизальпинскую, Лигурийскую, Гельветическую и Батавскую республики в их нынешнем виде; но их независимость и свобода их народов выбирать ту форму правления, которую они считают подходящей, были четко оговорены.

Неаполитанский двор также заключил мир с Францией по Флорентийскому мирному договору (март 1801 г.), в соответствии с которым он вывел свои войска из государств Церкви и закрыл свои порты для британских и турецких судов; он также отказался в пользу Французской Республики от всех своих претензий на приморский район Тосканы, известный как Президии, маленькое княжество Пьомбино и порт на острове Эльба. Эти уступки хорошо вписывались в планы Наполеона по предполагаемому возведению наследника герцогства Пармского в ранг короля Тосканы или Этрурии. Король Неаполя также обязался принять и поддержать французский корпус в своих владениях. Сульд с 10 000 солдат вслед за этим занял Отранто, Таранто и Бриндизи, чтобы заставить неаполитанское правительство выполнять свои обязательства и облегчить французским сношениям с Египтом.

В своих отношениях с Новым Светом Бонапарт также процветал. Определенные споры между Францией и Соединенными Штатами привели к военным действиям в 1798 году. Переговоры о мире были начаты в марте 1800 года и привели к заключению Морфонтенского мирного договора, который позволил Бонапарту навязать Мадридскому двору схему обмена Пармы и Луизианы, которая обещала ему великолепную империю на берегах Миссисипи.

Эти и другие грандиозные планы были доверены только Талейрану и другим близким советникам. Но даже для основной массы человечества сцена трансформации, ознаменованная девятнадцатым веком, была потрясающе яркой. Италия от Альп до пяток контролируется французами; Австрия вынуждена отказаться от всех своих итальянских планов; Швейцария и Голландия находятся под влиянием Первого консула; Испания покорно следует его властному руководству; Англия, несмотря на все ее морские триумфы, беспомощна на суше;

и Франция быстро восстанавливает свой прежний престиж и стабильность при новых институтах, которые составляют самую прочную дань славе Первого консула.

ГЛАВА XII

НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ФРАНЦИИ

"Мы покончили с романтикой Революции: теперь мы должны начать ее историю. Мы должны обращать внимание только на то, что реально и практически осуществимо в применении принципов, а не на умозрительное и гипотетическое". Таковы были памятные слова Бонапарта, сказанные его Государственному совету на одном из его первых заседаний. Они являются лейтмотивом эпохи Консульства. Это был период интенсивной практической деятельности, который поглотил всю энергию Франции и заставил более ранние события Революции отойти в, казалось бы, далекое прошлое. Неудачи гражданских правителей и военные триумфы Бонапарта оказали любопытное влияние на французский характер, который был настроен на ожидающую восприимчивость. В 1800 году все находилось в переходном состоянии, благоприятствующем усилиям мастера-строителя; и теперь под рукой был тот, чьи конструктивные способности в гражданских делах сравнивались с его трансцендентным военным гением.

Я предлагаю здесь кратко рассмотреть наиболее важные работы по реконструкции, которые навсегда прославили Консульство и раннюю часть Империи. Усилия Бонапарта в этой области были настолько обширны и сложны, что они будут описаны не в хронологическом порядке, а предмет за предметом. Читатель, однако, помнит, что по большей части они шли бок о бок, даже несмотря на помехи, вызванные войной, дипломатией, колониальными предприятиями и бесчисленными деталями обширной администрации. То, что здесь кажется серией каналов, на самом деле было могучей рекой предприимчивости, текущей в неразделенном объеме и подпитываемой сверхчеловеческой жизнестойкостью Первого консула. Именно его неиссякаемое любопытство заставляло чиновников раскрывать секреты своего ведомства; именно его интеллект улавливал основные моменты каждой проблемы и видел решение; именно его пыл и упорство ума заставляли его министров и комитеты усердно работать и, работая иногда по двадцать часов в сутки, контролировали результаты; в конечном счете, его

страсть к тщательности, его амбиции перед Францией вселяли в каждого чиновника что-то от его собственного презрения к трудностям, пока, как сказал один из них, "великанство не вошло в самые наши привычки мышления". ^[149]

Первым вопросом политического восстановления, который срочно потребовал внимания, был вопрос о местном самоуправлении. В тот самый день, когда стало ясно, что нация приняла новую конституцию, Первый консул представил Законодательному собранию проект закона, регулирующего дела департаментов. Следует признать, что местное самоуправление, учрежденное людьми 1789 года в их Ведомственной системе, оказалось неудачным. В то время радужных надежд, когда казалось, что все трудности и злоупотребления вот-вот будут устранены магией всеобщего избирательного права, местное самоуправление самого продвинутого типа было доверено неопытному населению. Предстояли выборы в коммуну или приход, выборы в кантон, выборы в округ, выборы в департамент и выборы в Национальное собрание, пока деревенские мозги, пошатнувшись от возбуждения, быстро не впали обратно в бестолковую апатию и не предоставили все дела в целом проводникам из ближайшего якобинского клуба. Последовало время большой неразберихи. Закон действовал в соответствии с местным мнением, и государственные налоги часто оставались неуплаченными. Во времена террора эта слабая система была заменена деспотизмом тайных комитетов, и таким образом был проложен путь к возвращению к организованному центральному контролю, такому, какой осуществляла Директория.

Таким образом, первый консул, как преемник Директории, обнаружил, что у него под рукой все готово для решительной централизации, и любопытно отметить, что люди 1789 года невольно расчистили для него почву. Чтобы освободить место для "верховенства общей воли", они упразднили *парламенты*, которые сохраняли старые законы, обычаи и привилегии нескольких их провинций и часто вмешивались в чисто политические дела. Отмена этих и других привилегированных корпораций в 1789 году объединила Францию и не оставила ни единого барьера, способного противостоять ни потоку демократии, ни обратной волне реакции. Таким образом, все благоприятствовало действиям Первого консула по взятию всех местных властей под свой собственный контроль. На данный момент Франция устала от выборных органов, которые мало что делали, кроме как растрачивали налоги страны; и хотя новое предложение вызвало некоторую оппозицию, оно было принято 16 февраля 1800 года (28 Pluviose, an, viii).

Он заменил местное самоуправление центральной властью. Местное деление осталось прежним, за исключением того, что "округа", упраздненные Конвенцией, теперь были воссозданы в несколько большем масштабе и назывались *округами*, в то время как более мелкие коммуны, которые были объединены в кантоны с 1795 года, также были возрождены. Примечательно, что из всех областей, намеченных Учредительным собранием в 1789-1790 годах, только департамент и кантон существовали непрерывно — факт, который, по-видимому, показывает опасность нарушения четко установленных границ и создания большого количества искусственных округов, которые быстро становятся *мерзостью* других экспериментаторов. Действительно, эффективного самоуправления там было так мало, что Франция, кажется, вздохнула с облегчением, когда Бонапарт в лице префекта навел порядок. Это важное должностное лицо, миниатюрный Первый консул, должно было управлять делами Департамента, в то время как субпрефекты аналогичным образом были поставлены над новыми *округами*, а мэры - над коммунами. Мэры назначались Первым консулом в коммунах с

населением более 5000 человек; в небольших коммунах - префектами: все они были одинаково ответственны перед центральной властью.

Отход от прежней избирательной системы, которая в конечном счете передавала всю местную власть в руки избирателей, был подчеркнут статьей 75 конституции, которая фактически делала должностных лиц недосыгаемыми для судебного преследования. В нем говорилось следующее: "Представители правительства, за исключением министров, не могут быть привлечены к ответственности за факты, относящиеся к их служебным обязанностям, кроме как по решению Государственного совета: в этом случае судебное преследование осуществляется обычными судами". Теперь, когда это решение принималось органом, почти полностью состоящим из высших должностных лиц, становится очевидным, что шансы на публичное преследование должностного лица стали крайне малы. Таким образом, в первые месяцы 1800 года Франция была передана в ведение иерархии должностных лиц, тесно связанных между собой интересами и *корпоративным духом*; и местная администрация после десяти лет демократических экспериментов практически вернулась к тому, какой она была при старой монархии. Фактически, полномочия префектов в целом были намного больше, чем у королевских интендантов: в то время как последним мешали провинциальные *парламенты*, выдвиженцам Первого консула приходилось иметь дело с советами, которые сохраняли едва ли тень власти. Реальная власть в местных вопросах принадлежала префектам. Старые выборные органы, правда, сохранились, но их функции теперь были в основном консультативными; и, чтобы их советы не были слишком обильными, сессии первых двух органов были ограничены двумя неделями в год. За исключением доли в налогообложении, их существование было всего лишь ширмой, скрывающей реальность нового центрального деспотизма.^[150] Возможно, это было благотворно; и выбор префектов, безусловно, был доказательством того, что Бонапарт различал реальные заслуги среди людей всех оттенков мнений; но при всем этом это был деспотизм, который неразрывно вплетенный во всю жизнь Франции.^[151]

Кажется странным, что этот закон не вызвал яростной оппозиции; поскольку он практически заткнул рот демократии в ее наиболее подходящей и успешной сфере деятельности, местном самоуправлении, и превратил всенародные выборы в простую тень, за исключением единственного акта выбора местных *судей мира*. Это было предвидено либералами в трибунате, но их власть была невелика с тех пор, как правила были приняты в январе, и хотя Дауну, как "репортер", резко критиковал эту меру, все же он неуклюже заключил советом, что было бы опасно отвергать ее. Таким образом, трибуны приняли предложение 71 голосом против 25, а Легислатурный корпус - 217 голосами против 68.

Результаты этого нового местного самоуправления часто считались настолько благоприятными, что доказывали, что гениальность французского народа требует централизованного контроля, а не самоуправления. Но следует отметить, что условия Франции с 1790 по 1800 год были в целом враждебны развитию свободных институтов. Жестокая вражда внутри страны, жадность и классовая зависть, разбухшие конфискацией, взрывы войны и пагуба банкротства стали бы серьезным испытанием для самых прочных местных институтов; они, несомненно, подорвали бы такой хрупкий организм, как абсолютная демократия, которая требует мира, процветания и бесконечного терпения для своего развития. Поскольку Франция тогда пришла в отчаяние от своего местного самоуправления, из этого не следовало, что она потерпит неудачу после того, как возвращение Бонапарта восстановит ее престиж и процветание. Но национальная *элана* запретила какие-либо отсрочки или компромиссы; и Франция немедленно приняла правление

компетентной официальной иерархии как желанную альтернативу бессистемным действиям местных назойливых людей. Многие способные люди приветствовали эту перемену как доказательство удивительного понимания Бонапартом национального характера, который, как они утверждают, стремится к блеску, порядку и сильному правительству, а не к крутым и тернистым путям свободы. Конечно, в современной истории Франции есть многое, что подтверждает это мнение. И все же, возможно, этими чертами мы во многом обязаны мастеру—ремесленнику, который заново создал Францию, находясь в состоянии восприимчивости, и таким образом смог подчинить демократию той силе, которая единственная была способна ее укротить, - могучей силе милитаризма.

Возврат к монархической политике нигде не был так очевиден, как на очень важных переговорах, которые регулировали отношения Церкви и государства и привели к *Конкордату*, или мирному договору с Римско-католической церковью. Но сначала мы должны оглянуться назад, на события, которые довели Римско-католическую церковь во Франции до ее плачевного состояния.

Поведение революционеров по отношению к Церкви Франции было продиктовано отчасти неотложными потребностями национальной казны, отчасти ненавистью и страхом перед столь могущественной религиозной корпорацией. Идеалисты новой школы мысли и практичные люди, которые боялись банкротства, соответственно, присоединились к нападению на ее собственность и привилегии: ее десятина была конфискована, религиозные дома и их имущество также были конфискованы, а ее земли были объявлены землями нации. Бюджет общественного богослужения, это правда, предназначался для поддержки епископов и священников; но от этой торжественной обязанности вскоре отказались самые ярые революционеры. И все же грабеж был не самым страшным их преступлением. В июле 1790 года они приняли закон под названием "Гражданская конституция духовенства", целью которого было подчинение Церкви государству. Это вынудило епископов и священников добиваться избрания взрослыми мужчинами своих нескольких департаментов и приходов и вынудило их принести строгую клятву повиновения новому порядку вещей. Все епископы, кроме четырех, отказались принести присягу, которая сводила на нет авторитет папы Римского: более 50 000 священников также отказались и были лишены средств к существованию: отказавшиеся были названы *ортодоксальными* или *не участвующими в юриспруденции* священниками, и по закону от августа 1792 года они были изгнаны из Франции, в то время как их более сговорчивые или отбывающие срок братья, принявшие новый декрет, были известны как *конституционалисты*. Около 12 000 конституционалистов вступили в брак, в то время как некоторые из них аплодировали крайним якобинским мерам террора. Один из них шокировал верующих, совершая мистерии, с *румяной шляпой* на голове, с пикой в руке, в то время как его жена стояла возле алтаря.^[152] Подобные акты насилия были редкостью: но они служили для дискредитации конституционной Церкви и с еще большим облегчением демонстрировали мужество, с которым православное духовенство встретило изгнание и смерть во имя совести. Более того, отсидка в конституционалах принесла им мало пользы: во время террора им не выплачивали стипендии, а церкви по большей части были закрыты. После частичной передышки в 1795-1796 годах *государственный переворот* Фруктидора (1797) снова положил начало двум годам мелких преследований; но в начале лета 1799 года конституционалистам снова разрешили отмечать христианское воскресенье, и ко времени возвращения Бонапарта

из Египта их службы посещались чаще, чем службы теофилантропов в *декаде*. Очевидно, то, что антирелигиозные *фурор* уже не сгорит, а что во Франции обернулся к ней старой веры. Действительно, за пределами Парижа и нескольких других крупных городов общественное мнение высмеивало новые культы, а в сельских районах крестьяне с глубокой привязанностью относились к своим старым ортодоксальным священникам, часто следуя за ними в леса, чтобы получить их услуги и отказаться от услуг тех, кто их вытеснил.

Итак, таково было религиозное состояние Франции в 1799 году: ее духовенство было раздираемо страшным расколом; ортодоксальные священники цеплялись, где это было возможно, за своих прихожан или жили в нищете за границей; конституционные священники, хотя Директория все еще не одобряла их, укрепляли позиции за счет теофилантропов, чьи угасающие усилия вызывали насмешки. Короче говоря, нация, уставшая от религиозных экспериментов и нащупывающая какую-нибудь прочную якорную стоянку посреди мутного отлива и его многочисленных заводей. ^[153]

Несмотря на отсутствие каких-либо глубоких религиозных убеждений, Бонапарт ощущал потребность в религии как оплоте морали и цемента общества. В юности он испытал силу романизма на Корсике, а во время своих кампаний в Италии с восхищением наблюдал усердие французских православных священников, которые ради совести смирились с изгнанием и нищетой. Этим изгоем он предоставил больше защиты, чем считалось совместимым с правильным республиканством; и он получил их благодарность. После Брюмера он отменил клятву, ранее требовавшуюся от духовенства, и заменил ее *обещанием* верности конституции. Для такого поведения приводилось много причин, но, несомненно, его воображение было тронуте видом величественной иерархии Рима, духовные силы которой все еще преобладали, даже несмотря на крушение ее светской власти, и медленно, но верно отвоевывали позиции, утраченные в ходе Революции. Влияние, столь неосязаемое, но непреодолимое, унаследовавшее от Рима времен цезарей дар организации и силу поддержания дисциплины, которых Революции так явно не доставало, вполне могло быть союзником человека, который теперь господствовал над латинскими народами. Ученик Цезаря, конечно, не мог пренебречь помощью духовной иерархии, которая была всем, что осталось от старого римского величия.

К этому добавился его острый инстинкт реальности, который заставил его презирать такие выдуманные вероучения, как Верховное Существо Робеспьера и этот удивительный гибрид, Теофилантропия, порождение Богини Разума и La Reveillère-Lépeaux. Наблюдая за их созданием, взлетом и падением, он проникся еще большим уважением к вере своей юности, которая удовлетворяла одну из самых настоятельных потребностей его натуры - жажду уверенности. Посмотрите на этот сокрушительный ответ месье Матье: "В чем заключается ваша теофилантропия? О, не говорите мне о религии, которая берет меня только для этой жизни, не говоря мне, откуда я пришел и куда иду". Конечно, это не доказывает реальности религии Наполеона; но это показывает, что он не был лишен религиозного инстинкта.

Победа при Маренго позволила Бонапарту приступить к осуществлению своих планов соглашения с Ватиканом; и он сообщил одному из ломбардских епископов, что желает установить дружеские отношения с папой Пием VII, который в то время собирался вступить в Рим. Там он получил защиту Первого консула и вскоре восстановил свой суверенитет над своими государствами, за исключением Дипломатических миссий.

Переговоры между Парижем и Ватиканом велись главным образом очень способным священником по имени Бернье, который завоевал доверие первого консула во время умиротворения Бретани и теперь убеждал послов Рима в необходимости соблюдать все разумное в требованиях Франции. Участниками переговоров от имени Ватикана были кардиналы Консальви и Капрара, а также монсеньор Спина—способные духовные лица, которые были способны отстаивать церковные притязания с той гибкостью и твердостью, которые так часто ставили в тупик силу и коварство могущественных властителей. Первая трудность возникла в связи с вопросом об отставке епископов Галликанской церкви: Бонапарт потребовал, чтобы, будь то православные или конституционалисты, они передали свои кафедры в руки папы; в противном случае они должны быть низложены папской властью. Каким бы радикальным ни казалось это предложение, Бонапарт заявил, что епископы обеих сторон должны уйти в отставку, чтобы можно было произвести удовлетворительный отбор. Еще более настоятельной была необходимость, чтобы Церковь отказалась от всех притязаний на свои конфискованные владения. Все классы общества, так настаивал Бонапарт, принесли огромные жертвы во время революции; и теперь, когда крестьяне были поселены на этих некогда духовных землях, основы общества будут разрушены любой попыткой лишить их собственности.

Обоим этим предложениям Римский двор оказал упорное сопротивление. Идея заставить долго преследуемых епископов отказаться от своих кафедр была не менее отвратительной, чем последнее предложение, которое предполагало молчаливое согласие на кощунственный грабеж. По крайней мере, умолял монсеньор Спина, пусть десятина будет восстановлена. На эту просьбу Первый консул не удостоил ответа. Ничего, действительно, не было возможно, кроме резкого отказа. Немногие налоги вызывали такое отвращение, как десятина, и их повторное введение нанесло бы ущерб крестьянскому классу, на котором Первый консул основывал свою власть. Пока он пользовался их поддержкой, он мог с презрением относиться к насмешкам философов и даже к противодействию своих офицеров; но колебания в вопросе о десятине и церковных землях могли оказаться фатальными даже для победителя при Маренго.

[154]

На самом деле, трудность достижения какого-либо компромисса была огромной. Стремясь примирить Францию Руссо и Робеспьера с неизменной политикой Ватикана, "наследник революции" решал задачу потруднее, чем любое военное предприятие. Убивать людей всегда было легче, чем формировать их мысли заново; и теперь Бонапарт стремился не только переделать французскую мысль, но и заново сформировать идеи Вечного города. Вскоре он понял, что последнее предприятие было более трудным, чем первое. Папа и его советники обрадовались признакам его раскаяния, но потребовали увидеть его плоды. Вместо первых плодов они получили неслыханные требования — сдачу трех дипломатических миссий Болоньи, Феррары и Романьи, отказ от всех десятин и церковных земель во Франции и согласие на компромисс с раскольниками. Неудивительно, что ответы из Рима были сформулированы в терминах *"не опоссум"*, которые являются последним прибежищем Ватикана. Обнаружив, что переговоры не привели к прогрессу, Бонапарт поручил Бертье и Мюрату нанести визит в Рим и оказать сдержанное, но обременительное давление в форме реквизиций для французских войск в Папской области.

Ратификация мира с Австрией придала большой вес его заявлениям в Риме, и он попытался настоять на подписании Конкордата, чтобы потрясти мир одновременным объявлением об

умиротворении Континента и исцелении великого религиозного раскола во Франции. Но канцелярская машина работала слишком медленно, чтобы допустить этот запланированный *государственный переворот*. В предложениях Бонапарта от 25 февраля 1801 года было несколько требований, уже признанных неприемлемыми в Ватикане; ^[155] и дело зашло в тупик, пока папа не наделил Спину более широкими полномочиями для ведения переговоров в Париже. Консальви также отправился в Париж, где вместе с другими послами был торжественно принят в Тюильри, причем вид кардинальской мантии вызвал немалую сенсацию. Первый консул дал ему долгую беседу, поначалу говоря несколько серьезно, но постепенно становясь все более приветливым и любезным. Однако по мере того, как его поведение смягчалось, его требования становились все жестче; и по окончании аудиенции он потребовал от Консальви подписать несколько неблагоприятный вариант соглашения в течение пяти дней, в противном случае переговоры были бы прекращены и была бы принята *национальная религия*— предприятие, которому предзнаменования сулили полный успех. В более позднем интервью он выразил ту же решимость в простой фразе: когда Консальви потребовал от него занять твердую позицию против нарушителей "конституции", он со смехом заметил, что больше ничего не может сделать, пока не узнает, как у него обстоят дела с Римом; ибо "вы знаете, что когда человек не может договориться с Богом, он договаривается с дьяволом". ^[156]

Это заигрывание с "конституционалистами" могло быть чем-то большим, чем просто хитрой уловкой, и Консальви знал это. Создавая национальную церковь, Первый консул апеллировал бы не только к старым галликанским чувствам, все еще сильным среди священнослужителей и мирян, но и к мощной силе французской национальности. Этот эксперимент можно было бы провести так, чтобы не оскорбить никого, кроме самых строгих католиков, которых следовало бояться меньше, чем вольнодумцев. Консальви был недалеко от истины, когда, описывая официальный мир в Париже, сказал, что только Бонапарт действительно желал Конкордата.

Мотивы первого консула, стремившегося к союзу с Римом, вполне естественно, подвергались жесткой критике; и, навязывая Конкордат Франции, а также Риму, он, несомненно, вел самые трудные переговоры в своей жизни. ^[157] Но его предпочтение римским связям было актом далеко идущего государственного управления. Он видел, что национальная Церковь, непризнанная Римом, была всего лишь промежуточным звеном между романизмом и протестантизмом; и ему не нравилось последнее вероучение из-за его тенденции порождать секты и ослаблять действенность общей воли. Он все еще в достаточной степени придерживался доктрины Руссо, чтобы желать, чтобы общая воля была единообразной, при условии, что ею можно было управлять с помощью его собственной воли. Такое единообразие в сфере религии было невозможно, если бы он не пользовался поддержкой папства. Только заключив сделку с Римом, он мог заручиться поддержкой сплоченной церковной фаланги. Наконец, воздвигнув французскую национальную церковь, он не только увековечил бы раскол у себя дома, но и дисквалифицировал бы себя за то, что играл роль Карла Великого в центральной и южной Европе. Чтобы перестроить Европу по космополитическому образцу, ему нужна была клерикальная полиция, которая была бы чем-то большим, чем просто французская. Для достижения этих более грандиозных замыслов преемнику Цезаря понадобилась бы помощь преемника Петра; и эта помощь была бы предоставлена только восстановителю Римского католицизма во Франции, но никогда не увековечителю раскола.

Это, по-видимому, главные причины, по которым он бросал вызов общественному мнению в Париже и цеплялся за римские связи, выдвигая свой план создания галликанской церкви только как угрожающий шаг против клерикального фланга. Когда Ватикан проявлял упрямство, он кокетничал с "конституционными" епископами, предоставляя им все возможности для свободы слова на соборе, который они провели в Париже в конце июня 1801 года. Он вызвал в Тюильри их президента, знаменитого Грегуара, и оказал ему знак уважения. "Не полагайтесь на принцев", - должно быть, вскоре пришло в голову Грегуару и его коллегам, ибо две недели спустя Бонапарт выполнил свой договор с Римом и отложил в долгий ящик как конгресс, так и церковь "конституционалистов".

Было бы утомительно подробно описывать все этапы этих сложных переговоров, но заключительные процедуры требуют некоторого внимания. Когда договор принимал окончательную форму, Талейран, вежливый насмешник, непримиримый враг всех клерикальных притязаний, счел желательным принять ванну в отдаленном месте и передал нити переговоров в руки двух человек, которые были в равной степени полны решимости помешать его подписанию, Маре, государственного секретаря, и Отерива, который впоследствии стал официальным архивариусом Франции. Эти люди решили представить Консальви проект договора, сильно отличающийся от того, который был согласован; и это после того, как было сделано официальное объявление о том, что договор должен быть подписан немедленно. В последние часы кардинал столкнулся с неожиданными обстоятельствами, многие из которых он успешно преодолел. Хотя Консальви был ошеломлен этим обманом, который вынудил его подписать капитуляцию или согласиться на открытый разрыв, он снова обсуждал этот вопрос на конференции, которая длилась двадцать четыре часа; он даже появился на государственном обеде, данном 14 июля Первым консулом, который сообщил ему в присутствии других гостей, что речь идет о "моем проекте договора или вообще ни о каком". Ничто не могло поколебать терпения и упорства кардинала, и, наконец, благодаря добрым услугам Жозефа Бонапарта, неприемлемые требования, выдвинутые в последний момент, были сняты или изменены.

Обсуждался вопрос о том, участвовал ли Первый консул в этом устройстве. Тейнер утверждает, что он ничего об этом не знал: что это была официальная интрига, затеянная в последний момент антиклерикалами, чтобы ускорить разрыв. В поддержку этой точки зрения он цитирует письма Маре и Отерива, которые обвиняют этих людей и стремятся освободить Бонапарта от подозрений в соучастии. Но нельзя сказать, что эти письма рассеяли все подозрения. Первый консул сделал эти переговоры исключительно своими: ни один чиновник, конечно, не осмелился бы тайно навязать свою версию важного договора; или, если бы они это сделали, этот акт стал бы последним в их карьере. Но Бонапарт не опозорил их; напротив, он продолжал оказывать им честь своим доверием. Более того, первый консул разозлился на своего брата Джозефа, когда тот сообщил, что Консальви не смог подписать предложенный ему документ, и разорвал в клочья статьи, окончательно согласованные с кардиналом. Когда к нему вернулся его обычно спокойный ум, он, наконец, оставил уступки в силе, за исключением двух; но при рассмотрении мотивов мы должны придавать наибольшее значение не вторым и более благоразумным мыслям, а первому всплеску чувств, которые, по-видимому, безошибочно доказывают его знание и одобрение плана Отерива. Следовательно, мы должны заключить, что он позволил противникам Конкордата совершить это вероломное нападение с намерением добиться от ошеломленного и сбитого с толку кардинала всех возможных требований. ^[158]

После дальнейших задержек Конкордат был ратифицирован на Пасху 1802 года. Это можно кратко описать следующим образом: французское правительство признало, что католическая апостольская и римская религия была религией подавляющего большинства французского народа, "особенно консулов"; но оно отказалось объявить ее религией Франции, как это было при *старом режиме*. Это должно было совершаться свободно и публично во Франции в соответствии с полицейскими постановлениями, которые правительство считало необходимыми для общественного спокойствия. В обмен на эти огромные преимущества от Церкви ожидалось много уступок. Нынешние епископы, как православные, так и конституционные, должны были по приглашению папы сложить свои кафедры; или, в противном случае, должны были быть произведены новые назначения, как если бы кафедры были вакантными. Последнее условие было необходимым, поскольку из восьмидесяти одного выжившего епископа, затронутого этим решением, целых тринадцать православных и двое "конституционалистов" настойчиво, но безуспешно протестовали против действий папы и Первого консула.

Теперь было произведено новое разделение архиепископств и епископств, которые передали Франции все шестьдесят епархий. Первый консул пользовался правом выдвижения их кандидатуры, после чего папа даровал каноническую инвеституру. Все архиепископы и епископы должны были принести присягу на верность конституции. Епископы назначали низших священнослужителей при условии, что они были приемлемы для правительства: все в равной степени обязывались блюсти государственные интересы. Стабильность Франции была дополнительно обеспечена пунктом, предоставляющим полную и постоянную безопасность владельцам конфискованных церковных земель — целительный и спасительный компромисс, который восстановил мир в каждой деревне и успокоил угрызения совести многих людей. Со своей стороны, государство взяло на себя обязательство выплачивать соответствующие стипендии духовенству, и это обещание было выполнено в довольно скупом духе. В остальном, Первый консул пользовался тем же уважением, что и короли Франции, во всех церковных вопросах; и был добавлен пункт, хотя Бонапарт объявил его излишним, что, если какой-либо следующий Первый консул не был католиком, его прерогативы в религиозных вопросах должны быть пересмотрены Конвенцией. Чуть позже был принят аналогичный конкордат для умиротворения Цизальпинской республики.

Конкордат подвергся ожесточенным нападкам со стороны якобинцев, особенно со стороны военачальников, и если бы генералы-неверные по большей части не были разделены взаимной завистью, они, возможно, свергли бы Бонапарта. Но их очевидная неспособность к гражданским делам позволила им отважиться лишь на несколько грубых шуток и неуклюжих демонстраций. На пасхальном торжестве в Соборе Парижской Богоматери в честь ратификации Конкордата один из них, по имени Дельмас, отважился на единственный протест, пронизанный откровенной сатирой: "Да, это действительно прекрасный образец монашества. Не хватало только миллиона человек, которые были убиты, чтобы уничтожить то, что вы стремитесь вернуть". Но всем протестам Бонапарт противопоставлял спокойное поведение, за которым скрывалась жесткая решимость, перед которой были одинаково беспомощны и священники, и солдаты.

В последующих статьях, названных "органическими", Бонапарт, не посоветовавшись с папой римским, издал несколько законов, которые вызвали раздражение у православного духовенства. Под предлогом принятия закона о полиции общественного богослужения он подтвердил некоторые принципы, которые не смог включить в сам Конкордат. Органические

статьи подтверждали старые требования Галликанской церкви, которые запрещали применение папских булл или постановлений "иностраных" синодов к Франции: они также запрещали французским епископам собираться на собор или синод без разрешения правительства; и это также требовалось для того, чтобы епископ покидал свою епархию, даже если его вызывали в Рим. Таковы были главные органические статьи. Принятые под предлогом обеспечения общественного спокойствия, они оказались плодотворным источником разногласий, которые во времена империи стали настолько острыми, что ослабили власть Наполеона. В вопросах как религиозных, так и политических, он рано выявил свой главный моральный и умственный недостаток - решимость отстаивать свою точку зрения любыми средствами и требовать максимума в каждой сделке. Полностью отказываясь утвердить Римский католицизм в качестве государственной религии, он вынудил Церковь отказаться от своих временных рамок, принять постановления государства и защищать свои интересы. Поистине, если, по знаменитому выражению Шатобриана, он был "реставратором алтарей", то он требовал за эту реставрацию ни гроша.

В одном вопросе его ясный ум резко контрастирует с узким педантизмом римских кардиналов. Во время примирения между ортодоксами и "конституционалистами" они потребовали от последних полного и публичного отказа от своих недавних ошибок. Сразу же вмешался Бонапарт, произведя впечатляющий эффект. Таким образом, снисходительность к унижению, утверждал он, полностью нарушила бы недавно восстановленную гармонию. "Прошрое осталось в прошлом, и епископы и префекты должны требовать от священников только заявления о присоединении к Конкордату и повиновения епископу, назначенному Первым консулом и учрежденному папой". Этот просвещенный совет, подкрепленный непреодолимой силой, победил, и около десяти тысяч конституционных священников были спокойно приняты обратно в римское сообщество, а те, кто заключил брак, были вынуждены расстаться со своими женами. Бонапарт проявлял глубокий интерес к восстановлению епархий, присвоению названий церквям и подобным деталям, несомненно, с полным сознанием того, что возрождение римской религиозной дисциплины во Франции было более важным служением, чем любой ратный подвиг.

Он был прав: устраняя великий раскол во Франции, он наносил смертельный удар революционным чувствам, ярким проявлением которых это было. По словам одного из его министров, "Конкордат был самым блестящим триумфом над гением Революции, и все последующие успехи без исключения стали результатом его".^[159] После этого свидетельства излишне спрашивать, почему Бонапарт не обратился к протестантизму. Правда, на острове Святой Елены он утверждал, что выбор католицизма или протестантизма был полностью открыт для него в 1801 году, и что нация последовала бы за ним в любом направлении; но его религиозная политика, если ее внимательно изучить, не обнаруживает никаких признаков колебаний в этом вопросе, хотя он один или два раза делал стратегический маневр в сторону Женева, когда Рим демонстрировал слишком твердую позицию. Возможно ли, чтобы человек, который, как он сообщил Джозефу, систематически работал над основанием династии, колебался в выборе государственной веры? Можно ли думать о великом поборнике внешнего контроля и государственной дисциплины как о защитнике свободы совести и права на личное суждение?

Регулирование протестантского культа во Франции было гораздо менее трудной задачей. Но поскольку целью Бонапарта было подчинить все культы государству, он решил признать две

главные протестантские организации Франции, кальвинистов и лютеран, позволив им самим выбирать своих пасторов и регулировать свои дела в консисториях. Пасторы должны были получать жалованье от государства, но взамен правительство не только оставляло за собой право одобрять каждое назначение, но и требовало, чтобы протестантские организации не имели никаких отношений с какой-либо иностранной державой или авторитетом. Органические статьи 1802 года, определившие позицию протестантских организаций, являются очень важной вехой в истории последователей Лютера и Кальвина. Преследовался Людовиком XIV. и XV в. Людовик XVI терпел их; они добились полного религиозного равенства в 1789 году, и после нескольких лет анархии в вопросах веры они внезапно обнаружили, что организаторский гений Бонапарта жестко привязал их к государству.

В 1806-1808 годах положение евреев было точно так же определено, по крайней мере, для всех тех, кто признавал Францию своей страной, выполнял все гражданские обязанности и признавал все законы государства. Учитывая, что они полностью платили налоги и несли военную службу, они получали официальную защиту, а их раввины - государственную поддержку.

Такова была политика Бонапарта в отношении религиозных вопросов. Не может быть никаких сомнений в том, что его мотив был, в основном, политическим. Этот методичный гений, смотревший на верования и страсти, желания и амбиции человечества как на множество сил, которые должны были помочь ему в его восхождении, уже удовлетворил свои желания военной славы и материального процветания; и в своей сделке с Римом он теперь заручился поддержкой организованного духовенства, помимо небольших протестантских и еврейских общин. Можно согласиться с тем, что он также обрел мир и покой для Франции, хотя это было за счет той умственной активности и независимости, которые были ее главной интеллектуальной славой; но никто из его близких знакомых никогда не сомневался, что его религия была всего лишь смутным чувством, а посещение мессы - просто комплиментом его "священной жандармерии". ^[160]

Осмелившись и совершив подвиг по организации религии в наполовину неверующем обществе, Первый консул был готов взяться за почти столь же опасную задачу по установлению социального различия, и это в той самой стране, где менее восьми лет назад каждый титул приводил его обладателя к гильотине. Для своего нового эксперимента - Ордена Почетного легиона - он мог привести только один прецедент за последние двенадцать лет.

Вся тенденция была направлена на выравнивание всех проявлений неравенства. В 1790 году все дворянские титулы были отменены; и хотя Конвент постановил вручать "оружие чести" храбрым солдатам, все же его щедрость по отношению к достойным оказалась менее примечательной, чем его деятельность по гильотинизации неудачников. Бонапарт, однако, сослался на свой обычай периодически присуждать скромные награды в качестве прецедента для своего собственного замысла, который должен был быть гораздо более масштабным и амбициозным.

В мае 1802 года он предложил учредить Орден Почетного легиона, состоящий из пятнадцати когорт, в которые войдут высшие офицеры, командиры, прапорщики и легионеры. Его делами должен был заниматься совет под председательством самого Бонапарта. Каждая когорта получила "национальные домены" с годовой арендной платой в 200 000 франков, и эти средства были распределены между участниками в масштабе, пропорциональном их рангу. Люди,

получившие "почетное оружие", были, *ipso facto*, легионерами; солдаты, "оказавшие значительные услуги государству в войне за свободу", и гражданские лица, "которые своими знаниями, талантами и добродетелями способствовали установлению или защите принципов Республики", могли надеяться на честь и награду, которые теперь ожидались. Идея награждения за заслуги как среди гражданского населения, так и среди военной касты, которая до сих пор почти полностью пользовалась подобными почестями, была, несомненно, просвещенной; и имена знаменитых ученых Лапласа, Монжа, Бертолле, Лагранжа, Шаптяля и таких юристов, как Трейяр и Тронше, придавали блеск тому, что в противном случае было бы очень заурядным институтом. Бонапарт хотел призвать к ответу все способности нации; и когда Дюма предложил, чтобы орден был распространен только на солдат, Первый консул ответил блестящей и убедительной речью:

"Чтобы совершать великие дела, в наши дни недостаточно быть мужчиной ростом пять футов десять дюймов. Если бы генералом были сила и храбрость, каждый солдат мог бы претендовать на командование. Генерал, совершающий великие дела, - это тот, кто также обладает гражданскими качествами. Солдат не знает закона, кроме силы, не видит ничего, кроме него, и все меряет им. Гражданское лицо, с другой стороны, заботится только об общем благе. Характерной чертой солдата является желание делать все деспотически: а гражданское лицо - подвергать все обсуждению, правде и разуму. Таким образом, превосходство, несомненно, принадлежит гражданскому лицу".

В этих благородных словах мы можем разгадать секрет превосходства Бонапарта как в политике, так и на войне. Сочетая в себе самые талантливые качества государственного деятеля и воина, он, естественно, желал, чтобы его новый орден "За заслуги" способствовал оживлению Франции во всех направлениях, прекрасно понимая, что результаты быстро почувствуют в самой армии. Когда его приняли в ее ряды, новый член поклялся:

"Посвятить себя служению Республике, поддержанию целостности ее территории, защите своего правительства, законов и собственности, которую они освятили; бороться всеми методами, разрешенными справедливостью, разумом и законом, против любых попыток восстановить феодальный режим или воспроизвести принадлежащие ему титулы и качества; и, наконец, изо всех сил стремиться сохранить свободу и равенство".

Неудивительно, что трибунал, несмотря на недавнюю чистку его наиболее независимых членов, счел, что предлагаемый сейчас метод защиты ставит под угрозу свободу и равенство. Члены комитета резко раскритиковали этот план как уловку контрреволюции; но с робкой непоследовательностью, которая уже подтачивала их мужество, они приняли его пятьюдесятью шестью голосами против тридцати восьми, что они так точно оценили по результатам. Новый институт действительно превосходно подходил для укрепления власти Бонапарта. Опираясь на финансовую основу конфискованных земель, оно давало некоторую гарантию от реставрации старой монархии и феодальной знати; в то же время, стимулируя ту любовь к отличию и блеску, которая присуща каждому одаренному народу, оно незаметно начало выпускать общество и группировать его вокруг паладинов нового галльского рыцарства. Народ недавно сбросил власть старой франкской знати, но восхищение заслугами (главный источник всех почетных званий) дремало даже во времена Робеспьера; и его безумные репрессии во время террора теперь породили соответствующий энтузиазм по отношению ко всем командирским талантам. Этой неизбежной реакцией Бонапарт теперь умело воспользовался. Когда Берлье, один из

ведущих юристов Франции, возразил против нового порядка, как ведущего Францию обратно к аристократии, и презрительно сказал, что кресты и ленты были игрушками монархии, Бонапарт ответил:

"Что ж, людьми руководят игрушки. Я бы не сказал, что на трибуне, но на совете мудрецов и государственных деятелей следует высказывать свое мнение. Я не думаю, что французы любят свободу и равенство: французов несколько не изменили десять лет революции: они такие же, какими были галлы, свирепые и непостоянные. У них есть одно чувство — честь. Мы должны питать это чувство: у них должны быть отличия. Посмотрите, как они склоняются перед звездами незнакомцев ". ^[161]

После столь откровенного изложения мотивов своему собственному Государственному совету больше говорить не о чем. Нам не нужно приписывать Бонапарту или ораторам Трибуната какую-либо сверхчеловеческую проницательность, когда он и они предвидели, что такой приказ подготовит путь для более блистательных титулов. Орден Почетного легиона, по крайней мере, в его высших степенях, был высшей ступенью императорской *знати*. В конце концов, новый Карл Великий мог бы сослаться на то, что его новое творение удовлетворило врожденную жажду человечества и что его долговечность была лучшим ответом враждебным критикам. Даже когда в 1814 году его сенаторы предлагали корону Франции наследнику Бурбонов, они недвусмысленно оговорили, что орден Почетного легиона не должен быть упразднен: он пережил все потрясения французской истории, даже вульгарные ассоциации времен Второй империи.

То же качество почти пирамидальной прочности характеризует другое великое предприятие наполеоновского периода - кодификацию французского права.

Трудности этого предприятия заключались главным образом в огромной массе декретов, исходивших от Национальных собраний, касающихся политических, гражданских и уголовных дел. Многие из этих указов, порожденных сиюминутным энтузиазмом, нашли место в составленных тогда сводах законов; и все же проницательные наблюдатели знали, что некоторые из них боролись против инстинктов галльской расы. Это убеждение было выражено в резком заявлении составителей нового кодекса, в котором они апеллировали от идей Руссо к обычаям прошлого: "Новые теории - это всего лишь максимы определенных личностей: старые максимы отражают смысл веков". В этом изречении было много силы. Свержение феодализма и старой монархии не изменило окончательно характер Франции. Они были все теми же жизнерадостными, артистичными, любящими клан людьми, которых описывали латинские историки: и гордость за нацию или семью была так же тесно связана с уважением к отважному защитнику национальных и семейных интересов, как и во времена Цезаря. Регулятором этой римской или квазигалльской реакции должен был стать Наполеон; и никакая сфера его деятельности не свидетельствует о его безошибочной политической проницательности больше, чем то, что он просеивал старое и новое в великом кодексе, который впоследствии должен был носить его имя.

Старофранцузское право представляло собой запутанный лабиринт законов и обычаев, в основном римского и франкского происхождения, безнадежно запутанный феодальными обычаями, провинциальными привилегиями, церковными правами и более поздними

королевскими указами; и ни одна часть законодательства революционеров не встречала такого слабого сопротивления, как уничтожение этих раздражающих джунглей на корню. Их трудности начались только тогда, когда они попытались применить принципы прав человека к политическим, гражданским и уголовным делам. Главный из этих принципов, относящихся к уголовному праву, заключался в том, что закон может запрещать только действия, наносящие вред обществу, и должен налагать только те наказания, которые строго необходимы. К этим эпохальным заявлениям Ассамблея добавила в 1790 году, что за преступления следует наказывать только виновного человека, а не семью; и что наказания должны быть пропорциональны совершенным преступлениям. Последние два из этих принципов в последнее время были грубо нарушены, но общее умиротворение Франции теперь позволяло спокойно рассматривать весь вопрос уголовного права и его применения к нормальным условиям.

Права человека оказали большое влияние на гражданское право; но эти знаменитые декларации были в значительной степени нарушены в ходе последовавших гражданских беспорядков, и их применение к реальной жизни стало бесконечно более трудным из-за преобладания критических способностей над конструктивными, которые сводили на нет усилия революционных строителей Вавилона. Действительно, пыл этих энтузиастов был таков, что они едва ли видели какие-либо трудности. Таким образом, Конвент в 1793 году предоставил своему законодательному комитету всего один месяц на подготовку кодекса гражданского права. По истечении шести недель Камбасерес, докладчик комитета, фактически смог объявить, что документ готов. Он оказался слишком сложным. Другой комиссии было приказано реконструировать его: на этот раз Конвент обнаружил, что пересмотренное издание было слишком кратким. По приказу Директории были составлены два других проекта, но ни один из них не принес удовлетворения. И таким образом, Первому консулу предстояло осуществить то, что революционеры только начали, строя на фундаменте и из тех самых материалов, которые были подготовлены их десятилетним трудом.

У него было много других преимуществ. Рядом с ним был второй консул Камбасерес, обладавший огромным юридическим опытом и привычкой к покладистости, которые имели наивысшую ценность. Тогда также принципы личной свободы и социального равенства уступали место более автократическим принципам римского права. Теперь доминирующим был взгляд на жизнь воина, а не философа. Бонапарт назначил Тронше, Биго де Преаме и красноречивого и образованного Порталиса для редактирования кодекса. Неустанным трудом они завершили свой первый черновик за четыре месяца. Затем, после получения критических замечаний Кассационного суда и апелляционных трибуналов, дело было передано в Государственный совет для принятия решения его специальным комитетом по законодательству. Там он был подвергнут тщательному изучению несколькими экспертами, но, прежде всего, самим Бонапартом. Он председательствовал более чем на половине из 102 заседаний, посвященных этой критике; и заседаний продолжительностью в восемь или девять часов едва хватало, чтобы удовлетворить его нетерпеливое любопытство, его неустанную активность и его решительный практицизм.

Из записок Тибодо, одного из членов этого ревизионного комитета, мы получаем представление о роли, которую там сыграл Первый консул. Мы видим, как он внимательно прислушивается к дискуссиям юристов, подхватывает и сортирует нити мысли, когда казалось, что запутка неизбежна, и представляет результат в виде какой-нибудь поразительной

закономерности. Мы наблюдаем, как его методичный дух работает над громоздкой юридической фразеологией, облакая ее в ясный, пластичный французский. Мы ощущаем безошибочную проницательность, которая действовала как политический и социальный пробный камень, проверяя, одобряя или отвергая разнообразные детали, почерпнутые из старого французского права или из обычаев Революции; и, наконец, мы удивляемся архитектурному мастерству, которое свело 2281 статью Кодекса в почти неприступную кучу. Этот результат, конечно, во многом обусловлен мастерством и терпением трех главных редакторов: и все же в его сочетании силы, простоты и симметрии мы можем разглядеть проявление гения Наполеона над тем, что до сих пор было юридическим хаосом.

Некоторые блоки пирамиды почти полностью принадлежали ему. Он расширил сферу французского гражданства; прежде всего, он укрепил структуру семьи, повысив авторитет отца. Здесь его корсиканские инстинкты и требования государственного управления побудили его отменить большую часть законодательства революционеров. Их идеалом была свобода личности: его целью было установление общественного порядка автократическими методами. Они стремились превратить семью в маленькую республику, основанную на принципах свободы и равенства; но в новом кодексе отцовская власть вновь стала не менее строгой, хотя и менее суровой в некоторых деталях, чем при *старом режиме*. Отныне семья строилась по образцу господствующей в государстве идеи о том, что власть и ответственные действия принадлежат одному человеку. Отец контролировал поведение своих детей: его согласие было необходимо для вступления в брак сыновей до их двадцать пятого года, для вступления в брак дочерей до их двадцать первого года; и другие правила были составлены в том же духе. ^[162] Таким образом, во Франции был восстановлен институт семьи почти на римской основе; и эти обычаи, резко контрастирующие с внутренней анархией англосаксонской расы, оказали могучее влияние на формирование характера французов, как и других латинских народов, к податливости, которая приводит к готовому повиновению местным чиновникам, сержантам-строевикам и центральному правительству.

В других отношениях влияние Бонапарта на кодекс было столь же сильным. Он повысил возраст, в котором законно можно было вступить в брак, до восемнадцати лет для мужчин и пятнадцати для женщин, и предписал формулу послушания, которую невеста должна была повторять своему мужу, в то время как последний был обязан защищать и поддерживать жену.

^[163]

И все же в вопросе о разводе действия Бонапарта были достаточно двусмысленными, чтобы вновь пробудить опасения Жозефины; и у недоброжелателей великого человека есть некоторые основания заявлять, что его действия здесь были продиктованы личными соображениями. Другие также могут указать на заявления Национальных собраний Франции о том, что закон рассматривал брак просто как гражданский договор и что развод должен был стать логическим продолжением свободы личности, "которую аннулировали бы неразрывные узы". Бесспорно, что крайне распущенные нравы были результатом закона 1792 года, разрешавшего развод на основании простого заявления о несовместимости характеров. ^[164] Против этих скандалов Бонапарт решительно выступил. Но он не согласился с разработчиками нового Кодекса, когда они предложили полностью запретить развод, хотя такое предложение вполне могло показаться созвучным его рвению к Римскому католицизму. После долгих дебатов было решено сократить число причин, которые могли бы сделать развод возможным, с девяти до четырех — супружеская измена, жестокость, осуждение к унижающему достоинство наказанию и

взаимное согласие — при условии, что это последнее требование должно настойчиво выдвигаться по прошествии не менее двух лет брака, и ни в коем случае не должно быть действительным после двадцати лет совместной жизни. ^[165]

Здесь мы также можем заметить, что Бонапарт стремился придать акту усыновления большую торжественность, объявив его одним из самых грандиозных актов, которые только можно себе представить. Однако, чтобы не препятствовать браку, соблюдающие целибат были недвусмысленно лишены привилегий усыновления наследников. Эта предосторожность показывает, насколько проницательно этот способный правитель заглядывал в будущее. Несомненно, он предполагал, что в будущем население Франции перестанет увеличиваться нормальными темпами из-за действия закона, требующего равного раздела имущества между всеми детьми в семье. Этому закону он, безусловно, был против. Равенство в отношении наследования имущества было одной из священных максим революционных юристов, которые ограничили право свободного распоряжения по завещанию одной десятой каждого имущества: девять десятых по необходимости делились поровну между прямыми наследниками. Однако реакция в пользу римского принципа отцовской власти была настолько сильной, что Бонапарт и большинство составителей нового Кодекса не постеснялись подвергнуть критике этот принцип и потребовать для отца больших дискреционных полномочий по распоряжению своей собственностью. Они потребовали, чтобы располагаемая доля варьировалась в зависимости от состояния наследодателя — замечательное предложение, которое доказывает, что он совсем не такой непоколебимый поборник революционных правовых идей, каким его обычно изображают популярные французские историки.

Это предложение восстановило бы свободу завещания в ее наиболее пагубной форме, предоставив почти безграничные дискреционные полномочия богатым, в то же время ограничив или отказав в них бедным. ^[166] К счастью для его репутации во Франции, предложение было отклонено; и закон, принятый окончательно, установил располагаемую долю в размере половины имущества, если был только один наследник; одной трети, если было двое наследников; одной четвертой, если их было трое; и так далее, уменьшаясь по мере увеличения размера семьи. Эта скользящая шкала, изменяющаяся обратно пропорционально размеру семьи, вызывает очевидное возражение: она предоставляла свободу завещания только в тех случаях, когда семья была небольшой, но практически утратила силу, когда семья достигла патриархальных размеров. Естественным результатом стало то, что рождаемость во Франции подверглась серьезному и длительному сдерживанию. Кажется несомненным, что Первый консул предвидел этот результат. Его опыт крестьянской жизни, должно быть, предупредил его, что закон, даже с внесенными в него сейчас поправками, остановит население Франции и в конечном итоге приведет к тому [греч. *oliganthrôpia*], что подрывает все великие военные предприятия. Великий полководец делал все, что было в его силах, чтобы помешать французам вернуться к замкнутой национальной жизни; он стремился побудить их к всемирным начинаниям, и для успеха его будущих имперских планов избыточное население было абсолютной необходимостью.

Гражданский кодекс вступил в силу в 1804 году: после некоторых незначительных изменений и дополнений в 1807 году он был переименован в Кодекс Наполеона. Его положения уже в 1806 году были приняты в Италии. В 1810 году Голландия и недавно аннексированная береговая линия Северного моря вплоть до Гамбурга и даже Любека на Балтике получили его в качестве основы своих законов, как и Великое герцогство Берг в 1811 году. Косвенно он также оказал

огромное влияние на законодательство Центральной и Южной Германии, Пруссии, Швейцарии и Испании, в то время как многие государства Центральной и Южной Америки также позаимствовали его характерные черты.

Гражданско-процессуальный кодекс был обнародован во Франции в 1806 году, Кодекс торговли - в 1807 году, "Уголовное наставление" - в 1808 году и Уголовный кодекс - в 1810 году. За исключением того, что они были более реакционными по духу, чем Гражданский кодекс, здесь мало что заслуживает внимания, особенно Уголовный кодекс, демонстрирующий незначительный прогресс в уме или милосердии по сравнению с более старыми законами Франции. Даже в 1802 году чиновники предпочитали строгость после беспорядков предыдущих лет. Когда Фокс и Ромилли нанесли визит Талейрану в Париже, его секретарь сообщил им, что:

По его мнению, ничто не могло восстановить добрую мораль и порядок в стране, кроме "рутины и религии наших предков". Он знал, сказал он, что англичане так не думают, но мы ничего не знали об их народе. Фокс был глубоко потрясен идеей восстановления колеса в качестве наказания во Франции". ^[167]

Это ужасное наказание на самом деле не было восстановлено, но эта выдержка из дневника Ромилли показывает, каковы были настроения в официальных кругах Парижа и насколько сильной была реакция на старые идеи. Реакция, несомненно, была усилена влиянием Бонапарта, и примечательно, что Уголовный и другие кодексы, принятые во времена Империи, были более реакционными, чем законы Консульства. Тем не менее, даже будучи первым консулом, он оказал влияние, которое начало изгонять обычаи и традиции Революции, за исключением единственной сферы материальных интересов; и он удовлетворил любовь крестьян к земле и деньгам, чтобы более надежно восторжествовать над революционными идеалами и незаметно вернуть Францию к эпохе Людовика XIV.

Хотя законодатель всегда должен держать в резерве наказание как *ultima ratio* для беззаконников, он предпочтет образование как более мощное средство морализации; и, конечно, образование срочно нуждалось во внимании Бонапарта. Работы по претворению в жизнь великих образовательных целей Кондорсе и его помощников во Французском конвенте было достаточно, чтобы напрячь энергию Геркулеса. Эти пламенные реформаторы сделали немногим больше, чем расчистили почву для будущих действий: они отменили старое монастырское и духовное обучение и провозгласили создание щедрой системы национального образования в начальных, средних и продвинутых школах. Но среди раздоров и банкротств их цели остались невыполненными. В 1799 году в Париже было открыто всего двадцать четыре начальные школы с общей посещаемостью менее 1000 учеников; и в сельских округах дела обстояли не менее плохо. Действительно, Люсьен Бонапарт утверждал, что во Франции едва ли можно найти какое-либо образование. Хотя это утверждение и было преувеличением по отношению к среднему и высшему образованию, оно было практически справедливо в отношении начальных школ. Революционеры лишь наметили контуры схемы: Первому консулу оставалось дополнить детали или оставить их незаполненными.

Вряд ли этот результат можно назвать доказательством его образовательного рвения. Начальные школы были оставлены под контролем и надзором коммун и *су-префектов* и, естественно, мало продвинулись вперед среди апатичного населения и при чиновниках,

которые не стремились давить на дорогостоящее предприятие. Однако закон от 30 апреля 1802 года был направлен на улучшение среднего образования, которое Конвент пытался дать в своих *центральных школах*. Теперь они были преобразованы либо в *второстепенные школы*, либо в *лицеи*. Первые были местными или даже частными учебными заведениями, предназначенными для наиболее перспективных учеников коммуны или группы коммун; в то время как *лицеи*, гораздо меньшие по количеству, контролировались непосредственно правительством. В обеих этих школах большое внимание уделялось точным и прикладным наукам. Целью обучения было не пробуждение мысли и развитие способностей, а скорее воспитание способных добытчиков, послушных граждан и полных энтузиазма солдат. Обучение носило почти военный характер, ученики регулярно проходили муштру, а уроки начинались и заканчивались барабанным боем. Число *лицеев* и их учеников быстро увеличивалось; но прогресс средних и начальных школ, которые не могли похвастаться такими достопримечательностями, был очень медленным. В 1806 году только 25 000 детей посещали государственные начальные школы. Но два года спустя начальное и углубленное обучение получило заметный импульс с созданием Французского университета.

Нет учреждения, которое лучше раскрывало бы характер французского императора, с его исключительным сочетанием величия и ничтожества, широких целей с официальным педантизмом. Университет в том виде, в каком он существовал во времена Первой империи, представляет собой поразительный пример той мании контроля над общей волей, которой так привлекательно учили философы, а Наполеон с такой пользой практиковал. Это первый определенный результат желания подчинить образование массовым полковым методам и разрушить приюты культуры старого света с помощью государственных паровых плугов. Его цели были сформулированы таким образом:

"Мне нужен обучающий орган, потому что такой орган никогда не умирает, но передает свою организацию и дух. Я хочу организацию, чье учение намного выше сиюминутных причуд, продолжается даже тогда, когда правительство спит, и чья администрация и уставы становятся настолько национальными, что никто никогда не сможет легкомысленно вмешиваться в них.... В политике никогда не будет стабильности, если не будет преподавательского корпуса с неизменными принципами. До тех пор, пока люди с младенчества не узнают, должны ли они быть республиканцами или монархистами, католиками или скептиками, государство никогда не сформирует нацию: оно будет покоиться на ненадежных и зыбких основах, всегда подверженное изменениям и беспорядкам".

Таковы были замыслы Наполеона, и новый университет Франции превосходно соответствовал его целям. Это был не местный университет: это была совокупность всех государственных учебных заведений Французской империи, организованных и обученных в рамках одного обширного учебного комплекса. Начальные школы, средние учебные заведения, *лицеи*, а также более продвинутые колледжи - все были поглощены и контролировались этой великой педагогической корпорацией, которая должна была внедрять заповеди католической религии, верность императору и его правительству как гарантии благосостояния народа и единства Франции. В образовательных целях Франция теперь была разделена на семнадцать академий, которые стали местными центрами нового учебного заведения. Таким образом, в Париже и шестнадцати провинциальных академиях обучение было строго организовано и контролировалось; и за короткое время после его основания (март 1808 г.) обучение всех видов, включая обучение в начальных школах, показало некоторый прогресс. Но для всех тех, кто

считает развитие умственных и нравственных способностей главной целью истинного *образования*, простые эксперименты Песталоцци предлагают гораздо более наводящее на размышления и важное поле для наблюдений, чем казарменные методы французского императора. Швейцарский реформатор стремился приучить ум наблюдать, размышлять и мыслить; помочь способностям в достижении их наиболее полного и свободного выражения; и таким образом увеличить богатство и разнообразие человеческой мысли. Французская имперская система стремилась лишить всякой умственной независимости и обучить молодое поколение аккуратным и исправным *методам* шпалеризации: все подающие надежды побег, особенно в сфере морали и политических наук, были резко подрезаны. Следовательно, французская мысль, которая была самой яркой спекулятивной в Европе, быстро стала пресной и механической.

То же самое замечание почти справедливо и в отношении литературной жизни Первой империи. Вскоре она почувствовала на себе строгие методы императора. Поэзия и все другие способы выражения возвышенных мыслей и восторженных чувств требуют не только свободного выхода, но и естественного и ничем не стесненного окружения. Истинный поэт чувствует себя как дома в лесу или на горе, а не в чопорных *цветниках*. Философ видит наиболее ясно и рассуждает наиболее убедительно, когда его способности не ограничены необходимостью соблюдения политических правил и полицейских предписаний. А историк, когда он ограничен простым исследованием и перечислением фактов, без обращения к их значению, всего лишь жалкая птица, беспомощно хлопающая неравными крыльями.

И все же таковы были условия, в которых боролась и чахла французская литература. Ее поэты, группа, к сожалению, уже поредевшая после гильотины, пели принужденно и глухо, пока возвращение роялизма не породило империалистический пыл в трогательной лирике Беранже: ее философия была нема, а история Наполеона хромала на официальных костылях, пока Тьер поколением позже не написал свой монументальный труд. В области точных и прикладных наук, как и следовало ожидать, царствование императора украсили великолепные открытия; но если мы хотим найти хоть какую-то жизнеспособность в литературе того периода, мы должны встать в ряды не панегиристов, а оппозиции. Там, на страницах мадам де Сталь и Шатобриана, мы чувствуем биение жизни. Гений проявляет волю своей собственной врожденной силой, но его нельзя вытеснить, даже по приказу Наполеона. Тщетно он пытался стимулировать литературу реорганизацией института и присуждением десятилетних премий за главные работы и открытия десятилетия. В то время как наука процветала, литература чахла: и одно из его собственных замечаний относительно желательности публичной и полуофициальной критики какого-нибудь великого литературного произведения, кажется, указывает на причину этого интеллектуального недуга:

Публика заинтересуется этой критикой; возможно, она даже примет чью-либо сторону: это не имеет значения, поскольку ее внимание будет приковано к этим интересным дебатам: речь пойдет о грамматике и поэзии: вкус улучшится, и наша цель будет достигнута: *из этого выйдут поэты и грамматисты.*"

И вот случилось так, что, пока он спасал нацию от хаоса, а его орлы летели в Неаполь, Лиссабон и Москву, он не нашел ни одного оригинального мыслителя, достойного воспевать ему хвалу; и главные литературные триумфы его правления были одержаны Шатобрианом, которого он обнищал, и мадам де Сталь, которую он отправил в изгнание.

Таковы главные законы и обычаи, которые навечно связаны с именем Наполеона Бонапарта. В некоторых отношениях их можно охарактеризовать как способствующие прогрессу. Их установление придало Революции ту прочность, которой ей прежде недоставало. Среди такого "легковоспламеняющегося" народа, как французы, эпитет "Ste". Вполне возможно, что некоторые из главных гражданских завоеваний последнего десятилетия были бы потеряны, если бы Первый консул, по его собственному выразительному выражению, "не бросил туда несколько гранитных блоков". Мы можем усилить его метафору и утверждать, что из зыбкой гальки французской жизни он соорудил бетонный волнорез, в котором его собственная воля действовала как связующий цемент, бросая вызов бурям революционных или роялистских страстей, которые швыряли бессвязные атомы туда-сюда и уносили опустошение далеко вглубь страны. С тех пор Франция смогла строить свое будущее под прикрытием институтов, которые, несомненно, обладают одним высшим достоинством - долговечностью. Но в то время как главные гражданские и материальные завоевания Революции были таким образом увековечены, сам дух и жизнь этого великого движения были подавлены личностью и действиями Наполеона. Горячий энтузиазм в отношении прав человека угас, страсть к гражданскому равенству сохранилась лишь в виде невнятного призрака того, чем она была в 1790 году, а консолидация революционной Франции была осуществлена в результате процесса, почти похожего на окаменение.

И все же это время политической и интеллектуальной реакции во Франции было отмечено подъемом величайшего из ее современных институтов. В этом главный парадокс той эпохи. Хотя она была лишена литературной деятельности и подлинно гражданского развития, тем не менее ей не было равных в росте институтов. Обычно это характерно для эпох, когда человеческие способности, долгое время скованные неподобающими ограничениями, внезапно прорывают свои барьеры и буйствуют в весеннем приливе надежды. Время разочарования или отчаяния, которое обычно наступает вслед за этим, можно, как правило, сравнить с оцепенелым оцепенением зимы, несомненно необходимым в нашей человеческой экономике, но лишенным очарования и жизненной силы фазы экспансии. Действительно, часто его позорят характеристики раболепствующего населения, низкий эгоизм, безумное легкомыслие и подбострастное преклонение перед правителем, который распределяет *обеда и ужины*. Таков был ход многих политических реакций, начиная со времен вырождающихся Афин и императорского Рима и заканчивая упадком Флоренции времен Медичи и оргиями восстановленных Стюартов.

Плодотворность периода монархической реакции во Франции может быть главным образом приписана двум причинам, одной общей, другой личной; первая связана с Французской революцией, другая - с исключительными способностями Бонапарта. В своих попытках создать прочные институты революционеры потерпели неудачу: они предприняли слишком многое: они свергли старый порядок, предприняли крестовые походы против монархической Европы и стремились разработать конституции и перестроить глубоко взволнованное общество. Они лишь прорисовали очертания будущей социальной структуры. Здание, которое должно было быть воздвигнуто Директорией, почти не было построено из-за исключительной тупости новых правителей Франции. Но гений был рядом. Он восстановил порядок, он сплотил различные классы на своей стороне, он упорядочил местное самоуправление, он восстановил финансы и кредит, он восстановил религиозный мир и в то же время обеспечил крестьянам право

владения конфискованными землями, он вознаграждал заслуги социальными почестями и, наконец, он укрепил свое государственное устройство всеобъемлющим сводом законов, который сделал его краеугольным камнем ныне закругленной арки французской жизни.

Его методы в этой огромной работе заслуживают внимания: они сильно отличались от методов революционных партий после того, как лучшие дни 1789 года остались в прошлом.

Последователи Руссо работали по строгим *априорным* методам. Если институты и настроения не соответствовали принципам их учителя, они были сметены или были вынуждены привести их в соответствие с новым евангелием. Правильное знание "Социального контраста" и острый критический ум были главными предпосылками якобинской государственной мудрости. Знание истории Франции, способность оценивать реальную силу народных чувств, такт в согласовании важных интересов - все это одинаково презиравлось. Институты и классовые интересы были ничем по сравнению с этой внушительной абстракцией, общей волей. Только ради этого философы могли издавать законы, а фракции вступать в заговоры.

От этих возвышенных целей и вызывающих раздражение методов Бонапарт быстро отвык. Если победоносный анализ привел к этому; если он мог только разрушить, а не реконструировать; если, принимая законы в соответствии с общей волей, якобинцы преследовали один класс за другим и спровоцировали гражданскую войну, тогда долой их педантизм в пользу практического государственного управления, которое решало одну задачу за раз и стремилось, в свою очередь, вернуть отчужденные классы. Тогда, и только тогда, после восстановления гражданского мира, он попытался бы восстановить общественный порядок таким же пробным способом, сразу берясь только за тот или иной потертый конец, полагаясь на время, умение и терпение, чтобы превратить клубок в симметричный узор. И таким образом, там, где фейяны, жирондисты и якобинцы породили хаос, практичный человек и его умелые помощники преуспели в создании невыразимых очертаний. Что касается времени, когда в мозгу Бонапарта произошел переход от якобинизма к целям и методам, которые можно назвать консервативными, то мы, как ни странно, ничего не знаем. Но результаты этого ментального изменения будут очевидны для многих поколений в обычаях, законах и институтах страны, которую он принял. Если Революция, рассматриваемая интеллектуально, начиналась и заканчивалась анализом, способности Наполеона обеспечивали необходимый синтез. Вместе они создали современную Францию.

ГЛАВА XIII

С целью представления в четких очертаниях основных институтов наполеоновской Франции они были описаны в предыдущей главе отдельно от их политической обстановки. Теперь мы возвращаемся к рассмотрению событий, которые способствовали укреплению власти Бонапарта.

Ни один политик, привыкший к уловкам управления государством, не смог бы более твердо управлять общественными делами, чем человек, который практически начал свое политическое ученичество в Брюмере. Без видимых усилий он поднялся на ту высоту, с которой так бесславно пали пять директоров; и инстинктивно он сразу же избрал политику, которая единственная могла обеспечить Франции покой, - политику уравнивания интересов и партий. Поскольку его собственные политические взгляды были еще неизвестны, темные из-за чрезмерной яркости окружающей его славы, он мог изображать из себя примирителя противоборствующих фракций. Якобинцы были довольны, когда увидели, что цареубийца Камбасерес стал Вторым консулом; а друзья конституционной монархии вспомнили, что Третий консул Лебрен имел склонность к Фейянам 1791 года. Фуше в инквизиционном министерстве полиции и Мерлен, Берлье, Реаль и Буле де ла Мерт в Государственном совете казались препятствием для всех монархических планов; и поэтому якобинцы сохраняли спокойствие, даже когда католическое богослужение снова было публично совершено, вандейские мятежники были помилованы, а замышлявшие заговор *эмигранты* поступали на государственную службу.

Действительно, многие из видных террористов с выгодой устроились на должностях, которые Бонапарт распространил по всей Франции, и поэтому были немые; но некоторые из менее привилегированных, возмущенные скрытым продвижением автократии, плели заговор с целью свержения Первого консула. Главными среди них были хвастун по имени Демервиль, художник Топино Лебрен, скульптор Серакки и Арена, брат корсиканского депутата, который тряс Бонапарта за шиворот во время кризиса при Брюмере. Этим людям пришла в голову мысль, что с помощью одного человека действия они могли бы покончить с новым деспотом. Они открыли свои сердца офицеру по имени Харель, у которого не было ни гроша в кармане, уволенному из армии; и он сразу же сообщил эту новость личному секретарю Бонапарта Буррьену. Первый консул, узнав об этом, сразу же поручил Буррьену снабдить Хареля деньгами на покупку огнестрельного оружия, но не раскрывать секрет Фуше, о чьих двойных сделках с якобинцами он уже знал. Однако возникла необходимость сообщить ему о заговоре, который теперь тщательно вынашивался властями. Аресты планировалось провести в опере 10 октября. Примерно через полчаса после начала спектакля Бонапарт попросил своего секретаря выйти в вестибюль послушать новости. Буррьен сразу же услышал шум, вызванный несколькими арестами: он вернулся, доложил о случившемся своему хозяину, который немедленно вернулся в Тюильри. Заговор был окончен. ^[168]

За этим последовала более серьезная попытка. На третий день Нивоза (24 декабря 1800 г.), когда Первый консул ехал в оперу, чтобы послушать ораторию Гайдна "Сотворение мира", его карету потряс ужасающий взрыв. Бомба разорвалась между его каретой и каретой Жозефины, которая следовала за ним. Ни один из них не пострадал, хотя многие зрители были убиты или ранены. "Джозефина, - спокойно сказал он, когда она вошла в ложу, - эти негодяи хотели

взорвать меня: пошлите за экземпляром музыки". Но под этим хладнокровным поведением он лелеял решимость отомстить своим политическим врагам, якобинцам. На следующий день он появился на заседании Государственного совета вместе с министрами полиции и внутренних дел Фуше и Шапталем. Заговор Арены и другие недавние события, казалось, указывали на диких якобинцев и анархистов как авторов этого безобразия, но Фуше осмелился приписать это роялистам и Англии.

"В нем нет, - сразу заметил Бонапарт, - ни дворян, ни шуанов, ни священников. Это люди Сентября (*Septembriseurs*), негодяи, запятнанные кровью, вечно строящие козни сплоченной фалангой против каждого сменяющего друг друга правительства. Мы должны найти средства для скорейшего возмещения ущерба".

Члены Совета сразу же приняли это мнение, Редерер горячо заявил о своей открытой враждебности к Фуше из-за его предполагаемого пособничества террористам; и, если мы можем поверить словам Паскье, Талейран настаивал на казни Фуше в течение двадцати четырех часов. Бонапарт, однако, предпочел оставить при себе двух самых умных и сомнительных интриганов того времени, чтобы взаимно контролировать передвижения друг друга. Днем позже, когда Совет собирался возбудить специальное разбирательство, Бонапарт снова вмешался, заметив, что действия трибунала будут слишком медленными, слишком ограниченными: за столь гнусное преступление нужна была сигнальная месть, быстрая, как молния:

"Кровь должна быть пролита: столько же виновных должно быть расстреляно, сколько погибло невинных — около пятнадцати или двадцати человек — и двести изгнаны, чтобы Республика могла воспользоваться этим событием для самоочищения".

[стр.i305]

Этой политики теперь открыто придерживались. Напрасно некоторые члены обычно подобострастного Совета возражали против этой упрощенной процедуры. Редерер, Буле и даже сам Второй консул теперь поняли, насколько ничтожным было их влияние, когда они пытались изменить планы Бонапарта, и две секции Совета быстро решили, что должна быть создана военная комиссия для суда над подозреваемыми и "депортации" опасных лиц, и что правительство должно объявить об этом Сенату, Законодательному корпусу и трибунату. Общественное мнение, тем временем, было тщательно подготовлено официальной газетой "Монитор", в которой подробно описывались различные так называемые попытки анархизма; но все большее число представителей официальных кругов склонялось к убеждению Фуше, что эти беспорядки были делом рук роялистов, подстрекаемых Англией. Сам первый консул, спустя шесть дней после этого события, склонялся к этой версии. Тем не менее, на полном заседании Государственного совета в первый день 1801 года он представил список "130 злодеев, нарушавших общественный порядок", с целью применения к ним суммарного наказания. Тибодо, Буле и Редерер, запинаясь, выразили свои опасения, что, возможно, не все 130 человек виновны в недавних беспорядках и что Совет не имеет полномочий принимать решения о запрете в отношении отдельных лиц. Бонапарт сразу же заверил их, что он не консультируется с ними о судьбе отдельных лиц, а просто хочет узнать, считают ли они исключительную меру необходимой. Правительству оставалось только

"Убедительные предположения, а не доказательства того, что террористы были авторами этого покушения. *Шуанизм* и эмиграция - болезни внешние, терроризм - болезнь внутренняя. Меры следует принимать независимо от события. Это всего лишь повод для него. Мы изгоняем их (террористов) за массовые убийства 2 сентября, 31 мая, заговор Бабефа и все последующие попытки".^[169]

Вслед за этим Совет единогласно подтвердил необходимость исключительной меры и принял предложение Талейрана (вероятно, исходящее от Бонапарта) о том, что Сенату следует предложить объявить специальным решением, называемым *senatus consultum*, является ли такой акт "сохраняющим конституцию". Это устройство, которое избавляло от необходимости проводить закон через два менее подчиненных органа, трибунат и Законодательный корпус, было немедленно одобрено хранителями конституции. Это привело к далеко идущим результатам. Покладистый Сенат был низвергнут со своей конституционной сторожевой башни и превратился в орудие консулов; и таким образом, был ловко открыт легкий путь для дальнейших нововведений через те самые порталы, которые были предназначены для того, чтобы преградить им путь.

Немедленные результаты работы устройства были поразительными. Законом от 4 января 1801 года 130 видных якобинцев были "помещены под особое наблюдение за пределами европейской территории Республики" — благовидная фраза для обозначения смерти заживо среди пустошей Французской Гвианы или Сейшельских островов. Некоторым из тех, кому угрожали, удалось сбежать, возможно, благодаря попустительству Фуше; некоторые были отправлены на остров Олерон; но остальные были немедленно отправлены на муки плена в тропики. Среди них были такие разные личности, как Россиньоль, некогда бич Франции с его отрядом парижских головорезов, и Дестрем, чьим преступлением было яростное порицание Бонапарта при Сен-Клу. После того, как эта мера вступила в силу, в ходе судебного расследования было установлено, что якобинцы не имели никакого отношения к беспорядкам, которые были делом рук роялистов по имени Сен-Режан и Карбон. Они были схвачены и 31 января 1801 года казнены; но их судьба никак не повлияла на приговор депортированным якобинцам. Из тех, кого отправили в Гвиану и на Сейшельские острова, едва ли двадцать человек снова увидели Францию.^[170]

Поведение Бонапарта в отношении заговоров заслуживает пристального внимания. Никогда со времен Борджиа заговоры не использовались так искусно, так хитро противодействовали им. Более того, его поведение в отношении дел в Арене и Нивосе имело более широкое значение; ибо теперь он тихо, но твердо сменил политику уравнивания партий на политику, которая сокрушала крайних республиканцев и повышала значимость всех, кто мог одобрить или потворствовать установлению личного правления.

Теперь пришло время рассмотреть, какое влияние оказала внешняя политика Бонапарта на его положение во Франции. Оставляя для более поздней главы рассмотрение Амьенского мирного договора, мы можем здесь заметить тесную связь между дипломатическими успехами Бонапарта и продолжением его консульства. Все вдумчивые исследователи истории, должно быть, наблюдали искажающее влияние, которое война и дипломатия оказали на демократические институты. Эпоха Алкивиада, гибель Римской республики и многие другие примеры могут быть приведены, чтобы показать, что свободные институты могут с трудом выдержать напряжение обширной военной организации или коварные результаты

требовательной дипломатии. Но никогда пропасть между демократией и личным правлением не была преодолена так быстро, как благодаря полководческому гению Бонапарта.

События, вызвавшие отвращение Англии и Франции к войне, были описаны выше. Каждый противник парировал атаки другого. Удар, который Бонапарт нанес британской торговле своей восточной экспедицией, был сорван, и значительные французские силы оказались запертыми в Египте. Его план освободить свой голодающий гарнизон на Мальте путем заключения морского перемирия был доведен нами до конца; и после двухлетней блокады Валлетта пала (сентябрь 1800 г.). Но в то время как Великобритания восстановила более чем всю свою былую мощь в Средиземноморье, она не смогла произвести никакого впечатления на сухопутную мощь Франции. Первый консул в 1801 году вынудил Неаполь и Португалию отказаться от союза с Англией и исключить наши суда и товары. На севере результаты войны были в пользу островитян. Британский флаг снова победоносно развевался над Балтикой, и все попытки французов поднять и поддержать ирландское восстание потерпели явный провал. И все же приготовления Франции к вторжению в Англию истощили ресурсы нашей казны и терпение нашего народа. Изнурительная борьба, очевидно, вот-вот должна была зайти в тупик.

По политическим и финансовым причинам обе Державы нуждались в отдыхе. Авторитет Бонапарта еще не был настолько прочно основан, чтобы он мог позволить себе пренебречь молчаливым стремлением Франции к миру; его институты еще не пустили корни; и он нуждался в деньгах для общественных работ и колониальных предприятий. То, что в настоящее время он считал мир гораздо более желательным для Франции, чем для Англии, ясно из конфиденциального разговора, который он имел с Редерером в конце 1800 года. Этот блестящий мыслитель, перед которым он часто открывался, возразил на его замечание о том, что Англия не может желать мира; на что Первый консул произнес следующие запоминающиеся слова:

"Мой дорогой друг, Англии не следует желать мира, потому что мы хозяева мира. Испания наша. У нас есть плацдарм в Италии. В Египте мы возвращаемся к их пребыванию в должности. Швейцария, Голландия, Бельгия — это вопрос, решенный окончательно, по которому мы заявили Пруссии, России и императору, что *мы одни*, если бы это было необходимо, объявили бы войну всем, а именно, что в Голландии не будет Штатгальтеров и что мы сохраним Бельгию и левый берег Рейна. Штатгольдер в Голландии был бы так же плох, как бурбон в пригороде Сент-Антуан".^[171]

Этот отрывок примечателен не только откровенным изложением условий, на которых Англия и Континент могли бы заключить мир, но и тем, что он раскрывает заросли гордыни и амбиций, которые начинают преобладать над его мыслительными способностями. Еще до того, как он услышал известие о великой победе Моро при Гогенлиндене, он приравнивает военную мощь Франции к мощи остальной Европы; более того, он без тени сомнения претендует на господство над миром: он будет вести, если потребуется, двойную войну - против Англии за колониальную империю и против Европы за господство в Голландии и Рейнской области. Для него не имеет значения, что эти двойные усилия истощили Францию в правление Людовика XIV. и Людовика XV. Голландия, Швейцария, Италия станут французскими провинциями, Египет и Индия станут ее сатрапиями, и *великая нация* сможет тогда поживать на своей славе.

Если бы эти цели были известны в Вестминстере, министры сочли бы мир гораздо более вредным, чем войну. Но в то время как в Париже царили амбиции, тупой здравый смысл

диктовал политику Британии. По правде говоря, наш народ нуждался в отдыхе: мы находились на первых этапах промышленной революции: наша хлопчатобумажная и шерстяная промышленность переходила из коттеджей в фабрики; и большая часть нашего народа начинала собираться в грязных, плохо организованных городках. Население и богатство росли семимильными шагами; но вместе с ними пришли проблемы девятнадцатого века, связанные с расширением классовых различий и неопределенностью в сфере занятости. Запасов продовольствия часто не хватало, и в 1801 году цена пшеницы на лондонском рынке колебалась от 6 до 8 фунтов стерлингов за квартал; четверть буханки хлеба иногда продавалась по цене 1 шилл. 10-1/ 2d.^[172]

Состояние острова-побратима было еще хуже. Недовольство Ирландии было подавлено жестокими репрессиями, последовавшими за восстанием 1798 года; и узы, соединявшие две страны, были насильственно укреплены Актом о союзе 1800 года. Но отдых и реформы были срочно необходимы, если это политическое объединение должно было обрести прочную силу, а в отдыхе и реформах одинаково отказывали. Положение министерства в Вестминстере также было шатким. Противодействие Георга III. предложениям об освобождении католиков, к которым Питт считал себя обязанным честью, привело к отставке в феврале 1801 года этого способного министра. В следующем месяце Аддингтон, спикер Палаты общин, с самодовольством, порожденным полной тупостью, взялся занять его место. Сначала к министерству относились терпимо из-за учтивости нового премьера, но постепенно это переросло в презрение к его жалкой слабости перед лицом опасностей, угрожавших королевству.

Определенные неофициальные усилия во имя мира были предприняты в течение 1800 года французом М. Отто, которому было поручено отправиться в Лондон для переговоров с британским правительством об обмене пленными. По разным причинам его предварительные предложения относительно компромисса между воюющими сторонами не возымели действия, но он продолжал проживать в Лондоне и незаметно пытался добиться хорошего взаимопонимания. Вступление в должность министерства Аддингтона способствовало началу переговоров, новый министр иностранных дел лорд Хоксбери объявил о стремлении Его Величества к миру. Действительно, единственная надежда нового министерства и короля, который поддерживал его как единственную альтернативу католической эмансипации, была связана с делом мира. В следующей главе будет показано, насколько катастрофическими были результаты той странной политической ситуации, когда болезненно добросовестный король цеплялся за слабого Аддингтона и ставил под угрозу интересы Британии, вместо того чтобы принять сильного министра и определенную меру религиозного равенства.

Наполеон воспринял первые попытки Хоксбери, предпринятые 21 марта 1801 года, с плохо скрываемым презрением; но известие о победе Нельсона при Копенгагене и об убийстве царя Павла, последнее из которых вызвало у него крик ярости, положило конец его надеждам сокрушить нас; и теперь переговоры были официально начаты. 14 апреля Великобритания потребовала, чтобы французы эвакуировали Египет, в то время как она сама откажется от Менорки, но сохранит следующие завоевания: Мальту, Тобаго, Мартинику, Тринидад, Эссекибо, Демерару, Бербис, Цейлон и (немного позже) Кюрасоа; в то время как, если голландцам будет возвращен мыс Доброй Надежды, он должен был стать свободным портом: принцу Оранскому также должна была быть предоставлена компенсация за потерю его Нидерландов. Эти претензии были объявлены Бонапартом неприемлемыми. Он, со своей стороны, настаивал на

гораздо более невыполнимом требовании *status quo ante bellum* в Ост- и Вест-Индии и в Средиземноморье; что означало бы отказ не только от наших многочисленных морских завоеваний, но и от наших завоеваний в Индостане за счет владений покойного Типпу Сахиба. В последующие пять месяцев британское правительство добилося ряда заметных успехов в дипломатии и войне. Это разрешило споры, возникшие из-за Лиги вооруженного нейтралитета; были все шансы, что наши войска разгромят французские в Египте; и наш военно-морской флот захватил Сент-Юстас и Сабу в Вест-Индии.

В противовес нашим усилиям на море Бонапарт спровоцировал войну между Испанией и Португалией, чтобы последняя держава могла считаться "гарантией всеобщего мира". Испания, однако, просто вела "апельсиновую войну" и пришла к соглашению со своим соседом по Бадахосскому мирному договору от 6 июня 1801 года, по которому она получила небольшой пограничный округ Оливенца. Это далеко не соответствовало намерениям Первого консула. Действительно, его раздражение поведением Мадридского двора и покладистостью его брата Люсьена Бонапарта, который был там послом, было настолько велико, что он решил заставить Испанию нести тяжелую долю английских требований. 22 июня 1801 года он написал своему брату в Мадрид:

"Я уже уведомил англичан, что я никогда не отступлю в отношении Португалии от *ультиматума*, адресованного м. д'Араужо, и что *статус-кво до войны* для Португалии должен равняться для Испании возврату Тринидада; для Франции - возврату Мартиники и Тобаго; а для Батавии [Голландии] - возврату Кюрасоа и некоторых других небольших американских островов".^[173]

Другими словами, если Португалия по окончании этой разгоревшейся войны сохранит свои нынешние владения, то Англия должна отказаться от своих претензий на Тринидад, Мартинику, Тобаго, Кюрасо и т.д.: И он резюмировал свое утверждение в заявлении, что "подписывая этот договор, Карл IV. согласилась на потерю Тринидада". Дальнейшее давление на Португалию вынудило ее уступить Франции часть Северной Бразилии и выплатить ей 20 000 000 франков.

Еще более яркий свет на дипломатические методы Бонапарта проливает следующий вопрос, адресованный лорду Хоксбери 15 июня:

"Если предположить, что французское правительство согласится с договоренностями, предложенными Англией для Ост-Индии, и примет *статус-кво до войны* для Португалии, король Англии согласится на восстановление *статус-кво* в Средиземноморье и Америке".

Британский министр в своем ответе от 25 июня объяснил, что на самом деле означает фраза *status quo ante bellum* в отношении Средиземноморья. Это потребовало бы не только эвакуации Египта французами, но и эвакуации Королевства Сардиния (включая Ниццу), герцогства Тоскана и независимости остальной части полуострова. Он уже предлагал нам эвакуировать Менорку; но теперь он заявил, что, если Франция сохранит свое влияние в Италии, Англия предъявит права на Мальту в качестве компенсации за обширное расширение французского территориального влияния и для защиты английской торговли в этих морях: в остальном, британское правительство не может рассматривать сохранение целостности Португалии как эквивалент сдачи Великобританией своих вест-индских завоеваний, особенно с учетом того, что Франция приобрела дополнительные части Сан-Доминго. Тем не менее он предложил вернуть Тринидад Испании, если она восстановит Португалию в пограничной полосе Оливенцы; а 5 августа он сказал Отто, что мы откажемся от Мальты, если она станет независимой.

Между тем события в целом складывались благоприятно для Великобритании. Она заключила мир с Россией на выгодных условиях; и в Средиземном море, несмотря на первый успех, достигнутый французским адмиралом Линуа при Альхесирасе, второе сражение вернуло победу британскому флагу. Атака Нельсона на флотилию в Булони провалилась (15 августа). Но в конце августа французский командующий в Египте генерал Мену был вынужден согласиться на эвакуацию Египта своими войсками, которые должны были быть отправлены обратно во Францию на английских судах. Этого события ожидал Бонапарт, и секретная инструкция, которую он переслал Отто в Лондон, показывает тонкость его расчетов относительно преимуществ, которые получит Франция благодаря тому, что она получит известие, когда оно еще было неизвестно в Англии. Он приказал Отто назначить 2 октября на завершение переговоров:

Вы поймете важность этого, если подумаете о том, что Мену, возможно, не сможет продержаться в Александрии дольше первого числа Вандемьера (22 сентября); что в это время года ветры из Египта дуют попутные, и корабли достигают Италии и Триеста за очень немногие дни. Таким образом, необходимо подтолкнуть их [переговоры] к завершению до 10 Вандемьера".

Преимущества безответственного автократа в переговорах с министерством, зависящим от парламента, редко проявлялись более явно. Стремясь завоевать популярность и будучи не в состоянии остановить народное движение за мир, Аддингтон и Хоксбери уступили этой просьбе об определенном сроке; и предварительные условия мира были подписаны в Лондоне 1 октября 1801 года, за день до того, как туда пришло известие, что одно из наших требований стало бесполезным из-за фактической капитуляции французов в Египте. ^[174]

Главными условиями предварительных переговоров были следующие: Великобритания возвращала Франции, Испании и Батавской республике все их владения и колонии, недавно завоеванные ею, за исключением Тринидада и Цейлона. Мыс Доброй Надежды был возвращен голландцам, но оставался открытым для британской и французской торговли. Мальта должна была быть возвращена ордену Святого Иоанна и передана под гарантии и защиту третьей державы, что должно было быть согласовано в окончательном договоре. Египет вернулся под контроль Блистательной Порты. Существующие владения Португалии (то есть за исключением Оливенцы) были сохранены в неприкосновенности. Французы согласились ослабить свою власть над Неаполитанским королевством и римской территорией; в то время как британцы также должны были эвакуировать Порто-Феррайо (Эльба) и другие порты и острова, которые они удерживали в Средиземном и Адриатическом морях. Молодая Республика Семи островов (Ионические острова) была признана Францией, и рыболовство на побережьях Ньюфаундленда и прилегающих островов было восстановлено на прежнем уровне при условии соблюдения "таких договоренностей, которые будут казаться справедливыми и взаимовыгодными".

Было отмечено как знаковое проявление новой покорности Георга III, что пустой титул "король Франции", на который претендовали он и его предшественники, теперь был официально отменен, и *лилии* перестали появляться на королевском гербе.

Таким образом, за тремя исключениями, Великобритания уступила по всем важным пунктам с момента первого заявления о своих притязаниях; тремя исключениями были Тринидад и Цейлон, которые она получила от союзников Франции; и Египет, возвращение которого у французов уже было достигнуто, хотя в Лондоне об этом не знали. По всем деталям, кроме этих,

Бонапарт добился заметного дипломатического успеха. Его мастерство и упорство позволили восстановить Францию, Мартинику, Тобаго и Санта-Люцию, находившиеся тогда в руках Великобритании, а также французские базы в Индии. Единственными завоеваниями Великобритании после девяти лет войны, увенчавшихся морскими победами, но повлекшими за собой добавление 290 000 000 фунтов стерлингов к государственному долгу, были острова Тринидад и голландские владения на Цейлоне. И все же за шесть месяцев, проведенных в переговорах, общий ход событий был благоприятным для Северной державы. Чего же тогда не хватало? Конечно, не доблесть ее воинов и не удача ее флага, а просто сила ума ее правителей. У них было мало той дальновидности, мастерства и интеллектуальной отваги, без которых даже подвиги Нельсона не имеют постоянного эффекта.

Оставляя для рассмотрения в следующей главе вопросы, возникающие в связи с этими предварительными переговорами и заключенным в результате Амьенским миром, мы переходим теперь к рассмотрению их влияния на положение Бонапарта в качестве первого консула. Восстановление мира после изнурительной войны всегда приветствуется; и все же патристичный британец, увидевший, что Государственный долг вырос более чем вдвое, без соответствующего увеличения земель или влияния, не мог не сравнить разницу в судьбе Франции. Эта Держава теперь достигла границы с Рейном; ее войска разместили гарнизоны в крепостях Голландии и Северной Италии; ее вождь диктовал свою волю немецким князьям и некогда свободным швейцарцам; в то время как Мадридский двор, более того, сам Вечный город, подчинялся его приказам. И вся эта чудовищная экспансия была осуществлена без видимых затрат для самой Франции, поскольку счет победителей был в значительной степени оплачен за счет ресурсов завоеванных территорий. Это правда, что ее дворяне и духовенство понесли ужасные потери в землях и сокровищах, в то время как ее торговые круги жестоко ощутили стремительное падение стоимости ее бумажных билетов: но в стране, наделенной плодородной почвой и климатом, такие потери быстро возмещаются, и подписание мира с Англией сделало Францию сравнительно процветающей. В октябре Первый консул также заключил мир с Россией и пришел к дружескому соглашению с царем по итальянским делам и вопросу о контрибуциях для изгнанных немецких князей.^[175]

Теперь Бонапарт стремился расширить колонии и торговлю Франции - тема, к которой мы вернемся позже, - и развить ее внутренние ресурсы. Главные дороги были отремонтированы и перестали находиться в том плачевном состоянии, в котором их оставила отмена *барщины* в 1789 году; были прорыты каналы, соединившие главные речные системы Франции, или были значительно улучшены; и Париж вскоре извлек выгоду из строительства каналов Шельда и Уаза, которые сделали ресурсы Бельгии легко доступными для центра Франции. Порты были углублены и расширены, и перед Марселем открылись золотые перспективы процветания, которые вскоре были закрыты возобновлением войны с Англией. Коммуникациям с Италией способствовало улучшение дороги между Марселем и Генуей, а также путей, ведущих через перевалы Симплон, Мон-Сени и Мон-Женевр: дороги, ведущие к Рейну и вдоль его левого берега, также свидетельствовали о желании Первого консула не только расширить торговлю, но и защитить свою естественную границу на востоке. Результаты этого строительства дорог были видны во время Ульмской кампании, когда французские войска прошли маршем от Булони до Шварцвальда с беспрецедентной скоростью.

Пэрис, в частности, почувствовала его восстанавливающую руку. Резким, решительным тоном, который он приобретал все больше и больше по мере достижения абсолютной власти, он однажды сказал Шапталю в Мальмезоне:

"Я намерен сделать Париж самой красивой столицей мира: я желаю, чтобы через десять лет в нем проживало два миллиона человек". "Но, - возразил его министр внутренних дел, - нельзя импровизировать с численностью населения... в нынешнем виде Париж едва ли прокормил бы один миллион"; и он привел в пример нехватку хорошей питьевой воды. "Каковы ваши планы по снабжению Парижа водой?" Шаптал предложил две альтернативы — артезианские скважины или доставку воды из реки Урк в Париж. "Я принимаю последний план: отправляйтесь домой и прикажите пятистам человекам завтра же приступить к работе в Ла Виллетте по рытью канала".

Таково было начало большой общественной работы, которая обошлась более чем в полмиллиона фунтов стерлингов. Снабжению Парижа также уделялось пристальное внимание: большой запас пшеницы всегда находился под рукой для удовлетворения потребностей "населения, которое опасно только тогда, когда оно голодно". Поэтому Бонапарт настаивал на хранении и продаже кукурузы в больших количествах и по очень низкой цене, даже если это приводило к значительным потерям.^[176] Но помимо снабжения *pariet* он также обеспечивал *тиражи* в масштабах, неизвестных даже во времена Людовика XV. Государственная помощь в основном предоставлялась главным театрам, где сам Бонапарт был частым посетителем и добровольным пленником чар актрисы мадемуазель. Жорж.

Благоустройство Парижа было, однако, главным средством, использовавшимся Бонапартом для отлучения его населения от политики; и его усилия с этой целью вскоре увенчались полным успехом. И здесь события Революции вновь расчистили поле для масштабных работ по реконструкции, которые были бы невозможны, если бы не упразднение многих монастырских учреждений старого Парижа. На местах, где жили знаменитые Фейяны и якобинцы, или поблизости от них он теперь проложил великолепные магистрали; и там, где десять лет назад бесчинствовали конституционалисты или красные, теперь модный парижский мир катался в золоченых кабриолетах по улицам, названия которых напоминали итальянские и египетские триумфы Первого консула. Искусство и культура преклонились перед правителем, приказавшим отремонтировать Лувр, который теперь стал сокровищницей живописи и скульптуры, пополнившейся шедеврами, взятыми из многих итальянских галерей. Ни одно предприятие не способствовало более заметному укреплению положения Парижа как столицы мировой культуры, чем объединение художественных ценностей страны Бонапартом в центральном и великолепном здании. В первый год своей империи Наполеон отдал приказ о строительстве обширных галерей, которые должны были соединить северный павильон Тюильри с Лувром и сформировать великолепный фасад новой улицы Риволи. Несмотря на дороговизну, работа продолжалась до тех пор, пока внезапно не была остановлена падением Империи и не была оставлена для завершения племяннику великого человека. Хотя, как утверждает Шаптал, возможно, что первоначальный проект был направлен на создание центральной крепости, все же для всех любителей искусства, прежде всего для поклоняющегося героям Гейне, новый Лувр был верным залогом бессмертия Наполеона.

Другими работами, сочетавшими красоту с полезностью, были расширение набережных вдоль левого берега Сены, строительство трех мостов через эту реку, благоустройство Ботанического сада вместе с другими парками и открытыми пространствами и завершение строительства

Консерватории искусств и профессий. Позднее военный дух Империи получил яркую иллюстрацию в возведении Вандомской колонны, Триумфальной арки и освящении или осквернении Мадлен как храма славы.

Многие из этих работ были сделаны после рассматриваемого нами периода; но предприятия императора отражают замыслы Первого консула; а планов благоустройства Парижа, составленных во время консульства, было достаточно, чтобы внушить парижанам живую благодарность и отвлечь их от политических спекуляций к зрелищам великолепия и веселья, напоминавшим дни Людовика XIV. Если мы можем верить свидетельству Ромилли, посетившего Париж в 1802 году, новая политика уже тогда достигла своего конца.

"Тихий деспотизм, который предоставляет каждому, кто не желает вмешиваться в политику (а в настоящее время мало у кого есть такое желание), полное и безопасное пользование своей собственностью и своими удовольствиями, является своего рода раем по сравнению с волнениями, постоянными тревогами, сценами позора и кровопролития, которые сопровождали мнимые свободы Франции".

Но, признавая материальные выгоды правления Бонапарта, тот же "друг свободы" с беспокойством отмечает:

"В том, что он [Бонапарт] мечтает снискать новые лавры на войне, вряд ли можно сомневаться, если слухи о его беспокойном и нетерпеливом нраве правдивы".

Как бы сильно ни восхищался народ этим новым *режимом*, многие пылкие души, которые осмелились и многого достигли в священных поисках свободы, не могли удержаться от протеста против нововведений, восстанавливавших личное правление. Хотя прессе заткнули рот, хотя целых тридцать два департамента подверглись проверке специальных трибуналов, которые под видом искоренения разбоя часто наказывали противников правительства, тем не менее голос критики не был полностью заглушен. Проект Конкордата встретил резкое противодействие в Трибунате, который также осмелился заявить, что первые разделы Гражданских кодексов не соответствовали принципам 1789 года и первому проекту кодекса, представленному Конвенту. Вслед за этим правительство отказалось направлять Трибунату какие-либо важные меры, а просто предоставило им для обсуждения массу мелких деталей, поскольку "*кости нужно было обглодать*", пока не придет время для обновления по жребию пятой части его членов. Во время дискуссии в Государственном совете Первый консул с большой откровенностью намекнул на методы, которые следует применить для подавления фракционной оппозиции трибуната:

"Нельзя работать с институтом, столь порождающим беспорядок. Конституция создала законодательную власть, состоящую из трех органов. Ни одна из этих ветвей не имеет права самоорганизовываться: это должно быть сделано по закону. Поэтому мы должны создать орган, который организует работу этих трех ветвей. Трибунал должен быть разделен на пять секций. Обсуждение законов будет происходить тайно в каждой секции: можно даже ввести дискуссию между этими секциями и секциями Государственного совета. Публично будет выступать только репортер. Тогда все пойдет своим чередом".

Высказав это мнение, с *кафедры* он отбыл (7 января 1802 г.) в Лион, чтобы там получить верховную власть в восстановленной Цизальпинской, или, как ее теперь называли, Итальянской Республике^[177]

Вернувшись в конце месяца, сияющий блеском своего нового сана, он смог подчинить Трибунат и *Легислатурный* корпус своей воле. Продление их членства на одну пятую часть послужило возможностью подчинить их более сговорчивому сенату. Это авторитетное собрание высокооплачиваемых членов, занимающих пожизненные должности, имело право назначать новых членов; но до сих пор выбывающие члены выбирались по жребию. Редерер, действуя по намеку временно исполняющего обязанности Второго консула, теперь предложил в Государственном совете, чтобы выбывающие члены этих палат отныне назначались Сенатом, а не по жребию; ибо принцип жребия, как он причудливо настаивал, был враждебен праву избрания, которое принадлежало Сенату. Против такой сознательной софистики все стрелы логики были безвредны. Вопрос остался нерешенным, с тем чтобы Сенат мог немедленно заявить о своем собственном праве ежегодно определять не только выборы в трибунат и *Законодательный корпус*, но и исключения из них. *Консультант сената* от марта узаконил это чудовищное нововведение, которое привело к исключению из Трибуната таких ревностных республиканцев, как Бенджамин Констант, Иснард, Ганиль, Дауну и Шенье. Вливание кандидатов в сенаторы привело к полному аннулированию этих органов; и трибунат, прямой потомок ужасного Конвента, был заткнут ртом и связан в течение восьми лет после того, как могучий голос Дантона смолк.

В те дни, когда гражданское рвение было сильной стороной Французской Республики, простое предположение о подобном нарушении свободы стоило бы оратору жизни. Но с приходом к власти Бонапарта гражданские чувства уступили место воинскому духу и безграничной гордости за национальную славу. Всякий раз, когда чувства республиканцев были задеты, находилось достаточно отвлекающих факторов, чтобы рассеять любые мрачные размышления, которые так искренне не нравились Бонапарту; и событие международного значения теперь заставляло умолкать голоса политической критики.

Подписания окончательного мирного договора с Великобританией (25 марта 1802 г.) было достаточно, чтобы заглушить глухое недовольство старой республиканской партии гимнами национальной радости. Ликование было естественным. В то время как лондонцы роптали по поводу жертв, которые повлекла за собой робость Аддингтона, вся Франция гремела похвалами дипломатическому мастерству, которое смогло спасти несколько островов из тисков Англии и в то же время обеспечить французское господство на Континенте. Это событие, казалось, требовало какого-то знака благодарности нации восстановителю мира и процветания. Тактичный Камбасерес намекнул некоторым членам Трибуната, и это теперь послушное собрание выразило пожелание, чтобы это был яркий знак национальной благодарности; и Сенат обратился с соответствующим предложением к *Законодательному корпусу* ана самому правительству.

Форма, которую должен был принять национальный мемориал, была оставлена совершенно расплывчатой. При обычных обстоятельствах результатом стала бы колонна или статуя: для Наполеона это была монархия.

У Сената были большие сомнения относительно подходящего курса действий. Большинство высказалось за продление консульства на второй десятилетний срок, и 7 мая было внесено

официальное предложение на этот счет. Против этого выступили немногие, некоторые из которых требовали продления срока на всю жизнь. Президент Тронше, по настоянию Фуше и других республиканцев, постановил, что на рассмотрении Сената находится только вопрос о продлении консульства еще на один десятилетний срок; и предложение было поддержано шестьюдесятью голосами против одного: несогласным был голос жирондиста Ланжуина. Сообщение об этом голосовании привело Первого консула в замешательство, но он ответил с некоторой сдержанностью, что, поскольку народ доверил ему высшую магистратуру, он не будет уверен в его доверии, если нынешнее предложение не будет также одобрено его голосованием: "Вы считаете, что я обязан народу принести еще одну жертву: я принесу ее, если голос народа прикажет то, что теперь санкционирует ваш голос". Но до того, как было проведено массовое голосование народа, в само предложение было внесено важное изменение. Было хорошо известно, что Бонапарт был недоволен предложением сенаторов, и на специальном заседании Государственного совета, на котором присутствовали министры, Второй консул настаивал на том, что теперь они должны решить, как, когда и *по какому вопросу* следует консультироваться с народом. Таким образом, весь вопрос, недавно урегулированный Сенатом, был вновь открыт таким образом, что проиллюстрировал преимущество увеличения числа советов и сохранения их под официальной опекой. Присутствующие министры утверждали, что народ не одобряет временные ограничения, введенные Сенатом; и после некоторого обсуждения Камбасерес добился решения, что консультации с народом должны проводиться по вопросам, должен ли Первый консул сохранять свою власть пожизненно и должен ли он назначить своего преемника.

На последнюю часть этого предложения Первый консул ответил взвешенным отказом. Советоваться с народом по поводу восстановления монархии было бы пока столь же несвоевременным, сколь и излишним. Получив полную власть, Бонапарт мог быть вполне уверен в установлении наследственных прав. Таким образом, первая и менее оскорбительная часть предложения была представлена народу; и к ней мог быть только один вопрос среди процветания, принесенного миром, и надзора, осуществляемого префектами и благодарным духовенством, теперь возвращенным Конкордатом. За Пожизненное консульство проголосовало подавляющее большинство из более чем 3 500 000 голосов "за" против 8 374 "против". Но среди этих несогласных было много уважаемых имен: среди военных Карно, Друо, Мутон и Бернар выступили против нововведения; и Лафайет сделал публичное заявление, что он не может голосовать за такую магистратуру, если не будет гарантирована политическая свобода. *Консультативный сенат* от 1 августа немедленно провозгласил Наполеона Бонапарта пожизненным консулом и приказал воздвигнуть статую мира, держащую в одной руке лавр победителя, а в другой сенаторский декрет.

На следующий день Наполеон — ибо отныне он обычно пользовался своим христианским именем, как и другие монархи, — представил Государственному совету проект органического закона, который фактически представлял собой новую конституцию. Самого факта его представления в столь ранний срок достаточно, чтобы доказать, насколько тщательно он подготовился к недавним изменениям и насколько твердо был уверен в успехе. Эта важная мера была поспешно проведена через Сенат и, не будучи представлена трибунату или *Законодательному корпусу*, а тем более народу, о санкции которого он недавно так заботился, была объявлена основным законом государства.

Пятую конституцию революционной Франции можно описать следующим образом. Она началась с изменения методов выборов. Вместо списков знаменитостей, составленных Сийесом, Бонапарт предложил более простой план. Отныне взрослые граждане каждого кантона должны были встречаться в избирательных целях на первичных собраниях, чтобы назвать двух кандидатов на должность *судьи мира* (то есть магистрата) и члена городского совета, а также выбирать членов "коллегий выборщиков" для *округа* и Департамента. В последнем случае право на участие имели только 600 самых богатых мужчин Департамента. Этим коллегиям выборщиков должен был быть придан официальный или аристократический оттенок путем вливания членов, выбранных Первым консулом из числа кавалеров ордена Почетного легиона. Неизменность взглядов обеспечивалась также пожизненными членами парламента; и поскольку они были избраны в разгар энтузиазма, вызванного Амьенским миром, они были решительно бонапартистами.

Коллегии выборщиков обладали следующими полномочиями: они выдвигали по два кандидата на каждое вакантное место в чисто консультативных советах своих соответствующих областей и имели столь же бесплодную честь представлять двух кандидатов в Трибунал — окончательный акт *отбора* принимается исполнительной властью, то есть Первым консулом. Соответствующие привилегии были предоставлены коллегиям выборщиков Департамента, за исключением того, что эти плутократические органы имели право представлять кандидатов для приема в Сенат. Списки кандидатов в *Корпус Législatif* were to be formed by the joint action of the electoral colleges, namely, those of the Departments and those of the *arrondissements*. Но поскольку возникшие в результате советы и парламентские органы обладали лишь тенью власти, весь аппарат был всего лишь внушительной машиной для просеивания воздуха и молотбы плевел.

Первый консул получил несколько дополнительных прав или атрибутов, за исключением осуществления королевской прерогативы помилования. Но, по правде говоря, его собственные силы были уже настолько велики, что их едва ли можно было расширить. Три консула занимали свои должности пожизненно и были *по должности* членами сената. Второй и третий консулы были выдвинуты Сенатом по представлению Первого консула: сенат может отклонить два имени, предложенные им на любую должность, но они должны принять его третью кандидатуру. Первый консул может сдать на хранение в Государственный архив свое предложение относительно своего преемника: если Сенат отклонит это предложение, то второй и третий консулы внесут предложение; и если оно будет отклонено, один из двух, кого они затем назовут, должен быть избран Сенатом. Три законодательных органа потеряли практически все свои полномочия, полномочия *Законодательного корпуса* перешли к Сенату, полномочия Государственного совета - к официальной Кликке, сформированной из него; в то время как трибунал был вынужден *проводить тайные дебаты в пяти секциях*, где, как заметил Бонапарт, *они могли болтать, что им заблагорассудится*.

С другой стороны, атрибуты Сената были значительно усилены. Отныне на него возлагалась обязанность не только сохранять республиканскую конституцию, но и толковать ее в спорных пунктах и дополнять везде, где в ней обнаруживались недостатки. Кроме того, посредством органического *консультативного сената* он был уполномочен принимать конституции для французских колоний или приостанавливать суд присяжных на пять лет в любом департаменте или даже объявлять его выходящим за рамки конституции. Теперь он получил право на консультации по вопросам ратификации международных договоров, которым ранее пользовался *Законодательный корпус*. Наконец, он мог бы распустить *Законодательный*

корпус и трибунат. Но этот грозный механизм находился под строгим контролем главного инженера: все эти полномочия приводились в действие по инициативе правительства; и предложения по его законам, или *senatus consulta*, обсуждались в Тайном совете Государственного совета, назначенном Первым консулом. Правитель, менее внимательный к деталям, чем Наполеон, мог бы счесть эту предосторожность излишней; состав Сената был таков, что обеспечивал его гибкость; ибо, хотя он продолжал обновлять свои ряды путем кооптации, эта привилегия была ограничена следующим образом: из списков кандидатов в Сенат, присланных коллегиями выборщиков департаментов, Наполеон выбирал троих на каждое вакантное место; один из этих троих должен быть выбран Сенатом. Более того, первому консулу должно было быть разрешено непосредственно назначать сорок членов в дополнение к восьмидесяти, предусмотренным конституцией 1799 года. Таким образом, прямыми или косвенными путями Сенат вскоре превратился в строгий наполеоновский заповедник, к которому могли стремиться только самые преданные приверженцы. И все же, такова тщета человеческих усилий, именно этот орган двенадцать лет спустя должен был проголосовать за его низложение. ^[178]

Победа действия над разговорами, исполнительной власти над законодательной, одного в высшей степени способного человека над разношерстным и беспомощным множеством была теперь полной. Процесс был поразительно быстрым, и все же нетрудно проследить его основные этапы. Ораторы первых двух Национальных собраний Франции, после крушения старой королевской власти, были вынуждены под давлением событий доверить надзор за исполнительной властью важным комитетам, функции которых возрастали по мере усиления национальной опасности. Посреди агонии 1793 года, когда Франции угрожала Первая коалиция, Комитет общественной безопасности выступил как обескровленный защитник демократии; и по мере того, как кризис набирал силу, этот ужасный орган и Комитет общей безопасности фактически управляли Францией.

После отпора захватчикам и падения Робеспьера возврат к обычным методам был отмечен учреждением Директории, когда пять человек, избранных законодательным собранием, контролировали исполнительную власть и общую политику Республики: этот компромисс был насильственно прерван инсультом Брюмера. Затем три консула взяли бразды правления в свои руки, а два года спустя один возничий вершил судьбы Франции. Фактически, его полномочия в конечном итоге были унаследованы от полномочий тайных комитетов террористов. Но, в отличие от превосходства Робеспьера, превосходство Наполеона не могло быть оспорено; ибо генерал, охраняя все материальные блага, дарованные Революцией, примирял интересы и классы, которые гражданское население так жестоко попирало. Таким образом, новая автократия обладала солидной силой, которой террористы никогда не могли обладать. Действительно, она была более абсолютной, чем диктаторская власть, описанная Руссо. Философ утверждал, что, заставляя замолчать законодательную власть, диктатор на самом деле озвучивает ее, и что он может делать все, кроме принятия законов. Но Наполеон после 1802 года сделал гораздо больше: он подавлял дебаты и в то же время добивался принятия законов от подчиненного ему законодательного органа. Независимо от того, рассматриваем ли мы его практическое значение для Франции и Европы или ограничиваем наш взгляд умственной пронизательностью и неукротимой силой воли, необходимыми для его достижения, триумф Наполеона в течение трех лет после его возвращения из Египта является самым грандиозным в истории цивилизованных народов.

Население утешало себя в связи с потерей политической свободы великолепием праздника, возвестившего о присвоении титула пожизненного Первого консула, провозглашенного 15 августа: этот день также запомнился как тридцать третий день рождения Первого консула, праздник Успения Пресвятой Богородицы и годовщина ратификации Конкордата. Украшения и фейерверк были достойны такого замечательного стечения обстоятельств. Высоко на одной из башен Собора Парижской Богоматери сияла огромная звезда, а в центре ее сиял знак Зодиака, который оказал свое влияние на первые часы его жизни. Мириады зрителей, смотревших на эту родовую эмблему, вполне могли подумать, что звезда его жизни сейчас в зените. Мало кто мог осмелиться подумать, что ему суждено подняться гораздо выше, в неизведанные глубины космоса, сверкая как зловещее предзнаменование для королей и народов; еще меньше было крика обреченности Кассандры относительно его окончательного стремительного падения в океанские просторы. Все были полны радости и ликования по поводу карьеры, которая даже сейчас превзошла рекорды античного героизма, в которой романтика восточной доблести сочеталась с благотворными трудами законодателя, и она одинаково преуспевала и в войну, и в мир.

И все же черная забота бросала тень на этот ликующий праздник. В жизни Первого консула была пустота, которая опечалила лишь немногих из миллионов крестьян, которые смотрели на него как на своего спасителя. Жена не родила ему наследника, и, казалось, не было никакой надежды на то, что его собственное дитя когда-нибудь унаследует его славное наследие. Семейные радости, казалось, были не для него. Подозрения и пререкания были его уделом. Его братья, в своем лихорадочном желании основать бонапартистскую династию, неустанно настаивали на том, чтобы он изыскал средства, чтобы обеспечить себя законным наследником, в последнем случае разведясь с Жозефиной. Из уважения к ее чувствам, что делает ему честь, Наполеон отказался одобрить подобную процедуру. И все же несомненно, что с этого времени он не забывал о желательности развода с ней по политическим соображениям и использовал это в качестве предлога для любовных утех, против которых слезы и упреки Жозефины были напрасны.

Укрепление личного правления, учреждение ордена Почетного легиона и возвращение очень многих дворян-эмигрантов на условиях недавней амнистии способствовали росту роскоши в столице и придворному этикету в Тюильри и Сен-Клу. В этих дворцах тщательно копировалась пышность *старого режима*. Генерал Дюрок, каким бы чопорным республиканцем он ни был, получил назначение управляющим дворцом; под его началом находились камергеры и дворцовые префекты, которые обеспечивали соблюдение церемониала, который из всех сил старался быть монархическим. Великолепные ливреи и роскошные одежды времен правления Людовика XV. быстро заменили военную форму, которую носили даже гражданские лица при воинственной республике. Высокие сапоги, сабли и полковые головные уборы уступили место туфлям с пряжками, шелковым чулкам, придворным рапирам и легким шляпам, последние обычно держали под мышкой. Трехцветные кокарды были отброшены вместе с революционным жаргоном, которым пользовались *ты* и *гражданин* каждый; и мужчины начали очищать свою речь от некоторых непристойных терминов, которые преследовали клубы и лагеря.

Однако было отмечено, что первый консул все еще придерживался термина "*гражданин*" и что среди удивительных сочетаний цветов, которыми был украшен его Двор, он обычно носил только форму полковника гренадерского полка или легкой пехоты консульской гвардии. Такое поведение было вызвано отчасти его ранней неприязнью к роскоши, но отчасти, несомненно,

убежденностью в том, что республиканцы многое простят человеку, который, подобно Веспасиану, отказывается от величия, завоеванного его доблестью, и блистает самой своей простотой. Подобным пустякам Наполеон всегда придавал большое значение, ибо, как он сказал адмиралу Малькольму на острове Святой Елены: "Во Франции пустяки - великие дела, разум - ничто".^[179] Кроме того, гениям, столь властным, сколь угодно мало, требовались внешние атрибуты, с помощью которых обычные смертные скрывают свое ничтожество. Если бы его одежда была простой, это только лучше подчеркивало игру его подвижных черт и насыщенный, неизменный поток его разговора. Возможно, миру никогда не было дано более ясного и приятного описания его внешности и поведения на приеме, чем этот набросок великого человека в период его более мягкого настроения, сделанный Джоном Лесли Фостером, посетившим Париж вскоре после заключения Амьенского мира:

"Он около пяти футов семи дюймов ростом, изящно сложен; его темно-каштановые волосы коротко подстрижены, тонкие и вислые; цвет лица гладкий, бледный и землистый; глаза серые, но очень живые; брови светло-каштановые, тонкие и выступающие. Все его черты, особенно рот и нос, тонкие, резкие, очерченные и неописуемо выразительные; выражающие что? В нем нет ничего *персикового*, каким его изображали гравюры, и еще меньше - чего-либо *механического*; и нет в нем ничего от того взгляда, изгиб которого внушает благоговейный трепет миру. Истинное выражение его лица - приятная меланхолия, которая всякий раз, когда он говорит, сменяется самой приятной и милостивой улыбкой, которую вы только можете себе представить. К этому вы должны добавить видимость глубокой и напряженной задумчивости, но прежде всего преобладающее выражение - выражение спокойной решимости и бесстрашия, которые ничто человеческое не могло бы вывести из равновесия. Его речь - лучшая из всех, что я когда-либо видел, и произнесена теми, кто путешествовал, чтобы превзойти не только всех ныне существующих принцев и властителей, но даже всех тех, чья память дошла до нас. В нем больше неподдельного достоинства, чем я мог себе представить в человеке. Его обращение - самое мягкое и располагающее, какое только можно себе представить, и подкрепляется величайшим запасом светской беседы, которым, я полагаю, когда-либо обладал какой-либо человек. Он говорит обдуманно, но очень бегло, с особым акцентом и довольно низким тоном. Пока он говорит, черты его лица все еще более выразительны, чем его слова".^[180]

По контрасту с этой интеллектуальной мощью и подобающей простотой одежды, какими глупыми и безвкусными были стайки бездушных женщин и бессловесные группы полурученых солдат! Какими же пресными были правила этикета и старшинства, которые чопорили мужчин и будоражили умы их жен! И все же, с непринужденной грацией воспаряя над этими правилами, Первый консул жестко навязывал их толпе нетерпеливых придворных. В этих животрепещущих вопросах он обычно прислушивался к совету г-на де Ремюза, чей такт и знакомство с придворными обычаями сослужили теперь большую службу; в то время как жизнерадостный ум его молодой жены привлекал Жозефину, как и всех читателей ее пикантных, но довольно язвительных мемуаров. На ее страницах мы мельком видим жизнь этого необычного Двора; попытки подражать неподражаемым манерам *старого режима*; напыщенное ничтожество второго и третьего консулов; безвкусное великолепие костюмов; намеренное избегание любого слова, которое подразумевало хотя бы малую образованность или отдаленное знакомство с политикой; нервную озабоченность настроениями и прихотями Наполеона; изящные манеры Жозефины, которые редко не могли очаровать его, за исключением тех случаев, когда она сама была возмутительно пренебрегала каким-то мимолетным фаворитом; прежде всего свинцовой скучностью беседы, которая вынудила Шаптяля признаться, что жизнь там была жизнью

галерного раба. И если мы ищем скрытую причину, по которой правитель, в высшей степени наделенный силой ума и свежестью, должен был выдержать столь сложный маскарад, мы находим ее в его поразительно откровенном признании мадам де Ремюза: *К счастью, французами правят благодаря их тщеславию.*

ГЛАВА XIV

АМЬЕНСКИЙ МИР

Предыдущая глава была посвящена в основном внутренним делам Франции и завершению правления Наполеона: иностранных дел она касалась лишь постольку, поскольку демонстрировала тесную связь между дипломатической победой Первого консула над Англией и его триумфом над республиканской конституцией в принятой им стране. Но сейчас пришло время пересмотреть ход переговоров, которые привели к заключению Амьенского мирного договора.

Чтобы осознать преимущества, которые Франция тогда имела перед Англией, будет полезно кратко рассмотреть состояние нашей страны в то время. Наше население было намного меньше, чем во Французской Республике. Франция, с ее недавними приобретениями в Бельгии, Рейнской области, Савойе, Ницце и Пьемонте, насчитывала почти 40 000 000 жителей: но данные переписи населения Великобритании за 1801 год показали в общей сложности только 10 942 000 душ, в то время как цифры по Ирландии, исходя из довольно ненадежных данных за 1813 год, могут составлять около шести с половиной миллионов. Поразительный рост населения, говорящего по-английски, еще не начался в полной мере ни на родине, в Соединенных Штатах, ни в маленьких и испытывающих трудности поселениях Канады и Австралии. Его будущее расширение должно было быть обеспечено промышленными и социальными причинами, а также событиями, рассмотренными в этой и последующих главах. Это был маленький народ, который в течение нескольких месяцев неустрашимо противостоял гигантской мощи Бонапарта и вооруженных нейтралов.

Это население численностью менее 18 000 000 душ, из которых почти треть открыто возмущалась Актом объединения, недавно введенным в Ирландии, было обременено Государственным долгом, который составлял 537 000 000 фунтов стерлингов и влек за собой ежегодные расходы в размере более 20 000 000 фунтов стерлингов. В годы войны с

революционной Францией ежегодные расходы возросли с 19 859 000 фунтов стерлингов (на 1792 год) до 61 329 000 фунтов стерлингов, что потребовало уплаты подоходного налога в размере 10 процентов. при всех доходах от 200 фунтов стерлингов и выше. И все же, несмотря на партийные распри, нация никогда не была сильнее, а ее флоты никогда не одерживали более блестящих и солидных побед. Главный военно-морской историк Франции признает, что мы захватили не менее 50 линейных кораблей и потеряли нашими врагами только пять, тем самым увеличив численность нашей боевой линии до 189 человек, в то время как численность Франции сократилась до 47. ^[181] Доблесть сэра Артура Уэлсли также начала возрождать в Индии древний блеск британского оружия; но события 1802-1803 годов показали, что наша промышленная предприимчивость и подвиги наших моряков и солдат сами по себе были малоэффективны в дипломатическом противостоянии огромным ресурсам Франции и воплощенной мощи Наполеона.

Люди и учреждения повсюду несли на себе отпечаток его воли. Франция была подобна воску под его гением. Правители Испании, Италии и Германии подчинились его указу. Даже упрямые голландцы склонились перед ним. Под предлогом победы над оранжевыми интригами он ввел новую конституцию в Батавской республике, независимость которой он согласился уважать. Его Директория была теперь заменена Регентством, которое освободило народных депутатов от всякой ответственности. На *плебисците* было подано 52 000 голосов против и 16 000 за новый режим; но, поскольку 350 000 человек не проголосовали, их молчание было принято за согласие, и воля Бонапарта стала законом (сентябрь 1801 г.).

Теперь мы в состоянии оценить позицию Франции и Великобритании. До подписания предварительных условий мира в Лондоне 1 октября 1801 года наше правительство отказалось от своих притязаний на Капскую капю, Мальту, Тобаго, Мартинику, Эссекибо, Демерару, Бербис и Кюрасоа, сохранив за собой из своих завоеваний только Тринидад и Цейлон.

Действительно, была предпринята запоздалая попытка удержать Тобаго. Французский политический агент в Лондоне М. Отто убедил премьер-министра и министра иностранных дел лорда Хоксбери поверить, что в ходе последующих переговоров в Амьене французское правительство предоставит все возможности для возврата долга нам и что этот акт будет рассматриваться как средство компенсации Великобритании огромных расходов на содержание многих тысяч французских и голландских заключенных. Кабинет министров, полагаясь на это обещание как на обязательное для исполнения между благородными людьми, вслед за этим попытался заручиться согласием Георга III. к предварительным переговорам в их окончательной форме, и только перспектива вернуть Тобаго с помощью этого компромисса побудила короля пойти на это. Когда было слишком поздно, король и министры осознали свою ошибку, полагаясь на устные обещания и не сумев добиться письменного заявления. ^[182]

Отказ министров от своих прежних притязаний на Мальту не менее странен. Нельсон, хотя и считал Мальту бесполезной в качестве базы для британского флота, наблюдающего за Тулоном, сделал запоминающееся заявление: "Я считаю Мальту самым важным форпостом Индии". Но депеша из Санкт-Петербурга, в которой говорилось, что новый царь заключил официальный союзный договор с орденом Святого Иоанна, обосновавшимся в России, возможно, убедила Аддингтона и его коллег в том, что было бы лучше отказаться от всех претензий на Мальту, чтобы укрепить недавно завоеванную дружбу с Россией. Какими бы ни были их мотивы, британские

министры согласились уступить остров рыцарям Святого Иоанна под защитой какой-то третьей силы.

Предварительные условия заключения мира были также примечательны тремя странными упущениями. Они не предусматривали возобновления предыдущих мирных договоров между покойными комбатантами. Считается, что война нарушает все предыдущие договоры; и, не потребовав возобновления договоров 1713, 1763 и 1783 годов, Испания и Франция теперь могли закрепить, хотя и в новой форме, тот Семейный договор, расторгнуть который долгое время было целью британской дипломатии: неспособность возобновить эти более ранние договоры позволила Мадридскому двору отчуждать любую из своих колоний Франции, как в то самое время было решено в отношении Луизианы.

Второе упущение было столь же примечательным. Не упоминалось ни о каком возобновлении торговых отношений между Англией и Францией. Несомненно, полное урегулирование этого вопроса было бы затруднительным. Британские купцы стремились бы к возобновлению этого просвещенного торгового договора 1786-17 годов, который вызвал ожесточенное противодействие французских промышленников. Но этот вопрос мог быть поднят в Лондоне, и его исключение из предварительных условий послужило причиной для включения его в окончательный договор — глупость, которая сразу же вызвала самое суровое осуждение со стороны британских промышленников, которые тем самым потеряли рынки Франции и подвластных ей государств, Голландии, Испании, Швейцарии, Генуи и Этрুরии.

И, наконец, условия мира не предусматривали никакой компенсации ни для французского королевского дома, ни для изгнанного Дома Оранских. И здесь было бы очень трудно найти такое вознаграждение, которое бурбоны могли бы с достоинством принять; и предложение, сделанное одним из изгнанников-роялистов лорду Хоксбери, чтобы Великобритания захватила Крит и передала его им, покажет, насколько отчаянным было их положение.^[183] Тем не менее, правительству, которое так часто заявляло о своей приверженности делу легитимизма, следовало предпринять определенные усилия. Еще более вопиющим было отсутствие какого-либо условия о выплате компенсации Оранскому дому, ныне изгнанному из Батавской республики. Это утверждение, хотя и выдвигалось с самого начала, не нашло места в предварительных выступлениях; и смешанное удивление и презрение, испытываемые в *салонах* Парижа по поводу поведения британского правительства, показано в полуофициальном отчете, отправленном оттуда одним из его секретных агентов:

"Я не могу взять в толк, что британское министерство действовало добросовестно, подписываясь на предварительные условия мира, которые, учитывая соответствующую позицию сторон, были бы вредны для английского народа.... Люди во Франции убеждены, что умеренность Англии - это всего лишь ловушка, расставленная на пути Бонапарта, и главным образом для того, чтобы развезть ее, наши журналы получили приказ широко использовать преимущества, которые должны достаться Англии от удерживаемых ею завоеваний; но журналисты никого не убедили, и открыто говорится, что если наши европейские завоевания будут закреплены всеобщим миром, Франция в течение десяти лет подчинит всю Европу, включая Великобританию, несмотря на все ее обширные владения в Индии. Только в последние несколько дней здешние люди поверили в искренность английских предварительных мирных условий, и они повсюду говорят, что после славного плавания мимо скал, которые хитроумный Бонапарт расставил на своем пути, британское министерство полностью потерпело крушение у

входа в гавань. Люди обвиняют всю структуру мира как проявление слабости во всем, что касается достоинства и интересов короля; ... и мы не можем извинить его пренебрежение к роялистам, чьи интересы полностью отодвинуты в сторону на предварительном этапе. Люди особенно поражены возвращением Англии Мартиники без единого условия для тамошних колонистов, которые находятся во власти правительства, столь же алчного, сколь и непостоянного. Все владельцы колониальной собственности очень встревожены и не скрывают своего раздражения против Англии на этот счет". ^[184]

Этот интересный репортаж дает представление о реальном образе жизни Парижа, что редко удается прирученной или продажной прессе. Поскольку шпионы Бонапарта позволяли ему чувствовать каждое биение французского пульса, он должен был сразу увидеть, насколько велик был престиж, завоеванный им этими первыми дипломатическими успехами, и насколько ненадежной была позиция английских министров на скользкой ступени уступок, на которую их заманили. Аддингтону, несомненно, следовало помнить, что только сильный человек может с самого начала безопасно отступить, и что акт уступки, исходящий от властного ума и интерпретируемый как акт благородного великодушия, будет с презрением вырван из слабонервной руки как знак робкой уступчивости. Но публичные заявления и тайные признания наших лидеров показывают, что они хотели "провести мирный эксперимент" теперь, когда Франция вернулась к обычным политическим условиям и якобинство было обуздано Бонапартом. "Возможно, - писал Каслри, - Франция, удовлетворенная своими недавними приобретениями, обнаружит, что ее интересуется та система внутреннего совершенствования, которая неизбежно связана с миром". ^[185] Нет причин сомневаться в искренности этого заявления. Наша политика была явно и постоянно уступчивой: Франция вернула себе свои колонии: от нее не требовали ухода из Швейцарии и Голландии. Кто мог ожидать, исходя из того, что было тогда известно о характере Бонапарта, что мир, столь чреватый славой и выгодой, не удовлетворит честь Франции и его собственное честолюбие?

Таким образом, мир был "экспериментом". Британское правительство желает ли Франция свою очередь, от революции и войны в сельском хозяйстве и торговле, то ли ее молодой правитель подлежат удовлетворению с позиции величия и твердой власти, таких как Людовик XIV. редко пользовались. Увы! провал эксперимента был очевиден всем, за исключением самых вялых оптимистов, задолго до того, как Лондонские предварительные договоренности оформились в окончательный Амьенский мирный договор. Целью Бонапарта теперь было заставить наше правительство строго соблюдать временные условия мира, которые оно неосторожно подписало. Еще до начала переговоров в Амьене он приказал Жозефу Бонапарту не слушать никаких предложений, касающихся короля Сардинии и бывшего штатгальтера Голландии, и заявил, что "внутренние дела Батавской республики, Германии, Гельвеции и итальянских республик" были "абсолютно чужды переговорам с Англией". Это подразумевало, что Англия должна была быть исключена из континентальной политики и что Франция должна была регулировать дела центральной и южной Европы. Это соблюдение буквы было, однако, менее строгим там, где на карту были поставлены колониальные и морские интересы Франции. В сторону моря были пущены ловкие щупальца, и только когда они были отброшены, французские переговорщики вернулись к своим предварительным переговорам.

Задача свести эти статьи к окончательному договору была возложена с британской стороны на маркиза Корнуоллиса, подагрического, измученного жизнью старого солдата, которого запомнили главным образом благодаря капитуляции, положившей конец войне в Америке. Тем

не менее, он повсюду снискал уважение своей личной честностью в управлении делами Индии, и, должно быть, также были какие-то убедительные качества в личности, которые вызвали у Наполеона на острове Святой Елены замечание: "Я не верю, что Корнуоллис был человеком первоклассных способностей, но он обладал талантом, большой честностью, искренностью и никогда не нарушал своего слова.... Он был человеком чести — настоящим англичанином.

Против лорда Корнуоллиса и его гораздо более способного секретаря, мистера Мерри, были настроены Жозеф Бонапарт и его секретари. Способности старшего из Бонапартов были сильно недооценены. Хотя ему не хватало властности и широких полномочий своего второго брата, все же в Люневиле Жозеф проявил себя способным дипломатом, а позже, находясь у власти в Неаполе и Мадриде, проявил немалые административные способности. Более того, его такт и доброта разжигали во всех, кто его знал, теплоту дружбы, какую редко вызывали более суровые качества Наполеона. Одного любили как мужчину; к другому даже его прежние знакомые испытывали восхищение и преданность, но к ним всегда примешивался определенный страх перед полубогом, который иногда вспыхивал. Это была ужасная личность, которая побуждала Талейрана и Жозефа Бонапарта к максимальным усилиям и закаляла их против любой нежелательной уступчивости в Амьене.

Избрание такого достопочтенного человека, как Корнуоллис, давало немалую гарантию искренности нашего правительства, и его искренность выдержит проверку при ознакомлении с его депешами. Изучив все те, которые касаются этих переговоров, автор настоящего письма может утверждать, что официальные инструкции ни в коем случае не были изменены секретными предписаниями: они касались лишь таких деликатных и личных тем, как эвакуация Ганновера прусскими войсками и выплаты компенсаций Оранскому и Савойскому домам. Обстоятельства этих двух лишенных собственности династий были объяснены таким образом, чтобы показать, что бывший голландский штатгальтер имел очень серьезные права на нас, а также на Францию и Батавскую республику; в то время как победа Савойского дома со стороны царя оправдала притязания этого древнего рода на вмешательство Георга III. менее прямые и личные, чем у принца Оранского. Действительно, Англия настояла бы на включении соответствующего пункта в предварительные соглашения, если бы в Берлине не были приняты другие меры, которые обещали выплатить надлежащую компенсацию этому несчастному принцу. Несомненно, мотивы британских министров были благими, но их неспособность включить такой пункт фатально повлияла на их позицию на протяжении всех переговоров в Амьене.

Официальное заявление Великобритании в отношении Мальты было четким и практичным. Остров должен был быть возвращен рыцарям ордена Святого Иоанна и передан под защиту третьей державы, помимо Франции и Англии. Но восстановление Порядка было не менее трудным, чем выбор сильной и бескорыстной державы-покровительницы. Лорд Хоксбери предложил, чтобы Россия была державой-гарантом. Никакое предложение не могло быть более разумным. Претензии царя на протекторат ордена были так недавно подтверждены договором с рыцарями, что никакое другое заключение не казалось возможным. И, чтобы смягчить недовольство островитян и укрепить правление рыцарей, британское министерство пожелало, чтобы уроженцы Мальты закрепились в новой конституции. Отсутствие гражданских и политических прав внесло столь существенный вклад в свержение Порядка, что никакое восстановление этого разрушенного организма нельзя было бы считать разумным или даже честным, если бы оно не объединяло его интересы с интересами коренных мальтийцев. Первый

консул, однако, сразу же отклонил оба этих предложения. В ходе длительного интервью с Корнуоллисом в Париже, ^[186] он указал на опасность усиления морского давления России в вопросах Средиземноморья, тем более что ее суверены "в последнее время показали себя такими неустойчивыми политиками". Это, конечно, относилось к английским наклонностям Александра I. И ясно, что раздражение Бонапарта Александром было первым тревожащим фактором, помешавшим решению мальтийского вопроса. Первый консул также признал Корнуоллису, что король Неаполя, несмотря на его давние претензии на сюзеренитет над Мальтой, не может считаться удовлетворительным гарантом в отношениях между двумя Великими державами; и затем он предложил разрубить этот клубок, взорвав укрепления Валлетты.

Простое предположение о таком акте служит красноречивым доказательством трудностей, с которыми связан весь этот вопрос. Разрушение сооружений огромной протяженности, которые были оплотом христианского мира против берберийских пиратов, практически означало бы передачу Валлетты этим вредителям Средиземноморья; а с Мальты как новой базы операций они могли бы распространить опустошение вдоль берегов Сицилии и Италии. Это было возражение, которое Корнуоллис сразу же выдвинул против благовидного с другой точки зрения предложения: недавно он получил документы от генерал-майора Пиго на Мальте, в которых подробно рассматривалось то же самое решение вопроса. Британский офицер указал, что полный демонтаж укреплений обнажил бы остров и, следовательно, побережье Италии перед разбойниками; тем не менее, он предложил частичный снос, который, по-видимому, доказывает, что британские офицеры, командовавшие на Мальте, не рассматривали возможность удержания острова и нарушения мира.

Наше правительство, однако, не одобряло разрушение укреплений Валлетты, поскольку это ущемляло чувствительность царя и никоим образом не делало невозможным захват острова и реконструкцию этих сооружений каким-либо будущим захватчиком. Фактически, поскольку британское министерство теперь стремилось прежде всего к поддержанию хороших отношений с царем, предложение Бонапарта можно было рассматривать только как хитроумный прием для разрыва англо-русского взаимопонимания. Французский посланник в Санкт-Петербурге делал все возможное, чтобы предотвратить *сближение* царя с Сент-Джеймским двором, и стремился возродить умирающую лигу вооруженных нейтралов. Это последнее предложение было "отклонено самым безапелляционным образом и в выражениях, почти граничащих с насмешкой". Тем не менее были основания полагать, что прежние англо-русские споры по поводу Мальты могут быть настолько возобновлены, что приведут Бонапарта и Александра к взаимопониманию. Сентиментальный либерализм молодого царя предрасполагал его к союзу с Францией, и все его расположение склоняло его к блестящему оппортунизму Парижа, а не к холодной легитимности Сент-Джеймского двора. Мальтийское дело и возможность возобновления рассмотрения Восточного вопроса были двумя источниками надежды для сторонников франко-русского союза; ибо оба эти вопроса взывали к рыцарской любви к приключениям и расчетливому честолобию, столь странным образом присущему натуре Александра. Таким образом, таков был мотив, который, несомненно, побудил Бонапарта сделать предложение относительно Валлетты; таковы также были причины, которые, безусловно, продиктовали его отклонение Великобританией.

В его беседе с Первым консулом в Париже и в ходе последующих переговоров в Амьене с Жозефом Бонапартом вопрос о Тобаго и денежных требованиях Англии для содержания

французских военнопленных был признан не менее сложным, чем вопрос о Мальте. Бонапарты решительно отвергли предложение Англии о сохранении Тобаго вместо ее денежного требования. Правительство, которое пренебрегло включением своих претензий на Тобаго в число Предварительных условий Лондона, конечно, не могло надеяться вернуть себе этот остров в обмен на уступку Франции, которая была в какой-либо степени спорной. Но оба Бонапарта и Талейран теперь придерживались исключительно предварительных условий и вежливо отмахнулись, с одной стороны, от более ранних обещаний М. Отто как несанкционированных и недействительных, они также внимательно изучили требование Великобритании о выплате компенсации за содержание французских военнопленных. Хотя теоретически он был верен, он вызывал возражения, на которые Бонапарт и Талейран настаивали с учтивой, но язвительной иронией. Они предположили, что иск должен быть рассмотрен в связи со встречным иском, который вскоре должен быть направлен из Парижа, о содержании всех пленников, взятых французами из различных сил, субсидируемых Великобританией, обвинение, которое "вероятно, не настолько изменило бы баланс в пользу Его [британского] Величества, на что, возможно, надеялось Его правительство". Этот ответ был не так страшен, как казалось, поскольку большая часть бумаг, необходимых для составления французского встречного иска, была утеряна или уничтожена во время Революции. Тем не менее, угроза возымела полное действие на Корнуоллиса, который впоследствии назвал британские претензии "безнадежным долгом".^[187] Чиновники с Даунинг-стрит проводили различие между пленными из армий, которым мы просто субсидируем, и пленными, взятыми у иностранных вооруженных сил, фактически находящихся под нашим контролем; но ясно, что Корнуоллис перестал настаивать на этом. Фактически, британским делом плохо управляли от начала до конца: счета за содержание французских и голландских военнопленных были, в первую очередь, неправильно составлены; и, по-видимому, практически не было представления о серьезности встречного иска, который произвел эффект залпа замаскированной батареи, разрушительный как для нашей дипломатической репутации, так и для нашей надежды удержать Тобаго.

Невозможно сослаться здесь на все темы, обсуждавшиеся в Амьене. Решимость французского правительства проводить прогрессивную колониальную и океаническую политику ясно видна в его предложениях, сделанных в конце 1801 года. Ими были: (1) отмена приветствия британскому флагу в открытом море; (2) *абсолютное* владение восточным и западным побережьями Ньюфаундленда в обмен на предлагаемую уступку нам островов Сен-Пьер и Микелон, что практически уступило бы Франции *под полным суверенитетом* все лучшие рыбопромысловые побережья этой земли со всеми перспективами заселения внутренних районов в обмен на два островка, опустошенных войной, а затем оказавшихся в британских руках; (3) право Франции на долю в китобойном промысле в этих морях; (4) создание французской рыболовной станции на Фолклендских островах; и (5) расширение французских округов вокруг городов Янаон и Маэ в Индии.^[188] Всем этим требованиям лорд Корнуоллис противопоставил непреклонное сопротивление. Какой бы слабой ни была наша политика в других делах, она была тверда как скала во всех морских и индийских вопросах. Фактически, события, которые будут описаны в следующей главе и которые привели к консолидации британской власти в Индостане, по всей вероятности, никогда бы не произошли, если бы не опасения, вызванные этими французскими требованиями; и наш властный проконсул в Бенгалии, маркиз Уэлсли, не смог бы осуществить свои дерзкие и дорогостоящие планы завоевания, аннексии и принудительных союзов, если бы

планы Первого консула не сыграли на руку солдатам в Калькутте и не ослабили протесты охотников за дивидендами с Лиденхолл-стрит.

Настойчивые требования Франции усилить влияние на Ньюфаундленде, Вест-и Ост-Индии, масштабность ее экспедиции на Сан-Доминго и плохо завуалированные планы ее австралийской экспедиции (о которых мы расскажем в следующей главе) - все это пробудило подозрения британского правительства. В результате переговоры продвигались, но медленно. С самого начала им мешали подозрения в недобросовестности. Испания и Голландия, страдая от условий мира, который принес Франции всю славу, а ее союзникам - все потери, откладывали отправку своих послов на конференции в Амьене и, наконец, заявили о своей решимости сопротивляться сдаче Тринидада и Цейлона. На самом деле, пришлось оказать давление со стороны Парижа и Лондона, прежде чем они смирились с неизбежным. Это затруднение было лишь одним из нескольких: тогда оставался вопрос, следует ли допустить Португалию и Турцию к участию в договоре, как того требовала Англия, или же им следует подписать сепаратный мир с Францией. Первый консул настойчиво настаивал на исключении этих государств, хотя их интересы были жизненно затронуты нынешними переговорами, он видел, что отдельный договор с Блистательной Портой позволил бы ему не только добиться ценных торговых уступок в торговле на Черном море, но и укрепить хорошее взаимопонимание с Россией по Восточному вопросу, который теперь искусно возобновлялся французской дипломатией. Великобритания решительно, но тщетно протестовала против исключения Турции из переговоров в Амьене. Фактически Талейран связал Порту отдельным соглашением, которое обещало все для Франции и ничего для Турции и, казалось, обрекало Возвышенную Порту на определенное унижение и возможный раздел. ^[189]

Затем возникли острые вопросы о возмещении убытков, которых требовал Георг III. для Оранского и Савойского домов. В своей беседе с Корнуоллисом Бонапарт пылко пообещал сделать все возможное для бывшего штатгальтера, хотя и отказался рассматривать дело короля Сардинии, который, по его утверждению, оскорбил его, обратившись к царю. Территориальные интересы Франции в Италии, несомненно, были более весомым аргументом для первого консула: практически аннексировав Пьемонт и установив господство на полуострове, он с трудом мог смириться с присутствием на материке короля, которым он уже пожертвовал ради своей проницательной и умелой политики. Случай с принцем Оранским был иным. Он стал жертвой триумфа французского и демократического влияния в голландских Нидерландах. Георг III. почувствовал глубокий интерес к этому несчастному принцу и решительно воззвал к лучшим инстинктам Бонапарта от его имени. Действительно, вполне вероятно, что Англия согласилась на укрепление французского влияния в Гааге в надежде, что ее покладистость побудит первого консула обеспечить ему какое-нибудь положение, достойное столь древнего Дома. Но хотя Корнуоллис настаивал на Батавской республике от имени ее изгнанного вождя, все же рассмотрение вопроса было окончательно отложено XVIII пунктом окончательного Амьенского мирного договора; и отпрыску этого знаменитого дома пришлось внести свой вклад в предстоящую борьбу за клерикальные владения Германии. ^[190]

Для еще более трудного дела Савойского дома британское правительство предприняло честные, но безуспешные усилия, решительно отказываясь признавать новейшие творения Бонапарта в Италии, а именно Королевство Этрурия и Лигурийскую республику, пока он не выплатит Савойскому дому компенсацию. В нашем признании было отказано по причинам, которые побуждают каждого заключающего сделку отказывать в удовлетворении своему

противнику до тех пор, пока не будет предоставлена равная уступка. В эту игру обе Державы играли в Амьене, и практически безрезультатно, кроме взаимного раздражения. Однако и здесь преимущество, естественно, перешло к Бонапарту; ибо он потребовал от британского министерства признать существующие факты в Этрурии и Лигурии, в то время как Корнуоллису пришлось отстаивать дело изгнанников и порядок, который, казалось, исчез навсегда. Противопоставить несуществующее реальному было задачей, намного превышающей возможности британской государственной мудрости; и все же это должно было стать ее задачей на следующее десятилетие, в то время как силами живого настоящего должен был управлять его могущественный антагонист. В этом заключался секрет неудач Британии и необычайных триумфов Наполеона.

Оставив на время переговоры в Амьене, обратимся к событиям, произошедшим в Лионе в первые недели 1802 года, событиям, повлиявшим не только на будущее Италии, но и на судьбу Бонапарта.

Следует помнить, что после французских побед при Маренго и Гогенлиндене Австрия согласилась на условия мира, по которым Цизальпийская, Лигурийская, Гельветическая и Батавская республики были официально признаны ею, хотя в одном пункте прямо оговаривалось, что они должны быть независимыми от Франции. Тщетная надежда! Они продолжали находиться под опекой Франции, а их опорные пункты находились во владении французских войск.

Теперь оставалось узаконить французское господство в Цизальпинской республике, которая включала земли между Тичино и Адидже, Альпами и Рубиконом. Новое государство получило временную форму правления после Маренго, когда для надзора за гражданскими делами в столице страны Милане был назначен небольшой совет. С ним и с Марескальчи, цизальпинским посланником в Париже, Бонапарт согласовал конституцию, или, скорее, он использовал этих людей как удобную ширму, чтобы скрыть ее чисто личное происхождение. Посоветовавшись для проформы с людьми, которых он сам назначил, он теперь предложил, чтобы видные граждане этой республики посоветовались с ним относительно их новых институтов. Вслед за этим его посланник в Милане предложил, чтобы они с этой целью пересекли Альпы и собрались не в Париже, где их зависимость от воли Первого консула могла вызвать слишком много комментариев, а в Лионе. В этот город, соответственно, отправилось около 450 военачальников Северной Италии, которые не боялись снегопадов самого сурового декабря в надежде укрепить свободы своей давно разрушенной страны. И таким образом было замечено странное зрелище организации Ломбардии, Модены и Дипломатических миссий, осуществлявшихся в одном провинциальном центре Франции, в то время как в другом из ее городов мир в Европе и судьбы двух колониальных империй были также поставлены на карту. Такое стечение событий вполне могло поразить воображение людей, сломив упрямую волю жителей северных островов и вынудив итальянскую знать к полной покладистости. И все же зарождающаяся идея итальянской национальности обладала такой силой, что предложения Бонапарта, которые в его отсутствие были искусно изложены Талейраном, не раз встречали отпор со стороны Консульты в Лионе.

Он резко выступил против заявления о том, что римско-католическая религия является религией Цизальпинской республики и должна поддерживаться за счет государственного бюджета. Только первая часть этого предложения могла быть реализована: оппозиция второй

части была настолько острой, что в качестве предпочтительного плана собственность была выделена для поддержки духовенства; а церковная дисциплина была подчинена государству на условиях, несколько сходных с условиями французского конкордата.^[191]

Светские дела доставляли меньше хлопот. Очевидный успех французской конституции послужил сильным мотивом для принятия конституции аналогичного характера для итальянского государства; и поскольку предлагаемые институты были одобрены в Милане, их принятие большим и разнородным органом было предreshено заранее. Талейран также самым беспринципным образом позаботился о том, чтобы вопрос о президентстве был разумно урегулирован. 31 декабря 1801 года он пишет Бонапарту из Лиона:

"Мнение цизальпийцев, похоже, еще не принято окончательно относительно выбора, который предстоит сделать: они с радостью примут человека, которого вы выдвинете: президент во Франции и вице-президент в "Милане" устроили бы многих из них".

Четыре дня спустя он уверенно заверяет Первого консула:

"Они будут делать то, что вы хотите, даже без того, чтобы вам нужно было показывать свое желание. То, чего, по их мнению, вы желаете, немедленно станет законом".^[192]

Подготовив таким образом почву, Бонапарт и Жозефина в сопровождении блестящей свиты прибыли в Лион 11 января и были встречены восторженным приемом. Несмотря на сильный холод, за которым последовала внезапная оттепель, состоялась блестящая серия праздников, парадов и приемов; и несколько батальонов французской армии в Египте, которые недавно были доставлены домой на английских кораблях, теперь проходили смотр перед своим командующим. Впечатлительные итальянцы не могли ошибиться в цели этих демонстраций, и после того, как знатные люди уладили общие вопросы, окончательные меры были переданы комитету из тридцати человек. Желательность этого шага была очевидна, поскольку в Консульте уже были подняты срочные протесты против назначения иностранца президентом нового государства. Когда поднялся шум по этой животрепещущей теме:

"Несколько офицеров полков лионского гарнизона появились в зале и заставили все стороны замолчать. Несмотря на это, граф Мельци был фактически избран президентом большинством членов Комитета тридцати; но он отказался от этой чести и в многозначительных выражениях предположил, что для того, чтобы он мог оказать какие-либо услуги стране, комитету лучше остановить свой выбор на генерале Бонапарте в качестве их главного судьи. Сделав это, Бонапарт немедленно назначил графа Мельци вице-президентом".^[193]

Решимость Бонапарта занять этот важный пост ясно видна из его переписки. 2 и 4 числа Плювиоза (22 и 24 января) он пишет из Лиона:

"Все основные дела Консульты улажены. Я рассчитываю вернуться в Париж в течение десятилетия".

"Завтра я проведу смотр войскам из Египта. 6-го [Плювиоза] все дела Консульты будут закончены, и я, вероятно, отправлюсь в свое путешествие 7-го".

На следующий день, 5-го числа Плювиоза, исполняются его желания:

"Сегодня я проводил смотр войскам на площади Белькур; солнце светило так же, как во Флореале. Консулат назначил комитет из тридцати человек, который сообщил ему, что, учитывая внутренние и внешние дела Цизальпии, было необходимо разрешить мне исполнять обязанности первого магистрата до тех пор, пока не позволят обстоятельства и я не сочту целесообразным назначить преемника".

Эти выдержки доказывают, что действия Консулаты могли быть спланированы заранее не менее точно, чем передвижения солдат, и что даже такой сложный вопрос, как голосование по конституции и выбор ее главы, должен был быть согласован с этим гением-методистом. Несомненно, цивилизация прогрессировала с тех тяжелых лет, когда французский народ ощупью пробирался сквозь туманы и утопал в крови, чтобы добиться совершенного государственного устройства: теперь это драгоценное благо было даровано соседнему народу таким надежным способом, что планы их благодетеля могли быть безошибочно установлены и его возвращение в Париж рассчитано с точностью до часа.

Заключительное обращение Бонапарта к итальянской знати примечательно короткими, резкими фразами, которые напоминают атмосферу плаца. Быстро просмотрев недавние события, он сказал на своем родном языке:

"... Были приложены все усилия, чтобы расчлнить вас: защита Франции одержала победу: вас узнали в Люневиле. На одну пядь больше, чем раньше, вы теперь более могущественны, более консолидированы и возлагаете более широкие надежды. Состоящие из шести разных наций, вы теперь будете объединены конституцией, наилучшей из возможных для вашего социального и материального положения. ... Выбор, который я сделал для ваших главных офисов, был сделан независимо от каких-либо представлений о партии или чувства местности. Что касается должности президента, я не нашел среди вас никого, кто имел бы достаточные притязания на общественное мнение, был бы достаточно свободен от местных настроений и кто оказал бы достаточно большие услуги своей стране, чтобы доверить это ему.... У вашего народа есть только местные чувства: теперь они должны подняться до национальных".

В соответствии с этим последним великим и пророческим замечанием название "Итальянский" было заменено названием "цизальпинский": и таким образом, впервые со времен средневековья на карте Европы вновь появилось это название, которое должно было вызвать насмешки дипломатов и самый возвышенный патриотизм века. Если бы Бонапарт не сделал ничего другого, он заслужил бы бессмертную славу за то, что подготовил разделенные народы полуострова к совместной деятельности.

Новая конституция была составлена по образцу французской, но от притязаний на демократическое избирательное право было отказано. Право голоса было предоставлено трем классам: крупным собственникам, священнослужителям и ученым людям, а также купцам. Они, собравшись в своих нескольких "Коллегиях выборщиков", голосовали за членов законодательных органов; трибуналу также было поручено поддерживать конституцию. Этими средствами Бонапарт пытался сковать власть реакционеров не меньше, чем антиклерикальный пыл итальянских якобинцев. Начавшееся затем смешение нового и старого показывает руку мастера-строителя, который не выбрасывает материалы только потому, что они старые, и не отвергает силу, которая исходит от улучшенных методов строительства: и, как бы сильно мы ни сомневались в бескорыстности его мотивов в этом великом предприятии, может быть только одно мнение относительно мастерства методов и благотворности результатов в Италии. ^[194]

Теперь в Лионе был сделан первый шаг в процессе объединения Италии. Вскоре последовал второй. Дела Лигурийской республики находились в некотором замешательстве, и из Генуи пришло обращение с просьбой разрешить их разногласия Первым консулом. Спонтанность этого предложения вполне может быть поставлена под сомнение, учитывая, что Бонапарт считал желательным в своем письме от 18 февраля 1802 года заверить лигурийские власти, что им не нужно беспокоиться относительно независимости своей республики. Бонапарт обязался изменить их конституцию и назначить их дожа.

То, что известие о событиях в Лионе вызвало сильнейшее возмущение в Лондоне, видно из депеши Хоксбери Корнуоллису от 12 февраля 1802 г.:

"События в Лионе вызвали величайшую тревогу в этой стране, и есть много людей, настроенных миролюбиво, которые после этого события желают возобновления войны. Невозможно удивляться этому чувству, если учесть непомерное честолюбие, грубое нарушение веры и склонность оскорблять Европу, проявленные Первым консулом по этому поводу. Здешнее правительство стремится не привлекать внимания к этому разбирательству и искренне желает заключить мир, если это может быть достигнуто на условиях, отвечающих нашей чести".

Трудно сказать, почему правительство должно было отстать от гораздо более верных инстинктов английского общественного мнения. Депеша Хоксбери, отправленная четыре дня спустя, служит оправданием его презренной уловке - притворяться, что он не замечает этого вопиющего нарушения Люневильского мирного договора. Ссылаясь на события в Лионе, он пишет:

"Какими бы экстравагантными и неоправданными они ни были сами по себе, [они], должно быть, заставили нас поверить, что Первый консул больше, чем когда-либо, стремился закрыть свой счет в этой стране".

Несомненно, так оно и было, но только при условии, что Англия оставалась пассивной, в то время как французское господство распространялось на все соседние земли. Если наши министры полагали, что Бонапарт опасался недовольства Австрии, то они глубоко ошибались. Благодаря полной слабости европейской системы и соперничеству Австрии и Пруссии, он теперь мог сосредоточить свою постоянно растущую власть и престиж на переговорах в Амьене, которые снова привлекают наше внимание.

Он был далек от того, чтобы насытиться престижем, завоеванным в "Лионе", и, казалось, с каждой победой становился все требовательнее. Более того, его задела за живое несколько глупых статей французского *эмигранта* по имени Пельтье в газете, издаваемой в Лондоне: вместо того, чтобы отнестись к ним с презрением, которого они заслуживали, он возвел этот бред разочарованного изгнанника в ранг мероприятия высокой политики и обрушился с гневом на правительство, которое их допустило. Напрасно Корнуоллис возражал, что кабинет Аддингтона не может решиться на непопулярный акт ограничения свободы прессы в Великобритании. Первый консул, который не испытывал подобных трудностей во Франции, теперь, как и год спустя, упорно рассматривал каждое нелестное упоминание о себе как косвенный и полуофициальный выпад.

К этим причинам мы можем отнести требования Франции от 4 февраля: противореча его предыдущему предложению о временном размещении неаполитанского гарнизона на Мальте, Бонапарт теперь категорически отказался либо предоставить необходимую защиту слабому

ордену Святого Иоанна, либо разделить с Великобританией равную долю расходов — 20 000 фунтов стерлингов в год, — которые повлекло бы за собой содержание такого гарнизона. Изумление и негодование, вызванные на Даунинг-стрит, едва не привели к немедленному прекращению переговоров; и потребовалось все терпение Корнуоллиса и учтивость Жозефа Бонапарта, чтобы сгладить разногласия, вызванные прямым вмешательством Наполеона. Нужно лишь слегка познакомиться с методами мышления и выражения Первого консула, чтобы распознать в Протоколе от 4 февраля резкую речь автократа, уверенного в своих недавно укрепленных полномочиях и раздраженного насмешками Пельтье. ^[195]

Здравый смысл двух полномочных представителей в Амьене вскоре привел к примирению. Хоксбери в письме с Даунинг-стрит предупреждал Корнуоллиса, что если разрыв и произойдет, то не из-за "какого-либо нетерпения с нашей стороны": и он, в свою очередь, любезно поинтересовался у Жозефа Бонапарта, есть ли у него какой-либо более осуществимый план, чем план размещения неаполитанского гарнизона, который он сам предложил. Никакого плана, кроме создания гарнизона из 1000 швейцарских наемников, предложено не было; и поскольку это вызвало серьезные возражения, первоначальное предложение было в конце концов восстановлено. Со своей стороны, Сент-Джеймский двор по-прежнему отказывался взрывать укрепления в Валлетте; и вместо того, чтобы разрушать эти сооружения, Англия уже предложила, чтобы независимость Мальты была гарантирована Великими державами — Великобританией, Францией, Австрией, Россией, Испанией и Пруссией; на это соглашение Франция вскоре согласилась. Позже мы потребовали, чтобы неаполитанский гарнизон оставался на Мальте в течение трех лет после эвакуации острова британскими войсками; в то время как Франция желала ограничить этот период одним годом. На это Корнуоллис в конце концов согласился с оговоркой, что, "если орден Святого Иоанна не соберет достаточного количества людей, неаполитанские войска останутся до тех пор, пока им на смену не придут достаточные силы, что будет согласовано державами-гарантами". Вопрос о гарнизоне был решен, другие детали доставляли меньше хлопот, и мальтийский вопрос был урегулирован в соответствии с тринадцатью условиями, добавленными к пункту X окончательного договора.

Хотя этот сложный вопрос, таким образом, был урегулирован к 17 марта, другие вопросы задержали урегулирование.

Хоксбери по-прежнему требовал определенной компенсации за принца Оранского, но Корнуоллис в конце концов согласился со статьей XVIII. договора, который туманно обещал "адекватную компенсацию". Корнуоллис также убедил своего начальника отказаться от своих претензий на прямое участие Турции в договоре. Британское требование о возмещении расходов на содержание французских военнопленных должно было быть передано комиссарам, которые так и не встретились. Действительно, это был единственный вежливый способ избежать той несостоятельной позиции, которую наше правительство необдуманно заняло в этом вопросе.

Из заключительных депеш Корнуоллиса ясно, что Жозеф Бонапарт вынудил его уступить больше, чем британское правительство уполномочило его сделать; и, хотя "секретная и наиболее конфиденциальная" депеша от 22 марта предостерегала его от чрезмерного сужения границ разрыва, если разрыв все же произойдет, все же тремя днями позже, и *после получения этой депеши*, он подписал условия мира с Жозефом Бонапартом, а двумя днями позже с другими подписавшими державами. ^[196] Вполне можно усомниться в том, что мир когда-либо

был бы подписан, если бы не умение Жозефа Бонапарта вежливо уговаривать и решимость Корнуоллиса прийти к взаимопониманию. В любом случае заключительный акт подписания был явно актом не британского правительства, а его полномочного представителя.

Этот факт подтверждается его признанием 28 марта, что он уступил там, где ему было приказано оставаться непреклонным. На острове Святой Елены Наполеон также утверждал, что после того, как Корнуоллис определенно пообещал подписать договор в том виде, в каком он был в ночь на 24 марта, он получил инструкции противоположного смысла с Даунинг-стрит; что, тем не менее, он считал себя связанным своим обещанием и подписал договор на следующий день, заметив, что его правительство, в случае недовольства, может отказаться ратифицировать его, но что, дав свое слово, он чувствовал себя обязанным его соблюдать. Эта история, кажется, созвучна всему поведению Корнуоллиса, столь похвальному для него как человека, столь пагубному для него как дипломата. Последующие события переговоров вызвали сильное раздражение на Даунинг-стрит, а поведение Корнуоллиса было встречено с ледящим душу неодобрением.

Первый консул, с другой стороны, с необычной теплотой выразил свою признательность мастерству своего брата; когда они вместе выступали в парижской опере, он ласково усадил своего старшего брата в переднюю часть государственной ложи, чтобы получить аплодисменты публики по случаю наступления определенного мира. Это, несомненно, была самая чистая и благородная радость, которую когда-либо испытывали братья.

С каким чувством гордости, не без примеси благоговения, должны были братья взирать на свою карьеру. Менее девяти лет прошло с тех пор, как их семья бежала с Корсики и высадилась на побережье Прованса, очевидно, столь же обанкротившись в своих политических надеждах, как и в материальном благополучии. Трижды непостоянная богиня низвергала Наполеона на землю в первые два года его новой жизни, только для того, чтобы его удивительные дары и возвышенная самоуверенность могли бросаться в глаза еще больше, приводя в замешательство недовольных Парижа, генералов старой империи, народы Леванта и государственных деятелей Британии. Из всех этих триумфов, несомненно, последний был не самым незначительным. Амьенский мир оставил Францию вершительницей судеб Европы и, вернув ей все ее утраченные колонии, обещал поставить ее в авангард народов Океана и колонизаторов.

ГЛАВА XV

СЕНТ—ДОМИНГО—ЛУИЗИАНА—ИНДИЯ-АВСТРАЛИЯ

"Il n'y a rien dans l'histoire du monde de comparable aux forces navales de l'Angleterre, à l'étendue et à la richesse de son commerce, à la masse de ses dettes, de ses défenses, de ses moyens, et à la fragilité des bases sur lesquelles repose l'édifice immense de sa fortune."—BARON MALOUET, *Considérations historiques sur l'Empire de la Mer*.

Есть множество оснований полагать, что Наполеон ценил Амьенский мир как необходимое предварительное условие восстановления Французской колониальной империи. Сравнение дат, в которые он приступил к осуществлению своих океанических планов, покажет, что почти все они были начаты в последние месяцы 1801 года и в течение следующего года. Единственными важными исключениями были политико-научная экспедиция в Австралию, мнимая цель которой обеспечивала иммунитет от нападений английских крейсеров даже в 1800 году, и планы обеспечения французского господства в Египте, которые были сорваны в 1801 году и, по всей видимости, были оставлены Первым консулом в соответствии с положениями Амьенского мирного договора. Вопрос о том, действительно ли он отказался от своих замыслов в отношении Египта, настолько тесно связан с разрывом Амьенского мира, что его более уместно рассмотреть в следующей главе. Возможно, однако, будет уместно привести некоторые доказательства того значения, которое Бонапарт придавал долине Нила и Суэцкому перешейку. Письмо парижского шпиона, сохранившееся в архивах нашего Министерства иностранных дел и датированное 10 июля 1801 года, содержит следующее важное заявление относительно Бонапарта: "Египет, который здесь считается потерянным для Франции, является единственным объектом, который интересует его личные амбиции и возбуждает его месть". Даже в конце своих дней он с тоской думал о стране фараонов. В своем первом интервью губернатору острова Святой Елены знаменитый изгнанник решительно заявил: "Египет - самая важная страна в мире". Эти слова свидетельствуют о тонком восприятии всех факторов, способствующих коммерческому процветанию и имперскому величию. Фактически, Египет с Суэцким каналом, который его воображение всегда рисовало как необходимое дополнение, должен был стать краеугольным камнем той арки империи, которая должна была охватить океаны и соединить прерии дальнего запада с изобилующими равнинами Индии и далекими Австралийскими островами.

Мотивы, побудившие Наполеона к предприятиям, которые сейчас предстоит рассмотреть, были столь же многогранны, как и сами морские предприятия. В конечном счете, несомненно, они возникли из любви к масштабным начинаниям, которые одновременно служили растущему честолюбию и той потребности в тяжелой административной работе, к которой его ум всегда стремился в период расцвета своей деятельности. И, насыщая изматывающие силы его болезненно беспокойного духа, эти предприятия также питали и успокаивали те властные, хотя и бессознательные, инстинкты, которые побуждают каждого способного человека с пытливым умом отвоевывать все возможные сферы у неизвестного или хаотичного. Поскольку Египет, по крайней мере на данный момент, был вырван из его рук, он, естественно, обратился ко всем другим странам, которые можно было заставить выдать свои секреты исследователю или свои удобства благодетелям человечества. Только тупой цинизм может отрицать этот мотив у человека, который первым открыл двери египетской цивилизации; и было бы столь же

бесполезно отрицать у него те же благотворные цели в отношении заселения равнин Миссисипи и берегов Новой Голландии.

Особенности положения Франции послужили еще одним мощным импульсом к колонизации. В последнее десятилетие ее народ страдал от чрезмерной умственной активности и нервного возбуждения. От философских и политических спекуляций они должны быть возвращены к практическому и прозаическому; а какое влияние может быть более благотворным, чем возделывание новой почвы и другие процессы, удовлетворяющие примитивные инстинкты? Некоторые из них, это было правдой, были встречены растущим числом крестьянских собственников в самой Франции. Но это внутреннее развитие, каким бы благотворным оно ни было, не могло успокоить беспокойный дух городов или честолюбие солдат. Только иностранные авантюры и океанская торговля могли удовлетворить парижан и открыть новые карьеры для преторианских вождей, которых по-настоящему боялся только Первый консул.

И не только он испытывал эти чувства. В докладе, который Талейран зачитал Институту Франции в июле 1797 года, этот дальновидный государственный деятель подробно остановился на умиротворяющем влиянии, оказываемом иностранной торговлей и колониальными поселениями на слишком интроспективную нацию. Его слова свидетельствуют о глубине его понимания болезней своего собственного народа и источников социальной и политической силы, которыми пользуются Соединенные Штаты, где он недавно находился. Говоря об их быстром выздоровлении после потрясений революции, он сказал: "Истинную Лету после прохождения революции можно найти в том, что людям открываются все возможности для надежды. Революции оставляют после себя всеобщее беспокойство ума, потребность в движении". Эта потребность была удовлетворена в Америке войной человека против лесов, наводнений и прерий. Следовательно, Франция должна обладать колониями как интеллектуальными и политическими предохранительными клапанами; и в своем изящном, воздушном стиле он затронул преимущества, предлагаемые Египтом, Луизианой и Западной Африкой, как из-за их внутренней ценности, так и из-за того, что они открывают дверь работы и надежды для поколения с больными мозгами.

Следуя этой подсказке, Бонапарт несколько позже отметил тенденцию французского народа теперь, когда революционные распри остались в прошлом, довольствоваться своими собственными маленькими участками; и он подчеркнул необходимость колониальной политики, которая расширила бы национальную жизнь. Это замечание было в значительной степени оправдано событиями; и, несомненно, он разглядел в аграрных реформах Революции влияние, неблагоприятное для того расового рассеяния, которое под мудрым руководством создает океаническую империю. Обиды *старого режима* помогли разбросать по берегам Святого Лаврентия семена возможной Новой Франции. Право первородства постоянно гнало из Англии ее младших сыновей, чтобы они основали Новую Англию и расширили торговлю на родине. Пусть Франция сейчас не отдыхает дома, довольствуясь своими совершенными законами и завоеванием своих "естественных границ". Пусть лучше она попытается вернуть себе первое место в колониальной деятельности, которое у нее отняли безумства Людовика XV. и светская зависть к Альбиону. В стремлении расширить границы цивилизации, рассеять призрак якобинства, удовлетворить военные и военно-морские авантюры и бессознательно вернуться к идеям и методам управления эпохи *великой монархии*.

Французские владения за морями никогда не сокращались до меньшей площади, чем в последние годы последней войны с Англией. Этот факт был признан Первым консулом в его письме от 7 октября 1801 года Декре, министру военно-морского флота и колоний: "Наши владения за морем, которые сейчас находятся в нашей власти, ограничены Сан-Доминго, Гваделупой, островом Франции (Маврикий), островом Бурбон, Сенегалом и Гвианой". Отдав невольную дань уважения доблести британского военно-морского флота, Бонапарт перешел к описанию первых мер по организации этих колоний, поскольку только 25 марта 1802 года, когда был подписан окончательный мирный договор, Франция смогла вернуть себе остальные.

Первым по важности было восстановление французской власти на большом и плодородном острове Хайти, или Сан-Доминго. Современному читателю требуется усилие воображения, чтобы осознать огромную [стр.1359] важность островов Вест-Индии в начале века, закрытие которых привело их в депрессию и наполовину к банкротству. В прежние времена, когда название Австралия было неизвестно, а полуголодное поселение в Сиднее и его окрестностях представляло единственное богатство этого острова континента; когда на мыс Доброй Надежды смотрели только как на порт захода; когда в Соединенных Штатах насчитывалось менее пяти с половиной миллионов душ, а воды Миссисипи в незапятнанном величии катились мимо нескольких мелких испанских станций, — плантации Вест-Индии казались неиссякаемой добычей колониальной промышленности и торговли. Сообщается, что при *старом* режиметорговля французской части Сан-Доминго составляла более половины ее океанской торговли. Но во время Революции процветанию этой колонии был нанесен страшный удар.

Поспешное провозглашение французскими революционерами равенства между белыми и черными и отказ плантаторов признать этот указ обязательным для исполнения привели к ужасному восстанию рабов, опустошившему всю колонию. Эти беспощадные распри, однако, несколько утихли под организующей властью человека, в лице которого черная раса, казалось, подтвердила свои притязания на политический потенциал. Туссен Лувертьюр выдвинулся на первый план благодаря своей незаурядной проницательности и силе характера. Искусно сочетая силу и милосердие, он навел порядок в беснующихся толпах негров: он вернул французской части острова сравнительный порядок и процветание; и с армией в 20 000 человек он оккупировал испанскую часть. В этом, как и в других вопросах, он, по-видимому, действовал как мандатарий Франции; но он рассчитывал на то время, когда Франция, охваченная европейскими войнами, молчаливо признает его независимость. В мае 1801 года он принял конституцию острова и объявил себя пожизненным губернатором с правом назначения своего преемника. Эта имитация консульского учреждения и открытое хвастовство тем, что он был "Бонапартом Антильских островов", привели Бонапарта в ярость; а поспешность, с которой на следующий день после Предварительных переговоров в Лондоне он готовился свергнуть этого презренного соперника, говорит сама за себя.

Однако ненависть корсиканцев была смягчена корсиканским коварством. Туссен потребовал, чтобы хайтийцы находились под защитой своей бывшей хозяйки. Защита была последним, чего желал Бонапарт; но он счел политичным польстить черному вождю заверениями в его личном уважении и благодарности за "великие услуги, которые вы оказали французскому народу". Если его флаг развевается над Сан-Доминго, то это благодаря вам и вашим храбрым чернокожим" — отсылка к успешному сопротивлению Туссена попыткам англичан высадиться. Правда, в новой

гаитянской конституции были некоторые пункты, которые противоречили суверенным правам Франции, но их можно было простить в тех трудных обстоятельствах, которые давили на Туссена: теперь, однако, ему было предложено внести в них поправки, признающие полный суверенитет родины и власть генерала Леклерка, которого Бонапарт отправил на остров в качестве генерал-капитана. Этому офицеру, мужу Полины Бонапарт, Первый консул написал в тот же день, что, по имеющимся сведениям, на острове наблюдается сильное брожение против Туссена, и поэтому препятствия, которые предстоит преодолеть, окажутся гораздо менее серьезными, чем опасались, при условии применения активности и твердости. В своих ссылках на животрепещущую тему рабства Первый консул проявил аналогичную сдержанность. Французская Республика отменила его, и он пока не мог открыто восстановить институт, вопиюще противоречащий правам человека. Якобы поэтому он выступал в роли поборника эмансипации, заверяя жителей Гаити в своем воззвании от 8 ноября 1801 года, что все они свободны и все равны перед Богом и Французской Республикой: "Если вам скажут: "Этим силам суждено отнять у вас вашу свободу", отвечайте: "Республика дала нам нашу свободу: она не допустит, чтобы ее у нас отняли". В том же духе он две недели спустя публично заявил, что на Сан-Доминго и Гваделупе все были свободны и останутся свободными. Совсем иными были его личные инструкции. В последний день октября он приказал Талейрану написать британскому правительству с просьбой о помощи в поставках провизии с Ямайки для этой экспедиции, призванной "уничтожить новый Алжир, организуемый в американских водах"; а две недели спустя он поручил ему заявить о своей решимости уничтожить правительство чернокожих в Сан-Доминго; что, если ему придется отложить экспедицию на год, он будет "обязан признать чернокожих французами"; и что "свобода чернокожих, если она будет признана правительством, всегда будет опорой Республики в Новом Свете". Поскольку он пытался уговорить наше правительство поддержать его экспедицию, ясно, что в последней загадочной фразе он добивался этой поддержки намеком на возможное восстановление рабства в Сан-Доминго. Сравнение его публичных и частных заявлений, должно быть, произвело любопытный эффект на британских министров, и многие трудности во время переговоров в Амьене, несомненно, возникли из-за того, что они знали о его двурушничестве в Вест-Индии.

Средства, имевшиеся в распоряжении Первого консула, можно было считать достаточными, чтобы обойтись без этих ничтожных приспособлений, ибо, когда эскадры Бреста, Лорьяна, Рошфора и Тулона объединили свои силы, они насчитывали тридцать два линейных корабля и тридцать один фрегат с более чем 20 000 солдат на борту. Действительно, эти силы были настолько велики, что вызвали решительные протесты со стороны британского правительства и предупреждение о том, что для обеспечения безопасности нашей Вест-Индии будет направлен пропорционально сильный флот. ^[197] Размеры французской армады и предупреждения, которые Туссен получил из Европы, побудили этого коварного диктатора принять строгие меры предосторожности. Он убедил чернокожих, что французы собираются снова поработить их, и, раздувая призрак рабства, подавил мятеж, разорил приморские города и поджидал французов во внутренних районах страны в уверенном ожидании, что желтая лихорадка рассеет их ряды и сведет их до уровня его собственной силы.

Его надежды в конечном счете оправдались, но только после того, как он сам пал жертвой яростной французской атаки. Армия Леклерка пронеслась по опустошенному поясу с рвением, которое удвоилось при виде искалеченных останков белых людей, разбросанных среди негритянских лагерей, и взяла штурмом главный оплот Туссена в Крет-а-Пьеро. Диктатор и его мятежные приспешники вслед за этим сдались (8 мая 1802 г.) при условии соблюдения их

официального ранга — условия, которое обе стороны, должно быть, считали нереальным и невыполнимым. Затем французы продолжили наступление, чтобы обеспечить подчинение всего острова до наступления нездорового сезона, которого Туссен с нетерпением ожидал. Теперь он разразился с необычайной силой; и через несколько дней завоеватели обнаружили, что их силы сократились до 12 000 человек. Заподозрив замыслы Туссена, Леклерк схватил его. Он был уполномочен сделать это приказом Бонапарта от 16 марта 1802 года:

"Точно следуйте вашим инструкциям, и как только вы покончите с Туссеном, Кристофером, Дессалином и главарями разбойников, а массы чернокожих будут разоружены, отправьте на континент всех чернокожих и метисов, принимавших участие в гражданских беспорядках".

Туссена поспешно отправили во Францию, где год спустя он умер от лишений, которым подвергся в форте Жу среди юр.

Задолго до того, как холод французской зимы унес жизнь Туссена, его противник пал жертвой изнуряющей жары тропиков. 2 ноября 1802 года Леклерк скончался из-за нездорового климата и своих постоянных тревог. В Записках, продиктованных на острове Святой Елены, Наполеон подверг память Леклерка некоторым строгостям за его неосмотрительность в отношении предлагаемого восстановления рабства. Официальные письма этого офицера разоблачают несправедливость обвинения. Факты таковы. После кажущейся покорности Сан-Доминго Первый консул добился тайного принятия в Париже декрета (20 мая 1802 г.), который готовил восстановление рабства в Вест-Индии; но Декре предупредил Леклерка, что в настоящее время его нельзя применять к Сан-Доминго, если только это не покажется целесообразным. Зная, насколько фатальным было бы любое подобное заявление, Леклерк отменил указ; но генерал Ришпанс, который теперь был губернатором острова Гваделупа, не только издал указ, но и приступил к его неукоснительному исполнению. Именно это стало причиной последних и самых отчаянных восстаний чернокожих, фатальных как для французского господства, так и для жизни Леклерка. Его преемник Рошамбо, несмотря на сильное подкрепление войск из Франции и предельную жесткость политики, преуспел не лучше. На острове Гваделупа повстанцы открыто бросили вызов власти Франции; и после возобновления войны между Англией и Францией остатки экспедиции были по большей части вынуждены сдаться под британским флагом или восставшим черным. Остров восстановил свою так называемую независимость, и единственным результатом усилий Наполеона в этой сфере стала потеря более двадцати генералов и около 30 000 военнослужащих.

Неоднократно выдвигалось утверждение, что первый консул отчитал за эту службу войска Рейнской армии с целью подвергнуть риску тропическую жизнь наиболее республиканскую часть французских войск. Нельзя отрицать, что они составляли значительную часть экспедиционных сил; но если его целью было избавиться от политических врагов, трудно понять, почему он не должен был выбрать Моро, Массена или Ожеро, а не Леклерка. Того факта, что его шурина сопровождала его жена Полин Бонапарт, к которой ядовитые языки утверждали, что Наполеон питал более чем братскую привязанность, будет достаточно, чтобы опровергнуть клевету. Наконец, можно отметить, что Бонапарт без колебаний подвергал подобному риску отборную часть своей итальянской армии и своих ближайших друзей в Египте и Сирии. Он без колебаний пожертвовал тысячами жизней, когда на карту была поставлена великая цель; и восстановление французских колоний Вест-Индии вполне могло показаться стоящим целой армии, тем более что Сан-Доминго имел не только огромную инструментальную ценность для

Франции в те дни, когда свекловичный сахар был неизвестен, но и имел стратегическое значение как операционная база для огромной колониальной империи, которую Первый консул предложил восстановить в бассейне Миссисипи.

Пылкие патриоты едва ли могли вспоминать историю французских владений на североамериканском континенте без угрызений совести. Название Луизиана, применяемое к обширной территории, простирающейся до берегов Миссисипи и Миссури, напоминало о славных днях Людовика XIV, когда отважные *путешественники* несли французский флаг по пенистым рекам Канады и безмятежным просторам отца рек. Монкальм стремился соединить французские базы на озере Эри с фортами Луизианы; но этот воин-государственный деятель на Западе, как и родственник ему по духу Дюпле на Востоке, пал в злые дни Людовика XV, когда доблесть и заслуги во французских колониях были принесены в жертву удовольствиям и паразитам Версаля. Последовал естественный результат. Луизиана была передана Испании в 1763 году, чтобы примирить Мадридский двор с уступками, требуемыми тем же Парижским миром. Двадцать лет спустя Испания вернула Англии провинции восточная и западная Флорида; и таким образом, на заре девятнадцатого века красно-желтый флаг развевался над всеми землями между Калифорнией, Новым Орлеаном и южной оконечностью Флориды. ^[198]

Франция приложила немало усилий, чтобы вернуть себе свою старую провинцию Миссисипи; и в 1795 году, после распада Первой коалиции, победоносная Республика вынудила Испанию уступить эту территорию, где поселенцы в душе все еще были французами. Несомненно, слабый король Испании уступил бы, но его главный министр Годой упорно цеплялся за Луизиану и согласился уступить только испанскую часть Сан-Доминго — дипломатический успех, который помог ему заслужить титул принца мира. Так продолжалось до тех пор, пока Талейран, будучи министром иностранных дел, не попытался отвоевать Луизиану у Испании, прежде чем она попадет в грубые кулаки англосаксов.

В том, что это последнее событие имело все шансы, были убеждены не только политики в Вашингтоне, но и каждый металлург на Огайо и каждый плантатор на Теннесси. Эти молодые, но растущие поселения были недовольны ограничениями, наложенными Испанией на речную торговлю в нижнем течении Миссисипи — единственного доступного средства для их экспорта во времена, когда Аллеганские острова пересекали всего две колеи, достойные названия дорог. В 1795 году они получили свободный выход в Мексиканский залив и право хранить свои товары на специальном складе в Новом Орлеане. После этого Соединенные Штаты спокойно ожидали того времени, когда расовая мощь и потребности торговли уступят им во владении западные прерии и маленькие городки Арканзаса и Нового Орлеана. Они не принимали в расчет страстное стремление французов к своей бывшей колонии и решимость Наполеона претворить в жизнь это благородное чувство.

В июле 1800 года, когда его переговоры с Соединенными Штатами шли успешно, Первый консул отправил в Мадрид инструкции, уполномочивающие тамошнего французского министра заключить договор, по которому Франция должна была получить Луизиану в обмен на уступку Тосканы наследнику герцога Пармского. Этот молодой человек женился на дочери Карла IV Испанского; и ради возвышения своего зятя, этого *короля фейнеана*, был готов, более того, стремился выторговать четверть континента; и он сделал это по секретному соглашению, подписанному в Сан-Ильдефонсо 7 октября 1800 года.

Но хотя Чарльз обрадовался этому обмену мнениями, Годой, обладавший некоторым даром заглядывать в будущее, был полон решимости помешать ему. Произошли различные события, которые позволили этому коварному министру сначала отсрочить, а затем почти предотвратить гнусную капитуляцию. Главным из них была уверенность в том, что переход из слабых рук в сильные вызовет страстное негодование Соединенных Штатов; и пока мир с Англией не будет полностью обеспечен, а власть Туссена сломлена, для Первого консула было бы глупостью рисковать конфликтом с Соединенными Штатами. То, что они скорее будут сражаться, чем допустят, чтобы западные прерии перешли в руки Первого консула, было совершенно очевидно. Это подтверждается многими патриотическими брошюрами. Наиболее важная из них — "Обращение к правительству Соединенных Штатов по поводу передачи Луизианы французам", опубликованное в Филадельфии в 1802 году, — в основном цитируется по *брошюре* французского государственного советника. Французский писатель утверждал, что вдоль Миссисипи его соотечественники найдут бескрайние плодородные прерии, а что касается сопротивления Соединенных Штатов — "нации корабейников и лавочников", — то оно может быть подавлено союзом Франции с индейскими племенами. Вслед за этим американский писатель страстно призвал своих сограждан предотвратить эту передачу: "Франции следует опасаться только или главным образом на Миссисипи. Правительство должно захватить Луизиану до того, как она перейдет в его руки. Железо теперь горячо: прикажите нам подняться как одному человеку и нанести удар". Эти и другие подобные протесты, наконец, взбудоражили безмятежное правительство в Вашингтоне; и оно поручило американскому посланнику в Париже выступить с настоятельными протестами, единственным результатом которых было получить от Талейрана вежливое заверение, что перевод не рассматривался всерьез. ^[199]

К июню 1802 года все обстоятельства, казалось, благоприятствовали предприятию Наполеона: Англия ратифицировала Амьенский мирный договор, Туссен сдался Леклерку; Франция разместила свои войска в Тоскане и Парме и могла, при необходимости, силой покончить с оставшимися сомнениями, испытываемыми в Мадриде; в то время как Соединенные Штаты со слабой армией и загнивающим флотом находились под контролем самого миролюбивого и франкофильского из своих президентов, Томаса Джефферсона. Соответственно, Первый консул приказал подготовить экспедицию, как будто для подкрепления Леклерка в Сан-Доминго, хотя на самом деле она направлялась в Новый Орлеан; и он поручил Талейрану успокоить Мадридский двор или принудить его к заключительному акту передачи. Поэтому последним (19 июня) от имени Первого консула было сделано предложение о том, что *Луизиана ни в коем случае никогда не будет передана Третьей державе*. Когда начались дальнейшие задержки, Бонапарт, верный своей политике постоянного повышения требований, потребовал, чтобы Испания также уступила ему Восточную и Западную Флориду при условии, что молодой король Этрурии (так теперь должна была называться Тоскана) вернет себе пармское герцогство своего отца. ^[200]

Здесь должно быть уместно несколько пояснений относительно этого необычного предложения. Парма долгое время находилась под контролем Франции; и в марте 1801 года по секретному Мадридскому мирному договору правитель этого герцогства, смерть которого казалась неминуемой, должен был отказаться от своих притязаний на нее при условии, что его сын получит Этрурию — как уже было предусмотрено в Сан-Ильдефонсо и Люневиле. Герцогу, однако, было позволено сохранить свое герцогство до своей смерти, которая наступила 9 октября 1802 года; и, как утверждает наш посланник в Париже, его ускорили известия об этой отвратительной сделке. ^[201] Теперь его смерть предоставила Бонапарту хороший повод для

стремления завоевать огромную территорию в Новом Свете за счет небольшого итальянского герцогства, которое его войска могли в любой момент легко захватить. Это соображение, по-видимому, приходило в голову даже Карлу IV; он отказался обменять Флориду на Парму. Восстановление его зятя в отцовских владениях, несомненно, было желательным, но не ценой таких взыскательных наследников, как Восточная и Западная Флорида.

В этом лабиринте грязных интриг два или три факта привлекают наше внимание. И Бонапарт, и Карл IV. рассматривал самые плодородные пустоши, требовавшие тогда плуга, как справедливый обмен на полмиллиона тосканцев; но первый опасался негодования Соединенных Штатов и стремился отложить разрыв до тех пор, пока не сможет принудить их к этому подавляющей силой. Столь же ясно, что, преуспей он в этом предприятии, Франция могла бы получить великую колониальную империю в Северной Америке, защищенную от Сан-Доминго в качестве военно-морской базы, в то время как этот остров процветал бы вдвойне за счет огромных запасов, доставляемых по Миссисипи; но этот успех он купил бы ценой сближения между Соединенными Штатами и их родиной, которое горькой судьбой было отложено до конца столетия.

Перспектива англо-американского союза вполне могла бы заставить призадуматься даже Наполеона. Тем не менее, он решил завершить это грандиозное предприятие, которое, в случае успеха, оказало бы глубокое влияние на Новый Свет и относительную важность французского и английского народов. Испанские чиновники в Новом Орлеане, выполняя приказы Мадрида, теперь закрыли нижнюю часть Миссисипи для судов Соединенных Штатов (октябрь 1802 года). В Штатах сразу же поднялся яростный протест против акта, который не только нарушал их договорные права, но и предвещал грядущую власть Первого консула. К этой вспышке гнева он был готов: генерал Виктор находился в Дюнkerке с пятью батальонами и шестнадцатью полевыми орудиями, готовый пересечь Атлантику якобы для освобождения Леклерка, но на самом деле для того, чтобы овладеть Новым Орлеаном.^[202] Но его план был сорван верными инстинктами американского народа, катастрофами экспедиции Сан-Доминго и беспокойством Англии из-за его различных провокаций. Джефферсон, несмотря на свое пристрастие к Франции, был вынужден запретить оккупацию Луизианы: соответственно, он отправил Монро в Париж с инструкциями добиться компромисса или даже полностью выкупить французские претензии на эту землю. Различные обстоятельства благоприятствовали этой миссии. В первую неделю 1803 года Наполеон получил известие о смерти Леклерка и плачевном положении французов в Сан-Доминго; и поскольку вести, которые он теперь получал из Египта, Сирии, Корфу и вообще с Востока, были самого заманчивого рода, он молчаливо отказался от своего миссисипского предприятия в пользу восточных планов, которые были ближе его сердцу. В том январе он, похоже, перевел свой взор с западного полушария на Турцию, Египет и Индию. Правда, он, казалось, все еще делал все возможное для оккупации Луизианы, но только как средство поддержания продажной цены на западные прерии.

Когда весть об этом изменении политики достигла ушей Жозефа и Люсьена Бонапартов, это вызвало их самое ожесточенное сопротивление. Люсьен гордился тем, что заключил сделку с Испанией, которая обеспечила себе эту обширную провинцию за счет короны австрийского эрцгерцога; и Жозеф слишком хорошо знал, что Наполеон освобождал себя на Западе, чтобы иметь возможность нанести сильный удар в Европе и на Востоке. Неминуемый разрыв Амьенского мира глубоко тронул его, ибо этот мир был его самым большим достижением, которым он гордился. Если необходимо искать колониальные авантюры, пусть их ищут в Новом

Свете, где Испания и Соединенные Штаты могли оказать лишь слабое сопротивление, а не в Европе и Азии, где бесконечная война должна быть результатом агрессивной политики.

Братья немедленно обратились за помощью к Наполеону. Случайно он оказался в своей ванне, теплой, напоенной ароматами ванне, где, по его мнению, уставшая натура легче всего восстанавливается. Он приказал впустить их, и результатом стала интересная семейная беседа. Когда Люсьен упомянул о предполагаемой продаже, он сразу же возразил, что Законодательное собрание никогда не согласится на эту жертву. Здесь он затронул не ту струну в натуре Наполеона: если бы он воззвал к воспоминаниям о *великом монархе* и Монкальме, возможно, ему удалось бы сломить эту железную волю; но упоминание о согласии французских депутатов возбудило гнев самодержца, который, стоя среди душистой воды, насмешливо приказал своему брату надеть траур по делу, которое он, и только он, намеревался осуществить. Эта насмешка побудила Джозефа пригрозить, что он взойдет на трибуну в Палате представителей и возглавит оппозицию этой непатриотической капитуляции. Из ванны снова донесся вызов, и Первый консул, наконец, положил конец их горьким репликам, судорожно поднявшись, а затем внезапно упав навзничь, и облив Джозефа до нитки. Взрывы презрительного смеха и падение в обморок камердинера, который еще не вполне привык к этим семейным сценам, прервали ход рассуждений; но, когда они возобновились немного позже, *на секунду*, Люсьен закончил тем, что заявил, что, если бы он не был его братом, он был бы его врагом. "Враг мой! Это довольно сильно сказано", - воскликнул Наполеон. "Ты мой враг! Я бы сломал тебя, смотри, как эту шкатулку", — и он швырнул свою табакерку на ковер. Она не разбилась, но портрет Жозефины был оторван и разбит. После чего Люсьен собрал осколки и передал их своему брату, заметив: "Жаль, но пока ты не сможешь сломать меня, ты сломал портрет своей жены". ^[203]

По отношению к Талейрану Наполеон был столь же непреклонен: вызвав его 11 апреля, он сказал:

Нерешительность и обдумывание больше не в моде. Я отрекаюсь от Луизианы. Я уступаю не только Новый Орлеан, но и всю колонию без остатка; я знаю цену тому, от чего отказываюсь. Я доказал, какое значение я придаю этой провинции, поскольку мой первый дипломатический акт с Испанией имел целью вернуть ее. Я отказываюсь от нее с величайшим сожалением: упрямо пытаться удержать ее было бы безумием. Я поручаю вам вести переговоры по этому делу". ^[204]

После некоторых переговоров с Монро согласованная цена за эту территорию составила 60 000 000 франков, Соединенные Штаты также обязались удовлетворить требования многих своих граждан к французской казне. За эту ничтожную сумму Соединенные Штаты получили мирный титул на спорные земли к западу от озера Эри и на обширные территории к западу от Миссисипи. Первый консул привел в исполнение свою угрозу лишить депутатов Франции права голоса в этом обмене. Войны с Англией было достаточно, чтобы отвлечь их внимание, и Франция с грустью отвернулась от западных прерий, которые первыми открыли ее отважные сыновья, чтобы устремить свой взор сначала на Восток, а затем на европейские завоевания. О Луизиане больше ничего не было слышно, и лишь немногие упоминания допускались о катастрофах в Сан-Доминго; ибо Наполеон питал отвращение к любому упоминанию о *государственном перевороте* и стремился изгнать из воображения Франции те мечты о

трансатлантической империи, которые привели его, как им было суждено шестьдесят лет спустя привести его племянника, на грань войны с поднимающейся республикой Нового Света. В одном отношении дяде повезло больше, чем племяннику. Подписывая договор с Соединенными Штатами, Первый консул мог представить свое поведение не как ловкое отступление из безвыходной ситуации, а как акт снисхождения к американцам и удар по Англии. "Это присоединение территории, - сказал он, - навсегда укрепляет мощь Соединенных Штатов, и я только что дал Англии морского соперника, который рано или поздно смирит ее гордыню".

[205]

Казалось, что на Востоке едва ли было такое же поле для экспансии, как в западном полушарии. И все же, поскольку Восток всегда будоражил воображение Наполеона, он стремился расширить владения Франции в Индийском океане. В октябре 1801 года они составили остров Бурбон и остров Франс; поскольку бывшие французские владения в Индии, а именно Пондишери, Маэ, Карикал, Чандернагор, вместе с их фабриками в Янаоне, Сурате и двух небольших городах, были захвачены англичанами и не должны были быть возвращены Франции раньше, чем через шесть месяцев после подписания окончательного мирного договора. Из этих скудных реликвий казалось невозможным создать прочную ткань, и все же Первый консул справился с этой задачей. После прекращения военных действий он приказал адмиралу Гантеуму с четырьмя военными кораблями поднять французский флаг в этих морях и быть готовым в надлежащее время захватить французские поселения в Индии. Тем временем он приложил все усилия на переговорах в Амьене, чтобы добиться присоединения земель для Пондишери, которые сделали бы его возможной базой для военного предприятия. Еще до начала этих переговоров он выразил лорду Корнуоллису свое желание о таком продлении; и когда британский полномочный представитель настаивал на передаче Тобаго Великобритании, он предложил обменять его на учреждение или территорию в Индии. [206] Здесь Первый консул допустил серьезную тактическую ошибку; его настойчивость в этой теме и его откровенное желание вести прямые переговоры с набобом, несомненно, вызвали подозрения нашего правительства.

Еще большим, должно быть, было их беспокойство, когда они узнали, что генералу Декану поручено вернуть французские владения в Индии; ибо этот генерал в 1800 году выразил Бонапарту свою ненависть к англичанам и умолял, даже если бы ему пришлось ждать десять лет, направить его туда, где он мог бы сражаться с ними, особенно в Индию. По своему обыкновению, Бонапарт в то время говорил мало; но, проверив военные способности Декана, он подозвал его к себе в середине лета 1802 года и внезапно спросил, думает ли он все еще об Индии. Получив энергичное согласие, он сказал: "Хорошо, ты поедешь". "В каком качестве?" "Как генерал-капитан: отправляйтесь к морскому министру и министру колоний и попросите его передать вам документы, относящиеся к этой экспедиции". Таким образом Бонапарт заручился преданностью слуг. Едва ли нужно добавлять, что выбор такого человека всего через три месяца после подписания Амьенского мирного договора доказывает, что первый консул намеревался сохранять этот мир только до тех пор, пока его прогрессивная колониальная политика делала это желательным. [207]

Тем временем наш генерал-губернатор, маркиз Уэлсли, проявлял активность, которая, как могло показаться, была продиктована знанием замыслов Бонапарта. Действительно, здесь

требовались все силы. Нигде интересы Франции и Великобритании не сталкивались так постоянно, как в Индии. В 1798 году Франция заинтриговала Типпу Сахиба в Серингапатаме и заключила мирный договор с целью изгнания британской нации из Индии. Когда в 1799 году надежды французов рухнули из-за захвата этого города Артуром Уэлсли и смерти Типпу, все еще оставалась некоторая перспектива свержения британского господства путем объединения беспокойных правителей махраттов севера и центра, особенно Синдии и Холкара, в мощную конфедерацию. В течение нескольких лет их армии, насчитывавшие около 60 000 человек, обучались и снаряжались французскими авантюристами, самым способным и могущественным из которых был месье Перрон. Несомненно, именно в надежде заручиться их поддержкой царь Павел и Бонапарт в 1800 году разработали проект вторжения в Индию через Персию. И после крушения этой мечты все еще оставался шанс усилить князей Махратты, чтобы оспорить британские притязания со всей надеждой на успех. Предупрежденный правительством Метрополии о замыслах Бонапарта на востоке, наш способный и амбициозный генерал-губернатор теперь готовился изолировать вождей махраттов, отрезать их от всех контактов с Францией и, при необходимости, разгромить армию Синдии, единственную грозную туземную силу, обученную европейскими методами.

Таково было положение дел, когда генерал Декан предпринял предприятие по возрождению французского влияния в Индии.

Секретные инструкции, которые он получил от Первого консула, датированные 15 января 1803 года, были следующими:

"Для общения с народами или князьями, которые наиболее нетерпеливы под гнетом Английской компании.... Отправить домой отчет через шесть месяцев после своего прибытия в Индию, касающийся всей информации, которую он соберет, о силе, положении и настроениях различных народов Индии, а также о силе и положении различных английских учреждений; ... его взгляды и надежды, которые он мог бы иметь на то, чтобы найти поддержку в случае войны, чтобы иметь возможность удержаться на полуострове.... Наконец, поскольку приходится исходить из гипотезы, что мы не должны быть хозяевами моря и можем надеяться на небольшую помощь,"

Декан должен искать среди французских владений или где-либо еще место, служащее *пунктом назначения*, где в качестве последнего средства он мог бы капитулировать и таким образом получить средства для переправки во Францию с оружием и багажом. Из этого *пункта назначения* он

"стремитесь вступить во владение после первых месяцев ... какой бы ни была нация, к которой он принадлежит, португальской, голландской или английской.... Если война вспыхнет между Англией и Францией до 1-го Вандемского месяца XIII года. (22 сентября 1804 г.), и генерал-капитан предупрежден об этом до получения приказов правительства, у него есть *карт-бланш* отступить на Иль-де-Франс и Кейптаунский полуостров или остаться в Индии.... В настоящее время считается невозможным, чтобы мы начали войну с Англией, не втянув в нее Голландию. Одной из первых забот генерал-капитана будет получение контроля над голландскими, португальскими и испанскими учреждениями и их ресурсами. Миссия генерал-капитана поначалу заключается в наблюдении за политическими и военными событиями с помощью небольших сил, которые он выводит, и занятии *конторой* для нашей торговли: но первый консул, если он будет хорошо информирован, возможно, когда-нибудь сможет поставить его в

положение, позволяющее приобрести ту великую славу, которая сохраняет память людей на протяжении веков".^[208]

Если бы эти инструкции были известны английским государственным деятелям, они, несомненно, положили бы конец миру, который таким вероломным образом использовался Первым консулом для разрушения нашей Индийской империи. Но хотя их подозрения были вызваны отправлением экспедиции Декена и деятельностью французских агентов в Индии, все же правда оставалась наполовину скрытой, пока, позднее, публикация документов генерала Декена не пролила поток света на политику Наполеона.

По разным причинам экспедиция отплыла из Бреста только в начале марта 1803 года. Следует обратить внимание на дату. Это доказывает, что в то время Наполеон рассудил, что разрыв мира не был неизбежен; и когда он увидел свой просчет, он попытался отсрочить войну с Англией как можно дольше, чтобы дать время войскам Декена, по крайней мере, достичь мыса, который тогда был в руках голландцев. Французская эскадра была слишком слаба, чтобы рискнуть вступить в бой с английским флотом; в ее состав входили всего четыре боевых корабля, два транспорта и несколько судов поменьше, на борту которых находилось около 1800 военнослужащих.^[209] Кораблями командовал адмирал Линуа, которому было суждено стать ужасом наших торговых судов в восточных морях. Первая остановка Декена была на мысе, который был возвращен нами Голландской Ост-Индской компании 21 февраля 1803 года. Французский генерал застал голландских чиновников в их обычном состоянии летаргии: укрепления не были отремонтированы, и многие жители и даже сами чиновники, по словам Декена, были преданы англичанам. Осмотрев это место, несомненно, с целью его заселения, на что *намекал в своих инструкциях* мыс д'Аппуи

Тем временем произошли важные события, которые подорвали не только предприятие Декена, но и французское влияние в Индии. В Европе разгорелось пламя войны, о факте, о котором не знали ни Декан, ни британские официальные лица; но губернатор форта Сент-Джордж (Мадрас), до 15 июня "получив разведданные, которые, по-видимому, указывали на неизбежность скорого возобновления военных действий между Его Величеством и Францией", объявил, что он должен отложить возвращение Пондишерри французам до тех пор, пока у него не будет полномочий генерал-губернатора на такие действия.^[211]

Маркиз Уэлсли был еще менее расположен к подобному возмещению ущерба. Французское вмешательство в дела Швейцарии, о котором будет рассказано позже, настолько обострило англо-французские отношения, что 17 октября 1802 года лорд Хобарт, наш военный министр и по делам колоний, отправил "совершенно секретную" депешу, в которой говорилось, что недавние события сделали необходимым отложить это отступление. Позже Уэлсли получил противоположные приказы, предписывавшие ему восстановить французские и голландские территории; но он счел этот шаг несвоевременным, учитывая серьезность событий на севере Индии. Французская пропаганда при дворах махраттов была настолько активной, и их вооруженные приготовления были настолько угрожающими, что он удвоил свои усилия по укреплению британского господства. Он решил нанести удар по Скиндии, если тот не отведет свою южную армию на свою территорию; и, получив уклончивый ответ от этого принца, который надеялся, оттягивая время, получить вооруженную помощь от Франции, он направил против него британские войска. Теперь у Артура Уэлсли появилась возможность продемонстрировать свою доблесть против лучших сил Востока, и молодой воин блестяще продемонстрировал это.

Победы при Ассайе в сентябре и Аргауме в ноябре рассеяли силы южной магратты, но только после отчаянных столкновений, которые показали, насколько легко пара батальонов Декена могла бы переломить чашу весов войны.

Тем временем на севере генерал Лейк взял штурмом Алигарх и отбросил войска Синдии обратно в Дели. Испытывая отвращение к окружающим его неспособностям и вероломству, Перрон сложил командование; и в результате еще одного конфликта близ Дели этот древний центр Империи перешел к нашей торговой компании. За три месяца результаты тяжелого труда Синдии, неугомонные амбиции Холкара, подготовка европейских офицеров и тайные интриги Наполеона - все это было развеяно по ветру.

[Иллюстрация (отсутствует): ФРАНЦУЗСКАЯ КАРТА ЮГА АВСТРАЛИИ, 1807 г.]

Теперь Уэлсли аннексировал земли вокруг Дели и Агры, помимо некоторых прибрежных районов, которые отрезали махратту от моря, также предусматривая полное исключение французских агентов из их Штатов. Перрону разрешили вернуться во Францию; и резкий прием, оказанный ему Бонапартом, может служить показателем высоты надежд Первого консула, глубины его разочарования и его негодования против человека, обескураженного единственной катастрофой. ^[212]

Тем временем на долю Декена выпало стать свидетелем бесславного бездействия, крушения всех его надежд. Действительно, он едва избежал захвата, который Уэлсли устроил для всего своего отряда, как только услышал о начале войны в Европе; но благодаря тайным и умелым мерам все французские корабли, за исключением одного транспортного, ускользнули к назначенному месту встречи, Иль-де-Франсу. Разгневанные этими событиями, Декен и Линуа решили нанести своим врагам все возможные увечья. Последние вскоре вымели из восточных морей британские торговые суда стоимостью в миллион фунтов стерлингов, в то время как генерал не переставал посылать эмиссаров в Индию, чтобы побудить миллионы туземцев сбросить иго "нескольких тысяч англичан".

Эти офицеры мало чего добились, и некоторые из них были переданы английским властям теперь уже подбострастными властителями. Декан также пытался осуществить план Первого консула по захвату стратегических пунктов в Индийском океане. Осенью 1803 года он направил прекрасный крейсер к Имауму Маската, чтобы убедить его уступить место для коммерческих целей в этом порту. Но Уэлсли, предупрежденный нашим агентом в Багдаде, заключил прочный союз с имаумом, который, соответственно, отклонил просьбу французского капитана. Этот инцидент, однако, является еще одним звеном в цепи доказательств полноты восточной политики Наполеона и дает еще одно доказательство силы нашего великого проконсула в Калькутте, благодаря чьей предусмотрительности была сохранена и укреплена наша Индийская империя. ^[213]

Предприятия Бонапарта ни в коем случае не ограничивались хорошо известными землями. Незвестный континент Южных морей привлекал его воображение, которое рисовало его

уединенные места, превращенные французской энергией во вторую родину. Австралия, или Новая Голландия, как ее тогда называли, давно привлекала внимание французских исследователей, но английские каторжные поселения в Сиднее и его окрестностях на заре девятнадцатого века были единственным европейским учреждением на большом южном острове.

Бонапарт рано обратил свой взор на эту землю. В свое путешествие в Египет он взял с собой тома, в которых капитан Кук описывал свои знаменитые открытия; и как только он прочно занял пост первого консула, он вместе с Институтом Франции спланировал большую французскую экспедицию в Новую Голландию. Полный текст плана никогда не публиковался: вероятно, он был скрыт или уничтожен; и единственная общедоступная запись, касающаяся его, содержится в официальном отчете об экспедиции, опубликованном во французском имперском издательстве в 1807 году. ^[214] Согласно этому описанию, цель была исключительно географической и научной. Первый консул и Институт Франции желали, чтобы корабли направились к Земле Ван Димена, исследовали ее реки, а затем завершили обследование южного побережья континента, чтобы выяснить, может ли за островами архипелага Нюйтс быть канал, соединяющийся с заливом Карпентария и таким образом разрезающий Новую Голландию пополам. Затем они должны были плыть на запад к "Терре Левин", подняться по реке Суон, завершить исследование Шаркс-Бей и северо-западных побережий и перезимовать на Тиморе или Амбойне. Наконец, им предстояло пройти вдоль побережья Новой Гвинеи и Карпентарийского залива и вернуться во Францию в 1803 году.

В сентябре 1800 года корабли с двадцатью тремя учеными на борту отплыли из Гавра под командованием коммодора Бодена. Они не подвергались никаким домогательствам со стороны английских крейсеров, поскольку правилом чести было выдавать разрешения адмиралтейства всем членам подлинно научных и географических экспедиций. Тем не менее, даже с научной точки зрения эта великолепно оснащенная экспедиция не дала результатов, сравнимых с теми, которых достигли лейтенант Басс или капитан Флиндерс. Французские корабли причалили к Иль-де-Франсу и оттуда отплыли на Землю Ван Димена. Потратив долгое время на исследование его берегов и сбор научной информации, они направились в Сидней, чтобы отремонтировать свои корабли и получить помощь своим многочисленным инвалидам. Оттуда, после инцидентов, о которых мы сейчас расскажем, они отплыли в ноябре 1802 года к Бассову проливу и побережью за ним. Похоже, они упустили из виду вход в Порт—Филлип — открытие, сделанное Мюрреем в 1801 году, но обнаруженное только три года спустя, - и не заметили исток главной реки Австралии, который скрыт мелководным озером.

Там их встретил капитан Флиндерс, который на корабле Его величества "Исследователь" исследовал побережье между мысом Левин и большими заливами, которые он назвал в честь лордов Сент-Винсента и Спенсера. Флиндерс возвращался в сторону Сиднея, когда в длинном пустынном изгибе бухты, названной им в честь инцидента с заливом Энкаунтер, он увидел французские корабли. После краткого и осторожного общения исследователи разделились, французы продолжили обследовать заливы, откуда только что отплыл "Исследователь"; в то время как Флиндерс, после короткого пребывания в Сиднее и исследования северного побережья и Торресова пролива, отправился в Европу. ^[215]

Помимо составления наиболее точной карты Австралии, которая тогда появилась, и присвоения наименований нескольким объектам на ее побережьях —*например*, мысам Берруйи и Гантеом,

заливам Риволи и Ласепед и полуострову Фрейсине, которые сохранились до сих пор, — французская экспедиция не добилаь никаких географических результатов первостепенной важности.

Его политические цели теперь требуют внимания. Один взгляд на прилагаемую карту покажет, что под видом посланника цивилизации коммодор Боден был готов заявить права на половину континента для Франции. Действительно, его последний запрос в Сиднее о масштабах британских притязаний на Тихоокеанское побережье был настолько значительным, что заставил губернатора Кинга получить ответ, что вся Земля Ван Димена и побережье от мыса Хоу на юге материка до мыса Йорк на севере являются британской территорией. Кинг также уведомил о подозрительных действиях французского командующего правительство Метрополии; и когда французы отплыли исследовать побережье южной и центральной Австралии, он послал корабль понаблюдать за их действиями. Поэтому, когда коммодор Боден высадился на острове Кинг, "Юнион Джек" был быстро поднят и отдан честь синими мундирами британского корабля; ходили слухи, что французские офицеры сказали, что остров Кинг станет хорошей базой для командования Бассовым проливом и захвата британских кораблей. Вероятно, это были просто сплетни. Боден в своих беседах с губернатором Кингом в Сиднее отрицал какие-либо намерения захватить Землю Ван Димена; но впоследствии он заявил, что *ему неизвестно, каковы планы французского правительства в отношении этого острова.*

[216]

Задолго до того, как это мрачное высказывание стало известно в Вестминстере, у нашего правительства возникли подозрения; и 13 февраля 1803 года лорд Хобарт написал депешу губернатору Кингу, в которой просил его принять все меры предосторожности против французских аннексий и основать поселения на Земле Ван Димена и в Порт-Филлипе. Соответственно, станция Рисден была основана в устье реки Дервент, немного выше нынешнего города Хобарт; в то время как на берегах Порт-Филлипа другая экспедиция, отправленная из метрополии, пыталась, но пока безуспешно, найти подходящее место. Таким образом, французский круиз оказал на судьбы английского и французского народов такое влияние, какое часто возникало в результате их колониального соперничества: он подтолкнул островную державу к более энергичным усилиям, чем она предприняла бы в противном случае, и привел к поражению ее континентального соперника. Планы Наполеона по приобретению Земли Ван Димена и центральной части Австралии оказали влияние, подобное тому, которое амбиции Монкальма, Дюпле, Лалли и Перрона оказали на конечную судьбу многих обширных и плодородных территорий.

Тем не менее, несмотря на уничтожение своего флота при Трафальгаре, Наполеон придерживался своих австралийских планов. Пожалуй, нет факта, более свидетельствующего о непреклонном упорстве его воли, чем его приказ Перону и Фрейсине опубликовать через Имперскую прессу в Париже исчерпывающий отчет об их путешествии в Австралию, сопровождаемый картами, на которых половина этого континента обозначена трехцветным флагом. Она появилась в 1807 году, в год Тильзита и планов раздела Португалии и ее колоний между Францией и Испанией. Казалось, наконец-то пробил час утверждения французского превосходства на других континентах, теперь, когда франко-русский союз надолго укрепил его в Европе. И кто скажет, что, если бы не испанское восстание и гений Веллингтона, Франция не смогла бы завоевать обширную колониальную империю, если бы Наполеон мог направить свои силы подальше от этой "старой Европы", от которой, по его словам, он смертельно устал?

Все его отношение к европейской и колониальной политике свидетельствовало о присущей государственному деятелю оценке сил, которые должны были определять судьбы наций в девятнадцатом веке. Он видел, что никакая реорганизация европейских народов не может быть постоянной. Они были слишком упрямы, слишком прочно национализированы, чтобы нести иго нового Карла Великого. "Я пришел слишком поздно, - однажды воскликнул он Мармону. - люди слишком просвещены, ничего великого не осталось сделать". Эти слова раскрывают его понимание искусственности его европейских завоеваний. Его имперские инстинкты могли найти полное удовлетворение только среди покорных судьбе народов Азии, где он мог бы объединить функции Александра и Магомета; или, если бы это не удалось, он создал бы империю на обширных южных землях, организовав их своей необузданной властью и правя ими как диктатор. Эта задача обладала бы постоянством, подобным тому, которым человек всегда может наслаждаться в своих победах над Природой, а его победы над собратьями случаются редко или вообще никогда. Политическое переустройство Европы было в лучшем случае одним из бесконечного числа таких изменений, всегда прогрессирующих и никогда не завершенных; в то время как заселение новых земель и основание государств принадлежали к тому высшему уровню политических достижений, где планы социального благоденствия и диктат безграничных амбиций могли поддерживать горячее и нескончаемое соперничество. В то время как строго европейская политика могла привести лишь к выкапыванию давно возделываемых цветников, основой новой колониальной империи стало бы возделывание девственной почвы бескрайних прерий.

Если мы спросим в свете истории, почему эти грандиозные планы потерпели неудачу, ответ должен заключаться в том, что они были слишком масштабными, чтобы соответствовать амбициозной европейской политике. Его самый способный советник отметил, что этот фундаментальный недостаток быстро проявился после заключения Амьенского мира, когда "он начал сеять семена новых войн, которые, после того как он захватил Европу и Францию, должны были привести его к гибели". Эта критика Талейрана в адрес человека, гораздо более великого, чем он сам, но которому не хватало той спасительной сдержанности, в которой преуспел дипломат, согласуется со всеми учениями истории. Судьбы колониальных империй Афин и Карфагена в древнем мире, итальянских приморских республик, Португалии и Испании и, прежде всего, провал проектов Людовика XIV. и Людовика XV. служат доказательством того, что только тогда, когда родина наслаждается достаточным миром дома и на своих границах, она может посылать непрерывным потоком те запасы людей и сокровищ, которые являются самой жизненной кровью нового организма. Этот благодетельный поток мог бы хлынуть в Колониальную империю Наполеона, если бы другие притязания не направили его в бесплодные русла европейской войны. Последовал тот же результат, что и во время Семилетней войны, когда двойные усилия по ведению великих кампаний в Германии и за океаном подрывали силы Франции, а достижения, достигнутые Дюпле и Монкальмом, отпали от ее вялого тела.

Предвидел ли Наполеон подобный результат? Его поведение в отношении Луизианы и экспедиции Декена доказывает, что он предвидел, но только тогда, когда было уже слишком поздно. Как только он увидел, что его политика вот-вот спровоцирует новую войну с Великобританией задолго до того, как он будет готов к ней, он решил отказаться от своих океанских планов и сосредоточить свои силы на европейских границах. Решение было продиктовано истинным пониманием имперской стратегии. Но что мы скажем о его понимании имперской дипломатии? Предшествующий рассказ и события, которые будут описаны в следующих главах, доказывают, что его ошибка заключалась в чрезмерной вере в свои силы и

податливость своих врагов, которая была причиной его величайших триумфов и беспрецедентного низвержения.

ГЛАВА XVI

ВМЕШАТЕЛЬСТВО НАПОЛЕОНА

Война, сказал святой Августин, это всего лишь переход от низшего состояния мира к высшему. Это высказывание, безусловно, справедливо для тех войн, которые ведутся в защиту какого-то великого принципа или праведного дела. Возможно, это может быть справедливо применено к ранней борьбе французских революционеров за защиту своего демократического правительства от угрозы вмешательства монархических государств. Но опасность отстаивания дела свободы с помощью вооруженной силы никогда не проявлялась так ярко, как в борьбе того вулканического века. Когда демократия прочно утвердилась в европейской системе, победоносные республиканцы все еще продолжали войну за счет соседних государств, так что даже до прихода к власти Бонапарта их государственное устройство странным образом деформировалось под влиянием военных методов правления. Блеск триумфов, одержанных этим молодым воином, быстро превратился в величайшую опасность для республиканской Франции; и по мере того, как необычайная энергия, развившаяся в ее народе в результате недавних событий, повергала ее слабых соседей на землю, Европа съезживалась перед постоянно увеличивающейся мощностью Франции. В своей борьбе за демократию французы, наконец, вернулись к военному типу правления, который соответствует многим заветным инстинктам их расы: и военно-демократический компромисс, воплощенный в Наполеоне, наделил этот народ двойной силой национальной гордости и сознательной мощью, проистекающей из их новых институтов.

К этому примешивалось презрение к соседним народам, которые либо не могли, либо не хотели обрести подобную независимость и престиж. Все помогало подпитывать эту уверенность в себе и презрение к другим. Почтенная ткань Священной Римской империи раскачивалась взад и вперед из-за грабежей ее церковных земель светскими князьями, в которых ее бывшие защитники, Дома Габсбургов и Гогенцоллернов, были самыми требовательными претендентами. В октябре 1801 года царь пришел к выгодному соглашению с Францией относительно этих "секуляризаций". Чуть позже Франция и Россия начали сближаться по Восточному вопросу, угрожая Турции и британскому влиянию в Леванте. ^[217] Фактически,

французская дипломатия использовала раздел немецких церковных земель и угрозу краха Османской империи как мощное средство вовлечения континентальных государств и оставления Великобритании в изоляции. Более того, великое островное государство переживало министерские и финансовые трудности, которые лишили его всех плодов его военно-морских триумфов и сделали его дипломатию в Амьене посмешищем для всего мира. Когда монархические идеи были таким образом дискредитированы, было напрасно ожидать мира. Борьба вверх, к более высокому уровню, действительно началась; демократия утвердилась в Западной Европе; но старый порядок в своих сбивчивых попытках нащупать какую-нибудь надежную основу еще не коснулся дна той скалы национальности, которая должна была дать новое основание монархии среди раздоров девятнадцатого века. Только когда монархи получили поддержку своих ненавидящих францию подданных, равновесие сил и энтузиазма могло дать долгожданную возможность для установления прочного мира. ^[218]

Переговоры в Амьене наглядно показали огромную трудность урегулирования европейских дел. Если бы наши министры проявили свои истинные чувства по поводу президентства Наполеона в Итальянской Республике, война, несомненно, разразилась бы. Но, как было видно, они предпочли занять страусиную позицию, наихудшее из возможных средств как для благополучия Европы, так и для интересов Великобритании; поскольку это убедило Наполеона в том, что он может безопасно отважиться на другие интервенции; и это он продолжил делать в делах Италии, Голландии и Швейцарии.

21 сентября 1802 года появилось *постановление консультативного сената* о включении Пьемонта во Францию. Эта важная территория, уменьшенная в результате присоединения ее восточных частей к Итальянской Республике, в течение пяти месяцев временно находилась под управлением французского генерала в качестве военного округа Франции. Его окончательное включение в состав великой Республики теперь положило конец всем надеждам на восстановление Савойского дома. Для короля Сардинии, ныне находящегося в изгнании на своем острове, британское министерство предприняло некоторые усилия в Амьене; но, поскольку оно знало, что царь и Первый консул договорились предложить ему некоторую подходящую компенсацию, лелеялась надежда, что новый суверен, Виктор Эммануил I., будет возвращен в свои владения на материке. Теперь этой надежде пришел конец. Напрасно лорд Уитворт, наш посол в Париже, пытался помочь русскому посланнику получить соответствующую компенсацию. Сиена и ее земли были названы так, словно в насмешку; и хотя Георг III. и царь не переставал настаивать на притязаниях Савойского дома, однако из Парижа не поступало более заманчивого предложения, кроме намека на то, что для него можно было бы найти какую-нибудь часть европейской Турции; и молодой правитель благородно отказался обменять на мелкого сиенца или на какого-нибудь турецкого пахалика свое первородное право на земли, которые при более счастливом Викторе Эммануиле должны были составить ядро Объединенной Италии. ^[219] Через месяц после поглощения Пьемонта произошла аннексия Пармы. Наследник этого герцогства, который был зятем короля Испании, был возведен в достоинство короля Этрурии; и в обмен на это возвышение в Европе Карл IV выменял у Франции всю Луизиану. Тем не менее, Первый консул оставил свои войска в Парме, и после смерти старого герцога в октябре 1802 года Парма и ее владения были включены во Французскую республику.

Военно-морское господство Франции в Средиземном море было также обеспечено аннексией острова Эльба с его превосходной гаванью Порто-Феррайо. Три депутата от Эльбы прибыли в

Париж, чтобы засвидетельствовать свое почтение своему новому правителю. В этой связи военному министру было поручено обращаться с ними со всей учтивостью, развлекать их за обедом, дать им по 3000 франков каждому и намекнуть, что при представлении Бонапарту они могли бы произнести короткую речь, выражающую радость их народа по поводу объединения с Францией. Такими искусными репетициями этот мастер сценического искусства приобщил Эльбу к Франции, а Францию - к себе.

Еще более важным было вмешательство Бонапарта в Швейцарию. Состояние этой земли требует некоторого объяснения. На протяжении почти трех столетий швейцарцы были объединены в тринадцать кантонов, которые сильно различались по характеру и конституции. Центральные или лесные кантоны все еще сохраняли старый тевтонский обычай решать свои дела на нескольких народных собраниях, на которых каждый домовладелец появлялся во всеоружии. В других частях конфедерации сложились менее достойные восхищения обычаи, и особенно богатые низменности находились под наследственным контролем богатых бюргерских семей. Не было конституции, объединяющей эти штаты в какой-либо эффективный союз. Каждый из кантонов претендовал на государственный суверенитет, который едва ли был нарушен обсуждениями в Федеральном сейме. Помимо этих суверенных государств, были и другие, которые занимали нечетко определенное положение в качестве союзников; среди них были Женева, Базель, Бьенн, Сен-Галль, старый имперский город Мюльхаузен в Эльзасе, три Гризона, княжество Невшатель и Вале на Верхней Роне. Последними шли подвластные земли Аргау, Тургау, Тичино, Во и другие, которые с разной степенью строгости управлялись своими кантональными сюзеренами. Такова была старая Швейцарская конфедерация: она чем-то напоминала хаотичную македонскую лигу горных кланов, жителей равнин и городов, на которую так сильно повлияло проникновение греческих идей и властный гений Филиппа. Швейцария также была потрясена новым политическим влиянием, а затем оказалась под контролем величайшего государственного деятеля того времени.

На эту пеструю группу кантонов и округов Французская революция оказала сильное влияние; и когда в 1798 году жители Во попытались сбросить иго Берна, французские войска по приглашению повстанцев вторглись в Швейцарию, подавили мужественное сопротивление центральных кантонов и разграбили главное швейцарское казначейство. После грабителей пришли поджигатели конституции, которые немедленно навязали Швейцарии демократию наиболее французского и геометрического типа: все различия между суверенными кантонами, союзниками и подвластными землями были устранены, и Гельвеция была образована как неделимая республика — за исключением Вале, который должен был стать независимым, и Женева и Мюльхаузена, которые были поглощены Францией. Подчиненные округа и непривилегированные классы значительно выиграли от социальных реформ, проведенных под влиянием Франции; но конституция, опрометчиво перенесенная из Парижа в Берн, могла только вызвать отвращение у народа, который никогда прежде не подчинялся иностранной диктатуре. Более того, новый порядок вещей нарушал самые элементарные потребности швейцарцев, чьи расовые и религиозные инстинкты требовали свободы действий для каждого округа или кантона.

Защитниками этих глубоко укоренившихся чувств теперь были олигархи равнин, не в меньшей степени, чем демократы Лесных кантонов; в то время как сторонники новомодной демократии подвергались презрению как сторонники железной централизации. Вскоре стало ясно, что конституция 1798 года может быть увековечена только при поддержке французских войск,

расквартированных на этой несчастной земле; ибо на протяжении 1800 и 1801 годов политические качели каждые несколько месяцев склонялись сначала в пользу олигархической или федеральной партии, затем снова в сторону их противников-юнионистов. После заключения Люневильского мира, который признавал право швейцарцев принимать ту форму правления, которую они считали подходящей, некоторые из их депутатов отправились в Париж с проектом конституции, недавно разработанным Бернской палатой, в надежде получить согласие Первого консула на ее положения и вывод французских войск. У них были все основания для надежды: партия, находившаяся тогда у власти в Берне, выступала за централизованную демократию, а их полномочный представитель в Париже, убежденный республиканец по фамилии Штапфер, надеялся, что Швейцарии теперь будет позволено самой определять свою судьбу. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что первый консул все больше увлекается федерализмом. Письма, написанные Штапфером швейцарскому правительству в то время, в высшей степени поучительны. ^[220]

10 марта 1801 года он писал:

"Что мучит нас больше всего, так это жестокая неопределенность относительно истинных целей французского правительства. Хочет ли оно федерализовать нас, чтобы ослабить нас и более уверенно править за счет наших подразделений, или оно действительно желает нашей независимости и благополучия, и его задержка является лишь результатом его сомнений относительно истинных желаний гельветической нации?"

Вскоре Штапфер обнаружил, что истинной причиной задержки было незавершение процесса передачи Вале, которого Бонапарт настоятельно требовал для строительства военной дороги через перевал Симплон; и поскольку швейцарцы отклонили это требование, дело зашло в тупик. "Вся Европа не заставила бы его отказаться от любимого плана, - писал Штапфер 10 апреля. - Владение Вале - один из вопросов, наиболее близких его сердцу".

Продолжительное давление французской оккупационной армии на эту и без того бедную землю оказалось непреодолимым; и некоторые важные изменения швейцарского проекта конституции, на которых настаивал Первый консул, были внесены в новый федеральный договор от мая 1801 года. Теперь Швейцария была разделена на семнадцать кантонов; и, несмотря на желание официальных швейцарских посланников создать сильно централизованное правительство, Бонапарт наделил кантональные власти большими полномочиями. О мотивах его действий судили по-разному. Предоставив большую свободу передвижения нескольким кантонам, он, безусловно, избрал единственный государственный курс: но его поведение во время переговоров, удержание им Вале и продолжающаяся оккупация Швейцарии его войсками, хотя и в уменьшенном количестве, вызвали много сомнений в искренности его стремления к окончательному урегулированию.

Юнионистское большинство в Берне вскоре приступило к изменению его предложений, которые они осудили как полные недостатков и противоречий; в то время как федералы стремились оставить все как есть. В октябре месяце их усилия увенчались успехом благодаря поддержке французского посла и солдат; они распустили Ассамблею, аннулировали недавние поправки к ней; и их влияние обеспечило Редингу, главе олигархической партии, должность ландаммана, или верховного магистрата. Однако их действия были настолько реакционными, что первый консул отозвал французского генерала в знак своего недовольства его помощью, недавно предложенной федералам. Их триумф был недолгим: пока их вожди отсутствовали на

Пасху 1802 года, демократические юнионисты совершили еще один *государственный переворот*— это был четвертый — и провозгласили еще одну конституцию. Это изменение, по-видимому, также было произведено при попустительстве французских властей: ^[221] их отказ прислушаться к требованиям Штапфера об определенном урегулировании, а также их настойчивые намеки на то, что швейцарцы не могут сами устроить свои дела, свидетельствовали о желании продолжить эпоху ежеквартальных *государственных переворотов*.

Победа так называемых демократов в Берне теперь поставила весь вопрос на первый план. Они обратились к народу на первом швейцарском *плебисците*, предшествовавшем знаменитому референдуму. Теперь это можно было решить без вмешательства французских войск, поскольку первый консул в частном порядке заявил новому ландаммену Дольдеру, что он оставляет на усмотрение своего правительства решение о том, должны ли иностранные солдаты остаться в качестве поддержки или им следует эвакуироваться из Швейцарии. ^[222] После долгих раздумий новые власти решили попытаться счастья в одиночку — ответ, которого, должно быть, ожидали в Париже, где Стэпфер в течение нескольких месяцев призывал к выводу французских войск. Таким образом, впервые с 1798 года Швейцария была свободна заявить о своей воле. Результат *плебисцита* был достаточно решающим: 72 453 голоса были поданы за последнюю конституцию и 92 423 - против. Этот отпор ничуть не смутил бернских лидеров, и, приняв на вооружение прием, который Первый консул изобрел в интересах свободы Нидерландов, они заявили, что 167 172 взрослых избирателя, которые вообще не голосовали, должны считаться одобряющими новый порядок вещей. Ненадежность этого предлога вскоре была раскрыта. Швейцарцы были сыты по горло уловками предвыборной агитации, революциями "между дырками и углами" и бумажными компактами. Они бросились к оружию; и если когда-либо призыв Карлейля отказаться от урн для голосования и парламентских шпаг к первобытному *могуществу человека* может быть оправдан, то это было в острых и решающих конфликтах ранней осени 1802 года в Швейцарии. Войска центральных властей, выступившие из Берна для подавления нарастающего брожения, получили отпор у подножия горы Пилат, а также у стен Цюриха; а поскольку восстание федералов все набирало силу, гельветические власти были изгнаны из Берна в Лозанну. Там они планировали бежать через Женевское озеро в Савойю, когда 15 октября прибытие адъютанта Наполеона генерала Раппа с властным заявлением привело федералов в смятение и пообещало расстроеным юнионистам посредничество Первого консула, о чем они смиренно просили. ^[223]

Наполеон, очевидно, наблюдал за последними событиями в Швейцарии со смешанным чувством раздражения и веселого презрения. "Ну вот, вы снова участвуете в революции", - таков был его поспешный комментарий Стэпферу на дипломатическом приеме вскоре после Пасхи. "Попробуйте и устанете от всего этого". Однако трудно поверить, что столь проницательный государственный деятель мог ожидать чего угодно, кроме волнений в стране, обремененной невыполнимой конституцией, и откуда контролирующие французские войска были выведены в момент того самого кризиса. Он, безусловно, был готов к сентябрьским событиям: много раз он насмешливо спрашивал Стэпфера, как идут дела с конституцией, и, должно быть, со спокойным удивлением получал торжественный ответ, что в ее блестящем успехе не может быть никаких сомнений. Когда Штапферу открылась правда, он был ошеломлен, особенно после того, как Талейран сначала насмешливо отверг любое предположение о необходимости французского посредничества и продолжал уверять его, что его хозяин не советовал и не одобрял последнюю конституцию, непригодность которой теперь

была продемонстрирована повсеместным восстанием. Однако два дня спустя Наполеон изменил свой тон и приказал Талейрану энергично протестовать против действий и прокламаций победивших федералов как "самого жестокого оскорбления чести Франции". В последний день сентября он издал обращение к швейцарцам, в котором объявил, что отныне он отменяет свое решение не вмешиваться в швейцарскую политику, и приказал федеральным властям и войскам разойтись, а кантонам направить депутатов в Париж для урегулирования своих дел при его посредничестве. Тем временем он призвал швейцарцев еще раз возродить надежду: их земля находится на краю пропасти, но скоро она будет спасена! Рапп передал аналогичные приказы в Лозанну и Берн, в то время как Ней выступил маршем с большими силами французских войск, которые были собраны у границ Швейцарии.

Столь вопиющее нарушение независимости Швейцарии и Люневильского договора о гарантиях вызвало возмущение по всей Европе. Но Австрия была слишком встревожена усилением Пруссии в Германии, чтобы выразить какой-либо протест; и, действительно, добилась некоторых незначительных успехов, предоставив Франции полную свободу действий в Швейцарии. ^[224] Берлинский суд, затем довольствовавшийся тем, что разыгрывал роль шакала перед французским львом, раскрыл Первому консулу просьбы о помощи, которые швейцарские федералы в частном порядке обращали к Пруссии: ^[225] царь, несомненно, под влиянием своего соглашения с Францией относительно германских дел и по совету своего бывшего наставника, швейцарца Лаарпа, не проявил никакой поддержки; и Великобритании было предоставлено предпринять единственное усилие, которое тогда предпринималось для обеспечения независимости Швейцарии. В течение некоторого времени кантоны обращались с просьбами к британскому правительству, которое теперь в ответ направило английского агента Мура для переговоров с их руководителями, а также для выдвижения денег и обещания активной поддержки, если он сочтет, что можно попытаться оказать успешное сопротивление. ^[226] Британское министерство, несомненно, готовилось к открытому разрыву с Францией по этому вопросу. Из Лондона были немедленно отправлены приказы о том, что французские или голландские колонии больше не должны быть возвращены; и, как мы видели, голландским и французским офицерам, заявившим о капитуляции, было отказано в мысе Доброй Надежды и французских поселениях в Индии.

Военных действий, однако, пока удалось избежать. Перед лицом превосходящих сил, которыми располагал Ней, вожди центральных кантонов воздержались от какого-либо активного сопротивления; и Мур, обнаружив по прибытии в Констанц, что они решили подчиниться, быстро вернулся в Англию. Министры с гневом и тревогой наблюдали за увековечиванием французского господства на этой земле; но у них не хватило смелости открыто выступить против действий первого консула, и они отдали приказ о вступлении в силу оговоренных уступок французских и голландских колоний.

Покорность швейцарцев и слабость всех Властей побудили Первого консула навязать свою волю депутатам от кантонов, которые собрались в Париже в конце 1802 года. Сначала он распорядился, чтобы их цели и способности их лидеров были озвучены во франко-швейцарской комиссии, а затем собрал их в Сен-Клу в воскресенье, 12 декабря. Он произносил перед ними пространственные речи, очень ясно намекая, что швейцарцы должны сейчас занимать гораздо более низкое место на шкале народов, чем в те дни, когда Франция была разделена на шестьдесят феодальных владений, и что союз с ней один может позволить им играть важную роль в мировых делах: тем не менее, поскольку они цеплялись за независимость, он в качестве

посредника возьмет на себя обязательство положить конец их бедам и при этом оставить их свободными. То, что они могли достичь единства, было всего лишь мечтой их метафизиков: они должны были полагаться на кантональную организацию, всегда при условии, что французский и итальянский округа Во и верхнее Тичино не подчинялись центральному или немецкому кантонам: чтобы предотвратить такое бесчестие, он пролил бы кровь 50 000 французов: Берн также должен открыть свою золотую книгу привилегированных семей и включить в нее вчетверо больше их числа. В остальном Континентальные державы ничем не могли им помочь, а Англия "не имела права вмешиваться в швейцарские дела". Та же угроза была повторена в более резких тонах 29 января:

"Я говорю вам, что скорее пожертвовал бы 100 000 человек, чем позволил бы Англии вмешиваться в ваши дела: если бы Кабинет Сент-Джеймса произнес хоть одно слово в вашу защиту, с вами было бы покончено, я объединил бы вас с Францией; если бы этот Двор хотя бы намеком выразил свои опасения, что я буду вашим ландаманом, я бы сделал себя вашим ландаманом".

Здесь проявился внутренний разум человека, который, будь то ребенком, юношей, лейтенантом, генералом, консулом или императором, любил подавлять сопротивление. ^[227]

В те дни сверхчеловеческой активности, когда он создавал одну колониальную империю в Новом Свете и готовился основать другую в Индии, когда он перехитрил кардиналов, перекроил карту Германии, вдохнул новую жизнь во французскую торговлю и стремился сковать торговлю Британии, он все же нашел время произнести несколько мудрейших изречений относительно совершенно разных потребностей швейцарских кантонов. Он заверил депутатов, что говорит как корсиканец и альпинист, знающий и любящий клановую систему. Его слова доказали это. Уверенным штрихом он обрисовал характерные черты французов и швейцарцев. Швейцария нуждалась в местной свободе, даруемой ее кантонами: в то время как Франция нуждалась в единстве, Швейцария нуждалась в федерализме: французы отвергали это последнее как наносящее ущерб их власти и славе; но швейцарцы не просили славы; им нужны были "политическое спокойствие и безвестность": более того, простой пастушеский народ должен иметь обширные местные права, которые служили их главным отвлекающим фактором от монотонности жизни: демократия была необходимостью для лесных кантонов; но пусть городские аристократы не боятся, что более широкое избирательное право положит конец их влиянию, ибо народ, зависящий от пастушеских занятий, всегда будет держаться за большие семьи. вместо того, чтобы обращаться к избирательным собраниям: пусть они избираются на достаточно широкой основе. С другой стороны, какое остроумие блеснуло в его ответе депутату, возражавшему против того, что Бернский оберланд является частью кантона Берн: "Куда вы везете свой скот и свой сыр?" — "В Берн". — "Откуда вы получаете зерно, ткани и железо?" — "Из Берна". — "Очень хорошо: "В Берн, из Берна" — следовательно, вы принадлежите Берну". Ответ - хороший пример того хитрого материализма, который он так победоносно противопоставил феодальному хаосу и монархической некомпетентности.

Действительно, как в больших, так и в малых делах его гений проникал в суть проблемы: он видел, что демократические юнионисты потерпели неудачу из-за жесткости своей централизации, в то время как федералы нанесли оскорбление, недостаточно признав новую страсть к социальному равенству. ^[228] Теперь он готовился к федерализации Швейцарии на

умеренно демократической основе; для проведения политики равновесия, поскольку он сам находился в центре событий, очевидно, требовались здравый смысл, а также личные интересы. Засвидетельствуйте его слова Редереру по этому поводу:

"Удовлетворяя всеобщее мнение, я заставляю патрициев трепетать. Придавая этим последним видимость власти, я обязываю их искать убежища у меня, чтобы найти защиту. Я позволяю народу угрожать аристократам, чтобы они могли нуждаться во мне. Я дам им места и отличия, но они будут скрывать их от меня. Моя система преуспела во Франции. Посмотрите на духовенство. С каждым днем они будут становиться, вопреки самим себе, более преданными моему правительству, чем они предполагали".

Как просто и в то же время как изощренно это государственное управление; простота цели с тонкостью в выборе средств: вот секрет его успеха.

После большой предварительной работы, проделанной французскими комиссарами и швейцарскими депутатами в комитете, Первый консул подвел итоги их трудов в Акте о посредничестве от 19 февраля 1803 года, который образовал Конфедерацию из девятнадцати кантонов, причем ранее подчиненные округа теперь получили кантональное достоинство и привилегии. Лесные кантоны сохранили свои древние народные собрания, в то время как городским кантонам, таким как Берн, Цюрих и Базель, пришлось сочетать свои старые институты с демократическими обычаями, к большому огорчению юнионистов, по приглашению которых Бонапарт взялся за посредническую работу.

Федеральный договор также был компромиссом между старым и новым. Девятнадцать кантонов должны были обладать суверенными полномочиями под прикрытием старого федерального пакта. Бонапарт увидел, что суетливое навязывание французских правительственных форм в 1798 году принесло бесконечный вред, и теперь он предоставил федеральным властям лишь полномочия, необходимые для самообороны: федеральные силы должны были состоять из 15 200 человек — количество меньшее, чем то, которое по старому договору Швейцария должна была предоставить Франции. Центральная власть принадлежала ландамману и другим должностным лицам, ежегодно назначаемым одним из шести главных кантонов по очереди; и Федеральный сейм, состоящий из двадцати пяти депутатов — по одному от каждого из маленьких кантонов и по два от каждого из шести более крупных кантонов — собирался для обсуждения вопросов общего значения, но баланс сил оставался за кантонами: дальнейшие статьи регулировали гельветический долг и провозглашали независимость Швейцарии - как будто независимой могла быть страна, которая предоставляет иностранцу больше войск, чем ей разрешено содержать для собственной обороны. Более того, в Законе не было ни слова о свободе вероисповедания, свободе прессы или праве на подачу петиций: и, рассматривая его в целом, "друзья свободы" имели основания присоединиться к жалобе Штаффера на то, что "целью Первого консула было политическое уничтожение Швейцарии, но при этом обеспечить швейцарцам максимально возможное семейное счастье".

Я считал целесообразным дать отчет о франко-швейцарских отношениях в масштабе, пропорциональном их интересу и важности; они демонстрируют не только подлость и безрассудство французской директории, но и гениальность великого корсиканца в искусном смешивании нового и старого, а также в его неприятии суетного педантизма французских теоретиков и худших предрассудков швейцарских олигархов. Если бы его мудрые замыслы не были переплетены с тонкими интригами, которые обеспечили его собственное неоспоримое

превосходство в этой стране, Акт Посредничества можно было бы причислить к самым грандиозным и благотворным достижениям. Как бы то ни было, это следует рассматривать как шедевр умелого, но эгоистичного государственного управления, который неблагоприятно контрастирует с бескорыстными мерами, санкционированными союзниками для Швейцарии в 1815 году.

ГЛАВА XVII

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОЙНЫ

За повторной оккупацией Швейцарии французами в октябре 1802 года вскоре последовали другие серьезные события, которые убедили британское министерство в том, что войны вряд ли удастся избежать. Действительно, еще до ратификации договора между Парижем и Лондоном начали поступать зловещие жалобы.

Некоторые из них были тривиальными, другие - чрезвычайно важными. Среди последних был вопрос о коммерческих отношениях. Британское министерство пренебрегло получением каких-либо письменных гарантий возобновления торговых отношений между двумя странами; и первый консул, либо побуждаемый протекционистскими теориями якобинцев, либо потому, что он хотел оказать давление на Англию с целью вымогательства дальнейших уступок, решил ограничить торговлю с нами до минимально возможных размеров. Такое отношение к Англии было совершенно исключительным, поскольку в свои договоры, заключенные с Россией, Португалией и Портой, Наполеон добился включения пунктов, которые непосредственно способствовали французской торговле с этими землями. Вскоре от британского правительства поступили увещевания о том, что "вводятся строгие запреты на ввоз британских товаров и мануфактур во Францию, и очень строгие ограничения были наложены на британские суда, заходящие во французские порты"; но, несмотря на все заверения, мы с огорчением увидели, что Бирмингемское оборудование и постоянно растущие запасы хлопка и шерстяных изделий отрезаны от Франции и ее подвластных земель, а также от французских колоний, которые мы только что вернули.

В этой политике коммерческого запрета Наполеона подтвердил наш отказ изгнать принцев Бурбонов. Он отказался принять наше объяснение, что они не были официально признаны и не могли быть высланы из Англии без нарушения прав гостеприимства; и он горько жаловался на

личные нападки на него в журналах, издаваемых в Лондоне французскими *эмигрантами*. Наиболее язвительные из них, а именно статьи Пельтье "Амбигю", уже получили порицание британского министерства; но, как было ранее объяснено в Амьене, кабинет Аддингтона решил, что он не может рисковать ограничивать свободу прессы, тем более под диктовку того самого человека, который отвечал на выпады наших неофициальных журналов резкими репликами в официальном "Монитер". На эти последние Его величество не соизволил подать никакой официальной жалобы; но он предположил, что их включение в орган французского правительства должно было помешать Наполеону предпочесть нынешние протесты.

Эта словесная война продолжалась с неослабевающей силой по обе стороны Ла-Манша, британские журналы жаловались на наполеоновскую диктатуру в континентальных делах, в то время как "Монитер" пестрел статьями, короткие, резкие фразы которых мог произнести только первый консул. Официальная пресса до сих пор отличалась скучной благопристойностью, и велико было удивление старых дворов, когда французские официальные журналы сравнили политику Сент-Джеймского двора с методами берберийских разбойников и замыслами мильтоновского сатаны. ^[229] Тем не менее, наше министерство возбудило уголовное дело против Пельтье и осудило его за клевету, акт, который в то время произвел отличное впечатление в Париже. ^[230]

Но сейчас речь шла о более серьезных вещах. Газетные статьи и коммерческие ограничения не были причиной войны, как бы сильно они ни раздражали два народа.

Общее положение англо-французских дел осенью 1802 года хорошо описано в официальных инструкциях, данных лорду Уитворту, когда он собирался продолжить работу в качестве посла в Париже. Для этой трудной работы у него было несколько хороших качеств. Во время своего посольства в Санкт-Петербурге он продемонстрировал сочетание такта и твердости, которые вызывали уважение, и, несомненно, его самообладание во время яростных вспышек царя Павла дало рекомендацию на не менее трудный пост в Париже, который он занял с *хладнокровием*, ставшим историческим. Возможно, более добродушная личность могла бы сгладить некоторые трудности в Тюильри, но министерство Аддингтона, попробовав добродушие в лице Корнуоллиса, естественно, выбрало человека, отличавшегося способностью к тихому, но твердому сопротивлению.

Его первые инструкции от 10 сентября 1802 года таковы, какие могли бы быть составлены между любыми двумя державами, вступающими в длительный мирный период. Но серия неблагоприятных событий, отмеченных выше, затуманила политический горизонт; и это изменение нашло существенное выражение в секретных инструкциях от 14 ноября. Теперь ему поручено заявить о решимости Георга III "никогда не отказываться от своего права вмешиваться в дела Континента в любом случае, когда интересы его собственных владений или Европы в целом, по его мнению, потребуют этого". Затем цитируется французское донесение, в котором признается, что за каждое значительное завоевание Франции на Континенте Великобритания имела некоторое право на компенсацию: и такое требование, как было намекнуто, теперь может быть выдвинуто после аннексии Пьемонта и Пармы. Против продолжающейся оккупации Голландии французскими войсками и их вторжения в Швейцарию Уитворт должен был выступить с умеренными, но твердыми протестами, но таким образом, чтобы не связывать нас окончательно. Он должен был проявлять такую же осмотрительность в отношении Мальты.

Поскольку Россия и Пруссия все еще отказывались гарантировать независимость этого острова, было очевидно, что британские войска еще не могут быть выведены.

"Его Величество, безусловно, имел бы основания заявить права на владение Мальтой в качестве некоторого противовеса приобретениям Франции после заключения окончательного договора: но нет необходимости решать сейчас, будет ли Его Величество склонен воспользоваться своими притязаниями в этом отношении".

Таким образом, между 10 сентября и 14 ноября мы перешли от явно миролюбивой позиции к воинственной и практически приняли решение потребовать Мальту в качестве компенсации за недавнее усиление Франции. Немедленно объявить войну на этих основаниях, безусловно, было бы более достойно. Но, поскольку наше министерство уже уступило по многим вопросам, внезапное объявление войны швейцарским и итальянским делам свело бы на нет его покладистое поведение по более важным вопросам. Более того, весь ход дипломатии восемнадцатого века, не в меньшей степени, чем собственное признание Бонапарта, оправдывал надежду заполучить Мальту в качестве "компенсации". От ловкого торговца, выставявшего на продажу немецкие церковные земли, получившего Луизиану в результате пармско-тосканского обмена и все еще заявлявшего царю о своих добрых намерениях относительно "компенсации" королю Сардинии, вполне можно было ожидать признания принципа компенсации в англо-французских отношениях, когда они подвергались опасности из-за усиления Франции; и, как вскоре станет известно, Первый консул, заявляя о защите международного права от вероломного Альбиона, в частном порядке признал ее право на компенсацию и только возражал против ее практического применения, когда таким образом, его восточные замыслы были скомпрометированы.

Прежде чем Уитворт отправился в Париж, французское и британское правительства обменялись резкими возражениями. На наши протесты против интервенции Наполеона в соседние государства он ответил требованием "всего Амьенского мирного договора и ничего, кроме этого договора". На что Хоксбери ответил: "Состояние Континента в период действия Амьенского мирного договора, и ничего, кроме этого состояния". В ответ Наполеон нанес контрудар, утверждая, что французские войска эвакуировали Таранто, что Швейцария обратилась к нему за посредничеством, что в делах Германии нет ничего нового и что Англия, шестью месяцами ранее отказавшаяся от своего интереса к континентальным делам, не может возобновить его по своему желанию. Возражение, вызвавшее восхищение М. Тьера, скорее показное, чем убедительное. Хоксбери апеллировал не к мечу, а к закону; не к французскому влиянию, приобретенному в результате военной оккупации, которая противоречила Люневильскому мирному договору, а к международному равенству.

Безусловно, кабинет Аддингтона совершил грубую ошибку, не включив в Амьенский мирный договор пункт, предусматривающий независимость Батавской и Гельветической республик. Несомненно, это основывалось на Люневильском мирном договоре и франко-голландской конвенции от августа 1801 года, в которой оговаривалось, что французские войска должны были оставаться в Батавской республике только до заключения всеобщего мира. Но одно дело полагаться на международное право, и совсем другое дело в век насилия и махинаций ставить под угрозу самые серьезные материальные интересы при его соблюдении. И все же именно это сделало министерство Аддингтона: "Его Величество согласился внести многочисленные и наиболее важные изменения в состав правительства Батавии с учетом того, что это

правительство является независимым и не подлежит никакому иностранному контролю".^[231] Действительно, возвращение мыса Доброй Надежды и других колоний голландцам исключительно в расчете на соблюдение международного права Наполеоном и Талейраном было, как показали события, актом исключительной доверчивости. Но, рассматривая этот вопрос честно и прямолинейно, следует признать, что ответ Наполеона уклонялся от сути британской жалобы; это был всего лишь *аргумент против человека*; он обвинял кабинет Аддингтона в слабости и непредусмотрительности; но по справедливости он был недействительным, а в практической политике предвещал войну.

Поскольку Наполеон отказался вывести свои войска из Голландии и продолжал господствовать в этом несчастном государстве, было ясно, что мыс Доброй Надежды вскоре будет закрыт для наших кораблей — перспектива, которая чрезвычайно повысила ценность сухопутного пути в Индию и этих восточных порталов, Мальты и Египта. Теперь мы обратимся к Мальтийскому вопросу, как и позже к Восточному вопросу, с которым он был тогда тесно связан.

Беспокойство британского правительства по поводу судьбы Мальты вызывали многие причины. Несмотря на наши усилия не задеть чувствительного царя, который был покровителем ордена Святого Иоанна, этот чувствительный молодой правитель был оскорблен статьей, касающейся этого острова. Теперь он выступал просто как одна из шести держав, гарантирующих ее независимость, а не как единственный покровитель и гарант, и он был задет тем, что его имя появилось после имени императора Франциска!^[232] В сложившейся ситуации главным образом был виноват Первый консул; но царь выместил свое неудовольствие на Англии. 28 апреля 1802 года наш посланник в Париже мистер Мерри сообщил следующее:

"Либо само российское правительство, либо лично граф Марков настолько не в духе по отношению к нам за то, что мы не действовали в строгом согласии с ними, или с ним, или в соответствии с их идеями при заключении окончательного мирного договора [в Амьене], что я нахожу, что он прилагает все усилия, чтобы превратить это в насмешку, и особенно представить соглашение, которое мы заключили для Мальты, как невыполнимое и, следовательно, совершенно недействительное".

Депеши нашего посла в Санкт-Петербурге лорда Сент-Хеленса и его преемника адмирала Уоррена носят тот же характер. Они сообщают о раздражении царя Англией по поводу мальтийского дела и его отказе прислушаться даже к совместной англо-французской просьбе от 18 ноября 1802 года о гарантиях амьенских договоренностей.^[233] Неделью спустя Александр объявил, что гарантирует независимость Мальты при условии признания полного суверенитета рыцарей ордена Святого Иоанна — то есть без какого-либо участия коренных мальтийцев в делах этого Ордена - и что на острове должен быть гарнизон неаполитанских войск, которым платят Франция и Англия, до тех пор, пока рыцари не смогут сохранить свою независимость. Это повторное рассмотрение вопроса, обсуждавшегося *до тошноты* в Амьене, доказало, что мальтийский вопрос еще долго будет ставить мир в тупик. Дело еще больше осложнилось из-за упразднения французским правительством приоратов, командорий и собственности ордена Святого Иоанна весной 1802 года — пример, которому Мадридский двор последовал следующей осенью; и поскольку собственность рыцарей во французской части Италии также прекратилась, было трудно понять, как разрозненные и обедневшие рыцари могли сформировать стабильное правительство, особенно если коренные мальтийцы не были допущены к участию в государственных делах. Эти действия Франции, Испании и России

полностью оправдали британское правительство в том, что оно не допустило в крепость 2000 неаполитанских солдат, прибывших осенью 1802 года. Наша эвакуация с Мальты была обусловлена несколькими условиями, пять из которых не были выполнены.^[234] Но трудности, возникшие в результате восстановления этого умирающего Порядка, были ничем по сравнению с трудностями, возникшими в результате повторного рассмотрения гораздо более обширного и сложного вопроса — "вечного" Восточного вопроса.

Редко когда распад Турецкой империи происходил так быстро, как в начале девятнадцатого века. Коррупция и фаворитизм парализовали правительство в Константинополе; властные паши, подражая тактике Али-паши, фактического правителя Албании, начали создавать сатрапии в Сирии, Малой Азии, Валахии и даже в самой Румелии. Таково было состояние Турции, когда султан и его советники с глубокой озабоченностью услышали в октябре 1801 года, что единственная держава, на дружбу которой они могли твердо положиться, собиралась отказаться от Мальты. Он немедленно направил серьезное обращение Георгу III, умоляя его не эвакуировать остров. Этой депеши нет в архивах нашего Министерства иностранных дел; но письмо, написанное с Мальты лордом Эджингом, нашим послом в Константинополе, по возвращении домой, достаточно показывает, что султан сознавал свою собственную слабость и планы раздела, которые вынашивались в Париже. Бонапарт уже начал прощупывать Австрию и Россию по этому поводу, ловко намекая, что Держава, которая раньше не присоединилась к этому предприятию, потерпит неудачу. В настоящее время оба правителя отвергли его предложения; но он не переставал надеяться, что анархия в Турции и зависть, которую планы раздела всегда вызывают у соседей, привлекут к его предприятию сначала одного, а затем и другого.^[235]

Характер молодого царя в тот период был беспокойным и непостоянным, свободным от страстных капризов его злополучного отца и приспособленным благодаря искренним усилиям швейцарского демократа Лаарпа к самым возвышенным устремлениям Франции 1789 года. И все же сын Павла I едва ли мог освободиться от инстинктов царей-завоевателей; его открытые голубые глаза, изящная, но властная фигура, высокий широкий лоб и плотно сжатый рот обещали умственную энергию; а его великолепное телосложение и любовь к воинскому искусству, казалось, приглашали его завершить кампании Екатерины II против турок и смыть волнами Дуная угрызения совести, которые он все еще испытывал из-за своего невольного соучастия в заговоре об отцеубийстве. В настоящее время он колебался между своей любовью к свободе и иностранными завоеваниями со странной врожденной нерешительностью, которая портила благородный характер и которая не раз делала его жертвой властной воли или соблазнительных проектов. Он - Янус русской истории. С одной стороны, он сталкивается с огромными проблемами социальных и политических реформ, и все же многие устремляют тоскующие взгляды на купол Святой Софии. Эта нестабильность в его характере была, таким образом, подчеркнута раскритикована его другом князем Чарторыйским:^[236]

"Великие идеи общего блага, великодушные чувства и желание пожертвовать ради них частью императорской власти действительно занимали ум императора, но это были скорее фантазии молодого человека, чем решительная воля взрослого человека. Император любил формы свободы, как любил театр: ему доставляло удовольствие и льстило его тщеславию видеть видимость свободного правления в своей Империи; но все, чего он хотел в этом отношении, были формы и видимость: он не ожидал, что они станут реальностью. Он охотно согласился бы,

чтобы каждый человек был свободен, при условии, что он добровольно будет делать только то, чего пожелает император".

Это более позднее суждение известного польского националиста, вероятно, вызвано разочарованиями, которые он испытал от рук царя; но оно выражает чувства большинства наблюдателей ранней карьеры Александра и соответствует выводу, к которому пришел любимый адъютант Наполеона Дюрок, который отправился поздравить молодого царя с восшествием на престол и склонить его к восточным интригам — что царю не на что надеяться и нечего бояться. *Это было глубокой правдой.* ^[237]

Эти восточные планы на время отвлекли молодого царя от более благородного пути социальных реформ. Спасительное влияние в этом случае оказал его старый наставник Лагарп. Бывший директор Швейцарии с готовностью убедил царя, что Россия остро нуждается в политических и социальных реформах. Его влиянию во многом способствовала блестящая группа молодых людей, Воронцовы, Строгоновы, Новосилцовы и Чарторыйские, чье восхищение западными идеями и институтами, особенно британскими, помогло Александру встать на путь прогресса. Таким образом, когда Наполеон засыпал царя записками в отношении Турции, этот молодой правитель начал внедрять систему в свое управление, привилегии для крепостных и слабые зачатки образования для народа.

Погруженный в эти благотворные замыслы, Александр с глубоким огорчением услышал об аннексии Пьемонта и Пармы и о том, что Наполеон отказал королю Сардинии в какой-либо большей территории, чем Сиенская. Это нарушение добросовестности задело царя за живое. Напрасно Наполеон теперь пытался вовлечь его в турецкие авантюры, заявляя, что Франция должна закрепить Морею за собой, что другие части Европейской Турции могут быть переданы Виктору Эммануилу I и французским бурбонам. Это хладнокровное предложение о том, что древние династии должны быть изгнаны из мест их рождения в чужие греческие или мусульманские земли, ранило монархические чувства царя. Он не желал этого; и его не прельщала перспектива увидеть французов в Мореи, откуда они могли бы завершить беспорядок в Турции и захватить Константинополь. Он понимал, куда ведет его Наполеон. Он резко отступил и даже уведомил нашего посла адмирала Уоррена, что *Англии лучше сохранить Мальту.* ^[238]

Александр также 19 января 1803 года поручил своему послу в Париже заявить, что существующая система Европы не должна быть нарушена в дальнейшем, что каждое правительство должно стремиться к миру и благополучию своего собственного народа; что частые упоминания Наполеона о приближающемся распаде Турции были плохо восприняты в Санкт-Петербурге, где их считали главной причиной беспокойства Англии и отказа разоружиться. Он также предположил, что Первый консул каким-либо публичным заявлением должен развеять опасения Англии по поводу раздела Османской империи и таким образом обеспечить мир во всем мире. ^[239]

Прежде чем был получен этот превосходный совет, Наполеон поразил мир смелым ударом. 30 января "Монитор" полностью напечатал воинственный отчет полковника Себастиани о его миссии в Алжире, Египте, Сирии и на Ионических островах. Поскольку впоследствии эта миссия была выдана за чисто коммерческий характер, будет уместно процитировать типичные отрывки из секретных инструкций, которые Первый консул дал своему посланнику 5 сентября 1802 года:

Он отправится в Александрию: он примет к сведению, что находится в гавани, корабли, силы, которыми располагают там британцы, а также турки, состояние укреплений, состояние башен, отчет обо всем, что произошло с момента нашего отъезда как в Александрии, так и во всем Египте: наконец, о нынешнем состоянии египтян.... Он отправится в Сен-Жан д'Акр, порекомендует Джеззару Назаретский монастырь; сообщит ему, что агент [Французской] Республики должен появиться в Акко; узнает о построенных им укреплениях; сам пройдет по ним, если не будет опасности ".

Укрепления, войска, военные корабли, чувства местных жителей и защита христиан — эти предметы должны были быть единственной заботой Себастьяни. Коммерция ни разу не упоминалась. Отъезд этого офицера уже встревожил наше правительство. Мистер Мерри, наш *временный поверенный в делах* в Париже, предупредил его относительно реальных целей в следующем "секретном послании:

"ПАРИЖ, 25 сентября 1802 года.

" ... Я узнал из достоверных источников, что его [Себастьяни] сопровождал человек по имени Жобер (который был переводчиком генерала Бонапарта и доверенным лицом среди местных жителей во время его командования в Египте), который имел при себе регулярные полномочия и инструкции, подготовленные м. Талейраном, для переговоров с Ибрагим-беем с целью организации нового и успешного восстания в Египте против власти Порты и для того, чтобы снова поставить эту страну в прямую или косвенную зависимость от Франции, с этой целью он был уполномочен предложить помощь отсюда. в мужчинах и деньгах. Человек, который доверил мне эту информацию, понимает, что миссия к Ибрагим-бею доверена исключительно моему Жоберу, и что его отправили с полковником Себастьяни для того, чтобы скрыть истинную цель этого и обеспечить ему безопасную доставку в Египет, а также с целью оказания помощи полковнику в его сделках с регентствами Алжира, Туниса и Триполи ". ^[240]

Информация Мерри была верной: она соответствовала секретным инструкциям, данным Наполеоном Себастьяни, и наше правительство, получившее такое предупреждение, сразу же приняло более жесткий тон по всем средиземноморским и восточным вопросам. Себастьяни был очень холодно принят нашим офицером, командующим в Египте, генералом Стюартом, который сообщил ему, что из Лондона пока не поступало приказов об эвакуации этой территории. Прибыв в Каир, торговый эmissар предложил выступить посредником между турецким пашой и мятежными мамлюками, но предложение было решительно отклонено. ^[241] Напрасно Себастьяни поочередно хвастался и уговаривал. Паша отказался позволить ему отправиться в Ассуан, штаб-квартиру мятежного бея, и сбитый с толку посланник вернулся на побережье и сел на корабль, отплывающий в Акко. Оттуда он отплыл на Корфу, где заверил народ в желании Наполеона положить конец их гражданским раздорам. Вернувшись в Геную и отправив со всей скоростью почту в Париж, он прибыл туда 25 января 1803 года. Пять дней спустя эта веселая столица была потрясена отчетом о его миссии, который был полностью напечатан в "Монитер". В нем описывалось плачевное положение турок в Египте — паша Каира практически бессилен и в плохих отношениях с генералом Стюартом, укрепления повсюду в разрушенном состоянии, 4430 британских солдат расквартированы в Александрии и ее окрестностях, турецкие войска презираемы. "Шести тысяч французов в настоящее время было бы достаточно, чтобы завоевать Египет". А что касается Ионических островов, то "я не

отклоняюсь от истины, заверяя вас, что эти острова объявят себя французскими, как только представится такая возможность".^[242]

Таковы были основные положения этого отчета. Для его публикации выдвигались различные мотивы. Некоторые авторы усмотрели в нем сокрушительный отпор статьям английских газет. Есть и другие, такие как М. Тьер, которые колеблются между мнением, что публикация этого отчета была либо "внезапным прискорбным инцидентом", либо протестом против "вольности", которую Англия позволила себе при исполнении Амьенского мирного договора.

Рассмотрение фактического положения дел в конце января 1803 года, возможно, приведет нас к объяснению, которое больше соответствует грандиозности замыслов Наполеона. В то время он был всемогущ в Старом Свете. Как пожизненный первый консул, он был хозяином сорока миллионов человек; он был президентом Итальянской Республики: для швейцарцев, как и для голландцев, его слово было законом. Австрия не осмелилась протестовать против нарушений Люневильского мирного договора. Царь был занят внутренними делами, и его отпор восточным планам Наполеона еще не достиг Парижа. Что касается британского министерства, то оно дрожало от нападок Гренвиллов и Уиндхэмов, с одной стороны, и от столь же энергичных нападков Фокса, который, когда правительство предложило пополнение вооруженных сил, выдвинул избитую банальность о том, что большая постоянная армия "была опасным инструментом влияния в руках короны". Когда величайший оратор Англии таким образом нарушил единство национальных чувств, а ее единственный государственный деятель Питт оставался в намеренном уединении, Первый консул мог быть уверен в бессилии островной державы и смотреть на пререкания ее политиков с тем же тихим презрением, которое Филипп испытывал к Афинам Демосфена.

Но в то время как его перспективы в Европе и на Востоке были радужными, западный горизонт угрожающе заволокло тучами. Известие о катастрофах в Сан-Доминго достигло Парижа в первую неделю 1803 года, и вскоре после этого пришли известия о брожении в Соединенных Штатах и решимости их народа сопротивляться приобретению Луизианы Францией. Если он будет упорствовать в осуществлении этого последнего плана, то спровоцирует войну с этой республикой и ввергнет ее в объятия Англии. От этой ошибки его инстинктивно спасло государственное чутье, и он решил продать Луизиану Соединенным Штатам.

Столь негероическое отступление из прерий Нового Света должно быть прикрыто демонстрацией к берегам Нила и Инда. В его планы всегда входило прикрывать отступление в одном направлении блестящими отвлекающими маневрами в другом: только так он мог поразить воображение Франции и сохранить контроль над ее беспокойной столицей. И публикация отчета Себастьяни с его ярким описанием любви, которую питают к Франции в равной степени мусульмане, сирийские христиане и греки Корфу; его заявление против вероломства генерала Стюарта; и его подстрекательство к завоеванию Леванта дали ему движущую силу для создания впечатляющей сцены трансформации и изгнания всех мыслей о потерях на Западе.^[243]

Официальная публикация этого отчета произвела сенсацию даже во Франции и не была той *безделицей*, какой ее пытался представить М. Тьер.^[244] Но гораздо большее изумление на Даунинг-стрит вызвали не факты, раскрытые в отчете, — поскольку записка Мерри подготовила к ним наших министров, — а скорее официальное признание враждебных замыслов. Наше правительство сразу предупредило Уитворта, что он должен настаивать на сохранении за нами

Мальты. Он также должен был выразить протест против публикации такого документа и объявить, что Георг III. не мог "вступать в какие-либо дальнейшие обсуждения относительно Мальты, пока не получит удовлетворительного объяснения". Наполеон не только не предложил его, но сразу же пожаловался на то, что мы не эвакуировали Александрию и Мальту.

"Вместо того, чтобы этот гарнизон [Александрии] был средством защиты Египта, он лишь давал ему повод для вторжения в него. Этого он не должен был делать, каким бы ни было его желание иметь его в качестве колонии, потому что он не считал, что это стоит риска войны, в которой его, возможно, сочли бы агрессором и в результате которой он потерял бы больше, чем мог бы приобрести, поскольку рано или поздно Египет перешел бы к Франции, либо в результате распада Турецкой империи, либо по какому-либо соглашению с Портой.... Наконец, - спросил он, - почему бы владычице морей и владычице суши не прийти к соглашению и не править миром?"

Более тонкий дипломат, чем Уитворт, вероятно, понял бы намек на франко-британский раздел мира: но англичанин, неспособный в тот момент вымолвить ни слова среди потока споров и оскорблений, воспользовался первой возможностью просто для того, чтобы заверить Наполеона в тревоге, вызванной в Англии высказыванием Себастиани относительно Египта. Это задело первого консула за живое, и он настаивал на том, что от эвакуации Мальты должен зависеть вопрос о мире или войне. Напрасно английский посол ссылаясь на расширение французской власти на Континенте. Napoleon cut him short: "I suppose you mean Piedmont and Switzerland: ce sont des——: vous n'avez pas le droit d'en parler à cette heure." Видя, что он выходит из себя, лорд Уитворт перевел разговор в другое русло. ^[245]

Эта длинная тирада ясно показывает, каковы были цели Первого консула. Он желал мира до тех пор, пока его планы на востоке не будут полностью реализованы. И какой правитель не пожелал бы сохранить мир, столь плодотворный для завоеваний, который увековечил французское влияние в Италии, Швейцарии и Голландии, который позволил Франции подготовиться к распаду Турецкой империи и интриговать с махраттами? Таковы были условия, на которых Англия могла наслаждаться миром: она должна признавать арбитраж Франции в делах всех соседних государств, она не должна требовать компенсации в Средиземном море и она должна терпеть, когда ей официально сообщают, что она одна не сможет вести борьбу против Франции. ^[246]

Но Георг III. не собирался опускаться до уровня Карла II. Каковы бы ни были недостатки нашего "короля-фермера", он живо отстаивал национальную честь и интересы. Они были глубоко уязвлены даже в самом Соединенном Королевстве. Наполеон принимал активное участие в отправке "коммерческих уполномоченных" на нашу землю. Было доказано, что многие из них были солдатами, и секретные инструкции, отправленные Талейраном одному из них в Дублин, которые случайно попали в руки нашего правительства, показали, что им было поручено составить планы гаваней, а также промеров и причалов. ^[247]

С другой стороны, французы почти наверняка помогали ирландским заговорщикам. Один из них, Эммет, уже подозревавшийся в соучастии в заговоре Деспарда, целью которого была жизнь короля, после его провала искал убежища во Франции. В конце 1802 года он вернулся на родину и начал хранить оружие в доме недалеко от Ратфарнхэма. Сомнительно, были ли власти осведомлены о его планах или, что более вероятно, позволили заговору дойти до апогея. Вспышка произошла только в июле следующего года (после возобновления войны), когда

Эммет и некоторые из его сообщников вместе с Расселом, которые разжигали мятеж в Ольстере, заплатили за свою глупость жизнями. Они отрицали какие-либо связи с Францией, но, должно быть, основывали свою надежду на успех на обещанном французском вторжении к нашим берегам. ^[248]

Действия французских торговых уполномоченных и начало заговора Эммета усилили напряженность, вызванную искусной внешней политикой Наполеона; и результат был виден в послании короля парламенту 8 марта 1803 года. Ввиду военных приготовлений и бессмысленного неповиновения недавнему посланию Первого консула Легислатурному корпусу министры попросили о создании ополчения и пополнении военно-морского флота численностью 10 000 моряков. После заявления Наполеона нашему послу о том, что Франция доводит свои силы на действительной службе до 480 000 человек, вышеупомянутое увеличение британских сил вполне может показаться разумной мерой обороны. И все же это настолько разозлило Первого консула, что на публичном приеме послов 13 марта он обратился к лорду Уитворту следующим образом:

"Итак, вы полны решимости начать войну". "Нет, первый консул, - ответил я, - "мы слишком хорошо понимаем преимущества мира". "Зачем же тогда эти вооружения? Против кого эти меры предосторожности? У меня нет ни одного линейного корабля во французских портах, но если вы хотите вооружиться, я тоже вооружусь: если вы хотите сражаться, я тоже буду сражаться. Возможно, вы можете убить Францию, но никогда не запугаете ее." "Мы не желаем, - сказал я, - ни того, ни другого. Мы хотим жить с ней в хороших отношениях." "Тогда вы должны уважать договоры, - ответил он. - горе тем, кто не уважает договоры. Они ответят за это перед всей Европой". Он был слишком взволнован, чтобы считать целесообразным продолжать разговор; поэтому я ничего не ответил, и он удалился в свои апартаменты, повторив последнюю фразу".

^[249]

Эта любопытная сцена показывает Наполеона в одном из его более слабых, раздражительных настроений: она произвела на смущенных зрителей впечатление не оскорбленного достоинства, а скорее чрезмерного самоутверждения автократа, который мог продолжать враждебные приготовления и при этом пренебрегать послом Державы, которая в ответ принимала разумные меры предосторожности. Пренебрежение, проявленное к нашему послу, хотя и вызвало горячее негодование в Британии, не оказало прямого влияния на переговоры, поскольку Первый консул вскоре воспользовался возможностью молчаливо извиниться за произошедшее; но косвенно этот вопрос был бесконечно важен. Этим заявлением он прибил к мачте свой флаг в связи с эвакуацией британцами Мальты. Обладая острым пониманием французской натуры, он знал, что "честь" была ее главной движущей силой, и что его политическая удача зависела от удовлетворения этого инстинкта. Теперь он не мог отступить, не оскорбив престиж Франции и не подорвав свое собственное положение. Тщетно наше правительство напоминало ему о его признании, что "Его Величеству не следует выплачивать компенсацию из своих завоеваний за важные приобретения территории, сделанные Францией на Континенте". ^[250] Это обещание, хотя и официальное, было секретным. Его нарушение, в худшем случае, только оскорбило бы чиновников Уайтхолла. Принимая во внимание, что, если бы он сейчас согласился с их требованием, чтобы Мальта стала компенсацией, он сразу же совершил бы худшее из всех преступлений французского государственного деятеля - выставил себя на посмешище. Таким образом, в этом отношении сцена 13 марта в Тюильри косвенно стала причиной самой кровопролитной войны, опустошившей Европу.

Теперь Наполеон считал начало военных действий вероятным, если не несомненным. Факты часто красноречивее дипломатических заверений, а недостатка в таких фактах нет. 6 марта экспедиция Декена отплыла из Бреста в Ост-Индию, не предвидя немедленной войны. 16 марта за ним был послан быстроходный бриг с приказом, чтобы он со всей скоростью возвращался из Пондишери на Маврикий. Переписка Наполеона также показывает, что уже 11 марта, то есть после того, как он услышал послание Георга III парламенту, он ожидал начала военных действий: в тот день он приказал сформировать флотилии в Дюнкерке и Шербуре и отправил срочные послания государям России, Пруссии и Испании, в которых осуждал вероломство Англии. Посланному в Санкт-Петербург посланнику было специально поручено поговорить с царем по философским вопросам и убедить его освободить моря от английской тирании.

Как бы сильно Аддингтон и его коллеги ни любили мир, теперь они были убеждены, что это более опасно, чем открытая война. Мальта была единственным эффективным препятствием для французского захвата Египта или вторжения в Турцию со стороны Корфу. С разделенной Турцией и Египтом в руках Франции не было бы никакой защиты от замыслов Наполеона в отношении Индии. Британские войска эвакуировались с мыса Доброй Надежды 21 февраля 1803 года; они отплыли из Александрии 17 числа следующего месяца. Первым актом мы уступили Франции морской путь в Индию, поскольку голландцы в Капской провинции были всего лишь орудиями Первого консула; вторым актом мы оставили Мальту как единственный барьер против нового нападения с суши на наши восточные владения. Безопасность наших владений в Ост-Индии действительно была поставлена на карту, и все же Европу попросили поверить, что вопрос заключался в том, эвакуирует Англия Мальту или нет. Таково было французское изложение дела: оно было удовлетворено заявлением Великобритании о том, что Франция, заявив о своем согласии с принципом компенсации для нас, не имела причин возражать против удержания острова, столь жизненно важного для наших интересов.

Тем не менее, будучи убежденным в огромной важности Мальты, кабинет Аддингтона не настаивал на ее сохранении, если французское правительство "предложит какую-либо другую эквивалентную гарантию", с помощью которой может быть достигнута цель Его Величества по утверждению постоянного владения Мальтой и обеспечена независимость острова в соответствии с духом 10-й статьи Амьенского мирного договора". ^[251] Поэтому Первому консулу была предоставлена инициатива предложить какой-либо другой план, который защитил бы британские интересы в Леванте; и с этим квалифицирующим объяснением британскому послу было поручено представить ему следующие предложения по новому договору: Мальта должна оставаться в руках Великобритании, рыцарям должна быть возмещена любая потеря собственности, которую они могут при этом понести; Голландия и Швейцария должны быть эвакуированы французскими войсками; остров Эльба должна быть передана Франции, а король Этрурии должен быть признан Великобританией; итальянская и Лигурийская республики также должны быть признаны, если "в Италии будет достигнуто соглашение для короля Сардинии, которое его удовлетворит".

Лорд Уитворт счел за лучшее не выдвигать эти требования прямо, а постепенно раскрывать их суть. Он рассудил, что такой курс нанесет меньший ущерб друзьям мира в Тюильри и с меньшей вероятностью оскорбит Наполеона. Но все это было одно и то же. Первый консул в своем нынешнем состоянии крайне напряженного положения практически проигнорировал предложение о *эквивалентной безопасности* и выступил с критикой вероломства Англии за то, что она осмелилась нарушить международный договор, хотя он не возражал против

предложений царя относительно Мальты, которые ослабили стабильность Ордена и разумно изменили тот же международный договор.

Талейран был настроен более примирительно; и нет никаких сомнений в том, что, если бы Первый консул предоставил своему брату Жозефу и министру иностранных дел более широкие полномочия, кризис можно было бы преодолеть мирным путем. Жозеф Бонапарт настойчиво настаивал на том, чтобы Уитворт удовлетворился Корфу или Критом вместо Мальты; но тот признался, что это предложение было совершенно несанкционированным и что Первый консул был настолько взбешен мальтийским вопросом, что не осмелился затронуть его при нем. ^[252] Действительно, на протяжении всех этих критических недель отношения Наполеона со своими братьями были очень напряженными, они желали мира в Европе, чтобы Луизиана даже сейчас могла быть передана Франции, в то время как Первый консул упорствовал в своих восточных планах. Сейчас он, по-видимому, сосредоточил свою энергию на том, чтобы отложить разрыв до удобной даты и обрушить на своих врагов ненависть к приближающейся войне. Он не сделал никакого предложения, которое могло бы убедить Британию в безопасности сухопутных маршрутов; и он не назвал ни одного другого острова, который можно было бы рассматривать как эквивалент Мальты.

Многим людям его позиция казалась логически неопровержимой; но трудно понять, как можно придерживаться такой точки зрения. Амьенский мирный договор уже дважды оказывался в техническом смысле недействительным в результате действий Континентальных держав. Россия и Пруссия не гарантировали положение вещей, установленное для Мальты этим договором; а действия Франции и Испании по конфискации имущества рыцарей на их соответствующих землях настолько подорвали силу Ордена, что он больше никогда не мог содержать многочисленный гарнизон, которого требовали линии вокруг Валлетты.

В военном смысле это было сутью проблемы; ибо никто не притворялся, что Мальта была в безопасности благодаря присутствию в Валлетте 2000 солдат неаполитанского короля, чьи владения могли быть в течение недели захвачены дивизией Мюрата. Эта очевидная трудность побудила лорда Хоксбери в своих записях от 13 апреля и позже настаивать на том, чтобы британские войска разместили гарнизон в главных укреплениях Валлетты и передали гражданскую власть рыцарям: или, если это будет сочтено нежелательным, чтобы мы сохранили полное владение островом в течение десяти лет при условии, что нам будет предоставлена свобода вести переговоры с королем Неаполя об уступке Лампедузы, островка к западу от Мальты. На это последнее предложение Первый консул не высказал возражений; но он по-прежнему непреклонно выступал против любого удержания Мальты даже в течение десяти лет и стремился сделать так, чтобы бесплодный остров Лампедуза казался эквивалентом Мальты. Это абсурдное утверждение, однако, было опровергнуто нескромным признанием Талейрана, "что предметом обсуждения было не столько восстановление ордена Святого Иоанна, сколько то, чтобы позволить Великобритании приобрести *владения в Средиземном море*". ^[253]

В этом, действительно, заключалась суть всего вопроса: должна ли Великобритания быть исключена из этого великого моря — за исключением Гибралтара и Лампедузы — и безучастно наблюдать за его превращением во французское озеро путем захвата Корфу, Мореи, Египта и самой Мальты; или же ей следует сохранить некоторое влияние на сухопутном пути на Восток. На эту трудность откровенно указал лорд Уитворт; столь же откровенно это признал Жозеф Бонапарт; это признал Талейран; и стремление Наполеона к прочному миру, должно быть, было

незначительным, когда он отказался признать притязания Англии на эффективную защиту ее интересов в Леванте и когда-либо возвращался к буквальному выполнению договора, который был признан недействительным из-за его собственных преднамеренных действий.

Теперь дела стремительно подходили к кульминации. 23 апреля британское правительство уведомило своего посла, что, если настоящие условия не будут выполнены в течение семи дней с момента их получения, он должен покинуть Париж. Наполеон был не менее разгневан, чем удивлен недавним поворотом событий. Вместо робкой покладистости, которой он ожидал от Аддингтона, он был встречен открытым вызовом; но теперь он предложил царю вмешаться в спор. Предложение было бесконечно искусным. Это льстило самолюбию молодого самодержца и обещало принести выгоды, столь же существенные, как те, которые за год до этого были получены при посредничестве России для Франции от запуганного султана; это помогло бы проверить планы англо-русского союза, обсуждавшиеся тогда в Санкт-Петербурге, и, прежде всего, помогло выиграть время.

Все эти преимущества были в значительной степени реализованы. Хотя царь был первым, кто предложил нам сохранить Мальту, теперь он начал колебаться. Ясность и точность заметок Талейрана и убедительное обвинение в вероломстве против Англии произвели впечатление, которое не смогли стереть громоздкие реплики лорда Хоксбери и матросская дипломатия адмирала Уоррена.^[254] И российский канцлер Воронцов, хотя и дружественный Англии и желающий видеть ее прочно обосновавшейся на Мальте, теперь начал жаловаться на отсутствие ясности в ее политике. Царь подчеркнул важность этой жалобы и предположил, что, поскольку Мальта не может быть реальной причиной спора, британскому правительству следует четко сформулировать свои претензии и таким образом подготовить дело к урегулированию. Это предложение не было выполнено. Составление длинного списка жалоб, некоторые из которых взяты из секретных источников и разоблачают замыслы Первого консула, вывело бы из себя его и без того раздраженный характер; и это предложение можно рассматривать только как искусное средство оправдания внезапной смены позиции Александра.

Тем временем события в Париже развивались полным ходом. 26 апреля Жозеф Бонапарт предпринял последнюю попытку подчинить волю своего брата, но добился лишь неохотной уступки в том, что Наполеон никогда не согласится на удержание британией Мальты дольше, чем на три или четыре года. Поскольку это позволило бы ему отложить разрыв на достаточно долгое время, чтобы созреть его восточные планы, это было отклонено лордом Уитвортом, который настаивал на десяти годах как минимум. Очевидная решимость британского правительства как можно скорее покончить с этим делом, тем или иным способом, повергла Наполеона в пароксизм гнева; и на дипломатическом приеме 1 мая, на котором лорд Уитворт благоразумно отлучился, он яростно выступил против его проведения. Обеспокоенный отсутствием нашего посла, для которого предназначалась эта вылазка, он вернулся в Сен-Клу и там продиктовал Талейрану это любопытное послание:

"Я желаю, чтобы ваша беседа [с лордом Уитвортом] не переросла в беседу. Ведите себя холодно, сдержанно и даже несколько гордо. Если [британская] нота содержит слово *ультиматум*, дайте ему почувствовать, что это слово подразумевает войну; если оно не содержит этого слова, заставьте его вставить его, отметив ему, что мы должны знать, где мы

находимся, что мы устали от этого состояния тревоги.... Немного смягчитесь в конце конференции и пригласите его вернуться, прежде чем писать письмо своему Двору".

Но эта тщательная репетиция ни к чему не привела; нашего флегматичного посла было не уговорить, и 2 мая, то есть через семь дней после предъявления нашего ультиматума, он послал за своими паспортами. Однако он не отправился в путь немедленно. Уступая настоятельной просьбе, он отложил свой отъезд, чтобы услышать ответ Франции на британский ультиматум. ^[255] В нем саркастически сообщалось, что Лампедуза не во власти Первого консула даровать согласие, что любое изменение в отношении Мальты должно быть передано Великобританией Великим державам для получения их согласия, и что Голландия будет эвакуирована, как только будут выполнены условия Амьенского мирного договора. Другое предложение состояло в том, чтобы Мальта была передана России — тот самый шаг, который был предложен в Амьене и был отвергнут царем: по этой причине лорд Уитворт теперь отказался от него как от простого средства выиграть время. Поскольку отправка его паспортов была отложена, он получил еще одну депешу с Даунинг-стрит, в которой говорилось, что наше удержание Мальты в течение десяти лет должно быть засекречено — прием, который избавил бы первого консула от излишней чувствительности с точки зрения чести. Однако, несмотря на это, Наполеон отказался рассматривать более длительный срок полномочий, чем два или три года. И в этом его, несомненно, ободрила недавняя депеша из Санкт-Петербурга, в которой царь обещал свое посредничество в некотором смысле благоприятном для Франции. Это прискорбное происшествие довершило замешательство партии мира при Консульском дворе, и в ходе долгой и жаркой дискуссии на совете, состоявшемся в Сен-Клу 11 мая, все, кроме Жозефа Бонапарта и Талейрана, проголосовали за отклонение британских требований.

На следующий день лорд Уитворт покинул Париж. Во время своего путешествия в Кале он получил еще одно предложение, что Франция должна удерживать полуостров Отранто в течение десяти лет, если Великобритания сохранит Мальту на этот период; но если это предложение было сделано добросовестно, что сомнительно, его эффект был разрушен бессвязной обличительной речью, которую Талейран по приказу своего хозяина отправил вскоре после этого. ^[256] В любом случае наш посол рассматривал это как последнюю попытку выиграть время для сосредоточения французских военно-морских сил. Он пересек Дуврский пролив 17 мая, за день до объявления войны Великобританией.

22 мая 1803 года в Париже появился поразительный приказ о том, что, поскольку британские фрегаты захватили два французских торговых судна на бретонском побережье, все англичане в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, находящиеся во Франции, должны содержаться под стражей как военнопленные. Предлогом для этой неслыханной акции, которая обрекла около 10 000 британцев на длительное содержание под стражей, было то, что два французских корабля были захвачены до объявления войны. Это ложь: они были захвачены 18 мая, то есть в день объявления британским правительством войны, через три дня после введения эмбарго на британские суда во французских портах и через семь дней после того, как первый консул дал указание своему посланнику во Флоренции ввести эмбарго на английские суда в портах Тосканы. ^[257] Таким образом, очевидно, что варварский указ Наполеона просто обозначил его разочарование в связи с провалом его попыток выиграть время и нанести первый удар. Насколько жестоко сказались на его характере последние события, видно из рассказа герцогини д'Абрантес, которая рассказывает, что ее муж, получив приказ схватить английских резидентов, застал первого консула в ярости, его глаза горели огнем; и когда Жюно выразил

свое нежелание выполнять этот указ, Наполеон страстно воскликнул: "Не слишком полагайтесь на мою дружбу: как только я начинаю сомневаться в вашей, моя исчезает".

Мало у кого в Англии теперь оставались какие-либо сомнения относительно ненависти Первого консула к нации, которая стояла между ним и его восточными замыслами. Только министры знали размах этих планов, но каждый пахарь мог почувствовать злобу акта, который запирали невинных путешественников под самым надуманным предлогом. Национальный пыл и, увы, национальная ненависть были глубоко всколыхнуты.^[258] Виги, которые выставляли напоказ милосердие Наполеона, сразу же оказались беспомощными и оказались доведенными до бессилия на протяжении почти целого поколения; а тори, которые казались выразителями национальной политики, оставались у власти до тех пор, пока поток демократии, перекрытый войнами в 1793 и снова в 1803 годах, не проявил свою полную силу в более позднем движении за реформы.

Однако мнение, часто высказываемое памфлетистами, о том, что война 1803 года была предпринята для того, чтобы заставить Францию отказаться от ее республиканских принципов, лишено малейших доказательств в свою пользу. После 1802 года не было никаких французских республиканских принципов, с которыми следовало бороться; они уже были отброшены за борт; и, поскольку Бонапарт сокрушил якобинцев, его личные притязания были благосклонно восприняты в Уайтхолле, Аддингтон даже заверил французского посланника, что он приветствовал бы установление наследования в семье Первого консула.^[259] Но в то время как собственное поведение Бонапарта опровергло представление о том, что война 1803 года была войной принципов, его мастерски проведенная политика в Европе и Леванте убедила каждого хорошо информированного человека в том, что мир невозможен; и разрыв сопровождался действиями и оскорблениями в адрес "нации лавочников", отомстить за которые можно было только потоками крови. Диатрибы против вероломного Альбиона заполнили французскую прессу и вылились в язвительные памфлеты, в одном из которых гнусная Англия трепетала от сознания своей недобросовестности и ожидания быстрого и достойного наказания. Таков был дух, с которым эти нации бросились к оружию, и конфликт едва ли мог прекратиться, пока Наполеон не был отброшен в пустыню южной Атлантики.

Важность разрыва Амьенского мира станет понятной, если мы кратко рассмотрим позицию Бонапарта после подписания этого договора. Он вернул своей приемной стране колониальную империю и не отдал ни одного французского острова. Франция заняла позицию гарантированной силы, гораздо более предпочтительную, чем опасные высоты, достигнутые позже при Тильзите. В Австралии существовала перспектива, что триколор будет развеиваться над такими большими районами и такими процветающими поселениями, как Новый Южный Уэльс и молодой город Сидней. С Иль-де-Франса и мыса Доброй Надежды, удобных операционных баз, можно было легко напасть на Британскую Индию, а франко-махраттский союз обещал одержать победу над войсками Ост-Индской компании. В Европе неминуемый крах Турецкой империи привел к разделу, в результате которого Франция могла надеяться заполучить Египет и Морею. Ионические острова были готовы принять французскую аннексию, и, если бы Англия вывела свои войска с Мальты, судьба слабого ордена Святого Иоанна едва ли могла вызывать сомнения.

Для осуществления этих светлых надежд требовалось только одно - политика мира и военно-морская подготовка. Военно-морской флот Наполеона был еще сравнительно слаб. В марте

1803 года у него было всего сорок три линейных корабля, десять из которых находились на отдаленных стоянках; но он приказал построить еще двадцать три - десять из них в Голландии; и, имея в своем распоряжении гавани Франции, Голландии, Фландрии и Северной Италии, он мог надеяться к концу 1804 года противостоять флагу Святого Георгия с превосходством сил. Это было время, указанное в его секретных инструкциях Декану для начала войны, которая принесла бы триколору мировое господство.

Эти планы провалились из-за стремительности их создателя. Вытесненная с арены европейской политики и поставленная под угрозу французским господством на других континентах, Англия немедленно обнажила меч; и ее действия, разорвав далеко идущую паутину наполеоновских интриг, вынудили Францию отказаться от своих океанических планов, собрать свои силы в Дуврском проливе и тем самым уступить английской расе господство в Луизиане, Индии и Австралии, оставив также судьбу Египта решать в более позднюю эпоху. С точки зрения расовой экспансии, возобновление войны в 1803 году является величайшим событием столетия.

[С тех пор как была напечатана эта глава, в "Историческом ревю" (март-июнь 1901 г.) М. Филипсона появились статьи на ту же тему, которые придерживаются почти той же точки зрения, что и представленная здесь. Однако я не могу согласиться с ученым писателем в том, что Наполеон хотел войны. Я думаю, что он этого не делал, *пока его флот не был готов*; но он не собирался уступать.]

ПРИМЕЧАНИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

М. Кокель в работе, которая была переведена на английский язык мистером Гордоном Д. Ноксом (G. Bell and Sons, Ltd.), ясно показал, что невыведение Голландии войсками Наполеона и подчинение этой Республики французскому влиянию явились главными причинами войны. Я отсылаю своих читателей к этой работе за подробностями переговоров на их заключительных этапах.

[стр.i430]

ГЛАВА XVIII

ЕВРОПА И БОНАПАРТЫ

Разочарование, испытанное Наполеоном в связи с тем, что Англия помешала осуществлению его планов, можно измерить, во-первых, его усилиями отсрочить разрыв, а затем яростной энергией, которую он вложил в войну. Как отмечалось ранее, царь ответил на просьбу первого консула о посредничестве нотами, которые, по мнению британского кабинета, были несправедливо благоприятными для дела Франции. Теперь Наполеон предложил признать третейское решение царя по спорным вопросам и предложил, чтобы тем временем Мальта была передана России в залог: он, со своей стороны, предложил эвакуировать Ганновер, Швейцарию и Голландию, если Британия приостановит военные действия, выплатить компенсацию королю Сардинии, позволить Британии оккупировать Лампедузу и полностью гарантировать "независимость Европы", если Франция сохранит свои нынешние границы. Но когда русский посланник Марков убедил его увенчать эти предложения разрешением Великобритании удерживать Мальту в течение определенного времени, после чего это должно быть согласовано, он решительно отказался сделать это по собственной инициативе, поскольку это запятнало бы его честь: но он со смирением отнесся бы к ее передаче Британии, если бы это оказалось наградой Александра. Соответственно, Маркофф написал своему коллеге в Лондон, заверяя его, что теперь благородный поступок Первого консула вновь обеспечил мир во всем мире. ^[260]

Были ли эти предложения продиктованы искренним желанием обеспечить прочный мир или они были выдвинуты как уловка, чтобы выиграть время для завершения военно-морских приготовлений Франции? Очевидно, британское правительство полностью не доверяло им, и на то были свои причины. Они были почти идентичны условиям, сформулированным в британском ультиматуме, который Наполеон отклонил. Более того, наше министерство иностранных дел к этому времени начало подозревать Александра. 23 июня лорд Хоксбери написал, что для британских интересов может нанести наибольший ущерб передача Мальты "под угрозу царского арбитража"; и он сообщил российскому послу графу Воронцову, что целью французов, очевидно, было просто выиграть время, что их объяснения были расплывчатыми и неудовлетворительными, а их требования неприемлемыми, и что Великобритания не может признать нынешние территории Французской Республики постоянными, пока Мальта находится в процессе арбитража. Фактически, наше правительство опасалось, что, когда Мальта окажется в руках Александра, Наполеон втянет его в восточные авантюры и возобновит планы наступления на Индию. Их опасения были вполне обоснованны.

Наполеон всегда был озабочен Востоком: 21 февраля 1803 года он поручил своему морскому министру отправить оружие и боеприпасы сулиотам и маниотам, которые тогда восстали против султана; а в середине лета французские агенты были в Рагузе, чтобы подготовиться к высадке в устье реки Каттаро. ^[261] С Турцией, захваченной восстанием, Мальтой, переданной в залог России, и Александром, втянутым в поток замыслов Наполеона, чего можно было бы не достичь? Очевидно, Первый консул мог ожидать большего от такого развития событий, чем от бесплодных столкновений с кораблями Нельсона в Дуврском проливе. Для *настакой* мир был гораздо более рискованным, чем война. И все же, если бы предложение царя было отвергнуто слишком жестко, общественное мнение повсюду было бы отчуждено, а в этом всегда заключалась половина силы политики Англии. ^[262] Поэтому министры заявили, что, хотя они не могут принять арбитражное решение России без апелляции, они присоединятся к ее посредничеству, если оно коснется всех причин нынешней войны. Это разумное предложение было принято царем, но получило от Наполеона решительный отказ. Он сразу же написал

Талейрану, 23 августа 1803 г., указав, что российские предложения должны быть доведены до сведения Хогвица, министра иностранных дел Пруссии:

- Заставьте его увидеть всю абсурдность этого: скажите ему, что Англия никогда не получит от меня никакого другого договора, кроме Амьенского; что *я никогда не позволю ей иметь что-либо в Средиземном море*; что я не буду вести с ней переговоры о Континенте; что я полон решимости эвакуировать Голландию и Швейцарию; но что я никогда не оговорю это в статье".

Что касается России, продолжил он, то она много говорила о целостности Турции, но нарушала ее оккупацией Ионических островов и своими постоянными интригами в Валахии. Эти факты были верны, но манера, в которой он их излагал, ясно показывала его раздражение тем, что царь не захотел полностью поддержать французское дело. Взгляды Талейрана по этому вопросу можно проследить в его письме Бонапарту, когда он уверяет своего шефа, что теперь он извлек из своего благородного похода к русскому императору единственно возможное преимущество — "доказать Европе великим актом откровенности свое миролюбие и возложить всю вину за войну на Англию". нечасто дипломат так ясно раскрывает секреты политики своего шефа. ^[263]

Мотивы Александра были менее сомнительными. Его главным желанием в то время было улучшить судьбу своего народа. Война расстроила бы эти благородные планы: Франция неизбежно захватила бы более слабые континентальные государства; Англия ответила бы введением в действие своего сурового морского кодекса; и весь мир был бы разорван надвое этой борьбой стихий.

Этим мрачным предчувствиям вскоре суждено было сбыться. Голландия пострадала первой. И все же была предпринята одна попытка избавить ее от ужасов войны. Преисполненное сочувствия к ее прошлым страданиям, британское правительство сразу же предложило уважать ее нейтралитет при условии, что французские войска покинут ее крепости и не потребуют помощи ни кораблями, ни людьми, ни деньгами. ^[264] Но такой снисходительности вряд ли можно было ожидать от Наполеона, который не только имел французскую дивизию на этой земле, поддерживаемую за его счет, но и полагался на свои морские ресурсы. ^[265] Предложение было немедленно отклонено в Париже. Решение Наполеона втянуть Батавскую республику в войну возникло, однако, не из-за спазма военной лихорадки; это было спокойно изложено в секретных инструкциях, данных генералу Декану в январе предыдущего года. "Сейчас считается невозможным, чтобы мы могли вести войну с Англией, не втягивая в нее Голландию". Голландия, соответственно, снова оказалась зажатой между верхним и нижним жерновом, между Морской державой и Сухопутной державой, тратя на Наполеона свои ресурсы в виде людей и денег и уступая хозяевам моря свои корабли, иностранную торговлю и колонии.

Столь же тяжелым было отношение к Неаполю. Несмотря на призывы царя уважать его нейтралитет, это королевство было немедленно оккупировано Сен-Сиром войсками, которые занимали главные позиции на "пяточке" Италии. Это нарушение Флорентийского мирного договора должно было быть оправдано прокламацией, утверждающей, что, поскольку Англия сохранила Мальту, баланс сил требует, чтобы Франция удерживала эти позиции до тех пор, пока Англия удерживает Мальту. ^[266] Это действие наказало короля и королеву Неаполя за их предполагаемое подчинение английской политике; и, облегчая бремя французской казны, оно вынудило Англию держать большой флот в Средиземном море для защиты Египта и тем самым ослабило ее оборонительные силы в Дуврском проливе. Отвлечь своих врагов и заставить их растянуть свои позиции всегда было целью Наполеона как в военной, так и в морской

стратегии; и оккупация Таранто вместе с военно-морскими действиями в Тулоне и Генуе оставляли сомнения в том, намерен ли великий полководец нанести удар по Лондону или возобновить свои восточные авантюры. Все его предыдущие шаги, казалось, указывали на Египет и Индию; и инструкции Адмиралтейства Нельсону от 18 мая 1803 года раскрывают ожидания нашего правительства, что настоящий удар обрушится на Морею и Египет. Шесть недель спустя наш адмирал доложил об активности французских интриганов в Мореа, которая, несомненно, должна была стать их перевалочным пунктом на пути в Египет — "когда рано или поздно прощай, Индия".^[267] Доказательства замыслов Наполеона в отношении Мореи были обнаружены капитаном Китсом с корабля его превосходительства "Суперб" на захваченном им французском судне, у французского капрала при себе было секретное письмо от агента на Корфу, датированное 23 мая 1803 года. Заканчивалось это так:

"У меня есть все основания полагать, что вскоре у нас в Море произойдет революция, как мы того желаем. У меня тесные отношения с Крепакки, и мы ведем ежедневную переписку со всеми вождями мореи: мы даже снабдили их военным снаряжением".^[268]

В целом, однако, представляется вероятным, что главной целью Наполеона сейчас был Лондон, а не Египет; но его демонстрации в восточном направлении были организованы так умело, что убедили и английское правительство, и Нельсона в том, что его настоящей целью был Египет или Мальта. Для реализации этого проекта французский *армейский* корпус в "пятке" Италии занимал командное положение. Не хватало только кораблей, и он пытался заставить неаполитанского короля снабдить его ими. Еще 20 апреля 1803 года наш *временный поверенный в делах* в Неаполе г-н а Корт сообщил, что Наполеон настаивал на заключении этого правительства союза с Францией на том основании, что:

Интересы двух стран совпадают: Франция намерена закрыть для англичан все порты, от Голландии до турецких владений, чтобы воспрепятствовать вывозу своих товаров и нанести смертельный удар своей торговле, поскольку там она наиболее уязвима. Наши объединенные силы могут вырвать из ее рук остров Мальта. Военно-морской флот Сицилии может сопровождать французские войска и защищать их при осуществлении такого плана, и их совместные усилия могут принести самые благоприятные результаты".

Возможно, король и его энергичная, но капризная супруга, королева Шарлотта, склонились бы перед угрозами, сопровождавшими это заманчивое предложение; но во главе неаполитанской администрации стоял англичанин, генерал Эктон, чьи таланты и сила воли вызывали у них уважение и доверие. На угрозы французского посла он ответил, что Франция сильна, а Неаполь слаб; сила может свергнуть династию, но ничто не заставит ее нарушить свой нейтралитет по отношению к Англии. Столь необычное неповиновение побудило Наполеона к характерной мести. Когда его войска были расквартированы в Южной Италии и истощали ресурсы Неаполя, королева написала письмо, взывая к его милосердию от имени своего сильно обремененного народа. В ответ он заверил ее в своем желании быть с ней любезным, но как он мог смотреть на Неаполь как на нейтральное государство, когда его главным министром был англичанин? Это была "реальная причина, оправдывавшая все меры, принятые в отношении Неаполя".^[269] Жестокость и лживость этого ответа не имели иного эффекта, кроме как разжечь ненависть королевы Шарлотты к вершителю судеб мира, перед которым она и ее супруг отказались склониться, даже когда три года спустя они были вынуждены искать убежища за окаймлением нерушимого моря.

Ганновер также попал в руки Наполеона. Мортье с 25 000 французскими войсками быстро захватил эту землю и вынудил герцога Кембриджского к капитуляции. Оккупация Курфюршества не только освободила французскую казну от поддержки значительного корпуса; это также послужило сдерживанию прусского двора, всегда озабоченного Ганновером; и это закрыло вход в Эльбу и Везер для британских кораблей, цель, которую давно лелеял Наполеон. На это мы ответили блокированием устьев этих рек, действием, которого, должно быть, ожидал Наполеон и которое позволило ему выступить с речью против британской морской тирании. По правде говоря, теперь были отчетливо видны зачатки Континентальной системы. Берега Континента от юга Италии до устья Эльбы были практически закрыты для английских судов, в то время как декретом от 15 июля *любое судно, какое бы то ни было* ни вышло из британского порта, должно было быть закрыто для всех гаваней Французской Республики. Таким образом, все торговые нации были вынуждены, медленно, но неизбежно, встать на сторону хозяина суши или владычицы морей.

Напрасно король Пруссии уверял Наполеона, что Ганновер не является британской территорией и что нейтралитет Германии был нарушен, а ее интересы ущемлены французской оккупацией Ганновера и Куксхафена. Его протест был встречен предложением Наполеона эвакуировать Ганновер, Таранто и Отранто только в то время, когда Англия должна "эвакуировать Мальту и Средиземноморье"; и хотя специальный прусский посланник Ломбард докладывал своему хозяину, что Наполеон был "олицетворением правды, верности и дружбы", все же он не получил ни слова, свидетельствующего о реальном уважении к ранимости Фридриха Вильгельма III. или торговля его народа.^[270] В настоящее время ни король, ни царица не решались на дальнейшие возражения; но Первый консул посеял семена раздора, которые должны были принести плоды в Третьей коалиции.

Разместив 60 000 французских солдат в Неаполе и Ганновере, Наполеон мог хладнокровно взирать на издержки войны. Какими бы гигантскими они ни были, их можно было покрыть за счет выкупных денег Луизианы, налогов и добровольных даров французских доминионов, субсидий Итальянской и Лигурийской республик и контрибуции, которую он теперь требовал от Испании.

Еще до начала военных действий он заметно напоминал Карла IV. что испанская морская пехота приходит в упадок, а ее арсеналы и верфи бездействуют: "Но Англия не спит; она всегда начеку и никогда не успокоится, пока не захватит колонии и торговлю по всему миру".^[271] Однако в настоящее время потеря Тринидада и продажа Луизианы ранили слишком глубоко, чтобы допустить вступление Испании в еще один конфликт, в результате которого, как и прежде, Наполеон, несомненно, снискал бы славу и возложил на нее бремя территориальных жертв. Несмотря на свои бесстыдные отношения к королеве Испании, испанский министр Годой не был лишен патриотизма; и он стремился уклониться от обязательств, которые мирный договор 1796 года налагал на Испанию в случае англо-французского конфликта. Он олицетворял ополчение севера Испании и, несомненно, бросил бы вызов требованиям Бонапарта, если бы Россия и Пруссия проявили хоть малейшее желание противостоять французской агрессии. Но эти Державы были пока еще полностью преданы частным интересам, и когда Наполеон угрожал Карлу IV. и Годой с вторжением 80 000 французских войск, если только испанское ополчение не будет распущено и 72 000 000 франков ежегодно не будут выплачиваться во французскую казну, Мадридский двор быстро уступит. Его капитуляция была дополнительно обеспечена тонко завуалированной угрозой, что дальнейшее сопротивление приведет к разоблачению *связи*

между Годоем и королевой. Поэтому Испания обязалась выплатить требуемую сумму — более чем вдвое превышающую сумму, оговоренную в 1796 году, — для продвижения интересов французской торговли и оказания давления на Португалию. В конце года Лиссабонский двор, уступив угрозам Франции и Испании, согласился купить свой нейтралитет ежемесячной выплатой миллиона франков повелителю Континента. ^[272]

Тем временем первый консул бросил всю свою неутомимую энергию на то, чтобы сокрушить своего грозного врага. Он ускорил военно-морские приготовления на всех верфях Франции, Голландии и Северной Италии; огромный мол, который должен был прикрывать рейд в Шербуре, был поспешно возведен, и побережье от Сены до Рейна превратилось, по живописному выражению Мармона, в "берег железа и бронзы", в то время как каждая гавань кишела небольшими судами, предназначенными для вторжения. Войска были отведены от границ Рейна и разбиты лагерем вдоль берегов Пикардии; другие были размещены в резерве в Сент-Омере, Монрее, Брюгге и Утрехте; в то время как меньшие лагеря были сформированы в Генте, Компьене и Сен-Мало. Берега Эльбы, Везера, Шельды, Соммы и Сены — даже до самого Парижа — гремели от ударов кораблей, трудившихся над укреплением флотилии плоскодонных судов, предназначенных для вторжения в Англию. Войска численностью 50 000 человек в Булони под командованием Сульта, 30 000 человек в Этапле и столько же в Брюгге под командованием Нея и Даву соответственно были организованы заново и благодаря постоянным тренировкам и воздействию стихии сформировали крепкое ядро будущей Великой армии, перед которым отборные войска царя и кайзера должны были быть рассеяны в безудержном бегстве. Ко всем этим многосторонним мероприятиям по организации и муштре, по улучшению гаваней и береговых укреплений, по строительству кораблей, испытаниям, посадке на борт и высадке Первый консул время от времени применял свой личный надзор; ибо, хотя воинственный энтузиазм, который он пробудил в коварном Альбионе, сам по себе творил чудеса, все же работа никогда не была такой напряженной, а подвиги — такими смелыми, как под взглядом самого великого капитана. Поэтому он часто посещал северное побережье, критически осматривая работы в Булони, Кале, Дюнкерке, Остенде и Антверпене. Последний порт привлек его особое внимание. Его положение в начале судоходного устья Шельды, прямо напротив Темзы, делало его естественным соперником Лондона; теперь он поощрял его торговлю и приказал построить верфь, способную вместить двадцать пять линейных кораблей и соответствующее количество фрегатов и шлюпов. Антверпену предстояло стать крупнейшим торговым и военно-морским центром Северного моря. Время, казалось, благоприятствовало этому плану; Гамбург и Бремен были блокированы, а Лондону на какое-то время угрожала растущая власть Первого консула, которому, казалось, суждено было вернуть фламандскому порту процветание, которое дикость Алвы с такой выгодой унесла в елизаветинский Лондон. Но какими бы грандиозными ни были предприятия Наполеона в Антверпене, они были далеки от его скрытых замыслов. Он рассказал Las Cases на острове Святой Елены, что верфь и склады должны были быть защищены гигантской крепостью, построенной на противоположном берегу реки Шельда, и что Антверпен должен был стать "заряженным пистолетом, приставленным к голове Англии".

В обеих странах воинственный пыл достиг высшей точки. Французские города и департаменты щедро предлагали в дар канонерские лодки и линкоры. А в Англии общественные деятели соперничали друг с другом в своем стремлении оснастить и содержать добровольческие полки. Вордсворт, который ранее воспевал Французскую революцию, таким образом выразил национальный вызов:

"Теперь никаких переговоров! В Британии - на одном дыхании;

Мы все теперь с тобой от берега до берега;

Вы, мужчины Кента, это победа или смерть".

В одном отношении Англия обладала заметным преимуществом. Объявив войну до того, как планы Наполеона созрели, она удержала господство на морях даже против военно-морских ресурсов Франции, Голландии и Северной Италии. Первые месяцы войны стали свидетелями сдачи Сент-Люсии и Тобаго нашим флотам; и еще до конца года Бербис, Демерара, Эссекибо вместе с почти всеми французскими силами на Сан-Доминго капитулировали перед британским флагом. Наше военно-морское превосходство в Ла-Манше теперь сказалось в полной мере. Фрегаты всегда несли вахту в проливах, преследуя любые французские суда, покидающие порт. Но наши главные усилия были направлены на блокаду кораблей противника. Несмотря на постоянное плохое самочувствие и частые штормы, Нельсон цеплялся за Тулон. Адмирал Корнуоллис крейсировал у Бреста с флотом, обычно превышающим пятнадцать линейных кораблей и несколько судов меньшего размера: шесть фрегатов и судов меньшего размера охраняли побережье Ирландии; шесть линейных кораблей и двадцать три судна меньшего размера находились в Даунсе под командованием лорда Кита в качестве центрального резерва, которому новости обо всех событиях, происходящих на побережье противника, быстро передавались почтовыми судами; недавно изобретенный семафорный телеграф также систематически использовался между островом Уайт и Дилом для передачи новостей вдоль побережья и в Лондон. Башни Мартелло были возведены вдоль побережья от Харвича до залива Певенси, в тех местах, где высадиться было легко. Многочисленные изобретатели также выдвигали планы уничтожения французской флотилии, но ни один из них не был признан пригодным, за исключением ракет полковника Конгрива, которые нанесли некоторый ущерб в Булони и других местах. Такова была диспозиция наших главных военно-морских сил: они насчитывали 469 боевых кораблей и более 700 вооруженных лодок всех размеров. ^[273]

Наши регулярные войска и ополчение насчитывали 180 000 человек; в то время как добровольцев, включая 120 000 человек, вооруженных пиками или подобным оружием, насчитывалось 410 000. Конечно, мало что можно было ожидать от этих последних в конфликте с французскими ветеранами; и даже регулярные войска в отсутствие каких—либо великих генералов - ибо Уэлсли тогда находился в Индии — могли оказать лишь слабое сопротивление военной машине Наполеона. Однако были предприняты приготовления к отчаянному сопротивлению. Втихаря были разработаны планы переезда королевы и королевской семьи в Вустер вместе с общественными сокровищами, которые должны были храниться в соборе; в то время как артиллерия и припасы из Вулвичского арсенала должны были быть доставлены в Мидлендз по каналу Гранд-Джанкшен. ^[274]

Схема береговой обороны, составленная генералом Дандасом в 1796 году, теперь снова была приведена в действие. Он включал в себя не только дислокацию вооруженных сил, но и планы систематического вывоза всего провианта, запасов, животных и фуража из районов, которым угрожал захватчик; и ясно, что страна была подготовлена гораздо лучше, чем французские авторы были готовы признать. Действительно, расходы на эти оборонительные приготовления были настолько велики, что, когда возвращение Нельсона из Вест-Индии расстроило планы противника, Фокс превратил государственного деятеля в сторонника, любопытно заявив, что угроза вторжения была поднята министерством Питта в партийных целях.^[275] Мало кто разделял это мнение. Нация была воодушевлена патриотизмом, который никогда еще не будоражил вялые жилы джорджианской Англии. Якобинство, о котором Дандас в 1796 году сокрушался как о парализующем энергию нации, полностью исчезло; и фатальность, преследовавшая шаги Наполеона, была уже заметна. Смешанная ненависть и страх, которые он внушал за пределами Франции, начали укреплять национальное сопротивление: объединив богатых и бедных, англичан и шотландцев в прочную фалангу в Соединенном Королевстве, национальный принцип, в свою очередь, должен был оживить Испанию, Россию и Германию и таким образом обеспечить его свержение.

Оставляя для рассмотрения в другой главе более поздние события морской войны, сейчас будет удобно обратиться к важным событиям в истории семьи Бонапартов.

Любови и интриги Бонапартов дали достаточно материала, чтобы заполнить несколько томов, посвященных легким сплетням, и это естественно. Учитывая амбициозную семью, которую невеликодушные люди называют *парвеню*, стремительную, как пламя Везувия, пылкую, как его внутреннее пламя, и упрямую, как застывшая лава, учитывая также властного брата, решившего женить своих младших братьев и сестер не так, как они хотели, а так, как хотел он, — и становится ясно, что под рукой достаточно материалов, чтобы создать состояние для дюжины комедиетт.

Здесь необходимо сделать лишь самое краткое упоминание о браке Полины Бонапарт. Необузданный нрав ее крови проявился еще до ее первого брака; и после смерти ее мужа, генерала Леклерка, в Сан-Доминго она тайно вышла замуж за принца Боргезе до истечения установленного законом срока траура, что было неосмотрительным поступком, который сильно разозлил Наполеона (август 1803 г.). В конечном счете это блестящее, легкомысленное создание проживало в великолепном особняке, который сейчас является британским посольством в Париже. Случай с Луи Бонапартом был несколько иным. Воспитанный в ранние годы Наполеоном, он вознаградил его, заключив верный брак с Гортензией Богарне (январь 1802 г.); но этому союзу суждено было быть омраченным гротескно ужасной ревностью, которую молодой муж вскоре зародил к своему могущественному брату.

Однако на данный момент главные неприятности были вызваны Люсьеном, чье обращение спасло положение в несколько критических минут Брюмера. Одаренный сильным литературным чувством и ораторским пылом, он соединял в себе упрямство Бонапарта, своевольные чувства поэта и догматизм корсиканского республиканца. Его самонадеянное поведение уже поссорило его с Первым консулом, который лишил его должности министра и отправил послом в Мадрид.^[276] Он далее согрешил, сначала поспешив заключить мир с Португалией — говорят, ради красивого подарка из Лиссабона — а позже отказавшись жениться на вдове короля Этрурии. В этом он настаивал, несмотря на настойчивые заявления

Наполеона и Жозефа: "Вы очень хорошо знаете, что я республиканец, и что королева - это не то, что мне подходит, к тому же королева уродлива!" — "Как жаль, что ваш ответ не был прерван, это было бы вполне по-римски", - усмехнулся Жозеф своему младшему брату, некогда Бруту из якобинских клубов. Но Люсьен был неуязвим для всего великолепия королевского брака; он был безумно влюблен в мадам Жубертон, брошенную жену парижского биржевого маклера; и чтобы пресечь все попытки Наполеона навязать ненавистный союз, он тайно женился на избраннице в деревне Плесси-Шаман, недалеко от своего загородного дома (26 октября 1803 г.).

Письмо, в котором сообщалось об этом деле, попало к первому консулу в Сен-Клу по интересному случаю.^[277] Это было во время так называемого семейного концерта, на который были приглашены только избранные, откуда также, к огорчению Жозефины, Наполеон исключил мадам Тальен и нескольких других старых друзей, чья репутация могла бы испортить атмосферу религии и морали, царящую сейчас при Консульском дворе. Пока эта избранная компания наслаждалась звуками камерной музыки, а один Наполеон дремал, верный, хотя и нескромный Дюрок передал послание Люсьена. На сцене произошла перемена. Наполеон сразу же восторженно крикнул: "Прекратите музыку, прекратите!" - и начал нервными шагами и взволнованно жестикулировать по залу, восклицая: "Измена! это государственная измена!" Округлившись от удивления глаза и открыв рты, музыканты застыли, вся компания в замешательстве поднялась, и Джозефина, последовав за своим супругом, умоляла его рассказать, что произошло. — Что случилось... почему... Люсьен женился на своей...любовнице.^[278]

Тайную причину этой кульминации модной комедии следует искать в государственных соображениях. В то время тайно и с тревогой обсуждалось установление наследственной власти. У Наполеона не было наследников: дети Жозефа были девочками: в первом браке Люсьена также не было ничего, кроме женского потомства: следовательно, наследование должно перейти к детям Люсьена от второго брака. Но у него уже был внебрачный сын от мадам Жубертон, и теперь его брак обещал сделать этого бастарда наследником будущего французского императорского трона. Вот почему Наполеон расхаживал по залу Сен-Клу, "размахивая руками, как семафор", и восклицая: "Измена!" Из-за того, что у двух старших братьев не родились сыновья, брак Люсьена серьезно угрожал основанию наполеоновской династии; кроме того, все это дело стало бы отличной забавой для роялистов с бульвара Сен-Жермен, огрызающихся якобинцев с закоулков и газетчиков ненавистного Альбиона.

Тщетно велись переговоры, чтобы заставить Люсьена развестись со своей женой. Эта попытка вызвала лишь раздражение, и сам Жозеф в конце концов обвинил Наполеона в недобросовестности в ходе этого дела. Следующей весной Люсьен отряхнул пыль Франции со своих ног и в последнем письме Жозефу объявил, что уезжает, ненавидя Наполеона. Мораль этой любопытной истории была хорошо подмечена Жозефом Бонапартом: "Судьба, кажется, ослепляет нас и намеревается с помощью наших собственных ошибок когда-нибудь вернуть Франции ее прежних правителей".^[279]

В то самое время, когда произошла сцена в Сен-Клу, фортуна готовила Первому консулу еще одну супружескую неприятность. Его младший брат, Жером, которому тогда было девятнадцать лет, проявил большие способности к французскому военно-морскому флоту и служил на американской базе, когда из-за ссоры с адмиралом он в отвращении вылетел на берег. Там, в Балтиморе, он влюбился в мисс Патерсон, дочь зажиточного торговца, и добивался ее руки.

Тщетно французский консул напоминал ему, что, будь он на пять лет старше, ему все равно понадобилось бы согласие своей матери. Своевольный характер его расы не терпел сопротивления, и он тайно женился на юной леди в резиденции ее отца.

Гнев Наполеона обрушился на молодую пару подобно порывистому ветру; но, подождав некоторое время в надежде, что буря утихнет, они отважились приехать в Европу. Вслед за этим Наполеон написал мадам Мере в следующих выражениях:

- Джером прибыл в Лиссабон с женщиной, с которой он живет.... Я отдал распоряжение отправить мисс Патерсон обратно в Америку.... Если он не проявит желания смыть позор, которым запятнал мое имя, покинув флаг своей страны на суше и на море ради несчастной женщины, я отвергну его навсегда". ^[280]

Продолжение покажет, что Джером был сделан из более мягкого материала, чем Люсьен; и, как ни странно, его согласие с династическими замыслами Наполеона обеспечило этой семье единственных законных наследников мужского пола, которым было суждено поддерживать ее шаткие надежды до конца столетия.

ГЛАВА XIX

ЗАГОВОР РОЯЛИСТОВ

От бытовой комедии Франция быстро превратилась в первые месяцы 1804 года в мрачную трагедию — трагедию заговора Жоржа Кадудалья и казни герцога Энгиенского.

Существовали различные причины, по которым изгнанные французские бурбоны должны были способствовать свержению Наполеона. Каждый месяц, когда они откладывали действия, уменьшал их шансы на успех. Они долго цеплялись за надежду, что его Конкордат с папой Римским и другие контрреволюционные меры свидетельствуют о его намерении восстановить их династию. Но в феврале 1803 года граф Прованский получил предложения, которые показали, что Бонапарт никогда не думал играть роль генерала Монка. Принц-изгнанник, проживавший в то время в Варшаве, был вежливо, но самым решительным образом убежден Первым консулом отказаться как от себя, так и от других членов своего Дома от всех притязаний на трон Франции, в обмен на что он будет получать пенсию в размере двух миллионов франков в

год. Мысль о том, чтобы опуститься до уровня пенсионера Французской Республики, задела гордость бурбонов за живое и спровоцировала такой энергичный ответ:

"Как потомок Людовика Святого, я постараюсь подражать его примеру, уважая себя даже в плену. Как преемник Франциска I, я, по крайней мере, буду стремиться сказать вместе с ним: "Мы потеряли все, кроме нашей чести".

С этим заявлением граф д'Артуа, его сын герцог де Берри, Луи Филипп Орлеанский, двое его сыновей и два конде горячо согласились; и такой же лояльный ответ пришел от молодого Конде, герцога Энгиенского, датированный Эттенхеймом 22 марта 1803 года. Вряд ли люди думали, когда читали этот последний вызов Наполеону, что через год его автор будет брошен в могилу во рву Венсенского замка.

Едва затихли отголоски реплик Бурбонов, как начало войны между Англией и Францией пробудило надежды французских роялистов-изгнанников в Лондоне; и их живое воображение нарисовало французскую армию и нацию готовыми броситься к ногам Людовика XVIII. Будущий монарх не разделял этих иллюзий. В холодном уединении Варшавы он увидел ситуацию в ее истинном свете и приготовился ждать, пока непомерные амбиции Наполеона не объединят Европу против него. Действительно, когда ему объяснили планы передового крыла в Лондоне с целью заручиться его поддержкой, он ловко отмахнулся от неловких попыток, процитировав строки:

"Et pour être approuvés

De semblables projets veulent être achevés,"

осторожный ответ, который заставил его брата, находившегося тогда в Эдинбурге, презрительно отнестись к его *слабости* как к недостойному дальнейшего доверия.^[281] По правде говоря, граф д'Артуа, которому суждено было однажды стать Карлом X. королем Франции, от природы не был создан для фабианской политики проволочек: даже невзгоды изгнания не смогли привить в водонепроницаемые ячейки его мозга самых элементарных представлений о благоразумии. Смелость, однако, привлекает смелость; и этот принц собрал вокруг себя на нашей земле самых отчаянных французских роялистов, чьи надежды, ненависть, интриги и бесконечные просьбы о британских деньгах могут быть рассмотрены любопытными примерно в тридцати больших томах писем, завещанных их фактическим лицом графом де Пюизе Британскому музею. К сожалению, эта переписка проливает мало света на детали сюжета, который уместно назвать именем Жоржа Кадудаля.

Этот отважный бретонец был, по сути, единственным человеком действия, на которого принцы Бурбонов могли твердо положиться в предприятии, требовавшем хладнокровия, хитрости в выборе средств и безжалостности. Пишегрю, правда, жил недалеко от Лондона, но мало виделся с *эмигрантами*, за исключением достопочтенного Конде. Дюмурье тоже был в великом

городе, но его имя слишком широко презиралось во Франции за его предательство в 1793 году, чтобы оправдывать его использование. Но было много головорезов, которые могли подготовить почву во Франции или, если повезет, могли сами нанести удар; и небольшой комитет французских роялистов, который пользовался поддержкой этого яростного роялиста, мистера Уиндхэма, члена парламента, начал еще до конца 1802 года обсуждать планы "смещения" Бонапарта. Двое их помощников, Пико и Ле Буржуа по имени, слепо участвовали в заговоре и были арестованы вскоре после того, как ступили на территорию Франции. Их мальчишеская доверчивость, по-видимому, подсказала французским властям засылку агента, чтобы заманить в ловушку не только французских *эмигрантов*, но и английских чиновников и якобинских генералов.

The *Провокатор* во все времена был излюбленным инструментом правительств континентальных стран, но редко кто видел более совершенный представитель этого класса, чем Мехи де ла Туш. После того, как он стал наемным убийцей во время сентябрьской резни 1792 года и якобинским шпионом во время террора, Бонапарт включил его в число якобинских козлов отпущения, которые искупили бесчинства шуанов при Нивозе. Изнывая от усталости изгнания, он услышал от своей жены, что его могут помиловать, если он окажет какую-нибудь услугу консульскому правительству. Он сразу же согласился, и было решено, что он должен притвориться роялистом, проникнуть в секреты *эмигрантов* в Лондоне и действовать как посредник между ними и недовольными республиканцами Парижа.

Человеком, который, по-видимому, спланировал эту схему, был бывший министр полиции. Недавно Бонапарт лишил Фуше инквизиторских полномочий, которыми он так бессовестно пользовался. Его обязанности были разделены между Ренье, великим судьей и министром юстиции, и Реалем, государственным советником, который следил за внутренней безопасностью Франции. У этих людей не было способностей Фуше, и они с самого начала не знали, что Мехе делал в Лондоне. Следовательно, можно предположить, что Мехе был одним из приспешников Фуше, которого он использовал для дискредитации своего преемника, и что Бонапарт приветствовал это средство повышения рвения официальной полиции, в то время как он также плел свои сети вокруг заговорщиков *эмигрантов*, английских чиновников и французских генералов. ^[282]

Среди этих последних существовало почти хроническое недовольство, и Бонапарт утверждал, что раскрыл заговор, согласно которому двенадцать из них должны были разделить Францию на такое же количество частей, оставив ему только Париж и его окрестности. Если это так, то он так и не воспользовался своим открытием. На самом деле, из этой группы недовольных - Моро, Бернадотта, Ожеро, Макдональда и других - он опасался враждебности только первого. Победитель при Гогенлиндене жил в угрюмом уединении недалеко от Парижа, отказываясь представляться при Консульском дворе и демонстрируя свое презрение к тем, кто надевал форму придворного. Он открыто насмехался над Конкордатом, а когда был учрежден орден Почетного легиона, он наградил свою собаку почетным ошейником. Негодование Наполеона по поводу этой насмешки было настолько велико, что он даже предложил послать ему вызов на дуэль в Булонский лес. ^[283] Вызов, конечно, не был брошен; между двумя воинами была предпринята демонстрация примирения; но Наполеон сохранил скрытую неприязнь к человеку, чей резкий республиканский подход был одобрен значительной частью армии и *фрондерами* Парижа.

Крах Моро и замешательство как французских роялистов, так и британского министерства теперь могли быть обеспечены поощрением якобинско-роялистского заговора, в котором должны были быть замешаны английские официальные лица. Моро был известен своей неспособностью в сфере политических интриг: роялистские круги в Лондоне представляли собой как раз тот материал, над которым *агент-provokator* с удовольствием работал; и некоторых британских чиновников, несомненно, можно было с такой же легкостью втянуть в свои сети. Мехи де ла Туш оставил весьма приправленный отчет о своих приключениях, но, конечно, его следует воспринять с недоверием. ^[284]

Отправившись сначала на Гернси, он заручился доверием губернатора генерала Дойла; и, подкрепленный его рекомендациями, он представился *эмигрантам* в Лондоне и имел беседу с лордом Хоксбери и заместителями государственного секретаря мистерами Дж. Хэммонд и Йорк. Ему было нетрудно воспламенить воображение французских изгнанников, которые ухватились за предложенный союз между непримиримыми, крайними роялистами и крайними республиканцами; и сразу же было решено, что власть Наполеона, опирающаяся на поддержку крестьян, фактически всей Франции, должна быть сокрушена обволакивающим движением кончиков крыльев.

Рассказ Мехи содержит мало деталей и дат, которые позволили бы проверить его утверждения. Но я изучил документы Пюисайе, ^[285] а также архивы Министерства иностранных дел и внутренних дел, и нашел доказательства соучастия нашего правительства, которые будет полезно представить здесь связно. Взятые по отдельности, они неубедительны, но в совокупности их значение весьма велико. В наших архивах Министерства иностранных дел (Франция, № 70) есть письмо, датированное Лондоном 30 августа 1803 года, от барона де Ролла, представителя изгнанных Бурбонов, мистеру Хэммонду, нашему постоянному заместителю министра иностранных дел, с просьбой навестить графа д'Артуа в его резиденции № 46 на Бейкер-стрит. То, что обсуждения в этой палате были не совсем мирными, явствует из длинного секретного меморандума от 24 октября 1803 года, в котором граф д'Артуа рассматривает карьеру "этого жалкого авантюриста" (Бонапарта), чтобы доказать, что его нынешнее положение шатко. В заключение он называет тех, кто желал его свержения — Моро, Ренье, Бернадотт, Симон, Массена, Ланн и Ферино: Сийес, Карно, Шенье, Фуше, Баррас, Тальен, Ребель, Ламарк и Жан де Брай. Другие не нападали на него "корпусом за корпусом", но им не нравилось его превосходство. Эти два документа доказывают, что наше правительство было осведомлено о заговоре Бурбонов. Другой документ, датированный Лондоном 18 ноября 1803 года, доказывает его активное соучастие. Это список французских офицеров-роялистов, "которые отправились или были готовы отправиться". Все они были на нашем жалованье: двое по шесть шиллингов, пятеро по четыре шиллинга и девять по два шиллинга в день. Было бы неделикатно называть имена, но среди них есть имя Иоахима П.Дж. Кадудалья. Список составлен и подписан Фридингом — именем, которое Пишегру часто использовал в качестве *псевдонима*. Его рукой также написан список "офицеров—роялистов, за которых я требую годовое жалованье вперед" - пять генералов, тринадцать *легионеров*, семнадцать *батальонов* и девятнадцать капитанов. Заявленная сумма составляет 3110 15 *фунтов стерлингов*. ^[286] То, что по крайней мере некоторые из чиновников нашего Адмиралтейства также помогали Кадудалю, подтверждается "совершенно секретным" письмом, датированным офисом Адмиралтейства 31 июля 1803 года, от Э. Н. Эпина адмиралу Монтею в Даунсе, в котором он поручал ему помочь предъявителю, капитану Райту, в выполнении "очень важной услуги" и предоставить ему "один из лучших наемных катеров или люггеров по вашему приказу". Другое "совершенно секретное"

письмо Адмиралтейства от 9 января 1804 года предписывает подготовить фрегат или большой шлюп для тайной доставки "высокопоставленного офицера" (вероятно, Пишегрю) к берегам Франции. Райт руководил заговорщиками несколькими группами, пока случай не отдал его во власть Наполеона и не обрек на позорную смерть, вероятно, самоубийство.

Наконец, есть письмо мистера Арбатнота, парламентского секретаря Министерства иностранных дел (датированное 12 марта 1804 г.), сэру Артуру Пейджету, в котором он ссылается на "печальный результат всех наших прекрасных проектов по восстановлению власти Бурбонов: ... мы, конечно, очень опасаемся за безопасность бедняги Моро. ^[287]

Перед лицом этих неопровержимых доказательств министерские отрицания соучастия должны быть отброшены. ^[288] Возможно, однако, что заговору потворствовали не более уважаемые начальники, а молодые и вспыльчивые чиновники. Даже летом 1803 года этот кабинет уже шатался под натиском вигов и последователей Питта. Вежливо уважаемый Аддингтон и Хоксбери с его "пустой ухмылкой" ^[289] очевидно, не могли сравниться с Наполеоном; и сам Арбатнот называет Аддингтона "беднягой, которого все презирают и над которым смеются", и объявляет кабинет министров "самым неэффективным, который когда-либо проклинал страну". Следовательно, я полагаю, что наша официальная помощь заговорщикам ограничивалась заместителями министра иностранных дел, военного ведомства и адмиралтейства. Более того, планы роялистов, *раскрытые нашим официальным лицам*, в основном касались восстания в Нормандии и Бретани. Наше правительство не стало бы выплачивать жалование пятидесяти четырем офицерам—роялистам - многие из них происходили из старых добрых французских семей, — если бы речь шла только о том, чтобы нанести удар Наполеону. Списки этих офицеров были составлены здесь в ноябре 1803 года, то есть через три месяца после того, как Жорж Кадудаль отправился в Нормандию и Париж, чтобы собрать своих головорезов; и представляется наиболее вероятным, что офицеры "королевской армии" должны были просто поддержать предприятие Кадудалья, вновь разжигая пламя восстания на севере и западе. Французские агенты пытались сделать то же самое в Ирландии, и готовился заговор с целью убийства Георга III. считалось, что французские власти потворствовали этому. Но, в конце концов, британское правительство должно быть обвинено в одном из самых отвратительных преступлений. Всей правды в Париже не знали, но о ней догадывались, и этой догадки было достаточно, чтобы отравить весь ход борьбы между Англией и Наполеоном.

Установив теперь ответственность британских официальных лиц за этот самый известный заговор столетия, мы возвращаемся к описанию хода осуществления заговора и приемов, использованных Наполеоном для его разгрома. Его орудие, Мехи де ла Туш, заманив в ловушку французских роялистов и некоторых наших собственных чиновников в Лондоне, отправилось на Континент, чтобы заманить в ловушку некоторых наших посланников. Он добился блестящего успеха. Он посетил Мюнхен, чтобы, как он недвусмысленно утверждал, договориться с нашим тамошним послом о подготовке роялистского заговора. Британский посланник, носивший почетное имя Фрэнсис Дрейк, был ревностным интриганом, тесно связанным с *эмигрантами*: он был полностью покорен искусством Мехи: он дал шпиону деньги, снабдил его шифром вымышленных имен и даже доверил ему рецепт симпатических чернил. Вооруженный таким образом, Мехи отправился в Париж, послал своему взяткодателю несколько безобидных бюллетеней, передал информацию полиции и, *под диктовку Наполеона*, сообщил ему новости, которые серьезно ввели в заблуждение наше правительство и Нельсона. ^[290]

Тот же трюк был опробован на Стюарте, нашем после в Вене, который получил заманчивое предложение от французского агента сообщать новости из каждой французской депеши в Вену или из Вены. Стюарт закончил с этим предложением, как вдруг по просьбе французского посла этого человека схватили и обыскали его бумаги.^[291] В данном случае не было никого, кто скомпрометировал бы Стюарта, и его карьера не была прервана позорным образом, который постиг Дрейка, над которым в качестве эпитафии может быть начертано предупреждение, которое Талейран дал молодым претендентам — "et surtout pas trop de zèle".

Таким образом, пока роялисты замыслили свержение Наполеона, он через своих агентов препятствовал их неуклюжему приближению к своей цитадели и готовился взорвать их до небес, когда их шахты будут переполнены для последнего броска. Планы роялистов созревали медленно из-за изменений, которые не нужно было замечать. Жорж Кадудаль покинул Лондон и высадился в Бивилле, пристанище контрабандистов недалеко от Дьеппа, 23 августа 1803 года. Оттуда он направился в Париж и провел несколько месяцев, пытаясь завербовать надежных рекрутов. Было заявлено, что целью заговора было не покушение, а разгром эскорта Первого консула и захват его самого во время одной из его поездок. Затем его должны были насильно перевезти на северное побережье на лошадях и поспешно доставить в Англию.^[292] Но, хотя заговорщики набросили завесу приличия на свое предприятие, назвав его похищением, они, несомненно, имели в виду убийство. Среди бумаг Дрейка есть намек на то, что роялистские эмиссары *сначала* говорили только о захвате и депортации Первого консула.

Каковы бы ни были их точные цели, они, безусловно, были известны Наполеону и его полиции. 1 ноября 1803 года он написал Ренье:

"Вы не должны торопиться с арестами: когда автор [Мехи] предоставит всю информацию, мы разработаем с ним план и посмотрим, что можно сделать. Я хочу, чтобы он написал Дрейку и, чтобы внушить ему доверие, сообщил ему, что, прежде чем будет нанесен серьезный удар, он считает, что [Мехи] может пообещать захватить со стола Первого консула в его потайной комнате записи, написанные его собственной рукой, относящиеся к его великой экспедиции, и все другие важные документы".

Наполеон упивался деталями своего плана по поднятию инженеров с помощью их собственных петард.^[293] Но он прекрасно понимал, что заговор, когда он полностью созреет, принесет гораздо больше, чем поимка нескольких шуанов. Он должен подождать, пока Моро не будет замешан. Человеком, выбранным *эмигрантами* для озвучивания Моро, был Пишегрю, и этот выбор был единственным примером проявленного ими здравого смысла. Именно Пишегрю определил будущее состояние Моро в кампании 1793 года, и все же он, казалось, стал жертвой вопиющей неблагодарности этого генерала во Фруктидоре. Кто же тогда так подходил, как он, для сближения с победителем при Гогенлиндене? Через священника по имени Давид и генерала Лайоле была организована беседа; и вскоре после прибытия Пишегрю во Францию эти воины украдкой пожали друг другу руки в столице, которая так часто оглашалась их похвалами (январь 1804 г.). Они встречались три или четыре раза и уладили некоторые недоразумения прошлого. Но он не хотел иметь ничего общего с Жоржем, и когда Пишегрю заговорил о свержении Бонапарта и реставрации бурбонов, тот твердо предупредил его: "Делай с Бонапартом что хочешь, но не проси меня поставить на его место Бурбона".

От этой решимости Моро никогда не отступал. Но его расчетливая сдержанность не спасла его. Несколько подозреваемых уже были заключены в тюрьму в Нормандии. По предложению

Наполеона пятеро из них были приговорены к смертной казни в надежде добиться признания; и последний, человек по имени Керель, порадовал своих тюремщиков, сообщив (14 февраля) не только о проживании Жоржа в Париже, но и о намерении других заговорщиков, среди которых был французский принц, высадиться на Бивиле. Теперь заговор приближался к кульминации, как и контрзаговор. На следующий день Моро был арестован по приказу Наполеона, который изобразил крайнюю скорбь и удивление, увидев победителя при Гогенлиндене замешанным в дело с убийцами-роялистами, состоявшими на жалованье у Англии. ^[294]

Воодушевленный этим успехом и надеясь поймать самого графа д'Артуа, Наполеон немедленно отправил к этому утесу одного из своих самых хитрых и преданных слуг, Савари, который командовал *жандармерией Элиты*. Переодетый соответствующим образом и проинформированный контрабандистом о сигналах роялистов, Савари с нетерпением ожидал королевскую добычу, и когда судно капитана Райта появилось в поле зрения, он использовал все свое искусство, чтобы имитировать сигналы, приглашающие к высадке. Но команду не удалось заманить на берег, и после бесплодных попыток он вернулся в Париж — как раз вовремя, чтобы принять участие в убийстве герцога Энгиенского.

Тем временем полиция напала на след Пишегрю и Жоржа. В последний день февраля генерал был схвачен в постели в доме вероломного друга; но Жорж был схвачен только после того, как закрылись ворота Парижа и были нанесены визиты по месту жительства, и то только после отчаянной драки (9 марта). Вскоре последовал арест двух Полиньяков и маркиза де Ривьера.

До сих пор Наполеону удавалось полностью перехитрить своих врагов. Он достаточно хорошо знал, что ему ничто не угрожает.

"Я ничем по-настоящему не рисковал, - писал он Мельци, - поскольку полиция следила за всеми этими махинациями, и я утешаюсь тем, что не нахожу причин жаловаться ни на одного человека из всех, кого я назначил в эту огромную администрацию, Моро стоит особняком". ^[295]

Но теперь, в момент победы, когда Франция кипела от ярости против убийц-роялистов, английского золота и предательства Моро, первого консула поспешили вовлечь в предприятие, которое принесло ему императорскую корону и запятнало пурпур невинной кровью.

В Эттенхайме, в Бадене, недалеко от Рейна, жил молодой принц из дома Конде, герцог Энгиенский. После расформирования корпуса Конде он спокойно наслаждался обществом принцессы Шарлотты де Роган, на которой был тайно женат. Ее очарование, увлекательность охоты, общество небольшого кружка французских *эмигрантов* и случайные тайные посещения театра в Страсбурге были главными развлечениями в его монотонной жизни, пока он не загорелся надеждой на скорое объявление войны Австрией и Россией Наполеону. В репортажах его обвиняли в том, что он неосмотрительно забрался переодетым далеко во Францию, но он с негодованием отрицал это. Другие его письма также доказывают, что он не был соучастником заговора Кадудалья-Пишегрю. Но шпионы Наполеона передали информацию, которая, по-видимому, изобличала его в этом предприятии. Главным среди них был Мехи, который в конце февраля слонялся по Эттенхайму и слышал, что герцог часто отсутствовал по много дней кряду.

Наполеон получил это известие 1 марта и приказал провести самое тщательное расследование. Один из его шпионов сообщил, что молодой герцог связан с генералом Дюмурье. На самом деле генерал находился в Лондоне, и шпион заменил имя безобидного старого джентльмена по

имени Тумери. Когда Наполеон увидел имя Дюмурье рядом с именем молодого герцога, его ярости не было предела. "Я что, собака, которую забьют до смерти на улице? Почему меня не предупредили, что они собираются в Эттенхайме? Являются ли мои убийцы священными существами? Они нападают на саму меня. Я дам им войну за войну". И он осыпал упреками и Реаля, и Талейрана за то, что они не предупредили его об этих предателях и убийцах, скопившихся на берегах Рейна. Арест Жоржа Кадудаля и допрос одного из его слуг помогли подтвердить предположение Наполеона о том, что он стал жертвой заговора, настоящими организаторами которого были герцог и Дюмурье, в то время как Жорж был их орудием. Слуга Кадудаля заявил, что в дом его хозяина часто приходил таинственный человек, при входе которого всегда вставал не только Жорж, но и Полиньяки и Ривьер. Это убедило Наполеона в том, что герцог Энгийенский руководил заговором, и он решил схватить герцога и Дюмурье. То, что они находились на немецкой земле, для него ничего не значило. Талейран пообещал, что вскоре сможет убедить курфюрста не обращать внимания на это нарушение его территории, и затем этот вопрос был обсужден на неофициальном совете. Талейран, Реаль и Фуше советовали принять самые суровые меры. Лебрен говорил о возмущении, которое вызвало бы такое нарушение нейтральной территории, но склонился перед решимостью Первого консула; и только цареубийца Камбасерес оказал решительное сопротивление произволу, который должен был поссорить Францию с Германией и Россией. Несмотря на этот протест, Наполеон отдал свои приказы, а затем удалился в приятное уединение Мальмезона, где оставался в почти полном уединении. Выполнение приказов теперь было возложено на генералов Орденера и Коленкура, которые организовали рейд в Баден; на Мюрата, который теперь был губернатором Парижа; и на преданных и беспрекословных Савари и Реаля.

Захват герцога был осуществлен хитроумно. В Страсбурге были незаметно собраны войска и жандармы; вперед были высланы шпионы для осмотра местности; и когда рассвет 15 марта озарил небо на востоке, тридцать французов окружили жилище Энгьена. Горячая кровь побуждала его сражаться, но по совету друга он тихо сдался и был увезен в Страсбург, а оттуда в Венсенский замок на юго-востоке Парижа. Там все было готово к его приему вечером 20 марта. Приготовления были окутаны пеленой секретности. Жертве было присвоено имя Плесси, а Харель, комендант замка, остался в неведении о его звании. ^[296]

Прежде всего, его должен был судить военный трибунал из офицеров - форма судебного решения, которая была краткой и не подлежала обжалованию; в то время как обычные суды должны были действовать медленно и открыто для всеобщего обозрения. Это правда, что Сенат только что приостановил суд присяжных по делу о покушениях на жизнь Первого консула - прием, принятый в связи с обвинением Моро. Но уверенности в вынесении приговора было недостаточно: Наполеон решил вселить в своих врагов ужас, какой всегда внушает быстрый и тайный удар. Он решил предстать перед военным трибуналом, когда все еще считал Энгьена сообщником Дюмурье; и когда поздно вечером в субботу, 17 марта, эта ошибка была объяснена, его намерения остались непоколебимыми — непоколебимыми были и торжественные мессы в пасхальное воскресенье, 18 марта, которые он прослушал в торжественной обстановке в часовне Тюильри. На обратном пути в Мальмезон Жозефина призналась мадам де Ремюза в своих опасениях, что воля Бонапарта непоколебима: "Я сделала, что могла, но, боюсь, он принял решение". Они с Жозефом снова подошли к нему в парке, когда Талейран был рядом с ним. "Я боюсь этого калеки", - сказала она, когда они подошли ближе, и Джозеф отвел священника в сторону. Все было напрасно. "Уходи; ты ребенок; ты не понимаешь общественных обязанностей". Это был последний отпор Джозефины.

20 марта Наполеон составил форму вопросов, которые должны были быть заданы заключенному. Теперь он изменил основу обвинения. Из одиннадцати вопросов только последние три касались связи герцога с заговором Кадудаля.^[297] Ибо тем временем он нашел в бумагах герцога доказательства того, что тот предлагал свои услуги британскому правительству в нынешней войне,^[298] его надежды на участие в будущей континентальной войне, но ничего такого, что могло бы обвинить его в заговоре Кадудаля. Бумаги, безусловно, разочаровали; и это, несомненно, причина, по которой, изучив их 19 марта, он поручил Реалю "тайно ознакомиться с этими бумагами вместе с Десмарестом". Необходимо пресечь любые разговоры о более или менее серьезных обвинениях, содержащихся в этих бумагах ". Тот же факт, несомненно, привел к их изъятию вместе с *досье* о разбирательствах в военном трибунале.^[299]

Задача вызвать офицеров, которые должны были сформировать военный трибунал, была возложена на Мюрата. Но когда этот грубоватый, сердечный солдат получил этот приказ, он воскликнул: "Что? они пытаются запачкать мою форму! Я этого не допущу! Пусть он сам назначает их, если хочет". Но второе, более властное поручение вынудило его выполнить этот ненавистный долг. Семерым старшим офицерам парижского гарнизона, вызванным сейчас, было приказано не расходиться до вынесения приговора.^[300] Во главе их стоял генерал Хулин, проявивший такую отвагу при штурме Бастилии; и таким образом, вечер жизни одного из первых героев Революции был окутан ужасами ночного убийства. Наконец, первый консул приказал Савари, который только что вернулся в Париж с Бивилия, разъяренный тем, что у него отняли добычу, отправиться в Венсен с отрядом своих жандармов для приведения приговора в исполнение.

Семеро офицеров еще ничего не знали ни о характере своей миссии, ни о военном положении. "У нас не было, - писал Хулин много лет спустя, - ни малейшего представления о судебных процессах; и, что хуже всего, у репортера и секретаря было едва ли больше опыта".^[301] Допрос заключенного был крайне коротким. У него спросили его имя, дату и место рождения, поднимал ли он оружие против Франции и состоял ли на жалованье у Англии. На последние вопросы он ответил решительно утвердительно, добавив, что желает принять участие в новой войне против Франции.

Его ответы были такими же, как и на предварительном допросе, который он завершил письменной и настоятельной просьбой о личной встрече с Наполеоном. Суд предложил удовлетворить это ходатайство, но Савари, занявший позицию за креслом Хулина, сразу же объявил этот шаг *несвоевременным*. У судей был только один шанс выйти из их затруднительного положения, а именно, убедить герцога признать недействительными его показания: этого он решительно отказался сделать, и когда Хулин предупредил его об опасности своего положения, он ответил, что знает об этом и желает побеседовать с Первым консулом.

Затем суд вынес приговор и "в соответствии со статьей (бланк) закона (бланк) следующего содержания (бланк) приговорил его к смертной казни". Пристыженный, как могло показаться, этим неуклюжим осуждением, Хулин писал Бонапарту с просьбой о личной встрече с осужденным, которой тот так жаждал, когда Савари взял ручку у него из рук со словами: "Ваша работа выполнена, остальное - мое дело".^[302] Герцога немедленно вывели во ров замка, где несколько факелов пролили свет на финальную сцену этой мрачной трагедии: он попросил позвать священника, но ему было отказано: затем он склонил голову в молитве, поднял свои

благородные черты к солдатам, умолял их не промахнуться и упал с простреленным сердцем. Совсем рядом находилась могила, которую, в соответствии с полученными накануне распоряжениями, губернатор распорядился подготовить; в нее бросили тело в беспорядке, и земля закрыла останки последнего отпрыска воинственного дома Конде.

Двенадцать лет спустя любящие руки извлекли кости из могилы и поместили их в часовне замка. Но даже тогда мир не знал всей чудовищности преступления. Провоцировать ответы и дальнейшие расследования было предоставлено таким неуклюжим апологетами, как Савари. Различные оправдания, которые возлагают вину на Талейрана и на всех, кроме главного действующего лица, в достаточной степени устранены волей бывшего императора. В этом документе Наполеон отмахнулся от оправданий, которые ранее выдвигались из-за доверчивости или злого умысла его придворных, и взял на себя ответственность за казнь:

"Я приказал арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было необходимо для безопасности, интересов и чести французского народа, когда граф д'Артуа, по его собственному признанию, поддерживал шестьдесят убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я бы снова поступил точно так же".^[303]

Казнь герцога Энгиенского - одно из самых важных событий того периода, столь насыщенного знаменательными событиями. Ощущение ужаса, которое это вызвало, можно оценить по душевным мукам мадам де Ремюза и других людей, которые до сих пор смотрели на Бонапарта как на героя эпохи и спасителя страны. Его мать горячо упрекнула его, сказав, что это был чудовищный поступок, пятно от которого никогда не будет стерто, и что он поддался совету врагов, стремившихся запятнать его славу.^[304] Наполеон ничего не сказал, но заперся в своем кабинете, обдумывая эти ужасные слова, которые, несомненно, принесли плоды в виде горьких упреков, позже обрушившихся на Талейрана за его участие в трагедии. Многие роялисты, которые начали переходить на его сторону, теперь выражали свое возмущение этим поступком. Шатобриан, который собирался продолжить работу в качестве посланника Франции в Республике Вале, сразу же подал в отставку и занял позицию скрытого неповиновения. И так вели себя все роялисты, которые не были ослеплены блеском успеха или польщены милостями Наполеона. Многие из его друзей осмелились выразить свой ужас перед этой корсиканской вендеттой; и *высказывание*, которое было правдоподобно, но, похоже, ошибочно, приписано Фуше, хорошо отражает общее мнение того черствого общества: "Это было хуже, чем преступление — это была грубая ошибка".

Едва Париж оправился от этой сенсации, как 6 апреля Пишегрю был найден задушенным в тюрьме; и люди молча, но почти единодушно приветствовали это как дело рук мамелюков Наполеона. Это суждение, каким бы естественным оно ни было после энгиенского дела, кажется неверным. Это правда, что на трупе были следы, которые вряд ли указывали на самоубийство; но Жорж Кадудаль, чья камера находилась совсем рядом, не слышал звуков драки; и маловероятно, что такой сильный человек, как Пишегрю, легко сдался бы нападавшим. Поэтому более вероятно, что завоеватель Голландии, раздавленный своими несчастьями и слишком гордый, чтобы предстать перед публичным судом, прервал жизнь, которая и так была обречена. Никогда еще заговорщики не проваливались с таким позором и не играли в большей степени на руку своему врагу. *Мот* с Бульваров остроумно подводит итог их жалким усилиям: "Они пришли во Францию, чтобы дать ей короля, и они дали ей императора".

ГЛАВА XX

НА ЗАРЕ ИМПЕРИИ

В течение некоторого времени вопрос о наполеоновской династии свободно обсуждался; и сам первый консул недавно признался Жозефу в своих намерениях словами, которые свидетельствуют о его сверхчеловеческой уверенности и осторожности: "Я всегда намеревался покончить с Революцией установлением наследственности, но я думал, что такой шаг не может быть предпринят раньше, чем через пять или шесть лет". События, однако, несли его по благоприятному течению. Ненависть к Англии, страх перед якобинскими бесчинствами, возмущение роялистскими замыслами против его жизни и, наконец, даже казнь Энгьена помогли установлению империи. Хотя умеренные представители всех партий осудили это убийство, остатки якобинской партии приветствовали его с радостью. До этого времени у них был затаенный страх, что Первый консул вот-вот сыграет роль Монаха. пышность Тюильри и ненавистный Конкордат казались их извращенным умам лишь прелюдией к возрождению Бурбонов, после чего священничество, десятина и феодализм станут в порядке вещей. Теперь, наконец, Венсенская трагедия пролила зловещий свет на тайники честолубия Наполеона, и они воскликнули: "Он один из нас". Отныне это должна быть война на ножах между бурбонами и Бонапартом; и поэтому его правление было бы лучшей гарантией вечного владения землями, конфискованными во время революции. ^[305]

Для материализовавшегося общества это великое событие стало не более чем крупным синдикатом земельных инвестиций, единственным и бессменным директором которого теперь должен был стать Бонапарт. Таков внутренний смысл ссылок на Общественный договор, которые так странно фигурируют среди ходатайств о передаче власти по наследству. Якобинцы, за исключением нескольких добросовестных приверженцев, были особенно бдительны в умении сталкивать крайности. Фуше, который теперь снова обрел благосклонность и должность, обратился к Сенату всего через семь дней после казни с призывом установить наследственную власть как единственное средство положить конец заговорам против жизни Наполеона; ибо, как утверждали оппортунистические якобинцы, если будет принята наследственная система, заговоры с целью убийства станут бессмысленными, поскольку, даже если они убьют одного человека, они не смогут разрушить систему, гарантирующую революцию.

После того как сигнал был таким образом ловко подан, со всех концов Франции посыпались апелляции и петиции о передаче власти по наследству. Грандиозная работа по реорганизации Франции, безусловно, давала веские основания рассчитывать на благодарность нации. Недавнее принятие Гражданского кодекса и возрождение материального процветания способствовали славе Наполеона; и с такой же правдивостью и остроумием он мог претендовать на диадему в качестве достойной награды *за то, что возродил многие интересы, хотя ни один из них не был вытеснен*. Такое замечание и такой подвиг провозглашают прирожденного правителя людей. Но Сенат перешел все границы приличия, обратившись к нему с таким обращением: "Вы основываете новую эру, но вы должны сделать так, чтобы она длилась вечно: великолепие - ничто без продолжительности". Греки, заискивавшие перед персидскими сатрапами, вели себя не более недостойно мужчин, чем эти вышедшие на пенсию подхалимы, которые пережили дни 1789 года, но не знали их. Это откровенное преклонение было бы недостойно внимания, если бы оно не являлось самым наглядным доказательством опасности, которой подвергаются республики, когда люди теряют из виду высшие цели жизни и погрязают в ее низменных интересах. ^[306]

После суровых испытаний последних четырех лет Палаты почти единогласно проголосовали за наполеоновскую династию. Заседание Законодательного корпуса не проводилось, и оно не было созвано. Сенат, выслушав недвусмысленные намеки Фуше, назначил комиссию из своих членов для составления доклада о наследственном правлении, а затем стал ждать развития событий. Эти решения принимались в основном на закрытых заседаниях Государственного совета, где предложение встретило некоторое противодействие со стороны Камбасереса, Мерлена и Тибодо. Но что толку от частных возражений, когда на открытом заседании оппоненты немые, а сторонники соревнуются в лести? В трибунате 23 апреля малоизвестный член по имени Кюре предложил принять принцип наследования. Только один человек осмелился открыто выступить против этого предложения, великий Карно; и оппозиция Кюре Карно могла бы напомнить этим жалким поборникам народной свободы стих, который блещит среди литературного хлама Римской империи:

"*Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.*"

Трибунал назначил комиссию для доклада; она была благосклонна к Бонапартам. Сенат проголосовал в том же духе, только три сенатора, среди них Грегуар, епископ Блуа, проголосовали против. Сийес и Ланжуине отсутствовали, но хорошо оплачиваемый владелец поместья Кросне, должно быть, с насмешливым презрением прочитал резолюцию этого органа, который он задумал как *хранитель республиканской конституции*:

"Французы завоевали свободу: они хотят сохранить свое завоевание; они желают покоя после победы. Они будут обязаны этим славным отдыхом наследственному правлению одного человека, который, будучи поставлен выше всех, должен защищать общественную свободу, поддерживать равенство и преуменьшать свои обязанности перед суверенитетом народа, который провозглашает его".

Таким образом, Франция свела к практике догму Руссо относительно случайной и временной потребности в диктаторе. ^[307]

Когда простые люди так подобоострастны, любой титул может быть присвоен единственному необходимому человеку. Наполеон сначала сделал вид, что сомневается, не будет ли титул штатгальтера более приличным, чем титул императора; и на одной из многочисленных конференций, проведенных на эту тему, Мио де Мелито выступил за сохранение термина консул из-за его величественной республиканской простоты. Но вскоре стало ясно, что термин "император" был единственным, который удовлетворял честолюбию Наполеона и французской любви к великолепию. Соответственно, *консультативный сенат* от 18 мая 1804 года официально присвоил ему титул императора Франции. Что касается его бывших коллег, Камбасереса и Лебрена, они были лишены титулов архи-канцлера и архи-казначея Империи: его брат Жозеф получил титул Великого курфюрста, позаимствованный у Священной Римской империи и странным образом применявшийся к наследственной империи, где был назначен *глава*: Луи получил титул констебля: два других высоких звания, государственного архи-канцлера и верховного адмирала, еще не были исполнены, но были зарезервированы за родственниками Наполеона по браку, Эженом Богарне и Мюратом. Эти шесть высших сановников новой империи должны были быть безответственными и несменяемыми, и вместе с императором они сформировали Большой совет Империи.

На более мелких особей лучи императорской диадемы отбрасывали более слабый отблеск. Дядя Наполеона, кардинал Феш, стал великим раздавальщиком милостыни; Бертье - великим мастером гончих; Талейран - великим камергером; Дюрок - великим маршалом дворца; и Коленкур - магистром конницы, принятие которого, как казалось миру, избличало его в полном соучастии в планах убийства герцога Энгиенского. В остальном мать императора должна была именоваться *мадам Мама*; его сестры стали императорскими высочествами с несколькими заведениями придворных дам; и Париж трепетал от возбуждения при каждом последующем шаге от будущих дворян, цареубийц, генералов и биржевиков к центральной плеяде корсиканской семьи, которая десять лет назад существовала на подаяния единой и неделимой Республики.

Оставалось одержать верх над армией. Использованные средства были в изобилии, по мере того как задача была трудной. Следующие генералы были удостоены звания маршалов империи (19 мая): Бертье, Мюрат, Массена, Ожеро, Ланн, Журдан, Ней, Султ, Брюн, Даву, Бессьер, Монси, Мортье и Бернадотт; два маршальских батона были оставлены в резерве в качестве награды за будущую службу, а четыре генерала в возрасте: Лефевр, Серрюрье, Периньон и Келлерман (герой Вальми) получили звание почетных маршалов. В одной из своих бесед с Редерером император откровенно признался в причинах, побудивших его осыпать этими почестями своих военачальников; это было сделано для того, чтобы обеспечить себе императорское достоинство; ибо как они могли возражать против этого, когда они сами удостоивались столь высоких почестей? ^[308] Признание представляет собой любопытный пример безграничного доверия Наполеона к самым элементарным, чтобы не сказать самым низменным, мотивам человеческого поведения. Офицерам второго ранга были вручены соответствующие награды. Но сразу же было замечено, что решительные и откровенные республиканцы, такие как Суше, Гувийон Сен-Сир и Макдональд, чьи таланты и подвиги намного превосходили таланты многих маршалов, были исключены из их рядов. Сен-Сир находился в Таранто, и Макдональд, после вынужденной дипломатической миссии в Копенгаген, был принят в связи с его отзывом с большой прохладой. ^[309] Другие генералы, которые нанесли оскорбление Тюильри, были более эффективно сломлены сроком дипломатической ссылки. Ланн в Лиссабоне и Брюн в Константинополе немного научились дипломатии и некоторой

уступчивости главе государства, и они снова попали в распоряжение Наполеона. Бернадотта, хотя его всегда подозревали в якобинстве и опасались за непомерные амбиции, возникшие из-за смешения гасконской и мавританской крови в его жилах, теперь также уважали с тем, кто был женат на свояченице Жозефа Бонапарта: он получил из рук Наполеона дом в Париже, который ранее принадлежал Моро: поместье изгнанника Гросбуа, недалеко от Парижа, отошло в награду вечно верному Бертье. Ожеро, наполовину излечившийся от своего якобинства из-за немилости Директории, теперь готовил небольшой французский отряд и ирландских добровольцев в Бресте. Но Великой армией, составлявшей отборную часть французских войск, командовали люди, на которых Наполеон мог полностью положиться, - Даву, Султ и Ней; и в этих великолепных силах ненависть к Англии и гордость за доблесть Наполеона теперь перевешивали все политические соображения.

Эти меры свидетельствуют о поразительной предусмотрительности и осторожности, с которыми Наполеон относился ко всем делам: даже если недовольные генералы и войска протестовали против принятия Империи и судебного преследования Моро, их, должно быть, было легко подавить. В некоторых местах, как, например, в Меце, войска и население возмущались Империей и ее претенциозной пышностью; но действия командиров вскоре восстановили порядок. И так случилось, что даже солдаты, которые все еще дорожили Республикой, не подняли ни одного мушкета, когда была основана Империя, а Моро был обвинен в государственной измене.

Послужной список французских революционных генералов в основном мрачен. Если бы в 1795 году было предсказано, что все те генералы, которые несли триколор к победе, исчезнут или склонят головы перед корсиканцем, пророк быстро прекратил бы свое карканье навсегда. Но реальность была еще хуже. Марсо и Гош погибли в Рейнской области; Клебер и Десо пали в один и тот же день в результате покушения и в бою; Ришпанс, Леклерк и многие другие храбрые офицеры сгнили в Сан-Доминго; Пишегрю умер насильственной смертью в тюрьме; Карно удалился в добровольное изгнание; Массена и Макдональд владели бесславное существование; другие быстро опускались до ранга лакеев; а Моро предстал перед судом по обвинению в государственной измене.

Даже население, ослепленное блеском и опьяненное сенсациями, испытывало некоторые угрызения совести при виде победителя при Гогенлиндене, посаженного на скамью подсудимых; и горе немногих оставшихся в живых из Рейнской армии предвещало беду, если формы правосудия будут слишком строгими. Недавно было отменено судебное разбирательство с участием присяжных по делам, касавшимся жизни Наполеона. Следовательно, заключенный вместе с Жоржем и его сообщниками мог быть безопасно привлечен к ответственности в открытом судебном заседании; и в этом отношении судебный процесс отличался от полуночного военного трибунала Венсенна. Однако ни на одном государственном процессе судьи не подвергались большему официальному давлению с целью добиться вынесения обвинительного приговора.^[310] Перекрестный допрос многочисленных свидетелей доказал, что Моро упорно отказывался от своей помощи в заговоре; и максимум, что можно было выдвинуть против него, это то, что он желал свержения Наполеона, трижды беседовал с Пишегрю и не раскрыл заговор властям. Иными словами, он был виновен в пассивном потворстве успеху заговора, который "добропорядочный гражданин" должен был бы осудить.

По этим причинам судьи приговорили его к двум годам тюремного заключения. Это судебное решение чрезвычайно разозлило Наполеона, который желал использовать свою императорскую прерогативу помилования в отношении жизни Моро, а не просто срока тюремного заключения; и с демонстрацией милосердия, скрывавшей скрытое раздражение, он теперь освободил его при условии, что тот уедет в Соединенные Штаты.^[311] В эту страну свободных людей победитель при Гогенлиндене удалился с достоинством, которое почти скрыло его прошлую неспособность и глупость; и, по крайней мере, в настоящее время люди могут сказать, что конец его политической карьеры был благороднее, чем у Помпея, в то время как поведению Наполеона по отношению к своему сопернику не доставало милосердия, которое украсило триумф Цезаря.

Что касается настоящих заговорщиков, то двадцать из них были приговорены к смертной казни 10 июня, среди них были старший из двух Полиньяков, маркиз де Ривьер, и Жорж Кадудаль. Жозефина и "мадам Мама" предприняли срочные усилия от имени знати, и Наполеон неохотно заменил их приговор тюремным заключением. Но плебей Жорж Кадудаль принял смерть за дело, которое мобилизовало всю неистовую энергию его юности и возмужалости. Вместе с ним погиб храбрейший из бретонцев и последний боец роялистов. С тех пор Наполеона не беспокоили заговорщики-бурбоны; и, несомненно, мастерство, с которым его агенты вынашивали этот глупый заговор и стремились запутать всех колеблющихся, сделало гораздо больше, чем удары гильотины, для обеспечения его будущей неприкосновенности. Люди трепетали перед союзом неизмеримой мощи с непостижимым искусством, напоминавшим о днях императора Тиберия.

Действительно, теперь Наполеон мог бы почти сказать, что его главными врагами были члены его собственной семьи. Вопрос о наследовании престола уже вновь пробудил и обострил все яростные страсти родственников императора. Жозефина увидела в этом роковое затмение развода, приближающегося к ослепительному полю ее новой жизни, и известно, что Наполеон трижды был близок к тому, чтобы решиться на этот шаг. У нее больше не было никаких надежд зачать ребенка; и составитель "Мемуаров" Фуше сообщает, что она ухватилась за это абсурдное изобретение, предполагаемого ребенка, которое Фуше заранее позаботился высмеять. Какой бы ни была правда этого слуха, она, безусловно, использовала всю свою власть над Наполеоном и над своей дочерью Гортензией, супругой Луи Бонапарта, чтобы их сын был признан первым в линии прямого наследования. Но это предложение, отложившее в долгий ящик и Жозефа, и Людовика, вызвало не только горячее негодование старшего брата, который претендовал на роль назначенного преемника, но и вызвало пламя ревности в самом Людовике. Было печально известно, что он подозревал Наполеона в кровосмесительной страсти к Гортензии, доказательством чего злонамеренно служила его привязанность к маленькому Шарлю Наполеону; и предложение, сделанное с дрожащим нетерпением Жозефиной, было отвергнуто Людовиком с грубой жестокостью. На крики Людовика и Жозефа император и Жозефина, казалось, неохотно уступили.

Соответственно, были предложены новые механизмы. Поскольку Люсьен и Жером, по крайней мере на данный момент, оказались вне поля зрения двора из-за своих неудачных браков, Наполеон, казалось, согласился на примирение с Жозефом и Людовиком и расставил их в порядке наследования, как рекомендовал Сенат. Но он по-прежнему оставлял за собой право усыновить сына Людовика и тем самым повысить его шансы на приоритет. Действительно, следует признать, что император в этот трудный кризис проявил супружеский такт и

привязанность, за что не получил должного внимания от сторонников Жозефины. "Как я могу развестись с этой хорошей женой, - сказал он Редереру, - потому что я становлюсь великим?" Но судьба, казалось, распорядилась о разводе, который, несмотря на доводы его братьев, он решительно отложил; ибо маленькому мальчику, на жизнь которого императрица возлагала столько нежных надежд, суждено было оборваться ранней смертью в 1807 году.

Тогда между Наполеоном и Жозефом часто возникали споры. Оба они обладали инстинктом корсиканца в пользу первородства, и до сих пор Наполеон во многих отношениях подчинялся своему старшему брату. Теперь, однако, он ясно показал, что не потерпит ни малейшего вмешательства в государственные дела. И действительно, если не считать дипломатических заслуг Жозефа, он не проявил никаких командирских способностей, которые могли бы вознести его ввысь вместе с ошеломляющим стремительным ростом удачи Наполеона. Один был неудержимым гением, другой - культурным и талантливым человеком, чья главная склонность была к литературе, любовным утехам и искусству *приятного времяпрепровождения*, за исключением тех случаев, когда была задета его гордость: тогда он был способен на вспышки страсти, которые, казалось, действовали даже на его властного второго брата. Люсьен, Луи и даже юный Жером обладали той же несгибаемой гордыней, которая восстала даже против Наполеона. Он был полон решимости, чтобы его братья теперь заняли подчиненное положение, в то время как они считали, что династия во многом обязана своим усилиям при Брюмере или после него, и требовали соразмерного вознаграждения. Наполеон, однако, понимал, что таким образом династия не может быть основана. Как он откровенно сказал Редереру, династия могла прочно пустить корни во Франции только среди наследников, воспитанных во дворце: "Я никогда не смотрел на своих братьев как на естественных наследников власти: я рассматриваю их только как людей, способных противостоять злу меньшинства".

Джозеф был глубоко возмущен таким поведением. Он был принцем империи и великим курфюрстом; но он быстро понял, что это означало не что иное, как время от времени председательствовать в Сенате, и, соответственно, позволял себе небольшие акты сопротивления, которые приводили в ярость самодержца. Желая увезти своего брата из Парижа, император уже рекомендовал ему заняться военной профессией, ибо он не мог включить его в список наследников и поставить под его начало знаменитых маршалов, если тот ничего не знал об армии. Жозеф волей-неволей принял командование полком и в тридцать шесть лет начал учиться строевой подготовке недалеко от Булони.^[312] Однажды это произведение бурлеска оказалось бесконечно прискорбным. После катастрофы при Виттории Наполеон, несомненно, желал, чтобы Жозеф навсегда получил свободу действий на трибуне сената, а не баловался военными делами. Но весной и летом 1804 года император следил за каждым его словом, так что, когда он осмелился предположить, что Жозефина не должна быть коронована на предстоящей коронации, гнев Наполеона выплеснулся наружу. Почему Джозеф должен говорить о *своих* правах и *своих* интересах? Кто завоевал власть? Кто заслуживал наслаждаться властью? Власть была его (Наполеона) любовницей, и он подзадорил Джозефа прикоснуться к ней. Сенат или Государственный совет могут выступать против него в течение десяти лет, и при этом он не станет тираном: "Чтобы сделать меня тираном— необходимо только одно - переселение моей семьи".^[313]

Семья, однако, не двинулась с места. Как и со всеми братьями, кроме Люсьена, Джозеф уступил в критический момент. После угрозы в Государственном совете отказаться от своего Великого электората и удалиться в Германию, если его жена будет вынуждена нести шлейф Жозефины на

коронации, император сообщил ему, что либо он должен вести себя послушно как первый подданный королевства, либо уйти в частную жизнь, либо выступить против — и быть раздавленным. На этот аргумент нельзя было ответить, и Джозеф уступил. Чтобы спасти чувства его самого и его жены, формулировка официальной программы была изменена: она должна была *поддерживать мантию Жозефины, а не нести ее шлейф*.

В делах великих и малых Наполеон отстаивал свою точку зрения. Хотя Редерер долго и искренне умолял о том, чтобы Жозеф и Людовик были следующими после императора в порядке престолонаследия, и включил пункт в отчет, который ему было поручено составить, все же с помощью какой-то искусной уловки этот пункт был изъят из конституционного акта, по которому нации было предложено выразить свое мнение: и Франция согласилась с *плебисцитом* об установлении Империи в семье Наполеона, который передавал Жозефа и Людовика, а также Люсьена и Жерома, и передавал престолонаследие родному или приемному сыну Наполеона, а в наследники мужского пола Джозефа или Луи. Следовательно, у этих принцев не было места для наследования, кроме как в силу *решения сената-консультанта* от 18 мая, которое, правда, дало им законное право, но без дополнительной санкции народного голосования. За новое соглашение было подано более трех с половиной миллионов голосов, что превысило число голосов, отданных за Консульство и Пожизненное консульство. Как обычно, Франция приняла свершившиеся факты.

Юридические и церемониальные вопросы приближались к завершению подготовки к коронации. Между Тюильри и Ватиканом шли переговоры, Наполеон умолял и даже требовал присутствия папы Римского по этому случаю. Пий VII. был встревожен мыслью о коронации убийцы герцога Энгиенского; но он едва ли был хозяином самому себе, и ловкие намеки Наполеона на то, что религия пошла бы на пользу, если бы он присутствовал в Соборе Парижской Богоматери, по-видимому, преодолели его первые сомнения, не говоря уже о том, что у него появилась надежда вернуть север своих Штатов. Его ждало разочарование во многих отношениях. Религия должна была извлечь выгоду только из возросшего престижа, приданного ее обрядам на предстоящей церемонии, а не практическим путем, которого желал папа. И все же для Наполеона было крайне важно получить святой елей и папское благословение, ибо только так он мог надеяться отнять любовь роялистов к их некоронованному и изгнанному королю. Несомненно, это было одной из главных причин восстановления религии Конкордатом, что было пронизательно замечено в то время Лафайетом, который со смехом воскликнул: "Признайтесь, генерал, что ваше главное желание - заполучить маленький пузырек". ^[314] Вылазка вызвала у Первого консула непристойную оговорку, достойную пьяного конюха. Тем не менее маленький флакончик был уже в пути.

Чтобы избавить встречу папы и императора от какой-либо неловкой церемонии, Наполеон устроил так, что она должна была состояться на дороге между Фонтенбло и Немуром, как случайный инцидент посреди дневной охоты. Великодушный старый понтифик полулежал в своей карете, утомленный долгим путешествием по холоду ранней зимы, когда с удивлением увидел свиту своего хозяина. Контраст был разительным во всех отношениях. Фигура императора теперь приобрела полноту, свидетельствующую об изобилии здоровья и силы: его лицо слегка порозовело от охоты и сознания того, что он хозяин положения, а его фигура верхом на коне приобрела достоинство, которое несколько уменьшалось из-за коротких ног, когда он был пешим. Когда он подъехал верхом, одетый в полный охотничий костюм, он мог бы показаться воплощением торжествующей силы. Папа, с другой стороны, одетый в белые

одежды и белые шелковые туфли, производил впечатление мирного доброжелателя, если бы на его интеллектуальных чертах не было следов затянувшихся тревог его понтификата. Император соскочил с коня и двинулся навстречу своему гостю, который, в свою очередь, довольно неохотно опустился в грязь, чтобы обнять его в знак приветствия. Тем временем подъехала карета Наполеона: лакеи держали открытыми обе дверцы, и придворный чиновник вежливо протянул руку Пию VII. к левой двери, в то время как император, войдя через правую, занял почетное место и таким образом раз и навсегда разрешил щекотливый вопрос о социальном превосходстве. ^[315]

Во время пребывания папы в Фонтенбло Жозефина поделилась с ним своим беспокойством по поводу своего брака; поскольку это был всего лишь гражданский договор, она боялась его расторжения и видела во вмешательстве папы шанс на более прочный союз со своим супругом. Понтифик утешил ее и потребовал от Наполеона надлежащей торжественности его бракосочетания; поэтому дядя Наполеона, кардинал Феш, тайно совершил это за два дня до коронации. ^[316]

Однако было недостаточно, чтобы преемник святого Петра почтил коронацию своим присутствием: император стремился тронуть воображение людей, представ в образе преемника Карла Великого. Здесь мы подходим к одному из самых интересных экспериментов современного мира, который, в случае успеха, глубоко изменил бы облик Европы и характер ее государств. Даже в своем провале она свидетельствует о живом воображении Наполеона и безграничных умственных ресурсах. Он стремился быть не просто императором Франции: он хотел превратить свою Империю в космополитическое государство, границы которого могли бы соперничать с границами Священной Римской империи тысячелетней давности, и охватить десятки народов в рамках великого, хорошо организованного европейского государства.

Его владения уже включали миллион немцев в Рейнской области, итальянцев в Пьемонте, Генуе и Ницце, а также савояров, женеццев и бельгийцев. Каким мощным было бы его влияние на царящий в Германии и Италии хаос, если бы эти сильно разделенные народы научились смотреть на него как на преемника славы Карла Великого! И теперь он должен был претендовать на эту честь. Какой бы обманчивой ни была параллель между старым полуплеменным устройством и современными государствами, где народы пробуждались к чувству своей национальности, Наполеон теперь был в состоянии расчистить путь для своего великого эксперимента. У него были два обаяния, с помощью которых он мог работать: материальное процветание и его дар воздействовать на народное воображение. Первое из них уже молча работало в его пользу: второе впервые было опробовано на коронации.

Уже после пребывания в Булони он посетил Экс-ла-Шапель, город, где покоятся мощи Карла Великого и где Виктор Гюго в одном из своих самых возвышенных стихотворений изобразил Карла V коленопреклоненным в молитве, чтобы уловить дух средневекового героя. Туда отправился Наполеон, но отнюдь не в умоляющем настроении; ибо, когда Жозефине предложили кости руки великого покойника, она также с гордостью ответила, что не лишит город этой драгоценной реликвии, тем более что ее поддерживает рука столь же великая, как у Карла Великого. ^[317] Знаки отличия и меч этого монарха были доставлены в Париж и придали церемонии коронации тот исторический блеск, который был необходим, чтобы избавить их от безвкусной обыденности.

Все, что могли сделать деньги и искусство, чтобы придать этому делу помпезность и торжественность, уже было сделано. Советы нового церемониймейстера месье де Сегюра и намеки других дворян, объединившихся на стороне новой империи, были тщательно проанализированы неутомимым умом, который теперь наблюдал за Францией. Сумма в 1 123 000 франков была потрачена на коронационные одежды императора и императрицы, и гораздо больше - на короны и диадемы. Результатом стали костюмы несравненного великолепия; император был облачен во французский камзол из красного бархата, расшитый золотом, короткий плащ, украшенный пчелами, и воротник ордена Почетного легиона, усыпанный бриллиантами; а во дворце архиепископа он облачился в длинную пурпурную мантию из бархата, обильно украшенную горностаем, а его чело окружал лавровый венок, эмблема могущественных завоевателей. В намерении его шпаги сверкал знаменитый бриллиант Питта, который после увеличения семейного состояния британского государственного деятеля перешел к регенту Франции и теперь украшал коронацию ее диктатора. Императрица, сияющая от радости по поводу своего теперь уже нерасторжимого союза, несла свое величие с непринужденной грацией, которая очаровывала всех зрителей и придавала ей почти девичий вид. На ней было платье из белого атласа, отделанное серебром и золотом и усыпанное золотыми пчелами; ее талия и плечи сверкали бриллиантами, а на лбу покоилась диадема из тончайших бриллиантов и жемчуга стоимостью более миллиона франков.^[318] Любопытные, возможно, помнят, что из-за ожерелья стоимостью менее чем в два раза большей светлая слава Марии-Антуанетты была омрачена, а Дом Бурбонов потрясен до основания.

Величественная процессия началась со странного происшествия: Наполеон и Жозефина, очевидно введенные в заблуждение всепроникающим великолепием новой парадной кареты, сели не с той стороны, то есть на места, предназначенные для Жозефа и Людовика: ошибка была немедленно исправлена с некоторым весельем; но суеверные усмотрели в ней дурное предзнаменование.^[319] И теперь, среди большого энтузиазма и гораздо большего любопытства, процессия двинулась по рю Никез и рю Сент—Оноре - улицам, где Бонапарт получил свои шпоры в день Вандемской битвы, — через Пон-Неф, а затем к достопочтенному собору, где папа, продрогший от долгого ожидания, был готов почтить церемонию. Сначала он помазал императора и императрицу святым елеем; затем в подходящем месте во время Мессы благословил их короны, кольца и мантии, произнес традиционные молитвы о даровании добродетелей и сил, которые, по-видимому, олицетворял каждый из них. Но когда он собирался короновать императора, ему мягко отмахнулись, и Наполеон собственными руками короновал себя. По августейшему собранию пробежал трепет - то ли от жалости к чувствам престарелого понтифика, то ли от восхищения "благородной и законной гордостью" великого полководца, который считал всецело своей короной корону, завоеванную его собственной правой рукой. Затем *кортеж* медленно вернулся в середину нефа, где стоял высокий трон.

Еще одно предзнаменование теперь поразило тех, кто придавал значение мелочам. Было замечено, что монархи, поднимаясь по ступеням, чуть не падали назад под тяжестью своих мантий и шлейфов, хотя в случае с Жозефиной тревожный момент, возможно, был вызван небрежностью, случайной или преднамеренной, ее "носительниц мантии". Но для тех, кто заглядывал под поверхность вещей, разве не было всепоглощающим предзнаменованием, что вся эта религиозная пышность исчезнет всего через одиннадцать лет после того, как этот самый неф огласился эхом криков и сиянием факелов поклонников только что возведенной на трон Богини Разума?

Революционные чувства не были полностью умерщвлены, но теперь они выражались лишь в насмешках. В ночь перед коронацией стены Парижа были украшены плакатами, объявляющими: *Последнее представление Французской революции — в пользу бедной корсиканской семьи*. И после этого события посыпались вопросы, почему на новом троне не было золотых желез; ответ предполагал, что это был *санглант*. [320] Дальше этих острот якобинцы и роялисты не пошли. Когда фраза "*ваши подданные*" была публично присвоена Легислатурному корпусу его придворным президентом Фонтанесом, среди тех, кто надеялся, что новая империя будет республиканской, вспыхнул гнев. Но это чувство быстро прошло; и ни один француз, за исключением, возможно, Карно, не выразил такого мужественного протеста, как гениальный человек из Вены, сочинивший "Эротическую симфонию" и с величественной республиканской простотой написавший ее: "Бетховен против Бонапарта". Когда мастер услышал, что его бывший герой получил императорскую корону, он сорвал посвящение, разразившись градом проклятий в адрес отступника и тирана; а в последующие годы он посвятил бессмертное произведение *памяти* великого человека.

ГЛАВА XXI

БУЛОНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

Установление Империи, как уже было замечено, вызвало мало признаков сопротивления со стороны французских армий, некогда известных своим якобинством; и благодаря одному или двум случаям своевременной милости император одержал верх даже над убежденными республиканцами. Примечательно, что это произошло с храбрым и стойким полковником, который, придя в ярость при первом же залпе приветствий Империи, смело приказал "Замолчать в рядах". Наполеон немедленно произвел его в генералы и назначил одним из своих адъютантов; и этот храбрый офицер по имени Мутон позже снискал славу и титул графа де Лобау в Ваграмской кампании. Это были результаты своевременного акта великодушия, который трогает сердца любого солдата и заставляет его проливать свою кровь, как воду. И вот, когда Наполеон после коронации раздал парижскому гарнизону их штандарты, увенчанные теперь императорскими орлами, на большом Марсовом поле царил дикий энтузиазм. Громовые крики, восхвалявшие доблесть нового франкского вождя, были такими же воинственными, как

те, которые когда-либо приветствовали водружение короля Каролингов на щиты его подданных. Далекие народы услышали угрожающий гул и поспешили собрать свои силы для сражения.

Пока только Англия находилась в состоянии войны с императором. Против нее Наполеон теперь готовился пустить в ход всю мощь своей огромной империи. Приготовления на северном побережье были теперь почти завершены, и оставалось решить только один вопрос — как "перепрыгнуть ров". Сейчас нам кажется странным, что не было предпринято никаких попыток использовать великую движущую силу девятнадцатого века — энергию пара. А французские мемуаристы Мармон, Буррьен, Паскье и Боссе выражали свое удивление по поводу того, что такой способный полководец, как Наполеон, пренебрег этим могущественным союзником.

Их критика, похоже, вызвана более поздними размышлениями, а не основана на точном изложении фактов. По правде говоря, Геркулес девятнадцатого века все еще находился в колыбели. Генри Белл в 1800 году экспериментировал с пароходом на реке Клайд; но он вызвал такое же трепетное любопытство, как первый локомотив Тревитика или первая гребная лодка Фултона, построенная на Сене в 1803 году. На самом деле эта лодка великого американского изобретателя была настолько слабой, что, стоя на якоре, она переломилась пополам во время шторма, избавившись таким образом от веса своего громоздкого двигателя. Со свойственной ему энергией Фултон построил более крупное и прочное судно, которое не только перевозило оборудование, но и в августе 1803 года поразило членов Французского института перемещением, хотя и с большой осмотрительностью.

Фултон, однако, был разочарован, и, если мы можем судить по скудным записям о его жизни, он никогда не предлагал это изобретение Наполеону.^[321] Он почувствовал потребность в более совершенном оборудовании, и поскольку его можно было приобрести только в Англии, он отдал заказ бирмингемской фирме, которая построила его первую успешную лодку "Клермон", спущенную на воду на Гудзоне в 1807 году. Если бы не война, возможно, Фултон продолжал бы жить в Париже и предпринял бы там свою третью попытку. Он, конечно, никогда не предлагал свой несовершенный пароход Первому консулу. Вероятно, тот факт, что его первая лодка затонула, стоя на якоре в Сене, обеспечил бы ему грубый прием, если бы он предложил оснастить всю булонскую флотилию изобретением, которое затопило первый резервуар и привело в движение вторую лодку со скоростью улитки.

Кроме того, он уже получил один отпор от Наполеона. Он предложил, сначала Директории, а затем Первому консулу, судно, которое, как он утверждал, "избавит Францию и весь мир от британского гнета".

Это было парусное судно, которое могло погружаться под воду, а затем сбрасывать под вражеский корабль "тушу" с порохом или *торпеду*- еще одно изобретение его плодовитого мозга. Директория сразу же дала ему отпор. Бонапарт поручил Монжу, Лапласу и Волни доложить об этой подводной лодке, которая имела частичный успех. Ему удалось взорвать небольшое судно в гавани Бреста в июле 1801 года; но Комиссия, по-видимому, неблагоприятно отзывалась о его полезности для наступательных целей. По правде говоря, поскольку Фултон тогда не применил движущую силу к этому изобретению, название "погружающаяся лодка" передавало преувеличенное представление о ее функциях, которые больше подходили для жизни в аскетическом созерцании, чем для разрушительной деятельности.

Похоже, что названные выше авторы мемуаров перепутали два различных изобретения Фултона, о которых только что говорилось. Во второй половине 1803 года он отправился в Англию, а затем в Соединенные Штаты, а после 1803 года у него, по-видимому, не было ни желания, ни возможности служить Наполеону. В Англии он предложил свой патент на торпеду английскому адмиралтейству, выразив свою ненависть к французскому императору как к "дикому зверю, на которого следует охотиться". В Англии мало что было сделано с торпедой, за исключением взрыва судна у берегов Уолмера в качестве доказательства того, на что она способна. Любопытно также, что, когда Белл предложил Адмиралтейству свою гребную лодку, оно получило отказ, хотя Нельсон, как говорят, высказался в ее пользу. Официальные умы повсюду враждебны к новым изобретениям; и Мармон многозначительно замечает, что подготовка Бонапарта в качестве артиллериста и его опыт неудобств и расходов, связанных с внедрением изменений в этот род войск, оказали немалое влияние на то, чтобы настроить его против всех нововведений.

Но, чтобы продолжить наше описание Булонской флотилии, может быть интересно привести некоторые до сих пор неопубликованные подробности о плоскодонных лодках, а затем вкратце рассмотреть планы Наполеона по обеспечению временного господства над Ла-Маншем.

Ясно, что поначалу он полагался почти исключительно на флотилию. После одного из своих визитов в Булонь 23 ноября 1803 года он написал адмиралу Гантеуму, что вскоре у него на северном побережье будет 1300 плоскодонных лодок, способных перевозить 100 000 человек, в то время как голландская флотилия перевезет 60 000. "Как вы думаете, это приведет нас к английскому побережью? Восемь часов темноты, которые благоприятствуют нам, решат судьбу вселенной". Нет никаких упоминаний о каком-либо конвоирующем флоте: первый консул, очевидно, полагал, что флотилия сможет отразить любое нападение на море. Это письмо является наглядным доказательством его неспособности, по крайней мере в то время, понимать риски морской войны. Но хотя его точный и логичный ум, по-видимому, был неспособен полностью осознать условия войны в переменчивом, беспокойном и заносимом приливами проливе Ла-Манш, его адмиралы настоятельно предостерегали его от того, чтобы доверять мелководным плоскодонным лодкам в борьбе с врагом в море; ибо, хотя эти *корабли* в своих каботажных походах отражали атаки британских крейсеров, которые не осмеливались заходить на мелководье, из этого не следовало, что они добьются такого же успеха в середине Ла-Манша, вдали от береговых укреплений и среди беспокойных волн, которые должны были лишить противника возможности передвигаться. орудия бескилевых лодок практически бесполезны. ^[320]

Настоящий автор, ознакомившись с отчетами нашего адмирала, дислоцированного в Даунсе, убежден, что наши моряки испытывали крайнее презрение к плоскодонным лодкам, находясь в море. После захвата одного из них английским канонерским бригам адмирал Монтегю сообщил 23 ноября 1803 г.:

"Невозможно ни на мгновение предположить, что с помощью таких жалких инструментов, одинаково плохо рассчитанных на важнейшие элементы морского строя, боя и скорости, может быть произведено что-либо эффективное: при том, что это несчастное судно имеет такой днище, оно не может держаться за ветер, а вынуждено дрейфовать с подветренной стороны, что и стало причиной его захвата; поскольку, оказавшись немного с подветренной стороны Булонского залива, вернуться назад было невозможно, и ему пришлось держать большой курс

на Кале. Что касается боя, то у нее есть одно длинное 18-фунтовое орудие, без казенника или снасти, перемещающееся на затворе, стрелять из которого можно только стволом. 8-фунтовая пушка установлена на корме, но является неперменным атрибутом: так что буквально, если бы одна из наших маленьких лодок подошла к борту, сопротивляться было бы нечему, кроме ружейного огня, и они [*так в оригинале*] попали в руки бедняг, ослабленных морской болезнью, примером чему был захват этой канонерской лодки — солдаты отступили в трюм, неспособные ни к какой энергии или мужественному усилию.... Короче говоря, сэр, эти суда, на мой взгляд, совершенно ничтожны и смехотворны, и поэтому я прихожу к выводу, что численность, собранная в Булони, предназначена для того, чтобы сосредоточить наше внимание на *qui vive* скрыть реальную атаку, планируемую с других точек ".

Судно, вызвавшее презрение нашего адмирала, относилось к не самому маленькому классу: оно имело длину 58-1/3 фута, ширину 14-1/2 фута, осадку 3 фута вперед и 4 фута за кормой: его борта возвышались над водой на 3 фута, а грузоподъемность составляла 35 тонн. Секретные разведданные Адмиралтейства за 1804 и 1805 годы также показывают, что голландские моряки были в равной степени убеждены в немореходности этих судов: адмирал Верхуэлл прямо сказал французскому императору, что, как бы льстецы ни пытались убедить его в целесообразности экспедиции, "ничего, кроме позора, ожидать не приходится". В том же томе (№ 426) содержится отчет о захвате двух французских *шалупов* большего класса у мыса Ла-Хог. Среди заключенных был молодой французский роялист по имени Ла Бурдонне: когда его вынудили поступить на службу к Наполеону по призыву, он предпочел служить в *шалупах* "из-за своей убежденности, что все эти флотилии были не чем иным, как пугалами, и никогда не попытались бы осуществить вторжение, о котором так много говорят и в которое так мало людей действительно верят". Того же мнения придерживался ветеран войны генерал Дюмурье, который, будучи ныне изгнанником в Англии, составил для нашего правительства длинный доклад о предполагаемом вторжении и средствах его пресечения. Донесения наших шпионов также доказывают, что все опытные моряки на Континенте объявили проект Наполеона либо уловкой, либо безрассудным предприятием.

Составитель "Мемуаров" Нея, который, несомненно, был хорошо знаком с мнением этого маршала, командовавшего тогда войсками в Булони, также считал, что флотилия могла служить только гигантским паромом. ^[322] Французские адмиралы все еще лучше осознавали ужасный риск для своих скученных кораблей в бою на море. Они также указали, что разница в размере, осадке и скорости лодок должна привести к рассредоточению флотилии, когда ее части могут стать добычей более мореходных судов противника. Действительно, единственный шанс переправиться без особых потерь, казалось, предоставлялся длительным затишьем, когда британские крейсера были бы беспомощны против объединенной атаки тучи гребных лодок. Риски были бы выше во время тумана, когда скопление лодок может столкнуться, сесть на мель и сбиться с пути. Даже отплытие этой причудливой армады представляло серьезные трудности: выяснилось, что все силы не могли покинуть гавань за один прилив; и поэтому часть флотилии должна была оставаться открытой для британского огня, прежде чем вся масса могла тронуться в путь. По всем этим причинам Брюи, командующий флотилией, и Декре, морской министр, отговорили Наполеона от попытки спуска без поддержки мощного флота прикрытия.

Переписка Наполеона показывает, что к концу 1803 года он отказался от своего первого бессмысленного плана, который привлек его внимание парижских остроумцев, - субрике "Дон Кихот Ламаншский". ^[323] 7 декабря он написал Гантеуму, морскому префекту в Тулоне, призывая

его поторопиться с завершением строительства его девяти линейных кораблей и пяти фрегатов, и набросал планы военно-морской комбинации, которая обещала обеспечить временное командование Ла-Маншем. Из них здесь необходимо привести только два:

1. "Тулонская эскадра отправится 20-го *нивоса* (10 января 1804 г.), прибудет к Кадису (или Лиссабону), найдет там эскадру Рошфора, поплывет дальше, не высаживаясь на берег, между Брестом и Сорлингами, высадится у мыса Ла—Хог и за сорок восемь часов пройдет перед Булонью: оттуда она направится к устью Шельды (там закупит мачты, снасти и все необходимое) - или, возможно, к Шербуру.
2. "Эскадра Рошфора отправится 20-го *нивоса*, достигнет Тулона 20-го *плювиоза*: соединенные эскадры отправятся в *вентоз* и прибудут в *жерминаль* перед Булонью — это довольно поздно. В любом случае Египетская экспедиция прикроет отход тулонской эскадры: все будет устроено так, что *Нельсон* первым отплывет в *Александрию*."

Эти схемы раскрывают как сильные, так и слабые качества Наполеона. Он осознал силу центрального положения, которым пользовалась Франция на своих четырех побережьях; и теперь он продумал все свои действия, как военно-морские, так и политические, чтобы соблазнить Нельсона отойти от Тулона на восток во время сосредоточения французского флота в Ла-Манше; и с этой целью он сообщил военным офицерам в Тулоне, что их пунктом назначения являются Таранто и Морея. Именно этими соображениями он хотел заманить Нельсона в ловушку; с этой целью он послал свои войска в Таранто и продолжал французские интриги на Корфу, в Морея и Египте; именно с этой целью он поручил этому коварному шпиону Мехе сообщить Дрейку, что тулонский флот должен был доставить 40 000 французских солдат в Морея и что Брестский флот с 200 хорошо обученными ирландскими офицерами предназначался исключительно для Ирландии. Но, проявляя непревзойденное коварство, он не учел неопределенности операций, проводимых на море. Игнорируя очевидный факт, что Нельсон блокировал Тулонский флот, а Коллингвуд - Рошфор, он назначил даты их отплытия и соединения, как если бы отдавал приказ о передвижении *армейского* корпуса в Провансе; и эта жажда определенности должна была омрачить его военно-морские планы и преследовать его по пятам тенью катастрофы. ^[324]

План использования Тулонского флота для прикрытия вторжения в Англию был не совсем новым. Еще во времена Де Турвиля был разработан несколько похожий план: французский ла-Маншский и атлантический флоты под командованием этого адмирала должны были вплотную заняться Расселом у острова Уайт, в то время как тулонская эскадра, плывущая на север, должна была собрать французские транспорты у берегов Нормандии для вторжения в Англию. Если бы Наполеон внимательно изучил французскую военно-морскую историю, он бы увидел, что катастрофа при Ла-Хогге была в значительной степени вызвана суровой погодой, которая помешала рандеву и привела к поспешному и опрометчивому изменению первоначальной схемы. Но из всех предметов, по которым он выступал как авторитет, пожалуй, не было ни одного, который он изучал бы столь неадекватно, как военно-морскую стратегию: и все же не было ни одного, где уроки опыта требовалось бы так тщательно принимать близко к сердцу.

Фортуна, казалось, не одобряла военно-морские планы Наполеона, но, возможно, она была не так уж жестока, сорвав их на первых стадиях. Произошли события, которые с самого начала наводили на мысль об отклонении от отмеченных выше комбинаций. В последние дни 1848-1893 годов, услышав, что англичане собираются напасть на Мартинику, он немедленно написал

Гантоому, убеждая его направить тулонскую эскадру под командованием адмирала Латуш-Тревиля для спасения этого важного острова. Командующему войсками Червони следовало сообщить, что экспедиция нацелена на Морею, чтобы шпионы могли сообщить эту новость Нельсону, и из депеш нашего адмирала ясно, что уловка наполовину удалась. Однако, отвлеченный мыслью о том, что французы, в конце концов, могут нацелиться на Ирландию, Нельсон удерживал окрестности Тулона, и его неутомимое рвение удерживало в гавани самого отважного адмирала французского флота, который, несмотря на свой преклонный возраст, вызывал энтузиазм, которого не мог вызвать никто другой.

Ему, несмотря на его нынешнее невезение, Наполеон доверил осуществление плана, датированного 2 июля 1804 года. Латушу было приказано быстро выйти в море со своими десятью линейными кораблями и четырьмя фрегатами, перехватить французский военный корабль в Кадисе, освободить пять линейных кораблей и четыре фрегата, блокированных Коллингвудом в Рошфоре, а затем прочесать Ла-Манш и провести флотилию конвоем через проливы. Журьен де ла Гравьер назвал этот план лучшим из всех планов Наполеона: он позволял кораблям, долгое время находившимся в гавани, совершать лишь короткие океанские переходы и был свободен от сложности более поздних и грандиозных планов.

Но вмешалась судьба и унесла бесстрашного командира худшей из смертей для храброго моряка - смертью от болезни в гавани, где он был заперт врагами своей страны (20 августа).

После этого Вильнев был назначен его преемником, в то время как Миссисси занимал командование в Рошфоре. Выбор Вильнева всегда считался странным; и загадку не разгадывает заявление Наполеона о том, что он считал, что Вильнев на Ниле продемонстрировал свою удачу, спасшись на единственных французских кораблях, уцелевших в той катастрофе. Странная причина: назначить адмирала командующим экспедицией, которая должна была изменить облик мира, только потому, что ему повезло спастись от Нельсона! ^[325]

Теперь Наполеон начал расширять свои планы. Согласно плану от 29 сентября, теперь должны были отправиться три экспедиции; первая должна была обеспечить безопасность французской Вест-Индии; вторая должна была вернуть голландские колонии в этих морях и усилить французские войска, все еще удерживающиеся в части Сан-Доминго; в то время как целью третьей были Западная Африка и остров Святой Елены. Император, очевидно, надеялся ошеломить нас одновременными нападениями в Африке, Америке, а также в азиатских водах. После того, как эти флоты вышли в море в октябре и ноябре 1804 года, Ирландия должна была подвергнуться нападению брестского флота, которым теперь командовал Гантеум. Вырвавшись из рук Корнуоллиса, он должен был скрыться из виду с суши и высадить свои войска в Лох-Суилли. Этими войсками, численностью в 18 000 человек, командовал грозный боец Ожеро; и если бы они были высажены, мировая история могла бы сложиться иначе. Оставив их устраивать революцию в Ирландии, Гантеум должен был направиться к Ла-Маншу, зайти в Шербур за дальнейшими приказами и проследовать в Булонь для конвоирования флотилии через реку: или, если погода помешает этому, что было вероятно в январе, он должен был пройти к Текселу, собрать семь голландских линкоров и транспорты с их 25 000 солдат, прорваться обратно через Ла-Манш и вернуться в Ирландию. Наполеон рассчитывал на полный успех того или иного хода Гантеума: "Независимо от того, имею ли я 30 000 или 40 000 человек в Ирландии, или я нахожусь и в Англии, и в Ирландии, война наша". ^[326]

Возражения против сентябрьской комбинации довольно очевидны. Было крайне маловероятно, что три флота смогут спастись в то время и в том порядке, которые желал Наполеон, или что экипажи, ослабленные долгим пленом в порту, преуспеют в трудных операциях, оказавшись выброшенными в зимние штормы Атлантики и Ла-Манша. Кроме того, успеха можно было добиться только после серьезного распыления французских военно-морских ресурсов; и экспедиции в Вест-Индию следует рассматривать как вызванные в такой же степени колониальной политикой, как и решимостью захватить Англию или Ирландию. ^[327]

Во всяком случае, если целью императора было просто отвлечь нас широко расходящимися атаками, этого, несомненно, можно было достичь, не посылая двадцать шесть линейных кораблей в воды Америки и Африки и не возлагая на Гантеума столь непропорциональный объем работы и опасностей. Таким образом, эту сентябрьскую комбинацию можно считать явно уступающей июльской, которая без распыления французских сил обещала заманить Нельсона в Морею и Египет, в то время как эскадры Тулона и Рошфора двинулись к Булони.

Сентябрьские планы безнадежно провалились. Гантеум не ускользнул от Корнуоллиса и остался взаперти в Бресте. Миссисси сбежал из Рошфора, отплыл в Вест-Индию, где нанес некоторый ущерб, а затем снова отплыл домой. "Он взял пешку и вернулся на свое поле". ^[328] Вильнев выскользнул из Тулона (19 января 1805 г.), в то время как Нельсон укрывался от западных штормов с подветренной стороны Сардинии; но шторм, который обещал восстановить его репутацию удачливого игрока, быстро выявил слабость его кораблей и экипажей.

"Мой флот хорошо выглядел в Тулоне, - писал он Декресу, морскому министру, - но когда разразился шторм, все сразу изменилось. Матросы не привыкли к штормам: они затерялись в массе солдат: они от морской болезни грудami лежали на палубах; управлять кораблями было невозможно: отсюда были сломаны реи и снесены паруса: наши потери были вызваны как неуклюжестью и неопытностью, так и дефектами материалов, доставленных арсеналами". ^[329]

Неопытность и морская болезнь были факторами, которым не нашлось места в расчетах Наполеона; но они вынудили Вильнева вернуться в Тулон для ремонта; и там Нельсон снова напал на него.

Тем временем происходили события, которые, казалось, увеличивали военно-морскую мощь Наполеона и трудности его врагов. 4 января 1805 года он заключил с Испанией договор, который добавил ее военно-морские ресурсы к ресурсам Франции, Голландии и Северной Италии. Причины, приведшие к открытому разрыву между Англией и Испанией, были таковы. Наполеон тайно призвал Испанию выплачивать ему оговоренную сумму в 72 000 000 франков в год (см. стр. 437), и она неохотно согласилась. Это был, конечно, скрытый акт враждебности против Англии; и в конце 1803 года испанское правительство было предупреждено, что, если эта субсидия будет продолжать выплачиваться Франции, она станет "в любой будущий период, когда обстоятельства могут сделать это необходимым, справедливым поводом для войны" между Англией и Испанией. Далекий от выполнения этого разумного требования, испанский двор уступил властному приказу Наполеона отремонтировать пять французских военных кораблей, укрывшихся в Ферроле от наших крейсеров, и в июле 1804 года разрешил французским морякам отправиться туда по суше для пополнения экипажей этих судов. Таким образом, в течение нескольких месяцев нашим военным кораблям приходилось наблюдать за Ферролем, как за враждебным портом.

Очевидно, что такое положение вещей не могло продолжаться; и когда протесты нашего посла в Мадриде упорно игнорировались, в сентябре месяце ему было приказано покинуть эту столицу, если он не получит удовлетворительных гарантий. Он уехал только 10 ноября, а до этого времени произошло зловещее событие. Британское министерство решило, что испанским кораблям с сокровищами из Южной Америки не следует позволять высаживаться в Кадисе, где Франция ведет войну, и направило нашим эскадрам приказ остановить эти корабли. Для этой цели были выделены четыре фрегата. 5 октября они заметили четыре испанских фрегата меньших размеров, на борту которых были слитки Перу, и потребовали от них сдаться, после чего передать их в залог. Испанцы, благородно решив уступить только превосходящей силе, отказались; и в последовавшем бою один из их кораблей взорвался, после чего остальные спустили свои флаги и были доставлены в Англию. Возмущенная этим действием, Испания объявила войну 12 декабря 1804 года.

Если отбросить всю парадигму, которой французские историки окружили этот инцидент, то основные факты таковы. Наполеон вынудил Испанию угрозой вторжения выплатить ему крупную субсидию: Англия объявила эту выплату и сопутствующие действия военными действиями; Испания с трудом лавировала между двумя воюющими сторонами, но продолжала поставлять средства Наполеону, а также укрывать и ремонтировать его военные корабли; вслед за этим Англия решила прекратить свои американские субсидии, но послала слишком небольшие силы, чтобы исключить возможность морского сражения; сражение состоялось с плачевным результатом, который превратил скрытую враждебность Испании в активную.

Общественное мнение и популярные нарративы, однако, формируются чувствами, а не основаны на фактических данных; соответственно, престиж Великобритании пострадал от этого события. Факты, о которых сообщалось в настоящее время, казалось, изобличали ее в акте пиратства; и мало кто на Континенте или среди вигистских кругов Вестминстера потрудился выяснить, не была ли Испания виновна в актах враждебности и не был ли французский император инициатором новой войны. Несомненно, именно его угрожающее давление на Испанию вынудило ее к недавним действиям: но это давление было по большей части завуалировано дипломатией, в то время как ответная реакция Великобритании была очевидной и печально известной. Следовательно, каждая версия этого инцидента, основанная только на газетных сообщениях, осуждала ее поведение как жестокое пиратство; и только те, кто покопался в архивах, обнаружили реальные факты этого дела.^[330] Письмо Наполеона королю Испании, процитированное на стр. 437, показывает, что еще до войны он пытался втянуть его в военные действия с Англией и продолжал оказывать безжалостное давление на Мадридский двор; это оставляло перед Англией две альтернативы: либо увидеть, как Наполеон укрепит свою власть над Испанией и воспользуется ее военно-морскими ресурсами, когда она будет полностью готова к войне, либо ускорить разрыв. Это была альтернатива, с *соответствующими изменениями*, представленная Георгу III. и Питт-старший в 1761 году, когда король был за отсрочку, а его министр - за войну немедленно. Этот случай доказал дальновидность отца, и теперь, в конце 1804 года, младший Питт мог льстить себе надеждой, что открытая война лучше, чем вероломный мир.

Вместо субсидии Испания теперь обещала предоставить от двадцати пяти до двадцати девяти линейных кораблей и подготовить их к концу марта. Со своей стороны, Наполеон согласился гарантировать целостность испанских владений и вернуть ей Тринидад. Продолжение покажет, как было сдержано его слово.

Заключение этого союза поставило враждебные военно-морские силы почти в равное положение, по крайней мере на бумаге. Но, поскольку оснащение испанского флота шло очень медленно, Наполеон пока придерживался своего плана от сентября 1804 года, с уже детализированным результатом. Только 2 марта 1805 года мы находим влияние испанского союза заметным в его военно-морских планах. В этот день он отдал приказы Вильневу и Гантеуму, которые возлагали на последнего большую часть инициативы, а также на главное командование после их предполагаемого соединения. Гантеом с брестским флотом, ускользнув от блокадников, должен был сначала проследовать в Ферроль, захватить британские корабли в этом порту и, подкрепленный французскими и испанскими кораблями, стоящими там на якоре, проследовать через Атлантику к назначенному месту встречи на Мартинике. Тулонская эскадра под командованием Вильнева должна была в то же время направиться в Кадис и, собрав испанские корабли, отплыть в Вест-Индию. Затем армада должна была со всей скоростью вернуться в Булонь, куда Наполеон ожидал ее прибытия между 10 июня и 10 июля.^[331]

По поводу этой последней и величайшей из военно-морских комбинаций Наполеона были высказаны различные суждения. С одной стороны, утверждается, что, поскольку французский флот не участвовал в боевых действиях, было необходимо длительное плавание, чтобы набраться опыта и эффективности, прежде чем дело дошло до столкновения в Дуврском проливе; и поскольку Британия и Франция рассматривали свои острова в Вест-Индии как наиболее ценные владения, путешествие туда наверняка привлекло бы британские паруса в нетерпеливом преследовании. Наконец, эти острова, разбросанные на тысячу миль в море, представляли собой лабиринт, в котором французам было бы легко ускользнуть от крейсеров Нельсона.

С другой стороны, можно утверждать, что успех плана зависел от слишком многих *"если"*. Предполагая, что Тулонская и Брестская эскадры избежали блокады, об их последующих передвижениях, скорее всего, сообщил бы какой-нибудь быстроходный фрегат у Гибралтара или Ферроля. Вероятность того, что мы разгадаем планы французов, была, несомненно, столь же велика, как и то, что Гантеом и Вильнев объединятся в Вест-Индии, опустошат британские владения и вернуться с неизменными силами. Английский флот после долгих месяцев блокады был искусен в разведке; их фланги с легкостью покрывали обширное пространство, их фрегаты быстро передавали новости на флагманский корабль, и их сосредоточение было быстрым и решительным. Быстро замечая каждое переменчивое дуновение ветра, они приказали своим врагам догнать их, когда погоня началась всерьез, а когда завязалась битва, численность мало что значила: английским экипажам, привыкшим к сражениям на океане, можно было доверять, что они сокрушат врага своим превосходным опытом и дисциплиной, которым, как и французам сейчас, мешали неуклюжие и неисправные военные корабли Испании.

Наполеон, действительно, явно недооценивал вероятность провала своего окончательного замысла - захвата Ла-Манша. Предполагаемые цели экспедиции были колониальными. Французские флоты должны были принять на борт 11 908 солдат, из которых три четверти предназначались для Вест-Индии; и, на случай, если Гантеум не присоединится к Вильневу на Мартинике, последнему было приказано, выждав сорок дней, отправиться на Канарские острова, чтобы перехватить там английские конвои, направляющиеся в Бразилию и Ост-Индию.

Переписка Наполеона весной и летом 1805 года представляет собой обильное подтверждение идей и планов, которые проносились в его голове. Основав новую империю, он отправился в

Пьемонт, оттуда в Милан на свою коронацию в качестве короля Италии и, наконец, в Геную. За это трехмесячное отсутствие в Париже (апрель-июль) многие длинные письма Декре свидетельствуют о смене его надежд и страхов. Теперь он всегда помнит о возможности неудачи: его письма больше не дышат грубой уверенностью 1803 года, и, сталкиваясь с вероятностью неудачи в Вест-Индии, его мысли возвращаются к Востоку:

"Согласно всем новостям, которые я получаю, пять или шесть тысяч человек в [Ост] Индии погубили бы Английскую компанию. Предположим, что наша экспедиция в [Западную] Индию не будет полностью успешной, и я не смогу достичь грандиозного завершения, которое уничтожит все остальное, я думаю, мы должны организовать экспедицию в [Восточную] Индию на сентябрь. Сейчас у нас для этого больше ресурсов, чем некоторое время назад". ^[332]

Как непоколебима его воля! Здесь он возвращается к плану, разработанному перед отплытием Декена в Ост-Индию в марте 1803 года. Даже перспективы создания континентальной коалиции не в состоянии развеять эту великолепную мечту. Но среди многого призрачного мы можем различить этот элемент практичности: на случай, если удар по Англии не достигнет цели, Наполеон предусмотрел для себя великолепную альтернативу, которая прогонит все мысли о неудаче.

Нет необходимости перечислять здесь хорошо известные подробности плавания Вильнева и преследования Нельсона. Тулонский и Кадисский флоты ушли в Вест-Индию, и, бросив последний взгляд на Восток, Нельсон пустился в погоню. 4 июня враждебные флоты разделяло всего сто миль морского пространства; и Вильнев, находясь у берегов Антигуа, услышав, что Нельсон так близко, решил немедленно вернуться в Европу. Высадив большую часть своих войск и захватив флот из четырнадцати британских торговых судов, он отплыл в Ферроль во исполнение приказа, только что полученного от Наполеона, который предписывал ему собрать пятнадцать кораблей союзников в этом порту и продвигаться к Бресту, где он должен освободить Гантеум.

В этой гигантской военной игре, где Атлантика была шахматной доской, а призом - мировая империя, шансы на этот раз были удивительно равны. Фортуна была благосклонна к Вильневу, но остановила Гантеума. Вильнев успешно ускользнул от Нельсона в Вест-Индии, но в конечном счете преследователь разгадал план врага по возвращению в Европу и послал быстроходный бриг предупредить Адмиралтейство, которое, таким образом, было проинформировано о точном положении дел 8 июля, то есть за двенадцать дней до того, как сам Наполеон узнал о положении дел. 20 июля французский император услышал *из английских газет*, что его флот отправляется в обратный путь: и его сердце сильно забилося от надежды, что Вильнев сейчас соберет свои эскадры в Бискайском заливе и появится перед Булонью с превосходящими силами; ибо он утверждал, что, даже если Вильнев будет держаться подальше от Бреста и оставит блокадников лицом к лицу, у него все равно будет по крайней мере на шестнадцать кораблей больше, чем у любой силы, которая может быть выставлена против него.

Но теперь Наполеон совершал ошибку, за которую он так часто порицал своих подчиненных. Он "рисовал себе картины", картины, на которых отблески удачи предназначались трехцветному флагу, а мрак и катастрофа окутывали Юнион Джек; он воображал, что Нельсон направился к Ямайке, а британские эскадры преследовали призрачные французские флоты вокруг Ирландии или в Ост-Индии. "Мы не должны иметь дело, - сказал он, - с дальновидным, но очень гордым правительством".

На самом деле Нельсон приближался к берегам Португалии, Корнуоллис получил подкрепление так быстро, что вывел двадцать восемь линейных кораблей у Бреста, в то время как Колдер ждал Вильнева у мыса Финистерре с флотом из пятнадцати линейных кораблей. Таким образом, когда Вильнев приблизился к северо-западу Испании, его двадцати линейным кораблям противостояла сила, которую он не мог ни одолеть, ни стряхнуть с себя. Бой 22 июля, состоявшийся в густом тумане, был неблагоприятным для союзников, два линейных испанских корабля перешли под знамена Кальдера до того, как сгущающийся туман и мрак ночи разделили сражающихся: в следующие два дня Вильнев пытался подойти к ним вплотную, но Кальдер уклонился; после этого французы, не имея возможности добраться до Ферроля, направились в Виго, в то время как Кальдер, не зная об их положении, присоединился к Корнуоллису у Бреста. Это отступление британского адмирала привело его к военному трибуналу, и в Лондоне воцарился ужас, когда стало известно, что Вильнев находится на испанском побережье без охраны; но страх был напрасным; хотя французскому адмиралу удалось собрать эскадру Ферроля, все же, поскольку ему было приказано избегать Ферроля, он зашел в Ла-Корунью, а 15 августа решил отплыть в Кадис.

Чтобы осознать огромную важность этого решения, мы должны представить себе положение дел непосредственно перед этим временем.

Нельсон, задержанный встречным ветром и преследуемый временным невезением, направился к Гибралтару, откуда, обнаружив, что ни один французский корабль не проходил пролив, он в горячей спешке повернул обратно на север, и есть явное доказательство того, что его быстрое возвращение к берегам Испании вызвало тревогу в официальных кругах Парижа. "Это неожиданное объединение сил, несомненно, делает в настоящее время неосуществимыми все планы вторжения", - писал Талейран Наполеону 2 августа 1805 года. ^[333] Пропустив Вильнева у Ферроля, Нельсон присоединился к Корнуоллису у Ушанта в тот самый день, когда французский адмирал решил направиться в Кадис. Перейдя в Портсмут, герой теперь наслаждался несколькими днями заслуженного отдыха, пока нация не призвала его к последнему усилию.

Тем временем 3 августа Наполеон прибыл в Булонь, где произвел смотр шеренге солдат длиной в девять миль. Это зрелище вполне могло пробудить в нем надежду на уверенную победу. У него были основания надеяться, что Вильнев скоро окажется в Ла-Манше. Только 8 августа он получил известие о бое с Колдером и постарался преподнести это как поражение англичан. Поэтому он надеялся, что в духе его приказов Вильневу от 26 июля этот адмирал отправится в Кадис, соберет другие французские и испанские корабли и вернется в Ферроль и Брест с могучими силами численностью около шестидесяти линейных кораблей:

"Я рассчитываю на ваше рвение к службе мне, на вашу любовь к отечеству, на вашу ненависть к этой Силе, которая на протяжении сорока поколений угнетала нас, и которую небольшая смелость и настойчивость с вашей стороны навсегда низведет до уровня малых Держав: 150 000 солдат ... экипажи в полном составе погружены на 2000 судов флотилии, которые, несмотря на английские крейсера, образуют длинную линию бортовых залпов от Этапля до мыса Гризнез. Ваше путешествие, и только оно, делает нас, без всякого сомнения, хозяевами Англии".

Австрия и Россия уже собирали свои силы для войны Третьей коалиции. И все же, несмотря на угрозу со стороны тех Держав, которым он недавно предлагал самые вопиющие провокации, этот удивительный человек был нацелен только на разрушение Англии и втайне высмеивал их

приготовления. "Вам не нужно, - так он писал Евгению, вице-королю Италии, - опровергать газетные слухи о войне, но высмеивать их.... Действия Австрии, вероятно, являются результатом страха ". Таким образом, даже когда восточный горизонт угрожающе заволочло тучами, он продолжал мерить шагами Булонские утесы или беспокойно скакать галопом вдоль берега, устремляя взгляд на запад, чтобы увидеть первый проблеск своей армады. Этому горизонту никогда не суждено было появиться парусам Вильнева: в это время они были свернуты в гавани Кадиса.

Вильневу были нанесены неизмеримые оскорбления за его отступление в эту гавань. Но следует помнить, что в обоих последних приказах Наполеона, отданных ему 16 и 26 июля, от него требовалось отплыть в Кадис на определенных условиях. В первом приказе, предписывавшем альтернативные способы овладения Ла-Маншем, этот шаг рекомендовался исключительно как последняя альтернатива на случай несчастья: ему предписывалось не входить в длинный и труднодоступный залив Ферроль, а, собрав там эскадру, бросить якорь в Кадисе. В приказе от 26 июля ему было категорически предписано отправиться в Кадис: "Мое намерение состоит в том, чтобы вы собрали в Кадисе испанские корабли, высадили своих больных и, не задерживаясь там более четырех дней, снова отправились в плавание, вернулись в Ферроль и т.д." Вильнев, похоже, не получил этих последних приказов, но он ссылается на приказ от 16 июля.^[334]

Таким образом, это, вероятно, были последние инструкции, которые он получил от Наполеона перед отплытием с дорог Ла-Коруны 13 августа. Таким образом, порицания, вынесенные ему при отступлении в Кадис, основаны на предположении, что он получил инструкции, которых не получал.^[335] Он явно основывал свой переход к Кадису на приказах Наполеона от 16 июля. Неудачи, которые император тогда рассматривал как необходимость такого шага, по мнению Вильнева, действительно произошли. Адмирал обдумал сражение 22 июля *делом малореза*; его корабли были забиты больными; они работали плохо; 15 августа северо-восточный шторм снес топ-мачту испанского корабля; и, услышав от датского торгового судна новость — ложную новость, как выяснилось впоследствии, — что Корнуоллис с двадцатью пятью кораблями находится к северу, он повернул и понесся против ветра. Он не мог предвидеть катастрофического влияния своего поведения на план вторжения. Он не знал, что его хозяин уже тогда начал колебаться между нападением на Лондон или кампанией на Дунае и что событиям следующих нескольких дней суждено было перевернуть судьбы мира. Несомненно, ему следовало пренебречь словами императора о Кадисе и пробиваться к Бресту, как предписывали его более ранние и более широкие приказы. Но инструкции императора указывали на Кадис как на место встречи на случай несчастья или больших трудностей. На самом деле, Наполеон 26 июля приказал эскадре Рошфора *встретить Вильнева в Кадисе*; и ясно, что к этому сроку Наполеон принял решение об этом месте встречи, очевидно, потому, что в него было легче проникнуть и очистить территорию, чем в Ферроль, и оно было в большей безопасности от нападения. Но так случилось, что эскадра Рошфора уже вышла в море и в течение нескольких недель не видела ни врага, ни друга.

Таковы риски морской войны, в которой даже величайшие гении порой действовали ощупью, но вслепую. Нельсон не побоялся признаться в правде. Французский император, однако, похоже, никогда не делал признаний, которые опровергли бы его притязания на стратегическую непогрешимость. Даже сейчас, когда было доказано, что испанские корабли мешают "энтерпрайзу", он упорно продолжал просто подсчитывать количество и утверждать, что

Вильнев все еще может нейтрализовать силы Колдера и Корнуоллиса. Эти надежды он лелеял вплоть до 23 августа, когда, как будет показано в следующей главе, ему предстояло столкнуться лицом к лицу с Австрией. Его морской министр, который более верно оценил трудности всех частей военно-морского предприятия, продолжал серьезно предупреждать его об ужасном риске обременения кораблей Вильнева немореходными испанскими кораблями и о доверии этой разношерстной армаде прикрывать вторжение теперь, когда их враги разгадали его тайну. Император горько упрекнул своего министра за робость и в присутствии Дару, генерала-интенданта армии, произнес драматический монолог против Вильнева за нарушение им приказов: "Что за флот! Какой адмирал! Какие жертвы ни за что! Мои надежды рухнули — Дару, садись и пиши", - после чего, как говорят, он изложил планы кампании, которая должна была завершиться под Ульмом и Аустерлицем. ^[336]

Часто задавался вопрос, всерьез ли Наполеон намеревался вторгнуться в Англию. Конечно, опытные моряки Англии, Франции и Голландии, за немногими исключениями, заявили, что плоскодонные лодки непригодны для плавания и что если они будут встречены в море нашими кораблями, произойдет ужасная катастрофа. Если далее вспомнить, что наше побережье защищали батареи и башни Мартелло, что несколько сотен катеров и гребных шлюпок были готовы атаковать флотилию до того, как она смогла попытаться выгрузить лошадей, артиллерию и припасы, и что 180 000 регулярных войск и ополченцев при поддержке 400 000 добровольцев были готовы защищать нашу землю, трудности даже при взятии Лондона станут очевидными. И взятие столицы не решило бы исход состязания. Наполеон, похоже, так и думал. Во время своего путешествия на остров Святой Елены он сказал: "Я все поставил на карту; я не входил в расчеты относительно того, каким образом я должен был вернуться; я во всем полагался на впечатление, которое произвела бы оккупация столицы". ^[337] — Но, как было показано выше (стр. 441), были тайно составлены планы переезда двора и национального достояния в Вустер; пушки Вулвича должны были быть отправлены в Мидленд по каналу; и наши военные власти рассчитывали, что систематический вывоз провизии и запасов из всех районов, которым угрожал враг, истощит его задолго до того, как он сможет вернуться. захватили родные графства. Кроме того, вторжение было спланировано тогда, когда британская военно-морская мощь была просто обойдена, а не завоевана. Нельсон, Корнуоллис и Колдер не будут вечно гоняться за призрачными флотами; они наверняка вернутся и отрежут Наполеона от его базы, моря.

Опять же, если Наполеон был настроен исключительно на вторжение в Англию, то почему он в июне 1805 года нанес России и Австрии столь беспричинное оскорбление, как аннексия Лигурийской республики? Он, должно быть, знал, что этот поступок подтолкнет их к войне. Тьер считает аннексию Генуи "серьезной ошибкой" в политике императора, но многие сомневаются, что Наполеон не хотел, чтобы Генуя стала воротами, ведущими на новую аллею славы, теперь, когда успех его военно-морских операций был сомнителен. Марбо выражает общее мнение военных кругов, когда говорит, что император хотел спровоцировать континентальную войну, чтобы избежать насмешек, которые в противном случае вызвал бы провал его булонских планов. "Новая коалиция появилась как раз в нужный момент, чтобы вытащить его из досадной ситуации". Составитель "Мемуаров" Фуше, которые, хотя и не являются подлинными, могут быть приняты как в целом правильные, придерживался той же точки зрения. Он приписывает Наполеону примечательные слова: "Я могу потерпеть неудачу на море, но не на суше; кроме того, я смогу нанести удар прежде, чем будут готовы машины старой коалиции: у королей нет ни активности, ни решительности характера: я не боюсь старой Европы". Император также отметил

Государственному совету, что расходы на все приготовления в Булони были полностью оправданы тем фактом, что они дали ему "полное двадцатидневное преимущество над всеми врагами.... Нужно было найти предлог, чтобы поднять войска и свести их вместе, не встревожив Континентальные державы: и этот предлог был предоставлен мне планируемым нападением на Англию". ^[338]

Также вполне возможно, что его целью была Ирландия в той же степени, что и Англия. Это определено было в плане сентября 1804 года: и, несомненно, это все еще занимало видное место в его сознании, за исключением тех нескольких дней, когда он представлял себе побежденного Колдера и Нельсона, прочесывающего Вест-Индию. Затем он, несомненно, устремил свой взор исключительно на Лондон. Но есть много косвенных свидетельств, указывающих на то, что Ирландия составляла, по крайней мере, очень важную часть его плана. И Нельсон, и Коллингвуд считали, что он нацелился на Ирландию. ^[339]

Но на самом деле Наполеон часто непостижим. В этом большая часть очарования исследований Наполеона. Он одновременно Ахилл, Меркурий и Протей современного мира. Легкость, с которой его ум схватывал все проблемы и внезапно концентрировал свои силы на каком-то новом плане, вполне может озадачить потомков так же, как это ошеломяло его современников. Если бы мы имели дело с любым другим человеком, кроме Наполеона, мы могли бы с уверенностью сказать, что вторжение в Англию до того, как было обеспечено господство на море, было бесконечно менее вероятно, чем нападение на Ирландию. Высадка *там* армейского корпуса спровоцировала бы революцию, и британское господство исчезло бы через неделю. Даже если бы Нельсон вернулся и покорил моря, Ирландия была бы потеряна для Соединенного Королевства; и Британия, истощенная также расходами, которые булонские приготовления вынудили ее пойти на защиту Лондона, должна была уступить.

Если когда-либо Наполеон намеревался рискнуть всем своим состоянием ради завоевания Англии, то можно доказать, что его разум постепенно очищался от иллюзий. Он верил, что народное восстание свергнет британское правительство: народ и правители продемонстрировали согласие, которого не было со времен правления королевы Анны. На короткое время он поверил, что флотилия может сражаться с морскими судами в открытом море: обратное было доказано до конца. Наконец, он верил, что Вильнев, обремененный испанскими кораблями, перехитрит Нельсона!

Что же тогда оставалось после этих и многих других разочарований? Несомненно, только этот план был осуществим, в котором господство на море было лишь второстепенным фактором. Для завоевания Англии это было важным фактором. Только в Ирландии Наполеон мог найти условия, на которые он рассчитывал для успеха — недовольное население, которое устремилось бы к "французским орлам", и поле боя, где простая высадка 20 000 ветеранов решила бы исход кампании. ^[340]

И все же в целом несомненно, что его экспедиция в Ирландию имела целью просто отвлечь и парализовать защитников Великобритании, пока он наносил главный удар по Лондону. Инстинкт и убежденность в равной степени побуждали его совершать впечатляющие маневры, которые должны были заставить его врага обнажить свое сердце, а это сердце было нашим великим капиталом. Его неукротимая воля презирала слово *невозможно* - "слово, которое можно найти только в словаре дураков"; он считал Англию единственной преградой на пути своих амбиций; и чтобы сокрушить ее могущество, он был готов бросить вызов не только ее

самым отважным морякам, но и ее ангелам-хранителям, ветрам и штормам. И этот человек, и событие были уникальными в мировой истории, и о них нельзя судить в соответствии с банальными вероятностями. Ибо на карту была поставлена его честь. Он был так твердо намерен воспользоваться обширными приготовлениями в своих северных портах, что, если бы все его сложные планы сработали гладко, он, несомненно, предпринял бы попытку прорыва в Лондон; и только после какого-нибудь подходящего предложения он мог согласиться отказаться от этой авантюры.

Теперь оправдание было предоставлено отступлением Вильнева в Кадис; и общественное мнение, не знавшее последних инструкций Наполеона по этому вопросу и знавшее только основные факты дела, возложило на этого незадачливого адмирала всю тяжесть вины за провал плана вторжения. Не теряя самообладания и предвкушая определенные триумфы, Наполеон соответственно направил свои легионы на восток, чтобы осуществить эту заманчивую альтернативу - завоевание Англии через Континент.

ПРИЛОЖЕНИЕ

[Два следующих государственных документа никогда ранее не публиковались]

№ I. - депеша от мистера Торнтона, нашего *временного поверенного в делах* в Вашингтоне, относительно ожидаемой передачи обширной области Луизиана от Испании Франции (см. Главу xv настоящего тома).

[В "F O.", Америка, № 35.]

"ВАШИНГТОН,

26 января 1802 года.

"МОЙ ГОСПОДИН,

" ... Около четырех лет назад, когда впервые распространился слух о передаче Луизианы Франции, я передал в руки мистера Пикеринга для ознакомления депешу, написанную мистером Фоше около 1794 года, которая вместе со многими другими была перехвачена одним из кораблей Его величества. В этом документе французский министр убеждал свое правительство в абсолютной необходимости приобретения Луизианы или какой-либо территории поблизости от Соединенных Штатов, чтобы получить постоянное влияние в стране, и он ссылался на мемориал, написанный несколькими годами ранее графом дю Мутье с той же целью, когда он работал посланником Его Христианнейшего Величества в Соединенных Штатах. Таким образом, проект, по-видимому, долго вынашивался французским правительством, и, возможно, нет более благоприятного периода, чем нынешний, для приведения его в исполнение.

"Когда я засвидетельствовал свое почтение вице-президенту мистеру Берру по его прибытии в это место, он по собственной воле перевел разговор на эту тему. Он признался, что косвенно приложил некоторые усилия, чтобы выяснить истинность этого сообщения, и подумал, что у него есть основания верить ему. Он, по-видимому, думал, что большое вооружение, предназначенное Францией для Сан-Доминго, преследовало именно эту скрытую цель, и выразил большое опасение, что передача и колонизация Луизианы были задуманы ею с согласия или молчаливого согласия^s правительства^t. Для меня было невозможно высказать какое-либо мнение по поводу этой части меры, которая, какой бы ни была ее конечная цель, на первый взгляд не представляет ничего, кроме опасности для трансатлантических владений Его величества^s.

[стр.i510]

"Что касается только цели Франции приобрести преобладающее влияние в советах Соединенных Штатов, то можно весьма усомниться в том, рассчитаны ли владение Луизианой и средства, которые она предпочла бы использовать, на достижение этой цели. Опыт, по-видимому, теперь подтвердил мнение, что, если бы провинции Канады были возвращены Франции по Парижскому миру и если бы с этой стороны ей было предоставлено наступать на американскую границу, беспокоить внешние поселения и вмешиваться в междоусобицы индейских племен, колонии все еще могли бы сохранить свою верность метрополии и сохранить справедливую зависть к той системе вторжения, которая была принята Францией с начала прошлого столетия. Нынешний проект - всего лишь продолжение той же системы; и ни ее власть, ни ее нынешний темперамент не оставляют места для ожидания, что она будет заниматься им с меньшим рвением или большей умеренностью, чем раньше. Поэтому, независимо от того, попытается ли она ограничить судоходство по Миссисипи или свободу порта Новый Орлеан; будет ли она давить на Западные штаты с какой-либо целью завоевания или соблазнит их своими принципами братства (к которым они действительно хорошо

подготовлены), она должна безошибочно оттолкнуть Атлантические штаты и принудить их к более тесным отношениям с Великобританией.

"Я едва ли встречал человека, к какой бы партии он себя ни причислял, который не страшился бы этого события и который не предпочел бы французам почти никаких соседей: и кажется совершенным безумием в администрации этой страны, что они используют настоящий момент для того, чтобы оставить эту границу почти беззащитной за счет сокращения ее военной базы.

"У меня есть" и т.д.,

" [Подпись] ЭДВАРД ТОРНТОН".

№ II - это отчет в "Ф.О.", Франция, № 71, одного из наших шпионов в Париже о действиях там ирландских изгнанников, особенно О'Коннора, которого Наполеон назначил дивизионным генералом в армии маршала Ожеро, которая в то время собиралась в Бресте для похода в Ирландию. После заявления о назначении О'Коннора отчет продолжается:

"Около восьмидесяти ирландцев были отправлены в Морле для формирования офицерской роты и обучения тому, как они должны дисциплинировать и инструктировать своих соотечественников, когда те высадятся в Ирландии. Ими командует Макши, генерал бригады. Я полагаю, что он и Блэкуэлл - единственные среди них сколько-нибудь значимые люди, которые видели настоящую службу. Брат Эммета и Макдональд, которые завидовали вниманию, уделяемому О'Коннору, не пошли бы на

Morlaix. Их уговорили отправиться в Брест ближе к концу мая и там присоединиться к генералу Гумберту. Комендант Далтон, молодой человек ирландского происхождения, недавно назначенный на должность в армии в Булони, переводил все сообщения между О'Коннором и Военным министерством в Париже. Как сообщается, в Париже нет Ирландского комитета. О'Коннор и генерал Хартри, старый ирландец, долгое время находившийся на французской службе, являются единственными лицами, к которым обратилось французское правительство: О'Коннор - для участия в экспедиции, а Хартри - в полиции ирландцев во Франции.

"О'Коннор, хотя он давно пытался добиться аудиенции у Бонапарта, никогда не видел его до 20 мая [1805 г.], когда он был представлен ему на дамбе маршалом Ожеро. Император и императрица сделали ему комплимент по поводу его одежды и военной выправки, и Бонапарт сказал ему: *Будь со мной по-особому вежлив по утрам.* О'Коннор пошел и пробыл с ним наедине около двух часов. В тот день Бонапарт не сказал ему ни слова о своих намерениях в отношении Англии; весь их разговор касался Ирландии. О'Коннор снова был с ним в четверг и следующую пятницу. Эти три аудиенции - все, что О'Коннор когда-либо имел наедине с Бонапартом.

"Он сказал мне в субботу вечером, что на следующее утро должен отправиться ко двору, чтобы публично проститься с императором и покинуть Париж, как только получит 10 000 ливров, которые Марет должна была дать ему на дорожные расходы и т.д., И которые он должен был получить через день или два. Его лошади и все слуги, кроме одного, некоторое время назад отправились в Брест.

"Bonaparte told O'Connor, when speaking of the prospect of a continental War, 'la Russie peut-être pourroit envoyer cette année 100,000 hommes contre la France, mais j'ai pour cela assez de monde à ma disposition: je ferois même marcher, s'il le faut, une armée contre la Ruissie, et si l'Empereur d'Allemagne refusoit un passage à cette armée dans son pays, je la ferois passer malgré lui.' He afterwards said—'il y a plusieurs moyens de détruire l'Anglterre, mais celui de lui ôter Irlande est bon. Je vous donnerai 25,000 bonnes troupes et s'il en arrive seulement 15,000, ce sera assez. Vous aurez aussi 150,000 fusils pour armer vos compatriotes, et un parc d'artillerie légère, des pièces de 4 et de 6 livres, et toutes les provisions de guerre nécessaires.'

"О'Коннор пытался убедить Бонапарта, что лучший способ завоевать Англию - это сначала отправиться в Ирландию, а оттуда в Англию с 200 000 ирландцев. Бонапарт сказал, что, по его мнению, это не годится; *d'ailleurs*, добавил он, *ce seroit trop long*. Они согласились, что все англичане в Ирландии должны быть истреблены, как это было с белыми в Сан-Доминго. Бонапарт заверил его, что, как только он сформирует ирландскую армию, он станет главнокомандующим французскими и ирландскими войсками. Бонапарт приказал О'Коннору попытаться привлечь на свою сторону Лахарпа, воспитателя российского императора. Лагарп подал заявление на получение паспорта для поездки в Санкт-Петербург. Он говорит, что сделает все, что в его силах, чтобы заставить императора начать войну с Бонапартом. Лагарп не дышит ничем, кроме мести Бонапарту, который, помимо других обид, публично отвернулся от него и не захотел с ним разговаривать. Лахарп был предупрежден о предполагаемом визите О'Коннора и уехал в страну, чтобы не встречаться с ним.: Сенатор Гарат должен отправиться в Брест вместе с О'Коннором, чтобы написать конституцию для Ирландии. О'Коннор впадает в немилость у ирландцев во Франции; они начинают подозревать в его амбициозных и эгоистичных взглядах. Некоторое время, предшествовавшее возвращению Трюге в Брест, между ним и адмиралом Трюге сохранялась прохладца. Ожеро дал обед для всех высших офицеров своей армии, находившихся тогда в Париже. Трюге пригласил их всех пообедать с ним два или три дня спустя, кроме О'Коннора. О'Коннор сказал мне, что никогда не простит ему этого".

ГЛАВА XXII

УЛЬМ И ТРАФАЛЬГАР

"Наполеон — единственный человек в Европе, который знает цену времени". - Чарторыйский.

Прежде чем описывать континентальную кампанию, которая разрушила старую европейскую систему до основания, будет полезно бросить краткий взгляд на события, ускорившие войну Третьей коалиции. Даже во время разрыва Наполеона с Англией его своевольное поведение по отношению к Итальянской Республике, Голландии, Швейцарии и в отношении секуляризации в Германии подвергло его враждебности России, Швеции и Австрии; но пока это принимало форму тайного негодования. Последняя названная держава, возглавляемая министерством графа Кобенцля, вернулась к сдержанной и недостойной политике, которую шведский посол в Вене охарактеризовал как "политику страха и надежды — страха перед могуществом Франции и надежды получить от нее благосклонность". ^[1] В Берлине Фридрих Вильгельм нервно придерживался нейтралитета, даже несмотря на то, что французская оккупация Ганновера представляла угрозу влиянию Пруссии в Северной Германии. Царь Александр был в настоящее время поглощен внутренними делами, и единственным монархом, который пока еще осмеливался высказывать свою неприязнь к Первому консулу, был король Швеции. Осенью 1803 года Густав IV демонстративно отверг предложения Наполеона о франко-шведском союзе, хотя их и заинтриговало предложение Норвегии в качестве возможного приза для Швеции и субсидии каждому шведскому военному кораблю, выступающему против Англии. И причиной его отказа было не отвращение гордой натуры к деньгам, поскольку Густав, находясь в Германии, намекнул Дрейку, что хотел бы получить денежную помощь от Англии для защиты своей провинции Померания. ^[2]

Но вскоре на поле боя должен был выйти более отважный борец за независимость Европы. Прежние чувства уважения и восхищения, которые молодой царь питал к Наполеону, были уже омрачены, когда известие о казни герцога Энгиенского сразу же вызвало бурю страстей в его груди. Рыцарская защита, которую он любил распространять на небольшие государства, гарантия германской системы, которую ему предоставил Тешенский мирный договор, прежде всего, его ужас перед преступлением побудили его выразить решительный протест. Русский двор немедленно объявил траур, и Александр выразил как германскому сейму, так и французскому правительству свое возмущение этим безобразием. У Наполеона всегда было в привычке отвечать ударом на удар; и теперь он поручил Талейрану ответить, что в энгиенском деле он действовал исключительно в целях обороны и что жалоба России "заставила его спросить, не были ли бы предприняты все усилия для их поимки в то время, когда Англия готовила убийство Павла I. Было известно, что авторы заговора находились в одной лиге от [российских] границ?" Никогда еще отравленный дротик не был так ловко пущен в уязвимое место вражеской брони. Царь, которого постоянно преследовала мысль о его причастности к заговору об отцеубийстве, был глубоко уязвлен этой злобной насмешкой, тем более что, поскольку смерть Павла была официально объяснена припадком, оскорбление нельзя было отменить. ^[3] Единственным ответом был разрыв всех дипломатических отношений с Наполеоном; и это произошло летом 1804 года. ^[4]

Однако войне не суждено было разразиться более года. Эта задержка была вызвана несколькими причинами. Австрию нельзя было сдвинуть с позиции робкого нейтралитета. Фактически, Франциск II и Кобенцль видели в потребности Наполеона в признании его нового императорского титула средство обеспечить соответствующее изменение титула для владений Габсбургов. Франциск давно устал от пустого достоинства выборного императора Священной Римской империи. Увядающая пышность Ратисбона и Франкфурта - вот все, что осталось от величия царства Карла Великого: мешанине государств, владевших им как избранным лордом, было наплевать на указы этого призрачного царства; и Гете вполне мог вложить в уста своего веселого алкоголика в сцене в подвале "Фауста" слова:

"Dankt Gott mit jedem Morgen

Dass Ihr nicht braucht für's Röm'sche Reich zu sorgen!"

В тот век торгашества и грабежей не лучше ли было построить более прочное жилище, чем эти почтенные руины? Не станут ли наследственные владения более надежным убежищем от бури? Несомненно, именно такие мысли побудили принять титул наследственного императора Австрии (11 августа 1804 г.). В письме-патенте, в котором было объявлено об этом изменении, в качестве параллели приводился "пример Императорского двора России в прошлом веке и нового суверена Франции". Оба упоминания оскорбили Александра, который не видел параллели между присвоением Петром Великим титула императора и игрой в подражание лидеру, которую Франциск вел по отношению к Наполеону. ^[5]

В то время следовало ожидать уступчивости пруссии французскому императору. Фридрих Вильгельм III. правил более чем 10 000 000 подданных; он мог командовать 248 000 наиболее обученных войск в Европе, и его доходы были более плодотворными, чем у великого Фридриха. И все же реальная мощь Пруссии, к сожалению, пошла на убыль, ибо ее политика теперь была отмечена изнуряющей нерешительностью. Осенью 1804 года, однако, прусский король на некоторое время был подстрекаем к действиям известием о том, что сэр Джордж Рамболд, британский посланник в Гамбурге, был схвачен французскими войсками в ночь на 24 октября и увезен в Париж. Эта агрессия против Круга Нижней Саксонии, главой которого был Фридрих Вильгельм, вызвала живое возмущение в Берлине; и король немедленно направил Наполеону просьбу об освобождении посланника в доказательство его "дружбы и высокого уважения ... как печать прошлого и залог будущего".

На это обращение Наполеон дал успокаивающий ответ, что сэр Джордж будет немедленно освобожден, хотя Англия постоянно нарушает права нейтральных стран, а ее агенты замышляют покушение на его жизнь. Император, на самом деле, понял, что сделал ложный шаг, который мог бросить Пруссию в объятия Англии и России. Ибо эта последняя Держава уже (в мае 1804 г.) предложила свою вооруженную помощь берлинскому двору на случай, если французы вторгнутся на какую-либо другую территорию Германии. ^[6] Но короля было легко успокоить; и когда следующей весной Наполеон послал ко двору Берлина семь золотых орлов ордена Почетного легиона, взамен были отправлены семь Черных орлов знаменитого прусского ордена - событие, которое привело Густава IV в восторг. вернуть ему орден Черного Орла с замечанием, что он не может признать "Наполеона и ему подобных" товарищами по Рыцарскому и религиозному ордену. ^[7] Цель Наполеона была достигнута: Пруссия была отделена от любой лиги, в которой участвовал Густав IV. был видным членом клуба.

Таким образом, главные шаги в формировании Третьей коалиции были предприняты Швецией, Англией и Россией. В начале 1804 года Густав предложил Лигу Держав; и с приходом к власти министерства Питта между Санкт-Петербургом и Лондоном начали поступать предложения о заключении союза. Важные предложения были сделаны Питтом и нашим министром иностранных дел графом Харроуби в ноте от 26 июня 1804 года, в которой выражались надежды на то, что Россия, Англия, Австрия, Швеция и, если возможно, Пруссия смогут объединиться. ^[8] Александр и Чарторыйский уже обсуждали преимущества союза с Англией. Их цели, безусловно, были благородными. Следовало отстаивать международное право и права слабых государств, граничащих с Францией, и Чарторыйский предложил разрешать споры не силой, а арбитражем. ^[9]

Изложение этих возвышенных идей было поручено специальному посланнику в Лондоне М. Новосилцову, который предложил Питту схему европейского государственного устройства, в котором государства должны быть независимыми и пользоваться институтами, "основанными на священных правах человечества". Имея в виду эту цель, царь желал обуздать власть Наполеона, вернуть Францию к ее старым границам и обеспечить мир в Европе на прочной основе, а именно на принципе *баланса сил*. Питт и лорд Харроуби согласились с этими предложениями, и детали были обсуждены в конце 1804 года. Ни один из союзников, в любом случае, не должен был заключать сепаратный мир; и Англия (сказал М. Новосильцов) должна была не только использовать свои собственные войска, но и предоставлять субсидии, позволяющие Державам выставять эффективные силы.

Это последнее предложение заслуживает особого внимания, поскольку оно избавляет от избитой фразы о том, что Третья коалиция была *создана* золотом Питта. Напротив, Россия первой заявила о необходимости английских субсидий, которые Питт ни в коем случае не стремился предоставлять. Фраза, используемая французскими историками, несомненно, верна в той мере, в какой английское золото позволяло нашим союзникам эффективно вооружаться; но она совершенно ложна, если подразумевает, что Третья коалиция была просто сфабрикована на наши деньги и что правительства России, Австрии и Швеции были подобны автоматическим машинам, которые, если их подбросить монетами, мгновенно поставят армии готовому покупателю денег. Практически это представление до сих пор распространено на Континенте; и оно ясно прослеживается в бесконечных обличительных речах против золота Питта, которыми Наполеон приправлял свои бюллетени, и в карикатурах, которые он *приказал нарисовать*. Следующим было его указание своему министру полиции Фуше: "Сделайте карикатуры — англичанин с кошельком в руке, *умоляющий различные державы забрать его деньги*. Это реальное направление, которое нужно придать всему бизнесу." Как хорошо он знал человечество: он справедливо рассчитывал на его легкоеверие в том, что касалось картин; и направление, которое он таким образом придал общественному мнению, справедливо настаивает на сохранении, несмотря на каждое разоблачение обмана. ^[10]

Но, возвращаясь к планам союзников, Голландия, Швейцария и Италия должны были быть освобождены от их "порабощения Францией" и укреплены таким образом, чтобы обеспечить барьеры для будущих агрессий: король Сардинии должен был быть возвращен в свои материковые владения и получить вдобавок Лигурийскую, или Генуэзскую, республику. ^[11]

По всем существенным вопросам британское правительство было полностью согласно со взглядами царя, и Питт настаивал на необходимости системы международного права, которая должна гарантировать Континент от дальнейших хищнических действий. Но Европе было суждено обрести мир на этих принципах только после десяти лет опустошительной войны.

Формированию этой лиги препятствовали различные причины. 2 января 1805 года Наполеон направил послание Георгу III. предложение мира; и те люди, которые не понимали, что это был способ узнать ход переговоров, полагали, что он горячо желал этого. Теперь мы знаем, что предложение было отправлено через неделю после того, как он приказал Миссисипи разорить Британскую Вест-Индию. ^[12] И, несомненно, его цель была достигнута при Георге III. ответил в тронной речи (15 января), что он не может принять это предложение без ссылки на Державы, с которыми он тогда состоял в конфиденциальных сношениях, и особенно на императора России. И все же британское правительство обсуждало с царем основы будущего умиротворения Европы; и миссия Новосельцова в середине лета в Берлин по пути в Париж была ответом, хотя и запоздалым, на новогодний мирный призыв Наполеона. Теперь мы увидим, почему произошла эта задержка и какие действия французского императора окончательно развеяли все надежды на мир.

Задержка была вызвана разногласиями между Россией и Англией в отношении Мальты и нашего морского кодекса. Царь настаивал на том, чтобы мы отказались от Мальты и ослабили строгость права розыска дезертиров из нашего военно-морского флота. На это министерство Питта возразило, видя, что Мальта была нашим единственным средством защиты средиземноморских государств и нашей единственной защитой от французской агрессии в Леванте, в то время как право досматривать нейтральные суда было необходимо, чтобы

предотвратить ослабление нашего военно-морского флота. ^[13] Переговоры были почти прерваны даже после того, как 11 апреля 1805 года договор между двумя державами был доведен до финальной стадии; но в июле (после того, как царь выразил свой торжественный протест против сохранения нами Мальты) он был ратифицирован и лег в основу Третьей коалиции. Целями союзников были изгнание французских войск из Северной Германии; обеспечение независимости Республик Голландии и Швейцарии; и восстановление власти короля Сардинии в Пьемонте. Помимо вооруженных сил Великобритании, должно было быть приведено в движение полмиллиона человек; и последняя держава, в качестве компенсации за нехватку войск, согласилась субсидировать своих союзников в размере; 1 250 000 фунтов стерлингов в год на каждые 100 000 человек, фактически задействованных в войне. Далее было оговорено, что Европейский конгресс по окончании войны должен попытаться более уверенно утвердить принципы Международного права и установить федеративную систему. Прежде всего, союзники обязались не препятствовать желанию народа во Франции относительно формы правления — пункт, который лишал войну Третьей коалиции того монархического характера, который был присущ лиге 1793 года и, в меньшей степени, войне 1799 года. ^[14]

Каково было отношение Наполеона к этому союзу? Он, конечно, не прилагал особых усилий, чтобы умиротворить царя. Фактически, его действия по отношению к России были почти открыто провокационными. Таким образом, полностью осознавая заинтересованность, которую Александр испытывал в восстановлении власти короля Сардинии, он направил предложение о том, чтобы этот незадачливый король получил Ионические острова и Мальту в качестве компенсации за свои потери, и это тоже при том, что Россия рассматривала Корфу как свой собственный. На это предложение царь не удостоил его ни словом в ответ. Наполеон также отправил посланника к персидскому шаху с предложением союза, чтобы сдержать продвижение России на берегах Каспия. ^[15]

С другой стороны, он приложил все усилия, чтобы привлечь Пруссию, тайно предложив ей Ганновер, и это тоже уже в конце июля. ^[16] Также на короткое время он приложил некоторые усилия, чтобы примирить Австрию. Это действительно было необходимо, поскольку Венский двор уже (6 ноября 1804 г.) заключил секретное соглашение с Россией о начале войны с Наполеоном, если он совершит какую-либо новую агрессию в Италии или создаст угрозу какой-либо части Турецкой империи. ^[17] Однако этот акт был действительно оборонительным. Франциск желал только защитить себя от честолюбия Наполеона и, если бы к нему относились с уважением, несомненно, придерживался бы мира.

Какое-то время Наполеон потакал этому Двору, даже в том, что касалось перемен, обсуждаемых сейчас в Италии. 1 января 1805 года он написал Франциску, заявив, что собирается провозгласить Жозефа Бонапарта королем Италии, если последний откажется от своих притязаний на корону Франции и таким образом сохранит правительства Франции и Италии отдельными, как того требует Люневильский мирный договор; что это действие ослабит его (Наполеона) власть, но принесет свою компенсацию, если оно окажется приемлемым для императора Франциска.

Но вскоре выяснилось, что Иосиф ни в коем случае не был склонен принимать корону Ломбардии, если это повлекло бы за собой принесение в жертву всех надежд на наследование Французской империи. Он уже выразил свой протест перед *королевским титулом короля*, и 27 января объявил о своем окончательном отклонении предложения. Затем Наполеон предложил

Людовику передать корону своему сыну; но это предложение сразу же разожгло пламя ревности, которое всегда преследовало Людовика; и после бурной сцены император вытолкнул своего брата из комнаты.

Возможно, этот гнев был наигранным. Однажды он признался, что его гнев поднялся только настолько высоко, достигнув подбородка; и отказа его братьев, безусловно, следовало ожидать. Как бы то ни было, теперь он решил сам принять эту корону, назначив вице-королем своего приемного сына Эжена Богарне. Правда, он объявил французскому сенату, что королевства Франции и Италии будут разделены; но ни итальянские депутаты, которые были вызваны в Париж, чтобы присвоить это звание своему господину, ни раболепный сенат, ни правители Европы не были обмануты. Таким образом, когда в начале лета Наполеон провел смотр многочисленным войскам, которые снова сражались в имитационной войне, битве при Маренго; когда среди всей помпезности и зрелищности, которые только могло изобрести искусство, он короновал себя в Миланском соборе железным венцом старых ломбардских королей, используя традиционную формулу: "Бог дал это мне, горе тому, кто прикоснется к этому"; когда, наконец, он включил Лигурийскую республику во Французскую империю, Франциск Австрийский неохотно принял вызов, брошенный таким угрожающим образом, и начал вооружаться. ^[18] Отчеты нашего Министерства иностранных дел убедительно показывают, что правитель Габсбургов столкнулся с трудностями: австрийская армия была еще плохо организована; реформы, к которым стремился эрцгерцог Карл, были плохо восприняты военной кликой; и единственным результатом было скорее расшатывание, чем укрепление армии, и подорванное здоровье эрцгерцога. ^[19] Однако намерение Наполеона относиться к Италии как к французской провинции было настолько оскорбительно выставлено напоказ, что Франциск счел войну неизбежной и решил нанести удар, пока французы все еще были вовлечены в свои военно-морские планы. Он хорошо знал об опасностях войны; он с радостью приветствовал бы любой признак действительно мирных намерений в Париже; но никаких признаков не было подано; фактически, французские агенты были посланы в Швейцарию, чтобы интриговать ради объединения этой страны с Францией. Здесь гордость Габсбургов снова была задета за живое, и они побоялись подвергнуться унижениям, которые выедали сердце прусской монархии.

Царь тоже был далек от стремления к войне. Он отправил Новосильцова в Берлин *по пути* в Париж в надежде договориться с Наполеоном, когда известие об аннексии Генуи положило конец последним надеждам на компромисс. "Этот человек ненасытен", - воскликнул Александр; "его честолюбие не знает границ; он бич мира; он хочет войны; что ж, он получит ее, и чем скорее, тем лучше", - царь немедленно приказал прекратить все переговоры. 10 июля Новосельцов объявил барону Харденбергу, преемнику Гаугвица в прусском министерстве иностранных дел, что терпение царя превысило все пределы, и он немедленно вернул ему французские паспорта. Направляя их французскому послу в Берлине, Харденберг выразил глубокое сожаление прусского монарха по поводу срыва этих в высшей степени благотворных переговоров — фраза, которая показала, что терпение Берлина было почти исчерпано. ^[20]

Таким образом, ясно, что Третья коалиция была укреплена не английским золотом, а провокациями Наполеона. В то время как Англия и Россия испытывали большие трудности в достижении соглашения, а Австрия вооружалась только из страха, малейший акт уступчивости с его стороны разрушил бы эту плохо сплоченную конфедерацию. Но никаких подобных действий не последовало. Все его письма, написанные в Северной Италии после его

коронации, полны невероятной наглости. Наряду с намеками Евгению строить политику на лицемерии и стремиться только к тому, чтобы его боялись, мы находим письма министрам в Париже, в которых презирается идея о том, что Англия и Россия могут прийти к соглашению, и утверждается, что аннексия Генуи касается только Англии; но если Австрия хочет найти предлог для войны, она может сейчас его найти.

Затем он спешит обратно в Фонтенбло, покрывая расстояние от Турина за восемьдесят пять часов; и после краткого пребывания в Сен-Клу достигает Булони. Там, 22 августа, он слышит, что Австрия продолжает вооружаться: несколько часов спустя приходит известие, что Вильнев вернулся в Кадис. Яростно и решительно он решает эту судьбоносную проблему. Затем он набрасывает Талейрану контуры своей новой политики. Он снова будет настаивать, и на этот раз самым серьезным образом, на своем предложении Пруссии передать Ганновер в качестве цены за ее эффективный союз против новой коалиции. Возможно, этот новый союз задушит коалицию при ее зарождении; во всяком случае, он парализует Австрию. Соответственно, он отправляет в Берлин своего любимого адъютанта генерала Дюрока, чтобы убедить короля, что его союз спасет Континент от войны. ^[21]

Между тем Габсбурги были полностью обмануты. Они воображали, что Наполеон всецело погружен в свое морское предприятие, и соответственно разработали план кампании, который, хотя и был замечателен против слабого и бесхитростного противника, был чреват опасностью, если кольца питона были готовы к прыжку. На самом деле, он был гораздо лучше подготовлен, чем Австрия. Еще 7 июля венский двор проинформировал союзников, что его армия не будет готова в течение четырех месяцев; однако нервное беспокойство габсбургов по поводу того, что они должны быть заранее на стороне Наполеона, побудило их поторопиться с войной: и 9 августа они тайно присоединились к русско-британскому союзу.

Затем, также по странной случайности, их продвижение в Баварию должно было осуществляться силами всего в 59 000 человек, в то время как их основные силы, численностью около 92 000 человек, были брошены в Италию против укреплений на реке Минчо. Для охраны флангов этих армий Австрия располагала 34 000 человек в Тироле; но, не считая необученных рекрутов, на остальной территории этой огромной империи было менее 20 000 солдат. Фактически, было известно, что успех осенней кампании зависел от помощи русских, которые, как ожидалось, достигнут берегов Инн до 20 октября, в то время как считалось, что французы смогут достичь Дуная только через двадцать дней. ^[22] Предполагалось, однако, действовать наиболее энергично в Италии и провести оборонительную кампанию на Дунае.

Таков был план, разработанный в Вене, главным образом под влиянием эрцгерцога Карла, который принял командование армией в Италии, в то время как командование армией на Дунае было поручено эрцгерцогу Фердинанду и Маку, новому генерал-квартирмейстеру. Этот солдат до сих пор пользовался большой репутацией в Австрии, вероятно, потому, что он был единственным генералом, который не потерпел большого поражения. Среди катастроф 1797 года он казался единственным человеком, способным вернуть прошлое, и был отстранен от командования из-за безумной ревности Тугута к его "трансцендентным способностям". ^[23] Храбрым он, безусловно, был: но его разум всегда находился во власти предвзятых представлений; он принадлежал к школе "стратегов маневрирования", лидером которой был герцог Брауншвейгский; и теперь он начал кампанию 1805 года с твердой целью занять командное военное положение. Такую позицию император Франциск и Мак обнаружили в

слабой крепости Ульм и на линии реки Иллер. К этим выгодным точкам теперь начали продвигаться австрийцы.

Первым делом нужно было завоевать расположение курфюрста Баварии. Венский двор, стремясь убедить или принудить этого принца присоединиться к Коалиции, предпринял попытки (с 3 по 6 сентября), с которыми он медлил день или два, пока не представилась возможность сбежать в крепость Вюрцбург. После этого Мак переправился через реку Инн и тщетно пытался отрезать баварские войска от этой крепости. Соответственно, австрийский предводитель двинулся к Ульму, куда прибыл в середине сентября; и, не удовлетворившись удержанием этой передовой позиции, он выдвинул свои аванпосты к главным ущельям Шварцвальда, в то время как другие полки удерживали долину реки Иллер и укрепляли крепость Мемминген. Несомненно, это было бы хорошей стратегией, если бы его силы были равны по численности войскам Наполеона. В то время Шварцвальд был единственным физическим барьером между Францией и Южной Германией; Рейн тогда был практически французской рекой; и, только удерживая перевалы этого хребта, австрийцы могли надеяться защитить Швабию от вторжения со стороны Эльзаса.



БИТВА При УЛЬМЕ

Но Мак забыл два важных факта. До прихода русских он был слишком слаб, чтобы удерживать столь передовые позиции на этой враждебной территории, теперь, когда Бавария и другие южногерманские государства подчинились призыву Наполеона перейти на его сторону. Кроме того, он был опасно открыт на севере, как покажет взгляд на карту. Ульм и линия Иллера образовывали сильную оборону с юго-запада, но на севере эта позиция исключительно открыта: ее можно обойти из долин Майна, Неккара и Альтмюля, которые ведут захватчиков в районы к востоку от Ульма. Действительно, не укладывается в голове, как даже Городской совет мог проигнорировать опасности такой позиции. Возможно, тот факт, что Крэй стойко удерживал

Ульм в 1796 году, теперь побудил их переоценивать его нынешнее значение; но в то время укрепленный лагерь Ульм был центральным узлом обширных операций, тогда как сейчас это был всего лишь передовой форпост. ^[24] Если Франциск и его советники были под влиянием исторических воспоминаний, странно, что они забыли о судьбе Меласа в Пьемонте. Настоящая параллель была проведена не Креем, а генералом, который был отрезан при Маренго. Действительно, в общих чертах кампания при Ульме напоминает кампанию при Маренго. Против врагов, отбросивших свои колонны далеко от своей базы, Наполеон теперь, как и в 1800 году, был полон решимости нанести сокрушительный удар. Со стороны австрийцев мы замечаем ту же неуместную самоуверенность, то же отсутствие своевременных новостей и ту же неспособность понять план Наполеона до тех пор, пока его диспозиция не будет завершена; в то время как его стратегия и тактика в 1805 году вызывают в памяти виртуозную простоту замысла, тонкость и энергию исполнения, которые привели к его триумфу на равнинах Пьемонта.

Тем временем союзники распыляли свои силы. Русский корпус, действовавший с острова Корфу в качестве базы, и английская экспедиция с Мальты должны были совместно атаковать Сен-Сир на юге Италии, поднять страну у него в тылу и вынудить его сдаться. Этот план беспомощно повис в воздухе из-за конвенции, которую Наполеон навязал неаполитанскому послу. 21 сентября Талейран убедил этого посланника гарантировать нейтралитет Неаполитанского королевства, исключив все воюющие стороны из его владений. Следовательно, корпус Сен-Сира покинул эти земли и доставил долгожданное подкрепление Массене на Минчо. Столь же искусными были действия Наполеона в отношении Ганновера. На этой стороне союзники также планировали грандиозную экспедицию. Из крепости Штральзунд в шведской Померании отряд русских и шведов, которым горел желанием командовать Густав, должен был двинуться на Ганновер и, будучи усилен англо-ганноверским корпусом, изгнать французов из Нидерландов. Любопытно сопоставить трудоемкие переговоры относительно этой экспедиции — ссоры из-за командования, беспокойство с самого начала, как бы Вильнев не отправился в Балтийское море, задержки британского военного министерства, протесты царя и попытки предотвратить ревность Пруссии — с безмятежным безразличием Наполеона ко всему этому делу. Он прекрасно понимал, что исход войны решится не отвлекающими маневрами у подножия Италии или на берегах Эмса, а ударом огромных масс людей по Дунаю. Он освободил Ганновер от французских войск, за исключением южной крепости Хамельн, чтобы он мог сокрушить австрийские войска до того, как подойдут русские. Короче говоря, в то время как Коалиция стремилась, подобно Бриарею, окружить его со всех сторон, он готовился нанести удар в самое сердце.

Поскольку первая часть кампании почти полностью зависела от проблем времени и пространства, будет полезно несколько пристальнее следить за основными передвижениями враждебных сил. Австрийский план был направлен на то, чтобы опередить французов в оккупации Швабии, и его очевидный успех вселил в Мака безграничную уверенность. В Ульме он возвел обширные укрепления, чтобы укрепить эту устаревшую крепость, протянул свои линии далеко на юг до Меммингена и надеялся, что московиты подойдут задолго до того, как французские орлы закружат над истоками Дуная. Но в то время русский авангард еще не достиг Линца в Верхней Австрии и не ранее 10 октября появился на берегах реки Инн. ^[25]

Французский император был далеко не последним, но опередил своих врагов в скорости приготовлений. В то время как австрийцы полагали, что он не сможет выйти к Дунаю в полном

составе до 10 ноября, он намеревался иметь 200 000 человек в Германии к 18 сентября. Но поначалу он не осознавал всей полноты своей удачи: ему и в голову не приходило, что австрийцы перейдут Инн: все, о чем он просит Талейрана 23 августа, это о том, что в "Монитер" могут появиться такие новости, которые дадут ему двадцать дней и генералу Бертрону время завоевать Баварию, пока "мои 200 000 человек совершают пируэт в Германии". 29 августа *армия Англии* стала *Великой армией*, состоящей из семи корпусов под командованием Бернадотта, Мармона, Даву, Сульта, Ланна, Нея и Ожеро. Кавалерия была придана Мюрату, в то время как Бессьер командовал императорской гвардией, насчитывающей сейчас около 10 000 человек.

Уже большая часть этого огромного войска начала продвигаться вглубь страны; Даву и Султ оставили несколько полков численностью 30 000 человек для охраны флотилии, а Мармон выделил 14 000 человек для защиты берегов Голландии; но другой корпус 2 сентября начал марш за Рейн почти в полном составе. В тот день Бернадотт свернул свои расквартирования в Ганновере и начал свой марш в направлении Майна, от которого так много должно было измениться. Курфюрст Гессен-Кассельский теперь поддерживал дело Наполеона. Таким образом, не встретив никакого сопротивления, колонны Бернадотта достигли Вюрцбурга в конце сентября; там курфюрст Баварский приветствовал маршала и оказал ему поддержку своими 20 000 войсками; и в этой крепости к нему также присоединился Мармон.

Чтобы ввести австрийцев в заблуждение, Наполеон оставался до 23 сентября в Сен-Клу или Париже; и во время его пребывания появился *Консультативный сенат*, предписывающий, чтобы после 1 января 1806 года Франция отказалась от своего революционного календаря и вернулась к григорианскому. Затем он двинулся на Страсбург, как будто главные удары должны были быть нанесены через перевалы Шварцвальда перед линией обороны Мака; и, чтобы укрепить этого генерала в этой вере, Мюрат получил приказ показать своим всадникам перевалы, удерживаемые аванпостами Мака, но избегать каких-либо серьезных столкновений. Это дало бы время другому корпусу подобраться в тыл противника. Мак, тем временем, слышал о предстоящем соединении французов и баварцев под Вюрцбургом, но полагал, что это угрожает Богемии. ^[26]

Соответственно, он все еще цеплялся за свои позиции, удовлетворившись отправкой кавалерийского полка наблюдать за передвижениями Бернадотта; но ни он, ни его номинальный начальник, эрцгерцог Фердинанд, не догадались об истине. Действительно, до сих пор они полагались на помощь русских, чтобы отозвать несколько полков, присланных из Италии более проницательным эрцгерцогом Карлом; но 11 000 солдат из Тироля достигли швабской армии. Теперь эти силы были распределены таким образом, чтобы удерживать мосты через Дунай между Ингольштадтом и Ульмом; и 7 октября австрийцы были расположены следующим образом: 18 000 человек под командованием Кинмайера охраняли Ингольштадт, Нойбург, Донауверт, Гюнцбург и меньшие пункты, в то время как у Мака было около 35 000 человек в Ульме и вдоль линии Иллера; прибытие других отрядов довело общую численность австрийцев до более чем 70 000 человек. Против этой длинной разрозненной линии Наполеон повел значительно превосходящие силы. ^[27] Разработка его планов продвигалась быстрыми темпами. Хотя Пруссия провозгласила свой строгий нейтралитет, он без колебаний нарушил его, послав корпус Бернадотта через ее княжество Ансбах, которое лежало у них на пути. Он поручил Бернадотту "дать множество заверений в пользу Пруссии и засвидетельствовать всю возможную привязанность и уважение к ней, а затем быстро пересечь ее территорию, заявляя о невозможности сделать что-либо еще". Соответственно, этот маршал был щедр на свои

сожаления и извинения, но приказал своим колоннам дефилировать мимо батальонов и эскадронов Пруссии, которые были бессильны возмутиться этим безобразием. ^[28]

Известие об этом вторжении на территорию Пруссии достигло ушей Фридриха Вильгельма в критический момент, когда царь направил в Берлин своего рода ультиматум, намекающий на то, что, даже если Пруссия откажется от борьбы за независимость Европы, российские войска, тем не менее, должны пройти через часть прусской Польши. Уязвленный этим сообщением из-за своего обычно пассивного поведения, король отправил ответ, что такой шаг повлечет за собой заключение франко-прусского союза против нарушителей его территории, когда пришло известие, что Наполеон действительно сделал в Ансбахе то, что Александр объявил о своем намерении сделать на востоке. Отвращение было сильным: на короткое время король заявил, что уволит Дюрока и объявит войну Наполеону за это оскорбление, но в конце концов он созвал кабинет министров и пригласил царя приехать в Берлин. ^[29]

В то время как советники-галлофилы, Хаугвиц и Ломбард, использовали все свое искусство, чтобы помешать прусско-русскому взаимопониманию, сети крепко сплетались вокруг Мака и эрцгерцога Фердинанда. Корпус Бернадотта, вошедший в историю своим маршем, был отведен на юго-восток, чтобы сдерживать русский авангард и дать достаточно места войскам, которые должны были отрезать Мак от Австрии, - шаг, который можно сравнить с маршем Бонапарта на Милан перед тем, как он попытался захватить Мелас. Оба шага свидетельствуют о его желании иметь достаточно места за спиной, прежде чем облететь свою добычу.

6 октября корпуса Сульта и Ланна при поддержке мощной кавалерии Мюрата прорвали австрийские позиции на Дунае у Донауверта и прочно закрепились на правом берегу. Переправившись, таким образом, далеко в тылу Мака, французы выстроились в плотный строй и двинулись на юг и юго-запад в тыл австрийских позиций, в то время как корпус Нея двинулся на захват главных мостов через Дунай.

Изучение процессов, происходящих в мозгу Мака в это время, небезынтересно. Оно показывает опасность вверения судьбы армии человеку, который не может взвесить доказательства. Мак не был в неведении о ходе событий, хотя новости от него обычно приходили с опозданием. Беда заключалась в том, что его мозг искажал новости. 6 октября он написал в Вену, что противник, похоже, собирается нанести удар по его коммуникациям: 7 октября, когда он услышал о потере Донауверта, он описал это как прискорбное событие, которое никто не считал возможным. Эрцгерцог теперь настаивал на необходимости немедленного отступления к Мюнхену и двинулся маршем в восточном направлении на Гюнцбург: другая австрийская дивизия численностью 8000 человек двинулась на Вертинген, где 8 октября была яростно атакована войсками Мюрата и Ланна. Сначала империалисты твердо держали свои ряды; но неравное сражение завершилось поспешным бегством, в результате которого 2000 человек остались в руках французов. Затем Мюрат, продвигаясь через леса, отрезал отступление Мака к Аугсбургу. И все же этот генерал по-прежнему оптимистично относился к своему положению. В тот же день он написал из Гюнцбурга, что, как только противник перейдет Лех, он переправится через Дунай и перережет их коммуникации в Нердлингене. Так он писал, когда корпус Нея пытался захватить мосты через Дунай ниже Ульма. Если Маку предстояло двинуться на северо-восток против французских коммуникаций, для него было чрезвычайно важно удержать главный из этих мостов; но Ней быстро захватил три из них и 9-го числа смог приблизить окружение Ульма.

Со своей позиции в Аугсбурге французский император теперь руководил заключительными операциями; и, как и перед Маренго, он уделял наибольшее внимание тому направлению, с которого, по его мнению, его враг будет стремиться прорваться, в данном случае к Кемптону и Тиролю. Это, несомненно, было бы самым безопасным курсом для Мака, поскольку он был достаточно силен, чтобы отбросить Сульта, захватить Тироль, заблокировать его долины от Наполеона и доставить подкрепления эрцгерцогу Карлу. Но он все еще был полон решимости осуществить свой план в Нердлингене, даже после того, как потеря мостов через Дунай подвергла его продвижение туда фланговым атакам четырех французских корпусов, находившихся сейчас к югу от реки. Тем не менее, неправильный расчет Наполеоном планов Мака или, как пытался доказать Тьер, неправильное понимание Мюратом его приказов дало австрийцам шанс, который редко дарует удача. ^[30]

Несмотря на протесты Нея, одна из его дивизий, возглавляемая Дюпоном, была оставлена в одиночестве охранять северный берег Дуная, позицию, где она могла быть разгромлена предприимчивым противником. Что еще более удивительно, Дюпону всего с 6000 человек было поручено наступать на Ульм и взять его штурмом. 11-го числа он соответственно двинулся против укрепленного лагеря Мака к северу от этого города. Австрийцы встретили его силой и, несмотря на предельный героизм его войск, в конце концов вырвали деревню Хасслах из его рук; позже в тот же день туча их всадников, обойдя его правое крыло, разрезала его уставшие войска, взяла 1000 человек в плен и оставила 1500 убитых и раненых на поле боя. Среди трофеев была найдена депеша Наполеона, приказывающая Дюпону взять Ульм штурмом — это могло показать им, что французский император считал этот город практически безлюдным. ^[31] По правде говоря, просчет Наполеона открыл Маку безопасный путь; и если бы он сразу же двинулся на север, весь аспект событий мог бы измениться. Русский авангард находился на берегах Инн: все французы, за исключением остатков дивизии Дюпона, находились к югу от Дуная, и несколько энергичных ударов по их коммуникациям могли бы сильно смутить войска, которые имели мало артиллерии, небольшие запасы боеприпасов и жили почти исключительно за счет местных продуктов. Мы можем представить себе яростные удары, которыми в таком случае Фридрих Великий осыпал бы своих противников, когда он заходил им в тыл и изменял их поворотные движения. Если бы Фридрих выступил против Наполеона, Лех и Дунай стали бы свидетелями настоящего военного циклона.

Но Мак не был Фредериком: и он имел дело с врагом, который быстро исправлял ошибку. 13 октября, когда Мак, казалось, собирался отрезать французов от Мейнстрима, он получил известие через шпионов Наполеона, что англичане высадились в Булони и во Франции вспыхнула революция. Новости легко проникли в мозг, который имел странную склонность к приятной лжи и отвергал неприятные факты. Он сразу же пришел к выводу, что действия Сульта, Мюрата, Ланна, Мармона и Нея в тылу были всего лишь отчаянными попытками отрезать путь в Эльзас. Поэтому он крепко удерживал свои позиции, предпринимал лишь слабые попытки очистить северную дорогу и отправил подкрепление в Мемминген. Следующий день принес другие известия; что Султ окружил Мемминген; что Ней блестящим броском через Дунай у Эльхингена разбил там австрийскую дивизию и угрожает Ульму с северо-востока; и что другие французские колонны наступают с юго-востока. И все же Мак, все еще рассматривавший эти факты в сумерках собственного воображения, представлял их себе как усилия отчаяния, а не как тяжкие труды охотника.

Теперь он был почти один в своем восприятии событий. Эрцгерцог Фердинанд, хотя номинально и был верховным командующим, до сих пор считался с возрастом и опытом Мака, как того требовал император Франциск. Но теперь он настаивал на необходимости немедленного отхода на север со всеми имеющимися силами. Тем не менее Мак цеплялся за свое представление о том, что это французы оказались в тяжелом положении; и он запретил эвакуацию Ульма; после чего эрцгерцог со Шварценбергом, Колловратом, Гюлаем и всеми, чьи инстинкты или ранг побуждали и позволяли им бросить вызов авторитету безумца, собрал 1500 всадников и усакал по северной дороге. Настало время, ибо Ней, прочно обосновавшийся в Эльхингене, продвигал свой авангард к обреченному городу: Мюрату и Ланну было поручено поддержать его на северном берегу, в то время как за рекой Мармон и южнее Сульта отрезать пути отступления в Тироль.

Наконец пелена спала с глаз Мака. Даже сейчас он протестовал против простого упоминания о капитуляции. Но снова был разочарован. Ней взял штурмом Михельсберг к северу от Ульма, позицию, на которую рассчитывали австрийцы; и 17 октября незадачливый командир согласился на условия капитуляции, согласно которым его войска должны были выступить и сложить оружие через шесть дней, если австро-русская армия, способная снять осаду, не появится на сцене. Впоследствии эти условия были изменены захватчиком, который, ублажив своего пленника несколькими вежливыми словами, убедил его сдаться 20-го числа при условии, что Ней со своим корпусом останется под Ульмом до 25-го. Это было последнее преступление Мака против своей страны и своей профессии; его согласие на этот коварный компромисс сразу же освободило другой французский корпус для наступательных операций; и это в то время, когда каждый день был дорог Австрии, России и Пруссии.

20 октября французский император с блестящим посохом, при поддержке прочной стены своей гвардии и в окружении восьми колонн своих войск, принял почести побежденных. Первым вышел их командир, который, преклонившись от горя, вручил свой меч победителю со словами: "Вот несчастный Мак". Затем к подножию Михельсберга выстроились 20 000 пеших и 3000 всадников, которые сложили оружие перед императором, некоторые с вызывающей яростью, большая часть в флегматичном унынии, в то время как другие отбрасывали его со всеми признаками неприличной радости. ^[32] Как будто сами стихии сговорились усилить блеск триумфа Наполеона, солнце, которое в течение нескольких дней было скрыто грозowymi тучами и потоками дождя, теперь ярко светило, заливая сцену мягким осенним сиянием, освещая французские войска, расположенные на склонах этого естественного амфитеатра, в то время как оно отбрасывало глубокие тени от длинного шлейфа колонн. побежденные внизу. Французы были наэлектризованы этим зрелищем: усталость от форсированных маршей по пыльной сентябрьской жаре, слякоть, болота и ливни последних нескольких дней были забыты, и они приветствовали ликующими криками вождя, чья проницательность спланировала и добила триумфа, доселе не имевшего себе равных в анналах войны. "Наш император, - сказали они, - нашел новый способ ведения войны: он ведет ее больше не нашими руками, а нашими ногами". ^[33]

Тем временем за другими австрийскими отрядами велась охота. Из Меммингена в Тироль сбежало всего несколько человек: дивизия, которая при надлежащей поддержке могла бы прорваться к Нердлингену тремя днями ранее, теперь была разбита войсками Мюрата и Ланна; из 13 000 пехотинцев спаслись очень немногие. Большинству всадников удалось присоединиться к эрцгерцогу Фердинанду, по следу которого Мюрат теперь бросился с

неутомимой энергией. *Бо саблер* пронесся в погоне через часть Ансбаха, догнал Фердинанда близ Нюрнберга и разгромил его эскадроны, их командира, насчитывавшие около 1700 всадников и около 500 конных артиллеристов, наконец достигнув укрытия в Богемских горах. Все остальное огромное войско Мака было поглощено.

Так завершилась первая сцена войны Третьей коалиции. Поспешные приготовления, опрометчивые планы и, прежде всего, фатальная изобретательность Мака в воплощении своих идей в факты — вот причины катастрофы, которая лишила союзников шансов. Эрцгерцог Карл, которому помешала упорная защита Массены, был немедленно отозван из Италии, чтобы прикрыть Вену; и, что хуже всего, берлинский двор теперь медлил с обнажением меча.

Однако, даже несмотря на безграничные блага, которыми она осыпала Наполеона на суше, Фортуна грубо обошла его на море. Когда он спешил из Ульма в сторону Ривер Инн, чтобы начать войну в Австрии, он услышал, что французский военно-морской флот разгромлен. Трафальгарская битва произошла на следующий день после того, как армия Мака выступила из Ульма. Величайшее морское сражение столетия стало результатом желания Наполеона, чтобы его корабли доставили помощь его войскам в Италии. Для этого плавания император собирался заменить Вильнева адмиралом Розили, и несчастный адмирал, разгадав это решение, попытался смелым ударом вернуть свое состояние. Он вышел в море, и результатом стал Трафальгар. Было бы излишним описывать этот последний и самый блестящий из подвигов Нельсона, но несколько слов о влиянии этой великой победы на события того времени, возможно, будут уместны. Несомненно, что Вильнев при Трафальгаре сражался в более благоприятных условиях, чем в конфликте 22 июля. Он высадил на берег своих многочисленных больных, его экипажи были обновлены и усилены, и, самое главное, самый худший из испанских кораблей был заменен мореходными и исправными судами. И все же из тридцати трех линейных кораблей он потерял восемнадцать от рук противника, насчитывавшего всего двадцать семь парусов; и один этот факт освобождает его от обвинения в трусости, когда он отказался встретиться с Корнуоллисом и Колдером в июле с кораблями, перегруженными больными и остро нуждавшимися в переоборудовании.

Опять же: часто утверждается, что Трафальгар спас Англию от вторжения. Чтобы опровергнуть эту ошибку, просто необходимо напомнить читателю, что все непосредственные опасения вторжения миновали, когда в конце августа Наполеон двинул Великую армию против Австрии. Только после того, как Континент был завоеван, высадка в Кенте могла стать осуществимой. Такая возможность представилась два года спустя, после Тильзита; тогда, по правде говоря, Соединенное Королевство не испытывало паники, потому что Трафальгар практически уничтожил французский военно-морской флот. Таким образом, для этих островов выгоды Трафальгара были перспективными. Но для Британской империи они были немедленными. Каждая французская, голландская и испанская колония, которая теперь попала в наши руки, была в значительной степени плодом победы Нельсона, которая ознаменовала второй и более обширный этап роста империи.

Наконец, решающее преимущество, которое Британия теперь получила над Наполеоном на море, вынудило его, если он хотел реализовать самые близкие его сердцу планы мирового масштаба, принять метод ведения войны против нас, который он все это время рассматривал как эффективную альтернативу. Еще в феврале 1798 года он указывал, что существует три способа напасть на Англию и разорить ее: либо прямое вторжение, либо установление

французского контроля над Северной Германией, что разрушило бы британскую торговлю, либо экспедиция в Индию. После Трафальгара первая из этих альтернатив была невозможна, а последняя на время отошла на второй план. Второе теперь занимало первое место в его мыслях; он мог поставить Англию на ноги и создать мировую империю, только закрыв доступ к ее товарам со всего Континента и таким образом обрекая ее на промышленное удушение. Одним словом, Трафальгарская битва потребовала принятия Континентальной системы, которая была создана в результате событий, которые сейчас будут описаны.

Примечание к третьему изданию.— Один американский критик обвинил меня в непоследовательности в утверждении, что Третья коалиция не была создана за счет английского золота, потому что я утверждаю (стр. 5), что первые авансы России были сделаны Англией. Мне следовало бы использовать фразу "были сделаны первые *письменные* предложения, которые я нашел" и т.д. "Мемуары" Чарторыйского (том ii, главы ii-iii), к которым я отсылал своих читателей за подробностями, ясно показывают, что Александр и его советники рассматривали разрыв с Францией как неизбежный, но хотели подождать месяца три или около того, пока не прояснятся определенные вопросы; поэтому они осторожно озвучили позицию в Вене и Лондоне. Этот отрывок из Чарторыйского (т. ii, гл. iii) доказывает, что Россия хотела союза с Англией:

"После дипломатического разрыва, последовавшего за казнью герцога Энгиенского, стало необходимым прийти к взаимопониманию с единственной державой, за исключением России, которая считала себя достаточно сильной, чтобы противостоять Франции, — выяснить как можно тщательнее, каковы были ее склонности и замыслы, принципы ее политики и те, к принятию которых ее можно было склонить в определенных обстоятельствах. Было бы большим преимуществом добиться совпадения наших взглядов с таким могущественным государством, как Англия, и стремиться с ней к тем же целям; но для этого было необходимо не только убедиться в ее нынешних склонностях, но и хорошо взвесить возможности будущего после смерти Георга III. и падение министерства Питта. Мы должны были заставить Англию понять, что желания сражаться с Наполеоном само по себе недостаточно для установления неразрывной связи между ее правительством и правительством Санкт-Петербурга...."

В "Ф.О.", Россия, № 55, приводится депеша нашего посла в Санкт-Петербурге адмирала Уоррена от 30 июня 1804 г., в которой он сообщает об обеспокоенности Чарторыйского слухами о переговорах между Англией и Францией: "Принц [Чарторыйский] заметил, что он не мог предположить, после того, что произошло между двумя дворами, и того, как император [Александр] объяснился с Англией, и после мер, которые с тех пор предложила Россия, что Великобритания сразу же сама заключит мир".

Я не нашел никаких следов этих ранних переговоров; но, очевидно, первые предложения о союзе должны были исходить от России. Швеция была первой, кто предложил монархический союз против Наполеона. (Смотрите мою статью в "Revue Napoléonienne" за июнь 1902 года.)

ГЛАВА XXIII

АУСТЕРЛИЦ

После капитуляции Ульма французский император выступил в поход против русской армии, которая, как он сказал своим войскам, *привезла английское золото со всего света*. Как это обычно бывает с коалициями, ни один из союзников не был готов вовремя и не прислал свою полную квоту. Вместо 54 000 человек, которых Александр обещал отправить на поддержку Австрии, он отправил пока только 46 000; и из них 8000 были отправлены в Подолию, чтобы наблюдать за воинственными действиями турок, которых французы настроили против москвитов.

Но у Александра было другое и более веское оправдание для того, чтобы не обнажать свою военную сферу, а именно двусмысленная политика Пруссии. До середины октября эта великая военная держава придерживалась своего несколько угрожающего нейтралитета, что мало чем отличалось от позиции скандинавских государств, которые в 1691 году остались глухи к мольбам Вильгельма Оранского выступить за свободу Европы против Людовика XIV и были названы Третьей стороной. Однако, похоже, что у прусского короля были некоторые основания для такого поведения: он опасался польского влияния, которое Чарторыйский оказывал на царя, и увидел в просьбе России о предоставлении права проезда через прусскую Польшу глубоко продуманный план захвата этой территории. Действительно, письма Чарторыйского доказывают, что такой план был выдвинут и нашел большое одобрение у царя, хотя в последний момент он благоразумно отложил его в долгий ящик. ^[34]

На некоторое время колебания Пруссии были прекращены вторжением Наполеона в Ансбах и откровенными объяснениями Александра в Потсдаме; но тем временем задержки, вызванные подозрениями Пруссии, расстроили планы Австрии. Недельная отсрочка, предоставленная Наполеоном, или неделя, выигранная русскими на фактическое время их похода, изменили бы всю ситуацию в Баварии — и Пруссия обнажила бы меч против Франции, чтобы отомстить за оскорбление при Ансбахе.

10 октября Харденберг сообщил австрийскому послу Меттерниху, что Фридрих Вильгельм собирается выступить от имени союзников. Однако ничего не было предпринято до тех пор, пока Александр не достиг Потсдама, и первое известие, которое он получил по прибытии (25 октября), было о сдаче Ульма. Тем не менее, влияние царя поставило под сомнение усилия Хогвица и французской партии и удержало это правительство в его решимости, которая 3 ноября приняла форму Потсдамского мирного договора между Россией, Австрией и Пруссией. Фридрих Вильгельм обязался предложить вооруженное посредничество Пруссии и, в случае

отказа Наполеона, присоединиться к союзникам. Требования Пруссии были следующими: контрибуции для короля Сардинии в Ломбардии, Лигурии и Парме; независимость Неаполя, Голландии, Германии и Швейцарии; и Минчо как граница Австрии в Италии. ^[35]

Посланник должен был предложить эти условия Наполеону и привезти определенный ответ в течение месяца с момента его отъезда, а тем временем 180 000 пруссаков готовились угрожать его флангу и тылу. Александр также тайно пообещал себе использовать свое влияние на Георга III, чтобы получить Ганновер для Фридриха Вильгельма в конце войны, Англия тем временем субсидировала Пруссию и ее саксонских союзников в обычных масштабах. После этого царь сопровождал короля и королеву в склеп Великого Фридриха, поцеловал гробницу и, прощаясь с их величествами, бросил многозначительный взгляд на алтарь. ^[36]

Опасался ли он миролюбивых наклонностей короля или предательства Хогвица? Трудно увидеть добросовестность в каждой детали договора. Помимо странного предположения, что Англия будет субсидировать Пруссию, а также откажется от Ганновера, способ, которым должно было быть предложено вооруженное посредничество, оставлял несколько лазеек для побега. После сдачи Ульма потребовались быстрые и энергичные действия, чтобы восстановить равновесие; однако была выторгована месячная отсрочка. Кроме того, Хаугвиц, на которого была возложена эта важнейшая миссия, отложил свой отъезд на десять дней под предлогом того, что войска Пруссии не смогут быть готовы раньше середины декабря. Таково было заявление неторопливого герцога Брауншвейгского; но его едва ли можно согласовать с угрозой Фридриха Вильгельма месяцем ранее немедленно начать войну против русских, если они вторгнутся на его земли. И все же теперь этот монарх одобрил задержку. Таким образом, Хаугвиц выступил в путь только 14 ноября, и к тому времени Наполеон овладел Веной, а союзники отступали в Моравию.

Теперь мы переходим к сцене войны. Впервые в современной истории столица Габсбургов попала в руки иностранного врага. Теперь Наполеон обосновался в величественном дворце Шенбрунн, в то время как Франциск бежал в Ольмюц, а эрцгерцоги Карл и Иоанн боролись в альпийских ущельях, чтобы оторваться от авангарда Массены. Марш французов на Вену, а оттуда на север к Брюнну, привел только к одному инциденту, представляющему общий интерес, а именно к захвату у австрийцев моста через Дунай к северу от Вены. По мере приближения к городу эта великая река разливается на несколько протоков, самый большой из которых находится на севере. Деревянный мост выше по реке был сожжен русским арьергардом, и остался только мост или мосты напротив города, на владение которыми Наполеон возлагал большие надежды. Поэтому он поручил Мюрату и Ланнесу по возможности обезопасить их.

Мюрат страдал из-за недовольства императора поспешным наступлением на Вену, которое едва не стоило существования корпусу Мортье на другом берегу. Действительно, только благодаря самой решительной храбрости остатки этого корпуса проложили себе путь через превосходящие силы противника. Мюрату, который должен был поддерживать тесную связь с Мортье с помощью флотилии лодок, не терпелось исправить свою ошибку, и теперь вместе с Ланном, Бертраном и офицером инженерных войск он приблизился к первой части моста, как будто для переговоров во время неофициального перемирия, которое только что обсуждалось, но не было заключено. Французские маршалы разместили гренадеров генерала Удино, людей, столь же известных своими боевыми качествами, как и их командир, за зарослями, которые

тянулись вдоль южного берега и частично прикрывали подход. Дощатая баррикада на южном конце была теперь разрушена, и четверо французов двинулись вперед. Австрийский конный часовой выстрелил из карабина и галопом помчался к главному мосту; после этого четверо мужчин приблизились, подозвали командовавшего там офицера, как бы для переговоров, и остановили его в тот момент, когда он стрелял из пороха, хранившегося под мостом, с заверением, что перемирие заключено или вот-вот будет заключено.

Достигнув северной оконечности, они повторили свой рассказ и заявили, что видели командира. Пока защитники колебались, гренадеры Удино быстро продвигались вперед. Как только они были замечены, австрийцы снова приготовились поджечь мост. Их снова умоляли воздержаться, поскольку мир был практически подписан. Но когда гренадеры достигли северного берега, маска была сброшена: к ним спешили свежие войска, и теперь шанс вырвать мост из их рук был упущен. С помощью этих средств Мюрат и Ланн обеспечили себе бесспорный проход на северный берег, за который французам пришлось отчаянно сражаться четыре года спустя. Наполеон был восхищен подвигом Мюрата, который значительно способствовал его преследованию союзников, и он сразу же вернул этому маршалу высокое расположение. Но те, кто ставил джентльменское поведение выше очарования успеха обманщика, даже тогда не замедлили выразить свое неодобрение этому акту вероломства. ^[37]

Длительное отступление в Моравию, неожиданная слабость войск Габсбургов и нехватка припасов тяжело сказались на настроении Александра, о чем свидетельствует его письмо из Ольмюца королю Пруссии от 19 ноября: "Наше положение более чем критическое: мы стоим почти одни против французов, которые наступают нам на пятки. Что касается австрийской армии, то ее не существует.... Если ваши армии пойдут в наступление, все положение сразу изменится". ^[38] Однако несколькими днями позже, когда под рукой оказалось еще 27 000 русских, включая его императорскую гвардию, царь перешел от глубин депрессии к вершинам уверенности. Осторожность его осторожного командира Кутузова, который настаивал на фабианской политике промедления и отступления, теперь начала утомлять его. Отступление в северную Венгрию казалось позорным. И хотя Фридрих Вильгельм придерживался своего решения не обнажать меч до 15 декабря, а к тому времени эрцгерцог Карл с большой армией ожидался под Веной, все же впечатлительный молодой автократ пренебрег требованиями досадного благоразумия. Напрасно Кутузов и Шварценберг настаивали на необходимости отсрочки и отступления: Александр больше прислушивался к опрометчивым советам своих более молодых офицеров. Был отдан приказ наступать на Брунн, и успешная кавалерийская стычка при Вишау утвердила царя в необходимости перехода от стратегии Фабия к стратегии Варрона.

Наполеон, находившийся сейчас в Брюнне, уже предугадал эту перемену в настроении своего врага и отозвал своих людей с явной целью потакать последнему настроению Александра и склонить его к решающему сражению. Он ясно увидел преимущество сражения сразу. Новые предложения о перемирии, которые он получил от благоразумного Франциска, могли бы сами по себе убедить его в этом; и они подоспели вовремя, чтобы привести ему довод, достаточно убедительный, чтобы обескуражить прусского посланника, который теперь приближался к его ставке.

После того, как Хаугвиц направился в Вену и был отправлен обратно в Брюнн, он прибыл туда 29 ноября. ^[39] О последовавшей за этим четырехчасовой частной беседе с Наполеоном у нас есть

лишь скудные записи, да и те самого Хаугвица, у которого были все основания искажать правду. Он утверждает, что был принят с ледяной холодностью и сразу понял, что малейшая угроза враждебного давления со стороны Пруссии заставит Наполеона заключить сепаратный мир с Австрией. Но после первого часа император, казалось, оттаял: он обсудил вопрос о континентальном мире и отбросил всякое негодование по поводу поведения Пруссии: наконец, он дал общее согласие на ее предложения при двух условиях, а именно, что Пруссия не должна позволить союзным войскам, находившимся в то время в Ганновере, вторгнуться в Голландию и что французский гарнизон в крепости Гамельн, окруженной теперь пруссаками, должен быть обеспечен продовольствием. На обе эти просьбы Хаугвиц согласился и дал слово своего короля, акт самонадеянности, от которого этот монарх должен был отказаться.

Превысив свои инструкции по этой части, Хаугвиц практически ничего не сделал для продвижения главного дела своей миссии. Либо его собственные страхи, либо искусная смесь угроз и лести, которой обольщалось так много послов, заставили его пренебречь интересами Пруссии и сыграть на руку тому самому человеку, честолюбие которого он был послан обуздать. После беседы, когда посланник удалился к себе, Коленкур поспешил предупредить его, что битва неизбежна, что его личная безопасность может быть под угрозой и что Наполеон просит его отправиться в Вену, где он мог бы проконсультироваться с Талейраном по государственным делам. Лошади и эскорт были готовы, и Хаугвиц отправился в этот город, куда прибыл 30 ноября, но обнаружил, что Талейрану строго-настрого запретили делать что-либо большее, чем развлекать его банальностями. Таким образом, важнейший вопрос о действиях прусских легионов был снова отложен, даже когда 150 000 пруссаков и саксонцев были готовы выступить против французских коммуникаций.

Письмо Наполеона Талейрану от 30 ноября раскрывает его тайную тревогу в то время. По правде говоря, кризис был ужасным. С превосходящими силами впереди, с эрцгерцогами Фердинандом и Карлом, угрожавшими окружить Богемию и Венгрию на его флангах, в то время как две прусские армии были готовы ударить ему в тыл, его положение было таким же серьезным, как у Ганнибала при Каннах, от которого карфагенянин освободился только благодаря этому сокрушительному удару. Вдохновил ли этот пример французского императора, или он воспользовался советом из своих собственных безграничных ресурсов ума и воли? Несомненно то, что после мимолетного приступа уныния он собрался с духом для последнего усилия и поставил все на эффект одного мощного удара. Чтобы поторопиться с началом сражения, он притворился обескураженным и отвел свои линии от Аустерлица к Гольдбаху. Он уже отправил генерала Савари к царю с предложениями о кратковременном перемирии.^[40] Слово "перемирие" теперь звучало коварно; его предложение через Савари, руки которого были обагрены кровью герцога Энгиенского, само по себе было оскорблением, и Александр оказал этому посланнику самый прохладный прием. Взамен он послал князя Долгорукого, лидера воинственной молодежи, ныне пользующегося большим успехом, который с гордостью заявил французскому императору о желаниях своего господина относительно независимости Европы, добавив, среди прочего, что Голландия должна быть свободной и к ней должна быть присоединена Бельгия.

Это предложение очень позабавило Наполеона, который ответил, что теперь России следует подумать о своих собственных преимуществах на стороне Турции. Ответ убедил царя в том, что Наполеон опасался конфликта из-за своего опасно продвинутого положения. Он не знал ресурсов своего противника. Наполеон поспешил собрать все доступные полки. Корпус

Бернадотта был отозван с границы Богемии; дивизия Фрианта численностью 4000 человек получила приказ перебраться из Прессбурга; и форсированными маршами она также была почти рядом в ночь на 1 декабря, измученная усталостью после того, как за два дня преодолела огромное пространство, но готовая на следующий день нести отличную службу.^[41] Благодаря этой своевременной концентрации Наполеон довел свои силы в общей сложности по меньшей мере до 73 000 человек, в то время как противник основывал свой план на предположении, что у Наполеона было менее 50 000 человек, и он едва ли смог бы противостоять натиску превосходящих сил.

Их план был опрометчивым даже для армии, насчитывавшей около 80 000 человек. Австрийский генерал Вейротер убедил царя, что энергичное наступление его левого крыла, которое опиралось на южные отроги Праценберга, отбросит назад правый фланг Наполеона, расположенный между деревнями Кобельниц и Сокельниц, и таким образом свернет его длинную линию, протянувшуюся за Шлапаниц. Этот шаг, в случае успеха, позволил бы не только выиграть день, но и решить исход кампании, отрезав французов от поставок, поступавших с юга, и загнав их на истощенные земли вокруг Ольмютца. Таков был план Вейротера, который очаровал царя и вселил страхи в ветерана Кутузова: он был изложен русским и австрийским генералам после полуночи 2 декабря. Сильный на большом центральном холме Праценберг и под прикрытием его деревни у подножия, царь не опасался за свой центр: своему правому, или северному, крылу он уделял еще меньше внимания, поскольку оно прочно опиралось на деревни и было сильным в кавалерии и артиллерии; но ожидалось, что его левое крыло, включавшее в себя полные две пятых армии союзников, легко разгромит слабый и рассеянный правый фланг Наполеона и тем самым решит исход дня. Кутузов понимал опасность сосредоточения там столь больших сил и ослабления центра, но, к сожалению, промолчал.

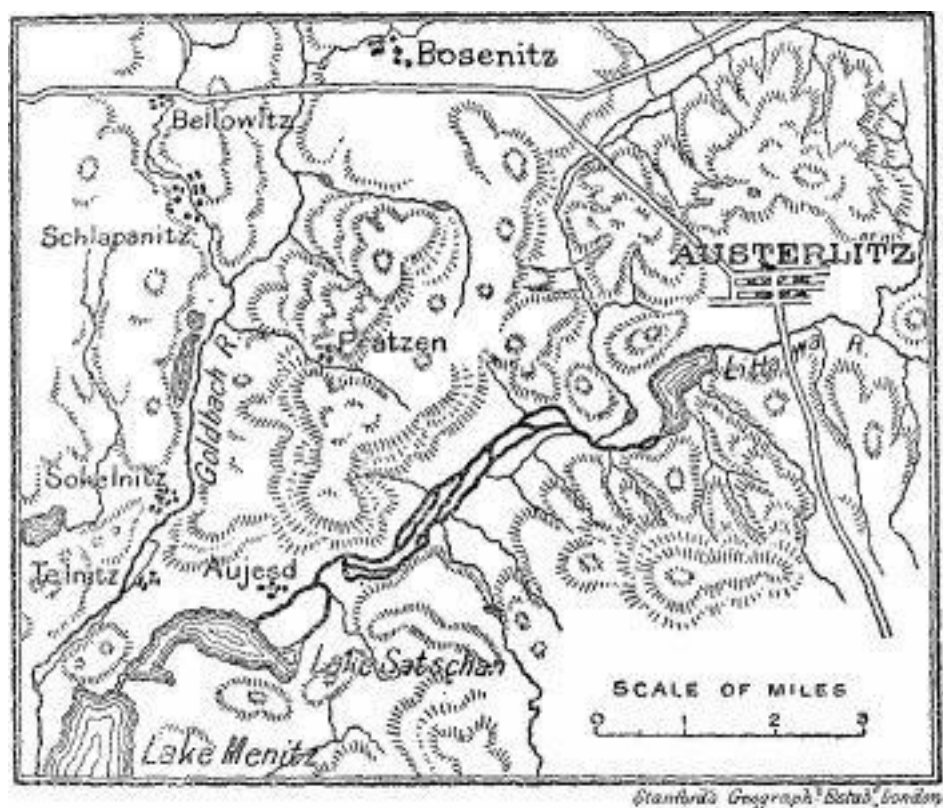
Наполеон уже разгадал их тайну. В своем боевом порядке он доверился своим войскам, сказав им, что, пока враг будет поворачивать направо, они подставят свой фланг под его удары. Объявить об этом заранее было странно смело, и считалось, что он узнал этот план от какого-то предателя из штаба противника. Никаких доказательств этого приведено не было; и такое объяснение кажется излишним тем, кто наблюдал сверхъестественную способность Наполеона разгадывать замыслы своего противника. Идея отвести одно крыло, чтобы соблазнить противника чрезмерно растянуть свою линию на этой стороне, а затем сокрушить его в центре или отрезать от центра, является общей как для Кастильоне, так и для Аустерлица. Это правда, особенности местности, пылкость русской атаки и масштабность операций придали нынешнему конфликту величие и ужас, которых не хватало Кастильоне. Но тактика, позволившая выиграть оба сражения, была в корне одинаковой.

Он изучил местность перед Аустерлицем; и бесценный дар стратегического воображения показал ему, на что был бы способен опрометчивый и эффектный лидер на этой местности;^[42] он соблазнил его на это, и объявление плана противника французским солдатам придавало оттенок хорошего товарищества, которое гарантировало их преданность на следующий день. В полночь, когда он вернулся с посещения аванпостов, солдаты встретили его странным озарением: повинувшись общему порыву, они сорвали солому со своих грубых укрытий и подняли горящие огоньки на длинных шестах, танцуя при этом в честь невысокой фигуры в сером плаще и крича: "Это годовщина коронации. Да здравствует император". Так наступил великий день. Небо сияло, отдавая дань уважения героизму армии: покрытые инеем облака вторили многочисленным приветствиям; и русские, повернувшись влево, предположили, что, в конце

концов, французы будут стоять на своих местах и сражаться, в то время как другие увидели в вспышке сигнал о том, что Наполеон снова собирается отступить.

2 декабря вполне может быть самым знаменитым днем наполеоновского календаря: это был день его коронации, это был день Аустерлица, а поколение спустя другой Наполеон выбрал его для своего *государственного переворота*. "Солнце Аустерлица", которое тогда приветствовал племянник, взирало сверху вниз на зрелище, сильно отличавшееся от того, которое он хотел позолотить заимствованным великолепием. Смутно пробиваясь сквозь густые завесы тумана, он освещал лица 73 000 французов, решивших победить или умереть: он отбрасывал причудливые тени на серые колонны России и белые мундиры Австрии, когда они сомкнутыми рядами продвигались к замерзшим болотам Гольдбаха. Поначалу союзники не встретили особого сопротивления, и конница Кинмайера очистила французов от Тельница и равнины за ним. Но дивизия Фрианта, спешившая с запада, возобновила бой и выбила первых нападавших из деревни. Другие, однако, наступали, численностью в двадцать девять батальонов, и не вся стойкая храбрость солдат Даву помогла удержать этот рубеж. В этом не было необходимости. План Наполеона состоял в том, чтобы позволить левым силам союзников скомпрометировать себя на этой стороне, в то время как он нанесет решающие удары на стыке с центром на южном отроге Праценберга.

По этой причине он приучил Даву к оборонительной тактике, для которой его упрямый методический гений в высшей степени подходил ему, пока французский центр не вытеснил русских с плато. Напротив или вблизи этой высоты он разместил корпуса Сульта и Бернадотта, поддерживая их гренадерами Удино и императорской гвардией. Этим внушительным силам противостоял русский центр, ослабленный крупными силами, направленными в направлении Тельница, но сильный своими позициями и опытом своего лидера Кутузова. Осторожность побуждала его сдерживать своих людей до последнего момента, пока необходимость придания сплоченности поворотному движению не заставит царя нетерпеливо отдать приказ о наступлении. Едва русские спустились за Працен, как подверглись яростной атаке. Вандамм, уже тогда известный как один из сильнейших нападающих в армии, вел свою дивизию корпуса Сульта вверх по северным склонам плато; косым заходом его люди отрезали отряд русских в деревне и при поддержке бригады Тибо ворвались на холм со скоростью, которая удивила и поколебала позиции его защитников. Гренадеры Удино и императорская гвардия были готовы поддержать Сульта, но солдаты его корпуса прославились захватом плато и оттеснением русских. Тем не менее, они вернулись в атаку. Александр и Кутузов поняли важность высот и подтянули большую часть своих резервов. Вскоре дивизии



БИТВА При АУСТЕРЛИЦЕ

Вандама и Сент-Илера отбросили назад, и потребовалась вся огромная боевая мощь их войск, чтобы выстоять против массы воющих русских. В течение двух часов битва там раскачивалась взад и вперед; и Тибо порицал Наполеона за отсутствие поддержки, а Сульта - за его апатию во время этого солдатского сражения.

Но император ожидал развития событий на флангах. На равнине дальше к северу бушевало ожесточенное сражение всех родов войск. Там союзники сначала закрепились, австрийская кавалерия хорошо сохранила свою старую славу; но пехота корпуса Ланна, поддержанная мощной артиллерией, размещенной на небольшом коническом холме, быстро остановила их атаки; французская кавалерия, направленная Мюратом и Келлерманом в некотором роде на манер британской кавалерии при Ватерлоо, чтобы поддерживать каре и прорываться через промежутки в преследовании, вскоре предприняла наиболее эффективные атаки на плотные эскадроны союзников, и, наконец, общее наступление Ланна и Мюрата опрокинуло колеблющиеся линии противника и отбросило их назад. по направлению к маленькому городку Аустерлиц.

Таким образом, к полудню боевые порядки изменились, пока не растянулись вдоль течения реки Литтава, за исключением того места, где союзники выдвинули длинный и, по-видимому, успешный клин за Тельниц. Царь видел опасность, исходящую от этого почти изолированного крыла, и стремился поддерживать с ним связь; но недостатки плана союзников были теперь болезненно очевидны. Наполеон, располагавший внутренними линиями, в то время как его противники были рассеяны по неправильной дуге, мог усилить свой сильно сжатый правый фланг. Там Даву медленно возвращался назад, когда марш Дюрока с частью императорской гвардии восстановил равновесие на той стороне. Французский центр также был укреплен своевременным прибытием части корпуса Бернадотта. Этот маршал направил дивизию к северным склонам плато, поскольку он предвидел, что там его хозяину понадобятся все люди, чтобы нанести последние удары. ^[43]

По правде говоря, Александр и Кутузов упорно боролись за возвращение Праценберга. Четырежды москвиты бросались на французский центр, и не без мимолетных проблесков успеха. Здесь произошло самое знаменитое кавалерийское сражение войны. Русские гвардейцы, верхом на превосходных лошадях, вырезали два батальона Вандама, когда Рапп прискакал им на помощь с егерями французской императорской гвардии. Эти отборные отряды всадников встретили ужасный удар, который привел русских в замешательство. Объединенные другими эскадронами, они теперь опрокинули нападавших и, казалось, вот-вот одолеют их, когда Бессьер с тяжелой кавалерией гвардии обрушился на фланг московской конницы и загнал их ряды, конных и пеших, в долину за ней.

Уверенный в своем центре, Наполеон теперь направил корпус Сульта вниз по юго-западным отрогам плато во фланг и тыл левому флангу союзников: это неожиданное наступление оказалось решающим: французы, с торжествующими криками спускавшиеся по склонам, отрезали несколько батальонов на берегах Гольдбаха, рассеяли другие в стремительном бегстве к Брюнну и оттеснили большую часть к озеру Телниц. Здесь неприятности союзников достигли кульминации. Нескольким удалось преодолеть узкий болотистый проход между двумя озерами; но плотные группы не нашли другого пути к спасению, кроме замерзшей поверхности верхнего озера. В некоторых местах лед выдерживал тяжесть беглецов; но там, где они толпились скопом или где он был изрезан пронзительным огнем французских пушек на высотах, толпы людей гибли. Сами победители были ошеломлены этим зрелищем; и, к чести человеческой природы, многие пытались спасти своих тонущих врагов. Среди прочих, юный Марбо подплыл к льдине, чтобы помочь вытащить на сушу русского офицера, - рыцарский подвиг, вызвавший похвалу Наполеона. Император достойно завершил этот славный день, посетив землю, наиболее густо усеянную его ранеными, и отдал распоряжения по их лечению или вывозу. Словно довольный победой, он почти не обращал внимания на погоню. По правде говоря, никогда с тех пор, как Мальборо рассек франко-баварскую армию надвое при Бленхейме, не было битвы, столь ужасной в своем финале и столь решающей по своим результатам, как битва при трех императорах, которая стоила союзникам 33 000 человек и 186 пушек.

Императоры Александр и Франциск скрылись в ночи на востоке. Теперь между ними существовало молчаливое понимание того, что кампания подошла к концу. В ту ночь Франциск прислал предложения о перемирии; и через два дня Наполеон согласился на перемирие (подписанное 6 декабря) при условии, что Франциск отошлет русскую армию и полностью исключит Пруссию из своих владений. Контрибуция в размере 100 000 000 франков была также

возложена на владения Габсбургов. На следующий день Александр пообещал немедленно вывести свою армию; и Франциск приступил к переговорам о мире с Наполеоном. Это было нарушением договоров Третьей коалиции, которые предписывали, что сепаратный мир заключаться не должен.

При сложившихся обстоятельствах поведение Габсбургов было простительно, но кажущийся распад коалиции дал берлинскому двору вескую причину отказаться нести это бремя в одиночку. Фридриха Вильгельма обескуражил не Аустерлиц, ибо, услышав об этой катастрофе, он написал, что будет верен своему обещанию, данному 3 ноября. Но затем, в решающий день (15 декабря), пришло известие о дезертирстве Австрии, выводе армии Александра и закрытии земель Габсбургов для прусских войск. Эти факты освобождали Фридриха Вильгельма от его обязательств перед этими Державами и позволяли ему совершенно добросовестно хранить свой меч в ножнах. Эта перемена, к сожалению, притупила воинственный пыл его армии, но это нельзя было назвать дезертирством России и Австрии. ^[44] Позор пришел позже, когда на Рождество Хаугвиц прибыл в Берлин и рассказал королю и министрам о своей беседе с Наполеоном во дворце Шенбрунн и о договоре, который победитель тут же предложил Пруссии на острие меча.

Для большинства людей такая великая победа, как Аустерлиц, принесла бы краткий отдых, особенно после непрерывных трудов и тревог предыдущих двух недель. Однако теперь, избавившись от всякого страха перед Австрией, Наполеон сразу же использовал все свои изощренные государственные уловки, чтобы распустить зарождающуюся коалицию. И Судьбе было угодно, чтобы, окрыленный триумфом, он имел дело с робким хронометристом.

Проклятие политики поддержания хрупкого равновесия во время урагана заключается в том, что она лишает сил того, кто балансирует, пока, наконец, миротворец не уподобится жонглеру. Десятилетие компромиссов и уклонения от трудностей ослабило дух Пруссии, пока самым тяжелым испытанием для ее короля не стало совершение любого шага, который нельзя было повторить. Он часто говорил "с чувством, если не энергично" о затруднениях своего положения между Францией, Англией и Россией. ^[45] И, как в случае с другим *добрым отцом семейства*, Людовиком XVI, которого Природа создала для фермерского дома, а Судьба бросила в революцию, недостаток дальновидности и решимости выбил дух из его советников и превратил государственных деятелей в обрезчиков. Еще до того, как известие об Аустерлице достигло ушей Талейрана и Гогвица в Вене, предъявитель ультиматума Пруссии выдавал себя за друга Франции. По всем поводам он носил орден Почетного легиона; и пока войска Востока и Запада вели смертельную схватку на Праценберге, он пытался убедить министра иностранных дел Франции, что пруссаки вошли в Ганновер только для того, чтобы сохранить мир в Северной Германии; что, поскольку русские пересекли территорию Пруссии, французы, конечно, будут также вольны сделать это; что Фридрих Вильгельм возражал против ввода любых английских войск в Ганновер, который *де-факто* принадлежал Франции; и, наконец, что Венецианский мирный договор был нарушен. Потсдам вообще не был международным договором, а всего лишь декларацией с "предложением добрых услуг и посредничества Пруссии, но без какого-либо примешивания враждебных намерений". Вполне мог бы Талейран написать Наполеону: "Я очень доволен господином Хогвицем". ^[46]

Таким образом, победа Наполеона над прусской дипломатией была одержана еще до того, как молниеносный удар при Аустерлице уничтожил Третью коалицию. Хаугвиц начал свою встречу с

победителем при Шенбрунне 13 декабря с поздравления Фридриха Вильгельма по случаю его победы при Аустерлице, на что император ответил саркастическим вопросом, стал бы он вообще говорить о дружбе своего господина, если бы результат той битвы был иным. ^[47] Приведя таким образом в замешательство посланника и упрекнув его в нарушении Потсдамского мирного договора, Наполеон разоблачил свою батарею, предложив Пруссии Ганноверское курфюршество в обмен на сравнительно незначительные жертвы Ансбаха Баварии, а Клеве и Невшателя Франции. За потерю этих отдаленных районов Пруссия могла бы купить эту долгожданную землю. ^[48] Посланник был ослеплен этим блестящим предложением и другими, которые последовали за ним. Завоеватель предложил наступательный и оборонительный союз, в соответствии с которым Франция и Пруссия взаимно гарантировали свои земли вместе с предполагаемыми присоединениями в Германии и Италии; и Берлинский двор также должен был поддерживать независимость Турции.

Таковы были условия, которые Наполеон безапелляционно потребовал, чтобы Хаугвиц подписал в течение нескольких часов: и предъявитель ультиматума Пруссии 15 декабря подписал Шенбруннский мирный договор, который низвел потенциальную третейскую судью Европы до ее прежнего положения сытой приверженки Франции. Таково было известие, которое Хаугвиц принес своему изумленному королю. Прием его был самым прохладным, ибо Фридрих Вильгельм был честным человеком, который стремился к миру, процветанию и благоденствию своего народа, а теперь увидел себя перед альтернативой войны или национального унижения. По правде говоря, каждый поворот и удвоение его курса теперь все глубже влекли его к дискредитации и разорению, которые будут описаны в следующей главе.

Оставив пока этого несчастного короля среди его растущих затруднений, мы возвращаемся к делам Австрии. Одно только несчастье Мака повергло это правительство в пучину отчаяния, и мы узнаем от лорда Гауэра, нашего посла в Санкт-Петербурге, что он видел копии писем, написанных императором Франциском Наполеону, "составленных в выражениях смирения и покорности, недостойных великого монарха", на которые последний ответил тоном превосходства и притворного сочувствия, а также требованием вернуть земли Габсбургов в Венеции и Швабии. ^[49]

Тот же тон жалобного уныния сохраняли Кобенцль и другие австрийские министры даже до Аустерлица, когда Пруссия была готова обнажить меч; и они присылали предложения о мире, когда их врагу было выгоднее просить об этом. После этой битвы и, тем более, после подписания перемирия 6 декабря они оказались во власти победителя, и Наполеон это знал. Прознав о внутренней слабости берлинского двора, он теперь с безжалостной суровостью давил на Габсбургов. Он предложил отнять у них швабские и тирольские земли и их долю в добыче Венеции. Тщетно австрийские уполномоченные боролись с этими суровыми условиями, отстаивая Тироль и Далмацию и указывая на невозможность собрать 100 000 000 франков с территорий, разоренных войной. Напрасно они выдвигали претензии на Ганновер для одного из своих эрцгерцогов: хотя Талейран настаивал на преимуществе этого шага как на расторжении англо-австрийского союза, Наполеон и слышать об этом отказался, поскольку в то время он предлагал этот электорат Хогвицу. ^[50] Еще меньше он хотел бы услышать хоть слово в защиту Неаполитанского суда, поведение которого вызвало его негодование. Максимум, чего смогли добиться от него австрийские посланники, было сокращение военного взноса до 40 000 000 франков.

Условия, окончательно сформулированные в Прессбургском мирном договоре (26 декабря 1805 г.), можно резюмировать следующим образом: Австрия признала недавние приобретения и изменения титулов, сделанные Наполеоном в Италии, и уступила ему свои части Венеции, Истрии и Далмации. Она признала титул короля, который теперь был дарован Наполеоном курфюрстам Баварии и Вюртемберга, - изменение, которое не должно было аннулировать их членство в "Германской конфедерации". Этим властителям и курфюрсту (ныне великому герцогу) Бадена Габсбурги уступили все свои разрозненные швабские владения, в то время как Бавария также получила Тироль и Форарльберг. В качестве небольшой компенсации за эти тяжелые потери Австрия получила Зальцбург, курфюрст которого должен был получить от Баварии бывшее княжество Вюрцбург. Владения и доходы Тевтонского и Мальтийского орденов были секуляризованы, чтобы предоставить уделы некоторым другим князьям Дома Габсбургов; и еще один удар по германской системе был нанесен декларацией о том, что Наполеон гарантировал полный суверенитет правителей Баварии, Вюртемберга и Бадена. Фактически, как будет показано в следующей главе, Наполеон теперь узурпировал власть в Германии, ранее принадлежавшую Габсбургам, и распространил свое влияние на восток до Ривер Инн, а на юге - вплоть до отдаленного города Рагуза на Адриатическом море.

Но одно дело одержать блестящий дипломатический триумф, и совсем другое - обеспечить прочный мир. Прессбургский мир поднял Наполеона на высоты могущества, о которых Людовик XIV и не мечтал, но его превосходство было в лучшем случае ненадежным. Когда на умеренных условиях он мог бы обеспечить союз Австрии и разорвать ее дружбу с Англией, он предпочел наступить ей на пятку и возбудить в ней тайную, но непримиримую ненависть.

И его выбор был осознанным. Двумя месяцами ранее Талейран направил ему меморандум по вопросу о франко-австрийском союзе, который основан на интуиции государственного деятеля. Он заявил, что существуют четыре Великие державы — Франция, Великобритания, Россия и Австрия: он исключил Пруссию, чей взлет к величию при Фридрихе Великом был лишь временным. Австрия, утверждал он, должна оставаться Великой державой. Она выступала против революционной Франции; но с Имперской Францией у нее не было длительной ссоры. Скорее, ее явная судьба столкнулась с судьбой России на нижнем Дунае, где приближающийся распад Османской империи должен был привести эти государства к конфликту. Таким образом, это была хорошая политика - дать решительный, но дружественный поворот политике Габсбургов на восток. Пусть Наполеон откровенно обратится к императору Франциску и фактически скажет: "Я никогда не искал этой войны с вами, но я победил: я хочу восстановить полную гармонию между нами; и, чтобы устранить все причины для разногласий, вы должны отказаться от своих швабских, тирольских и венецианских земель: из них Тироль перейдет к князю по вашему выбору, а Венеция (вместе с Триестом и Истрией) сформирует аристократическую республику под властью магистрата, назначенного в первую очередь мной. В качестве компенсации за эти потери вы получите Молдавию, Валахию и северную Болгарию. Если русские будут возражать против этого и нападут на вас, я буду вашим союзником ". Таково было предложение Талейрана. ^[51]

Легко критиковать его во многих деталях; но не может быть никаких сомнений в том, что его принятие Наполеоном заложило бы более прочную основу для французского превосходства, чем это было обеспечено Прессбургским и Тильзитским мирными договорами. Австрия не была бы глубоко уязвлена, как это было сейчас, переходом ее верных тирольцев под ненавистное правление Баварии и неприкрытым триумфом Наполеона в Италии и на Адриатическом

побережье. Более того, выделение Тироля и Венеции в отдельные государства было бы мудрой уступкой этим клановым обществам; и Австрия не смогла бы занять первенство в возмущенных тирольских настроениях, которое она взяла на себя четыре года спустя. Вместо того чтобы выступать в качестве лидера немецкой национальности, она была бы в худших отношениях с царем по Восточному вопросу; и их разногласия позволили бы Франции диктовать свои собственные условия относительно раздела владений султана. Талейран не стремился разрушить традиционную дружбу Англии и Австрии, и мы можем представить себе радость, с которой он услышал от посланцев Габсбургов требование Ганновера в то время, когда английское золото рекой лилось в пустые сундуки Вены. Это было верное средство посорить Англию и Австрию по крайней мере на одно поколение. Но этот дальнейший шанс предотвратить будущие коалиции был также отвергнут Наполеоном, который сознательно решил сделать Австрию смертельным врагом и усилить ее соперницу Пруссию. ^[52]

Почему Наполеон отверг план Талейрана? Несомненно, я думаю, потому, что он решил создать Континентальную систему, которая должна была "герметично изолировать" побережья Европы от английской торговли. Если он хотел воплотить в жизнь те золотые мечты своей юности о кораблях, колониях и восточной империи, которые, даже несмотря на славу Аустерлица, он ставил намного выше любого европейского триумфа, он должен был расширить свою береговую систему и подчинить или примирить приморские государства. Из них наиболее важными были Пруссия и Россия. Морская торговля Австрии была незначительной, и ее можно было легко контролировать из ее вассальных земель Венеции и Далмации. Будущему завоевателю Англии дружба или ненависть Австрии казались неважными: он предпочитал подавлять эту державу, теперь почти не имеющую выхода к морю, и крепко связывать себя узами союза с Пруссией при условии, что она не будет ввозить британские товары. ^[53]

Та же причина заставляла его надеяться на союз с Россией. Только с помощью России и Пруссии он мог отгородиться от Англии на Балтике; и, чтобы заручиться этой помощью, он отдал Ганновер Пруссии, а Дунайские государства - царю. Для основателя Континентальной системы такой выбор был естественным; но, если рассматривать его с точки зрения континентальной политики, его отношение к Австрии было серьезной ошибкой. Его ужасающее давление на ее пестрые земли придало им прочность, которой они никогда раньше не знали; и менее чем через четыре года завоеватель имел основания пожалеть о том, что довел Габсбургов до отчаяния. Можно даже усомниться в том, что сам Аустерлиц не был для него несчастьем. Незадолго до этого сражения он думал обойтись с Австрией снисходительно, взяв только Верону и Леняго и обменяв Венецию на Зальцбург. Это отделило бы ее от Коалиции и сделало другом Власти, которая от природы склонна к консерваторству.

После Аустерлица он бросился в другую крайность и вынудил Габсбургов к вражде, в которой брак Марии Луизы был всего лишь вынужденным и непростым перемирием. Его мотивы, по моему мнению, следует связывать не с простой жадностью господства, а скорее с обоснованной, хотя и преувеличенной убежденностью в необходимости Пруссии и России для его Континентальной системы. Превыше всего теперь он стремился унижить Англию, чтобы, наконец, получить свободу для своего давно откладываемого восточного предприятия. Ирония его карьеры в том, что, хотя он предпочитал карьеру Александра Македонского карьере Цезаря; хотя он ставил свою победу при Аустерлице намного ниже триумфа великого македонца при Иссе, который обеспечил завоевание Востока, все же он чувствовал, что вынужден прибегнуть к

тем самым мерам, которые привязали его к *старой Европе* и которые в конце концов настроили против него Континент.

Среди его ошибок в суждениях, несомненно, его поведение в отношении Австрии в 1805 году было не последним. Недавняя история Европы представляет собой наводящий на размышления контраст. Через два поколения после Аустерлица держава Габсбургов была подорвана катастрофой при Кенигграце и вновь потеряла всякое влияние в Германии и Италии. Но затем победитель проявил уважение к побежденному. Бисмарк размышлял над уроками истории, потому что, как он сказал, *история учит человека тому, как далеко он может безопасно зайти*. Поэтому он убедил короля Вильгельма отказаться от притязаний, которые могли бы обострить соперничество Пруссии и Австрии. Нет! он вернулся к политике Талейрана, поощрявшего Габсбургов добиваться на Балканском полуострове компенсации за свои потери на западе, и в течение пятнадцати лет основа Тройственного союза была прочно заложена. Наполеон, с другой стороны, из-за отсутствия той присущей государственному деятелю умеренности, которая освящает победу и цементирует ткань прочной империи, вскоре увидел, как политические результаты Аустерлица были сметены нарастающей волной народного гнева. Менее чем за девять лет австрийцы и их союзники стали хозяевами Парижа.

ПРИМЕЧАНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.—Приведенный на стр. 41 отчет о гибели большого количества русских в конце битвы при Аустерлице основан на показаниях Наполеона и многих французских генералов; факты, изложенные Леженом, кажутся вполне убедительными; царь Александр также утверждал в Вене в 1815 году, что там утонуло 20 000 русских. Но местные свидетельства (любезно предоставленные мне профессором Фурнье из Вены), кажется, доказывают, что эта история - миф. Оба озера были осушены всего через несколько дней после битвы, *по приказу Наполеона*; в нижнем озере не было найдено ни одного трупа; в верхнем озере было найдено 150 трупов лошадей, но только два, некоторые говорят, три трупа людей. Вероятно, Наполеон придумал катастрофу ради драматического эффекта, и другие последовали примеру, указанному в его бюллетене. Царь, возможно, принял эту историю, потому что она помогла оправдать его поражение. (Смотрите мою статью в "Eng. Hist. Rev." за июль 1902 года.)

ГЛАВА XXIV

Выдающийся немецкий историк, который стремился сказать несколько добрых слов о правительстве Фридриха Вильгельма перед крахом в Йене, предваряет свои извинения аксиомой о том, что от прусского монарха следует ожидать не французской, английской или русской политики, а только прусской. Это утверждение вполне может быть оспорено. Несомненно, есть некоторые государства, в отношении которых это было бы правдой. Такие страны, как Великобритания и Испания, чьи территории четко определены природой, могут с выгодой оставаться автономными до тех пор, пока их народы не хлынут на новые земли: прежде чем они станут мировыми державами, они могут набирать силу, оставаясь узконациональными. Но есть и другие государства, судьба которых сильно отличается. Они представляют собой некий жизненный принцип или энергию посреди простого политического краха. Если связующая сила, которая создавала более старый организм, придет в упадок, как это произошло со Священной Римской империей после религиозных войн, фрагменты отпадут и соединятся с телами, с которыми они сейчас больше похожи.

Из государств, возникших на развалинах старой империи, главным был Бранденбург-Пруссия. У нее была двойная энергия, которой не хватало более старому организму: она была протестанткой и принадлежала к нации; она отстаивала новую веру, которую лелеяли северные немцы, и чувствовала, хотя пока и смутно, силу, исходящую от почти единственного родственника. До тех пор, пока она не захватила часть польской добычи, ее славянские подданные были по большей части германизированными славянами; и даже после приобретения Познани и Варшавы в конце восемнадцатого века она все еще могла претендовать на звание главного германского государства. Поколением ранее Фридрих Великий видел в этом источник ее силы. Его политика была не просто прусской: по сути, если не по цели, то по-немецки. Его победа при Россбахе над огромной многоязычной армией французов и империалистов впервые пробудила немецкую национальность к трепету сознательной жизни; и последним успехом в его карьере стало отстаивание интересов младших немецких князей против посягательств Габсбургов. Фактически, сейчас кажется просто банальным утверждать, что Пруссия больше всего процветала, когда, как при Фридрихе Великом и Вильгельме Великом, ее политика была истинно немецкой, и что больше всего она откатилась назад в 1795-1806 и 1848-1852 годах, когда раболепие ее Фридриха Вильямса перед Францией и Австрией лишило их уважения и поддержки остальной части Отечества. Государство, которое могло бы привлечь другие части той же нации, должно быть привлекательным, и оно должно быть в целом национальным, если оно хочет привлекать. Если бы Штайн и Бисмарк были простыми пруссаками, если бы политика Кавура была сугубо сардинской, служили бы их государства когда-нибудь объединяющими центрами для сегодняшних Германии и Италии?

Трудности, с которыми столкнулся Фридрих Вильгельм III в 1805 году, были вызваны не только им самим. Его предшественник с тем же зловещим именем, приближаясь к концу своего бесславного правления, заключил Базельский мир (1795), который отдал политику Берлина в полное распоряжение французских революционеров. Но нынешний правитель обеспечил подчинение Пруссии Франции во времена секуляризации, когда он получил Эрфурт, Эйхсфельд, Хильдесхайм, Падерборн и большую часть разрозненного епископства Мюнстер. Даже в то время бесстыдной алчности были те, кто видел, что приобретение полумиллиона

подданных Пруссии было жалкой платой за потерю самоуважения, постигшую всех, кто участвовал в кощунственной добыче, полученной в обмен на Бонапарта и Талейрана. Фридрих Вильгельм III. даже подозревался в склонности к французским методам правления; и прусский государственный деятель сказал французскому послу:

"Против вас только дворяне: король и народ открыто выступают за Францию. Революция, которую вы совершили снизу вверх, будет медленно совершаться в Пруссии сверху вниз: король на свой лад демократ: он всегда стремится ограничить привилегии знати, но медленными средствами. Через несколько лет феодальные права в Пруссии перестанут существовать". ^[54]

Если бы король осуществил эти столь необходимые реформы, он, возможно, противопоставил бы сплоченное общество обновленной мощи Франции. Но ему не удалось навести порядок в своем доме до того, как разразилась буря; и в 1803 году он настолько отказался от своего лидерства в северогерманских делах, что позволил французам оккупировать Ганновер, землю, которой он и его министры давно желали.

В предыдущей главе мы видели, что Ганновер был приманкой, на которую Наполеон поймал прусского посланника Хаугвица в Шенбрунне; и что тот самый человек, которого послали навязать волю Пруссии французскому императору, вернулся в Берлин, принеся мир и бесчестие. Можно себе представить удивление и раздражение Фридриха Вильгельма. Со всех сторон вокруг него сгущались трудности. Незадолго до возвращения Хаугвица в Берлин русские войска, действовавшие в Ганновере, были переданы под защиту Пруссии; и сам король предложил нашему министру лорду Харроуби защищать англо-ганноверский корпус Кэткарта, который *с помощью прусских войск* восстанавливал власть Георга III. в этом Электорате.

Более того, Фридрих Вильгельм не мог пожаловаться ни на какое плохое обращение со стороны нашего правительства. Зная, что он настроен на приобретение Ганновера и может быть привлечен к Коалиции только не менее привлекательным предложением, министерство Питта предложило через лорда Харроуби уступить Пруссии при всеобщем заключении мира земли к юго-западу от герцогства Клевское, "ограниченные пограничной линией, проведенной от Антверпена до Люксембурга", и соединенные с остальными ее территориями. ^[55] Этот план, который прочно закрепил бы Пруссию за Антверпеном, Льежем, Люксембургом и Кельном, также был направлен на то, чтобы установить Зальцбургского курфюрста в остальных новых рейнских приобретениях Франции; в то время как равновесие сил должно было быть скорректировано путем передачи Зальцбурга, папских миссий и линии Минчо Австрии, она, в свою очередь, предоставила Пруссии Антверпен, Льеж, Люксембург и Кельн. передала часть своих далматинских земель России. Пруссия должна была быть защитницей Северной Германии и рассматривать любое вторжение французов "к северу от Мэна или, по крайней мере, от Лана" как акт войны. Великобритания, субсидировав Пруссию на 100 000 военнослужащих в обычном масштабе, обязалась восстановить все свои завоевания, сделанные или которые будут сделаны во время войны, за исключением мыса Доброй Надежды: но не должно было возникать никаких вопросов ни об этой желанной колонии, ни о Мальте, ни о британском морском кодексе. ^[56]

Таким образом, в конце 1805 года Фридрих Вильгельм оказался лицом к лицу с предложениями Англии и теми, которые Хаугвиц привез от Наполеона. То есть ему пришлось выбирать между половиной Бельгии и Рейнской областью, предложенными Англией, или Ганновером в подарок

от Наполеона. Первая выгода была более богатой, но, по-видимому, более рискованной, поскольку влекла за собой ненависть Франции; вторая, казалось, обеспечивала дружбу завоевателя, хотя и ценой притязаний на честь и морской войны с Англией. Его доверенные советники Ломбард, Бейме и Хаугвиц были полны решимости завоевать электорат, предпочтительно в руках Наполеона; в то время как его министр иностранных дел Харденберг, ганноверец по происхождению, желал обеспечить союз своей родины с Пруссией более благородными средствами и, вероятно, путем обмена с Георгом III, о котором мы сейчас расскажем. В своем противостоянии французскому влиянию Харденберг пользовался поддержкой более патриотичных пруссаков, которые стремились защитить честь Пруссии и предотвратить войну с Англией. Трудность принять электорат на острие меча Наполеона заключалась не только в моральных соображениях: она была вызвана присутствием крупных сил англичан, ганноверцев и русских на берегах Везера и защитой, которую прусское правительство предложило этим войскам от любого французского нападения, при условии, что они не двинутся против Голландии и отступят за прусские батальоны. ^[57] Возмущение британских офицеров этим последним приказом выразил Кристиан Омштеда из Королевского германского легиона в письме своему брату в Берлин: "Мой дорогой друг, если так пойдет и дальше, Континент вскоре будет безвозвратно потерян. Русская и английская армии недолго будут искать убежища под презренным прусским плащом. Мы здесь, 40 000 лучших и храбрейших солдат. Быстрое наступление только на Голландию открыло бы путь к определенному успеху.... И это работа Ломбарда и Хаугвица!" ^[58]

Что тем временем делали министры Георга III? В этот кризис английской политике был нанесен ужасный удар. Смерть обрушилась на "величественную колонну", которая поддерживала пошатнувшуюся судьбу нашей расы. Уильям Питт, у которого надолго ухудшилось здоровье, был тяжело ранен известием об Аустерлице и отступничестве Австрии. Но популярная версия о причине его смерти — что *Аустерлиц убил Питта* — скорее мелодраматична, чем верна. Среди многих причин, сломивших этот негибимый дух, известие о плачевном результате Ганноверской экспедиции было последним и самым суровым. Папки с документами нашего Министерства иностранных дел являются трогательным доказательством надежд, которые лелеял Кабинет министров даже после того, как Вена оказалась в руках Наполеона. Харроуби настоятельно рекомендовали сделать все, что в его силах, — за исключением сдачи Ганновера, — чтобы втянуть Пруссию в боевые действия, и в этом случае "в начале следующей кампании в Северной Германии будет доступно почти 300 000 человек, в том числе 70 000 британских и ганноверских военнослужащих, занятых там или на морских предприятиях". ^[59] За эту надежду Питт цеплялся даже после того, как услышал новости об Аустерлице, и, несомненно, именно это позволило ему перенести это последнее путешествие из Бата в Патни-Хит с меньшей усталостью и гораздо быстрее, чем ожидалось. Он приехал домой в субботу вечером, 11 января. В следующую среду его друг Джордж Роуз навестил его и обнаружил, что начались серьезные перемены к худшему.

В воскресенье ему стало лучше, и его состояние продолжало улучшаться до полудня понедельника, когда лорд Каслри настоял на встрече с ним и, получив доступ к нему, приступил (лорд Хоксбери также присутствовал) к обсуждению государственных вопросов самой серьезной важности (главным образом, касающихся возвращения домой британских войск с Континента), что заметно повлияло на него в тот вечер и на следующий день, а сегодня утром эффект был замечен более отчетливо: ... его лицо чрезвычайно изменилось, голос ослаб, а тело почти истощено".

Также из медицинских показаний, которые приводит автор дневника, ясно, что новости из Ганновера были причиной этой внезапной перемены. В предыдущее воскресенье, то есть сразу после утомительного трехдневного путешествия, врачи "сочли, что существует разумная перспектива выздоровления мистера Питта, что вероятность благоприятствует этому, и что, если его жалобы не примут неблагоприятный оборот, он сможет приступить к работе примерно через месяц". ^[60] Этот неблагоприятный поворот произошел, когда героический дух потерял всякую надежду из-за печальных новостей из Берлина и Ганновера. Аустерлиц, это правда, поверг его в уныние. Но это, в конце концов, не касалось британской чести и самых дорогих интересов его хозяина.

Но то, что Фридрих Вильгельм, на которого он так надеялся, которому собирался выделить крупную субсидию, теперь отступил, заговорил о мире с Наполеоном и предъявил права на Ганновер, запретил вторжение в Голландию и потребовал от британских войск эвакуации из Северной Германии — это был удар по Георгу III, по нашему военному престижу и по ныне пошатнувшемуся министерству. Как он мог противостоять Оппозиции, уже почти одержавшей победу в печальном деле Мелвилла, с Речью короля, в которой это было главной новостью? Потеряв надежду, он потерял всякую связь с жизнью: он быстро тонул: в последние часы его мысли блуждали далеко к Берлину и лорду Харроуби. "Что за ветер?" он спросил. "На восток; этого достаточно; это приведет его быстро", - пробормотал он. А 23 января, примерно за полчаса до того, как он испустил дух, слуга услышал, как он сказал: "Моя страна, о моя страна".

^[61]

Так погрузился в покой среди ужаса великой тьмы государственный деятель, чей полдень был спокойным и славным. Только поверхностное знакомство с его карьерой может представить его жаждущим войны и противником народного прогресса. Его лучшие друзья прекрасно знали, как он гордился великими финансовыми достижениями 1784-1796 годов, его решительным стремлением к миру в 1792 году и его стремлением к установлению мира в 1796, 1797 и 1800 годах, при условии, что этого можно было добиться без ущерба для наших союзников и жизненно важных интересов Великобритании. Его защита похоронена среди документов нашего Архивного бюро и еще не полностью увидела свет. Ибо он был замкнутым человеком, теплота натуры которого проявлялась лишь в присутствии нескольких друзей или в таких случаях, как его вдохновенная речь об освобождении рабов. По отношению к посторонним он обладал большим запасом английской холодности, чем обычно: он не написал мемуаров, оставил мало писем, у него были скудные средства воздействия на общественное мнение; и он с высокомерным презрением относился к французским шумихам о том, что это он развязал и поддерживает войну. "Я знаю это, - сказал он. - якобинцы кричат громче, чем мы, и стараются, чтобы их слышали". ^[62] На самом деле он был типичным чемпионом нашей довольно тупой и флегматичной расы, которая бредет до конца назначенного этапа, едва обращая внимание на тучу жалящих мух. И народ, и его защитник были плохо приспособлены для борьбы с Наполеоном. Ни один из наших государственных деятелей не обладал латинским тактом и театральными способностями, необходимыми для того, чтобы разгадать его коварство, настроить против него общественное мнение Европы или разоблачить его двурушничество.

Но Питту повезло больше всех. Ему было суждено начать свою карьеру в эпоху посредственностей и закончить ее практически в единоборстве с гигантом. Он не мог сравниться с Наполеоном. Коалиция, для создания которой они с царем так много сделали, была карточным домиком, который рухнул при первом прикосновении завоевателя; и прусский

союз теперь оказался сломанной тростинкой. Его представления о стратегии были ребяческими. Французского императора нельзя было победить небольшими силами, атаковавшими его внешние укрепления; и Австрия могла бы обоснованно сетовать на то, что наше пренебрежение атаковать тыл Великой армии во Фландрии подвергло ее всей мощи ее наступления на Дунае. Но хотя его гений меркнет перед огненной кометой Наполеона, он сияет ясным и устойчивым сиянием рядом с гением континентальных государственных деятелей его эпохи. Они ненадолго замерцали и погасли. Он обладал редким достоинством - бесстрашием и непоколебимым постоянством. Рядом с их колеблющимися группами он возвышается, как Абдиэль:

"Непоколебимый, необразованный, неискушенный,

Он сохранил свою верность, свою любовь, свое рвение:

Ни числом, ни примером с него не подделаешь

Отклониться от истины или изменить свое постоянное мнение,

Хотя и холост."

В то время как английские государственные деятели решали задачу формирования Коалиционного министерства под руководством Фокса и Гренвилла, Наполеон неустанно укреплял свои позиции в Германии, Италии и Франции. В Германии он объединил свою семью посредством брака с ныне королевскими домами Баварии и Вюртемберга. Он изгнал неаполитанских бурбонов из их континентальных владений. Во Франции он нашел средства смягчить серьезный финансовый кризис и укрепить свой трон новым порядком наследственной знати. Одним словом, он стал новым Карлом Великим.

Возвышение южногерманских династий долгое время было излюбленным проектом Наполеона, который видел в ненависти Баварского дома к Австрии надежную основу для распространения французского влияния в сердце Германии. Вскоре после битвы при Аустерлице курфюрст Баварии, находясь на охоте, получил от французского курьера письмо, адресованное "Са величеству королеве Баварии и Суабе".^[63] Это письмо было отправлено через шесть дней после официального запроса Дюрока о том, что курфюрст выдаст свою дочь Августу замуж за Эжена Богарне. Дело обсуждалось в октябре: оно завершилось победой при Аустерлице; и после

прибытия Наполеона в Мюнхен в последний день года были улажены последние детали. Жених был проинформирован об этом в следующем лаконичном стиле: "Я прибыл в Мюнхен. Я организовал ваш брак с принцессой Августой. Об этом объявлено. Сегодня утром меня посетила принцесса, и я долго разговаривал с ней. Она очень хорошенькая. Здесь вы найдете ее портрет на чашке; но она гораздо красивее". Свадьба состоялась в Мюнхене, как только жених смог пересечь Альпы; и Наполеон отложил свой отъезд во Францию, чтобы присутствовать на церемонии, которая связала его со старой царствующей семьей. В то же время он организовал брак между Жеромом Бонапартом и принцессой Екатериной Вюртембергской. Это было менее оперативно, отчасти потому, что в случае с Бонапартом Наполеон счел необходимым озвучить меру своего повиновения. Но Джерома взломали: он бросил мисс Патерсон и, после полуторагодичной задержки, подчинился приказам своего брата и укрепил узы, соединявшие Швабию с Францией. Третий союз был скреплен браком наследника Великого герцогства Баденского со Стефанией де Богарне, племянницей Жозефины.

В начале 1806 года Наполеон мог льстить себе своим блестящим успехом в качестве свахи. И все же, в конце концов, его меньше интересовали дела Гименея, чем дела Марса и Меркурия. Он страстно желал оказаться в Париже для улаживания финансовых дел и сгорал от нетерпения услышать об изгнании бурбонов из Неаполя. Для этого последнего он уже разослал свои повелительные распоряжения из Вены; и после краткого пребывания в столицах Швабии он отправился в Париж, куда прибыл инкогнито в полночь 26 января. За сто двадцать пять дней своего отсутствия он захватил в плен или уничтожил две армии, нанес удар в самое сердце могущественной коалиции, сокрушил власть Габсбургов и произвел революцию в германской системе, создав два наполеоновских королевства посреди нее.

И все же, как будто ничего не было сделано и все его надежды и помыслы были обращены в будущее, он созвал своих финансовых консультантов на совет на восемь часов утра. Едва ли он соизволил заметить их поздравления по поводу его триумфов. "Нам предстоит, - сказал он, - заняться более серьезными вопросами: похоже, что наибольшие опасности для государства были не в Австрии: давайте послушаем доклад министра финансов". Затем выяснилось, что Барбе-Марбуа был связан с испанским судом рискованными финансовыми проблемами через человека по имени Уврар. Поэтому министр был немедленно отправлен в отставку, и Моллиен тут же получил свой пост. Новый министр утверждает в своих мемуарах, что деньги, которых хватило бы для переброски французских армий от Ла-Манша до Рейна, были собраны на экстравагантных условиях, в основном за счет займов в национальных владениях. Фактически, вопрос о том, придет ли победа достаточно быстро, чтобы предотвратить массовое крушение в Париже, оставался открытым.

Финансовое положение было настолько плохим, что, хотя во Францию ежегодно поступало 40 000 000 франков в виде субсидий из Италии и Испании, все же для покрытия текущих расходов были предоставлены займы в размере 120 000 000 франков.^[64] Описание того, какими силовыми средствами Наполеон восстановил финансовое равновесие и смягчил коммерческий кризис, возникший в результате войны с Англией, вышло бы за пределы нашего пространства. Вскоре у Моллиена появились основания убедиться, что император отнюдь не избегал континентальных войн, а, казалось, чуть ли не провоцировал их, и что девиз — *Война должна поддерживать войну* — был далек от истины. Войны Наполеона, всегда, за исключением его войны с Англией,

поддерживали бремя вооруженного мира. В этом отношении его легкая и выгодная победа над Австрией была катастрофой для Франции и Европы. Это манило его в Йену и Тильзит.

Приведя свои финансы в порядок, а редакторов газет - в раболопие, завоеватель получил известие о триумфе своего оружия в Южной Италии. Там неаполитанские бурбоны смертельно оскорбили его. После заключения конвенции о мирном выводе корпуса Сен-Сира и строгом соблюдении нейтралитета Неаполитанским королевством Фердинанд IV. и его королева Каролина приветствовала прибытие в их столицу англо-русских войск численностью в 20 000 человек и доверила командование ими и неаполитанскими войсками генералу Лейси.^[65] Эти силы, правда, мало что сделали, кроме ослабления марша Массены на север; но нарушение нейтралитета бурбонами разозлило Наполеона. В Вене он отказался прислушаться к робким мольбам Габсбургов в их защиту, и как только в Прессбурге был подписан мир, он опубликовал бюллетень, в котором говорилось, что Сен-Сир идет на Неаполь, чтобы свергнуть с трона эту преступную женщину, которая так вопиюще надругалась над всем, что свято для людей. Франция скорее будет воевать тридцать лет, чем простит свой чудовищный акт вероломства: королева Неаполя перестала править: позвольте ей отправиться в Лондон и сформировать комитет сочувствующих вместе с Дрейком, Спенсер-Смитом, Тейлором и Уикхемом.

Эта обличительная речь была не первым случаем, когда завоеватель доказывал, что он не джентльмен. В своем жестоком письме королеве Каролине от 2 января 1805 года он сказал ей, что, если она станет причиной новой войны, она и ее дети будут просить милостыню по всей Европе. Эта и подобные ей вспышки гнева дают некоторое оправдание поведению бурбонов осенью 1805 года. Они нарушили нейтралитет, который их посол обязался соблюдать, но следует помнить, что вторжение Наполеона в Неаполитанские государства в 1803 году было грубым нарушением международного права, которое министерство иностранных дел Франции пыталось скрыть, сфабриковав две секретные статьи Амьенского мирного договора.^[66] И хотя уважение, несомненно, следует соблюдать даже к нарушителю закона, все же его нарушение становится простительным, когда последний принимает тон хулигана. На данный момент он одержал победу. Жозеф Бонапарт силой вторгся в Неаполь, и 13 января король, королева и Двор отплыли в Палермо. Англо-русские дивизии вновь погрузились на корабли и отплыли на Мальту и Корфу. Один из неаполитанских оплотов, Гаэта, продержался до середины июля. В других местах войска Бурбонов не доставляли особых хлопот.

Завоевание Неаполя позволило Наполеону расширить свой эксперимент по созданию федерации королей-бонапартистов. Он объявил Мио де Мелито, теперь назначенному одним из администраторов Жозефа, о своих намерениях во время интервью в Тюильри 28 января. Жозефу предстояло стать королем Неаполя, если он быстро примет эту честь. Если нет, император усыновит сына, как в случае с Евгением, и сделает его королем. — "Мне не нужна жена, чтобы иметь наследника. Благодаря моему перу у меня появляются дети". — Но Джозеф также должен показать, что достоин этой чести. Пусть он презирает усталость, получает ранение, ломает ногу.

"Посмотри на меня. Недавняя кампания, агитация и движение сделали меня толстым. Я считаю, что если бы все короли объединились против меня, у меня был бы совершенно нелепый желудок.... Вы слышали мои слова. Я больше не могу иметь родственников в неизвестности. Те, кто не восстанут вместе со мной, больше не будут принадлежать к моей семье. Я создаю семью королей, присоединенных к моей федеративной системе".^[67]

Угроза возымела свое действие, Иосиф был провозглашен королем Неаполя указом Наполеона. "Держи себя в руках: я прошу тебя только об одном: будь там всецело хозяином".^[68] Таков был совет, данный его любезному брату, которому после наслаждения военным походом на юг было поручено предпринять завоевание Сицилии. Не имело большого значения, что свержение неаполитанских бурбонов оскорбило царя, который взял на себя защиту этого Дома.

Словно намереваясь запугать Александра демонстрацией своей власти, Наполеон щедро наградил своих маршалов и государственных деятелей итальянскими титулами. Талейран стал принцем Беневенто, а Бернадотт - принцем Понте-Корво (два папских анклава на неаполитанской земле). К этим и другим титулам прилагались обширные владения (не подлежащие делению после смерти), что позволяло его паладинам и их преемникам поддерживать свои новые достоинства с помпой и великолепием; особенно это касалось двух титулов, которые он получил благодаря сделкам с Пруссией и Баварией. Благодаря покладистости их королей Мюрату было даровано великое герцогство Берг и Клеве, в то время как энергичный и надежный Бертье был вознагражден княжеством Невшатель и поистине королевским состоянием.^[69]

Так была основана наполеоновская знать; и так исполнилось пророчество мадам де Сталь о том, что священники и знать станут *кариатидами* будущего трона. Перемена была произведена умело. Это произошло, когда гордость за подвиги Наполеона была на пике, и когда "Газетт де Франс" утверждала:

"Отныне Франция является арбитром Европы.... Цивилизация в Европе погибла бы, если бы из руин не восстал один из тех людей, перед которыми мир хранит молчание и которым Провидение, по-видимому, вверяет свои судьбы".^[70]

Это преклонение, напоминающее о преклонении при дворе Августа или Тиберия, отражает суть французской мысли. По правде говоря, Наполеон проявил глубокое понимание человеческой природы, когда счел ненависть к аристократическому сословию всего лишь мимолетным приступом революционной лихорадки; и он проявил не меньший здравый смысл, восстановив этот порядок с помощью руководителей единственного по-настоящему популярного института во Франции - армии. Кроме того, новые титулы не были присвоены французским владениям, что возродило бы идею феодальной зависимости во Франции: они были плодом великой победы Наполеона; и звучание таких далеких названий, как Беневенто, Берг и Далмация, умело льстило гордости *великой нации*.

Теперь пришло время вернуться к делам Пруссии и указать на основные этапы ее падения. 3 января 1806 года в Берлине состоялся важный Государственный совет, на котором было принято решение о некоторых изменениях в Шенбруннском договоре с Наполеоном. Главное изменение, на которое решились, заключалось в следующем: вместо того, чтобы уступки территории были немедленными и абсолютными, как предлагал Наполеон, они не должны были вступать в силу до заключения всеобщего мира. Пока этого не произошло, Фридрих Вильгельм решил временно оккупировать Ганновер, одновременно отвечая перед Францией за спокойствие на севере Германии.^[71] Поэтому правительство Пруссии дало четкие намеки на то, что присутствие британских войск там нежелательно, и войска были выведены.^[72]

Наполеон должен был быть менее сговорчивым. И все же Хаугвиц заверил прусского короля и совет, что он изучил Наполеона насквозь и разглядел невысказанное желание легко

расправиться с Пруссией. Что касается его согласия с этими изменениями в Шенбрунском договоре, Хаугвиц не испытывал никаких сомнений, по крайней мере, так утверждает его враг Харденберг. Но теперь прусские министры предлагали не наступательный и оборонительный союзный договор, которого требовал Наполеон, а скорее посредничество в установлении мира между Францией и Англией. Фактически, они стремились занять промежуточное положение между Наполеоном и Георгом III.— и получить Ганновер. Поистине, здесь была вера в полумеры, превосходящая веру женщин.

Посланник, отправленный заверить Наполеона в согласии на эти новые условия, был тем самым человеком, который дрогнул перед императором в Шенбрунне. Граф Гаугвиц 14 января отправился в Мюнхен, а оттуда в Париж; но задолго до того, как от него были получены какие-либо определенные известия, берлинский двор решил, на основании нескольких льстивых комплиментов французского посла Лафореста, считать принятие Наполеона полностью обеспеченным. Соответственно, 24 января правительство решило перевести прусскую армию на мирные условия и отозвать войска из Франконии, поскольку таким образом можно было бы ежедневно экономить 100 000 талеров. Никогда еще не было такого экстравагантного поступка. Как только было объявлено об отступлении и демобилизации прусских войск, французские войска в Баварии и Франконии начали продвигаться вперед, в то время как другие переправились через Рейн. Делая вид, что игнорирует эти угрожающие шаги, прусский двор стремился мирным путем овладеть Ганновером, тайно предложив его Георгу III. перераспределение территорий, при котором ганноверские земли к востоку от Везера вместе с несколькими районами к западу от Хамельна и Нинбурга должны были перейти к Пруссии. Фридрих Вильгельм предложил сохранить Минден и Равенсбург, но уступить Восточную Фризию и все остальные свои вестфальские владения королю Георгу, который сохранил бы избирательное право для этих новых земель.^[73] Единственным ответом, которым наш правитель удостоил это предложение, было то, что он доверяет:

"Его прусское величество последует благородному велению своего сердца и продемонстрирует миру, что он не подаст ужасного примера возмещения ущерба за счет третьей стороны, чьи чувства и поведение по отношению к нему и его подданным были неизменно дружелюбными и миролюбивыми".^[74]

Но к концу февраля этот призыв остался без внимания. Фридрих Вильгельм решил выполнить условия Наполеона и собирался официально вступить во владение Ганновером.

Завоеватель был далек от того легкого взгляда на изменения, внесенные в Шенбрунский договор, которого так доверчиво ожидал проницательный Хаугвиц. Сначала Талейран прилагал все усилия, чтобы отсрочить свою встречу с императором, очевидно, в надежде, что тонкая лесть Лафореста в Берлине приведет к демобилизации прусских войск. Об этом роковом шаге стало известно в Париже еще до 6 февраля, когда Гаугвиц был принят императором; и сознание того, что Пруссия находится в его власти, определило тон завоевателя. Он начал с нескольких льстивых слов о способностях, проявленных Хаугвицем на переговорах в Шенбрунне:

"Если бы кто-нибудь, кроме меня, вел переговоры с вами, я бы подумал, что вы подкупили его; но, позвольте мне признаться вам, этот договор был заключен благодаря вашим талантам и заслугам. Вы были в моих глазах первым государственным деятелем Европы и покрыли себя бессмертной славой".

Действительно, перед этой встречей он решил начать войну с Пруссией; и только Хаугвиц убедил его предложить ей мир и подарить Ганновер. Почему же тогда этот договор подвергся такой критике в Берлине? Почему французским послом пренебрегли? Почему Харденберг пользовался большой популярностью? Почему король не уволил это орудие Англии? Здесь посланник попытался остановить нарастающий поток императорского гнева; его слова были немедленно отвергнуты, и поток хлынул дальше. Поскольку Пруссия не ратифицировала мирный договор в чистом виде, она находилась в состоянии войны с Францией, поскольку на ее территории все еще находились русские и английские войска. Здесь Хаугвиц снова заметил, что эти силы отступают и что пруссаки вступают в Ганновер в полном составе. Буря разразилась снова. Какое право имела таким образом Пруссия вводить в действие международный договор, который она не ратифицировала? Если бы ее войска вошли в Ганновер, его войска немедленно заняли бы Ансбах, Клеве и Невшатель: если Фридрих Вильгельм намеревался овладеть Ганновером, он должен был дорого заплатить за это. Но он позволил бы Хогвицу увидеться с Талейраном, чтобы предотвратить немедленную войну. ^[75]

Спокойствие министра иностранных дел было столь же опасным, как и буйство императора. Талейран не был другом Пруссии. Он давно знал о решимости Наполеона настаивать на войне между Англией и Пруссией, и он согласился с планом подрыва позиций Гогенцоллернов. Теперь пелена спала с глаз посланника. Он видел, что его страна осталась без друзей перед требовательным кредитором, который теперь требовал дальнейших жертв - или жизни - Пруссии. Угрозы императора были отчасти фиктивными; и когда Гаугвиц был совершенно напуган и готов уступить почти на что угодно, Наполеон перешел к реальной сути дела и потребовал, чтобы вся береговая линия Германии на Северном море была закрыта для английской торговли. С добавлением этого строгого пункта Ганновер теперь был передан Пруссии. Никогда еще греческий подарок не был преподнесен так искусно. Подарок Ганновера на таких условиях означал для получателя неодобрение России и враждебность Англии. ^[76]

Эту новость Хаугвиц привез в Берлин. Фридрих Вильгельм оказался перед той самой дилеммой, которой он стремился избежать. Либо он должен принять условия Наполеона, либо бросить вызов завоевателю практически в поединке один на один. Ирония его положения теперь была болезненно очевидна. В своем стремлении к миру и сокращению штатов он уволил своих потенциальных союзников и отправил своих собственных солдат ворчать по домам. Более того, он был связан своим предыдущим поступком. Если он принял мир от Наполеона на Рождество, когда 300 000 человек могли оспорить лавры победителя, то насколько больше он должен принять его сейчас! Он не только уступил в этом вопросе: он даже выполнил пожелания Наполеона, держа Харденберга на расстоянии. Он не уволил его — дружба пылкой королевы Луизы запрещала это, но Харденберг передал Хаугвицу руководство иностранными делами и получил неограниченный отпуск.

Народные чувства были глубоко тронуты этим трусливым подчинением французским приказам. Офицеры берлинского гарнизона пели серенаду государственному деятелю-патриоту, в то время как Хаугвицу дважды разбивали окна. Общественное мнение, это правда, мало что значило в Пруссии. Строгое разделение на классы, отсутствие народного образования, полное подчинение журналов правительству и взаимная зависть солдат и гражданских лиц препятствовали какому-либо общему выражению мнений в этом почти феодальном обществе.

Но когда жители Ансбаха жалобно просили не передавать их Баварии и сразу же увидели, что их земля оккупирована французами до того, как Пруссия ратифицировала уступку этого княжества; когда северные немцы обнаружили, что завоевание Ганновера Пруссией было достигнуто ценой войны с Англией и разорения их торговли; когда стало видно, что Фридрих Вильгельм и Гаугвиц подрезали крылья прусскому орлу, пока он не избежал схватки с галльским петухом, возникло чувство стыда и негодования, доказавшее, что пределы выносливости прусских орлов безграничны. было достигнуто. Наблюдатели видели, что, в конце концов, старые немецкие чувства не умерли; они были лишь вялыми; и начинали действовать силы, которые угрожали гибели Гогенцоллернам, если они снова запятнают национальную честь. ^[77]

Тем временем Париж, Лондон и Санкт-Петербург обменялись первыми предложениями о мире. Весной 1806 года появились некоторые основания для надежды, что Европа сможет обрести покой, по крайней мере на суше, после четырнадцати лет почти непрерывной войны. Франция больше не была якобинской. При Наполеоне она быстро сравнялась с монархическими государствами, и вопросы, которые сейчас стояли на кону, касались лишь границ и баланса сил. Воинственный пыл царя угас при Аустерлице. Захват Ганновера Пруссией мало тронул его, и он попытался уладить возникшую междоусобицу. Что касается других держав, то они были либо беспомощны, либо вялыми. Король Швеции вымещал свою злобу на Пруссии. Италия, Южная Германия, Голландия и Испания были в полном распоряжении Наполеона, а политика Англии при новом министерстве Гренвилла-Фокса решительно склонялась к миру. Таким образом, казалось, были все шансы установить господство Франции на прочном фундаменте, если требования Великобритании и Австрии получат разумное удовлетворение. Наполеон также, по-видимому, хотел мира для укрепления своей власти в Европе и расширения своих колоний и торговли. Как и в конце всех его сухопутных кампаний, его мысли обратились к Востоку, и 31 января 1806 года он отдал Декресу приказы, которые отнюдь не свидетельствовали о каком-либо отчаянии в отношении французского военно-морского флота, а предвещали энергичную военно-морскую и колониальную политику; в то время как его действия на побережье Далмации и отправка Себастьяни с миссией в Порту показали магнетическое притяжение, которое Левант все еще имел для него.

Поэтому особый интерес представляют переговоры о мире в 1806 году, особенно с учетом того, что на них настаивал тот великодушный оратор Фокс, который так долго призывал к хорошему взаимопониманию с Францией. 20 февраля 1806 года он раскрыл Талейрану подробности предполагаемого заговора с целью убийства французского императора, который ему предложил какой-то человек, предложение, которое он с ужасом отверг, в то же время приказав выслать этого человека из королевства. Более чем вероятно, что все это было подстроено французской полицией как проверка уважения, которое Фокс всегда выражал к Бонапарту.

Эксперимент удался, и Талейран заверил Фокса в мирных желаниях французского императора, о чем недавно заявил Легислатурному корпусу, а именно в том, что мир может быть заключен на условиях Амьенского мирного договора. Фокс сразу же пожал протянутую руку, но заявил, что переговоры должны вестись совместно с Россией и что такой договор, который наши союзники могли бы с честью принять. На это Талейран 1 апреля дал частичное согласие, добавив, что Наполеон был убежден, что разрыв Амьенского мира был вызван исключительно отказом Франции заключить торговый договор. Франция и Англия могли бы теперь прийти к удовлетворительным условиям, если бы Англия удовлетворилась владычеством на морях и не вмешивалась в континентальные дела. ^[78] Франция желала не перемирия, а прочного мира.

С этим Фокс согласился, но опроверг заявление Франции о том, что участие России будет подразумевать ее посредничество. Мир может быть достигнут только на основе честного взаимопонимания между всеми державами, фактически находящимися в состоянии войны. Талейран отрицал, что Россия находится в состоянии войны с Францией, поскольку Третья коалиция распалась; но Фокс стоял на своем и заявил, что должен быть мир с Англией и Россией или не быть мира вообще: в противном случае было бы сочтено, что Франция стремится "исключить нас из любой связи с Континентальными державами Европы". ^[79]

Такое начало было разочаровывающим: оно показало, что Наполеон и Талейран были полны решимости посеять недоверие между Англией и Россией, которые взаимно обязались не заключать мир по отдельности; и на какое-то время все начинания между Лондоном и Парижем прекратились, пока не стало известно, что русский посланник направляется в Париж. До сих пор Министерство иностранных дел Франции добивалось блестящих успехов, умело разъединяя и озлобляя союзников. Но теперь казалось, что их тактика провалилась. Оставались еще два твердых и надежных союзника - Великобритания и Россия. Чарторыйскому наш министр иностранных дел выразил свое желание, чтобы бывший наступательный союз теперь принял исключительно оборонительный характер: "Если мы не сможем уменьшить огромную мощь Франции, всегда найдется что-нибудь, что остановит ее прогресс". С этими мнениями русский министр дал сердечное согласие и направил специального посланника в Лондон для согласования условий мира вместе с британским министерством, в то время как Убрил, "надежный человек, на благоразумие и принципы которого оба союзных двора могут безопасно положиться", был направлен в Вену и Париж. ^[80]

Убрил отправился в Вену, где у него состоялись длительные переговоры с британским и французским послами: Фокс также попросил, чтобы лорд Ярмут, один из многих сотен англичан, все еще содержащихся под стражей во Франции, мог получить свободу и немедленно отправиться в Париж для предварительной беседы с Талейраном. Просьба была удовлетворена, заключенный покинул склад в Вердене и в начале июня увидел этого министра в его первом порыве гордости за новый титул принца Беневенто. В то время Париж был опьянен славой Наполеона. Французы были владыками Франконии, откуда они вжимали большие поборы: в Италии они бросали вызов власти папы римского. ^[81] Они прочно обосновались в Анконе, несмотря на неоднократные протесты Пия VII. Король Жозеф с армией в 45 000 человек планировал изгнание бурбонов с Сицилии. И в эти первые дни июня Луи Бонапарт был провозглашен королем Голландии.

Однако Талейран не был настолько ослеплен этим великолепием, чтобы пренебречь идеей мира с Англией; и когда лорд Ярмут заявил, что Георг III. если бы прежде всего потребовалось восстановление Ганновера, министр после некоторой задержки, во время которой он консультировался со своим хозяином, заявил, что это не составило бы труда. Что касается других вопросов, а именно Сицилии и сохранения Турецкой империи, он ответил: "Вы удерживаете Сицилию, мы не просим вас об этом: если бы мы овладели ею, это могло бы значительно увеличить наши трудности"; а что касается Турции, он посоветовал Англии как можно скорее получить гарантии ее целостности от Франции — "ибо многое готовится, но еще ничего не сделано". Изложив эти взгляды на Даунинг-стрит, лорд Ярмут вернулся в Париж для дальнейших обсуждений с общим пониманием того, что принцип *имп поссидетис* должен лечь в их основу — за исключением Ганновера. Теперь Талейран сообщил ему, что переговоры с

Россией должны вестись отдельно и что у Наполеона были другие взгляды на Сицилию, поскольку он считал ее завоевание необходимым для безопасности Жозефа на материке.

Удивленный такой переменной, наш посланник заявил, что он не может обсуждать условия мира, при которых Сицилия не оставалась бы за бурбонами; на что Талейран ответил, что положение изменилось и что мы должны довольствоваться возвращением Ганновера у Пруссии и сохранением Мальты и мыса Доброй Надежды. Поскольку лорд Ярмут отказался продолжать до тех пор, пока французские претензии на Сицилию не будут отвергнуты, его Сицилийскому величеству были предложены ганзейские города (Любек, Гамбург и Бремен); а в случае отказа от этой приманки были предложены Далмация, Рагуза и Албания.

Поскольку Наполеон предложил гарантировать целостность Турецкой империи, лорд Ярмут выказал некоторое возмущение предложением, которое положило бы начало ее разделу; и, если бы не ожидаемое прибытие Убрила, переговоры были бы прерваны. 8 июля он встретился с российским посланником и нашел его человеком из соломы. Убрил все одобрил. Он был рад, что Франция вернет Ганновер Англии, потому что это разорвало бы франко-пруссский союз и поставило бы Берлинский двор в зависимость от России. Он даже подумал, что было бы неплохо, если бы ганзейские города отошли к неаполитанским бурбонам, при условии, что эти города будут переданы под защиту царя. Но еще лучше было предложение о том, чтобы эти бурбоны получили Далмацию и соседние земли; ибо это вбило бы клин между Наполеоном и Турцией. Такова была суть этого любопытного интервью. Желая проверить точность своего рассказа об этом, лорд Ярмут зачитал его Убрилу во время их следующей беседы, когда российский посланник внес следующие письменные исправления:

"Н.Б.М. д'Убриль считает, хотя у него нет указаний по этому вопросу, что для России было бы приемлемо и даже выгодно для обеспечения их собственной независимости, чтобы Гамбург и Любек перешли под сюзеренитет России.—NB. Хотя М. д'Убриль имеет позитивный приказ настаивать на сохранении Сицилии за неаполитанским королем, все же он придерживается мнения, что приобретение Венеции, Истрии, Далмации и Албании" [должно быть учреждением его Сицилийского величества].^[82]

Неудивительно, что тростинка, колеблемая каждым дуновением ветерка, склоняется перед волей Наполеона; и поздно вечером 20 июля лорд Ярмут услышал, что русский посланник только что подписал сепаратный мир с Францией, по которому признавалась независимость Ионических островов (Россия оставляла на Корфу всего 4000 военнослужащих), а Германия должна была быть эвакуирована французами. Но жало было в хвосте: в секретной статье оговаривалось, что Фердинанд IV. следует уступить Сицилию Жозефу Бонапарту и получить Балеарские острова от союзника Наполеона, Испании.

Таковы были новости, которые услышал наш посланник, пробившись к Убрилу как раз в тот момент, когда последний спешил в Санкт-Петербург. В этом городе произошла важная перемена; Чарторыйский ушел в отставку в пользу барона Будберга, который был менее склонен к тесному союзу с Англией; и представляется несомненным, что Убрил не нарушил бы своих инструкций, если бы не знал об этой перемене. Какие еще мотивы побудили его порвать с Англией, Сицилией и Испанией, точно неизвестно. Он утверждал, что новый порядок вещей в

Германии делает крайне важным вывод французских войск с этой земли. Несомненно, это было так; но даже это преимущество было бы дорого куплено ценой позора для царя. ^[83]

Оставляя на время Юбрила лицом к лицу с его возмущенным хозяином, обратимся к эпохальному изменению, детали которого были согласованы в Париже в разгар переговоров с Англией и Россией. 17 июля был тихо подписан Акт о Рейнской конфедерации, уничтоживший старую Германскую империю.

Какого-нибудь подобного события ждали давно. Священная Римская империя, просуществовав тысячу лет, была разбита насмерть при Аустерлице. Захват Ганновера Пруссией побудил короля Швеции заявить, что он из-за своих померанских земель больше не будет участвовать в обсуждениях дряхлого ратисбонского сейма, который не обратил внимания на это возмущение. Более того, Ратисбон был теперь всего лишь вторым городом Баварии, король которой мог легко отказать этому органу в его местном проживании; и использование термина "Германская конфедерация" в Прессбургском договоре прозвучало похоронным звоном по Империи, которую Вольтер с таким же остроумием и правдивостью называл ни святой, ни римской, ни Империей. Как мог выжить этот почтенный вымысел в новую эпоху жестких реалий, когда избрание императора было фикцией, а его коронация — простым парадом изодранных одежд перед толпой безземельных аристократов, и где сейм был в значительной степени озабочен регулированием притязаний посланников принцев сидеть на сиденьях из красной или менее почетной зеленой ткани, или распределением традиционных тридцати семи блюд императорского банкета таким образом, чтобы последнее нес вестфальский посланник? ^[84]

Среди этих призрачных пережитков отжившей жизни вторжение Наполеона за Рейн вызвало панику, мало чем отличающуюся от той, которую внушала крепкая фигура Энея бормочущим теням греков на скорбящих полях Ада. И когда 1 августа 1806 года наследник Революции уведомил Ратисбонский сейм о том, что ни он, ни государства Южной и Центральной Германии больше не признают существования старой империи, раздались более слабые протесты, чем те, что вырывались из натянутых глоток перепуганных товарищей Агамемнона. Сама Диета не издавала ни единого слышимого звука. Император Франциск II немедленно объявил, что он сложил с себя корону, освободил всех курфюрстов и принцев от присяги и удалился в пределы Австрийской империи.

Так слабо мерцал свет, проливавший великолепии на средневековый христианский мир. Зажженный в базилике Святого Петра на Рождество 800 года в почти мистическом союзе духовной и земной власти по благословению папы Льва Карлу Великому, он теперь был растоптан главой более чем франкского государства, который стремился к неоспоримому владычеству, столь же великому, как у средневекового героя. Ибо Наполеон, как Защитник Рейнской конфедерации, теперь контролировал большую часть немецких земель, признавших Карла Великого, в то время как его влияние на Италию было неизмеримо сильнее. Дальнейшие параллели между двумя эпохами и системами, столь непохожими, как у Карла Великого и его подражателя, конечно, поверхностны; и попытка Наполеона поразить воображение немцев кажется нам нереальной. И все же мы должны помнить, что они были тогда самой впечатлительной и послушной нацией, что его попытка была предпринята с большим мастерством и что никто из назначенных хранителей старой империи не поднял голоса протеста, когда он навязывал конституцию пятнадцати принцам новой Конфедерации.

Среди них были правители Южной Германии, а также Дальберг, архи-канцлер, который теперь принял титул принца-примаса, великий герцог Бергский, ландграф, ныне великий герцог Гессен-Дармштадтский, два принца из Дома Нассау и семь меньших властителей. В некоторых случаях немецкие законы были отменены в пользу *Кодекса Наполеона*. Между Францией и этими государствами был заключен тесный наступательный и оборонительный союз, который должен был предоставить всего 63 000 военнослужащих по приказу Протектора. Наполеон также получил некоторый контроль над их налоговым и торговым кодексами — важное преимущество, учитывая Континентальную систему, которая вскоре должна была принять определенную форму. ^[85]

Что получили эти правители в качестве компенсации за отказ от всех вопросов внешней политики и многих внутренних прав? Как это почти всегда случалось при возвеличивании Наполеона, он заключил сделку, чрезвычайно выгодную для себя, в меньшей степени для тех, чьей поддержки он искал, и в которой потери были сокрушительными для слабых. Его государственное управление в этом отношении было более циничным, чем у коронованных разбойников, которые превратили политику восемнадцатого века в игру в захват. Их грабежи были, по крайней мере, прямыми. По Кампо-Формийскому мирному договору Наполеону было предоставлено право добиться огромных успехов в основном за счет слабой третьей стороны, а именно Венеции. Он придерживался той же прибыльной тактики во время секуляризации, когда Франция и великие германские державы значительно выиграли за счет церковных земель и маленьких государств; и теперь он перемалывал немецкие владения, которые должны были укрепить его новую рейнскую систему.

Все еще существовало множество имперских графов и рыцарей, а также вольных городов, которые не были поглощены в 1803 году. Выжившие были теперь уничтожены Наполеоном в интересах его рейнских подчиненных, причем разграбление было скрыто под термином *Медиатизация*. Этот эвфемизм требует краткого объяснения. В древнегерманском праве дворяне и города, получившие местную независимость, избавившись от контроля местного властелина, назывались *непосредственными*, потому что они были присягнуты непосредственно императору, без какого-либо феодального посредника: если по несчастной случайности они попадали под этот ненавистный контроль, считалось, что они были *опосредованы*. Теперь этот термин применялся к действиям, которые подчиняли рыцаря или город не феодальному контролю, а полному поглощению королем или принцем творения Наполеона. Шесть имперских или Вольных городов пережили секуляризацию, а именно три ганзейских города, а также Аугсбург, Франкфурт и Нюрнберг. Северные города все еще сохраняли свои древние права, но Аугсбург и Нюрнберг теперь перешли к королю Баварии, а Франкфурт был пожалован Наполеоном Дальбергу, принцу-примасу Конфедерации.

Немецкая жизнь начала терять большую часть причудливого разнообразия, любимого художниками и поэтами; но она также многое приобрела. Граф Лимбург-Стайрумский больше не выставлял напоказ свою армию из одного полковника, шести офицеров и двух рядовых в долине реки Рер: он и его подчиненные перешли под власть Мюрата, и распад этих ничтожных сил сделал возможной национальную армию в туманном будущем. Имперские юристы Вецлара больше не просматривали вечнозеленые судебные процессы: правосудие вершилось по лаконичным методам Наполеона. Посевы швабского крестьянина были теперь в относительной безопасности от оленей из-за Его Полупрозрачного замка неподалеку, ибо дух Французской революции вдохнул в старые охотничьи законы и лишил их ужасов. И современный немецкий

патриот все же должен признать, что первый импульс к реформе, какими бы сомнительными ни были ее мотивы и жестокое применение, исходил от нового Карла Великого.

ПРИМЕЧАНИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ.—В сборнике эссе, озаглавленном "Исследования Наполеона" (Джордж Белл и Сыновья, 1904), я достаточно полно рассмотрел вопросы континентальной политики Питта и отношения Наполеона к новой мысли того времени в двух эссе, озаглавленных "Планы Питта по заселению Европы" и "Вордсворт, Шиллер, Фихте и восстание идеалистов против Наполеона".

ГЛАВА XXV

ПАДЕНИЕ ПРУССИИ

Теперь мы переходим к рассмотрению влияния, которое основание Рейнской конфедерации оказало на международные проблемы, обсуждавшиеся в Париже. Одержав эту дипломатическую победу, Наполеон, по-видимому, вполне мог позволить себе быть снисходительным к Пруссии, царю и даже к Англии. Воспользуется ли он этой возможностью и успокоит опасения этих держав несколькими своевременными уступками, или же он будет давить на них еще сильнее, потому что треть Германии теперь находится под его контролем? И вот он снова оказался на развилке путей.

Поскольку единственными препятствиями к заключению прочного мира с Англией были Сицилия и Ганновер, возможно, было бы неплохо рассмотреть здесь влияние этих вопросов на мир в Европе и будущее Наполеона.

Из его писем Иосифу ясно, что он твердо решил завоевать Сицилию. Прежде чем его брат добрался до Неаполя, он предупредил его, чтобы тот готовился к изгнанию бурбонов с этого острова. С этой целью французы вторглись в Калабрию и начали усиленные приготовления — в то самое время, когда Талейран заявил лорду Ярмуту, что французам не нужна Сицилия. Но английские войска, защищавшие этот остров, приготовились нанести удар, который предотвратил бы высадку французов. Отряд численностью около 5000 человек под командованием сэра Джона Стюарта высадился в бухте Святой Евфимии: и когда 4 июля 1806 года Ренье повел против них 7000 солдат в полной уверенности в победе, его отборные

батальоны пали под яростной штыковой атакой британцев: через полчаса французы полностью отступили, оставив на поле боя половину своей численности.

Моральный эффект этой победы был очень велик. До сих пор наши войска, за исключением Египта, не имели возможности продемонстрировать свои великолепные качества. Более полувека прошло с тех пор, как при Миндене британские войска одержали победу над французскими войсками в Европе; и Наполеон выразил сложившееся мнение, когда заявил Джозефу о своей радости по поводу того, что, наконец, *медлительные и неуклюжие англичане* отважились высадиться на материке. ^[86] Более того, успех при Майде, быстро последовавшее всеобщее восстание калабрийцев и захват Стюартом Реджо, Кортоне и других городов с большими запасами и сорока пушками, предназначенными для завоевания Сицилии, развеяли по ветру надежды французов захватить Сицилию с помощью *главного удара*.

Если и существовал какой—либо шанс на то, что русское и британское правительства изменят делу бурбонов, то он был исчерпан новостями из Средиземного моря; и теперь Наполеон понял, что господство на этом море - "*главная и постоянная цель моей политики*" — снова ускользнуло из его рук! Со своей стороны, бурбоны были чрезмерно воодушевлены дальнейшим успехом, который был скорее блестящим, чем основательным. Королева Каролина, взволнованная захватом Капри сэром Сиднеем Смитом, стремилась поднять на ноги все свои утраченные провинции: она интриговала за спиной короля и генерала Эктона, в то время как странствующему рыцарю удалось парализовать планы сэра Джона Стюарта. ^[87] Тем временем Массена, принудив крепость Гаэта к капитуляции, двинулся на юг с большими силами, а британские и бурбонские войска вновь отправились на Сицилию, оставив свирепых крестьян и бандитов Калабрии на милость завоевателей. Но борьба с Мейдой была не напрасной. Сицилия отныне была в безопасности, британская армия отчасти восстановила свою былую славу, и надежда оказать сопротивление Наполеону укрепилась как в Санкт-Петербурге, так и в Лондоне.

Мир редко может быть достигнут, если один из воюющих сторон не побежден или оба не истощены. Но ни Великобритания, ни Франция не были в таком положении. На море наши успехи были такими же постоянными, как успехи Наполеона над нашими союзниками на суше. В январе мы отвоевали мыс Кейп у голландцев; в феврале французские силы в Сан-Доминго сдались сэру Джеймсу Дакворту; адмирал Уоррен в марте положил конец карьере предприимчивого Линуа; а в начале июля британские силы захватили большие сокровища в Буэнос-Айресе, откуда, однако, вскоре были вынуждены отступить. После таких успехов Фокс не мог не проявить твердость. Он отказался отступить от позиции *uti possidetis*, которую наш посланник изложил в качестве основы переговоров, и граф Лодердейл, который был послан поддержать и, в конечном итоге, заменить графа Ярмута, сразу же взял твердый тон, что вызвало резкий протест. Если бы это было основой, писал французский полномочный представитель Кларк, то Франция потребовала бы Моравию, Штирию, всю Австрию (собственно) и Ганновер, и в этом случае оставила бы Англии ее несколько колониальных завоеваний.

Этот ответ от 8 августа едва не прервал переговоры на месте: но Талейран упорно отказывался выдавать паспорта, которые требовал Лодердейл, — очевидно, в надежде, что ратификация царем Убрильского договора заставит нас отказаться от Сицилии. ^[88] Он ошибался. 3 сентября до Парижа дошла весть о том, что Александр с презрением отверг дело рук своего посланника.

Тем не менее Наполеон отказался отказаться от своих притязаний на Сицилию; и последние дни Фокса были омрачены мыслью о том, что эти переговоры, последняя надежда на карьеру, полную разочарований, были обречены на провал. После пятнадцати лет использования своего великолепного красноречия в защиту Революции и ее "наследника" он пришел к горькому выводу, что свобода во Франции потерпела неудачу и что эта страна согнулась под игом, чтобы еще полнее подчинить Континент. Он умер 13 сентября.

Французские историки, следуя статье в "Монитер" от 26 ноября, часто утверждали, что смерть Фокса и приход к власти воинственной фракции изменили характер переговоров.^[89] Ничто не может быть дальше от истины. Незадолго до своей кончины Фокс так выразил своему племяннику свое отчаяние от мира:

"По чести говоря, мы ничего не можем предпринять без полного и *добросовестного* согласия королевы и Неаполитанского двора; но, даже без учета этого соображения и огромной важности Сицилии, меня обескураживает не столько ценность спорного вопроса, сколько манера, с которой французы отступают от своих слов. Не Сицилия, а неуверенность, неискренность, с которой они действуют, показывает мне, что они ведут ложную игру; и в этом случае было бы очень неосторожно идти на какие-либо уступки, которые по любой возможности могли бы быть сочтены несовместимыми с нашей честью или могли бы предоставить нашим союзникам благовидный предлог подозревать, упрекать или покидать нас".

Далее следует отметить, что Лодердейл оставался в Париже три недели после смерти Фокса; что он не выдвигал никаких новых требований, но потребовал, чтобы Талейран вернулся к своему первому обещанию отказаться от всех притязаний на Сицилию и вести совместные переговоры с Англией и Россией. Это было напрасно. Последние уступки Наполеона заключались в том, что бурбоны, потеряв Сицилию, должны были получить Балеарские острова и получить пенсию *от Испании*; что Россия должна была удержать Корфу (как она уже сделала); и что мы должны были вернуть Ганновер у Пруссии и сохранить Мальту, Капский полуостров, Тобаго и три французских города в Индии; но, за исключением Ганновера, все это было в нашей власти. На Сицилии он ни на йоту не отступил от своих притязаний. Поэтому переговоры были прерваны 6 октября, через двенадцать дней после того, как Наполеон покинул Париж, чтобы направить свои войска против Пруссии.^[90] Все это дело показало решимость Наполеона обманом заставить союзников подписать сепаратные и невыгодные договоры и таким образом хитростью вернуть себе позиции, которые он потерял в честном бою при Майде.

Если Сицилия была камнем преткновения между нами и Наполеоном, то Ганновер был главной причиной войны между Францией и Пруссией. Во время переговоров в Париже лорд Ярмут конфиденциально сообщил Луккезини, прусскому послу, что Талейран без каких-либо затруднений добился возвращения Ганновера Георгу III. Новость, переданная в Берлин в конце июля, вызвала нервный трепет в министерских кругах, где прилагались все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с Францией.

Еще до того, как появились эти новости, задача была далеко не из легких. Мюрат, оккупируя свое новое герцогство Берг, вторг свои войска в старые церковные земли Эссен и Верден. Пруссия смотрела на эти районы как на свои собственные, и стойкий патриот Блюхер немедленно вывел своих солдат, сорвал прокламации Мюрата и восстановил прусского орла под звуки труб и барабанного боя.^[91] Столкновение было с трудом предотвращено благодаря покладистости Фридриха Вильгельма, который отозвал свои войска и передал вопрос юристам;

но даже король был задет, когда великий герцог Бергский прислал ему письмо с упреками в поведении Блюхера, начинавшееся с фамильярного обращения " *Мой брат*".

Блюхер тем временем и солдаты разрывались от ярости, видя, как французы переправляются через Рейн и строят лодочный мост в Везеле; и если бы они знали, что эта важная крепость, ключ к Северной Германии, была спокойно объявлена французским гарнизонным городом, они, вероятно, заставили бы короля действовать силой.^[92] В то время Фридрих Вильгельм и Хаугвиц были встревожены образованием Рейнской конфедерации и не были полностью успокоены предположением Наполеона о том, что упразднение старой империи должно быть преимуществом для Пруссии. Однако они с готовностью ухватились за его предложение о том, чтобы Пруссия сформировала лигу северогерманских государств, и сделали предложения двум наиболее важным государствам, Саксонии и Гессен-Касселю. В течение нескольких безмятежных дней король даже предложил принять титул *императора Пруссии*, от чего, однако, курфюрст Саксонии по иронии судьбы отговорил его. Этот воздушный замок исчез, когда в начале августа до Берлина дошла весть о том, что Наполеон стремится вовлечь курфюрста Гессен-Кассельского в Рейнскую конфедерацию и предлагает в качестве приманки владения некоторых имперских рыцарей и княжество Фульда, которым сейчас владеет принц Оранский, родственник Фридриха Вильгельма. Более того, действия французских войск в Тюрингии были настолько угрожающими для Саксонии, что Дрезденский двор начал изучать проект создания Северогерманской конфедерации.

Тем не менее король и Хаугвиц пытались убедить себя, что Наполеон желал Пруссии добра, что Англия делала все возможное, чтобы поссорить двух союзников, и что "великих результатов нельзя было достичь без некоторых трений". В этой надежде их ободрил французский посол, человек, который склонил Пруссию к ее демобилизации. Талейран поручил ему доложить в Берлин, что "мир с Англией был бы заключен так же, как и с Россией, если бы Франция согласилась на возвращение Ганновера.— Я подтвердил, - добавил Лафорест, - заверения в том, что император [Наполеон] никогда не уступит в этом вопросе".

И все же в то самое время Министерство иностранных дел Франции работало над проектом Договора, в соответствии с которым Ганновер возвращался Георгу III. был прямо назван и получил согласие Наполеона.^[93] Прусский посол Луккезини имел некоторое представление об этом из французских источников,^[94] а также от лорда Ярмута, и 28 июля написал депешу, которая как гром среди ясного неба обрушилась на оптимистов Берлина. По пути ему попалась — такова ирония дипломатии — депеша из Берлина, которая требовала от него проявить безграничное доверие к Наполеону. Из самоуверенности король бросился теперь в противоположную крайность и увидел руку Наполеона во всех трениях последних нескольких недель.

И здесь он снова ошибся, ибо французский император сдержал Мюрата и других горячих армейцев, жаждавших помериться силами с Пруссией.^[95] Его переписка доказывает, что его первые мысли всегда были о Средиземном море. На одну страницу, посвященную немецким делам, он написал двадцать писем Жозефу или Эжену о необходимости держать себя в руках и наказывать калабрийских повстанцев — "расстрелять по три человека в каждой деревне", — прежде всего, о планах завоевания Сицилии. Поэтому с неподдельным удивлением 16-18 августа он узнал из украденной депешы Луккезини, что последний подозревал его в планировании совместно с царем раздела прусской Польши. Он отнесся к этому вопросу с

презрением и, по-видимому, думал, что Пруссия безропотно примет те лакомые куски, которые он предложил бросить ей вместо Ганновера. Но он неверно истолковал характер Фридриха Вильгельма, если думал, что столь тяжкое оскорбление останется незамеченным, и он не знал силы прусской королевы разжигать огонь патриотизма.

Королеве Луизе было в это время тридцать лет, и она была в расцвете той благородной красоты матроны, которая свидетельствовала о чистом и возвышенном существе. Будучи дочерью бедного принца Мекленбург-Стрелицкого, ее юность прошла в самой домашней обстановке, пока ее очарование не покорило сердце наследного принца Пруссии. Ее первый приезд в Берлин был украшен актом, который провозглашал ее любящую натуру. Когда группа детей, одетых в белое, приветствовала ее приветственными стихами, она подняла и поцеловала их маленького лидера, к возмущению чопорных вдов и радости горожан. Этот инцидент напоминает о непринужденной грации и пренебрежении этикетом, проявленных Марией-Антуанеттой в Версале в дни ее юности, когда она была замужем; и, по правде говоря, у этих королев есть кое-что общее, помимо их красоты и их несчастий. Оба были женаты на холодных и не вдохновляющих супругах. Судьба отказала и Фридриху Вильгельму, и Людовику XVI. сила возбуждения чувств была теплее, чем уважение, подобающее достойному мужчине; и весь пыл верности вызывали у них королевы.

Луиза была северогерманской Марией-Антуанеттой, но более степенной и невзрачной, чем жизнерадостная дочь Марии Терезии. Она также не слишком вмешивалась в политику, пока не разразился великий крах: даже когда удар был неминуем и патриотически настроенные государственные деятели, которым она симпатизировала, умоляли короля сместить Хогвица, она разочаровала их, отказавшись от просьб, к которым побуждали ее инстинкты, но сдерживало повиновение жены. До сих пор она пользовалась влиянием благородной, обворожительной женщины, которая смягчала раздражение, вызванное узкой и педантичной натурой короля, и очищала Двор от грубости прошлого. Но в грядущие мрачные дни ее вера и энтузиазм вдохнули новую силу в угнетенный народ; и там, где все остальное было разрушено, король и королева по-прежнему отстаивали идеал этого первого и сильнейшего из тевтонских институтов - чистой семейной жизни.

"Мемуары" Харденберга показывают, что королева спокойно поддерживала патриотическое дело;^[96] и в тоне письма, которое Фридрих Вильгельм написал царю (8 августа), есть что-то от женского негодования против французского императора: после рассказа о своих обидах на руки Наполеона он продолжил:

- Если новости верны, если он способен на такое черное вероломство, будьте уверены, сир, что между ним и мной стоит не просто вопрос о Ганновере, но что он решил воевать против меня любой ценой. Он не хочет никакой другой Власти, кроме своей собственной.... Скажите мне, сир, заклинаю вас, могу ли я надеяться, что ваши войска окажутся в пределах досягаемости для меня, и могу ли я рассчитывать на них в случае агрессии.

Александр написал ободряющий ответ, посоветовав ему урегулировать свои разногласия с Англией и Швецией и заверив его в помощи. После чего король ответил (6 сентября), что он вновь открыл реки Северного моря для британских судов и надеется на мир и денежную помощь со стороны Лондона. Он заключил так:

"Тем временем Бонапарт оставил меня в покое, ибо он не только не дает никаких объяснений относительно моих вооружений, но даже запретил своим министрам давать и получать какие бы то ни было объяснения. Похоже, что именно я должен взять инициативу в свои руки. Мои войска маршируют со всех сторон, чтобы ускорить этот момент". ^[97]

Эти последние предложения написаны рукой на стене для *старого режима* в Пруссии. Приняв вежливые заверения Талейрана и нарочитое безразличие Лафореста за признаки того, что Наполеон может быть застигнут врасплох, Пруссия продолжила свои военные приготовления; и, чтобы выиграть время, Луккезини был отозван и заменен посланником, который должен был пуститься в пространные объяснения. Эта уловка не обманула Наполеона, который 3 сентября с большим удивлением услышал, что Россия намерена продолжать войну. Он сразу же увидел зародыш новой коалиции и направил свою энергию на примирение Австрии и разжигание споров между Россией и Турцией. По отношению к Фридриху Вильгельму его тон был тоном друга, опечаленного неожиданной ссорой. Как, — воскликнул он Луккезини при отъезде посла, — как король мог приписать ему поощрение интриг суетливого посла в Касселе или бахвальства Мюрата?

Что касается Ганновера, он намеревался послать кого-нибудь в Берлин, чтобы предложить ему эквивалент на случай, если Англия по-прежнему будет считать его реституцию *непременным* условием мира. "Но, - добавил он, - если ваши молодые офицеры и ваши женщины в Берлине хотят войны, я готов удовлетворить их. И все же мои амбиции полностью направлены на Италию. Она любовница, благосклонность которой я ни с кем не разделю. Мне достанется вся Адриатика. Папа будет моим вассалом, и я завоюю Сицилию. К Северной Германии у меня нет претензий: я не возражаю против вхождения ганзейских городов в вашу конфедерацию. Что касается включения в него Саксонии, я еще не принял решения". ^[98]

Действительно, содержание его частной переписки доказывает, что до первой недели сентября он не ожидал создания новой Коалиции. Он верил, что Англия и Россия уступят перед ним, и что Пруссия никогда не посмеет пошевелиться. К Берлинскому двору он питал суверенное презрение, как и к "старым коалиционным машинам" в целом. Его поведение в это время свидетельствует не столько о стремлении к войне, сколько об отсутствии воображения там, где речь идет о восприимчивости других людей. Вполне вероятно, что тогда он хотел мира с Англией и мира на Континенте; ибо его дипломатия принесла завоевания, не менее ценные, чем добыча, добытая его мечом, и только в условиях мира на море он мог заложить основы той восточной империи, которая, как он заверил О'Мира на острове Святой Елены, занимала первое место в его мыслях после свержения Австрии. Но не в его характере было идти на необходимые уступки. "*Я должен следовать своей политике в геометрической прогрессии*", - сказал он Луккезини. Англия могла бы получить Ганновер и несколько колоний, если бы отдала Сицилию Бонапарту; что касается Пруссии, то она могла бы поглотить полдюжины соседних князьков.

Такова суть европейской политики Наполеона летом 1806 года; и удивление, которое он выразил Моллиену по поводу отклонения его предложений, вероятно, искренне. Сам чувствительный к малейшему оскорблению, его прямота восприятия чести других могла бы почти поставить его в один ряд с человеком, лишенным чувств, по Аристотелю. Совершенно верно, что он развязал войну с Пруссией в 1806 году не больше, чем с Англией в 1803 году. Он только сделал мир невозможным. ^[99]

Условием, на котором теперь настоятельно настаивала Пруссия, была полная эвакуация Германии французскими войсками. Этот Наполеон отказывался уступать до тех пор, пока Фридрих Вильгельм не демобилизует свою армию, шаг, который еще раз унижил бы его в глазах этого народа. Это могло даже привести к его смещению. Поскольку в Баварии только что произошел инцидент, который раздул немецкие настроения до предела. Французские офицеры доказали, что книготорговец из Нюрнберга по имени Пальм продал анонимную брошюру, озаглавленную "Германия в ее глубоком унижении". Это ни в коем случае не было революционным поступком, и достойный человек считал это ошибкой, когда его арестовали военные власти. Он ошибался. Наполеон отдал приказ подать ужасный пример, чтобы прекратить продажу патриотических немецких брошюр. Поэтому Пальму увезли в Браунау, австрийский город, который тогда удерживали французские войска, судили по военному положению и расстреляли (25 августа). Никогда император не совершал большей ошибки. Это возмущение вызвало волну негодования по всей Германии. Вместо того чтобы погасить, это разожгло национальные чувства и, таким образом, вдвойне затруднило любой мирный компромисс между Фридрихом Вильгельмом и Наполеоном. Класс граждан, на которого были рассчитаны его реформы, теперь смотрел на последнего как на тирана, и Фридрих Вильгельм стал почти чемпионом Германии, когда потребовал вывода французских войск.

К сожалению, король отказался назначать министров, которые внушали доверие. Будь Харденберг на месте Хаугвица, люди были бы уверены, что меч больше не будет безропотно вложен в ножны; были предприняты огромные усилия, чтобы осуществить это изменение, но встретили леденящий душу отпор со стороны короля.^[100] Это правда, что Хаугвиц и Бейме теперь выразили самую горькую ненависть к Наполеону, как могли бы они относиться к человеку, который предал их доверие. Но, тем не менее, отказ короля сменить своих людей вместе со своей политикой был фатальным. И в Санкт-Петербурге, и в Лондоне не испытывали доверия к Пруссии, пока у руля стоял Хаугвиц. Человек, который дважды вел государственный корабль под пушками Наполеона, мог сделать это снова; и Англия, и Россия ждали, когда будет сделан какой-нибудь бесповоротный шаг, прежде чем снова рисковать армией ради этого принца колеблющихся.

Гренвилл довольно запоздало отправил лорда Морпета договориться о союзе, но только после того, как тот получит торжественное обещание, что Ганновер будет восстановлен. Этот посланник прибыл в прусскую штаб-квартиру как раз вовремя, чтобы быть унесенным потоком беглецов из Йены. Что касается России, то она ожидала прибытия прусского офицера в Санкт-Петербург, чтобы согласовать план кампании. Когда он прибыл, у него не было никакого плана; и царь, озадаченный глупостью своего союзника и враждебностью турок, отказался немедленно ввести свои войска в Пруссию.^[101] Не менее разочаровывающим было поведение Австрии. Эта Держава, истекающая кровью от прошлогодних ран и страдающая от ревности России, отказывалась двигаться до тех пор, пока союзники не одержат победу. И вот, благодаря зависти старых монархий, у Фридриха Вильгельма не было рядом ни русских, ни австрийских войск, ни военных жил из Лондона, которые могли бы активизировать его приготовления, когда он поставил на карту все свои силы на возвышенностях Тюрингии. Правда, он заручился поддержкой Саксонии и Веймара, но это привлекло на его сторону менее 21 000 человек.

С другой стороны, Наполеон, как защитник Рейнской конфедерации, заручился помощью 25 000 южногерманцев, а также отличной укрепленной базой в Вюрцбурге. Его войска, удерживая цитадели Пассау и Браунау на австрийской границе, заставляли Габсбургов молчать; а 60 000

французских и голландских солдат у Везеля угрожали пруссакам в Ганновере. Прежде всего, его силы, уже находившиеся в Германии, были усилены до тех пор, пока в первых числах октября около 200 000 человек не двинулись маршем из Майна в сторону герцогства Веймар. Сульт и Ней повели 60 000 человек из Амберга в направлении Байройта и Хофа: Бернадотт и Даву с 90 000 человек двинулись в направлении Шлейца, в то время как Ланн и Ожеро с 46 000 человек двинулись дорогой дальше влево в сторону Заальфельда.

Продвижение этих плотных колонн рядом друг с другом по холмистой местности представляло большие трудности, преодолеть которые могли только опыт офицеров, энергия и терпение солдат и гений их великого лидера. Тем временем 25 сентября Наполеон спокойно покинул Париж. Двигаясь в своем обычном быстром темпе, он достиг Майнца 28-го; 2 октября он был в Вюрцбурге; там он руководил операциями, уверенный, что удар его огромных сил быстро сломит пруссаков, прогонит их вниз по долине Заале и таким образом оторвет курфюрста Саксонии от союза, который и без того был утомительным.

Таким образом, французы располагали огромной массой опытных бойцов, хорошей оперативной базой и четким планом атаки. Пруссаки, напротив, могли собрать едва 128 000 человек, включая саксонцев, для службы в полевых условиях; и из них 27 000 вместе с Рюхелем находились на границе Гессен-Касселя, стремясь обеспечить союз курфюрста. Главнокомандующим был семидесятилетний герцог Брауншвейгский, хорошо известный своей неудачей при Вальми в 1792 году и своей недавней поддержкой политики уступчивости Франции. Его назначение вызвало гнев и ужас; и генерал Калькройт выразил Генцу общее мнение, сказав, что герцог совершенно некомпетентен для такого командования: "Его характер недостаточно силен, его посредственность, нерешительность и ненадежность погубили бы самое лучшее начинание". Сам герцог осознавал свою некомпетентность. Почему же тогда, спрашиваем мы, он принял командование? Ответ поразителен, но он основан на свидетельстве генерала фон Мюффлинга:

"Герцог Брауншвейгский принял командование, *чтобы предотвратить войну*. Я могу утверждать это с полной уверенностью, поскольку не раз слышал это из его собственных уст. Он был полностью осведомлен о слабостях прусской армии и некомпетентности ее офицеров".^[102]

Таким образом, наблюдалось странное зрелище: застенчивый, миролюбивый король сопровождал армию и участвовал во всех обсуждениях; в то время как номинально ими руководил унылый старик, который все еще интриговал, чтобы сохранить мир, и перекладывал на короля ответственность за каждое важное действие. И все же были способные генералы, которые могли бы действовать эффективно, даже если бы они не соответствовали мнению, которое, как мы надеемся, выразил генерал Рюхель, о том, что "некоторые были равны господину де Бонапарту". События должны были доказать, что Гнейзенау, Шарнхорст и Блюхер соперничали с лучшими французскими маршалами; но в этой войне их фонари были спрятаны под бушелями и светили наружу только тогда, когда официальные обложки были сорваны. Шарнхорст, уже известный своим стратегическим и административным гением, принимал участие в некоторых из многочисленных военных советов, где обсуждалось все и мало что решалось; но его мнение не имело веса, поскольку 7 октября он написал: "Что мы должны делать, я знаю очень хорошо, что мы будем делать, знают только боги".^[103] Очевидно, он имел в виду необходимость концентрации. В то время тонкие линии пруссии были растянуты на фронте в восемьдесят пять миль, саксонцы находились близ Геры, главная армия - под командованием

Брауншвейга, у Эрфурта, в то время как Рюхель был так далеко на западе, что смог подойти к Йене всего на час позже, чем нужно, чтобы предотвратить катастрофу.

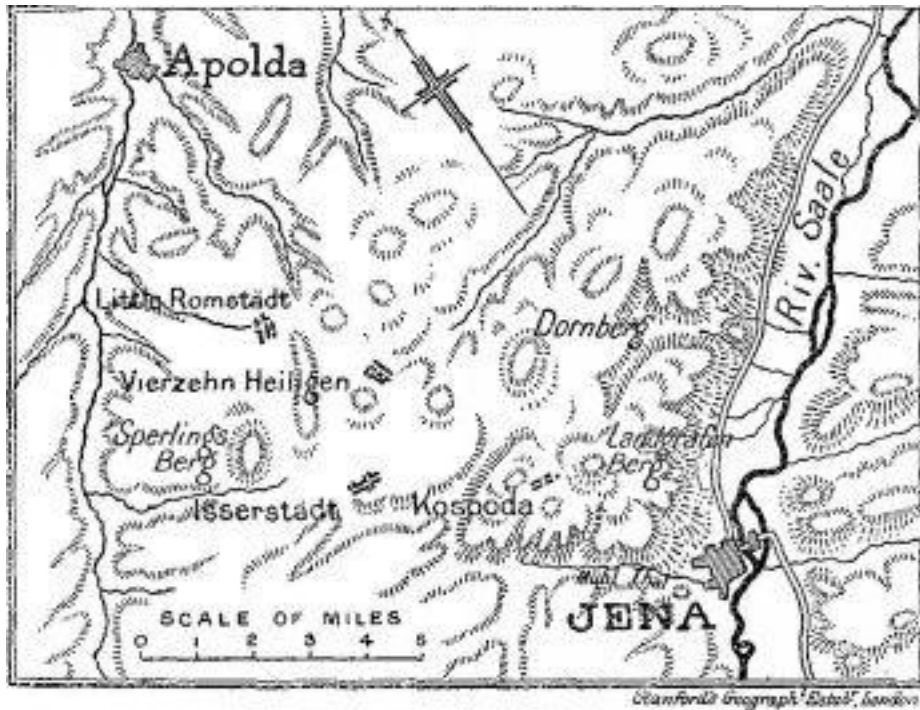
И все же с этими слабыми и разрозненными силами принц Гогенлоэ предложил смелый шаг вперед, к Майну. Брауншвейг, с другой стороны, советовал благоразумно защищаться; но он не мог или не хотел приводить в исполнение свой план; и результатом стало колебание между двумя крайностями. Если бы он сосредоточил все свои силы таким образом, чтобы контролировать долины Заале и Эльстера близ Йены и Геры, кампания, возможно, затянулась бы до подхода русских. Как бы то ни было, союзники притупляли пыл своих войск маршами, контрмаршами и бесконечными военными советами, в то время как колонны Наполеона продвигались по этим долинам со средней скоростью пятнадцать миль в день, чтобы повернуть союзников влево и перерезать связь между Пруссией и Саксонией.^[104]

Первое серьезное сражение произошло 10 октября при Заальфельде, где принц Луи Фердинанд Прусский с небольшим отрядом пытался защитить фланговый марш Гогенлоэ на запад, к Йене. Эта задача была не по силам даже этому цветку прусского рыцарства. Он был подавлен тяжестью и энергией атаки Ланна, и, когда уже был ранен в кавалерийской схватке, офицер, которому он гордо отказался сдаться, пронзил его тело насквозь. Смерть этого героя, прусского "Алкивиада", навела уныние на всю армию, и скорбные лица в штабе, казалось, предвещали еще более страшные бедствия. Возможно, именно намек на это уныние или похвальное желание остановить "бестолковую войну" побудили Наполеона два дня спустя написать письмо королю Пруссии, призывая его заключить мир до того, как он будет раздавлен, что, несомненно, произойдет. Само по себе письмо кажется достойным восхищения — до тех пор, пока не вспомнишь обстоятельства дела. Король дал царю слово начать войну; следовательно, если бы он сейчас заключил мир и отослал русских обратно, его снова осудили бы за то, что он предпочел бесчестную легкость благородному риску дела чести. Поскольку Наполеон был осведомлен о союзе короля и царицы, это письмо следует рассматривать как попытку расторгнуть союз и запятнать репутацию Фридриха Вильгельма. Этот монарх рассматривал ситуацию именно в таком свете; и в других письмах Наполеона нет ни намека на то, что он действительно ожидал мира.

В то время он находился в Гере, продвигая свой корпус к Наумбургу, чтобы отрезать пруссаков от Саксонии и Эльбы. Как ни велико было его превосходство, эти передвижения привели к такому рассредоточению его сил, что вызвали нападение предприимчивых врагов; но он презирал прусских генералов как слабоумных и пытался поколебать их ряды, захватив и сожгв их военные склады в последнем городе. Он, конечно, считал, что все они отступают на север, и велико было его удивление, когда рано утром 13 октября он услышал от Ланна, что его разведчики, преодолев холмы за Йеной в густом тумане, наткнулись на прусскую армию. Новость была верной лишь отчасти. Это был всего лишь корпус Гогенлоэ, поскольку основная часть этой армии под командованием Брауншвейга отступала на север и чуть не наткнулась на корпуса Даву и Бернадотта за Наумбургом.

Ланн тоже был в опасности на Ландграфенберге. Это высокий холм, возвышающийся над городом Йена и узкой извилистой долиной Заале; в то время как другие его склоны, к северу и западу, возвышаются над изломанным плато неправильной формы, на котором стояли лагерем войска Гогенлоэ. Если бы пруссаки атаковали его измотанные полки в полную силу, они могли бы легко сбросить их в Заале. Но Гогенлоэ получил приказ отступать на север в тыл

Брауншвейгу, как только он соберет отряд Рюхеля близ Веймара, и поэтому был не в состоянии отважиться на смелое наступление, которое теперь было его единственным средством обеспечения безопасности. Предоставленная таким образом передышка была использована французами для того, чтобы поторопить все имеющиеся в наличии полки подняться по склонам к северу и западу от Йены. Ближе к вечеру сам Наполеон поднялся на Ландграфенберг, чтобы осмотреть плато; в то время как городской пастор был вынужден показать тропу дальше на север, которая ведет к тому же плато через овраг под названием Рауталь. ^[105]



БИТВА При ЙЕНЕ

На юге холмы переходят в более широкую долину Мюль-таль, вдоль которой проходит дорога в Веймар; и с этой стороны их лесистые склоны также изрезаны оврагами, вверх по одному из которых ведет извилистая тропа, известная как Шнеке, или Улитка. Деревни и леса разнообразили плато и препятствовали свободному использованию того протяженного линейного построения, на которое полагались пруссаки, в то же время отдавая предпочтение действиям плотных колонн, которым предшествовали тучи стрелков, с помощью которых Наполеон так часто прорубал себе путь к победе. Однако его величайшее преимущество заключалось в невежестве его врагов. Гогенлоэ, полагая, что ему противостоит только корпус Ланна, мало думал о том, что происходит на его фронте, и, посчитав доступным только подход Мюль-таль, разместил свои главные силы на этой стороне. Поэтому со стороны Ландграфенберга была выставлена столь недостаточная охрана, что французы под покровом темноты не только плотно окружили вершину войсками, но и подтянули к ней целые батареи пушек.

Труд был колоссальным: на одной из крутых ложбин несколько пушек и повозок намертво застряли; но император, совершая свой обход в полночь, воспользовался магией своего присутствия, чтобы помочь усталым войскам и отчитать офицеров, из-за халатности которых образовался этот затор. С фонарем в руке он ходил взад и вперед вдоль линии, руководя работами; и Савари, видевший эту сцену, отметил изумление людей, когда они увидели

императора, возобновившуюся энергию их ударов по камням и их удивленный шепот, что *он* явится лично, когда их офицеры уснут. Ночь была далеко позади, когда, увидев первую повозку прямо на узком обрыве, он направился к своему бивуаку среди своих Охранников на вершине и отдал дальнейшие приказы, прежде чем улучшить краткий отдых. Такой неутомимой энергией он обеспечил победу. Помимо огромного воздействия на дух его войск, его бдительность была щедро вознаграждена. Йена была завоевана благодаря быстрой концентрации войск и быстрому захвату господствующей позиции практически на глазах у ничего не подозревающего противника. Корпуса Сульта и Нея провели большую часть ночи и раннее утро, продвигаясь к Йене и занимая свои позиции на правом или северном крыле, в то время как Ланн и гвардия удерживали центральную высоту, а корпус Ожеро в Мюль-тале угрожал саксонцам и пруссакам, охранявшим Шнеке. ^[106]

Рано утром густой туман скрыл действия нападавших, и после нескольких беспорядочных, но упорных боев французы закрепились на плато не только над городом Йена, где их наступление застало пруссаков врасплох, но и над Мюль-талем, где противник был в силе.

К десяти часам туман рассеялся, и теплые лучи осеннего солнца показали плотные массы французов, продвигавшихся к середине плато. Теперь Гогенлоэ осознал всю степень своей ошибки и отправил срочное сообщение Рюхелю о помощи. Было слишком поздно. Французский центр, возглавляемый Ланном, начал оттеснять прусские позиции к деревне Вирзен-Хайлиген. Напрасно отборные эскадроны Гогенлоэ бросились на сомкнутые массы впереди: артиллерийский и мушкетный огонь привел их в замешательство, в то время как французские драгуны были готовы воспользоваться их замешательством. Деревня была потеряна, затем вновь взята группой пруссаков, затем снова потеряна, когда Ней получил подкрепление; и когда наступление Сульта и Ожеро на обоих флангах развило всю мощь французской атаки, Наполеон направил свои резервы, свою гвардию и эскадроны Мюрата на беспорядочные линии. Натиск был непреодолимым, и силы Гогенлоэ были сметены. Затем подошли силы Рюхеля и попытались остановить разгром. Неуклонно продвигаясь, словно на параде, его войска на короткое время задержали натиск французов; но ни рывок прусской кавалерии, ни храбрость пехотинцев не смогли остановить этот могучий прилив, который поверг доблестного командира на дно и смел его ряды в пучину всеобщего крушения. ^[107]

В стремительном бегстве перед всадниками Мюрата беглецы столкнулись с другим разбитым отрядом, брауншвейгским. При Йене пруссаки, если и потерпели поражение, то не были опозорены: еще до того, как прозвучал первый выстрел, их поражение было математически достоверным. В критический момент сражения у них под рукой было всего 47 400 человек, в то время как Наполеон тогда уничтожил 83 600 бойцов. ^[108] Но при Ауэрштедте они были отброшены назад и опозорены. Там они имели явное численное превосходство, имея более 35 000 отборных солдат, в то время как напротив них стояли только 27 000 человек корпуса Даву.

До сих пор Даву отличался скорее собачьей преданностью Наполеону, чем каким-либо военным гением; а блистательный Мармон открыто насмехался над присвоением ему звания маршала. Но под его спокойной внешностью и привычками к трудолюбию скрывалось множество дарований, которым нужен был только отличный повод, чтобы проявиться и удивить мир. ^[109] Теперь это время было уже близко. Фридрих Вильгельм и Брауншвейг выступали из Ауэрштедта, чтобы завершить свое отступление на Эльбе, когда их передовые всадники во главе с доблестным Блюхером увидели сплошную стену французской пехоты,

вырисовывавшуюся сквозь утренний туман. Это была часть корпуса Даву, укрепленного в деревне Хассенхаузен и вокруг нее.

Блюхер сразу же бросился в атаку, но был отброшен с большими потерями. Он снова двинулся в атаку, на этот раз при поддержке пехоты и пушек; и снова он был отброшен, ибо Даву, воспользовавшись туманом, захватил соседние высоты, выходящие на большую дорогу, и крепко удерживал их. Полный решимости отбросить или сокрушить этого упрямого врага, герцог Брауншвейгский повел тяжелые отряды вдоль узкого ущелья; но непрерывный огонь французов уложил его вместе с большинством офицеров; и когда пруссаки отступили, Даву двинул вперед своих людей, чтобы угрожать их флангам. Король был встревожен этими неоднократными проверками, и хотя можно было бы задействовать прусские резервы под командованием Калькройта, чтобы сокрушить оказавшихся в затруднительном положении французов численным превосходством, все же он счел за лучшее отозвать своих людей и вернуться к Гогенлоэ за поддержкой.

Но какая поддержка! Вместо армии это была испуганная толпа, летящая перед саблями Мюрата, которая встретила их на полпути между Ауэрштедтом и Веймаром. Находясь под угрозой корпуса Бернадотта на своем левом фланге, две прусские армии теперь сливались в единый неразличимый поток, который сдерживали только защищающие стены Эрфурта, Магдебурга и еще более отдаленных крепостей.

Из двух сражений при Йене и Ауэрштедте последнее, несомненно, было более славным для французского оружия. В том, что Наполеону удалось разбить армию, численность которой составляла немногим более половины его численности, нет ничего примечательного. Что странно, так это то, что столь непревзойденный лидер был совершенно не осведомлен о распределении сил противника и оставил Даву всего с 27 000 человек беззащитными перед атакой Брауншвейга с почти 40 000.^[110] В своих бюллетенях, как и в "Официальном отчете о взаимоотношениях", император стремился замаять свою ошибку, превратив корпус Гогенлоэ в великую армию и приуменьшив великолепный подвиг Даву, который он тепло восхвалял в своих частных письмах. Дело в том, что он планировал все свои действия, полагая, что основные силы пруссаков находятся перед ним в Йене.

Вот почему во второй половине дня 13-го он поспешно послал отозвать конницу Мюрата и корпус Бернадотта из Наумбурга и его окрестностей; и, как следствие, Бернадотт не принимал активного участия в боевых действиях. За это его жестоко обвиняли на основании утверждения, что Наполеон в ночь с 13-го на 14-е послал ему приказ поддержать Даву. Этот приказ так и не был издан, и ему нет места в последнем и самом полном собрании французских официальных депеш, в котором, однако, есть некоторые, полностью оправдывающие Бернадотта.^[111] К несчастью для славы Бернадотта, сплетни авторов мемуаров более привлекательны и пользуются большим спросом, чем прозаические факты из депеш.

Удача играет огромную роль в войне; и никогда она не была так благосклонна к императору, как 14 октября 1806 года. Удача, мастерство и храбрость Даву и его корпуса превратили то, что могло бы быть почти сомнительным конфликтом, в ошеломляющую победу. Хотя Наполеон был так же не осведомлен о передвижениях Брауншвейга, как и о фланговом марше Блюхера при Ватерлоо, все же предприимчивость и упорство Даву и Ланна принесли ему на Тюрингенских высотах триумф, равного которому едва ли найдется в анналах войны. Трудно переоценить тех маршалов за энергию, с которой они сражались с врагом и развязали сражение в условиях,

весьма благоприятных для французов: без их усилий прусская армия никогда не была бы разбита за один день.

Поток вторжения теперь с ревом хлынул по долинам Тюрингии и затопил равнины Саксонии и Бранденбурга. Реки и крепостные валы были одинаково бессильны остановить этот всепожирающий прилив. 16 октября 16 000 человек сдались Мюрату в Эрфурте: затем, повернув на восток, *ле бо Сабрер* бросился на остатки войск Гогенлоэ и с помощью неутомимого корпуса Ланна вынудил их капитулировать в Пренцлау. ^[112] Блюхер тем временем упорно отступал на север; но под натиском Мюрата, Сульта и Бернадотта он, наконец, бросился в Любек, где после последней отчаянной попытки сдался превосходящей численности (7 ноября).

Здесь мрак поражения рассеивался проблесками героизма; но перед стенами других прусских твердынь бедствие было омрачено позором. Удерживаемые робкими стариками или нервными педантами, они едва ли дожидались решительной атаки. Несколько пушечных выстрелов или даже демонстрация кавалерии обычно поднимали белый флаг. В быстрой последовательности открыли свои ворота Шпандау, Штеттин, Кюстрин, Магдебург и Хамельн, губернатор последнего из которых был в основном озабочен обеспечением своей будущей пенсии при выходе на пенсию от французов, как только Ганновер перейдет под их контроль.

Среди этой позорной капитуляции столица перешла в руки Даву (25 октября). Варнхаген фон Энзе описал свое смешанное удивление и восхищение при виде этих "живых, дерзких, злобно выглядящих маленьких человечков", которые победили великолепных солдат, обученных в школе Фридриха Великого. Его удивление было естественным; но все, кто заглядывал под поверхность, хорошо знали, что Пруссия была повержена еще до того, как прозвучал первый выстрел. Она стала жертвой мертвящей казарменной рутины, официальной апатии или коррупции, а также унижительной политики, которая притупила энтузиазм ее сыновей.

Через тринадцать дней после великой битвы сам Наполеон с триумфом вступил в Берлин. Это был первый раз, когда он позволил себе привилегию победителя, и он приложил все усилия, чтобы поразить воображение человечества парадом своих отборных войск. Первыми шли пешие гренадеры и егеря Императорской гвардии: за центральной группой маршировали другие эскадроны и батальоны этих ветеранов, уже прославившихся как самые отважные бойцы своего времени. В их среде возник разум этой военной машины — Наполеон в сопровождении трех маршалов и блестящего штаба. Среди них люди отмечали простого, похожего на солдата Бертье, всегда надежного и методичного начальника штаба. Рядом с ним ехал Даву, чье круглое и безмятежное лицо мало предвещало его стремительного продвижения в первые ряды французских паладинов. Там же была высокая, красивая, угрожающая фигура Ожеро, чьи заслуги в Йене, какими бы достойными они ни были, едва поддерживали его славу на том высоком уровне, на который она взлетела в Кастильоне. Затем появился любимый адъютант Наполеона Дюрок, невысокий, суровый, закаленный в войне человек, хорошо известный в Берлине, где он дважды пытался укрепить связи французского союза.

Прежде всего, взоры пораженной благоговейным страхом толпы были прикованы к фигуре вождя, обретшей округлость крепкого здоровья среди трудов, которые превратили бы большинство людей в тень; и к лицу, уже не исхудавшему от неудовлетворенных юношеских желаний, а квадратному, полному вознагражденного труда и вполне удовлетворенных амбиций - облик, отличающийся от грубости эпикуреца только нахмуренными бровями,

свидетельствующими о непрестанной мысли, и проницательными, меланхоличными, бездонными глазами.

ПРИМЕЧАНИЕ ДОБАВЛЕНО К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

Несколько фактов, представляющих значительный интерес и важность в отношении англо-французских переговоров 1806 года, были раскрыты М. Кокелем в его недавно опубликованной работе "Наполеон и Англия, 1803-1813", главы xi-xvii. (Джордж Белл и сыновья, 1904).

ГЛАВА XXVI

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ФРИДЛАНД

"Я прекрасно знаю, что Лондон — это уголок мира, а Париж - его центр". -*Письмо Наполеона*, 18 августа 1806 г.

21 ноября 1806 года Наполеон издал в Берлине декрет, провозглашавший открытую и беспощадную войну английской промышленности и торговле, войну, которая должна была втянуть в себя весь цивилизованный мир и прекратиться только с его свержением. Изложив свои жалобы на английский морской кодекс, он объявил британские острова находящимися в состоянии блокады, запретил всякую торговлю с ними, пригрозил конфискацией и тюремным заключением английским товарам и подданным, где бы их ни обнаружили французские или союзные войска, запретил всякую торговлю английскими и колониальными товарами и исключил из портов Франции и союзников любое судно, заходившее в порты Великобритании; в то время как любое судно, потворствовавшее нарушению настоящего декрета, должно было стать хорошим военным призом.^[113] Этот указ, который был обязательным для Франции, Италии, Швейцарии, Голландии и Рейнской конфедерации, лег в основу Континентальной системы - термин, применимый к общей сумме мер, направленных на разорение Англии путем исключения ее товаров с Континента.

План удушения Британии ее собственным богатством не был свойственен Наполеону. Как и многие другие его политические пристрастия, он получил их от якобинцев, которые стойко утверждали, что богатство Англии фиктивно и рухнет, как только ее торговля подвергнется нападению в Индии и будет отрезана от Рейна и Эльбы. Сначала гневные выпады парижских законодателей лениво обрушивались на величественную громаду британской промышленности; но когда на сцене появился молодой Бонапарт, коммерческая война стала серьезной. Как только его победы в Италии расширили сферу французского влияния, Директория запретила ввоз всех наших товаров, считая все хлопчатобумажные и шерстяные изделия английскими, если обратное не может быть доказано сертификатами происхождения. ^[114] Общественное мнение Франции, которое, если его не сдерживал разумный монарх, всегда склонялось к защите или запрету, приветствовало эту решительную меру; и велик был протест промышленников, когда в 1802 году распространился слух, что Наполеон собирается заключить торговый договор с врагом нации. Таким образом, все традиции и обычаи были на его стороне, когда после Трафальгара он сосредоточил всю свою энергию на своей "береговой системе". ^[115]

Очевидно, что Берлинский декрет был ответом на наш Приказ Совета от 16 мая 1806 года, который объявлял все побережье между Брестом и Эльбой в состоянии блокады; и французские историки защищали его на этом основании, утверждая, что это был необходимый ответ на агрессивные действия Англии. ^[116] Но это заявление вряд ли может быть поддержано. Агрессором, несомненно, был человек, который вынудил Пруссию закрыть нейтральное северогерманское побережье для британских товаров (февраль 1806 г.). Кроме того, есть косвенные доказательства того, что Наполеон считал нашу блокаду северных побережий не безосновательной. В своих последующих переговорах с нами он не протестовал против этого и не создавал никаких трудностей по поводу нашего морского кодекса: если бы мы позволили ему захватить Сицилию, мы, похоже, могли бы вновь ввести в действие этот кодекс во всей его прежней строгости. Отнюдь не сделав этого, Фокс и его преемники ослабили блокаду Северной Германии; и приказом от 25 сентября побережье между Эльбой и Эмсом было объявлено свободным.

Таким образом, недовольство Наполеона против нас было существенно уменьшено, и его протест против фиктивных блокад в преамбуле Берлинского декрета действительно относился только к нашим действиям на побережье между Гельдером и Брестом, где наши крейсера наблюдали за продолжающимися военно-морскими приготовлениями. Его реплика в интересах оскорбленного закона, безусловно, была любопытной; он объявил, что наши 3000 миль побережья находятся в состоянии блокады — по сути, это просто жестокий суд, но призванный придать законность его Континентальной системе. И все же, если не считать этого слабого предложения, он очень мало заботился о законе. Действительно, блокада - это акт войны; и ее применение к той или иной части или побережью зависит от воли и мощи воюющих сторон. Наполеон откровенно признавал этот факт; и, как бы ни апеллировали его преамбулы к закону, его поведение определялось исключительно соображениями целесообразности. Когда он хотел мира (вместе с Сицилией), он ничего не говорил о наших морских притязаниях: когда война продолжалась, он использовал их как предлог для действий, которые были в десять раз более жесткими.

Перчатка, брошенная им в Берлине, была немедленно подхвачена Великобританией. Постановление Совета от 7 января 1807 года запрещало нейтральным странам торговать между портами Франции и ее союзников или между портами, соблюдавшими Берлинский декрет, под

страхом ареста судна и груза. В ответ Наполеон издал из Варшавы (27 января) указ, предписывающий конфисковать в ганзейских городах все английские товары и колониальные продукты. В качестве ответных мер Англия вновь ввела строгую блокаду побережья Северной Германии (11 марта); и после того, как Тильзитский мир положил Континент к ногам Наполеона, он откровенно заявил дипломатическому кругу в Фонтенбло, что он больше не допустит никаких коммерческих или политических отношений между Континентом и Англией. "Море должно быть покорено сушей". Этими словами Наполеон емко подвел итог своему предприятию; и что бы ни думали о средствах, которые он использовал, замысел не лишен величия. Допустим, Британия правила волнами, но он правил сушей; а земля, как активная плодородная стихия, должна была пересилить бесплодное море. Такова была идея: она была ошибочной, как выяснится позже; но она сильно привлекала воображение французов как безошибочное средство смирения традиционного врага. Более того, это дало в руки Наполеона мощный государственный механизм не только для обеспечения его положения во Франции, но и для распространения его власти на Северную Германию и все побережья, которые казались необходимыми для успеха эксперимента.

Косвенно это также, по-видимому, подпитывало, но не удовлетворяло, его постоянно растущую любовь к власти. Здесь мы касаемся сложного вопроса о мотивах; и, пожалуй, невозможно, за исключением догматиков, определить, были ли предприятия, приведшие к его разорению — раздел Португалии, который легко перешел в оккупацию Испании, вместе с его московской авантюрой — продиктованы честолюбием или полу-фаталистическим чувством, что они необходимы для полного торжества его Континентальной системы. Он сам, в порыве почти сверхъестественной проницательности, однажды заметил Редереру, что его честолюбие отличается от честолюбия других людей: ибо они были его рабами, тогда как оно было настолько вплетено во всю структуру его существа, что не вмешивалось ни в один процесс мышления и воли. Возможно ли это - вопрос психологов и казуистов; но каждый непредубежденный исследователь карьеры Наполеона должен время от времени останавливаться в крайнем сомнении, был ли тот или иной поступок продиктован безумными амбициями или следовал естественным, возможно неизбежным образом, из этого всеобъемлющего для всего мира постулата - Континентальной системы.

Англия также извлекла некоторые второстепенные выгоды из этой войны стихий. Чтобы загнать своего могущественного врага в тупик, она продолжила свои колониальные завоевания, чтобы контролировать ресурсы тропиков и таким образом предотвратить то смертельное смещение баланса сил в сторону суши, которого добивался Наполеон. И судьба распорядилась так, что завоевания английских моряков и поселенцев оказались более длительными, чем завоевания легионов Наполеона. Пока французы одерживали бесплодные победы за Вислой и Эбро, наши моряки захватывали французские и голландские колонии, а наши первопроходцы открыли внутренние районы Австралии и Южной Африки.

Мы также использовали нашу морскую монополию для подавления нейтральной торговли. У нас нет места для обсуждения сложного вопроса о правах нейтралов во время войны, который включал бы изучение "правил 1756 года" и компромиссов, достигнутых после создания двух Лиг вооруженного нейтралитета. Достаточно сказать, что наши торговцы недавно были возмущены сравнительной неприкосновенностью, которой пользуются нейтральные суда, и настаивали на более решительных действиях против тех, которые ведут торговлю во французских портах.^[117] Однако утверждение о том, что наши Приказы в Совете определялись

криками торгового класса, является преувеличением: это были репрессии против действий Наполеона, следующие за ними почти в геометрической прогрессии. Его господству над промышленными ресурсами Континента нам нечего было противопоставить, кроме нашего производственного мастерства, нашего превосходства в тропиках и нашего контроля над морем. Методы, использовавшиеся обеими сторонами, были одинаково жестокими и, доведенные до логического завершения в конце года, раздавили нейтральных между верхним и нижним жерновами. Но трудно понять, какая еще альтернатива была открыта для островного государства, всемогущего на море и слабого на суше. Само наше существование было связано с морской торговлей; и передача перевозок нейтральным странам была бы самой легкой капитуляцией в то время, когда капитуляция означала политическое вымирание.

Теперь мы переходим к тому, чтобы проследить основные этапы продвижения Наполеона вперед, которые позволили ему навязать свою систему почти всему Континенту. Находясь лагерем в столице Пруссии, он издал указ о низложении курфюрста Гессен-Кассельского, и французские и голландские войска немедленно заняли этот электорат. По отношению к Саксонии он проявил политическое милосердие; и 11 декабря 1806 года курфюрст принял союз с Францией, вступил в Рейнскую конфедерацию и получил титул короля.^[118]

Тем временем Фридрих Вильгельм в сопровождении своей убитой горем супруги пытался собрать армию в своих восточных провинциях. После Йены были сделаны некоторые попытки заключить мир; но Наполеон в конце концов отказался ослабить преследование до тех пор, пока пруссаки не отойдут за Вислу и не уступят ему все западные части королевства с их крепостями. Кроме того, он дал понять, что Пруссия должна присоединиться к нему в тесном союзе против России с целью сдерживания ее честолюбивых планов против Турции; ибо царь, возмущенный низложением султаном господарей Дунайских княжеств, что было предложено французами, отправил армию за реку Прут, даже когда Порта робко отозвала свой негодный фирман.^[119] Таким образом, Восточный вопрос был вновь открыт, и Наполеон предложил франко-пруссский союз, чтобы предотвратить завоевание Россией Балканского полуострова. Но сейчас, как всегда, его условия для Пруссии были слишком жесткими. Король не снизошел до такого унижения, но решил поставить все на храбрость своих войск и верность царя.

Русские, хотя и задержанные своим недоверием к Хаугвицу и бессмысленной войной с Турцией, теперь двинулись маршем численностью 73 000 человек в прусскую Польшу, но опоздали спасти силезские крепости, большинство из которых сдалось французам. Бои на открытой местности также шли против союзников, хотя в Пултуске, городе к северу от Варшавы, русские утверждали, что исход был решен в их пользу.

В конце года армии перешли на зимние квартиры. Время было самое подходящее. Французы плохо снабжались для зимней кампании на безлюдных просторах Польши. Снег и дождь, морозы и оттепели превратили жалкие дороги в грязные болота, где люди проваливались по колени, лошади - по брюхо, а у экипажей не хватало осей. Карета, перевозившая Талейрана, на целую ночь застряла, несмотря на усилия десяти лошадей вытащить ее. Мнение солдат о Польше и поляках хорошо выразил принц *рассказчиков* Марбо: "Погода ужасная, съестных припасов очень мало, вина нет, пиво отвратительное, вода мутная, хлеба нет, жилье делят с коровами и свиньями. "И они называют это своей страной", - сказали наши солдаты.

Однако польский патриотизм был могущественной силой в мире; и Наполеон, всегда следивший за слабыми местами своих врагов, видел, насколько эффективным рычагом он

может быть. Это было его постоянной практикой: он натравливал итальянцев на австрийцев, коптов на мамлюков, друзей на турок, ирландцев на англичан, южных немцев на Габсбургов и Гогенцоллернов, и по большей части успешно. Но, за исключением случаев с итальянским народом и южногерманскими князьями, он редко, если вообще когда-либо, даровал блага, соразмерные оказанным услугам. Весьма сомнительно, испытывал ли он более теплые чувства к ирландским националистам, чем к коптам и друзьям.^[120] За исключением его итальянских родственников, ни одно из националистических устремлений, которые должны были сформировать историю века, не затронуло чувствительную струну в его натуре. В этом, как и в других государственных делах, он считал, что "истинная политика" - это "не что иное, как расчет комбинаций и шансов".

Именно в таком духе он рассматривал польский вопрос. Возникший в результате разделов этой несчастной страны Россией, Австрией и Пруссией, он нарушил покой Европы едва ли меньше, чем Французская революция; и теперь наследник Революции, прорубив себе путь через слабые монархии Центральной Европы, собирался исследовать эту язву христианского мира. Как обычно, ничего не было сделано, чтобы остановить его. Чарторыйский умолял Александра объявить русскую Польшу автономным королевством, объединенным с Россией только золотым звеном короны, но это своевременное предложение было отклонено;^[121] и царь продемонстрировал слабость своих суждений и силу своего тщеславия, ввязавшись в войну с Турцией и Персией, в то время как Польша открывала объятия победителю в сотне сражений. Поэтому Наполеону было легко окружить Россию врагами; и, как вскоре выяснится, он предпринял шаги, чтобы оживить даже отдаленную Персидскую империю.

Но, прежде всего, он подстегнул поляков взяться за оружие. Его поощрения были сдержанно-расплывчатыми. Правда, он одобрял польские прокламации, в которых высокопарно говорилось о национальной свободе; но прокламации он всегда рассматривал как *ballons d'essai* политики. Он также предупредил Мюрата, чтобы тот не обещал полякам слишком многого: "Мое величие не зависит от помощи нескольких тысяч поляков. Пусть они проявят твердую решимость быть независимыми: пусть они поклянутся поддерживать Короля, который будет им дан, и тогда я посмотрю, что можно сделать".

Для такой осторожности было две причины. Его маршалы не обнаружили среди поляков особого желания браться за оружие во имя Франции; и он не желал оскорблять Австрию революционными действиями в Галиции и ее районах к югу и востоку от Варшавы. Габсбурги уже нервно собирали свои войска, и у Наполеона не было ни малейшего желания искушать судьбу, воюя против трех держав в тысяче миль от его собственных границ. Поэтому он успокоил венский двор, пообещав, что будет препятствовать любому восстанию в австрийской Польше, и выдвинул перспективу возвращения Силезии. Это заманчивое предложение было сделано тайно и условно и вызвало не выражение благодарности, а скорее удвоение мер предосторожности. И все же, несмотря на усилия Англии и России, правитель Габсбургов отказался присоединиться к союзникам: он предпочел играть в выжидательную игру, которая разорила Пруссию.^[122]

Кампания была возобновлена в условиях ужасной погоды смелым продвижением русских войск Беннигсена на запад в надежде спасти Данциг и Грауденц от французов. Сначала лесная завеса хорошо скрывала его продвижение. Но, встретившись с Бернадотом у реки Пассарж, его продвижение было остановлено и его замысел раскрыт. Наполеон немедленно приготовился

двинуться на север и сбросить русских в море, план, который, в свою очередь, был сорван из-за захвата казаками французского депеши. Беннигсен, теперь осознавший свою опасность, немедленно отступил к Кенигсбергу, но у Эйлау повернулся к своим преследователям и дал самое кровопролитное сражение в Европе со времен Мальплаке. Численность с обеих сторон, вероятно, была примерно равной, насчитывая около 75 000 человек, при этом русские имели небольшое превосходство в людях и еще большее в артиллерии. Вытесненный из Эйлау в ночь на 7 февраля после беспорядочного боя, москвич отошел на сильную позицию, образованную неровной линией холмов, которые он увенчал пушками.

Когда рассвет проглянул сквозь покрытые снегом облака, орудия начали сеять смерть среди вражеских масс, и тяжелые колонны двинулись вперед. Даву на правом фланге французов начал оттеснять русских с этой стороны, после чего Наполеон приказал корпусу Ожеро использовать преимущество, врезавшись в центр противника. Французы храбро продвигались вперед. Их передовой полк, 14-й, захватил холм, который господствовал над линиями противника, ^[123] когда среди снежного вихря, бившего им в лицо, смертоносный ураган из винограда и канистр почти уничтожил корпус. Его прорванные линии отступили, оставив 14-ю на произвол судьбы. Но теперь туча казаков устремилась на отступающие роты, нанося удары своими длинными копьями; и это был немногочисленный отряд, который нашел безопасность на своей прежней позиции. Русские пушки и кавалерия также остановили наступление Даву, и бой на какое-то время превратился в беспорядочные, но кровопролитные атаки с близкого расстояния. Словно для того, чтобы усилить ужасность происходящего, снежные бури снова пронеслись над полем, ошеломя французов и окутав дружескими крыльями яростные атаки казаков. Тем не менее Великая армия продолжала сражаться с самоотверженным героизмом; и главнокомандующий, полный решимости одержать победу, направил восемьдесят кавалерийских эскадронов против центра русских. Отбросив казаков и бросив вызов пушкам, которые изрешетили их ряды, они обрушились на первую линию русской пехоты: на какое-то время они были отброшены, но, найдя несколько более слабых мест, кирасиры прорвались только для того, чтобы быть отброшенными второй линией; и, когда казаки яростно атаковали их, они в беспорядке отступили. "Эти русские дерутся как быки", - говорили французы. Сравнение было справедливым. Даже когда Мюрат рубил их центр, колонна из 4000 русских гренадер, отделившись от их изуродованной линии, двинулась прямо на деревню Эйлау. С той же слепой отвагой, которая воодушевляла дивизию Сольмса при Стейнكيرке, они отбросили французскую легкую кавалерию и пехоту и теперь угрожали кладбищу, где стоял Наполеон и его штаб.

"Ничто в моей жизни не поражало меня так сильно, - сказал генерал Бертран на острове Святой Елены, - как император в Эйлау, когда его чуть не растоптала русская колонна. Он удерживал свои позиции, пока русские наступали, часто повторяя: "Какая смелость".

Но когда все вокруг него задрожало, и Бертье приказал седлать лошадей, словно собираясь отступить, он сам тихо подал знак своей Охране. Эти крепкие войска, долгое время злившиеся на свое бездействие, маршировали вперед с суровой радостью. Как при Стейнكيرке французская бытовая бригада побрезговала стрелять по бульдогам, так и теперь гвардейцы бросились на москвичей с холодным оружием. Удар был ужасен, но сдерживаемая ярость французов превзошла все ожидания, и гренадеры были почти уничтожены. Сражение все еще могло закончиться победой французов, ибо Даву упорно удерживал деревню, которую он захватил утром, и даже угрожал тылу центра Беннигсена. Но когда обе стороны были почти

измотаны, прусский генерал Лесток с 8000 человек, подгоняемый советами Шарнхорста, поспешил со стороны Кенигсберга, двинулся прямо на Даву и остановил его продвижение. Ней последовал за Лестоком, но на таком большом расстоянии, что его прибытие с наступлением темноты послужило лишь закреплению оставленных французами позиций.

Таким образом, тьма сомкнулась примерно над 100 000 человек, которые устало цеплялись за свои посты, и над заснеженными пустошами, где половина этого числа лежала мертвой, умирающей или искалеченной. Ней вполне мог бы воскликнуть: "Какая резня, и без каких-либо последствий!" Каждая сторона заявила о победе и, как обычно в таких случаях, начала усердно минимизировать свои потери и преувеличивать потери противника. Истина, по-видимому, заключается в том, что у обеих сторон было около 25 000 человек *на закладе*; но, поскольку у Беннигсена не хватало палаток, припасов и, прежде всего, неустрашимого мужества Наполеона, он быстро отступил, и это позволило императору одержать решающую победу. ^[124]

Измученные этим ужасающим сражением, сражающиеся теперь ненадолго ослабили свои усилия; но в то время как Наполеон использовал время передышки для спешного переброски войск со всех концов своих обширных владений, союзники мало что сделали для улучшения своего преимущества. Эта инертность тем более странна, что Пруссия и Россия пришли к более тесному согласию по Бартенштейнскому мирному договору (26 апреля 1807 г.). ^[125]

Теперь два монарха возвращаются к великодушному плану установления мира в Европе, за который царь и Уильям Питт тщетно боролись два года назад. Нынешняя война должна вестись до конца не для того, чтобы унижить Францию и вмешаться в ее внутренние дела, а для того, чтобы обеспечить Европе благословения прочного мира, основанного на требованиях справедливости и национальной независимости. Франция должна удовлетвориться разумными границами, а Пруссия должна быть восстановлена до пределов 1805 года или их эквивалента. Германия должна освободиться от диктата Франции и стать "конституционной федерацией" с границей, "параллельной Рейну". Австрии предлагается присоединиться к нынешней лиге, вернув себе Тироль и границу с Минчо. Англия и Швеция должны быть объединены для общего дела. Союзники также предпримут шаги, чтобы побудить Данию присоединиться к лиге. В остальном целостность Турции должна быть сохранена, а будущее Италии решаться совместно с Австрией и Англией, короли Сардинии и Неаполя будут восстановлены. Даже если Австрия, Англия и Швеция не присоединятся к ним, Россия и Пруссия продолжат борьбу и сложат оружие только по взаимному согласию.

Если бы все Державы, которым угрожал Наполеон, сразу выступили вперед и действовали энергично, эти цели могли бы быть достигнуты уже сейчас. Но Австрия просто возобновила свои предложения о посредничестве, благонамеренное, но безнадежное предложение. Англия, ставшая жертвой официальной некомпетентности, присоединилась к лиге, пообещала помощь людьми и деньгами, но практически ничего не сделала, за исключением отправки бесплодных экспедиций в Александрию и Дарданеллы с целью принудить турок к миру с Россией. На Сицилии мы выстояли против генералов Иосифа, но у нас не было свободных людей для диверсии против войск Мармона в Далмации, на которой настаивал Александр. Еще менее могли бы мы послать с наших собственных берегов какие-либо силы для эффективной помощи Пруссии. Хотя мы заключили мир с этой Державой и обычная осмотрительность могла бы диктовать принятие мер по спасению прибрежных крепостей, Данцига и Кольберга, от французских осаждающих, все же наши усилия были ограничены отправкой нескольких

крейсеров к бывшей цитадели. Еще более насущной была необходимость спасти Штральзунд, главную крепость шведской Померании. Такая экспедиция явно предлагала большие возможности при минимальном риске. С острова Рюген корпус Мортье можно было атаковать; и когда Штральзунд был освобожден, рывок на Штеттин, тогда слабо удерживаемый французами, обещал легкий успех, который поднял бы всю Северную Германию в тыл Наполеону. ^[126]

Но аргументы были отвергнуты министерством Гренвилла, которое цеплялось за свой старый план ничего не делать и делать это дорого. Министр иностранных дел лорд Хоуик ответил, что союзникам не следует ожидать какой-либо значительной помощи от наших сухопутных войск. Учитывая, что Подоходный или военный налог в размере 2 шиллингов в фунтах стерлингов принес доход, близкий к 20 000 000 фунтов стерлингов, и что армия насчитывала 192 000 человек (не считая тех, что находились в Индии), это заявление не пролило света на Министерство всех талантов. Однако этот обанкротившийся кабинет был отправлен в отставку Георгом III. в марте 1807 года, поскольку оно отказалось отказаться от решения вопроса об эмансипации католиков, его место занял герцог Портлендский, а Каннинг стал министром иностранных дел. Вскоре стало видно, что плащ Питта лег на достойные плечи, и наша внешняя политика обрела новую энергию. И все же плохие результаты растраты наших сил на дальние экспедиции не могли быть устранены сразу. Фактически, наш военный эксперт лорд Кэткарт сообщил, что в настоящее время для службы на Балтике может быть выделено всего около 12 000 человек; и, поскольку было бы ниже нашего достоинства посылать столь небольшие силы, было бы лучше держать их дома в готовности угрожать любой части французского побережья. Что касается Штральзунда, он считал этот план более осуществимым, но даже там союзники не смогли бы противостоять корпусу Мортье. ^[127]

Это пример рассуждений, которые быстро сделали Британию презренной как для друзей, так и для врагов. Неудивительно, что такой робкий эгоизм в конце концов побудил царя сказать нашему посланнику: "Действуйте, где вам заблагорассудится, при условии, что вы вообще будете действовать". ^[128] В конце концов новое министерство решилось действовать: оно обязалось отправить 20 000 человек на помощь Штральзунду; но из-за фатальных последствий, которые тогда преследовали нас, это решение было принято 17 июня, через три дня после того, как Коалиция была разбита мощным ударом под Фридландом.

Разительным контрастом малодушным мерам союзников была своевременная энергия Наполеона в переброске подкреплений. Они были набраны частично из корпуса Мортье в Померании, который сейчас наблюдал за шведами, заключившими перемирие; частично из баварцев и саксонцев; но в основном из французских войск, уже находившихся в Центральной Германии, их места заняли итальянцы, испанцы, швейцарцы и голландцы. Во Франции был введен новый набор в армию — третий с начала войны с Пруссией. Турки были воодушевлены на продолжение войны против России и Англии, и к персидскому шаху была направлена миссия укрепить его оружие против царя. К этому последнему мы сейчас и обратимся.

В течение некоторого времени Наполеон кокетничал с Персией, и теперь посольство от шаха прибыло в замок Финкенштейн, прекрасное местечко недалеко от Вислы, где император проводил весенние месяцы. Был составлен международный договор, и генералу Гардану было поручено укрепить узы дружбы с Тегеранским двором. Инструкции, тайно данные этому офицеру, представляют большой интерес. Ему приказано проследовать в Персию через Константинополь, заключить союз между султаном и шахом, удвоить усилия Персии против ее

"естественного врага", России, и изучить способы вторжения в Индию. С этой целью с ним отправляется несколько офицеров для изучения маршрутов из Египта или Сирии в Дели, а также для составления отчетов о гаванях в Персии с целью морской экспедиции либо через Суэцкий канал, либо через мыс Доброй Надежды. Шаха нужно убедить сформировать корпус из 12 000 человек, обученных по европейскому образцу и вооруженных оружием, проданным Францией. Эти силы нападут на русских в Грузии, а позже примут участие в экспедиции в Индию. С целью отправки 20 000 французских солдат в Индию Гардан должен связаться с принцами Махратты и подготовиться к этому предпрятию всеми возможными средствами.

Здесь мы можем отметить, что Гардан отправился в Персию и призывал шаха к более активным мерам против России, когда известие о Тильзитском мирном договоре отвлекло его усилия на восток. В конце года он доложил Наполеону, что для сухопутного похода из Сирии к Гангу Кипр является незаменимой базой снабжения: он рекомендовал маршрут Бир, Мардин, Тегеран, Герат, Кабул и Пешавур: потребуется от сорока до пятидесяти тысяч французских войск, а также тридцать-сорок тысяч персов. Из этих планов ничего не вышло; но ясно, что даже когда Наполеон оказался лицом к лицу с грозными противниками на Висле, его мысли все еще с тоской обращались к берегам Ганга. ^[129]

Результат деятельности Наполеона и пассивность его врагов вскоре стали очевидны. Данциг сдался французам 24 мая, а Нейсе в Силезии немного позже; и только после того, как осаждавшие эти крепости подошли, чтобы увеличить французское войско, Бенигсен начал кампанию. Вскоре он пожалел о задержке. Его попытки оттеснить врага от реки Пассарж были быстро пресечены, и он поспешно отступил в свой укрепленный лагерь в Хайльсберге. Там, 10 июня, он яростно оборонялся и нанес тяжелые потери французскому авангарду. Напрасно корпус Сульта пробивался к укреплениям; его люди были скошены картечью и ружейным огнем; напрасно Наполеон, который поспешил днем, пустил в ход гвардейских фузилеров и дивизию корпуса Ланна. Москвичи держались стойко, и день закончился для французов зловеще. Это снова был Эйлау, но в небольшом масштабе.

Но Беннигсен был одним из тех командиров, которые, сражаясь с большим духом, терпят рецидив. Несмотря на мольбы своих генералов, он отступил после Эйлау; и теперь, после дня бездействия, его колонны под покровом темноты двинулись к Кенигсбергу. В оправдание этого действия приводилось тем, что в лагере у него был запас хлеба всего на два дня и что продвижение корпуса Даву в обход его правого фланга угрожало отрезать его от базы снабжения, Кенигсберга. ^[130]

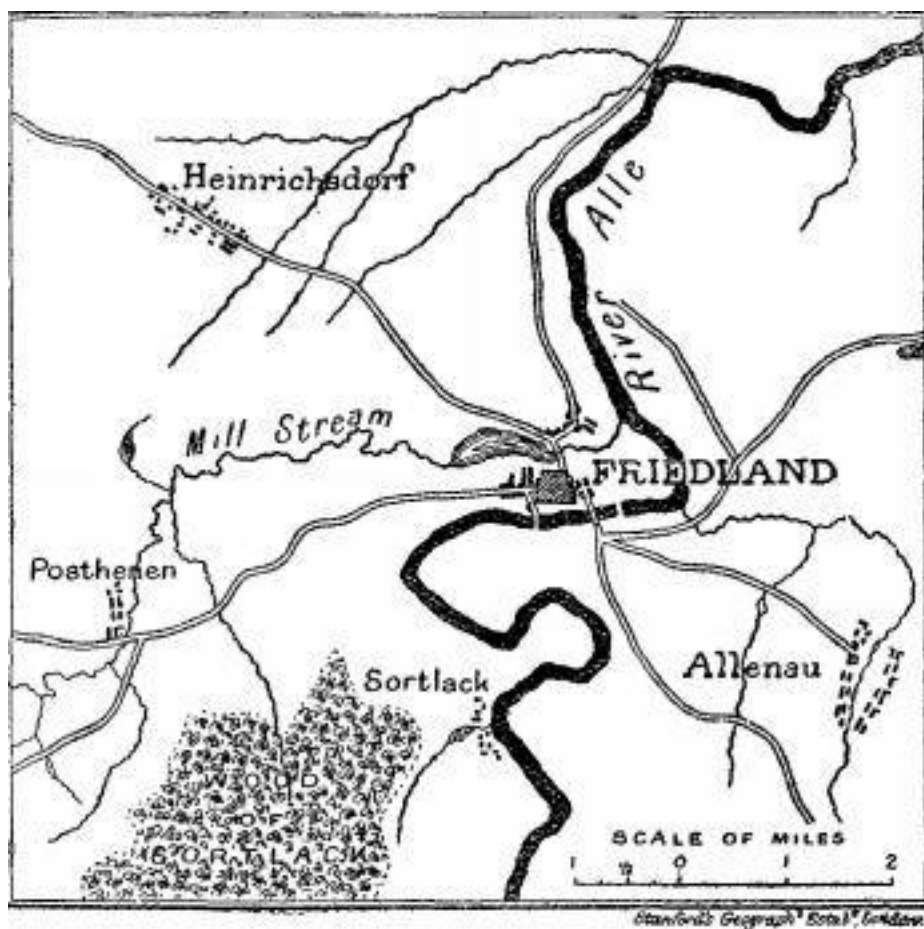
Первое оправдание только подвергает его еще большему порицанию. Привычка русских в то время обычно заключалась в том, чтобы жить практически впроголодь; но то, что тщательно подготовленная позиция, подобная позиции под Гейльсбергом, была оставлена без достаточного снабжения, непостижительно. В течение двух следующих дней соперничающие войска двинулись на север, одно - чтобы захватить, другое - чтобы спасти Кенигсберг. Их разделяла извилистая долина Алле. Но течение этой реки благоприятствовало Наполеону в той же мере, в какой препятствовало Бенигсену. Алле ниже Хайльсберга делает глубокий изгиб на северо-восток, затем снова направляется на север, к Фридланду, где находится в сорока милях от Кенигсберга, но в нижнем течении течет на северо-восток, пока не впадает в Прегель.

Таким образом, армия, марширующая из Гейльсберга к старой столице Пруссии правым берегом, была бы легко опережена армией, которая могла бы следовать по хорде дуги, а не по

самой неправильной дуге. Наполеон находился в этом удачном положении, в то время как русские брели под проливными дождями по полукруглому маршруту дальше на восток. Теперь их ошибка, заключающаяся в оставлении Гейльсберга, была очевидна. 13-го император остановился в Эйлау, чтобы получить известия о пруссаках на фронте и о Беннигсене на своем правом фланге. Против первого он бросил свои главные силы под предводительством Мюрата в надежде захватить Кенигсберг одним ударом. ^[131] Но, предвидя, что русские, вероятно, перейдут Аллею у Фридланда, он отправил Ланна в Домнау посмотреть, переправились ли они уже в полном составе. Таким образом, очевидно, что Наполеон не предвидел, что приготовил для него завтрашний день: его целью было вбить прочный клин между Бенигсеном и защитниками Кенигсберга, сначала взять штурмом этот город, а затем повернуться против Бенигсена. Таким образом, утверждение некоторых поклонников Наполеона о том, что он устроил русским ловушку во Фридланде, как это было при Аустерлице, опровергается собственными приказами императора.

Тем не менее Беннигсен попал в ловушку, причем в ловушку, выбранную им самим. Стремясь вклиниться между Наполеоном и старой прусской столицей, он переправился через реку у Фридланда и попытался укрепить свои позиции на левом берегу, оттеснив авангард Ланна обратно к Домнау, перебросив через ручей три моста и установив на холмах на правом берегу грозную артиллерию. Но ему пришлось иметь дело с жестким и дерзким противником. Всю зиму Ланн страдал от плохого самочувствия и негодования по поводу реальной или воображаемой несправедливости своего шефа, но летняя жара вновь пробудила в нем жажду славы и вернула ему былую энергию. Призвав саксонскую кавалерию, драгун Груши и гренадеров Удино, он удерживал свои позиции в течение коротких часов темноты. Перед рассветом он разместил свои 10 000 солдат в лесах и на плато Постхенен, лежащем к западу от Фридланда, и попытался остановить марш 40 000 русских. После четырехчасового боя его людей собирались отбросить назад, когда дивизии Вердые и Дюпа — последнего из корпуса Мортье - разделили бремя сражения, пока солнце не встало в зенит. Когда бой снова стал сомнительным, показались плотные колонны Нея и Виктора, и отчаянными усилиями французский авангард удерживал свои позиции до тех пор, пока не прибыла эта долгожданная помощь.

Наполеон, получив настоятельные призывы Ланна о помощи, теперь поспешно подъехал и в ответ на приветственные крики своих усталых войск неоднократно восклицал: "Сегодня счастливый день, годовщина Маренго". Их пыл был доведен до предела, и Удино приветствовал своего вождя словами: "Скорее, сир! мои гренадеры больше не могут держаться, но дайте мне подкрепление, и я разобью



БИТВА При ФРИДЛАНДЕ

Русских в реку".

[132]

Император осторожно дал им передышку: свежие войска выступили вперед и образовали первую линию, а те, кто сражался девять часов, теперь составляли поддержку. Ней занимал почетный пост в лесу на правом фланге, почти над Фридландом; за ним находился корпус Бернадотта, которым с тех пор, как этот маршал был выведен из строя раной, командовал генерал Виктор; там же были драгуны Латур-Мобура и внушительные массы гвардии. В центре, но заходя в тыл, стояли остатки неукротимого корпуса Ланна, теперь обреченного на некоторое время на сравнительное бездействие;

защитная тактика также была предписана Мортье и Груши на левом фланге, пока Ней и Виктор не решат судьбу второго боя. Русские, как будто склонные поддерживать план Наполеона, продолжали разворачиваться перед Фридландом, ведя при этом беспорядочный бой; и Беннигсен, теперь обеспокоенный своими коммуникациями с Кенигсбергом, отрядил 6000 человек вниз по правому берегу реки в направлении Веллау. Таким образом, для защиты Фридланда от сил, которые теперь насчитывали 80 000 человек, осталось всего 46 000 человек:

однако для охраны мостов не было брошено никаких сил — и об этом после прибытия Наполеона с сильным подкреплением стало известно по волнению на фронте противника.

Тем не менее, уже в 3 часа дня Наполеон сомневался, не следует ли ему дожидаться прибытия Мюрата. По его указанию Бертье приказал этому маршалу оставить Сульта в Кенигсберге и поспешить обратно с Даву и кавалерией во Фридланд: "Если я в начале этого сражения пойму, что у противника слишком большие силы, я мог бы довольствоваться сегодняшней канонадой и дожидаться вашего прибытия". Но чуть позже император решает немедленно атаковать. Все предзнаменования благоприятны. Если русские будут отброшены назад, они будут сражаться, прижавшись спинами к глубокой реке. Кроме того, их местоположение разрезано надвое мельничным ручьем, который течет в овраге, а недалеко от города перекрыт плотиной, образуя небольшое озеро. Ниже этого места, в глубокой излучине самой реки, раскинулся Фридланд. В этот *тупик* он загонит русских слева и сбросит их сломанные линии в озеро и реку.

В пять часов залпом из двадцати орудий открылось второе и более масштабное сражение при Фридланде. Броситься на авангард москвичей и очистить его от леса Сортлак было для передовой дивизии Нея делом одного мгновения; но, выйдя на открытое пространство, их ряды были вспаханы выстрелами русских орудий, установленных на холмах за рекой. Ошеломленная этим огнем, дивизия колебалась, когда русские гвардейцы и их отборные конные эскадроны нанесли смертельный удар по дому. Но вторая дивизия Нея, возглавляемая доблестным Дюпоном, поспешила восстановить равновесие, в то время как драгуны Латур-Мобура обрушились на вражеских всадников и погнали их врассыпную к Фридланду.

У русской артиллерии дела обстояли немногим лучше: Наполеон направил Сенармон с тридцатью шестью орудиями во фланг, и вскоре она была подавлена. Освобожденный теперь от русской картечи и сабель, Ней продолжал свой путь, подобно потоку, преодолевающему плотину, достиг верхней части озера и сбросил сбитого с толку врага в его воды или в город. Фридланд превратился теперь в смертельную ловушку: сбитые в кучу, измученные снарядами, дробью и штыковыми ударами, русские сражались от улицы к улице с энергией отчаяния, но мало-помалу были отброшены на мосты. Помощи там ждать было неоткуда, так как Сенармон, подтянув свои орудия, снес мосты ужасающим огнем: когда часть русского левого фланга и центра переправилась через реку, они загорелись - сигнал, предупредивший их товарищей дальше на север о надвигающейся гибели. На этой стороне также общее наступление французов отбросило врага назад, к крутым берегам реки. Но на этих открытых равнинах преданность и доблесть московской кавалерии принесли еще большие плоды: атаковав врага в разгар победы, эти доблестные всадники дали пехоте время преодолеть опасность глубокого брода: сотни утонули, но другие, вместе с большей частью орудий, скрылись в темноте по левому берегу реки.

На следующее утро армия Беннигсена представляла собой массу беглецов, бредущих к Прегелю и сражающихся друг с другом за возможность перейти его по длинному узкому мосту. Даже на другом берегу они не остановились, а побрели дальше к Неману, уже не армия, а

вооруженная толпа. На его берегах к ним присоединились защитники Кенигсберга, которые после упорного сопротивления прорвались через линии Сульта и направились к Тильзиту. Там, за широким течением Немана, беглецы нашли пристанище.

Всегда будет загадкой, почему Беннигсен удержал Фридланд после прибытия французского подкрепления; и чувство удивления и раздражения находит выражение в отчете нашего посланника лорда Хатчинсона, основанном на информации двух британских офицеров, находившихся в русском штабе:

"Многие обстоятельства, сопутствовавшие битве при Фридланде, не имеют аналогов в анналах войны. Мы переправились через реку Алле, не зная, придется ли нам сражаться с одним корпусом или со всей французской армией. С самого начала сражения было очевидно, что нам есть что терять и, вероятно, мало что можно приобрести: ... Генерал Беннигсен, я полагаю, рано утром отступил бы с позиций, которые ему никогда не следовало занимать; но корпус на нашем фронте оказал такое энергичное сопротивление, что, хотя иногда мы немного продвинулись вперед, все же нам так и не удалось выбить их из леса или деревни Генрихсдорф".^[133]

Эти свидетельства свидетельствуют о выдающихся заслугах Ланна, Удино и Груши в начале дня; и ясно, что, как и при Йене, никакого крупного сражения вообще не было бы, если бы не доблесть и упорство, с которыми Ланн держался за врага, пока не подошел Наполеон.

ГЛАВА XXVII

ТИЛЬЗИТ

Даже сейчас положение союзников не было безнадежным. Толпы отставших присоединились к знаменам в Тильзите, и татарское подкрепление было совсем рядом. Доблестный Гнейзенау все еще храбро держался в Кольберге против дивизий Брюна, а две силезские крепости еще не сдались. Более того, Австрия, казалось, собиралась выступить против Наполеона, и были надежды, что вскоре Англия что-нибудь предпримет. Но, прежде всего, поскольку война была для Пруссии исключительно делом чести,^[134] доброе имя Александра было глубоко затронуто тем, что он не бросал союзника, которому теперь был обязан всеми рыцарскими обязательствами, до тех пор, пока не будут достигнуты удовлетворительные условия.

Но натура Александра еще не была укреплена несчастьями и религиозными убеждениями: это был солнечный фон мерцающего энтузиазма, время от времени омрачаемый тенями восточного коварства или воинственными амбициями — натура, в которой попеременно брали верх сентиментализм Руссо и страсти боярина. Нет реализма более грубого, чем реализм разочарованного идеалиста; и в течение нескольких месяцев молодой царь видел, как его мечта о свободной и счастливой Европе тает среди дыма пушек Наполеона и тумана английской неразберихи. Сначала он не побледнел даже при известии о Фридланде. В беседе с нашим послом лордом Гауэром 17 июня он горько упрекнул его в нашем бездействии на Балтике и Средиземноморье и в невыполнении нашего обещания предоставить заем; что касается его самого, "он никогда бы не унизился до Бонапарта: он предпочел бы удалиться в Казань или даже в Тобольск". Но пять дней спустя, действуя под давлением своих отчаявшихся генералов, некоторые из которых напоминали ему о судьбе его отца, он заключил перемирие с завоевателем. ^[135] Было отведено только пять дней, в течение которых Пруссия могла решить последовать его примеру или продолжить войну в одиночку. На следующий день она смирилась с неизбежным.

Международная ситуация теперь странным образом напоминала ту, которая последовала непосредственно за битвой при Аустерлице. Тогда это была Пруссия, теперь это была Австрия, которая играла роль осторожного друга в то самое время, когда побежденные союзники обдумывали капитуляцию. В течение некоторого времени Венский двор предлагал свои посреднические услуги: они были хорошо приняты в Лондоне, с открытым разочарованием со стороны Пруссии и с плохо скрываемым раздражением со стороны Наполеона. Как и в то время, когда Хаугвиц пришел к нему, чтобы диктовать условия Пруссии, так и теперь император заставил австрийского посланника ждать без ответа, пока не будет нанесен удар под Фридландом. ^[136] Уже тогда казалось, что Австрия вот-вот попадет в списки, когда поступили новости о заключении перемирия в Тильзите. Это позволило ей вложить меч в ножны без ущерба для чести; но, как и в случае с Пруссией в конце 1805 года, ее поведение было сочтено робким и рассчитанным на время; и это заслуживало тайного упрека Каннинга в том, что она "(как обычно) всего на десять дней опоздала со своим решением, иначе мир мог быть спасен". ^[137]

Можно усомниться в том, была ли Австрия обманута недавними дипломатическими ласками Наполеона, поскольку они явно были направлены на то, чтобы заставить ее замолчать, пока он не сведет счеты с Пруссией и Россией. Его заигрывания начались только накануне последней войны, и резкость перехода от угроз к ласковости не могла быть сглажена даже утонченностью Талейрана. ^[138] Когда бойня в Эйлау поставила его в опасное положение, он снова попросил Талейрана успокоить австрийского посланника заверениями, что, если его господин желает сохранить целостность Турции, Франция сохранит ее; или, если он желает участвовать в конечном разделе, Франция также устроит это по его вкусу. ^[139] Но по мере улучшения перспектив кампании тон Наполеона ужесточался. 14 марта он заявляет, что у него достаточно людей, чтобы успокоить Австрию и "избавиться от русских за месяц". И теперь он рассматривает союз с Габсбургами просто как возможность ненадолго затихнуть, в то время как союз с Россией был бы "очень выгоден". ^[140] Он также чувствовал ценность союза с Пруссией, о чем свидетельствуют его неоднократные попытки во время кампании; но когда Фридрих Вильгельм упорно отвергал любые договоренности с человеком, который так глубоко оскорбил его королевскую честь, он в конце концов обратился к Александру.

Царь был сделан из более податливого материала. Более того, теперь он лелеял одно чувство, которое сближало его с Наполеоном, а именно ненависть к Англии. У него, безусловно, были серьезные основания для жалоб. Мы ничего не сделали, чтобы помочь союзникам в польской кампании, за исключением отправки нескольких крейсеров и 60 000 мушкетов, которые в последний раз не достигли шведских и русских портов до окончания войны. Правда, мы приложили все усилия, чтобы напасть на Константинополь по его просьбе; но эта атака провалилась; и наше отношение к его турецкой политике было завуалированным подозрением, перемежавшимся нравоучениями.^[141] Что касается займа в пять миллионов фунтов стерлингов, который царь просил нас гарантировать, мы отложили его, наш посланник наконец напомнил ему, что помощь Австрии в продвижении имела первостепенное значение. Хуже всего было то, что наши крейсера захватили несколько русских торговых судов, выходивших из французских портов, и, несмотря на протесты Санкт-Петербурга, законность этого захвата была сохранена. Таким образом, в войне, которая касалась самого нашего существования, мы не оказали ему ни единой практической услуги и все же нарушили принципы морского права в ущерб русской торговле.^[142]

Нашей политике грубого промедления противостояла политика Наполеона, быстрая, проницательная и всегда победоносная. Вся война возникла из-за конфликта этих двух держав, и Наполеон никогда не переставал заявлять, что по существу это была борьба между Англией и Континентом. После Эйлау Александр был непоколебим в этих доводах; но теперь победоносная энергия Наполеона и флегматичная апатия Англии привели к совершенно ошеломляющим переменам в политике России. После того как два императора сделали деликатный шаг навстречу друг другу, была назначена встреча на плоту, пришвартованном посреди реки Неман (25 июня).

"Я ненавижу англичан так же сильно, как и вы, и я поддерживаю вас во всех ваших действиях против них". Говорят, именно такими словами Александр приветствовал Наполеона, когда они ступили на плот. На что завоеватель ответил: "В таком случае все можно устроить и заключить мир".^[143] Поскольку два императора были без сопровождения на том первом собеседовании, трудно понять, на каких доказательствах основана эта история. Крайне маловероятно, что один из императоров стал бы разглашать замечания другого по этому поводу; а слова, приписываемые Александру, кажутся в высшей степени невежливыми. Ибо какова была его позиция в то время? Он стремился извлечь максимум пользы из неудачного дела против противника, гениальности которого втайне опасался. Кроме того, мы точно знаем, что он больше всего хотел отложить свой разрыв с Англией на несколько месяцев.^[144] Все желание немедленного прорыва было на стороне Наполеона.

Поэтому мы можем только догадываться о том, что произошло, по смутным описаниям самих двух мужчин. Они достаточно характерны: "У меня никогда не было против кого-либо большего предубеждения, чем против *него*", - сказал Александр впоследствии; "но после трех четвертей часа беседы все они исчезли, как сон"; и позже он воскликнул: "Если бы я увидел его раньше: завеса сорвана, и время заблуждений прошло". Что касается Наполеона, он писал Жозефине: "Я только что видел императора Александра: я был им очень доволен: он очень красивый, добрый и молодой император: у него интеллект выше того, что обычно приписывают императору". он."^[145] Тон этих замечаний является лейтмотивом всех последующих бесед. На совещании на следующий день, также проходившем в роскошном павильоне, воздвигнутом на плоту, присутствовал король Пруссии; но по отношению к нему поведение Наполеона было

холодным и угрожающим. Он упрекнул его в войне, прочитал лекцию о долге короля перед своим народом и приказал уволить Харденберга. Фридрих Вильгельм по большей части слушал молча; его натура была слишком жесткой и прямолинейной, чтобы практиковаться в каких-либо византийских искусствах; но когда на его верного министра напали, он возразил, что не знает, чем его заменить. Наполеон предвидел эту просьбу и сразу же назвал трех человек, которые могли бы дать лучший совет. Среди них был убежденный патриот Штейн!

Из последующих совещаний король был почти полностью исключен. Они содержались в части города Тильзит, которая была нейтрализована для этой цели, а также для охраны и дипломатов трех государей. Там также жили два императора, поддерживавшие тесные отношения, в то время как прусский король почти каждый день приезжал верхом из соседней деревни, чтобы присутствовать в качестве печального гостя, вызывающего упрек, на аттракционах, парадах и обедах, которые скрепляли новый франко-русский союз. И все же, среди всех мелодичных восторгов Александра по поводу недавно открытых добродетелей Наполеона, легко уловить цепкий основной тон московских амбиций. Произошло событие, которое пробудило надежды обоих императоров. В конце мая султан Селим был насильственно свергнут янычарами, требовавшими более решительных мер против русских. Никогда еще известие не приходило к Наполеону так кстати, как это, которое достигло его в Тильзите 24 июня или раньше. Говорят, что он воскликнул царю со вспышкой драматического фатализма: "Это указ Провидения, который говорит мне, что Турецкая империя больше не может существовать". ^[146]

Несомненно, что самым мощным заклинанием, оказанным великим завоевателем на своего соперника, было осторожное приглашение принять участие в каком-нибудь будущем разделе Турецкой империи. Этот план очаровывал Наполеона еще с 1797 года, когда он любовался Адриатикой. Хотя это было отложено на время в 1806 году, когда он поднял турок против России, об этом никогда не забывали; и теперь, на основе общей ненависти к Англии и общего желания заполучить трофеи Османской империи, была воздвигнута величественная структура франко-русского союза.

Со своей стороны, Александру требовались определенные гарантии того, что Польша не должна быть восстановлена в ее целостности — изменение, которое оторвало бы от России огромные районы, простиравшиеся почти до Риги, Смоленска и Киева, которые все еще симпатизировали Польше. Здесь Наполеон успокоил его, по крайней мере частично. Он не стал бы воссоздавать великое королевство Польское: он просто отнял бы у Пруссии большую часть ее польских владений.

Когда эти два важных вопроса были решены, царю оставалось только умолять короля Пруссии признать господство Наполеона как императора Запада, в то время как он сам, как автократ Востока, обеспечил лучшую западную границу для России. Сначала он стремился добиться для Фридриха Вильгельма восстановления нескольких его земель к западу от Эльбы. Это первенство не было полностью бескорыстным, ибо теперь известно, что царь положил свое сердце на значительную часть прусской Польши.

По правде говоря, он был достаточно хорошим учеником французских революционеров, чтобы очень убедительно отстаивать свои претензии на "естественную границу". Ему не нравилась "сухая граница": у него должна была быть граница по реке: фактически, он претендовал на берега Нижнего Немана и, далее на юг, на русло рек Вавре, Нарев и Буг. К этому заявлению его, возможно, подтолкнули какие-то заманчивые слова Наполеона о том, что отныне границей их

империй должна быть Висла. Но его союзник теперь был полон решимости держать Россию подальше от старой польской столицы; и в странно пророческих словах он указал, что притязания царя приблизят русских орлов к Варшаве, что было бы слишком явным признаком того, что этому городу суждено перейти под власть России.^[147] Также предположив, что просьба Александра о восстановлении Францией некоторых западных земель Пруссии была связана с планом, который передал бы России некоторые из ее восточных районов,^[148] Наполеон решил сильно надавить на Пруссию с запада. Передавая царю лишь небольшой район вокруг Белостока, он безжалостно оттеснил Пруссию к востоку от Эльбы.

С этого момента ни доводы царя, ни мольбы королевы Луизы не смогли сдвинуть его с места. И все же, в нежной надежде, что ее слезы помогут вернуть Магдебург, этот благородный оплот северогерманской независимости, несчастная королева приехала в Тильзит, чтобы молить об этом благе (6 июля). Это было ужасным испытанием - выслушать такое от человека, который неоднократно оскорблял ее в своих официальных журналах, представляя сначала Амазонкой в кольчуге, скачущей во главе своего полка, и, наконец, раздувающего скандалы, бросающие тень на ее безупречную репутацию.

Тем не менее, ради своего мужа и своего народа она взяла на себя смелость обращаться с ним как с джентльменом и взывать к его великодушию. Если ей и удавалось скрывать свое отвращение, то вряд ли это удавалось ее преданной фрейлине графине фон Восс, которая оставила нам едкий отчет о визите Наполеона к королеве в доме мельника в Тильзите.^[149]

"Он чрезмерно уродлив, с толстым, опухшим желтоватым лицом, очень тучный, к тому же невысокий и совершенно без фигуры. Его большие глаза мрачно вращаются по сторонам; выражение его черт сурово; он похож на воплощение судьбы: только рот хорошей формы и хорошие зубы. Он был чрезвычайно вежлив, долго разговаривал с королевой наедине.... И снова, после ужина, у него состоялась долгая беседа с королевой, которая также казалась вполне удовлетворенной результатом".^[150]

Мнение королевы Луизы о его внешности было более благоприятным; она восхищалась его головой, "как у цезаря". С подкупающей смелостью, вдохновленной патриотизмом, она попросила Магдебург. Ошеломленный ее красотой и откровенностью, Наполеон рассыпался в комплиментах по поводу ее платья. "Разве мы должны говорить о моде в такое время?" был ее ответ. Снова она умоляла, и снова он скатился к банальностям. Тем не менее, ее призывы к его великодушию, казалось, подталяли в его умении управлять государством, когда появление этого невезучего человека, ее мужа, придало разговору более холодный тон. Обед, однако, прошел достаточно весело, и, согласно французским свидетельствам, Наполеон украсил завершение десерта, подарив ей розу. Ее женское остроумие выразилось в словах: "Могу ли я считать это знаком дружбы и то, что вы удовлетворили мою просьбу относительно Магдебурга?" Но он был настороже, парировал ее натиск общим замечанием о том, как следует относиться к подобным любезностям, и перевел разговор в другое русло. Затем, словно опасаясь результатов повторного собеседования, он поспешил покончить с прусскими переговорщиками.^[151]

Он так описал это интервью в письме Джозефине:

"Мне приходилось остерегаться ее попыток принудить меня к некоторым уступкам ради ее мужа; но я был галантен и придерживался своей политики".

Это стало совершенно ясно на следующий день, когда королева снова обедала с монархами.

"Наполеон, - говорит графиня фон Восс, - казался злобным, и беседа была короткой и натянутой. После обеда королева снова беседовала с ним отдельно. Прощаясь, она сказала ему, что уезжает с глубоким чувством, что он должен был обмануть ее. Моя бедная королева: она в полном отчаянии".

Когда Талейран и Дюрок проводили ее до кареты, она упала, охваченная волнением. И все же, среди ее слез и унижения, старая прусская гордость вспыхнула в одном из ее ответов, как радуга среди ливня. Когда Наполеон выразил свое удивление по поводу того, что она осмелилась начать войну с ним столь неадекватными средствами, она сразу же возразила: "Сир, я должен признаться Вашему величеству, слава Фридриха Великого ввела нас в заблуждение относительно нашей реальной силы" — реплика, которая по праву заслужила похвалу этого придирчивого знатока Талейрана за напоминание о былом величии Пруссии и преходящести всего человеческого величия. ^[152]

В тот же день (7 июля) был подписан Тильзитский мирный договор. Его условия можно резюмировать следующим образом. Из уважения к российскому императору Наполеон согласился вернуть королю Пруссии провинцию Силезия и старые прусские земли между Эльбой и Неманом. Но польские земли, захваченные Пруссией во время второго и третьего разделов, должны были (за исключением Белостокского округа, ныне приобретенного Россией) образовать новое государство под названием герцогство Варшавское. Правителем этого герцогства был назначен король Саксонии. Данциг, когда-то польский город, теперь был объявлен вольным городом под защитой королей Пруссии и Саксонии, но сохранение там французского гарнизона до заключения мира сделало его практически французской крепостью. Саксен-Кобург, Ольденбург и Мекленбург-Шверин были возвращены своим герцогам, но два последних должны были удерживаться французскими войсками до тех пор, пока Англия не заключит мир с Францией. Имея в виду эту цель, Наполеон согласился на посредничество Александра при заключении мирного договора с Англией при условии, что она примет это посредничество в течение одного месяца после ратификации настоящего договора.

Со своей стороны, царь теперь признал недавние перемены в Неаполе, Голландии и Германии; среди последних было создание Вестфальского королевства для Жерома Бонапарта из прусских земель к западу от Эльбы, герцогства Брауншвейг и курфюршества Гессен-Кассель. Голландия получила Восточную Фризию за счет Пруссии. Что касается Турции, то царь обязался немедленно прекратить военные действия, принять посредничество Наполеона в настоящем споре и вывести русские войска из Дунайских провинций, как только будет заключен мир с Блистательной Портой. Наконец, два императора взаимно гарантировали неприкосновенность своих владений и установили свои церемониальные и дипломатические отношения на основе полного равенства.

Таковы были опубликованные статьи Тильзитского мирного договора. Даже если бы это было все, европейской системе был бы нанесен самый серьезный удар со времен Тридцатилетней

войны. Прусская монархия внезапно лишилась половины своего населения и теперь фигурировала на карте как разрозненная земля, едва ли превышающая владения короля Саксонии и менее защищенная, чем Вестфальское королевство Жерома Бонапарта; в то время как Рейнская конфедерация, которая вскоре должна была стать еще более могущественной благодаря присоединению Мекленбурга и Ольденбурга, казалось, обречен дом Гогенцоллернов на длительное ничтожество. ^[153]

Но опубликованный договор - это далеко не все. Были также секретные статьи, главная из которых заключалась в том, что округ Каттаро — к западу от Черногории — и Ионические острова должны отойти Франции, и что царь признает Жозефа Бонапарта королем Сицилии, когда Фердинанд Неаполитанский получит "контрибуцию в виде Балеарских островов, или Крита, или их эквивалента". Кроме того, если Ганновер в конечном итоге будет присоединен к королевству Вестфалия, Вестфальский округ с населением от трехсот до четырехсот тысяч душ будет возвращен Пруссии. Наконец, главы Оранско-Нассауского, Гессен-Кассельского и Брауншвейгского домов должны были получать пенсии от Мюрата и Жерома Бонапартов, которые лишили их собственности.

Самым важным из всех был секретный союзный договор с Россией, также подписанный 7 июля, по которому два императора обязывались действовать сообща в любой войне, которую любой из них мог бы затеять против любой европейской державы, используя, при необходимости, все свои соответствующие силы. Опять же, если бы Англия не приняла посредничество царя или если бы она не признала к 1 декабря 1807 года совершенное равенство всех флагов на море и не восстановила свои завоевания, сделанные у Франции и ее союзников с 1805 года, тогда Россия объявила бы ей войну. В этом случае нынешние союзники "призовут три суда Копенгагена, Стокгольма и Лиссабона закрыть свои порты от англичан и объявить войну Англии. Если какой-либо из трех Дворов откажется, высокие договаривающиеся стороны будут относиться к нему как к врагу, а если Швеция откажется, *Дания будет вынуждена объявить ей войну*". На Австрию также будет оказано давление, чтобы она следовала тем же курсом. Но если Англия вовремя заключит мир, она может вернуть Ганновер, восстановив свои завоевания во французских, испанских и голландских колониях. Точно так же, если бы Турция отказалась от посредничества Наполеона, он в этом случае помог бы России изгнать турок из Европы — "за исключением только города Константинополя и провинции Румелия". ^[154]

Название города Константинополь, который находится в Румелии, свидетельствует об избытке благоразумия. Но это помогает подтвердить заявление секретаря Наполеона Месье Меневалю о том, что будущее этого города привело к решительному расхождению во мнениях между императорами. После одной из их бесед Наполеон задержался, изучая карту, и, наконец, воскликнул: "Константинополь! Никогда! Это мировая империя". Несомненно, именно по этому поводу Александр лелеял какое-то тайное раздражение. Несомненно то, что, несмотря на все свои заверения в преданности Наполеону, он вернулся в Санкт-Петербург не в своей тарелке и испытывал определенный страх перед завоевателем. Чего он добился? Он получил небольшой кусочек прусской Польши и перспективу усиления на стороне Турции и Швеции, при этом Финляндия была указана как легкая добыча. Ради этих будущих выгод он должен был закрыть свои порты с Англией и увидеть, как пострадают его торговля, его военно-морской флот и его морское побережье. Неудивительно, что перед отъездом из Тильзита он заметил Фридриху Вильгельму, что "самое тяжелое условие, введенное Наполеоном, было общим для России и Пруссии". ^[155]

Это относится к принуждению, наложенному на них, присоединиться к Континентальной системе Наполеона. В договоре, подписанном с Пруссией 9 июля, Наполеон не только отвоёвал половину ее земель, но и потребовал немедленного закрытия всех ее портов для британских судов. Мы можем также отметить здесь, что из-за чрезвычайной небрежности прусского переговорщика маршала Калькройта последующее соглашение об эвакуации Пруссии французскими войсками оставило открытой лазейку для ее бессрочной оккупации. Каждая провинция или округ должны были быть эвакуированы после удовлетворения французских требований.^[156] Следовательно, взыскание немыслимых сумм позволило бы завоевателям совершенно законно содержать стаи саранчи на этой несчастной земле. И такова была политика, проводимая в течение шестнадцати месяцев.

К чему такая утонченная жестокость по отношению к своему бывшему союзнику? Почему сразу не аннексировал Пруссию? Вероятно, были две причины против аннексии: во-первых, что его армия могла бы жить за счет нее так, как это было бы невозможно с его собственными подданными или союзниками; во-вторых, что оккупационная армия послужила бы гарантией как добросовестности России, так и абсолютного исключения британских товаров из Пруссии.^[157] Это уже давно было его целью. Теперь он достиг этого, но только войной, которая оставила в наследство войну, и миром, который не был миром.

Поведение Наполеона при Тильзите обычно рассматривалось, по крайней мере в Англии, как продиктованное безумной жадностью власти; а о договоре судили так, как будто его целью было господство на Континенте. Но другое объяснение, хотя и менее радикальное и привлекательное, кажется более созвучным фактам дела.

Он надеялся, что перед такой могущественной конфедерацией, какая была создана в Тильзите, Англия преклонит колено, откажется не только от своих морских притязаний, но и от колониальных завоеваний и смиренно встанет в один ряд с державами, которые пережили свое время. Завоеватель, который трижды сокрушал государства Габсбургов и раздробил Пруссию за один день, вполне мог поверить, что люди с Даунинг-стрит, знающие толк только в упущенных возможностях и раздражающих своих друзей, не посмеют бросить вызов силам объединенной Европы, но преклонятся перед его доблестью и даруют мир уставшему миру. В своем письме царю от 6 июля 1807 года он советовал отложить окончательный вызов британскому правительству, поскольку это "дало бы Англии пять месяцев, в течение которых утихнет первое раздражение, и у нее будет время осознать огромные последствия, к которым приведет столь неосмотрительная борьба". Ни Наполеон, ни Александр не были глухи к великодушным устремлениям. Они оба желали мира, чтобы их империи могли расширяться и консолидироваться. Прежде всего, Франция устала от войны; и под миром средний француз подразумевал не передышку от континентальных раздоров, которые привели к избытку бесплодной славы, а мир с Англией. Стоит процитировать слова Луккезини, бывшего посла Пруссии в Париже, по этому поводу:

"Война с Англией была, в сущности, единственной, к которой французская общественность проявляла большой интерес, поскольку зло, которое она причинила Франции, ощущалось ежеминутно: ни о чем не говорилось так решительно среди всех классов народа, как о желании покончить с этой войной; и когда говорили о мире в Париже, всегда имели в виду мир с Англией: мир с другими странами был публике так же безразличен, как победы или завоевания Бонапарта".^[158]

Если французские средние классы стремились к миру на море, чтобы кофе и сахар стали разумно дешевыми, насколько больше этого хотел бы их правитель, чье сердце было устремлено к колониям и владениям на Востоке? В Польше он подбадривал свои войска мыслью, что они отвоевывают французскую колониальную империю; и, как мы видели, он уже тогда готовил почву в Персии для будущего вторжения в Индию. Эти планы могли быть осуществлены только после наступления мирного периода, который должен был восстановить французский военно-морской флот. Гуманитарные чувства, патриотизм и даже более широкие амбиции побуждали его стремиться ко всеобщему умиротворению, которого он, казалось, добился в Тильзите.

Но средства, которые он использовал, были как раз теми, которые были предназначены для достижения этой цели. Там, где он стремился запугать, он вызывал только более упорное сопротивление: там, где он должен был развеять национальные страхи, он удвоил их. Он не понимал наш народ: он не видел, что за нашей официальной медлительностью и неразберихой скрывалась неугасимая национальная энергия, которая, будучи направлена гением, могла бы бросить вызов всемирной комбинации. Если бы вместо того, чтобы заключать тайные соглашения с царем и попирали Пруссию; если бы вместо интриг с султаном и шахом и, таким образом, вновь пробудить наши опасения в отношении Египта и Индии, он созвал Конгресс и вынес все нынешние споры на всеобщее обсуждение, есть основания думать, что Великобритания приняла бы его предложения. Министры Георга III одобрили предложение Конгресса, выдвинутое Австрией весной;^[159] и они, несомненно, приветствовали бы его со стороны Наполеона после Фридланда, если бы не знали о далеко идущих планах, которые делали мир более рискованным, чем открытую войну. На самом деле у этого великого гения был один фатальный недостаток: он мало верил, кроме внешнего принуждения, а его чрезмерная энергия угрозы Англии разрушила надежды на мир, которые он, несомненно, лелеял.

Задолго до того, как предложение Александра о посредничестве было передано в Лондон, наши министры приняли внезапное и отчаянное решение. Они решили вынудить Данию присоединиться к Англии и Швеции и держать флот в Копенгагене в качестве меры верности Дании.

Это важное решение было принято 16 июля или незадолго до этого в результате новостей, поступивших из Мемеля и Тильзита. Точный смысл этих новостей и способ их получения были одной из загадок современной истории. Но следующие факты, похоже, дают решение. Записи нашего Министерства иностранных дел показывают, что наш агент в Тильзите, мистер Маккензи, который был в конфиденциальных отношениях с генералом Беннигсеном, поспешно отбыл в Англию сразу после первой встречи с императором; и новости, которые он привез, вместе с сообщениями об угрожающих действиях французов в Гольштейне, укрепили решимость нашего правительства поставить крест на франко-русских целях, оказав сильное давление на Данию. Держать открытым устье Балтийского моря было насущной необходимостью, иначе мы потеряли бы связь с англо-шведскими войсками, сражавшимися против французов под Штральзундом.^[160] Кроме того, следует отметить, что Дания сохраняла равновесие в военно-морских делах. Франция и ее союзники теперь имели пятьдесят девять линейных кораблей, готовых к выходу в море: соглашение с царем дало бы ей еще двадцать четыре; и если бы Наполеон захватил восемнадцать датских и девять португальских линейных кораблей, его боевая мощь была бы почти равна нашей.^[161] Поэтому 16 июля Каннинг решил вынудить Данию перейти на нашу сторону или, по крайней мере, соблюдать нейтралитет,

благоприятный для дела Великобритании; и, чтобы спасти ее честь, он предложил направить непреодолимые военно-морские силы.

"Безопасность Дании, - писал он 16 июля, - при нынешних обстоятельствах в мире заключается только в балансе противоположных опасностей. Ибо не следует скрывать, что влияние, которое Франция приобрела в результате недавних событий на Севере Европы, может, если его не уравновесить военно-морской мощью Великобритании, не оставить Дании иного выбора, кроме как подчиниться требованиям Бонапарта".^[162]

Баланс противоположных опасностей! Этой фразой Каннинг подытожил свою политику в отношении Дании. Находясь под угрозой Наполеона на суше, мы должны были подвергнуться угрозе с моря; и Каннинг надеялся, что эти противоположные силы, по крайней мере, обеспечат датчанам нейтралитет, без которого Швеция потерпит поражение в своей борьбе против Франции. То, что потребуется какое-то принуждение, было ясно уже давно. Фактически, использование принуждения впервые было рекомендовано российским и прусским правительствами, которые зашли так далеко, что включили в Бартенштейнский мирный договор предложение о совместных действиях вместе с Англией, Австрией и Швецией, *чтобы заставить Данию встать на сторону союзников против Наполеона*.^[163] Этой решимости Англия все еще придерживалась, несмотря на измену царя. По правде говоря, его нынешнее поведение делало аргументы в пользу принуждения Дании бесконечно более настоятельными.

Что касается реальности замыслов Наполеона в отношении Дании, то здесь не может быть никаких сомнений. После своего возвращения во Францию он написал из Сен-Клу, поручив Талейрану выразить свое недовольство тем, что Дания не выполнила своих *обещаний*: "Каким бы ни было мое желание хорошо относиться к Дании, я не могу помешать ее страданиям из-за того, что она допустила нарушение границ Балтийского моря [английской экспедицией в Штральзунд]; и, если Англия откажется от посредничества России, Дания должна выбрать войну либо против Англии, либо против меня".^[164] Отсюда ясно, что Дания дала Наполеону основания надеяться, что она объявит Прибалтику *mare clausum*.

Британское правительство настолько глубоко проникло в суть этих замыслов, что осознало серьезность опасности. Соответственно, оно предложило Дании тайный оборонительный союз, главными условиями которого были передача датского флота, который мы должны были сохранить в качестве "священного обязательства" до заключения мира, субсидия в размере 100 000 фунтов стерлингов, выплаченная Дании за этот флот, и предложение вооруженной помощи в случае, если она подвергнется нападению со стороны Франции. Это предложение оборонительного союза было отвергнуто, и датский принц Ройял решил противостоять даже могучей армаде, которая теперь приближалась к его берегам. К концу августа восемьдесят восемь британских кораблей находились в проливе Саунд и Бельте; и когда транспорты с Рюгена и Штральзунда присоединились к транспортам из Ярмута, под рукой было 15 400 военнослужащих под командованием лорда Кэткарта. Близ Копенгагена была произведена высадка, и снова были сделаны предложения о союзе, включая ввод датского флота; "но если это предложение будет отклонено сейчас, оно не может быть повторено. Захваченная собственность, государственная и частная, должна тогда принадлежать захватчикам, а город, будучи взят, должен разделить судьбу завоеванных мест". Датчане стойко отражали как предложения, так и угрозы: после этого английские батареи обстреливали город до тех пор, пока доблестные защитники не капитулировали (7 сентября). Условия, поспешно выдвинутые

нашим командованием, заключались в том, что британские войска должны занять цитадель и верфь в течение шести недель, завладеть кораблями и военно-морскими припасами и после этого эвакуироваться из Зеландии.

Эти условия были скрупулезно выполнены, и по истечении шести недель наши силы отплыли вместе с датским флотом, включавшим пятнадцать линейных кораблей, пятнадцать фрегатов и тридцать одно небольшое судно. Каннинг глубоко сожалел о таком завершении экспедиции. В пространном меморандуме он официально указал, что желает не только датского флота, но и союза с ней. По его мнению, ничто не могло спасти Европу, кроме прочного англо-скандинавского союза, который сохранил бы открытой Прибалтику и установил границы для замыслов двух императоров. Только таким союзом Швеция могла быть спасена от России и Франции. Действительно, предвидя опасность для Швеции со стороны французской армии, действующей с Зеландии в качестве базы, Каннинг предложил Густавусу занять этот остров или, если это не удастся, получить помощь от британских войск на своем собственном берегу пролива. Но оба предложения были отклонены. Последние попытки вовлечь Данию в наш союз оказались столь же тщетными, и она продолжала военные действия против нас почти семь лет. Таким образом, план Каннинга о союзе со скандинавскими государствами провалился. Британия получила, это правда, дополнительную защиту от вторжения; но наш государственный деятель, обвиняя поспешные действия нашего командования, настаивающего исключительно на капитуляции флота, заявил, что это действие, помимо англо-датского союза, было "актом большой несправедливости". ^[165]

И как таковое оно было в целом расценено, то есть теми, кто не знал и не мог знать реального положения дел. В одном отношении наш поступок непростителен: это не было последним отчаянным усилием в течение длительного периода борьбы: он был предпринят после периода эгоистичного оцепенения, губительного как для нашей репутации, так и для интересов наших союзников. Заявив о своей неспособности помочь им, министры опровергли свои собственные слова энергией, с которой они действовали против маленького государства. И преобладающее мнение нашло выражение в протестах, прозвучавших в парламенте, что было бы лучше столкнуться лицом к лицу со всей мощью французского, русского и датского военно-морских сил, чем подражать поведению тех, кто захватил и разорил Швейцарию.

Более того, наши действия пошли не на пользу Швеции, а как раз наоборот. Силы Кэткарта, которые помогали шведам в защите их провинции Померания, были отозваны, чтобы укрепить наши силы против Копенгагена. Вслед за этим доблестный Густав, подавленный мощью корпуса маршала Брюна, потребовал перемирия. Оно было предоставлено только при условии, что Штральзунд перейдет в руки Брюна (20 августа); и шведы, неспособные даже удержать Рюген, были вынуждены уступить и этот остров. Ослабевший и уставший от мира, который презирали его рыцарские инстинкты, Густав отвел свои войска в Швецию. Даже там ему угрожали. Военные действия, которые Дания немедленно начала против Англии и Швеции, обнажили его южные побережья; но теперь он предпочел положиться на доблесть своих собственных подданных, а не на сломанную трость британской помощи, и ожидал нападения датчан на западе и русских на его провинцию Финляндию.

Новости из Копенгагена также предоставили царю хороший повод для военных действий с Англией. До сих пор он ни в коей мере не стремился к такому событию. По возвращении из Тильзита в Санкт-Петербург он обнаружил, что дворянство и купечество были категорически

против разрыва с Морской державой: первые не решались пожать руку завоевателю Фридланда, вторые предвидели гибель в результате принятия Континентальной системы; и когда Наполеон отправил Савари со специальной миссией при Царском дворе, императрица-мать и знать в равной степени продемонстрировали свое отвращение к "палачу герцога Энгийенского". Напрасно императорские милости расточались этому посланнику. Он признался Наполеону, что только царь и новый министр иностранных дел Романцов были благосклонны к Франции; и вскоре стало очевидно, что их стремление к разделу Турции должно нарушить осторожную уравнивающую политику, которую Наполеон принял, как только дружба царя казалась гарантированной.

Расторжение этого искусственного союза было задачей, выходящей далеко за рамки возможностей британской государственной мудрости. На предложение Александра о посредничестве между Францией и Англией Каннинг ответил, что мы хотели бы, во-первых, знать, каковы были "справедливые условия, на которых Франция намеревалась вести переговоры", и, во-вторых, каковы были секретные статьи Тильзитского мирного договора. То, что таковые существовали, было очевидно, поскольку в опубликованном договоре не упоминались короли Сардинии и обеих Сицилий, к которым Александр проявлял столь глубокий интерес. Но вторая просьба вызвала раздражение царя, и это чувство усилилось после наших действий в Копенгагене. И все же, хотя он назвал это актом "неслыханного насилия", официальные ноты России нашему правительству были настолько обнадеживающими, что лорд Каслри смог написать лорду Кэткарту (22 сентября): "Россия не проявляет никакого желания возмущаться или жаловаться на то, что мы сделали в Копенгагене.... Тон российского кабинета министров стал гораздо более примирительным по отношению к нам с тех пор, как они услышали о ваших действиях в Копенгагене".^[166] Однако, по-видимому, это двурушничество было продиктовано военно-морскими соображениями. Царь хотел повременить, пока его средиземноморская эскадра не займет безопасное место и его балтийские порты не будут скованы льдами; но 27 октября (8 ноября по Новой эре) он прервал все сообщения с нами и принял Континентальную систему.

Тем временем на другом конце Европы происходили события, которые послужили лучшим оправданием нашей резкости по отношению к Дании. Еще до того, как наш флот отплыл в Пролив, Наполеон разрабатывал свои планы уничтожения Португалии. Ясно, что он намеревался нанести по ней первый удар, прежде чем предпринимать какие-либо действия против Дании. Во время своего обратного путешествия из Тильзита в Париж он поручил Талейрану отправить в Лиссабон приказ о закрытии всех португальских портов для британских товаров к 1 сентября, "в случае невыполнения которого я объявляю войну Португалии". Он также приказал сосредоточить 20 000 французских солдат в Байонне в готовности присоединиться к испанским войскам, которые должны были угрожать маленькому королевству.^[167]

Какое преступление совершила Португалия? В последнее время она была на редкость пассивной: с тревогой смотрела на гигантские распри, которые одно за другим охватывали более мелкие государства. Ее поведение по отношению к Наполеону было гораздо менее провокационным, чем поведение Дании по отношению к Англии. Находясь под угрозой раздела между ним и Испанией в 1801 году, она с готовностью ухватилась за мир, а после разрыва Амьенского мира была вынуждена купить свой нейтралитет ценой крупной субсидии Франции, которую она все еще выплачивала в надежде продлить свое "существование на условиях терпимости".^[168] Теперь эта надежда угасла.

Еще в феврале 1806 года Наполеон внимательно прислушивался к планам раздела Португалии, предложенным Годоем, всемогущим министром в Мадриде; а в июле следующего месяца Талейран обратился к нашему полномочному представителю в Париже с угрозой, что, если Англия быстро не заключит мир с Францией, Наполеон аннексирует Швейцарию: "но еще меньше мы можем изменить, по каким-либо другим соображениям, наше намерение вторгнуться в Португалию. Армия, предназначенная для этой цели, уже собирается в Байонне". Годичная передышка была получена домом Браганса в результате кампаний при Йене и Фридланде. Но теперь, со свойственным ему упорством, император вернулся к плану, фактически опробованному в 1801 году и подготовленному в 1806 году, сокрушить нашего верного союзника, чтобы вынудить нас заключить мир. В этом случае он рассчитывал на определенный успех, о чем свидетельствует следующая выдержка из депеши португальского посла в Париже своему правительству:

"В воскресенье днем [2 августа] состоялась дипломатическая встреча. Император подошел ко мне, когда я стоял в кругу, и тихим голосом спросил: "Вы написали своему двору? Отправили ли вы курьера с моим окончательным решением?" — Я ответил утвердительно. — "Очень хорошо, - сказал император, - тогда к этому времени ваш Двор уже знает, что она должна порвать с Англией до 1 сентября. Это единственный способ ускорить установление мира". — Поскольку место не допускало обсуждения с моей стороны, я ответил: "Я бы подумал, сир, что Англия должна сейчас искренне стремиться к заключению мира". — "О, — ответил император, - мы совершенно уверены в этом; однако во всех случаях вы должны порвать либо с Англией, либо с Францией до 1 сентября". - Затем он повернулся и обратился к датскому посланнику, насколько я мог судить, с тем же смыслом". ^[169]

Столь же уверенный тон Наполеона в недавно опубликованном письме от 7 сентября:

"Как только я получил известие об английской экспедиции против Копенгагена, ^[170] Я уведомил Португалию о том, что все ее порты должны быть закрыты для Англии, и собрал армию в 40 000 человек в Байонне, чтобы присоединиться к испанцам в осуществлении этой акции, если потребуется. Но письмо, которое я только что получил от принца-регента [Португалии], заставляет меня предположить, что в этой последней мере не будет необходимости, что португальские порты будут закрыты для англичан к тому времени, когда это будет прочитано, и что Португалия объявит войну Англии. С другой стороны, моя флотилия будет готова к действиям 1 октября, и у меня будет большая армия в Булони, готовая совершить *государственный переворот* против Англии".

Письмо заканчивается приказом о том, что все британские дипломаты должны быть изгнаны из *Европы*, и что Швеция должна объединиться с Францией и Россией. Таковы были средства, которые следовало использовать для того, чтобы заставить испуганный Мир снова посетить эту обезумевшую землю.

По правде говоря, судьба британской расы, казалось, какое-то время зависела от событий в Копенгагене и Лиссабоне. Очень многое зависело от действий принца-регента Португалии. Если бы он покорно подчинился указам Наполеона и поставил свой флот и свою обширную колониальную империю на службу Франции, сомнительно, что даже благородный Каннинг не опустил бы до капитуляции перед лицом столь подавляющего противника. Беспокойство молодого государственного деятеля по поводу действий Португалии подтверждается многими длинными и тщательно исправленными депешами виконту Стрэнджфорду, нашему посланнику

в Лиссабоне. Но, к счастью для нас, Наполеон совершил грубую ошибку, которая так часто омрачала его планы: он зашел в них слишком далеко: он потребовал, чтобы принц-регент принял линию поведения, неприемлемую для честного человека, а именно конфисковал товары и собственность британских купцов, которые долгое время доверяли добросовестности Дома Браганса. Этому последнему требованию принц оказал достойное сопротивление, хотя по всем остальным пунктам он уступил. Это явствует из депеши лорда Стрэнджфорда от 13 августа:

" ... Португальские министры возлагают все свои надежды на то, что им удастся отразить этот ужасный удар, на уверенность, которую они питают в том, что Англия будет вынуждена вступить в переговоры о всеобщем мире.... Само существование португальской монархии зависит от быстроты, с которой Англия встретит мирное вмешательство российского императора. Принц-регент дает самое торжественное обещание, что он ни под каким видом не согласится на конфискацию имущества британских подданных, проживающих под его защитой. Но я думаю, что если бы Францию можно было убедить отказаться от этого пункта и ограничить ее требования исключением британской торговли из Португалии, правительство этой страны согласилось бы с ними....."

Неделю спустя он заявляет, что Португалия умоляла Англию смириться с временным разрывом, и сообщает, что некоторое количество алмазов было изъято из Казны и отправлено в Париж для раздачи в качестве подарков лицам, предположительно обладавшим влиянием на умы Бонапарта и Талейрана. Было бы интересно проследить историю этих алмазов. Но, поскольку Наполеон недавно выделил суммы в общей сложности 26 582 000 франков из конфискованных в Польше поместий,^[171] признаки внезапного богатства были широко распространены в Париже и затрудняли обнаружение получателей драгоценных камней. Талейран был обычным адресатом подобных *douceurs*. Но 14 августа он ушел в отставку из Министерства иностранных дел, получив титул вице-великого курфюрста; и, если руководствоваться не заявлениями его личных врагов, Отерива и Паскье, а решимостью, которую он, как известно, сформировал в Тильзите, что он не будет "палачом Европы", мы можем судить, что он не одобрял варварского обращения с Пруссией и теперь планировал против Португалии.^[172]

Как было указано выше, раздел этого королевства был спланирован Годоем совместно с Наполеоном в начале 1806 года. Этот изнеженный фаворит испанского двора, разгневанный срывом планов, которые обещали отдать ему треть Португалии, призвал Испанию к оружию, когда Наполеон шел маршем на Йену, - оскорбление, которое завоеватель, казалось, не заметил, но на самом деле так и не простил. Теперь, однако, он, казалось, полностью разделял план Годоя; и, пока принц-регент Португалии взывал к его состраданию, император (25 сентября 1807 г.) поручил Дюроку посоветоваться с доверенным лицом Годоя в Париже доном Искьердо "....Что касается Португалии, я без труда предоставляю королю Испании сюзеренитет над Португалией и даже отниму его часть у королевы Этрурии и принца Мира [Годоя]". Дюрок также должен был указать на трудность теперь, когда "вся Италия" принадлежала Наполеону, допустить, чтобы "это уродство", королевство Этрурия, уродовало полуостров. На самом деле это изменение принесло бы французскому императору двойную пользу. Это позволило бы ему полностью исключить британскую торговлю из порта Ливорно, где она вызывала тревогу, а также передать устья Тежу и Дору в руки послушных вассалов.

Такова была схема в общих чертах. Несмотря на предложение принца-регента подчиняться всем приказам Наполеона, за исключением тех, которые касались захвата британских

подданных и их собственности, к 12 октября война была бесповоротно прекращена.^[173] А 27 октября во дворце Фонтенбло была подписана секретная конвенция об организации "будущей судьбы Португалии посредством здоровой политики, соответствующей интересам Франции и Испании". Португалия теперь должна была быть разделена на три очень неравные части: самая большая часть, включавшая Эстремадуру, Бейру и Трас-ос-Монтес, была зарезервирована для будущего соглашения при всеобщем мире, но пока должна была удерживаться Францией: Альгарве и Алемтехо были переданы Годою; в то время как крошечная провинция Энтре-Минью-э-Дору была передана в качестве подачки молодому королю Этрурии и его матери, принцессе из Испанского дома, чтобы утешить их за потерю Этрурии. Было дано туманное обещание, что Дом Браганса может быть восстановлен в первой из этих трех частей, в случае, если Англия вернет Гибралтар, Тринидад и другие колонии, отнятые ею у Испании или ее союзников; и Наполеон гарантировал королю Испании его владения в Европе, за исключением Балеарских островов, предлагая также признать его императором Обеих Америк.

Тем временем Жюно повел свой армейский корпус из Байонны в направлении Саламанки и Сьюдад-Родриго, чтобы привести в исполнение это благотворное соглашение. Этого генерала, которого было желательно удалить из Парижа из-за его довольно открытой *связи* с одной из принцесс Бонапарта, император призвал действовать как можно быстрее и тактичнее. Он должен преодолеть все 200 лиг за тридцать пять дней; нехватка провизии не должна препятствовать походу, поскольку "20 000 человек могут жить где угодно, даже в пустыне"; и, прежде всего, поскольку принц-регент снова предложил объявить войну Англии, он (Жюно) мог заявить, что прибыл как союзник: "Я уже сообщил вам, что мое намерение разрешить вам войти в эту страну в качестве союзника состояло в том, чтобы дать вам возможность захватить ее флот, но что я был полностью настроен завладеть Португалией".^[174] Лиссабон, по сути, должен был стать Венецией за десять лет до этого, львом, надевающим шкуру лисы, чтобы осуществить мирный захват. Но эта уловка вряд ли могла увенчаться успехом дважды. Принц-регент подготовил свои корабли к вылету. Грубый и упрямый Жюно, прозванный в армии "бурей", был слишком бесхитростен, чтобы поймать принца на хитрости; но он гнал своих солдат через горы и затопленные ущелья, пока 30 ноября 1500 оборванных, босых, изголодавшихся гренадеров не вошли в Лиссабон — чтобы обнаружить, что королевская добыча улетела.

Принц-регент принял это важное решение с крайней неохотой. В течение многих недель он цеплялся за надежду, что Наполеон пощадит его; и хотя он принял соглашение с Англией, по которому он получил конвой наших военных кораблей через Атлантику и обещание усиления в Южной Америке, он все еще продолжал тянуть время, и это тоже, когда британский флот был под рукой в Тежу, достаточно сильный, чтобы сорвать планы присутствовавшей там русской эскадры помешать его отъезду. Когда французы были в двух днях пути от Лиссабона, лорд Стрэнджфорд испугался, что португальский флот попадет в их руки; и только после резкого заявления о том, что дальнейшие колебания будут восприняты как признак враждебности к Великобритании, принц-регент решил искать за морями независимости, в которой ему было отказано в его собственном королевстве.^[175]

Мало найдется сцен более трогательных, чем уход Дома Браганса из колыбели своего рождения. Любовь к принцу-регенту как к мужчине, смешанная с жалостью к сумасшедшей королеве, удерживала население Лиссабона в скорбном молчании, пока королевская семья и придворные шли вдоль набережных, сопровождаемые агонизирующими группами тех, кто решил разделить их испытания. Но тишина сменилась воплями отчаяния, когда изгнанники

ступили на бушующий эстуарий и оборвали последние связи с Европой. Флот начал медленно продвигаться вниз по реке под натиском атлантического шторма. Недалеко от устья реки беженцы были встречены британским флотом с королевским салютом, и под его конвоем они бросили вызов волнам океана и опасностям будущего.

Поведение Англии по отношению к Дании и Наполеона по отношению к Португалии требуют краткого сравнения. Эти маленькие королевства стали жертвами двух могущественных государств, чьи реальные или воображаемые интересы побудили их к господству на суше и на море. Но когда мы сравниваем действия двух Великих держав, начинают проявляться важные различия. У Англии было гораздо больше оснований для претензий к Дании, чем у Наполеона к Португалии. Враждебность датчан к недавней коалиции была печально известна. Чтобы заставить их изменить свою политику без ущерба для национальной чести, мы послали самую мощную армаду, которая когда-либо покидала наши берега, с предложениями союза и требованием, чтобы их флот, главный объект замыслов Наполеона, был сдан на хранение. Предложение было отклонено, и мы захватили флот. Акт был жестоким, но, по крайней мере, он был открытым и непредвзятым, и капитуляция 7 сентября неукоснительно соблюдалась, даже когда датчане готовились возобновить военные действия.

С другой стороны, требования Наполеона к Лиссабонскому двору были такими, какие не мог принять ни один благородный принц; на них безжалостно давили, несмотря на предложение принца-регента встретиться с ним во всех деталях, кроме одной; призывы жертвы были намеренно использованы агрессором для осуществления своих собственных хищнических замыслов; и предприятие не закончилось резней только потому, что блеск французского оружия настолько ослепил впечатлительный народ юга, что в настоящее время он беспомощно отступил при виде двух батальонов призраков. Наконец, Португалия была разделена — или, скорее, она была полностью сохранена Наполеоном; ибо после того, как обещания раздела сделали свое дело, спящие партнеры по сделке были тихо отправлены на полку, и тогда стало ясно, что Португалия, наконец, послужила приманкой для заманивания Испании в ловушку. К этому вопросу мы вернемся в следующей главе.

В Италии также гигантская машина Континентальной системы прокатилась по небольшим государствам. Королевство Этрурия, которое в 1802 году послужило легким средством для покупки всей Луизианы у испанских бурбонов, теперь было отнято у этого покладистого Дома и в декабре было присоединено к Французской империи.

Папа римский также попал под иго. Долгое время отношения между Пием VII. и Наполеоном были напряженными. Каким бы мягким ни был понтифик по натуре, он отказался исключить все британские товары из своих Штатов или согласиться на союз с Евгением и Жозефом. Он также разозлил Наполеона, упорно отказываясь расторгнуть брак Жерома Бонапарта с мисс Патерсон; и завязалась интересная переписка, кульминацией которой стала длинная обличительная речь, которую Эжену было поручено переслать в Ватикан в качестве выдержки из частного письма Наполеона самому себе. ^[176] Пий VII. должен был быть конфиденциально предупрежден, что Наполеон принес религии больше пользы, чем папа причинил вреда. Христос сказал, что Его Царство не от мира сего. Почему же тогда папа поставил себя выше Христа? Почему он отказался отдать цезарю то, что принадлежало цезарю?—Две недели спустя император посоветовал Евгению направить войска в направлении Болоньи — "и если папа совершит неосторожность, это будет прекрасная возможность лишить его Римских государств".

Никакой неосторожности совершено не было. Тем не менее, в январе следующего года Наполеон приказал своим войскам занять Рим, утверждая, что Вечный город был рассадником интриг, разжигаемых Англией и бывшей королевой Неаполя, что неаполитанские повстанцы искали убежища в Папской области и что, хотя у него и не было желания лишать папу его территорий, все же он должен включить его в свою "систему". Когда Пий VII. отказался проводить политику, которая повлекла бы за собой войну с Англией, Наполеон приказал присоединить его земли к востоку от Апеннин к Королевству Италия (2 апреля 1808 г.). Таким образом, Наполеон получил полный контроль над побережьем Адриатики, которое, наряду с островом Корфу, долгое время привлекало его самое пристальное внимание. ^[177]

Верный своей цели принудить или заманить все морские государства в могущественную конфедерацию для унижения Англии, Наполеон уделял больше всего внимания землям, обладающим обширными морскими побережьями. Северная Италия, Голландия, Неаполь, Северная Германия, Пруссия, Россия, Португалия, Испания, Дания и Центральная Италия, в свою очередь, переняли его систему. На Австрию он оказывал менее властное давление, поскольку ее береговая линия от Триеста и Хорватии так легко контролировалась его итальянскими и далматинскими территориями, что английские товары с трудом находили доступ. Тем не менее, чтобы проводить и там свою политику "Основательности", он привлек аргументы Парижа и Санкт-Петербурга к венскому двору; и 18 февраля 1808 года Австрия была зачислена в лигу, которую вполне можно было бы назвать континентальной, поскольку весной того же года она охватила все страны, кроме Швеции и Турции.

Его активность в это время почти не поддается описанию. Укрепляя свою власть на Континенте, придавая галлицизм институтам Италии и Германии и почти ежедневно обучая своих братьев основам успешного управления государством, он находил время, чтобы еще раз обратить свои мысли к Востоку и отметить каждый шаг Англии, направленный на продление срока ее службы. Заметив, что мы отменили блокаду Эльбы и Везера с целью доставки туда наших товаров нейтральными судами, Наполеон поручил своему министру финансов Годену подготовить указ о суровом преследовании нейтралов, которые заходили в любой из наших портов или перевозили товары, которые могли быть признаны британского происхождения. ^[178]

Он был совершенно прав в своем предположении, что английские товары собирались широко отправляться на Континент на нейтральных судах. После того как последствия Тильзитского мирного договора были полностью раскрыты, это было почти единственным способом их проникновения. "В августе, сентябре и октябре британская торговля лежала в прострации и неподвижности до тех пор, пока нашими Приказами в Совете не была введена система защиты и самозащиты". ^[179] Первый из этих приказов о репрессиях против новых наполеоновских государств (4 ноября): неделю спустя последовал второй, в котором говорилось, что, поскольку январские приказы не побудили противника ослабить свои коммерческие враждебные действия, но теперь они выполняются с повышенной строгостью, любой порт, из которого исключен британский флаг, будет рассматриваться так, как если бы он был фактически блокирован; то есть принцип законности номинальной блокады, отмененный в 1801 году, теперь подтвержден. Перевозка товаров враждебных колониальных стран также была запрещена нейтральным странам, хотя допускались определенные исключения. Кроме того, любое нейтральное судно, перевозившее "сертификаты происхождения" — устройство для различения британских и нейтральных товаров, — должно было считаться законным военным призом. Третье постановление Совета от той же даты разрешало ввозить товары в Соединенное

Королевство из враждебного порта на нейтральных судах, облагаемых обычными пошлинами, и были предоставлены возможности для реэкспорта таких товаров в любой дружественный или нейтральный порт. ^[180] Эти приказы были направлены на то, чтобы привлечь нейтральную торговлю через наши порты и предоставить нейтральным странам секретные возможности для перевозки наших товаров, оказывая при этом давление на тех, кто подчинялся системе Наполеона.

Самой суровой из них была та, которая поощряла обыск нейтральных судов в поисках сертификатов происхождения — мера столь же суровая, как конфискация британской собственности Наполеоном, которой она была призвана помешать. И мы можем отметить здесь, что трения, возникшие в результате наших Распоряжений в Совете и обеспечения соблюдения права на обыск, привели к тому, что Соединенные Штаты приняли Закон о запрете половых сношений (23 декабря 1807 г.), который предшествовал активным военным действиям против нас. Это также привело к тому, что Наполеон конфисковал все американские корабли в своих гаванях после 17 апреля 1808 года.

Ноябрьские распоряжения Совета вскоре вызвали ответ Наполеона. Он услышал о них во время путешествия по северу Италии и из Милана выступил со своим ответом - знаменитыми Миланскими декретами от 23 ноября и 17 декабря. Таким образом, он объявил, что каждое нейтральное судно, подчинившееся этим приказам, будет денационализировано и получит хороший военный призыв; и тот же приговор был вынесен в отношении каждого судна, направляющегося в любой порт Соединенного Королевства, его колоний или владений или из них. Но эти меры не должны были затронуть корабли тех государств, которые вынудили Великобританию уважать их флаг. Островитяне вполне могли быть встревожены перспективой уединения, которое обещало напомнить о вергилианской линии:

"penitus toto divisos orbe Britannos."

И все же они решили противопоставить милитаризму Наполеона ресурсы внешнего мира; и, привлекая ресурсы тропиков к новым ткацким станкам Ланкашира и Йоркшира, они вполне могли надеяться перелить свои несравненные товары в Европу с таких выгодных позиций, как Сицилия, Гибралтар, Нормандские острова и Гельголанд. Было много англичан, которые считали, что ноябрьские распоряжения Совета не принесли нашему делу ничего, кроме вреда. Они утверждали, что наши промышленные товары должны попасть на Континент вопреки Берлинским декретам; и они могли указать на любопытный факт, что Буррьен, агент Наполеона в Гамбурге, когда ему было поручено закупить 50 000 шинелей для французской армии во время кампании в Эйлау, был вынужден покупать их в Англии. ^[181]

Этот инцидент, безусловно, доказывает глупость Континентальной системы. И если бы нам пришлось руководствоваться исключительно интересами нашего производства, политика *невмешательства*, несомненно, была бы наилучшей. Англия, однако, гордилась своей торговой службой: для этого она выглядела питомником королевского военно-морского флота, а передача международной транзитной торговли нейтралам показалась бы актом государственной измены. Ее акты возмездия за Берлинские декреты и политику Тильзита были

жесткими и своевольными. Но они были приняты на вооружение во время безжалостной коммерческой борьбы; и в войне такого нового и отчаянного рода действия, к сожалению, должны оцениваться по их эффективности для нанесения вреда врагу, а не по стандартам морали, которые действуют в мирное время. Внешне казалось, что Англия обречена. Она потеряла своих союзников и отвергла симпатии нейтральных стран. Но с моря она смогла оказать на наполеоновские государства давление, которое было постепенным, кумулятивным и непреодолимым; и будущее должно было доказать мудрость слов Моллиена: "Англия вела войну нового времени; Наполеон - войну древних времен. Бывают случаи, когда анахронизм приводит к летальному исходу".

Более того, в то самое время, когда император собирался завершить свой великий эксперимент, подчинив Швецию и готовясь к разделу Турции, страна пережила фатальный шок в результате ожесточенного восстания испанского народа против узурпированной им власти.

ГЛАВА XXVIII

ВОССТАНИЕ В ИСПАНИИ

Отношения Испании с Францией в течение двенадцати лет, предшествовавших восстанию 1808 года, отмечены актами безрассудства и недостойной мужнины уступчивости, которые обещали полностью унижить некогда гордый и чувствительный народ. Они были делом рук дряхлого и бездуховного короля Карла IV, его интригующей супруги и, прежде всего, ее любовника, всемогущего министра Годоя. Происходивший из древнего и почтенного рода, наделенный прекрасной фигурой, изысканным обращением и беспринципным искусством, этот человек втерся в доверие к королеве; и после заключения благоприятного мира с Францией в 1795 году он получил титул принца мира.

В следующем году значение французского союза было раскрыто в Договоре Св . Ильдефонсо, который потребовал от Испании предоставить войска, корабли и субсидии для войны против Англии, вассального государства, которое было усилено Наполеоном. Результаты хорошо известны. После того, как он вынудил ее уступить нам Тринидад по Амьенскому миру, она пожертвовала своим флотом при Трафальгаре, увидела, как ее колонии и торговля пришли в упадок, а финансы иссякли из-за отсутствия золотых потоков, которые раньше вливались в Мексику и Перу.

Летом 1806 года, погрязая в долгах и позоре, Мадридский двор с возмущением узнал о намерении Наполеона передать Балеарские острова испанским бурбонам, которых он изгнал из Неаполя и предполагал изгнать с Сицилии. Испанская гордость сразу же воспламенилась и ухватилась за средства мести.^[182] Годой был еще больше разгневан внезапным отказом от планов раздела Португалии, которые он давно обсуждал с Наполеоном, планов, которые давали ему перспективу править в качестве короля южной частью этого королевства.^[183] Соответственно, когда император начинал Йенскую кампанию, он самым угрожающим образом призвал испанский народ к оружию. Известие о падении Пруссии положило конец его браваре. В Мадриде снова воцарилась покладистость, и 15 000 испанцев были отправлены по требованию Наполеона служить на границах Дании, в то время как автократ Запада совершенствовал свои планы против Пиренейского полуострова. Как отмечалось в предыдущей главе, император возобновил свои предложения о разделе Португалии ранней осенью 1807 года; и в соответствии с секретным мирным договором в Фонтенбло корпус Жюно прошел маршем через Испанию в Португалию, где им помог испанский корпус.

Примечательно, что уже 17 октября 1807 года Наполеон приказал своему генералу прислать подробное описание страны и своего маршрута, при этом офицерам-инженерам было специально поручено прислать эскизы, *"которые важно иметь"*. Затем другие французские дивизии перешли Пиренеи под предлогом сохранения открытыми сообщения Жюно с Францией; были посланы шпионы для наблюдения за состоянием главных испанских опорных пунктов. Другим было поручено сообщать о состоянии испанской армии и состоянии общественного мнения; в то время как Жюно был предупрежден внимательно следить за испанскими войсками в Португалии, не допустить, чтобы ни одна крепость оказалась в их руках, и отослать все португальские войска во Францию. Таким образом, в первые дни 1808 года у Наполеона было около 20 000 солдат в Португалии, около 40 000 на севере Испании и 12 000 в Каталонии. Различными уловками они проникли в крепости Памплона, Монжуик, Барселона, Сан-Себастьян и Фигерас, так что к марту север и запад полуострова спокойно перешли в его руки, в то время как большая часть испанской армии выполняла его работу в Португалии или на берегах Балтийского моря.^[184]

Эти действия начали вызывать тревогу и недовольство среди испанского народа; но на его правительство они оказывали такое же ошеломляющее влияние, какое оказывает удав на свою жертву. Напрасно Карл IV. и Годой пытались ограничить численность вспомогательных войск, которые хлынули через Пиренеи, чтобы помочь им в борьбе с легендарными английскими экспедициями. Тщетно они умоляли о том, чтобы раздел Португалии теперь продолжался в соответствии с условиями секретного мирного договора в Фонтенбло. Королю коротко сообщили, что дела еще не созрели для опубликования этого договора.^[185] И растущее убеждение в том, что его обманули, разлило желчь в чашу семейной горечи, которая уже давно была переполнена.

Скандалные отношения королевы с Годоем глубоко возмутили наследника престола Фердинанда, принца Астурийского. Его отношение скрытой оппозиции к своим родителям и их фаворитке было усилено влиянием его невесты, дочери бывшей королевы Неаполя, и их дворец был штаб-квартирой всех, кто надеялся положить конец деградации королевства. Как показали последующие события, Фердинанд не обладал такими качествами, как мужество и великодушие, которые вызывают всеобщее уважение; но его соотечественникам было достаточно того, что он выступил против Двора. В 1806 году умерла его супруга; а 11 октября

1807 года, не посоветовавшись со своим отцом, он тайно написал Наполеону, прося руки принцессы Бонапарт в браке и заявляя, что такой союз был горячим желанием всех испанцев, в то время как они с отвращением отнеслись бы к его союзу с сестрой принцессы Мира. На это письмо Наполеон не прислал ответа. Но Карл IV. имелось некоторое представление о том факте, что принц вел прямые переговоры с Наполеоном; и это, наряду с другим неблагоприятным поступком принца, послужило поводом для обвинения в государственной измене. Оно было злобно прижато к сердцу и отменено только по его смиренной просьбе о королевском помиловании.

Итак, эта "Школа скандалов" разыгрывалась в Мадриде в то время, когда Наполеон готовил раздел Португалии; и раскол в испанском королевском доме, вполне возможно, укрепил его решимость положить конец его жалкому существованию и дать Испании хорошее правительство. По завершении так называемого дворцового заговора Карл IV сообщил своему августейшему союзнику об *этом ужасном покушении* и умолял его *прибегнуть к помощи своих источников и советов*.^[186] Таким образом, малодушный король сам открыл дверь для вмешательства, о котором уже размышлял Наполеон. Его решимость теперь быстро укреплялась. В конце января 1808 года он написал Жюно, спрашивая его: "Если бы в Испании произошли неожиданные события, чего бы вы опасались со стороны испанских войск? Не могли бы вы легко избавиться от них?"^[187] 20 февраля он назначил Мюрата, великого герцога Бергского, своим лейтенантом в Испании и командующим французскими войсками. Выбор этого грубоватого, своевольного кавалера, который так много сделал, чтобы спровоцировать Пруссию в 1806 году, безусловно, свидетельствовал о передовой политике. И все же император продолжал улыбаться испанскому двору и дал своего рода полуутверждение союзу Фердинанда с дочерью Люсьена Бонапарта.^[188] Фактически, надежда на этот союз теперь использовалась для того, чтобы заставить замолчать многочисленных сторонников Фердинанда, в то время как Мюрат быстро продвигался к Мадриду. Своему заместителю император написал (16 марта): "Продолжайте вашу любезную беседу. Успокойте короля, принца Мира, принца Астурийского, королеву. Главное - добраться до Мадрида, дать отдых вашим войскам и пополнить запасы провизии. Скажите, что я вот-вот приеду, чтобы уладить дела.

Что касается истинных целей Наполеона, Мюрат находился в полном неведении; и он неоднократно жаловался на недостаток доверия, которого шурин имел полное право ожидать.^[189] Но в то время, как великий герцог Бергский сиял испанцам бессмысленной приветливостью, Искьердо, секретный агент Годоя в Париже, беспокоил своего хозяина мрачными сообщениями об усилении сдержанности и снижении угроз со стороны министров в Париже. Поговаривали о том, чтобы потребовать от Испании уступки ее земель между Пиренеями и Эбро; высказывались даже мрачные предположения о необходимости раз и навсегда свергнуть испанских бурбонов. Истолковав эти намеки в свете своей собственной совести, король, королева и фаворитка увидели себя в воображении выброшенными в Атлантику, ставшими предметом презрения человечества; и они приготовились заблаговременно бежать в Новый Свет с так необходимыми сокровищами.

Но и здесь Наполеон их опередил. 21 февраля французской эскадре был отправлен секретный приказ бросить якорь у Кадиса и остановить короля и королеву Испании, если они попытаются "повторить сцену в Лиссабоне".^[190] Их бегство в Америку было бы даже более благоприятным для Англии, чем бегство Лиссабонского двора; и Наполеон хорошо позаботился о том, чтобы король, которому он присвоил титул императора обеих Америк, оставался пленником в Европе.

Напуганный, однако, приближением Мюрата и новостями из Парижа, Карл все еще готовился к бегству; и стремление королевы спасти своего фаворита от растущей ярости народа также направило ее желания в противоположную сторону.

Двор находился во дворце Аранхуэс, недалеко от Мадрида, и казалось несложным сбежать в Андалусию и увезти, хитростью или силой, наследника престола. Но Фердинанд, надеявшийся на спасение от рук французов, сорвал этот план своевременным намеком своим верным стражникам. Тотчас же вокруг него собрались его сторонники, и люди, устремившись к резиденции Годоя, яростно разграбили ее в надежде разорвать на куски виновника гибели нации. После тридцатишестичасового прятания Годой отважился выскользнуть наружу; его сразу же обнаружили, избили ногами, и только вмешательство Фердинанда, вызванное мучительными мольбами его матери, помогло спасти остатки этой жалкой жизни. Рев толпы вокруг дворца и крушение королевской кареты привели к тому, что король решил отречься от престола; и он заявил, что его преклонные годы и пошатнувшееся здоровье заставили его уступить корону Фердинанду (19 марта 1808 г.).

Громкими были приветствия, которыми был встречен молодой король, когда он въехал в Мадрид; но ликование вскоре было омрачено двусмысленным поведением Мюрата, который, вступив в Мадрид во главе своих войск, искусно уклонился от какого-либо признания Фердинанда королем. На самом деле Мюрат получил (21 марта) письмо от дочери Карла IV, умолявшей его помочь ее родителям в Аранхуэсе; и вскоре выяснилось, что бывшие король и королева теперь раскаялись в своем отречении, которое они представляли как совершенное силой и, следовательно, недействительное. Великий герцог Бергский видел преимущество, которое этот спор мог дать Наполеону, и умолял императора немедленно прибыть в Мадрид для урегулирования вопросов, решение по которым мог принять только он. На это Наполеон ответил (30 марта), высоко оценивая благоразумие своего лейтенанта и убеждая его сопровождать Карла IV. эскуриалу как королю, в то время как Годой также должен был быть защищен и отправлен в Байонну.

В этот город император отправился 2 апреля, как будто собирался оттуда направиться в Мадрид. Тем временем с Фердинандом обращались со сдержанной вежливостью, которая поддерживала его надежду на союз с французской принцессой. Чтобы поддержать эту идею, Наполеон отправил самого осторожного из своих агентов, Савари, который искусно убедил его встретиться с императором в Бургосе. Ему это удалось, и он даже убедил его продолжить путешествие в Витторию. В этом месте горожане пытались перекрыть следы королевской кареты, так сильно они опасались предательства, если он двинется дальше. Однако молодой король, обольщенный письмом императора от 16 апреля, в котором предлагалась рука французской принцессы, продлил свое путешествие, пересек границу и был принят Наполеоном в Байонне (20 апреля). Его аргументы, доказывающие, что отречение его отца было добровольным, остались без внимания. Император пригласил его на обед, а затем послал Савари сообщить ему, что он должен вернуть корону своему отцу. На это Фердинанд ответил решительным отказом, и его советники, Эскойквис и Лабрадор, осмелились предупредить императора, что испанцы поклянутся в вечной ненависти к Франции, если он посягнет на корону Испании. Наполеон добродушно выслушал, потянул Эскойкиса за ухо в знак своего личного уважения и добавил: "Вы глубокий человек; но, говорю вам, бурбоны никогда не оставят меня в покое". На следующий день он предложил Фердинанду трон Этрурии. Предложение было холодно отклонено. ^[191]

Карл IV, его королева и Годой прибыли в Байонну в конце апреля. Бывший король предложил передать себя и свои права в руки Наполеона, чего и добивался император. Теперь это ничтожество излило свою желчь на своего непослушного сына и раздраженно потребовало, чтобы тот вернул корону. Фердинанд согласился при условии, что его отец действительно будет править, и отправит в отставку тех советников, которых ненавидела нация; но попытка навязать условия вызвала вспышку старческого гнева, наряду с замечанием, что "нужно делать все *для* народа и ничего *от* народа".

Между тем жители Мадрида действовали не с той пассивностью, которой желал их философствующий монарх. Сначала они приветствовали Мюрата как избавителя от ненавистного ига Годоя; но поведение французов в их столице и задержание Фердинанда в Байонне пробудили гнев, который вырвался наружу 2 мая и долго не поддавался картечи ружей Мюрата и саблям его солдат. Известие об этом так называемом восстании дало Наполеону еще один повод расправиться со своими гостями. Он поспешил к Карлу и запугал его хорошо разыгранными признаками гнева, которые этот *король фейнеан* затем излил на своего сына со страстью, которую могли превзойти только пронзительные насмешки королевы. В конце этой странной сцены император вмешался с несколькими суровыми словами, пригрозив поступить с принцем как с мятежником, если он в тот же вечер не вернет корону своему отцу. Фердинанд выдерживал родительские насмешки в невозмутимом молчании, но перед резкими угрозами Наполеона он дрогнул и сломался.

Теперь сопротивлению пришел конец. В ту же ночь (5 мая) император заключил с Годоем соглашение, по которому Карл IV соглашался передать Наполеону короны Испании и Индии при условии, что эти владения останутся нетронутыми, римско-католическая вера будет преобладать над всеми другими, а сам он будет получать пенсию с поместьями Компьень и Шамбор, получая ежегодный доход в размере семи с половиной миллионов франков, выплачиваемый французской казной. С испанскими принцами поступили точно так же, Фердинанд отказался от своих прав на замок и пенсию. В довершение фарса Наполеон приказал Талейрану принять их в своем поместье Валансэ и позабавить актерами и прелестями женского общества. Таким образом, самому искусному юмористу того времени было поручено развлекать трех неинтересных изгнанников, а бывший министр иностранных дел, который не одобрял предательство Байонны, был выставлен сообщником императора.

Таковы были средства, с помощью которых Наполеон получил короны Испании и Индии, не нанеся ни единого удара.

Его оправдание предательства, высказанное в то время, было следующим: "Я знаю, что мой поступок нехорош с определенной точки зрения. Но моя политика требует, чтобы я не оставлял у себя в тылу, так близко к Парижу, династию, враждебную моей". Из этого и других подобных замечаний может показаться, что его решение свергнуть бурбонов было принято во время похода на Йену, но было отброшено в бездну его непостижимой воли на целый год, пока поход Жюно на Лиссабон не обеспечил безопасное средство для осуществления порабощения Испании. К этой цели он с тех пор стремился неуклонно, без малейших признаков раскаяния или даже колебаний — если только мы не примем за подлинное почти наверняка поддельное письмо от 29 марта 1808 года. В этом письме он обвиняет Мюрата во въезде в Мадрид, хотя тот неоднократно убеждал его сделать это; просит его совета после того, как тот все это время держал его в неведении относительно своих целей; и пишет философскую проповедь о

неиспользованной энергии испанского народа, к которому в своих подлинных письмах он выражал глубокое презрение.^[192]

Все это предприятие - действительно шедевр мастерства, но шедевр, запятанный неизгладимыми пятнами предательства. И в конце своей жизни он сам сказал: "Признаюсь, я очень неудачно взялся за испанское дело: его безнравственность была слишком очевидной, несправедливость - слишком циничной, и все это приобрело уродливый вид с тех пор, как я пал; ибо попытка видна только в своей отвратительной наготе, лишенной всякого величия и многих преимуществ, которые завершили мое намерение".

Несомненно, что он надеялся реформировать Испанию. Политические и социальные реформы до сих пор укрепляли дело завоевания; и те, которые он вскоре предложил испанцам, возможно, обновили бы эту нацию, если бы они не были преданы на острие меча; но мотив был слишком очевиден, вмешательство - слишком оскорбительным, чтобы добиться успеха у самых чувствительных людей Европы. 2 мая он написал Мюрату, что намеревается, чтобы король Неаполя Иосиф правил в Мадриде, и предложил Мюрату либо Португалию, либо Неаполь.^[193] Он выбрал последнее. Джозефу не оставили выбора в этом вопросе. Он был вызван из Неаполя в Байонну и, прибыв в По, с большим удивлением услышал, что он король Испании.

Выбор Наполеона был тактичным. В Неаполе старший из Бонапартов провел много реформ и пользовался широкой популярностью; но предательство при Байонне разрушило все надежды на его успех в Мадриде. Хотя гранды Испании приветствовали нового монарха с придворной любезностью, хотя Карл IV дал ему свое благословение, хотя Фердинанд унизил себя, посоветовав своим бывшим подданным спокойно подчиниться, население хотело иного.

Каждый инстинкт испанской природы пылал негодованием. Ненависть к Карлу IV, его королеве и их фаворитке, которой Наполеон дал богатое приданое, любовь к молодому королю, которого он обманным путем похитил, отвращение к французским войскам, нарушавшим права гостеприимства, и ревность к Римско-католической церкви, у главы которой только что отняли половину его состояния, довели испанцев до безумия. Какое-то время их негодование хрипло рокотало, подобно бурлящему вулкану, а затем вырвалось наружу взрывом ярости. Конституция, которую Наполеон представил испанской знати в Байонне, была принята ими только для того, чтобы быть с презрением отвергнутой народом. Люди просвещения, проповедовавшие благоразумие и терпение, были убиты разъяренной толпой или искали спасения в бегстве. Восстание было одновременно национальным по своей грандиозной спонтанности и локальным по своей интенсивности. Провинция за провинцией поднимались с оружием в руках, за исключением севера и центра, где 80 000 французских солдат держали патриотов в узде. В авангарде движения находилась маленькая суровая провинция Астурия, давным-давно ставшая жалкой надеждой христиан в их отчаянных конфликтах с маврами. Укрепившись за своими горами и гордясь своей древней славой, астурийцы отважились на возвышенную глупость - объявить войну правителю Запада и повелителю 900 000 воинов. Галисия и Леон на севере быстро повторили вызов; в то время как на юге плодородные земли Андалусии, Мурсии и Валенсии ответили со своих гор сигнальными огнями национальной войны. Прежняя неприязнь к Англии была забыта. Хунты Астурии, Галисии и Андалусии направили нам призывы о помощи, на которые Каннинг великодушно откликнулся; и 4 июля мы одним прыжком перешли от войны с испанскими бурбонами к неформальному союзу с народом Испании.

Теперь Наполеон начал осознавать масштаб своей ошибки. Вместо того, чтобы установить контроль над Испанией и Индией, он превратил многострадальных союзников в непримиримых врагов. Он готовился завоевать Испанию. В то время как небольшая армия сопровождала Жозефа в его новую столицу, Наполеон из Байонны руководил операциями своих генералов. Удерживая северную дорогу из Байонны в Бургос и Мадрид, они должны были вести осторожную разведку против банд повстанцев; ибо, как писал Наполеон Савари (13 июля): "В гражданских войнах нужно занимать важные посты: не следует ходить повсюду". Веские слова, которыми его лейтенанты в Испании часто пренебрегали! Бессьер на севере добился успеха при Медина-де-Рио-Секо; но сигнальная катастрофа на юге разрушила всю кампанию. Дюпон, разгромив рекрутов Андалусии, проник в сердце этой огромной провинции и, когда его нагراбленные силы были окружены, отрезаны от припасов и вынуждены сдаться в Байлене — всего около 20 000 человек (19 июля). Известие о том, что французская армия сложила оружие, вызвало огромную сенсацию в эпоху, когда войска Наполеона считались непобедимыми. Отчаявшиеся патриоты повсюду приветствовали Байлен как зарю новой эры. И так оно и должно было быть. Если Вальми провозгласил наступление воинствующей демократии, то победа испанцев над одним из храбрейших генералов Наполеона считалась еще большим предзнаменованием. Это положило начало эпохе национального сопротивления самонадеянным притязаниям Императора Запада.

Об этой истине он, кажется, смутно догадывался. Его гнев, когда он услышал о капитуляции, поначалу был слишком глубок, чтобы выразить его словами. Затем он взорвался: "Мог ли я ожидать такого от Дюпона, человека, которого я любил и который вырос, чтобы стать маршалом? Говорят, у него не было другого способа спасти жизни своих солдат. Лучше, гораздо лучше было бы умереть с оружием в руках. Их смерть была бы славной: мы должны были отомстить за них. Вы всегда можете заменить солдат. Одна только честь, однажды утраченная, никогда не может быть восстановлена".

Более того, материальные последствия были значительными. Испанцы быстро угрожали Мадриду; и, по совету Савари, Жозеф после недельного пребывания отступил из своей столицы и поспешно отступил на линию Верхнего Эбро, где французы собрались для второго наступления.

На этом их несчастья не закончились. На северо-востоке отважные каталонцы восстали против захватчиков и исключительно благодаря отваге и дерзости заперли их в своих несправедливо добытых цитаделях Барселоне и Фигерасе. Жители Арагона тоже, никогда не отступавшие в отстаивании своих древних свобод, сплотились для защиты своей столицы Сарагосы. Их ярость усилилась с прибытием Палафокса, который переодетый сбежал из свиты Фердинанда в Байонне и принес известие о совершенном там предательстве. Разбитые за пределами своего древнего города и неспособные удержать его рушащиеся стены от французских пушек и штурмовых колонн, защитники, тем не менее, яростно оборонялись среди его узких улочек и массивных монастырей. Там велась новая война. От улицы к улице, от дома к дому борьба кипела в течение нескольких дней, арагонцы противопоставляли французской доблести упорную преданность, которую когда-либо проявляли народы полуострова при защите своих городов-крепостей, и энтузиазм, разжигаемый усердием их монахов и героизмом Сарагосской девы. Наконец, 10 августа благородный город освободился от хватки 15 000 нападавших, которые отступили, чтобы присоединиться к силам Джозефа выше по течению Эбро.

Даже сейчас император не до конца осознавал серьезность начинающейся войны. Несмотря на предупреждения Савари об опасностях, с которыми придется столкнуться в Испании, он упорно думал о ней как об обычной войне, которую можно закончить с помощью хорошей стратегии и нескольких побед. Он осудил Жозефа и Савари за сдачу линии Верхнего Дору: затем он обвинил их в эвакуации Туделы и подытожил ситуацию, заявив, что "все испанские силы не в состоянии свергнуть 25 000 французов на разумной позиции", добавив с едкой сатирой: "На войне *люди* ничто: *мужчина* — это все".

Когда в конце августа Наполеон писал эти памятные слова в своем дворце Сен-Клу, он не знал, что на место действия прибыл человек. В начале того же месяца сэр Артур Уэлсли с британским войском численностью 12 300 человек высадился в устье реки Мондего и при поддержке португальских иррегулярных войск начал свой марш на Лиссабон. Здесь не место для обзора характера и карьеры нашего великого воина: по правде говоря, целый том был бы слишком коротким для такой задачи. С тонкой поэтической проницательностью лорд Теннисон отметил в своей надгробной оде качества, позволившие ему преодолеть беспрецедентные трудности, вызванные нашим собственным некомпетентным правительством и ревнивыми, требовательными и неаккуратными союзниками:

"Скорбите по человеку долголетней крови,
государственному деятелю-воину, умеренному, решительному,
Целостному сам по себе, общему благу".

Вскоре ему предстояли слава и досада. 17-го он выбил французский авангард из Ролисы; и когда четыре дня спустя Жюно поспешил со всеми своими силами, британцы нанесли этому самонадеянному предводителю сокрушительное поражение при Вимиере. Тактика Жюно была настолько плохой, что все его силы были бы отрезаны от Торрес-Ведрас, если бы старший офицер Уэлсли, сэр Гарри Беррард, не прибыл как раз вовремя, чтобы принять командование и остановить преследование. Вслед за этим Уэлсли саркастически воскликнул своим сотрудникам: "Джентльмены, теперь нам ничего не остается, как пойти и пострелять красноногих куропаток". Особенности нашего военного управления проявились далее в замене Беррарда сэром Хью Дэлримплом, главной заслугой которого является подписание Цинтрской конвенции.

Согласно этому странному договору, все силы Жюно должны были быть переправлены из Португалии во Францию на британских кораблях, в то время как русская эскадра, блокированная в Тежу, должна была оставаться у нас в залоге до заключения мира, а экипажи должны были быть отправлены в Россию. Сама конвенция подверглась яростным нападкам со стороны английской общественности; но она нашла защитника в лице Нейпира, который настаивает на преимуществах немедленного вывода французов из Португалии и, таким образом, обеспечения надежной базы для операций в Испании. Однако, учитывая, что люди Жюно были деморализованы поражением и что ближайшая подмога находилась в Наварре, эти оправдания кажутся едва ли убедительными, за исключением того, что с такими командирами, как Беррард и Дэлримпл, было, безусловно, желательно быстро увести французов.

Со своей стороны, Наполеон выказал большое раздражение по поводу принятия Жюно этой конвенции и заметил: "Я собирался отправить Жюно на военный совет, но, к счастью, англичане

опередили меня, отправив на один из них своих генералов, и таким образом избавили меня от необходимости наказывать старого друга". Со своей обычной суровостью к тем, кто потерпел неудачу, он неодобрительно отнесся ко всем офицерам португальской армии, и после высадки во Франции им было строго запрещено приезжать в Париж. Судьба Дюпона и его старших лейтенантов, освобожденных испанцами, была еще тяжелее: по возвращении они были приговорены к тюремному заключению. Такими средствами Наполеон добивался от своих войск максимальной отдачи, даже на службе, столь ненавистной, какой когда-либо была служба в Испании. ^[194]

Несмотря на промахи нашего военного министерства, глупые выдумки испанцев и безумные ссоры их провинциальных хунт по поводу приоритета и распределения английских субсидий, летом 1808 года власть Наполеона пошатнулась под страшными ударами. Он не только потерял Испанию и Португалию и субсидии, которые они безропотно выплачивали, но и большинство из 15 000 испанских солдат, служивших ему на берегах Балтики, нашли способ ускользнуть на британских кораблях и стали опорой патриотических движений на севере Испании. Но хуже всего была потеря той моральной силы, которую он сам считал тремя четвертями всех сил на войне. До сих пор ему всегда удавалось склонять народ на свою сторону. Как наследник Революции, он воззвал, и не напрасно, к демократическим силам, которые он загипнотизировал во Франции, но пытался настроить в свою пользу за границей. Несмотря на усилия Чарторыйского и Штейна сорвать с его лица демократическую маску, она навязывалась человечеству до тех пор, пока Испанская революция не обнажила правду; и на острове Святой Елены изгнанник вынес свой собственный вердикт политике Байонны: "Меня погубила испанская язва".

ПРИМЕЧАНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.—Для подробного описания Цинтрской конвенции в ее военных и политических аспектах см. Недавно опубликованную "Историю войны на полуострове" г-на Омана, том i, стр. 268-278, 291-300. Однако я не могу согласиться с ученым автором в том, что эта Конвенция была оправдана по военным соображениям после такой решающей победы, как Вимьеро.

ГЛАВА XXIX

"В сущности, главный вопрос заключается в том, кому достанется Константинополь?" —
НАПОЛЕОН, 31 мая 1808г.

Восстание в Испании пробило огромную брешь в планах Наполеона. Это открыло ценные рынки для британских товаров как на полуострове, так и в Южной и Центральной Америке, и это в то самое время, когда Континентальная система была готова заключить нас в свои смертельные объятия. ^[195] И, наконец, это привело в беспорядок схемы, которые вышли далеко за пределы Европы. К ним мы должны теперь вкратце вернуться.

Даже в разгар своих величайших военных триумфов взгляд Наполеона с тоской устремлялся на Восток; и как только он принудил побежденных к миру, его мысли снова сосредоточились на его военно-морском флоте и колониях, на Египте и Индии. Тильзитский мирный договор дал ему время возобновить эти замыслы. Публикация в 1807 году его официального атласа Австралии, в котором он утверждал, что почти половина этого континента принадлежит Франции, доказывает, что он никогда не воспринимал Трафальгар как смертельный удар по своим морским и колониальным устремлениям. И пылкость его стремления к завоеванию Индии видна в письме, которое он написал царю 2 февраля 1808 года. Выразив свое желание славы и экспансии России и посоветовав царю завоевать Финляндию, он продолжает:

"Армия из 50 000 человек, русских, французов и, возможно, нескольких австрийцев, проникшая через Константинополь в Азию, не успела бы достичь Евфрата, как Англия дрогнула бы и преклонила колено перед Континентом. Я готов в Далмации. Ваше величество готовы на Дунае. Через месяц после того, как мы придем к соглашению, армия может быть на Босфоре.... К 1 мая наши войска могут быть в Азии, а в то же время войска Вашего Величества - в Стокгольме. Тогда англичане, которым угрожают в Индии и которые изгнаны из Леванта, будут раздавлены под тяжестью событий, которыми будет заряжена атмосфера". ^[196]

Было несколько причин, по которым Наполеону следовало настаивать на этом плане. Он был раздражен продолжающимся сопротивлением Великобритании и думал запугать нас, чтобы мы сдались, с помощью тех восточных предприятий, которые убедили наших государственных деятелей в том, что мы должны продолжать сражаться изо всех сил. Он также желал восстановить гармонию своих отношений с Александром. Ибо, по правде говоря, восторженная гармония Тильзита вскоре была омрачена разногласиями. Александр не вывел свои войска из Дунайских провинций; после чего Наполеон отказался эвакуировать Силезию; и трения, возникшие в результате такого осторожного балансирования интересов, усилились, когда в конце 1807 года из Парижа было направлено официальное предложение о том, что, если Россия сохранит эти провинции, Силезия перейдет в распоряжение Франции. ^[197] Ослепительные перспективы, открывшиеся взору Александра в Тильзите, были, таким образом, скрыты грязной и неприятной сделкой, которую он горячо отвергал. Чтобы исправить этот ложный шаг, Наполеон написал очаровательное письмо, процитированное выше; и царь, прочитав его, воскликнул: "Ах, это язык Тильзита".

Тем не менее, можно усомниться в том, хотел ли Наполеон настаивать на немедленном разделе Османской империи. В его письме царь приглашался к двум великим предприятиям: завоеванию Финляндии и вторжению в Персию и Индию. Первому самому по себе было

суждено ослабить мощь России. Несмотря на предложение Александра о вечной гарантии финской конституции и обычаев, эти интересные люди оказали упорное сопротивление. Наполеон, должно быть, также знал, что силы России тогда были совершенно неравны для вторжения в Индию; и его приглашение Александру принять участие в двух серьезных предприятиях, несомненно, привело к отсрочке раздела Турции. Промедление было ему на руку, если он хотел получить львиную долю добычи. Русские войска были наготове на берегах Дуная; но он еще не был полностью готов. Его власть над Далмацией, Рагузой и Корфу не была полностью обеспечена. Сицилия и Мальта по-прежнему бросали ему вызов; и только захватив Сицилию, он смог установить контроль над Средиземноморьем — "постоянной целью моей политики". Только когда это великое море превратилось во французское озеро, он мог надеяться прочно обосноваться в Албании, Фессалии, Греции, на Крите, в Египте и Сирии.

Итак, в настоящее время царь был обольщен перспективой восточного похода; и, пока русские войска вторгались в Финляндию, Наполеон стремился завоевать Сицилию и низвести Испанию в ранг феодального государства. С этой более широкой точки зрения он рассматривал Пиренейский полуостров просто как удобную базу для более масштабного предприятия - завоевания Востока. Это подтверждается письмом, которое он написал Декресу, морскому министру и по делам колоний, из Байонны 17 мая 1808 года, когда испанское дело казалось улаженным: "Новостей из Индии немного. Англия находится там в большой нужде, и прибытие экспедиции [из Франции] разрушило бы эту колонию сверху донизу. Чем больше я размышляю над этим шагом, тем меньше неудобств я вижу в его принятии". Два дня спустя он написал Мюрату, что необходимо найти деньги для военно-морских приготовлений в испанских портах: "Мне нужны корабли, поскольку я намерен нанести серьезный удар ближе к концу сезона". Но в конце июня он предупредил Декреса, что, поскольку дела в Испании идут плохо, он должен отложить свой план отправки флота подальше от европейских вод.^[198]

После того как Испания показала себя не кротким поставщиком флотов, а пожирателем французских армий, возникла острая необходимость в тесном соглашении с царем. Наполеон желал не только обеспечить дальнейшую отсрочку турецкого предприятия, но и держать Австрию и Германию в узде. Бывшая держава, видя, что Наполеон находится в затруднительном положении, быстрыми темпами наращивала свою военную организацию; и Германия вздымалась от сдерживаемого возбуждения при известии о восстании в Испании. Дремлющий инстинкт немецкой национальности уже проявлял признаки пробуждения. В начале 1808 года некогда философ-космополит Фихте произнес в Берлине под звуки французских барабанов свои "Обращения к немецкой нации", в которых он подробно остановился на неугасимой силе народа, решившего любой ценой жить свободно.

К теме философа испанцы теперь подготовили комментарий, написанный их собственной кровью. Истории Байлена и Сарагосы одинаково тронули как мыслителей, так и солдат. Варнгаген фон Энзе рассказывает, насколько глубоким было волнение эксцентричного мудреца Жан-Поля Рихтера, который "не сомневался, что немцы однажды восстанут против французов, как это сделали испанцы, и что Пруссия отомстит за свои оскорбления и даст свободу Германии.... Я доказал ему, насколько пустой и слабой была власть Наполеона, насколько глубоко укоренилось противодействие ей. Испанцы были рефреном ко всему, и мы всегда возвращались к ним".

В то время Штайн закладывал основы новой гражданской жизни в Пруссии. Призванный королем фактически стать гражданским диктатором, этот великий государственный деятель провел самые радикальные реформы. В октябре 1807 года в Мемеле появились декреты об освобождении, которые провозглашали отмену крепостного права со всеми его обязательными работами. Старое феодальное общество еще больше укрепилось за счет допуска всех классов к владению землей или к любой работе, в то время как торговые монополии были точно так же уничтожены. Муниципальное самоуправление придало новую изюминку и энергию гражданской жизни; и принцип, согласно которому армия "должна быть объединением всех моральных и физических сил нации", был реализован военным организатором Шарнхорстом, который задумал и частично реализовал идею о том, что все трудоспособные мужчины должны отслужить свой срок под знаменами, а затем быть призваны в резерв. Эта военная реформа вызвала недоверие Наполеона, и он вынудил короля согласиться по договору (сентябрь 1808 г.), что численность прусской армии никогда не должна превышать 42 000 человек, мера, которая не препятствовала формированию эффективного резерва, и поэтому была соблюдена по букве, если не по духу.

Фактически, в предыдущем месяце Штейн, Шарнхорст и другие министры-патриоты тайно обсуждали план народного восстания. Примеру испанцев следовало следовать повсюду, и, если Австрия пошлет свои легионы на Дунай, а Англия поможет в Ганновере, появится некоторая перспектива сбросить наполеоновское иго. План провалился, и во многом благодаря перехвату письма, в котором Штайн неосторожно упомянул об обострении общественных чувств в Германии и живой надежде, вызванной событиями в Испании и приготовлениями Австрии. Наполеон приказал напечатать письмо в "Монитер" от 8 сентября и наложил арест на имущество Штейна в Вестфалии. Он также сохранил контроль над Пруссией; поскольку, выводя большую часть своих войск из этой истощенной земли, он сохранил французские гарнизоны в Штеттине, Глогау и Кюстрине. Удерживая эти крепости на мощной линии обороны по Одера, он мог бы посмеяться над ничтожными усилиями прусских патриотов и надеяться быстро сокрушить испанских повстанцев, при условии, что он мог рассчитывать на лояльную поддержку Александра в сдерживании Австрии.

Чтобы заручиться этой поддержкой и рассеять тучи, сгустившиеся на восточном горизонте, Наполеон срочно пожелал встречи со своим союзником. В течение нескольких месяцев это предлагалось, но Восстание в Испании и вооружение Австрии сделали это необходимым.

Встреча состоялась в Эрфурте (27 сентября). Тюрингский город пестрел мундирами, и пушки гремели приветственными залпами, когда два властителя и их свита вошли в древние стены и двинулись по узким улочкам, благоухающим древнегерманским спокойствием, - обители, более подходящему для размышлений лютера, чем для всемирных планов императоров Запада и Востока. С ними были их главные воины и министры, личности, которые теперь оттеснили в тень новых германских королей. Там же были и младшие немецкие принцы, некоторые из них желали удостоить Двора человека, который осыпал их землями и титулами, другие намекали на желание получить больше земель и более высоких титулов. По правде говоря, титул короля был мучительно распространенным; и, если мы можем поверить истории того времени, французская солдатня научилась презирать его. Ибо однажды, когда почетный караул, обманутый великолепиями колесницы короля Вюртемберга, собирался отдать тройной салют, полагающийся только двум императорам, командующий офицер сердито воскликнул: "Тише, это всего лишь король".

Императоры в Эрфурте посвящали утро личным беседам, вторую половину дня - политике, вечера - приемам и театру. Актеры "Комеди Франсез" были привезены из Парижа и разыгрывали перед императорами и партером принцев шедевры французской сцены, особенно те, которые содержали подходящие аллюзии. Примечательный инцидент произошел во время чтения строки из "Эдипа" Вольтера:

"L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux."

Словно движимый внезапным вдохновением, Александр встал и тепло пожал руку Наполеону, который в то время дремал рядом с ним.^[199] На первый взгляд, действительно, все было дружбой и согласием. С присущей ему вежливостью царь сопровождал своего союзника на поле битвы при Йене, выслушал оживленное описание победителя, а затем присоединился к погоне в лесу неподалеку.

Но за этими блестящими выступлениями скрывались подозрения и страхи. Александр был раздосадован тем, что Наполеон сохранил французские гарнизоны в крепостях на Одере и потребовал от Пруссии невозможную сумму контрибуции. Это не было восстановлением независимости Пруссии, к которому он, Александр, призывал; и пока французские орлы находились в Кюстрине, русская граница не могла считаться полностью безопасной.^[200] С другой стороны, Талейран тайно предостерег царя от уступчивости французскому императору. "Сир, зачем вы пришли сюда? Вы должны спасти Европу, и вы преуспеете в этом, только оказав сопротивление Наполеону. Французы цивилизованны, а их суверен - нет. Суверен России цивилизован, а ее народ - нет. Поэтому суверен России должен быть союзником французского народа".^[201] Мы можем сомневаться, имело ли бы это симметричное предложение большой эффект, если бы Александр не получил аналогичные предупреждения от своего собственного посла в Париже; и, похоже, слишком большое значение придавалось тому, что называется *предательством* Талейрана в Эрфурте.^[202] Дела высокой политики определяются не столько логикой слов, сколько более суровой логикой фактов. Со времен Тильзита Наполеон был расточителен на обещания своему союзнику, но мало на что другое. Заманчивые видения, изложенные в его письме от 2 февраля, были столь же призрачны, как и всегда; и Романцов выразил желание своих соотечественников в своем замечании Шампани: "Мы приехали в Эрфурт, чтобы положить предел подобному поведению". Было очевидно, что если бы Наполеон полностью добился своего, раздел Турции произошел бы в желаемое им время и способом; царь был полон решимости предотвратить это и поэтому остался глух к предложению своего союзника вызвать Австрию для объяснения ее нынешнего двусмысленного поведения и откровенного признания Жозефа Бонапарта королем Испании. Если Австрия прекратит свои нынешние вооружения, превосходство Наполеона в Центральной Европе станет угрожающе великим. Очевидно, что в интересах России не было ослаблять единственное буферное государство, которое оставалось между ней и Западной империей.

Эти опасения потихоньку подогревал специальный посланник Венского двора барон Винсент, который доставил обоим императорам комплиментарные записки и остался, чтобы чувствовать пульс европейской политики. На данный момент это предвещало Австрии мир. Несмотря на настойчивые доводы Наполеона о том, что Англия никогда не заключит мир, пока Австрия не смирится с нынешней ситуацией в Испании, Александр тихо, но твердо отказался

предпринимать какие-либо шаги по ослаблению власти Габсбургов. Дискуссии становились все более жаркими, поскольку Наполеон понимал, что, если венский двор не будет принужден, Англия будет упорствовать в оказании помощи испанским патриотам; и Александр проявил неожиданное упрямство. Доводы Наполеона о том, что мир может быть обеспечен только полным разочарованием Англии, Австрии и испанских "повстанцев", не возымели на него никакого эффекта: фактически, он начал сомневаться в искренности миротворца, методами которого были война и запугивание. Сочтя аргументы бесполезными, Наполеон пришел в ярость. В конце оживленной дискуссии он швырнул свою фуражку на землю и растоптал ее. Александр остановился, посмотрел на него с многозначительной улыбкой и тихо сказал: "Ты жесток; что касается меня, то я упрям: от гнева у меня ничего не получится: давай поговорим, давай рассуждать, или я ухожу". Он направился к двери, после чего Наполеон позвал его обратно — и они принялись рассуждать.

Это было бесполезно. Хотя Александр предоставил своему союзнику полную свободу действий в Испании, он отказался присоединиться к нему в дипломатической угрозе Австрии; и Наполеон увидел, что "эти дьявольские испанские дела" были причиной этой важной неудачи, которая стоила ему войны на Дунае в следующем году.

В качестве компенсации за эту проверку он разочаровал Александра в отношении Пруссии и Турции. Он отказался вывести свои войска из крепостей на Одере и неохотно согласился снизить свои денежные требования к Пруссии со 140 000 000 франков до 120 000 000. По отношению к турецким планам царя он проявил не больше уступчивости. После острых дискуссий было окончательно решено, что Россия получит Дунайские провинции, но не раньше следующего года. Франция отказалась от всякого посредничества между Александром и Портой, но потребовала от него сохранения целостности всех других турецких владений, что означало, что раздел Турции следует отложить до тех пор, пока Наполеону не захочется всерьез заняться своими восточными планами. Золотые мечты о Тильзите, таким образом, снова отошли в далекое будущее, и остроту разочарования царя можно оценить по его поразительному заявлению, процитированному Коленкуром в одном из его ранних репортажей из Санкт-Петербурга: "Пусть мир перевернется с ног на голову при условии, что Россия завоеует Константинополь и Дарданеллы".^[203]

Эрфуртское интервью оставило еще одну скрытую рану. Именно там официально обсуждался развод с Жозефиной с целью заключения более амбициозного союза. Какими бы настойчивыми ни были слухи о разводе в течение последних семи лет, они, по-видимому, исходили не от мужа, а от ревнивых невесток, интригующих родственников и назойливых министров. Самому назойливому из этих спутников, Фуше, который осмелился предложить Жозефине пожертвовать собой на благо государства, Наполеон недавно сделал суровый выговор. Но теперь он заставил Талейрана и Коленкура расспросить царя о возможности союза с одной из его сестер. Ответ был столь же расплывчатым и сдержанным. Александр выразил свое удовлетворение дружбой, которая вызвала такую просьбу, и своим желанием основать Наполеоновский дом. Дальше этого он не пошел: и через восемь дней после его возвращения в Санкт-Петербург его единственная сестра на выданье Екатерина была обручена с наследником герцогства Ольденбургского. Это событие, правда, было решено вдовствующей императрицей; но никто, и меньше всего Наполеон, не мог питать никаких сомнений относительно его значения.

По правде говоря, главные победы Наполеона при Эрфурте были социальными и литературными. Его попытки ослепить немецких принцев и лишить гражданства двух ведущих мыслителей германии были частично успешными. Гете и Виланд преклонились перед его величием. Бывшему Наполеону было предоставлено пространное интервью. С самого начала он польстил пожилому поэту словами "Ты мужчина"; затем он заговорил о нескольких произведениях так, что Гете счел это очень справедливым; и он раскритиковал один отрывок из юношеского произведения поэта "Вертер" как несоответствующий природе, с чем Гете согласился. На "Магомета" Вольтера он обрушился с критикой за недостойное изображение завоевателя Востока и его неэффективный фатализм. "Эти произведения принадлежат темной эпохе. Кроме того, что они имеют в виду своим фатализмом? Политика есть фатализм". Значение этого высказывания вскоре было подчеркнуто, так что неправильное понимание стало невозможным. Увидев "Смерть Сезара" Вольтера, Наполеон предположил, что поэту следовало бы написать трагедию в более величественном стиле, чем у Вольтера, чтобы показать, какую пользу принес бы мир, если бы у великого римлянина было время осуществить свои грандиозные планы.

Наконец, Гете пригласили приехать в Париж, где он нашел бы обильный материал для своих поэтических творений. К счастью, Гете смог сослаться на свой возраст в оправдание; и поэтому мир был избавлен от зрелища великого гения, обремененного императорским поручением и пишущего наполеонизированную версию подвигов и политики цезаря. Но настоящий характер приглашения свидетельствует о недовольстве императора своими французскими поэтами и его намерении денационализировать немецкую литературу. У него было смутное представление о том, что тевтонский идеализм был опасным врагом, поскольку он поддерживал чувство национальной принадлежности, которое он был полон решимости уничтожить. Он был прав. Последнее и самое патриотическое из произведений Шиллера "Вильгельм Телль", страстные речи Фихте, усилия новой патриотической лиги, Тугендбунда и последнее, но не менее важное, воспоминание об убитом Пальме - все это оказало влияние, поставившее в тупик штыки и дипломатию. Как бы он ни старался побеждать и торговаться, он не мог справиться с неосознанными силами наступающей эры. Молодое поколение трепетно реагировало на учение Фихте, призывы Штейна и подвиги испанцев; оно было слепо к великолепию Эрфурта; и оно с горечью, но не изменив убеждений, услышало, что Гете и Виланд приняли от Наполеона крест Почетного легиона, и это тоже в годовщину битвы при Йене.

Окончательно принижая таким образом двух поэтов, он выпустил прощальную стрелу в адрес немецкого идеализма в своем "прощании с академиками". Он призвал их остерегаться идеалистов как опасных мечтателей и замаскированных материалистов. Затем, повысив голос, он воскликнул: "Философы изводят себя плетущимися системами: они никогда не найдут лучшей, чем христианство, которое, примиряя человека с самим собой, также обеспечивает общественный порядок и покой. Ваши идеологии разрушают все иллюзии; а время иллюзий - это время счастья как для народов, так и для отдельных людей. Я увезу одного, чтобы вы думали обо мне хорошо". Затем он сел в свой экипаж и уехал в Париж, чтобы возобновить свое завоевание Испании. ^[204]

Последним дипломатическим разбирательством в Эрфурте было составление секретной конвенции, которая передавала Финляндию и Дунайские провинции России и обещала помощь России Наполеону в случае нападения Австрии на него. Царь также признал Жозефа Бонапарта королем Испании и присоединился к Наполеону в совместной записке Георгу III, призывая его

заклучить мир. В тот же день (12 октября) эта записка была составлена и отправлена в Лондон. В ответ Каннинг заявил о нашей готовности вести переговоры о мире при условии, что в них должны участвовать все стороны: это, хотя и не связано никаким официальным договором с Фердинандом VII. и испанский народ, однако мы тем не менее чувствовали себя обязанными им и предполагали, что они, как и другие наши союзники, будут допущены к переговорам. Задолго до того, как этот ответ достиг Парижа, Наполеон отбыл в Испанию. Но 19 ноября он поручил Шампаны заявить, что испанские повстанцы могут быть допущены не больше, чем ирландские повстанцы: что касается других сторон в споре, он не отказался бы признать "ни короля, правящего в Швеции, ни короля, правящего на Сицилии, ни короля, правящего в Бразилии". Этот оскорбительный ответ в достаточной степени показывает неискренность его попыток и своеобразие его взглядов на монархию. Испанцы были мятежниками, потому что отказались признать принудительное отречение своего молодого короля; а правители Швеции, Неаполя и Португалии были королями до тех пор, пока Наполеону было выгодно терпеть их, но не больше. Излишне добавлять, что наше правительство отказалось покинуть испанцев; и в своем ответе в Санкт-Петербург Каннинг выразил глубокое сожаление Георга III по поводу того, что Александр санкционировал

- Узурпация, не имеющая аналогов в мировой истории.... Если это те принципы, которым нерушимо придерживался император России... глубоко сожалеет Его Величество [Георг III.] о решимости, с помощью которой страдания Европы должны усугубляться и продлеваться. Но не Его Величеству следует приписывать продолжение бедствий войны из-за крушения всех надежд на такой мир, который был бы совместим со справедливостью и честью". ^[205]

Ни один непредубежденный человек не может прочесть переписку по этому вопросу, не придя к выводу, что британской политике, хотя и не хватает широты, хватки и *утонченности*, которые отличали политику Франции и России, тем не менее, она обладает неоспоримыми достоинствами мужественной правдивости и непоколебимой верности. Процитированные выше слова были словами Каннинга, но дух, вдохновлявший их, принадлежал Георгу III. Его разбитая штормами жизнь теперь была на грани ужасного безумия; но ему было дано воззвать к лучшим качествам характера царя с этой суровой, но наполовину умоляющей мольбой. И кто скажет, что пример постоянства, который престарелый король демонстрировал среди сгущающегося мрака его общественной и частной жизни, в конечном счете не принес плодов на более позднем и грандиозном этапе характера и карьеры Александра?

Тем временем Наполеон прорывал испанскую оборону. Патриоты, воодушевленные своими первыми успехами, тешили себя мечтами о вторжении во Францию, а их провинциальные хунты ссорились из-за раздела будущей добычи, а также из-за распределения английского оружия и денег. Их пробуждение было ужасным. Имея менее 90 000 необстрелянных солдат, они были атакованы 250 000 человек под предводительством величайшего воина эпохи. Повсюду они были разбиты, и в последней битве у перевала через гору Сомосьерра превосходство французов было продемонстрировано со всей очевидностью. Пока испанцы осыпали картечью сопротивляющиеся массы нападавших, император решил бросить свою легкую польскую кавалерию вверх по склону на смертоносные орудия. Приказ был лихо выполнен. Около сорока или пятидесяти всадников рассыпались в прах, но остальные пронесли дальше, сразили артиллеристов саблями и решили исход дня. Испанцы, пораженные этой неслыханной

тактикой, бросились наутек, и теперь ничто не могло помешать вступлению Наполеона в Мадрид (4 декабря). Там он стремился популяризировать правление Иосифа, предложив несколько желательных реформ, таких как отмена феодальных законов и инквизиции. Это было бесполезно. Испанцы не допустили бы, чтобы кто-то из них попал в его руки.

После недолгого пребывания в Мадриде он повернулся, чтобы сокрушить сэра Джона Мура. Этот храбрый солдат, полагаясь на пустые обещания патриотов, отважился вторгнуться в сердце Леона с британскими войсками численностью в 26 000 человек. Если он не мог спасти Мадрид, то мог, по крайней мере, отсрочить французское завоевание юга. В этом он преуспел; его рыцарская отвага привлекла к нему главные силы захватчиков; и когда они были безнадежно в меньшинстве, он, подобно льву, отступил к Корунье. Там он развернулся и нанес французам удар, который прославил его собственную карьеру и дал время его людям благополучно отправиться в путь.

В то время как красномундирники наблюдали, как снежные высоты Галиции растворяются в небе, Наполеон мчался обратно к Пиренеям. Он получил известие, предвещавшее войну с Австрией; и, лелея странную веру в то, что Испания завоевана, он поспешил обратно в Париж, чтобы противостоять державе Габсбургов. Но Испания не была завоевана. Рассеянные ее армии находились на открытой местности, и даже храбрая Сарагоса пала в великолепных руинах под настойчивыми атаками Ланна. Но патриоты яростно сплотились в горах, и Наполеону предстояло убедиться в справедливости высказывания римского историка: "Ни в одной стране характер людей и природа страны не помогают устранять бедствия с большей готовностью, чем в Испании".

Была и другая причина внезапного возвращения Наполеона. До него дошли слухи о *сближении* этих обычно завистливых соперников, Талейрана и Фуше, которые теперь ходили рука об руку, проводили тайные совещания и, казалось, имели некоторое взаимопонимание с Мюратом. Замыслили ли они свергнуть этого честлюбивого человека и его еще более честлюбивую и мстительную супругу с презируемого трона в Неаполе, чтобы захватить власть в Париже, пока император увязнет в испанской трясине? Ходили слухи, что для этого предприятия у Фуше были готовы перегоны лошадей между Неаполем и Парижем.^[206] Но там, где речь идет о Фуше и Талейране, истина скрывается на дне непостижимого колодца.

Все, что мы знаем наверняка, это то, что Наполеон улетел обратно в Париж в сильнейшей ярости и что после резкого упрека Фуше он разразился яростной тирадой в адрес принца Беневенто: точно так же, как он (Талейран) сначала посоветовал убить герцога Энгиенского, а затем обратил это событие в дискредитацию своего государя, так и теперь, посоветовав свергнуть испанскую династию, он таким же образом исподтишка использовал неудачу этого предприятия. Великий камергер стоял как будто неподвижно, пока буря не пронеслась мимо, а затем холодно заметил изумленному кругу: "Какая жалость, что столь великий человек был так плохо воспитан". Тем не менее, оскорбление глубоко засело в его душе, чтобы его лелеяли в течение пяти лет, а затем, когда придет время, он бросился вперед со змеиной местью. В 1814 и 1815 годах люди увидели, что не самым серьезным результатом испанской политики Наполеона было ухудшение его отношений с двумя умнейшими из ныне живущих французов.

ПРИМЕЧАНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ.—В предыдущем повествовании, описывающем битву при Сомосьерре, я следовал общепринятому мнению, согласно которому победа принадлежит исключительно польским всадникам. Но г-н Оман показал ("История войны на полуострове", том i, стр. 459-461), что их первая атака провалилась, и что только когда бригада французской пехоты вступила в перестрелку прямо на гребне, вторая попытка поляков при поддержке гвардейской кавалерии овладела перевалом. Описание Напье (том i, стр. 267), основанное на французском бюллетене, неверно.

ГЛАВА XXX

НАПОЛЕОН И АВСТРИЯ

"Никогда не поступай плохо с врагом наполовину" - таков был мудрый совет короля-воина Пруссии Фридриха Великого, который инстинктивно понимал глупость полумер в обращении с грозным врагом. Единственной альтернативой для государственного деятеля было завоевать его дружбу великодушным обращением или прижать его к земле, чтобы он не смог подняться для нанесения следующего удара.

Как мы видели, Наполеон намеренно выбрал опасный средний курс с Габсбургами после Аустерлица. Он отнял у них их верных тирольцев вместе со всеми их швабскими землями и наполовину искалечил их в Италии, оставив им линию Адидже вместо Минчо. Позже он вынудил Австрию присоединиться к Континентальной системе в ущерб ее торговле и доходам; а его тонко завуалированные угрозы в Эрфурте побудили ее нанести ответный удар, как только она увидела, что он приступил к испанскому предприятию. У нее были некоторые основания для уверенности. Удары, обрушившиеся на государства Габсбургов, послужили их более тесному сплочению; реформы, проведенные в администрации под руководством способного и энергичного министра Стадиона, обещали оживить всю Империю; а армейские реформы, проводимые эрцгерцогом Карлом, отправили на покой обласканных придворных бездельников и открыли невообразимые перспективы надежды даже для простого солдата. Более того, было ясно, что тирольцы восстанут против железного либерализма, навязанного им из Мюнхена, который вмешивался в их любимые обычаи и церковные праздники.

По всей Германии также были широко распространены движения за свержение ига Наполеона. Выгоды, полученные от принятия его законов, уже были уравновешены растущими трудностями,

сопряженными с Континентальной системой; и национальные немецкие чувства, которые Наполеон всегда стремился искоренить, упорно цеплялись за Берлин и Вену. Новая волна негодования прокатилась по Германии, когда Наполеон издал запретительный декрет против Штейна, который ушел в отставку 24 ноября. Оно было датировано Мадридом (16 декабря 1808 г.) и предписывало, чтобы "человек по имени Штайн" за стремление вызвать беспорядки в Германии был признан врагом Франции и Рейнской конфедерации и подвергся конфискации своего имущества и аресту его личности, где бы он ни находился. После этого великий государственный деятель бежал в Австрию, где теперь были сосредоточены все надежды немецких националистов. ^[207]

6 апреля эрцгерцог Карл издал прокламацию, в которой красноречиво выразились новые надежды реформированной Австрии: "Свобода Европы нашла убежище под вашими знаменами. Солдаты, ваши победы разобьют ее цепи: ваши немецкие братья, которые сейчас находятся в рядах врага, ждут своего освобождения". Эти надежды были преждевременными. Австрия опоздала или слишком рано: она опоздала одолеть баварцев или заставить французские войска без руководства и слишком рано извлекла полную выгоду из своих недавних армейских реформ и из обещанного Англией отвода войск в Северном море. ^[208] Но из-за ограниченности нашего пространства невозможно адекватно описать ход борьбы на Дунае или тирольского восстания.

Наполеон, спешивший из Парижа, обнаружил, что его войска растянуты на фронте в шестьдесят миль от Ратисбона до позиций к югу от Аугсбурга, и потребовалось все его мастерство, чтобы сосредоточить их до того, как обрушатся удары эрцгерцога. Благодаря медлительности австрийцев опасность была предотвращена, и трудное отступление быстро превратилось в победоносное наступление. Пять дней подряд французы одержали столько же побед, главная из которых, при Экмюле (22 апреля), вынудила эрцгерцога вместе с австрийским правым крылом двинуться на север, к Ратисбону, который был взят штурмом на следующий день. Теперь Карл двинулся к Бемер-Вальду, в то время как его левое крыло на юге Дуная отступило к Инн. Максимально используя свое преимущество, победитель вторгся в Австрию и вынудил Вену капитулировать (13 мая).

В этом городе Наполеон издал (17 мая) указ, который свидетельствует об избытке его уверенности. Он уничтожил светскую власть папы и присоединил к Французской империи ту часть Папских земель, которую он пощадил годом ранее. Форма декрета была столь же примечательна, как и его содержание. С бесстыдством, сравнимым только с его исторической лживостью, он привел в пример "Карла Великого, моего августейшего предшественника, императора французов"; и, после возвышения императорского достоинства, он продолжил низводить пап до положения епископов Рима. Подчинение духовной власти гражданской было также обеспечено назначением папе ежегодного пособия в размере 2 000 000 франков.

Когда Пий VII выразил протест против захвата его Государств и направил буллу об отлучении от церкви в адрес спoliатора, Наполеон отдал приказ, который привел к его аресту; и вскоре после середины лета несчастного понтифика поспешно увезли из Рима во Флоренцию.

Тем временем Наполеон столкнулся с неожиданным поворотом событий. Хотя эрцгерцог Карл был настолько напуган своими поражениями в Баварии, что направил Наполеону раболепную просьбу о мире, на которую победитель не соизволил ответить, он упрямо держался за северный берег Дуная напротив столицы и нанес императору серьезное поражение, когда

последний попытался изгнать его из Асперн-Эсслинга (21-22 мая). Если бы австрийский командующий обладал той безжалостной решимостью, которая всегда побуждала Наполеона отнимать у Фортуны ее величайшие благосклонности, беломундирники могли бы сбросить своих врагов в реку; ибо в конце обоих этих кровавых дней у них было явное преимущество. Катастрофа Франции была фактически предотвращена только объединенными усилиями Наполеона, Массены, Ланна и генерала Мутона; и даже они были на какое-то время встревожены ужасающими потерями и известием о том, что мосты, по которым только они могли отступать, были снесены деревьями, а баржи отправлены вниз по разливавшемуся потоку. Но, как и при Эйлау, железная воля Наполеона взяла верх над его врагами, и под покровом темноты французы были отведены на остров Лобау, потеряв около 25 000 человек. ^[209]

Среди них был Ланн, предводитель авангарда. Услышав, что его старый друг смертельно ранен, император поспешил к нему и нежно обнял. Интервью, говорит Марбо, который поддерживал маршала за плечи, было самым трогательным, оба этих суровых воина демонстрировали неподдельные эмоции. И все же сообщается, что после того, как Ланна перевели в Эберсдорф, его последними словами были упреки императору в его честолюбии. Однако в то время пациент бредил, и слова, если они действительно были произнесены, не имели смысла; но автор анекдота мог бы сослаться на то, что он был созвучен недавнему течению мыслей маршала. Как и все вдумчивые солдаты, ставившие Францию выше Наполеона, Ланн устал от этих бесконечных войн. После Йены его сердце не было отдано работе, и он так писал о Наполеоне во время осады Данцига: "Я всегда был жертвой своей привязанности к нему. Он любит тебя только урывками, то есть когда ты ему нужна". Его предчувствие оправдалось. Он стал жертвой войны, которая была результатом исключительно Континентальной системы Наполеона, а не потребностей Франции. Он скончался, оставив после себя блестящую военную славу и репутацию солдата республиканской прямоты, которая быстро исчезала из лагерей и *салонов* Империи. ^[210]

Однако пока гения Наполеона и боевого пыла его солдат было достаточно, чтобы подавить сдерживающие усилия Австрии и ее доброжелателей. Отступая на остров Лобау, он до предела проявил свои экстраординарные организаторские способности. Лодки доставили огромные запасы провизии и боеприпасов из Вены, которую все еще удерживали французы. Угрожающий фронт Массены и Даву обрушился на противника. Из Баварии спешно подтянулись подкрепления. Тироль был очищен от франко-баварских войск, так что крестьяне под предводительством отважного трактирщика Хофера смогли организовать систематическую оборону. И французская армия, которая в конце концов разбила австрийцев в Венеции, теперь начала оттеснять их обратно в Венгрию. В Польше белых халатов держали в узде, а франко-русский договор удерживал Фридриха Вильгельма от каких-либо действий против Франции, как горячо советовали прусские патриоты.

Поступать так было бы безумием, если бы Англия не прислала мощную помощь со стороны Ганновера; а этой помощи не последовало. И все же патриотический пыл немцев привел к двум дерзким действиям против французов. Шиль с прусским кавалерийским полком пытался захватить Магдебург, но, потерпев неудачу, двинулся на север в надежде на британскую помощь. Его авантюрный поход был прерван голландскими и северогерманскими войсками Наполеона, которые окружили его в Штральзунде и 31 мая разбила вдребезги его храбрый отряд. Шиль встретил смерть воина: большинство выживших были отправлены на галеры во Франции. Не смущенный этой неудачей, молодой герцог Брауншвейгский попытался поднять

Саксонию и Вестфалию лихим кавалерийским рейдом (июнь); но, помимо демонстрации слабости правления Жерома Бонапарта и всеобщей ненависти к французам, он мало чего добился: со своими 2000 сторонниками он, наконец, был спасен британскими крейсерами (август). Если бы британская экспедиция, которая следующей осенью погибла на Вальхерене, весной была высажена в Штральзунде или Ганновере, несомненно, Германия выступила бы в тыл Наполеону; и в этом случае сомнительное сражение, завершившееся при Ваграме, могло закончиться совсем по-другому. ^[211]

Все надежды на независимость Европы возлагались на Уэлсли и эрцгерцога Чарльза. Хотя формального соглашения между Англией и Австрией не было, Габсбурги все же возлагали свои надежды в основном на диверсии, предпринятые нашими войсками. В начале кампании 1809 года на полуострове эти надежды блестяще оправдались. Уэлсли двинулся против Сульта у Порту и, ловко форсировав эту реку у него в тылу, вынудил его к катастрофическому отступлению в Испанию с потерей всех своих пушек и припасов. Вооруженной толпой французы добрались до Луго, и солдаты корпуса Нея встретили их там насмешками и проклятиями. Два маршала сами затеяли ссору, и насмешки Нея были столь яростными, что Султ обнажил шпагу, и дуэль едва удалось предотвратить. ^[212] Во время их операций в Галисии и Астурии была восстановлена видимость согласия: но не было упущено ни одной возможности тайно помешать ненавистному сопернику; и здесь, как и на протяжении всей войны на полуострове, личная зависть французских лидеров фатально поставила под угрозу успех их оружия. Уэлсли, видя, что операции в Галисии никогда не решат исход войны, начал готовить смертельный удар по центру французской власти, Мадриду.

В то время как Уэлсли вбивал тонкий клин в сердце Испании, эрцгерцог Карл был свергнут на берегах Дуная. После привлечения подкреплений из Франции, Рейнской конфедерации и итальянской армии Эжена французский император располагал 180 000 хорошо обученных солдат, которых он сосредоточил на острове Лобау или на правом берегу Дуная. Были сделаны все приготовления, чтобы ввести австрийцев в заблуждение относительно пункта переправы, и с полным успехом. С большим трудом защитники возвели укрепления, обращенные к северной стороне острова. Но густой штормовой ночью (4 июля) шесть лодочных мостов были быстро перекинuty через реку ниже по течению, то есть на восточной стороне Лобау, в то время как яростная канонада на северной стороне ввела врагов в заблуждение. Переправа была осуществлена Удино и Массеной без потерь; и на рассвете вся французская армия быстро продвигалась на север, тем самым обходя с флангов австрийские земляные укрепления, которые к этому времени были эвакуированы.

Карла перехитрили и превзошли численностью. Его брат, эрцгерцог Иоанн, находился в Прессбурге с 20 000 человек, за которыми до сих пор наблюдал Даву. Но французский маршал ловко отозвал свой корпус, оставив лишь достаточно людей, чтобы навязать себя этому предприимчивому лидеру. Другие австрийские части в критический момент также были далеко, и, таким образом, у Наполеона было превосходство в силах примерно в 50 000 человек. Тем не менее, оборона в Ваграме была наиболее упорной (6 июля). Удерживая оборону на холмах за Руссбахом, эрцгерцог развернул вперед свой правый фланг с такой силой, что отбросил Массену к Асперну; но его ослабленный центр теперь был отброшен назад и находился под угрозой из-за упорной энергии наступления Макдональда. Этот успех в центре дал время Даву вырвать Нойзидель у беломундирников, движение, которое было бы остановлено или подавлено, если бы эрцгерцог Иоанн подчинился приказу своего брата и двинулся со стороны

Прессбурга на незащищенный правый фланг Наполеона. Наконец, после упорной борьбы австрийцы отступили в хорошем порядке, эффективно прикрывая свое отступление убийственным артиллерийским огнем. Общие потери около 50 000 человек, распределенные почти поровну с обеих сторон, были главным результатом этого ужасного дня. Она не отличалась блестящей тактикой; и, как и при Асперне, австрийцы полностью сравнялись со своими врагами в храбрости.



БИТВА При ВАГРАМЕ

Такова была битва при Ваграме, одна из величайших за все время, если считать количество сражавшихся, но одна из наименее решающих по своим чисто военным результатам. Если мы можем сравнить Аустерлиц с Бленхеймом, то Ваграм с равным успехом можно сравнить с масштабной резней при Мальплаке ровно столетием ранее. Французы теперь почувствовали ужесточение национальной обороны Австрии и падение их собственных боевых сил. Мармон рассказывает, как к концу дня приближение разведчиков эрцгерцога Иоанна вселило панику в завоевателей, так что на какое-то время равнина на востоке была покрыта беглыми призывниками и растерянными грабителями. Этот инцидент доказал ухудшение состояния Великой армии со времен Ульма и Йены. Необстрелянные новобранцы, поднятые раньше времени и поспешно призванные в строй, нарушили его устойчивость, и солдаты отметили в качестве еще одного зловещего факта, что у австрийцев было взято мало невредимых пленных, всего девять орудий и одно знамя. Фактически, единственная укрепившаяся репутация была у

Макдональда, который за свои большие заслуги в центре удостоился уникальной чести получить маршальский батон от Наполеона на поле битвы.

Если бы эрцгерцог Карл был сделан из того же материала, что и Веллингтон, кампания, возможно, все еще продолжалась бы. Но мягкость и нерешительность были характерными чертами австрийских генералов в не меньшей степени, чем ее правителей.^[213] Армиями Габсбургов все еще руководили с прежней неторопливой *беззаботностью*; и их советы колебались взад и вперед под влиянием колеблющихся импульсов кажущейся дряхлой династии. Франциск обладал многими хорошими качествами: он был хорошим мужем и отцом, а его добрые манеры расположили к нему венцев даже в разгар поражения. Но он был капризен и близорук; все, что выходило за рамки наезженной колеи рутины, раздражало и тревожило его; и это высшее доказательство величия и мужества его министра-реформатора Стадиона, что к его нововведениям так долго относились терпимо. Теперь, когда бедствия сотрясали его трон, он начал подозревать реформатора; и Стадион признался публицисту Генцу, что невозможно рассчитывать на императора в течение четверти часа, если только не оставаться рядом с ним все двадцать четыре часа. — "После великого поражения он сразу же уйдет и спокойно препоручит нас Богу". — Вот что сейчас произошло. Очередная неудача при Цнайме настолько обескуражила эрцгерцога, что он подал в суд на перемирие (12 июля). Для этого было какое-то оправдание. Последние новости как из Испании, так и из Пруссии вселяли надежду на то, что, если бы было выиграно время, в обеих странах могли бы быть предприняты важные маневры.

Как мы видели, сэр Артур Уэлсли начал кампанию с блестящего успеха, а затем приготовился нанести удар в самое сердце французской мощи. Результатом стала памятная кампания при Талавере. Полагаясь на обещания помощи от испанской хунты и их разносторонне развитого командира Куэсты, он повел небольшой британский отряд вверх по долине Тежу, чтобы захватить Мадрид, в то время как главные силы французской армии были заняты в отдаленных провинциях. В каком-то смысле он достиг своей цели. Он вынудил врага ослабить контроль над этими провинциями и сконцентрироваться для спасения столицы. И прежде чем они полностью сосредоточились, он дал сражение королю Жозефу и маршалам Журдану и Виктору при Талавере (28 июля). Умело разместив испанцев за укреплениями и в садах, где их необстрелянные новобранцы могли сражаться с полным преимуществом, он протянул свои тонкие красные линии — у него было всего 17 000 британских солдат — вдоль хребта, простиравшегося до плато, которое господствовало над пересеченной местностью к северу от города. На этом холме Уэлсли нанес удар левым флангом, и все попытки Виктора повернуть это крыло или прорвать его атаками через промежуточный овраг были с кровью отбиты.

Яростная жара лишь разожгла французов и британцев в еще большей ярости. Наконец, стремительная атака нашего 23-го драгунского полка и неудержимое наступление 48-го пехотного полка опрокинули центр противника; и когда день пошел на убыль, 30 000 французов отступили, потеряв 17 орудий и 7000 человек убитыми, ранеными и пленными. Если бы другие испанские армии оказали поддержку, на которую рассчитывал Уэлсли, он, несомненно, захватил бы Мадрид. Он написал за три дня до Талаверы: "С битвой или без нее мы скоро будем в Мадриде". Но теперь его союзники полностью подвели его: они не удержали горные перевалы, с которыми столкнулся Сульт во время его марша из Саламанки в долину Тежу; и они оставили британские войска полуголодными. "Мы здесь в худшем положении, чем во враждебной стране, - писал наш командир. - Никогда еще армия не использовалась так плохо: мы не получали помощи от испанской армии: мы были вынуждены выгружать наши боеприпасы

и наши сокровища, чтобы использовать автомобили для перевозки наших больных и раненых". Тем временем Сульт с 50 000 человек легко прокладывал себе путь через горы и угрожал отрезать нас от Португалии, но быстрым отступлением Уэлсли спас свою армию, поклявшись, что никогда больше не будет доверять предложениям Испании о помощи. ^[214]

Гораздо более удручающими были новости, которые достигли австрийских переговорщиков из Северного моря. Там британскому правительству удалось затмить все свои прежние достижения в предупреждении врагов и внушении отвращения своим друзьям. В самом начале года люди с Даунинг-стрит знали, что Австрия готовится к битве с Наполеоном, и строили свои надежды на успех, частично на войне на полуострове, частично на британском происхождении в Ганновере, где все созрело для революции. К сожалению, формально мы все еще находились с ней в состоянии войны, а заключение мирного договора в Вене так долго откладывалось, что июль почти прошел, прежде чем австрийская ратификация достигла Лондона, и наша армада отплыла из Дувра. ^[215] Результат хорошо известен. Официальный фаворитизм передал командование 40 000 войсками графу Чатему, который потратил драгоценные дни на штурм стен Флашинга, в то время как он должен был нанести удар прямо по цели, на которую сейчас нацелен, - Антверпену. Таким образом, эта крепость была готова отразить его нападение; и в конце концов он отвел свою армию на остров Вальхерен, в чьи охваченные лихорадкой болота Наполеон отказался послать ни одного французского солдата. К концу года уцелели лишь жалкие остатки, и кульминация нашего национального позора была достигнута, когда военный трибунал оправдал командиров. Наполеон приказал бы их расстрелять.

Несмотря на то, что старые монархии были беспомощны в борьбе с Наполеоном, среди народов начала пульсировать дикая жажда мести. Это проявилось в примечательном покушении на его жизнь во время смотра в Шенбрунне. Хрупкий юноша по имени Штапс, сын тюрингского пастора, пробрался во дворец, вооруженный длинным ножом, намереваясь заколоть его, когда тот читал петицию (12 октября). Бертье и Рапп, заметив настойчивость юноши, приказали обыскать его и привести к Наполеону. "Что вы намеревались сделать с этим ножом?" - спросил император. "Убью тебя", - был ответ. "Ты идиот или иллюминат". "Я не идиот и не знаю, что такое иллюминат". "Тогда ты болен". "Нет, я вполне здоров". "Почему вы хотите убить меня?" "Потому что вы - проклятие моего Отечества". "Ты фанатик; я прошу тебя и сохраню тебе жизнь". "Я не хочу прощения". "Ты был бы мне благодарен, если бы я простил тебя?" "Я бы попытался убить тебя снова". Спокойная твердость, с которой Штапс дал эти ответы, а затем пошел навстречу своей гибели, произвела глубокое впечатление на Наполеона; и он стремился поторопиться с заключением мира с этими странными немцами, которых он мог победить, но не убедить.

Император Франциск теперь смирился со своей судьбой, но и слышать не хотел об отказе от оставшегося у него морского побережья в Истрии. По этому поводу Меттерних из всех сил старался подчинить волю Наполеона, но получил окончательный ответ: "Тогда война неизбежна". ^[216] Фактически, победитель знал, что Австрия была в его власти. Эрцгерцог Карл сложил свое командование, солдаты были подавлены, и большая часть империи оказалась в руках французов. Усилия Англии потерпели неудачу; и из всех изолированных патриотических движений в Германии только тирольские горцы все еще боролись. Таким образом, Наполеон мог диктовать свои собственные условия в Шенбруннском договоре (14 октября), который он объявил завершенным, когда Франциск еще не подписал его. ^[217] Таким образом, Австрия признала Иосифа королем Испании и уступила Зальцбург и Инн-вьертель Наполеону, которые были переданы им Баварии. Французской империи она уступила части австрийских Фриули и

Каринтии, помимо Карниолы, города и района Триест, а также части Хорватии и Далмации к югу от реки Саве. Ее награбленные на старых польских землях трофеи теперь пошли на расширение Варшавского герцогства, небольшая полоска австрийской Галиции также отошла к России. Помимо потери 3 500 000 подданных, Австрия получила компенсацию в размере 3 400 000 фунтов стерлингов и снова обязалась исключить все британские продукты. По секретному соглашению она согласилась ограничить свою армию 150 000 человек.

Пожалуй, самой тяжелой потерей стало то, что верных тирольцев бросили. После Асперна император Франциск пообещал, что он никогда не сложит оружия, пока они не будут вновь объединены с его Империей. Это обещание теперь пошло прахом многим светлым надеждам на реформы и первенство немецкой национальности, которые в последнее время лелеяли ее самые способные люди, и Империя погрузилась в оцепенение и банкротство. В немом гневе и отчаянии австрийские патриоты наблюдали, как тирольцы терпели поражение от французских, баварских и итальянских войск. В конце концов Хофер ушел в горы, был предан другом и увезен в Мантую. Некоторые из офицеров, которые там судили его, желали сохранить ему жизнь, но специальное послание Наполеона^[218] приказал казнить его, и храбрый горец пал со словами на устах: "Да здравствует император Франциск". Тем временем Тироль был разделен между Баварией, Иллирией и Королевством Италия; но пули и перегородки были бессильны против стойкого патриотизма ее народа, и Тирольская кампания не предвещала ничего хорошего для Наполеона, если монархи, генералы и государственные деятели когда-либо будут вдохновляться твердой верой и мужеством этого благородного крестьянства.

Однако пока что благоразумие и робость царили безраздельно. Хотя царь произнес несколько резких слов по поводу угрожающего увеличения территории Варшавского герцогства, он по-прежнему выдавал себя за союзника Наполеона. Шведы, устав от своих безнадежных распри с Францией, Россией и Данией, свергли все еще воинственного Густава IV; и его преемник, Карл XIII, заключил мир с этими державами, сохранив шведскую Померанию, но только ценой подчинения Континентальной системе. Официальным глазам Пруссия казалась совершенно запуганной. Габсбурги, потерпев неудачу в своем смелом отстаивании дела реформ и немецкой национальности, теперь вернулись к политике, отмеченной робким оппортунизмом и благопристойно скучной рутинной.

Перемены ознаменовались уходом Стадиона на пенсию, человека, чей предприимчивый характер, равно как и его энтузиазм в отношении реформ, плохо подходили ему для наступившего времени компромиссов и раболепия. Именно он побуждал Австрию двигаться вперед по пути прогресса и искал безопасности в народе: он был королем Австрии. Но теперь, накануне заключения мира, он горячо умолял разрешить ему уйти в отставку с поста министра иностранных дел; и император Франциск вслед за этим призвал на эту, казалось бы, неблагодарную должность молодого дипломата, которому суждено было сыграть главную роль в грандиозной драме свержения Наполеона, а впоследствии благодаря своей проницательной политике приобрести почти такое же влияние в Центральной и Южной Европе, как самому автократу.

Меттерних родился в Кобленце в 1773 году и, следовательно, был на четыре года младше Наполеона. Он происходил из старинного рейнского рода, и положение его отца на службе старой империи обеспечило ему раннее вхождение в дипломатический круг. После исполнения обязанностей секретаря имперских делегатов на конгрессе в Раштатте он последовательно

занимал пост австрийского посла при дворах Дрездена и Берлина; а в 1806 году его внезапно вызвали принять посольство в Париже. Там он проявил очарование придворного такта и живой и красноречивой беседы, которые завоевали восхищение и уважение Наполеона. На него смотрели как на галлофила; и, подобно Бисмарку во время более позднего кризиса, он использовал свои социальные способности и умение уговаривать, чтобы получить правильную оценку характеров своих будущих противников.

Однако, помимо этих способностей к утонченности и интриганству — а Велиал Мильтонов никогда не лгал с таким обаятельным изяществом — Меттерних временами проявлял мужественное самообладание и твердость, даже когда Наполеон обрушивал на него шквал дипломатических вопросов и насмешек. Он доказал это незадолго до начала последней войны, и его поведение заслужило благодарность других послов за то, что они преподали французскому императору урок хороших манер, в то время как самодержец любил его не меньше, а, скорее, даже больше за то, что он противостоял ему. Но теперь, после войны, все изменилось; хитрость оказалась более полезной, чем сила духа; и веселый рейнландец привнес в утомительную задачу подчинения завоевателю придворную *беззаботность*, под прикрытием которой он лелеял надежду на окончательную месть. "Со дня подписания мира, - писал он императору Франциску 10 августа 1809 года, - мы должны ограничить нашу систему лавированием, изворачиванием и лестью. Только так мы сможем сохранить свое существование до дня всеобщего освобождения". ^[219] Таков должен был быть общий курс австрийской политики на следующие четыре года; и можно допустить, что только склонившись перед ударом, эта израненная монархия могла быть спасена от разрушения. Вскоре появилась возможность ввести новую систему в действие. Меттерних предложил завоевателю в невесты австрийскую эрцгерцогиню.

После унижения Габсбургов и испанских патриотов казалось, что для триумфа Наполеона не хватало ничего, кроме наследника, который должен был основать прочную династию. Теперь эта цель должна была быть достигнута. Как только император вернулся в Париж, его поведение по отношению к Жозефине стало заметно сдержанным. Проход, соединявший их личные апартаменты, был закрыт, и проблески торжествующей ревности, вспыхнувшие в глазах ее невесток, предупредили Джозефину о приближающейся гибели. Развод, о котором так долго трубили газетчики, был близок. Император сообщил новость своей супруге в частной гостиной Тюильри 30 ноября и постарался смягчить суровость своего решения, основав его на настоятельных потребностях государства. Но она отвергла требования руководства государством. При всех своих недостатках она была любящей и нежной; сначала она была женщиной, а потом императрицей; теперь она цеплялась за Наполеона не только из-за великолепия судьбы, которую он ей открыл, но и из искренней любви.

Их отношения странным образом изменились. Поначалу она пренебрегала его безумной преданностью своей поверхностной холодностью и случайными изменами, пока его страсть, подобная лаве, не иссякла. С тех пор она должна была добиваться, и добиваться напрасно. В течение многих лет ей приходилось оплакивать ослабление его привязанности и многочисленные супружеские грехи. И теперь пропасть, которую, как она думала, преодолела религиозная церемония накануне коронации, зияла у ее ног. Женщина и Императрица в ней отшатнулись от черной пустоты будущего; и с жалобными упреками она отвергла приказы императора и утешения мужа. Наполеон, по-видимому, был готов к такой вспышке. Напрасно Жозефина бросалась к его ногам с душераздирающими криками о том, что она никогда не

переживает этого позора: не сумев успокоить ее самому, он открыл дверь, вызвал префекта дворца Боссе и приказал ему отнести ее в ее личные апартаменты. Ее несли вниз по узкой лестнице, император поддерживал ее за ноги, а Боссе поддерживал за плечи, пока, почти теряя сознание, она не была предоставлена сочувствию своих женщин и вниманию Корвизара. Но ее рана была раной, которую не могли вылечить ни сочувствие, ни умение. ^[220]

Со своей стороны, Наполеон почувствовал удар. Не только призрак его ранней любви, но и его неприязнь к новым партнерам и новому образу жизни протестовали против перемен. "Расставаясь со своей женой, - однажды сказал Наполеон Талейрану, - я отрекаюсь от многого. Мне следовало бы изучить вкусы и привычки молодой женщины. Джозефина приспосабливается ко всему: она прекрасно меня понимает". ^[221] Но его безграничные триумфы, его союз с царем и полное свержение бурбонов и папы римского раздули пламя его честолюбия. Он стремился дать *mot d'ordre* вселенной; и он не постеснялся отвергнуть супругу, которая не могла помочь ему основать династию. И все же не обошлось без уколов печали и раскаяния. Его затрудненное, прерывистое дыхание и почти задыхающиеся слова произвели на Боссе впечатление, что он был искренне взволнован; и, каким бы непревзойденным актером он ни был, мы вполне можем поверить, что он почувствовал расставание со своими ранними ассоциациями. Под своей обычно холодной внешностью он скрывал нервную натуру, в которой доминировала негибкая воля, но которая время от времени прорывалась сквозь всякую сдержанность, окутывая любимый объект внезапной нежностью или поражая врага пламенной страстью. И, похоже, страдания Джозефины имели силу вновь пробудить чувства его более великодушной юности. Церемония развода состоялась 15 декабря, Жозефина с мучительной гордостью заявила, что дала свое согласие ради благополучия Франции.

Уже начались переговоры о новом браке. Они уникальны даже среди ледяных анналов королевских помолвок. Французскому послу Коленкуру было поручено добиться в Санкт-Петербурге руки младшей сестры царя; условия можно было легко согласовать; религия не представляла никаких трудностей; но время поджимало; императору нужен был наследник; "мы считаем минуты", - гласила депеша; и ответ ожидался из Санкт-Петербурга через *два дня*. ^[222] Запрос вызвал у Александра наибольшее недоумение. Он парировал это ответом, достаточно корректным по форме, как и по факту, о том, что решение о его сестре остается за вдовствующей императрицей. Но ее враждебность к Наполеону была хорошо известна. После полуутверждения в Эрфурте она сразу же обручила свою старшую дочь с герцогом Ольденбургским. Теперь подобное спасение было невозможно для младшей дочери: но после того, как просьба Наполеона осталась без ответа до 4 февраля, был отправлен ответ, что нежный возраст принцессы, ей всего двадцать лет, является непреодолимым препятствием.

Такого ответа в Париже давно ожидали. Меттерних утверждает в своих "Мемуарах", что Наполеон поручил Лаборду, одному из своих дипломатических агентов в Вене, предварительно разузнать у придворных о его помолвке с эрцгерцогиней Марией Луизой. Но французские архивы показывают, что первый намек исходил от Меттерниха, который увидел в этом средство ослабления франко-русского союза и спасения Австрии от дальнейших бедствий. ^[223] Немного позже графиня Меттерних была в Париже; и велико было ее удивление, когда 2 января 1810 года Жозефина сообщила ей, что она выступает за брак между Наполеоном и Марией Луизой. "Я говорила с ним об этом вчера, - сказала она. - его выбор еще не определен, но он думает, что это был бы его выбор, если бы он был уверен, что его примут". После этого графиня удостоилась

самого лестного внимания при дворе, что стало доказательством того, что брак с Габсбургами теперь в почете, хотя о застенчивости царя еще никто не знал.

В конце января в Тюильри состоялся Тайный совет, на котором выбирали невесту императора. Голоса были почти равны: четверо проголосовали за Австрию, четверо - за Саксонию и трое - за Россию. Спокойно выслушав аргументы, Наполеон подвел итог дискуссии, твердо и горячо высказавшись в пользу Австрии. Таким образом, брачный контракт был составлен 7 февраля, и Бертье был отправлен в Вену требовать руки Марии Луизы. Он вошел в этот город по развалинам старых крепостных валов, которые теперь демонтировались в соответствии с требованиями Франции.

Бракосочетание состоялось в Вене по доверенности; невесту проводили в Париж; а заключительная церемония состоялась в Соборе Парижской Богоматери 2 апреля, но только после того, как союз был заключен. Таковы были второе ухаживание и свадьба Наполеона. Тем не менее он показал себя внимательным и даже снисходительным супругом и заметил на острове Святой Елены, что если Жозефина была воплощением грации и очарования, то Мария Луиза была самой невинностью и природой.

Австрийский брак был событием первостепенной важности. Это дало несколько лет передышки отчаявшимся Габсбургам и дало запоздалое удовлетворение государственному плану Талейрана о франко-австрийском союзе, который должен был быть в лучшем смысле консервативным. Если бы Наполеон предпринял этот шаг после Аустерлица так, как советовал его советник, возможно, Европа достигла бы состояния устойчивого равновесия, при условии, что он отказался бы от своего любимого плана раздела Турции. Но этому не суждено было сбыться; и когда Австрия в конце концов возложила Марию Луизу в образе неказистой Ифигении на алтарь бракосочетания, она сделала это лишь как отчаянный способ умиловить неумолимую судьбу. И, как ни странно, ей это удалось. Ибо Александр был оскорблен переговорами о браке; и таким образом во франко-русском союзе образовалась брешь, которая в результате других событий быстро расширялась, пока Западная и Центральная Европа не бросились на Восток и не достигли Москвы.

ГЛАВА XXXI

Звезда Наполеона теперь поднялась в зенит. После его женитьбы на дочери древнейшей из континентальных династий казалось, что в его великолепии нет недостатка ни в чем. Он в равной степени унизил папу и императора: Германия припала к его ногам; Франция, Италия и Рейнская Конфедерация с благодарностью признали преимущества его энергичного влияния; царь все еще следовал примеру, данному в Эрфурте; Швеция уступила давлению двух императоров; и Турция выжила только потому, что Наполеону пока не хотелось разделять ее на части: сначала он должен завершить коммерческое разорение Англии и сбросить Веллингтона в море. Тогда события, наконец, созрели бы для осуществления восточных планов, которые отложило Испанское восстание.

Он вполне мог надеяться, что силы Англии на исходе: ближе к концу 1810 года три процента акции consols упали до шестидесяти пяти, а число объявленных банкротств составляло в среднем 250 в месяц. Провал Вальхеренской экспедиции привел к ужасным потерям людей и сокровищ и омрачил репутацию ее лидеров. После взаимных обвинений Каннинг и Каслри подали в отставку и подрались на дуэли. Вскоре после этого премьер-министр, герцог Портлендский, заболел и подал в отставку: его место занял мистер Персивал, человек, единственной рекомендацией которого для этого поста были его добросовестный трудолюбие и способность к унылой работе. Управляемая разношерстным министерством и королем, разум которого теперь был безнадежно затуманен, ослабленная удушающей хваткой Континентальной системы, Англия, казалось, была на грани разорения; и, ободренный в равной степени фракционным поведением нашей парламентской оппозиции и недавним завоеванием Сультом Андалусии, Наполеон решился на последнюю схватку, расширив свою береговую систему и послав Массену и его отборные войска в Испанию, чтобы загнать леопардов в море.

Ограниченность нашего места не позволяет описать последующую кампанию Торриша Ведраша; и мы должны отсылать наших читателей к обширному полотну Нейпира, если они хотят осознать прозорливость Веллингтона, построившего к северу от Лиссабона этот могучий мост для Морской мощи против армии ветеранов Массены. Нанеся сокрушительный удар при Бусако по этому самонадеянному маршалу, наш великий вождь отступил по тракту, который он очистил от припасов, к этому надежному бастиону и оттуда наблюдал, как французское войско численностью около 65 000 человек угасает среди страданий от голода, осенних дождей и болезней. Наконец, в ноябре Массена отошел на позиции близ Сантарена, где он ожидал помощи, которую Наполеон приказал привести Сульту. Все было напрасно: Сульт, воодушевленный своими триумфами в Андалусии, был полон решимости вести свою собственную игру и захватить Бадахос; он выиграл свое очко, но испортил кампанию; и, наконец, сорванный искусной тактикой Веллингтона, Массена начал отступление на север из Португалии, потеряв около 35 000 человек (март 1811 г.). Успех Веллингтона принес неизмеримый урожай результатов. Недостойное мужчины нытье английской оппозиции утихло; ответы царя на требования Наполеона стали более жесткими; и патриоты полуострова оказали сопротивление, столь упорное, хотя и неумелое, что 370 000 французских солдат совершенно не смогли сдержать Веллингтона и подавить национальную оборону летом 1811 года.

По правде говоря, Наполеон разозлил испанцев не меньше, чем их *соратник* король, серией провокаций, продолжавшихся в течение 1810 года. Ссылаясь на то, что Испания сама должна покрыть расходы на войну, он передал четыре северные провинции под командование французских генералов, которые были независимы от власти его брата и взимали все налоги на этой обширной территории (февраль). 29 мая он вывел Бургос и Вальядолид из-под контроля

Джозефа и разделил большую часть Испании в военных и административных целях на районы, которые были французскими сатрапиями во всем, кроме названия. Указ был вдвойне пагубным: он дал волю распрям французских вождей, и испанцам показалось, что он предвещает скорый раздел Испании. Предположение было верным. Наполеон намеревался присоединить к Франции земли между Пиренеями и Эбро. Действительно, по его мнению, завоевание Португалии было желательным главным образом потому, что это обеспечило бы его брату компенсацию на западе за потерю его северных провинций. Протесты Жозефа против такого раздела земель, которые Наполеон поклялся сохранить в неприкосновенности в Байонне, были проигнорированы; но письма на эту тему попали в руки испанских партизан и были опубликованы по приказу регентства в Кадисе. Презируемый испанцами, попираемый Наполеоном, брошенный вызов французским сатрапам, и доведенный чуть ли не до банкротства, марионеточный король почувствовал, что его положение невыносимо, и, поспешив в Париж, подал прошение об отставке от короны (май 1811 г.). Стремясь замять скандал, Наполеон успокоил своего брата, пообещав ему четвертую часть налогов, взимаемых французским командованием, и уговорил или вынудил его вернуться к своей неблагодарной работе в Мадриде. Но твердость решимости императора можно измерить тем фактом, что, даже находясь на грани войны с Россией, он бросил вызов национальным чувствам Испании, присоединив Каталонию к Франции (март 1812 г.).

Кажется странным, что Наполеон сам не отправился в Испанию, чтобы лично руководить операциями и, таким образом, не ослабить зависть маршалов, которая так мешала его армиям. Веллингтон, безусловно, опасался его прихода. Позже он сказал эрлу Стэнхоупу, что Наполеон значительно превосходил любого из своих маршалов: "Никто не мог сравниться с ним. Он так точно подходил французской армии.... Его присутствие на поле боя изменило ситуацию на 40 000 человек". ^[224] Эта оценка, безусловно, скромна, если рассматривать не только тактику, но и стратегию всей войны на полуострове. Но император больше не приезжал в Испанию. В начале 1810 года он готовился это сделать, но, как только был устроен брак с австрийкой, отказался от этого спасительного проекта.

С тех пор у него было несколько причин оставаться в Париже или поблизости от него. Его внимание к молодой жене и желание приумножить блеск Двора имели большое значение. Но еще важнее было обуздать клерикалов (теперь разгневанных тюремным заключением папы римского) и пристально следить за интригами роялистов и других недовольных. Общественное мнение также все еще нуждалось в просвещении; постоянная утечка людей на войны и рост цен на предметы первой необходимости привели к недовольству в прессе, которая утверждала о наличии у него глаза Аргуса и введении очень строгой цензуры. ^[225] Но, прежде всего, была торговая война с Англией. Лучше всего это можно было направить из Парижа, где он мог быстро услышать о попытках Великобритании переправить товары в Германию, Голландию или Италию и о любых изменениях в нашем морском кодексе.

Какой бы важной ни была война в Испании, это была лишь одна фаза его всемирной борьбы с владычицей морей; и он рассудил, что если она истечет кровью при его Континентальной системе, война на полуострове должна превратиться в партизанскую борьбу, а Испания после этого будет фигурировать просто как великая Вандея. Соответственно, 1810 год приходится на кульминацию его великого коммерческого эксперимента.

Первой землей, принесенной в жертву этому предприятию, была Голландия. В течение многих месяцев император был недоволен своим братом Людовиком, который вбил себе в голову странную мысль, что он правит там по божественному праву. Как патетически сказал Наполеон на острове Святой Елены, разбирая поведение своих братьев: "Если я делал кого-то королем, он воображал, что стал *королем по милости Божьей*. Он больше не был моим помощником: я должен был следить за ним еще на одного врага". Странная судьба у этого создателя королей, что о нем забыли и помнили только о святом масле! И все же Луи, вероятно, использовал это средневековое представление как щит против диктата своего брата. Жесткая натура Бонапарта не допускала мысли о простом лейтенантстве. Он отказался подчиняться приказам брата, которого втайне ненавидел. Он наотрез отказался переводиться из Гааги в Мадрид или вводить в действие обременительные декреты Континентальной системы.

Со своей стороны, Наполеон упрекнул его в том, что он управляет слишком мягко и стремится к популярности там, где ему следовало бы стремиться к контролю. После экспедиции Вальхерена он строго отчитал его за то, что тот позволил английскому флоту когда-либо показаться в Шельде; ибо "флоты этой Державы" не должны были находить ничего, кроме железных камней" в этой реке, "которая была так же важна для Франции, как Темза для Англии". ^[226] Но главной его обидой было то, что британские товары все еще попадали в Голландию. Напрасно император запрещал, чтобы американские корабли, заходившие в английские порты, не допускались к голландским. Напрасно он угрожал закрыть Шельду и Рейн для голландских барж. Людовик продолжал свой путь, проявляя доброжелательное терпение по отношению к своим торговцам и бонапартистское упрямство, не поддающееся братским советам или угрозам. Наконец, в начале 1810 года Наполеон направил войска для оккупации Вальхерена и соседних голландских земель. Какое-то время казалось, что это всего лишь уловка, чтобы выманить у Англии выгодные условия мира в обмен на предложение Франции не аннексировать Голландию. Переговоры на этот счет были начаты при посредничестве Уврара и Лабушера, зятя банкира Бэринга: Фуше также, без ведома своего хозяина, рискнул дипломатически прощупать возможный англо-французский союз против Соединенных Штатов, за что вскоре был должным образом опозорен. ^[227]

Переговоры провалились, как они того и заслуживали. Наши возражения были направлены не только против абсурдного предложения о том, что мы должны отказаться от нашего морского кодекса, если Наполеон воздержится от аннексии Голландии и ганзейских городов, но еще больше против самого этого человека и всей его политики. У нас были все основания не доверять добросовестности человека, который предал турок при Тильзите, португалию при Фонтенбло и испанцев при Байонне. Приостановить борьбу, ослабить контроль над нашими новыми колониями и покинуть испанцев, чтобы сохранить чисто номинальную независимость Голландии и ганзейских городов, было бы актом необычайной простоты. Да и Наполеон, похоже, не ожидал этого. 20 марта 1810 года он писал своему министру иностранных дел Шампаньи: "Из-за того, что Англия не заключила мир раньше, она потеряла Неаполь, Испанию, Португалию и рынок Триеста. Если она промедлит еще немного, то потеряет Голландию, Ганзейские города и Сицилию. И, несомненно, его сивиллиное поведение требовало, чтобы он аннексировал эти земли и всю Европу, чтобы потребовать соответствующую цену с измученных островитян. Таково было следствие Континентальной системы.

Тем временем Луи, раздраженный инквизицией французских *дуаньеи* приказом своего брата захватить все американские корабли в голландских портах, навлекал на себя новые упреки и

угрозы: "Луи, ты неисправим ... вы не хотите править сколь угодно долго. Государствами управляют разум и политика, а не язвительность и слабость". Двадцатитысячное французское войско приближалось к Амстердаму, чтобы образумить его, когда молодой правитель решил избавиться от этого королевского ряженого. В ночь на 1 июля он бежал из Харлема и быстро и тайно продвигался на восток, пока не достиг Теплица в Богемии. Позор этого бегства пал на брата, который превратил королевскую власть в посмешище. Беженец оставил после себя репутацию человека, который, милый по натуре, но испорченный семейными неурядицами, стремился оградить своих подданных от разорения, в которое их неминуемо ввергло бы жесткое применение Континентальной системы. Такая судьба теперь постигла несчастную маленькую страну. 9 июля она была присоединена к Французской империи, и все торговые указы в Роттердаме выполнялись так же неукоснительно, как и в Гавре.

В конце года береговая система Наполеона была расширена до границ Гольштейна путем аннексии Ольденбурга, северных частей Берга, Вестфалии и Ганновера, а также Лауэнбурга и ганзейских городов Бремен, Гамбург и Любек. Маленькая Швейцарская республика Вале также была поглощена империей.

Эта перемена в Северной Германии, которая перенесла французский флаг на берега Балтийского моря, была его последним средством обеспечить торговое разорение Англии. Еще в феврале 1798 года он рекомендовал распространить французское влияние на ганзейские города как средство склонить своего самого грозного врага к капитуляции, и теперь для этой аннексии были две особые причины. Во-первых, корабли Ольденбурга в основном использовались для транспортировки британской продукции в Северную Германию; ^[228] а во-вторых, французский торговый кодекс был настолько строгим, что никаким чиновникам, обладающим хотя бы видимостью независимости, нельзя было доверить его исполнение. 5 августа в Трианоне, недалеко от Версаля, был обнародован декрет, который налагал огромные пошлины на все важные колониальные товары. Хлопок— особенно из Америки, сахар, чай, кофе, какао и другие товары облагались пошлинами, как правило, в размере половины их стоимости и независимо от места их производства.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ПОСЛЕ 1810 ГОДА

Торговцам было приказано заявить о своем владении всеми колониальными товарами и уплатить пошлину под страхом конфискации. Склады таких товаров на расстоянии четырех дней пути от границ империи считались тайными; и в Германию, Швейцарию и Испанию были немедленно посланы войска для захвата таких складов, что вызвало почти открытое сопротивление жителей Штутгарта, Франкфурта и Берна. Трудно понять причину этого указа, за исключением предположения, что Континентальная система не остановила британский импорт и что все тропические продукты были британскими.

Собственная переписка Наполеона показывает, что он верил в это. В то же время он издал приказ о конфискации всех колониальных товаров, найденных в Штеттине, поскольку это, очевидно, была английская собственность, доставленная на американских кораблях. Далее он порекомендовал Мюрату и Эжену изо всех сил настаивать на таких товарах, чтобы пополнить свою казну и собрать средства для восстановления торговли. Эжен должен, однако, соблюдать

осторожность, облагая американским и колониальным хлопком самые высокие налоги, в то же время допуская хлопок из Леванта на льготных условиях.

Жерому также было поручено строго соблюдать трианонский тариф в Вестфалии; и Пруссии и Рейнской Конфедерации должен был быть передан намек на то, что, облагая колониальные товары такими огромными налогами, эти государства получают несколько миллионов франков, "и потери частично лягут на английскую торговлю, а частично на контрабандистов". ^[229] Фактически, все его действия и слова в это время демонстрируют полнейшее невежество не только в политической экономии, но и в элементарных фактах торговли, например, когда он воображал, что чиновники, которые достаточно усердно следили за проворной группой из примерно 100 000 контрабандистов вдоль огромной границы, также смогут отличить сирийский хлопок от американского и потребовать 800 франков со 100 тысяч контрабандистов. килограммы последнего по сравнению с 400 франками первого, или что за китайский чай когда-либо можно было бы взимать в шесть раз больше, чем за другие чаи! Такой тариф требовал наличия хорошо обученной армии из этих достаточно редких личностей, честных *дуанье*, наделенных также наполеоновской активностью и всеведением. Но, как заметил Шапталь, император никогда особо не задумывался о нуждах торговли и презирал купцов как людей, у которых "не было ни веры, ни страны, единственной целью которых была выгода". Его собственное представление о торговле заключалось в том, что он мог "заставить ее маневрировать, как полк"; и эта военная концепция торговли побудила его тешить себя надеждой, что казначейство выиграет от конфискации и запретительных тарифов, что "национальную торговлю" можно быстро наладить, перекрыв импорт, и что бремя потерь в нынешней торговой войне ляжет на Англию, а не на континентального потребителя.

Таково было наказание, которое великий человек заплатил за презрение ко всем новым знаниям как к *идеологии*. Принципы, изложенные Кенэ, Тюрго и Адамом Смитом, были для него всего лишь софистическим жонглированием. Однажды он сказал Моллиену: "Я ищу практическое благо, а не идеальное: мир очень стар: мы должны извлекать пользу из его опыта: он учит, что старые практики стоят больше, чем новые теории: вы не единственный, кто знает коммерческие секреты". ^[230] Таково было его общее отношение к приверженцам новых финансовых или коммерческих взглядов. Действительно, мы едва ли можем представить, чтобы этот великий поборник внешнего контроля и государственного вмешательства отдавал предпочтение открытым методам *laissez faire*. Несчастливая Франция, которая дала миру этот девиз, но позволила своему величайшему правителю подчеркнуть свою недавнюю реакцию на коммерческий средневековье! Незадачливый император, который стремился основать Соединенные Штаты Европы, но нарушил принцип, который наиболее верно и надолго работает для международной гармонии, - принцип Свободной торговли!

В то время как Трианонский тариф был направлен на то, чтобы воспрепятствовать импорту английских колониальных товаров или, в противном случае, собрать с них золотой урожай, Наполеон также пытался запугать континентальных дилеров, чтобы они не принимали какие-либо товары ее производства. Его указ в Фонтенбло от 18 октября 1810 года предписывал конфисковывать все подобные товары и публично сжигать; и пять недель спустя были учреждены специальные трибуналы для обеспечения соблюдения этих указов и привлечения к суду всех лиц, будь то контрабандисты, пойманные с поличным, или владельцы магазинов, которые по неосторожности выставили на продажу хлопок из Ланкашира или шелка из Бенгалии.

Теперь канон был завершен. Оставалось только обратить мир к новому евангелию войны на Тихом океане. Результаты вскоре стали отчетливо видны во внезапном росте цен по всей Франции, Германии и Италии. Хлопок-сырец теперь стоил от 10 до 11 франков, сахар от 6 до 7 франков, кофе от 8 франков и индиго от 21 франка за фунт, что в среднем примерно в десять раз превышало цены, существовавшие тогда в Лондоне.^[231] Причина такого преимущества для английского потребителя и производителя очевидна. Англия господствовала в тропиках и владела морями; и, обладая монополией на колониальные продукты, она могла импортировать их легко и в изобилии, в то время как континентальный покупатель должен был в конечном счете оплачивать риски, понесенные его лавочником, британскими купцами и их контрабандистами, которые "прибывали" с Гельгоlanda, Джерси или Сицилии. Эти классы соперничали в своих усилиях пробить брешь в континентальных декретах. Торговцы и женщины, собаки и катафалки были призваны на службу против Наполеона. Последнее устройство какое-то время с большим успехом испытывалось близ Гамбурга, пока французские власти, удивленные странным увеличением числа похорон в пригороде на берегу реки, не заглянули в катафалки и не обнаружили, что они под завязку набиты тюками с британскими товарами. Этот ужасный план провалился, были опробованы другие. Большое количество песка привозили с морского побережья, пока, к несчастью для домохозяек, какой-то любознательный чиновник не обнаружил, что он родом из Вест-Индии.

Или, опять же, прибегали к окольным путям. Сахар контрабандой доставлялся из Лондона в Германию через Салоники, которые в настоящее время являются едва ли не единственным нейтральным портом, открытым для британской торговли. Оттуда его в корзинах на спинах мулов перевезли через Балканы в Белград, где погрузили на баржи и повезли вверх по Дунаю. Другой незаконный торговый путь пролегал от пустынных берегов Далмации через Венгрию. Автор брошюры "Англия, Ирландия и Америка" утверждает, что его фирма тогда нанимала 500 лошадей на том побережье и вблизи него для перевозки британских товаров в Центральную Европу и что стоимость доставки их во Францию составляла "около 28 фунтов стерлингов за тонну, или более чем в пятьдесят раз превышала нынешние перевозки в Калькутту". Фактически, результат экономических экспериментов императора можно резюмировать в заявлении Шаптяля о том, что общий рост цен во Франции был на треть выше, чем до 1789 года.

Теперь самый простой новичок может увидеть, что разницу в цене выше обычного уровня оплатил потребитель. Колониальный производитель, британский торговец и грузоотправитель, безусловно, подвергались преследованиям, и торговля была нарушена; но, как заметил Моллиен, торговля вскоре приспособилась к изменившимся условиям; и торговцы никогда не расставались со своими товарами, не получив звонкой монеты или не прибегнув к примитивному методу бартера. Деньги также часто переплавлялись во Франции и Германии для заключения сделок с Англией в металлических слитках. И вот, так или иначе, торговля продолжалась, правда, с бесконечными неудобствами и трениями; но она никогда полностью не прекращалась даже между Англией и Францией напрямую.

Фактически, Наполеон настолько цеплялся за старое меркантилистское увлечение стимулированием экспорта, чтобы он мог значительно превышать импорт, что одобрял отправку сельскохозяйственной продукции в Англию при условии, что такие грузы включали промышленные товары. Он предоставил эту привилегию не только своей империи, но и Королевству Италия.^[232] Трудность заключалась в том, что Англия не хотела получать промышленные товары своих врагов; и, поскольку кукуруза и сыр не могли быть

экспортированы в Англию, если с ними не отправлялась определенная доля шелка и тканей, последние были обработаны так, чтобы удовлетворить французских таможенников, а затем выброшены в море. Излишне добавлять, что этот экспорт мануфактур в Англию, которым гордился Наполеон, ограничивался эффектными, но ничего не стоящими изделиями, которые производились исключительно *ad usum delphinorum*.

Нам повезло, что Наполеон придерживался этих грубых идей политической экономии, ибо его действия открыли нам лазейку для выхода из очень серьезного затруднения. В то время наше быстро растущее население едва прокармливалось нашей собственной пшеницей даже после хороших сезонов; и Провидение поразило нас в 1809 и 1810 годах очень плохими урожаями. В 1810 году средняя цена составляла 103 шиллинга за квартал, что было самым высоким показателем за всю историю, за исключением 1800 и 1801 годов; и поскольку Континентальная система подорвала торговлю, а ручной труд был в значительной степени заменен новыми механическими ткацкими станками и усовершенствованным прядильным оборудованием, перспективы были бы безнадежными, если бы наш великий враг не позволил нам импортировать кукурузу с континента. Этот прием, который, по его мнению, разорил бы нас, чтобы обогатить его собственные Штаты, был величайшей помощью, которую он мог оказать нашей испытывающей трудности социальной системе; и читатели реалистичных зарисовок Шарлотты Бронте о беспорядках луддитов в Йоркшире, могут представить, что постигло бы Англию, если бы, помимо отсутствия работы и низкой заработной платы, к ужасам хлебного голода добавились еще и другие. Но, к счастью, любопытные коммерческие планы, вынашиваемые нашим врагом, позволили нам зимой 1810-11 годов получать запасы зерна не только из Пруссии и Польши, но даже из Италии и Франции.

В каком-то смысле этот инцидент был неправильно понят. На это ссылался Портер ^[233] и другие обнадеживающие лица как на положительное доказательство того, что пока мы можем покупать кукурузу, мы будем получать ее даже от наших врагов. Это ничего подобного не доказывает. Переписка Наполеона и вся его политика в отношении лицензий, которую мы сейчас рассмотрим, ясно показывают, что он верил, что принесет огромную пользу своим собственным штатам и разорит наш народ, продав нам большие запасы зерна по очень высокой цене. Ни в одном из его писем нет и намек на то, что он когда-либо высказывал мысль о том, чтобы *заморить* нас голодом, чтобы мы сдались. Все, на что он рассчитывал, - это истощение нашего богатства путем прекращения нашего экспорта и разрешения импорту заходить в наши гавани почти как обычно. Пока он препятствовал нам продавать нашу продукцию, он мало обращал внимания на то, сколько мы покупали у его Штатов: фактически, чем больше мы покупали, тем скорее становились банкротами — таково было его мнение.

Странно, что он никогда не пытался перекрыть наши поставки зерна. В то время оно почти полностью поступало из балтийских портов. Соединенные Штаты и Канада пока прислали нам всего несколько зерен кукурузы. Ла-Плата и мыс Доброй Надежды были совершенно неосвоенными, а наши поселения в Новом Южном Уэльсе в то время часто страдали от нехватки продовольствия. План оцепления кукурузных полей Европы от Риги до Триеста был бы осуществим, по крайней мере, на несколько недель; французские войска удерживали Данциг и Штеттин; Россия, Пруссия и Дания были в его полном распоряжении; и императорский указ, запрещающий экспорт кукурузы из Франции и союзных ей государств в Соединенное Королевство, вряд ли мог не привести нас к голодной смерти и капитуляции в самую критическую зиму 1810-11 годов. Но этот странный ментальный дефект - цепляние со все

возрастающим упорством за предвзятые представления - побудил Наполеона разрешить и даже одобрить экспорт зерна в США во время нашей крайней нужды; и Британия выдержала это испытание. ^[234]

Однако какая глупость ссылаться на действия этого человека, придерживающегося одной экономической идеи, как на то, что они, вероятно, определяют поведение континентальных государственных деятелей в какой-нибудь будущей морской войне с Англией. По правде говоря, актуальность проблемы обеспечения нашей страны продовольствием во время большой войны может быть полностью понята только теми, кто изучал эпоху Наполеона. Англия тогда выращивала почти достаточно кукурузы для своих нужд; ее флоты бороздили моря; а экономическое увлечение Наполеона позволило ей беспрепятственно поставлять продовольствие за границу во время жесточайшего кризиса. И все же, несмотря на это, цена четверти буханки хлеба выросла более чем до пятнадцати пенсов, и мы оказались на грани гражданской войны. Сравнение того времени с нынешними условиями должно дать пищу для размышлений всем, кроме закоренелых оптимистов.

Но уже тогда Наполеон был убежден, что Континентальная система должна быть тайно смягчена в особых случаях. Несмотря на пространные обращения, разосланные некоторыми торговыми палатами, он знал, что его морские порты находятся в тяжелом положении и что французские производители хлопка не могут надеяться конкурировать с производителями из Ланкашира теперь, когда его собственный тариф удвоил цены на хлопок-сырец и красители во Франции. Поэтому он придумал любопытный прием, позволив континентальным торговцам покупать лицензии за привилегию тайно обходить его собственные указы. Английское правительство, по-видимому, было первым, кто выдал подобные тайные разрешения; но едва Наполеон подписал свой берлинский декрет о блокаде Англии, как он уже потворствовал ее нарушению. Когда сахара, кофе и других удобств стало не хватать, их тайно ввозили из вероломного Альбиона для императорского стола. Финальная стадия была достигнута в июле 1810 года, когда лицензии на ввоз запрещенных товаров были тайно проданы привилегированным торговцам, и многие чиновники, в том числе Буррьен, пожали богатый урожай с продажи этих императорских индульгенций. Торговцы так стремились обойти ненавистные законы, что предлагали высокие цены казначейству и *душителям* чиновникам за желанное благо; и, как говорят, за одну лицензию было заплачено до 40 000 фунтов стерлингов.

По обе стороны Ла-Манша этот прием вызывал отвращение, но его результаты были особенно отвратительны в государствах Наполеона, где бремя, которого следовало избегать, было намного тяжелее, чем то, которое влекли за собой Приказы Совета. Фактически, Континентальная система теперь рассматривалась как организованное лицемерие, которое, чтобы разорить владычицу морей, взваливало на народы бремя более тяжкое, чем то, которое несла Англия, и оставляло всех, кроме самых богатых купцов, жертвой жестокой финансовой тирании. И самым горьким во всем этом была социальная несправедливость; ибо, в то время как бедняков жестоко наказывали, иногда смертной казнью, за контрабанду сахара или табака, Наполеон и немногие избранные, которые могли купить лицензии, часто импортировали эти товары в больших количествах. Что же тогда удивительного, что Россия и Швеция долго отказывались терпеть эти беспричинные лишения и пытались уклониться от приказов имперского контрабандиста из Тюильри!

Тем не менее, поскольку ни один изобретательный народ никогда не может быть полностью предоставлен своим собственным ресурсам без получения какой-либо выгоды, мы обнаруживаем, что Франция встретила кризис с жизнерадостным терпением и неослабевающей изобретательностью, которые она когда-либо проявляла. В великой империи, которая охватывала все земли между Гамбургом, Байонной и Римом, не говоря уже об Иллирии и Далмации, огромное разнообразие продуктов могло бы легко вознаградить изобретателя и земледельца. Табак, рис и хлопок можно было выращивать в южных районах. Были также предприняты отважные усилия по доставке азиатских продуктов по суше, чтобы разочаровать английские крейсера; а аравийский кофе облагался очень низкими налогами, чтобы разорить американского производителя. Когда ароматная ягода становилась все более и более редкой, добрые патриоты обнаружили, что цикорий является вкусной заменой, а ученые мужи пытались убедить французских производителей использовать растение изатис вместо индиго. Государство и местные торговые палаты предложили призы тем, кто восполнит нехватку тропических товаров и красителей.

Заметное открытие было сделано Шапталем и Делессером, которые усовершенствовали предложенный Маркграфом процесс получения сахара из свеклы и добились его практического успеха. Наполеон также надеялся, что найден химический заменитель индиго, и воскликнул скорбной депутации купцов, прибывшей в Тюильри в начале лета 1811 года, что химия вскоре произведет революцию в торговле так же радикально, как это произошло с открытием компаса. Кроме того, Французская империя была богатейшей страной в мире и могла почти обходиться без внешней торговли, по крайней мере, до тех пор, пока Англия не уступит; а это скоро произойдет, ибо давление событий вскоре вынудит лондонских купцов выбрасывать свой сахар и индиго в Темзу. ^[235]

На самом деле он ставил торговлю далеко позади сельского хозяйства, которое считал основой национального богатства и здоровья нации. Но он также проявлял большой интерес к промышленным предприятиям. Шелковая промышленность в Лионе нашла в нем щедрого покровителя. Он распорядился, чтобы там была проведена лучшая научная подготовка, чтобы усовершенствовать процессы производства; и, поскольку шелк почти всех видов можно было производить во Франции и Италии, Лион был сравнительно процветающим. Однако, когда она пострадала от общего роста цен и снижения покупательной способности населения, он прибегнул к героическим средствам правовой защиты. Он приказал, чтобы все корабли, покидающие Францию, везли шелковые ткани, равные по стоимости одной четвертой всего груза; но вопрос о том, пошли ли эти ткани на украшение женщин или русалок, остается открытым. Или, опять же, по совету Шаптала император произвел крупные закупки излишков лионского шелка, руанского хлопка и Сена. Антуан мебельщик, чтобы предотвратить неминуемый крах кредита и рецидив якобинства в этих промышленных центрах; ибо, как он сказал: "Я боюсь восстания, вызванного нехваткой хлеба: я бы предпочел сражаться с армией в 200 000 человек, чем с этой". ^[236]

В целом, эта политика проведения *панем и цирков* была успешной во Франции; по крайней мере, это заставляло ее молчать. Национальные чувства решительно выступали за запрет торговли. В 1787 году Артур Янг обнаружил, что хлопкоробы севера пришли в ярость из-за недавних нашествий ланкаширского хлопка, в то время как виноградари Гаронны были столь же благосклонны к просвещенному англо-французскому торговому договору 1786 года. Уделом Наполеона было завоевать расположение жестких протекционистов, не оттолкнув при этом

людей из Жиронды, которые видели в нем поборника аграрной свободы против феодальной знати. Более того, нация все еще лелеяла жалкую веру в то, что война произошла из-за вероломства Альбиона в отношении Мальты, и горела желанием наказать непокорных островитян. По этим причинам французы терпели утечку людей и денег, почти не выказывая недовольства.

Они устали от войн. *У нас было достаточно славы*, сказали они, даже в самой столице, и проникательный немецкий наблюдатель описывает чувства там как странно смешанные. Парижское веселье часто находило выход в пасквилях против императора; и в толпе можно было без опаски пускать в ход много сатиры на его счет, при условии, что она была приправлена остроумием. Народ, казалось, не боялся Наполеона, как его боялись в Германии: старая революционная партия все еще была активна и легко могла стать гораздо более опасной, чем роялистские кружки на бульваре Сен-Жермен. В остальном все они настолько привыкли к политическим переменам, что считали его правительство временным и мирились с ним только до тех пор, пока армия одерживала победу за границей, а он мог ощущать свою власть дома. Такое впечатление о Париже сложилось у Варнхагена фон Энзе. Общественное мнение в провинциях, по-видимому, было более благосклонно к Наполеону; и, в целом, гордость за армию и энергичное управление, которые любит эта нация, прежде всего ненависть к Англии и надежда отнять у нее мировую империю, заставили французов молча терпеть строгие законы о печати, повышенные налоги, военные расценки, лицензии и цикорий.

Для немцев трудности были гораздо тяжелее, а послабления - гораздо меньше. У них не было глубокого интереса ни к Мальте, ни к владычеству на морях; и политическая экономия тогда только начинала зарождаться в тевтонском сознании. Общее направление немецкой мысли склонялось к *Вечному "Нет"*, пока в поле ее зрения не появился Наполеон. На какое-то время он завоевал восхищение главных мыслителей Германии, смахнув феодальную паутину с ее прекрасного лица. Казалось, он собирался призвать ее сыновей к общественной деятельности; и в знаменитом монологе "Фауста", в котором он нащупывает путь от слова к мысли, от мысли к могуществу и от силы к действию, мы можем разглядеть литературную проекцию влияния, оказанного новым Карлом Великим на эту нацию мечтателей.^[237] Но обещание было выполнено только самым суровым практическим способом, а именно прекращением всех поставок табака и кофе; и когда сам Тойфельсдрек, хотя и был поклонником Французской революции, обнаружил, что призывы к его любимому напитку — "дорогому меланхоличному кофе, пробуждающему фантазии" Лессинга — вызвали лишь мутную реакцию. отвар желудей, существовал риск того, что его земные наклонности примут практически революционный оборот.

По правде говоря, немецкие университеты были лидерами национальной реакции против императора Запада. Призывы Фихте к подлинно национальному образованию возымели действие. В настоящее время в Пруссии организуется начальное обучение; и отделению мысли от действия, которое так долго стерилизовало немецкую жизнь, положен конец с основанием Гумбольдтом Берлинского университета. Таким образом, в 1810 году, в год глубочайшего горя Пруссии, когда ее храбрая королева умерла от разрыва сердца, когда французские солдаты и *дуанье* захватывали и сжигали колониальные товары, ее мыслители вступили в более тесный контакт с ее деятелями, что привело к взаимовыгодным результатам. Мыслители перестали быть простыми мечтателями, а прусские чиновники приобрели более широкий взгляд на жизнь.

Благотворительная деятельность, к которой Наполеон мог бы призвать подавляющее большинство немцев, пришла к ним из Берлина, а не из Парижа.

Его влияние становилось все более и более гнетущим. Окончательные результаты его коммерческих указов о торговле Гамбурга были так описаны Пертесом, хорошо известным писателем и книготорговцем этого города: "Из 422 сахарных заводов лишь немногие теперь были открыты: печатание хлопка полностью прекратилось; табачники были изгнаны правительством. Введение бесчисленных налогов, дверных и оконных, подушных и земельных, довело жителей до отчаяния". Но тот же самый проницательный мыслитель смог указать на мораль всего этого и доказать своим друзьям, что их нынешние испытания были вызваны эгоистичным партикуляризмом немецких государств: "Было необходимо, чтобы какая-нибудь великая держава возникла посреди вырождающегося эгоизма того времени и также одержала победу, поскольку не было ничего энергичного, чтобы противостоять этому. Наполеон - историческая необходимость". ^[238]

Таким образом, как в обителях учености, так и в промышленных центрах люди нащупывали более высокое единство и более прочную политическую организацию, которые после того, как прошел наполеоновский потоп, должны были заложить фундамент Новой Германии.

Однако, судя по всему, в следующем году власть Наполеона, казалось, утвердилась более прочно, чем когда-либо. 20 марта 1811 года у него родился сын. В критический момент этого события он проявил теплоту своих семейных инстинктов. Услышав, что, возможно, придется пожертвовать жизнью матери или младенца, он сразу же воскликнул: "Спасите мать". ^[239] Когда опасность миновала, он очень тактично проинформировал Джозефину, заявив: "У него моя грудь, мой рот и мои глаза. Я верю, что он выполнит свое предназначение". Эта судьба была обозначена в титуле, присвоенном ребенку, "Король Рима", который был призван напомнить титул "Король римлян", использовавшийся в Священной Римской империи.

Наполеон решил, что старое выборное достоинство теперь должно быть восстановлено в строго наследственной империи, более обширной, чем империя Карла Великого. Париж должен был стать его столицей, Рим - его вторым городом, и будущие императоры всегда должны были короноваться во второй раз в Риме. Более того, чтобы средневековый спор о верховенстве императора или папы в Риме снова не взволновал человечество, папство было фактически аннексировано: статус понтифика был определен в самом эрастианском смысле, на его содержание были выделены императорские средства, и ему было приказано содержать два дворца, "один обязательно в Париже, другой в Риме".

Невозможно кратко описать различные конфликты между Пием VII. и Наполеоном. Хотя теперь папа находился в плену у Наполеона, он отказался ратифицировать эти и другие указы своего похитителя; и кредит, который Наполеон завоевал своим мудрым Конкордатом, теперь был потерян из-за нарушения им многих его пунктов и сурового обращения с беззащитным стариком. Это правда, что Пий отлучил Наполеона от церкви; но это было за преступление аннексии Папской области, и общественное мнение возмутилось зрелищем того, что всемогущий император теперь отправляет в плен человека, который в прежние годы так много сделал для укрепления его власти. После неудач русской кампании он пытался договориться с понтификом; но даже тогда сделка, заключенная в Фонтенбло, была настолько тяжелой, что его пленник, хотя и был обеспокоен плохим здоровьем, отказался от нечестивого компромисса. После чего Наполеон приказал схватить кардиналов, посовествовавших этот шаг, и увезти их из

Фонтенбло. Немногие действия Наполеона были более пагубными, чем эта серия мелких преследований; и к числу факторов, приведших к его падению, мы можем отнести достойное сопротивление понтифика, чья кротость резко обнажила гордость и высокомерие его похитителя. Папство опустилось, но только для того, чтобы победить.

В настоящее время все, казалось, было в пользу нового Карла Великого. Никогда мир не видел воплощения мощи, подобной мощи империи Наполеона; и он вполне мог воскликнуть при рождении римского короля: "Теперь начинается лучшая эпоха моего правления". Все предзнаменования казались благоприятными. Во Франции голоса оппозиции были почти приглушены. Итальянцы, швейцарцы и даже некоторые испанцы помогли подавить Пруссию. Голландцы и датчане выслеживали Шилла для него в Штральзунде. Польские всадники атаковали перевал Сомосьерра против испанских пушек и оказали доблестную услугу на кровавом поле битвы при Альбуэре. Рейнская конфедерация могла послать 150 000 человек для участия в его битвах. Габсбурги были его вассалами, и лишь слабые тени разногласий пока омрачали его отношения с Александром. Один из его маршалов, Бернадотт, был избран преемником шведской короны; а на другом конце Европы казалось, что Веллингтон и испанские патриоты в конечном итоге должны уступить численному превосходству.

Несомненно, сейчас настало время для осуществления тех сияющих восточных замыслов, по сравнению с которыми его европейские триумфы казались бледными. Осенью 1810 года он разослал агентов для тщательной проверки опорных пунктов Египта и Сирии, а его консулам в Леванте было приказано каждые шесть месяцев присылать отчет о состоянии Турецкой империи.^[240] Прежде всего, он призвал к завершению строительства верфей и военных кораблей. В Антверпене и Шербуре велись обширные работы: корабли и канонерские лодки должны были строиться во всех подходящих портах от Текселя до Неаполя и Триеста; и в результате этих работ император рассчитывал получить 104 линейных корабля, которые прикрывали бы транспорты из Средиземного моря, Шербура, Булони и Шельды и угрожали бы Англии войсками численностью в 200 000 человек.^[241]

В марте 1811 года этот план был изменен, возможно, потому, что, как и в 1804 году, он обнаружил, что трудности спуска на наших берегах больше, чем он предполагал вначале. Теперь он просто стремится утомить англичан в текущем году. Но в следующем году или в 1813 году он отправит экспедицию из 40 000 человек со Шельды, как бы угрожая Ирландии; и, застав нас врасплох, он разделит эти силы на четыре части для восстановления французских и голландских колоний в Вест-Индии. Он рассчитывает также на то, что часть его армии в Испании будет свободна для службы в другом месте: ее нужно отправить на захват Сицилии или Египта.

Но это было еще не все. Его мысли также обращаются к мысу Доброй Надежды. Восемь тысяч человек должны отплыть из Бреста, чтобы захватить ту выгодную позицию, на которую он так страстно взирал в 1803 году. Из этих планов восстановление Египта, очевидно, было ближе всего к его сердцу. Он приказывает складировать в Тулоне все необходимое для египетской экспедиции, а также шестьдесят пушечных судов малой осадки, пригодных для плавания по Нилу или прибрежным озерам.^[242] Компании Desgrès поручено прислать модели этих кораблей; и мы можем представить, с каким вниманием они были изучены. Ибо Восток по-прежнему оставался полюсом, на который отзывалось все существо Наполеона. Волей-неволей отброшенная войнами с Австрией, Россией, Пруссией и Испанией, она повернула к Египту и

Индии при первом же шансе на мир в Европе, но была отброшена назад каким-то неприятным потрясением ближе к дому. В 1803 году он рассчитывал на скорое начало кампании на Ганге. В 1811 году он предлагает, чтобы трехцветный флаг еще раз развевался над цитаделью Каира и угрожал Индии с берегов Красного моря. Но высшая воля, чем его собственная, распорядилась этими событиями и предопределила, что затем он должен быть отброшен из России и сражаться за свою Империю на равнинах Саксонии.

ГЛАВА XXXII

РОССИЙСКАЯ КАМПАНИЯ

Два могущественных и амбициозных властелина никогда полностью не доверяют друг другу. Под всеми проявлениями дипломатической привязанности остается толстая оболочка сдержанности или страха. Особенно это должно быть так с мужчинами, происходящими из свирепого, необузданного племени. Несмотря на подготовку Лагарпа, Александр временами проявлял страсть и утонченность боярина. И кто скажет, что раннее якобинство и более поздняя культура Наполеона были чем-то большим, чем слишком тонкая оболочка, наброшенная на итальянского *кондотьера* эпохи Возрождения? Эти люди были слишком искусны в хитростях, чтобы действительно доверять напыщенным заверениям Тильзита и Эрфурта. Де Местр говорит нам, что Наполеон никогда не принимал участия в трапезах Александра на берегах Немана. Для него московская кухня была подозрительной.

Среди великолепия Эрфурта Удино стал свидетелем инцидента, который раскрыл скрытые чувства царя. Во время одной из своих вылазок императоры были остановлены дамбой, которую конь Наполеона отказался преодолевать; соответственно, маршалу пришлось помогать ее преодолевать; но царь, гордившийся своим искусством верховой езды, в конце концов преодолел препятствие великолепным прыжком, хотя и ценой удара, который порвал его перевязь для шпаги. Шпага упала на землю, и Удино уже собирался передать ее Александру, когда Наполеон быстро сказал: "Оставьте себе эту шпагу и принесите ее мне позже"; затем, повернувшись к царю, он добавил: "У вас нет возражений, сир?" Выражение удивления и недоверия промелькнуло на лице царя, но, вернув себе прежнюю непринужденность, он дал свое согласие. Позже в тот же день Наполеон послал Александру свой собственный меч и, таким образом, наилучшим образом избежал инцидента, который поначалу грозил отбросить

его в тень. Это дело демонстрирует остроумие и умственное превосходство одного человека не меньше, чем скрытую сдержанность и неловкость другого.

В конце 1809 года Александр признался Чарторыйскому в своем внутреннем чувстве. Наполеон, по его словам, был человеком, который не побрезговал бы использовать любые средства, лишь бы добиться своей цели: его умственная сила не подвергалась сомнению: в самых тяжелых ситуациях он был хладнокровен и собран: его припадки страсти были предназначены только для устрашения: каждое его действие было результатом расчета: абсурдно говорить, что его невероятные усилия сведут его с ума: его здоровье было великолепным и выдерживало любые усилия при условии, что он спал по восемь часов в день. У экс-министра осталось впечатление, что Александр досконально понимал своего союзника и *сильно его боялся*.^[243]

Несколько дней спустя поступила просьба Наполеона о руке сестры царя, которую Александр отклонил со многими выражениями доброй воли и сожаления. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что еще до того, как был получен окончательный ответ, Наполеон заключил договор о руке австрийской эрцгерцогини.^[244] На этот раз он почувствовал себя оскорбленным. И вот эти затаившие дыхание поиски невесты вызвали болезненные чувства в обеих столицах: в Париже из-за того, что царь отклонил просьбу Наполеона, в Санкт-Петербурге из-за того, что императорский жених отправился по другому следу еще до того, как первый выдал себя.

Раздражение Александра усилилось из-за сомнительного поведения его союзника в отношении Польши. После недавнего увеличения герцогства Варшавского он призвал Наполеона сделать заявление о том, что "Королевство Польское никогда не будет восстановлено". Этот вопрос обсуждался параллельно с матримониальными предложениями; и после их краха Наполеон, наконец, отказался дать эти гарантии, которые Александр считал необходимыми для сдерживания растущих надежд поляков и литовцев. Максимум, что мог бы сделать французский император, - это пообещать, *в секретном пункте*, что он никогда не будет помогать какой-либо другой Власти или какому-либо народному движению, направленному на восстановление этого королевства.^[245] Фактически, поскольку московский союз был на исходе, он счел плохой политикой препятствовать полякам, которые могли бы так много сделать для него в случае франко-русской войны. Вскоре он начинает всерьез задумываться о перспективе такого события. В конце 1810 года он пишет, что русские укрепляются на Двине и Днестре, что "свидетельствует о плохом настроении".

Но большая трудность заключается в несовершенном наблюдении Россией Континентальной системы. Он умоляет царя закрыть свои порты для английских кораблей: 600 из них бродят по Балтийскому морю после того, как были отброшены от его южных берегов, в надежде проникнуть в русские гавани. Пусть Александр захватит их грузы, и Англия, находящаяся сейчас при последнем издыхании, должна будет сдаться. Пять недель спустя он возвращается к атаке. Недостаточно захватить британские корабли; ненавистные товары проникают под американскими, шведскими, испанскими и португальскими, *даже под французскими флагами*. Из 2000 судов, вошедших в Балтийское море в 1810 году, ни одно по-настоящему не было нейтральным: все они были снабжены английскими товарами, фальшивыми документами и *поддельными сертификатами происхождения, изготовленными в Лондоне*.^[246] Любой другой юнит из миллионов жителей земли убедился бы в тщетности всего предприятия теперь, когда его собственные специальные устройства были обращены против него. Этого было

недостаточно, чтобы завоевать и сковать Континент. Каждый таможенник должен быть экспертом в производстве, продуктах питания, документах и водяных знаках на бумаге, если он хочет обнаружить новые "подделки под нейтральными флагами".

Но Наполеон не знал слова "невозможно" — "слова, которое существует только в словаре дураков". На самом деле, его разум, от природы негибкий, теперь все больше и больше работал в самодельных руслах. Самой серьезной из них была его коммерческая война; и он продолжал наступление, не считаясь с Европой и не считаясь с царем. В середине декабря он аннексировал побережье Северного моря Германии, включая Ольденбург. Наследник этого герцогства женился на сестре Александра, руки которой Наполеон добился в Эрфурте. Герцогу, правда, был предложен Эрфуртский округ в качестве контрибуции, но это предложение только еще больше задело царя. Низложение герцога было не просто личным оскорблением; это было нарушением Тильзитского мирного договора, который вернул ему его герцогство.

Две недели спустя, когда Александр еще не знал об инциденте с Ольденбургом, он сам нарушил этот договор. ^[247] В конце 1810 года он отказался принимать товары наземного происхождения на льготных условиях, согласованных в Тильзите, но обложил их высокими пошлинами, особенно на *предметы роскоши*, которые в основном были родом из Франции. Какой-то такой шаг был неизбежен. Не имея возможности свободно экспортировать товары в Англию, Россия не имела достаточно денег, чтобы покупать дорогостоящие французские товары, не нарушая обмена и не подрывая свой кредит. Стремясь увеличить доходы от французской мануфактуры, царь решил допускать на льготных условиях все колониальные товары, особенно американские. Английские товары он, как и прежде, запретит ввозить; и он утверждал, что этот новый отъезд вполне укладывается в рамки Тильзитского мирного договора. Совершенно иной была точка зрения Наполеона: "Вот огромная планета, которая движется в неправильном направлении. Я вообще не понимаю ее курса". ^[248] Такими были его первые слова при чтении текста нового указа. Фаталистический тон теперь часто звучит в его высказываниях о политике России. 2 апреля он пишет: "Если Александр быстро не остановит данный импульс, он будет увлечен им в следующем году; и, таким образом, война произойдет вопреки ему, *вопреки мне*, вопреки интересам Франции и России. ... Это оперная сцена, в которой англичане - оборотни ". Что за безумие! Как будто тяга России к колониальным товарам и платежеспособность были уловкой дьявольских островитян. ^[249] Как будто его планетарное сравнение было чем-то большим, чем утверждение, что он был центром вселенной, а его воля - ее направляющей и контролирующей силой.

Тем не менее Россия не сдавалась. Тщетно Александр объяснял своему союзнику экономические потребности своего королевства, заявлял о своей верности Континентальной системе и умолял о некотором внимании к герцогу Ольденбургскому. Было очевидно, что император Запада не пойдет ни на какие реальные уступки. Фактически, потребность в господстве была квинтэссенцией его существа. И Марет, герцог де Бассано, который теперь был его министром иностранных дел, или, скорее, мы должны сказать, человеком, который составлял и подписывал его депеши, раскрыл психологическую причину войны, унесшей жизни почти миллиона человек, в ноте Лористону, французскому послу в Санкт-Петербурге. Наполеон, писал он, мало заботился о беседах или переговорах, если только передвижения его 450 000 человек не вызывали серьезного беспокойства в России, не отзывали ее в Континентальную систему, как это было установлено в Тильзите, и "возвращали ее в состояние неполноценности, в котором она находилась тогда". ^[250]

В этом, действительно, и заключалась суть всего вопроса. Наполеон видел, что Александр ускользает из руководящих рядов Тильзита и что он, вероятно, лучше всего выиграет от этой сделки, которая должна была подтвердить превосходство Западной империи. Для обоих властителей этот договор был, по сути, не более чем перемирием. Наполеон видел в этом средство подчинения Континента своему торговому кодексу и подготовки к франко-русскому разделу Турции. Царь приветствовал это как передышку, на которой он мог реорганизовать свою армию, завоевать Финляндию и двинуться к Балканам. Эрфуртская встреча продлила перемирие, ибо Наполеон чувствовал настоятельную необходимость подавить испанское восстание и отсрочить раздел Турции, который его союзник стремился начать. К концу 1811 года оба властителя исчерпали все выгоды, которые могли быть получены от их союза. ^[251] Наполеон льстил себе мыслью, что завоевание Испании было почти обеспечено, и что Англия пребывала в последней агонии. С другой стороны, Россия восстановила свою военную мощь, завоевала Финляндию и закрепилась на Нижнем течении Дуная, а теперь пыталась отменить торговые указы Наполеона. В конце концов, монарх, который в Тильзите был всего лишь глиной в руках корсиканского гончара, показал себя равным ему как по хитрости, так и по упорству. Кажущийся простофилей 1807 года теперь обещал стать победителем в управлении государством.

Затем была открытая рана Польши. Вызов по этому поводу был брошен Наполеоном на дипломатическом приеме в свой день рождения, 15 августа 1811 года. Обращаясь к русскому посланнику, он воскликнул: "Я не настолько глуп, чтобы думать, что вас беспокоит Ольденбург. Я вижу, что речь идет о Польше: вы приписываете мне замыслы в пользу Польши. Я начинаю думать, что вы хотите захватить его. Нет: если бы ваша армия стояла лагерем на Монмартре, я бы не уступил ни пяди территории Варшавы, ни деревни, ни мельницы". Его опасения относительно планов России были надуманными. Прощупывание поляков Александром было оборонительной мерой, серьезно предпринятой только после отказа Наполеона препятствовать польским националистам. Но французскому императору было удобно утверждать, что ссора шла из-за Польши, а не из-за Континентальной системы, и только что описанная сцена является хорошим примером его привычки к холодному расчету даже при кажущихся случайными вспышках гнева. Его рапсодия снискала ему горячую поддержку поляков и была достаточно расплывчатой, чтобы не вызвать большой тревоги в Австрии и Пруссии. ^[252]

На следующий день Наполеон в общих чертах изложил своим министрам общий план кампании против России. Против нее должен был быть задействован весь Континент. На союз с Габсбургами он вполне мог положиться. Но поведение Пруссии вызывало у него некоторое беспокойство. Какое-то время казалось, что она вот-вот рискнет развязать войну *на опережение*, такой, какой страстно желали Штайн, Фихте и стойкие патриоты Тугендбунда. Действительно, угрозы Наполеона в адрес этого несчастного государства, казалось, какое-то время предвещали его уничтожение. Поэтому король отправил Шарнхорста сначала в Санкт-Петербург, а затем в Вену с тайными предложениями о союзе. Фактически они были отклонены. Благоразумие возобладало в обеих столицах; и, как вскоре выяснится, наиболее прозорливые пруссаки вскоре поняли, что война, в которой Наполеона можно было бы заманить в сердце России, могла нанести смертельный удар его разросшейся Империи. Конечно, для Пруссии было совершенно невозможно остановить наступление французов. Партизанская война, подобная той, что велась в Испании, несомненно, должна быть подавлена на ее открытых равнинах; и неуверенный в себе король ответил на план Гнейзенау о восстании прусского народа против Наполеона леденящим душу комментарием: "Хорош как поэзия".

Таким образом, когда Наполеон завершил свои дипломатические угрозы властным призывом встать на его сторону или против него, Фридрих Вильгельм был вынужден выполнить его условия, отправив 20 000 солдат против России, предоставив свободный проезд армии Наполеона и предоставив огромные запасы продовольствия, выплата которых должна была быть урегулирована каким-либо будущим соглашением (февраль 1812 г.). Эти условия, казалось, низвергли Пруссию в самый нижний круг наполеоновского ада, и велико было негодование ее патриотов. Они не понимали, что Пруссию можно спасти, только отступив перед западным ударом. К этой теме мы вернемся позже, когда будем говорить о русском плане кампании.

Швеция оказалась менее сговорчивой, чем ожидал Наполеон. Он надеялся, что низложение его личного врага Густава IV, возведение на престол немощного старика Карла XIII и выбор Бернадотта наследником шведской короны вернут эту страну к ее традиционному союзу с Францией. Но, приняв свое новое достоинство, Бернадотт продемонстрировал свою обычную независимость мышления, отказавшись пообещать, что он никогда не поднимет оружие против Франции, — отказ, который стоил ему княжества Понте-Корво. Он сразу же принял передовую скандинавскую политику; и, поскольку франко-русский союз ослабевал, он предложил шведскую помощь Наполеону, если тот одобрит приобретение Норвегии Стокгольмским двором.

Император сам обсуждал этот проект в 1802 году, но теперь он ответил решительным отказом (25 февраля 1811 г.) и приказал Швеции ввести Континентальную систему под страхом оккупации шведской Померании французскими войсками. Даже эта угроза не смогла сломить волю Бернадотта, и шведы предпочли отказаться от своей беспокойной немецкой провинции, чем потерять свою внешнюю торговлю. В январе следующего года Наполеон привел в исполнение свою угрозу, тем самым бросив Швецию в объятия России. По мирному договору от марта-апреля 1812 года Бернадотт получил от Александра перспективу приобретения Норвегии в обмен на помощь Швеции в предстоящей войне против Наполеона. Это был главный дипломатический успех, достигнутый Александром; ибо, хотя он заключил соглашение с Турцией два месяца спустя (сохранив Бессарабию), договор был ратифицирован слишком поздно, чтобы позволить ему сосредоточить все свои силы против наполеоновского воинства, которое теперь наводняло равнины Пруссии. ^[253]

Результаты этого соглашения со Стокгольмским двором были видны в ноте царя, представленной в Париже в конце апреля. Он требовал от Наполеона эвакуации шведской Померании французскими войсками и дружественного урегулирования франко-шведских споров, эвакуации французами Пруссии, сокращения их многочисленного гарнизона в Данциге и признания права России торговать с нейтральными странами. Если Франция согласится на эти условия, Александр был готов вести переговоры о возмещении ущерба герцогу Ольденбургскому и снижении российских таможенных пошлин на французские товары. ^[254] Прием, оказанный Наполеоном этим разумным условиям, был бесперспективным. "Вы джентльмен, — воскликнул он князю Куракину, — и все же вы осмеливаетесь делать мне такие предложения? - Вы поступаете так, как поступала Пруссия до Йены". Александр уже оставил всякую надежду на мир. За неделю до этой сцены он уехал из Санкт-Петербурга в армию, прекрасно понимая, что железная воля Наполеона может быть поколеблена могучим ударом, но никогда не будет сломлена дипломатией.

Со своей стороны, Наполеон стремился внушить благоговейный страх своему восточному сопернику демонстрацией внушительной силы. Владыка владений, которые намного превосходили царские по материальным ресурсам, сюзерен семи королевств и тридцати княжеств, он созвал к себе в Дрезден своих союзников и вассалов и подарил миру последнее видение того имперского великолепия, которое ослепляло воображение людей.

Это был холостой показ. В обмен на секретные гарантии того, что он в конечном итоге вернет себе иллирийские провинции, император Франциск обязался по договору послать 30 000 человек для охраны фланга Наполеона на Волыни. Но все в Санкт-Петербурге знали, что эта помощь, как и помощь Пруссии, была вынужденной и пустой.^[255] Пример Испании и осторожная стратегия Веллингтона рассеяли чары французской непобедимости; и царь был полон решимости положиться на стойкость своего народа и оборонительную мощь своих бескрайних равнин. Времена Маков, брауншвейгцев, Беннигсенов прошли: наступил день Веллингтона и подлинно национальных методов ведения войны.

Однако войска, двинувшиеся теперь против Александра, намеревались сокрушить преданность его бесчисленных подданных и ужасное безлюдье его степей. Это было так, как если бы Петр Отшельник восстал, чтобы еще раз подтолкнуть народы Западной и Центральной Европы к выступлению против неподвижного Востока. Французы численностью 200 000 человек составили ядро этого огромного войска: 147 000 немцев из Рейнской конфедерации последовали за новым Карлом Великим; почти 80 000 итальянцев под командованием Эжена сформировали Наблюдательную армию; 60 000 поляков с готовностью выступили вперед, чтобы вырвать свободу своей нации из рук московитов; а иллирийцы, швейцарцы и голландцы, наряду с несколькими испанцами и португальцами, увеличили Великую армию в общей сложности до 600 000 человек. И это было еще не все. Австрия и Пруссия направили свои контингенты общей численностью до 50 000 человек для охраны флангов Наполеона со стороны Волыни и Курляндии. И эта могучая масса, подгоняемая волей Наполеона, набрала обороты, которые должны были привести ее главную армию к Москве.

Проведя смотр своим вассалам в Дрездене и ускорив приготовления к перевозке припасов, Наполеон направился к берегам Немана. Со всех сторон были видны следы прохождения могучего войска: разбитые повозки, мертвые лошади, разрушенные деревни и плотные колонны войск, которые почти догола опустошили Пруссию. И все же, несмотря на эти грандиозные приготовления, в ставке царя не было и намек на уныние. По прибытии к Неману Наполеон обратился к Великой армии с воззванием, которое фактически было объявлением войны. В нем прозвучало фаталистическое замечание: "Россия привлечена судьбой: ее предначертания должны быть исполнены". Слова Александра, обращенные к его войскам, дышали иным духом: "Бог сражается против агрессора".

О планах кампании двух императоров написано много весьма гипотетического. Цель Наполеона может быть сформулирована кратко: она заключалась в том, чтобы обнаружить главные силы противника, разделить их или отрезать от коммуникаций и нанести им сокрушительный удар. Другими словами, он никогда не начинал с какого-либо определенного плана кампании, кроме уничтожения главных сил противника. Но в данном случае может возникнуть вопрос, не стремился ли он своими возмутительными провокациями подтолкнуть Пруссию к союзу с царем. В этом случае Александр был бы обязан честью прийти на помощь своему союзнику. И если бы русские отважились перейти Неман или Вислу, как поначалу предполагал Наполеон,^[256]

его задача, несомненно, была бы столь же легкой, как это оказалось при Фридланде. Многие прусские офицеры, как утверждает Мюффлинг, считали, что это было целью французской дипломатии ранней осенью 1811 года и что лучшим ответом была безоговорочная капитуляция. С другой стороны, существует факт, что Сен—Марсан, посол Наполеона в Берлине, заверил это правительство 29 октября, что его повелитель не желает уничтожить Пруссию, но придает большое значение поставкам, которые она может ему предоставить, - поддержке, которая позволила бы Великой армии наступать на Неман *подобно стремительному потоку*.

Эта метафора была на удивление неосмотрительной. Это почти побудило Пруссию широко открыть свои шлюзы и пустить пенящийся поток на песчаные пустоши Литвы; и мы можем предположить, что более проницательные умы в Берлине теперь увидели преимущество политики, которая заманила бы французов на пустоши Московии. Странно, что сирийское изречение Наполеона "Никогда не воюй с пустыней" сейчас не пришло ему на ум. Но постепенно он укрепился в убеждении, что война с Александром неизбежна и что помощь Австрии и Пруссии позволит ему отбросить московитские орды в их восточные степи. Какое-то время он, несомненно, думал уничтожить Пруссию, прежде чем напасть на царя; но в конце концов он решил отложить ее судьбу до тех пор, пока не воспользуется ею для свержения России. ^[257]

После Аустерлица и Фридланда преимущества оборонительной кампании не могли ускользнуть от внимания царя. Еще в октябре 1811 года, когда Шарнхорст был в Санкт-Петербурге, он обсуждал с ним эти вопросы; и не все мольбы этого офицера о защите независимости Пруссии побудили Александра предложить вооруженную помощь, если только французы не совершат бессмысленную агрессию на Кенигсберг. Видя, что нет никакой надежды отбросить русских далеко на запад, Шарнхорст, похоже, в конце концов разработал стратегию Фабиана для последующей войны; и, находясь в Вене, он составил мемуары в этом смысле для руководства царем. ^[258]

Александр, безусловно, очень нуждался в разумном руководстве. Хотя Шарнхорст указал путь к спасению, вскоре появился стратегический искуитель в лице генерала фон Фалла, бескомпромиссного теоретика, который планировал кампании с беспрекословной приверженностью абстрактным принципам. Не обученный катастрофам прошлого, Александр снова позволил своему энтузиазму в отношении теорий и принципов привести его на край пропасти. Фалл пленил его, изложив истинный план оборонительной кампании, который он разработал на основе терпеливого изучения Семилетней войны. Все зависело от правильного выбора оборонительных позиций и надлежащей диспозиции обороняющихся армий. Там должны быть две армии обороны и по крайней мере один большой укрепленный лагерь. Одна армия должна противостоять захватчику на линии, расположенной рядом с лагерем или ведущей к нему; в то время как другая армия должна маневрировать в его тылу или на флангах. И лагерь должен быть расположен таким образом, чтобы распространить свое защитное влияние на одну или несколько важных дорог. Ему не обязательно находиться ни на одном из них: на самом деле, было бы лучше, если бы он находился на некотором расстоянии; поскольку таким образом он лучше выполнял важнейшую функцию "фланговой позиции".

Такое место Пхулл обнаружил в Дриссе, в излучине реки Двина. Он находился достаточно далеко от дорог, ведущих от Немана в Санкт-Петербург и Москву, чтобы эффективно защищать их обе. Соответственно, он предложил подготовить там обширные земляные укрепления; ибо

там, в этом искусственном Торрес-Ведрасе, главные силы России могли поджидать Великую армию, в то время как другие силы беспокоили ее фланг или тыл. ^[259]

Наполеон не исследовал этот абсурд до самых глубин, но он рано обнаружил, что русские находятся в составе двух широко разделенных армий; и этого было достаточно, чтобы определить его действия и начальную часть кампании. Узнав, что одна армия находится под Вильно, а другая - перед Припятскими болотами, он попытался разделить их быстрым вторжением на промежуточное пространство, а затем уничтожить по частям. Никогда еще визионерской теории не угрожал более ужасный реализм. Ибо Наполеон в середине лета собирал треть миллиона человек на берегах Немана, в то время как русские, имея в своем распоряжении немногим более половины того числа, которое еще имелось в боевом порядке, рассредоточили их на огромном пространстве, чтобы облегчить те фланговые операции, на которые так рассчитывал Фалл. ^[260]

Утром 23 июня три огромные французские колонны двинулись к понтонным мостам, наспех переброшенным через Неман близ Ковно; и громкие крики триумфа приветствовали великого вождя, когда авангард ступил на литовскую землю. Русских не было видно, за исключением нескольких легких всадников, которые подскакали галопом, спросили инженеров, зачем они строят мосты, а затем поспешно усаkali прочь. В течение трех дней Великая армия форсировала реку и растворилась в песчаных пустошах. Сначала ни один враг не препятствовал их маршу, но и не были они встречены толпами угнетенных туземцев, которых их воображение рисовало толпящимися, чтобы приветствовать освободителей. По правде говоря, крестьяне Литвы не имели очень близкого расового сходства с поляками, чьи отпрыски встречались в основном среди дворян и более состоятельных горожан. Одиночество, изнуряющая жара середины русского лета и пронизывающие грозы угнетали дух захватчиков. Жалкие следы повозок были сразу же изрезаны проходящим войском, и 10 000 лошадей погибли от усталости или болезней, вызванных вонючей травой, во время пятидесятимильного перехода от Немана до Вильно.

Трудности с транспортным сообщением начались сразу же, и они должны были увеличиваться с каждым днем перехода. Со свойственной ему предусмотрительностью Наполеон приказал собрать огромные запасы всех видов в Данциге, своей главной базе снабжения. Для изношенности длительной кампании требовалось два миллиона пар обуви, и все приготовления были такого же колоссального масштаба. В этой связи примечательно, что немалая часть плащей и сапог поступала из Англии, поскольку промышленные ресурсы Континента были совершенно не в состоянии обеспечить крестоносцев Континентальной системы.

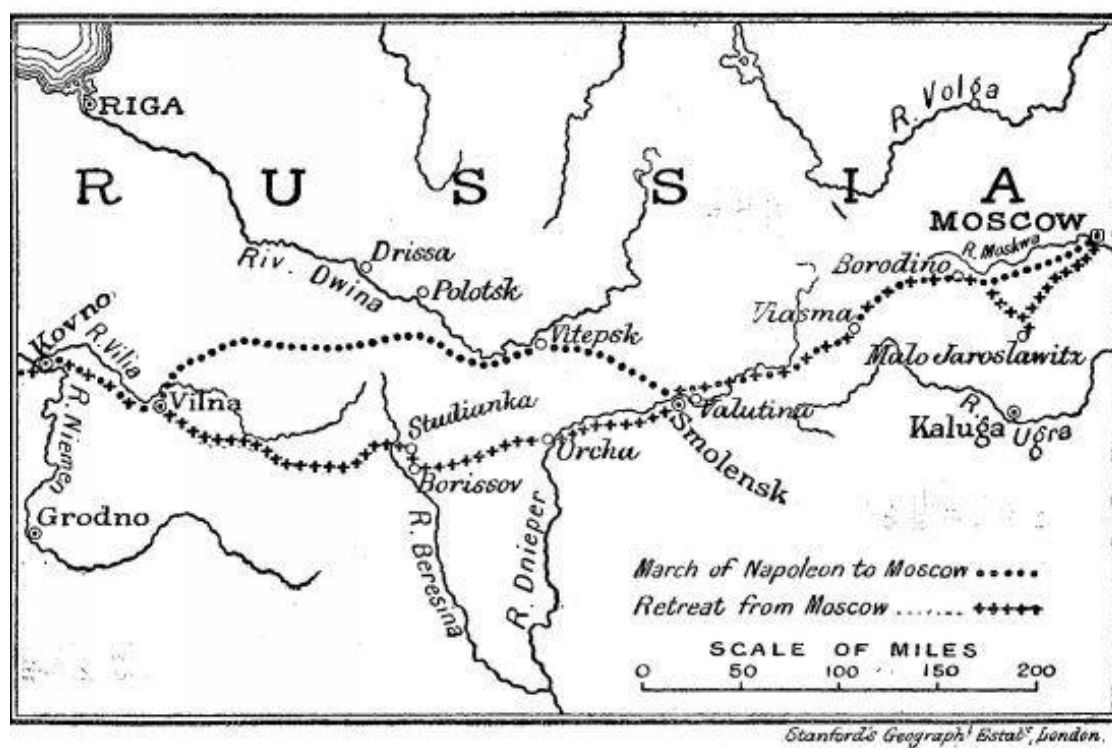
Большая часть этих запасов так и не попала в войска в России. Лодки, отправляемые из Данцига на Неман, часто перехватывались британскими крейсерами, а перевозка припасов из Немана влекла за собой такую ужасающую трату конины, что только самое необходимое могло поспевать за армией в ее быстром продвижении. Таким образом, люди остались без еды, за исключением той, которую можно было вымогать при мародерстве. В этом искусстве войска Наполеона были экспертами. По обе стороны от линии марша были прочесаны многие мили местности, и император, достигнув Вильно, был вынужден приказать Нею выслать кавалерийские патрули, чтобы собрать оставших, которые совершали "ужасные опустошения" и "попадут в руки казаков".

В Вильне Великая армия встретила более радушный прием, чем прежде. Ловко разместив свои польские полки впереди и преследуя отступающих русских за пределами города, Наполеон затем вернулся, чтобы встретить радушный прием в старой литовской столице. Старики вышли одетыми в национальную одежду, и казалось, что эта провинция, некогда входившая в состав великой польской монархии, отделится от царской империи и распространит влияние Наполеона на несколько миль от Смоленска. ^[261] Недавно сформированный сейм в Варшаве также поддержал этот проект: он учредил всеобщую конфедерацию, объявил о восстановлении Королевства Польского и направил депутацию к Наполеону в Вильно, умоляя его произнести креативные слова: "Пусть Королевство Польское существует". Император дал сдержанный ответ. Он заявил, что любит поляков, он похвалил их за патриотизм, который был "первейшим долгом цивилизованного человека", но добавил, что только единодушными усилиями они могли бы теперь заставить своих врагов признать их права; и что, гарантировав целостность Австрийской империи, он не может санкционировать никаких движений, которые могли бы потревожить оставшиеся польские провинции.

Этот дипломатичный ответ охладил пыл его слушателей. Но каковы были бы их чувства, если бы они знали, что созыв сейма в Варшаве и тон его обращения к Наполеону - все это было набросано за пять недель до этого самим имперским режиссером? И все же так оно и было.

Сценографом был аббат де Прадт, архиепископ Малинский, которого Наполеон отправил послом в Варшаву с подробными инструкциями относительно созыва сейма, подстегивания польского энтузиазма, революционизации русской Польши и стиля обращения к нему. Более того, его страсть к регулированию деталей даже побудила его сообщить послу, что ответ императора будет восхвалением польского патриотизма и предупреждением о том, что польская свобода может быть завоевана только их "рвением и усилиями". Обман был похож на тот, который он разыграл с поляками незадолго до Эйлау. По сути, он сказал сейчас, как и тогда: "Сначала пролей свою кровь для меня, и я кое-что сделаю для тебя". Но на этот раз сценическая обстановка была более впечатляющей, порыв поляков к оружию более пылким, дипломатический ответ более предусмотрительно отложен, а финал более ужасным. ^[262]

Тем не менее, поляки продолжали маршировать; но их преданность становилась все более сомнительной. Чувства литовцев также были взбудоражены ответом Наполеона польским депутатам: их также не утешило его назначение семи магнатов для управления делами районов Литвы под руководством французских комиссаров, которые оказались настоящими губернаторами. Хуже всего было мародерство войск Наполеона, которые, после долгого привыкания к императорской максиме о том, что "война должна поддерживать войну", теперь не видели необходимости терпеть



КАМПАНИЯ В РОССИИ

муки голода для того, чтобы литовский энтузиазм не остыл.

Между тем война развивалась не совсем так, как ему хотелось. Его целью было скрыть свое продвижение через Неман, заставить врасплох две главные русские армии, находясь далеко друг от друга, и таким образом положить конец войне на литовской земле таким ударом, какой он нанес при Фридланде. Российские договоренности, казалось, благоприятствовали его плану. Два их главных отряда, возглавляемый царем и генералом Барклаем де Толли, численностью около 125 000 человек к северу от Вильно, и отряд князя Багратиона, насчитывающий в настоящее время около 45 000 человек, в провинции Волынь, работали над реализацией стратегии, разработанной Фаллом. Первый должен был непосредственно противостоять маршу главной армии Наполеона, в то время как меньшие по численности русские силы должны были действовать на ее флангах и в тылу. Такой план мог увенчаться успехом только в старые добрые времена, когда война велась в соответствии с церемонным этикетом; Наполеон добивался поражения. В Вильно император руководил действиями, которые должны были заманить Багратиона в ловушку. Он уже призвал к маршу Даву, который должен был обойти с севера, и к наступлению вестфальцев Жерома Бонапарта, которым было приказано спешить на восток от города Гродно на Верхнем Немане. Их сближение загнало бы Багратиона в почти непроходимые

болота Припяти, откуда его войска появились бы, если бы вообще появились, в виде беспомощных подразделений.

Таков был план Наполеона, и он был бы успешным, если бы не просчет во времени, необходимом для похода Джерома. Наполеон недооценил трудности своего наступления или же переоценил военные возможности своего брата. Король Вестфалии задержался на несколько дней в Гродно из-за плохой погоды и других трудностей; таким образом, Багратион, которому царь приказал отступить, смог избежать сомкнувшихся вокруг него сетей, быстро отступив к Бобруйску, откуда он двинулся на север. Наполеон был взбешен потерей бесценной возможности и обратился к Жерому с яростными упреками в его медлительности и "ограниченности". Самый молодой из Бонапартов был возмущен этим упреком, который игнорировал трудности, связанные с быстрым продвижением вперед. Перспектива оказаться в подчинении у этого принца мартинетов, Даву, уязвила его гордость, и, отказавшись от командования, он немедленно вернулся к удовольствиям Касселя.

По счастливой случайности войско Багратиона вырвалось из ловушек, расставленных на его пути стратегией Фалла и контрударами Наполеона. Непостоянная богиня также благоприятствовала спасению главной русской армии от неминуемой опасности под Дриссой. Следуя плану Фалла, царь и Барклай де Толли отступили с этой армией к укрепленному лагерю на Двине. Но их умы уже начали терзать сомнения относительно мудрости планов Фалла. Фактически, натура Барклая была склонна к проверенному и практичному. Он происходил из шотландской семьи, которая давным-давно обосновалась в Ливонии и снискала процветание и уважение в рижской торговле. Таким образом, его происхождение и раннее окружение располагали его к тщательному взвешиванию свидетельств и недоверию к расплывчатым теориям. Его тщательность в военной организации во время войны в Финляндии, а также его неоспоримая честность и непредубежденность недавно снискали ему расположение царя, который назначил его военным министром. Он не был хорошо знаком с наукой ведения войны, и считалось, что ему совершенно не хватает широкого взгляда на события и тех виртуозных концепций, которые отличают великого воина.^[263] Но нации иногда гибнут из-за высокого гения, в то время как временами их можно спасти с помощью банального благоразумия; и здравый смысл Барклая сыграл немалую роль в спасении России.

За два месяца до того, как Великая армия перешла Неман, он выразил надежду, что Бог пошлет отступление русским армиям; и мы можем с уверенностью приписать его влиянию на царя своевременный приказ Багратиону отказаться от тактики флангового обхода и начать отступление, пока еще было время. Эта часть стратегии Фалла потерпела явный провал, и Александр, естественно, стал относиться к плану Дриссы с еще большим подозрением; и во время отступления из Вильно он приказал адъютанту Фалла, молодому немцу по имени Клаузевиц, которому было суждено снискать репутацию авторитетного стратега. Этот офицер не смог добросовестно представить ободряющий рапорт. Он нашел лагерь несовершенным во многих отношениях. Тем не менее Александр все еще цеплялся за надежду остановить продвижение французов перед этими мощными укреплениями.

По прибытии туда 8 июля эта надежда также рухнула. Мишо, молодой инженер сардинии, указал на несколько серьезных дефектов в их конструкции. Барклай также протестовал против заключения значительной части обороняющейся армии в лагерь, который мог быть легко блокирован огромными силами Наполеона. Наконец, поскольку размещенные там русские

резервы оказались удручающе слабыми как по численности, так и по эффективности, царь решил эвакуировать лагерь, доверить единоличное командование Барклаю и удалиться в свою северную столицу. Говорят, что перед тем, как он покинул армию, великий князь Константин, друг французского дела, предпринял последнюю попытку убедить его примириться с Наполеоном теперь, когда план кампании провалился. Если так, то Александр отразил эту попытку. Гордость правителя и справедливое негодование против Наполеона препятствовали какому-либо компромиссу; и, вероятно, теперь он понял, что безопасность для него и гибель для его врага заключались в твердом принятии той фабианской политики отступления и промедления, которую отстаивал Шарнхорст, а Барклай теперь был полон решимости проводить в жизнь.

Хотя Барклаю все еще мешали интриги Константина, Бенигсена и других генералов, которые ненавидели его как иностранца и притворялись, что презирают его как труса, он сразу же предпринял шаг, который он давно считал необходимым: он приказал отступать, что привело бы его в соприкосновение с Багратионом. Соответственно, оставив Витгенштейна с 25 000 человек сдерживать корпус Удино на средней Двине, он двинулся на восток, к Витепску. Правда, он оставил Санкт-Петербург открытым для нападения; но было маловероятно, что Наполеон, когда лето было на исходе, продвинулся бы так далеко на север и отказался от своего обычного плана нанесения удара по главным силам противника. Он, несомненно, постарался бы воспрепятствовать соединению двух русских армий, как только увидел бы, что это было целью Барклая. Так оно и оказалось. Вскоре Наполеон разгадал его замысел и попытался сорвать его быстрым продвижением от Вильно к Полоцку во фланг Барклая, но ему не удалось прорваться на его маршевую линию, и ему снова пришлось преследовать его.

Несмотря на значительное сокращение численности Великой армии, вызванное безжалостным наступлением по стране, практически лишенной припасов, император стремился форсировать генеральное сражение. Он надеялся застать Барклая в Витепске. "Вся русская армия находится в Витепске — мы накануне великих событий", - пишет он 25 июля. Но русские умело отступили ночью со своей позиции перед этим городом, в который он вошел 28 июля. Огорченный и озадаченный, вождь остается на две недели, чтобы организовать снабжение и склады, в то время как его авангард продолжает наступление, чтобы окружить русских под Смоленском. Снова его надежды оживают, когда он слышит, что Барклай и Багратион вот-вот соединятся близ этого города. Фактически, тамошние лидеры пришли к выводу о стратегическом отходе в тыл, который был абсолютно необходим, если они не хотели быть разгромленными поодиночке. Они рассматривали отступление совсем в другом свете. Осторожному Барклаю это предвещало долгожданный, но верный триумф, в то время как более импульсивный москвич рассматривал постоянное отступление как национальный позор.

Чувства солдат также не позволяли бездуховно покидать священный город в Верховьях Днепра, который стоит на страже собственно России. На эти чувства рассчитывал Наполеон, и справедливо. Теперь он не спешил наносить удар: удар должен был быть сокрушительным и окончательным. Наконец он слышит, что Даву, вождь, чья преданность и методическая настойчивость заслуживают его полного доверия, переправился через реку Днепр ниже города и построил печи для снабжения войска хлебом. И теперь, подтянув войска и припасы из тыла, он настаивает на завершении кампании.

Барклай все еще был за отступление; но религиозные чувства и патриотизм требовали от защитников стойко стоять за этими рушащимися стенами, в то время как Багратион обеспечивал линию отступления. Французы, расположившиеся на невысоких холмах, окружающих их с юга, рассчитывали на легкую победу, и Наполеон, похоже, почувствовал избыток уверенности. В любом случае, его диспозиция была далека от виртуозной. Он не предпринимал серьезных попыток угрожать русским коммуникациям с Москвой и не ждал, пока его артиллерия сокрушит крепостные валы и их защитников. Корпуса Нея, Даву и Понятовского с кавалерией Мюрата и императорской гвардией, размещенные в резерве, обещали легкую победу, и плотные пешие колонны с энтузиазмом двинулись на штурм. Они были встречены ужасающим огнем. Только после трехчасового отчаянного боя они овладели южными пригородами, и с наступлением темноты стены все еще не поддавались их атакам. Но тем временем пушки Наполеона сделали свое дело. Деревянные дома были повсюду в огне; только быстрое отступление могло спасти гарнизон от гибели; и среди вихря пламени и дыма Барклай отвел своих людей, чтобы присоединиться к Багратиону по дороге на Москву (17 августа).

Таким образом, русская армия снова ускользнула из рук Наполеона, хотя на этот раз она нанесла ему потери в 12 000 человек убитыми и ранеными. И перед ним встал важный вопрос, следует ли ему остановиться теперь, когда лето было на исходе, или вырвать под стенами Москвы триумф, который обещали и отвергли Вильно, Витепск и Смоленск. Этот мелодраматический рассказчик, граф Филипп Сегюр, утверждает, что при въезде в Витебск император воскликнул: "Кампания 1812 года окончена, кампания 1813 года сделает все остальное". Но вся "Переписка" Наполеона опровергает этот анекдот. Кроме того, у Наполеона не было привычки уходить на зимние квартиры в июле или отдыхать до того, как он разгромит главную армию противника. ^[264]

В Смоленске вопрос носил другой аспект. Наполеон сказал Меттерниху в Дрездене, что в текущем году он не будет продвигаться дальше Смоленска, но организует Литву зимой и снова двинется в наступление весной 1813 года, добавив: "Мое предприятие - одно из тех, решение которых требует терпения". Политика виртуозного бездействия, безусловно, понравилась его Маршалам. Но желание сокрушить вражеский тыл втянуло Нея и Мюрата в ожесточенную схватку при Валутино или Любино: французы понесли тяжелые потери, но в конце концов отвоевали позиции; и надежда на то, что противник полон решимости дать решающее сражение при Дорогобуже, подстегнула Наполеона, несмотря на его ранее принятое решение. ^[265] Кроме того, его положение казалось менее опасным, чем перед Аустерлицем. Великая армия явно превосходила соединенные силы Барклая и Багратиона. На Двине Удино сдерживал русских; и когда он был ранен, его преемник, Гувийон Сен-Сир, продемонстрировал тактическое мастерство, которое позволило ему легко одолеть такого простого бойца, как Витгенштейн. На правом фланге франции дела обстояли менее обнадеживающе, поскольку окончание русско-турецкой войны теперь оставляло русскую армию Прута свободной для похода на Волынь. Но в настоящее время Наполеон смог собрать сильные резервы под командованием Виктора и обеспечить свой тыл.

Тогда он с полной уверенностью двинулся вперед, чтобы вырвать у Фортуны последнюю милость. Она была оказана ему при Бородино. Там русские заняли решительную позицию. Национальная зависть к Барклаю, разожженная его затянувшимся отступлением, в конце концов привела к тому, что его сменил Кутузов; и, имея около 110 000 солдат, старый боевой генерал теперь яростно перешел в наступление. Его позиция на невысоком выпуклом изгибе

холмов, возвышающихся за деревней Бородино, была очень прочной. Справа от него была извилистая долина Колоцы, притока Москвы, а перед центром и слева от него местность спускалась к ручью. На этой более открытой стороне русские поспешно возвели земляные укрепления, которые в центре были известны как Большой редут, хотя и не имели тыловых укреплений.

Наполеон остановился на два дня, пока его собирающиеся силы не составили около 125 000 человек, и теперь он был готов закончить войну одним ударом. Осмотрев русскую позицию, он увидел ошибку Кутузова, широко растянувшего свои линии на север; и, совершая обходные маневры на этой стороне, чтобы предотвратить любую концентрацию московских войск, он планировал сокрушить более уязвимый центр и левый фланг атаками Даву и Понятовского на юге, а также корпусов Нея и итальянцев Эжена на редутах в центре. Даву умолял разрешить ему обойти русский левый фланг; но Наполеон отказался, возможно, из-за опасения, что русские могут отступить в начале дня, и решил наносить прямые удары слева и в центре. Когда рассвет 7 сентября разлился во всем великолепии затянувшегося лета, по сомкнутым рядам, расположенным вдоль противоположных склонов, загремели пушки, и колонны Наполеона двинулись на редуты и леса, прикрывавшие позиции москвитов. Защита была очень упрямой. Раз за разом небольшие редуты брались и отвоевывались; и в то время как в правом центре французов волна сражения поднималась вверх и спускалась вниз по склону, Большой редут сеял хаос среди итальянцев Эжена, которые храбро, но, как казалось, безнадежно боролись с этим роковым подъемом.

Затем было замечено волнующее душу зрелище. Внезапно масса кирасир вырвалась из рядов захватчиков, устремилась вверх по склону и окружила мрачный земляной вал потоком сверкающей стали. Там на короткое время ее остановили жесткие ряды москвитов, пока другая волна всадников, возглавляемая Гручи и Шастелем, не смела все перед собой, не взяла редут с его слабого фланга и не сокрушила его преданных защитников.^[266] Напрасно русская кавалерия пыталась спасти положение: всадникам Мюрата нельзя было отказать, и Кутузов, наконец, был вынужден отводить свои изуродованные линии, но медленно и вызывающе, под прикрытием сокрушительного артиллерийского огня.

Так закончилась самая кровопролитная битва столетия. В течение нескольких часов 800 орудий несли смерть противоборствующим массам; русские потеряли около 40 000 человек, и, что бы ни говорил Наполеон в своих бюллетенях, бреши в его расположении, вероятно, были почти столь же велики. Его порицали за то, что он не проявил Бдительности к колеблющемуся врагу в кульминационный момент боя; и солдаты громко обвиняли своего командира Бессьера в том, что он отговорил своего господина от этого шага. Но принести этих ветеранов в жертву русским пушкам было бы рискованным поступком.^[267] Его гвардия была прочным ядром его армии: на нее он всегда мог положиться, даже когда французские регулярные войска распадались, как это часто случалось после длительных маршей, на банды неуправляемых мародеров; и ее ценность предстояло выяснить во время отступления. Более уместно обвинить Наполеона в том, что он не попытался ранее в тот же день повернуть русских влево и оттянуть эту длинную линию вверх по реке. Здесь, как и под Смоленском, он прибегнул к лобовой атаке, которая могла привести к успеху только ужасающей ценой. День не принес генералам особой славы, за исключением Нея, Мюрата и Груши. За свою доблесть в схваткеНей получил титул князя Московского.

За неделю до этого пиррова триумфа Наполеон услышал об ужасном поражении французского оружия в Испании. Его старый друг Мармон, получивший маршальский жезл после Ваграма, с блестящим успехом померялся силами с Веллингтоном на равнинах Леона, пока ложный выпад под Саламанкой не привел к сокрушительному отпору, и его армия не обратилась в бегство обратно к Бургосу. Мадрид теперь был открыт и на некоторое время оккупирован английской армией (13 августа). Таким образом, пока Наполеон задыхался в Москве, его брат был изгнан из Мадрида, пока отзыв Сульта из Андалусии не дал французам превосходство в центре Испании, которое вынудило Веллингтона отступить в Сьюдад-Родриго. Он потерял плоды своей победы, за исключением того, что Андалусия была освобождена, но он сохранил свою армию для победоносной кампании 1813 года. Если бы Наполеон проявил такое же благоразумие, своевременно начав отступление из Москвы, кто может сказать, что следующие ожесточенные бои в Силезии и Саксонии снова не увенчали бы его ветеранов решающим триумфом?

Как бы то ни было, Великая армия с трудом продвигалась вперед сквозь жару, пыль и дым горящих деревень, чтобы обрести мир и изобилие в Москве. Но когда 14 сентября завоеватель вошел в этот город со своим авангардом, одиночество царило почти непоколебимо. Несколько фанатиков, цеплявшихся за традицию, согласно которой Кремль был неприступен, лениво пытались защитить его; но войска, чиновники, дворяне, торговцы и большая масса народа ушли, а военные склады были сожжены или вывезены. Губернатор Ростопчин освободил заключенных и сломал пожарные машины. Пламя быстро вырвалось наружу, и Боссе, префект дворца Наполеона, утверждает, что, глядя из Кремля, он видел, как пламя быстро вспыхнуло в нескольких районах подряд; и что тщательный осмотр подвалов часто доказывал, что в них хранились горючие вещества, а в одном случае французский солдат проглотил купорос, приняв его за бренди! Если все это правда, то это доказывает, что москвичи были полны решимости поджечь свою столицу. Но их авторы столь же решительно утверждали, что пожары были вызваны французскими и польскими грабителями. ^[268] Три дня спустя силы воздуха и демоны пьянства и безумия бушевали бесконтрольно; и сам Наполеон едва спасся от вихрей пламени, охвативших Кремль и едва не спаливших заживо последних членов его штаба. В течение нескольких часов пожар раздувался равноденственным штормом, а когда 20-го числа он утих, каторжники или грабители разожгли его заново.

Однако армия не нуждалась в укрытии, и, как замечает сержант Бургонь, даже если бы каждый дом был разрушен, все равно оставались пещеры и подвалы, которые обещали защиту от зимнего холода. Настоящей проблемой сейчас, как всегда, было снабжение продовольствием. Русские практически полностью очистили округ, и хотя Великая армия в течение двух недель питалась лакомствами и напитками, вскоре хлеба, муки и мяса стало очень не хватать. Тщетно император пытался переманить жителей обратно; они слишком хорошо знали привычки захватчиков, и, несмотря на несколько дальних набегов, которые иногда дорого обходились французам, солдаты начали страдать.

Октябрь продолжался с обманчивым сиянием, но не принес успокоения. Вскоре после великого пожара в Москве Наполеон направил Александру тайные и заманчивые предложения, предлагая предоставить России полную свободу действий в отношении Турции, включая Константинополь, который он до сих пор строго сохранял, и намекая, что польские дела также могут быть устроены по вкусу царя. ^[269] Но Александр покорно отказался принять плоды победы от человека, который, по его мнению, сжег святую Москву, и цеплялся за свою клятву никогда не вступать в переговоры со своим соперником, пока хоть один французский солдат стоит на

русской земле. Его решимость спасла Европу. И все же ему дорого обошелся смертельный вызов великому завоевателю: он до такой степени боялся захвата Санкт-Петербурга, что просил оставить кронштадтский флот в безопасности в Англии.^[270] Но постепенно он пришел к пониманию, что жертва Москвы спасла его империю и привела Наполеона к гибели. Кутузов также играл в выжидательную игру. Изображая желание мира, он собирался тайно встретиться с посланником Наполеона Лористоном, когда вмешались русские генералы и наш комиссар сэр Р. Уилсон и потребовали, чтобы это было публичным шагом. Однако представляется вероятным, что Кутузов лишь пытался втянуть французов в бесплодные переговоры; он знал, что ответ с берегов Невы не может прийти до тех пор, пока зима не начнет подкрадываться к северным степям.

Постепенно до Наполеона начинает доходить истина, что Москва не является *сердцем России*, как он утверждал Де Прадту. Постепенно он понимает, что у этого примитивного организма не было сердца, что его почти аморфная жизнь была широко распространена в мириадах деревенских коммун, прозябавших отдельно от Москвы или Петербурга, и что его поход в старую столицу был не более чем взмах меча через пруд.^[271] Если бы он с прежней тщательностью занялся изучением реальной природы враждебного организма, он, конечно, никогда бы не рискнул выйти за пределы Смоленска в текущем году. Но теперь он превратил мыслителя в завоевателя, и — верный признак надвигающейся катастрофы — его разум больше не точно оценивал факты, он переделывал их по своему образцу.

Путем длительного манипулирования людьми и событиями он сформировал догму личной непогрешимости. В последнее время этот порок в нем быстро нарастал. Это было заметно даже в мелочах. Графиня Меттерних описывает, как в начале 1810 года он настаивал на том, что Кауниц был ее братом, несмотря на то, что она часто отказывалась от этой чести; а несколько раньше Мармон с полунасмешливым испугом заметил, что, когда император неверно оценивал численность определенного корпуса, никакая поправка не оказывала на него ни малейшего влияния; его мысли всегда возвращались к первой цифре. В более важных вопросах эта особенность была столь же заметна. Его цепляние за предвзятые представления, какими бы несправедливыми или обременительными они ни были для Великобритании, Пруссии или Австрии, было основной причиной его войн с этими державами. И теперь тот же самый недостаток, выжженный в его существе пламенем сотен побед, удерживал его в Москве в течение пяти недель в уверенности, что Россия поражена насмерть и что легкий царь, которого он знал в Тильзите, снова преклонит колено. Напрасная надежда. "Теперь я узнал его, - сказал царь, - Наполеон или я; я или Наполеон; мы не можем править бок о бок". Воодушевленный религиозной верой и героизмом своего народа, Александр молча бросил вызов победителю Москвы и упрекнул Кутузова за прием французского посланника.

Наконец, 18 октября русские отбросили "ножны" и застали врасплох отряд Мюрата примерно в сорока милях к югу от Москвы, понеся потери в 3000 человек. Но уже днем или двумя ранее Наполеон осознал тщетность своих надежд на мир и решил отступить. Единственной альтернативой было провести зиму в Москве, и он рассудил, что состояние дел во Франции и Испании делает такой курс опасным. Поэтому он сообщил Марет, что Великая армия отправится на зимние квартиры между Днепром и Двиной.^[272]

В его письмах нет и намека на то, что он ожидал катастрофического отступления. Погода до сих пор была "такой же прекрасной, как в Фонтенбло в сентябре", и он намеревался отступить более

южным маршрутом, который не был измотан войной. Полный уверенности, он выступил 19-го числа со 115 000 человек, убежденный, что легко доберется до дружественной Литвы и своих зимних квартир "до того, как наступят сильные холода". Пелена была грубо сорвана с его глаз, когда к югу от Малоярославиц его маршалы обнаружили, что русские настолько укрепились, что любая дальнейшая атака казалась актом безрассудства. Корпус Эжена жестоко пострадал в упорном бою в этом городе и его окрестностях, и советы Бертье, Мюрата и Бессьера были против его обновления. Час или больше император сидел молча, уставившись на карту. Единственным разумным ходом, который теперь оставался, было отступление на север, а затем на запад через Бородино, *через его разрушенную линию наступления*.^[273] Затем армия скорбно тащилась назад, к Бородино (26 октября):

"Повсюду (говорит Лабом) мы видели брошенные повозки из-за отсутствия лошадей, которые могли бы их тащить. Те, кто нес с собой московскую добычу, трепетали за свои богатства; но больше всего мы были встревожены, видя плачевное состояние нашей кавалерии. Деревни, которые совсем недавно давали нам приют, сравнялись с землей: под их пеплом лежали тела сотен солдат и крестьян.... Но самым ужасным было Бородинское поле, где мы увидели сорок тысяч человек, погибших там, но лежащих непогребенными".

Какое-то время Кутузов воздерживался от нападения на измученное войско; но в начале ноября русская кавалерия начала наводнять маршевую линию, и у Вязьмы их собирающиеся силы с трудом сдерживались: если бы Кутузов помог своим лейтенантам, он мог бы уничтожить своих изголодавшихся врагов.

До сих пор погода была на редкость мягкой и открытой, настолько, что суеверные крестьяне рассматривали это как знак того, что Бог благоволит Наполеону. Но, наконец, 6 ноября первая зимняя буря обрушилась на разрозненный массив и довершила его бедствия. Ледяные порывы несли смерть в сердца немощных, и жалкая борьба человека с человеком слилась теперь в ужасную борьбу с силами воздуха. Заносы снега скрывали пейзаж; блуждающие колонны часто сбивались с дороги, и тысячи людей немедленно прекращали свои страдания. За исключением Старой гвардии, теперь было утрачено всякое подобие военного порядка, и батальоны превратились в группы мародеров.

Поиски еды и топлива стали яростными, даже когда жестокий холод спал. Поведение Бургунди, сержанта императорской гвардии, может служить иллюстрацией того, с помощью каких ухищрений выносливая властная натура прокладывала себе путь сквозь обломки человечества вокруг: "Если бы я мог встретить кого-нибудь в мире с буханкой хлеба, я бы заставил его отдать мне половину — нет, я бы убил его, чтобы получить все целиком". Таковы были его чувства: он руководствовался ими, собирая еду в лесу и схватив котелок, в котором ординарец тайком варил картошку для своего генерала. Бургундец убежал с картошкой, съел большую ее часть наполовину разваренной, вернулся к своим товарищам и сказал им, что ничего не нашел. Заняв место у их костра, он соорудил себе постель в снегу, лег под медвежью шкуру и обхватил свой ставший теперь драгоценным рюкзак, в то время как остальные стонали от голода. И все же, как показывает его рассказ, от природы он не был бессердечным человеком: в такой ситуации человек склонен опуститься до уровня волка. Лучшей пищей, какую только можно было достать, была конина, и голодные толпы набрасывались на каждую павшую лошадь, оспаривая ее тушу со стаями собак или волков, которые слонялись вдоль линии марша.^[274]

Мысль о Смоленске была теперь дороже всего для каждого сердца; и, окрыленная надеждой на отдых и пропитание, армия двинулась на запад так же, как раньше, задыхаясь, брела на восток сквозь жестокую летнюю жару, прикрываясь Москвой. Надежда, которая теплилась в Смоленске, была всего лишь жестоким миражом. Руины этого города представляли собой плохое укрытие; запасы были израсходованы авангардом; и, к ужасу итальянцев Эжена, люди толпами выбегали из этой воображаемой обители изобилия и набрасывались на каждую лошадь, которая оступалась навстречу своей гибели на скользких берегах Днепра. С непостижимой глупостью Наполеон или его штаб не предусмотрели средств для чистки подков лошадей. Казаки, узнав об этом, воскликнули Вильсону: "Бог заставил Наполеона забыть, что здесь была зима".

Бедствия теперь сгущались вокруг Великой армии. Во время своей остановки под Смоленском (9-14 ноября) Наполеон услышал, что силы Виктора на Двине потерпели поражение от русских, и были основания опасаться, что московская армия на Украине перережет линию отступления. Остановка под Смоленском также дала время Кутузову подойти параллельно основным силам, и если бы он продвигался вперед с обычной скоростью и проявил хотя бы десятую долю своей обычной драчливости, он мог бы захватить Великую армию и ее предводителя. Как бы то ни было, его слабая атака на арьергард у Красного лишь дала Нею возможность продемонстрировать свое бесстрашие. "Храбрый из храбрых" пробился сквозь тучи казаков, переправился через Днепр, хотя и с потерей всех своих орудий, и присоединился к основным силам. Наполеон испытал огромное облегчение, услышав о побеге этого Ланселота из императорского рыцарства. Он приказал стрелять из пушек с подходящими интервалами, чтобы сообщить новости, если они будут благоприятными; и, услышав их отдаленный гул, он воскликнул своим офицерам: "У меня в подвалах Тюильри более 400 000 000 франков, и я с радостью отдал бы все это за выкуп моего верного товарища по оружию". ^[275]

Гораздо большей была опасность на реке Березина. Русская армия юга захватила Борисовский мост, от которого зависела безопасность Наполеона, и Удино тщетно пытался отвоевать его обратно. Москвичи сожгли его на его глазах. Таковы были новости, которые Наполеон услышал в Бобре 24 ноября. Это потрясло его, потому что со свойственной ему чрезмерной самоуверенностью он уничтожил свои понтоны на берегах Днепра, и теперь не было никакой возможности переправиться через реку, обычно незначительную, но разлившуюся от наводнений и перекрытую лишь наполовину растаявшим льдом. И все же французские ресурсы были далеки от истощения. Генерал Корбино, узнав от нескольких крестьян, что реку можно перейти вброд в трех лье выше Борисова, сообщил об этом Удино, который немедленно приготовился переправляться там. Наполеон, прибывший 26-го, одобрил план и радостно сказал своему маршалу: "Что ж, ты будешь моим слесарем и откроешь мне этот проход". ^[276]

Чтобы обмануть врага, император отправил один или два полка на юг с длинным хвостом приверженцев лагеря, которые были приняты за армию. И этот хитрый ход, гармонирующий с недавними демонстрациями австрийцев на стороне Минска, убедил московского лидера в том, что Наполеон намеревался пожать им руку. ^[277] В то время как русские патрулировали реку на юге, французские саперы работали, часто по шею в воде, над перекидыванием двух легких мостов через ручей выше по течению. Героическим трудом, который для большинства из них привел к смерти, мосты были быстро наведены, и, когда 26 ноября стало смеркаться, корпус Удино численностью в 7000 человек прочно укрепился на обратном пути. Но они были замечены русскими разведчиками, и когда на следующий день Наполеон и другие корпуса с

трудом переправились через реку, враг подошел, захватил в плен целую дивизию, а на следующий день попытался сбросить захватчиков в реку. Виктор и аррьергард стойко сдерживали их; но в какой-то момент русская армия Двины временно продвинулась вперед и уничтожила артиллерийским огнем мосты и подходы к ним.

Затем охваченные паникой толпы раненых и отставших, женщин и приверженцев лагеря, корчились и пробивали себе дорогу, пока хрупкие доски не оказались завалены живыми и мертвыми. В довершение ко всем ужасам, один мост рухнул под тяжестью пушки. Штурм единственного оставшегося моста стал еще более неистовым, и день завершился среди сцен невыразимого горя. Отважные пловцы бросались в реку только для того, чтобы стать жертвами льдин и леденящего холода. На рассвете 29-го французский аррьергард обстрелял мост, чтобы прикрыть отступление. Затем с дальнего берега донесся последний, громкий вопль ужаса, и отчаяние или отвращение к жизни заставили многих закончить свои страдания в реке или в огне.

Такова была переправа через Березину. Ужасная история была рассказана еще раз с новыми ужасами, когда зимние паводки утихли и обнажили около 12 000 трупов вдоль русла этого рокового ручья. Казалось бы, если бы Наполеон или его штаб поторопили сторонников лагеря переправиться в ночь с 27-го на 28-е, этих ужасных сцен не произошло бы, поскольку в ту ночь мосты *вообще не использовались*. Более вопиющей беспечности, чем эта, трудно себе представить; и все же, даже после этой шокирующей ошибки, преданность солдат своему командиру нашла трогательное выражение. Когда он страдал от холода на жалком бивуаке к западу от реки, офицеры ходили вокруг, требуя сухих дров для его костра; было видно, как продрогшие люди предлагали драгоценные ветки со словами: "Возьмите это для императора".
^[278]

В тот день Наполеон написал Маре, что, возможно, оставит армию и поспешит в Париж. Его присутствие там, безусловно, было необходимо, если он хотел спасти свою корону. 6 ноября, в день первой снежной бури, он услышал о донкихотской попытке французского республиканца генерала Мале свергнуть правительство в Париже. С горсткой последователей, но вооруженный ложным сообщением о пленении Наполеона в России, этот человек арестовал нескольких чиновников, пока план не рухнул из-за полной бессмысленности.^[279] "Как сейчас, если бы мы были в Москве", - воскликнул император, услышав эту любопытную новость; и он с огорчением увидел, что некоторые из его генералов просто пожали плечами. После переправы через Березину он мог надеяться, что худшее позади и запасов в Вильно и Ковно хватит для остатков его армии. Холод на какое-то время стал менее суровым. Поведение Пруссии и Австрии было, по правде говоря, более важным, чем ход отступления. Если бы эти Силы не держались на плаву, ни один француз не пересек бы Эльбу.

Затем, 5 декабря, в Сморгони он сообщил своим маршалам, что покидает их, чтобы собрать 300 000 человек; и, поручив командование Мюрату, он поспешил прочь. Его главной заботой было не допустить, чтобы о масштабах бедствия стало известно как можно скорее. "Уберите из Вильно всех посторонних, - писал он Марет. - на армию сейчас смотреть неприятно". Предосторожность была крайне необходима. Мороз наступил снова, и теперь с непрекращающейся силой. Вильно представлял собой жалкое убежище. Запасы вскоре были разграблены, и, когда казаки приблизились, Мюрат и остатки Великой армии обратились в бегство в ужасающей панике. Среди все усиливающихся страданий они продолжали бороться,

пока из 600 000 человек, которые гордо переправились через Неман для завоевания России, только 20 000 голодных, обмороженных, безоружных призраков не проковыляли по мосту в Ковно в середине декабря. Вспомогательные корпуса, предоставленные Австрией и Пруссией, отступили почти невредимыми. Но остальная часть этого могучего воинства гнила в российских тюрьмах или покоилась под снежным покровом Природы. ^[280]

ГЛАВА XXXIII

ПЕРВАЯ САКСОНСКАЯ КАМПАНИЯ

Несмотря на потерю самой великолепной армии, когда-либо созданной человеком, Наполеон ни на йоту не утратил своей решимости доминировать над Германией и диктовать условия России. В Варшаве, во время своего отступления, он сообщил Де Прадту, что от возвышенного *до смешного* всего один шаг, то есть от наступления на Москву до отступления. В Дрездене он призвал своих союзников, Австрию и Пруссию, дать отпор русским; а в Париже он напряг все нервы, чтобы призвать молодежь Империи к оружию. Повестка встретила готовый отклик: ему оставалось только топнуть ногой, когда новости из Восточной Пруссии выглядели зловещими, и Сенат пообещал набрать 350 000 призывников (10 января).

По правде говоря, его гений покорил умы Франции. Великолепие его целей, его до сих пор торжествующая энергия и очарование его европейского превосходства пробудили все способности французского и итальянского народов и заставили их пульсировать в экстатической активности. Инстинктивно он понимал все хитросплетения их бытия, которыми его гений управлял с легкостью отмычки. Грубый шок от катастрофы в России лишь подчеркнул основательность его правления и тупую доверчивость сорока трех миллионов его подданных.

И все же их терпение вполне могло быть исчерпано. Его военные нужды давным-давно привлекли призывников за год до того, как они стали юридически обязательными; но могучий водоворот Московской кампании теперь втянул во всепожирающий водоворот 150 000 юношей моложе двадцати лет. В голландских и немецких провинциях его империи число тех, кто избежал воинской повинности, было очень велико. Фактически, число "непокорных призывников" во всем королевстве составляло 40 000 человек. Большие отряды их рыскали по лесам Бретани и Вандеи, пока не были отправлены мобильные колонны, чтобы загнать их в казармы.

Но почти во всей Франции (собственно) имя Наполеона по-прежнему оставалось неизменным талисманом, апеллируя к двум сильнейшим инстинктам кельтов: привязанности к земле и страсти к героическим подвигам. Так получилось, что крестьянство отдало своих сыновей на "съедение пушкам" с той же покорностью, которую проявили солдаты, упавшие замертво в заснеженную постель, не сказав ни слова упрека виновнику своих страданий. Такое же подобострастие проявили официальные лица и законодатели Франции, которые смиренно выслушали упреки императора в их слабости в деле Мале и с легким удивлением выслушали его обличения республиканской идеологии — *туманной метафизики, которой можно приписать все несчастья нашей прекрасной Франции*. Ни один язык не осмеливался произнести возражение, которое, должно быть, бродило в каждом мозгу. ^[281]

Но его объяснения и призывы удовлетворили не каждого француза. Многие были потрясены ужасающим истощением сил нации. Они спросили наедине, как будет покрыт дефицит 1812 года и дальнейшие расходы 1813 года, даже если он передаст общинные владения на службу государству. Они указывали на разоренных или потерянных союзников; на Испанию, где трон Иосифа все еще шатался от потрясения при Саламанке; на Польшу, лежащую искалеченной у ног московитов; на Италию, опустошенную потерей своих самых храбрых сыновей; на Рейнскую конфедерацию, столь же пострадавшую и менее покладистую; на Австрию и Пруссию, где только робкие монархи и расчетливые дворы удерживали народы верными ненавистному французскому союзу. Они утверждали, что только путем смены системы можно умиротворить ненависть Европы и избежать формирования новой, более обширной коалиции. Пусть Наполеон прекратит навязывать свои методы коммерческой войны на Континенте; пусть он заключит мир на почетных условиях с Россией, где главный министр Романцов был готов пойти ему навстречу; пусть он выведет свои гарнизоны из прусских крепостей, смягчит чувствительность Австрии — и события будут клониться к прочному и почетному миру.

Ко всем призывам к благоразумию Наполеон был глух. Его инстинкты и опыт общения с королями не позволяли ему уступать ни в одном важном вопросе. Он решил продолжить войну от Тежу до Вислы, поддержать Иосифа в Испании, надежно закрепить свои гарнизоны в каждой крепости на востоке, вплоть до Данцига. Россия и Пруссия, сказал он, больше нуждаются в мире, чем Франция. Если бы он начал с сдачи городов, они потребовали бы королевства, тогда как, ничего не уступая, он запугал бы их. И если бы они действительно объединились, их силы были бы разбросаны по огромному пространству; он легко бы расправился с их армиями, когда им не помогал климат; и единственная победа развязала бы неуклюжий узел (*ce noeud mal assorti*). ^[282]

По правде говоря, если он не учитывал Испанию, обзор военного положения был во многих отношениях обнадеживающим. Могущество Англии было ослаблено объявлением войны Соединенными Штатами. В Центральной Европе его положение по-прежнему оставалось командным. Он удерживал почти все крепости Пруссии, и хотя он потерял большую армию, эти потери в значительной степени коснулись поляков, немцев, итальянцев и более мелких народов. Многие из лучших французских войск и все его самые способные генералы выжили. Следовательно, его гвардия могла быть сформирована заново, и мозги его армии также были целы. Война не выявила среди русских военного гения; и весь его прошлый опыт общения со "старыми машинами коалиции" подтверждал уверенность в том, что их ржавые шестеренки, даже смазанные за счет английских субсидий, будут медленно вращаться и сломаются при

первом же исключительном напряжении. Так было при Маренго, при Аустерлице, при Фридланде. Почему бы истории не повториться?

В то время как он руководствовался исключительно прошлым опытом, происходили события, возвестившие о начале новой эры в Центральной Европе. 30 декабря прусский генерал Йорк, возглавлявший прусский корпус, ранее служивший под командованием Макдональда в Курляндии, заключил с русскими Тауроггенскую конвенцию, оговаривающую, что этот корпус должен удерживать район вокруг Мемеля и Тильзита как нейтральную территорию до тех пор, пока не станет известно о решении Фридриха Вильгельма. Строго говоря, эта конвенция была серьезным нарушением международного права и актом предательства по отношению к Наполеону. Король сначала рассматривал ее именно в этом свете; но всем его подданным это показалось благородным и патриотическим поступком. Продолжать войну с Россией в интересах Наполеона было бы актом политического самоубийства.

Тем не менее, в течение нескольких недель Фридрих Вильгельм ждал развития событий; и эти события привели к войне, но не против России, а против Франции. Прусский канцлер Харденберг делал все возможное, чтобы одурачить французов в Берлине и незаметно сыграть на руку пламенным немецким патриотам. Опубликовав официальный упрек Йорку, он тайно послал майора Тиля успокоить его. Он сделал больше: чтобы спасти короля от французского влияния, все еще преобладавшего в Берлине, он убедил его отправиться в Бреслау под предлогом набора там еще одного контингента для службы под началом Наполеона. Уловка полностью удалась: она обманула французского посла Сен-Марсана; она одурачила даже самого Наполеона. Со своей неизменной привычкой считать само собой разумеющимся, что события будут развиваться в соответствии с его приказом, император предположил, что это было сделано для набора корпуса численностью 30 000 человек, который он просил предоставить Фридриха Вильгельма, и сказал принцу Хацфельду (29 января): "Ваш король направляется в Бреслау: я считаю это своевременным шагом". Таково было настроение Наполеона даже после того, как он услышал о соглашении Йорка с русскими. Это событие он считал "худшим событием, которое могло произойти". Однако ни это, ни патриотическое брожение в Пруссии не сняли пелену с его глаз. Он все еще верил, что пруссаки последуют за своим королем, а король будет повиноваться ему. 3 февраля он написал Марет, жалуясь на то, что 2000 прусских всадников заперлись в силезских городах, "как будто они боятся нас, вместо того чтобы помогать нам и прикрывать свою страну".

Оказавшись вдали от Берлина, Фридрих Вильгельм оказался в неудержимом потоке национального энтузиазма. В душе он был не меньшим патриотом, чем самый пылкий из студентов университета; но он гораздо лучше их понимал ужасные риски войны с Французской империей. Его маленькое королевство с населением в 4 700 000 душ, всего с полудюжиной цитаделей, которые оно могло назвать своими, королевство, разоренное войсками Наполеона как в войну, так и в мирное время, пока торговля и кредит не стали лишь смутным воспоминанием, - такая страна вряд ли могла позволить себе бросить вызов империи, в десять раз более густонаселенной и более чем в десять раз более могущественной. Правда, русские вливались в страну под видом дружбы, но горькие воспоминания о Тильзите не позволяли безоговорочно доверять Александру. И, если год огненных испытаний выжиг из его натуры все шлаки, могла ли его армия, измученная той ужасной зимней кампанией и истощенная болезнями, которые распространяло ужасное войско Наполеона во время своего бегства,

когда-либо надеяться, даже с помощью молодых рекрутов Пруссии, справиться с объединенными силами Наполеона и Австрии?

Ибо в настоящее время казалось, что венский двор будет крепко держаться за союз с Францией. Там Меттерних был всемогущ, и краеугольным камнем его системы было осторожное, но стремящееся к наживе подчинение Наполеону. Не то чтобы император Франциск и он сам любили французского монарха; но теперь они смотрели на него как на столп порядка, как на барьер против якобинизма во Франции, против зловещего пангерманизма, проповедуемого прусскими энтузиастами, и против московской агрессии в Турции и Польше. Велика была их озабоченность, во-первых, русско-турецким миром, который закрепил москвитов в северном устье Дуная, и еще больше - победоносными налетами русского орла на Варшаву и Позен. Как они могли теперь надеяться получить от Турции компенсацию за потерю Тироля и Иллирии, на которую они недавно рассчитывали, и как спасти какие-либо польские земли от захвата Россией? В настоящее время России следовало опасаться больше, чем Наполеона. Ее влияние казалось тем более угрожающим политике равновесия, от которой зависела судьба Габсбургов.

Только постепенно эти страхи и ревность были улажены. Потребовалось все внимание британского посланника лорда Уолпола, который тайно отправился в Вену и пообещал заманчивые выгоды, чтобы успокоить эти тревоги и еще раз обратить взор Австрии на ее потерянные провинции - Тироль, Иллирию и Венецию. Пока, однако, из этих попыток ничего не вышло; и когда французы обнаружили присутствие Уолпола в Вене, Меттерних умолял его уехать. ^[283]

Таким образом, в настоящее время Австрия заняла нейтральную позицию. С Россией было заключено перемирие, и в Париж был направлен специальный посланник, чтобы объяснить желание императора Франциска выступить в качестве посредника с целью заключения всеобщего мира. Последние исследования австрийской политики показывают, что кайзер желал почетного мира для всех заинтересованных сторон и что Меттерних, возможно, разделял его взгляды. Но в начале переговоров Наполеон проявил вспышки недоверия к искренности своего тестя, и Австрия постепенно изменила свое отношение. Эта перемена должна была стать фатальной для Наполеона. Но вопрос о том, было ли это вызвано упрямством Наполеона, или вероломством Меттерниха, или силой обстоятельств, следует отложить на время, пока мы рассматриваем события не меньшей важности и представляющие больший интерес.

Пока Австрия балансировала, а Фридрих Вильгельм вел переговоры, более суровые умы Северной Германии ворвались на некогда священную почву дипломатии и государственного управления. Борьба против Наполеона была подготовлена изгнанником Штейном, а войну впервые объявил профессор.

Среди многих факторов, побудивших царя к войне за освобождение Пруссии и Европы, не последним было влияние, оказанное при его дворе во второй половине 1812 года убежденным немецким патриотом Штайном. Его героический дух никогда не ослабевал, даже в самый мрачный час унижения Пруссии; и теперь он убедительно указал, что единственным надежным средством свергнуть Наполеона было поднять против него Германию. Продолжать сдержанную оборону в Варшаве означало бы нарваться на еще одно французское вторжение в 1813 году. Безопасность России требовала преследования французов за Эльбой и сплочения немцев против человека, которого они ненавидели. Призыв попал в цель. Это возродило стремление

Александра к освобождению Европы, которое он похоронил в Тильзите; и это соответствовало побуждениям амбициозного государственного деятеля. Только свергнув господство Наполеона в Германии, царь мог получить свободу действий для прочного урегулирования польского вопроса. Восточный поворот, приданный его политике в 1807 году, подошел к концу - но не раньше, чем Россия сделала еще один шаг к Босфору. Поставив одну ногу в устье Дуная, Колосс теперь готовился шагнуть по Центральной Европе. В 1792 году цели Екатерины II наконец были реализованы. В то время как Европа боролась с революционной Францией, хватка Москвы должна была ужесточиться в отношении Польши. Неудивительно, что 13 января Александр прокомментировал "великолепие нынешней ситуации" или что он решил двигаться дальше. Он мало прислушивался к галантным советам Романцова или печальным предупреждениям ненавидящего немцев Кутузова; и 18 января он уполномочил Штейна временно управлять от его имени районами Пруссии (Собственно), оккупированными русскими войсками.

Столь нерегулярное разбирательство могло быть оправдано только крайней необходимостью и успехом. Это было более чем оправдано; это было триумфально оправдано. Четыре дня спустя Штайн прибыл в Кенигсберг вместе с поэтом-патриотом Арндтом. Были созваны сословные, или Провинциальные собрания, Восточной и Западной Пруссии, которые от всего сердца проголосовали за создание ландвера или ополчения, а также последней линии обороны под названием Ландштурм. Этот шаг, уникальный в истории Пруссии, был предпринят помимо королевской санкции, почти вопреки ей: на самом деле это было благодаря властной воле Штейна, который видел, что великий народный порыв, и только он, может преодолеть инертность короля и чиновников. Этот импульс возник у него самого, в силу полномочий, данных ему императором Александром. И шар, запущенный таким образом в Кенигсберге, должен был набирать массу и импульс, пока, благодаря мощной помощи Веллингтона на Юге, он не свергнет Наполеона в Париже.

Поступку изгнанника способствовало слово мыслителя и провидца. Достойный профессор Университета Бреслау по имени Стеффенс давно размышлял о том, как бы помочь своей стране. Прибытие Фридриха Вильгельма разожгло пламя преданности, которое озадачило этого скромного и довольно педантичного правителя. Но он пока отреагировал на это так, что позволил Харденбергу издать (3 февраля) призыв к добровольцам "укрепить ряды старых защитников страны". Призыв был совершенно расплывчатым: в нем не уточнялось, будут ли они служить против номинального врага, России, или против реального врага, Наполеона. Размышляя над этим важным вопросом, Стеффенс, как и все добрые патриоты, услышал среди ночи голос совести, провозглашающий: "Ты должен объявить войну Наполеону". На своей ранней утренней лекции по физике, на которую пришло очень мало народу, он сказал студентам, что выступит перед ними в одиннадцать по поводу набора добровольцев. На этой лекции было многолюдно; и перед морем нетерпеливых лиц Стеффенс высказал мысль, которая кипела в каждом мозгу, - жгучее желание *войны с Наполеоном*. Он предложил себя в качестве новобранца: 200 студентов из Бреслау и 258 из Берлинского университета вскоре перешли под знамена армии, и это тоже были в основном представители тех классов, которые когда-то ненавидели армию. Благодаря учению Фихте и еще более глубоким урокам невзгод, сознание Германии теперь было настроено на сторону национальной независимости и против всеядного империализма.

Куда вел разум, туда следовало тело, хотя и с некоторой запинкой. По правде говоря, король и его чиновники находились в трудном положении. Они не доверяли русским, которые, казалось,

главным образом стремились втянуть Фридриха Вильгельма в войну с Францией и впоследствии решить вопрос о границе. Но восточная граница была вопросом жизни и смерти для Пруссии. Если бы Александр сохранил за собой все великое герцогство Варшавское, государствам Гогенцоллернов угрожала бы с востока такая же серьезная угроза, как когда-либо французам при Магдебурге на западе. И царь, казалось, решил сохранить за собой всю Польшу. Он сказал прусскому посланнику Кнезебеку, что, передавая Фридриху Вильгельму всю Саксонию, Россия должна сохранить за собой все польские земли - решение, которое позволило бы водрузить русские штандарты почти на берегах Одера. Более того: Кнезебек обнаружил среди русских чиновников сильную, хотя пока еще лишь наполовину выраженную, тоску по всей Пруссии к востоку от нижней Вислы.

Со своей стороны, Фридрих Вильгельм лелеял большие надежды. Он знал, что русские войска ужасно страдали от лишений и болезней, что пока у них на польских границах насчитывалось всего 40 000 человек боеспособного состава и что они срочно нуждались в помощи Пруссии. Поэтому он заявил, что, если он присоединится к России в войне против Наполеона, он должен вернуть всю территорию, которая была прусской Польшей, за исключением района Белосток, уступленного при Тильзите. ^[284] Тогда казалось, что польский вопрос еще раз окажет на европейский союз то разлагающее влияние, которое ослабляло Центральные державы со времен Вальми. Если бы Наполеон сейчас послал в Бреслау такого тонкого интригана, как Савари, яблоко раздора могло быть брошено с фатальными последствиями. Но судьба его империи тогда зависела от пьемонтского дворянина Сен-Марсана, который проявил исключительную доверчивость к раболепию Пруссии. Он принял все объяснения Харденберга (включая тонкий официальный упрек Стеффенсу) и практически ничего не сделал для противодействия дипломатическим подходам России. Таким образом, почва была расчищена, и царь смог обратиться прямо к сердцу Фридриха Вильгельма. Теперь он это сделал. Кнезебек был отложен; и Александр, наполовину удовлетворив требования Пруссии, пообещал в договоре, подписанном в Калише 27 февраля, оставить Пруссии все ее нынешние территории и обеспечить ей эквивалент в "статистическом, финансовом и географическом смысле" земель, которые она потеряла с 1806 года, вместе с территорией, приспособленной для соединения собственно Пруссии с провинцией Силезия. ^[285]

Представляется несомненным, что влияние Штейна оказало большое влияние на Александра в этом окончательном компромиссе, который отложил раздражающий вопрос о восточной границе и направил всю энергию двух великих государств на Освободительную войну. Штейн был отправлен к Фридриху Вильгельму в Бреслау; но король едва ли удостоил его встречи, и величайшему из немецких патриотов было позволено оставаться на чердаке этого города во время изнурительного приступа лихорадки. Но он пережил болезнь и официальное пренебрежение, когда одержал победу над славянскими интригами; и у него под рукой было то бальзамическое средство, которое есть у многих способных людей, — знание того, что, даже несмотря на то, что им самим пренебрегали, его планы были приняты с благотворными и далеко идущими результатами.

Русско-прусский союз был твердо поддержан лордом Кэткартом, британским послом в России, который прибыл в штаб-квартиру 2 марта. В настоящее время Великобритания определенно не присоединилась к союзникам; но дискуссии по Ганноверскому вопросу, которые ранее отделяли нас от Пруссии, вскоре показали, что мудрость была приобретена в школе невзгод. Теперь Гогенцоллерны отказались от всех притязаний на Ганновер, хотя и проявили некоторое

отвращение к требованию нашего принца-регента о том, чтобы электорат получил некоторые территориальные выгоды.

Таким образом, два вопроса, по которым Наполеон рассчитывал, что они наверняка засорят колеса Коалиции, как это уже случалось в прошлом, были устранены, и был расчищен путь для соглашения, более прочного, чем любое из известных Европе до сих пор. 17 марта в Бреслау была заключена Русско-пруссская конвенция, в соответствии с которой эти державы согласились освободить Германию от Франции, распустить Рейнскую конфедерацию и призвать немецких князей и народ к себе на помощь; каждый князь, который откажется, понесет потерю своих Государств; и были приняты меры для временного управления землями, которые союзники должны были оккупировать. Фридрих Вильгельм также обратился к своему народу и своей армии и учредил желанный орден "За заслуги" - Железный крест.

Но в призывах и украшениях не было особой нужды. Народ бросился к оружию с пылом, который мог соперничать с *массовой дамбой* во Франции в 1793 году. Дворяне и студенты, профессора и крестьяне, поэты и торговцы вскинули мушкеты на плечо. Домохозяйки и девушки приносили свои скудные сбережения или драгоценные безделушки в качестве подношений на алтарь Отечества. Один случай заслуживает особого упоминания. Девушка, по имени няня, локоны которой были ее единственным богатством, сберегла их, продала и принесла цену в два талера на святое дело. Благородный порыв охватил Германию. Добровольцы прибыли издалека, многим из них предстояло участвовать с иррегулярной конницей Лютцова в его диких приключениях. Самым примечательным из них был одаренный молодой поэт Корнер, саксонец по происхождению, который теперь оставил легкую, сияющую поэтическими обещаниями жизнь в беззаботном городе Вене, чтобы последовать за прусским орлом. "Великое время требует великих сердец", - писал он своему отцу. "Должен ли я писать водевили, когда чувствую в себе мужество и силу присоединиться к актерам на сцене реальной жизни?" Увы! для него конец был быстрым и трагичным. Вскоре после того, как он написал оду своему мечу, он пал в стычке под Гамбургом.

Германия оплакивала его потерю; но еще больше она оплакивала то, что ее величайший поэт, Гете, не испытывал прилива национального энтузиазма. Великий Олимпийец был слишком погружен в свои возвышенные размышления, чтобы проявлять сочувствие к борющимся внизу смертным: "Сбросьте свои цепи, если хотите: этот человек (Наполеон) слишком силен для вас: вам их не разорвать". Таково было его непрофессиональное высказывание в Дрездене старшему Корнеру. У людей, которые трогали пульс народа, таких сомнений не было. "Ах! это были благородные времена", - писал Арндт: "свежая юная надежда на жизнь и честь пела во всех сердцах; она эхом разносилась по каждой улице; она величественно прокатывалась по каждому алтарю". Вид немцев, стекающих со всех концов в Силезию, чтобы сражаться за своих прусских чемпионов, пробудил в нем видение Объединенной Германии, которое воплотилось в песне "Что такое Отечество немца?" ^[286]

Против этой постоянно нарастающей волны национального энтузиазма Наполеон противопоставил ресурсы, которые галльская преданность все еще давала для удовлетворения его требований. Они были на удивление велики. Менее чем через полгода, после потери полумиллиона человек, под командованием имперских орлов была сформирована новая армия, почти такая же многочисленная. Тридцать тысяч испытанных солдат были доставлены из Испании, что значительно ослабило давление на Веллингтона. Италия и гарнизонные города

империи направили огромное количество войск. Но большинство составляли молодые, необученные солдаты; и было замечено, что призывники, родившиеся в годы Террора 1793-4 годов, не обладали выносливостью более ранних призывников. Они были храбры, великолепно храбры, и император всеми средствами стремился вдохнуть в них свой собственный неукротимый дух. Один из них описал, как, вручая им знамена, он произнес краткую речь; и в конце, встав на стременах и протянув руку, он обратился к ним с вопросом: "Вы клянетесь охранять их?" Я чувствовал, как и все мы, что он вырвал у нас из груди крик: "Да, мы клянемся". Поистине, император мог сделать мальчиков героями, но он никогда не смог бы возместить потери 1812 года. В его арсеналах было около тысячи орудий; но ему не хватало тысяч опытных артиллеристов: молодежи, которую он мог найти, и лошадей, которых он мог купить; но в течение многих месяцев у него не было таких неукротимых потоков всадников, которые хлынули через Пруссию после Йены или ворвались в Большой редут при Бородино. Тем не менее, энергию, которая обрушилась на нового хозяина в течение пяти месяцев после, казалось бы, сокрушительной катастрофы, следует считать самым экстраординарным событием эпохи, изобилующей чудесами. "Воображение приходит в замешательство, - говорит Паскье, - когда думаешь о всей той работе, которую предстоит проделать, и о всевозможных ресурсах, которые необходимо найти, чтобы собрать, одеть и вооружить такую армию за столь короткое время".

Погруженный в выполнение этой грандиозной задачи, император слышал, с некоторым удивлением, но без смятения, новости о вооружении и недовольстве Пруссии. Сначала он относится к этому как к мимолетному увлечению, которое исчезнет при твердом обращении. "Оставайся в Берлине так долго, как сможешь", - пишет он Эжену 5 марта. "Подавайте примеры ради дисциплины. При малейшем оскорблении, будь то из деревни или города, будь то из самого Берлина, сожгите его дотла". Главное, что его все еще беспокоит, - это расплывчатость отчетов Эжена, которые не оставляют ему иного выбора, кроме как получать новости о своих войсках в Германии из *английских газет*. "Не забывайте, - снова пишет он 14 марта, - что в Пруссии всего четыре миллиона человек. В самые благополучные времена у нее никогда не было более 150 000 военнослужащих. Теперь у нее будет не больше 40 000 солдат". Именно такой численностью он ограничил ее после Тильзита; и он был не в состоянии представить, что план Шарнхорста по отводу людей в резерв приведет к отправке на поле боя втрое большего количества войск.^[287] Что касается русских, то, пишет он, они истощены болезнями и должны широко рассредоточиться, чтобы осадить множество крепостей между Вислой и Эльбой. Более того, он уверяет своего союзника, короля Баварии, что будет хорошей политикой позволить им продвигаться вперед: "Чем дальше они продвигаются, тем вернее их гибель".

Шестидесятитысячное войско под предводительством Бертрана направлялось из Италии в Баварию.^[288] Они, вместе с корпусами Эжена и Даву, должны были сокрушить русские колонны. И пока союзники были заняты в Саксонии, Наполеон предложил сосредоточить большие силы под прикрытием гор Гарц, переправиться через Эльбу близ Гавельберга, броситься на помощь Штеттину и протянуть руку помощи крупным французским силам, осажденным в Данциге.

Таков был его первый план. Он был нарушен быстротой действий казаков и всеобщим восстанием в Пруссии. Корпус Ожеро был выбит из Берлина отрядом казаков под предводительством Теттенборна; и этот отважный вольный стрелок, уроженец Гамбурга, после этого бросился освобождать свой город. На какое-то время он добился полного успеха: ярость горожан против французских *дуанье* принесла казакам и патриотам легкую победу там и по всему Ганноверу. Эта новость вызвала у Наполеона серьезную озабоченность. Потеря великого Ганзейского города открыла широкие двери для английских товаров, английских денег и

английских войск в Германию. Она должна быть закрыта любой ценой: и, сделав суровый выговор Эжену и Лористону, которые теперь удерживали линию средней Эльбы, он поручил Давусту (18 марта) удерживать длинное извилистое русло этой реки между Магдебургом и Гамбургом. Наступление этого решительного лидера вскоре должно было изменить положение дел в Северной Германии.

Незадолго до того, как Наполеон покинул Париж и направился к месту военных действий, он принял нового австрийского посла, принца Шварценберга (9 апреля). С шутилой вежливостью, скрывавшей глубочайшую иронию, он похвалил его за то, что он провел *прекрасную кампанию* в 1812 году. Нынешние просьбы Австрии не были обнадеживающими. Заявляя о величайшем уважении к благополучию Наполеона, она повторила свое предложение о посредничестве в более настоятельной форме. Фактически, целью Меттерниха теперь было освободить Австрию от угрожающего давления Наполеона на западе и России на востоке. Теперь она должна обеспечить Европе прочный мир — "не просто замаскированное перемирие, как во всех прежних договорах с Наполеоном", — но мир, который ограничил бы могущество Франции и "установил баланс сил между главными государствами".^[289] Такова была тайная цель посредничества Австрии. Очевидно, это давало ей много преимуществ. Выдавая себя за посредника, она могла претендовать на свою долю в территориальном переделе, который должен сопровождать установление мира. Благословение, даруемое миротворцу, должно быть ощутимым и немедленным.

Ответ Наполеона послу тщательно охранялся. Война была не в его интересах. Это стоило бы большей крови, чем московская кампания. Большим препятствием для любого урегулирования была бы Англия. Россия также, казалось, была настроена на борьбу с *нападением*; но если царь хотел мира, то ему, а не Франции, следовало проявить инициативу: "Я не могу проявить инициативу: это было бы равносильно капитуляции, как если бы я находился в крепости: другие должны прислать мне свои предложения". И он выразил свою решимость не принимать невыгодных условий в следующих примечательных словах: "Если бы я заключил бесчестный мир, это было бы моим свержением. Я новый человек; я должен уделять больше внимания общественному мнению, потому что я в нем нуждаюсь. У французов живое воображение: они любят славу и волнения и нервничают. Знаете ли вы первопричину падения Бурбонов? Оно датируется Россбахом." Благожелательные заверения относительно стремления Наполеона к миру и созыву Конгресса были всем, чего смог добиться Шварценберг; и его миссия не принесла никаких результатов, за исключением усиления подозрений с обеих сторон.

На самом деле Наполеон разыгрывал свои карты в Вене. Он направил туда графа Нарбонна со специальной миссией, смысл которой раскрывается в "устной записке" посланника от 7 апреля. В этой ноте к Австрии обращалось настоятельное требование помочь Франции со 100 000 человек против России и Пруссии на случай, если они откроют военные действия; ее наградой должна была стать богатая провинция Силезия. Что касается остальной части Пруссии, то два миллиона из этого населения должны были быть переданы Саксонии, а Фридрих Вильгельм был отброшен к востоку от нижней Вислы и остался с одним миллионом подданных.^[290] Таков был блестящий приз, висевший перед Меттернихом. Но даже перспектива вернуть провинцию, отторгнутую великим Фридрихом, не волновала его. Он считал установление равновесия в Европе предпочтительнее ничтожной победы над Пруссией. К ней и к царю он втайне питал надежды на помощь в случае, если Наполеон окажется несговорчивым: и за этот план действий он все еще цеплялся. Правда, он растоптал *маленький моральный дух*, пренебрегая помощью

своему номинальному союзнику Наполеону. Но отказаться от него, если он останется непреклонным, было, в конце концов, всего лишь актом предательства по отношению к человеку, который имел незначительные претензии на Австрию и чье нынешнее предложение было в равной степени аморальным и оскорбительным. Четыре дня спустя Меттерних уведомил Россию и Пруссию, что император Франциск теперь приступит к выполнению своей задачи вооруженного посредничества.^[291]

Попытки Австрии установить всеобщий мир не встретили поддержки в Лондоне. К ее посланнику, графу Вессенбергу, теперь относились с той же холодной сдержанностью, что и к лорду Уолполу в Вене в начале года. 9 апреля Каслри сообщил ему, что все надежды на мир рухнули, поскольку "Правитель Франции" заявил Законодательному органу, что *французская династия правила и будет продолжать править в Испании, и что он уже заявил обо всех жертвах, на которые он мог согласиться пойти ради мира.*

"Пока он [Наполеон] будет продолжать заявлять, что ни одна из территорий, произвольно включенных во Французскую империю, не станет предметом переговоров, напрасно надеяться, что благие намерения Его Императорского Величества могут быть реализованы путем переговоров. Его Императорское Величество должен рассмотреть, после заявления, носящего характер неповиновения со стороны правителя Франции, заявления, в высшей степени оскорбительного для Его Императорского Величества, когда его вмешательство в интересах мира было ранее принято, не наступил ли момент для того, чтобы все Великие державы Европы действовали согласованно во имя своих общих интересов и чести. Чтобы добиться для своих государств того, что может заслуживать названия мира, они должны снова попытаться установить равновесие в Европе".

Наконец, британское правительство отказалось участвовать в переговорах, которые должны были ослабить и отвлечь усилия России и Пруссии.^[292]

В настоящее время Наполеон тешил себя надеждой, что взятка Силезией поставит австрийские легионы бок о бок с его собственными и с поляками Понятовского. Окрыленный этой надеждой, он покинул Париж еще до рассвета 15 апреля; и, двигаясь с бешеной скоростью, его карета въехала в ворота Майнца менее чем за сорок часов. Там он пробыл неделю, ощущая каждое биение главных артерий своего наступления. Они били в полную силу и быстро; единственным плохим симптомом был отказ Саксонии предоставить в его распоряжение свою кавалерию. Но в конце недели отношение Австрии вызвало у него беспокойство. Было ясно, что она не проглотила наживку Силезии и что на ее войска нельзя было рассчитывать.

Он сразу же принимает меры предосторожности. Его войска в Италии должны быть готовы, опорные пункты Верхнего Дуная укреплены, а его немецкие вассалы должны внимательно следить за политикой Вены.^[293] Затем он направляется в Веймар. Там, 29 апреля, он садится на своего боевого коня и пылливо вглядывается в колонны, которые петляют по тюрингенским долинам в направлении Лейпцига. Предзнаменования кажутся благоприятными. Бойцы полны энтузиазма: марш-бросок сам по себе вдохновляет, а ветераны подбадривают молодых призывников рассказами о великом дне Йены и Ауэрштадта.

В конце апреля военная ситуация была следующей. Эжен Богарне, командовавший остатками Великой армии, потерпев поражение при Моккерне, отступил на линию Эльбы; и французские

гарнизоны, таким образом, остались изолированными в Данциге, Модлине, Замосце, Глогау, Кюстрине и Штеттине. ^[294] Первый план Наполеона о наступлении непосредственно на Штеттин и Данциг провалился, и теперь он стремился как можно более скрытно собрать огромные силы вблизи Майна, быстро подкрепить Эжена, разбить головные части вражеских колонн и, беспорядочно раскатав их, перенести войну на берега Одера и освободить свои осажденные гарнизоны через Лейпциг и Торгау. Дополнительным преимуществом этого плана было бы то, что он приблизил бы грозные силы к австрийской границе и прочно привязал габсбургов и саксонцев к союзу с Францией.

Тем временем армия союзников с не меньшей решимостью продвигалась на запад. Царь и повелительница обратились с угрожающим призывом к королю Саксонии присоединиться к ним, но, не получив ответа, вторглись в его Владения. После этого Фридрих Август бежал в Богемию, полагаясь на предложение Вены, которое гарантировало ему получение немецких земель, если он присоединится к габсбургам в их вооруженном посредничестве. ^[295] Однако в настоящее время Саксония должна была стать полем битвы двух противоборствующих принципов национальности и наполеоновского империализма.

Они столкнулись на исторической земле Лютцена. Не только ассоциации, связанные с этим местом, но и репутация лидеров помогли разжечь энтузиазм рядовых сотрудников. С одной стороны, был сам великий завоеватель, чьи способности и престиж не пострадали даже после величайшей катастрофы, занесенной в анналы цивилизованных наций. Ему противостояли люди, не менее решительные, чем он сам. Болезнь и, наконец, смерть упрямого старого Кутузова положили конец интригам славянской партии мира, до сих пор сильной в русском лагере, и командование теперь перешло к Витгенштейну, более энергичному человеку, сердцем отдававшемуся своей работе.

Но самым вдохновляющим влиянием был Блюхер. Убежденный патриот, казалось, воплощал в себе лучшие качества старого *режима* и новой эры. Строгость, усвоенная в школе Фридриха Великого, была оживлена свежим молодым энтузиазмом на заре эры национальности. Не то чтобы старый солдат мог оценить возвышенные учения философа Фихте и проповедника Шлейермахера. Но его недостаток учености — он никогда не мог написать депешу, не подвергая странным пыткам свой родной язык, — с лихвой компенсировался неутолимой любовью к Отечеству, крепким здравым смыслом, который попадал прямо в цель там, где более тонкие умы отвлекались на второстепенные вопросы, товарищескими отношениями, которые вызывали любовь к нему у каждого рядового, и мужеством, которое никогда не ослабевало. И все эти дары, невзрачные, но бесценные в народной войне, были доведены до крайнего напряжения всепоглощающей страстью - ненавистью к Наполеону. В мрачные дни после Йены, когда его храбрые последователи, оттесненные к Балтийскому морю, пали под натиском численного превосходства, он начал накапливать ярость против наглого завоевателя. Часто он коротал утомительные часы, бросаясь на воображаемого врага и выкрикивая: "*Наполеон*". И эта почти сатанинская ненависть пронесла старика через семь лет унижений; она придала ему в семьдесят два года энергию молодости; отнюдь не насытившись триумфами в Саксонии и Шампани, она придала ему новых сил после потрясений для ума и тела, которые он перенес при Линьи; она провела его и его армию по грязным переулкам Вавра к закатному сиянию Ватерлоо.

Недостаток в навыках и науке был восполнен его способными помощниками, Шарнхорстом и Гнейзенау, первый из которых был выдающимся организатором, второй - стратегом. После

организации гражданской армии Пруссии Шарнхорсту суждено было быть смертельно раненным в первом же сражении; но его место начальника штаба вскоре занял Гнейзенау, в характере которого суровость воина счастливо сочеталась с хладнокровием научного мыслителя. Согласие между ним и Блюхером было близким и сердечным; и последний, получив степень доктора юридических наук в Оксфордском университете, остроумно признал свой долг перед стратегом. "Что ж, - сказал он, - если я хочу стать врачом, они должны сделать Гнейзенау аптекарем, потому что он делает пилюли, а я потом их принимаю".

На этих решительных вождях и их 33 000 пруссаков пала основная тяжесть боев под Лютценом. Витгенштейн со своими 35 000 русскими проявил меньше энергии; но если бы четвертый русский корпус под командованием Милорадовича, находившийся тогда на Эльстере, прибыл вовремя, день мог завершиться победой союзников. Их план состоял в том, чтобы пересечь реку, называемую Флосс Грабен, примерно в пяти милях к югу от Лютцена, взять штурмом деревни Гросс Гершен, Рана и Старзидель, удерживаемые французским авангардом, и, перерезав линию марша Наполеона к Лютцену и Лейпцигу, привести ее в беспорядок и разгромить. Но их главный враг недавно присоединил свой отряд к отряду Эжена: он был в силе и затем планировал поворот на север, подобный тому, который угрожал его южному флангу. Ней, на которого обрушились первые удары Блюхера, наблюдал за приготовлениями, и одна из его дивизий, Сухамская, укрепила деревню Гросс Гершен для упорной обороны. Позиция Франции так описана лордом Кэткартом, который в то время присутствовал в штабе союзников:

"Местность непокрытая и открытая, но с большим разнообразием холмов и долин, и многое пересечено пологими дорогами и мельничными потоками, первые не различимы до тех пор, пока к ним не приблизишься вплотную. Враг, расположившийся за длинным хребтом и в цепочке деревень, с лощиной впереди и ручьем, достаточным для перевозки леса слева, ожидал близкого подхода союзников. У него было огромное количество боеприпасов: батареи на открытой местности поддерживались массами пехоты, расположенными сплошными квадратами. План наших операций состоял в том, чтобы атаковать Гросс-Гершен артиллерией и пехотой, а тем временем прорвать линию обороны противника справа от деревень сильной колонной кавалерии, чтобы отрезать войска в деревнях от поддержки.... Кавалерия прусского резерва, на долю которой выпала эта атака, выдержала ее с большой отвагой; но ливень картечи и ружейный огонь, которым они подверглись, достигнув лощины, сделали для них практически невозможным прорыв; и, поскольку противник, по-видимому, был полон решимости удержать деревни любой ценой, дело приобрело наиболее дорогостоящий характер атаки и обороны поста, неоднократно захваченного, утерянного и отвоеванного. Кавалерия предприняла несколько попыток прорвать строй противника, и в некоторых из своих атак ей удалось ворваться в каре и вырубить пехоту. Поздно вечером Бонапарт, вызвав войска со стороны Лейпцига и собрав все свои резервы, предпринял атаку справа от союзников, поддержанный огнем нескольких наступавших батарей. Живость этого движения сделала целесообразным сменить фронт наших ближайших бригад справа от нас; и, поскольку всей кавалерии слева от нас было приказано повернуть направо для отражения этой атаки, я не терял надежды стать свидетелем уничтожения Бонапарта и всей его армии; но прежде чем кавалерия смогла прибыть, стало так темно, что ничего не было видно, кроме вспышек орудий".

[296]

Таким образом, отчаянная битва завершилась с небольшим преимуществом французов благодаря своевременному наступлению Эжена с корпусом Макдональда на правый фланг

утомленных союзников, когда им было слишком поздно предпринимать какие-либо ответные действия. Они понесли серьезные потери, и среди павших был Шарнхорст, чья рана оказалась смертельной. Но Блюхер, отнюдь не обескураженный поражением или раной, после наступления темноты повел семь кавалерийских эскадронов против победителей, поверг их на короткое время в панику и почти ворвался в каре, приютившее Наполеона. Саксонский капитан фон Оделебен, находившийся во французском штабе, утверждает, что император на несколько минут был совершенно ошеломлен смелостью этого удара; и теперь у него было слишком мало эскадрилий, чтобы отважиться на какой-либо ответный удар. Фактически, обе стороны были измотаны. Союзники потеряли 10 000 человек убитыми и ранеными, но ни пленных, ни орудий: потери французов были почти такими же тяжелыми, и в руки Блюхера попали пять орудий и 800 пленных. Обе армии расположились лагерем на поле битвы; но, поскольку запасы боеприпасов у союзников иссякли, а из рук в руки поступили известия о том, что Лористон выбил Клейста из Лейпцига, было решено отступить к Дрездену.

Наполеон осторожно последовал за ними, оставив позади корпус Нея, который ужасно пострадал при Гросс-Гершен; и он стремился вдохновить призывников, многие из которых проявили неуверенность, объявив армии, что победа при Лютцене будет выше Аустерлица, Йены, Фридланда и Бородино.

Отнюдь не выказывая уныния, Александер подтвердил Кэткарту свои заверения в упорстве в войне. В Дрездене нашего посланника снова заверили (7 мая), что союзники не уступят, но что "Австрия будет носить мантию посредничества до того времени, когда ее огромные силы будут готовы действовать, 24-го числа. Графа Стадиона ожидают здесь с часу на час: он привезет предложения об условиях мира, и аналогичные предложения будут отправлены во французскую штаб-квартиру. Получение и отклонение этих предложений займет большую часть времени". На самом деле Меттерних собирался отправить из Вены двух посланников: Штадиона к союзникам и графа Бубну к Наполеону с предложением вооруженного посредничества Австрии.

Это застало его отнюдь не в благодушном настроении. Он вступил в Дрезден как завоеватель: он горько упрекнул горожан за поддержку прусских добровольцев и приказал им умолять своего короля вернуться из Богемии. Этому незадачливому монарху он послал повелительный приказ вернуться и приказать саксонским войскам, которые упорно удерживали Торгау, немедленно передать его французам. Его приказам подчинялись со всех сторон, саксонские войска неохотно становились под знамена французских орлов. И пока он отрывал Саксонию от национального дела, Австрия призвала его остановиться. Победитель встретил просьбу вспышкой неповиновения. После укоризненного разговора с Бубной 17 мая он написал два письма императору Франциску. В более официальной ноте он заверил его, что желает мира и что он согласен на открытие Конгресса с этой целью, в котором могли бы принять участие Англия, Россия, Пруссия и даже испанские повстанцы. Поэтому он предложил заключить перемирие для проведения необходимых подготовительных работ. Но в другом письме он заверял своего тестя, что скорее готов умереть во главе всех великодушных людей Франции, чем стать добычей Англии. Его негодование против Австрии находит выражение в его депеше от того же дня, в которой он просит Коленкура немедленно добиться встречи с царем: "Главное - поговорить с ним.... Мое намерение состоит в том, чтобы построить для него золотой мост, чтобы избавить его от интриг Меттерниха. Если я должен идти на жертвы, я предпочитаю приносить их прямому врагу, а не в интересах Австрии, которая предала мой союз и, под видом посредника, хочет претендовать на право все устроить". Коленкур должен напомнить

Александру, как плохо Австрия обошлась с ним в 1812 году, и предположить, что если он начнет действовать немедленно, прежде чем проиграть еще одно сражение, то сможет уйти в отставку с честью и *на хороших условиях для Пруссии, без какого-либо вмешательства Австрии.*

Другие его письма того времени показывают, что его негодование сильнее всего обрушится именно на Габсбургов. Эжену, который недавно отбыл для организации войск в Италии, настоятельно предлагается угрожать Австрии не менее чем 80 000 человек и объявить, что вскоре у него будет 150 000 человек под ружьем. И, напрягая все нервы в Германии, Франции и Италии, Наполеон утверждает, что будет заключено перемирие для заключения всеобщего мира.^[297] Но союзников не удалось обманом заставить заключить мир, который не был миром. У них были веские основания рассчитывать на возможную помощь Австрии; и когда Коленкур попросил о встрече, царь отклонил его просьбу, тем самым вновь передав дело на усмотрение меча. Единственным результатом миссии Коленкура и горьких слов Наполеона в адрес Бубны было встревожить Австрию.

Со своей стороны, союзники не хотели рисковать дальнейшими испытаниями; и поэтому они заняли сильную позицию близ Баутцена, откуда могли получать подкрепления и эффективно прикрывать Силезию. Их крайний левый край упирался в отроги Лужицких гор, в то время как их длинный фронт протяженностью около четырех миль тянулся на север вдоль хребта, который возвышался между рекой Шпрее и притоком и угрожающе изгибался выпуклым выступом против этой реки и города. Там к ним присоединился Барклай, чье прибытие довело их общую численность до 82 000 человек. Но снова у Наполеона было численное преимущество. Внезапно призвав силы Нея и Лористона численностью в 60 000 человек, которые были отправлены на север, чтобы угрожать Берлину, он столкнулся с союзниками численностью по меньшей мере в 130 000 человек.^[298]

В первый день боев (20 мая) французы захватили город Баутцен, но не смогли вытеснить союзников с холмистой и лесистой местности на юге. Бои на следующий день были гораздо серьезнее. На рассвете прекрасного весеннего утра, в стране, утопающей в зелени и разнообразной аккуратными деревушками, грохот пушек и трескотня рядов стрелков предвещали упорный конфликт. Суверены союзников с господствующего хребта в их центре могли наблюдать за всеми передвижениями противника на холмах напротив; и наш комиссар, полковник (впоследствии сэр Хадсон) Лоу, так описал свой взгляд на Наполеона, который находился недалеко от французского центра:

Он шел примерно в пятидесяти шагах впереди остальных в сопровождении одного из своих маршалов, с которым ходил взад-вперед почти час. Он был одет в простую форменную куртку со звездой *[так в оригинале]* и простую шляпу, отличавшуюся от шляпы его маршалов и генералов тем, что была украшена перьями. В тылу и слева от хребта, на котором он стоял, находились его резервы. Они были сформированы в шеренги эскадронов и батальонов, представлявших собой большую колонну батальонов: их численность, должно быть, составляла от 15 000 до 20 000 человек.

После того, как он отступил с возвышенности, было замечено, что несколько батальонов были отведены влево от него и заменены другими с тыла: массы его резервов, по-видимому, почти не уменьшились.... Те войска, которые должны были действовать справа от нас, продолжали свой марш; другие, напротив нашего центра, расположились примерно посередине склона, который спускался с гребня к нашей позиции; и под защитой орудий, венчавших гребень, они, казалось,

вызывали нашу кавалерию на неповиновение.... Однако в этой части не было никакого продвижения вперед. Их главной целью теперь, по-видимому, было повернуть и опрокинуть наши фланги, особенно правый".

Так оно и было. Наполеон применял свою обычную тактику атаковать союзников повсюду артиллерийским и ружейным огнем, чтобы удерживать их на их и без того очень растянутых позициях до тех пор, пока он не сможет нанести решающий удар. С этим справился, хотя и несколько запоздало, Ней со своим огромным корпусом на правом фланге союзников, где 5000 русских под командованием Барклая были разбиты и отброшены назад. Деревня Прейтиц была потеряна, а вместе с ней были обнажены коммуникации союзников. Было чрезвычайно важно вернуть деревню; и Блюхер, находясь в правом центре, несмотря на то, что он находился в тяжелом положении, послал бригаду Клейста, которая помогла вырвать приц из рук этого маршала. Но Ней был слишком силен, чтобы его можно было остановить даже потоками пушечной дроби, обрушившимися на его плотные колонны. С помощью корпуса Лористона он снова медленно продвигался вперед, начал охватывать правый фланг союзников и угрожал отрезать им путь к отступлению. Блюхер также подвергся яростным нападкам со стороны Мармона и Бертрана. На левом фланге, правда, русские отбросили Удино с большими потерями; но, поскольку Наполеон еще не привлек серьезно свои резервы, главнокомандующие союзников решили вывести свои измотанные войска из этого неравного сражения, где победа была невозможна, а промедление могло поставить все под угрозу.

Выход на пенсию начался ближе к вечеру. Прикрываемые огнем мощной артиллерии с чередующихся гребней и атаками своей бесстрашной кавалерии, союзники отбивали все попытки французов превратить отступление в разгром. Напрасно Наполеон продолжал преследование. Как и при Лютцене, у него были причины оплакивать потерю на равнинах России тех живых волн, которые смели его врагов со многих полей сражений. Но теперь их колонны откашивались таять. Они отступали, несломленные и дерзкие, под прикрытием уланов и казаков. ^[299]

На следующий день мы стали свидетелями того же зрелища: союзники неуклонно отступали, осыпаемые выстрелами со всех наблюдательных пунктов и не оставляя в руках завоевателей ни пленного, ни кессона. "Что? - воскликнул Наполеон. - После такой бойни никаких результатов? никаких пленных?" Едва он произнес эти слова, как пушечное ядро пробило его штаб, наповал убив одного генерала, ранив другого и разбив вдребезги тело Дюрока, герцога де Фриули. Наполеон был глубоко тронут этим происшествием. Он спешил, вошел в коттедж, куда отвели Дюрока, и некоторое время молча пожимал ему руку. Затем он произнес слова: "Дюрок, есть другой мир, где мы встретимся снова". На что великий маршал ответил: "Да, сир; но это будет через тридцать лет, когда вы одержите победу над своими врагами и осуществите все надежды вашей страны". После долгой паузы тягостного молчания император скорбно покинул человека, к которому он испытывал, возможно, самую живую симпатию и привязанность, какие когда-либо испытывал. Под холодной, сдержанной внешностью Дюрока император знал, что там бьется настоящее сердце, преданное с тех пор, как они впервые встретились в Тулоне. Остаток той ночи он больше никого не принимал, и в лагере воцарилась благоговейная тишина при виде непривычных признаков скорби их великого вождя.

Возможно, эта потеря усилила желание императора заключить перемирие, и это чувство не уменьшилось после неудачи, постигшей одну из его дивизий, которая попала в засаду, устроенную пруссаками в Хайнау, и потеряла 1500 человек и 18 орудий.

Со своей стороны, союзники в равной степени желали прекращения вооружений. Их войска были в большом замешательстве. Александер заменил Витгенштейна Барклаем, который теперь настаивал на выводе русских войск в Польшу. Этому прусский штаб оказал самое упорное сопротивление. Такое признание в слабости, настаивал Мюффлинг, обескуражило бы войска и запугало австрийских государственных деятелей, которые обещали скорую помощь. Пусть союзники держатся за защитный вал Ризенгебирге, где они могли бы отразить атаки Наполеона и дожидаться белых халатов. Крепость Швейдниц прикрывала бы их отступление, а силезский ландвер восполнил бы бреши в их рядах. Таким образом, царь приказал Барклаю отступать к Швейдницу.

Там их ждали два разочарования. Укрепления, демонтированные французами в 1807 году, все еще находились в аварийном состоянии, а 20 000 мушкетов, купленных в Австрии для силезских рекрутов, были без пробоин! Барклай снова заявил, что он должен отступить в Польшу, и только предложение Наполеоном перемирия удержало его от этого шага, который, должно быть, поставил под угрозу всю военную и политическую ситуацию. Чего бы только не отдал Наполеон, чтобы узнать действительное положение вещей в штабе союзников?^[300] Но ни один шпион не предупредил его об истине; и поскольку его собственные инстинкты побудили его свернуть в сторону, чтобы подготовить достойное наказание для Австрии, он продолжал вести переговоры о перемирии.

"Ничто, - писал он Эжену 2 июня, - не может быть более вероломным, чем этот Суд. Если я удовлетворю ее нынешние требования, она впоследствии попросит Италию и Германию. Конечно, она ничего от меня не получит". События укрепили его решимость. Французы с триумфом вошли в Бреслау и сняли осаду Глогау. Коалиция, казалось, шаталась. Чтобы наказание союзников и Австрии было суровым и окончательным, ему понадобилось всего несколько недель для реорганизации его некогда грозной кавалерии. Затем он мог излить свой гнев на Австрию. Тогда он мог бы опрокинуть венгерскую конницу и смять плохо обученную австрийскую пехоту. Короткое перемирие, по его мнению, было бесполезным: оно пошло бы на пользу союзникам больше, чем французам. И под благовидным предлогом, что обсуждение удовлетворительного мирного соглашения должно занять по меньшей мере сорок дней, он приказал своему посланнику Коленкуру настаивать на сроке, который позволил бы французским войскам быть полностью укомплектованными в Саксонии, Баварии и Иллирии. "Если, - писал он Коленкуру 4 июня, - мы не хотели вести переговоры с целью установления мира, мы не должны быть настолько глупы, чтобы вести переговоры о перемирии в настоящее время". И он призвал его настаивать на ограничении 20 июля, "всегда исходя из одних и тех же соображений, а именно, что у нас должно быть полных сорок дней, чтобы посмотреть, сможем ли мы прийти к взаимопониманию". Совсем иным было его тайное предупреждение генералу Кларку, военному министру. Ему он написал 2 июня:

"Если я смогу, я подожду сентября, чтобы нанести серьезные удары. Поэтому я хочу быть в состоянии сокрушить своих врагов, хотя возможно, что, когда Австрия увидит, что я собираюсь это сделать, она воспользуется своим патетическим и сентиментальным стилем, чтобы осознать

химеричность и нелепость своих притязаний. Я хотел написать вам это письмо, чтобы вы могли раз и навсегда досконально узнать мои мысли".

А Марет, своему министру иностранных дел, он написал в тот же день:

"Мы должны выиграть время, а чтобы выиграть время, не вызывая недовольства Австрии, мы должны использовать тот же язык, который использовали последние шесть месяцев, — что мы можем сделать все, если Австрия будет нашим союзником.... Работайте над этим, ходите вокруг да около и выигрывайте время.... Вы можете вышивать на этом холсте следующие два месяца и найти материал для отправки двадцати курьеров". ^[301]

В таких случаях, когда дипломатические заверения Наполеона опровергаются его секретными военными инструкциями, никто, внимательно изучивший его карьеру, не может сомневаться в том, какой курс будет избран. Перемирие было всего лишь паузой, за которой последовало бы более ожесточенное наступление, если только союзники и Австрия не склонятся перед его волей. Они не подавали никаких признаков этого даже после удара под Бауценом. В переговорах о перемирии они не проявили робости; и когда 4 июня оно было подписано в Пойшвице на срок до 20 июля, у Наполеона возникли некоторые сомнения, не проявил ли он излишней уступчивости.

Так оно и было: приостановив действие оружия, он подписал себе смертный приговор.

Новости, которые дошли до него в Дрездене в июне месяце, помогли еще раз укрепить его решимость. Даву и Вандаму удалось рассеять необученные войска из Северной Германии и восстановить власть Наполеона в устьях Эльбы и Везера; и в этом им теперь помогали датчане.

В течение некоторого времени союзники стремились завоевать Данию. Но на пути стояло одно непреодолимое препятствие - амбиции Бернадотта. Как мы видели, он желал обозначить свое предполагаемое наследование шведского престола, предоставив приемной стране земли, которые с лихвой компенсировали бы ей потерю Финляндии. ^[302] Это можно было найти только в Норвегии, тогда объединенной с Данией; и такова была цена шведской помощи, на которую царь согласился во время войны 1812 года. По причинам, которые здесь нет необходимости подробно описывать, шведской помощи тогда не последовало. Но в начале 1813 года стало ясно, что диверсия, вызванная высадкой 30 000 шведов в Северной Германии, может оказаться наиболее ценной, и это было особенно желательно британскому правительству. И все же Англия не хотела заручиться союзом Бернадота ценой Норвегии, которая должна была толкнуть Данию в объятия Франции. Поэтому Каслри попытался соблазнить его предложением о нашем недавнем завоевании Гваделупы. Или, если ему нужна Норвегия, разве Дания не дала бы своего согласия, если бы получила шведскую Померанию и Любек? Сам Бернадотт однажды предположил, что его устроило бы епископство Тронджем, северная часть Норвегии, если бы он не смог получить компенсацию за Данию в Германии. ^[303]

Это предложение было сделано в предварительном порядке. Все было едино. Дания и слышать не хотела об уступке Норвегии или какой-либо ее части; и в ходе переговоров с Англией она даже предъявила претензии на ганзейские города, которые были сразу же отклонены. Поскольку Дания была непреклонна, Бернадот настаивал на том, что Швеция должна получить всю Норвегию в качестве платы за ее помощь союзникам. Стокгольмским мирным договором (3 марта 1813 г.) мы присоединились к российско-шведскому соглашению от предыдущего года, по которому Норвегия была передана Швеции: мы также обещали уступить Гваделупу Бернадоту

и выплатить 1 000 000 фунтов стерлингов на поддержку шведских войск, выступающих против Наполеона.^[304] В середине мая в Копенгагене стало известно, что ожидать от России и Англии нечего. Датчане, таким образом, перешли на сторону Франции, что привело к результатам, которые оказались фатальными для благосостояния их королевства.

Таким образом, сделка, которую Бернадотт заключил с союзниками, объединила Данию против них и тем самым препятствовала освобождению Северной Германии. Но, такова ирония судьбы, передача Норвегии от Дании Швеции имела постоянный характер, в котором территориальному устройству Наполеона явно не доставало.

Бернадотт высадился в Штральзунде с 24 000 человек 18 мая. Но организация его войск для кампании была настолько медленной, что он не мог послать действенную помощь казакам и патриотам в Гамбурге. Его кажущаяся летаргия сразу же вызвала подозрения царя. Шведский принц Ройял быстро понял это и, услышав о перемирии, испугался, что результатом станет еще один Тильзит. В страстном письме от 10 июня он умолял Александра не соглашаться на мир: "Принять мир, продиктованный Наполеоном, - значит вырыть могилу для Европы: и если это несчастье случится, только Англия и Швеция могут остаться нетронутыми".

Это был настоящий Бернадотт. Те, кто называл его замаскированным другом Наполеона, мало знали глубину его ненависти к императору, ненависти, которая уже тогда охватывала весь мир в поисках средств его свержения, и видели в лице одинокого французского изгнанника за Атлантикой орудие мести. Он уже попросил своего старого товарища по оружию Моро прибыть и возглавить народную войну против изгнавшего его тирана; и победитель при Гогенлиндене вскоре должен был высадиться в Штральзунде и провести свои последние дни, сражаясь против трехцветных.

В настоящее время перспективы союзников казались действительно мрачными. На юго-востоке они потеряли все земли вплоть до Бреслау и Глогау; а на Севере Германии Даву начал превращать Гамбург в большую крепость. Это было сделано во исполнение приказов Наполеона. "Я никогда не буду чувствовать себя уверенно, - писал император своему маршалу, - пока на Гамбург нельзя будет смотреть как на цитадель, обеспеченную продовольствием на несколько месяцев и всячески подготовленную к длительной обороне". — Для него крах коммерческих интересов был пустяком; и когда Савари осмелился намекнуть на недовольство, вызванное этими шагами во французских торговых кругах, он получил резкий упрек: "... Кудахтанье парижских банкиров не имеет для меня большого значения. Я укрепляю Гамбург. Я создаю там военно-морской арсенал. Через несколько месяцев это будет одна из моих сильнейших крепостей. Я намерен держать там постоянную армию численностью в 15 000 человек".^[305] Его план был безжалостно приведен в исполнение. Богатство Гамбурга систематически вымогалось, чтобы обеспечить средства для более полного подчинения. Безграничные поборы, ограбление банка, отвратительное угнетение всех классов - таковы были первые шаги. После этого двадцать тысяч человек были изгнаны, сначала молодые и сильные, как опасные, затем старые и слабые, как бесполезные; и некогда процветающий торговый центр стал главным северным оплотом Наполеона, центром надежды для французов и датчан и стимулом для мести для каждого патриотичного тевтона.^[306]

Однако недавние события не сломили патриотов. Их единственным желанием было возобновление войны: их единственным страхом было то, что дипломаты снова променяют независимость Германии. "Наш народ, - восклицал Карл Мюллер, - все еще слишком ленив,

потому что он слишком богат. Давайте научимся, как это сделали русские, ходить кругами и жечь, а затем находить в себе кинжал и яд, как это сделали испанцы. Против этих двух народов войска Наполеона ничего не могли сделать ". И в то время как мрак и сомнения нависли над Германией, с юго-запада снова пробился ободряющий луч. В конце июня пришло известие, что Веллингтон наголову разбил французов при Виттории.

ГЛАВА XXXIV

ВИТТОРИЯ И ПЕРЕМИРИЕ

Подробное описание кампании, завершившейся в Виттории, выходит за рамки данной работы. Наша задача должна быть ограничена тем, чтобы показать, каково было положение дел в конце 1812 года, каковы были планы императора по удержанию, по крайней мере, части Испании, и почему они закончились полным провалом.

Причины, которые все это время ослабляли французские операции в Испании, проявились в полную силу во время кампании 1812 года. Ревность маршалов и, что еще более важно, их неподчинение королю Иосифу помешали той своевременной концентрации сил, благодаря которой император одержал свои величайшие победы. Противоречивые цели и неохотное сотрудничество были характерны для их операций. Военные писатели часто недоумевали, объясняя опрометчивые действия Мармона, которые навлекли на него сокрушительный удар при Саламанке. Если бы он подождал всего несколько дней, прежде чем сильно давить на Веллингтона, король Джозеф подкрепил бы его 14 000 человек.^[307] Но он предпочел рискнуть всем ради последнего решительного хода, а не ждать короля и внести свой вклад, как второй в команде, в обеспечение существенного успеха.

Переписка Джозефа до и после Саламанки поучительна. Мы видим, что он не может быстро двинуться на поддержку Мармона, потому что французская армия Севера пренебрегает отправкой ему отряда, необходимого для защиты Мадрида; и когда, услышав новости из Саламанки, он приказывает Сульту эвакуироваться из Андалусии, чтобы сосредоточить силы для восстановления столицы, его приказу некоторое время не повинуются. Когда, наконец, Жозеф, Сульт и Суше сосредотачивают свои силы для похода на Мадрид, Веллингтон вынужден отступить. Наступая ему в тыл превосходящими силами, Джозеф затем пытается продолжить

сражение; но Сульт снова движется так медленно, что Веллингтону удастся оттянуть своих людей и успешно отступить к Сьюдад-Родриго. ^[308]

Очевидно, Жозеф вышел победителем из кампании 1812 года; но отход французских войск к Мадриду и долине реки Дору имел фатальные последствия. Юг был сразу же потерян для французов, и отважные горцы Бискайи, Наварры и Арагона сформировали большие отряды, чья стойкая отвага показывала, что север еще далек от завоевания. Воодушевленные присутствием небольшого британского отряда, они захватили большую часть северных портов; и их командующий, Мина, смог встретиться с французской северной армией почти на равных. На востоке Сюше выстоял против испанцев и англо-сицилийской экспедиции. Но в отношении остальной Испании исполнилось мрачное пророчество Сульта: "Потеря Андалусии и снятие осады Кадиса - это события, результаты которых будут ощущаться по всей Европе".

Испанские кортесы, или парламент, долгое время находившийся взаперти в Кадисе, теперь пытались ввести в действие недавно разработанную демократическую конституцию. Это было встречено с радостью передовыми мыслителями в городах и с отвращением духовенством, знатью, богачами и крестьянами. Но, хотя кортесы посеяли семена политической розни, они предприняли один очень похвальный шаг. Они назначили Веллингтона генералиссимусом всех испанских армий; и во время визита, который он нанес кортесам на Рождество, он подготовился к реальному сотрудничеству испанских войск в следующей кампании.

В то время Наполеон с тревогой следил за состоянием испанских дел. Как только он ознакомился с содержанием депеш из Мадрида, он предложил план действий, который обещал, во всяком случае, отсрочить свержение его власти. Совет изложен в письмах, написанных военным министром генералом Кларком 4 января и 12 февраля, поскольку Наполеон практически прекратил переписку со своим братом. В последнем из этих посланий Кларк довольно подробно объяснил настоятельную необходимость действовать немедленно, пока англичане бездействуют, чтобы потушить постоянно распространяющееся пламя восстания в северных провинциях. Две французские армии, северная и так называемая "армия Португалии", должны были быть отведены для выполнения этой задачи; и Жозефу сообщили, что его армий юга и центра в настоящее время будет достаточно, чтобы сдерживать британцев. Что касается общего плана действий Джозефа, то он был предписан следующим образом:

"Император приказывает мне повторить вашему Величеству, что использование Вальядолида в качестве резиденции и штаб-квартиры является необходимым предварительным условием. Из этого места должны быть отправлены по дороге на Бургос и в другие подходящие пункты войска, которые должны усилить или прикомандировать армию севера. Мадрид и даже Валенсия являются частями этой системы только как посты, которые будут занимать ваши крайне левые, а не как места, которые будут удерживаться за счет концентрации сил.... Занять Вальядолид и Саламанку, приложить максимум усилий для умиротворения Наварры и Арагона, поддерживать быстрое и безопасное сообщение с Францией, быть всегда готовым перейти в наступление — таковы инструкции императора относительно кампании и принципы, на которых должны основываться все ее операции...." ^[309]

Две недели спустя Кларк приказал королю угрожать Сьюдад-Родриго, чтобы заставить Веллингтона поверить, что французы вторгнутся в Португалию. Он также должен был обложить Мадрид и Толедо крупными контрибуциями. Фактически, столицу предполагалось удерживать лишь до тех пор, пока ее можно будет сжимать.

Таковы были планы. Они ясно показывают, что император был убежден в необходимости подавления восстания на севере Испании; ибо он направил против Мины и его беспокойных банд столько сил, сколько считал необходимым для наблюдения за португальской границей. Клозелю было поручено подавить восстание северян, и Наполеон, похоже, рассудил, что этот выносливый боец завершит эту утомительную задачу до того, как Веллингтон нанесет какие-либо серьезные удары. Просчет должен был стать фатальным. Мину нельзя было быстро победить, и британский генерал не был тем медлительным, не предприимчивым лидером, каким его представлял император. И опять же, несмотря на весь опыт прошлого, Наполеон не учел задержек, вызванных поимкой его курьеров или их долгими обходами. Тем не менее, никогда еще они не были более серьезными. Первое срочное послание Кларка, датированное 4 января, дошло до короля только 16 февраля.^[310] Когда его указания с сомнением выполнялись, 12 марта прибыли те, что были процитированы выше, и привели к изменениям в расположении войск. Таким образом, силы, противостоявшие Веллингтону, были ослаблены, чтобы подавить восстание северян, и все же эти отряды были отправлены на север только в конце марта для выполнения трудного предприятия, которое не должно было быть завершено до того, как британский лидер решительно бросит свой меч на чашу весов войны.

Джозефа сурово обвиняли в его запоздалых действиях, но, по правде говоря, он оказался в безнадежном *тупике*: со всех сторон он видел, как надвигаются стены его королевской тюрьмы. Повстанцы на севере перекрыли французские депеши, тем самым предотвратив его передвижение и задержав на несколько недель осуществление планов Наполеона. Хуже всего было то, что император отозвал основную часть своих войск: 1200 офицеров, 6000 унтер-офицеров и около 24 000 наиболее закаленных солдат отправились во Францию, чтобы придать силы и стойкости новым новобранцам или снова пополнить костяк батальонов и эскадронов Императорской гвардии.^[311]

Странно, что Наполеон не вывел все свои войска из Испании. Они по-прежнему превышали 150 000 человек; и все же, после того как он отбрасывал армию за армией, испанцы были с оружием в руках повсюду, за исключением Валенсии. Север бросал вызов всем усилиям Клозеля в течение нескольких недель, пока он не объявил, что 50 000 человек потребуется три месяца, чтобы сокрушить горцев.^[312] Прежде всего, было известно, что Веллингтон собирает грозные силы на границах Португалии. По правде говоря, Наполеон, похоже, давно страдал политической дальтонизмом в испанских делах. Даже сейчас он лишь смутно понимал нелепую фальшь положения своего брата — парвеню среди гордейшей знати в мире, король-банкрот, призванный поддерживать царственную пышность перед чинной расой, великодушный правитель, вынужденный взимать огромные займы и контрибуции с чувствительного населения, чье расположение он искренне стремился завоевать, добродушный эпикуреец, побуждаемый к стремительным действиям приказами из Парижа, которыми он не смел пренебречь и не мог выполнить, миролюбивый валетудинарец, на которого была возложена задача обуздания вспыльчивых французов. Маршалы, а также для того, чтобы держать нацию в узде и держать Веллингтона в страхе.

Концентрация, на которую Наполеон делал такой упор, несомненно, оказалась бы наиболее эффективным шагом, если бы французскими войсками на реке Дору руководил способный руководитель. Но и здесь ситуация была фатально скомпрометирована отзывом самого способного французского командующего в Испании. Веллингтон впоследствии сказал, что Сулыт был вторым после Массены среди французских маршалов, выступавших против него. У

него были некоторые недостатки. "Он не совсем разбирался в поле боя: он был отличным тактиком, очень хорошо знал, как вывести свои войска на поле боя, но не так хорошо, как использовать их, когда он их вывел". ^[313] Но факт остается фактом: за исключением неудачи в Порту, Сулыт выходил с честью, если не со славой, из каждой кампании велась война против Веллингтона. И все же теперь его отозвали.

Действительно, этот тщеславный и амбициозный человек смертельно оскорбил короля Иосифа. После Саламанки он обошелся с ним с вопиющим неуважением. Поначалу он не только отказался переезжать из Андалусии, но и тайно поделился с шестью французскими генералами своими опасениями, что Жозеф предаст французское дело, договариваясь с испанским национальным правительством в Кадисе. Он даже предупредил Кларка о предполагаемых намерениях короля в письме, которое случайно попало в руки Джозефа. ^[314] Горячая кровь Бонапарта вскипела от этой закулисной сделки, и он немедленно отправил полковника Дебре к Наполеону с требованием немедленного отзыва Сулыта. Император, находившийся тогда в Москве, тянул время. Возможно, он не сожалел о том, что у него в Испании такой бдительный осведомитель; и он сдержанно ответил, что подозрения Сулыта его не сильно удивляют, что их разделяют многие другие французские генералы, которые считают, что король Иосиф предпочитает Испанию Франции, и что он не может вспомнить Сулыта, поскольку у него "единственный военный руководитель в Испании". Угрожающая угроза войны в Центральной Европе заставила Наполеона изменить свое решение. Сулыт был отозван, но не опозорен, и после смерти Бессьера он получил командование Императорской гвардией.

Командующим, который теперь нес основную ответственность, был Журден, исполнявший обязанности генерал-майора при короле, должность, которую он занимал когда-то раньше, но был лишен из-за своих грубых ошибок летом 1809 года. Победителю при Флерюсе был теперь пятьдесят один год, и его пошатнувшееся здоровье совершенно не подходило для выполнения Геркулесовых задач по руководству непокорными генералами и поддержанию пошатнувшейся монархии. Талантам Журдана Наполеон выражал лишь скудное уважение, тогда как во многих случаях он превозносил способности Суше, который теперь удерживал Валенсию и Каталонию. Несомненно, упорство и административные навыки Суше сделали его пребывание в этих богатых провинциях весьма желательным. Но на передовой линии Веллингтона, а именно в Вальядолиде, несомненно, требовались лучшие таланты. Недостаткам и неудачам Жозефа и Журдана в этой области можно в основном приписать крушение французского могущества.

Фактически, единственной частью Испании, которая сейчас действительно интересовала Наполеона, был север и северо-восток. До тех пор, пока он прочно удерживал провинции к северу от Эбро, его, по-видимому, мало заботило, царствовал Иосиф в Мадриде или не царствовал. Все, что его заботило, - это удержать британцев на расстоянии от линии Дору, в то время как французская власть была установлена на севере и северо-востоке. Это он был полон решимости сохранить; и, вероятно, у него уже сложился план, который позже должен был быть представлен Фердинанду VII. в Валансае, о восстановлении его на троне Испании и о возмещении ему с Португалией ущерба за потерю северо-восточных провинций. Этот план, возможно, даже составлял часть плана всеобщего умиротворения; ибо в Дрездене 17 мая он предложил Австрии допустить представителей испанских *повстанцев* на Европейский конгресс. Но пришло время перейти от тумана догадок к четким очертаниям кампании Веллингтона. ^[315]

В то время как дело Франции в Испании разваливалось на куски, дело патриотов крепко спланировалось благодаря организаторскому гению Веллингтона. Терпеливыми усилиями он вскоре привел испанский и португальский контингенты в боеготовое состояние: и, поскольку из Англии прибыло большое подкрепление, он смог в начале мая собрать 70 000 британских и португальских солдат и 30 000 испанцев для продвижения на восток. Силы Мюррея прочно привязали Суше к провинции Валенсия; Клозель был полностью занят в Наварре, и, таким образом, армия Жозефа на Дору оказалась слишком слабой, чтобы остановить наступление Веллингтона. Только около 45 000 французов были готовы в районах между Саламанкой и Вальядолидом. Остальные оставались в бассейне Тежу на случай, если союзники ворвутся туда этим путем.

Веллингтон поддерживал их иллюзии ложными маневрами в нескольких точках, в то время как он готовился перебросить могучие силы через броды Тормес и Эсла. Он полностью преуспел. Пока Жозеф и Журдан с трудом собирали свои силы в Леоне, союзники начали серию быстрых обходных маневров с флангов на севере, которые решили исход кампании. Выдвигая вперед свой мощный левый фланг, он маневрировал, вытесняя французов с одной сильной позиции за другой. Тормес, Эсла, Дору, Каррион, Писуэрга - ни один из этих потоков не остановил его продвижения. Жозеф нигде не проявлял сопротивления; он оставил даже замок Бургос и, опасаясь быть отрезанным от Франции, отступил за верхний Эбро.

Официальным оправданием столь быстрого отступления была нехватка провизии, но дневники двух британских офицеров, Томкинсона и Симмонса, показывают, что они обнаружили, что местность между Эслой и Эбро по большей части была хорошо заселена и плодородна. Симмонс, служивший в знаменитой легкой дивизии, отмечает, что винтовки не произвели ни единого выстрела после того, как покинули свои зимние квартиры, пока не вступили в перестрелку с французами на холмах у истоков Эбро. Отступление французов было действительно необходимо для того, чтобы привести королевские войска в соприкосновение с корпусами генералов Клозеля и Фоя в Наварре и Бискайе соответственно. Жозеф уже разослал срочные приказы о вызове этих корпусов; ибо, как он объяснил Кларку, высшей необходимостью сейчас было разбить Веллингтона; если это будет сделано, партизанская война потерпит крах.

Но Клозель и Фуа получали приказы не от короля, а из Парижа; и вплоть до 5 июня Жозеф не слышал от Клозеля ни слова. Наконец, 15 июня, этот генерал написал из Памплоны, что он получил приказы Жозефа от 30 мая и 7 июня и выступит, чтобы присоединиться к нему. Если бы он немедленно вызвал свои мобильные колонны и со всей поспешностью преодолел пятьдесят миль, отделявших его от короля, французская армия была бы сильнее по меньшей мере на 14 000 человек. Но ему было нелегко сосредоточиться, и он, наконец, приблизился к Виттории 22 июня, когда дело Франции было безвозвратно проиграно. ^[316]

Тем временем Веллингтон предвидел крайнюю необходимость срочной отправки. В начале года он убедил наше военно-морское руководство усилить нашу эскадру на севере Испании, чтобы со временем он мог сделать Сантандер своей базой снабжения. Военно-морская поддержка не была оказана в той степени, в какой он ожидал; ^[317] но после отъезда из Бургоса он смог частично использовать северные порты, тем самым сократив свою линию связи. Фактически, кампания в Виттории иллюстрирует огромные преимущества, которые получает лидер, уверенный в своем тылу и одном фланге, перед врагом, который всегда нервничает по поводу

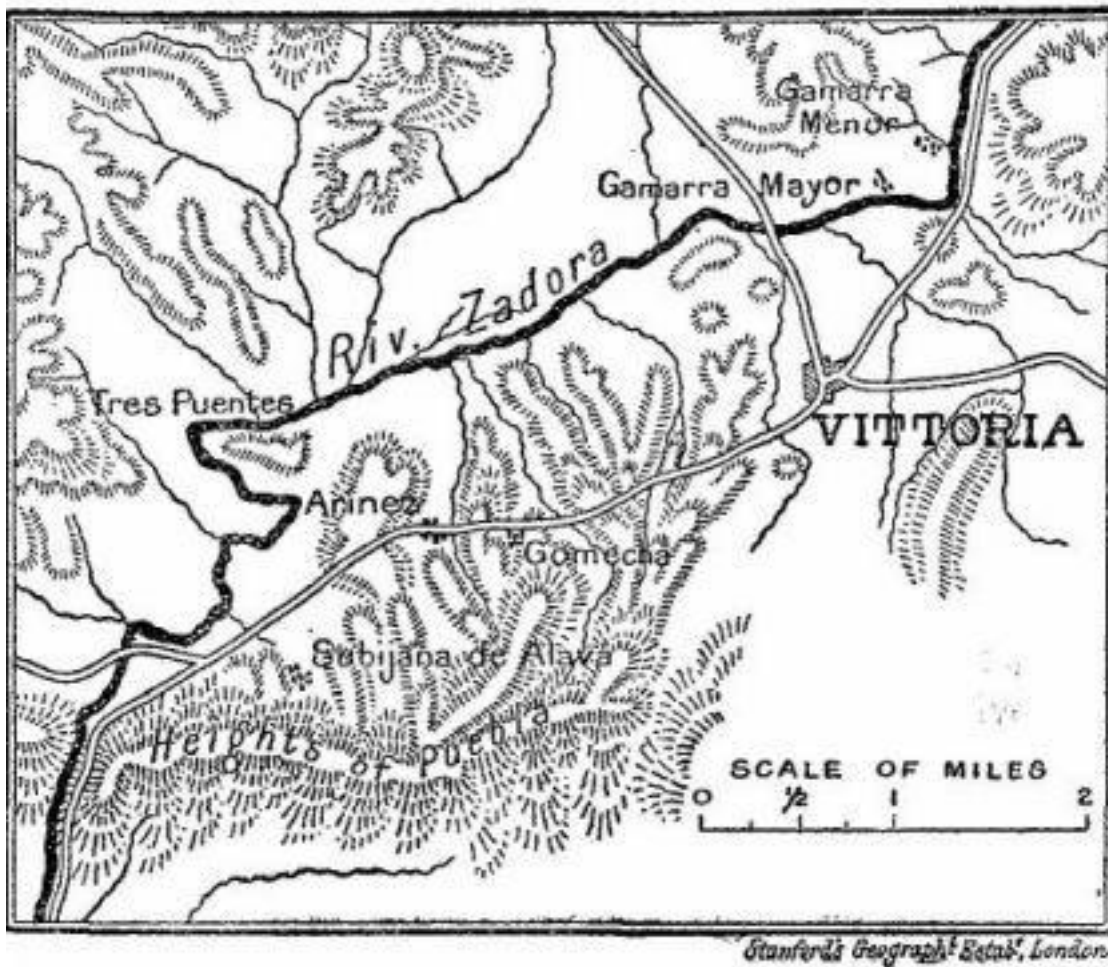
своих коммуникаций. Британская эскадра действовала как сила прикрытия на севере от Веллингтона: она поддерживала партизанскую войну в Бискайе и угрожала Джозефу реальными, хотя и невидимыми опасностями. Это в значительной степени объясняет, почему наш командующий продвигался вперед так быстро и продвигал свое левое крыло с такой настойчивой отвагой. Горные твердыни и ревущие потоки не остановили продвижение его легких войск на той стороне. У истоков Эбро французы снова почувствовали угрозу своим коммуникациям с Францией и, отступив от главного течения вверх по ущелью, образованному притоком Задорой, устало остановились в бассейне Виттории.

Там Жозеф и Журден решили сражаться. Как обычно, в штаб-квартире раздались взаимные обвинения. "Журден, больной и разгневанный, не выходил из своей комнаты, и король тоже был невидим".^[318] Было отдано несколько приказов. Город был забит автоколоннами и транспортными средствами всех видов, и только на рассвете того рокового дня летнего солнцестояния последняя автоколонна отправилась во Францию под эскортом 3000 военнослужащих. Тем не менее Джозеф мог надеяться настоять на своем. Правда, под рукой у него было всего 70 000 солдат, а может быть, и того меньше, но вечером 19-го он услышал, что Клозель выступил из Памплоны.

Он сразу же приказал ему продолжать марш, но это сообщение попало в руки врага.^[319] Полагаясь, таким образом, на помощь, которая не должна была прибыть, Джозеф выступил против армии союзников. Всего она насчитывала 83 000 человек, хотя Нейпир утверждает, что в боевых действиях участвовало не более 60 000. Левое крыло французов опиралось на крутые холмы близ Пуэблы, которые возвышаются над рекой Задора и оставляют за собой лишь узкое ущелье. Их центр занимал менее крутой горный хребет, который уходил на север параллельно среднему течению этого ручья. Выше по течению Задора описывает крутой изгиб, защищающий горный хребет на ее северном фланге; и если бы дерзкий враг прогнал защитников с этих высот, они все равно могли бы отступить на два более низких хребта ближе к Виттории. Но эти естественные преимущества не были использованы в полной мере. Мосты напротив французского фронта не были разрушены, а защитники были слишком широко рассредоточены. Их правое крыло, состоявшее из "Португальской армии" под командованием генерала Рейля, охраняло мост к северу от Виттории и, таким образом, было совершенно вне связи с основными силами, которые удерживали холмы в пяти милях к западу.

Тяжело забрезжил рассвет; воздух был густым от дождя и пронизывающего тумана, под прикрытием которого командование Хилла продвигалось к кручам Пуэблы. Испанская бригада под командованием генерала Морильо проворно взобралась на эти склоны на юго-западе, закрепилась у вершины и, получив подкрепление, прочно удерживала свои позиции. Тем временем остальные войска Хилла пробились под ними через перевал Пуэбла и после упорного боя отбили у врага деревню Субихана. Напрасно Жозеф и Журден подтягивали войска из центра; англичан и испанцев не удалось изгнать ни из деревни, ни с высот. Основные силы Веллингтона также продвигались вперед, чтобы атаковать центр французов, занимавший горный хребет за Задорой; и Грэхем, совершив длинный обходной маневр на север по сильно пересеченной местности, попытался застать Рейля врасплох и оттеснить его от моста к северу от Виттории. В этом наступлении руководство испанскими иррегулярными войсками под командованием полковника Лонги имело неоценимое значение. Грэхэм был так хорошо прикрыт их отрядами, что до момента атаки Рейль не знал, что британская дивизия тоже была

поблизости. В центре тоже испанский крестьянин сообщил Веллингтону, что главный мост Трес-Пуэнтеса



БИТВА При ВИТТОРИИ

был без охраны и провел бригаду Кемпта по каменистой местности на расстояние легкой атаки.

Мост был захвачен, аванпосты Джозефа были полностью свернуты, и было дано время для сбора людей Пиктона. Они стойко преодолели склоны и нанесли удар по ослабленному французскому центру, который также подвергся атаке на своем северном фланге. В то же самое время левое крыло Джозефа начало колебаться под неоднократными атаками Хилла; и, отвлеченный отдаленной канонадой, которая свидетельствовала об упорном сражении между Грэхемом и Рейлем, король начал подтягивать свои линии к Виттории. Какое-то время французы

прочно удерживали деревню Аринез, но людям Пиктона было не отказать. Они прорвались через арьергард, и битва теперь превратилась в бегство, растянувшееся примерно на пять миль по пересеченной местности. На последних склонах, недалеко от Виттории, защитники предприняли последнюю героическую оборону, и их артиллерия нанесла удар по нападавшим; но наша четвертая дивизия, рванувшись вперед в дыму, овладела холмом, который господствовал слева от них, и день был выигран. Теперь французам ничего не оставалось, кроме быстрого отступления, в то время как доблестный Рейль все еще мог сдерживать превосходящие силы Грэхема.

И там битва, наконец, перекинулась обратно, хотя и со многими усиливающимися вихрями, в Витторию. Этот город был не убежищем, а смертельной ловушкой, поскольку Грэхем выдвинул свой отряд к Дюране, на большую дорогу, ведущую прямо во Францию, и таким образом перекрыл главный путь отступления. Армия Иосифа теперь находилась в плачевном положении. Зажатые на запруженных улицах Виттории, истерзанные пушечными выстрелами с английских позиций, обломки трех ее армий некоторое время беспомощно металась взад и вперед, а затем отступили на восток, в сторону Памплоны. Только на этой стороне можно было найти безопасность, поскольку британские гусары прочесывали равнину на северо-востоке, придавая бегству крылья. Узкая дорога, ведущая через болота, вскоре была перекрыта, и паника охватила всех: артиллеристы отрезали себе путь и бежали; экипажи, битком набитые женщинами, которых когда-то называли веселыми, а теперь обезумевшими от ужаса, повозки, груженные боеприпасами, припасами, сундуками с сокровищами и добычей, накопленной генералами и фаворитами за пять лет войн и вымогательств, все было брошено вперемешку. Маршальский жезл Журдана был взят и отправлен Веллингтоном принцу-регенту, который признал это, присвоив победителю титул фельдмаршала.

Титул был вполне заслужен. После четырех лет сражений с численным превосходством британский лидер, наконец, продемонстрировал все величие своих сил теперь, когда предзнаменования были благоприятными. За шесть недель он прошел более пятисот миль, пересек шесть рек и, используя наваррское восстание как наковальню, нанес сокрушительный удар Виттории. Это стоило Наполеону 151 орудия, почти всех запасов, накопленных для его кампаний на полуострове, и самой Испании. ^[320]

Что касается Жозефа, то он покинул свой экипаж и верхом на лошади помчался во Францию, достигнув Сен-Жан-де-Люз, "когда остался только наполеон". Там он также заверил свою королеву, что всегда предпочитал уединенное положение величю и волнениям общественной жизни. ^[321] Это, действительно, было одним из многих слабых мест испанской политики его брата. Это легло на плечи дружелюбного человека, который лучше приспособился к непринужденности Неаполя, чем к геркулесовым трудам Мадрида. Теперь Наполеон осознал масштаб своей ошибки. 1 июля он приказал Сульту немедленно выехать из Дрездена в Париж. Там он должен был навестить Кларка, вместе с ним отправиться в Камбасерес и в качестве генерал-лейтенанта предпринять шаги по восстановлению дел императора в Испании. Регентство должно было править вместо Жозефа, которому было приказано оставаться, в зависимости от положения дел, либо в Бургосе (!), либо в Сен-Себастьяне, либо в Байонне.

"Все безумства в Испании, - писал он Камбасересу в тот день, - происходят из-за ошибочного отношения, которое я проявил к королю, который не только не умеет командовать, но даже не осознает собственной ценности настолько, чтобы оставить военное командование в покое".

А Савари он написал два дня спустя:

"Трудно представить себе что-либо столь же немыслимое, как то, что сейчас происходит в Испании. Король мог бы собрать 100 000 отборных людей: *они могли бы победить всю Англию*.

Размышление, однако, показало ему, что вина была его собственной; что если бы, как пришло ему в голову, когда он покидал Париж, он доверил верховное командование в Испании Сульту, катастрофы никогда бы не случилось.^[322] Его вера в способности Сульта была оправдана последними событиями войны на полуострове. Но ни его блестящее объединение разрозненных французских сил, ни умелые действия Клозеля и Сюше, ни упорная оборона Памплоны и Сан-Себастьяна не могли теперь спасти французское дело. Единственным результатом этих последних операций было восстановление блеска французского оружия и удержание 150 000 человек в Испании, когда чаша весов войны колебалась на равнинах Саксонии.

Письма Наполеона выдают волнение, которое он испытал даже при первых смутных слухах о катастрофе при Виттории. В первые три дня июля он написал в Дрездене семь депеш на эту тему в стиле настолько неистовом, что составители "Корреспонденции Наполеона" сочли за лучшее их опустить. Далее он призвал к максимальной сдержанности и приказал, чтобы в официальных журналах было просто указано, что после оживленного сражения при Виттории французская армия сосредотачивается в Арагоне и что британцы захватили около сотни орудий и повозок, оставленных в городе из-за нехватки лошадей.

Были все основания скрывать правду. Он понимал, насколько серьезно это должно ослаблять его шансы запугать Восточные державы и наказать Австрию за ее вооруженное посредничество. До сих пор казалось, что у него есть все шансы добиться успеха. Французские штандарты развевались на всех крепостях Эльбы и Одера. Гамбург быстро превращался в большой французский лагерь, и Дания была на стороне Франции.

Действительно, проанализировав ситуацию 4 июня, немецкий публицист Генц пришел к выводу, что император Франциск, вероятно, положит конец своим колебаниям каким-нибудь бесславным компромиссом. Кайзер желал мира; но он также хотел избавиться от надоедливой опеки своего зятя и вернуть Иллирию. Пока он колебался. До того, как до него дошли новости о Лютцене, он, несомненно, ободрил союзников, но этот разворот привел примерно к половине поворота влево в сторону Наполеона. "Успех Бони при Лютцене, - записал сэр Дж. Джексон в своем дневнике, - заставил Фрэнсиса пересмотреть свои наполовину сформированные решения". Здесь была главная трудность для союзников. Их судьба и будущее Европы в значительной степени зависели от решения человека, чья природная нерешительность была усилена невзгодами. К счастью, новости из Испании, наконец, помогли склонить его к войне; но в течение нескольких недель его решение оставалось неизвестной величиной в европейской политике. К счастью, он также поддавался мягкому, но решительному давлению, которое Меттерних мог так умело оказывать. Этот государственный деятель, как обычно, был расчетлив и уравновешен. Он видел, что Австрия многое выиграет, играя в выжидательную игру. Ее силы увеличивались как по численности, так и по эффективности, и под прикрытием ее предложения вооруженного посредничества удерживали сильные позиции в Богемии. Фактически, она восстанавливала свой престиж и, возможно, надеялась навязать свою волю воюющим сторонам на предстоящем Европейском конгрессе в Праге. Таким образом, Меттерних

продолжал изображать из себя доброжелателя обеих сторон и сторонника разумного и, следовательно, прочного компромисса.

Он действовал таким образом не только в выборе мер, но и в подборе людей. Он послал в штаб-квартиру Наполеона в Дрездене графа Бубну, чье искреннее и решительное стремление к миру послужило усыплению вражды и подозрений в этом месте. Но в штаб союзников, находившийся теперь в Рейхенбахе, он направил графа Штадиона, который не менее усердно работал на благо войны. Таким образом, в то время как дворы Санкт-Петербурга, Берлина и Лондона надеялись, судя по выражению Штадиона, что Австрия намеревалась обнажить меч, Наполеон склонялся к убеждению, что она никогда не сделает ничего, кроме бряцания ножнами, и в конце концов уступит его требованиям.

Письма Штадиона Меттерниху показывают, что он опасался такого результата. Он настаивал на том, чтобы тот прекратил политику качелей, проводившуюся последние шесть месяцев. "Эти люди терпят поражение из-за наших ошибок, наших половинчатых желаний, наших полумер, и вскоре они выберутся из передрыги и оставят нас расплачиваться". Что касается предстоящего требования Австрии к Иллирии, то кто может гарантировать, что французский император позволит ей сохранить ее за собой на шесть месяцев, если он останется хозяином Германии и Италии? Только тесный союз с союзниками мог защитить ее от мести Наполеона, которая в противном случае привела бы к ее полному уничтожению. Пусть же тогда все робкие советники будут удалены со стороны императора Франциска. "Я цепляюсь за свою часто выражаемую убежденность в том, что мы больше не являемся хозяевами своих собственных дел и что течение событий понесет нас вперед".^[323] Если мы можем судить по заявлениям Меттерниха в его "Мемуарах", написанных много лет спустя, он все это время втайне симпатизировал этим взглядам. Но его действия и официальные депеши в течение первых шести недель перемирия носили иной оттенок; они были почти бесцветными, или, скорее, хамелеонизированными. В Дрездене они, казалось, в целом были благосклонны к Франции; в Райхенбахе, когда их раскрашивал Стадион, считалось, что они открывают перспективу создания другой европейской коалиции.

Политике Австрии было придано новое и важное значение, когда 7 июня Меттерних сформулировал условия, на которых Австрия будет настаивать в качестве основы своего вооруженного посредничества. Они были следующими: (1) Роспуск герцогства Варшавского; (2) последующее восстановление Пруссии с уверенностью в возвращении Данцига; (3) Возвращение иллирийских провинций, включая Далмацию, Австрии; (4) Восстановление Ганзейских городов и, в конечном итоге, договоренность об уступке других частей 32-й военной дивизии [части Северной Германии, аннексированной Наполеоном в 1810 году]. К ним добавлялись еще два условия, на которые Австрия придавала большое значение, а именно: (5) Роспуск Рейнской конфедерации; (6) Восстановление Пруссии в соответствии с ее территориальными размерами до 1805 года.

На первый взгляд эти условия кажутся благоприятными для дела союзников; но они были гораздо менее обширными, чем предложения, представленные Александром в середине мая. Поэтому, когда они были представлены союзникам в Рейхенбахе, они были приняты неблагоприятно, и на несколько дней подозрения в отношении Австрии затмили прежнюю доброжелательность. Это удалось устранить только благодаря трудам Штадиона и такту, проявленному Меттернихом во время беседы с царем в Опочне (17 июня).

Александр прибыл туда с предубеждением против Меттерниха как мастера двурушничества в прошлом: он уехал, убежденный, что желает добра союзникам. "Что будет с нами, - спросил царь, - если Наполеон примет ваше посредничество?" На что государственный деятель ответил: "Если он откажется от этого, перемирию придет конец, и вы найдете нас в рядах ваших союзников. Если он примет это, переговоры с уверенностью докажут, что Наполеон не мудр и не справедлив; и проблема будет той же самой". Александр достаточно знал характер своего великого врага, чтобы оценить проницательность прогноза Меттерниха, и оба, и Фридрих Вильгельм, и он сам, согласились на австрийские условия. ^[324] Соответственно, 27 июня в Рейхенбахе был тайно подписан мирный договор, в соответствии с которым Австрия обязалась вступить в активный союз с Россией и Пруссией на случай, если Наполеон к концу перемирия не выполнит ее четыре непереносимых условия. К ним теперь добавилось требование об эвакуации французскими войсками всех польских и прусских крепостей - условие, от которого Наполеон практически наверняка отказался бы. ^[325]

Тем временем союзники получали от Англии все необходимое для ведения войны. Царь проинформировал Кэткарта в Калише, что, хотя он и не настаивал на субсидиях нашего правительства, все же он не смог бы вести длительную кампанию без такой помощи. 14 и 15 июня наш посол подписал договоры с Россией и Пруссией, по которым мы согласились помогать первой ежегодной субсидией в размере 1 133 334 фунтов стерлингов, а второй - суммой в половину этой суммы и покрывать все расходы российского флота, находившегося в то время в наших гаванях. Царь и король Пруссии обязались содержать на местах (без учета гарнизонов) 160 000 и 80 000 человек соответственно. ^[326]

Для этих приготовлений были все основания. Все указывало на то, что Наполеон стремился запугать союзников. 17 июня войска Наполеона уничтожили или взяли в плен добровольцев Лютцова в Китцене близ Лейпцига. Оправданием для этого акта было то, что Лютцов нарушил перемирие; но он убедил Низаса, французского офицера, командовавшего там, что тот преданно соблюдает его. Тем не менее, его бригада была разбита вдребезги. Протесты союзников не получили никакого ответа, за исключением того, что люди Лютцова могут быть обменены — как если бы они были захвачены в честном бою. Наконец, Наполеон отказался выслушать заявление Низаса в свое оправдание, упрекнул его в том, что он бросил тень на поведение французских войск, и лишил его командования. ^[327]

Но именно отношение Наполеона к Меттерниху в беседе, состоявшейся 26 июня во дворце Марколини в Дрездене, наиболее ясно показало негибкость его политики. Якобы интервью было назначено для того, чтобы согласовать формы предстоящего Конгресса, который должен был обеспечить мир во всем мире. Однако на самом деле Наполеон надеялся запугать австрийского государственного деятеля и вывести у него результаты его недавней беседы с царем. Держа шпагу на боку и шляпу подмышкой, он торжественно принял Меттерниха. После нескольких заученных фраз о здоровье императора Франциска его чело омрачилось, и он погрузился в *medias res*: "Итак, вы тоже хотите войны: что ж, вы ее получите. Я разбил русских при Баутцене: теперь вы хотите, чтобы пришел ваш черед. Пусть будет так, встреча состоится в Вене. Мужчины неисправимы: вы теряете опыт. Трижды я заменял императора Франциска на его троне. Я обещал всегда жить с ним в мире: я женился на его дочери. В то время я сказал себе: "ты совершаешь глупость; но это было сделано, и теперь я раскаиваюсь в этом".

Меттерних увидел свое преимущество: его противник потерял самообладание и забыл о своем достоинстве. Он спокойно напомнил Наполеону, что мир зависит от него; что его власть должна быть уменьшена в разумных пределах, иначе он падет в последующей борьбе. Ни один матадор не развевал плащ более ловко. Наполеон ринулся вперед. Никакая коалиция не должна была его обескуражить: он мог одолеть любое количество людей — все, кроме холодной России, — и потери в этой кампании были восполнены. Затем он перешел к рассказам о той войне, разнообразясь отступлениями относительно его точных знаний о вооружении Австрии, подробности о котором присылались ему ежедневно. Чтобы положить конец этому блуждающему разговору, Меттерних напомнил ему, что теперь его войска - это не мужчины, а мальчишки. На что император страстно ответил: "Вы не знаете, что творится в голове у солдата; такой человек, как я, не слишком заботится о жизнях миллиона людей", — и он отбросил в сторону шляпу. Меттерних не стал поднимать трубку.

Наполеон заметил этот невысказанный вызов и закончил словами: "Когда я женился на эрцгерцогине, я пытался соединить новое со старым, готические предрассудки с институтами моего века: я обманул себя, и сегодня я вижу всю степень своей ошибки. Это может стоить мне моего трона, но я похороню мир под его руинами". Увольняя Меттерниха, император использовал прием, который незадолго до разрыва с Англией в 1803 году он рекомендовал Талейрану применить к Уитворту, а именно, после попытки запугивания прибегнуть к уговорам. Тронув министра за плечо, он тихо сказал: "Ну, теперь ты знаешь, что произойдет? Ты не пойдешь со мной войной?" На что последовал быстрый ответ: "Вы заблудились, сир; я предчувствовал это, когда приезжал; теперь, уезжая, я уверен". В приемной генералы столпились вокруг высокого гостя. Бертье ранее умолял его помнить, что Европа и Франция срочно нуждаются в мире; и теперь, провожая его к карете, он спросил его, доволен ли он Наполеоном. "Да, - был ответ, - он мне все объяснил: с этим человеком все кончено". ^[328]

По сути, так оно и было. Негодование Наполеона против Австрии, вполне естественное в данных обстоятельствах, подтолкнуло его к вспышкам гнева, которые раскрыли внутренний огонь его страсти. Во втором интервью, 30 июня, он был гораздо более любезен и позволил Австрии надеяться, что она получит Иллирию. Он также принял посредничество Австрии; и было оговорено, что Конгресс должен собраться в Праге для обсуждения вопроса о всеобщем умиротворении. Меттерних, казалось, был очень доволен такой снисходительностью, но он по опыту знал, что ласки Наполеона были столь же опасны, как и его гнев; и он оставался настороже. Император вскоре раскрыл свою истинную цель. Любезным тоном он добавил: "Но это еще не все: я должен добиться продления перемирия. Как мы можем в период с 5 по 20 июля завершить переговоры, которые должны охватить весь мир?" Он предложил 20 августа в качестве даты истечения срока его действия. На это Меттерних возразил, потому что союзники уже считали перемирие слишком длительным для их интересов. 10 августа было окончательно согласовано, но не без большого сопротивления со стороны генералов союзников, которые настаивали на том, что такая отсрочка поставит их в большое положение.

Внешне это новое соглашение, казалось, предвещало мир; но знаменательно, что 28 июня Наполеон написал Евгению, что появились все предпосылки для войны; а 30 июня он написал своему тестю холодное и почти угрожающее письмо. ^[329]

Поздно вечером того же дня поступило первое сообщение о катастрофе "Виттории". Несмотря на все предосторожности Наполеона, новость просочилась в Дрезден. Депеши Бубны от 5, 6 и 7

июля вскоре сообщили об этом императору Франциску, находившемуся тогда в Брандейсе в Богемии. Оттуда оно достигло союзных монархов и Бернадотта 12 июля в Трахенберге в разгар переговоров, которые будут описаны ниже. Эффект от новостей был очень велик. Царь немедленно приказал спеть "Te Deum": "Это первый случай, - писал Кэткарт, - когда при Дворе пели "Te Deum" в честь победы, в которой не участвовали силы Российской империи". ^[330] Но его результаты были не просто церемониальными: они были практическими. Наш посланник Торнтон, который последовал за Бернадотом в Трахенберг, утверждает, что Бубна узнал, что Веллингтон полностью разгромил три французских корпуса с помощью *дебошей*, подобной той, что была при отступлении из Москвы. Торнтон добавляет: "Королевский принц [Бернадотт] считает, что французская армия будет очень скоро выведена из Силезии и что Бонапарте вскоре должен начать свое отступление ближе к Рейну. Я не сомневаюсь в его воздействии на Австрию. Это видно из ответа императора [Франциска] принцу, который пришел сегодня из австрийского штаба ". Это письмо, датированное 9 июля, действительно носило самый сердечный характер. В нем выражалось большое удовлетворение известием о том, что "препятствия, которые, казалось, препятствовали сотрудничеству войск под командованием вашего королевского высочества, теперь устранены. Я рассматриваю это сотрудничество как одну из самых надежных опор дела, которое Державы могут снова быть призваны защищать в войне, которая может дать шансы на успех только в том случае, если не будет поддерживаться самыми решительными и единодушными мерами ". ^[331] Дальше этого Франциск вряд ли мог пойти, не поклявшись безоговорочно заключить союз; и, несомненно, именно новости о Виттории вызвали эти обнадеживающие заверения.

Еще более очевидно, что Трахенбергский договор также помог положить конец колебаниям Австрии. Этот договор возник из настоятельной необходимости принятия общего плана кампании и, прежде всего, прекращения споров между союзными монархами и Бернадотом. Королевский принц Швеции потерял их доверие из-за своей неспособности спасти Гамбург от французов и датчан. Тем не менее, со своей стороны, у него были некоторые основания для недовольства. Прошлым летом Александр заставил его ожидать активной помощи 35 000 русских солдат для кампании в Норвегии: но, главным образом по просьбе Англии, теперь он высадился в Померании и оставил Швецию беззащитной перед датским нападением со стороны Норвегии. Поэтому он предложил встретиться с союзными монархами, и Каслри горячо поддержал эту просьбу. ^[332] Соответственно, это произошло в Трахенберге, замке к северу от Бреслау, с самыми счастливыми результатами. Теплота манер великого гасконца рассеяла все тучи и заслужила одобрение Фридриха Вильгельма.

Был подписан знаменитый договор, или план, Трахенберга (12 июля). Это обязывало союзников направить свои главные силы против главной армии Наполеона, где бы она ни находилась: те корпуса союзников, которые угрожали его флангам или коммуникациям, должны были действовать на линии, которая наиболее непосредственно пересекалась с ними; и выступающий бастион Богемии был специально назван как дающий наибольшие преимущества для атаки основных сил Наполеона. Первая и третья из этих аксиом были сформулированы таким образом, чтобы поощрить Австрию: вторая была направлена на то, чтобы сосредоточить силы Бернадотта на главной борьбе и помешать ему вести войну только против Дании.

План шел еще дальше: 100 000 союзных войск должны были быть отправлены в Богемию, как только закончится перемирие, чтобы сформировать в общей сложности армию численностью

200 000 человек. На севере Бернадотт, после отделения корпуса в направлении Гамбурга, должен был наступать с русско-прусско-шведской армией численностью 70 000 человек к среднему течению Эльбы, его целью был Лейпциг; а остальные силы союзников, оставшиеся в Силезии, должны были двинуться к Торгау и, таким образом, угрожать позициям Наполеона в Саксонии с Востока. Этот план кампании был огромным шагом вперед по сравнению с предыдущими коалициями. Здесь не было никакой опоры на линии фронта и лагеря: дни Мака и Фалла прошли: союзники, наконец, узнали от Наполеона о необходимости разыскивать главную армию противника и бросать на нее все доступные силы. Соглашение заслуживает внимания и с политической точки зрения. Разрабатывая план наступательных операций из Богемии, союзники зашли далеко, определяя поведение Австрии.

В тот же день в Праге открылся Конгресс сторонников мира. Его работа с самого начала была фарсовой. Только Анштетт и Гумбольдт, русский и прусский посланники, были поблизости; и при назначении первого, эльзасца по происхождению, Наполеон выразил большое раздражение. Трудности, связанные с перемирием, также дали ему возможность, к которой он, несомненно, стремился, еще больше затянуть переговоры. Напрасно Меттерних указывал французскому посланнику Нарбонну в Праге, что эти несерьезные задержки могут привести к войне, если дело не будет улажено мирным путем к полуночи 10 августа.^[333] Напрасно Нарбонн и Коленкур умоляли своего повелителя воспользоваться этой возможностью для заключения безопасного и почетного мира. Только в середине июля он назначил их своими полномочными представителями на Конгрессе; и даже тогда он оставил последнего в Дрездене, в то время как первый пребывал в вынужденном бездействии в Праге. "Я посылаю вам больше сил чем власть", - с циничной беспечностью писал Марет Нарбонну: "У вас будут связаны руки, но ноги и рот будут свободны, чтобы вы могли гулять и обедать".^[334] Наконец 26-го Коленкур получил свои инструкции; но каково же, должно быть, было горе этого верного сына Франции, когда он увидел, что Наполеон готовится к войне с объединенной Европой. Австрия, сказал его повелитель, действовала как посредник, а посредник не должен искать выгоды: она не принесла никаких жертв и вообще ничего не заслуживала получить: ее притязания были безграничны; и каждая уступка, предоставленная Францией, побуждала ее просить большего: он был склонен заключить мир с Россией на удовлетворительных условиях, чтобы наказать Австрию за ее недобросовестность при разрыве союза 1812 года.^[335]

Такое пренебрежение к миру во всем мире, похоже, относится не к сфере истории, а к мрачной области греческой трагедии, где смертные, преисполненные гордости, слепо бросаются на рельефные щиты судьбы. Ибо чего требовала от него Австрия? Она предложила оставить его хозяином всех земель от болот Эмса до римской Кампании: Италия должна была принадлежать ему вместе с такой частью Пиренейского полуострова, какую он сможет удержать. От своего контроля над Иллирией, Северной Германией и Рейнской конфедерацией он должен отказаться. Но Франция, Бельгия, Голландия и Италия, несомненно, стали бы благородным государством для человека, который потерял полмиллиона человек и даже сейчас теряет Испанию. Однако его переписка доказывает, что, несмотря на это, он мало думал о своих врагах и, меньше всего, о Конгрессе в Праге.

Оставив своих полномочных представителей занятыми обсуждением формальных вопросов, он 24 июля выехал из Дрездена с визитом в Майнц, где встретился с императрицей и ознакомился со своими резервами. Каждая новость подпитывала его воинственную решимость. Сулыт с почти 100 000 человек собирался освободить Памплону (так он писал Коленкуру): англичане

отступали в замешательстве: 12 000 опытных всадников из его армий в Испании скоро окажутся на Рейне; но они не могли быть на Эльбе раньше сентября. Если бы союзники хотели более длительного перемирия, он (Наполеон) согласился бы на это: если бы они хотели воевать, он был бы в равной степени готов, даже против австрийцев.^[336] Обращаясь к Давусту в Гамбурге, он высказался так, как будто война была неизбежна; и он приказал Кларку в Париже изготовить 110 000 мушкетов к концу года, чтобы в общей сложности было готово 400 000. Письма о Конгрессе бросаются в глаза своим отсутствием; и все доказывает, что, как он писал Кларку в начале перемирия, он намеревался нанести свои основные удары в сентябре. Мало—помалу мы видим, как вырисовывается его окончательный план *-свергнуть Россию и Пруссию, в то время как неделю или две он развлекал Австрию отдельными инициативами в Праге.*

Но за восемь лет невзгод европейские государственные деятели поняли, что разобщенность влечет за собой катастрофу; и было очевидно, что задержки Наполеона были вызваны исключительно необходимостью оснащения и обучения его новых кавалерийских бригад. Что касается Конгресса, никто не воспринял его всерьез. Генц, который тогда был в тесном контакте с Меттернихом, видел, чем закончится эта трагикомедия. "Мы полагаем, что по возвращении в Дрезден Наполеон направит этому Двору торжественную ноту, в которой обвинит всех в задержках, которые он сам вызвал, и в конце концов выдвинет своего рода ультиматум. Нашим ответом будет объявление войны".^[337]

Вот что произошло. По мере того как июль шел своим чередом и не принес никаких мирных предложений, а лишь усилил натягивание колец Наполеона в Саксонии, Баварии и Иллирии, император Франциск склонялся к войне. Еще 18 июля он написал Меттерниху, что по-прежнему выступает за мир при условии завоевания Иллирии.^[338] Но военные приготовления Франции несколько дней спустя заставили его начать войну, если к 10 августа не будут удовлетворены все требования Австрии. Его советники уже пришли к такому выводу, как свидетельствуют наши записи. 20 июля Стадион написал Кэткарту, призывая его оказать денежную помощь генералу Ньюдженту, который будет ждать от него согласования средств для поднятия восстания против Наполеона в Тироле и Северной Италии; и наш посланник согласился выделять 5000 фунтов стерлингов в месяц на "поддержку 5000 австрийцев, действующих на связи с нашей эскадрой в Адриатике". Этот шаг встретил одобрение Меттерниха; и в письме Стадиону из Праги (25 июля) он советовал Кэткарту отправить депешу Веллингтону и убедить его предпринять энергичные действия против юга Франции. Он (Меттерних) отправил бы письмо в целости и сохранности через Швейцарию и юг Франции прямо нашему генералу.^[339]

Нам не нужно беспокоиться о торжественных мелочах Конгресса. Французские полномочные представители ясно видели, что их повелитель "не допустит иного мира, кроме того, который он сам продиктует, наступив ногой на шею врага". И все же они упорно выполняли свою неблагодарную задачу, ибо "кто мог сказать, не поколеблется ли император, оказавшись между чрезвычайно благоприятными условиями и страхом иметь против себя дополнительные 200 000 солдат; не придет ли ему в голову хотя бы одна крупница здравого смысла, одна искра мудрости?" Увы! Этот мозг теперь был невосприимчив к советам; и молодой Де Бройль, у которого мы цитируем этот отрывок, резюмирует мнение французских полномочных представителей в резкой фразе: "в нем сидел дьявол".^[340]

Но в его безумии был метод. Во время интервью в Дрездене он предупредил Меттерниха, что не раскроет свои истинные требования до последнего часа. И вот теперь представилась

возможность испытать эффект последнего акта устрашения. 4 августа он снова вернулся в Дрезден: на следующий день он продиктовал секретные условия, на которых он примет посредничество Австрии; а 6 августа Коленкур нанес Меттерниху частный визит, чтобы выяснить, каковы на самом деле условия Австрии. После краткого визита к императору Франциску в Брандейсе министр предъявил в качестве ультиматума шесть условий, составленных 7 июня (см. стр. 316); и к ним он теперь добавил еще одно, которое гарантировало существующие владения каждого государства, большого или малого.

Наполеон был ошеломлен этой смелостью, которую он приписал влиянию испанских дел и английским интригам.^[341] 9 августа он вызвал Бубну и предложил отказаться от герцогства Варшавского — при условии, что король Саксонии получит контрибуцию, — а также от Иллирийских провинций (но без Истрии), а также от Данцига, если его укрепления будут разрушены. Что касается ганзейских городов и Северной Германии, он и слышать не хотел о том, чтобы отпустить их. Бубна думал, что Австрия согласится. Но она сказала свое последнее слово: она видела, что Наполеон шутит с ней до тех пор, пока не избавится от России и Пруссии. А в полночь 10 августа огни маяков на высотах Ризенгебирге возвестили союзникам в Силезии радостную весть о том, что они могут начать марш своих колонн в Богемию. Начался второй и более обширный акт драмы освобождения.

Помнил ли Наполеон в этот переломный момент своей судьбы, что прошел ровно двадцать один год с момента падения старой французской монархии, когда он увидел крах обороны роялистов в Тюильри и бесплодную храбрость швейцарских гвардейцев?

ГЛАВА XXXV

ДРЕЗДЕН И ЛЕЙПЦИГ

Воинствующая революция теперь достигла своего большинства. Ей пришлось противостоять охваченной войной Европе. До сих пор зависть или страхи восточных держав препятствовали какому-либо эффективному союзу. Австро-пруссский союз 1792 года имел самое расплывчатое описание благодаря проницательному нейтралитету царицы Екатерины. В 1798 и 1805 годах Пруссия, казалось, подражала ее политике, и только после того, как Австрия была разгромлена, армия Фридриха Великого попыталась договориться с Наполеоном. В Йенской и Фридландской кампаниях Габсбурги сыграли роль обиженного Ахиллеса и получили свою естественную

награду в 1809 году. Война 1812 года сделала Австрию и Пруссию вассальными государствами в крестовом походе Наполеона против России. Но это также принесло спасение, и роковое упрямство Наполеона во время переговоров в Праге фактически вынудило его собственного тестя обнажить против него меч. Якобы спорные вопросы в конечном итоге были сведены к контролю над Рейнской конфедерацией, владению Северной Германией и несколькими более мелким пунктам. Но на самом деле была более глубокая причина - характер Наполеона.

Мстительность, с которой он расправлялся со своими врагами, его почти сверхчеловеческая жажда господства и нерешительность, с которой он встречал все попытки найти компромисс, — именно это толкнуло Габсбургов на союз со своими традиционными врагами. Его поведение может быть объяснено по разным причинам, например, инстинктом вендетты, присущим его расе, или тем, что он все еще смотрит на события сквозь искажающую среду Континентальной системы, или его укоренившимся убеждением, что, по сути, на правителей влияет только запугивание.

В любом случае, теперь ему удалось осуществить то самое, что Чарльз Джеймс Фокс объявил невозможным. Открывая переговоры о мире с Францией в апреле 1806 года, наш министр иностранных дел заявил Талейрану, что "проект объединения всей Европы против Франции в последней степени химеричен". И все же Великобритания и испанские патриоты, после одинокой борьбы с завоевателем с 1808 по 1812 год, увидели, как Россия, Швеция, Пруссия и Австрия последовательно встали на их сторону. Правда, немцы Рейнской конфедерации, итальянцы, швейцарцы и датчане все еще стояли под знаменами нового Карла Великого; но, за исключением последнего, они сражались устало или нерешительно, как за дело, которое не сулило ничего, кроме бесплодных побед и нескончаемой борьбы.

Поистине, годы, ставшие свидетелями падения Наполеона, были плодотворными в парадоксальном плане. Величайший политический гений эпохи, из-за отсутствия спасительной благодати умеренности, объединил Европу против себя; и самый расчетливый из военачальников также дал своим врагам время разработать эффективную военную комбинацию. Прусский генерал фон Бойен рассказал нам в своих Мемуарах, как были встревожены пламенные патриоты заключением июньского перемирия и как медленно даже самые мудрые головы понимали, что это пойдет на пользу их делу. Если Наполеону это было нужно для обучения своих необученных новобранцев и организации новых кавалерийских бригад, то союзникам это было нужно еще больше. Их ресурсы были гораздо менее развиты, чем его собственные. Под Бауценом их армия была намного меньше; и Бойен утверждает, что, если бы император оказал на них сильное давление, загнал русских обратно в Польшу и снова призвал поляков к оружию, союзники, должно быть, оказались бы в самом серьезном положении. ^[342]

Наполеон, это правда, многое выиграл от перемирия. Его новобранцы получили огромную пользу от тренировок за эти девять недель: его войска теперь угрожали Австрии со стороны Баварии и Иллирии, а также из недавно укрепленного лагеря к югу от Дрездена; его кавалерия восстанавливала свою былую боеспособность: Мюрат, в ответ на его властный призыв, прекратил свои долгие колебания и присоединился к армии в Дрездене 14 августа.

Прежде всего, французы теперь прочно удерживали этот огромный военный барьер - реку Эльбу. Упорство Наполеона во время перемирия, несомненно, подпитывалось его безграничной уверенностью в прочности своего военного положения. Напрасно его маршалы

напоминали ему, что он находится в опасной близости от Франции; что, если Австрия обнажит меч, она может отрезать его от Рейна и что Заале или даже сам Рейн были бы более безопасной линией обороны.— Десять проигранных битв, - возразил он, - вряд ли заставили бы его сделать этот последний шаг. Правда, теперь он раскрыл линию своих коммуникаций с Францией; но если военное искусство заключалось в том, чтобы никогда не подвергаться никакому риску, слава была бы наградой посредственных умов. Он должен был одержать полную победу. Вопрос заключался не в том, чтобы оставить ту или иную провинцию: на карту было поставлено его политическое превосходство. При Маренго, Аустерлице и Ваграме он подвергался большей опасности. Его войска теперь не были в воздухе; они находились на Эльбе, в ее крепостях и в Эрфурте. Дрезден был стержнем, вокруг которого вращались все его движения. Его враги были рассредоточены по окружности, простиравшейся от Праги до Берлина, в то время как он находился в центре; и, действуя на внутренних и, следовательно, более коротких направлениях, он мог перехитрить их. *"Но, - заключил он, - там, где меня нет, мои помощники должны ждать меня, ни в чем не полагаясь на волю случая."* Союзники не могут долго действовать сообща на столь протяженных рубежах, и разве я не могу разумно надеяться рано или поздно поймать их на каком-нибудь ложном шаге? Если они рискнут прорваться между моими укрепленными линиями на Эльбе и Рейне, я войду в Богемию и таким образом зайду им в тыл". ^[343]

План обещал многое. Центральные укрепленные лагеря Дрездена и Пирны вместе с крепостями Кенигштайн вверху и Торгау внизу, саксонской столицей, давали большие стратегические преимущества. Корпус Св. Кир в Кенигштайне, а также Вандамм, Понятовский и Виктор дальше на восток наблюдали за ущельями, ведущими из Богемии. Корпуса Макдональда, Лористона, Нея и Мармона сдерживали силезскую армию Блюхера. Слева от Наполеона, опираясь на крепости Виттенберг и Магдебург, корпуса Удино, Бертрана и Ренье угрожали Берлину, а северная армия Бернадотта расквартировалась в окрестностях Берлина; в то время как Даву в Гамбурге столкнулся с северными отрядами Бернадотта и угрожал его коммуникациям со Штральзундом. Даву, конечно, был далеко, и потеря этого способнейшего из лейтенантов Наполеона сильно сказалась в последующих сложных действиях; однако, за этим исключением, войска Наполеона были хорошо в руках и имели преимущество центральной позиции, в то время как союзники пока еще были растянуты по длинной дуге.

Но Наполеон в очередной раз совершил ошибку, недооценив как численность, так и способности своих врагов. Ценой огромных усилий они теперь располагали почти полумиллионом вооруженных людей у берегов Одера и Эльбы или наступали со стороны Польши и Венгрии. Правда, многие из них были резервистами или новобранцами-новобранцами, и полковник Кэткорт сомневался, существовали ли тогда австрийские резервы. ^[344] Но лучшие источники указывают на общую численность в 496 000 человек и 1443 орудия. Более того, как было согласовано в Трахенберге, 77 000 русских и 49 000 пруссаков теперь выступили из Глатца и Швейдница в Богемию и быстро вошли в соприкосновение со 110 000 австрийцев, которые теперь располагались за рекой Эгер. Формирование Великой армии союзников было мастерским шагом. Наполеон узнал об этом только 16 августа, и только неделю спустя он осознал, насколько велики силы, которые будут угрожать его тылу. В настоящее время его план состоял в том, чтобы удержать Богемские перевалы к югу от Баутцена и Пирны, чтобы воспрепятствовать любому вторжению в Саксонию, в то время как он бросился с большими силами на Силезскую армию, численность которой теперь составляла 95 000 человек, хотя он полагал, что она насчитывает всего 50 000 человек. ^[345] Пока он сокрушал Блюхера, его лейтенантам Удино, Ренье и Бертрану было поручено выбить рассеянный корпус Бернадотта из

Берлина; после чего Даву должен был отрезать его от моря и освободить французские гарнизоны в Штеттине и Кюстрине. Таким образом, Наполеон предложил перейти в наступление по открытой местности в направлении Берлина и Силезии, оставаясь сначала в обороне у Дрездена и в Лужицких горах. Это противоречило совету Мармона, который убеждал его нанести первый удар по Праге, а не поручать своим лейтенантам великие предприятия вдали от Дрездена. Совет оказался здравым; но представляется несомненным, что Наполеон намеревался начать кампанию мощным ударом, нанесенным по Блюхеру, а затем провести большие силы через Лужицкие ущелья в Богемию и оттеснить союзников, стоявших перед ним, к Вене.

Но что, по его предположению, будут делать союзные войска в Богемии, пока он разгромит Блюхера в Силезии? Разве Дрезден и его коммуникации с Францией не остались бы открытыми для их ударов? Он решил пойти на этот риск. У него было 100 000 человек среди лужицких холмов между Бауценом и Циттау. Корпус Сен-Сира занял прочные позиции в Пирне и небольшой крепости Кенигштайн, в то время как его легкие войска наблюдали за перевалами к северу от Теплица и Карлсбада. Если бы союзники попытались вторгнуться в Саксонию, они, как полагал Наполеон, попытались бы форсировать дорогу Циттау, которая представляла мало естественных трудностей. Если бы они угрожали Дрездену со стороны проходов дальше на запад, Вандам выступил бы из-под Циттау на подкрепление Сен-Сиру, или, если понадобится, сам император поспешил бы вернуться из Силезии со своей гвардией. Если враг вторгнется в Баварию, Наполеон пожелает им *счастливого пути*: они вскоре вернутся быстрее, чем уходили; ибо в этом случае он направит свои колонны из Циттау в направлении Праги и Вены. Мысль о том, что он может на какое-то время оказаться отрезанным от Франции, его не беспокоила: "400 000 человек, - сказал он, - опирающихся на систему опорных пунктов на такой реке, как Эльба, повернуть нельзя". По правде говоря, он мало думал о богемской армии. Если бы 40 000 русских вошли в Богемию, они не достигли бы Праги до 25-го; так он написал Сен-Сиру 17-го, в день, когда могли начаться военные действия; и он, очевидно, верил, что Дрезден будет в безопасности до сентября. Его оборона, казалось, была обеспечена мастерством этого мастера оборонительной войны Сен-Сира, барьером из гор Эрц и еще больше медлительностью австрийцев.

На эту их особенность он возлагал большие надежды. Их финансы были в ужасном беспорядке; и Фуше, который только что вернулся из поездки по государствам Габсбургов, сообщил, что лучшим способом нанести удар по этой державе было бы "повлиять на ее бумажную валюту, от которой зависит все ее вооружение". ^[346] И в самом деле, если бы переброска огромной армии через горный хребет зависела исключительно от почти обанкротившейся венской казны, Дрезден был бы в безопасности до Михайлова Дня; но, помимо материальной помощи, доставленной русскими и пруссаками в Богемию, Англия также оказывала ей финансовую поддержку. В соответствии с секретной статьей, согласованной в Рейхенбахе, Кэткарт немедленно предоставил аванс в размере 250 000 фунтов стерлингов; и знание того, что наша финансовая поддержка была оказана федеративным облигациям, выпущенным союзниками, позволило Венскому двору в частном порядке привлекать займы и вести войну с энергией, совершенно неожиданной для Наполеона. ^[347]

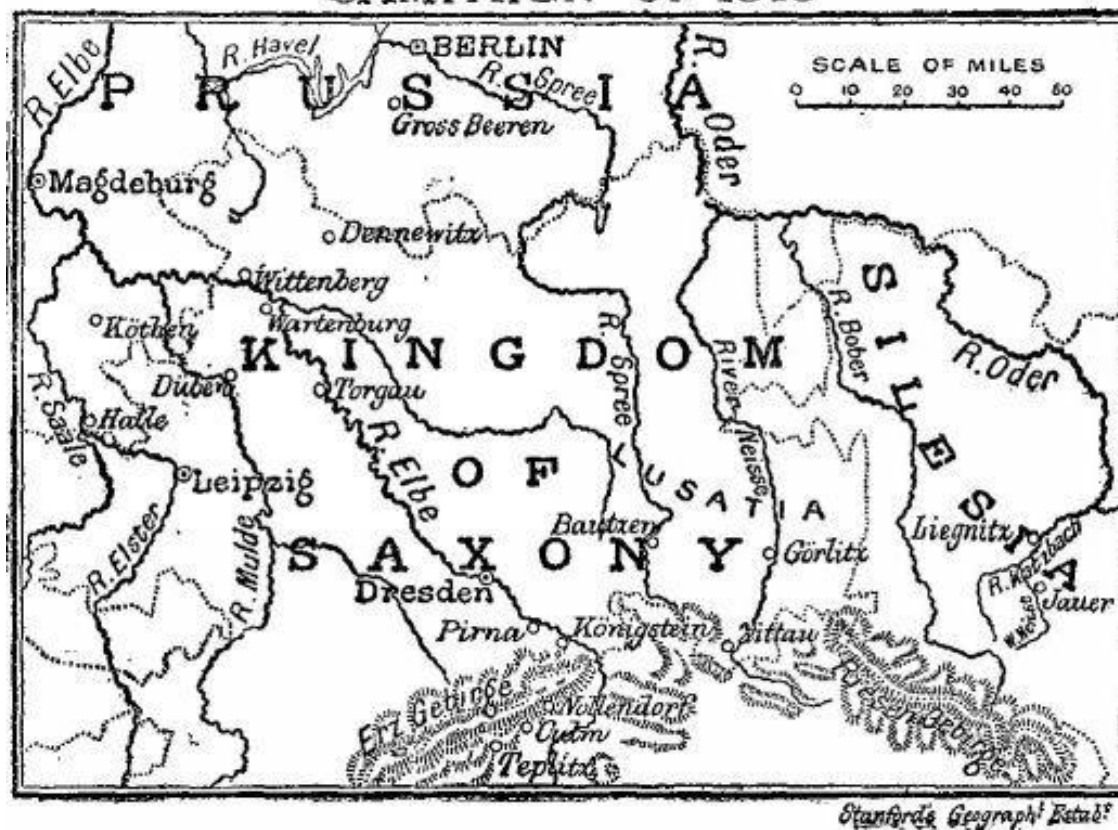
Конечно, Великая армия союзников не испытывала недостатка в советниках. Там присутствовали царь, император Франциск и король Пруссии; в качестве комплимента Австрии командование было поручено фельдмаршалу Шварценбергу, человеку скорее дипломатических

способностей, чем военного гения. На его стороне были русские, Витгенштейн, Барклай и Толль, прусский Кнезбек, швейцарец Жомини и, прежде всего, Моро.

Последний, как мы видели, перешел на сторону Бернадотта и был принят союзными государями с большими почестями. Жомини также приветствовали за его знание военного искусства. Этот великий писатель долгое время служил французским генералом; но жестокое обращение, которому он недавно подвергся от рук Бертье, вынудило его 14 августа уволиться с французской службы и перейти к союзникам. Однако из его рассказа о своем дезертирстве становится ясно, что он не проник в планы Наполеона по самой лучшей из всех причин, потому что император держал их при себе до самого последнего момента. ^[348]

Вторая часть кампании начинается с любопытного зрелища огромных сил, которыми командуют опытные лидеры, действующие в полном неведении о действиях противника всего в каких-нибудь пятидесяти милях от нас. Покинув Баутцен 17 августа, Наполеон двинулся на восток к Герлицу, оттуда повернул к Циттау и, услышав ложный слух о том, что русско-прусские силы в Богемии насчитывают всего 40 000 человек, вернулся в Герлиц с целью сокрушить Блюхера. Споры о перемирии дали этому предприимчивому лидеру повод войти в нейтральную зону до истечения срока его действия; и у него были острые разногласия с Макдональдом и Ней недалеко от Левенберга на реке Бобер. Наполеон поспешил со своей охраной, стремясь поймать Блюхера; ^[349] численность французов теперь составляла 140 000 человек, в то время как у союзников под рукой было едва 95 000. Но прусский ветеран, обычно отважный, как лев, теперь был хитер, как лиса. Под прикрытием напряженных дел на аванпостах он умело отступил на юго-восток, надеясь заманить французов в глубь Силезии и таким образом дать время Шварценбергу захватить Дрезден.

CAMPAIGN OF 1813



КАМПАНИЯ 1813 ГОДА

Но Наполеону не суждено было продвинуться дальше. Видя, что его врагов невозможно принудить к решительному сражению, он доверил командование Макдональду и быстро отступил с Неем и его охраной в направлении Герлица; ибо теперь он видел возможную опасность для Дрездена, если Шварценберг нанесет удар по цели. Если, однако, этот лидер останется в обороне, император решил вернуться к тому, что все это время было его вторым планом, и устремиться через Лужицкие дефиле на Прагу.^[350] Но депеша из Сен-Сира, которая достигла его в Герлице поздно вечером 23-го, показала, что Дрездену угрожала серьезная опасность со стороны собирающихся масс союзников. Эта новость отправила его второй план в подвешенное состояние тщетных надежд. Тем не менее, как появится немного позже, его решимость защищаться, перейдя в наступление, вскоре оформилась в еще один план уничтожения союзников.

Доказательством негибимости драчливости его ума является то, что он разработал этот план во время утомительного долгого форсированного марша обратно к Дрездену, под проливным дождем и разочарованием от осознания того, что его рейд в Силезию закончился лишь бесплодным изнурением его отборных войск. В сопровождении Старой гвардии, Молодой гвардии, пехотной дивизии и кавалерии Латур-Мобура он прибыл в Штольпен, к юго-востоку от Дрездена, перед рассветом 25-го. Большинство батальонов преодолели сорок миль немногим более чем за сорок восемь часов, и это тоже после частичного сражения при Левенберге и несмотря на отсутствие регулярных пайков. Оставив его на время, обратимся к судьбе войны в Бранденбурге и Силезии.

Наполеон приказал Удино со своим собственным корпусом и корпусами Ренье и Бертрана общей численностью около 70 000 человек пробиться с боем к Берлину, рассеять тамошний ландвер и "обезумевший сброд" и, если город окажет сопротивление, предать его огню огнем пятидесяти гаубиц. Этот маршал обнаружил, что его ожидает жесткое сопротивление, хотя главнокомандующий союзниками Бернадотт действовал с предельной осторожностью, как будто он стремился оправдать недавнюю насмешку Наполеона о том, что он "только устроит шоу" (*пиаффер*). Это правда, что положение шведского принца, когда Даву угрожал его тылу, было далеко от безопасного; но он заслужил неприязнь пруссаков, играя роль *великого сеньора*.^[351] Тем временем большая часть обороны осуществлялась пруссаками, которые затопили плоскую болотистую местность, тем самым задержав продвижение Удино и вынудив его разделить свой корпус. Тем не менее, казалось, что Бернадотт вот-вот покинет Берлин.

На это последовало всеобщее возмущение, которое нашло выход в реплике прусского генерала фон Бюлова: "Наши кости будут белеть перед Берлином, а не за ним". Воспользовавшись подходящим моментом, когда другие корпуса Удино были еще далеко, Бюлов резко атаковал саксонский корпус Рейнье у Гроссберена и добился блестящего успеха, взяв 1700 пленных при 26 орудиях и, таким образом, вынудив разрозненные отряды Удино в замешательстве отступить к Виттенбергу (23 августа).^[352] Туда кронпринц осторожно последовал за ним. Четыре дня спустя прусская колонна ландвера завязала отчаянный бой при Хагельберге с новобранцами Жирара и, наконец, набросилась на них с волчьей яростью, нанося удары ножами и дубинками, пока окаменелости и переулки города не были завалены убитыми и ранеными. Едва 1700 из 9000 человек Жирара благополучно добрались до Магдебурга. Неудачи при Гроссбире и Хагельберге неблагоприятно отразились на Даву. Этот предводитель, продвигаясь в Мекленбург, вступил в перестрелку с корпусом Вальмодена, состоявшим из ганноверцев, британцев и ганзейцев; но, услышав о провале других попыток штурма Берлина, он отступил и ограничился главным образом обороной, которая никогда не входила в планы императора ни с этой, ни с какой другой стороны.

Даже когда Наполеон оставил Макдональда лицом к лицу с Блюхером в Силезии, ему было приказано не просто сдерживать союзников: по возможности Макдональд должен был атаковать его и выбить за пределы города Яуэр.^[353] Именно это попытался сделать французский маршал 26 августа. Условия казались благоприятными для неожиданности. Армия Блюхера была расквартирована среди холмистой местности, глубоко изрезанной долинами Кацбаха и "бушующей Нейсе".^[354] Менее половины армии союзников численностью 95 000 человек состояло из пруссаков: русские, естественно, подчинялись его приказам с некоторой неохотой, и даже его соотечественник Йорк неохотно следовал указаниям "гусарского генерала".

Макдональд также надеялся перехватить союзников, пока они были разделены глубокой долиной Нейсе. Пруссаки с русским корпусом во главе с Сакеном находились к востоку от Нейсе, недалеко от деревни Айхгольц, центральной точки плато к северу от Яуэра, которое было целью французского правого крыла; в то время как русский корпус Ланжерона находился в Хеннерсдорфе, примерно в трех милях от него и к западу от этого потока. Со своей стороны, Блюхер планировал атаку на Макдональда, когда услышал, что французы переправились через Нейсе недалеко от ее впадения в Кацбах и с трудом поднимаются по оврагам, ведущим к Айхгольцу.

Проливные дожди скрыли передвижения обеих сторон, и поскольку Сухам, возглавлявший правый фланг французов, забыл выставить разведчиков с флангов, прусский штабной офицер Маффлинг смог проехать на небольшом расстоянии от колонн противника и доложить своему командиру, что их можно атаковать до того, как их массы полностью развернутся на плато. Пока силы Сухама все еще подтягивались, артиллерия Сакена начала поливать их дробью, и если бы Йорк быстро атаковал со своим пруссакским корпусом, день мог быть выигран немедленно. Но этот самоуверенный генерал настоял на том, чтобы неторопливо развернуть своих людей. Таким образом, Сухаму удалось закрепиться на плато: люди Себастьяни подтянули двадцать четыре легких орудия, и временами самоотверженная храбрость французов ставила под угрозу оборону. Но недостатки в их позиции медленно, но верно говорили против них, и энергия их атаки иссякла сама собой. Их кавалерия была измотана грязью; их мушкеты стали практически бесполезны из-за непрекращающегося дождя; и когда ближе к вечеру Блюхер возглавил лихую атаку прусских и русских всадников, усталые солдаты-новобранцы уступили дорогу, беспорядочно сбежали вниз по склонам и направились к бродам Нейсе и Кацбаха, где многих поглотила поднявшаяся вода. Тем временем русские на левом фланге союзников едва сдерживали атаки Лористона, и с этой стороны день закончился вничью. Однако Макдональд, видя, что тылу Лористона угрожает наступление пруссаков через Кацбах, ночью отступил со всеми своими силами. В следующие несколько дней союзники, наседая на его измотанные и деморализованные войска, довершили их разгром, так что Блюхер 1 сентября смог таким образом подвести итоги сражения и преследования — захвачены два "орла", 103 орудия, 18 000 человек и огромное количество боеприпасов и припасов, а Силезия полностью освобождена от врага. ^[355]

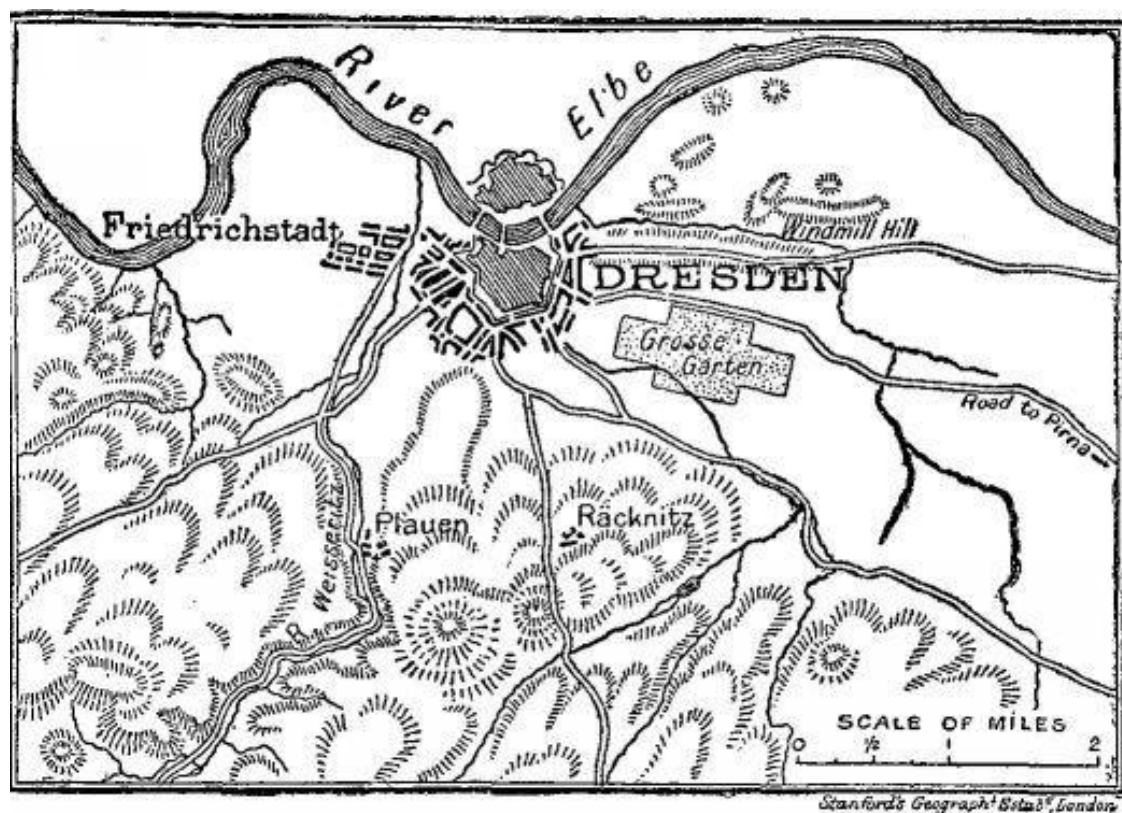
Теперь мы возвращаемся к событиям, центром которых был Дрезден. Когда 21 и 22 августа союзники прокладывали себе путь через перевалы Эрза, они ничего не знали о местонахождении Наполеона. Генералы Жomini и Толль, которые были ознакомлены с планом операций, сходятся во мнении, что целью союзников был захват Лейпцига. Последние утверждают, что они верили, что там находится Наполеон, в то время как швейцарский стратег видел в этом движении всего лишь средство соединиться с армией Бернадотта, чтобы отрезать Наполеона от Рейна. ^[356] Не подозревая, что богатая добыча в Дрездене осталась почти в пределах их досягаемости из-за продвижения Наполеона на восток, союзники продвигались к Фрейбергу и Хемницу, когда 23-го захват одной из депеш Сен-Сира открыл им правду.

Они сразу же повернули на восток, к Дрездену; но их продвижение по жалким перекресткам, теперь изрезанным дождями, было таким медленным, что только ранним утром 25-го числа головы их колонн показались на высотах к юго-западу от саксонской столицы. И все же, несмотря на это, все предзнаменования были в их пользу. Справа от них Витгенштейн уже захватил французские позиции у Пирны и теперь продвигался через аванпосты Сен-Сира к Дрездену. Поэтому отважные люди в штабе Шварценберга умоляли его использовать уже достигнутое преимущество, пока Наполеон был еще далеко. Все, утверждали они, доказывало, что французы были застигнуты врасплох; Дрезден не мог долго противостоять атаке численного превосходства: его положение в долине реки, над которой господствовали южные и западные склоны, которые союзники прочно удерживали, было фатальным для длительной обороны: тринадцать редутов, поспешно возведенных французами, не могли долго сдерживать армию, и из них только пять находились на левом берегу Эльбы, на котором союзники теперь стояли лагерем.

Вопреки этим мужественным советам голос благоразумия молил об отсрочке. Неизвестно, насколько сильны силы Сен-Сира в Дрездене и в укрепленном лагере к югу от города. Не лучше ли поэтому дожидаться развития событий? Таков был совет Толля и Моро, последний предупреждал царя с серьезностью, которая, как мы можем счесть, чревата судьбой для него самого: "Сир, если мы нападём, мы потеряем 20 000 человек и разобьем себе нос". ^[357] Множество консультантов не стремились к безопасности. Отвлеченный языковой перепалкой, Шварценберг в конце концов нашел убежище в этом последнем прибежище слабых умов - скромном компромиссе. Он решил подождать, пока другие корпуса не подойдут к фронту, и в четыре часа следующего дня *выдвинуть вперед пять колонн для общей разведки боем*. Как указал Жомини, этот план основывался на явной путанице мыслей. Если командующий хотел просто выяснить силу обороняющихся, в этом можно было сразу убедиться, выслав вперед легкие отряды под прикрытием стрелков в важных точках. Если бы он хотел атаковать силой, его передвижение было бы рассчитано слишком поздно, чтобы безопасно расположиться в большом городе, удерживаемом решительным врагом. Более того, отсрочка нападения на тридцать часов дала время французскому императору появиться на месте происшествия со своей Охраной.

Как мы видели, Наполеон достиг Столпена, городка, расположенного примерно в шестнадцати милях от Дрездена, очень рано утром 25-го. Его планы представляют разительный контраст с медленными и неуклюжими действиями союзников. Он предложил ударить своей гвардией им в тыл и отрезать их от Богемии. Перейдя Эльбу у Кенигштайна, он должен был овладеть лагерем Пирна, удерживать плато дальше на запад и перехватить отступление Шварценберга. ^[358] Для успеха этого плана ему нужен был день отдыха для его уставших Охранников и знание того, что Дрезден может продержаться недолго. Его ветераны, возможно, могли бы обойтись без отдыха; куда бы ни отправился их император, они последуют за ним; но Дрезден был неизвестной величиной. Вскоре после полуночи 25-го и 26-го он получил известие от Сен-Сира о том, что Дрезден вскоре будет атакован такими силами, что успешная оборона станет сомнительной.

Он сразу же изменил свой план и в час ночи отправил четыре депеши, приказывая своей гвардии и всем доступным войскам прийти на помощь Сен-Сиру. Теперь только корпусу Вандама была поручена задача обойти неприятеля с тыла, в то время как гвардейцы задолго до рассвета возобновили свой марш под дождем и грязью. Император последовал за ними и галопом обогнал их, достигнув столицы в 9 часов утра вместе с кирасирами Латур-Мобура; а вскоре после полудня на высотах к востоку от Дрездена были замечены медвежьи шкуры гвардейцев, в то время как темные массы союзников собирались на юге и западе для разведки боем.



БИТВА ПРИ ДРЕЗДЕНЕ

Низкие тучи и безжалостный дождь лишили сцену всякого блеска, но придали ей некое мрачное величие. С одной стороны находился прекрасный город, центр немецкого искусства и культуры, наспех окруженный редутами и укреплениями, в которых сейчас находилось около 120 000 защитников. Страхи и ропот рассеялись, как только появился император; и хотя во многих домах люди все еще жаждали триумфа союзников, все же верность своему королю и благоговейный трепет перед Наполеоном удерживали огромную массу граждан верными его союзу. Что же касается французских солдат, то их энтузиазму не было предела. По мере того как полк за полком устало продвигались с востока по мосту через Эльбу и солдаты видели эту хорошо знакомую фигуру в сером пальто, усталость и неудобства были забыты; громовые крики "Да здравствует Имперец" сотрясали воздух и разносились вдоль ручья, неся вдохновение защитникам, сомнения и смятение вражеским линиям. Тем не менее, они тоже укреплялись, пока, наконец, не собрали почти 200 000 человек, которые окутали склоны к югу от Дрездена облаком войны, которое обещало смести его поспешную оборону, если бы там не было Наполеона.

Известие о его прибытии потрясло нервы русского императора, и обычно неуверенному в себе королю Пруссии предстояло бороться со всякой мыслью об отступлении. Таким образом, разведка силами Шварценберга была произведена точно в четыре часа, когда французы после короткого отдыха были хорошо подготовлены к встрече с ними. Пруссаки уже захватили "Большой сад", который тянется вдоль Пирнской дороги; и с этой выгодной точки они теперь стремились выбить Сен-Сир из укреплений, укрепленных на его фланге и тылу. Но их массы были разорваны смертоносным огнем и, в конце концов, отступили разбитыми. У русских справа дела обстояли не лучше. В центре и слева от союзников атака одно время обещала

успех. Под прикрытием сильной канонады со своих склонов австрийцы захватили два редута, но в отчаянной атаке Старая гвардия ворвалась в ущелья этих укреплений и в течение часа добивала победителей штыками. С наступлением ночи нападавшие отступили, сбитые с толку, понеся серьезные потери.

Тем не менее, ночные невзгоды, проливные дожди на рассвете и осознание силы позиций противника впереди и передвижения Вандама в их тылу не смогли сломить их дух. Если они были полны решимости, то Наполеон лучился надеждой. Его силы, хотя и меньшие, удерживали внутреннюю линию и растянулись примерно на три мили; в то время как вогнутый фронт союзников простирался на вдвое большее пространство, а их левое крыло было отделено от центра рекой и ущельем Плауэн. Поэтому со своего внутреннего положения он мог легко обрушить подавляющую массу на любую часть их ослабленного строя. Он приготовился нанести удар по их крыльям. В те моменты все сулило успех его методам атаки.

Пожалуй, никогда во всей современной войне мушкет не был так бесполезен, как во время проливных дождей, которые обрушились на бойцов при Кацбахе и под Дрезденом. В то время его огневая система была настолько несовершенной, что после сильного шторма от целых батальонов пехоты доносились лишь слабые выстрелы: и в те два насыщенных событиями дня почести были на стороне артиллерии и *"Белой армии"*. Что касается пехотинцев, то они мало что могли сделать, за исключением нескольких диких ударов штыками в ближнем бою. Это объясняет ход событий как в Кацбахе 26-го, так и в Дрездене на следующий день. Центр союзников был слишком укреплен на склонах к югу от Дрездена, чтобы подвергаться атаке с большой надеждой на успех. Но против русского авангарда на правом фланге союзников Наполеон с полным успехом развернул корпус Мортье и кавалерию Нансути, пока массы Витгенштейна на высотах не остановили наступление французов. В центре города несколько тысяч орудий ударили друг о друга, но без особого результата, если не считать того, что Моро унесло ноги выстрелом полевой батареи, внезапно открывшимся по свите царя. Это был первый выстрел, который нанес ему смертельную рану, но еще несколько мячей упали среди группы, пока Александр и его сотрудники не отошли.

Тем временем Наполеон нанес мощный удар по левому флангу союзников. Там австрийское крыло было отделено от основных сил труднопроходимым дефиле у Плауэна; и оно было разгромлено в результате одной из самых блестящих комбинаций императора. Направив Виктора с 20 000 человек всех родов войск вступить в бой с беломундирниками спереди, он приказал Мюрату с 10 000 всадников обойти их с берега Эльбы и атаковать с фланга и тыла. Дивизия графа Мецко приняла на себя основную тяжесть этого ужасного наступления. Она благородно сопротивлялась. Хотя ни один мушкет из пятидесяти не стрелял, пехотинцы в одном месте отбили две атаки кирасир Латура-Мобура, пока он не возглавил свой строй уланами, которые смяли их ряды и открыли путь для сабель. ^[359] Затем началась резня; и пока эскадроны Мюрата бушевали вдоль их разорванных линий, 10 000 пехотинцев, отрезанных от основных сил, сложили оружие. Известие об этой катастрофе слева и звук орудий Вандама, гремевших среди холмов к западу от Пирны, заставили союзных монархов и Шварценберга подготовиться к своевременному отступлению в Богемия. И все же они держались таким решительным фронтом в центре и справа, что в меркнувшем свете было видно, что сражающиеся стоят друг против друга на равных.

Ночью грохот повозок предупредил разведчиков Мармона, что враг отступает;^[360] и император, появившись на рассвете, приказал маршалу и Сен-Сиру наступать прямо им в тыл, в то время как Мюрат преследовал беглецов по Фрайбургской дороге дальше на запад. Исход этих двухдневных боев был самым серьезным для союзников. Они потеряли 35 000 человек убитыми, ранеными и пленными — естественный результат их пренебрежения воспользоваться щедрыми милостями Фортуны 25-го числа; результат также быстрых передвижений Наполеона и безошибочной проницательности в использовании тактических промахов его врагов.

Это была последняя из его великих побед. И даже здесь золотой плод, который он надеялся сорвать, рассыпался в горькую пыль у него в руках. Как уже указывалось, он поручил генералу Вандаму, одному из самых суровых бойцов французской армии, выполнить с 38 000 человек задачу, которую он сам ранее надеялся выполнить более чем вдвое большим числом. Это было сделано для того, чтобы захватить Пирну и плато на западе, которое контролировало три дороги, ведущие в Теплиц в Богемии. Лучшая из этих дорог пересекает Эрцгебирге через Ноллендорф и ущелье, ведущее вниз к Кульму, другая - через Циннвальдский перевал, а между ними проходит третья, еще более сложная трасса. Вандам должен был занять позицию к западу или юго-западу от Пирны, чтобы отрезать противнику путь к отступлению.

Соответственно, он выступил из Штольпена на рассвете 26-го и в течение следующих двух дней пробивался далеко в тыл Великой армии союзников. Русские войска численностью 14 000 человек, возглавляемые молодым принцем Евгением Вюртембергским и графом Остерманом, тщетно пытались остановить его продвижение: несмотря на грубое обращение французов 28-го числа, московиты отошли, с постоянными боями отступили к перевалу Ноллендорф и заняли сильную позицию за деревней Кульм. Там они получили своевременную поддержку от войск царя и Фридриха Вильгельма, которые, перейдя Циннвальдский перевал, услышали стрельбу на востоке и догадались о серьезности кризиса. Если бы они не держали Вандама на расстоянии, Великая армия могла бы с трудом пробиться в Богемия. Но теперь, с поспешно присланной поддержкой, Остерман, наконец, отбил все усилия Вандама. Защитники мало знали, какие благосклонности уготовила им Фортуна.

Прусский корпус под командованием Клейста медленно продвигался вверх по середине трех ущелий, когда в полдень 29-го от короля пришел приказ поспешить перевалить хребет и повернуть на восток на поддержку Остермана. Это было невозможно: ущелье было забито повозками и артиллерией, но один из штабных офицеров Клейста предложил дерзкий план: сразу же броситься на перекрестные пути и врезаться в тыл Вандаму. Этот новаторский и романтический план был осуществлен. В то время как французский генерал обрушивал свои удары на союзников под Кульмом, пруссаки обрушились с высот Ноллендорфа ему в тыл. Несмотря на это, французы стойко боролись за свободу. Их предводитель, презрев смерть или капитуляцию, бросился со своими храбрецами на русских впереди, но был сбит с ног и схвачен, сражаясь до последнего. Несколько эскадронов бросились вверх по кручам против пруссаков и частично прорубили им путь. Четыре тысячи пехотинцев держались на естественном опорном пункте, пока их пули не иссякли, а оставшиеся в живых не сдались. Многие другие нырнули в леса и встретили различную судьбу: некоторые спаслись бегством к своим товарищам, другие пали перед арьергардом Клейста. Такова была катастрофа при Кульме. Помимо несгибаемого героизма, проявленного побежденными, это можно назвать Хвостатым ответвлением современной войны. Силы численностью около 40 000 человек были почти уничтожены: они потеряли все свои пушки и уцелели только в виде групп измученных отставших.^[361]

Кого следует винить в этой катастрофе? Очевидно, этого не могло бы произойти, если бы Вандамм поддерживал связь с ближайшими французскими дивизиями: в противном случае они могли бы зайти Клейсту в тыл и захватить его в плен. Наполеон явно намеревался поддержать Вандама корпусом Сен-Сира, которому рано утром 28-го было поручено сотрудничать с этим генералом, в то время как Мортье прикрывал Пирну. Но в то же утро император поехал в Пирну, обнаружил, что Сен-Сир, Мармон и Мюрат гонят толпы пленных, и приказал Бертье приказать Вандаму "проникнуть в Богемию и сокрушить принца Вюртембергского". ^[362] Затем, не дожидаясь организации преследования, он немедленно вернулся в Дрезден, либо потому, что, как говорят некоторые, дожди предыдущих дней охладили его организм, либо, как утверждает Мармон, с большим основанием, из-за его беспокойства по поводу известия о катастрофе "Макдональдса" на Катцбахе. Несомненно то, что он отозвал свою Старую гвардию в Дрезден, занялся планами марша на Берлин и в 5.30 следующего утра отдал Бертье приказ Сен-Сиру "преследовать врага до Максена и во всех направлениях, которые он предпринял". Этот приказ повел Сен-Сира на запад, в погоню за русскими Барклая, которые резко отклонились в этом направлении, чтобы спастись от Вандама.

Таким образом, восточная дорога на Теплиц была оставлена сравнительно свободной, в то время как средняя дорога была запружена преследователями. ^[363] Наполеон не давал указаний предупредить Вандама о бреши, образовавшейся таким образом в его тылу: и Мортье в Пирне не было приказано продвигаться вперед и поддерживать связь с Вандамом теперь, когда Сен-Сир находился примерно в восьми милях к западу. Несомненно, Сен-Сиру и Мортье следовало бы принять согласованные меры для поддержания связи с Вандамом, и они заслуживают порицания за свою недальновидность; но даже маршалам было не свойственно проявлять инициативу, когда император находился поблизости. Подводя итог: причинами катастрофы Вандама были, во-первых, его стремительный бросок в Богемию в поисках маршальского жезла, который должен был стать его герконом победы; во-вторых, расхождение улиц Св. Кир двигался на запад во исполнение приказа Наполеона от 29-го числа преследовать противника в направлении Максена: в-третьих, пренебрежение улицей Св. Сир и Мортье согласовали меры по поддержке Вандама на Ноллендорфской дороге, но, прежде всего, возвращение Наполеона в Дрезден и его пренебрежение своевременным взаимодействием своих войск на восточном направлении преследования. ^[364]

Катастрофа при Кульме сорвала кампанию Наполеона. Пока Вандамм предпринимал свой последний бой, его хозяин в Дрездене составлял длинную записку относительно соответствующих преимуществ похода на Берлин или на Прагу. Он избрал первый курс, который сокрушил бы национальное движение в Пруссии и привел бы его в соприкосновение с Даву и французскими гарнизонами в Кюстрине и Штеттине. "Тогда, если Австрия снова начнет свои безумства, я буду в Дрездене с объединенной армией".

Он считал Австрию запуганной ударами, нанесенными ей южнее Дрездена, которые, вероятно, заставят ее просить мира, и надеялся, что еще одно крупное сражение положит конец войне. Неудачи с Макдональдом и Вандамом развеяли эти мечты. Тем не менее, с неукротимой энергией он поручил Нею принять командование армией Удино (должность, от которой этот несчастный лидер умолял освободить его) и нанести удар по Берлину. Он приказал Фрианту с колонной Старой гвардии двинуться маршем на Баутцен и разогнать отставших от Макдональдса прикладами мушкетов. ^[365] Затем, услышав, насколько велика опасность, грозящая этому маршалу, он сам тайно выступил с гвардейской кавалерией в надежде

сокрушить Блюхера. Но этот лидер снова отступил (4 и 5 сентября), и снова Великая армия союзников провела свои колонны через Эрц и угрожала Дрездену. Спеша обратно в самом скверном расположении духа, чтобы защитить этот город, Наполеон услышал плохие новости с севера. 6 сентября Ней был жестоко разбит при Денневице. По правде говоря, этот храбрый боец не был тактиком: его диспозиция была хуже, чем у Удино, и упрямая храбрость пруссаков, возглавляемых Бюловым и Тауензеном, вырвала победу у превосходящих сил. Только ночь спасла армию Ней от полного роспуска: на самом деле он потерял около 9000 человек убитыми и ранеными, 15 000 пленными и восемьдесят пушек и откровенно обрисовал ситуацию своему хозяину следующим образом: "Я был полностью разбит и до сих пор не знаю, собралась ли моя армия". ^[366] В конце концов его армия собралась и отступила за Эльбу в Торгау.

Таким образом, за две недели (23 августа- 6 сентября) Наполеон добился большого успеха под Дрезденом, в то время как на периферии боевых действий его лейтенанты проиграли пять сражений — Гроссбир, Хагельберг, Кацбах, Кульм и Денневиц. Таким образом, союзники могли бы сократить это окружение, подойти ближе и угрожать его центральным укрепленным лагерям в Пирне и Дрездене. И все же, следуя заранее разработанному плану, они отступили там, где он выступил лично. Таким образом, когда император попытался оттеснить колонны Шварценберга в Богемию, этот предводитель осторожно отступил к ныне неприступным перевалам; и император отступил к Дрездену, усталый и сбитый с толку. Как он сказал Мармону: "Шахматная доска очень запутана: только я могу знать, где я нахожусь". И все же он снова ворвался в Эрцгебирге, ввязался в бесплодную перестрелку в ущелье над Кульмом, и снова ему пришлось вести свои войска обратно к Пирне и Дрездену. Третий ход против Блюхера привел к тому же изнурительному результату.

Союзники, измотав противника, спланировали дерзкий ход. Блюхер убедил союзных монархов нанести удар из Богемии на Лейпциг, обойдя таким образом фланг оборонительных сооружений, возведенных французами к югу от Дрездена, и перерезав их коммуникации с Францией. Сам он должен был выступить на северо-запад, присоединиться к армии северян, а затем встретиться с ними под Лейпцигом. Это randevu он сохранил, как позже стойко соблюдал верность Веллингтону при Ватерлоо; и мы можем обнаружить здесь, как и в 1815 году, стратегический гений Гнейзенау в качестве главной движущей силы.

Оставив небольшой отряд прикрывать свои прежние позиции в Бауцене, ветеран с 65 000 человек скрытно двинулся фланговым маршем к Виттенбергу, навел два понтонных моста через Эльбу у Вартенбурга, примерно в десяти милях выше этой крепости, прогнал батальоны Бертрана, которые препятствовали переправе, и соорудил земляные укрепления для защиты мостов (3 октября). Сделав это, он начал сочувствовать Бернадотту и вступил с ним в контакт к югу от Дессау. Этим дерзким маршем он расположил две армии численностью 160 000 человек к северу от позиций Наполеона; и его личное влияние сдержало, хотя и не полностью прекратило, дипломатические проволочки шведского кронпринца. ^[368] Колебания Бернадотта были окончательно преодолены известием о том, что Блюхер движется на юг, к Лейпцигу. В конце концов он отдал приказ следовать за ним; но мы можем судить, насколько легкой была бы задача по разгрому нестройного строя Бернадотта, если бы Наполеон мог осуществить свой план от 30 сентября.

Как бы то ни было, катастрофа при Кульме удержала императора на несколько дней в нескольких лье от Дрездена, в то время как Бюлов и Блюхер спасли кампанию союзникам на

севере, тем самым вызвав патриотическое брожение, которое выгнало Жерома Бонапарта из Касселя и заставило Даву обороняться вокруг Гамбурга. Там умелые действия Вальмодена с силами русских, британцев, шведов и северных немцев сдержали самого способного из французских маршалов и предотвратили его союз с императором, за который последний никогда не переставал бороться.

Тем временем Великая армия союзников, усиленная приближением из Польши 50 000 русских из Резервной армии, продвигалась через западные перевалы Эрца на равнины к югу от Лейпцига. Этот шаг не был неожиданностью для Наполеона. Важность этого города была очевидна. Расположенный посреди плодородной Саксонской равнины, в центре огромной системы дорог, его положение и богатство в равной степени указывали на то, что он, вероятно, будет захвачен дерзким врагом, который попытается отрезать Наполеона от Франции.

По мере того, как фортуна поворачивалась против него, он все больше нервничал из-за Лейпцига. И все же пока его внимание приковывал марш Блюхера на север. Это озадачило его. Даже 2 октября он не понимал истинной цели Блюхера ^[369]. Но четыре дня спустя он услышал, что прусский вождь переправился через Эльбу. Он немедленно поспешил на северо-запад с гвардией, чтобы сокрушить его и возобновить излюбленный план угрожать Берлину и объединиться с Даву. Поручив Сен-Сиру оборону Дрездена, а Мюрату - Лейпцига, он занял позицию в Дюбене, небольшом городке на реке Мульде, почти на полпути между Лейпцигом и Виттенбергом. Оттуда он усилил армию Нея и приказал этому маршалу двигаться на север, чтобы ударить в тыл Бернадотту и Блюхеру, в то время как сам он ждал в окруженном рвом замке в Дюбене, чтобы узнать исход событий.

Саксонский полковник фон Оделебен оставил нам яркую картину беспокойства великого человека в течение тех четырех дней. Окруженный картами и депешами, прислуживаемый бдительным географом и встревоженным секретарем, он проводил большую часть времени, выводя крупными буквами на листе бумаги, тревожно прислушиваясь к топоту курьера. По правде говоря, несколько дней в его жизни были более важными, чем те, что он провел среди дождей, болот и туманов Дюбена. Если бы он застал Бернадотта и Блюхера далеко друг от друга, он мог бы сокрушить их поодиночке, а затем перенести войну в сердце Пруссии. Но он знает, что Дрезден и Лейпциг далеко не в безопасности. Новости с той стороны начинают его тревожить: и хотя на севере Ней, Бертран и Ренье вырезали арьергард союзников, он с некоторой тревогой узнает, что Блюхер отступает на запад за реку Заале, что свидетельствует о желании вступить в контакт со Шварценбергом под Лейпцигом.

Однако эта приводящая в замешательство мысль побуждает его к одному из самых смелых замыслов. "Чтобы расстроить все их планы, я отправлюсь на Эльбу. Здесь у меня преимущество, поскольку у меня есть Гамбург, Магдебург, Виттенберг, Торгау и Дрезден". ^[370] Как он верил в оборонительные возможности огромной речной линии, усеянной крепостями! Его лейтенанты этого не разделяли. Коленкур рассказывает нам, что его план штурма Берлина вызвал всеобщий ужас в штабе, и что штабисты пришли всем скопом, чтобы умолять его отказаться от него и выступить обратно для защиты Лейпцига. Он неохотно отказывается от нее, и то только для того, чтобы сменить ее на другую, столь же рискованную. Он сокрушит Бернадотта и Блюхера или отбросит их за Эльбу, а затем, сам перейдя Эльбу, поднимется по ее правому берегу, переправится через нее у Торгау и нанесет удар в тыл Шварценбергу под Лейпцигом.

План обещал быть удачным при условии, что его люди были ходячими машинами, и что Шварценберг ничего не предпринял в промежутке времени. Но постепенно до него доходит истина: пока он строит планы и диктует депеши — он отправил шесть сообщений ранним утром 12 октября, — Блюхер и Шварценберг приближаются к Лейпцигу. В тот день он приготовился отступить к этому городу, и его решимость укрепилась на следующий день после пленения одного из вражеских посланцев, который сообщил, что они возлагают большие надежды на отделение Баварии от французского дела.

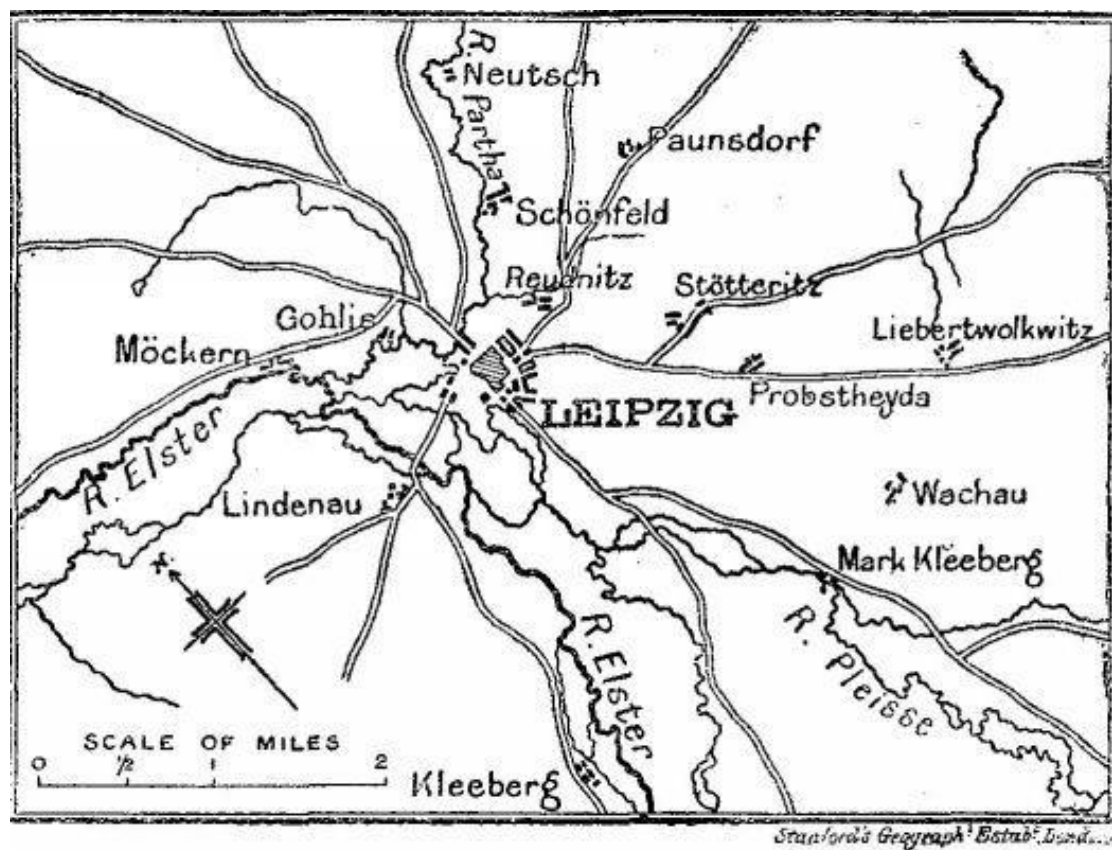
Новости были верными. Пятью днями ранее король Баварии договорился с Австрией, предложив предоставить в ее распоряжение 36 000 военнослужащих, в то время как она, взамен, гарантировала его полный суверенитет и полную территориальную компенсацию за любые районы, которые ему может потребоваться вернуть Габсбургам.^[371] Наполеон еще не знал всего значения новостей, и совершенно неверно утверждать, как это сделали некоторые беспечные поклонники, что это было единственное, что остановило его победоносный поход на север.^[372] Его отступление в Лейпциг было организовано до того, как до него дошли первые слухи о дезертирстве Баварии. Но эта весть опечалила его людей во время их трудного марша на юг; и, как ни странно, император 15-го объявил об этом всем своим войскам в Лейпциге, назвав это причиной, по которой они собирались отступить к Рейну.

Императора многое угнетало, когда 14-го числа он приблизился к Лейпцигу. С ним прибыли король и королева Саксонии, которые в последние дни покорно плелись в хвосте этой кометы, уничтожившей их некогда улыбающееся королевство. За пределами города они расстались, королевская чета искала убежища под его крышами, в то время как император направился в штаб-квартиру Мюрата близ Вахау. Там новости тоже были сомнительными. Король Неаполя в тот день не проявил своей былой доблести. Хотя он располагал большими массами всадников, чем те, которые союзники послали на разведку, он неудачно выбрал место для атаки и повел свои бригады таким рассредоточенным строем, что после долгих переходов из стороны в сторону сражение завершилось с преимуществом союзников.^[373] Недаром Наполеон в ту ночь довольно прохладно принял своих маршалов в своем скромном жилище в деревне Реудниц. Прислонившись к плите, он пробежал глазами несколько имен тех, кто сейчас не справлялся со своими обязанностями; и когда доложили об Ожеро, он заметил, что это не Ожеро из Кастильоне. "Ах! верните мне старых солдат Италии, и я покажу вам, кто я такой", - возразил вспыльчивый ветеран.

На самом деле, Наполеон не был прежним Наполеоном, даже Наполеоном Дрезденского. Там он сокрушил врага быстрой концентрацией. Теперь 15-го числа ничего решающего сделано не было, и таким образом союзникам было предоставлено время для разработки своих планов. Рано утром того же дня Блюхер услышал, что завтра Шварценберг атакует Лейпциг с юго-востока, но пошлет корпус на запад, чтобы угрожать ему со стороны Линденау. Поэтому прусский предводитель поспешил отойти от берегов Заале, и ночью отблески его сторожевых костров предупредили Мармона, что Лейпциг будет атакован также с северо-запада. И все же, несмотря на предупреждения, которые Наполеон получил от своего маршала, он отказывался верить, что северная сторона подверглась серьезной угрозе; и уже на рассвете 16-го он приказал своим войскам там быть готовыми пройти маршем через Лейпциг и броситься на массы Шварценберга.^[374] Если бы Наполеон отдал эти приказы 15-го числа, все могло бы пойти хорошо; ибо все его доступные силы, за исключением корпусов Нея и Ренье, были под рукой, составляя в общей сложности почти 150 000 человек, в то время как у Шварценберга было пока

немногом больше. Но эти приказы 16-го числа были не только запоздалыми: они способствовали поражению на северной стороне.

Мысли императора были сосредоточены на юге. Там его линии растянулись выпуклым фронтом по холмистой местности близ Вахау и Либервольквица, примерно в лиге к югу и юго-востоку от города. Справа его защищала болотистая местность небольшой реки Плейссе; его центр простирался поперек дорог, ведущих в Дрезден, в то время как слева он опирался на небольшой ручей Парте, который поворачивает на северо-запад и образует естественную защиту города с севера. И все же осторожным умам его положение казалось небезопасным; у него в тылу был город, старые стены которого не представляли военной ценности, город, к которому с севера, востока и юга сходились несколько дорог, но из которого в случае поражения он мог отступить на запад только по одной дороге, ведущей через ныне разлившиеся реки Плейсс и Эльстер. Но сам великий полководец думал только о победе. Он приказал Макдональду и Нею выступить из Таучи ему на подмогу: Мармон должен был сделать то же самое; и с этими сосредоточенными силами, действующими против гораздо более многочисленного отряда Шварценберга, он рассчитывал свергнуть его завтра, а затем сокрушить разрозненные силы Блюхера и Бернадотта. [375]



БИТВА ПРИ ЛЕЙПЦИГЕ

Император и Мюрат ехали верхом по горному хребту близ Либервольквица, когда в девять часов союзники с противоположных высот быстро произвели три выстрела подряд, положив начало серии сражений, которые уместно назвать Битвой наций. В течение шести часов яростная канонада сотрясала землю, и конфликт разрастался взад и вперед без особого решающего

результата; но когда корпус Макдональда ударил с северо-востока, союзники начали сдавать позиции. Вслед за этим Наполеон направил два кавалерийских корпуса, Латур-Мобура и Пажоля, против центра союзников.

Затем было замечено одно из самых великолепных зрелищ войны. Быстро поднявшись из-за хребта, 12 000 всадников двумя огромными массами двинулись против слабого места в рядах противника. Их возглавлял неаполитанский король со всем присущим ему рвением. Тяжело дыша, карабкаясь по грязным склонам напротив, они зарубили артиллеристов, окружили русские каре, и самим трем союзным державам пришлось поспешно отступать, чтобы избежать пленения. Но лошади вскоре были истощены бешеной скоростью, с которой мчался Мюрат; и своевременная атака казаков Палена и силезских кирасир, подтянутых из резервов союзников за Плейссой, отбросила французские бригады назад в большом беспорядке, потеряв способных командиров корпусов. Союзники последним усилием восстановили все утраченные позиции, и день здесь закончился вничью с потерей около 20 000 человек с обеих сторон.

Тем временем на западной стороне Лейпцига Бертран отбил атаку австрийского корпуса Джулии на деревню Линденау. Но дальше на север Мармон потерпел серьезное поражение. Повинуясь приказу Наполеона, он отступал к Лейпцигу, когда был резко атакован корпусом Йорка у Меккерна. Между этой деревней и Эвтрицем, дальше на восток, французский маршал оказал самое упорное сопротивление. Блюхер, надеясь захватить в плен весь свой корпус, умолял сэра Чарльза Стюарта вернуться к Бернадоту и попросить его о помощи. Британский посланник нашел шведского принца в Галле и заклинал его приложить все усилия, чтобы не оказаться единственным лидером, оставшимся в стороне от битвы.^[376] Это было напрасно: его армия была слишком далеко; и только после того, как деревня Мекерн неоднократно бралась и отбивалась, Мармон был окончательно изгнан пруссаками Йорка.^[377]

По правде говоря, Мармону не хватало поддержки корпуса Нея, на которую, по словам Бертье, он рассчитывал, если на него нападут силой. Но приказы были расплывчатыми или противоречивыми. Нею было поручено следовать за Макдональдом и придать неотразимый импульс наступлению, которое должно было сокрушить правое крыло Шварценберга. Поэтому он выделил только одну слабую дивизию для прикрытия правого фланга Мармона и с другими дивизиями двинулся на юг, когда срочное сообщение от Меккерна отозвало его на ту сторону Лейпцига, в результате чего его 15 000 человек провели весь день в бесполезных маршах и контрмаршах.^[378] Авария была самой серьезной. Если бы он усилил обходной маневр Макдональда, правое крыло Великой армии союзников могло быть разбито. Если бы он эффективно укрепил Мармона, позиция на севере могла бы быть удержана. Как бы то ни было, французы в замешательстве отступили от Меккерна, потеряв 53 орудия; но они нанесли корпусу Йорка потери в 8000 человек из 21000. Относительно задействованных сил, Альбуэра и Мекерн являются самыми кровопролитными сражениями наполеоновских войн.

В целом, Наполеон нанес союзникам более тяжелые потери, чем понес сам. Но они могли восполнить их. На следующее утро Беннигсен был поблизости на востоке с 41 000 русскими из Резервной армии; австрийский корпус Коллоредо также подошел; а на севере, как было известно, Северная армия Бернадотта численностью 60 000 человек выступила из Галле на подкрепление Блюхеру. Наполеон, однако, мог рассчитывать только на корпус Ренье численностью 15 000 человек, в основном саксонцев, которые двинулись маршем из Дюбена. Корпус Сен-Сира численностью в 27 000 человек находился слишком далеко, у Дрездена; и

Наполеон, должно быть, горько сожалел о своей опрометчивости, оставив этого маршала изолированным на юго-востоке, в то время как Даву был также отрезан под Гамбургом. Теперь у него осталось едва ли 150 000 боеспособных после резни 16-го; и из них немецкие дивизии роптали на бесконечные марши и лишения. Все это угнетало умы людей. В то субботнее утро вокруг Лейпцига царило мрачное запустение, в то время как в самом городе не было слышно ничего, кроме стонов раненых и причитаний горожан. И все же дух Наполеона не угасал. Под непрекращающимся дождем он беспокойно расхаживал с Мюратом по дамбам Плейсса. Король заверил его, что враг понес огромные потери. Затем унылая прогулка закончилась, император заперся в своей палатке. Он принял решение. Он хотел попытать счастья еще раз. ^[379]

Среди пленных был австрийский генерал Мервельд, над которым Наполеон одержал свою первую дипломатическую победу при Леобене. Именно он также внес первые предложения о перемирии после Аустерлица. Эти воспоминания затронули суеверные струны в душе великого корсиканца, ибо во времена стресса самая сильная натура обращается к ранним инстинктам. Этого предвестника удачи император вызвал к себе и долго и серьезно беседовал с ним. ^[380] Сначала он похвалил его за вчерашние усилия повернуть французов влево у Делица; затем он предложил освободить его условно-досрочно, чтобы вернуться в штаб союзников с предложениями о перемирии. Затем, сообщив, что у него под Лейпцигом более 200 000 человек, он обратился к ситуации в Европе. Почему Австрия бросила его? В Праге она, возможно, диктовала Европе условия. Но англичане не хотели мира. На это Мервельд ответил, что они остро нуждаются в этом, но это должно быть не перемирие, а мир, основанный на равновесии в Европе. — "Хорошо, - ответил Наполеон, - пусть они вернут мне мои острова, и я верну им Ганновер; я также восстановлю Ганзейские города и аннексированные департаменты [Северной Германии].... Но как поступить с Англией, которая хочет обязать меня не строить более тридцати линейных кораблей в моих портах?" ^[381]

Что касается Рейнской конфедерации, то те государства могли отделиться, которые решили это сделать, но он никогда не перестанет защищать тех, кто нуждается в его защите. Что касается предоставления Голландии независимости, он видел большую трудность: тогда эта земля попала бы под контроль Англии. Италия должна находиться под властью одного суверена; это соответствовало бы европейской системе. Поскольку он покинул Испанию, этот вопрос был, таким образом, решен. Почему же тогда мир не должен быть результатом перемирия? Союзные монархи думали иначе и сразу же отклонили это предложение. Ответа отправлено не было.

На самом деле, как он и предполагал, Наполеон был в их власти. Поздно вечером в то воскресенье он отвел свои промокшие и полуголодные войска поближе к Лейпцигу, поскольку Блюхер укрепился на севере и угрожал французской линии отступления. Почему император не отступил ночью, должно остаться загадкой. Все народы Европы теперь приближались к нему. На севере были пруссаки, русские, шведы и несколько британских войск. К юго-востоку были сосредоточены плотные массы Великой армии союзников, собранной со всех земель между Альпами и Уралом; а среди войск Беннигсена к востоку от Лейпцига были видны сибирские башкиры, чьи луки и стрелы получили у французских солдат прозвище *влюбленные*.

Этому кольцу из 300 000 бойцов Наполеон мог противопоставить едва ли половину такого количества. И все же французы продолжали сражаться, если не за победу, то за честь; и под предводительством князя Понятовского, чья доблесть 16-го числа принесла ему желанное звание маршала Франции, поляки еще раз отчаянно ухватились за призрак своей

национальной независимости. Наполеон занял позицию со своим штабом на холме за Пробстейдом, рядом с полуразрушенной ветряной мельницей, подходящей эмблемой его богатства; в то время как дальше на юг три союзных монарха наблюдали с более высокого возвышения, как огромный столб дыма медленно приближается к городу. По правде говоря, этот огромный конфликт не поддается никакому описанию. На северо-востоке наследный принц Швеции постепенно вел свои колонны через Парте, в то время как Блюхер наносил удары по пригородам.

Близ деревни Паунсдорф союзники обнаружили слабое место в обороне, где саксонцы Рейнье проявляли признаки недовольства. Несколько человек перешли на сторону русских до полудня, а около трех часов дня другие прошли маршем с громкими криками "ура". Их численность не превышала 3000 человек при 19 пушках, но эти орудия сразу же были эффективно использованы против французов. Наполеон поспешил к этому месту с частью своей гвардии, которая возобновила бой на той стороне. Но это длилось лишь какое-то время. Защита была повсюду перегружена.

Даже вдохновение от его присутствия и отчаянные усилия Мюрата, Понятовски, Виктора, Макдональда и тысяч безымянных героев едва сдерживали массы Великой армии союзников. На севере и северо-востоке Мармон и Ней были в равной степени отбиты. ^[382] Хуже всего было то, что запасы пушечных ядер были на исходе. С простительным преувеличением император впоследствии написал Кларку: "Если бы у меня тогда было 30 000 патронов, я был бы сегодня хозяином мира".

С наступлением темноты вождь вернулся усталый и подавленный на мельницу и приказал Бертье отдать приказ об отступлении. Затем, у сторожевого костра, он опустил на скамью и погрузился в глубокий сон, в то время как его генералы наблюдали за происходящим в скорбном молчании. Со всех сторон вокруг них в темноте раздавались последние крики битвы, стоны раненых и глухой рокот отступающего войска. Через четверть часа он резко проснулся и бросил удивленный взгляд на свой штаб; затем, опомнившись, он приказал офицеру отправиться к королю Саксонии и сообщить ему о положении дел.

Рано утром следующего дня он вернулся в Лейпциг и, нанеся королю краткий визит, уехал к западным воротам. Это было не так уж скоро. Приток его все еще могучих сил, вливавшихся по трем большим дорогам, вызвал на всех улицах города давку, которая с каждым часом усиливалась. Пруссак и шведы врывались в северные пригороды, в то время как "белые мундиры" теснили защитников на юге. Медленно и мучительно толпа беглецов пробиралась через город к западным воротам. На той стороне неразбериха становилась все сильнее, поскольку выстрелы союзников начали просвистывать над арками и дамбой, которые вели через Плейссу и Эльстер, в то время как крики "ура" русских приближались с севера. Обозы с боеприпасами, жандармы, женщины, гренадеры и артиллерия, кавалерия и крупный рогатый скот, раненые, умирающие, маршалы и маркизаны - все были втиснуты в неразличимую толпу, которая боролась за плацдарм на этой узкой дороге безопасности; и высоко над этим шумом доносился веселый звон колоколов из освобожденных пригородов, колоколов, которые три дня назад по приказу Наполеона издавали принудительные звуки триумфа, но теперь навсегда прощались с французским господством. Чтобы усилить разгром, временный мост, переброшенный через Эльстер, сломался в давке, и толпа устремила к проезжей части с еще большей яростью. Отчаявшись добраться до него, сотни людей бросились в разлившийся

поток, но лишь немногие добрались до дальнего берега: среди утонувших был цвет польского рыцарства, князь Понятовский.

Но вскоре это несчастье было преодолено. Саперный капрал в отсутствие своего начальника получил приказ взорвать мост за западными воротами, как только преследователи окажутся поблизости; но, встревоженный залпами русских Сакена, которых Блюхер послал работать в обход русла реки к северо-западу от города, растерянный младший офицер взорвал мину, когда арьергард и большая толпа отставших солдат все еще находились на восточной стороне.^[383] Это был кульминационный момент этого катастрофического дня, который оставил в руках союзников до тридцати генералов, включая Лористона и Ренье, и 33 000 рядовых, а также 260 пушек и 870 вагонов с боеприпасами. Из деревни Линденау Наполеон время от времени оглядывался на эту устрашающую сцену, но в целом он был занят приведением к порядку пробивавшихся через реку масс. Старая гвардия выжила, стойкая, как всегда, и сохранила свои 120 пушек, но Молодая гвардия превратилась в жалкие развалины. Несмотря на все ужасы того дня, император сохранял невозмутимость, но наблюдатели видели, что он был весь в поту. Ближе к вечеру он повернулся и поскакал на запад; и когда он проезжал мимо, многие измученные, изголодавшиеся люди бросали на него свирепые взгляды и бормотали проклятия. Мужчины вспомнили, что прошел ровно год с тех пор, как Великая Армия покинула Москву.

И все же, несмотря на опустошительный тиф, распад германских государств и атаки кавалерии союзников, отступающее войско упорно продвигалось к Рейну. При Ханау он отбросил армию баварцев и австрийцев, пытавшихся преградить дорогу во Францию; и в начале ноября 40 000 вооруженных человек с большим числом отставших безоружных прошли по мосту в Майнце. Наполеон не только потерял Германию; он оставил в ее крепостях до 190 000 солдат, из которых почти все были французами; и из 1300 орудий, с которыми он начал вторую часть кампании, едва ли 200 были теперь под рукой для защиты его Империи.

Причины этой огромной катастрофы не заставляют себя долго искать. Они были как политическими, так и военными. Делая ставку на овладение линией Эльбы, Наполеон погружался во враждебную страну. При первых признаках его свержения национальный дух Германии, несомненно, воспламенил франконцев и вестфальцев в его тылу и поставил под угрозу его коммуникации. Что касается стратегии, он совершил ту же ошибку, что и Мак в 1805 году. Он полагался на линию реки, которую его враги могли легко обойти. Как только Австрия выступила против него, его положение на Эльбе стало столь же опасным, как и позиции Мака на реке Иллер под Ульмом.

И все же, несмотря на очевидную опасность со стороны огромного горного бастиона Богемии, который простирался далеко в его тылу, император держал свои войска растянутыми от Кенигштейна до Гамбурга и отваживался на долгие и изнурительные марши в Силезию и на север до Дюбена, что оставляло его позиции в Саксонии практически во власти Великой армии союзников.^[384] Преодолев мощный барьер Эрцгебирге, эта армия трижды вынуждала его отказаться от наступательных действий и поспешно отступить в сердце Саксонии.

Простая истина заключается в том, что союзники превзошли его в общих чертах. Может показаться, что это утверждение отдает ненормативной лексикой. И все же, если слова имеют какое-то значение, фраза верна буквально. Его целью было прежде всего удержаться на линии Эльбы, но также, хотя и во вторую очередь, поддерживать связь с Францией. Их целью было оставить ему линию Эльбы, но отрезать его от Франции. Даже в самом начале они планировали

нанести удар по Лейпцигу: их атака на Дрезден была запоздалой, осуществлялась робко и медленно. Однако до тех пор, пока их Великая армия удерживалась в горах Эрц, они парализовывали его продвижение на восток и север, что просто играло им на руку.

Что касается осуществления планов союзников, то почести, несомненно, должны принадлежать Блюхеру и Гнейзенау. Их тактические отступления перед Наполеоном в Силезии, их сокрушительный удар при Макдональде, прежде всего, их смелый фланговый марш к Вартенбургу, а оттуда к Галле, являются подвигами очень высокого порядка; и, несомненно, именно появление этой неожиданной вулканической силы из сплошных равнин континентальной посредственности поставило Наполеона в тупик и привело к результатам, описанным выше. Поистине героической была решимость Блюхера продвигаться к Лейпцигу, даже когда враг захватывал мосты через Эльбу у него в тылу. Ветеран ясно видел, что соединение со Шварценбергом близ Лейпцига было чрезвычайно важным шагом и что оно должно вернуть французов к этой точке. Его суждения были столь же здравы, сколь и яростны его удары; и из-за иллюзий, которые Наполеон все еще лелеял относительно спасительной силы линии Эльбы, французы прибыли на это могучее поле битвы полуголодными и измученными бесплодными маршами и контрмаршами. Из всех кампаний Наполеона вторая половина 1813 года должна считаться безусловно самой слабой по замыслу, самой плодородной по просчетам и самой катастрофической по своим результатам для Франции.

ПРИМЕЧАНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ. — Чтобы не перегружать эти главы дипломатическими подробностями, я сделал лишь самую короткую ссылку на Договоры, подписанные в Теплице 9 сентября 1813 года с Россией и Пруссией, которые скрепили четвертую великую коалицию; но будет полезно описать их здесь.

Поскольку Калишский мирный договор (см. стр. 276) и Рейхенбахский мирный договор (см. стр. 317) проложили путь к более тесному союзу, теперь было решено (1), что Австрия и Пруссия должны быть восстановлены настолько близко, насколько это возможно, к положению, которое они занимали в 1805 году; (2) что Рейнская конфедерация должна быть распущена; (3) и что князьям других германских государств должна быть предоставлена "полная и безоговорочная независимость". Штайн и немецкая юнионистская партия решительно, но тщетно возражали против этого последнего пункта. Помощь Австрии была настолько остро необходима, что она могла диктовать свои условия, и она начала вынашивать планы создания своего рода *Фюрстенбунда*, или Лиги князей, под своей гегемонией. Результатом стал ее мирный договор с Баварией от 7 октября 1813 года, который отделил это государство от французского союза и обеспечил успех планов Меттерниха в отношении Германии (см. стр. 354-355). Более мелкие государства вскоре последовали примеру Баварии; и восстановление Германии по австрийскому плану было дополнительно обеспечено Шомон-ским мирным договором (см. стр. 402-403). Таким образом, острая нужда в австрийской помощи, которую Россия и Пруссия испытывали на протяжении кампаний 1813-1814 годов, сыграла немалую роль в формировании будущего Европы.

ГЛАВА XXXVI

ОТ РЕЙНА До СЕНЫ

"Император Наполеон должен стать королем Франции. До сих пор вся его работа делалась для Империи. Он потерял Империю, когда потерял свою армию. Когда он больше не будет воевать ради армии, он заключит мир для французского народа, и тогда он станет королем Франции". — Таковы были слова самого прозорливого из французских государственных деятелей Шварценбергу. Они были произнесены 15 апреля 1813 года, когда все еще казалось вероятным, что Наполеон пойдет навстречу желаниям Австрии. Такова, по крайней мере, была горячая надежда Талейрана. Он видел врожденную абсурдность попыток запугать Австрию и задушить юного Геркулеса немецкой национальности после того, как Великая армия была потеряна в России.

Если это было разумно весной 1813 года, то в конце года это стало настоятельной необходимостью. Наполеон тем временем потерял 400 000 человек, и он не мог сейчас сказать, как он сделал Меттерниху о своих потерях в России, что "почти половину составляли немцы". Люди, павшие в Саксонии или храбро державшиеся в польских, немецких и испанских крепостях, почти все были французами. Они были тем же, чем *триари* были для римского легиона, резервом боевого мужества Франции. Эта несчастная страна становилась все беспокойнее из-за своих бедствий. В Испании Веллингтон блокировал Памплону, взял штурмом Сан-Себастьян, отбросил Сульта обратно на Пиренеи в серии отчаянных столкновений и водрузил британский флаг на земле Франции за одиннадцать дней до того, как Наполеон был свергнут под Лейпцигом. Затем, продвигаясь на север, в соответствии с настоятельными призывами союзных государей, наш великий полководец атаковал рубежи к югу от Нивеля, на которых французы сражались в течение трех месяцев, выбил противника из них и отбросил обратно за реку с потерей 4200 человек и 51 орудия (10 ноября). ^[385]

Ту же историю рассказывали и на севере. Союзники были встречены второстепенными германскими князьями, которые в обмен на договоры, гарантирующие их суверенитет, пообещали увеличить контингенты, общая численность которых превышала четверть миллиона человек. Бернадот выступил против датчан и отрезал путь Даву в Гамбурге, где этот маршал храбро держался до конца войны. В других частях севера господство Наполеона быстро пошло на убыль. Бюлов с помощью небольшого британского отряда вторгся в Голландию в начале

ноября; и со старым кличем "*Оранский бовен*" голландцы сорвали французский триколор и приветствовали возвращение принца Оранского. В Италии Эжен остался верен своему отчиму и отразил все попытки союзников; но Мюрат, чья преданность уже была поколеблена тайными предложениями союзников, теперь начал проявлять признаки перехода на их сторону, как это было на заре Нового года. ^[386]

Тем временем Наполеон прибыл в Париж (9 ноября). Он обнаружил, что его столица погрузилась в депрессию, и возмущился виновником ее бедствий. Мир был самым дорогим желанием из всех. Мария Луиза призналась в этом своими слезами, Камбасерес - своей тактичной сдержанностью, а люди - своими криками, в то время как угрюмое поведение или горькие слова маршалов показывали, что их терпение на исходе. Очевидно, требовался козел отпущения: он был найден в лице Марета, герцога де Бассано, чья преданность Наполеону превратила Министерство иностранных дел в высокооплачиваемую должность клерка. За преступление, заключавшееся в том, что он не подчинился непреклонной воле своего господина в Дрездене, он был теперь назначен пособником партии мира; и его портфель был доверен Коленкуру, герцогу де Виченца (20 ноября). Перемена была благотворной. Новый министр, будучи послом в Санкт-Петербурге, пользовался большим уважением царя за его откровенное, рыцарское поведение. Наша соотечественница, леди Бюргерш, впоследствии свидетельствовала о его личном обаянии: "Я никогда не видела лица, столь выражающего доброту, мягкость и открытость". ^[387] И эти дары были подкреплены мужественным умом, глубокой любовью к Франции и преданностью ее высшим интересам. Очевидно, что первым из ее интересов был мир; и теперь, казалось, появился некоторый шанс, что он дарует это благо ей и миру в целом.

8 и 9 ноября Меттерних дважды беседовал во Франкфурте с бароном Сент-Эньяном, шурином Коленкура и бывшим французским посланником в Веймаре. Австрийский министр заверил его в умеренности союзников, особенно Англии, и в их стремлении к прочному миру, основанному на принципе баланса сил. Франция должна отказаться от всякого контроля над Испанией, Италией и Германией и вернуться к своим естественным границам - Рейну, Альпам и Пиренеям. Лорд Абердин, наш посол в Австрии, и граф Нессельроде, российский министр иностранных дел, присутствовали при второй беседе и согласились с этим заявлением, причем последний дал слово, что оно получило одобрение Пруссии. Абердин добавил свои заверения в том, что Англия готова ослабить свой морской кодекс и пожертвовать многими своими завоеваниями ради достижения прочного мира. На эти франкфуртские предложения Наполеон поручил Маре ответить в неопределенно благоприятных выражениях и предложить созвать Европейский конгресс в Мангейме. Эффект от этой Ноты (16 ноября) был омрачен странным заявлением—"мир, основанный на независимости всех наций, как с континентальной, так и с морской точки зрения, всегда был постоянным объектом желаний и политики императора [Наполеона]". ^[388]

Меттерних в ответ указал, что французское правительство не приняло предложенные условия в качестве основы для переговоров. Новый министр иностранных дел Коленкур отправил (2 декабря) согласие, которое было гораздо более откровенным и удовлетворительным; но за день до того, как он его написал, союзники фактически отзывали свое предложение, как они сказали ему, что сделают, если оно не будет быстро принято. Они с самого начала решили не приостанавливать военные действия; и, поскольку они все еще сильно складывались в их пользу, нельзя было ожидать, что они оставят в силе предложение, которое было чрезвычайно

выгодным для Наполеона, даже в то время, когда оно было сделано, то есть до того, как поддержка голландцев, швейцарцев и Мюрата была полностью обеспечена.

Возможно, было бы неплохо остановиться на мгновение и поинтересоваться, каковы были взгляды союзных правительств и самого Наполеона на этот кризис, когда Европа кипела в горниле политики. Было ли у Меттерниха полное согласие этих правительств, когда он предлагал французскому императору естественные границы? Здесь мы должны отделить взгляды лорда Абердина от взглядов британского кабинета министров, представленного его министром иностранных дел лордом Каслри; и мы также должны проводить различие между императором Александром и его министром Нессельроде, человеком со слабым характером, которому он мало доверял. Конечно, британский кабинет министров не был расположен оставлять Антверпен в руках Наполеона.

"Эта нация, - писал Каслри в Абердин 13 ноября, - вероятно, отнесется с неодобрением к любому миру, который не ограничивает Францию ее древними пределами.... Мы по-прежнему готовы встретиться с нашими союзниками лицом к лицу с опасностями мира, если мир может быть заключен на предложенной основе, удовлетворительно осуществленной [*так в оригинале*]; и мы не склонны из всех сил вмешиваться во внутреннее управление Франции, как бы сильно мы ни желали, чтобы оно было передано в более миролюбивые руки. Но я убежден, что мы не должны поощрять наших союзников исправлять несовершенное соглашение. Если они захотят это сделать, мы должны подчиниться; но в таком случае это должно выглядеть как их собственный поступок, а не наш.... Я должен особенно умолять вас сосредоточить свое внимание на Антверпене. Уничтожение этого арсенала необходимо для нашей безопасности. Оставить это в руках Франции - это почти то же самое, что возложить на Великобританию ответственность за установление постоянной войны". ^[389]

С тех пор британская политика склонялась, хотя и осторожно и с некоторыми колебаниями, к мнению, что в интересах мира необходимо вернуть Францию к границам 1791 года, то есть отторгнуть от нее не только Голландию, Рейнскую область и Италию, но также Бельгию, Савойю и Ниццу. Прусские патриоты были гораздо более решительны. Они были полны решимости, что Франция не должна доминировать в Рейнской области и наводить страх на Германию из-за крепостей Майнц, Кобленц и Везель. По этому поводу Арндт недвусмысленно высказался в брошюре "Рейн, река Германии, а не ее граница", в которой доказывалось, что претензии Франции на границу по Рейну не согласуются ни с учениями истории, ни с распределением двух народов. Памфлет оказал огромное влияние, побудив немцев напасть на заветную французскую доктрину о естественных границах, и он подтвердил утверждение, которое он выдвинул в своей песне "Отечество" годом ранее. Это призывало немцев стремиться к Треву и Кельну, да, даже к Страсбургу и Мецу. Харденберг и Штайн, расходясь по большинству пунктов, объединились в похвале этой работе. Еще до его появления первого раздражала мысль о том, что Наполеон удерживает левый берег Рейна. Услышав о франкфуртском предложении Меттерниха французскому императору, он записал в своем дневнике: "Предложения о мире без моего согласия — Рейн, Альпы, Пиренеи: безумное дело". ^[390]

Взгляды Фридриха Вильгельма были менее выраженными: фактически, его склонность видеть льва на каждом шагу принесла ему *прозвище* Кассандра в дневнике его канцлера. Но в основном на него влиял царь; и этот самодержец теперь был полон решимости продиктовать в Париже мир, который избавил бы его от всякой перспективы мести его великого соперника.

Тщеславие и страх в равной степени предписывали такой образ действий. Он страстно желал повести свою великолепную гвардию в Париж, чтобы там продемонстрировать свое милосердие в противовес действиям французов под Москвой; и это чувство подпитывалось страхом перед Наполеоном. Последний мотив, конечно, был скрыт, но лорд Абердин оценил его силу во время частной беседы, которую он имел с Александром во Фрейбурге (24 декабря): "Он говорил с большой свободой: он более чем когда—либо убежден в необходимости упорства и мало доверяет честным обещаниям Бонапарта. — *"Пока он жив, не может быть никакой безопасности"*— он повторил это два или три раза".^[391] Поэтому мы можем понять его озабоченность тем, что франкфуртские условия не должны быть приняты Наполеоном сразу. Меттерних, однако, заверил его, что французский император не согласится;^[392] и, как и в отношении Пражского конгресса, он был по существу прав.

Здесь мы снова касаемся спорного вопроса о том, вел ли Меттерних честную игру против Наполеона или же он соблазнил его сыграть в кости, когда на карту был поставлен его трон. Последнее предположение долгое время оставалось в силе, но оно несостоятельно. Несколько раз австрийский государственный деятель предупреждал Наполеона или его верных советников, что лучший путь, который ему открыт, — это немедленно подписать мир. Он сделал это в Дрездене и сделал сейчас. 10 ноября он отправил Коленкуру письмо, из которого вот наиболее важные предложения:

"... Господин де Сент-Эньян расскажет вам о моих беседах [с ним]. Я ничего от них не жду, но я выполнил свой долг. Франция никогда не подпишет более благоприятный мир, чем тот, который Державы заключат сегодня и завтра, если у них будут неудачи. Новые успехи могут расширить их взгляды.... Я не сомневаюсь, что приближение союзных армий к границам Франции может облегчить формирование ее правительством крупных вооружений. Эти вопросы станут проблематичными для цивилизованного мира, но император Наполеон не пойдет на заключение мира. Таково мое исповедание веры, и я никогда не буду счастливее, чем если окажусь неправ".

Письмо звучит правдиво во всем. Меттерних не скрывал, что отправлял его, но позволил лорду Абердину ознакомиться с ним.^[393] И, по счастливой случайности, оно дошло до Коленкура примерно в то время, когда он получил портфель министра иностранных дел. Следовательно, его суть должна была быть известна Наполеону; и тон франкфуртских предложений должен был убедить его в необходимости скорейшего заключения мира, пока Австрия протягивала оливковую ветвь из-за Рейна. Но мрачный прогноз Меттерниха оказался слишком верным. Во время своего пребывания в Париже он испытал твердость этой железной воли.

На самом деле, никто, знавший о преданности императора Италии, не мог поверить, что он откажется от Пьемонта и Лигурии. Его собственные депеши показывают, что он никогда не помышлял о такой капитуляции. 20 ноября он отдал приказ о зачислении 46 000 французов *зрелого возраста*— "не итальянцев и не бельгийцев", — которые должны были поддержать Эжена и помочь ему защищать Италию; и это в то время, когда защита Шампани и Лангедока вот-вот должна была переложиться на плечи восемнадцатилетних парней.

Он также был полон решимости не отказываться от Голландии. Он всегда придавал большое значение обладанию этим морским и трудолюбивым сообществом. Однажды он заметил Редереру, что крушение французских бурбонов было вызвано тремя событиями — битвой при Россбахе, делом об алмазном ожерелье и победой англо-прусского влияния над влиянием

Франции в голландских делах (1787). Он даже воззвал к Природе, чтобы доказать, что эта земля должна быть частью Французской империи. "Голландия, - сказал один из его министров в 1809 году, - это намыв Рейна, Мааса и Шельды, другими словами, одна из великих артерий Империи". Перед последней битвой под Лейпцигом он сказал Мервельду, что не может предоставить Голландии независимость, поскольку она попадет под опеку Англии. И даже когда его Империя рушилась после этой катастрофы, он писал своей матери: "Голландия - французская страна, и *останется таковой навсегда*". ^[394]

Россия, Пруссия и Великобритания были в равной степени полны решимости добиться независимости Нидерландов; и если Меттерних колебался в вопросе независимости Нидерландов, то к середине декабря его колебаниям пришел конец, поскольку в меморандуме российского дипломата Поццо ди Борго говорится, что Меттерних тогда считал, что граница по Рейну заканчивается в Дюссельдорфе: "после этого города река носит название Вааль". ^[395] Такое жонглирование географией, безусловно, было излишним; поскольку к тому времени франкфуртские условия фактически утратили силу из-за запоздалого согласия Наполеона; и Меттерних присоединился к другим союзным правительствам, которые теперь требовали более тщательного решения вопроса о границе.

Фактически, союзники теперь могли извлечь политический капитал из своей недавней умеренности. ^[396] 1 декабря они опубликовали обращение к французской нации следующего содержания: "Мы не ведем войну с Францией, но мы сбрасываем ярмо, которое ваше правительство наложило на наши страны. Мы надеемся обрести мир до того, как коснемся вашей земли: теперь мы отправляемся искать его туда".

Если монархи надеялись посредством этой декларации отделить Францию от Наполеона, они ошиблись. Перейти Рейн означало напасть не на Наполеона, а на Французскую революцию. Бельгия и граница по Рейну были завоеваны Дюмурье, Журденом, Пишегрю и Моро в то время, когда имя Бонапарта было неизвестно за пределами Корсики и Прованса. Франция устало смотрела на войны Наполеона в Германии, Испании и России: они касались его, а не ее. Но когда "священная земля" оказалась под угрозой, граждане начали спланировать свои ряды: они прекратили свои выступления против непосильных налогов и губительной для молодежи воинской повинности: они подчинились более тяжелым налогам и поборам с еще более молодых парней. Фактически, сняв маску Карла Великого, император снова стал Бонапартом времен Маренго.

Он рассчитывал на некоторое изменение общественного мнения, и это позволило ему безнаказанно бросать вызов зарождению парламентской оппозиции. Сенат, как обычно, был напыщенно подобострастен; но Законодательный корпус ошибся в своих функциях. Созванный для голосования по новым налогам, он позволил себе давать советы. Комиссия из его членов согласилась с докладом о существующей ситуации, составленным Лейне, который сильно оскорбил императора. Его преступление заключалось в его откровенных требованиях заключить мир на основе естественных границ, ослабить суровость воинской повинности и сохранить в неприкосновенности законы, гарантирующие свободное осуществление политических прав. Император был глубоко разгневан и, несмотря на советы своих министров, решил немедленно распустить Палату (31 декабря). Не удовлетворившись этим проявлением деспотичной власти, он подверг ее членов казарменной отповеди на официальном приеме в День Нового года.—Он призвал их творить добро, а они творили зло. Два проигранных

сражения в Шампани не были бы столь пагубными, как их последнее действие. Что значил их мандат по сравнению с его? Франция дважды выбирала *его* несколькими миллионами голосов, в то время как *они* были выдвинуты всего несколькими сотнями каждый. Они облили его грязью, но он был человеком, которого можно было убить, но никогда не опозорить. Он будет сражаться за нацию, отбросит врага и заключит почетный мир. Затем, к их стыду, он напечатает и распространит их отчет. — Такова была суть этой обличительной речи, которую он произнес резким тоном и со сверкающими глазами. Он приказал уничтожить копии доклада и разослал депутатов по домам по всей Франции.

Страна в основном встала на его сторону; и, несомненно, национальный инстинкт был здрав, ибо союзники перешли Рейн, и Франция снова оказалась в опасности. Как в 1793 году, когда нация приветствовала триумф дерзких якобинцев над респектабельными парламентскими жирондистами, обещая сильное правление и изгнание монархических захватчиков, так и теперь солдаты и крестьяне, если не средний класс, радовались поражению болтунов единственным необходимым человеком действия. Общее настроение было емко выражено старым крестьянином: "Это больше не вопрос Бонапарта. На нашу землю вторглись: давайте идти и сражаться".

Это было то чувство, которым император безжалостно пользовался. Он издал указ о наборе больших сил национальной гвардии, ввел дополнительные сборы в регулярную армию и приказал провести *массовую* дамбу в восточных департаментах. Трудности на его пути были огромными. Но он взялся за дело с несравненным *энтузиазмом*. Солдат не хватало: молодежь была вызвана даже из роялистских округов крайнего севера, запада и юга. Денег не хватало: их вымогали отовсюду, и Наполеон не только расточил 55 000 000 франков из своего личного запаса, но и завладел запасом своей скупой матери.^[397] Не хватало пушек, мушкетов, обмундирования: их производство продвигалось с лихорадочной поспешностью: Наполеон приказал своему военному министерству "закупить все сукно во Франции, хорошее и плохое", чтобы к концу февраля было готово 200 000 мундиров; и он рассчитывал, что к концу весны на поле боя будет задействовано полмиллиона боеспособных.

Среди них он насчитал — так, по крайней мере, он написал Мельци — "почти 200 000" французских солдат из Арагона, Каталонии и Байонны. Даже если мы примем во внимание его желание поощрить своих чиновников в Италии, оценка любопытна. Веллингтон в то время, это правда, уменьшил свою численность, отправив обратно за Пиренеи все свои испанские войска, зверства которых ставили под угрозу то хорошее взаимопонимание с французским крестьянством, которое наш великий лидер по политическим мотивам был полон решимости развивать.^[398] Тем не менее, несмотря на сокращение численности, он вытеснил французов с берегов реки Нив и нанес им серьезные потери в отчаянных боях под Байонной (9-13 декабря). Фактически, укрепленный траншеями лагерь перед этим городом был теперь единственным препятствием для продвижения Веллингтона на север, и Султ с трудом удерживал эту позицию. Крестьянство тоже, обнаружив, что войска Веллингтона обращаются с ним гораздо лучше, чем с их собственными солдатами, начало поддерживать дело союзников, результаты которого вскоре появятся. Однако эти тревожные симптомы не обескуражили Наполеона, поскольку теперь он основывал свои надежды на сопротивлении британскому наступлению на договоре, который он заключил с Фердинандом VII, законным королем Испании.

Как только он вернулся в Сен-Клу после Лейпцигской кампании, он сделал тайные предложения этому несчастному изгнаннику; ^[399] и по Валансайскому мирному договору (11 декабря 1813 г.) он согласился признать его королем всей Испании при условии, что британские и французские войска покинут эту землю. Его воображение разыгралось, когда он представил себе результаты этого договора. Фердинанд должен был войти в Испанию; Сюше, в то время проигрывавший в Каталонии, должен был спокойно отвести свои колонны через Пиренеи, в то время как у Веллингтона была бы отрезана оперативная база, и отныне его численность была бы ничтожной. ^[400] Все эти приятные фантазии основывались на принятии нового договора испанским регентством и Кортесами. Но, увы Наполеону! они сразу же отвергли его, объявив недействительными все действия Фердинанда, пока он был пленником, и запретив все переговоры с Францией, пока французские войска оставались на полуострове (8 января).

Столь же неутешительными были дела в Италии. 11 января Мюрат заключил союз с Австрией и пообещал помочь ей корпусом из 30 000 неаполитанцев, в то время как она гарантировала ему трон и часть римской территории. Наполеон приказал Евгению, как только эта плохая новость подтвердилась, готовиться к отступлению за Альпы. Но чтобы воспрепятствовать передвижениям Мюрата, император решил воспользоваться духовной властью, которой он пренебрегал в течение шести лет. Он отдал приказ освободить престарелого папу из-под стражи в Фонтенбло и тайно поспешил в Рим. "Пусть он разразится в этом месте подобно раскату грома", - писал он Савари (21 января). Но этому сценическому приему не суждено было увенчаться успехом. Даже сейчас Наполеон настаивал на условиях, которые Пий VII не мог добросовестно выполнить. он все еще находился под стражей в Таррасконе, когда его похититель отправлялся на Эльбу.

Через три дня после дезертирства Мюрата Дания отпала от Наполеона. Побежденное войсками Бернадотта, маленькое королевство заключило мир с Англией и Швецией, согласившись уступить Норвегию последней державе в обмен на получение контрибуции от Германии. Датчане уступили нам Гельголанд. Таким образом, в течение трех месяцев после катастрофы под Лейпцигом все союзники Наполеона оставили его, и теперь все, кроме датчан, собирались сражаться против него — поразительное доказательство искусственности его господства.

К этому времени стало ясно, что даже Франция вскоре будет поражена в самое сердце, если Наполеон не сосредоточит свои силы как можно скорее. На севере и востоке союзники наступали со скоростью, которая поставила императора в тупик. Привыкший к вялым движениям с их стороны, он не ожидал силового вторжения раньше весны, и вот оно произошло в первых числах января. Бюлов и Грэм захватили Голландию. Союзники, за исключением царя, без колебаний нарушали нейтралитет Швейцарии, как это постоянно делал Наполеон, и конституция, которую он ввел в этой стране одиннадцать лет назад, теперь сразу же рухнула. Направив сильный корпус на юг, чтобы удерживать перевалы Симплон и Большой Сен-Бернар и угрожать Лиону, Шварценберг повел Великую армию союзников во Францию через Базель, Бельфор и Лангр. Быстрый захват плато Лангр был важным успехом. Таким образом, союзники разрушили мощные оборонительные рубежи в горах Вогеzy и на реках Мозель и Маас, так что Блюхер со своей "Силезской армией" смог быстро продвинуться в Лотарингию и выбить Виктора из Нанси. Туль быстро сдался, и затем крепкий ветеран повернул на юго-запад, чтобы войти в соприкосновение с колоннами Шварценберга. Ни один из лидеров не задержался перед восточными крепостями. Союзники научились у Наполеона окружать их или наблюдать за ними и продвигаться вперед, что благодаря огромному превосходству в силах

делало этот курс безопасным. 25-го у Шварценберга было 150 000 человек между Лангром, Шомоном и Бар-сюр-Об; в то время как Блюхер, примерно с половиной этого числа, переправился через Марну у Сен-Дизье и приближался к Бриенне. Перед ними были слабые и обескураженные корпуса Мармона, Нея, Виктора и Макдональда, насчитывавшие в общей сложности около 50 000 человек. Случаи дезертирства к союзникам были частыми, и Блюхер, желая показать, что война практически закончилась, отпустил как дезертиров, так и пленных по домам.^[401]

Но война была далека от завершения: она еще не началась. До сих пор Наполеон торопил приготовления из Парижа, но теперь острота опасности манила его на восток. Как и прежде, он оставил императрицу регентом Франции, но назначил короля Жозефа генерал-лейтенантом Франции. В воскресенье, 23 января, он провел последний прием. Это было в большом зале Тюильри, где парижская чернь заставила Людовика XVI. надеть *красную шляпу*. Другая династия была близка к своему падению, но никто не смог бы прочесть ее гибель на лицах подобострастных придворных или офицеров парижской национальной гвардии, которые выражали свое почтение наследнику Революции.

Он вышел вперед вместе с императрицей и королем Рима, белокурым ребенком трех зим, одетым в форму Национальной гвардии. Взяв мальчика за руку в центр круга, он произнес такие трогательные слова: "Джентльмены, я собираюсь отправиться в армию. Я доверяю тебе то, что мне дороже всего на свете — мою жену и моего сына. Пусть не будет политических разногласий". Затем он понес его среди своих сановников и офицеров, в то время как рыдания и крики свидетельствовали о теплоте чувств, зажженных этой сценой. И, конечно, никогда, с тех пор как юная Мария Терезия лично обратилась к венгерским магнатам с просьбой защитить ее от хищных соседей, ни один монарх не говорил так прямо в сердца своих подданных. Далеко ходить не надо, чтобы разгадать секрет его успеха. Он не приказывал как император: он взывал как отец к отцам и матерям.

С болью приходится добавлять, что многие из тех, кто там поклялся защищать его, уже тогда начинали планировать его свержение. Больнее всего вспоминать, что, когда перед рассветом 25-го Мария-Луиза попрощалась с ним, это было ее последнее прощание: ибо она тоже бросила его в его несчастьях, отказалась разделить с ним изгнание и в конечном итоге унизила себя связью с графом Нейппергом.

Не обращая внимания на все, что могло принести будущее, и сосредоточив свои мысли на проблемах настоящего, великий воин быстро двинулся на восток, в Шалон-сюр-Марн, и начал самую славную из своих кампаний. [Иллюстрация (отсутствует): КАМПАНИЯ 1814 ГОДА *лицом к лицу*] И все же она началась с катастрофы. В Бриенне, среди сцен своих школьных дней, он атаковал Блюхера в надежде предотвратить соединение Силезской армии с армией Шварценберга южнее (29 января). После ожесточенных боев пруссаки были выбиты из замка и города. Но успех был иллюзорным. Блюхер отступил в сторону Бар-сюр-Об, чтобы заручиться поддержкой Шварценберга, и три дня спустя поменялся ролями с Наполеоном, в то время как последний тешил себя надеждами, что союзники вот-вот серьезно заговорят о мире.^[402] Тем не менее, хотя 40 000 французов были застигнуты врасплох значительным численным превосходством, они упрямо держались за деревню Ла Ротьер, пока их тонкие линии не были повсюду вытеснены или обойдены с флангов, потеряв 73 орудия и более 3000 пленных. Каждая

сторона потеряла около 5000 человек убитыми и ранеными — сущий пустяк для союзников, но серьезная катастрофа для обороняющихся.

Император был сильно обескуражен. Он выставил все свои силы, подставил свою персону под самый жаркий огонь, чтобы ободрить своих людей, и все же не смог предотвратить объединение союзных армий или удержать линию реки Об. Рано утром он покинул Бриенский замок и направился по дороге в Труа; в то время как Мармон с корпусом, численность которого теперь составляла менее 3000 человек, храбро защищал переправу через Вуар у Розне и, задержав преследование, занял пост у Арси-сюр-Об. Средства обороны, как моральные, так и материальные, казались почти исчерпанными. Когда 3 февраля Наполеон вступил в Труа, едва ли прозвучало хоть одно *виват*. Даже старые войска были повержены поражением и голодом, в то время как, как говорят, дезертировало около 6000 призывников. Жители отказывались снабжать их всем необходимым для жизни, за исключением случаев реквизиции. "Армия гибнет от голода", - пишет император в Труа. Снова в Ножане: "Двенадцать человек умерли от голода, хотя мы использовали огонь и меч, чтобы добыть еду по пути сюда". И вот теперь, на оставшееся незащищенным пространство между Марной и Обом, Блюхер начал продвигать свои триумфальные колонны, и никакая преграда не могла его остановить, пока он не приблизился к окрестностям Парижа. Прусские и русские офицеры снова считали войну оконченной и пригласили друг друга на ужин в Пале-Рояль через неделю. ^[403]

Но именно на эту уверенность старого гусарского генерала рассчитывал Наполеон. Он знал его склонность к смелым действиям и сильную склонность Шварценберга к промедлению: он также предвидел, что теперь они разделят свои силы, Блюхер направится прямо к Парижу, в то время как другие колонны будут угрожать столице со стороны Труа и Сана. Вот почему он отступил к Труа, чтобы непосредственно противостоять последнему движению, "или чтобы вернуться и совершить маневр против Блюхера и остановить его продвижение". ^[404] Другим мотивом было его ожидание найти в Ножане 15 000 ветеранов, которых он приказал Сульту отправить на север. И, несомненно, последней причиной была его решимость использовать защищающий изгиб Сены, которая протекает между Труа и Ножаном в двадцати милях от большой дороги, которой должен был воспользоваться Блюхер, если бы он нанес удар по Парижу. Во многих кризисных ситуациях Наполеон доказывал эффективность великой речной линии. От Риволи до Фридланда его карьера изобилует примерами речной тактики. Война 1813 года была затяжной борьбой за линию Эльбы. Он все еще продолжал войну, потому что еще не мог заставить себя отказаться от рейнских крепостей: и теперь он надеялся вернуть себе эту "естественную границу", обрушив удары на разделенных врагов из-за дуги Сены.

Обладая удивительным предвидением, он угадал общий план союзников. Но он едва ли осмеливался надеяться, что в тот самый день (2 февраля) они держали военный совет в Бриенне и официально постановили, что Блюхер должен выступить на северо-запад на Париж с примерно 50 000 человек, в то время как Великая армия союзников, численностью почти в три раза превышающей численность, должна была отойти на юго-запад к Бар-сюр-Сену и Сенсу. Столь неравное распределение сил, казалось, привело к катастрофе. Это правда, что у союзников не было складов с припасами: они не могли безраздельно маршировать по враждебной земле, где сами немногочисленные защитники едва не умирали с голоду. Однако, если они вообще решат двинуться в путь, было необходимо поручить более опасную задачу мощным силам. Прежде всего, было необходимо поддерживать связь своих основных армий друг с другом и с противником. Однако эти очевидные меры предосторожности приняты не

были. По правде говоря, разделение союзников было продиктовано скорее политической ревностью, чем военными мотивами. К этим политическим событиям мы должны теперь обратиться, поскольку они оказали немалое влияние, приведя Наполеона к иллюзорному триумфу и безвозвратному низвержению. Мы покажем их влияние сначала на поведение союзников, а затем и на действия Наполеона.

Тревога Австрии по поводу растущей мощи России и Пруссии становилась все острее. Она обнажила меч только потому, что негодования Наполеона следовало опасаться больше, чем амбиций Александра. Но с тех пор все изменилось. Воина, который пять месяцев назад все еще держал свой меч у горла Германии, теперь преследовали по унылым равнинам Шампани. А его восточный соперник, который тогда жалобно просил помощи у Австрии, теперь выказал желание установить российский контроль над всеми польскими землями, возместив Пруссии потери в этой области приобретением Саксонии. Оба эти изменения окажут сильное давление на Австрию с севера; и она была полна решимости предотвратить их, насколько это возможно. Затем возник острый вопрос о восстановлении Германии, к которому мы вернемся позже. Более мелкие вопросы, связанные с отношениями союзников к Бернадоту, Дании и Швейцарии, еще больше усложняли ситуацию, но, прежде всего, существовала проблема будущих границ и формы правления Франции.

По этому вопросу были две основные партии: те, кто хотел просто подрезать крылья Наполеону, и те, кто стремился вернуть Францию в ее старые границы. Император Франциск все еще был склонен оставить ему "естественные границы" при условии, что он откажется от всякого контроля над Германией, Голландией и Италией. На другой стороне были царь и передовое крыло прусских патриотов. Фридрих Вильгельм был более осторожен, но в основном он прислушивался к взглядам царя по вопросу о границе. Тем не менее, влияние императора Франциска, Меттерниха и Шварценберга было настолько сильным, что обе партии были уравновешены и одолевали множество подозрений и страхов, пока прибытие министра иностранных дел Великобритании Каслри не начало восстанавливать нечто вроде доверия и согласия.

Британский кабинет министров решил, что, поскольку ни у кого из наших трех посланников, находившихся в то время в штаб-квартире союзников, не было большого дипломатического опыта, нашему министру следует лично отправиться туда для наблюдения за ходом дел. Он прибыл в штаб-квартиру на третьей неделе января, и то, что Тьер назвал гордой простотой его поведения, контрастировавшей с неловкой утонченностью Меттерниха и Нессельроде, придавало его советам вес, которого они заслуживали своим бескорыстием. Великобритания находилась в очень сильном положении. Она приняла на себя основную тяжесть борьбы до того, как сформировалась нынешняя коалиция: если не считать некоторых скромных завоеваний Ганновера, она не собиралась принимать участия в последующей территориальной борьбе: она даже предложила отказаться от многих своих океанических завоеваний при условии, что европейское урегулирование будет таким, чтобы гарантировать прочный мир.^[405] И британский министр пришел к выводу, что этого невозможно достичь, пока Наполеон правит Великой Францией: единственным надежным залогом мира было бы возвращение этой страны к ее старым границам и, предпочтительно, к ее древней династии.

По вопросу о границах взгляды царя не были четко определены; они были скорее личными, чем территориальными. Он был полон решимости избавиться от Наполеона; но он пока и слышать

не хотел о восстановлении династии Бурбонов. Ему не нравилась эта династия в целом и Людовик XVIII. в частности. Бернадотт казался ему гораздо более подходящим преемником Наполеона, чем страдающий подагрой пожилой джентльмен, который в течение двадцати трех лет угрюмо слонялся по Европе и издавал бесполезные прокламации.

Здесь действительно был великий шанс Наполеона: не было человека, достойного стать его преемником, и он это знал. Едва ли кто-нибудь, кроме самого Бернадотта, соглашался с царем относительно правильности только что названного выбора. Союзники подозревали шведского королевского принца в его медлительности, а французам он казался предателем. Мы находим, что Штейн не согласился с царем по этому вопросу и заявил, что бурбоны были единственной альтернативой Наполеону. Несомненно, это произошло не потому, что великий немец любил эту семью, а просто потому, что он видел, что сама их посредственность станет залогом того, что Франция снова не выйдет за свои старые пределы и не затопит Европу.

Вот, значит, в чем заключалась сила позиции Каслри. Среди извращенных споров и закулисных интриг его заявления были ясными, бескорыстными и логически обоснованными. Кроме того, они были настолько убедительными, что успокаивали спорщиков. Он спокойно заверил Меттерниха, что Британия будет сопротивляться поглощению всей Польши и Саксонии Россией и Пруссией; и, со своей стороны, австрийский государственный деятель показал, что он не будет возражать против возвращения бурбонов во Францию "из каких-либо семейных соображений", при условии, что этот акт будет совершен как акт французской нации.^[406] И это было условием, на которое наше правительство и Веллингтон уже сделали большой упор.

Прямолинейное поведение Каслри оказало огромное влияние на то, что Меттерних выступил за более радикальное решение французского вопроса, чем он выступал ранее. Франкфуртские предложения были теперь спокойно отклонены, и Меттерних пришел к пониманию необходимости вывода Бельгии из состава Франции и передачи ее Оранскому дому. Тем не менее, австрийский государственный деятель выступал за скорейшее заключение мира с Наполеоном, хотя в своих частных письмах он признавался, что мир не зависит от переговоров в Шатийоне. Некоторые люди, писал он, хотели возвращения бурбонов: еще больше желали регентства (*т.е.* Марии Луизы в качестве регентши при Наполеоне II.). Другие говорили: "Долой Наполеона, с ним невозможен мир". Массы взывали к миру, чтобы покончить со всем этим делом. Но Меттерних добавил: "Загадка будет решена до или в Париже".^[407] Так говорил осторожный оппортунист, всегда открытый логике фактов и убеждениям Каслри.

Наш министр нашел государей России и Пруссии гораздо менее сговорчивыми; и ему лишь частично удалось усыпить их подозрения в том, что Меттерних был заодно с Наполеоном. Недоверие царя к австрийскому государственному деятелю и главнокомандующему было настолько глубоким, что он решил отмахнуться от дипломатических *посредников* Меттерниха, быстро продвигаться к Парижу и там диктовать условия мира.^[408]

Но именно это стремление царя и пруссаков добраться до Парижа поддерживало опасения Австрии. Полная победа их оружия предопределила бы судьбу Польши и Саксонии; и считалось, что Шварценберг, который сам стремился к миру, не только стремился спасти австрийских солдат, сдерживая их, но и что в это время он выполнял меньше своего долга, поддерживая связь с Блюхером. Несколько раз в течение последующих дней пруссаки выдвигали против австрийцев обвинение в предательстве, и по крайней мере один раз самим Фридрихом Вильгельмом. Но представляется более вероятным, что Меттерних и Шварценберг

придержали своих людей просто из благоразумия до тех пор, пока возобновление переговоров с Францией не прольет больше света на запутанные политические джунгли, через которые ощупью пробирались союзники. Примечательно, что в то время как Шварценберг осторожно нащупывал арьергард Наполеона, с которым он потерял связь на целых два дня, Меттерних настаивал на том, что мирный конгресс должен быть открыт. Коленкур уже несколько дней ждал возле штаб-квартиры союзников; и, сказал австрийский министр, было бы нарушением доверия откладывать его дальше теперь, когда прибыл Каслри. Только когда Австрия пригрозила выйти из Коалиции, Александр уступил в этом пункте, и то с большой неохотой, поскольку возобновление переговоров фактически привязывало его к окрестностям Шатийон-сюр-Сен, города, предназначенного для Конгресса, в то время как Блюхер быстро продвигался к Парижу с любой перспективой сорвать с императорского чела желанный лавр триумфального въезда.

Чтобы предотвратить это вмешательство в его собственные планы, впечатлительный автократ отправил из Бар-сюр-Сен (7 февраля) приказ о том, что Блюхеру не следует входить в Париж, а следует дожидаться прибытия монархов. В приказе не было необходимости. Наполеон, доведенный до ярости требованиями, которые союзники в тот же день сформулировали в Шатийоне, бросился на Блюхера и полностью изменил всю военную ситуацию. Но прежде чем описать это замечательное усилие, мы должны взглянуть на дипломатические инициативы, которые подтолкнули его к этому.

Шатийонский конгресс открылся 5 февраля, и в этот день Каслри высказал свою точку зрения о том, что вопросы о нашем морском кодексе должны быть полностью исключены из обсуждений. Два дня спустя союзники заявили, что Франция должна уйти в границы 1791 года, за исключением определенных изменений, внесенных для взаимного удобства, и некоторых колониальных уступок, которые Англия предоставит Франции. Французский полномочный представитель Коленкур выслушал это требование со спокойным, но напряженным спокойствием: он напомнил им, что во Франкфурте они предложили оставить Франции Рейн и Альпы; он поинтересовался, на какие колониальные жертвы готова пойти Англия, если она удержит Францию в ее старых границах в Европе. На это наши полномочные представители Абердин, Кэткарт и Стюарт отказались отвечать, пока он не согласится с настоящим требованием союзников. Он совершенно справедливо отказался это сделать и, несмотря на свое горячее желание прийти к соглашению и положить конец несчастьям Франции, передал дело своему хозяину. ^[409]

Каковы были взгляды Наполеона на эти вопросы? Трудно проследить за ходом его мыслей до того момента, когда депеша Коленкура открыла ему ужасную правду о том, что он, в конце концов, может оставить Францию меньше и слабее, чем он ее нашел. Затем вспыхивают молнии его гнева, и мы видим смятение и муку этой могучей души: но прежде шторм страстей и облачный покров его цепкой воли освещаются немногими проблесками прежнего пронзительного разума. 4 января он написал Коленкуру, что политика Англии и личная неприязнь царя будут тянуть Австрию за собой. Если бы Фортуна изменила ему (Наполеону), он отказался бы от трона: никогда бы он не подписал никакого позорного мира. Но он добавил: "Вы должны понять, чего хочет Меттерних: доводить дело до конца не в интересах Австрии". В сопроводительных инструкциях своему полномочному представителю он, кажется, соглашается с альпийской и Рейнской границами, но советует ему подписать предварительные условия как можно более расплывчато, *"поскольку мы можем многое выиграть от отсрочки"*. Граница по

Рейну должна быть описана таким образом, чтобы оставить Франции голландские крепости; и Савона и Специя также должны считаться находящимися на французской стороне Альп. Таковы, следует заметить, его соображения, когда он еще не слышал о дезертирстве Мюрата или об отказе Кортесов от его испанской сделки.

Двенадцать дней спустя он предлагает Меттерниху перемирие и снова намекает, что не в интересах Австрии заходить слишком далеко. Но союзники слишком осторожны, чтобы оставить такой вопрос Меттерниху: в Теплице они связали себя общими действиями; и это предложение только показывает им необходимость быстрого наступления, пока их противник все еще не готов. Его прежний оптимизм снова дает о себе знать. Первый успех французов при Бриенне вселяет в него надежду, что союзники теперь будут готовы заключить мир. Даже после катастрофы при Ла-Ротьере он считает, что простое прибытие Коленкура в штаб союзников усилит существующие разногласия.^[410] Затем, описывая невыразимые страдания в Труа (4 февраля), он упрекает Коленкура за то, что тот беспокоит его по поводу "полномочий и инструкций, когда все еще сомнительно, хочет ли враг вести переговоры. Его условия, похоже, определены заранее. Как только вы их получите, у вас будет право принять их или направить мне в течение двадцати четырех часов".

После полуночи он снова приказывает ему принять условия, если они приемлемы: "в противном случае мы рискуем вступить в сражение, даже потерять Париж, и все, что за этим последует". Позже в тот же день он позволяет Марет отправить депешу, дающую Коленкуру "карт-бланш" на заключение мира.^[411] Но полномочный представитель не осмелился взять на себя ответственность за принятие условий, предложенных союзниками двумя днями позже. Последнее послание было слишком расплывчатым, чтобы позволить ему отказаться от многих тысяч квадратных миль территории: оно противоречило содержанию писем Наполеона, которые уполномочивали его согласиться ни на что иное, как на франкфуртские условия. И таким образом был упущен еще один шанс установить мир — мир, который лишил бы Французскую империю пограничных земель и чуждых народов, но оставил бы это дело правителю крестьян Наполеону.

По правде говоря, слова и письма императора не дышали ничем, кроме воинственной решимости. Голод и нищета сопровождают его на пути в Ножан, и там, 7-го числа, он слышит новости, которые повергают в отчаяние все сердца, кроме его самого. Англо-германские войска осаждают стойкого старого Карно в Антверпене; Бюлов вошел в Брюссель; Бельгия потеряна: слабый корпус Макдональда отступает к Эперне, сильно теснимый Йорком, в то время как Блюхер направляется к Парижу. Последним на следующее утро приходит депеша Коленкура, в которой сообщается, что союзники теперь настаивают на возвращении Франции к границам 1791 года.

Несомненно, никогда, со времен Иова, бедствие так обрушивало свои удары на голову смертного человека: и никогда они не встречались с меньшей покорностью и более бесстрашным вызовом. Получив мрачную новость, император сразу же замкнулся в себе. На некоторое время маршалы оставили его в покое, но, поскольку курьер Коленкура ждал ответа, Бертье и Маре осмелились потревожить его горе. Он бросил им письмо с условиями союзничества. Последовало долгое молчание, пока они ждали его решения. Поскольку он не произнес ни слова, они умоляли его уступить и даровать мир Франции. Затем его сдерживаемые чувства вырвались наружу: "Что, вы хотите, чтобы я подписал подобный договор и растоптал

ногами свою коронационную клятву! Неслыханные бедствия могли вырвать у меня обещание отказаться от моих завоеваний: но откажись от тех, что были сделаны до меня, — никогда! Боже, сохрани меня от такого позора. Отвечай Коленкуру, раз уж ты этого хочешь, но скажи ему, что я отвергаю этот договор. Я предпочитаю подвергаться крайнему риску войны. Он бросился на свою походную кровать. Марет ждала рядом с ним и в более спокойные моменты добилась от него разрешения написать Коленкуру в выражениях, которые позволили бы продолжить переговоры. На рассвете 9-го Марет вернулся, надеясь получить согласие на депеши, которые он составлял ночью. К своему удивлению, он обнаружил императора, растянувшегося над большими картами с компасом в руке. "А, вот и вы, - было его приветствие. - Теперь речь идет о совсем других вещах. Я собираюсь победить Блюхера: если мне это удастся, положение дел полностью изменится, и тогда посмотрим".

Напряжение его чувств в то время, когда ярость и отчаяние наконец уступили место твердой решимости поставить все на удар по флангу Блюхера, находит выражение во фразе, которая была опущена в официальной переписке.^[412] В одном из пяти писем, которые он написал Жозефу 9-го числа, он отметил: "Молитесь, чтобы Мадонна воинств была с нами: Людовик, который святой, может предложить ей зажженную свечу". Любопытный саркастический штрих, вероятно, вызванный его раздражением по поводу *Мизереров* и "молитв продолжительностью в сорок часов" в Париже, которые он приказал своим министрам сократить. Или это была мимолетная вспышка того религиозного чувства, которое он исповедовал на склоне лет?

Он определенно рассчитывал на победу над Блюхером. Неделями ранее он предвидел вероятность того, что этот лидер обнажит свой фланг: 7-го он приказал Мармону занять Сезанн, где тот получил бы сильную поддержку; во второй половине дня 9-го он выступил из Ножана, чтобы подкрепить своего маршала; а на следующее утро Мармон и Ней напали на одну из рассеянных колонн Блюхера у Шампобера. Это был русский корпус численностью менее 5000 человек, без всадников и всего с двадцатью четырьмя пушками; москвичи оказали упорное сопротивление, но спаслись бегством только 1500 человек.^[413] Маршевая линия Блюхера теперь была разделена надвое. Сам он находился в Вертюсе с последней колонной; его передовой корпус под командованием Сакена находился к западу от Монмирайля, в то время как Йорк находился далеко к северу от этой деревни, наблюдая за передвижениями Макдональда вдоль дороги Шато-Тьерри.

Следовательно, император с 20 000 человек мог надеяться уничтожить эти корпуса по частям. Оставив Мармона вместе с конницей Груши сдерживать Блюхера на востоке, он нанес удар на запад по русским Сакена близ Монмирайля. Удар был ужасен; обе стороны были измотаны ночными маршами по раскисшим дорогам, по которым пушки приходилось таскать двойными упряжками: и все же, хотя ноги были измучены холодом и голодом, люди сражались с неослабевающей яростью: французы - за то, чтобы прогнать варварских захватчиков, разоривших их деревни, русские - за то, чтобы удержать свои позиции до тех пор, пока пруссаки Йорка не протянут руку помощи с севера. Французы много раз атаковали деревню Марше, удерживаемую Сакеном: они неоднократно получали отпор, пока с наступлением темноты не Ней и Мортье с охраной не взяли штурмом большой фермерский дом слева от них. Затем, наконец, люди Сакена в тяжелом положении отступили на северо-запад через поля, где только запоздалое появление Йорка спасло их от уничтожения. Следующий день довершил их поражение. Наполеон и Мортье преследовали оба корпуса союзников до Шато-Тьерри и после ожесточенных боев на улицах этого города оттеснили их за Марну. Горожане приветствовали

приход своего императора с безграничной радостью: они думали, что он находится в Труа, разбитый и подавленный; и вот он избавляет их от жестокого разгула восточных солдат. Для него не было ничего невозможного.

Следующим настала очередь Блюхера. Оставив Мортье преследовать беглецов Сакена и Йорка по Суассонской дороге, Наполеон покинул Шато-Тьерри поздно ночью 13-го, следуя за основной массой своих войск на усиление Мармона. Этот маршал уступил отчаянным усилиям Блюхера, но стоял в страхе при Вошане, когда Наполеон приблизился к месту неравного сражения. Внезапно громкий крик "Да здравствует Император" предупредил нападавших, что теперь они имеют дело с Наполеоном. И все же никакие осады не ослабляли удара императора: только после того, как его кавалерия значительно превосходила по численности кавалерию союзников, он начал главную атаку. Каре союзников стойко отбили его, но артиллерия Дроу прорвалась сквозь их массы, в то время как толпы всадников были готовы проложить эти ужасные борозды. Ничего не оставалось, как отступить, да еще по открытой местности, где все еще продолжались атаки и обстрелы. Но ничто не могло сломить эту упрямую пехоту: воодушевленные своим предводителем, пруссаки и русские неуклонно продвигались на восток, пока с наступлением темноты они не обнаружили лошадь Груши, преградившую дорогу перед Этоджесом. "Вперед!" - все еще звучал клич ветерана, и они прорвались сквозь кавалерию; через вражеских пехотинцев, которые прокрались к деревне, они тоже прорвались и, наконец, нашли убежище близ Бержера. "У меня нет слов, - писал полковник Хадсон Лоу, - чтобы выразить мое восхищение их бесстрашным и мужественным поведением".

Это доблестное отступление пролило свет на рядовых. Но грехи командиров дорого обошлись союзникам. За четыре дня армия Силезии потеряла 15 000 человек, а ее корпуса были сильно разбиты вторжением Наполеона. Его блестящие приемы и хлесткие удары поразили мир. С менее чем 30 000 человек он ворвался в маршевую линию Блюхера и обратил в бегство 50 000 воинов, наступавших на Париж в полной уверенности в победе. Не случайность, а наука обеспечила ему эти успехи. Действуя из-за Сены, он бросил свои небольшие, но неразделенные силы против разрозненных частей превосходящих сил. Такова была стратегия Лонато и Кастильоне, и энтузиазм тех дней должен был возродиться.

Его люди, которые раньше уныло топтали снежные пустоши и раскисшие перекрестки, теперь маршировали с гордо поднятой головой, как в прежние дни; жители деревни, отнюдь не испуганные жестокостью казаков, формировали отряды, чтобы атаковать врагов с тыла и заманивать в ловушку их фуражиров. Прежде всего, Пэрис снова стала самой собой. Прежде чем он начал эти блестящие ходы, ему пришлось упрекнуть Камбасереса за его недостойное мужчины поведение. "Я вижу, что вместо того, чтобы поддержать императрицу, ты обескураживаешь ее. Зачем так терять голову? Что означают эти *Miserere* и сорокачасовые молитвы? Ты что, с ума сходишь в Париже?" Теперь столица снова вздохнула вызовом врагу, и император прислал Национальную гвардию. Многие из них из Бретани, правда, пришли "в круглых шляпах и сабо": у них не было рюкзаков, но у них были ружья, и они сражались.

Если бы он преследовал Блюхера завтра, он, вероятно, разбил бы даже эту стойкую пехоту, оказавшуюся сейчас в отчаянном положении из-за нехватки припасов. Но с юго-запада пришли плохие новости. Под настойчивым давлением царя Шварценберг выдвинул две колонны из Труа в направлении Парижа: одна из них захватила мост через Сену в Брее, на дневном переходе ниже Ножана; другая приближалась к Фонтенбло. Наполеон был в ярости из-

за пренебрежения Виктора охраной переправы у Брея и неохотно отвернулся от Блюхера, чтобы сокрушить эти колонны. Его люди прошли маршем или были доставлены на транспортных средствах через Мо и Гинь, чтобы подкрепить Виктора: 17-го они отбросили аванпосты центра Шварценберга, в то время как Макдональд и Удино двинулись к Ножану, чтобы угрожать его правому флангу. Эти быстрые действия встревожили австрийского командующего, чей левый фланг, развернутый на Фонтенбло, подвергался некоторой опасности быть отрезанным. Поэтому он потребовал перемирия. В этом было отказано; и просьба вызвала у Наполеона письмо к своему брату Жозефу, полное презрения к союзникам (18 февраля). "Трудно, - пишет он, - быть таким трусом! Он [Шварценберг] постоянно и в самых оскорбительных выражениях отказывался от любого вида приостановки вооружений ... и все же эти негодяи при первой же проверке падают на колени. Я не дам перемирия до тех пор, пока моя территория не будет очищена от них". Он добавляет, что теперь он рассчитывал получить "естественные границы", предложенные союзниками во Франкфурте, — минимум, который он мог принять с честью; и он заканчивает этими запоминающимися словами, которые освещают его миролюбивые заявления тринадцать месяцев спустя: "Если бы я согласился на старые границы, я бы бросился с оружием в руках два года спустя, сказав нации, что я подписал не мир, а капитуляцию". ^[414]

События 18-го укрепили его решимость. Затем он атаковал наследного принца Вюртембергского на северном берегу Сены, напротив Монтеро, опрокинул его мощью гвардейской артиллерии, после чего блестящей атакой всадников Пажоля отбил мост у южных немцев и вернул императору столь необходимую переправу через реку. Активность Наполеона в тот день была изумительной. Он написал или продиктовал одиннадцать депеш, шесть из них задолго до рассвета, дал инструкции офицеру, который должен был побудить Эжена твердо держаться в Италии, участвовал в сражении, прицелил несколько пушек и завершил день суровыми упреками маршалу Виктору и двум генералам за их недавние промахи. Таким образом, одним коротким зимним днем он исполняет роль императора, организатора, тактика, канонира и солдафона; фактически, он завершает ее прощением Виктора, когда этот храбрый человек клянется, что не может жить вдали от армии и будет сражаться как простой солдат среди гвардейцев: он тут же выделяет ему две дивизии гвардии. Артиллеристам дух *товарищества* императора придал новый импульс, и когда они осмелились упрекнуть его в том, что он так рискует своей жизнью, он ответил с оттенком фатализма, который пленяет ум солдата: "Ах! не бойся: брошен не тот мяч, который убьет меня".

Да: Наполеон продемонстрировал в течение этих последних десяти дней изобилие ресурсов, способность повернуть вспять ход событий, которые ослепили потомков и привели в ужас его врагов. Мы можем тщетно искать параллель, за исключением, возможно, карьеры Ганнибала и Фридриха. Победы Александра Македонского были одержаны над азиатами: великолепное объединение цезарем своих колеблющихся отрядов против натиска нервиов было всего лишь одним из проявлений дисциплинированной доблести, сокрушившей стремительность варваров. Мальборо и Веллингтон часто одерживали победы над большими силами и меняли ход истории. Но их звезда никогда не заходила так низко, как звезда Наполеона после Ла Ротьера, и никогда она не устремлялась к зениту с блеском, подобным тому, который ослепил тренированных хозяев Блюхера и Шварценберга. Каковы бы ни были ошибки этих лидеров, а они были велики, есть нечто, не поддающееся анализу, во внезапном превращении Наполеоном своего разбитого, удрученного отряда в торжествующий строй, перед которым вчетверо превосходящее их число нашло убежище в отступлении. Но именно это

трансцендентное качество придает очарование характеру и карьере Наполеона. Там, где терпит неудачу анализ, начинается гениальность.

ГЛАВА XXXVII

ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ

Теперь оставалось выяснить, мудро ли воспользуется Наполеон своими успехами. В то время как Великая армия выстраивала свои колонны за линией Сены у Труа, французский император стремился дипломатически пожать плоды своей военной доблести. Короче говоря, он стремился вывести Австрию из Коалиции. 21 февраля из Ножана он написал императору Франциску, указывая на неблагоприятие Австрии продолжать войну. Почему она должна подчинять свою политику политике Англии и личной вражде царя? Почему она должна видеть, как ее бывшие бельгийские провинции передаются голландскому принцу-протестанту, который собирается вступить в брачный союз с Брауншвейгским домом? Франция никогда не откажется от Бельгии; а он, как французский император, никогда не подпишет мир, который отогнал бы ее от Рейна и исключил бы из круга Великих держав. Но если Австрия действительно желала равновесия в Европе, он (Наполеон) был готов забыть прошлое и заключить мир на основе франкфуртских условий. ^[415]

Если бы эти предложения были менее требовательными и поступили в штаб союзников недель раньше, они могли бы привести к распаду Коалиции. Политическое положение союзников было еще более шатким, чем положение их армий. Претензии царя вызвали негодование и тревогу. Колеблясь между советами своего старого наставника Лагарпа, который теперь снова был на его стороне, и своими собственными автократическими инстинктами, он заявил, что двинется на Париж, обратится к воле французского народа с помощью плебисцита и подчинится его решению, даже если это даст новую власть Наполеону. Но параллельно с этим демократическим предложением появилось другое, более деспотического толка, а именно, что военным губернатором Парижа должен быть русский офицер.

Веселье, вызванное этими странными представлениями, было омрачено тревогой. Меттерних, Каслри и Харденберг увидели в них уловку для навязывания Франции либо Бернадота, либо

ориентализированной республики, либо московской версии Тильзитского мирного договора. С другой стороны, 9 февраля Александр направил полномочным представителям в Шатийоне мандат с просьбой приостановить их заседания, хотя недавно в Лангре он согласился вступить в переговоры с Францией при условии, что военные операции не будут приостановлены. Очевидно, таким образом, он был склонен к принуждению своих союзников, и Австрия опасалась, что он может в конце войны настоять на том, чтобы она взяла Эльзас в качестве компенсации за потерю Восточной Галиции, которую он хотел поглотить. Вызванная таким образом ревность была настолько острой, что в Труа Меттерних и Харденберг подписали секретное соглашение, чтобы помешать царю руководить делами в Париже (14 февраля); и в тот же день они послали ему жесткую ноту с просьбой возобновить переговоры с Наполеоном. Действительно, Австрия официально пригрозила вывести свои войска из войны, если он не ограничит свои цели условиями, предложенными союзниками в Шатийоне. Александр сначала отказался, но известие о бедствиях, постигших Блюхера, поколебало его решимость, и в тот же день он согласился при условии, что будут немедленно предприняты шаги для ослабления давления на русский корпус, служивший под командованием Блюхера. Таким образом, к 14 февраля кризис закончился. ^[416]

Шварценберг осторожно двинулся вперед тремя колоннами, чтобы привлечь на себя удары молнии, которые в противном случае уничтожили бы Силезскую армию до основания; и ему это удалось. Правда, его авангард был разбит при Монтеро; но, оттянув Наполеона на юг, а затем на восток от Сены, он дал время Блюхеру укрепить свои разбитые позиции и возобновить наступление. Тем временем Бюлов с северной армией начал приближаться к месту боевых действий, и 23-го союзники предприняли мудрый шаг, придав его корпус, наряду с корпусами Винцингероде, Воронцова и Строгонова, прусскому ветерану. Последние три корпуса были выведены из состава армии Бернадотта, и царь уведомил об этом принца в довольно резком письме.

Дипломатическая ситуация также прояснилась еще до того, как письмо Наполеона дошло до императора Франциска. Переговоры с Коленкурком были возобновлены в Шатийоне 17 февраля; и есть все основания полагать, что Австрия, Англия, Пруссия и, возможно, даже Россия теперь с радостью подписали бы мир с Наполеоном на основе французских границ 1791 года при условии, что он откажется от всех претензий на вмешательство в дела Европы за пределами этих границ. ^[417]

Французский полномочный представитель, несомненно, согласился бы с этими требованиями, если бы прислушался к своим собственным миролюбивым побуждениям. Но сейчас он находился в самом болезненном положении. Марет сообщила ему на следующий день после Монмирайля, что Наполеон намерен удерживать рейнскую и альпийскую границы. ^[418] Поэтому ему ничего не оставалось, как тянуть время. Он знал, насколько шатким было военное превосходство, только что захваченное его хозяином, и верил, что еще несколько дней принесут мудрость, пока не стало слишком поздно. Но его попытки отсрочить были бесполезны.

Пока он топтался на месте, Наполеон с гордостью посылал ему депеши. "Я взял в плен от 30 000 до 40 000 человек, - писал он 17-го числа. - Я захватил 200 пушек, большое количество генералов и уничтожил несколько армий, почти не нанеся ни одного удара. Вчера я проверил армию Шварценберга, которую я надеюсь уничтожить до того, как она пересечет мою границу". А два дня спустя, услышав условия союзников, он написал, что они заставят кровь каждого

француза вскипеть от негодования, и что он продиктует *свой* ультиматум в Труа или Шатийоне. Конечно, Коленкур держал эти обличительные речи при себе, но его болезненно скованное поведение выдавало тайну о том, что он жаждал мира и что у него были связаны руки.

Со всех сторон были видны доказательства того, что Наполеон никогда не откажется от Бельгии и границы по Рейну. Когда союзники (по предложению Шварценберга и с *одобрения царя*) потребовали перемирия, он запретил своим посланникам вступать в какие-либо переговоры, пока союзники не согласятся принять "естественные границы" в качестве основы для заключения мира, и тем временем отступил в Эльзас, Лотарингию и Голландию. ^[419] На эти последние условия он согласился тремя днями позже, чтобы смягчить их; но по первому пункту он был неумолим и знал, что военные комиссары, назначенные для заключения перемирия, не имели полномочий согласиться с *политической* статьей, которую он сделал *непременным условием*.

Соответственно, перемирие заключено не было, и его непреклонность произвела плохое впечатление на императора Франциска, который 27-го числа ответил своему зятю в выражениях, показывающих, что его удары еще крепче сплывают Коалицию. ^[420]

Фактически, пока полномочные представители в Шатийоне обменивались пустыми требованиями, в Шомоне оформлялся важнейший договор: он был датирован 1 марта, но окончательно подписан 9-го. Таким образом, Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия обязались не вести единоличных мирных переговоров с Францией, а продолжать войну до тех пор, пока Франция не будет возвращена к своим старым границам и не будет обеспечена полная независимость Германии, Голландии, Швейцарии и Испании. Каждая из четырех держав должна содержать на поле боя 150 000 человек (без учета гарнизонов); и Британия согласилась помогать своим союзникам равными ежегодными субсидиями на общую сумму 5 000 000 фунтов стерлингов в 1814 году. ^[421] Международный договор был бы только оборонительным, если бы Наполеон принял условия союзников, сформулированные в Шатийоне: в противном случае он был бы наступательным и действовал, если потребуется, в течение двадцати лет.

Несомненно, этот договор был в значительной степени работой Каслри, чей такт и спокойствие творили чудеса в исцелении расколов; но столь тесный союз никогда не смог бы быть заключен между ранее враждовавшими союзниками, если бы не их непреодолимый страх перед Наполеоном. Такой договор не имел аналогов в европейской истории, и строгость его положений служит показателем доблести и порочности французского императора. Было бы ребячеством говорить, как это делает Моллиен, что Англия подкупила союзников к этому последнему усилию. Опыт последних месяцев показал им, что мир не может быть прочным до тех пор, пока Наполеон остается в состоянии угрожать Германии. Даже сейчас они были готовы заключить его с Наполеоном на основе старых границ Франции при условии, что он даст согласие до 11 марта; но самые миролюбивые из их лидеров видели, что чем больше они проявляли свое стремление к миру, тем больше они укрепляли решимость Наполеона заключить его только на условиях, которые, по их мнению, были чреваты будущей опасностью.

^[422]

В то время как конференции в Шатийоне бесплодно следовали одна за другой, Блюхер с 48 000 боееспособными силами снова возобновил наступление. Наполеон услышал эту новость в Труа (25 февраля). Он был удивлен безрассудством ветерана: он представлял его раздавленным и

беспомощным за Шалоном и лелеял надежду уничтожить Шварценберга. "Если бы, - писал он Кларку на следующее утро, - у меня был понтонный мост, война была бы закончена, и армии Шварценберга больше не существовало.... Из-за отсутствия лодок я не смог переправиться через Сену в нужных местах. Мне нужно было не 50 лодок, а всего 20". С этой характерной вспышкой гнева против своего военного министра, чье пренебрежение прислать двадцать лодок из Парижа изменило мировую историю, император отвернулся, чтобы сокрушить Блюхера. Прусский командующий находился недалеко от слияния Сены и Оба и, казалось, подставлял свой фланг так же неосторожно, как и три недели назад.

Наполеон послал Нея, Виктора и Арриги на север, чтобы ударить ему в тыл, а 27-го отправился в Арси-сюр-Об для руководства операциями. Каково же было его раздражение, когда во исполнение плана союзников, разработанного 23-го числа, Блюхер умело отступил на север, отошел за Марну и разрушил за собой мосты. Затем, потерпев неудачу в изгнании Мармона и Мортье из Мо и линии Урка, прусский лидер двинулся к Суассону, близ которого он ожидал встретить северную армию союзников. В течение нескольких часов он находился в серьезной опасности: Мармон наступал ему в тыл, а Наполеон с 35 000 отважными войсками готовился обойти его правый фланг. Фактически, если бы он не разрушил мост через Марну в Ла-Ферте-сужуар и тем самым не задержал императора на тридцать шесть часов, он, вероятно, был бы раздавлен прежде, чем смог бы пересечь реку Эна. Его люди были смертельно измотаны, маршируя день и ночь по дорогам, сначала занесенным снегом, а теперь по уши увязшим в слякоти: целую неделю у них не было обычного рациона, и велика была их радость, когда к концу 2-го августа они приблизились к 42-тысячному войску, которое Бюлов и Винцингероде собрали у берегов Эны и Везле.

В тот день Наполеону, задержавшемуся в Ла-Ферте, пришла в голову дерзкая идея броситься на следующий день вслед за Блюхером, который "очень запутался в грязи", а затем перенести войну в Лотарингию, спасти гарнизоны Вердена, Туля и Меца и поднять крестьянство востока Франции против захватчиков. Не имело значения, что Шварценберг устроил Удино и Жерару суровую проверку в Бар-сюр-Об, как только Наполеон повернулся к ним спиной. Он думал, что этот осторожный лидер наверняка начнет отступление к Рейну, как только возникнет угроза его тылу; и Наполеон представлял себе Францию восстающей, как в 1793 году, стряхивающей своих захватчиков и диктующей славный мир.

Реальная ситуация была совершенно иной. Блюхера поймать не удалось; сильный мороз 3-го числа улучшил состояние дорог; и его полному соединению с северной армией способствовала сдача Суассона в тот же день. Эта первоклассная крепость была плохо подготовлена к отражению атаки; и после короткой бомбардировки Винцингероде два офицера союзников пробрались к губернатору, похвалили его храбрость, указали на бесполезность дальнейшего сопротивления и предложили позволить гарнизону выступить с боевыми почестями и присоединиться к императору, где они могли сражаться с большей пользой. Губернатор, носивший злополучную фамилию Моро, в конце концов уступил, и его войска, почти все поляки, выступили в 4 часа пополудни, разъяренные его "изменой", ибо отдаленный гром пушек Мармона уже был слышен со стороны Ульчи. Ходили слухи, что это были пушки императора, но слухи лгали. На рассвете войска Наполеона начали переходить временный мост через Марну в тридцати пяти милях отсюда; но благодаря большим усилиям его передовые посты в тот вечер достигли Рокура, всего в двадцати милях к югу от Суассона. ^[423]

Этот факт заслуживает внимания, поскольку он опровергает странное заявление Тьера о том, что сдача Суассона была, после Ватерлоо, самым роковым событием в анналах Франции. Талантливый историк, как и, в некоторой степени, М. Уссэ, предполагал, что, если бы Суассон выстоял, Блюхер и Бюлов не смогли бы объединить свои силы. Но Бюлов полагался не только на мост в Суассоне для соединения армий; 2-го числа он перебросил мост через Эну в Вайи, на некотором расстоянии от этого города, и еще один - на третьем, недалеко от его восточного предместья. ^[424] Таким образом, ясно, что две армии, насчитывающие в общей сложности более 100 000 человек, могли соединиться задолго до того, как Наполеон, Мармон и Мортье оказались в состоянии атаковать. Прежде чем император узнал о капитуляции, он двинулся к Фисму и отрядил Корбино занять Реймс, очевидно, с целью перерезать коммуникации Блюхера со Шварценбергом и открыть путь на Верден и Мец.

Ибо этот план был теперь его главной целью, в то время как отпор Блюхеру был важен главным образом потому, что это позволило бы ему протянуть руку помощи на восток своим осажденным гарнизонам. ^[425] Но от Блюхера нельзя было таким образом избавиться. Отступая из Суассона в естественную крепость Лан, он услышал, что Наполеон переправился через Эну у Берри-о-Бак и направляется к Краону. Над этим городом возвышается длинный узкий хребет или плато, которое Блюхер приказал занять своему русскому корпусу. Здесь произошло одно из самых кровопролитных сражений войны (7 марта). Целью союзников было дожидаться атаки французов на плато, в то время как 10 000 всадников и шестьдесят орудий обошли их с тыла.

План провалился из-за ошибки в линии марша этого флангового отряда, и сражение превратилось в драку солдат. Пять раз Ней водил своих воинов вверх по этим склонам только для того, чтобы быть отброшенным назад упрямыми москвичами. Но теперь прибыл император; шестая атака кавалерии и артиллерии гвардии прорвала оборону; и Блюхер, услышав, что фланговый удар провалился, приказал отступать к Лаону. Этот беспорядочный и отчаянный бой стоил обеим сторонам около 7000 человек, почти четверти от общего числа сражавшихся. Виктор, Груши и шесть французских генералов были среди раненых. ^[426]

Тем не менее, Наполеон продолжал бороться: он вызвал Мармона и Мортье, сообщил, что вот-вот получит другие крупные подкрепления, и приказал своим гарнизонам в Бельгии и Лотарингии ударить в тыл врагу. Он думал, что еще одна победа положит конец войне или, по крайней мере, снизит требования союзников. Этому не суждено было сбыться. Блюхер и Бюлов удерживали сильную естественную цитадель Лан; и все усилия Наполеона 9 и 10 марта потерпели неудачу в штурме южных подступов. На востоке дела у Мармона обстояли не лучше, и когда с наступлением темноты усталые французы отступили, пруссаки решили попробовать провести ночную атаку на корпус Мармона, который находился далеко от основных сил. Никогда еще неожиданность не была столь успешной; Мармон был совершенно сбит с толку; конные и пешие бежали в диком замешательстве, оставив 2500 пленных и сорок пять пушек в руках победоносного Йорка. Если бы союзники смогли реализовать свое преимущество, результат был бы решающим; но Блюхер заболел, и был объявлен привал. ^[427]

Единственный из лидеров этой кампании император остался несломленным. Все лидеры союзников в то или иное время гибли под его ударами; и французские маршалы, казалось, были обречены, как и в 1813 году, потерпеть неудачу везде, где не было их императора. Ней, Виктор и Мортье снова проявили мало качеств командира, за исключением храбрости. Ожеро проявил мягкость и нерешительность в Лионе перед меньшими силами Австрии. Суше и Даву

были заперты в Каталонии и Гамбурге. Сен-Сир и Вандам оказались в плену. Сульт стойко держал оборону близ Байонны, но теперь появились новости о том, что Веллингтон застал его врасплох и разгромил при Ортезе. На Сене Макдональду и Удино не удалось удержать Труа против сил Шварценберга. Из всех французских маршалов Мармон больше всех отличился в этой кампании, и теперь в Лаоне его застали врасплох. И все же, в то время как все остальные потерпели неудачу, Наполеон казался непобедимым. Даже после поражения Мармона союзники воздержались от нападения на вождя; и подобно тому, как лев, отбитый стадом буйволов, уходит, искалеченный, но полный решимости сражаться, и его не трогают, так и император с миром отошел в сторону Суассона. Оттуда он двинулся на Реймс, одержал там победу над русской дивизией и надеялся оказать помощь своим гарнизонам в Лотарингии, когда 17-го числа известие о продвижении Шварценберга к Парижу снова заставило его двинуться на юг.

Уступая увещеваниям царя, австрийский вождь намеревался двинуться на столицу Франции, если все пойдет хорошо; но он снова отступил, получив известие о наступлении Наполеона на его правый фланг. Готовясь отступить к Бриенне, он услышал, что его великий противник переправился через эту реку у Планси менее чем с 20 000 войсками. Вернуться по его следам, напасть на эту горстку усталых людей со 100 000 человек и столкнуть их в реку не было смелой идеей: но союзники так привыкли к заигрываниям и промедлению, что дрожь удивления пробежала по войску, когда он начал вызывать его отступающие колонны на бой. ^[428]

Наполеон тоже был удивлен: он полагал, что Великая армия полностью отступает, и намеревался затем броситься на Витри и Верден. ^[429] Но союзники дали ему достаточно времени, чтобы подтянуть корпуса Макдональда и Удино, в то время как сами они все еще были так сильно разобщены, что поначалу едва сдерживали его натиск. Бои за Арси были отчаянными: Наполеон открыто выставил свою персону напоказ, чтобы вырвать победу у усиливающихся масс впереди. В какой-то момент перед ним разорвался снаряд, и его подчиненные вздрогнули, увидев, как его фигура исчезла в облаке дыма и пыли; но он поднялся невредимым, вскочил на другого коня и ринулся в бой. Это было напрасно: он был вынужден отвести своих людей в город (20 марта). На следующий день смелая атака Шварценберга могла бы сокрушить 30 000 человек Наполеона; но его смелый фронт столкнулся с австрийским лидером, в то время как французы были оттянуты за реку, и только арьергард сильно пострадал от запоздалой атаки союзников. Потеряв 4000 человек, Наполеон отступил на север, на опустошенные равнины Сезанна. Надежда теперь исчезла из груди каждого, кроме него. И, конечно, если бы человеческая слабость когда-либо нашла место в этой пламенной душе, она могла бы сейчас побудить его просить мира. Он бросился сначала на север, затем на юг, чтобы сохранить за Францией естественные границы, которые он мог бы получить в подарок в ноябре прошлого года; он потерпел неудачу; и теперь он мог с честью принять условия победителей. Но он снова опоздал.

Переговоры в Шатийоне завершились 19 марта, то есть на девять дней позже, чем было первоначально установлено союзниками. Продление срока было вызвано главным образом их уважением и жалостью к Коленкуру; и действительно, он находился в самом плачевном положении: полномочный представитель без всех полномочий, министр, которого его государь держал в неведении, и патриот, неспособный спасти свою любимую Францию от пропасти, к которой ее подталкивало увлечение Наполеона. Он знал решимость союзников гораздо лучше, чем намерения своего хозяина. Именно от лорда Абердина он услышал о провале переговоров

о перемирии: от него же он узнал, что Наполеон написал "страстное" письмо кайзеру Фрэнсису, и выразил удовлетворение тем, что ответ был твердым и решительным. ^[430] Его личное общение в Шатийоне с британскими полномочными представителями было откровенным и дружеским, как и со Стадионом. Он часто получал письма от Меттерниха, советовавшего ему быстро прийти к соглашению с союзниками; ^[431] и австрийский министр послал принца Эстерхази предупредить его, что союзники никогда не отступят от своих требований о старых границах для Франции, даже если военная удача на какое-то время загонит их за Рейн. - Значит, нет никаких средств просветить Наполеона относительно его истинного положения или спасти его, если он будет упорствовать в самоуничтожении? Неужели он безвозвратно поставил свою судьбу и судьбу своего сына на последнюю пушку?— Тогда пусть Наполеон примет предложение союзников, прислав контрпроект, лишь незначительно отличающийся от их, и мир будет заключен. ^[432] Коленкуру не понадобилось подстегивать. "Он изо всех сил добивается мира, - писал Стюарт, - насколько это от него зависит. Он боится успехов Бонапарта даже больше, чем наших, чтобы они не сделали его еще более непрактичным". ^[433]

Но, к сожалению, его последнее и самое настоятельное обращение к императору дошло до последнего сразу после пирровой победы при Краонне, которая сделала его еще более упрямым, чем когда-либо. Далекий от того, чтобы пойти навстречу союзникам, он произнес слова, свидетельствовавшие лишь об оскорбленной гордости: "Если кому-то приходится получать удары плетью, - сказал он, услышав курьера, - то не мне подставлять им спину". На следующий день он поручил Маре ответить своему огорченному полномочному представителю, что он (Наполеон) лучше всех знает, чего требует ситуация; требование союзников о том, чтобы Франция отступила в пределах своих старых границ, было только их *первым словом*: Коленкур должен ознакомиться с их ультиматумом: если это был их ультиматум, он должен отвергнуть это. Он (Наполеон), возможно, отказался бы от голландского Брабанта и крепостей Везель, Кастель (напротив Майнца) и Кель, но не внес бы существенных изменений во франкфуртские условия. И все же Коленкур продолжал бороться. Когда сессия 10 марта закрывалась, он подготовил декларацию, в которой предлагал отказаться от всех претензий Наполеона на контроль над землями за естественными пределами.

Остальные догадались, что это его рук дело, составленное для того, чтобы затянуть переговоры и оставить его хозяину несколько дней отсрочки. ^[434] Они уважили его намерения, и было получено девять дней отсрочки; но единственным ответом, которым Наполеон удостоил призывы Коленкура, было послание от 17 марта из Реймса: "Я получил ваши письма от 13-го. Я поручаю герцогу Бассано подробно ответить на них. Я даю вам прямое право пойти на уступки, которые были бы необходимы для продолжения переговоров, и, наконец, ознакомиться с ультиматумом союзников, при этом хорошо понимается, что результатом договора будет эвакуация нашей территории и освобождение всех заключенных с обеих сторон". Инструкции, которые он поручил герцогу Бассано отправить Коленкуру, были такими, какие мог бы продиктовать победитель. Союзники должны покинуть его территорию и сдать все крепости, как только будут подписаны предварительные условия мира: если переговоры должны быть прерваны, им лучше прекратить их по этому вопросу. Сам он перестал бы контролировать земли за пределами естественных границ и признал бы независимость Голландии; что касается Бельгии, он отказался бы уступить ее принцу Оранского дома, но он намекнул, что она вполне может достаться французскому принцу в качестве контрибуции — очевидно, имелся в виду Жозеф Бонапарт. Если бы эта уступка была сделана, он ожидал, что все французские колонии,

включая Иль-де-Франс, были бы восстановлены. Ничего определенного не было сказано о границе по Рейну.

Курьер, доставивший эти предложения из Реймса в Шатийон, дважды задерживался русскими и не успел прибыть в город, когда Конгресс подошел к концу (19 марта). Следовательно, их единственное значение состоит в том, чтобы показать, что, несмотря на все предупреждения, благодаря которым пражские переговоры были столь плодотворными, Наполеон придерживался той же тактики угроз и промедления, которая затем привела Австрию в объятия его врагов. Он по-прежнему упорно считал временные ограничения союзников бессмысленными, а их ультиматум - *первым словом*, от которого они вскоре отступят под давлением его доблести - и это при том, что Коленкур ежедневно предупреждал его, что часы сочтены, что ничто не изменит решимости его врагов и что их поражения только усиливают их раздражение против него.

Если что-то и могло усилить это раздражение, так это открытие, что он все время играл с ними. 20-го числа разведчики союзников доставили в штаб депешу Коленкуру, написанную Маре накануне, в которой содержалось следующее осуждающее предложение: "Желания императора остаются совершенно неопределенными во всем, что касается сдачи цитаделей Антверпен, Майнц и Александрия, если вы будете вынуждены согласиться на эти уступки, поскольку он намерен даже после ратификации договора руководствоваться военной ситуацией. Дождись последнего момента".^[435] Таким образом, мир должен был быть заключен для удобства Наполеона и нарушен им при первой же представившейся возможности. Удивительно ли, что в тот же день министры Держав решили больше не вести переговоров с Наполеоном и что Меттерних благосклонно выслушал эмиссара бурбонов, графа де Витроля, которого он ранее держал на расстоянии вытянутой руки?

По правде говоря, Наполеон теперь был готов поставить все на карту ради плана, от которого другие лидеры отшатнулись бы, но который, по его мнению, сулил знаменательный триумф. Это должно было сплотить французские гарнизоны в Лотарингии и ударить в тыл Шварценбергу. Это был, действительно, его единственный оставшийся шанс. Со своим отрядом численностью всего в 40 000 человек, который поддерживался на уровне этой численности из-за прибытия рекрутов, ослаблявших его сплоченность, он едва ли мог надеяться отбросить плотные массы, которые сейчас были сосредоточены за Обом, Сеной и Марной.

Взгляд на карту покажет, что за этими реками союзники могли подкрасться на расстояние удара к Парижу, в то время как со своей позиции к северу от Оба он мог атаковать их, только перейдя один или другой из этих больших потоков, мосты через которые были в их руках. Он по-прежнему занимал центральную позицию, но она теряла свою ценность, если он не мог атаковать. Война для него была не чем иным, как искусством быстрой и решительной атаки; или, как он лаконично выразился, "Искусство войны состоит в том, чтобы пройти двенадцать лиг, вступить в сражение и еще двенадцать пройти в погоне". Поскольку теперь это было невозможно против фронтов и флангов союзников, оставалось только угрожать тылу армии, которая, скорее всего, была бы запугана таким маневром. И это явно была армия, возглавляемая Шварценбергом. От Блюхера и Бюлова нельзя было ожидать ничего, кроме смертельного неповиновения, и их тыл поддерживали голландские опорные пункты.

Но австрийцы показали себя столь же мягкими в своей стратегии, как и в дипломатии. Все в штабе союзников знали, что Шварценберг не справлялся с возложенным на него грузом

ответственности, что вторжение банды эльзасских крестьян в его автоколонны заставило его нервничать и что он не двинется на Париж до тех пор, пока его "коммуникации будут открыты для движения со стороны Шалона и Витри".^[436] Какой эффект произвела бы тогда на этого робкого командира "Имперская вандея" в Эльзасе, Лотарингии и Франш-Конте!

И тогда такое восстание могло бы стать ожесточенным и широко распространенным. Восток и центр были оплотами французской демократии, поскольку они были рассадником феодальных и монархических злоупотреблений; и в это самое время принцы Бурбонов провозгласили себя в Нанси и Бордо. Бестактный граф д'Артуа находился в Нанси, пытаясь разжечь роялистские настроения в Лотарингии, а его старший сын, герцог Ангулемский, вошел в Бордо с британскими красномундирниками (12 марта).

Чтобы объяснить, как стало возможным это последнее событие, мы должны вернуться к нашим шагам. После того, как Сульт был вытеснен Веллингтоном с гор за городом Ортез, он отвел свои разбитые войска за реку Адур, а затем резко повернул на восток, чтобы соединиться с корпусом Суше. Этот шаг, каким бы превосходным он ни был в военном смысле, оставил Бордо открытым для британцев; и Веллингтон немедленно отправил Бересфорда на север с 12 000 солдат, чтобы занять этот великий город. Он был тепло встречен французскими роялистами, как и герцог Ангулемский, прибывший вскоре после них. Молодой принц сразу же провозгласил себя Людовиком XVIII. Король Франции и позволил мэру-роялисту объявить, что союзники наступают на Париж только для того, чтобы уничтожить Наполеона и заменить его законным монархом. Как ни сильны были симпатии Веллингтона к цели этого заявления, он решительно отверг его. Этикет вынуждал его сделать это, поскольку союзники все еще вели переговоры с Наполеоном, и его собственный такт предупреждал его, что бурбоны никогда не должны появляться во Франции под прикрытием союзников.

Союзные монархи пока еще ничего не сделали в пользу своего дела, и более мудрые головы среди французских роялистов поняли, насколько желательно, чтобы инициатива исходила от Франции. Пагубные последствия бордосского манифеста вскоре проявились в сплочении национальных гвардейцев и крестьян под триколором против ненавистного *флер-де-лис*; и людям Бересфорда оставалось только стоять на своем.^[437] Если это имело место на монархическом юге, то чего Наполеон не мог надеяться добиться на востоке теперь, когда "химера" Бурбонов угрожала стать фактом?

Новости о состоянии Парижа были менее удовлетворительными. Это непостоянное население приветствовало роялистские аллюзии в театрах, прошипело "официальную" пьесу, изображавшую казаков-мародеров,^[438] и вызвало такую тревогу у Савари, что он написал, чтобы предупредить своего хозяина о неспособности полиции контролировать общественность, если война докатится до Парижа. Трудно сказать, был ли совет Савари действительно глупым, или, как намекает Лавалетт, интриги Талейрана подрывали его лояльность Наполеону. Но, безусловно, этот совет дал Наполеону дополнительный повод для того, чтобы ударить в тыл Шварценбергу и втянуть его обратно в Лотарингию. У него были основания надеяться, что Ожеро, подкрепленный частью войск Суше, двинется к Дижону и будет угрожать австрийцам с юга, в то время как он сам будет давить на них с северо-востока. В таком случае, разве Австрия не заключила бы мир и не оставила бы Александра и Блюхера на его милость? И разве он не мог надеяться отрезать путь графу д'Артуа и, возможно, также поймать Бернадотта, который безуспешно добивался народной поддержки на северо-востоке?

Но, основывая все свои надежды на преданности французского крестьянства и миролюбивых настроениях Австрии, французский император не учитывал жгучей ненависти царя и пруссаков. "Блюхер сошел бы с ума, если бы предпринял какое-либо серьезное движение", - так писал Наполеон Бертье 20-го числа, очевидно, основываясь на своем прежнем предложении Жозефу убедить Бернадотта покинуть союзников и атаковать Блюхера в тыл.^[439] По крайней мере, трудно найти какую-либо другую причину странной уверенности Наполеона в том, что Блюхер будет сидеть спокойно, пока его союзников будут бить; если, конечно, мы не примем объяснение Мармона о том, что мозг Наполеона теперь отвергал все неприятные новости и регистрировал желания как факты.

Казалось, удача улыбнулась его предприятию. Хотя ему не удалось отбить Витри у гарнизона союзников, все же близ Сен-Дизье он напал на прусский конвой, захватив в плен 800 человек и 400 повозок с припасами. Повсюду он приказывал бить в набат, чтобы объявить *массовую дамбу*, и посылал гонцов предупредить свои гарнизоны Лотарингии, чтобы они перерезали себе дорогу на его сторону. Его легкие войска распространились вверх по долине Марны к Шомону, захватывая припасы и курьеров; и он воспользовался этой возможностью, когда представил австрийцев полностью деморализованными, чтобы послать Коленкура из Дулевана с предложениями возобновить переговоры о мире (25 марта).^[440] Но пока Наполеон ожидает результатов этих предложений, его тыл подвергается нападению: он возвращается по своим следам, нападает на нападавших и обнаруживает, что они принадлежат Блюхеру. Но как пруссаки могут быть там в полном составе? Разве Блюхер не отдыхает на берегах Эны? А где Шварценберг? Император направляет войска в Витри, чтобы разгадать эту загадку, и там мало-помалу раскрывается ужасная правда о том, что он стоит на грани разорения.

Это сюжет, основанный на иронии, подобной страсти царя Эдипа в драме Софокла. Каждый шаг, который предпринимает воин, чтобы одержать победу, увеличивает полноту бедствия. Император Франциск, напуганный приближением французских всадников и не желающий попасть в руки своего зятя, удалился с Меттернихом в Дижон.

Письмо Наполеона к нему утеряно.^[441] Меттерних, хорошо охраняемый Каслри, бессилен удовлетворить предложение Коленкура, и их бегство оставляет Шварценберга под влиянием царя.^[442] Более того, Блюхер не бездействовал. В то время как Наполеон спешит на восток, к Витри, прусский лидер оттесняет слабый корпус Мармона, его авангард пересекает Марну близ Эперне 23-го, его казаки захватывают курьера с письмом, написанным в тот день Наполеоном Марии Луизе. Заканчивается оно так: "Я решил выступить к Марне, чтобы оттеснить армию противника дальше от Парижа и приблизиться к моим крепостям. Сегодня вечером я буду в Сен-Дизье. Прощай, мой друг! Обними моего сына". Предупрежденный этим письмом о плане Наполеона, Блюхер продвигается вперед; его аванпосты на следующий день соединяются с аванпостами Шварценберга и вселяют трепет бодрости в более крупные силы.

Этот лидер, сдерживаемый арьергардом Макдональда, ощупью преследовал Наполеона, когда захват французского донесения и новости, переданные Блюхером, сообщили ему о походе французского императора на восток. Поэтому во второй половине дня 23-го в Пуэги был проведен военный совет, когда царь и более смелые духом люди побудили Шварценберга прекратить свои коммуникации со Швейцарией и поставить все на то, чтобы присоединиться к Блюхеру и следовать за 40 000 Наполеоновских войск с отрядом в 180 000 человек. Но захват другого французского депеши несколькими часами позже снова изменил ход событий. На этот

раз это был свод официальных новостей из Парижа для Наполеона, описывающих истощение финансов, недовольство населения и сенсацию, вызванную успехами Веллингтона и взятием Бордо. Эти радостные вести вдохновили Александра на гораздо более хитроумный план — выступить в поход на Париж. Это предложение было сделано ему 17-го числа бароном де Витролем, агентом французских роялистов, в конце долгого собеседования; и теперь его преимущества были очевидны. Соответственно, 24-го числа в Сомнепюи он созвал своих генералов Барклая, Волконского, Толля и Дибича, чтобы спросить у них совета. Барклай был за то, чтобы последовать за Наполеоном, но двое последних проголосовали за наступление на Париж, Толль утверждал, что нужно оставить только 10 000 всадников для прикрытия их передвижения. Царь выразил свое горячее одобрение этому плану; немного позже король Пруссии дал свое согласие, и Шварценберг с некоторым сомнением подчинился их пожеланиям. Таким образом, результат вторжения Наполеона в тыл союзников явно не оправдал его ожиданий. Вместо того чтобы вынудить врага начать отступление за Рейн, он оставил открытой дорогу к его столице. ^[443]

Таким образом, на рассвете 25-го Великая армия союзников повернула направо, в то время как люди Блюхера радостно маршировали по параллельной дороге из Шалона. В тот день близ Ла-Фер-Шампенуаз отряд русской и австрийской конницы преследовал корпуса Мармона и Мортье и взял 2500 пленных и пятьдесят пушек. Далее на север казаки Блюхера напали на подразделение численностью 4500 человек, в основном национальную гвардию, охранявшую большой конвой. Французы стойко строились в каре и отбивали их снова и снова. После этого полковник Хадсон Лоу ускорил на юг, чтобы просить подкрепления у баварцев Вреде.

Им тоже не удалось сломить эту неукротимую пехоту. 180 повозок пришлось оставить позади, но новобранцы тащились дальше и, казалось, вот-вот прорвутся к Мармону, когда на сцене появится царь. Он немедленно приказал задействовать артиллерию, изрешетил их ряды картечью, а когда их командир Пактод все еще отказывался сдаваться, пригрозил сокрушить их потрепанные каре кавалерией своей гвардии. Вслед за этим Пактод приказал своему квадрату сдаться. Другой отряд также опустил оружие; но люди на последнем каре продолжали сражаться, не считаясь с жизнью, и были сбиты с ног вихрем вооруженных саблями и колющими ударами всадников, чью ярость великодушный царь тщетно пытался обуздать. "Я покраснел за саму свою мужскую натуру, - писал полковник Лоу, - став свидетелем этой сцены резни". День был славным для Франции, но в общей сложности он стоил ей более 5000 убитых и раненых, 4000 пленных и 80 пушек, не считая провизии и припасов, предназначенных для армии Наполеона. ^[444] Ничто, кроме остатков корпусов Мармона и Мортье, всего около 12 000 человек, теперь не преграждало дорогу на Париж. Не встретив серьезного сопротивления, союзники переправились через Марну у Мо и 29-го достигли Бонди, на расстоянии удара от французской столицы.

В этом городе люди были жертвой сначала явного недоверия, затем самого дикого смятения. Для них история была всего лишь мелодрамой, а война - романом. Никогда со времен Жанны д'Арк ни один иностранный враг не приближался к их шпилям. Вместо крепостных валов у них были восьмиугольные стены, и вместо смертоносного неповиновения 1792 года они теперь демонстрировали лишь судорожную горячность или ироническую покорность чрезмерно культивируемому роду. Как метко замечает месье Шарль де Ремюза об их различных настроениях, "Деспотизм, который постоянно демонстрирует процветание, не дает людям силы духа противостоять невзгодам". Несомненно, роялисты во главе с Талейраном работали над

тем, чтобы парализовать оборону; но они составляли незначительное меньшинство, и массы сражались бы за Наполеона, если бы он присутствовал и руководил всем. Но он был далеко, мчался обратно через Шампань, чтобы исправить свой промах, а на его месте у них был Джозеф. Бывший король Испании был неподходящим человеком для этого часа. Он не был героем, способным вдохнуть вызов в сбитую с толку толпу, и у него не было хорошей поддержки. Кларк и Монси, командующие 12 000 национальными гвардейцами, не вооружили и половины этого сомнительного ополчения. Мармон и Мортье были под рукой и вместе с гарнизоном и национальной гвардией собрали около 42 000 человек.

Но что это было против обученного войска численностью более 100 000 человек, марширующего сейчас против слабых заграждений на севере и востоке? Более того, Иосиф и Регентский совет обескуражили защитников, вынудив императрицу-регентшу и малолетнего короля Рима покинуть столицу вместе с сокровищами. В защиту Жозефа следует сказать, что Наполеон дважды предупреждал его перенести резиденцию правительства к югу от Луары, если союзники приблизятся к Парижу, и ни в коем случае не допустить захвата императрицы и римского короля. "Не отходите от моего сына: я предпочел бы знать, что он в Сене, чем в руках врагов Франции". Взгляды императора относительно последствий взятия Парижа также были хорошо известны. В январе он сказал Мольену, министру финансов: "Мой дорогой друг, если враг дойдет до ворот Парижа, Империи больше не будет". ^[445]

Подавленные этими мрачными предзнаменованиями, защитники ожидали наступления союзников в Монтрее, Роменвиль-Пантене и на северной равнине (30 марта). На некоторых участках французская доблесть успешно противостояла плотным массам; но во второй половине дня Мармон, видя, что его тонкие линии перекрываются, и находясь под неминуемой угрозой быть отрезанным у Бельвиля, направил просьбу о перемирии, на что Жозеф уполномочил его, если дела окажутся непоправимыми. На всех участках сопротивление было безнадежным; Мортье был сильно потеснен на северо-востоке; у ворот Клиши Монси и его национальная гвардия сражались только ради чести; и вот, после целого дня кровопролитных столкновений, великий город сдался на почетных условиях.

И так завершился великий импульс, исходивший из Парижа с 1789 года, который затопил равнины Германии, плато Испании, города Италии и степи России, нивелируя барьеры каст и вероисповеданий и объединяя людей в новое и прочное единство. Реакция против этого великого центробежного и международного движения теперь стала центростремительной и глубоко национальной. Благодаря государственному искусству Наполеона народы Европы от Волги до Тахо теперь сражались могучей фалангой и были готовы с триумфом войти в город, который всего двадцать пять лет назад ознаменовал зарю их зарождающихся свобод.

А что же Наполеон, отчасти продукт, отчасти причина этой странной реакции? По странной случайности, его военный гений и чрезмерное презрение к Шварценбергу отвлекли его в сторону как раз в то время, когда союзники могли нанести смертельный удар в самое сердце его централизованного деспотизма. 29-го он слышит о недовольстве в Париже, о катастрофе при Ла-Фер-Шампенуаз и о потере Ожеро Лиона. Он сразу видит чудовищность своей ошибки. Его усталые Стражи и он сам стремятся уничтожить пространство. Они продвигаются по неохраямой дороге через Труа и Фонтенбло, тем самым лишая императора Франциска и Меттерниха всякой возможности отправить послания из Дижона в Париж. Ценой невероятных усилий 29-го числа мужчины преодолевают семнадцать лье и достигают Труа.

Наполеон в сопровождении Коленкура, Друо, Флао и Лефевра мчится дальше, изматывая лошадей на каждом этапе: в Фонтенбло 30-го он слышит, что его супруга покинула Париж; в Эссоне бушует битва. Поздно ночью, недалеко от Атиса, он встречает конный отряд под командованием генерала Бельяра: он жадно расспрашивает этого храброго офицера и узнает, что Жозеф покинул Париж и что битва окончена. "Тогда вперед, в Париж: везде, где меня нет, они ведут себя глупо". — "Но, сир, - говорит генерал, - уже слишком поздно: Париж капитулировал".

Неукротимая воля еще не сломлена. Он должен идти дальше; он ударит в набат, поднимет население, сорвет капитуляцию и разобьет наглого врага. Вид войск Мортье, расположенных чуть дальше, наконец-то выжигает правду в его мозгу: он посылает Коленкура со всеми полномочиями вести переговоры о мире, а затем просиживает остаток ночи, склонившись над своими картами и сравнивая преданность своей гвардии с неумолимыми границами времени и пространства. Он находится в десяти милях от Парижа и видит отблески вражеских сторожевых костров по всему северному небу.

На следующее утро он слышит, что союзные монархи вот-вот войдут в Париж, и Мармон предупреждает его письмом, что общественное мнение сильно изменилось после ухода сначала императрицы, а затем Жозефа, Людовика и Жерома. Это было правдой. Люди были возмущены их бегством; у Блюхера теперь было восемьдесят пушек, установленных на высотах Монмартра; и люди знали, что он не пощадит Париж, если он рискнет предпринять дальнейшие усилия. И вот, когда в то же утро царь с королем Пруссии справа от себя и Шварценбергом слева въехал в Париж во главе русской и прусской гвардии, они не встретили ничего хуже, чем угрюмые взгляды народных масс, в то время как группы восторженных роялистов дико кричали в поддержку бурбонов, а женщины бросались целовать сапоги императора-освободителя. Партия Бурбонов, однако, определено была в меньшинстве; но в местах вдоль маршрута их демонстрации были достаточно эффективными, чтобы повлиять на впечатлительное население и порадовать победителей. — "Белая кокарда появилась очень повсеместно", — писал Стюарт с подозрительным акцентом, — "многие из национальных гвардейцев, которых я видел, носили ее". ^[446]

Опасаясь, что Елисейский дворец заминирован, царь обосновался в особняке Талейрана, напротив площади Согласия; и немедленно там состоялся важнейший частный совет. Присутствовали оба монарха, а также Нессельроде и корсиканский враг Наполеона Поццо ди Борго. Принцы Шварценберг и Лихтенштейн представляли Австрию; в то время как Талейран и Дальберг были там, чтобы отстаивать интересы Дома Бурбонов: впоследствии были вызваны де Прадт и барон Луи. Царь открыл обсуждение, заявив, что есть три пути: заключить мир с Наполеоном, признать Марию Луизу регентшей при своем сыне или отозвать бурбонов. ^[447] Первое он объявил невозможным; второе было сопряжено с серьезнейшими трудностями; и, высказывая возражения бурбонам, он дал понять, что теперь он одобряет это решение, при условии, что такова действительно была воля Франции. Затем он призвал Талейрана выступить; и этот оратор изложил дело бурбонов со своим обычным мастерством. Французская армия, по его словам, была более предана своей собственной славе, чем Наполеону. Франция жаждала мира, и она могла обрести его только при должных гарантиях своей старой династии. Если бы население еще не высказалось за бурбонов, кто мог бы удивляться этому, когда союзники упорствовали в переговорах с Наполеоном? Но стоит им заявить, что они больше не будут вести с ним переговоры, и Франция сразу же покажет свои истинные желания. Что касается его

самого, то он ответит за Сенат. Царь был удовлетворен; Фридрих Вильгельм согласился; австрийские принцы не сказали ни слова в защиту притязаний Марии Луизы, и дело Дома Бурбонов легко восторжествовало. ^[448]

На следующий день в "Journal des Débats" появилось решительное воззвание, подписанное Александром *от имени всех союзных держав*; но мы должны позволить себе усомниться в том, что император Франциск, если бы присутствовал, допустил бы его публикацию, особенно если бы его дочь находилась в Париже в качестве регентши. В прокламации говорилось, что союзники никогда больше не будут иметь дела с "Наполеоном Бонапартом" или кем-либо из членов его семьи; что они будут уважать целостность Франции в том виде, в каком она существовала при ее законных королях, и признают и гарантируют конституцию, которую французская нация должна принять.

Соответственно, они предложили Сенату немедленно назначить Временное правительство. Талейран, как великий курфюрст Империи, имел право призвать этого хранителя Речи посполитой, чье голосование явно было бы гораздо более оперативным, чем *плебисцит*, на который Александр ранее положил свое сердце. Из 140 сенаторов собрались только 64, но влияние Талейрана на них было непрекращаемым. Он говорил, и они молча принимали его предложения. Таким образом, августейший орган, приученный десятилетним деспотизмом грациозно сгибаться перед любым дуновением ветра, выполнил свою последнюю функцию в наполеоновском *режиме*, свергнув саму конституцию, которую ему было прямо поручено поддерживать. Это было 1 апреля. Талейран, Дальберг, Бернонвиль, Жокур и аббат де Монтескью немедленно сформировали Временное правительство; но душой его был Талейран. Царь дал слово, и Талейран выступил в роли сменщика сцены. Последняя сцена этого конституционного фарса разыгралась на следующий день, когда Сенат и Легислатурный корпус объявили, что Наполеон прекратил свое правление.

Такова была месть бывшего епископа за оскорбления, которые он терпел в течение многих лет с придворным тактом, но от этого не менее горько переживал. Наполеон и он стали относиться друг к другу с инстинктивной антипатией; но в то время как дипломат прятал свою ненависть под маской иронии, солдат высказал свои подозрения. Перед отъездом из Парижа император завершил свое последнее заседание Совета обличительной речью против врагов, оставшихся в цитадели; и его слова стали еще более горячими, когда он увидел, что Талейран, который в то время тихо беседовал с Жозефом в углу, не обратил внимания на вспышку гнева. Из Шампани он отправил Савари приказ арестовать экс-министра, но тот взял на себя смелость проигнорировать приказ. Вероятно, между ними было какое-то взаимопонимание. И вот, миновав множество скал, терпеливый интриган наконец помог Европе потерпеть кораблекрушение с этим могущественным авантюристом всего в одной или двух лигах от порта.

Но еще не все было кончено. Наполеон отступил к Фонтенбло, перед городом которого он собирал силы численностью почти в 60 000 человек. Мария-Луиза вместе с министрами находилась в Блуа и желала перейти на сторону своего супруга. Если бы она так поступила и если бы ее отец присутствовал в Париже, результатом была бы очень интересная и деликатная ситуация; и мы можем предположить, что потребовались бы вся утонченность Меттерниха и здравый смысл Каслри, чтобы сохранить единство трех монархов. Но Франциск все еще находился в Дижоне, а Меттерних и Каслри прибыли в Париж только 10 апреля; так что все в эти важные дни решали царь и Талейран, оба непримиримые враги Наполеона. Напрасно Коленкур

(1 апреля) умолял царя даровать Наполеону мир на основе старых границ. "Мир с ним был бы всего лишь перемирием", - последовал ответ.

Победитель не так уж решительно отвергал идею регентства, и верный министр немедленно поспешил в Фонтенбло, чтобы убедить своего господина отречься от престола в пользу его сына. Наполеон с презрением отверг это предложение: вместо *этого* он предпочел бы еще раз испытать опасности войны. Он знал, что Старая и Молодая гвардия, численность которой все еще составляла около 9000 человек, горела желанием отомстить за оскорбление французской гордости; и в конце смотра, состоявшегося 3-го числа в большом дворе дворца, они прокричали: "За Париж!" - и поклялись похоронить себя под его развалинами. Не требовалось признания его ветеранов, чтобы подтолкнуть его к подобному решению. Когда 1 апреля он получил устную ноту от Александра, в которой говорилось, что союзники больше не будут вести с ним переговоров, кроме как по его личным и семейным вопросам, он воскликнул Мармону на линии Эссон, что он должен сражаться, поскольку это необходимо в его положении. Он также предложил этому маршалу переправиться через Сену и атаковать союзников, забыв, что на пути стояла Марна с удерживаемыми ими мостами. Мармон, наделенный острым и сардоническим умом, уже видел, что его хозяин все больше и больше становился жертвой иллюзий, никогда не веря в существование трудностей, свидетелем которых он на самом деле не был. И когда 3-го числа, а может быть, и раньше, от роялистов поступили предложения, маршал пообещал помочь им тем способом, который вскоре появится.

Последние попытки Наполеона обратиться к царю были сделаны поздно вечером следующего дня. В то утро у него состоялась долгая и жаркая дискуссия с Бертье, Ней, Удино и Лефевром. Коленкур и Маре присутствовали в качестве миротворцев. Маршалы упрекали Наполеона в безрассудстве похода на Париж. Разгневанный их словами, Наполеон, наконец, сказал: "Армия будет повиноваться мне". "Нет, - возразил Ней, - она будет повиноваться своим командирам".

Макдональд, только что прибывший со своим усталым корпусом, взялся за их дело со своей обычной откровенностью. "Наши лошади, - сказал он, - не могут идти дальше: у нас недостаточно боеприпасов для одной стычки, и нет средств раздобыть больше. Если мы потерпим неудачу, а мы, вероятно, потерпим, вся Франция будет уничтожена. Мы все еще можем навязать это врагу: давайте сохраним нашу позицию.... Мы сыты войной и без разжигания гражданской войны ". Наконец император уступил и составил декларацию, сформулированную в следующих выражениях: "Союзные державы провозгласили, что император Наполеон был единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император Наполеон, верный своим клятвам, заявляет, что он готов сойти с трона, покинуть Францию и даже отдать свою жизнь ради блага отечества, неотделимого от прав его сына, прав регентства императрицы и поддержания законов Империи". ^[449]

Внимательное прочтение этого документа покажет, что это был не акт отречения, а всего лишь условное предложение отречься от престола, которое удовлетворило бы этих недипломатных солдат и позволило бы выиграть время. Макдональд также рассказывает, что, составив его, император бросился на диван, ударил себя по бедру и сказал: "Чепуха, джентльмены! давайте оставим все это в покое и выступим завтра, мы разобьем их". Но они заставили его сдерживать обещание, и Коленкур, Ней и Макдональд, немедленно отправившись в Париж, осаждали царя многочисленными просьбами и угрозами признать регентство.

В своем интервью поздно вечером 4-го числа они, казалось, произвели большое впечатление, особенно когда напомнили ему о его обещании не навязывать Франции никакого правительства. Затем царь созвал членов Временного правительства и выслушал их доводы о том, что Регентство должно быстро уступить место под натиском единой властной воли. И снова Александр прислушался к красноречию Коленкура и, наконец, к мольбам встревоженных временных чиновников. Так продолжалась ночь в особняке Талейрана, и царь наконец заявил, что, выслушав совет прусского монарха, он выскажет свое решение. И незадолго до рассвета пришло известие, что корпус Мармона перешел на сторону врага. "Ты видишь, - сказал Александр Поццо ди Борго, - это воля Провидения: теперь больше никаких сомнений и колебаний". ^[450]

Фактически, в ту же ночь корпус Мармона численностью 12 000 человек был выведен генералами маршала из Эссона в тыл союзников. Сам Мармон находился тогда в Париже, будучи уговорен Неем и Макдональдом отправиться с ними, чтобы помешать осуществлению его изменнического замысла; но его генералы, которые были посвящены в тайну, были встревожены частотой курьеров Наполеона и привели в исполнение первоначальный план. Таким образом, на рассвете 5-го числа рядовые оказались среди колонн и эскадрилий союзников. Бежать было уже слишком поздно; солдаты с бессильной яростью проклинали своих вождей, и таким образом из строя Наполеона было вырвано 12 000 человек. ^[451]

Если рассматривать такое поведение с личной точки зрения, то его следует расценивать как низкое предательство старого друга и благодетеля; и обычно оно рассматривается только в этом свете. И все же Мармон мог бы утверждать, что его действия были необходимы, чтобы помешать Наполеону пожертвовать своими войсками и, возможно, также своей столицей из-за болезненной гордыни и жажды мести. Маршал был кое-чем обязан Франции. Палата объявила об отречении его хозяина, и Париж, казалось, согласился с их решением: Бордо и Лион теперь определенно подняли белый флаг; Веллингтон одержал победу на юге; Шварценберг собрал 140 000 человек вокруг столицы; и Мармон знал, возможно, лучше, чем кто-либо из маршалов, о непреклонности той ужасной воли, которая усеяла дороги между Москвой, Парижем и Лиссабоном миллионами трупов. Не пора ли этому положить конец? И будет ли это продолжаться до тех пор, пока Наполеон видит хоть какой-то шанс добиться временного успеха?

Как бы мы ни относились к поведению Мармона, не может быть никаких сомнений в том, что оно способствовало падению Наполеона. Царь был слишком тонким дипломатом, чтобы придавать большое значение приведенному выше заявлению Наполеона. Должно быть, он увидел в нем средство выиграть время. Но сам он также желал еще нескольких часов передышки, прежде чем выбросить ножны; и мы можем рассматривать его длительное балансирование между просьбами Коленкура и Талейрана как вызванное отчасти желанием сполна вкушать сладость мести за оккупацию Москвы, но главным образом решимостью подождать, пока не будет переброшен корпус Мармона.

Теперь, когда голова была отрублена от копья Наполеона, царь отверг всякую мысль о регентстве, но заявил, что готов предоставить щедрые условия Наполеону, если последний сразу отречется от престола. "Теперь, когда он в беде, - сказал он, - я снова стану его другом и забуду прошлое". На совещаниях с представителями Наполеона Александр решил, что Наполеон должен сохранить титул императора и получать соответствующую пенсию. В качестве

его будущей резиденции рассматривались острова Корфу, Корсика и Эльба: последний вызвал наименьшее количество возражений; и хотя Меттерних позже протестовал против выбора Эльбы, царь чувствовал, что это соглашение связано его честью. ^[452]

Теперь и сам Наполеон начал уступать неизбежному. Услышав весть о дезертирстве Мармона, он некоторое время сидел, словно оцепенев, затем печально заметил: "Неблагодарный человек! он будет более несчастлив, чем я". Но снова, 6-го числа, боевой инстинкт берет верх. Он планирует отступить со своими верными войсками за Луару и объединить корпуса Ожеро, Сюше и Сульта. "Вперед, - кричит он своим генералам, - пойдем маршем к Альпам". Ни один из них не произносит ни слова в ответ. "Ах, - отвечает император на их невысказанные мысли, - вы хотите покоя, тогда получите его. Увы! вы не знаете, сколько разочарований и опасностей ожидает вас на ваших пуховых ложах". Затем он написал свое официальное отречение от престола:

"Союзные державы заявили, что император был единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император, верный своим клятвам, заявляет, что он отказывается ради себя и своих наследников от тронов Франции и Италии и что нет такой жертвы, даже жизни, на которую он не готов пойти в интересах Франции".

Союзники поспешили покончить с этим делом, ибо даже сейчас они опасались, что лев в клетке лопнет. Действительно, надежный секретарь Фейн утверждает, что, когда в пасхальный понедельник, 11-го числа, Коленкур вернул ратификацию союзниками этого акта, первым требованием Наполеона было отозвать отречение. Однако было бы несправедливо придавать слишком большое значение этому странному поведению, поскольку в то время разум императора был частично помрачен из-за невыносимых волнений.

Его страдания усилились, когда он услышал окончательные условия союзников. Они выделили ему остров Эльба; его супруге и наследнику герцогства Парма, Плацентия и Гуасталла, а также два миллиона франков в качестве ежегодной субсидии, разделенной поровну между ним и ею. Они должны были сохранить титулы императора и императрицы, но их сын должен был носить имя герцога Пармского и т.д. Другой Бонапарт получал ежегодную субсидию в размере 2 500 000 франков, эту и предыдущую сумму выплачивала Франция. Четыреста солдат могли сопровождать его на Эльбу. Эжену должно было быть предоставлено "подходящее заведение" за пределами Франции. ^[453] В течение нескольких часов Наполеон отказывался ратифицировать этот договор. Всякая надежда на сопротивление была тщетной, так как Удино, Виктор, Лефевр и, наконец, Ней и Бертье перешли на сторону роялистов; даже солдаты начали колебаться. Но благородная гордость удерживала могущественного завоевателя от принятия Эльбы и подписания денежного договора. Цезарь опускается до уровня Санчо Пансы не без борьбы.

Затем он поговорил с Коленкуром с проницательностью, которая всегда освещала его суждения. Он сказал, что Марии Луизе следовало бы получить Тоскану: Парма не соответствовала бы ее достоинству. Кроме того, если бы ей пришлось пересечь другие штаты, чтобы приехать к нему, сделала бы она это когда-нибудь? Затем он заговорил о своих маршалах. Массена совершил величайшие подвиги, но Сюше показал себя мудрейшим как на войне, так и в управлении. Сульт был способным, но слишком амбициозным. Бертье был честным, разумным, образцом начальника генерального штаба; и "все же сейчас он причинил мне много

боли". От него не ускользнуло ни слова о Даву, который все еще мужественно боролся в Гамбурге. Он пожаловался, что ни один из его министров не приехал из Блуа, чтобы попрощаться с ним. Затем он заговорил о своем злейшем враге — Англии. "Она, несомненно, причинила мне много вреда, но я оставил в ее боку отравленный дротик. Это я сделал этот долг, который всегда будет обременять, если не сокрушит, будущие поколения". В конце концов, он вернулся к ненавистному договору, подписать который Коленкур тщательно заставлял его. Как он мог брать деньги у союзников? Как он мог покинуть Францию такой маленькой, после того как принял ее такой великой!

В ту же ночь он попытался покончить с собой. 8 февраля он предупредил своего брата Жозефа, что сделает это, если Париж будет захвачен. Во время отступления из Москвы он носил с собой пузырек, в котором, как говорили, содержался опиум, и теперь стремился положить конец своим страданиям. Но Коленкур, его камердинер Констант и хирург Айвен вскоре были под рукой и смогли вылечить его настолько легко, насколько это было возможно. После тяжелой болезни император впал в глубокую прострацию; но, освеженный чаем и прохладным воздухом занимающегося дня, он постепенно пришел в себя. "Судьба решила", - воскликнул он: "Я должен жить и ждать всего, что уготовило мне Провидение".^[454] Затем он подписал договор с союзниками, подарил Макдональду меч Мурад-бея и спокойно начал готовиться к отъезду.

Мария-Луиза не пришла навестить его. Ее решение сделать это было отменено отцом, по указанию которого она отправилась из Блуа в Рамбуйе.

Там, под охраной казаков, она по очереди увидела Франциска, Александра и Фридриха Вильгельма. Что произошло между ними, неизвестно, но результатом было то, что 23 апреля она отправилась в Вену, откуда, наконец, направилась в Парму; она не проявила большого желания увидеть своего супруга на Эльбе, но вскоре утешилась с графом де Нейппергом.

Никакие сомнения относительно ее будущего поведения, никакие угрызения совести относительно судьбы Франции теперь не волновали Наполеона. Подобно небу, очистившемуся после грозы, оно снова засияло ясным сиянием. Те, кто видел его сейчас, были поражены его спокойствием, за исключением некоторых моментов, когда он сетовал на то, что его жена и ребенок были разлучены с ним из-за австрийских интриг. Затем он пришел в ярость, заплакал и заявил, что будет искать убежища в Англии, что генерал Келлер, австрийский комиссар, назначенный сопровождать его на Эльбу, настоятельно посоветовал ему сделать. Но по большей части он проявлял поразительное хладнокровие. Когда Боссе попытался успокоить его, заметив, что Франция по—прежнему будет одним из прекраснейших государств, он ответил: "с поразительным спокойствием- "Я отрекаюсь от престола и ничего не уступаю".^[455] За словами скрывается целый мир значений: они заключают в себе тайну Ста дней.

20-го числа он попрощался со своей гвардией: в волнующих словах он сказал им, что отныне его миссией будет описывать потомкам чудеса, которых они достигли: затем он обнял генерала Пети, поцеловал запятнанное войной знамя и, подгоняемый рыданиями этих непокоренных героев, отправился в Средиземноморье. В центральных районах и до самого Лиона его часто приветствовали хорошо знакомыми криками, но дальше на юг настроение людей изменилось.

В Оранже они проклинали его в лицо и швыряли камни в окна кареты; Наполеон, защищаемый Бертраном, сидел, забившись в угол, "очевидно, очень напуганный". Пробившись сквозь толпу, император, оказавшись на безопасном расстоянии, надел простое пальто, русский плащ и

простую круглую шляпу с белой кокардой: в этом или подобном обличье он старался не привлекать внимания в каждой деревне или городке, проявляя, по словам британского комиссара полковника Кэмпбелла, "большое беспокойство о спасении своей жизни".

Обходным путем он обогнул город Авиньон, где толпа жаждала его крови; и другим способом он разочаровал жителей Оргона, которые изготовили его изображение в военной форме, измазанное кровью, и плакат со словами: "Вуаля, донк одье Тиран! Tôt ou tard le crime est puni."

^[456] Таким унижительным образом он поспешил к побережью, где его ждал британский фрегат "Неустршимый". Там последовали некоторые подозрительные задержки, которые вызвали опасения союзных комиссаров, особенно после того, как после разгрома армии Эжена начали приближаться отряды французских солдат. ^[457]

Наконец, 28-го числа в сопровождении графов Бертрана и Друо он отплыл из Фрежюса. Прошло меньше пятнадцати лет с тех пор, как он высадился там, увенчанный ореолом своих восточных приключений.

ГЛАВА XXXVIII

ЭЛЬБА И ПАРИЖ

Если это преимущество - остановиться посреди бурной жизни и заново сориентироваться, то Наполеону повезло, что его занесло в тихий водоворот Эльбы. Там у него было время пересмотреть свою карьеру, отметить, где он служил своему поколению и преуспел, где также бесплодно боролся с фундаментальными инстинктами человечества. Несомненно, он действительно проводил эту мысленную инвентаризацию. Он заметил добросовестному Друо, что тот был неправ, не заключив мира на Пражском конгрессе; что вера в свой собственный гений и в воинственность ввела его в заблуждение; "но те, кто обвиняет меня, никогда не пили из пьянящей чаши Фортуны". Когда поворот ее колеса снова вознес его на вершину, он признался, что на Эльбе услышал, как в могиле, приговор потомства; и есть признаки того, что с тех пор его более зрелые убеждения стремились обуздать старые властные инстинкты, которые разрушили его жизнь.

Самоанализ, однако, был чужд его натуре; он был создан скорее для лагеря, чем для учебы; его критические способности, если их направить на время на самого себя, быстро возвращались к

работе над людьми и делами; и они нашли необходимое применение в организации его лилипутской империи и наблюдении за ходом европейской политики. В первые недели он вставал на рассвете, гулял или ехал верхом по Порто-Феррайо и его окрестностям, планируя лучшую оборону или прокладывая новые дороги и аллеи из тутовых деревьев. "Я никогда не видел человека, - писал Кэмпбелл, - с такой активностью и неутомимым упорством: кажется, он получает удовольствие от постоянного движения и от того, что видит, как те, кто сопровождает его, падают от усталости". Около семисот его охранников были доставлены на британских транспортах; и они, наряду с корсиканцами и тосканцами, охраняли его от заговорщиков-роялистов, реальных или предполагаемых. За короткое время он приобрел несколько небольших судов и аннексировал остров Пианоза. Эти дела и создание Императорского двора на радость его матери и сестре Полине, которые теперь присоединились к нему, помогли прогнать скуку; но он был горько возмущен отказом императора Франциска позволить его жене и сыну приехать к нему. Приехала бы Мария-Луиза - более чем сомнительно, поскольку ее отношения с графом Нейппергом уже пользовались дурной славой; но задержание его сына было бессердечным поступком, который вызвал всеобщее сочувствие к одинокому человеку. Графиня Валевская навестила его на несколько дней, привезя с собой сына, которого она ему родила. ^[458]

Тем временем Европа с трудом устанавливала свои новые политические основы. Учитывая, что Франция находилась во власти союзников, у нее было мало справедливых оснований жаловаться на них. Парижский мирный договор (30 мая 1814 г.) предоставил ей гораздо более широкие границы, чем в 1791 году; и она сохранила художественные ценности, отнятые Наполеоном. Вероломный Альбион отказался от всех своих французских колониальных завоеваний, за исключением Маврикия, Тобаго и Сент-Люсии. Британцы роптали по поводу ничтожных выгод, принесенных войной, которая обошлась более чем в 600 000 000 фунтов стерлингов, но Каслри оправдывал политику примирения. "Лучше, - сказал он, - чтобы Франция была торговой и миролюбивой, чем воинственной и завоевательной державой". Мы настояли на том, чтобы она уступила Бельгию Оранскому дому, в то время как мы сохранили за собой завоеванные нами голландские колонии, Капскую капю, Демерару и Кюрасоа, заплатив за них 6 000 000 фунтов стерлингов.

Потеря Нидерландов, Рейнской области и Италии задела гордость Франции. Громким был ропот толп солдат, пришедших из крепостей Германии или тюрем Испании, России и Англии — 70 000 человек переправились только с наших берегов — по поводу жестокости союзников и малодушия бурбонов. Возвращение с войны к миру всегда тяжело; и теперь эти изможденные воины вернулись в маленькую Францию, которая волей-неволей уволила их или посадила на половинное жалованье. Возможно, тактичный суд смог бы склонить их на свою сторону, но бурбоны, особенно этот типичный *эмигрант*, граф д'Артуа, были ничем иным, как бестактностью, свидетельствующей о том, что они распустили Старую гвардию и сформировали *Maison du Roi*, привилегированный и высокооплачиваемый корпус из 6000 дворян и джентльменов-роялистов. Крестьяне тоже были встревожены, особенно те, кто владел землями знати, конфискованными во время революции. Возместить ущерб бывшим владельцам было невозможно из-за потока непомерных требований, которые посыпались на них. И 1814 год, начавшийся как волнующая душу эпопея, закончился грязными склоками, достойными третьесортного фарса.

Более того, в это самое время бывшие союзники, казалось, были на грани войны. Границы нашего пространства позволяют лишь бегло взглянуть на споры держав на Венском конгрессе. Центром грозы Европы была фигура царя. Нашему послу в Вене сэру Чарльзу Стюарту он заявил о своей решимости сохранить западную Польшу и никогда не выдавать 7 000 000 своих "польских подданных".^[459] Как ни странно, он в конечном итоге добился согласия Пруссии на эту нежелательную схему при условии, что она получит всю Саксонию, в то время как Фридрих Август должен был быть перенесен в Рейнскую область со столицей в Бонне. Этим предложениям Австрия, Англия и Франция оказали решительное сопротивление и заключили секретный договор (3 января 1815 г.) о противодействии им, в случае необходимости, с армиями численностью до 450 000 человек. Но, хотя мечи бряцали в ножнах, они не были обнажены. Когда до Вены дошли известия о деятельности бонапартистов во Франции и Мюрата в Италии, Державы согласились (8 февраля) на саксонско-польский компромисс, который оформился на карте Восточной Европы. Территориальные устройства на западе, очевидно, были вдохновлены желанием создать бастионы против Франции. Бельгия была присоединена к Голландии; Германия была объединена в Конфедерацию, в которой принцы обладали полной суверенной властью; а королевство Сардиния выросло больше, чем прежде, за счет возвращения Савойи и Ниццы и обретения Генуи.

Это нагромождение искусственных барьеров против некоего будущего Наполеона должно было послужить замыслам самого прославленного изгнанника. Национальный инстинкт, который его удары пробудили до полной силы, теперь был возмущен монархами, которых он привел к победе. Бельгийцы решительно возражали против голландского правления, а немецкие "унитаристы", как окрестил их Меттерних, отвергли форму объединения, которая подчинила Отечество Австрии и ее приспешникам. Тяжелее всего пришлось Италии. Узнав секрет своего сущностного единства при Наполеоне, она теперь была поделена между своими бывшими правителями; и вспышки гнева прокатились по полуострову, когда Габсбурги обосновались в Венеции и Милане, в то время как их отпрыски взяли бразды правления в Модене, Парме и Флоренции.

Именно на этом народном возмущении Мюрат теперь строил свои надежды. Свергнув Наполеона, он надеялся снискать расположение союзников; но его действия в 1814 году были настолько подозрительными, что судьба его королевства по-прежнему висела на волоске. Парижские и мадридские бурбоны упорно стремились добиться его свержения; но Австрия и Англия, связавшие себе руки в начале 1814 года договорами с ним, могли только ждать и наблюдать в надежде, что порывистый солдат предпримет ложный шаг. Он сделал это в феврале 1815 года, когда собрал войска, вызвал Людовика XVIII. чтобы объявить, находится ли он с ним в состоянии войны, и приготовился к походу в Северную Италию.

Неспокойное состояние полуострова вызывало у держав большое беспокойство в связи с присутствием Наполеона на Эльбе. Louis XVIII. в своих депешах и Талейран в частных беседах два или три раза настаивал на его переезде на Азорские острова; но, за исключением Каслри, который дал сомнительное согласие, полномочные представители отказались от этой мысли. Меттерних был категорически против этого, и царь, несомненно, возражал бы против отмены своего плана на Эльбе, если бы Талейран сделал официальное предложение на этот счет. Но он этого не сделал. Официальные отчеты Конгресса не содержат ни слова по этому вопросу. Столь же необоснованными были газетные слухи о том, что Конгресс рассматривал целесообразность высылки Наполеона на остров Святой Елены. По этому поводу официальные отчеты также

умалчивают; и у нас есть прямое опровержение герцога Веллингтона (который прибыл в Вену 1 февраля, чтобы сменить Каслри), что "у Конгресса когда-либо было намерение удалить Бонапарта с Эльбы на остров Святой Елены". ^[460]

Положение Наполеона, безусловно, представляло собой неустойчивое равновесие, которое вело к какому-нибудь смелому предприятию или бесславному банкротству. Содержание его войск обходилось ему более чем в 1 000 000 франков в год, в то время как его доход составлял менее половины этой суммы. Он должен был получать от Людовика XVIII 2 000 000 франков в год; но этот монарх, конфисковывая имущество Бонапартов во Франции, не выплатил ни сентима из тех сумм, которые союзники обязали его выплачивать падшему Дому. И царь, и наш посланник Каслри горячо упрекали Талейрана в недостойном поведении его хозяина; на что полномочный представитель ответил, что опасно снабжать Наполеона деньгами, пока Италия находится в таком беспокойном состоянии. Каслри, вернувшись в Англию через Париж, снова обратился с этим вопросом к Людовику XVIII, который пообещал взять дело в свои руки. Но вскоре он завязал с этим, ибо, как он писал Талейрану 7 марта, высадка Бонапарта во Франции *избавила его от хлопот*. ^[461]

Однако утверждать, что бегство Наполеона с Эльбы было вызвано желанием избежать банкротства, значит приписывать ему респектабельную *буржуазную* щепетильность, которая его никогда не беспокоила. Хотя "Мадам Мама" и Полина горько жаловались Кэмпбеллу на нехватку средств на Эльбе, сам император был далек от депрессии. "Кажется, в последнее время его настроение, - писал Кэмпбелл 28 декабря, - скорее, улучшилось, и он ни в малейшей степени не поддается давлению финансовых трудностей". И Кэмпбелл, и лорд Джон Рассел, которые затем нанесли императору срочный визит, подумали, что он планирует какой-то великий шаг, и предупредили наших министров. ^[462] Но они разделяли мнение других мудрецов, что его целью будет Италия, и это тоже, когда депеши Кэмпбелла изобиловали замечаниями, сделанными ему Наполеоном относительно неизбежности вспышки во Франции. Вот два из них:

Он сказал, что из-за их нынешнего унижения произойдет вспышка насилия, подобная Революции: каждый человек во Франции считает Рейн естественной границей Франции, и ничто не может изменить этого мнения. Если дух нации пробужден к действию, ничто не может противостоять этому. Это подобно бурному потоку.... Нынешнее правительство Франции слишком слабо: бурбонам следует как можно скорее начать войну, чтобы утвердиться на троне. Вернуть Бельгию было бы нетрудно. Французская армия испытывает наименьший страх только перед британскими войсками там" (*так в оригинале*).

Его окончательное решение подвергнуть все риску сформировалось примерно 13 февраля, когда, вскоре после получения известий о беспорядках в Италии, разногласиях между державами и решимости союзных государей покинуть Вену 20-го числа, он услышал новости высочайшей важности из Франции. В тот день один из его бывших чиновников, Флери де Шабуллон, высадился на Эльбе и сообщил ему о подготовке военными мятежниками под предводительством Фуше заговора с целью свержения Людовика XVIII. ^[463] Наполеон немедленно отправил своего информатора в Неаполь и приказал выкрасить свой бриг "Л'Инконстант" под английское судно. К величайшему счастью для него, Кэмпбелл 16-го числа отплыл в Тоскану - "за своим здоровьем и по частным делам" - на небольшом военном судне "Партридж", которому британское правительство доверило надзор Наполеона. Капитан этого судна Эдай пообещал, отвезя Кэмпбелла в Ливорно, вернуться и совершить круиз у Эльбы. Он

заехал в Порто-Феррайо 24-го и на вопрос Бертрана, когда он должен привезти Кэмпбелла обратно, недипломатично ответил, что это назначено на 26-е. Это известие, по-видимому, решило Наполеона сбежать в тот день, когда "Куропатки" не будет в Ливорно. Тем временем Кэмпбелл, встревоженный новостями о приготовлениях на Эльбе, отправлял запрос в Геную с просьбой прислать еще один британский военный корабль, чтобы расстроить планы "неугомонного злодея".

Но теперь было уже слишком поздно. В тот воскресный вечер, в 9 часов вечера, император с 1050 офицерами и рядовыми сел в Порту Феррайо на "Непостоянный" и шесть судов поменьше. Воспользовавшись легким ветром, задержавшим британское судно, его флотилия скользнула на север; и только 28-го Эдай и Кэмпбелл обнаружили, что "имперский орел" улетел. Тем временем Наполеон ускользнул от французского сторожевика "Флер-де-Лис" и приказал своим кораблям рассеяться. Обогнув север Корсики, он столкнулся с другим французским крейсером, "Зефиром", который окликнул его бриг и поинтересовался, как поживает великий человек. "Великолепно", - последовал ответ, предложенный самим Наполеоном своему капитану. Крейсер роялистов прошел дальше довольный. И таким образом, благодаря слабоумию старых правительств и их слуг, Наполеон смог благополучно высадить свой небольшой отряд в Жуанском поле днем 1 марта. ^[464] Удивительно ли, что иностранцы, которые еще не осознали эксцентричности британского официального аппарата, поверили, что мы потворствовали бегству Наполеона? Нужна была кровь, пролитая при Ватерлоо, чтобы стереть это неправильное представление.

"Я доберусь до Парижа без единого выстрела". Таково было пророчество Наполеона своим довольно сомневающимся последователям, когда они приближались к побережью Прованса. Это казалось самой дикой мечтой. Мог ли человек, которого чуть не убили черни из Авиньона и Оргона, надеяться с миром пройти через эту роялистскую провинцию? И если бы он когда-нибудь добрался до центральных районов, где люди любили его больше, осмелились бы солдаты послушаться приказов Сульта, нового военного министра, Нея, Бертье, Макдональда, Сен-Сира, Сюше, Ожеро и многих других, кто теперь честно служил бурбонам? Король и его братья ничего не боялись. Они смеялись над глупостью этого опрометчивого незваного гостя.

Сначала их уверенность казалась оправданной. Попытки Наполеона привлечь офицера и гарнизон Антиба были отбиты, а небольшой отряд, который он послал туда, был взят в плен. Не испуганный этой проверкой, он решил поспешить через Грасс в Гренобль, таким образом опередив известие о своей первой неудаче и избегая роялистских районов нижней Роны.

Приближаясь к Греноблю, Наполеон был явно встревожен. Тамошний командующий офицер, генерал Маршан, пригрозил уничтожить эту "банду разбойников", а его солдаты пока не проявляли никаких признаков дезертирства. Но из-за плохого управления только один батальон удерживал ущелье Лаффре на юге. Когда показались медвежьи шкуры гвардейцев, ряды роялистов дрогнули и отступили. Затем император выступил вперед и приказал своим людям опустить оружие. "Вот он, стреляйте в него", - крикнул офицер-роялист. Не раздалось ни единого выстрела. — Солдаты, - сказал хорошо знакомый голос, - если среди вас есть тот, кто хочет убить своего императора, он может это сделать. Вот и я". Сразу же раздался громкий крик "Да здравствует Император", и батальон с энтузиазмом устремился к идолу солдатства.

Эта сцена решила весь ход событий. Чуть позже молодой дворянин Лабедойер возглавляет свой полк; в Гренобле гарнизон стоит и ликует, наблюдая, как бонапартисты ломаются в ворота; и

героя вносят внутрь под шквал приветственных криков. В Лионе граф д'Артуа и Макдональд спасаются бегством; солдаты и рабочие приветствуют своего вождя бурными криками; но среди обычных криков слышны угрозы "Бурбонов на гильотину", "Долой священников!"

Крики были зловещими: они показывали, что якобинцы намеревались использовать Наполеона всего лишь как инструмент для свержения бурбонов. "Неимущие" приветствовали его, но "имущие" дрожали при его появлении, ибо каждый мыслящий человек знал, что это означает войну с Европой. ^[465] Наполеон видел опасность полагаться только на недовольных и стремился пробудить подлинно национальные чувства. Поэтому 13 марта он издал серию популярных декретов, которые объявили конец правлению бурбонов, распустили Сенат и Палату депутатов и создали "коллегии выборщиков" Империи на великое собрание, или Майское поле, в Париже. Далее он запретил белый флаг, приказал носить трехцветную кокарду, распустил ненавистный "Дом короля", отменил феодальные титулы и наложил арест на владения принцев Бурбонов. Короче говоря, он действовал как Бонапарт 1799 года. Затем он отправился в Париж во главе 14 000 человек.

В то же время Ней выступал из Безансона с 6000 человек. Недавно он заверил Людовика XVIII. что Наполеон заслуживает того, чтобы его привезли в Париж в железной клетке. Но теперь его солдаты хранили угрюмое молчание. В Бурге передовой полк дезертировал; и, столкнувшись с трудностями, маршал получил от Наполеона заверение, что его примут так же, как на следующий день после Москвы (Бородино). Этого было достаточно. Он собрал вокруг себя свои войска и, к их живой радости, провозгласил императора (14 марта). Наполеон сдержал свое слово. Никогда не склонный к мелочной злобе, он теперь с одинаковой любезностью принимал и тех офицеров, которые бросались к его ногам, и тех, кто стойко служил королю до самого последнего. Перед этим солнечным великодушием растаяли последние надежды бурбонов. Встречаемый со всех сторон солдатами и крестьянами, чародей продвигается к Парижу, откуда король и Двор поспешно отступают в сторону Лилля.

Толпы крестьян выстраиваются в линию и почти перекрывают дорогу из Фонтенбло, чтобы мельком увидеть серое пальто; и, чтобы ускорить дело, он разъезжает в кабриолете со своим верным Коленкур. В сопровождении кавалькады офицеров он въезжает в Париж после наступления темноты; но там тон публики остается холодным и вопрошающим, пока они не достигают фасада Тюильри, обращенного к реке. ^[466] Затем из толпы ликующих офицеров на половинном жалованье раздается могучий крик, когда выходит хорошо известная фигура: он проходит внутрь, и его наполовину несут вверх по парадной лестнице, "его глаза полузакрыты, - говорит Лавалетт, - руки вытянуты перед собой, как у слепого, и он выражает свою радость только улыбкой". Здесь также есть дамы, которые провели томительные часы ожидания, снимая *лилии* радостно выставляя напоказ буквы "Н" и золотых пчел, скрытых дешевой обивкой цвета Бурбона. Вскоре они возвращаются к выполнению этой задачи; дворец приобретает свой привычный вид; и краткий период правления Бурбонов, кажется, прошел навсегда.

Современникам этот триумф Наполеона казался чудом, перед которым голос критики должен быть немым. И все же, если мы вспомним несостоятельность реставрации Бурбонов, бестактность принцев и жадность их сторонников, кажется странным, что карточный домик, воздвигнутый царем и Талейраном, простоял еще одиннадцать месяцев. Наполеон правильно описал состояние Франции, когда сказал своим товарищам по "Непостоянству": "Нет ни одного исторического примера, который побудил бы меня отважиться на это смелое предприятие: но я

принял во внимание удивление, которое охватит людей, состояние общественных чувств, негодование против союзников, любовь моих солдат, в общем, все наполеоновские элементы, которые все еще прорастают в нашей прекрасной Франции". ^[467]

Еще меньше он был обманут кажущимся непреодолимым порывом в свою пользу. Он заглянул за пределы истерии приветствия к холодному и критическому припадку, который последовал за этим; и он увидел впереди опасность. Когда Моллиен поздравил его с возвращением, он ответил, намекая на всеобщее безразличие к отъезду бурбонов: "Мой дорогой друг! Люди позволили мне прийти точно так же, как они позволили уйти другим". Это замечание демонстрирует глубокое понимание того, как работает французское общественное мнение. Весь ход революции показал, как легко разрушить правительство, как трудно восстановить его. По правде говоря, мартовские события 1815 года можно назвать эпилогом революционной драмы. Королевский дом оскорбил два самых могущественных интереса Франции, военные и аграрные, так что солдаты и крестьяне жадно ухватились за Наполеона как за мощный рычаг для его свержения.

Император мудро сформировал свое министерство еще до того, как остыл первый энтузиазм. Маре снова стал государственным секретарем; Декре возглавил военно-морской флот; Годен - финансы; Мольена уговорили вернуться в Казначейство, а Даву неохотно принял военное министерство. Савари отказался быть обремененным полицией, и Наполеон не давил на него: на этого умного интригана Фуше указали как на единственного человека, который мог сплотить якобинцев вокруг императорского трона: таким образом, Наполеон поручил ему этот важный пост, хотя и полностью осознавал, что в его руках это обоюдоострый инструмент. Карно в конце концов убедили стать министром внутренних дел.

Судьба Наполеона, однако, должна была решаться не в Париже, а государственными деятелями, собравшимися в Вене. Там время тянулось довольно туго, и известие о побеге наполеона поначалу было воспринято как благодарное развлечение. Талейран утверждал, что Наполеон нацелится на Италию, но Меттерних тут же заметил: "Он направится прямо на Париж". Когда это пророчество оказалось пугающе верным, был принят решительный метод спасения бурбонов. Полномочные представители составили декларацию о том, что Бонапарт, нарушив соглашение, заключенное им на Эльбе, — единственный законный титул, подтверждающий его существование, — поставил себя вне рамок гражданских и общественных отношений и, как враг и нарушитель мира во всем мире, был предан "общественному преследованию" (13 марта). ^[468] Строгость этого указа была в целом осуждена. Но, в конце концов, это не превзошло по жестокости самого Наполеона, наложившего запрет на Штейна; это была отчаянная попытка остановить полет императорского орла на Париж и спасти Францию от войны с Европой.

Общественные соображения, несомненно, смешивались с побуждениями личной ненависти. Мы уверены, что Талейран был автором этой декларации, которая получила полное одобрение царя. Но у Наполеона был один враг, более могущественный, чем Александр, более коварный, чем Талейран, и это было его собственное прошлое. Повсюду призрак войны вставал перед воображением людей. Торговец представлял себе, как его корабли уносят каперы; крестьянин видел свою усадьбу опустошенной; домохозяйке снилось, что ее кладовая опустошена налогами, а сыновей уводят на войну. В Берлине, писал Джексон, царило волнение, и все говорили, что *прошлогоднюю работу придется делать заново*.

В Англии течение общественных настроений было несколько ослаблено дрейфами и водоворотами партийной политики. Многие виги сделали из Наполеона популярного героя, некоторые из желания свергнуть ливерпульское министерство, которое объявило его вне закона; другие потому, что они верили или пытались верить, что возвращение Наполеона касается только Франции и что он оставит Европу в покое, если Европа оставит его в покое. Снова были и другие, как Хэзлитт, которые не могли игнорировать очевидный факт, что Наполеон был международной личностью и нарушил европейский договор, но, тем не менее, жаждали своего триумфа над плохими старыми правительствами и не особо беспокоились о том, что будет дальше. Но, в целом, мнение хорошо информированных людей можно резюмировать в заключении проницательного юриста Крэбба Робинсона: "Вопрос в том, мир с Бонапартом сейчас или война с ним в Германии через два года".^[469] Дело дошло до рассмотрения 28 апреля, когда ходатайство Уайтбрида против войны было отклонено 273 голосами против 72.^[470]

Если таково было общее мнение в те дни, когда только министры и дипломаты знали секреты игры, то было ясно, что посвященные, помнящие его упрямые отказы заключить мир даже в удручающие дни 1814 года, попытаются сокрушить его прежде, чем он успеет собрать все свои силы. Напрасно он возражал, что научен печальным опытом и стал другим человеком. Они интерпретировали его миролюбивые речи, исходя из своего опыта его действий; и таким образом, его самонадеянное поведение в прошлом перечеркнуло все надежды на то, что он увенчает романтическую карьеру мирным и благожелательным завершением. За объявлением вне закона 25 марта последовало заключение договоров между державами, которые фактически возобновили договоры, заключенные в Шомоне. Одна за другой более мелкие державы отказались от своего присоединения; и таким образом коалиция, распущенная тактом и дипломатией, была возрождена страхами, которые вызывал могучий воин. Наполеон предпринял несколько попыток посеять недоверие между Державами, и случай вложил в его руки настоящее яблоко раздора.

Бурбоны в своем поспешном бегстве из Парижа оставили после себя несколько государственных документов, среди которых был недавний секретный договор против России и Пруссии. Наполеон немедленно отправил этот документ царю в Вену, но его надежды на разделение союзников вскоре рухнули. Хотя Александр и Меттерних в течение нескольких месяцев отказывались обменяться словом или взглядом, все же известие о приключении Наполеона привело к быстрому примирению; и когда компрометирующий документ из Парижа попал в руки царя, он предпринял благородную месть, послав за Меттернихом, бросив его в огонь и заклиная министра забыть недавние разногласия в присутствии их общего врага. Наполеон стремился вывести Австрию из Коалиции, как и Фуше по собственному почину; но эти попытки не привели ни к какому примечательному результату, за исключением того, что Наполеон, узнав об интриге Фуше, пригрозил ему расстрелом — угроза, к которой этот необходимый инструмент отнесся со спокойной насмешкой.

Одновременно произошло несколько военных действий; но Австрия и Россия настаивали на отсрочке, последняя с целью свержения Мюрата. Теперь этот властитель обнажил меч от имени Наполеона и призвал итальянцев бороться за свою независимость. Но он был быстро побежден при Толентино (3 мая) и бежал из своего королевства, переодевшись моряком, в Тулон. Там он предложил свою шпагу Наполеону; но император отклонил его предложение и сурово обвинил его, утверждая, что он поставил под угрозу судьбу Франции, сделав мир невозможным.

Обвинение должно быть признано недоказанным. Союзники приняли решение уничтожить Наполеона 13 марта, и авантюра Мюрата просто отложила финальную битву примерно на месяц.

Наполеон использовал это время передышки, чтобы сформировать свою армию и подавить оппозицию во Франции. Банды французских роялистов не доставляли ему особых хлопот. На юго-западе *лилийский флер* был быстро уничтожен; но в Вандее роялизм пустил глубокие корни. Возглавляемые двумя ларошжакеленами, крестьяне отважно сражались, и 20 000 регулярных войск не смогли разбить их до конца июня. Чего только не могли добиться эти 20 000 человек, задержанных в Вандее, на гребне Ватерлоо?

Однако Наполеона больше всего заботило поведение якобинцев во Франции, которые были приданы огромной энергии абсурдности роялистской реакции и чувствовали, что новый правитель находится в их власти. Последовала игра на ловкость, которая заняла большую часть "Ста дней" второго правления Наполеона. Его поведение доказывало, что он не был уверен в успехе. Он чувствовал себя оторванным от этой новой свободолюбивой Франции, так непохожей на пассивно преданных людей, которых он покинул в 1814 году; он обуздывал свою порывистую натуру, рассуждая с людьми, вызывая критику и высказывая сомнения относительно своих собственных предложений способом, который странно контрастировал со старыми методами "кувалды".

"Он казался, - пишет Моллиен, - обычно спокойным, задумчивым и сохранял без наигранности серьезное достоинство, почти без прежней дерзости и уверенности в себе, которые никогда не встречали непреодолимых препятствий.... Поскольку его мыслям было тесно в узком пространстве, окруженном пропастями, вместо того чтобы свободно парить над обширным горизонтом власти, они стали трудоемкими и

болезненно.... Своего рода усталость, которой он никогда раньше не знал, овладела им после нескольких часов работы".

Этого Пегаса в упряжи раздражало непривычное ярмо, и временами давали о себе знать старые инстинкты. Однажды, когда речь зашла о новой страсти к свободе, он спросил Лавалетта с вопросом в голосе: "Все это продлится два или три года?" "Ваше величество, - ответил министр, - не должны в это верить. Это будет длиться вечно".

Первой серьезной трудностью было разработать конституцию, особенно после того, как его лионские декреты заставили людей поверить, что она будет исходить от народа и будет одобрена им на большом *Поле Мая*. Возможно, это было невозможно. Большая часть Франции была жертвой гражданских беспорядков; и это был искусный ход - доверить разработку конституции Бенжамену Константу.

Этот блестящий писатель и оратор теперь прошел через всю гамму политических профессий. Ярко выраженный якобинец и вольнодумец во время консульства, он впоследствии удалился в Германию, где забыл о своей политике, религии и философии. Вид разрушений, нанесенных Наполеоном, сделал его сторонником трона и алтаря, вынудил переработать свои трактаты и породнил причудливый круг пиетистов, которые молились и пресмыкались перед мадам де Крюденер. Вернувшись во Францию во времена Реставрации, он орудовал своим изящным пером во имя монархии и трепетал перед увядающим очарованием мадам Рекамье, признавшись своему другу Де Бройлю, что не знает, кому больше доверять в успехе этой

беззаконной погони - божественным или сатанинским силам. В марте 1815 года он выступил в прессе с резкой критикой "разбойника с Эльбы", пока последний не завоевал его расположение в течение короткого интервью и не убедил его составить вместе с несколькими коллегами окончательную конституцию эпохи.

Не то чтобы у Константа были развязаны руки: он работал под влиянием императорского вдохновения. Нынешнее усилие было названо Дополнительным актом, то есть дополнением к Конституциям Империи (22 апреля 1815 г.). Он учредил Палату пэров, назначенную Наполеоном, с наследственными правами, и Палату представителей, избранную по плану, разработанному в августе 1802 года. Император должен был назначить всех судей, включая *juges de paix*; система присяжных была сохранена, и была предоставлена свобода печати. Палаты также получили несколько более широкий контроль над министрами. ^[471]

Этот поступок вызвал шквал критики. Когда Государственный совет указал на отсутствие гарантий от конфискации, глаза Наполеона вспыхнули огнем, и он взорвался:

"Вы подталкиваете меня к тому, что мне не свойственно. Вы ослабляете и сковываете меня. Франция ищет меня и не находит. Общественное мнение было превосходным, теперь оно отвратительно. Франция спрашивает, что попало в руку императора, в ту руку, которая ей нужна, чтобы овладеть Европой. Зачем говорить мне о добре, абстрактной справедливости и законах природы? Первый закон - это необходимость: первая справедливость - это общественная безопасность".

Советники дрогнули под этой тирадой и уступили, хотя здесь мы можем отметить, что Наполеон проявил мудрое милосердие по отношению к своим врагам и конфисковал поместья только тринадцати из них.

Общественное мнение становилось все более и более "отвратительным". Некоторые историки утверждали, что падение популярности Наполеона было вызвано не Дополнительным Актом, а угрозой войны со стороны объединенной Европы: в этом можно усомниться. Мио де Мелито, работавший на императора на Западе, утверждает, что "никогда политическая ошибка не имела более непосредственных последствий", чем этот поступок; а Лавалетт, всегда преданный сторонник, утверждает, что французы с тех пор "видели в императоре только деспота и забыли о враге".

В качестве демонстрации военного энтузиазма, 1 июня на *Майском* поле вспоминались минувшие дни пальмовых ветвей. Ветераны и призывники приветствовали своего начальника ликующими возгласами, когда несколькими горячими словами он вручил им их орлов. Но люди на окраинах ликовали только тогда, когда ликовали войска. Почему они, или "избиратели" Франции, должны ликовать? Они надеялись дать ей конституцию; и теперь они были просто свидетелями клятвы Наполеона в том, что он будет соблюдать конституцию, созданную им самим. Как гражданский праздник, это было посмешищем в глазах людей, которые помнили "Праздник пик" и не должны были быть ослеплены развевающимися знаменами и великолепными костюмами Наполеона и его братьев. Открытие Палат шесть дней спустя дало выход общему недовольству. Сообщение о том, что Наполеон выдвинул своего брата Люсьена на пост президента Нижней палаты, неверно. Этот честный демократ Ланжуина был избран. Все предвещало конституционный кризис, когда прозвучал призыв к оружию; и вождь, предупредив депутатов, чтобы они не подражали грекам поздней Империи, обсуждая

абстрактные положения, в то время как таран грохотал у их ворот, прервал эти бесплодные дебаты тем призывом к мечу, который редко оправдывал его надежды.

ГЛАВА XXXIX

ЛИНЬИ И КАТР -БРА

Менее решительный оптимист, чем Наполеон, вполне мог бы надеяться на успех над силами новой коалиции. Верно, они казались ошеломляюще большими. Но многие коалиции распались под воздействием алхимии его государственного управления; и зависть, бушевавшая на Венском конгрессе, внушала надежду, что Австрия и, возможно, Англия смогут быстро отделиться от своих нынешних союзников. Каким бы странным это ни казалось нам, французский народ высказал мнение, что бегство Наполеона с Эльбы произошло при попустительстве британского правительства; и капитан Мерсер утверждает, что даже при Ватерлоо многие французы цеплялись за веру в то, что британское сопротивление будет лишь формальностью. Наполеон не питал подобных иллюзий, но он, безусловно, надеялся заставить врасплох британские и прусские войска в Бельгии и одним ударом разорвать союз, который, по его мнению, был плохо укреплен. После этого он должен был отделить Австрию от России, что, безусловно, было возможно, если бы победа увенчала французских орлов. ^[472]

Его военное положение было намного прочнее, чем со времен Московской кампании. Потеря Германии и Испании действительно укрепила его могущество. Его ветераны больше не были заперты в крепостях Европы от Данцига до Антверпена, от Гамбурга до Рагузы; и война на полуострове больше не поглощала огромные армии его отборных войск. В глазах французов он не был побежден в 1814 году; предатель подставил ему подножку только тогда, когда он был готов сокрушить своих врагов. И теперь, когда мир вернул гарнизоны и военнопленных, под командованием имперских орлов находилось до 180 000 хорошо обученных солдат. Он надеялся, что к концу июня будет готово к бою полмиллиона преданных солдат.

Трудностей, которые его окружали, было достаточно, чтобы обескуражить любого, кроме него. Некоторых из самых опытных маршалов больше не было рядом с ним. Сен-Сир, Макдональд, Удино, Виктор, Мармон и Ожеро остались верны Людовику XVIII. Бертье, услышав о возвращении Наполеона с Эльбы, немедленно удалился в Германию и в припадке безумия выбросился из окна дома в Бамберге, когда русский корпус проходил через этот город. Жюно

потерял рассудок. Массена и Монси были слишком стары для предвыборной кампании; Мортье заболел еще до того, как прозвучали первые выстрелы. Хуже всего было то, что бесконечная работа по организации армии задержала Даву в Париже. Несомненно, он творил там чудеса; но, как и в 1813 и 1814 годах, у Наполеона были причины сожалеть об отсутствии лейтенанта, столь же замечательного своей остротой восприятия и упорством в достижении цели, удачей, которая редко подводила, и преданностью, которая никогда не ослабевала. Несомненно, именно это последнее бесценное качество, а также его организаторские способности сделали его идеальным военным министром и губернатором Парижа. Кроме себя, он оставил Совет, отвечающий за управление государством на время его отсутствия, в состав которого входили принцы Жозеф и Люсьен, а также министры.

Но, хотя во французской армии 1815 года не хватало некоторых имен, широко известных в истории, множество ревностных и способных офицеров были готовы занять их место. Первый и второй корпуса были соответственно приданы Друэ, графу д'Эрлону и Рейлю, первый из которых был сыном почтмейстера Варенна, остановившего бегство Людовика XVI. Вандам командовал третьим корпусом, Жерар - четвертым, Рапп - пятым, в то время как шестой достался Мутону, более известному как граф Лобо. Корпусу Раппа была поручена защита Эльзаса; другие силы, возглавляемые Брюном, Деканом и Клозелем, защищали южные границы, в то время как Сюше охранял Альпы; но остальные части этих корпусов постепенно стягивались к северу Франции, и добавление гвардии численностью 20 800 человек довело общую численность этой армии до 125 000 человек.

Императору было труднее всего занять должность начальника генерального штаба. Потеря Бертье была невозполнимой. Несмотря на недостаток инициативы, он обладал способностью четко и быстро составлять приказы Наполеона, что обеспечивало бесперебойную работу военной машины. Кто должен стать преемником этого умелого и методичного офицера? После долгих колебаний Наполеон выбрал Сульта. В военном смысле выбор был превосходным. Герцог Далматинский имел славный военный послужной список; по натуре своей активность сочеталась с осторожностью, рвение - с методичностью; но у него было мало опыта в выполнении особых обязанностей, которые теперь требовались от него; и его приказы не были составлены так четко и передавались так быстро, как приказы Бертье.

Сосредоточение этих огромных сил происходило с удивительной быстротой; и, чтобы усыпить бдительность своих врагов, император откладывал свой отъезд из Парижа до последнего возможного момента. Когда рассвет окрасил небо на востоке, 12 июня, после четырехчасового сна он встал со своего ложа, сел в свое ландо и быстро покинул свою дремлющую столицу. Через двенадцать часов он был в Лаоне. Там он обнаружил, что четыре кавалерийские бригады Груши не участвовали в общем наступлении из-за того, что Султ не отдал необходимых приказов. Всадники сразу же поспешили дальше, несколько полков преодолели расстояние в двадцать лиг, изматывая своих коней. 14-го армия была полностью в руках противника в районе Бомона, на расстоянии удара от прусского авангарда, от которого ее отделяла полоса густого леса. Там император вскочил на своего коня и проехал вдоль рядов, вызвав такую бурю приветствий, что тщетно пытался крикнуть: "Не так громко, дети мои, враг услышит вас". Там же, в годовщину Маренго и Фридланда, он вдохновил своих людей волнующим призывом от имени независимости поляков, итальянцев, небольших немецких государств и, прежде всего, самой Франции. "Для каждого сильного духом француза пришло время победить или умереть".

Какой, между тем, была позиция союзников? Австро-сардинские силы угрожали юго-востоку Франции. Могучие армии численностью 170 000 русских и 250 000 австрийцев медленно продвигались к Лотарингии и Эльзасу соответственно; 120 000 пруссаков под командованием Блюхера были расквартированы между Льежем и Шарлеруа; в то время как сводный отряд Веллингтона из британских, немецких и голландско-бельгийских войск численностью около 100 000 человек находился между Брюсселем и Монсом.^[473] Первоначальный план этих двух знаменитых лидеров состоял в быстром продвижении во Францию; но осторожное влияние Военного совета, заседавшего в Вене, возобладало, и в конце концов было решено не начинать кампанию до тех пор, пока австрийцы и русские не приблизятся к границам Франции. Даже 15 июня мы обнаруживаем, что Веллингтон пишет царю в выражениях, предполагающих сотрудничество всех союзников в одновременных движениях на Париж - движениях, которые, по мнению Шварценберга, *начнутся примерно 20 июня*.^[474]

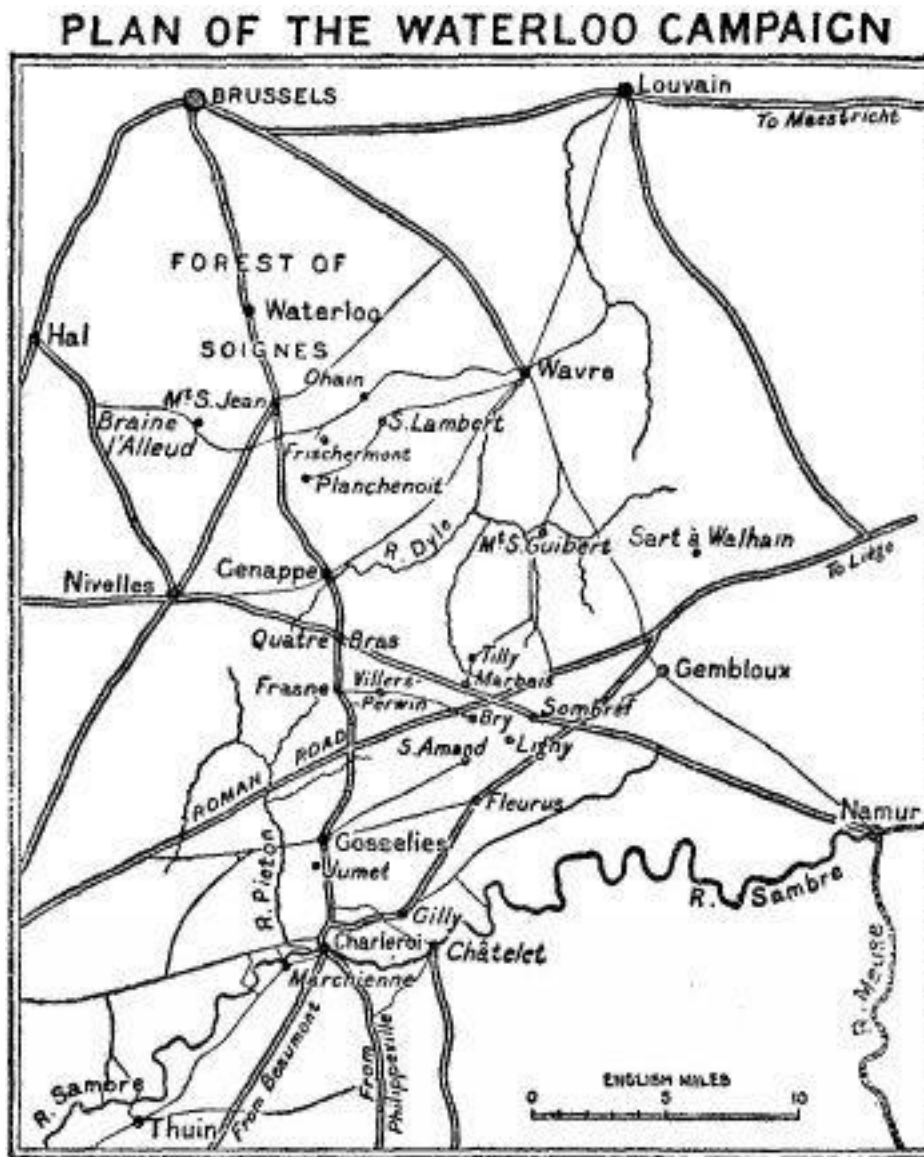
От этой длительной и методичной войны Европу спасло энергичное наступление Наполеона. Его политические инстинкты побудили его нанести удар по Брюсселю, где он надеялся, что население выступит за союз с Францией и разрыв с ненавистными голландцами. В этой войне он должен не только побеждать армии, он должен завоевывать общественное мнение; и как он мог добиться этого лучше, чем в облике народного освободителя?

Но в Бельгии можно было получить и другие преимущества. Бросившись на Веллингтона и пруссаков и разбив их на части, он принудил бы Людовика XVIII. к еще одному недостойному бегству; и он дезорганизовал бы наиболее подготовленные армии своих врагов и завладел бы материальными ресурсами Нидерландов. Похоже, он даже лелеял надежду на то, что победа над Веллингтоном обескуражит британское правительство, сместит министерство и приведет к власти миролюбивых вигов.

И эта победа была почти в пределах его досягаемости. В то время как его войско приблизилось к прусским аванпостам к югу от Шарлеруа и Тюэна, союзники все еще были разбросаны по военным городам, которые простирались более чем на сто миль, а именно от Льежа слева от Блюхера до Ауденарда справа от Веллингтона. Такое широкое рассредоточение войск, когда было известно, что предприимчивый противник находится почти на расстоянии удара, в целом осуждалось. Так, генерал Кеннеди в своем замечательном описании Ватерлоо признает, что имело место "абсурдное расширение" мест расквартирования. Веллингтон, однако, был вынужден ждать и наблюдать за тремя хорошими большими дорогами, по любой из которых мог наступать Наполеон, а именно за дорогами Турне, Монса и Шарлеруа. У герцога были и другие причины для расширения своих позиций далеко на запад: он хотел перекрыть дороги из Остенде, откуда ожидал подкрепления, и прикрыть короля Франции в Генте.

Однако есть много доказательств того, что Наполеон застал Веллингтона врасплох. Рассказы сэра Хасси Вивиана и капитана Мерсера показывают, что последние приказы о нашем наступлении были выполнены с поспешностью и суматохой, чего не произошло бы, если бы армия была хорошо под контролем или если бы Веллингтон был полностью информирован о последних действиях Наполеона.^[475] Существует дикая история о том, что герцог был обманут Фуше, на которого он рассчитывал в получении новостей из Парижа. Но гораздо более вероятным кажется то, что он был введен в заблуждение известием, отправленным Людовику XVIII. в Генте ревностными роялистами Франции, общий смысл которых заключался в том, что

Наполеон *проведет оборонительную кампанию*. ^[476] 13 июня Веллингтон написал: "У меня есть аккаунты



ПЛАН КАМПАНИИ ПРИ ВАТЕРЛОО

из Парижа от 10-го числа, в этот день он [Бонапарт] все еще был там; и я сужу из его речи перед Законодательным собранием, что его отъезд вряд ли будет немедленным. Я думаю, что сейчас мы здесь слишком сильны для него". А позже он сказал графу Стэнхоупу, что Наполеон "определенно был неправ, вообще нападая", поскольку армии союзников вскоре должны были оказаться в тяжелом положении из-за нехватки продовольствия, если они продвинулись во Францию, измотанную кампанией 1814 года. "Но, - добавил он, - дело в том, что у Бонапарта никогда в жизни не хватало терпения вести оборонительную войну".

Войска герцога в начале кампании были бы в меньшей опасности, если бы лидеры на прусских аванпостах, Пирх II. а Дернберг из Королевского германского легиона предупредил его о скоплении противника у Самбры рано утром 15-го. По какой-то случайности этого сделано не было, и наш руководитель только услышал от Хардинджа, из прусского штаба, что противник, по-видимому, собирается начать наступление. Поэтому он ждал более определенных новостей, прежде чем сосредоточиться на какой-либо одной реплике.

Около 6 часов вечера 15-го он приказал своим дивизиям и бригадам сосредоточиться в Вильворде, Брюсселе, Нинове, Граммоне, Ате, Брейн-ле-Конте, Хале и Нивеле - первые четыре из которых находились несколько удаленно, в то время как остальные были выбраны с целью защиты дорог, ведущих на север от Монса. Ни одна британская бригада не была размещена на дороге Ватерлоо-Шарлеруа, которую в то время охраняла только голландско-бельгийская дивизия, и этот факт подтверждает утверждение мистера Роупса о том, что лидеры союзников не разработали определенного плана сотрудничества. Или, если таковой и имелся, герцог, конечно же, отказался действовать в соответствии с ним, пока не убедится, что главная атака была нанесена не через Монс или Ат. Более определенные новости достигли Брюсселя около полуночи 15-го, после чего он дал общий левый поворот своему наступлению, а именно, *в направлении Нивеля*.

Клаузевиц утверждает, что ему уже следовало перенести свой штаб в Нивель; если бы он сделал это и поспешил направить все доступные войска к линии Суаньи-Катр-Бра, его слава при Ватерлоо, несомненно, приобрела бы солидность. Нотку романтики добавило его посещение бала герцогини Ричмонд в Брюсселе в ночь с 15-го на 16-е; любители живописного всегда будут задерживаться на последовавшей сцене с ее "беготней туда-сюда и трепетом отчаяния"; но более прозаичный исследователь может усомниться в том, что Веллингтону не следовало тогда быть больше впереди, чувствуя каждое биение пульса Беллоны. ^[477]

Армия Блюхера, насчитывавшая 90 000 человек, также занимала большую территорию страны. Первый корпус, Зиетенский, удерживал мосты через Самбру в Шарлеруа и около него; но корпуса Пирха I и Тильмана находились в Намюре и Синее; в то время как из-за отсутствия строгости в приказах, отправленных Бюлову начальником штаба Гнейзенау, его корпус численностью 32 000 человек все еще находился в Льеже. Рано утром 15-го Пирх I. и Тильман начали поспешное продвижение к Сомбрефу; а Зитен с 32 000 человек приготовился удерживать линию Самбры как можно дольше. Начальник его штаба генерал Райхе утверждает, что треть пруссаков были новобранцами, призванными из ландвера; но весь корпус славился своим ветераном-фельдмаршалом и рвался в бой.

Такова, таким образом, была общая позиция. Веллингтон не подозревал об опасности; Блюхер напрягал все нервы, чтобы собрать свою армию воедино; в то время как 32 000 пруссаков подверглись атаке, почти вчетверо превышавшей их численность. Ясно, что, если бы все шло хорошо с наступлением французов, положение Веллингтона и Блюхера должно было быть отчаянным. Но, хотя сосредоточение 125 000 французских войск возле Бомона и Мобежа было

произведено виртуозно (за исключением того, что корпуса Жерара и Д'Эрлона опоздали), заключительные действия прошли не совсем гладко. Несчастный случай с офицером, который должен был приказать корпусу Вандама выступить в поход в 2 часа ночи 15-го, вызвал длительную задержку у этого нетерпеливого бойца.^[478] 4-й корпус Жерара также был потревожен и задержан неблагоприятным событием. Генерал Бурмон, чьи старые вандейские взгляды, казалось, полностью растаяли под солнцем славы Наполеона, вознаградил своего хозяина тем, что очень рано тем же утром дезертировал с несколькими офицерами к пруссакам. Инцидент на самом деле имел гораздо меньшее значение, чем ему придается в "Мемуарах Святой Елены", которые ложно относят его к 14-му: пруссаки уже были в *состоянии покоя* перед дезертирством Бурмона; но это остановило продвижение корпуса Жерара и усилило недоверие среди рядовых. Когда на следующий день Жерар присоединился к своему начальнику на мельнице Флерюс, последний напомнил ему, что он ответил за верность Бурмона собственной головой; а на протест генерала, заявившего, что он видел, как Бурмон сражался с величайшей преданностью, Наполеон ответил: "Ба! Человек, который был белым, никогда не станет голубым, а голубой никогда не станет белым". Важные слова, которые демонстрируют веру Императора в неистребимую силу инстинкта и раннюю дрессировку.^[479]

Несмотря на эти две неудачи, французам утром 15-го удалось оттеснить людей Зитена с берегов Самбры около Туина, в то время как Наполеон лично прорвал их линию у Шарлеруа. Понеся довольно серьезные потери, защитники отступили к Жилли, куда за ними последовал Наполеон со своими главными силами; в то время как левое крыло французского наступления, теперь вверенное Нею, было развернуто против чрезвычайно важной позиции Катр-Бра.

Здесь мы подходим к одному из сложных вопросов кампании. Почему Ней не занял перекрестки, которые действовали, вечером 15-го? Во-первых, мы можем отметить, что только 11-го числа Наполеон счел нужным вызвать Нея в армию, так что маршал появился только во второй половине того же дня. У него сразу же состоялась беседа с императором, который, по словам генерала Гурго, отдал маршалу устный приказ принять командование корпусами Рейля и Д'Эрлона, продвигаться на север, занять позицию у Катр-Бра и выставить передовые посты за его пределами на дорогах к Брюсселю и Намюру; но представляется маловероятным, что император отдал бы одному из самых отважных своих маршалов категорический приказ продвигаться так далеко вперед, если только правое крыло французов не отбросило пруссаков назад за позиции Сомбреф. В противном случае Ней оказался бы опасно далеко впереди основных сил и подвергся бы ударам либо пруссаков, либо англичан.

Как бы то ни было, Ней определенно чувствовал себя неуверенно и не стал продолжать свой обычный рывок; в то время как, к счастью для союзников, под рукой был офицер, принц Бернард Саксен-Веймарский, который видел необходимость удержать Катр-Бра любой ценой.^[480] Молодой лидер навязал противнику свою волю, максимально используя своих людей — по предварительным данным, их было всего 4500 человек, и у каждого было всего по десять пуль, — и ему это удалось. В кои-то веки Ней проявил крайнюю предусмотрительность и не стал доводить атаку до конца. В его оправдание можно сказать, что люди из корпуса Рейля, на которых ему приходилось полагаться, поскольку корпус Д'Эрлона все еще находился далеко в тылу, находились в марше и сражались с самого рассвета и были слишком утомлены для еще одного сражения. Более того, грохот пушек на юго-востоке предупредил его, что правое крыло французского наступления вступило в ожесточенный бой между Гилли и Флерюсом; пока оно не отбросило пруссаков, его собственное положение было опасно "висеть в воздухе"; и, поскольку

оставалось всего два часа дневного света, он отступил к Фрэсну. Говорят также, что он послал императору сообщение о том, что "он занимает Катр-Бра авангардом, а его основные силы находятся совсем рядом". Если он обманул своего командира каким-либо подобным сообщением, он заслуживает самого сурового порицания; но процитированные выше слова были написаны позже на острове Святой Елены генералом Гурго, когда Ней стал фигурировать в качестве козла отпущения в кампании.^[481] Ней отправил отчет в тот вечер; но он был утерян.^[482] Судя по приказам, отданным Наполеоном и Сультом в начале 16-го, была большая неопределенность относительно позиции Нейя. В письме императора ему предлагается разместить свою первую дивизию "в двух лье перед les Quatres Chemins"; но в письме Сульта к Груши говорится, что Нейю приказано *продвигаться к перекрестку дорог*. Учитывая обстоятельства дела, можно было ожидать путаницы. Ней не знал своих штабных офицеров и поспешно принял командование левым крылом в разгар операций, успех которых, как указывает Жанен, в значительной степени зависел от успеха правого. Поэтому он вел осторожную игру, когда, как мы теперь знаем, осторожность означала неудачу, а смелость - безопасность.

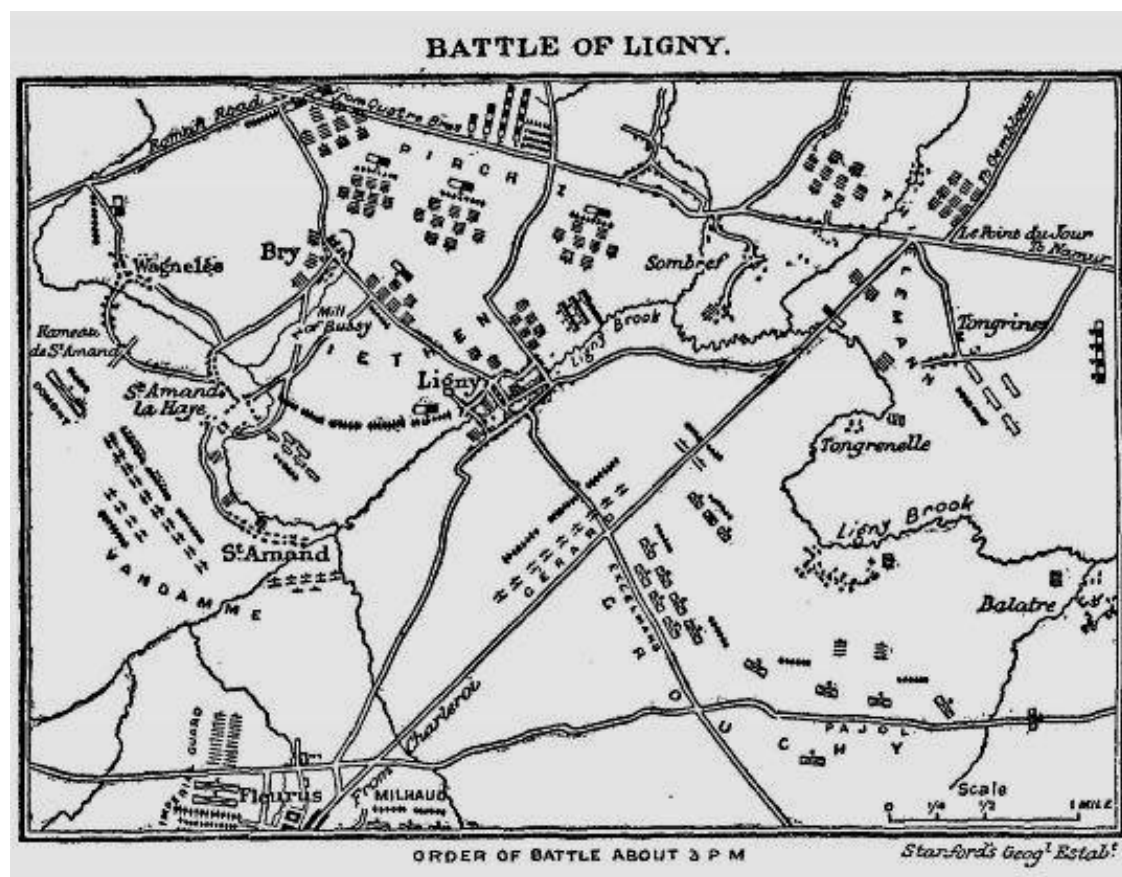
Тем временем французское правое крыло, командование которым принял Груши, хотя его движущей силой был лично Наполеон, упорно теснило пруссаков близ Джилли. Однако и здесь нападавшие были ослаблены отсутствием корпусов Вандама и Жерара. Раздраженный умелым отходом Зитена, император, наконец, направил свою кавалерию на прусские тыловые батальоны, с четырьмя из которых жестоко расправились, прежде чем они достигли укрытия в лесу. Потеряв в целом около 2000 человек, пруссаки отступили к Линьи, в то время как авангард Груши разбил лагерь близ деревни Флерюс.

Наполеон вполне мог быть доволен работой, проделанной 15 июня: он вернулся в свою штаб-квартиру в Шарлеруа, "измученный усталостью", проведя в седле почти восемнадцать часов, но уверенный, что расколол союзников. Несомненно, теперь это было его целью, как и в кампании 1796 года. После двух решающих ударов по их стыкам он намеревался направить их по расходящимся направлениям отступления, точно так же, как он гнал австрийцев и сардинцев по дорогам, которые раздваиваются возле Монтенотте. Правда, в Бельгии не было горных отрогов, которые препятствовали бы их воссоединению; но дороги, по которым они двигались, расходились гораздо шире.^[483] Он также легкомысленно относился к Веллингтону и Блюхеру. Первого он назвал "неспособным и неразумным"; что касается Блюхера, то он сказал Кэмпбеллу на Эльбе, что тот "не генерал", но что он восхищен мужеством, с которым "старый дьявол" снова вышел на ринг после взбучки.

Безоблачная уверенность сквозит в каждой фразе писем, которые он написал в Шарлеруа рано утром 16-го. Он сообщает Нейю, что намерен вскоре атаковать пруссаков у Сомбрефа, *если он найдет их там*, чтобы расчистить дорогу до Жамблу, а затем принять решение о своих дальнейших действиях, как того потребует случай. Тем временем Ней должен прочесать дорогу перед Катр-Бра, разместив свою первую дивизию на два лье дальше этой позиции, если это покажется желательным, с целью двинуться на Брюссель ночью со всеми своими силами численностью около 50 000 человек. Гвардию следует держать в резерве, насколько это возможно, чтобы поддержать либо Наполеона на дороге Жамблу, либо Нейя на брюссельской дороге; и "если произойдет какая-либо стычка с англичанами, предпочтительно, чтобы работа легла на Линию Фронта, а не на гвардию". Что касается сопротивления пруссии, то Наполеон

оценивал его почти так же легкомысленно, как сопротивление англичан, поскольку он считает вероятным, что вечером двинется со своей гвардией на Брюссель.

В то время как он представлял себе своих врагов безнадежно рассеянными или отступающими, они начинали собираться в тех самых точках, которые, как он считал, были в пределах его досягаемости. В 11 часов утра только корпус Зитена, насчитывавший теперь всего 28 000 человек, находился на позиции у Сомбрефа, но корпуса Пирха I и Тильмана подошли вскоре после полудня. Если бы Наполеон двинулся вперед рано 16-го, он, должно быть, легко занял бы позицию Линьи-Сомбреф. Что же тогда вызвало задержку французского наступления? Это можно объяснить медлительностью продвижения Жерара, неправильным пониманием ситуации императором и его отправкой в Груши.



БИТВА ПРИ ЛИНЬИ

При этом он насчитал пруссаков в 40 000 человек и приказал Груши отойти с французским правым крылом к Сомбрефу.

"... Я буду во Флерюсе между 10 и 11 часами утра: я отправлюсь в Сомбреф, оставив свою Охрану, как пехоту, так и кавалерию, во Флерюсе: я бы не стал брать ее с собой в Сомбреф, если бы в этом не было необходимости. Если враг в Сомбрефе, я намерен атаковать его: Я намереваюсь атаковать его даже у Жамблу и захватить также эту позицию, моя цель состоит в том, чтобы, узнав об этих двух позициях, выступить сегодня ночью и действовать моим левым крылом под командованием маршала Нея против англичан".

Император добрался до Флерюса только около 11 часов утра и, несомненно, был ошеломлен, обнаружив, что Груши все еще там, сдерживаемый противником, укрепленным вокруг Линьи. Груши обвиняли в том, что он еще не атаковал их; но, несомненно, его приказы обязывали его дожидаться императора, прежде чем давать сражение: кроме того, корпус Жерара, который был придан ему, все еще находился далеко в тылу по направлению к Шатле. ^[484] Отсутствие Жерара и неопределенность относительно целей противника раздражали императора. Он взобрался на ветряную мельницу, расположенную на окраине Флерюса, чтобы осмотреть позиции противника.

Перед ним открывалась прекрасная сцена. Прямо перед ними пролежала большая дорога, соединявшаяся с Намюр-Нивель *шоссе*, примерно в шести милях к северо-востоку. По обе стороны простирались кукурузные поля, богатство которых в равной степени свидетельствовало о трудах и воинственных страстях человечества. Еще дальше впереди виднелись темные линии противника, расположившиеся вдоль склонов, которые образовывали неправильной формы амфитеатр, усеянный деревьями Брай и Сомбреф. Вдалеке, из скрытой ложины, поднимались шпили и несколько самых высоких крыш Линьи. Еще левее, на возвышенности, лежал Сент-Аман с его окраинными деревушками. Все было залито мерцающим, изнуряющим зноем середины лета, предвестником, как оказалось, сильной грозы. Позиция пруссии была действительно прочнее, чем казалось. Наполеон не мог полностью разглядеть ни заросли ивняка, окаймлявшие ручей Линьи, ни его крутые берега, ни многочисленные прочные здания самого Линьи. Он увидел пруссаков на склоне за деревней и поначалу был озадачен их незащищенной позицией. "Старый лис не высовывается", - было слышно, как он пробормотал. И поэтому он ждал, пока все прояснится, и прибытие Жерара придаст ему сил для полного свержения Блюхера, одновременно протягивая руку помощи Веллингтону. С момента появления Императора на сцене и до первых раскатов грохота битвы прошло более четырех часов.

Эта задержка была вдвойне ценна для союзников. Это дало Блюхеру время подвести корпуса Пирха I и Тильмана под прикрытие возвышенности близ Сомбрефа, тем самым увеличив свои общие силы примерно до 87 000 человек; и это позволило двум командующим союзниками встретиться и поспешно обсудить ситуацию. Веллингтон покинул Брюссель в то утро в 8 часов и благодаря бездействию Нея смог достичь гребня к югу от Катр-Бра чуть позже 10, задолго до того, как противник подал какие-либо признаки жизни. Там он написал записку Блюхеру, спрашивая о новостях от него, прежде чем принять решение о своих действиях на день. ^[485] Затем он поскакал к ветряной мельнице Бюсси, чтобы встретиться с Блюхером.

Это была тревожная встреча; головы наступающих французских колонн уже были в поле зрения; и герцог с ужасом увидел позицию пруссаков на склоне, которая должна была подставить их под всю мощь пушек Наполеона — или, как он прошептал Хардингу, "они будут чертовски потрепаны, если будут сражаться здесь". ^[486] В более пристойных выражениях, но с тем же эффектом, он предупредил Гнейзенау и не сказал ничего, что побудило бы его твердо придерживаться своей позиции. Он также не побуждал его ожидать помощи от Катр-Бра. Максимум, чего Гнейзенау мог добиться от него, было обещание: "Хорошо! Я приду при условии, что на меня самого не нападут". Побудили ли эти слова пруссаков принять сражение при Линьи? Так думать невозможно. Все указывает на то, что Блюхер был полон решимости сражаться именно там. Риск был велик, поскольку, как мы узнаем от генерала Райхе, позиция не допускала нанесения решительных наступательных ударов по французам. Но фортуна

улыбнулась ветерану-фельдмаршалу и предотвратила то, что могло бы стать непоправимой катастрофой. ^[487]

Казалось бы, неровности местности скрывали силу Пирха I и Тильмана, поскольку Наполеон все еще считал, что он выставил против него при Линьи только один корпус. В 14 часов Сульт сообщил Нейю, что противник объединил корпус между Сомбрефом и Бри и что через полчаса Груши атакует его. Следовательно, Ней должен был отбросить врагов при Катр-Бра, а затем повернуть, чтобы окружить пруссаков. *Но если бы их загнали первыми, император двинулся бы к Нейю, чтобы ускорить свои операции.* ^[488] Только когда битва вот-вот должна была начаться, император, похоже, осознал, что находится в присутствии превосходящих сил. ^[489] Но после 14 часов дня их массы спустились со склонов Бри и Сомбрефа, их передовые части удерживали деревни Линьи и Сент-Аман, в то время как их левый фланг венчал хребет Тонгрин. Наполеон перестроил свои линии, которые до сих пор располагались под прямым углом к главной дороге через Флерюс. Корпус Вандама двинулся в направлении Сент-Аманда; и Жерар, расположив свой корпус параллельно этой дороге, начал спускаться к Линьи, а Груши тем временем выстроил кавалерию для защиты своего фланга и тыла. Позади всех на возвышенности близ Флерюса возвышалась внушительная масса Императорской гвардии.

Самое ожесточенное сражение обрушилось на корпуса Вандама и Жерара. Трижды люди Жерара были отброшены назад залпами пруссаков, удерживавших Линьи. Но французские пушки открывали огонь с потрясающим эффектом. Крыши рушатся, здания охвачены пламенем. Французы снова бросаются в атаку, и завязывается яростная рукопашная схватка. Наполовину задыхаясь от жары, дыма и пыли, соперничающие нации продолжают сражаться, пока защитники не уступают и не отступают в дальнюю часть деревни за ручьем; но, получив подкрепление, они сплываются так же яростно, как всегда, и вытесняют французов с ее берегов; переулок, сад и чердак снова становятся ареной борьбы, где никто не думает о пощаде.

Выше по течению, у Сент-Аманда, войскам Вандама жилось не лучше, поскольку Блюхер постоянно снабжал эту часть своих войск. Поступая таким образом, однако, он ослабил свои резервы в тылу Линьи, тем самым невольно способствуя замыслу Наполеона разбить прусский центр и поместить его остатки и все их правое крыло между двух огней. Император ожидал, что к 6 часам Ней оттеснит англо-голландские войска и будет готов охватить правый фланг пруссии. Таков был смысл депеши Сульта Нейю от 3.15 пополудни: "Эта армия [прусская] будет потеряна, если вы будете действовать энергично. Судьба Франции в ваших руках".

Но в 5.30, когда часть императорской гвардии собиралась усилить Жерара для нанесения решающего удара по центру пруссии, Вандам прислал сообщение, что вражеские силы численностью около двадцати или тридцати тысяч человек движутся к Флерюсу. Это странное явление не только поколебало позиции французских левых: оно сильно озадачило императора. Поскольку он приказал сначала Нейю, а затем Д'Эрлону выступить не на Флерюс, а в тыл правого крыла пруссии, он, по-видимому, пришел к выводу, что этими новыми силами должны быть силы Веллингтона, готовые нанести такой же смертельный удар по французскому тылу. ^[490] Соответственно, он сдерживал продвижение Стражи до тех пор, пока загадка не была разгадана. После потери почти двух часов все было решено адъютантом, который обнаружил, что отряд принадлежал Д'Эрлону и что он отошел.

Тем временем битва бушевала почти без перерыва, французские орудия производили ужасающий опустошительный огонь среди плотных масс на противоположном склоне. И все же, отведя войска справа от себя, Блюхер на какое-то время одержал верх над корпусом Вандама и частью Молодой гвардии, не сознавая, что его настойчивость на этой стороне ставит под угрозу всю прусскую армию. Его главный противник уже давно отметил огромную протяженность своего вогнутого фронта, сосредоточение своих войск против Сент-Аманда и удаленность своего левого крыла, которое всадники Груши все еще сдерживали; и теперь он планировал, что, пока Блюхер атакует Сент-Аманд и его деревушки, императорская гвардия сокрушит прусский центр у Линьи, отбросит его фрагменты назад к Сент-Аманду и, наконец, бросит большую часть прусской армии на наковальню, которую корпус Д'Эрлона обеспечит дальше на запад. Теперь он был уверен в победе, так как корпус Лобау приближался к Флерюсу, чтобы занять место императорской гвардии, а у пруссаков не было поддержки. "У них нет никакой сдержанности", - заметил он, осматривая враждебную позицию своим стаканом. Это было правдой: их центр состоял из войск, которые в течение четырех часов были либо разорваны артиллерией, либо измотаны жестокими боями в Линьи.

И теперь, словно сдерживаемые силы Природы стремились запугать непокорного человека, внушив ему благоговейный трепет и раскаяние, с неба ударила артиллерия. Грохот за грохотом сотрясали землю; вспышка за вспышкой разрывали наполненный серой стеллаж; темнота, как ночью, окутала место происшествия; и ливень омыл окровавленную землю. Шторм послужил лишь для того, чтобы помочь нападавшим в их последних и самых отчаянных попытках. Во мраке колонны императорской гвардии быстро спускались по склону к Линьи, придавали новые силы людям Жерара и вместе с ними прорывали оборону. Немного выше по течению кирасиры Мийо с трудом переправились через реку и, воодушевленные присутствием императора, хлынули на разбитый центр пруссии. Теперь она не могла получить своевременной помощи ни от Блюхера, ни от Тильмана, поскольку штормовая тьма скрыла от глаз начало наступления, и Тильман только что пострадал от неосторожного нападения на крыло Груши.

Когда мимо проплыли грозовые тучи, лучи заходящего солнца осветили поле боя и показали Блюхеру всю глубину его ошибки.^[491] Его армия была разрезана надвое. Напрасно он вызывал свои войска из Сент-Аманда; напрасно он галопом возвращался к своим эскадронам между Бри и Сомбрефом и вел их вперед. Их стремительная атака была внезапно остановлена на краю лощины; непрерывные залпы разорвали их фронт, и кирасиры довершили их замешательство. Конный отряд Блюхера был сражен пулей и при падении сильно ушиб фельдмаршала; но его верный адъютант Ностиц сумел спрятать его в сумерках, в то время как кирасиры продолжали взбираться на холм. Другие прусские эскадроны, изо всех сил пытавшиеся спасти положение, теперь бросились домой и оттеснили закованные в сталь ряды. Несколько улан и конный ландвер добрались до места, где лежал герой, и Ностиц смог спасти эту драгоценную жизнь. Сильно потрепанная, но все еще непокорная, как и их командир, прусская кавалерия прикрывала отступление в центре; фланги отступали в полном порядке, правый фланг удерживал деревню Бри до полуночи; но несколько батальонов недовольных войск разбежались и не присоединились к своим товарищам. Около 14 000 пруссаков и 11 000 французов лежали убитыми или ранеными на этом роковом поле.^[492]

Наполеон, возвращаясь во Флерюс после наступления темноты, мог утверждать, что одержал великую победу. И все же он не добился результатов, описанных в депеше Сульта от 3.15 Ней. Отчасти это было связано с невыполнением Неем своей части программы, а отчасти с

появлением корпуса Д'Эрлона, что привело к отсрочке грандиозного наступления Наполеона на Линьи.

Тайна передвижений Д'Эрлона и его 20 000 человек так и не была полностью разгадана. Свидетельства, собранные Уссе, не оставляют сомнений в том, что, как только император осознал серьезный характер конфликта при Линьи, он отдал приказ Д'Эрлону, авангард которого в то время находился близ Фрэсна, отойти и атаковать незащищенный фланг Блюхера. Иными словами, теперь Д'Эрлон был призван нанести решающий удар, который ранее был поручен Нею, которого теперь предупредили, хотя и с большим опозданием, не полагаться на помощь корпуса Д'Эрлона. Неправильно поняв его приказ, Д'Эрлон направился к Флерюсу и таким образом встревожил Наполеона и отсрочил его последний удар почти на два часа. Более того, в 6 часов вечера, когда Д'Эрлон мог бы сокрушительно атаковать правый фланг Блюхера, он получил срочный приказ от Нея возвращаться. Конечно, ему не следовало колебаться теперь, когда Сент-Аман находился почти на расстоянии пушечного выстрела, а до Катр-Бра едва ли можно было добраться до наступления темноты; но он находился под командованием Нея и, довольно педантично оценивая ситуацию, повиновался своему непосредственному начальнику. Наконец, никто не объяснил, почему император, как только узнал, что странствующий корпус принадлежит Д'Эрлону, сразу же не отозвал его, приказав обрушиться на незащищенное крыло пруссаков. Несомненно, он предполагал, что Д'Эрлон теперь выполнит его инструкции и выступит против Брая; но он не отдал приказа на этот счет, и несчастный корпус исчез.

В то время в Катр-Бра подходил к концу отчаянный конфликт. Ней отложил свою атаку до двух часов дня; ибо, во-первых, под рукой был только корпус Рейля — арьергард Д'Эрлона рано утром того же дня все еще находился близ Тюина - и, во—вторых, маршал услышал в 10 часов утра, что прусские колонны движутся на запад от Сомбрефа, что поставило бы под угрозу его тыл за Франном. Кроме того, подъезд к Катр-Бра был окружен обширным лесом Боссу и рощицей справа от шоссе. Поэтому Рейль посоветовал соблюдать осторожность, чтобы это дело не превратилось в "испанскую битву, в которой англичане покажут себя только тогда, когда придет время". Однако, когда корпус Рейля отбил атаку, слабость обороны быстро выявилась. После упорного сопротивления 7000 голландско-бельгийских солдат под командованием принца Оранского были изгнаны с фермы Жемонкур, которая была ключевой позицией, и многие из них бежали с поля боя.

Но в этот критический момент подъехал сам Железный Герцог; и прибытия голландско-бельгийской бригады и британской пехотной дивизии Пиктона около трех часов дня оказалось достаточно, чтобы вырвать победу из рук маршала. ^[493] Теперь он открыл разрушительный артиллерийский огонь по нашему фронту, на который слабые голландско-бельгийские батареи могли лишь слабо отвечать. Однако ничто не могло поколебать мужество людей Пиктона. Страхнув с себя усталость от двенадцатичасового марша из Брюсселя под палящим солнцем, они неуклонно продвигались через высокие посевы ржи к ферме и отбили яростную атаку всадников Пире. Слева от союзников 95-я стрелковая (ныне стрелковая бригада) и "Брансуикерс" удерживали оборону на Намюрской дороге, которую ничто не могло ослабить. Но наша опасность была в основном в центре. Под прикрытием фермерского дома французские колонны начали теснить нашу пехоту, боеприпасы которой уже были на исходе. Веллингтон решил подавить это наступление контратакой в линии дивизии Пиктона, "боевой дивизии"

полуострова. С угрожающими криками они двинулись в атаку; и перед этой движущейся стеной враг в замешательстве отступил за ручей.

Тем не менее, французы отбросили голландцев в лес и брауншвейгцев на его восточную окраину, убив храброго молодого герцога Брауншвейгского, когда он пытался собрать своих необученных рекрутов. В образовавшуюся брешь, таким образом, выдвинулись французские всадники, что не произвело особого впечатления на наших пехотинцев, но вынудило их держаться сомкнутым строем, что подвергло их в промежутках между атаками тяжелым потерям от французских пушек.

Так продолжалась вторая половина дня. Между 5 и 6 часами наши измотанные войска получили подкрепление за счет дивизии Альтена. Чуть позже бригада тяжелой кавалерии Келлерманна подошла с тыла и возобновила ударную мощь Нея - но опять слишком поздно. Он уже был взбешен известием о том, что корпусу Д'Эрлона приказано отступать к Линьи, а затем срочной депешей Наполеона от 3.15 пополудни с приказом окружить правый фланг Блюхера. Ослепленный негодованием по поводу этой кажущейся несправедливости, он немедленно отправил Д'Эрлону повелительный приказ возвращаться в Катр-Бра и направил бригаду кирасир Келлермана на эти упрямые позиции.

Атака почти удалась. Всадники бросились на наш 69-й полк как раз в тот момент, когда принц Оранский по глупости приказал ему вернуться в строй, застали его в замешательстве и сильно порубили. Другой полк, 33-й, бежал в лес, но затем перестроился; другие квадраты отбили натиск. Поток, однако, только отклонился в сторону: он устремился почти к перекрестку дорог, где был остановлен фланговым огнем из леса и из 92-й (Гордон) Горцы выстроились вдоль дороги впереди. — "Девяносто второй, не стрелять, пока я не скажу", - воскликнул герцог. Залп прогремел, когда всадники были всего в тридцати шагах от нас. Эффект был волшебным. Их фронт был разорван, и выжившие бежали в панике, которая распространилась на пешие батальоны Фоя и привела в беспорядок весь строй. ^[494]

Ней все еще упорствовал в своих отдельных атаках; но теперь под рукой были подкрепления, которые довели общее количество войск Веллингтона до 31 000 человек, в то время как у французов было менее 21 000 человек. С наступлением темноты маршал отступил во Франн, и там, наконец, появился странствующий корпус Д'Эрлона. Из-за противоречивых приказов она колебалась между двумя сражениями и не принимала участия ни в одном из них.

Такова была кровавая битва при Катр-Бра. Это стоило Веллингтону 4600 человек убитыми и ранеными, в основном из состава цветка британской пехоты, три шотландских полка потеряли целых 878 человек. Потери французов были несколько меньше. Немногие конфликты больше заслуживают названия солдатских сражений. Ни с одной из сторон полководчество не было блестящим. Наступили сумерки, прежде чем достаточные силы британской кавалерии и артиллерии приблизились к полю боя, где их пешие товарищи в течение пяти часов выдерживали неравную борьбу с пушками, саблями и пиками. Победа была одержана благодаря странной способности британского солдата спасти ситуацию, когда, кажется, уже нет надежды.

Еще меньше это способствовало славе Нея. Он снова заслужил прозвище храбрейшего из храбрых. В критический момент боя, когда красные квадраты впереди не поддавались его максимальным усилиям, он в бессильном гневе размахивал мечом, молясь, чтобы пролетающие

мимо пули сразили его. Ярость битвы, фактически, частично затуманила его разум. Теперь он был бойцом, едва ли командиром; и этой причине мы можем приписать его пренебрежение к поддержке атаки Келлерманна. Если бы это было сделано, "Катр-Бра" мог бы закончиться так же, как "Маренго". Гораздо более серьезным, однако, было то, что он отменил приказ императора, отозвав Д'Эрлона в Катр-Бра; ибо, как мы видели, это лишило его хозяина решающей победы, на которую он имел право рассчитывать при Линьи. Однако эту ошибку не следует чрезмерно преувеличивать. Это правда, что Наполеон в 3.15 отправил Ней депешу с приказом охватить фланг Блюхера; но приказ дошел до него только в начале пятого, когда союзники оказывали на него сильное давление и когда он только что услышал об отклонении Д'Эрлона в сторону императорской битвы. ^[495] Он, должно быть, видел, что его хозяин неверно оценил ситуацию в Катр-Бра; и в таких обстоятельствах маршал Франции не был лишен оправдания, когда исправил приказ, который, по его мнению, был основан на недоразумении. Какая-то часть вины, несомненно, должна быть возложена на медлительного Д'Эрлона и на самого императора, который сначала недооценил трудности как в Линьи, так и в Катр-Бра, а затем изменил свои планы, когда Ней оказался в эпицентре ожесточенной битвы.

Тем не менее, общие результаты, полученные 16 июня, были исключительно в пользу Наполеона. Он нанес пруссакам потери, сравнимые с потерями при Йене-Ауэрштедте; и он удалился на отдых во Флерюс с убеждением, что они должны поспешно отступить к своим непосредственным базам снабжения, Намюру и Льежу, оставив Веллингтона на его милость. Правила ведения войны и требования банальной осмотрительности, безусловно, предписывали этот курс для разбитой армии, тем более что было известно, что корпус Бюлова находится на льежской дороге.

Едва прусское отступление началось в темноте, как офицеры устремились к Гнейзенау, на которого теперь возлагалась вся ответственность, за инструкциями относительно направления марша. Он немедленно отдал приказ продвигаться на север, к Тилли. Генерал Райхе в этой связи указал, что эта деревня не была отмечена на картах меньшего размера, которыми были снабжены полковники; после чего был отдан приказ двигаться в направлении города Вавр, расположенного дальше по той же дороге. На перекрестке дорог был выставлен офицер, чтобы помешать полкам отклониться в сторону Намюра; но некоторые из них уже ушли слишком далеко на этой стороне, чтобы их можно было отозвать — факт, который должен был сбить с толку преследователей французов на следующее утро. Большая часть корпуса Тильмана отступила к Жамблу; но, за этим исключением, основная масса пруссаков направились к Тилли, недалеко от которого они разбили лагерь. Рано утром следующего дня их арьергард выступил из Сомбрефа, и, благодаря инертности их врагов, направление отступления оставалось неизвестным. Во время марша к Вавру их колонны были воодушевлены видом бесстрашного старого фельдмаршала, который снова смог сидеть на лошади. Корпус Тильмана покинул Жамблу только в 2 часа дня, но благополучно добрался до Вавра. Тем временем мощный корпус Бюлова беспрепятственно продвигался от римской дороги близ Ханнута к позиции в двух милях к востоку от Вавра, куда прибыл с наступлением темноты. Не менее удачливым оказался резервный обоз с боеприпасами, который, незамеченный французской кавалерией, направился на север по перекресткам дорог через Жамблу и достиг армии к 17:00 ^[496]

В своих "Комментариях", написанных на острове Святой Елены, Наполеон резко раскритиковал действия Гнейзенау при отступлении на север к Вавру, потому что этот город дальше удален от линии отступления Веллингтона, чем Сомбреф от Катр-Бра, и связан с ним только

труднопроходимыми перекрестками дорог. Он даже утверждал, что пруссакам следовало бы выступить к Катр-Бра, заявление, которое предполагает, что Гнейзенау мог бы достаточно сплотить свою армию после Линьи, чтобы отступить к Катр-Бра *шоссе* перед победоносными легионами Наполеона. Но прусская армия была практически разделена пополам и не смогла бы воссоединиться, чтобы предпринять опасный фланговый марш через фронт Наполеона. Поэтому мы, вероятно, не сильно ошибемся, если скажем об этой критике, что желание было отцом мысли. Марш на Катр-Бра был бы безопасным средством разгрома прусской армии. ^[497]

Настоящему автору представляется вероятным, что акция Гнейзенау, в первую очередь, была предпринята как наиболее подходящее средство воссоединения прусских флангов. Но Гнейзенау не мог быть слеп к преимуществам воссоединения с Веллингтоном, которое открыл бы поход на север. Отчет, который он отправил своему государю из Вавра, показывает, что к тому времени он считал позицию Пруссии "не невыгодной"; в то время как в частном письме, написанном в полдень 17-го, он прямо заявляет, что герцог примет битву при Ватерлоо, если пруссаки помогут ему двумя армейскими корпусами. Единственные сомнения Гнейзенау, по-видимому, заключались в том, будет ли Веллингтон сражаться и успеет ли вовремя раздать свои боеприпасы. До тех пор, пока он не был уверен в этих двух моментах, осторожность, безусловно, была необходима.

Результаты этого быстрого объединения пруссаков были бесконечно улучшены тем фактом, что Веллингтон вскоре обнаружил это, в то время как Наполеон не осознавал всего значения этого до тех пор, пока не оказался в гуще битвы при Ватерлоо. Теперь мы должны кратко остановиться на заключительных шагах, которые привели к этому драматическому финалу.

Странно, что Гнейзенау в ночь на 16-е не предпринял никаких шагов, чтобы предупредить своих союзников об отступлении пруссии, и просто предоставил им сделать вывод из своего последнего сообщения, что он должен сделать это, если ему не придут на помощь. Мюффлинг, действительно, говорит, что был послан прусский офицер, но был застрелен французами на британском левом фланге. Однако, учитывая, что Веллингтон отбросил войска Нея до начала отступления пруссии, эту историю можно отбросить как неубедительное оправдание пренебрежения Гнейзенау. ^[498]

От риска быть раздавленными Наполеоном англо-голландские войска были спасены бдительностью их лидера и пассивностью противника. После короткого отдыха в Генаппе герцог на рассвете вернулся на фронт и отправил два кавалерийских патруля в сторону Сомбрефа, чтобы выяснить результаты сражения. Патруль, который сопровождал адъютант герцога полковник Гордон, соприкоснулся с прусским тылом. Вернувшись вскоре после 10, штабной офицер Бэзил Джексон был немедленно отправлен предложить Пиктону немедленно готовиться к отступлению при Ватерлоо, приказ, который этот ветеран воспринял очень угрюмо. ^[499] Вскоре после возвращения Гордона прискакал прусский ординарец и подтвердил новость об их отступлении, что вызвало у герцога замечание: "Блюхер получил чертовски хорошую взбучку и вернулся в Вавр.... Поскольку он вернулся, мы тоже должны уйти". Пехота теперь начала постепенно отходить за живые изгороди или под прикрытием заслона из кавалерии и стрелков, что занимало людей Нея впереди, пока основная часть армии не преодолела узкую и многолюдную улицу Генаппе.

И как получилось, что Наполеон и Ней упустили эту прекрасную возможность? В первом случае это произошло из-за их начальников штабов, которые за ночь не прислали никаких известий о

результатах своих соответствующих сражений. До тех пор, пока граф Флахо не вернулся в имперскую ставку около 8 часов утра, Наполеон ничего не знал о положении дел в Катр-Бра; в то время как подобная беспечность со стороны Сульта оставила Нея бессильным предпринять что-либо против Веллингтона до более позднего утра.

Но бездействие Наполеона продолжалось почти до 11.30. Как это объяснить? В ответ некоторые объясняют его поведение болезнью тела и оцепенением разума — тема, которая вскоре привлечет наше внимание; другие утверждают, что армия срочно нуждалась в отдыхе; но действительной причиной была его уверенность в том, что пруссаки отступают на восток от Веллингтона. Таково было всеобщее убеждение в штаб-квартире. Он приказал Груши следовать за ними на рассвете; лейтенант Груши, Пажоль, ударил на юго-восток и к 4 часам утра доложил, что Блюхер направляется к Намюру. Такова была новость, которую император услышал от Граучи около 8 часов утра — он отказался предоставить ему аудиенцию ранее. Немедленно он продиктовал письмо Нею следующего содержания: что пруссаки были разбиты и преследуются в направлении Намюра; что британцы не могут атаковать его (Нея) при Катр-Бра, поскольку император в этом случае двинулся бы им во фланг и уничтожил их в одно мгновение; что он с болью услышал, насколько изолированными были войска Нея 16-го числа, и приказал ему сомкнуть свои дивизии и занять Катр-Бра. Если он не сможет выполнить эту задачу, он должен предупредить императора, который тогда придет. Наконец, он предупредил его, что "сегодняшний день необходим, чтобы завершить эту операцию, укомплектовать военное снаряжение, сплотить отставших и созвать отряды".

Это уникальная программа дня для человека, который утроил результаты победы при Йене благодаря безжалостной энергии преследования. Продиктовав это послание, он приказал Лобау взять пехотную дивизию для поддержки Пажоля на намюрской дороге. Затем он отправился в Сент-Аман в своей карете. Прибыв на место побоища, он сел на коня и медленно проехал по полю битвы, с доброжелательной заботой заботясь о раненых обеих наций и повсюду получая восторженные отзывы своих солдат. Покончив с этим, он спешил и долго и серьезно беседовал с Груши, Жераром и другими о состоянии политических партий в Париже. Они слушали с плохо скрываемым беспокойством. Во "Флерюсе" Груши попросил конкретных распоряжений и получил резкий ответ, что он должен подождать. Но теперь, около 11 часов, император получает известие, что Веллингтон все еще находится в Катр-Бра, что Пажоль захватил восемь прусских орудий на намюрской дороге и что Эксельманс видел большие силы противника у Жамблу. Он сразу же переходит от политики к войне.

Его план сформирован. В то время как он сам нападает на британцев, Груши должен преследовать пруссаков с корпусами Жерара и Вандама, дивизией Теста (из командования Лобау) и кавалерийскими корпусами Пажоля, Эксельманса и Мийо. Маршал умолял освободить его от этой задачи, указывая на опасность преследования врагов, которые теперь воссоединились и были далеко. Это было напрасно. Около 11.30 император изложил свои устные инструкции в письменном приказе, составленном Бертраном. В нем Груши предписывалось проследовать в Жамблу с указанными выше силами (за исключением корпуса Мийо и дивизии корпуса Вандама, которые должны были следовать за Наполеоном) для разведки дорог, ведущих в Намюр и Местрихт, для преследования противника и информирования императора об их намерениях. Если они эвакуировали Намюр, то он должен быть занят Национальной гвардией. "Важно знать, что намерены делать Блюхер и Веллингтон, и

предлагают ли они воссоединить свои армии, чтобы прикрыть Брюссель и Льеж, попытав счастья в другом сражении...." [500]

Поскольку судьба Наполеона должна была в значительной степени зависеть от разумного выполнения этого приказа, мы можем указать, что он состоял из двух главных частей: общей цели и средств достижения этой цели. Цель состояла в том, чтобы выяснить направление отступления пруссаков и помешать им присоединиться к Веллингтону, будь то для защиты Брюсселя или Льежа. Средством было продвижение к Жамблу и разведка вдоль дорог Намюр и Местрихт. Упоминался шанс, что союзники могут воссоединиться для защиты Брюсселя, но никаких мер по разведке в этом направлении предписано не было: они были оставлены на усмотрение Граучи. Следует признать, что приказ был не совсем ясен. Назвать города Брюссель и Льеж (которые находятся в шестидесяти милях друг от друга) было достаточно отвлекающим маневром; а предложить исследовать только восточные и юго-восточные дороги, несомненно, ограничило бы непосредственное внимание Груши только этими дорогами. Ибо он в равной степени не доверял своим собственным способностям и мощи войск, предоставленных в его распоряжение; а офицер, находящийся в таком положении, несомненно, будет строго следовать букве своих инструкций. Именно это он и сделал, с катастрофическими результатами.

До сих пор Граучи не занимал никакого важного командования. Будучи генералом кавалерии, он блестяще нес службу; но теперь его назначили на должность, которая требовала стратегической проницательности. Его силы едва хватало на эту работу. Правда, она была сильна для разведки, имея почти 6000 человек легкой кавалерии; но 27000 пехотинцев корпусов Вандама и Жерара были измотаны смертельной борьбой в деревнях и ожидали дневного отдыха. Их командиры также были возмущены тем, что их поставили под начало Ворчуна. Фактически, лидерам и солдатам не нравилась эта задача, и они приступали к ней с сомнениями и ворчанием. Пехота выступила примерно в 3 часа и достигла Жамблу только поздно вечером того же дня — девять миль за шесть часов! Кавалерия также подверглась столь плохому обращению со стороны эксельманса в районе Жамблу, что корпус Тильмана ускользнул на север. Дождь лил как из ведра, затуманивая обзор; но кажется странным, что о направлении отступления пруссаков никто не догадывался до наступления темноты.

Тем временем на левом фланге французов Ней действовал столь же небрежно. Он, должно быть, получил приказ Наполеона занять Катр-Бра, "если там будет только арьергард", незадолго до 10 часов утра; но он не предпринял никаких шагов, кроме бесполезной перестрелки, и, по-видимому, не знал, что британцы ускользают.

Около двух часов дня, когда британская кавалерия была готова повернуть поводья, герцог и сэр Х. Вивиан увидели блеск кирас вдоль Сомбрефской дороги. Это был авангард наступления императора. Разъяренный тем, что его враги вырываются из его лап, Наполеон покинул свою карету и двинулся вперед с передовыми всадниками. Нею он послал повелительный приказ наступать, и когда этот маршал подошел, приветствовал его словами: "Вы разрушили Францию". Но пришло время для поступков, а не для слов, и теперь он приложил все свои силы. Он немедленно бросил свою мощную кавалерию в тыл британцам; и даже сейчас Веллингтону пришлось бы туго, если бы низкие тучи не разразились проливным дождем. Дорога быстро была перепахана, и кукурузные поля стали непроходимыми для французских всадников.

Пока преследователи барахтались в трясине и отчаянно целились в клубящуюся мглу, британский арьергард бросился наутек. Говорит капитан артиллерии Мерсер: "Мы мчались галопом, спасая свои жизни, сквозь бурю, стремясь захватить деревушки, лорд Аксбридж подгонял нас, крича: "Поторопитесь; ради Бога, скачите галопом, или вас схватят". "^[501] Оторвавшись от преследования, они достигли Генаппе и, перейдя его мост и поднявшись по узкой улочке, приготовились проверить французы. В это время подъехал император, промокший до нитки, с его серого пальто струился дождь, шляпа была помята бурей. ^[502] Когда-то он снова был артиллерийским офицером Тулона. "Стреляйте по ним, - крикнул он своим артиллеристам. - это англичане". Последовала острая перестрелка, в ходе которой наш 7-й гусарский полк, ворвавшийся в деревню, потерпел поражение от французских улан, "оружия, - говорит Коттон, - с которым мы были совершенно не знакомы". При отступлении их спасли лейб-гвардейцы, чей вес и сила несли все перед собой.

Наконец, на гребне Ватерлоо войска Веллингтона остановились. Наполеон, подойдя в 6.30 к выступу противоположного склона, приказал сильным силам продвигаться по размокшей глине долины. Она была немедленно разорвана сильной канонадой, и до него дошла правда, что в тот день британцы ускользнули от него.

ЗДОРОВЬЕ НАПОЛЕОНА В КАМПАНИИ ПРИ ВАТЕРЛОО

Поскольку многие авторы утверждают, что Наполеон в то время был всего лишь тенью своего прежнего "я", мы должны кратко ознакомиться со свидетельствами современников по этому поводу; ибо, если это утверждение верно, битва при Ватерлоо не заслуживает особого внимания.

Похоже, что в течение некоторого времени в его умственных и физических силах наблюдался небольшой спад; но когда это началось и как далеко зашло, вызывает сомнения. Некоторые наблюдатели, включая Шапталя, связывают это с трудностями отступления из Москвы. Это очень сомнительно. Он закончил ту кампанию в лучшем состоянии здоровья, чем во время наступления. Кроме того, ни в одной из своих войн он не проявлял такой живучести и изобилия ресурсов, как в отчаянной борьбе 1814 года, которую Веллингтон назвал своим шедевром. После этого, похоже, наступил период чего-то вроде рецидива на Эльбе. В сентябре 1814 года сэр Нил Кэмпбелл сообщил: "Наполеон, похоже, утратил все привычки к учебе и сидячему образу жизни. Время от времени он впадает в состояние бездействия, которого никогда раньше не знал, и иногда в последнее время отдыхает в своей спальне по несколько часов в день; занимается физическими упражнениями в экипаже, а не верхом. Его здоровье было превосходным, а настроение несколько не подавленным" ("Ф.О.", Франция, № 114). За десять месяцев пребывания на Эльбе он очень располнел, а его щеки распухли.

По возвращении во Францию он проявил свою прежнюю активность, и наиболее заслуживающие доверия свидетели утверждают, что его способности не показали заметного упадка. Гизо, который много видел Наполеона, пишет: "Я не вижу в интеллекте и поведении Наполеона во время Ста дней никаких признаков ослабления: я нахожу в его суждениях и действиях привычные качества". В процитированном выше отрывке (стр. 449) Моллиен отмечает, что его хозяин впадал в апатию после нескольких часов работы, но он ничего не говорит о болезни; и в человеке сорока шести лет, который прожил тяжелую и "быструю" жизнь, мы не должны ожидать найти способность к постоянным интеллектуальным усилиям Консульства. Меневаль не заметил в состоянии своего хозяина ничего худшего, чем склонность к "переменам": он не обнаружил никакой болезни. Утверждение Паскье о том, что его гений и физические силы находились в глубоком упадке, является явным преувеличением, произнесенным человеком, который ни разу не видел его до Ватерлоо, который был изгнан им из Парижа и стремился обескуражить своих сторонников. Еще меньше мы можем согласиться со следующим мелодраматическим описанием Тибо внешности Наполеона в воскресенье, 11 июня: "Его взгляд, когда-то такой грозный и пронзительный, утратил свою силу и даже уравновешенность: его лицо утратило всякое выражение и всю свою силу: в его сжатом рту не было и следа бывшего колдовства; и его походка была такой же растерянной, как его поведение и жесты были нерешительными: обычная бледность его кожи сменилась ярко выраженным зеленоватым оттенком, который поразил меня".

Давайте проследим за этим человеком на войне и посмотрим, чего он достиг. На рассвете 12 июня он сел в свое ландо и поехал в Лаон, расстояние около семидесяти миль. На следующий день он справился с огромным объемом работы и отправился в Бомонт. 15 июня он встал на рассвете, сел на лошадь и оставался в седле, руководя операциями против пруссаков, почти восемнадцать часов. Это время было прервано одним перерывом на отдых. Близ Шарлеруа, по словам Бодюса, офицера штаба Сульта, его одолел сон, и он не обратил внимания на приветственные крики проходившей колонны: Бодюс был возмущен, но совершенно несправедливо. Наполеону нужны были эти урывки сна для снятия длительного умственного напряжения. Ночью он вернулся в Шарлеруа, "разбитый усталостью". На следующий день он все еще был очень утомлен, говорит Сегюр; он не напрягался до тех пор, пока в 2.30 не началась битва при Линьи; но затем он скакал до наступления ночи, несмотря на ужасную жару. Усталость снова дала о себе знать рано утром, когда он отказался встретиться с Груши до 8 часов утра, однако его смотр войск и долгие дискуссии о парижской политике были явно вызваны не оцепенением, а верой в то, что он расколол союзников и может занять Брюссель по своему желанию; ибо, когда он обнаружил свою ошибку, он проявил всю прежнюю энергию, проехав с авангардом от Катр-Бра до Ла-Бель-Альянс под проливным дождем.

Каковы бы ни были его недуги, они не были несовместимы с большой и продолжительной деятельностью. Что это были за недуги? Говорят, что он страдал от перемежающихся поражений нижних отделов кишечника, мочевого пузыря и кожи, причем два последних привели к ишемии (книга Дорси Гарднера "Четыре бра, Линьи и Ватерлоо", стр. 31-37; О'Коннор Моррис, стр. 164-166, примечание). Список внушителен; но он содержит собственное опровержение. Человек, страдающий этими заболеваниями, если только они не находятся на самых ранних и легких стадиях, не смог бы сделать то, что сделал Наполеон. Ишурсы, если они вообще выражены, являются препятствием для занятий верховой ездой. Несомненно, его длительные поездки верхом усугубляли любые проблемы, которые у него возникали в этом отношении, поскольку Петье, который был прикреплен к штабу, заметил, что он часто

спешивался и садился за маленький столик, который ему приносили для удобства изучения карт; но Петье думал, что это связано не с плохим здоровьем (о котором он ничего не говорит), а с его полнотой ("Военные сувениры", стр. 196 и 212). Принц Жером и хирург императорского штаба заверили Тьера, что Наполеон страдает заболеванием мочевого пузыря; но этому противоречил камердинер Маршан; и если он действительно страдал всеми или какой-либо одной из вышеперечисленных болезней, то очень странно, что хирург позволил ему подставить себя под проливной дождь в ночь с 17 на 18 июля для цели, которую с таким же успехом могли бы выполнить несколько надежных офицеров (см. Следующую главу). Более того, барон Ларрей, главный армейский хирург, который осматривал Наполеона до начала кампании и во время ее проведения, *ни слова не говорит о здоровье императора* ("Relationship médicale des Campagnes, 1815-1840", стр. 5-11).

Опять же, периоды сонливости 15 и 18 июня, на которых в значительной степени основана теория физического коллапса, могут быть объяснены гораздо проще. У Наполеона давно вошло в привычку много работать по ночам и искать отдыха в течение напряженного дня короткими урывками сна. Привычка выработалась у него на Эльбе; и это, вместе с его активностью с рассвета, объясняет, почему он спал недалеко от Шарлеруа. То же самое объяснение, вероятно, справедливо и для его случайной сонливости при Ватерлоо. Он едва сомкнул глаза до 3.30 утра; и он не мог быть физически готов к неожиданно долгому и серьезному напряжению в то воскресенье. О том, что он хорошо начал свой день, мы знаем от французского солдата по имени Барраль (дедушка автора "Оперы Ватерлоо"), который внимательно осмотрел его в 9.30 утра и написал: "Мне он показался очень здоровым, необычайно активным и озабоченным". Декостер, проводник-крестьянин, который провел с Наполеоном весь день, впоследствии сказал сэру У. Скотту, что он был спокоен и уверен в себе вплоть до кризиса. Гурго, который цеплялся за него во время перелета в Париж, а оттуда в Рошфор, не отмечает ничего более серьезного, чем сильную усталость; капитан Мейтленд, когда принял его на борту "Беллерофонта", назвал его "удивительно сильным, хорошо сложенным человеком". Во время путешествия на остров Святой Елены он не страдал ни от чего худшего, чем от *морской болезни*; он ел мясо в исключительных количествах даже в тропиках.

Весьма примечателен также рассказ Лавалетта. Когда он увидел Наполеона перед его отъездом из Парижа к бельгийской границе, он обнаружил, что тот страдает от депрессии и боли в груди; но он утверждает, что по возвращении из Ватерлоо, за исключением одного "ужасного эпилептического смеха", Наполеон быстро вернулся к своему обычному поведению: о его здоровье не добавляется ни слова. (Сэр У. Скотт, "Жизнь Наполеона", т. viii., стр. 496; Гурго, "Кампания 1815 года" и "Журнал Святой Елены", том ii., приложение 32; "Рассказ капитана Мейтленда", стр. 208; Лавалетт, "Мэмс.", глава xxxiii.; Уссэ высмеивает истории о его плохом здоровье.)

Каков итог всего этого? Свидетельства, кажется, показывают, что, каким бы ни было состояние Наполеона перед кампанией, он был в своем обычном здравии среди суровых радостей войны. И это созвучно его предыдущему опыту: он переживал события, которые изматывали обычных людей до мозга костей: единственное, чего он не мог вынести, было беспокойство о парламентской оппозиции, которая вызывала нервное раздражение, которое невозможно было контролировать и скрывать без бесконечных усилий. Во время предвыборной кампании мы находим очень мало достоверных доказательств его упадка, но многое указывает на энергию

решимости и огромную силу, восстанавливающуюся после напряженных усилий. Если он страдал от трех болезней, то они, несомненно, носили крайне прерывистый характер.

ГЛАВА XL

ВАТЕРЛОО

Удержит ли Веллингтон свои позиции? Именно эта мысль беспокоила императора в ночь после дикой погони от Катр-Бра. Прежде чем отправиться отдыхать на ферму Кайю, он отправился на фронт вместе с Бертраном и молодым офицером по имени Гуден и вглядывался в огни противника, смутно видневшиеся сквозь пелену дождя. Убедившись, что союзники на месте, он вернулся на ферму, продиктовал несколько писем на одиозные парламентские темы, а затем попытался немного отдохнуть. Но тот же вопрос прогнал сон с его глаз. В час дня он снова встал и вместе с верным Бертраном пробрался вперед сквозь длинные ряды промокших лежащих тел. Они снова напрягли слух, пытаясь уловить сквозь шипение дождя какой-нибудь приглушенный звук удаляющегося пребывания. Время от времени из глубины Угумонского леса доносились странные глухие удары: все остальное было тихо. Наконец, над северо-восточным склоном, увенчанным лесом Сент-Ламберт, забрезжил первый проблеск серого; мало-помалу из мрачной пустоты проступили смутные очертания, и сторожевые костры бледно загорелись на фоне восточных отблесков. Этого было достаточно. Он повернулся обратно к ферме. Теперь Веллингтон едва ли мог убежать от него.

Пока император совершал обход своих аванпостов, в штаб-квартиру поступило несколько загадочное донесение от Гручи. Маршал сообщил из Жамблу в 10 часов вечера 17-го, что часть пруссаков отступила к Вавру, по-видимому, с намерением присоединиться к Веллингтону; что их центр, возглавляемый Блюхером, отступил к Первезу в направлении Льежа; в то время как колонна с артиллерией направилась к Намюру; если он обнаружит, что главные силы противника находятся на Льежском шоссе, он будет преследовать их по этой дороге; если в направлении Вавра, он последует за ними туда, "чтобы они не достигли Брюсселя и не смогли захватить Брюссель". чтобы отделить их от Веллингтона. Эта последняя фраза, несомненно, должна была убедить Наполеона в том, что Груши не до конца понял его инструкции, поскольку поход на Вавр не помешал бы пруссакам присоединиться к Веллингтону, если бы они были в силах.^[503]

Более того, теперь Наполеон знал то, чего не знал Груши, - что пруссаки сосредоточили свои силы в Вавре. Кажется странным, что император не отправил это важное известие своему маршалу; но, возможно, мы можем объяснить это его отсутствием на аванпостах. Как бы то ни было, никакого четкого изложения фактов по делу Граучи не было отправлено *до 10 часов утра 18-го*. Затем он сообщил своему маршалу, что, согласно всем сообщениям, три отряда пруссаков направились к Вавру. Груши "поэтому должен двигаться туда, чтобы приблизиться к нам, войти в сферу наших операций и поддерживать с нами связь, выдвигая перед собой те части пруссаков, которые двинулись в этом направлении и которые, возможно, остановились в Вавре, куда вам следует прибыть как можно скорее". Груши, однако, не должен был пренебрегать войсками Блюхера, находившимися справа от него, но должен был подобрать их отставших и поддерживать связь с Наполеоном.

Такова была буква; и снова мы должны произнести ее далеко не ясно. Груши не было приказано бросить все свои усилия на сторону Вавра; и ему не сказали, должен ли он атаковать врага в этом городе, или вбить клин между ними и Веллингтоном, или поддержать правый фланг Наполеона. Теперь Наполеон, несомненно, предписал бы немедленную концентрацию сил Груши на северо-западе для достижения одной из двух последних целей, если бы он верил, что Блюхер собирается предпринять фланговый марш против главной французской армии. Очевидно, ему еще не приходило в голову, что столь смелый шаг может быть предпринят врагом, которого он представлял рассеянным и деморализованным поражением. ^[504]

Как мы видели, пруссаки не были деморализованы; они не отходили в трех направлениях; и Блюхер не направлялся к Льежу. Он был в Вавре и планировал мастерский удар. В полночь он послал Веллингтону через Мюффлинга письменное обещание, что на рассвете он двинет корпус Бюлова против правого фланга Наполеона; корпус Пирха I должен был последовать за ним; в то время как два других корпуса также будут готовы выступить. Веллингтон получил это донесение около 3 часов ночи 18-го и вслед за этим определенно решил дать сражение. Аналогичное послание было отправлено из Вавра в 9.30 утра, но с припиской, в которой мы можем различить недоверие Гнейзенау к Веллингтону, и просьбой Мюффлинга точно выяснить, действительно ли герцог решил сражаться при Ватерлоо. Тем временем корпус Бюлова начал свой марш с юго-востока от Вавра, но крайне медленно, что было вызвано пожаром в Вавре, переполненностью узкой дороги, а также опасениями Гнейзенау. Это, конечно, было вызвано не страхом перед Груши; ибо в то время прусские лидеры полагали, что только 15 000 французов напали на их след. Только в полдень, когда канонада на западе переросла в рев, Гнейзенау решил послать вперед корпус Зитена к Охайну, слева от Веллингтона; но после этого оборона Дайла против Груши была оставлена исключительно корпусу Тильмана. ^[505]

[Иллюстрация: (отсутствует) БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО, около 11 часов утра *лицом к лицу*]

В то время как на востоке назревала эта буря, все, что находилось перед императором, казалось, предвещало благополучный день. Как бы высоко он ни оценивал игру Веллингтона, у него не было сомнений в результате. "Армия противника, - заметил он сразу после завтрака, - превосходит нашу более чем на четверть; тем не менее у нас девяносто шансов из ста в нашу пользу". Ней, который затем случайно вошел, быстро заметил: "Без сомнения, сир, если бы Веллингтону хватило простоты дожидаться вас; но я пришел сообщить вам, что он отступает". "Вы ошиблись, - последовал ответ, - время для этого ушло". Сульт не разделял уверенности своего хозяина в победе и еще раз умолял его отозвать часть войск Груши, на что последовал грубый

ответ: "Поскольку вы потерпели поражение от Веллингтона, вы считаете его великим полководцем. И я говорю вам, что Веллингтон - плохой генерал, что англичане - плохие солдаты, и что это будет делом *дежурного*". "Я надеюсь, что это возможно", - сказал Сульт. Позже вошел Рейль и, убедившись, насколько уверен император, рассказал об этом Д'Эрлону, который посоветовал своему коллеге вернуться и предостеречь его. "Что толку, - возразил Рейль, - он не захотел нас слушать".

По правде говоря, Наполеон был не в настроении выслушивать советы. Во время путешествия на остров Святой Елены он признался, что "не совсем точно разведаль местоположение Веллингтона".^[506] И, действительно, казалось, особо нечего было разведывать. Позиция Мон-Сен-Жан, или Ватерлоо, не производит на зрителя впечатления какой-либо силы. Так называемая долина, разделяющая два массива, представляет собой очень неглубокую впадину, расположенную не более чем в пятидесяти футах ниже вершины северного склона. Примерно посередине он разделен холмистой местностью, которая обеспечивает хорошее прикрытие для нападающих, собирающихся атаковать Ла-Эй-Сент. Еще один небольшой подъем пересекает долину на полпути между этой фермой и Угумоном и облегчает подход к этой части хребта. Фактически, только на крайнем левом фланге обороняющиеся могли чувствовать себя в большей безопасности; потому что там склон круче, к тому же спереди его защищали болотистая местность, перелески и деревушки Папелотт, Ла-Хэй и Смохейн.

Наполеон мало обращал внимания на левое крыло союзников. Центр и правый фланг, очевидно, были слабыми местами Веллингтона, и там, особенно возле поперечного подъема, наш лидер сосредоточил свои войска. Однако и здесь оборона имела некоторые преимущества. Фасад центра был защищен La Haye Sainte, "крепким зданием из камня и кирпича, - говорит Коттон, - с узким фруктовым садом впереди и небольшим садом сзади, оба из которых были окружены живой изгородью, за исключением восточной стороны сада, где вдоль главной дороги тянулась мощная стена". Общеизвестно, что Веллингтон уделял слишком мало внимания этой ферме, которую Наполеон считал ключом к позиции союзников. В его южной и восточной стенах были проделаны бойницы, но ни одной в западной стене, а половина двери сарая, выходящей в поле, была ночью оторвана солдатами на дрова. Сначала это место удерживали 376 человек королевского германского легиона, которые возвели баррикаду у дверей сарая, а также на большой дороге за фруктовым садом; но, поскольку саперы и плотники были переведены в Угумон, мало что можно было сделать.

Гораздо сильнее был замок Угумон, который был построен с целью обороны. В хозяйственных постройках теперь были сделаны бойницы, и были возведены строительные леса, чтобы наши люди могли вести огонь поверх садовой ограды, которая выходила к фруктовому саду. Оборона была доверена легким ротам вторых батальонов колдстримов и пехоты (ныне гренадерской гвардии), в то время как лес впереди удерживали нассауэрцы и ганноверцы. Голландско-бельгийские части Шассе были размещены в деревне Брейн-ла-Леуд, чтобы обеспечить дополнительную безопасность справа от Веллингтона.^[507] Намерением Наполеона было прорвать центр союзников за Ла-Э-Сент, где их позиции были тонкими. Но он не знал, что за гребнем проходит проселочная дорога, которая обеспечивает превосходное прикрытие, и что местность, уходящая в тыл Веллингтону, прикрывает его вторую линию и резервы.

Именно эта особенность местности, столь непохожая на открытый склон позади Линьи, помогала великому мастеру оборонительной тактики тайно встречать и быстро пресекать каждое наступление своего могучего противника.

Недооценивая силу позиций Веллингтона, Наполеон переоценил свою численность. Как мы видели, он отметил, что союзники превосходили французов более чем на четверть. Теперь, когда его собственная численность составляла 74 000 человек, он приписывал союзникам более 92 000 человек. В действительности их было не более 67 000 человек, поскольку Веллингтон оставил 17 000 в Хале; но если бы сюда был включен и этот мощный отряд, оценка Наполеона была бы не так уж далека от истины. На острове Святой Елены он выдал, что его отправка кавалерии в направлении Хэла побудила Веллингтона ослабить свою армию до такой степени; но Уссэ показал, что это утверждение является полной выдумкой. Император, безусловно, верил, что все войска Веллингтона находятся под рукой. ^[508]

Герцог, со своей стороны, несомненно, отступил бы, если бы знал, что продвижение пруссии будет таким же медленным, как и было. Его сводные войска, в которых говорили на пяти языках, были непригодны для длительного противостояния с армией Наполеона. Голландско-бельгийские войска численностью 17 000 человек были известны своей нерешительностью; 2800 наассауэров, служивших под началом Сульта в 1813 году, не были вне подозрений; 11 000 ганноверцев и 5900 брауншвейгцев, несомненно, приложили все усилия, но в основном это были необученные войска. Фактически, Веллингтон мог полностью полагаться только на свои 23 990 британских солдат и 5800 человек Королевского германского легиона; а среди наших людей была большая доля новобранцев или призывников из батальонов ополчения. События должны были доказать, что это разношерстное сборище может держаться самостоятельно, находясь в состоянии покоя; но во время последующего марша к Парижу Веллингтон вынес язвительное суждение, что, за исключением его людей с полуострова, это была "худшая оснащенная армия с худшим штабом, когда-либо собранная". ^[509] Это было после того, как он потерял де Ланси, Пиктона, Понсонби и многих других способных офицеров; но утром 18-го не было недостатка в мастерстве в размещении войск, о чем свидетельствует расположение дивизии Альтена генералом Кеннеди так, что она могла легко вписаться в схему "шашка", которая оказалась столь эффективной против французской кавалерии.

Уверенность Наполеона, казалось, была вполне обоснованной: у него было 246 пушек против 156 у союзников, и его превосходство в линейной кавалерии было столь же велико. Прежде всего, это были 13 000 пехотинцев Императорской гвардии в сопровождении 3000 кавалеристов по флангам. Эффективная численность двух армий была подсчитана Кеннеди в соотношении четыре к семи. Почему же тогда он не атаковал сразу? На то были две веские причины: во-первых, его люди за ночь широко рассеялись в поисках пищи и укрытия и теперь очень медленно собирались на плато; во-вторых, дождь не прекращался до 8 часов утра, и даже тогда моросил мелкий дождик, делая местность совершенно непригодной для передвижения конницы и артиллерии. Оставив войскам время на формирование, а местности - на улучшение, император сверился со своими картами и ненадолго вздремнул. Затем он выехал вперед; и, когда фигура в сером мундире проехала вдоль этих внушительных рядов, энтузиазм нашел выход в едином раскатистом реве "Да здравствует Император", который угрожающе донесся до поредевших рядов союзников. Там вождь не получил искреннего одобрения, кроме как от людей, которые его знали; но среди них не было никаких опасений. "Если бы, - писал майор

Симмонс из 95-го полка, - вы могли видеть гордый и свирепый вид британцев в тот ужасный момент, ни один глаз не заблестел бы от радости". ^[510]

Первые выстрелы прозвучали в 11.50, прикрывая штурм леса Угумон дивизией принца Жерома Бонапарта из корпуса Рейля. Нассауэрцы и ганноверцы быстро ответили, и немецкая батарея Клива открыла огонь с таким эффектом, что передовая колонна отступила. Снова нападающие атаковали с большей силой под прикрытием ужасающей канонады: на этот раз они захватили укрытие и шаг за шагом оттесняли обороняющихся назад через рощу. Несмотря на то, что охранники некоторое время сдерживали их, примерно к часу дня они овладели лесом к югу от дома. Там они должны были остановиться. Приказ Наполеона состоял в том, чтобы они закрепились только в лесу и высадили хорошую линию стрелков: все, чего он хотел на этой стороне, - это предотвратить любое движение передовых постов Веллингтона назад. Рейль также отдал приказ не атаковать замок; но принц и его люди бросились на эти массивные стены, но только для того, чтобы встретить кровавый отпор. Вторая атака удалась не лучше; и хотя в конце концов около 12 000 человек Рейля атаковали особняк с трех сторон, все же наши гвардейцы, получив подкрепление, отбивали каждое наступление почти в десять раз превосходящего их числа.

Некоторое время император не обращал внимания на эту пустую трату энергии; в два часа дня он отозвал Джерома к себе. Теперь он видел необходимость экономить свои ресурсы, поскольку французский правый центр постигла катастрофа. Он назначил на час дня крупную атаку корпуса Д'Эрлона численностью почти в 20 000 человек на Ла-Эй-Сент. Но произошла задержка по причине, которую мы должны сейчас описать.

Прежде чем его огромная батарея из восьмидесяти орудий выстрелила в центре и закрыла обзор, он осмотрел горизонт в подзорную трубу и различил на окраине Сент-Ламберт-вуда, в шести милях от него, темный объект. Была ли это роща или группа войск? Офицеры его штаба не могли согласиться; но его опытный глаз определил военное построение. Вслед за этим некоторые из сотрудников заявили, что это, должно быть, люди Блюхера, другие - что это люди Граучи. Здесь у него вряд ли могли быть сомнения. Вскоре после 10 часов утра он получил от Груши депешу, датированную 3 часами ночи из Жамблу, в которой сообщалось, что пруссаки отступают всеми силами к Брюсселю, чтобы сосредоточиться или присоединиться к Веллингтону, и что он (Груши) собирается отправиться в Сарт-а-Вальен и Вавр. Он ничего не сказал о предотвращении любого флангового марша, который враг мог бы совершить из Вавра с целью немедленного соединения со своими союзниками. Следовательно, его не следовало искать по эту сторону Вавра, и, следовательно, эти войска должны были быть пруссаками. ^[511]

Все сомнения рассеялись, когда прусский гусарский офицер, захваченный ведеттами Марбо близ Ласне, был доставлен к Наполеону. Он привез письмо от Бюлова Мюффлингу, в котором говорилось, что первый находится в походе, чтобы атаковать правое крыло Франции. В ответ на вопросы Наполеона капитан заявил, что весь корпус Бюлова пришел в движение, но благоразумно умолчал о двух других корпусах, которые следовали за ним. Как бы там ни было, новость ни в коей мере не встревожила императора. Поскольку Бюлов собирался выступить против французского фланга, Груши должен был выступить на его фланг и отвести свой корпус *в явное наступление*. Таков смысл постскриптума, добавленного к довольно запоздалому ответу, который должен был быть отправлен Груши в 13:00. Он дошел до него только в 17:00, слишком

поздно, чтобы повлиять на результат, даже если бы он отказался от своей атаки на Вавра, чего он не сделал. ^[512]

Мы возвращаемся к действиям императора в половине второго. Легкая кавалерия Домона и Суберви была выслана к Фришермону для наблюдения за пруссаками; огромная батарея из восьмидесяти орудий, расположенная на промежуточном возвышении, открыла огонь; и под прикрытием ее смертоносных залпов четыре дивизии Д'Эрлона спустились в долину. Они были выстроены в тесные батальоны численностью около двухсот человек - построение, которое Наполеон не предлагал, но и не отменял. Левую колонну, колонну Аликс, поддерживала кавалерия с фланга. Часть этой дивизии заняла фруктовый сад Ла-Э-Сент и атаковала хозяйственные постройки со всех сторон. Со своей позиции у большого вяза над фермой Веллингтон заметил это наступление и теперь послал ганноверский батальон на помощь своим соотечественникам; но при перерезании главной дороги он был атакован и разгромлен кирасирами Мийо, которые преследовали их вверх по склону, пока не прозвучал сигнал тревоги. Дальше к востоку французы, казалось, были еще более уверены в победе. Голландско-бельгийцы Байландта численностью около 3000 человек, сильно пострадав на своей безжалостно открытой позиции, дрогнули при приближении колонны Донзелота и, наконец, обратились в полное бегство, подвергаясь незаслуженным насмешкам со стороны британцев, находившихся у них в тылу. Они состояли из подразделения Пиктона, героев Катр-Бра. Здесь они пока понесли небольшие потери, благодаря укрытию в виде лощины на перекрестке и живой изгороди.

Теперь французские колонны поднялись на гребень холма, издавая победные крики, и начали выстраиваться в линию для последней атаки. Пиктон хорошо знал, что настало время дать залп и броситься вперед с холодной сталью; но когда он подбадривал своих людей, пуля попала ему в висок и оборвала его блестящую карьеру. Его тактика была успешной в некоторых моментах, в то время как в других наши тонкие линии едва держались против масс. Конечно, решающего результата не удалось бы добиться, если бы не своевременное наступление союзной бригады Понсонби — 1-го королевского драгунского полка, шотландских серых и иннискиллингов.

В то время, когда лорд Аксбридж отдавал приказ: "Члены королевской семьи и Иннискиллинги атакуют, Серые поддерживают", дивизия Аликс переходила дорогу. Но когда королевские войска ворвались внутрь, "голову колонны охватила паника, она открыла по нам огонь, в результате которого погибло около двадцати человек, затем мгновенно развернулась и попыталась вернуться на противоположную сторону изгороди; но мы были на них и среди них, и нам ничего не оставалось, как оттеснить их вниз по склону". Так писал капитан Кларк Кеннеди, который сразил саблей французского знаменосца и захватил орла. Столь же блестящей была атака Иннискиллингов, находившихся в центре бригады. Они атаковали дивизию Донзелота, превратили ее ряды в беспомощную массу и захватили большое количество пленных. Шотландские серые тоже, придя на помощь оказавшимся в затруднительном положении гордонцам, яростно атаковали дивизию Марконье. "Оба полка, - писал майор Винчестер из 92-го, - атаковали вместе, выкрикивая "Шотландия навеки"; шотландские серые действительно прошли по этой колонне, и менее чем за три минуты она была полностью уничтожена. Травянистое поле, которое всего мгновение назад было таким же зеленым и ровным, как Феникс-парк, было покрыто убитыми и ранеными, рюкзаками, оружием и амуницией". ^[513]

Тем временем слева от бригады конница Венделера и несколько голландско-бельгийских драгун отбросили людей Дурутте назад мимо Папелотта. Справа от него 2-й лейб-гвардейский полк вырезал кирасир, сбитых с толку внезапным спуском полого перекрестка; а дальше к западу 1-й гвардейский драгунский и 1-й лейб-гвардейский встретили их на краю плато, яростно схлестнулись, прорвались сквозь них и присоединились к дикой атаке бригады Понсонби вверх по противоположному склону, перерезав остатки сорока французских пушек и зарубив артиллеристов саблями.

Но Наполеон ждал момента для реванша и теперь послал вперед солидный отряд улан и драгун, которые обрушились на наши беспорядочные отряды с непреодолимой силой, нанося удары ножами людям и опрокидывая их усталых лошадей. Здесь пал доблестный Понсонби с сотнями своих людей, и, если бы конница Венделера не остановила преследование, очень немногим удалось бы спастись. Тем не менее, эта бригада спасла положение. Две колонны Д'Эрлона закрепились на гребне холма, пока внезапная атака наших всадников не превратила победу в катастрофическое бегство, которое стоило французам свыше 5000 человек.

Словно измотанные этой ожесточенной борьбой, обе армии на некоторое время ослабили свои усилия и перестроили свои линии. Веллингтон приказал бригаде Ламберта из 2200 ветеранов полуострова, которая прибыла только этим утром, заполнить бреши слева от него. Императору тоже было не по себе, о чем он свидетельствовал, делая обильные затяжки нюхательного табака. Он вскочил на коня и поехал вперед, встречая там приветственные крики своих окровавленных улан и потрепанной пехоты. Получив очередную депешу от Груши, которая не давала надежды на его скорое прибытие, он снова приказал своим пушкам разрушить британские позиции и обстрелять Угумон, в то время как Ней повел две из бригад Д'Эрлона, которые были наименее потрясены, возобновить атаку на Ла-Э-Сент. У фермерских построек им снова помешали отважные немцы, которым Веллингтон своевременно прислал подкрепление.

^[514] В Угумоне стражники также держались стойко, несмотря на сильный пожар в амбаре и части часовни. Но в то время как его лучшие войска повсюду стояли на своих местах, герцог с беспокойством наблюдал за разрывами в своем боевом порядке. Многие голландско-бельгийцы ушли в тыл; и Джексон, передавая приказ резервной голландской батарее наступать — приказ, которому не подчинились, — увидел, что стало с этими симулянтами. "Я заглянул на опушку леса и по-настоящему был поражен: там казались целые роты с аккуратно сложенным оружием, под котлами пылали костры, в то время как мужчины лежали и курили!" [515]

Совсем иной была сцена впереди. Там начинался третий акт драмы. После получаса сильнейшей канонады, когда-либо известной, верным войскам Веллингтона угрожала лавина кавалерии, и они быстро заняли "шахматную" позицию, ранее подготовленную для наиболее уязвимой дивизии, дивизии Альтена. Наполеон, несомненно, надеялся либо сокрушить Веллингтона наповал мощным натиском конницы, либо обнажить его догола для *государственного удара*. Утром на ферме Кайю он сказал: "Я использую свою мощную артиллерию; моя кавалерия пойдет в атаку; и я буду наступать со своей Старой гвардией". Использование кавалерии в больших масштабах не было чем-то новым в его войнах. Благодаря этому он получил заметные преимущества, прежде всего под Дрезденом; и он верил, что пехота, сильно потрепанная артиллерией, не сможет устоять перед его эскадронами. Французская кавалерия, насчитывавшая вначале 15 000 человек, пока еще мало пострадала, и путь был частично расчищен последними атаками на Угумон и Ла-Э-Сент, где защитники были полностью заняты самообороной.

Но Ней, безусловно, слишком рано предпринял первую атаку. Несомненно, его ввело в заблуждение отступление нашей первой линии немного дальше за гребень, чтобы получить небольшое укрытие от железной бури. Расценив этот благоразумный шаг как признак отступления, он повел вперед кирасиров Мийо; и когда эти великолепные бригады двинулись рысью вперед, к ним присоединились *кавалерийские* егеря гвардии и "красные" уланы. Эти всадники численностью более 5000 человек въехали в долину, образовавшуюся у подножия склона, а затем, под прикрытием своей артиллерии, начали штурмовать склон. На его гребне орудия союзников открыли по ним огонь в упор; но, несмотря на свои ужасные потери, они прорвались сквозь орудия и спустились по обратному склону к площадям. Залп за залпом теперь прорывались со страшным эффектом, и уцелевшие отступали к интервалам. У их второй и третьей шеренг дела обстояли немногим лучше; пораженные столь стойкой обороной, в которой они ожидали увидеть лишь несколько последних отчаянных попыток, они разбились на неуверенные группы.

"Что касается так называемых обвинений, - говорит Бэзил Джексон, - я не думаю, что хоть раз произошло реальное столкновение. Я много раз видел, как кирасиры смело приближались на расстояние примерно двадцати или тридцати ярдов к квадрату, когда, видя непоколебимую стойкость наших людей, они неизменно отступали. Иногда они останавливались и смотрели на тройной ряд штыков, когда два или три храбрых офицера выходили вперед и пытались ускорить атаку, высоко поднимая шлемы на саблях, — но все было напрасно, поскольку никакие усилия не могли заставить людей сомкнуться со страшными штыками и встретить верную гибель". ^[516]

После того, как огонь тыловых каре сделал свое дело, наша кавалерия обрушилась на колеблющиеся массы; и, когда они ускакали, артиллеристы выбежали из каре и засыпали их дробью. Через несколько минут конное войско, которое, казалось, поглотило пехоту, исчезло, красные и синие шашки торжествующе выступили вперед, а ружья, которые должны были быть заряжены, несли смерть. Внизу сбитая с толку масса готовилась к новой атаке, в то время как ее поддержка обращала в бегство наших всадников.

В этой второй атаке Ней получил мощное подкрепление. Император приказал наступать Келлерману и Гийо с тяжелой гвардейской кавалерией, таким образом увеличив численность всадников примерно до 10 000 человек. Во главе этих внушительных масс Ней снова взобрался на склон. Но Веллингтон усилил свою линию свежими войсками, заказав также батарею Мерсера из шести 9-фунтовых орудий для поддержки двух брауншвейгских полков, которые зловеще дрогнули, когда французские пушечные ядра пробili их насквозь. Устоят ли эти сбитые с толку парни перед волной всадников, уже взбиравшихся на гребень? Это казалось невозможным. Но как раз в этот момент люди Мерсера ворвались между ними с ружьями, заняли пост за приподнятым перекрестком и открыли по скачущим всадникам огонь картечью. Фронт сразу же оказался усеян конями и людьми; артиллеристы и пехота изрешетили сменявшие друг друга шеренги, которые устремились вперед только для того, чтобы нагромоздить корчащиеся кучи и преградить отступление оставшимся в живых впереди. Некоторые из них искали спасения, прорвавшись сквозь ружья, в то время как большинство боролось и даже размахивало саблями, чтобы прорубить себе путь из этой *схватки*.

В других местах британская артиллерия была слишком уязвима, чтобы ее можно было защитить, и артиллеристы снова разбежались по площадям. Кавалерия снова окружила наших пехотинцев, подобно "сильному прибою, разбивающемуся о берег, усеянный отдельными

скалами, о которые горная волна набегают с яростным ревом, разбивается, разделяется и с шипением и кипением бежит далеко за пределы". Однако, как и прежде, ему не удалось сломать эти упрямые блоки, и наступила озадачивающая пауза, сменявшаяся частичными и спазматическими бросками. "Неужели эти англичане никогда не покажут нам спину?" — воскликнул император, напрягая зрение, чтобы уловить первые признаки разгрома. "Я боюсь, - ответил Сульт, - что сначала их порежут на куски". На данный момент уступила кавалерия. Отброшенные этой неукротимой пехотой, они снова были атакованы британскими и немецкими гусарами и загнаны в долину.

Ней снова повел своих всадников вперед, собирая все свои резервы. Но герцог уже подвел бригаду Адама и королевских немцев Дюпла к пространству за Угумоном; их огонь ударил всадникам во фланг: картечные залпы были такими же смертоносными, как и раньше: все до единого, каре держалось стойко, отбивая натиск за натиском: и к 6 часам французская кавалерия отступила совершенно измотанная.^[517]

Кто должен нести ответственность за эти напрасные атаки и почему не оказалось под рукой французской пехоты, чтобы удержать позиции, которые кавалеристы, казалось, отвоевали? Несомненно, Ней начал первую атаку несколько преждевременно; но сам Наполеон усилил вторую крупную атаку добавлением бригад Келлермана и Гийо, несомненно, полагая, что британцы, о стойкости которых он никогда не имел прямых личных доказательств, должны уступить перед такой мощной массой. Более того, раз за разом казалось, что атаки были победоносными; орудия союзников в правом центре, за исключением орудия Мерсера, были взяты девять или десять раз, их передние каре так же часто оказывались окруженными; и не раз победный клич раздавался из штаба императора.

Почему же тогда атаку не завершила пехота? Чтобы понять это, мы должны проанализировать общую ситуацию. Угумон все еще отражал атаки почти всего корпуса Рейля, а боеспособная часть корпуса Д'Эрлона вела ожесточенные бои в Ла-Э-Сент и его окрестностях. Прежде всего, наступление пруссаков на французов прямо сейчас дало о себе знать. После непрестанного труда, в ходе которого солдат подбадривал лично Блюхер, их артиллерия была переброшена через долину Ласне; и в 4.30 авангард Бюлова выступил из леса за Фришермона. Корпус Лобау численностью 7800 человек, который, по словам Жанена, собирался поддержать Нея, теперь повернул вправо, чтобы остановить это продвижение.^[518] К 5 часам прусские пушки открыли огонь по всадникам Домонта и Суберви, которые вскоре отступили к Лобау.

Бюлов двинулся вперед со своими 30 000 человек и, двинув вперед свое левое крыло, закрепился в деревне Планшенуа, в то время как Лобау отступил к Ла Бель Альянс. Это произошло между 5.30 и 6 часами и объясняет невнимание Наполеона к массированным кавалерийским атакам. Разбить британские каре было крайне желательно, но отразить нападение пруссаков с тыла было настоящей необходимостью. Поэтому он приказал Дюэсму с 4000 пехотинцами Молодой гвардии вернуть Планшенуа. Доблестно они пошли в атаку и выгнали своих усталых и полуголодных противников на открытое место.

Удовлетворенный этим преимуществом, император обратил свои мысли к британцам и приказал Нею захватить Ла-Эй-Сент любой ценой. Никогда еще долг не был так желанен. Ошибки и провалы теперь можно было искупить триумфом или смертью солдата. И то, и другое пока ускользало от его поисков. Под ним пали три лошади, но, как всегда бесстрашный, он повел людей Донзелота вместе с инженерами на ферму. Окутанный дымом, охрипший от

криков, он вдохнул жажду битвы в эти наполовину унылые ряды; и на этот раз ему это удалось. В течение пяти часов храбрые немцы держались, отбивая натиск за натиском, пока у них не осталось всего по три-четыре пули на каждого. Обычные британские боеприпасы не подходили к их винтовкам, а их собственный резервный запас в тылу найти не удалось. Тем не менее, даже когда стрельба прекратилась, штыковые удары и метательные снаряды на некоторое время сдерживали нападавших даже от полуразрушенной двери сарая, пока французы не взобрались на крышу конюшни и не ворвались через главные ворота; тогда Бэринг и его храбрые товарищи бежали через дом в сад. "Нет прощения этим зеленым дьяволам" - раздался теперь крик, и те, кто не смог добраться до гребня, были заколоты штыками до одного человека. ^[519]

Это было серьезным несчастьем для союзников. Французские снайперы теперь выстроились вдоль стен фермы и продвигались вверх по гребню, очень сильно прижимая наш фронт, так что на какое-то время пространство за Ла-Эй-Сент было практически лишено защитников. Это была новость, которую Кеннеди принес в Веллингтон. Он воспринял это со спокойствием, свидетельствовавшим о могучей душе; ибо, как заметил сэр А. Фрейзер, каким бы безразличным или кажущимся беспечным он ни казался в начале сражений, когда наступал кризис, он превосходил все, что можно было себе представить. Таково было его поведение сейчас. Подъехав к брауншвейгцам, размещенным в резерве, он повел их к опасному посту; Кеннеди собрал остатки дивизии Альтена и оттеснил немцев с левого фланга; кавалерия Ванделера и Вивиана, двигавшаяся с крайнего левого фланга, также помогла укрепить центр; а подход голландско-бельгийской бригады Шассе, недавно вызванной из Брейн-ла-Ле, усилила нашу поддержку.

Если бы Наполеон немедленно направил свою Старую и Среднюю гвардию в центр Веллингтона, победа все еще могла бы увенчать французских орлов. Но на просьбу Нейа прислать больше войск он ответил раздраженно: "Войска? откуда вы хотите, чтобы я их взял? Должен ли я их изготовить?" В это время пруссаки снова овладели Планшенуа. Тогда он снова обратился против них и послал два батальона, один из Старых, другой из Средней гвардии. В едином порыве штыковыми ударами эти ветераны овладели этим местом и отбросили людей Бюлова на четверть мили дальше, в то время как Лобау восстановил позиции дальше на север. Но головной корпус Пирха был поблизости, чтобы усилить Бюлов; в то время как после долгих задержек, вызванных грязными дорогами и приказом Блюхера двигаться к Планшенуа, корпус Зитена начал угрожать французам справа у Смохайна. Вскоре Райхе открыл огонь из шестнадцати орудий, несколько ослабив давление слева от Веллингтона. ^[520]

Император все еще был полон надежды. Он не знал о приближении Пирха и Зитена. Время от времени с востока доносился грохот пушек Груши, и, несмотря на последнее донесение маршала, Наполеон все еще верил, что тот подойдет и схватит пруссаков. Удовлетворенный тем, что на некоторое время удержал Бюлова, он поставил все на последнюю попытку со Старой и Средней Гвардией. Оставив два батальона из них в Планшенуа и три близ Россомы в качестве последнего резерва, он повел вперед девять батальонов, построенных полыми квадратами. Трепет пробежал по рядовым полкам, некоторые из которых отступали, увидев, что медвежьи шкуры продвигаются вперед; и, чтобы подбодрить их, император послал Лабедойера с известием, что Груши уже близко.

Таким образом, напряжение долго откладываемой надежды, которое делает Ватерлоо уникальным среди сражений, достигло своего апогея. Каждая сторона яростно сражалась в

течение восьми часов в уверенности, что пруссаки или Груши должны прийти; и теперь, в момент последней агонии, пришла уверенность, что окончательный триумф близок. Войска Д'Эрлона и Рейля еще раз одержали победу на гребне холма за Ла-Э-Сент или под стенами Угумона, в то время как каре гвардии нанесло удар наискось через долину по следам массированных кавалерийских атак. На возвышенности к юго-западу от Ла-Э-Сент Наполеон остановил один батальон и передал Нею командование оставшимися восемью, которые приветствовали его, проезжая мимо, восторженными криками. В этот момент справа прискакали два адъютанта, чтобы сообщить ему о наступлении пруссии, но он отказался их слушать и устремил взгляд на гвардейцев. ^[521]

Под прикрытием шквала выстрелов ветераны двинулись дальше. Понесся очень незначительные потери при Линьи, они насчитывали не менее 4000 человек и образовали сначала одну колонну шириной около семидесяти человек. Передовые батальоны направились к точке немного западнее нынешнего бельгийского памятника, в то время как по какой-то необъяснимой причине задняя часть отклонилась влево и преодолела склон позже остальных и ближе к Угумону. Окруженная с флангов легкими орудиями, открывшими оживленный огонь, и доблестно поддержанная дивизией Донзелота, шедшей справа от них, передовая колонна упорно продвигалась вперед, несмотря на картечь, которая лилась с батарей Болтона и Бина, заставляя ее колыхаться, "как кукурузу, гонимую ветром". Фриан, командир Старой гвардии, был тяжело ранен; лошадь Нея пала под ним, но доблестный боец неустрашимо поднялся и снова помахал своим людям. И теперь они устремились через гребень холма под огонь британских орудий в полной уверенности в триумфе. Казалось, перед ними было немного войск, поскольку люди Мейтланда (2-й и 3-й батальоны 1-го пехотного полка) залегли за насыпью на перекрестке дорог, чтобы хоть как-то укрыться от ужасной канонады. - Встаньте, гвардейцы, и приготовьтесь! - крикнул герцог, когда французы были всего в шестидесяти шагах от него. Залп, раздавшийся с их протяженного фронта, заставил колонну пошатнуться и, казалось, отбросил ее назад. Напрасно французские офицеры размахивали саблями и пытались развернуться в линию. Искалеченный спереди бригадой Мейтланда, на ее фланге нашими 33-м и 69-м полками, построенными в каре, и смертоносными залпами голландско-бельгийских войск Шассе, ^[522] этот величественный строй съехался. "Сейчас самое время, мои мальчики", - крикнул лорд Солтаун, и тонкая красная линия, смыкаясь с массой, погнала ее вниз по склону.

У подножия победители попали под огонь тыловой части императорской гвардии, которая, не обескураженная отпором своих товарищей, величественно покатила вверх. Колборн развернул 52-й (Оксфордширский) полк на гребне холма в линию, почти параллельную их наступлению, и открыл убийственный огонь по их флангу, на который был дан яростный ответ; люди Мейтланда, перестроившись на гребне, дали по ним залп спереди; и несколько ганноверцев в тылу у Угумона также атаковали их с тыла. Улучив благоприятный момент, когда колонна корчилась в муках, Колборн подбодрил своих людей к атаке и с помощью второго 95-го стрелкового полка полностью уничтожил последнюю надежду Франции. Продолжая наступление, теперь при поддержке 71-го полка, он расчистил наш фронт до фруктового сада Ла-Э-Сент. ^[523]

Император сначала наблюдал за атакой с чувством радостной надежды; Фриант, вернувшийся раненым, сообщил, что успех был несомненен. Когда истина дошла до него, он побледнел как мертвец. "Почему?! они в замешательстве, - воскликнул он. - На данный момент все потеряно". Дрожь агонии пронеслась и по рядам французов. Наступление Донзелота в свое время

поколебало бригаду Хэлкетта; но надежды, вызванные атакой гвардии и слухами о приближении Груши, сменились разочарованием, когда ветераны отступили, а пруссаки Зитена вышли из Папелотта. За криком "Гвардия уступает дорогу" последовали крики "измена". Герцог, заметив замешательство, махнул всей своей шеренгой, призывая к долгожданному наступлению. Столкнувшись с угрозой спереди из-за тонкой красной линии, а в тылу из-за славной атаки Колборна, дивизии Д'Эрлона обратились в бегство. Какое-то время три скалы смело возвышались над этим катастрофическим отливом. Это были ранее отбитые батальоны гвардии, которые сплотились вокруг императора на возвышенности к югу от Ла-Э-Сент. Перед ними три полка бригады Адама остановились, чтобы перестроиться; но по команде герцога — "Вперед, вперед: они не устоят" — Колборн атаковал их, и они уступили.

И теперь, когда солнце бросало свои последние отблески над полем боя, было видно, как мечи британских всадников сверкали и опускались с неумолимой силой. Бригады Венделера и Вивиан, хорошо управлявшиеся в течение дня, были брошены на врага. Эффект был электрическим. Отступление превратилось в бегство, охватившее последние ряды Стражи. В одном из них на некоторое время укрылся Наполеон, все еще надеясь сплотиться, в то время как снаружи Ней метался от отряда к отряду, размахивая сломанным мечом, пенясь от ярости и бросая в адрес беглецов насмешливые крики: "Труссы! ты что, забыл, как умирают?" ^[524]

Но теперь паника царила безраздельно. Бригада Адама была под рукой, чтобы поддержать наших всадников; и вскоре после девяти из Планшенуа донесся последний роковой удар - крики пруссаков, наконец одержавших победу над упорной обороной. "Гвардия умирает, но не сдается" — таковы слова, приписываемые одними Мишелю, другими Камбронну перед тем, как он без чувств распростерся на земле. ^[525] Высказанные вслух или нет, подобные мысли побуждали целые роты умирать за честь своего флага. А их командир, почему он не разделил их славную судьбу? Гурго говорит, что Сульт вынудил его уйти с поля боя. Если это так (а Хуссей дискредитирует эту историю), то Сульт никогда не служил своему хозяину хуже. Единственным достойным поступком было действовать в соответствии с его недавним заявлением о том, что пришло время каждому французу победить или умереть. Опровергнуть эти слова позорным бегством означало навлечь на себя худший из грехов во французской политической жизни - насмешку.

И бегство было позорным. Измотанные войска Веллингтона, несколько раз приняв в сумерках друзей за врагов, остановились к югу от Россома и передали преследование пруссакам, многие из которых почти не сражались и теперь упивались жадной мести. При свете восходящей луны Гнейзенау повел своих всадников в погоню, по сравнению с которой преследование Йены было обычным делом. В Генаппе Наполеон надеялся выстоять, но это место было забито повозками и запружено людьми, пытавшимися пробраться по узкому мосту. При звуке прусских труб паника стала ужасающей; император вышел из кареты и вскочил на коня при приближении криков "ура". Семь раз французы разбивали бивуаки, и семь раз их выгоняли оттуда. В Катр-Бра он еще раз попытался собрать несколько отрядов, но прежде чем он смог это сделать, появились уланы. Со слезами, стекающими по его бледным щекам, он возобновил свой полет над другим полем резни, где в бледном свете зари со всех сторон виднелись жуткие фигуры. После дальнейших тщетных попыток в Шарлеруа он поспешил в сторону Парижа, сопровождаемый на некотором расстоянии группами численностью около 10 000 человек, жалкими остатками, все еще находящимися под оружием войска, сражавшегося при Ватерлоо: 25 000 человек лежали там убитыми или ранеными; несколько тысяч были взяты в плен; остальные разбежались по

своим домам. Веллингтон потерял 10 360 человек убитыми и ранеными, из которых 6 344 были британцами: потери пруссии составили около 6000 человек.

Причины свержения Наполеона найти нетрудно. Отсутствие своевременного преследования Блюхера и Веллингтона 17-го числа позволило этим лидерам занять выгодные позиции и разработать четкий план, который он не смог полностью понять даже в критический момент сражения. Полный самонадеянного презрения к Веллингтону, он начал бой безрассудно и расточительно. Когда пруссаки пошли в атаку, он недооценил их силу и до самого конца верил, что Граучи придет и поставит их между двух огней. Но из-за отсутствия быстрых, четких и подробных инструкций этот маршал остался жертвой своего фатального представления о том, что Вавр был единственной точкой, на которую следовало нацелиться и атаковать. Несмотря на сильную канонаду с запада, он упорствовал в этом странном курсе, в то время как Наполеон поставил все на то, чтобы нанести решающий удар по Веллингтону. Последнее было актом ужасающей отваги; но по пути на остров Святой Елены он объяснил Кокберну, что, все еще веря в приближение Граучи, он не испытывал беспокойства по поводу действий пруссаков, "которые, по сути, были уже остановлены, и что, по его мнению, сражение в целом сложилось скорее в его пользу, чем как-либо иначе". Это объяснение имеет все признаки искренности. Но стал бы какой-нибудь другой великий полководец ставить на карту свой последний резерв и оголять тыл исключительно в расчете на способности почти неопытного лидера, который не сказал ни единого слова, оправдывающего возлагаемые на него сейчас надежды?

Здесь мы касаемся слабых мест в интеллектуальной броне Наполеона. Сам одаренный почти сверхчеловеческой проницательностью и энергией, он слишком часто приписывал своим паладинам то же божественное влияние. Более того, он испытывал величайшее презрение к своим врагам. Одержав в юности победу в сотне боев над второсортными противниками, он теперь не мог приучить свои закаленные способности к осторожности, необходимой в поединках с Веллингтоном, Гнейзенау и Блюхером. Только после того, как он погубил себя и Францию, он осознал свои собственные ошибки и ценность лидеров союзников. Во время путешествия в Англию он признался Бертрону: "Герцог Веллингтон полностью равен мне в управлении армией, с тем преимуществом, что обладает большей осмотрительностью".

[526]

ПРИМЕЧАНИЕ ДОБАВЛЕНО К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ. —Я обсудил несколько острых вопросов кампании при Ватерлоо в эссе "Сотрудничество Пруссии при Ватерлоо" в моем томе, озаглавленном "Исследования Наполеона" (Джордж Белл и сыновья, 1904). В этом эссе я указал на неточность или преувеличение утверждений, выдвинутых некоторыми немецкими авторами о том, что (1) Веллингтон обманул Блюхера при Линьи, (2) что он не ожидал помощи от Пруссии до позднего вечера при Ватерлоо, (3) что заслуга в победе в подавляющей степени принадлежит Блюхеру и Гнейзенау.

ГЛАВА XLI

ОТ ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА ДО ОСТРОВА СВЯТОЙ. ЕЛЕНА

Наполеон был далек от того, чтобы принять Ватерлоо как последний удар. В Филиппвиле на следующий день после битвы он написал своему брату Жозефу, что у него быстро будет 300 000 человек, готовых защищать Францию: он запряжет свои пушки в кареты, наберет 100 000 новобранцев и вооружит их мушкетами, взятыми у роялистов и недовольных Национальной гвардии; он поднимет на ноги Дофине, Лионе и Бургундию и сокрушит врага. "Но люди должны помогать мне, а не сбивать с толку.... Напишите мне, какое влияние на Палату оказало это ужасное невезение. Я верю, что депутаты почувствуют уверенность в том, что их долг в этот решающий момент - сплотиться вокруг меня и спасти Францию". ^[527]

Таким образом, негибкая воля только согнута, а не сломлена. Ватерлоо - это просто великая битва при Ротьере, требующая более мощных оборонительных усилий, чем в 1814 году. Таковы его намерения, даже когда он не знает, что Груши убегает от пруссаков. Письмо дышит твердой решимостью. Он не испытывает угрызений совести по поводу того, насколько порочно подталкивать уставший народ к конфликту с Европой. Пока он не принимает великодушного решения расстаться с нацией, которую его гений может еще раз довести до фатального исступления. Кажется, он все еще не в состоянии представить Францию счастливой и процветающей без него. В нерасторжимом союзе они будут продолжать бороться и бросать вызов всему миру.

В таком настроении он прибыл в Елисейский дворец рано утром 21 июня. Какое-то время он был сильно взволнован. "О Боже мой!" - воскликнул он, обращаясь к Лавалетту, возводя глаза к небу и расхаживая взад и вперед по комнате. Но после принятия теплой ванны — своего верного средства от усталости — он успокоился и обсудил с министрами планы национальной обороны. Более смелые советовали приостановить работу Палат и объявить осадное положение в Париже; но другие возражали против шага, который привел бы к гражданской войне. Совет тянулся очень долго, император лишь однажды очнулся от усталости, чтобы заявить, что еще не все потеряно; что *он*, а не Палата представителей, может спасти Францию. Если так, то ему следовало пойти к депутатам, взволновать их своим повелительным голосом или немедленно распустить. Монтолон утверждает, что этот курс был рекомендован Камбасересом, Карно и Маре, но большинство министров убеждали его не подвергать свое усталое тело бурям возбужденного собрания. На острове Святой Елены он сказал Гурго, что, несмотря на усталость, приложил бы усилия, если бы считал возможным успех, но он этого не сделал. ^[528]

Палата депутатов тем временем действовала энергично. Измученный рассказами о катастрофе, которые уже распространили за границей раненые солдаты, он с готовностью согласился на

предложение Лафайета остаться на постоянной основе и объявить любую попытку роспуска актом государственной измены. Столь неприкрытое неповиновение, напомнившее Клятву на Теннисном корте, данную двадцать шесть лет назад, почти лишило императора дара речи от изумления. Люсьен приказал ему готовиться к *государственному перевороту*, но Наполеон понял, что время для такого акта прошло. Он растратил физические и моральные ресурсы, завещанные Революцией. Его армии разлагались под землей Испании, России, Германии и Бельгии; и десятилетие безрассудных амбиций разнесло в клочья полезную теорию Руссо о военной диктатуре. Измученная Франция отворачивалась от него к главному источнику свободы - своим представителям.

Несомненно, именно такие мысли проносились в его голове, когда он расхаживал с Люсьеном взад и вперед по Елисейскому саду. Толпа *федералов* и рабочих на улице неистово приветствовала его. Он приветствовал их улыбкой, но, по словам Паскье, "выражение его глаз показывало печаль, наполнявшую его душу". Правда, он мог бы повести эту бездумную толпу против Палаты представителей; но это означало бы гражданскую войну, и от этого он уклонялся. Тем не менее Люсьен приказал ему нанести удар. "Дерзай", - прошептал он с дантоновской лаконичностью. "Увы, - ответил его брат, - я и так отважился на слишком многое". Даву также высказал мнение, что теперь уже слишком поздно, поскольку депутаты твердо взяли бразды правления в свои руки и находятся под защитой Национальной гвардии Парижа.

И поэтому Наполеон пустил дело на самотек. По правде говоря, он был "сбит с толку" разобщенностью Франции. Это была Франция, которую он не знал, земля, отданная *идеологам* и предателям. Его собственный министр, Фуше, стремился подорвать его власть, и все же он не осмелился приказать расстрелять его! Что удивительного, что беспомощный самодержец беспокойно расхаживал взад и вперед или сидел как во сне! Вечером Карно отправился к пэрам, Люсьен - к депутатам, чтобы призвать к объединению национальных усилий против Коалиции, но ни простая серьезность одного, ни братский пыл другого в равной степени не помогли. Когда Люсьен, наконец, возмущился любым побегом Наполеона, Лафайет яростно обрушился на него с длинной историей о дорогостоящих жертвах, которые Франция принесла в алтарь славы Наполеона, и заключил: "Мы сделали для него достаточно: наш долг - спасти *отечество*".

На следующее утро пришло известие, что Груши сбежал от пруссаков и что остатки войска Наполеона собираются в Лаоне. Но не придаст ли это поощрение императору смелости сокрушить непокорные Палаты? Очевидно, дело было срочным. Он должен отречься от престола, иначе они свергнут его с престола — таков был смысл их послания Елисейскому дворцу; но в качестве акта милосердия они предоставили ему *час*, чтобы предупредить их действия. Вскоре после полудня, по совету своих министров, он сделал последний шаг в своей официальной карьере. Люсьен и Карно некоторое время умоляли его отречься от престола только в пользу его сына; ^[529] и он так и сделал, но с горьким замечанием: "Сын мой! Что за химера! Нет, я отрекаюсь от престола ради бурбонов! Они, по крайней мере, не узники Вены".

Депутаты разделили его мнение. Несмотря на отчаянные усилия бонапартистов, они обошли Наполеона II без какого-либо реального признания и сразу же назначили исполнительную комиссию из пяти человек — Карно, Коленкура, Фуше, Гренье и Кинетта. Трое из них были цареубийцами, и Фуше был избран их президентом. Мы можем оценить гнев Наполеона, увидев, что ситуация таким образом быстро вернулась к тому, что было до Брюмера, по его

язвительному замечанию, что он уступил место королю Рима, а не Директории, в состав которой входили один предатель и два младенца. Его возмущение было справедливым. Отречение, навязанное *идеалогами*, было отвратительным; то, что его сменил Фуше, казалось непростительным оскорблением; но он испытал самую глубокую степень унижения 25-го числа, когда получил от этого презренного интригана приказ покинуть Париж.

Он подчинился в то первое воскресенье после Ватерлоо, спокойно уехав в Мальмезон, где к нему присоединились Гортензия Богарне и несколько верных друзей. В этом зловещем жилище, где Жозефина испустила дух вскоре после его первого отречения, он провел четыре нелегких дня. Временами он был полон борьбы. Он отправил в "Монитор" прокламацию, призывающую армию приложить "еще немного усилий, и Коалиция будет распущена". Манифест был запрещен по приказу Фуше.

Тем временем захватчики быстро продвигались к Компьеню. Они не встретили попыток национального восстания, что доказывает, что прием, оказанный Наполеону в марте, был главным образом результатом преданности армии и общей неприязни к бурбонам. Это клевета на французский народ - предполагать, что истинно национальный порыв в его пользу исчез бы с одним поражением. Тщетно Временное правительство добивалось перемирия, которое остановило бы наступление. Веллингтон наотрез отказался, но Блюхер заявил, что рассмотрит этот вопрос, если Наполеон будет передан ему, *живым или мертвым*. Услышав об этом, Веллингтон сразу же направил своему союзнику частное обращение, в котором Гнейзенау заявил, что, поскольку герцога сдерживают *парламентские соображения и желание продлить жизнь злодея, чья карьера расширила могущество Англии*, пруссаки позаботятся о том, чтобы Наполеон был передан им для казни в соответствии с декларацией Венского конгресса. ^[530]

Но Временное правительство действовало честно по отношению к Наполеону. 26-го Фуше послал генерала Беккера присмотреть за ним и посоветовать ему отправиться в Рошфор, *по пути* в Соединенные Штаты, для чего у Веллингтона попросили паспорта. Беккер обнаружил, что экс-император подвержен быстро меняющимся настроениям. Одно время он казался "погруженным в некую *кротость* и очень заботившимся о своей непринужденности и комфорте": он обильно ел за едой; или же снова изображал довольно грубую веселость, демонстрируя свое уважение к Беккеру, дергая его за ухо. Его планы менялись в зависимости от настроения. Он заявил, что бросится в центр Франции и будет сражаться до конца, или что он сядет на корабль в Рошфоре с Бертраном и Савари в одиночку и проскользнет мимо английской эскадры; но когда мадам Дж. Бертран воскликнул, что это было бы жестоко по отношению к ней, и с готовностью отказался от этого плана. ^[531]

Нелегко оценить его чувства в это время. За исключением одного порыва жалости к Франции в адрес Лавалетта, он, похоже, не осознавал, насколько невыразимо пагубным было его влияние на землю, которую он застал в фазе победоносной экспансии, а теперь оставил распростертой у ног союзников и бурбонов. Ненависть и презрение к высшим классам за их "непостоянное" бегство от него - вот что, если мы можем судить по его частым упоминаниям этой темы во время путешествия, было самыми сильными чувствами в его душе; и это может объяснить, почему он колебался между мыслью поставить все на последнюю попытку против союзников и планом возобновить в Америке карьеру, которая теперь закрыта для него в Европе.

Он определенно не был жертвой оцепенения и тупого отчаяния. Его мозг все еще жадно хватался за общественные дела, словно не в силах осознать, что они вышли из-под его

контроля; и его поведение показывало, что он все еще *не был политиком*, для которого власть была всем во всем. Прощаясь со своими преданными последователями, он не выказал особых признаков глубокого волнения, но было ли это следствием внутренней твердости, или негодования по поводу своего падения, или чувства благородного благоразумия, сказать невозможно. Когда Денон, дизайнер его медалей, со слезами на глазах прощался с ним, он заметил: *Дорогой мой, никто не должен присутствовать при этом: что происходит в кризисе, комильфо-се, что происходит в спокойствии*. Это, несомненно, было одним из источников его власти над эмоциональными людьми: его чувства были слугой, а не хозяином его разума.

Тем временем пруссаки приближались к Парижу. Рано утром 29-го они были в Аржантее, и Блюхер выделил летучую колонну, чтобы захватить мост Шату через Сену близ Мальмезона и следующей ночью увести Наполеона. Но Даву и Фуше предотвратили эту опасность. В то время как маршал забаррикадировал или сжег ближайшие мосты через Сену, Фуше в ночь с 28 на 29 послал Наполеону приказ немедленно отправиться в Рошфор и отплыть на двух фрегатах, хотя английские паспорта еще не прибыли.

Он воспринял новость спокойно, а затем с необычным воодушевлением попросил Беккера представить правительству план быстрого сосредоточения войск вокруг Парижа, после чего он, *как генерал Бонапарт*, должен был заставить врасплох сначала Блюхера, а затем Веллингтона — их разделяло два дневных перехода: затем, разгромив врага, он возобновит свое путешествие к побережью. Комиссия ничего этого не хотела слышать. Отчеты показывали, что французские войска были настолько деморализованы, что надеяться на успех не приходилось. ^[532] А если бы у Блюхера отняли второй Монмираиль, принесло бы это больше славы Наполеону или бесполезного кровопролития Франции? Те, кто смотрит на мир как на арену подвигов героев за счет обычных смертных, могут поаплодировать этой схеме. Но могли ли люди, ответственные перед Францией, рассматривать это как нечто иное, кроме как последнее доказательство извращенного оптимизма Наполеона, или вспышку его неутолимого честолюбия, или последнюю безумную попытку к власти? Он выказал признаки гнева, услышав об их отказе, но в 6 часов вечера отправился в Рошфор; и таким образом пруссаки были лишены своей добычи на несколько часов. Его сопровождали Бертран, Савари, Гурго и Беккер.

Приветственные крики войск и населения в Ньоре, а затем в Рошфоре, куда он прибыл 3 июля, вновь пробудили в нем боевые инстинкты; и поскольку западные ветры лишили его всякой надежды на то, что два фрегата быстро проскользнут через любой из возможных выходов, чтобы ускользнуть от британских крейсеров, он снова попросил разрешения принять командование французскими войсками, которые теперь начали отступать из Парижа за линию Луары. И снова его предложение было отклонено; и сообщения приходили густо и быстро, в них Беккер просил увезти его с материка. Таково было желание его лучших друзей. Париж капитулировал перед союзниками 4 июля, и как французские роялисты, так и пруссаки стремились заполучить его. Таким образом, пока он разрабатывал планы кампании на Луаре, пошатнувшееся правительство в Париже настаивало на его отправке, намекая, что в случае дальнейших задержек будет применена сила. К сожалению, затем, 8 июля, он поднялся на борт "Саале", пришвартованного недалеко от Иль д'Экс, напротив устья Шаранты.

Теперь он был в тяжелом положении. Приказы из Парижа категорически запрещали ему снова ступить на материк, и большинство крупных городов уже подняли белый флаг. Перед ним был

Бискайский залив, охваченный британскими крейсерами, спастись от которых французские морские офицеры почти не надеялись. Среди свиты Наполеона, в которую теперь входили Монтолон, Лас Касес и Лальман, ходили разговоры о попытке бегства с Жиронды или в трюме небольшого датского шлюпа, находившегося тогда в Рошфоре, или на двух рыбацких лодках, пришвартованных к северу от Иль-де-Ре; но от этих планов отказались из-за пристального наблюдения наших крейсеров во всех точках. Следующий день принес депешу из Парижа, в которой экс-императору предписывалось отплыть в течение двадцати четырех часов.

На следующий день Наполеон отправил Савари и Лас Кейса с письмом на корабль Его превосходительства "Беллерофонт", курсировавший тогда по главному каналу — между островами Олерон и Ре, — спрашивая, поступило ли разрешение на путешествие Наполеона в Америку, или его отъезду помешают. Савари также поинтересовался, будет ли прекращен его проезд на торговом судне. Командир, капитан Мейтленд, получил строгий приказ перехватить Наполеона; но, стремясь выиграть время и догнать адмирала Хотэма с другими кораблями, он ответил, что выступит против фрегатов силой: он также не мог позволить Наполеону отплыть на торговом судне, пока у него не будет ордера на это от своего адмирала. "Беллерофонт", "Мирмидон" и "Слэни" теперь подошли ближе, чтобы охранять средний пролив, в то время как корвет наблюдал за каждым из труднодоступных выходов на севере и юге. ^[533]

Последовали три дня печали и неизвестности. 12-го числа пришло известие о вступлении Людовика XVIII в Париж, падении Временного правительства и всеобщем поднятии *лилий* по всей Франции. 13-го числа Жозеф Бонапарт приехал на Иль д'Экс для последнего свидания со своим братом. Монтолон утверждает, что экс-король предложил поменяться местами с экс-императором и таким образом дать ему шанс сбежать на нейтральном корабле из Жиронды. Гурго не упоминает ни о каком подобном предложении, как и Бертран в своем письме Жозефу от 14 июля. В любом случае, это не было подвергнуто испытанию, поскольку на материке свирепствовал роялизм, и два наших крейсера курсировали около Жиронды. К сожалению, два брата расстались, и навсегда. Затем снова обсуждались другие планы только для того, чтобы от них снова отказались; и поздно вечером 13-го Наполеон продиктовал следующее письмо, которое Гурго должен был передать принцу-регенту:

"Столкнувшись с группировками, которые отвлекают мою страну, и с враждебностью величайших держав Европы, я завершил свою политическую карьеру и, подобно Фемистоклу, прибегаю к гостеприимству британского народа. Я отдаю себя под защиту их законов, которых я требую от вашего королевского высочества как самого могущественного, самого постоянного и самого великодушного из моих врагов". ^[534]

14-го Гурго и Лас Касас отнесли это письмо на "Беллерофонт", после чего Мейтленд заверил их, что он доставит Наполеона в Англию, Гурго предшествовал им на "Слэни"; но что бывший император *будет полностью в распоряжении нашего правительства*. Последнее было совершенно ясно разъяснено Лас Касесу, который понимал английский, хотя поначалу делал вид, что не понимает этого; но, к сожалению, Мейтленд не потребовал от него письменного подтверждения этого понимания. Гурго перевели на "Слейни", который вскоре отплыл в Торбей, в то время как Лас Кейсес доложил Наполеону на Иль д'Экс о случившемся. Вслед за этим Бертран написал Мейтленду, что Наполеон поднимется на борт завтра:

"... Если адмирал, в соответствии с требованием, с которым вы к нему обратились, пришлет вам разрешения на въезд в Соединенные Штаты, Его Величество отправится туда с удовольствием;

но в противном случае он добровольно отправится в Англию как частное лицо, чтобы пользоваться защитой законов вашей страны".

Итак, либо Лас Кейсз неверно истолковал слова и действия Мейтленда, либо Наполеон надеялся произвести впечатление на капитана только что процитированными заявлениями. Мейтленд не посылал в Хотэм за разрешениями; он не питал никаких надежд на то, что Наполеон отправится в Америку; он только обещал отвезти его в Англию, *чтобы он был в распоряжении принца-регента*. Наполеон, не обратив внимания на последнее условие, теперь пообещал отправиться в Англию не как император, а как частное лицо. Он предпринял этот шаг вскоре после рассвета 15-го, когда все последние надежды на его побег рухнули при виде корабля адмирала Хотэма "Суперб" в отдалении. Покидая французский бриг "Эпервье", он был встречен последними возгласами *"Да здравствует Император"*, которые стихли почти воем, когда его лодка приблизилась к "Беллерофонту". Там его встретили почтительно, но без приветствия. На нем была зеленая форма с золотыми и алыми окантовками полковника егерей-кавалера гвардии, белый жилет и военные ботинки; и Мейтленд подумал, что он "удивительно сильный, хорошо сложенный мужчина". Сохраняя жизнерадостный вид, он задал несколько вопросов о корабле и попросил показать ему его даже в такую рань, пока матросы мыли палубы. Он поинтересовался, справился бы "Беллерофонт" с двумя французскими фрегатами, и согласился с утвердительным ответом Мейтленда. Он выразил восхищение всем, что увидел, включая портрет жены Мейтленда, висевший в каюте; и капитан ощутил всю силу этого соблазнительного дара доставлять удовольствие, который был не наименее важной из способностей великого человека.

Его сопровождали генерал и мадам . Бертран, бывший высоким, стройным, красивым мужчиной с утонченными манерами и домашними привычками, хотя и чувствительным и вспыльчивым нравом; его жена, дама с худощавой фигурой, но величественной осанкой, дочь ирландца по имени Диллон, погибшего во время Революции. Ее жизнерадостные манеры свидетельствовали о теплой импульсивной натуре, которая упивалась великолепием своего высокого церемониального положения и теперь, казалось, была до предела измотана испытаниями, грозившими ей и троим ее детям. Бертраны были с Наполеоном на Эльбе и пользовались его полным доверием. Моложе их были генерал (граф) Монтолон и его жена — он, невысокий, но красивый мужчина, его супруга, милая непритязательная женщина, — которые продемонстрировали свою преданность бывшему императору, променяв роскошную жизнь на изгнание на службе у него. Граф Лас Касес, невысокий мужчина, чье худое нетерпеливое лицо и украдкой бросаемые взгляды выдавали его склонность к интригам, был старшим в компании. Он был морским офицером, затем жил в Англии как *эмигрант*, но после Амьенского мира поступил на государственную службу при Наполеоне; теперь он привел с собой своего сына, пятнадцатилетнего юношу, только что окончившего лицей. Нам незачем обращать внимание на фигуры Савари и Лаллемана, поскольку вскоре им предстояло расстаться. Хирург Менго, Маршан, старший камердинер, несколько слуг и смысленный маленький мальчик из семьи Монтолон завершали список.

Путешествие прошло без происшествий. Здоровье и аппетит Наполеона в целом были превосходными, и он меньше остальных страдал от морской болезни. Деликатный Лас Кейсес, надевший свою военно-морскую форму, был в таком отчаянии, что вызвал веселье команды, после чего Наполеон резко приказал ему явиться в штатском, чтобы не опозорить французский военно-морской флот. К самому великому человеку команда вскоре прониклась неподдельным

уважением, чему свидетельствует последнее признание одного из них Мейтленду: "Что ж, они могут оскорблять этого человека сколько угодно, но если бы народ Англии знал его так же хорошо, как мы, с его головы не упал бы и волос". — Какая дань уважения таинственной силе гения!

Миновав Ушант, он долго оставался на палубе, молчаливый и рассеянный, бросая меланхолические взгляды на землю, которую ему больше никогда не суждено было увидеть. Когда они приближались к Торбею, изгнанник громко восхвалял красоту этого места, которое он сравнил с Порто-Феррайо. Какие бы опасения он ни испытывал перед посадкой на "Беллерофонт", они, по-видимому, исчезли. С ним обращались со всей учтивостью, и он встретил только один отпор. Он подсказал мадам. Бертран, который хорошо говорил по-английски, попросил Мейтленда принять коробку с его (Наполеона) портретом, украшенным бриллиантами. На это капитан очень корректно ответил отказом. ^[535]

В Торбее среди отряда начали нарастать неприятности. Гурго присоединился к ним 24-го: ему не разрешили приземлиться. 26-го пришел приказ "Беллерофонту" следовать в Плимут; и распространился слух, что их пунктом назначения будет остров Святой Елены. Это было правдой. 31 июля сэр Генри Банбери, секретарь Адмиралтейства, и лорд Кейт, адмирал, командующий флотом в Плимуте, представили ему в письменном виде решение нашего правительства о том, что для предотвращения любых дальнейших нарушений мира в Европе было решено ограничить его свободу — "в любой степени, которая может быть необходима для достижения этой первой и первостепенной цели" - и что остров Святой Елены будет его местом жительства, поскольку он безопасен для здоровья и допускает меньшую степень ограничений, чем может потребоваться в другом месте.

Против этого он выступил с пространством протестом, заявив, что он не был военнопленным, что он прибыл в качестве пассажира на "Беллерофонте" "после предварительных переговоров с командиром", что он требовал соблюдения прав британского гражданина и хотел поселиться в загородном доме вдали от моря, где он подчинился бы надзору комиссара за своими действиями и перепиской. Остров Святой Елены убьет его через три месяца, потому что он привык проезжать по двадцать лье в день; он предпочитал смерть острову Святой Елены. Поведение Мейтленда было преднамеренной ловушкой. Лишить его (Наполеона) свободы было бы вечным позором для Англии; ибо, прибыв к нашим берегам, он предложил принцу-регенту лучшую страницу своей истории. Затем наши чиновники поклонились и удалились. Он вспомнил Кита, и когда тот заметил, что отправиться на остров Святой Елены лучше, чем быть отправленным к Людовику XVIII. или в Россию, пленник воскликнул: "Россия! Сохрани меня Бог от этого". ^[536]

Нет необходимости подробно разбирать его заявления. Приведенный выше перечень фактов показывает, что он был на исходе своих возможностей и что Мейтленд не поставил ни единого условия относительно того, как его примут в Англии. Действительно, Наполеон никогда не упрекал Мейтленда; он предоставил это делать Лас Кейсу; и капитан легко опроверг эти инсинуации с одобрения Монтолона. Если и возникло какое-то недоразумение, то, безусловно, из-за дел Las. ^[537]

Действительно, мысль о том, что Наполеон уныло обосновался в Центральных графствах, нелепа. Как мог человек, который упивался грандиозными планами, чей разум работал сам на себя, если не было фактов и цифр, которые нужно было бы отшлифовать, или трудностей,

которые нужно было преодолеть, когда-либо опуститься до уровня Мелкого судьи? И если бы он жаждал покоя, позволила бы ему отдохнуть Оппозиция в Англии и недовольные во Франции? Он неизбежно стал бы местом объединения всех недовольных Европы. Кроме того, наши обязательства перед союзниками обязывали нас надежно охранять его; и у нас было мало личных обязательств перед человеком, который во время Амьенского мира настойчиво убеждал нас изгнать бурбонов с нашей земли, который при его заключении насильно удерживал 10 000 британцев вопреки законам наций и чьи амбиции добавили 600 000 000 фунтов стерлингов к нашему национальному долгу.

Министры приняли решение относительно острова Святой Елены к 28 июля. Их решение было подкреплено Меморандумом генерала Битсона, покойного губернатора острова, датированным 29 июля, в котором рекомендовалось использовать остров Святой Елены, поскольку все места высадки были защищены батареями, а семафоры, недавно установленные на высоких утесах, позволили бы заметить приближение спасательной эскадрильи на расстоянии шестидесяти миль и быстро передать новость в дом губернатора. Соответственно, апелляция и протесты Наполеона были проигнорированы; и, следуя совету, который только что получил Каслри из Парижа, министры решили обращаться с ним не как с нашим пленником, а как с пленником всех Держав. Была принята Конвенция о его задержании; она была подписана 2 августа в Париже и обязывала другие державы прислать уполномоченных в качестве свидетелей безопасности содержания под стражей. ^[538]

Его отъезд из Плимута ускорили любопытные происшествия. Толпы людей собирались там, чтобы увидеть великого человека, и косяки лодок — Мейтленд говорит, что в погожие дни их бывает больше тысячи — боролись и толкались, чтобы подобраться как можно ближе к "Беллерофонту", насколько позволяли сторожевые катера. Два или три человека утонули, но рой все еще продолжал наступать. Многие мужчины носили гвоздики — Лас Кейсу это показалось обнадеживающим знаком, - а женщины махали носовыми платками — когда он появлялся на юте или у открытого трапа. Мейтленда предупредили, что попытка спасения будет предпринята в ночь с 3-го на 4-е; и, конечно, французы в то время были очень беспокойны. Они верили, что если бы Наполеон только смог ступить на берег, он должен был бы получить права Хабеас Корпус. ^[539] И, казалось, у него был какой-то шанс заполучить их. Очень рано 4 августа из Лондона приехал человек, привезший повестку из Суда королевской скамьи, чтобы заставить лорда Кита и капитана Мейтленда предъявить личность Наполеона Бонапарта для явки в Лондон в качестве свидетеля по делу о клевете, которое тогда еще продолжалось. Похоже, что на кого-то должен был быть подан иск за клевету на морского офицера, осуждающего его поведение в Вест-Индии; и было высказано предположение, что, если он (ответчик) сможет получить доказательства Наполеона, подтверждающие, что французские корабли в то время были непригодны к эксплуатации, его дело будет усилено. Поэтому адвокат прибыл в Плимут, вооруженный повесткой в суд, с помощью которой он преследовал Кита по суше и по морю, пока его запыхавшихся гребцов не остановила крепкая команда адмиральской баржи. Кейт также нашел способ сообщить Мейтленду, как обстоят дела, рано утром 4-го, после чего "Беллерофонт" вышел в море, а его сторожевой катер держал на расстоянии назойливого человека с судебным приказом.

Все это выглядит очень подозрительно. Какому подсудимому по простому прямолинейному делу когда-либо пришло бы в голову прибегнуть к такому надуманному средству, как заставить бывшего императора заявить под присягой, что его военные корабли в Вест-Индии были

непригодны к плаванию? Заманчивая мысль о том, что это была уловка какого-нибудь предприимчивого журналиста в поисках "копии", также должна быть отброшена как вопиющий анахронизм. С другой стороны, несомненно, что доброжелатели Наполеона в Лондоне и Плимуте переворачивали небо и землю, чтобы вытащить его на берег или отсрочить отплытие.

[540] Как и Сийес, Лавалетт и Лас Кейсес, он возлагал большие надежды на особенности английского права; и 28 июля он продиктовал Лас Кейсесу документ, "пригодный для использования юристами", который, по словам последнего, ему удалось отправить на берег. [541] Если это правда, то сам Наполеон, возможно, подтолкнул своих друзей к только что описанным усилиям. Или же этот план мог прийти в голову кому-то из его английских поклонников, которые хотели поставить Министерство в неловкое положение. Если это так, то их попытку постигла участь, которая обычно постигает усилия наших антинациональных клик, выступающих от имени своих зарубежных героев: это нанесло им вред: власти действовали быстрее, чем они могли бы сделать в противном случае: "Беллерофонт" вышел в море на несколько дней раньше, чем ожидали французы, в результате чего они были вынуждены отправиться в неприятное плавание, пока "Нортумберленд" (корабль, предназначенный для плавания вместо славного старого "Беллерофонта") не был готов принять их на борт. [542]

Выйдя из Портсмута, новый корабль встретил "Беллерофонт" и "Тоннант", корабли лорда Кита, на старте. Перевалка состоялась 7-го числа с подветренной стороны Берри-Хед, Торбей. Продиктовав торжественный протест против примененного к нему принуждения, экс-император поблагодарил Мейтленда за его благородное поведение, рассказал о своей надежде купить небольшое поместье в Англии, где он мог бы спокойно закончить свои дни, и резко выступил против правительства.

Затем контр-адмирал сэр Джордж Кокберн с "Нортумберленда" прибыл по официальному приказу обыскать его багаж и багаж его свиты, чтобы изъять любые крупные суммы денег, которые впоследствии могли быть использованы для осуществления побега. Савари и Маршан присутствовали, когда секретарь Кокберна делал это со всей возможной деликатностью: 4000 золотых наполеонов (80 000 франков) были задержаны, чтобы обеспечить фонд для частичного содержания прославленного изгнанника. Бриллиантовое ожерелье, которое Гортензия вручила ему в Мальмезоне, в то время было спрятано у Лас Кейс, который продолжал хранить его как святыню. Сопровождающие экс-императора должны были сдать свои мечи во время путешествия. Монтолон утверждает, что, когда Кейт обратился с той же просьбой к Наполеону, единственным ответом была вспышка гнева в его глазах, под которой высокая фигура адмирала съежилась, а его голова, поседевшая с годами, упала на грудь. Увы, за попытку изобразить мелодраму! *Лорд Кит недвусмысленно велел Мейтланду не обращаться с подобной просьбой к павшему вождю.*

За исключением одного или двух восклицаний о том, что он скорее покончит с собой, чем отправится на остров Святой Елены, Наполеон вел себя спокойно и безмятежно, что контрастировало с раздражительной мрачностью его офицеров и судорогами мадам. Бертран. Эта несчастная дама, узнав об их судьбе, по очереди обрушилась с яростью на Мейтленда, Гурго, Наполеона и на своего мужа за то, что сопровождала его, и закончила тем, что попыталась выброситься из окна. Это заставило ее отступить, после чего она успокоилась и тайно убедила Мейтленда написать лорду Киту, чтобы помешать Бертрану сопровождать своего хозяина. Капитан так и сделал, но адмирал, конечно, отказался вмешиваться. Однако ее резкие жалобы на Наполеона были услышаны по другую сторону тонкой перегородки и усилили

неприязнь, которую Монтолон и Гурго питали к ней и отчасти к ее мужу. Это были офицеры, которых он выбрал в качестве товарищей по изгнанию. Лас Касес должен был стать секретарем, а его сын - пажом.

Савари, Лаллеман и Планат, объявленные Людовиком XVIII вне закона, были задержаны нашим правительством и впоследствии интернированы на Мальте. Прощаясь с Наполеоном, они проявили глубокое волнение, в то время как он обнял их на прощание с замечательным самообладанием. Хирург Мэнго теперь отказался ехать на остров Святой Елены, утверждая, что он хотел поехать в Америку только потому, что его дядя должен был оставить ему там наследство! В то же время Бертран попросил, чтобы О'Мира, хирург "Беллерофонта", мог сопровождать Наполеона на остров Святой Елены. Поскольку оправдание Мэнгода было очень неубедительным, а О'Мира имел одну или две беседы с Наполеоном *по-итальянски*, Кейт и Мейтленд должны были видеть, что между ними было некоторое взаимопонимание; но адмирал согласился на предложенное изменение. Что касается двуличия О'Мира, мы можем процитировать "Ватерлоо и остров Святой Елены" Бэзила Джексона: "Я знаю, что он [О'Мира] был *полностью зачислен* на службу Наполеону во время путешествия из Рошфора в Англию". Продолжение покажет, какой катастрофой было позволить этому человеку поехать с экс-императором.

На адмиральской барже, доставившей его на "Нортумберленд", экс-император "казался в прекрасном расположении духа, - говорит Кит, - говорил о Египте, Святой Елене, о том, что моя прежняя фамилия Эльфинстон, и о многих других предметах, и шутил с дамами по поводу морской болезни". ^[543] Таким твердым, деловитым тоном Наполеон воспринял необычайную перемену в своей судьбе. Пожалуй, никогда в своей жизни он не был так велик, как тогда, когда, забыв о собственном стремительном падении, стремился развеять меньшие горести мадам. Бертран и Монтолон. Среди команды воцарилась тишина, когда Наполеон взобрался на борт и ступил на палубу корабля, который должен был увезти его в изгнание. Это было зрелище, на которое никто не мог смотреть равнодушно, когда великий человек обнажился, принял приветствие и сказал твердым голосом: "Я здесь, генерал, по вашему приказу".

Сцена была богата не только личным интересом и пафосом, но и историческим значением. Это знаменует конец катастрофической эпохи и рассвет мрачного и запутанного века. Мы можем представить Музу Истории, рассеянно покинувшую свои жилища на берегах Сены, с изумлением вззирающую на это событие, происходящее с подветренной стороны Берри-Хед, и ее мысли, возможно, возвращаются к тем дням, когда Вильгельм Оранский причалил к берегу в том же месте и расстроил планы другого великого правителя Франции. Слава этой земли теперь снова окутана мраком. Какое-то время, подобно беспокойному призраку, Клио будет парить над сценами подвигов Наполеона и найдет мало что для записи, кроме нарушенных обещаний и остановленного развития его необучаемыми преемниками.

Но марш Человечества только заторможен: его не остановить. Вскоре она выходит на нехоженные тропы среди оживленных промышленных ульев или на пути колонизирующих народов. Муза следует за ним в замешательстве: ее путь поначалу кажется скучным и бесцельным: ее история, когда она прощается с Наполеоном, вызывает недоумение из-за падения драматического интереса; но, наконец, перед взором открываются новые и разнообразные области. Демократия, в течение семи печальных лет сражавшаяся с Наполеоном против своей сестры Национальности, мало-помалу приходит к осознанию ошибки, которая

погубила его и ее состояние, и начинает вступать в союз с обиженным защитником королей. Промышленность, истощенная войной, восстанавливает свои силы и вступает на путь завоеваний, более продолжительный, чем у великого воина. И народы, которые выходят на фронт, принадлежат не к латинской расе, которую его войны остановили, а к неукротимому тевтонскому роду, владыкам морей и лидерам Центральной Европы.

С тех пор обращение с бывшим императором сильно отличалось от того, которое было поспешно организовано царем во время его пребывания на Эльбе. В этом случае он сохранил титул императора; он правил островом и был волен совершать каботажные путешествия. Поскольку эти щедрые меры привели к тому, что Европа потеряла более 80 000 человек убитыми и ранеными, неудивительно, что британские министры теперь должны были настаивать на гораздо более строгих правилах, тем более что они и их комиссар были заклеены как соучастники предыдущего побега. Его комфорт и достоинство теперь были подчинены безопасности. Поскольку титул императора позволял ему претендовать на привилегии, несовместимые с любыми мерами надзора, ему в этом было твердо и последовательно отказано; в то время как он столь же настойчиво требовал этого, и, несомненно, по той же причине. Теперь он должен был получить звание генерала, не состоявшего на действительной службе; и Кокберн получил приказ, относясь к нему с почтением и отводя ему почетное место за столом, воздерживаться от какого-либо признания императорского достоинства. Вскоре Наполеон подвергнул этот вопрос испытанию, поднявшись с обеда раньше, чем остальные закончили; но, за исключением его свиты, остальные не сопровождали его на палубу. Это его сильно задело, как и то, что офицеры не раскрылись в его присутствии на шканцах; но когда поведение Кокберна в этом отношении было признано вполне последовательным, гнев изгнанников начал утихать — или, скорее, он был подавлен.

Можно было бы пожелать, чтобы поведение нашего правительства в этом вопросе было более рыцарским. Это правда, что мы только в двух случаях признавали императорский титул, а именно во время переговоров 1806 и 1814 годов; и признавать его после того, как он был объявлен вне закона, было бы довольно нелогично, к тому же питало бонапартистов надеждами, которые в интересах Франции было бы полностью прекратить. Министры могли бы также настаивать на том, что он сам предложил жить в Англии как *частное лицо* что его перевод на остров Святой Елены, который допускал большую личную свободу, чем это могло быть предоставлено в Англии, не изменил существенного характера его содержания под стражей. Тем не менее, об их решении приходится сожалеть. Рвение его сторонников отнюдь не угасло, а было воспламенено тем, что они сочли беспричинным оскорблением; и эти чувства, искусно вызванные рассказами, медалями и изображениями современного Прометея, прикованного к скале, сыграли немалую роль в разжигании беспорядков во Франции.

Если не считать этих первоначальных трений, отношения Наполеона к адмиралу и офицерам были довольно сердечными. Он болтал с ним за обеденным столом и во время часовой прогулки, которую они после этого обычно совершали на шканцах. В его разговорах не было никаких признаков отчаяния или умственной летаргии. Они касались самых разных тем, общих и личных. Он обсуждал детали навигации и кораблестроения с такой скрупулезностью знаний, которая удивляла моряков.

Из его политических бесед с Кокберном мы можем извлечь следующие замечания. Он сказал, что на самом деле намеревался вторгнуться в Англию в 1803-5 годах и продиктовать условия мира в Лондоне. Он стойко защищал казнь герцога Энгиенского и не назвал ни одного из тех ничтожных оправданий, которые позже нашли его поклонники для этого преступления. Ссылаясь на недавние события, он обрушился с критикой на французских либералов, заявил, что слишком потакал Палатам и подробно остановился на опасности представительных институтов на Континенте. Как бы ни устраивал Англию парламент, он заявил, что в Континентальных государствах это крайне опасно. Что касается будущего Франции, он выразил убеждение, что, как только оккупационные армии будут выведены, произойдет всеобщее восстание из-за сильного военного предубеждения народа и его ненависти к бурбонам, которые теперь снова возвращены опустошительными ордами иностранцев. ^[544]

Это последнее замечание, вероятно, объясняет общую жизнерадостность его осанки. Он не считал нынешнее соглашение окончательным; и, несомненно, именно его безграничный запас надежды позволил ему одержать победу над неудобствами настоящего, которые сделали его товарищей угрюмыми и раздражительными. "Настроение у него ровное, - писал Гловер, секретарь адмирала на экваторе, - и он, кажется, совершенно не озабочен своей судьбой". ^[545] Его развлечениями были шахматы, в которые он играл скорее страстно, чем умело, и азартные игры, особенно *ва-банк*: он начал учиться "игре в вист" у наших офицеров. Иногда они с Гурго развлекались, извлекая квадратные и кубические корни из чисел; он также начал изучать английский язык по падежам *Las*. Иногда он развлекал своих спутников-мужчин рассказами о своих приключениях, как военных, так и любовных. Его интерес к кораблю и событиям плавания не ослабевал. Когда акулу поймали и вытащили на поверхность, "Бонапарт с рвением школьника вскарабкался на ют, чтобы увидеть ее".

Его здоровье оставалось превосходным. Несмотря на то, что он избегал овощей и чрезмерно употреблял мясо, он почти не страдал от несварения желудка, за исключением нескольких дней свирепого ветра сирокко с Мадейры. Он позавтракал около 10 часов мясом и вином и оставался в своей каюте, читая, диктуя или изучая английский язык примерно до трех часов дня, когда играл в игры и делал зарядку, готовясь к ужину в 5. После сытного обеда, в котором он отдавал предпочтение самым изысканным мясным блюдам, он час или больше прогуливался по палубе. Однажды вечером адмирал попросил извинить его из-за сильного экваториального ливня; но бывший император, как обычно, поднялся наверх, сказав, что дождь повредит ему не больше, чем матросам; и дождь не повредил. Этот инцидент заслуживает некоторого внимания, поскольку доказывает, что, что бы ни говорили более поздние авторы об упадке его жизненных сил в 1815 году, сам он не подозревал об этом и безнаказанно шел на риск, которого энергичный морской офицер предпочитал избегать. Более того, сам факт, что он был в состоянии придерживаться тяжелой мясной диеты на протяжении всех тропиков, свидетельствует об исключительной силе организма, еще не ослабленного внутренним недугом, который должен был стать его судьбой.

О том, что во время трапез не было недостатка в одном элементе праздничности, свидетельствует официальный отчет о потреблении вина за столом адмирала его семью французскими гостями и шестью британскими офицерами: портвейн - 20 дюжин; кларет - 45 дюжин; Мадера - 22 дюжины; Шампанское - 13 дюжин; Херес - 7 дюжин; Мальмси - 5 дюжин. ^[546] "Перуанец" был выделен из состава эскадры на Гернси, чтобы пополнить запас французских

вин специально для изгнанников; а 15 дюжин кларета — любимого напитка Наполеона — впоследствии были отправлены на берег острова Святой Елены для его употребления.

Несомненно, ровное состояние его здоровья, которое одинаково удивляло Кокберна, Уордена и О'Миру, было во многом обусловлено его железной волей. Он знал, что его изгнание, должно быть, неприятно, но у него была та полезная способность замыкаться в настоящем, которая притупляет остроту заботы. Кроме того, его вкусы не были столь взыскательны, а темперамент — столь непостоянен, чтобы окутывать его мраком, который окружает более слабые натуры в трудную минуту. К несчастью для него, с его товарищами дело обстояло совсем иначе. Впечатлительный молодой Гурго, задумчивый Лас Касес, жизнерадостный, любящий удовольствия Монтолон, мрачный великий маршал Бертран и его непостоянная супруга, по лицу которой часто пробежал "отблеск рассеянности", — все они не были созданы для жизни, полной невзгод. Отсюда последовали долгие периоды скуки, прерываемые вспышками гнева, которыми было отмечено путешествие и пребывание на острове Святой Елены.

Центром шторма, как правило, была мадам Дж. Бертран; ее переменчивые настроения, свидетельствовавшие о ее ирландско-креольском происхождении, рано навлекли на нее враждебность остальных, включая Наполеона; и поскольку раскрытие ее маленького заговора с целью помешать Бертрану отправиться на остров Святой Елены дало им удобное оружие, путешествие стало для нее одной долгой борьбой со скрытыми интригами, тонко завуалированным сарказмом, морской болезнью и отчаянием. В конце концов ей приходится оставаться в своей каюте из-за какого-то нервного расстройства. Услышав об этом, Наполеон замечает, что было бы лучше, если бы она умерла — таков отчет Гурго о его словах. К сожалению, она выздоравливает: через десять дней она появляется снова, принимает поздравления офицеров в большой каюте, где Наполеон играет в шахматы с Монтолоном. Он встречает ее бесстрастным взглядом и продолжает игру. Через некоторое время адмирал подводит ее к ее месту за обеденным столом, слева от бывшего императора. Шеф по-прежнему не узнал ее! Но бутылки кларета, которая должна была стоять перед ним, там нет: она протягивает ее ему. Затем следуют долгожданные слова: "Ах! прокомментируйте сеньору портье?" — Вот и все. ^[547]

Для Бертрана, даже в его менее дружелюбном настроении, у Бонапарта всегда находилось дружеское слово, питающее источник преданности. В "Беллерофонте", когда они горячо спорили по тривиальному вопросу, Бертран раздраженно отвечал на его догматические заявления: "О! если вы ответите в такой манере, всем спорам конец". Наполеон несколько не обиделся на этот ответ, но успокоил его и быстро вернул ему хорошее расположение духа — хороший пример его снисходительности к тем, кем он действительно восхищался.

Конечно, изгнанники не были счастливы между собой. Даже любезная мадам. Монтолон была причиной одной ссоры за столом. Покинув Фуншал, Кокберн заявляет, что тамошний католический священник предложил сопровождать экс-императора. Наполеон отвечает так, что это доказывает его полное безразличие; но дамы переходят к теме религии. Дискуссия становится жаркой, пока пылкий Гурго не отпускает замечание о том, что Монтолону не хватает уважения к своей жене. После чего адмирал заканчивает сцену, вставая из-за стола. Сэр Джордж Бингхэм, полковник 53-го полка, плававшего в составе эскадры, приводит комментарий в своем дневнике: "Нетрудно увидеть, что зависть, ненависть и всякое

безжалостие прочно укоренились в семье Наполеона, и что их пребывание на острове Святой Елены будет из-за этого очень неудобным". ^[548]

Интриги там достигают калейдоскопической сложности, либо направленные против выдающегося Бертрана, либо из-за растущего влияния Лас Кейсов. Этот чиновник только вчера пробился в ближайшее окружение императора, и Гурго откровенно напоминает ему об этом факте: "Если я приехал [с императором], то это потому, что я следовал за ним в течение четырех лет, за исключением Эльбы. Я спас ему жизнь, а человек любит тех, кому он чем-то обязан.... Но вас, сэр, он не знал даже в лицо: тогда откуда эта ваша великая преданность?" — Я вижу вокруг себя, - продолжает он, - множество интриг и обманов. *Poor Gourgaud, qu'allais-tu faire dans cette galère?*" ^[549]

Влиянию молодого адъютанта не позволено ослабевать из-за отсутствия саморекламы. Таким образом, когда за столом упоминается битва при Ватерлоо, он сразу же излагает свою версию событий и стойко утверждает, что, *что бы Наполеон ни говорил об обратном*, он (Наполеон) действительно принял прусскую армию за войска Груши: и, становясь все более красноречивым на эту тему, он восклицает своему соседу Гловеру, "что когда-то он [Гурго] мог взять в плен герцога Веллингтона, но он *воздержался от этого, зная, к какому кровопролитию это привело бы*". ^[550] — Милосердно предположить, что это высказывание было навеяно какой-то жидкостью, более крепкой, чем предполагаемая "несвежая вода, которая побывала в Индии и обратно".

В целом, была ли когда-либо более странная компания товарищей по плаванию со времен Ноя? Жизнерадостный солидный адмирал, призрачный капитан Росс, который умеет управлять кораблем, но не раскрывает рта, разговорчивое создание типа секретаря, воинственный Бингхэм, грациозный придворный Монтолон, молодой генерал, превосходящий гасконцев, утонченный Лас Кейс, меланхоличный великий маршал и его судорожная супруга — все они здесь для того, чтобы охранять или подбадривать эту жалкую центральную фигуру, завоевателя мира и мирового изгнанника.

Тем временем Франция ощутила результаты своего недавнего предприятия. Огромные армии начали сдерживать ее до тех пор, пока бурбоны, чье ничтожество было залогом мира, не будут прочно восстановлены. Блюхера, которому отказали в желании застрелить Бонапарта, протесты Веллингтона и Людовика XVIII с трудом отговорили от взрыва Йенского моста в Париже; и свирепый ветеран выразил общее мнение немцев, включая Меттерниха, о том, что Франция должна быть разделена или, по крайней мере, вернуть Эльзас и Лотарингию Отечеству. Даже лорд Ливерпуль, наш осторожный премьер, написал 15 июля, что, если Бонапарт останется на свободе, союзникам следует сохранить все северные крепости в качестве гарантии. ^[551] Но знание того, что воин был в нашей власти, заставило наших государственных деятелей менее жестко относиться к Франции. С самого начала Веллингтон стремился образумить союзников, и 11 августа он написал депешу, которая заслуживает того, чтобы занять одно из первых мест в его послужном списке. Признавая, что Франция все еще оставалась "слишком сильной для остальной Европы", он указал, что "революционная Франция, скорее всего, огорчит мир, чем Франция, какой бы сильной ни была ее граница, при регулярном правительстве; и это ситуация, в которую мы должны попытаться поставить ее".

Это великодушное решение государственного деятеля, согласованное с решением царя, возобладало над немецкой политикой раздела; и в конечном итоге Парижским мирным

договором от 20 ноября 1815 года было установлено, что Франция должна уступить только пограничные полосы вокруг Мариенбурга, Саарбрюккена, Ландау и Шамбери, а также выплатить военную контрибуцию и вернуть их законным владельцам все произведения искусства, которые Наполеон разграбил в главных городах континента. В одном отношении эти условия были необычайно мягкими. Великобритания, приняв на себя основное финансовое бремя войны, могла бы заявить права на некоторые из французских колоний, которые она восстановила в 1814 году, или, по крайней мере, потребовать отказа Франции от претензий на часть побережья Ньюфаундленда. Даже это последнее не было сделано, и мы, единственные из государств, которые понесли потери в ценных жизнях, не потребовали территориальной компенсации за войну 1815 года. ^[552] По правде говоря, наши министры были довольны тем, что поставили Францию и ее древнюю династию в почетное положение в надежде, что таким образом Европа наконец обретет мир; и последовавшие за этим сорок лет почти непрерывного покоя оправдали их великодушные.

Но было одно условие, фундаментальное для Парижского мирного договора и важное для мира в Европе, а именно, что Наполеон должен находиться под надежной охраной на острове Святой Елены.

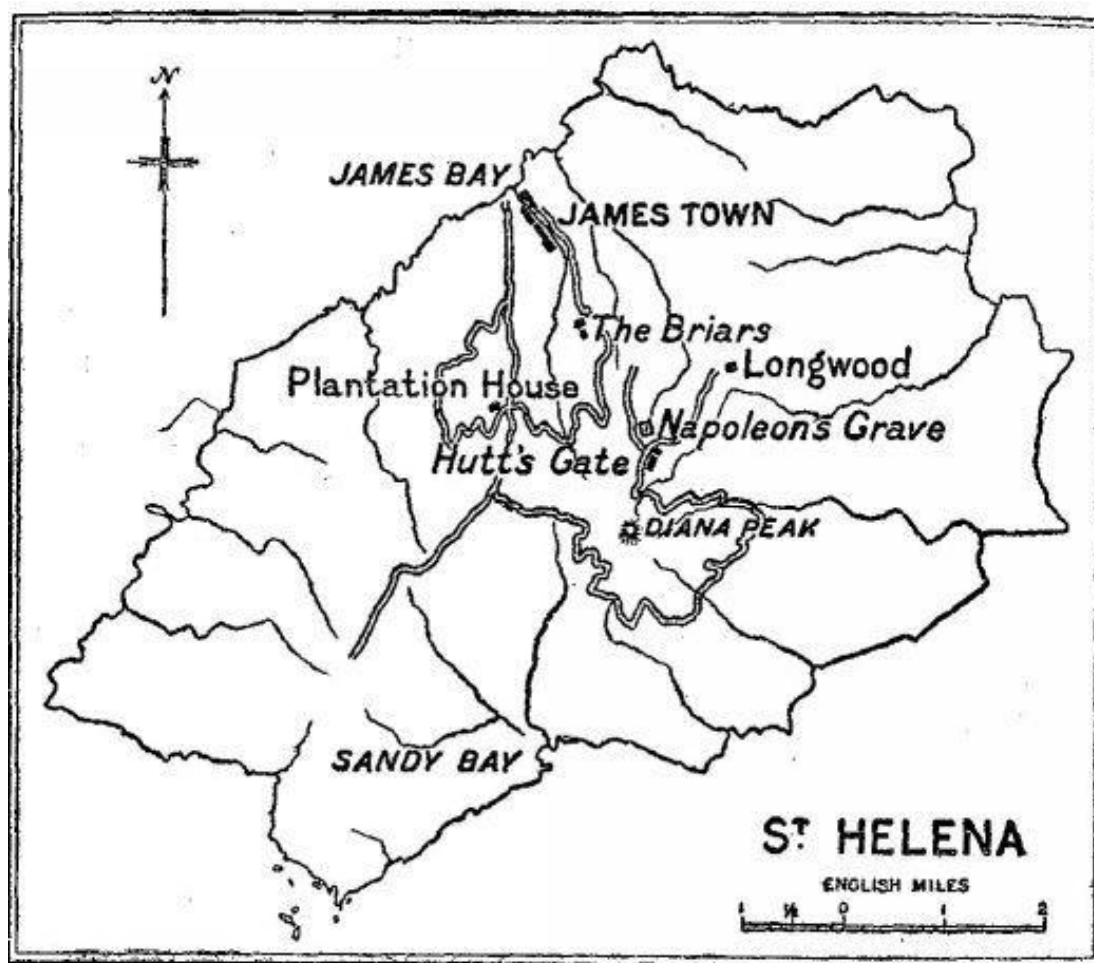
ГЛАВА XLII

ГОДЫ ЗАКРЫТИЯ

После шестидесятисемидневного путешествия изгнанники увидели остров Святой Елены — "эту черную бородавку, поднимающуюся из океана", как называет ее хирург Генри. Глубокое смятение овладело более чувствительными людьми, когда они смотрели на эти хмурые утесы. Каковы были чувства Наполеона, мы не знаем. Настороженное любопытство, казалось, взяло верх, потому что, когда они подъезжали к Джеймстауну, он внимательно рассматривал форты в подзорную трубу. После того как были сделаны приготовления к его приему, он высадился вечером 17 октября, чтобы не привлекать внимания местных жителей, и вошел в приготовленный для него дом в городе.

На следующий день он встал на рассвете и вместе с Кокберном и Бертраном поехал в Лонгвуд, резиденцию вице-губернатора. Приказы нашей Ост-Индской компании, которой тогда принадлежал остров, запрещали ему присваивать Плантейшн-Хаус, резиденцию губернатора; и взгляд на прилагаемую карту покажет причину этого запрета. Этот дом расположен недалеко от ручьев, которые полностью защищены от юго-восточных пассатов, откуда было бы легко выбраться на лодке; в то время как Лонгвуд находится ближе к берегу, избитому прибоем, и предлагает гораздо большую безопасность. Посоветовавшись с губернатором Уилксом и другими, Кокберн остановил свой выбор на этой резиденции.

"В Лонгвуде, - писал Кокберн, - имеется ровная местность, легко охраняемая часовыми, идеально приспособленная для прогулок верхом, в экипаже или для приятной прогулки пешком, чего нельзя встретить во всех других частях острова. Дом, конечно, маленький, но ... Я надеюсь, что плотники "Нортумберленда" через некоторое время смогут сделать такие пристройки к дому, которые сделают его если и не таким хорошим, как хотелось бы, то, по крайней мере, настолько удобным, насколько это необходимо ". ^[553]



ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

"Наполеон, - писал Гловер, - казался вполне удовлетворенным положением Лонгвуда и выразил желание занять его как можно скорее". Поскольку ему не нравилась шумиха вокруг дома в Джеймстауне, Кокберн по возвращении предложил ему поселиться в симпатичном маленьком бунгало недалеко от города под названием "Брайарз". Он с готовностью согласился и

поселился там на семь недель, заняв небольшую примыкающую пристройку, в то время как Лас Касес и его сын обосновались на двух чердаках. Был возведен шатер, служивший столовой. Для сеньора Тюильри это было тесное пространство, но он, похоже, не был несчастлив. Там он по утрам диктовал Меморандумы Лас Касесу или Гурго и часто присоединялся к соседней семье Балькомб за ужином и вечером. Поставщиком гостей был назначен мистер Балькомб, пожилой торговец; он и его жена были очень гостеприимны, а их две дочери пятнадцати и четырнадцати лет часто коротали вечерние часы Наполеона играми в вист или наивными вопросами. Однажды, чтобы доставить удовольствие младшей девочке, Наполеон сыграл в жмурки; в такие моменты она осмеливалась называть его "Бони"; и, нисколько не обижаясь на эту вольность, он наслаждался ее ликованием. Именно такие эпизоды, как этот, раскрывают более мягкие черты его характера, которые политический диктат заглушил, но не искоренил. ^[554]

В других отношениях время в "The Briars" было скучным и монотонным, и он горько жаловался Кокберну на неподходящие условия. Самые волнующие времена были связаны с прибытием газет из Европы. Только что поступившие сообщения о беспорядках в Англии и эксцессах роялистов во Франции подпитывали его надежды на всеобщие беспорядки или революции, которые могли бы привести к его отъезду. Он верил, что якобинцы все еще будут господствовать на Континенте. "Только я могу приручить их".

Не менее примечательны его комментарии по поводу процессов Лабедойера и Нея за их измену Людовику XVIII. Он не испытывает к ним жалости. "Никогда не следует нарушать своего слова, - заметил он Гурго, - и я презираю предателей". Услышав, что Лабедойер приговорен к смертной казни, он сначала проявляет больше чувств, но потом возвращается к прежней точке зрения: "Лабедойер поступил как человек без чести", а "Ней обесчестил себя". ^[555]

Таким образом, мы можем оценить значение, которое Наполеон придавал верности. Для него это единственная бесценная добродетель. Он уважает тех, кто стойко противостоит ему, и стремится расположить их к себе великодушием: к тем, кто *приходит*, он всегда испытывает тайное презрение; к тем, кто покидает его, - ненависть. Несомненно, именно поэтому он воспринял известие о казни Нея равнодушно. Каким бы блестяще храбрым ни был маршал, он бросил его в 1814 году и Людовика XVIII. в "Ста днях". Известие о несчастной судьбе Мюрата в конце его безумной экспедиции в Калабрию оставило Наполеона столь же холодным. "Я сообщаю роковую новость, - пишет Гурго, - Его величеству, выражение лица которого остается неизменным, и который говорит, что Мюрат, должно быть, был сумасшедшим, раз предпринял подобное предприятие". — Здесь его мысли, кажется, снова возвращаются к дезертирству Мюрата в 1814 году. Позже он говорит, что любил его за блестящую храбрость и поэтому прощал его многочисленные безумства. Но его нынешнее поведение показывает, что он так и не простил того, что произошло в 1814 году. ^[556]

Тем временем, благодаря энергии Кокберна и его матросов, Лонгвуд был готов к вечеринке (9 декабря 1815 г.), и адмирал надеялся, что их жалобы прекратятся. В новом жилище было пять комнат для Наполеона, три для Монтолонов, две для Лас Кейсов и одна для Гурго: оно располагалось на плато в 1730 футах над уровнем моря: воздух там был бодрящим, а на дальней стороне равнины, усеянной камедными деревьями, простиралось ипподром протяженностью в полторы мили с превосходным покрытием из дерна. Единственными очевидными недостатками были случайные туманы и бесплодные обрывистые ущелья, которые окружают плато со всех сторон. Однако, учитывая, что Наполеону не нравилась публичность Джеймстауна, изоляцию

Лонгвуда вряд ли можно было считать серьезной жалобой. Бертраны занимали Хаттс-Гейт, небольшую виллу примерно в миле отсюда.

Границы, в пределах которых Наполеон мог совершать физические упражнения без сопровождения британского офицера, образовывали примерно треугольное пространство, имеющее в окружности около двенадцати миль. За пределами этих границ он должен быть в таком сопровождении; и если в поле зрения появится чужой корабль, он должен вернуться в пределах этих границ. Письма всей группы должны находиться под контролем исполняющего обязанности губернатора. В этом суть официальных инструкций. Нелюбовь Наполеона к тому, чтобы его сопровождал британский офицер, заставляла его почти всегда ограничивать себя пределами Лонгвуда и вообще территорией Лонгвуда.

И где, мы можем спросить, можно было найти менее неприятное место содержания под стражей? В Европе он неизбежно должен был подвергнуться гораздо более строгому заключению. Ибо какие гарантии могли быть против тонкого интеллекта и личности, чье обаяние воспламеняло тысячи храбрецов в обоих полушариях жаждой снова отправиться с ним в его приключения? Лондонский тауэр, орлиное гнездо замка Дамбартон, даже сам Форт Уильям были названы в качестве возможных мест заключения. Подходили ли они для этого дитя Средиземноморья? Ему нужно было солнце, ему нужны были физические упражнения, ему нужно было общество. Все это он мог бы получить на плато Лонгвуд, в удивительно ровном климате, где тропическую жару смягчает юго-восточный пассат, а растения субтропического и умеренного поясов одинаково процветают. ^[557]

Но изгнанникам ничто не радовало. Они хандрили во время дождей; они содрогались при виде зияющих ущелий; они стонали при виде красномундирников; прежде всего, они понимали, что побег безнадежен перед лицом бдительной заботы Кокберна. Его первыми шагами по прибытии на остров было отправить на мыс семьдесят пять иностранцев, чье присутствие было нежелательным. Он также отправил "перуанец" поднять британский флаг на необитаемом острове Вознесения, чтобы, как он писал в Адмиралтейство, "помешать Америке или любой другой нации обосноваться там [*так в оригинале*] ... с целью способствовать рано или поздно побегу генерала Бонапарта. Четыре военных корабля также стояли на острове Святой Елены, и никакие торговые суда, кроме судов Ост-Индской компании, не должны были заходить туда, за исключением неблагоприятных погодных условий или когда им требовалась вода.

Эти меры предосторожности рано вызвали протесты изгнанников. У Бертрана не было желания излагать их в резком стиле, которого желал бывший император; но "Дневник" Гурго показывает, что он был увлечен этой задачей (5 ноября). Это привело лишь к высокомерному ответу Кокберна, в котором он отказался смягчать свою систему, но выразил желание сделать их положение "как можно менее неприятным". 21 декабря Монтолон вернулся к обвинению с письмом, продиктованным Наполеоном, в котором жаловался, что Лонгвуд был самым бесплодным местом на острове, всегда залитое дождем или окутанное туманом; что О'Мира не должен был считаться британским офицером, когда они выходили за его пределы, и адмирал сделал ему выговор за такие действия; и что обращение с изгнанниками вызовет негодование всех времен и народов. На это адмирал послал сокрушительный ответ, отказавшись объяснить, почему он осудил О'Миру или любого другого британского подданного: он утверждал, что Лонгвуд был "самым приятным, а также самым здоровым местом на этом самом здоровом острове", выразил надежду, что, когда прекратятся дожди, группа изменит свое мнение о

Лонгвуде, и заявил, что обращение с группой "вызовет восхищение будущих поколений, а также каждого непредубежденного человека настоящего".

Теперь мы знаем, что вера адмирала в беспристрастность судей будущих эпох была проявлением трогательной доверчивости, и что следующее поколение, как и его собственное, с жадностью глотало сенсационную клевету и пренебрегало прозаической правдой. Но, исходя из имеющихся признаков, он вполне мог поверить, что письмо Монтолона было сплетением лжи; поскольку этот офицер вскоре признался ему, что "оно было написано в момент раздражения генерала [Бонапарта] ... и что он [Монтолон] считает, что группа на самом деле очень обеспечена и у нее есть все необходимое для них, хотя и озабочен тем, чтобы не было никаких ограничений в отношении того, что генерал может передвигаться по всему острову без сопровождения офицера, куда ему заблагорассудится". ^[558] В последнем пункте Кокберн был непреклонен.

Теперь ответственность адмирала подходила к концу. 14 апреля 1816 года на острове Святой Елены высадился сэр Хадсон Лоу, новый губернатор, который должен был взять на себя полномочия Кокберна и Уилкса. Вновь прибывший, на которого с тех пор постоянно обрушивались потоки клеветы, отличился на многих должностях. Родившийся в 1769 году, через месяц после Наполеона, он рано вступил в нашу армию и получил чин благодаря службе на Корсике и Эльбе, его лингвистические и военные способности вскоре сделали его командующим корпусом корсиканских изгнанников, которые после 1795 года поступили к нам на службу. С этими "Корсиканскими рейнджерами" Лоу участвовал в кампании в Египте и, наконец, на Капри, их преданность ему придала им сил для доблестной, но безрезультатной защиты этого острова от превосходящих сил войск Мюрата в 1808 году. ^[559] В 1810 году Лоу и его корсиканцы захватили остров Санта-Маура, которым он впоследствии управлял к полному удовлетворению жителей. В начале 1813 года он был направлен в Россию и после этого служил *атташе* в штабе Блюхера во время памятного наступления к Рейну и Сене. Он принес в Англию весть о первом отречении Наполеона, был посвящен в рыцари принцем-регентом и получил российские и прусские ордена отличия за свои заслуги. В конце 1814 года он был назначен генерал-квартирмейстером наших вооруженных сил в Нидерландах и получил лестные поздравительные письма от Блюхера и Гнейзенау, последний выражал свою признательность "Вашим редким военным талантам, вашему глубокому суждению о великих военных операциях и вашему невозмутимому *хладнокровию* в день сражения. Эти редкие качества и ваш благородный характер навеки свяжут меня с вами". В 1822 году, когда О'Мира клеветал на Лоу, царь Александр встретил его падчерицу, графиню Балмейн, в Вероне и, ссылаясь на тягостные обязанности сэра Хадсона на острове Святой Елены, сказал о нем: "Я настоящий красавчик. Je l'ai connu dans les temps critiques." ^[560]

Твердость характера Лоу, владение иностранными языками и близкое знакомство с корсиканцами, казалось, делали его идеальным губернатором острова Святой Елены вместо мягкого и образованного Уилкса. И все же это назначение было в некотором смысле неудачным. Несмотря на то, что Лоу был достойным человеком, он был сдержан и мало знаком с манерами придворных. Более того, суеверный человек мог бы счесть, что все выдающиеся события его карьеры провозглашали его злым гением, идущим по пятам Наполеона; и, поскольку суеверие все больше овладевало великим корсиканцем в последние годы его жизни, мы можем обоснованно заключить, что это чувство усилило, если не создало, отвращение, которое он когда-либо проявлял к *зловещей фигуре* губернатора. Лоу также поначалу уклонялся

от назначения, которое должно было навлечь на него интриги Наполеона и его сторонников в Англии. Только человек высокого ранга и влиятельный в командовании мог надеяться пережить подобные атаки, а у Лоу не было ни ранга, ни влияния. Он был сыном армейского хирурга и был почти неизвестен в стране, где в течение двадцати восьми лет служил за границей.

Его первые визиты в Лонгвуд были неудачными. Они с Кокберном договорились отправиться туда в 9 утра, в то время, когда Наполеон часто отправлялся на прогулку. По прибытии им сообщили, что император нездоров и не сможет принять их до 4 часов дня следующего дня, и вскоре выяснилось, что ранний час их звонка был воспринят как акт грубости. На следующий день Лоу и Кокберн договорились вместе явиться в присутствие; но когда Лоу направился в кабинет, Бертран выступил вперед, и камердинер преградил адмиралу путь - акт невежливости, которого Лоу не заметил. Продолжая путь в одиночестве, новый губернатор выразил свое почтение по-французски; но когда Наполеон заметил, что он, должно быть, знает итальянский, поскольку командовал полком корсиканцев, они заговорили на родном языке Наполеона. Первое серьезное замечание бывшего императора, касавшееся характера корсиканцев, сопровождалось быстрым испытующим взглядом: "Они носят стилет: разве они не плохие люди?" — Лоу увидел ловушку и избежал ее, ответив: "Они не носят стилет, отказавшись от этого обычая на нашей службе: я был ими очень доволен". Затем они некоторое время беседовали о Египте и на другие темы. Впоследствии Наполеон выгодно сравнивал его с Кокберном: "Этот новый губернатор - человек немногословный, но он производит впечатление вежливого человека: однако судить о нем можно только по поведению человека в течение некоторого времени". ^[561]

Кокберн был возмущен пренебрежением, оказанным ему Наполеоном и Бертраном, которое увенчалось успехом из-за отсутствия у Лоу здравого смысла; но он знал, что причиной раздражения изгнанников был его недавний решительный отказ передать жалобное письмо Наполеона непосредственно принцу-регенту без ведома министерства. Не сумев склонить адмирала, они тогда попытались умяслить уходящего в отставку губернатора Уилкса, который, несмотря на то, что почти не нес ответственности за их опеку, пользовался пропорционально большей симпатией. Сначала Бертран, а затем и Наполеон попросили его забрать это письмо *без ведома нового губернатора*. Уилкс сразу же отклонил просьбу, заметив Бертрану, что подобные попытки уклонения должны привести к большей строгости в будущем. И это было так. ^[562] Инцидент, естественно, усилил подозрения Лоу в отношении экс-императора.

Поначалу между ними установилось непрочное перемирие. Гурго, хотя и был подавлен отъездом "очаровательной" мисс Уилкс, нашел в себе достаточно сил, чтобы записать в своем "Дневнике" результаты визита Лас Кейсса к Лоу в Плантейшн-Хаус (26 апреля): губернатор очень хорошо принял секретаря и предоставил всю свою библиотеку в распоряжение гостей; но автор дневника также отмечает, что Наполеону не понравился прием кого-либо из его людей губернатором. Это было одно из бессознательных преступлений адмирала. В надежде скрасить пребывание изгнанников, он дал несколько балов, на которых мадам. Бертран и Монтолон блистали в платьях, которые отбрасывали тень на платья жен офицеров. Их триумф был недолгим. Когда *великая маршалка* отваживалась покинуть императорский стол в эти и другие праздничные дни, ее растущая привязанность к англичанам вызвала резкие упреки со стороны бывшего императора и просьбу не обращаться с "Лонгвудом" как с гостиницей. ^[563] Многие записи в дневнике Гурго показывают, что с тех пор та же политика строго соблюдалась.

Наполеон соблюдал основы этикета Тюильри, требовал присутствия своих придворных и ревниво пресекал любое знакомство с Плантейшн-Хаусом или Джеймстауном.

В некоторых вопросах Лоу был более сговорчивым, чем правительство Метрополии, особенно в вопросе деклараций, подписанных сторонниками Наполеона. Но в одном вопросе он выступил против всех просьб Лонгвуда: это было продление двенадцатимильного лимита. Впоследствии вошло в обычай говорить так, как будто Лоу мог это разрешить. Даже герцог Веллингтон заявил Стэнхоупу, что считает Лоу глупым человеком, подозрительным и ревнивым, который вполне мог бы позволить Наполеону свободно передвигаться по острову при условии, что шесть или семь мест высадки будут хорошо охраняться и что Наполеон будет показываться британскому офицеру каждую ночь и утро. Теперь бесполезно обсуждать, позволила бы ли такая свобода Наполеону выдать себя за кого-то другого и таким образом сбежать. Что несомненно, так это то, что наше правительство, полагая, что он сможет таким образом сбежать, *ввело правила, которые Лоу не имел права нарушать*.

Наполеон прекрасно понимал это, но в интервью от 30 апреля 1816 года он настаивал на расширении границ, говоря, что ему ненавистен вид наших солдат и он жаждет более тесного общения с местными жителями. Возникли и другие причины трений, такие как отказ Лоу от привилегии, довольно небрежно предоставленной Кокберном Бертрану, выдавать пропуска на собеседования с Наполеоном; или, опять же, бестактное приглашение, которое Лоу отправил "генералу Бонапарту" встретиться с женой генерал-губернатора Индии за ужином в Плантейшн-Хаусе. Но в разгар обличительной речи, которую Наполеон вскоре после этого обрушил на своего потенциального хозяина - обличительной речи, усыпанной насмешками по поводу того, что Лоу был послан быть его *палачом*— прозвучала фраза, раскрывающая причину его ярости: "Если вы не можете расширить мои пределы, вы ничего не сможете для меня сделать". ^[564]

Почему это желание расширить границы? Это не было вызвано желанием более длительных поездок; плато предлагало почти все лучшие места на острове для таких упражнений. И это также не было связано со стремлением к более широкому социальному общению. Не может быть никаких сомнений в том, что он рассматривал расширение границ как необходимую прелюдию к попыткам побега и как средство воздействия на рабов на отдаленных плантациях. Гурго называет несколько случаев, когда рабам раздавали золотые монеты, и описывает ликование, проявленное его хозяином, когда он однажды ускользнул от часовых и британского офицера. Эти чувства и попытки были совершенно естественны со стороны Наполеона; но столь же естественно было и то, что губернатор рассматривал их как часть плана побега или спасения — вопрос, который вскоре привлечет наше более пристальное внимание.

У Наполеона было еще только два интервью с Лоу, а именно 17 июля и 18 августа. На первом из них он был настроен более примирительно; но на последнем, на котором присутствовал адмирал сэр Поултни Малькольм, он обрушился на губернатора с самыми горькими насмешками. Лоу прервал болезненную сцену, сказав: "Вы заставляете меня улыбаться, сэр". "Как улыбаться, сэр?" "Вы заставляете меня улыбаться: ваше неправильное представление о моем характере и грубость ваших манер вызывают у меня жалость. Желаю вам доброго дня". Адмирал также ушел в отставку. ^[565]

Были названы различные причины ненависти, которую Наполеон испытывал к Лоу. Его частые насмешки по поводу того, что он был не генералом, а всего лишь лидером корсиканских дезертиров, наводят на мысль о том, о чем уже упоминалось. Также высказывалось

предположение, что Лоу не был джентльменом, и были одобрительно сделаны ссылки на сравнения его физиономии с дьяволом, а его взгляда с "взглядом гиены, попавшей в капкан". По этому поводу мы процитируем мнение лейтенанта (впоследствии полковника) Бэзила Джексона, которого Лоу не знал до 1816 года и который был в дружеских отношениях как с обитателями Лонгвуда, так и с Плантейшн-хауса:

"Он [Лоу] был ростом пять футов семь дюймов, худощавого телосложения, с хорошими чертами лица, светлыми волосами и бровями, нависающими над глазами: его взгляд выражал пронизательность и твердость, его манеры довольно резкие, походка быстрая, его внешний вид и общее поведение свидетельствовали об энергии и решимости. Он быстро писал или диктовал, любил писать, был начитан в военной истории, бегло говорил по-французски и по-итальянски, был теплым и устойчивым в дружеских отношениях и пользовался популярностью как у жителей острова, так и у военнослужащих. Его портрет, помещенный в предисловии к книге мистера Форсайта, представляет собой совершенное сходство". ^[566]

Если нависшие брови, пронизательный взгляд и довольно резкие манеры оправдывают сравнения с дьяволом или гиеной, то искусству исторического портрета, несомненно, придется учиться заново в соответствии с методами импрессионизма. То, что Лоу был джентльменом, подтверждает миссис Смит (*урожденная Грант*), которая в более поздние годы, *настроенная против него клеветой О'Мира*, встретила его в Коломбо, поначалу не зная его имени:

"Меня пригласил на ужин серьезный, сугубо джентльменский человек в генеральской форме, разговор которого был таким же приятным, как и его манеры. Он объездил более половины мира, знал всех знаменитостей и умудрялся без всякой показухи говорить то, что хотелось услышать.... Много лет назад, с нашими принципами и предрассудками вигов, мы культивировали в нашем уединении в Хайленде ужас перед тюремщиком великого Наполеона. Крик вечеринки, сочувствие к заключенному, книга хирурга О'Мира - все это взволновало мое женское сердце до такой степени, что это оклеветанное имя [Лоу] стало оскорблением. Мы должны были испытывать отвращение к владельцу. Разговаривать с ним - никогда! Смотреть на него, сидеть с ним в одной комнате - никогда! Никто не был громче и яростнее меня; и все же я был здесь, рядом со своим пугалом, и совершенно доволен своим положением. Это был хороший урок". ^[567]

На истинную причину ненависти Наполеона к Лоу намекает сэр Джордж Бингхэм в своем Дневнике (19 апреля). Упомянув о грубости Наполеона Кокберну при расставании с ним, он продолжает:

"Вы понятия не имеете о маленьких грязных интригах его самого [Наполеона] и его окружения: если у сэра Х. Лоу хватит твердости не поддаваться им, он вскоре поступит с ним точно так же. Что касается меня, то говорят, что я фаворит [Наполеона], хотя я не понимаю, какие претензии я имею к этому". ^[568]

Да! Вина Лоу заключалась не в его манерах и даже не в чертах лица, а в его твердости. Вскоре Наполеон увидел, что все его попытки склонить его были напрасны. Ни в отношении императорского титула, ни ограничений, ни передачи писем в Европу губернатор ни на йоту не отступил бы от своих инструкций. Рискую привести избыток цитат, мы должны привести еще две

по этой теме. Бэзил Джексон, находясь в Париже в 1828 году, случайно встретился с Монтолоном и был приглашен в его замок Фреминьи; во время его пребывания разговор зашел об их пребывании на острове Святой Елены, что привело к следующему результату:

"Он [Монтолон] подробно остановился на том, что он назвал *политикой Лонгвуда*, не без доброжелательности отозвался о сэре Хадсоне Лоу, признав, что перед ним стояла трудная задача, поскольку ангел с Небес, как губернатор, не смог бы им угодить. Когда я более чем намекнул, что ничто не может оправдать умаление и отход от истины при проведении политики, он просто пожал плечами и повторил: "*Что это за политика, и что за вульгарность?*" В том, что он и другие уважали сэра Хадсона Лоу, у меня не было ни тени сомнения: более того, в разговоре с Монтолоном на острове Святой Елены, говоря о губернаторе, он заметил, что сэр Хадсон был офицером, который всегда занимал выдающуюся должность, поскольку все правительства были рады услугам человека его уровня.

Случайно упомянув, что из-за неспособности найти офицера, который понимал бы по-французски, губернатор был склонен нанять меня в качестве офицера-ординарца в Лонгвуде, Монтолон сказал, что для меня было хорошо, что я не был назначен на этот пост, поскольку им не нужен был человек в этом качестве, который мог бы понимать их; фактически, сказал он, мы должны были найти средства избавиться от вас и, возможно, погубить вас ". ^[569]

Лас Кейс также, в отрывке, который он счел желательным скрыть при публикации своего "Дневника", написал следующее (30 ноября 1815 г.):

"Мы обладаем только моральным оружием: и для того, чтобы наиболее выгодно использовать его, было необходимо превратить в *систему* наше поведение, наши слова, наши чувства, даже *наши лишения*, чтобы мы могли таким образом возбудить живой интерес у значительной части населения Европы и чтобы оппозиция в Англии не преминула напасть на министерство за жестокость их поведения по отношению к нам". ^[570]

Теперь мы можем понять истинную природу борьбы, которая велась между Лонгвудом и Плантейшн Хаус. Наполеон и его сторонники стремились любыми средствами навлечь ненависть на Лоу и снабдить Оппозицию в Вестминстере пикантными подробностями, которые могли привести к опале губернатора, свержению министерства и триумфальному освобождению бывшего императора. С другой стороны, знание о присутствии предателей на острове и о возможных спасателях, маячащих на горизонте, заставляло Лоу постоянно работать, "распутывая запутанный заговор, постоянно плетущийся в Лонгвуде", пока на его лице не появилось озабоченное выражение, которое описывает хирург Генри.

То, что оба антагониста несколько переигрывали свои роли, нас не удивляет, когда мы думаем о пяти годах, проведенных таким образом в узком пространстве под тропическим солнцем. Временами Лоу был педантичен, о чем свидетельствует его отказ пересылать в Лонгвуд книги с подписью "Император Наполеон" и его подозрения относительно политического значения зеленых и белых бобов, предложенных Монтолоном французскому комиссару Моншеню. Но подобные инциденты можно сравнить с жизнью большинства должностных лиц, на которых лежит тяжелое бремя ответственности. А кто когда-либо нес более тяжелое бремя? ^[571]

Наполеон также, находясь в более спокойном настроении, сожалел о резкости своих высказываний в адрес губернатора. Он заметил Монтолону: "Это второй раз в моей жизни, когда я портя отношения с англичанами. Их флегматичность подводит меня, и я говорю больше, чем следовало. Мне следовало бы поступить лучше, если бы я не отвечал ему". Эта ссылка на его нападение на Уитворта в 1803 году проливает луч света на обличительную речь Лоу. В обоих случаях, несомненно, горячий южанин обуздал бы свою страсть раньше, если бы это произвело хоть какой-то видимый эффект на более холодного человека севера. Тем не менее, сцена 18 августа 1816 года оказала неизгладимое влияние на его отношения с губернатором. До конца этого утомительного периода лет они не обменялись ни словом.

Официальные отчеты Лоу доказывают, что он не переставал заботиться о комфорте изгнанников, насколько это было возможно. Строительство нового дома, однако, было отложено, поскольку Наполеон отказался давать какие-либо указания по этому поводу, а столь необходимый ремонт в Лонгвуде был остановлен из-за его жалоб на шум рабочих. Но, заказывая кларет, который предпочитал бывший император, и время от времени посылая в Лонгвуд подарки из дичи, Лоу стремился поддерживать обычную светскую жизнь; и когда правительство метрополии попыталось ограничить ежегодные расходы семьи Лонгвудов 8000 фунтами стерлингов, Лоу взял на себя смелость увеличить эту сумму вдвое.

Поведение Наполеона в этом последнем деле заслуживает внимания. Услышав о необходимости большей экономии, он с готовностью согласился, отослал семерых слуг и приказал сократить потребление вина. Однако день или два спустя он отдал приказ продать часть своей серебряной посуды, чтобы "обеспечить те маленькие удобства, в которых они были лишены". Соответственно, послали за Балькомбом, и, выразив Наполеону сожаление по поводу приказа о продаже, он получил ответ: *"Какой смысл в тарелке, когда с нее ничего есть?"* Лоу спокойно приказал Балькомбу запечатать присланную ему тарелку и внести аванс в размере ее стоимости (250 фунтов стерлингов); но другие части тарелки были разбиты и проданы позже. О'Мира раскрывает причину этих разбирательств в своем письме от 10 октября: "Этим он [Наполеон] также желает возбудить ненависть к губернатору, заявив, что тот был вынужден продать свою посуду, чтобы не умереть с голоду, как он сам сказал мне, это было его целью".

[572]

Еще одним инцидентом, обострившим отношения между Наполеоном и губернатором, стало прибытие из Англии более строгих правил его содержания под стражей. Главными изменениями, произведенными таким образом (9 октября 1816 г.), были ограничение границ с двенадцати до восьми миль в окружности и выставление кольца часовых на небольшом расстоянии от Лонгвуда на закате вместо 9 часов вечера^[573] Последнее изменение вызывает сожаление, поскольку оно омрачало удовольствие от вечерних прогулок Наполеона в его саду; но, как указал губернатор, три часа после захода солнца были самым легким временем для побега. Ограничение границ было необходимо не только для того, чтобы избавить наши войска от необходимости наблюдать за обширной территорией, которая почти никогда не использовалась для упражнений, но и для предотвращения тайных сношений с рабами.

Действительно ли была необходимость в этих "унижающих достоинство нации" правилах, как назвал их О'Мира? Или они были введены для того, чтобы оскорбить великого человека? Ссылка на британские архивы покажет, что для этого была какая-то причина. Разрабатывались планы спасения, которые требовали величайшей бдительности.

Как мы видели (стр. 527, примечание), 2 августа 1815 года письмо было направлено мадам Дж. Бертран (на самом деле для Наполеона) в Плимуте, заявив, что писатель разместил денежные суммы в известных фирмах Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии и Чарльзтауна от его имени, и что ему (Наполеону) нужно было только сообщить о своих пожеланиях *"позаботиться о китайской кухне и муссолинах Индии"*: в остальном писатель возлагал большие надежды на английских торговцев. Это письмо после долгих странствий попало в наши руки и заставило наше правительство тщательно проверять все письма и товары, которые поступали на остров Святой Елены или с него. Особое внимание было обращено на Соединенные Штаты. Там культ Наполеона рано пустил корни, благодаря его свержению королей и легкой продаже Луизианы; прославляющая дымка расстояния способствовала его росту; и теперь мученическая смерть на острове Святой Елены привела его к полной зрелости. Энтузиазм и деньги в равной степени благоприятствовали планам спасения.

В наших Отчетах о острове Святой Елены (№ 4) есть отчеты о двух из них. Переданное испанским послом в Вашингтоне, первое достигло Мадрида 9 мая 1816 года и гласило, что человек по имени Карпентер предложил Жозефу Бонапарту (тогда находившемуся в Штатах) спасти Наполеона и с этой целью отплыл на корабле. Об этом немедленно стало известно лорду Батерсту, нашему военному министру и по делам плантаций, который переслал его Лоу. В августе того же года наше министерство иностранных дел также получило известие, что четыре шхуны и другие суда меньшего размера отплыли из Балтимора 14 июня с 300 людьми под командованием старого французского морского офицера по имени Фурнье, якобы для помощи Боливару, но на самом деле для спасения Бонапарта. Эти быстроходные суда должны были находиться вне поля зрения острова днем, подкрадываться ночью к разным точкам и посылать лодки к берегу; с каждой из них человек, *одетый в английскую форму*, должен был высадиться и проследовать в Лонгвуд, предупредив Наполеона о пунктах, где лодки будут готовы принять его. В отчете делается вывод: "В его распоряжение будут предоставлены значительные суммы в золоте и бриллиантах для подкупа тех, кто может быть ему необходим. Похоже, они льстят себе надеждой на определенное сотрудничество со стороны определенных лиц, проживающих или работающих на острове Святой Елены". ^[574]

Батерст отправил Лоу копию этих разведданных. Форсайт не называет это дело, хотя ссылается на другие предупреждения, полученные в разное время Батерстом и переданные губернатору, о том, что на острове есть предатели, которых золото Наполеона привлекло к себе, чтобы помочь ему бежать. ^[575] Я не могу узнать, были ли проверены описанные выше планы, хотя иногда появлялись подозрительные суда, которые наши крейсера прогоняли. Но когда мы рассматриваем вопрос о том, были ли Батерст и Лоу излишне строгими или нет, речь идет о том, *существовали ли планы побега или спасения, и если да, знали ли они о них*. Относительно этого не может быть и тени сомнения; и практически несомненно, что они были причиной новых правил от 9 октября 1816 года.

Теперь мы проследили ход событий в течение первых критических двенадцати месяцев; мы увидели, как трения переросли в пламя, как натирание этого властного духа вопреки всем ограничениям привело лишь к усилению сдерживающей хватки, и как попытки его введенных в заблуждение друзей в Америке и Европе превратить довольно мягкое содержание под стражей в фактическое заключение. Бесплезно играть с историческими "могуществами"; но мы можем представить себе человека менее неукротимого, чем Наполеон, откровенно признающего, что он покончил с активной жизнью, приняв вымышленное имя (*например*, полковника Мюирона, о

котором он когда-то думал), и в этом спокойном уединении приступающего к приятной задаче составления своих личных и военных мемуаров. Если он когда-нибудь намеревался жить сельским сквайром в Англии, то на острове Святой Елены были равные условия для такой жизни, без соблазнов вернуться в политику. Климат для него был лучше, чем в Англии, а возможностей для физических упражнений больше, чем там можно было допустить. Книг там было в изобилии — наконец-то их было 2700: у него были подшивки "Монитор" для его статей, а экземпляры "Таймс" регулярно приходили из Плантейшн-Хауса; пианино было куплено в Англии за 120 фунтов стерлингов. Наконец, были шестеро придворных, чья ревнивая преданность, переменчивое настроение и частые ссоры создавали повседневную комедию, которая до сих пор очаровывает потомков.

Чего же тогда не хватало? К сожалению, не хватало всего. Его не интересовали ни музыка, ни животные, ни, в последние годы, охота. Он сам раскрыл этот секрет словами, сказанными Галлуа в дни его власти: *"Я не люблю красивых женщин, ни одного молодого человека: я свершившийся факт в политике!"* — Он никогда не переставал любить политику и власть. На острове Святой Елены он воображал, что покори́л бы англичан, если бы поселился там. Ах! если бы я был в Англии, сказал он, я покори́л бы все сердца.^[576] И, несомненно, он бы так и сделал. Как могли такие заурядные люди, как принц-регент, Ливерпуль, Каслри и Батерст, противостоять влиянию поистине великой и увлекательной личности? Или если бы он уехал в Соединенные Штаты, кто бы конкурировал с ним за президентское кресло?

Как бы то ни было, он предпочел остаться дома, чтобы фигурировать в роли узника Лонгвуда,^[577] и проводил время между интригами против Лоу и диктовкой мемуаров. На тему сочинений Наполеона мы не можем здесь останавливаться, разве что скажем, что его критические замечания в адрес цезаря, Тюренна и Фридриха Великого представляют большой интерес и ценность; что отчеты о его собственных кампаниях, хотя и наводящие на размышления, нуждаются в тщательной проверке по подлинным документам, поскольку у него не было под рукой всех необходимых фактов и цифр; и что его отчет о политических событиях в основном ненадежен: это сложный прием для укрепления наполеоновских традиций и обеспечения короны королю Рима.

Затем мы обратимся к краткому обзору его последних лет. Первое событие, заслуживающее внимания, - это арест по делам ЛАГ. Этот тонкий интриган вскоре заслужил ненависть Монтолона и Гурго, которые ненавидели "маленького иезуита" за его напускную важность, подобную Мальволио, и намеки Наполеона на то, что он будет иметь церемониальное превосходство над ними. Его быстрое завоевание популярности было связано с его разговорным даром, литературными способностями и доскональным знанием английского народа и языка. Последнее было особенно важно. Наполеон очень хотел выучить наш язык, так как надеялся, что любая почта принесет известие о триумфе вигов и приказ о его собственном отъезде в Англию. Его исследования с Лас Кейсами были скорее упорными, чем успешными, как видно из следующего любопытного письма, написанного, по-видимому, в "Ночных дозорах": оно было недавно переиздано М. де Бротоном.

- ГРАФ ЛАСКЕЙС,

"Начиная с недели sixt, вы учите английский, но у вас нет никакого прогресса. Неделю Sixt занимаетесь сорок два дня. Если бы я мог выучить пять слов за день, я мог бы знать их две тысячи двести. В словаре их больше сорока тысяч: даже он мог выучить больше двадцати;

большинство из них - оба. Ибо "знай это" или "сто двадцатая неделя", которые длятся еще два года. После этого ты согласишься, что изучение одного языка - это великий труд, который приходится выполнять в юном возрасте".

Насколько дальше продвинулся Наполеон в своих попытках усвоить наш язык с помощью этих математических методов, мы не знаем, поскольку, по-видимому, не сохранилось ни одного другого его английского письма. Вскоре произошел арест и отъезд его наставника, и есть веские основания приписать это в конечном счете ревности менее культурных генералов. Таким образом, мы находим Гурго, утверждающего, что Лас Кейсес приехал на остров Святой Елены исключительно "для того, чтобы о нем говорили, сочиняли анекдоты и зарабатывали деньги". Монтолон также делал все возможное, чтобы сделать жизнь секретаря невыносимой, и однажды предсказал Гурго, что Лас Касес вскоре покинет остров. ^[578]

Прогноз быстро сбылся. Секретарь доверил своему слуге, сомнительному мулату по имени Скотт, два письма в Европу, зашитые в жилет: одно из них было длинным письмом Люсьену Бонапарту. Слуга показал письма своему отцу, который в некоторой тревоге рассказал об этом губернатору. Любопытно, иллюстрируя состояние подозрительности, царившее тогда на острове Святой Елены, что Лас Кейсз обвинил Скоттов в том, что они были орудиями губернатора; что Лоу увидел в этом деле провальным конец схемы Лонгвуда; в то время как местные жители подозревали Лас Кейсз в организации дела как средства отъезда с острова. Было многое, что подтверждало это последнее предположение. Лас Касес и его сын были нездоровы; их положение в доме было очень неудобным; и для опытного интригана доверить важное письмо рабу, который уже числился в черных книгах губернатора, было поистине необычным поступком. Кроме того, после ареста, когда губернатор в его присутствии просмотрел бумаги Лас Касаса, они были найдены в полном порядке, среди них были фрагменты его "Дневника". Сам Наполеон считал Лас Касаса виновным в необычайной глупости, хотя вскоре он попытался извлечь выгоду из ареста, сравнив поведение наших офицеров и их ординарцев с "дикарями Южных морей, танцующими вокруг заключенного, которого они собираются сожрать". ^[579] После непродолжительного заключения в коттедже Росс, когда он отклонил предложение губернатора вернуться в Лонгвуд секретаря отправили на Кейптаун, а оттуда он направился во Францию, где за грамотное редактирование его "Мемуаров" и "Дневника" их составитель получил богатое вознаграждение.

Гурго уходит следующим. Чувствительного молодого человека уже давно мучает ревность. Его дневник становится протяжным вздохом щедрой, но тщеславной натуры, омраченной реальным или воображаемым пренебрежением. Хотя автор часто несправедлив к Наполеону, чей эгоизм ущемленный приверженец часто преувеличивает до колоссальных размеров, он бессознательно свидетельствует о чудесном очаровании, которое приводило в благоговейный трепет маленький Двор. Малейшее внимание, проявленное к Монтолону, стоит "Гого" приступа хандры или бессонной ночи, которые вряд ли можно искупить на следующий день успокаивающими словами, шахматами, реверси или помощью в работе над рукописью "Ватерлоо". Снова и снова Наполеон пытается доказать ему, что Монтол должен иметь преимущество: напрасно. Наконец наступает кризис: прошло четыре года с тех пор, как генерал спас императора от казацкой пики при Бриенне, и воспоминание об этом делает его нынешние "унижения" невыносимыми. Он вызывает Монтолона на дуэль; Наполеон строго запрещает это, и оскорбленный офицер просит разрешения удалиться.

Наполеон удовлетворяет его просьбу. Похоже, шеф устал от его угрюмого настроения; кроме того, он затаил на него обиду за то, что тот написал домой своей матери откровенные заявления о том, как обращаются с изгнанниками из Лонгвуда. Эти письма были прочитаны Лоу и Батерстом, и их общий смысл, по-видимому, был известен во французских правительственных кругах, где они послужили противовесом от ядовитых историй, распространяемых Наполеоном и его более дипломатичными последователями. Ясно, что из Гурго ничего нельзя сделать, и поэтому он уезжает (13 февраля 1818 года). Со слезами на глазах попрощавшись, он отправляется с Бэзилем Джексонем, чтобы провести с ним шесть недель в коттедже недалеко от плантейшн-хаус, когда его поражает деликатная сдержанность, проявленная губернатором. Затем он отплывает в Англию. Единственные деньги, которые у него есть, - это *100 фунтов*, выданные Лоу. Деньги Наполеона он отказался принять. ^[580]

И все же он не ушел из жизни своего хозяина. Приземлившись в Англии 1 мая, он провел несколько бесед с нашими официальными лицами, в ходе которых предупредил их, что побег Наполеона будет довольно легким, и намекнул на то, что О'Мира является орудием Наполеона. Но вскоре молодой генерал вступил в контакт с лидерами Оппозиции. Никаких изменений в его чувствах не прослеживается до 25 августа, когда он написал письмо Марии Луизе, утверждая, что Наполеон умирает "в муках самой долгой и ужасной агонии", став жертвой жестокости Англии! Чему мы должны приписать эту смену фронта? Редакторы "Дневника" Гурго утверждают, что никаких изменений не произошло; они намекают, что "Дневник", возможно, был тщательно продуманным средством для того, чтобы пустить пыль в глаза Лоу; и они указывают на тот факт, что перед отъездом с острова Гурго получил секретные инструкции от Наполеона, предписывающие ему передать в Европу несколько маленьких писем, зашитых в подошвы его сапог. Можно усомниться в том, действовал ли он в соответствии с этими инструкциями, поскольку при отъезде он дал Лоу честное слово, что не передавал никаких бумаг, брошюр или писем из Лонгвуда. Более того, впоследствии мы ничего не слышали об этих секретных письмах; и он позволил пройти почти четыре месяца в Англии, прежде чем написал Марии Луизе. Теория, упомянутая выше, кажется совершенно несостоятельной перед лицом этих фактов. ^[581]

Как же тогда нам объяснить поведение Гурго на острове Святой Елены и впоследствии? Теперь, блуждая по лживым лабиринтам литературы острова Святой Елены, трудно найти полностью удовлетворительную подсказку; но "Ватерлоо и остров Святой Елены" Бэзила Джексона (стр. 103), кажется, дает ее в следующем отрывке:

Заканчивая рассказ о Гурго, я могу добавить, что по прибытии в Англию, после одной или двух бесед с заместителем государственного секретаря, он попал в руки известных радикалов, которые объяснили ему безрассудство его поведения, направленного против Наполеона; что как его сторонник он действительно был кем-то, тогда как он только губил себя, изображая враждебность. Короче говоря, они так подействовали на бедного, слабого человека, что он был вынужден попытаться создать видимость того, что он все еще *человек времени*: этого он добился, написав письмо Марии Луизе, в котором он осуждал обращение с Наполеоном со стороны правительства и сэра Х. Лоу, которое, будучи должным образом опубликованным, обесценило Гурго во мнении всех здравомыслящих людей".

Это кажется созвучным тому, что мы знаем о характере Гурго: откровенный, непостоянный и чувствительный, он никогда не смог бы долго придерживаться политики литературного и

дипломатического обмана. Он не был смесью Чаттертона и Фуше. Его "Дневник" - это бесхитростное излияние уязвленного тщеславия, которое приближает нас к сердцу почитателя героя и его героини. Время от времени идол падает, и его сотрясает дрожь, но любовь снова и снова ставит его на святилище, пока на четвертую годовщину Бриенны чары не рассеиваются. Еще до того, как он покидает остров Святой Елены, прежнее очарование вновь овладевает им; и тогда Наполеон пытается использовать свою преданность для выполнения политической миссии. Гурго отказывается от *роли* агента, дает слово губернатору и держит его; но, благодаря британскому официозу или обольщению оппозиции, культ героя снова берет верх и ставит его рядом с Лас Касес и Монтолоном. Мы верим, что это и есть настоящий Гурго, подлинное, привлекательное, но непостоянное существо, о чем свидетельствует каждая страница его "Дневника".

Нельзя не отметить мимоходом необычайное богатство литературы острова Святой Елены. Почти все изгнанники вели дневники или мемуары или написали их по возвращении в Европу. И, с другой стороны, из всех 10 000 британцев, которых Наполеон держал под стражей во Франции в течение одиннадцати лет, ни один не оставил записей, которые когда-либо были бы прочитаны сегодня. Следовательно, в то время как бедствия Наполеона были изложены на всех цивилизованных языках, мир забыл о страданиях, беспричинно причиненных 10 000 английским семьям. Преимущества, которыми обладает страна, пишущая мемуары, по сравнению с той, которая лишь наполовину умеет выражать свои мысли, нельзя было бы лучше проиллюстрировать. По немым британцам никогда не проливается ни единой слезинки; в то время как словоохотливые обитатели Лонгвуда использовали свои загоны с таким успехом, что половина мира до сих пор верит, что Лоу дважды в неделю над ними издевался, угощал отравленным кофе и ночью их чуть не съели крысы. В связи с этой последней темой нас угощают рассказами о том, как рабу откусили часть ноги, пока он спал в Лонгвуде, — более того, о ноге лошади, которую тоже отгрызли ночью, — так что наши чувства разделяются между жалостью к страдальцам и завистью к их крепкому сну.

Лонгвуд, конечно, был далек от подходящего жилья, но одно слово Наполеона привело бы к возведению нового дома на месте, которое он выбрал для указания. Все материалы были привезены из Англии; но слово было произнесено гораздо позже; и неизбежен вывод, что он предпочел остаться там, где был, чтобы представить себя проживающим в *сетт-грейндж в невредимости*.^[582] Третьей из домочадцев Лонгвудов, покинувших дом, была хирург Омира. Поведение этого британского офицера по содействию тайной переписке Наполеона было настолько полно раскрыто Форсайтом и Ситоном, что мы можем отослать наших читателей к их работам за доказательствами его предательства. "Дневник" Гурго раскрывает тайное влияние, которое соблазнило его. Однажды, случайно упомянув о власти денег над англичанами, Наполеон заметил, что именно поэтому мы не хотели, чтобы он привлекал суммы из Европы, и продолжил: "*Врач - это то, что заставляет меня действовать, как я люблю серебро. Ah! j'en suis bien sûr, de celui-là!*"^[583] Это раскрытие позволяет нам понять, почему хирург, после того как его разоблачили и уволили со службы, стремился очернить личность сэра Хадсона Лоу всеми мыслимыми способами. Удивительно, что ему удалось навязать свою версию фактов целому поколению.

Следующий врач, проживавший в Лонгвуде, доктор Стоко, был быстро уговорен нарушить британские правила и подвергся официальному позору. Затем через Монтолона была

предпринята попытка подкупить его преемника, доктора Верлинга, который с негодованием отверг это и отказался от своих обязанностей. ^[584]

Не может быть никаких сомнений в том, что Наполеон находил удовольствие в этих интригах. В своем последнем интервью Штюрмеру, австрийскому комиссару на острове Святой Елены, Гурго сказал по этому поводу: "Каким бы несчастным он [Наполеон] ни был здесь, он втайне наслаждается важностью, придаваемой его опеке, интересом, который проявляют к этому Власти, и заботой о том, чтобы собрать воедино как можно меньше его слов". Наполеон также однажды заметил Гурго, что лучше быть на острове Святой Елены, чем так, как он был на Эльбе. ^[585] Того же общего содержания его поразительные замечания, сообщенные Las Cases в конце его первого тома:

В нашей ситуации здесь могут быть даже свои привлекательные стороны. Вселенная смотрит на нас. Мы остаемся мучениками бессмертного дела: миллионы людей оплакивают нас, отечество вздыхает, а Слава в трауре. Мы боремся здесь против гнета богов, и чаяния народов обращены к нам.... Невзгоды не мешали моей карьере. Если бы я умер на троне, окруженный облаками своего всемогущества, я остался бы проблемой для многих людей: сегодня, благодаря несчастью, они могут судить обо мне таким, какой я есть".

По лаконичности фраз, живости воображения и остроте понимания мотивов, движущих человечеством, этот отрывок достоин Наполеона. Он знал, что его ссылка на остров Святой Елены затуманит память о зле, которое он причинил делу свободы, и что с этой одинокой вершины пойдет легенда о новом Прометее, прикованном царями к скале и каждый день терзаемом хищным стервятником. Мир отверг его евангелие силы; но разве он не был бы трепетно воспринят евангелием жалости, если бы теперь был зачислен на его сторону? Его предположение было удивительно верным. Мир был взволнован. Эта история сотворила чудеса, но не непосредственно для него, а для его славы и его династии. Судьба его расы начала возрождаться с того времени, когда народное воображение превратило Наполеона Завоевателя в Наполеона Мученика. Рассматриваемые в этом свете и приносящие заметное облегчение в борьбе со зловещей политикой Священного союза монархов, унылые годы, проведенные на острове Святой Елены, были не самыми успешными в его карьере. Без них не было бы второй Наполеоновской империи.

Не то чтобы его жизнь там была "затяжной агонией". Его здоровье было довольно хорошим. Бывали периоды чего-то вроде наслаждения, когда он предавался отдыху на свежем воздухе. Таким временем была вторая половина 1819 года и первая половина 1820 года: мы можем назвать это бабье лето в его жизни, поскольку тогда им овладела страсть к садоводству. Легко одетый и защищенный широкополой шляпой, он расхаживал по дому, иногда с лопатой в руке, наблюдая за различными изменениями на территории Лонгвуда и вокруг нового дома, который возводился для него неподалеку. Или в других случаях он использовал возможность, предоставленную раскопками, чтобы показать, как пехота может быть так расположена на наспех насыпанном склоне, чтобы вести потрясающий огонь по атакующей кавалерии. Выстроив своих сторонников на рассвете по звуку колокола, он заставил их всех, графов, камердинеров и слуг, рыть траншеи как бы для передних рядов и засыпать землей задние ряды: затем, заняв позицию впереди, как самый низкорослый человек, и поставив самого высокого сзади (своего швейцарского камердинера Новерраза), он с триумфом показал, как можно уложить всадников раскатыстыми залпами из десяти шеренг. ^[586] В мае или июне он снова

занялся верховой ездой, и какое-то время все эти занятия пошли на пользу его здоровью. Его отношения с губернатором были мирными, если не сказать сердечными, и примерно в это же время границы были расширены.

В помещении можно было развлечься и помимо работы над "Мемуарами". Он часто играл в шахматы и бильярд, в последнем используя руку вместо кия! Обедали обычно очень поздно, а после он с удовольствием читал вслух. Вольтер был любимым автором, и Монтолон впоследствии признался лорду Холланду, что одни и те же пьесы, особенно "Зайра", читались слишком часто.

"Наполеон сам спал, когда ему читали, но он был очень наблюдателен и ревновал, если другие спали, пока он читал. Он зорко наблюдал за своей аудиторией, и мадам . У Монтолона *"За дормеза"* было частое семяизвержение во время чтения. Он был воодушевлен всем, что читал, особенно стихами, с энтузиазмом воспринимал красивые отрывки, нетерпелив к ошибкам и полон остроумных и живых замечаний по стилю". ^[587]

В тот же безмятежный сезон на остров прибыли два священника, отобранных Бонапартами, а также корсиканский врач Антоммарчи. Наполеон был разочарован всеми тремя. Доктор, хотя и был образованным анатомом, мало разбирался в химии и на ранней беседе с Наполеоном так плохо сдал катехизис по этому предмету, что его чуть не выгнали из комнаты. У священников дела обстояли немногим лучше. Старший из них, по имени Буонавита, жил в Мексике и больше ни о чем не мог говорить: вскоре он заболел, и его пребывание на острове Святой Елены было недолгим. Другого, корсиканца по имени Виньяли, не обладавшего ни образованием, ни культурой, ни диалектическими способностями, терпели как респектабельную прислугу в доме, но он практически не имел влияния на хозяина. Об этом приходится сожалеть по многим причинам, отчасти потому, что его показания не проливают света на религиозные взгляды Наполеона.

Здесь мы подходим к проблеме, которая, возможно, никогда не будет разрешена. Непостижимый во многих сторонах своей натуры, Наполеон нигде не бывает таким, как тогда, когда он сталкивается с вечными истинами. Мало кто осмелится утверждать, что он был убежденным и ортодоксальным католиком. На Эльбе он сказал лорду Эбрингтону: *"Мы не знатоки, мы знатоки венеции, мы знатоки извращенцев"*: массы должны иметь какую—то "твердую точку веры, на которой они могли бы останавливать свои мысли". - *"Я - католическая часть моего отца и часть религии Франции"*. Он также раз или два высказал Кэмпбеллу презрение к популярному вероучению: и во время своего последнего путешествия, как мы видели, он не проявил ни малейшего интереса к предложению священника из Фуншала сопровождать его. На острове Святой Елены партия, похоже, ограничила религиозные обряды случайным чтением Библии. Когда мадам Дж. Монтолон представила своего младенца императору, он шутливо заметил, что Лас Касес был самым подходящим человеком для крещения младенца; на что мать сразу же ответила, что Лас Касес недостаточно хороший христианин для этого.

Судя по записям в "Дневнике" Гурго, этот молодой генерал больше остальных размышлял над религиозными вопросами; и ему Наполеон открыл свои мысли. — Материя, говорит он, повсюду и пронизывает все; жизнь, мысль и сама душа - всего лишь свойства материи, а смерть кладет конец всему. Когда Гурго указывает на величественный порядок вселенной, свидетельствующий о Создателе, Наполеон признает, что верит в "высший разум": он

утверждает, что поверил бы в христианство, если бы оно было первоначальным и универсальным вероучением: но тогда мусульмане "следуют религии более простой и более приспособленной к их морали, чем наша". За десять лет их основатель завоевал половину мира, на что христианству потребовалось триста лет. Или, опять же, он ссылается на тот факт, что Лаплас, Монж, Бертолле, и Лагранж были атеистами, хотя и не провозглашали этого факта; что касается его самого, то он считает идею Бога естественной; она существовала во все времена и у всех народов. Но раз или два он заканчивает эту туманную беседу примечательным признанием, что вид мириад смертей на войне сделал его материалистом. "Материя — это все". - "Суета сует!" ^[588]

Отраженные в водовороте настроений Гурго, эти диалоги, возможно, придают теологии его учителя слишком мрачный оттенок: но, в конце концов, это, безусловно, самый реалистичный отчет о последних годах правления Наполеона, и они показывают нам природу, в которой доминирует материальное. Что же касается веры в божественного Христа, то от нее, по-видимому, не осталось и следа. До нас дошло сообщение, запечатленное в прозе Ньюмена, о том, что Наполеон однажды говорил о невыразимом величии Христа, противопоставляя Его непреходящее влияние на сердца людей недолговечному правлению Александра и Цезаря. Хочется надеяться, что эти слова были произнесены; но они противоречат несомненным заявлениям Наполеона. Иногда он говорил с крайней неуверенностью; в других случаях - как человек, который хотел верить в христианство и, возможно, мог бы обратиться. Но в политическом завещании, предназначенном для его сына, единственное упоминание религии носит дипломатический характер, которого мы и должны ожидать от автора "Конкордата": "Религиозные идеи обладают большим влиянием, чем готовы поверить некоторые ограниченные философы: они способны оказать человечеству великие услуги. Благодаря хорошим отношениям с Папой Римским, мы все еще сохраняем влияние на совесть сотен миллионов людей".

Столь же неопределенным было и поведение самого Наполеона, когда приближался его конец. Некоторое время назад острая внутренняя боль — укол перочинным ножом, как он это называл, — предупредила его о неминуемой гибели; в апреле 1821 года, когда рвота и упадок сил показали, что страшная наследственная болезнь стремительно надвигается, он приказал аббату Виньяли превратить большую столовую Лонгвуда в *часовню огня*; и, заметив улыбку на лице Антоммарчи, больной горячо упрекнул его в притворном превосходстве. Монтолон по возвращении в Англию сообщил лорду Холланду, что перед наступлением конца было совершено чрезвычайное соборование, поскольку Наполеон приказал, чтобы это было сделано как будто исключительно под ответственность Монтолона, и что священник, когда его спросят по этому поводу, должен был ответить, что он действовал по приказу Монтолона, не имея никакого представления о желаниях императора. Это было сделано соответствующим образом, но, по-видимому, в то время он был без сознания. ^[589] В своем завещании он также заявил, что умер в общении с Апостольской Римской церковью, в лоне которой родился. Итак, мы должны оставить этот вопрос окутанным тайной, которая окружает столь большую часть его жизни.

Кончина великого человека всегда производит впечатление, но смерть героя, взлетевшего в зенит военной славы и гражданских достижений, кажется, затрагивает самую низшую точку бедствия. Пережив свою могущественную Империю, окруженную тысячей миль заточающего океана, охраняемую его самыми непреклонными врагами, его сын - пленник при дворе Габсбургов, а императрица открыто изменила ему, он исчезает из виду, как какой-нибудь

потрепанный бродяга. А природа более безжалостна, чем человек. Губернатор настаивает на лучшем медицинском совете, но он ничего из этого не принимает. Он чувствует хватку рака, болезни, которая унесла его отца и должна была забрать жизнь геев Кэролайн и Полин. Временами он догадывается об истине; в другие моменты он кричит "фуа", "фуа". Меара утверждал, что его боли были вызваны жалобами на печень, вызванными его заключением на острове Святой Елены; Антоммарчи описал болезнь как желудочную лихорадку (*febbre gastrica pituitosa*); и только после того, как доктора Арнотта вызвали 1 апреля, правда была полностью признана.

В конце месяца симптомы стали наиболее тревожными, усугубившись из-за отказа пациента принимать лекарства или пищу или позволять перемещать себя. 4 мая, по настоянию доктора Арнотта, пациенту тайно ввели немного каломели, и это дало положительные результаты: пациент заснул и даже принял немного пищи. Это был его последний сбор: на следующее утро, когда над островом бушевал шторм, вырывавший большие деревья, его чувства начали ослабевать: Монтолону показалось, что он слышит слова *Франция, армия, тет-а-тет, Жозефина*: он пролежал без сознания несколько часов; шторм утих; солнце залило остров потоком славы, и, когда он погрузился в океан, великий человек скончался.

По приказу губернатора доктор Арнотт оставался в комнате до медицинского осмотра тела — мера предосторожности, которая, как указал Мончену, предотвратила бы любую злонамеренную попытку со стороны слуг Лонгвуда представить смерть как результат отравления. Обследование, проведенное в присутствии семи врачей и других лиц, показало, что все органы были здоровы, за исключением изъязвленного желудка; печень была довольно большой, но не обнаруживала признаков болезни; сердце, с другой стороны, было несколько меньше нормального размера. Отнюдь не демонстрируя истощения, которое обычно возникает в результате длительной неспособности принимать пищу, тело было удивительно крепким — факт, который показывает, что эта упорная воля коренилась в ненормально твердой жизненной силе. ^[590]

После бальзамирования тело было выставлено на всеобщее обозрение, и все зрители были поражены безмятежным и прекрасным выражением лица: лишняя плоть исчезла после смерти, оставив пропорциональные черты, которые вызывали восхищение мужчин во время консульства.

Одетый в свой любимый зеленый мундир, он отправился к месту своего упокоения под двумя большими плакучими ивами в уединенной долине: гроб, увенчанный его шпагой и плащом, которые он носил при Маренго, со всеми воинскими почестями несли гренадеры 20-го и 66-го полков перед длинной шеренгой красных мундиров; и их знамена, украшенные названиями "Талавера", "Албуэра", "Пиренеи" и "Ортез", были опущены в последнем салюте нашему могучему полку. враг. Над могилой прогремели артиллерийские и мушкетерские залпы: эхо прокатилось от хребта к хребту и отразилось от расколотых вершин далеко в океанские просторы, предупреждая потусторонний мир о том, что величайший воин и администратор всех эпох ушел на покой.

Его праху не суждено было остаться в этом заброшенном уголке: в одном из пунктов своего завещания он выразил желание, чтобы они покоились на берегах Сены среди людей, которых он так сильно любил. В 1840 году они были извлечены из могилы в присутствии Бертрана, Гурго и Маршана и перевезены во Францию. Париж распахнул свои объятия, чтобы принять

могущественных покойников; и Луи Филипп, на которого он когда-то пророчествовал, что однажды упадет корона Франции, торжественно принял гроб под куполом *Дома инвалидов*. Там он покоится среди преданных людей, которых своим сверхчеловеческим гением он вознес на ошеломляющие высоты славы только для того, чтобы своими чудовищными ошибками низвергнуть их в пучину бедствий.

Рассматривая его карьеру в целом, кажется справедливым утверждать, что основную причину его свержения следует искать не в недостатках французов, ибо они служили ему с преданностью, которая вызвала бы слезы жалости у Радаманта; не в предательстве того или иного генерала или политика, ибо это мало по сравнению с преданностью сорока миллионов людей; но в характере этого человека и его эпохи. Никогда еще у смертного человека не было такой грандиозной возможности править хаотичным Континентом; никогда ни у одного великого лидера не было таких слабых противников, как правители, противостоявшие его стремлению к господству. На заре девятнадцатого века старые монархии пришли в упадок: в четырех династиях царило безумие, а в остальных правили слабые или просроченные советы. В течение нескольких лет их советники и генералы были немногим лучше. За исключением Питта и Нельсона, которых унесла смерть, и Веллингтона, у которого была всего половина армии, Наполеон никогда не сталкивался лицом к лицу с боеспособными, хорошо оснащенными и упрямыми противниками до 1812 года.

Кажется парадоксальным говорить, что этот избыток удачи в значительной степени способствовал его разорению, но это правда. Он был одной из тех коренастых воинственных натур, которых нужно вовремя обуздать, если мы хотим развить их лучшие качества и обуздать их властные инстинкты. Точно так же, как самое сильное министерство стремится к краху, если Оппозиция не оказывает эффективного противодействия, так было и с Наполеоном. Если бы он в юности принял близко к сердцу уроки невзгод, отважился бы он одновременно сражаться с Веллингтоном в Испании и с российским климатом в сердце степей? Отверг бы он предложения выгодного мира, сделанные ему из Праги в 1813 году? Упустил бы он шанс сохранить "естественные границы" Франции после Лейпцига и ее старые границы, когда их загнали в угол в Шампани? Осмелился бы он на самое крайнее во всех отношениях при Ватерлоо? По правде говоря, после того, как ему минуло сорок лет, пылкая энергия юности окрепла в духе триумфа; и отсюда пошло то роковое упрямство, которое было его проклятием во все кризисные моменты его карьеры. Ибо тем временем дело европейской независимости нашло достойных поборников — людей поменьше Наполеона, это правда, но людей, которые знали, что его решимость держаться везде и ничего не уступать приведет его к гибели. Наконец, та же привязанность к несбыточным надеждам и та же любовь к борьбе характеризовали его жизнь на острове Святой Елены; так что то, что могло бы быть временем спокойного и исполненного достоинства отдыха, было омрачено фиктивными шумами и мелкими интригами, совершенно недостойными его величия.

Ибо, несмотря на свою чудовищную неудачу, он был превосходно силен во всем, что касается управления государством, оживления человеческой энергии и военного искусства. Его величие заключается не только в непреходящей важности его лучших начинаний, но еще больше в титанической силе, которую он вложил в начало и завершение всех них, — силе, которая придает разрушенным штормом монолитам, разбросанным на последнем этапе его карьеры,

величие, недостижимое для более укрощенной расы тружеников. В конце концов, вердикт человечества присуждает высшую награду не благоразумной посредственности, которая избегает вероятности неудачи и не оставляет после себя прочного следа, а энергичной душе, которая отваживается, могуче достигает и удерживает сердца миллионов даже среди своего разорения и их собственных. Таким чудотворцем был Наполеон. Человек, обуздавший Революцию и изменивший жизнь Франции, заложивший широкие и глубокие основы новой жизни в Италии, Швейцарии и Германии, натравивший Запад на Восток в величайшем движении, известном со времен Крестовых походов, и, наконец, обративший тоскующие мысли мириад людей к этой одинокой скале в Южной Атлантике, навсегда останется в первых рядах бессмертных в истории человечества.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСОК ГЛАВНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ И ПОЧЕСТЕЙ , ПОЖАЛОВАННЫХ НАПОЛЕОНОМ

[К именам его маршалов проставлена звездочка.]

Arrighi. Duc de Padua.

*Ожеро. Duc de Castiglione.

*Бернадотт. Принц де Понте Корво.

*Бертье. Начальник штаба. Prince de Neufchâtel. Принц

де Ваграм.

*Bessières. Герцог Истрийский. Командующий Старой гвардией.

Bonaparte, Joseph. (Король Неаполя.) Король Испании.

- Людовик. Король Голландии.

- Джером. Король Вестфалии.

*Brune.

Cambacérès. Архи-канцлер. Duc de Parma.

Коленкур. Герцог де Виченца. Мастер конницы. Министр

министр иностранных дел (1814).

Шампанское. Duc de Cadore. Министр иностранных дел

(1807-11).

Шапталъ. Министр внутренних дел. Comte de Chanteloupe.

Кларк. Военный министр. Duc de Feltre.

Дару. Граф.

*Даву. Duc d'Auerstädt. Prince d'Eckmühl.

Друэ. Comte d'Erlon.

Друо. Граф. Адъютант-майор гвардии.

Дюрок. Главный маршал дворца. Duc de Friuli.

Eugène (Beauharnais). Вице-король Италии.

Феш (кардинал). Великий раздаватель милостыни.

Fouché. Министр полиции (1804-10). Герцог д'Отранто.

*Ворчливый. Граф.

Жомини. Барон.

*Jourdan. Граф.

Жюно. Герцог д'Абрантес.

*Kellermann. Duc de Valmy.

*Ланн. Duc de Montebello.

Ларри. Барон.

Latour-Maubourg. Барон.

Лористон. Граф.

Lavalette. Граф. Министр почт.

*Lefebvre. Duc de Danzig.

*Макдональд. Duc de Taranto.

Maret. Министр иностранных дел (1811-14 гг.) Duc de Bassano.

*Мармон. Duc de Ragusa.

*Masséna. (Duc de Rivoli.) Принц д'Эсслинг.

Миот. Comte de Melito.

Méneval. Барон.

Моллиен. Граф. Министр финансов.

*Монси. Герцог де Конельяно.

Монтолон. Граф.

*Mortier. Duc de Treviso.

Мутон. Comte de Lobau.

*Murat. (Великий герцог де Берг.) Король Неаполя.

*Ней. (Герцог Эльхингенский.) Принц Московский.

*Удино. Duc de Reggio.

Пажоль. Барон.

Pasquier, Duc de. Префект полиции.

*Pérignon.

*Понятовский.

Рапп. Граф.

Ренье. Duc de Massa.

Rémusat. Чемберлен.

Савари. Duc de Rovigo. Министр полиции (1810-14).

Sébastieni. Граф.

*Sérurier.

*Сульт. Герцог Далматинский.

*Сент. Сир, Маркиз де.

*Suchet. Герцог д'Альбуфера.

Талейран. Министр иностранных дел (1799-1807). Великий

Камергер (1804-8). Принц де Беневенто.

Вандам. Граф.

*Виктор. Duc de Belluno.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО

Некоторые критики обвиняли меня в недооценке *роли* пруссаков при Ватерлоо; но после тщательного изучения я пришел к выводу, что некоторые современные немецкие писатели переоценили ее. Теперь мы знаем, что наступление пруссии было замедлено глубоко укоренившимся подозрением Гнейзенау к Веллингтону и что британским левым частям не было оказано прямой помощи почти до конца сражения. Наполеон всегда считал, что он мог бы легко сдержать натиск пруссаков при Планшенуа, что главное сражение на всем протяжении было против Веллингтона и что все решилось последней атакой британской кавалерии. Пруссаки не смогли полностью захватить Планшенуа до тех пор, пока французы, противостоявшие Веллингтону, не обратились в полное бегство. Но, конечно, наступление Блюхера сделало победу ошеломляющим триумфом, каким она и была.

Способный критик в "Субботнем обозрении" от 10 мая 1902 года обвинил меня в том, что я забыл сказать, что левое крыло Франции (дивизии Фоя и Башелю) поддерживало французскую кавалерию в конце великого наступления. Я утверждал (стр. 502), что французской пехоты не было "под рукой, чтобы удержать позиции, которые, казалось, завоевали кавалеристы". Let me cite the exact words of General Foy, written in his Journal a few days after the battle (M. Girod de L'Ain's "Vie militaire du General Foy," p. 278): "Alors que la cavalerie française faisait cette longue et terrible charge, le feu de notre artillerie était déjà moins nourri, et notre infanterie ne fit aucun mouvement. Quand la cavalerie fut rentrée, et que l'artillerie anglaise, qui avait cessé de tirer pendant une demi-heure, eut recommencé son feu, on donna ordre aux divisions Foy et Bachelu d'avancer droit aux carrés qui s'y étaient avancés pendant la charge de cavalerie et qui ne s'étaient pas repliés. L'attaque fut formée en colonnes par échelons de régiment, Bachelu formant les échelons les plus avancés. Je tenis par ma gauche à la haie [de Hougoumont]: j'avais sur mon front un bataillon en tirailleurs. Près de joindre les Anglais, nous avons reçu un feu très vif de mitraille et de mousqueterie. C'était une grêle de mort. Les carrés ennemis avaient le premier rang genoux en terre et présentaient une haie de baïonnettes. Les colonnes de la 1^{re} division ont pris la fuite les premières: leur mouvement a entraîné celui de mes colonnes. En ce moment j'ai été blessé...."

Это показывает, что продвижение французской пехоты было слишком запоздалым, чтобы принести хоть малейшую пользу кавалерии. Британские позиции были полностью переформированы.

СНОСКИ :

ПРИМЕЧАНИЯ К ТОМУ I

СНОСКИ:

Из французского произведения "Моэры и коутюмы корсетов" (Париж, 1802) я беру следующий эпизод. Священник, на которого в течение примерно четырнадцати лет возлагалась обязанность отомстить за родственника, встретил своего врага у ворот Аяччо и немедленно застрелил его на глазах у чиновника, который ничего не предпринял. Родственник убитого, случайно оказавшийся поблизости, застрелил священника. Обе жертвы были быстро похоронены, священника похоронили под алтарем церкви "из-за его священного характера". Смотрите также Мио де Мелито, "Воспоминания", том i, глава xiii, о полном крахе системы присяжных в 1800-1821 годах, потому что ни один корсиканец не стал бы "отрекаться от своей партии или предавать свою кровь".

[2]

Что касается стойкости корсиканской преданности, я могу привести любопытное доказательство из неопубликованной части "Мемуаров сэра Хадсона Лоу". Он был полковником, командовавшим Королевскими корсиканскими рейнджерами, зачисленным во время британской оккупации Корсики, и завоевал расположение своих людей за несколько лет боев в Египте и других местах. Находясь на Капри в 1808 году, он полагался на своих корсиканских рекрутов, чтобы защитить этот остров от нападений Мюрата; и он полагался не напрасно. Несмотря на то, что им противостоял французский корсиканский полк, они оставались верны своей идее даже во время перемирия, когда могли узнать своих соотечественников. Партизанский инстинкт не поддавался обещаниям посланцев Мюрата и крикам даже родных.

[3]

Факты о семье матери Наполеона со всеми подробностями приведены Месье Массоном в его "Наполеоне Инконну", гл. i. Они исправляют утверждение, часто делаемое относительно ее "низкого", "крестьянского" происхождения. Массон также доказывает, что дом в Аяччо, который показан как место рождения Наполеона, построен позже, хотя и на том же месте.

[4]

Увидимся с Якоби", Хист. de la Corse, " vol. ii., ch. viii. Вся история рассказана французскими историками, даже Массоном и Шюке, с предусмотрительной краткостью. Несколько слов, в которых Тьер отвергает эту тему, совершенно вводят в заблуждение.

[5]

Много было написано, чтобы доказать, что Наполеон родился в 1768 году и действительно был старшим из выживших сыновей. Кратко изложены следующие причины: (1) первое имя при крещении Жозефа Буонапарте было просто *Набулионе* (по-итальянски *Наполеон*), и что Жозеф был более поздним дополнением к его имени в книге регистрации крещений от 7 января 1768

года в Корте; (2) определенные утверждения о том, что Жозеф родился в Аяччо; (3) собственное заявление Наполеона при его женитьбе о том, что он родился в 1768 году. На это он, возможно, ответил, что: (a) другие письма и заявления, еще более убедительные, доказывают, что Жозеф родился в Корте в 1768 году, а Наполеон - в Аяччо в 1769 году; (b) Запись Наполеона в брачной книге, очевидно, была сделана для того, чтобы уменьшить разницу в годах его невесты, которая, со своей стороны, вычла четыре года из своего возраста. See Chuquet, "La Jeunesse de Napoléon," p. 65.

[6]

Nasica, "Mémoires," p. 192.

[7]

Оба письма признаны Юнгом подлинными, "Бонапарт и сын времени", т. i., стр. 84, 92; но Массон, "Наполеон Инконну", т. i., стр. 55, прослеживая их до источника, дискредитирует их, а также исходя из внутренних свидетельств.

[8]

Chaptal, "Mes Souvenirs sur Napoléon," p. 177.

[9]

Жозеф Буонапарте, "Мэмс", том i, стр. 29. То же самое относится и к Миоту де Мелито, "Мэмс", том i, глава x.

[10]

Chaptal, "Souvenirs sur Napoléon," p. 237. См. также Массона, "Наполеон Инконну", том i, стр. 158, примечание.

[11]

В послеобеденной беседе 11 января 1803 года с Редерером Буонапарте превознес Вольтера за счет Руссо в следующих знаменательных словах: "Чем больше я читаю Вольтера, тем больше он мне нравится: он всегда разумен, никогда не шарлатан, никогда не фанатик: он создан для зрелых умов. До шестнадцати лет я боролся бы за Руссо против всех друзей Вольтера. Теперь

все наоборот. *Я испытываю особое отвращение к Руссо с тех пор, как увидел Восток. Дикий человек - это собака.*" ("Oeuvres de Roederer", том iii., стр. 461.)

В 1804 году он даже отрицал, что чем-то обязан Руссо. Во время семейной дискуссии, в которой он также принижал Корсику, он назвал Руссо "болтуном или, если вам так больше нравится, достаточно красноречивым *идеалом*". Он мне никогда не нравился и даже не очень хорошо понимал его: по правде говоря, у меня не хватило смелости прочитать его всего, потому что я считал его по большей части скучным ". (Lucien Buonaparte, "Mémoires," vol. ii., ch. xi.)

Его более поздние взгляды на Руссо поразительно изложены Станисласом Жирарденом, который в своих "Мемуарах" рассказывает, что Бонапарт, посетив могилу Руссо, сказал: "Для упокоения Франции было бы лучше, если бы этот человек никогда не родился". "Почему, первый консул?" - спросил я. "Он подготовил Французскую революцию". "Я думал, что не вам жаловаться на революцию". "Что ж, - ответил он, - будущее покажет, не было бы этого. для упокоения мира было бы лучше, если бы ни я, ни Руссо не существовали". Меневаль подтверждает это замечательное утверждение.

[12]

Masson, "Napoléon Inconnu," vol. ii., p. 53.

[13]

Joseph Buonaparte, "Mémoires," vol. i, p. 44.

[14]

Месье Шу в своей работе "Девушка Наполеона" (Париж, 1898) высказывает иное мнение: "Но я думаю, что этот отрывок демонстрирует завуалированную враждебность к Паоли". Вероятно, к этому времени можно отнести случай, рассказанный Наполеоном на острове Святой Елены леди Малькольм ("Дневник", стр. 88), а именно, что Паоли настаивал на принятии его на службу в британскую армию: "Но я предпочел французов, потому что говорил на их языке, исповедовал их религию, понимал и любил их манеры, и я подумал, что Революция - прекрасное время для предприимчивого молодого человека. Паоли был зол — после этого мы не разговаривали ". Трудно согласовать все эти заявления.

Люсьен Буонапарте утверждает, что его брат какое-то время всерьез подумывал поступить на службу в вооруженные силы Британской Ост-Индской компании; но наши официальные лица заверили меня, что в настоящее время не существует записей о каких-либо заявлениях.

[15]

На все эссе, очевидно, оказали влияние работы демократа Рейналя, которому Буонапарте посвятил свои "Письма о корсе". К "Лионским беседам" он приставил в качестве девиза слова

"Мораль будет существовать, когда правительства станут свободными", которые он смоделировал по аналогичной фразе Рейналя. Заслуживают внимания также следующие предложения: "Нотр-дамская организация животных и людей первой необходимости: ясли, дормир, зачинатель. Une nourriture, une cabane, des vêtements, une femme, sont donc une stricte nécessité pour le bonheur. Notre organisation intellectuelle a des appétits non moins impérieux et dont la satisfaction est beaucoup plus précieuse. C'est dans leur entier développement que consiste vraiment le bonheur. Sentir et raisonner, voilà proprement le fait de l'homme."

[16]

Насица; Чуке, стр. 248.

[17]

Его отречение от якобинства было настолько полным, что некоторые люди усомнились в том, что он когда-либо искренне придерживался его. Сомнение доказывает исключительную *наивность*, его опровергают собственные труды Бонапарта, его стремление отречься от них или уничтожить, свидетельства всех, кто знал о начале его карьеры, и его собственное признание: "Были хорошие якобинцы. Когда-то каждый человек духа был обречен быть единым целым. Я сам был единым целым". (Thibaudeau, "Mémoires sur le Consulat," p. 59.)

[18]

Я использую термин *комиссар* как эквивалент французского *представителя в миссии*, полномочия которого были почти безграничны.

[19]

Смотрите этот любопытный документ у Юнга, "Бонапарт и сын времени", т. ii., стр. 249. Массон игнорирует его, но признает, что паолисты и партизаны Франции всего лишь пытались обмануть друг друга.

[20]

Буонапарте, когда он был первым консулом, был вынужден заплатить вдове авиньонского книготорговца, опубликовавшего "Суп Бокера". Он хорошо заплатил ей за то, что она уничтожила все оставшиеся копии. И все же Панкукке в 1818 году раздобыл один экземпляр, сохранивший память о раннем якобинстве Бонапарта.

[21]

Я в основном следил за подробным описанием осады, данным Коттеном в его "Тулоне и английском в 1793 году" (Париж, 1898).

Следующие официальные данные свидетельствуют о слабости британской армии. В декабре 1792 года парламент проголосовал за 17 344 человека в качестве "охраны и гарнизонов", не считая нескольких человек в Гибралтаре и Сиднее. В феврале 1793 года было проголосовано еще 9 945 человек и создано 100 "независимых компаний": также были представлены ганноверцы. В феврале 1794 года число британских регулярных войск было увеличено до 60 244 человек. Для военно-морского флота цифры были следующими: в декабре 1792 года - 20 000 моряков и 5000 морских пехотинцев; в феврале 1793 года - 20 000 *дополнительных* моряков; в 1794 году - 73 000 моряков и 12 000 морских пехотинцев. ("Энн. Рег.")

[22]

"Воспоминания" Барраса ни в коем случае не принадлежат полностью ему. Они представляют собой компиляцию Русселина де Сен-Альбена из документов Барраса.

[23]

Jung, "Bonaparte et son Temps," vol. ii.

[24]

Тщательно продуманное заявление М.Г. Дюруи (Barras, "Mems.", Введение, стр. 69-79) основывается на предположении, что его герой прибыл в Тулон 7 сентября. Но мсье Шу показал ("Космополис", январь 1897 г.), что он прибыл туда не ранее 16 сентября. То же самое и Коттен, гл. xi.

[25]

Поскольку в поджоге французских кораблей и складов, как утверждалось, виноваты исключительно англичане, мы можем отметить, что *еще 3 октября* министр иностранных дел Испании герцог д'Алькуида предложил нашему послу лорду Сент-Хеленсу: "Если возникнет необходимость покинуть гавань, эти суда должны быть потоплены или подожжены, чтобы враг не смог ими воспользоваться; для этой цели должны быть сделаны предварительные приготовления".

[26]

Тьер, глава XXX.; Коттен, "Англетер и принцы".

[27]

См. депешу лорда Гренвилла от 9 августа 1793 года лорду Сент-Хеленсу ("F.O. Records, Испания", № 28), напечатанную М. Коттином, стр. 428. Он не печатает более важную депешу от 22 октября, где Гренвилл утверждает, что допуск французских принцев приведет к аннулированию конституции 1791 года, над которой работали союзники.

[28]

В письме лорда Малгрейва мистеру Тревору в Турин ("F. O.Records, Сардиния", № 13) говорится, что ему было очень трудно ладить с французскими роялистами: "Вы не должны присылать к нам ни одного *эмигранта* любого рода — они были бы помехой: все они такие разные и такие жестокие, будь то за деспотизм, конституцию или республику, что мы отвлеклись бы на их ссоры; и они такие самонадеянные, дерзкие, диктаторские и полны жалоб, что никакое дело не могло бы пойти гладко". продолжайте с ними. Лорд Худ неохотно принимает кого-либо из них.

ПРИМЕЧАНИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ. — Из информации, которую мистер Спенсер Уилкинсон недавно предоставил в своей статье в "The Owens College Hist. Очерки" (1902), кажется, что доля Бонапарта в решении судьбы Тулона была несколько больше, чем здесь было заявлено; ибо, хотя комиссары видели крайнюю необходимость атаковать флот, они, насколько нам известно, не осознавали, что холм за фортом Л'Эгийет был ключом к позиции. Мастерство и упорство Буонапарте, несомненно, привели к взятию этой высоты.

[29]

Jung, "Bonaparte et son Temps," vol. ii., p. 430.

[30]

"Мемориал", глава ii, ноябрь 1815 г. See also Thibaudeau, "Mémoires sur le Consulat," vol. i., p. 59.

[31]

Мармон (1774-1852) стал младшим лейтенантом в 1789 году, служил с Бонапартом в Италии, Египте и т.д., получил титул герцога Рагузского в 1808 году, маршала в 1809 году; потерпел поражение от Веллингтона при Саламанке в 1812 году, дезертировал к союзникам в 1814 году. Жюно (1771-1813) поступил в армию в 1791 году; прославился как генерал кавалерии в войнах 1796-1807 годов; завоевал Португалию в 1808 году и получил титул герцога д'Абрантеса; умер сумасшедшим.

[32]

М. Зиви, "Вандейская война", стр. 60-62, цитирует указ о назначении различных командований. Рукопись, написанная Буонапарте, которая сейчас хранится в архивах Военного министерства Франции, также доказывает, что именно Баррас отдал приказ доставить пушки из лагеря Саблон.

[33]

Впоследствии Бонапарт утверждал, что именно он отдал приказ открыть огонь, и, безусловно, промедление было на руку его противникам.

[34]

Я предостерегаю читателей от принятия заявления Карлейля ("Французская революция", том iii. *и далее.*), что "то, что мы конкретно называем Французской революцией, уносится в космос с дуновением картечи". Напротив, она была увековечена, хотя и в более органичной и упорядоченной государственной форме.

[35]

Chaptal, "Mes Souvenirs sur Napoléon," p. 198.

[Сноска 36: Кох, "Воспоминания Массены", том ii, стр. 13, указывает, что у французов было всего 37 775 человек под знаменами, у австрийцев - 32 000, а у сардинцев - 20 000. Во всех этих цифрах не указаны войска, находящиеся в гарнизоне или охраняющие коммуникации.]

[37]

"Переписка" Наполеона, 28 марта 1796г.

[38]

Смотрите мои статьи о депешах полковника Грэма из Италии в "Eng. Hist. Review" за январь и апрель 1899 года.

[39]

Так, м-р Сарджент ("Первая кампания Бонапарта") говорит, что Бонапарт ожидал, что Болье двинется на Геную, и видел в этом шанс сокрушить австрийский центр. But Bonaparte, in his despatch of April 6th to the Directory, referring to the French advance towards Genoa, writes: "J'ai été très fâché et extrêmement mécontent de ce mouvement sur Gênes, d'autant plus déplacé qu'il a obligé cette république à prendre une attitude hostile, et a réveillé l'ennemi que j'aurais pris tranquille:

ce sont des hommes de plus qu'il nous en coûtera." На вопрос, насколько Наполеон был обязан кампании маршала Майбуа 1745 года своим общим замыслом, смотрите брошюру М. Пьеррона. Его долг был доказан М. Бувье ("Бонапарт в Италии", стр. 197) и м-ром Уилкинсоном ("Owens Coll. Hist. Очерки").

[40]

Нельсон тогда пытался перекрыть пути судов, доставлявших припасы из Тулона французским войскам. Заслуживают внимания следующие выдержки из его депеш. 6 января 1796 года: "Если французы намерены продолжать войну, они должны проникнуть в Италию. Голландию и Фландрию с их собственной страной они полностью обчистили: Италия - золотая жила, и если однажды туда войдут, то не найдут средств сопротивления". Затем, 28 апреля, после того, как Пьемонт был захвачен французами: "Мы, англичане, должны сожалеть, что не всегда можем решать судьбу империй на море". И снова, 16 мая: "Я очень верю, что Англия, которая начала войну со всей Европой за своих союзников, закончит ее тем, что почти вся Европа станет ее врагами".

[41]

Живописная история о том, как командир (которым был не Рампон, а Форнеси) призвал защитников центрального редута поклясться на их знаменах и пушках, что они будут защищать его насмерть, бесконечно повторялась историками. Но документы, которые содержат единственные достоверные подробности, показывают, что в редуте не было ни пушки, ни флага. Слова Форнеси были простыми: "C'est ici, mes amis, qu'il faut vaincre ou mourir" — несомненно, гораздо величественнее, чем театральная клятва. (See "Mémoires de Masséna," Vol. ii.; "Pièces Just.," No. 3; also Bouvier, *op. cit.*)

[42]

Жомини, т. viii., p. 340; "Pièces Justifs."

[43]

"Un Homme d'autrefois," par Costa de Beauregard.

[44]

Таковы были слова генерала Болье полковнику Грэму 22 мая.

[45]

Десятидневные периоды, которые в революционном календаре заменяли неделю.

[46]

Я следил за отчетами, приведенными Жомини, т. viii, стр. 120-130; за отчетами Шелса в "Oest. Milit. Цайтшрифт" за 1825 год, том ii.; также Бувье "Бонапарт в Италии", глава xiii.; и Дж.Дж. "Этюды о походе 1796-97 гг.". Большинство французских отчетов, основанных на "Воспоминаниях" Наполеона, том iii., стр. 212 *и последующих*, представляют собой совокупность неточностей. Бонапарт притворился, что при Лоди он разгромил шестнадцатитысячную армию. Тьер утверждает, что французская кавалерия, форсировав реку у Монтанассо, повлияла на результат: но в официальном отчете от 11 мая 1796 года прямо говорится, что французская кавалерия не могла перейти реку в этом месте до окончания сражения. См. также Десвернуа, "Мэмс", гл. vii.

[47]

Бувье (стр. 533) связывает эту историю с делами Лас и дискредитирует ее.

[Сноска: 48 Директорская депеша от 7 мая 1796 года. Дата опровергает заявление М. Олара в недавнем томе М. Лависса "Французская революция", стр. 435, о том, что Бонапарт предложил Директории разграбление Ломбардии.]

[49]

"Корреспондент", 6 июня 1797г.

[50]

"Корреспондент", 1 июня 1796г.

[51]

Gaffarel, "Bonaparte et les Républiques Italiennes," p. 22.

[52]

"Корреспондент", 17 мая 1796г.

[53]

Вергилий, "Энеида", х. 200.

[54]

Депеши полковника Грэхема.

[55]

"Корреспондент", 26 июня 1796г.

[56]

Послание Франциска Вюрмсеру, 14 июля 1796 г.

[57]

Жомини (том viii, стр. 305) обвиняет в этом плане Вейротера, начальника штаба Вюрмсера. Жомини приводит точные цифры численности французов на 25 июля: у Массены было 15 000 человек в верхнем Адидже; Ожеро - 5000 человек около Леньяго; Соре - 4000 человек в Сало; Серюрье - 10 500 человек около Мантуи; а с другими войсками в Пескьере и около нее общая боевая численность составляла 45 000 человек. Итак, "Дж.Дж.", стр. 103.

[58]

Посмотрите забавный рассказ Тибо ("Мемуары", том i, глава xvi) о презрении Бонапарта к любому офицеру, который не мог предоставить ему определенной информации, и о приемах, с помощью которых его ординарцы играли на этой слабости. Посмотрите также, Бурьен, на нелюбовь Бонапарта к новым лицам.

[59]

Марбо, "Воспоминания", гл. xvi. J.G., в своей недавней работе "Этюды кампании 1796-97 годов", стр. 115, также защищает Ожеро.

[60]

Жомини, том. viii., стр. 321.

[61]

"История Англии. Ревью", январь 1899 г.

[62]

Таково суждение Клаузевица ("Верке", том iv.), и оно частично подтверждается Дж.Дж. в его "Этюдах кампании 1796-97 гг.". Сен-Сир в своих "Воспоминаниях" о рейнских кампаниях также обвиняет Бонапарта в том, что он *раньше* не отослал свой осадный обоз в безопасное место. Его потеря сделала возобновленную осаду Мантуи немногим больше, чем блокадой.

[63]

Koch, "Mémoires de Masséna," vol. i., p. 199.

[64]

"Корреспондент", 21 октября 1796г.

[65]

"Корреспондент", 24 октября 1796 г. Та же политика проводилась в отношении Генуи. Эту республику следовало убаюкать до тех пор, пока ее можно будет легко свергнуть или поглотить.

[66]

"Ordre du Jour," November 7th, 1796.

[67]

Marmont, "Mémoires," vol. i., p. 237. Я следил за рассказом Мармона как главного действующего лица в этой странной сцене. Это менее драматично, чем обычный рассказ, который можно найти у Тьера, и поэтому более вероятно. Инцидент иллюстрирует безрассудство командира, выполняющего работу сержанта. Мармон указывает, что лучшей тактикой было бы послать одну дивизию для переправы через Адидже у Альбаредо и таким образом захватить Арколу с тыла. Критика Тьера, что это привело бы к слишком большому рассредоточению французской линии, опровергается тем фактом, что на третий день наступление с той стороны вынудило австрийцев эвакуировать Арколу.

[68]

Кох, "Воспоминания Массены", том i, стр. 255, в своем очень полном отчете о битве называет потери противника свыше 2000 убитыми или ранеными и 4000 пленными при 11 орудиях. Тьер дает 40 000 человек в качестве силы Альвинци перед битвой — невероятное число. Смотрите *ставку*.

[69]

Официальные данные Австрии о потерях за три дня в Арколе дают 2046 убитых и раненых, 4090 пленным и 11 орудий. Наполеон подсчитал, что всего их было 13 000! Смотрите Шельса в "Ost. Milit. Zeitschrift" for 1829.

[70]

Прогноз плана, реализованного в 1801-2 годах, в результате которого Бонапарт на время завоевал Луизиану.

[71]

Оценки австрийских сил сильно различаются. Бонапарт предположил, что это 45 000, с чем согласен Тьер; Элисон говорит о 40 000; Тибо полагает, что это было 75 000; Мармон называет общую сумму 26 217. Официальные данные Австрии составляют 28 022 до боевых действий к северу от Монте-Бальдо. Смотрите мою статью в "Eng. Hist. Обзор" за апрель 1899 года. Я в основном следил за донесениями полковника Грэма, который присутствовал при этом сражении. Как указывает "J.G." (указ. соч. , стр. 237), у французов было 1500 всадников и около сорока пушек, что давало им большое преимущество перед противниками, которые не могли эффективно использовать это оружие.

[72]

Этому, несомненно, способствовала смерть царицы Екатерины II в ноябре 1796 года. Она была на грани вступления в Коалицию против Франции. Новый царь Павел в то время выступал за мир. Австрийский министр Тугут, услышав о ее смерти, воскликнул: "Это кульминация наших бедствий".

[73]

Hüffer, "Oesterreich und Preussen," p. 263.

[74]

"Moniteur", 20 Флореаля, год V; Sciout, "Le Directoire", том ii, глава vii.

[75]

Смотрите письмо Ландри на эту тему в "Воспоминаниях Массены" Коха, том ii.; "Оправдывающие статьи", *и далее.*; и "Корреспондентское" письмо Бонапарта от 24 марта 1797 г. Свидетельства этого письма, как и писем от 9 и 19 апреля, игнорируются Тьером, чей отчет о венецианских делах вводит в заблуждение. Ясно, что Бонапарт замышлял раздел задолго до восстания в Брешии.

[76]

Ботта, "История Италии", том ii, глава x и др.; Дару, "История. de Venise," vol. v.; Gaffarel, "Bonaparte et les Républiques Italiennes," pp. 137-139; and Sciout, "Le Directoire," vol ii., chs. v. and vii.

[77]

Sorel, "Bonaparte et Hoche en 1797," p. 65.

[78]

Письмо от 30 апреля 1797 г.

[79]

Письмо от 13 мая 1797 г.

[80]

Из письма Бонапарта от 12 июля 1797 года даже следует, что только после этого он соизволил отправить в Париж условия договора с Венецией. Он сопровождал это циничным предположением, что они могут делать с договором все, что им заблагорассудится, и даже аннулировать его!

[81]

Название *итальянское* было отвергнуто Бонапартом как слишком агрессивно националистическое; но приставка *Снг*- применяемая к государству, простиравшемуся на юг до Рубикона, — была уступкой итальянскому гражданству. Это подразумевало, что Флоренция или Рим были естественной столицей нового государства.

[82]

См. "Сексуальные сувениры" Арно (том iii, стр. 31) и "Время Наполеона" Леви, стр. 131.

[83]

За дополненную версию сопроводительного нового письма Бонапарта (упомянутого в моем предисловии) Я признателен мистеру Х.А.Л. Фишеру в "Англ. Hist. Rev.," Июль 1900 г.:

"Милан, 29 термидора

"À LA CITOYENNE TALLIEN

"Je vous dois des remerciements, belle citoyenne, pour le souvenir que vous me conservez et pour les choses aimables contenues dans votre apostille. Je sais bien qu'en vous disant que je regrette les moments heureux que j'ai passé dans votre société je ne vous répète que ce que tout le monde vous dit. Vous connaître c'est ne plus pouvoir vous oublier: être loin de votre aimable personne lorsque l'on a goûté les charmes de votre société c'est désirer vivement de s'en rapprocher; mais l'on dit que vous allez en Espagne. Fi! c'est très vilain à moins que vous ne soyez de retour avant trois mois, enfin que cet hiver nous ayons le bonheur de vous voir à Paris. Allez donc en Espagne visiter la caverne de Gil Blas. Moi je crois aussi visiter toutes les antiquités possibles, enfin que dans le cours de novembre jusqu'à février nous puissions raconter sans cesse. Croyez-moi avec toute la considération, je voulais dire le respect, mais je sais qu'en général les jolies femmes n'aiment pas ce mot-là.

- БОНАПАРТ.

"Mille e mille chose à Tallien."

[84]

Лавалетт, "Воспоминания", глава xiii.; Баррас, "Воспоминания", том ii., стр. 511-512; и герцогиня д'Абрантес, "Воспоминания", том i., глава xxviii.

[85]

Barras, "Méms.," vol. ii., ch, xxxi.; Madame de Staël, "Directoire," ch. viii.

[86]

"Mémoires de Gohier"; Roederer, "Oeuvres," tome iii., p. 294.

[87]

Броэм, "Очерки государственных деятелей"; Ste. Бев, "Талейран"; леди Бленнерхассет, "Талейран".

[88]

Инструкции Талейрана французским посланникам (11 сентября); также "Марет, герцог де Бассано" Эрнуфа, глава xxvii. и xxviii., за добросовестность Питта на этих переговорах.

Кажется странным, что барон дю Касс, в его в целом справедливом отношении к английскому делу, в своих "Объединениях родственников и предателей Люневиля и д'Амьена" с самого начала навредил своим читателям, сославшись на письмо, которое он приписывает лорду Малмсбери. На нем нет ни даты, ни названия, и оно якобы является "Письмом лорда Малмсбери, ублие в Лилле". How could the following sentences have been penned by Malmesbury, and written to Lord Grenville?—"Mais enfin, outre les regrets sincères de Méot et des danseuses de l'Opéra, j'eus la consolation de voir en quittant Paris, que des Français et une multitude de nouveaux convertés à la religion catholique m'accompagnaient de leurs vœux, de leurs prières, et presque de leurs larmes.... L'évènement de Fructidor porta la désolation dans le coeur de tous les bons ennemis de la France. Pour ma part, j'en fut consterné: *je ne l'avais point prévu*." Очевидно, что это неуклюжая выдумка фруктидорианца, предназначенная для парижского потребления: она была переведена памфлетистом—вигом под названием "Голос истины!" - подходящий образец той партийной недоброжелательности, которая искажила большую часть нашей политической литературы того времени.

[89]

Письма Бонапарта Талейрану от 28 сентября и 7 октября.

[90]

Смотрите также "Политику Великобритании и Франции" Марша, глава xiii.; "Переписка У.А. Майлза о Французской революции", письма от 7 и 18 января 1793 г.; также "Европа во время Французской революции" Сибела, том ii.

[91]

Pallain, "Le Ministère de Talleyrand sous le Directoire," p. 42.

[92]

Бурьен, "Мемуары", том i, глава xii. Смотрите также депешу Сандоз-Роллена в Берлин от 28 февраля 1798 г. в "Пройссене и Франкрейхе" Байе, том i, № 150.

[93]

Курсив мой собственный. Я хочу привлечь внимание к этому заявлению в связи с широко обсуждаемым вопросом о том, намеревался ли Наполеон в 1804-1845 годах вторгнуться на нашу землю, *если только он не добьется превосходства на море*. See Desbrière's "Projets de Débarquement aux Iles Britanniques," vol. i., *ad fin*.

[94]

Письмо от 10 октября 1797 г.; см. также письма от 16 августа и 13 сентября.

[95]

План создания угрозы различным частям нашего побережья был реализован Бонапартом еще 13 апреля 1798 года. В своем письме, датированном этим днем, он все еще говорит о вторжении в Англию и Шотландию и обещает вернуться из Египта через три-четыре месяца, чтобы продолжить вторжение в Соединенное Королевство. Буле де ла Мерт в своей работе "Le Directoire et l'Expédition d'Egypte", гл. i., кажется, серьезно относится к этому обещанию. В любом случае надежды Директоров на вторжение в Ирландию были разбиты

преждевременным восстанием ирландских недовольных в мае 1798 года. О миссии Пуссельга на Мальту читайте в "Мэмс" Лавалетта, глава xiv.

[96]

Малле дю Пан утверждает, что три тысячи воинов прибыли в Берн, чтобы присоединиться к национальной обороне: "Демократические кантоны вместе с фанатиками против Франции" — многозначительное замечание.

[97]

Dändliker, "Geschichte der Schweiz," vol. iii., p. 350 (edition of 1895); also Lavissee, "La Rév. Franç.," p. 821.

[98]

"Переписка", № 2676.

[99]

"Отчеты министерства иностранных дел", Мальта (№ 1). Г-н Уильямс заявляет в своей депеше от 30 июня 1798 г., что Бонапарту было известно, что четыре тысячи мальтийцев высказались в его пользу, и что большинство французских рыцарей были публично известны как таковые; но он добавляет: "Я действительно верю, что мальтийцы [*так в оригинале*] отдали остров французам, чтобы избавиться от рыцарского звания".

[100]

Я в долгу перед библиотекарем Приората рыцарей Святого Иоанна в Клеркенуэлле.

[101]

См., в качестве любопытного примера, Шапталя, "Сувениры из Мессы", стр. 243.

[102]

Арабские отчеты об этих событиях, составленные Накулой и Абдуррахманом, представляют большой интерес. Они были хорошо использованы М. Дюфурком, редактором "Мемуаров" Десвернуа, для многих наводящих на размышления сносок.

[103]

Desgenettes, "Histoire médicale de l'Armée d'Orient" (Paris, 1802); Belliard, "Mémoires," vol. i.

[104]

Я следил главным образом за рассказом Савари, герцога де Ровиго, "Мэмс", гл. iv. См. также Десвернуа, "Мэмс", гл. iv.

[105]

Смотрите его приказы, опубликованные в "Официальной и конфиденциальной переписке". de Нар. Бонапарт, Египет", том i. (Париж, 1819, стр. 270). Они опровергают заявление капитана Махана ("Влияние морской мощи на о. преподобного и эмпатов", том i, стр. 263) относительно "заблуждения и летаргии" Брюи в Абукире. Напротив, хотя он был ослаблен дизентерией и обеспокоен нехваткой провизии и неподчинением своих морских пехотинцев, он, безусловно, делал все, что мог в сложившихся обстоятельствах. Смотрите его письма в Приложении к книге Журьена де ла Гравьера "Приморские воины", том i.

[106]

Десвернуа, "Мэмс", ч. v.

[107]

Ib., глава vi.

[108]

Приказ от 27 июля 1798 г.

[109]

Ducasse, "Les Rois, Frères de Napoléon," p. 8.

[110]

"Mémoires de Napoléon," vol. ii.; Bourrienne, "Mems.," vol. i., ch. xvii.

[111]

"Méms. de Berthier."

[112]

4 ноября 1798 года французское правительство направило Бонапарту в трех экземплярах депешу, в которой, после изложения провала их планов в отношении Ирландии, настоятельно призывало его либо (1) остаться в Египте, чего они явно не одобряли, либо (2) выступить в Индию и сотрудничать с Типпу Сахибом, либо (3) наступать на Константинополь, чтобы Франция могла получить долю в разделе Турции, который в то время обсуждался между дворами Петербурга и Вены. Ни одна копия этого послания, по-видимому, не дошла до Бонапарта до того, как он отправился в Сирию (10 февраля). Это любопытное и, возможно, коварное сообщение приводится полностью Буле де ла Мептом, "Le Directoire et l'Expédition d'Egypte", Приложение, № 5.

В целом, я вынужден не согласиться с капитаном Маханом ("Влияние морской силы", том i, стр. 324-326) и рассматривать более масштабные планы Бонапарта в этом сирийском предприятии как дальновидные.

[113]

Berthier, "Mémoires"; Belliard, "Bourrienne et ses Erreurs," also corrects Bourrienne. Что касается нехватки продовольствия, отрицаемой Ланфри, см. Капитана Креттли, "Исторические сувениры".

[114]

Emouf, "Le General Kléber," p. 201.

[115]

"Отчеты адмиралтейства", Средиземноморье, № 19.

[116]

"Корреспондент", № 4124; Лавалетт, "Мэмс", глава ххi.

[117]

"Депеша Нельсону" Сиднея Смита от 30 мая 1799 г.

[118]

J. Miot's words are: "Mais s'il en faut croire cette voix publique, trop souvent organe de la vérité tardive, qu'en vain les grands espèrent enchaîner, c'est un fait trop avéré que quelques blessés du Mont Carmel et une grande partie des malades à l'hôpital de Jaffa ont péri par les médicaments qui leur ont été administrés." Можно ли это назвать доказательством?

[119]

Ларри, "Историческое отношение"; Лавалетт, "Мэмс", глава ххi.

[120]

См. Belliard, "Бурьен и его ошибки"; также письмо д'Ора, бывшего генерала-интенданта этой армии, в "Journal des Débats" от 16 апреля 1829 года в ответ Бурьену.

[121]

"On disait tout haut qu'il se sauvait lâchement," Merme in Guitry's "L'Armée en Egypte." Но Бонапарт подготовился к этому разочарованию и худшим последствиям, предупредив Клебера в письме от 22 августа 1799 года, что, если он потеряет 1500 человек от чумы, он может самостоятельно провести лечение для эвакуации из Египта.

[122]

Lucien Bonaparte, "Mémoires," vol. ii., ch. xiv.

[123]

В наших "Архивах Адмиралтейства" (Средиземноморье, № 21) есть документы, подтверждающие реальность русских замыслов на Корсике.

[124]

"Учитывайте. sur la Rév. Française," bk. iii., ch. xiii. См. также Sciout, "Le Directoire", том iv., главы. xiii.-xiv.

[125]

La Réveillère-Lépeaux, "Mems.," vol. ii., ch. xlv.; Hyde de Neuville, vol. i., chs. vi.-vii.; Lavis, "Rév. Française," p. 394.

[126]

Баррас, "Мэмс", том iv, глава ii.

[127]

"История. Соединенных Штатов" (1801-1813), X. Адамс, том i, глава xiv и Ste. Beuve's "Talleyrand."

[128]

Гойе, "Мэмс", том i.; Лавалетт, "Мэмс", глава xxii.; Редерер, "Произведения", том iii., стр. 301; Мадлен, "Фуше", стр. 267.

[129]

Историю о кинжале Арены, поднятом против Бонапарта, см. в Sciout, т. iv., стр. 652. Кажется, это благодаря Люсьену Бонапарту. Любопытные подробности о внезапной бледности Бонапарта я узнаю от Редерера ("Oeuvres", т. iii, стр. 302), который услышал об этом от Монтрона, секретаря Талейрана. So Aulard, "Hist. de la Rév. Fr.," p. 699.

[130]

Наполеон объяснил Меттерниху в 1812 году, почему он хотел заставить замолчать *Легислатурный корпус*; "Во Франции все гонятся за аплодисментами: они хотят, чтобы их заметили и им аплодировали.... Заставьте Собрание замолчать, которое, если оно чего—то стоит, должно быть совещательным, и вы дискредитируете его". - "Мемуары" Меттерниха, том i, стр. 151.

[131]

Это было еще более подтверждено тем, что первые выборы по новой системе были отложены до 1801 года; чиновники, выбранные консулами, были затем внесены в списки знаменитостей нации без права голоса. Конституция вступила в силу 25 декабря 1799 года.

[132]

Roederer, "Oeuvres," vol. iii., p. 303. Он был посредником между Бонапартом и Сийесом.

[133]

Посмотрите "Сувениры" Матье Дюма о том, как искусно Бонапарт воспользовался услугами этого конституционного роялиста и нанял его для набора конницы-добровольца.

[134]

"Lettres inédites de Napoléon," February 21st, 1800; "Mémoires du Général d'Andigné," ch. xv.; Madelin's "Fouché," p. 306.

[135]

"Georges Cadoudal," par son neveu, G. de Cadoudal; Hyde de Neuville, vol. i., p. 305.

[136]

Талейран, "Мэмс", том i, часть ii.; Мармон, Б.к. против

[137]

"F.O.", Австрия, № 58; "Депеши Каслри", против *и далее*. Боумен в своей превосходной монографии "Предварительные этапы Амьенского мира" (Торонто, 1899) не отметил этого.

[138]

"Вздремни. Корреспондент", 27 февраля 1800 г.; Тугут, "Briefe", том ii., стр. 444-446; Онкен, "Zeitalter", том ii. стр. 45.

[139]

В депеше Министерства иностранных дел, датированной Даунинг-стрит 8 февраля 1800 года, в Венту, обещался заем и что 15 000 или 20 000 британских военнослужащих должны быть задействованы в Средиземном море для совместных действий с австрийцами там и для оказания "поддержки роялистским восстаниям в южных провинциях Франции". Никакие расхождения во мнениях относительно Пьемонта не могут служить достаточным оправданием невыполнения британским правительством этого обещания — невыполнения, которое привело к катастрофе при Маренго.

[140]

Тьер приписывает этот прием Бонапарту, но бюллетень Первого консула от 24 мая приписывает его Мармону и Гассенди.

[141]

Марбо, "Мэмс", гл. ix.; Аллардайс, "Мемуары лорда Кита", гл. xiii.; Тибо, "Дневник блокады Генуи".

[142]

То, что Мелас ожидал такого похода, ясно из его письма от 23 мая, датированного Савилланом, лорду Киту, которое я нашел в "Брит. Admiralty Records" (Mediterranean, No. 22), where he says: "L'ennemi a cerné le fort de Bard et s'est avancé jusque sous le château d'Ivrée. Il est clair que son but est de délivrer Masséna."

[143]

Бонапарт покинул Милан только 9 июня: смотрите "Корреспонденцию" и бюллетень от 10 июня. Жомини назначает свой отъезд на 7-е число и тем самым путает свое описание этих двух дней. Тьер датирует его 8 июня.

[144]

Лорд У. Бентинк доложил британцу. Адмиралтейство ("Отчеты", статья, № 22), из Александрии, 15 июня: "С сожалением сообщаю, что корпус генерала Эльсница, состоявший из гренадеров лучших полков (австрийской) армии, прибыл сюда в самом плачевном состоянии. Его люди уже сильно пострадали от нехватки провизии и других лишений. При отступлении его преследовал Генль. Сюше, с которым было около 7000 человек. Было сражение у Понте-ди-Нава, в котором французы потерпели неудачу; и это покажется едва ли правдоподобным, когда я сообщу вашей светлости, что австрийцы потеряли при этом отступлении, только от усталости, около 5000 человек; и я не сомневаюсь, что ген. Суше сообщит об этом миру как о великой победе".

[145]

Неточность "Воспоминаний" Марбо нигде так не бросается в глаза, как в его заявлении о том, что Маренго, должно быть, выступил против французов, если 25 000 австрийцев Отта из Генуи присоединились к своим товарищам. На самом деле, Отт с 16 000 человек уже сражался с Ланном при Монтебелло и сыграл большую роль в битве при Маренго.

[146]

"Корреспондент", том vi, стр. 365. Фурнье, "История. Studien und Skizzen", стр. 189, утверждает, что письмо было написано из Милана и датировано для пущего эффекта Маренго.

[147]

См. "Мемуары" Чарторыйского, гл. xi., и "Исходный вопрос" Дрио, гл. iii. Министерство иностранных дел Великобритании было проинформировано об этом плане. В его записях (№ 614) есть мемуары (написанные карандашом на обороте 31 января 1801 г.) некоего М. Леклерка мистеру Флинту, в которых настоящее предложение восходит к предложению М. де Сен-Жени Екатерине II и предлагается, чтобы первым шагом Франции был захват Сокотры и Перима.

[148]

Гарден, "Предания", том vi, глава xxx.; "Жизнь Нельсона" капитана Мэхана, том ii, глава xvi.; Тьер, "Консульство", bk. ix. Об убийстве царя Павла см. "Конец кайзера Пауля" фон Р.Р. (Штутгарт, 1897); также "Мемуары" Чарторыйского, гл. xiii.-xiv. О предложении Бонапартом нам морского перемирия и его увертюре в декабре 1800 года см. Боумен, *соч. cit.*

[149]

Паскье, "Мэмс", том i, глава ii, стр. 299. То же самое и Моллиен, "Мэмс".: "С ненасытной активностью в деталях, беспокойным умом, всегда стремящимся к новым заботам, он не только правил, он продолжал управлять не только как премьер-министр, но и более детально, чем каждый министр".

[150]

Нехватка места препятствует ведению какого-либо учета французских финансов и созданию Банка Франции. Но здесь мы можем отметить, что сбор национальных налогов теперь осуществлялся назначенным государством директором и его подчиненными в каждом департаменте — план, который дал лучшие результаты, чем прежние небрежные методы. *Генеральный совет* департамента установил прямые налоги для небольших районов. "Памятки". de Gaudin, Duc de Gaëte.

[151]

Edmond Blanc, "Napoléon I; ses Institutions," p. 27.

[152]

Theiner, "Hist. des deux Concordats," vol. i., p. 21.

[153]

Тибодо подсчитал, что из 35 000 000 человек населения можно составить следующий ассортимент: протестанты, евреи и теофилантропы - 3 000 000; католики - 15 000 000, поровну разделенные между ортодоксами и конституционалистами; и целых 17 000 000 человек, не исповедующих никакой веры вообще.

[154]

См. Редерер, "Произведения", том iii, стр. 475. О недовольстве офицеров см. "Mems." Паскье, том i, глава vii.; также "Mems." Мармона, bk. vi.

[155]

Смотрите черновики в книге графа Буле де ла Мерта "Объединение согласия", том ii, стр. 58 и 268.

[156]

Тейнер, том i, стр. 193 и 196.

[157]

Меневаль, "Мэмс", том i, стр. 81.

[158]

Тьер опускает какие-либо уведомления об этой странной сделке. Ланфри описывает это, но, к сожалению, опирается на мелодраматическую версию, приведенную в "Мемуарах" Консальви, которые были написаны много лет спустя и заслуживают гораздо меньшего доверия, чем письма кардинала, написанные в то время. В своем тщательном анализе всех документальных

свидетельств граф Буле де ла Мерт (том iii, стр. 201, примечание) приходит к выводу, что новый проект Конкордата (№ VIII.) был составлен Отеривом, был "немедленно представлен на утверждение Первого консула" и вслед за этим лег в основу долгой и жаркой дискуссии 14 июля между папским и французским полномочными представителями. Факсимиле этого интересного документа со всеми подчистками прилагается в конце его книги.

[159]

Паскье, "Мэмс", том i, глава vii. Две из основных статей предвещали отмену революционного календаря. Первый восстановил старые названия дней недели; второй постановил, что воскресенье должно быть днем отдыха для всех государственных служащих. С тех пор соблюдение *декада* прекратилось; но месяцы революционного календаря соблюдались до конца 1805 года. Аналогично относились и к теофилантропии: когда ее приверженцы подали заявку на строительство, их просьба была отклонена на том основании, что их культ относится к области философии, а не к какой-либо реальной религии! Небольшое количество священников и их прихожан отказались признать Конкордат; и даже сегодня есть несколько таких *противников конкордатуции*.

[160]

Шапталь, "Сувениры", стр. 237-239. Люсьен Бонапарт, "Mems.", т. ii., стр. 201, цитирует мнение своего брата Жозефа о Конкордате: "У нас нет прогресса и иррефлексии в отношении нации, как ты думаешь".]

[161]

Тибодо, "Консулат", глава xxvi.

[162]

"Code Napoléon," art. 148.

[163]

В других отношениях влияние Бонапарта также использовалось для снижения правового статуса женщины, для повышения которого мужчины 1789 года так много сделали. В его любопытном письме от 15 мая 1807 года об учебном заведении в Экуэне мы приводим его идеи о здоровом, полезном образовании для девочек: "... Мы должны начать с религии во всей ее строгости. Не допускайте никаких изменений в этом. Религия очень важна в государственной школе для девочек: это самая надежная гарантия для матерей и мужей. Мы должны воспитывать верующих, а не рассуждающих. Слабость женских мозгов, непостоянство их идей, их роль в общественном строе, их потребность в постоянном смирении и своего рода

снисходительной и легкой благотворительности — всего этого можно достичь только с помощью религии ". Они должны были немного изучать географию и историю, но не иностранный язык; прежде всего, много заниматься рукоделием.

[164]

Sagnac, "Législation civile de la Rév. Fr.," p. 293.

[165]

Развод был запрещен в 1816 году, но был восстановлен в 1884 году.

[166]

Саньяк, указ. соч., стр. 352.

[167]

"Жизнь сэра С. Ромилли", том i, стр. 408.

[168]

Маделен в своем "Фуше", глава xi, показывает, как частная полиция Бонапарта справилась с этим делом. Впоследствии Харель был назначен губернатором Венсенского замка: четверо болтунов, которых он заманил вместе с полицией, были казнены после дела Нивоза. Этот ловкий литературный льстец, поэт Фонтанес, отпраздновал "раскрытие" заговора Арены анонимной публикацией памфлета ("Параллель между Цезарем, Кромвелем, Монком и Бонапартом"), в котором он решил, что никто, кроме Цезаря, не заслуживает чести сравняться с Бонапартом и что определенные судьбы призывают его к еще более высокому титулу. Памфлет появился под покровительством Люсьена Бонапарта и так разозлил его брата, что вскоре он отправил его с дипломатической миссией в Мадрид в наказание за его несвоевременные предложения.

[169]

Тибодо, указ. соч., том ii., стр. 55. Мио де Мелито, глава xii.

[170]

Из показаний, столь откровенно данных Кадудалем на суде в 1804 году, а также из его высказываний, когда он слышал о деле Нивоза, кажется очевидным, что герой Шуанов не имел отношения к делу о бомбе. Он вернулся во Францию, уполномочил Сен-Режана купить оружие и лошадей, "не делайте мне сервирай плюс тард"; и кажется несомненным, что он намеревался сформировать банду отчаянных людей, которые должны были подстеречь, похитить или убить Первого консула в открытом бою. Этот план был отложен из-за взрыва бомбы на три года. Как только он слышал об этом событии, он воскликнул: "Держу пари, что это был тот самый Сен-Режан. Он расстроил все мои планы. (See "Georges Cadoudal," par G. de Cadoudal.)

[171]

Roederer, "Oeuvres," vol. iii., p. 352. Об этих переговорах читайте в книге Боумена "Предварительные этапы Амьенского мира" (Торонто, 1899).

[172]

Портер, "Прогресс нации", глава xiv.

[173]

"Новые письма Наполеона I." См. также его письмо от 17 июня.

[174]

"Переписка Корнуоллиса", том iii., стр. 380-382. Существует мало записей о переговорах между лордом Хоксбери и М. Отто в Лондоне. Я не нашел ничего подобного в архивах Министерства иностранных дел. Общие факты приведены Гарденом, "Traité", том vii, глава xxxi; лишь некоторые обсуждения были доведены до письменной формы. Это серьезно ущемило наши интересы в Амьене.

[175]

Лефевр, "Кабинеты Европы", глава iv

[176]

Глава. "Сувениры от Mes", стр. 287, 291 и 359.

[177]

См. Главу XIV. этой работы.

[178]

Тибодо, указ. соч., ч. xxvi.; Лависс, "Наполеон", ч. i.

[179]

"Дневник Святой Елены", леди Малкольм, стр. 97.

[180]

"Две герцогини", под редакцией Вира Фостера, стр. 172. Лорд Малмсбери ("Дневники", том iv, стр. 257) менее благосклонен: "Когда Б. выходит за рамки своих церемонных привычек, его речь часто бывает грубой и вульгарной".

[181]

Jurien de la Graviere, "Guerres Maritimes," vol. ii., chap. vii.

[182]

Эти факты были позже полностью признаны Отто: смотрите его депешу Талейрану от 6 января 1802 года, опубликованную Дю Кассом в его "Объединениях родственников и характерных черт Амьена", том iii.

[183]

"F.O.", Франция, № 59. Мемуары датированы 19 октября 1801 года.

[184]

"Ф.О.", Франция, № 59.

[185]

Каслри, "Письма и депеши", Вторая серия, том i, стр. 62, и речи министров 3 ноября 1801 г.

[186]

Корнуоллис, "Переписка", том iii., депеша от 3 декабря 1801 г. Коренные мальтийцы были решительно настроены за присоединение к Великобритании и против возвращения Ордена вообще. Они послали депутацию в Лондон (февраль 1802 г.), с которой наше правительство обошлось небрежно, чтобы не обидеть Бонапарта. (См. "Переписку У.А. Майлза", том ii, стр. 323-329, который составил свой мемориал.)

[187]

Депеши Корнуоллиса от 10 и 23 января 1802 г.

[188]

Проект международного договора, направленный Корнуоллисом в Лондон 27 декабря 1801 г., в Бюро государственных записей, № 615.

[189]

См. "Документы Пейджета", том ii. Франция получила право доступа к Черному морю: депеши мистера Мерри из Парижа в мае 1802 года показывают, что Франция и Россия планировали планы раздела Турции. ("Ф.О.", Франция, № 62.)

[190]

Депеши от 14 и 22 марта 1802 года показывают, насколько сильным было отвращение нашего правительства к такому низкому обращению с принцем Оранским; и ясно, что Корнуоллис превысил свои инструкции, подписав мир на этих условиях. (См. Гарден, том vii., стр. 142.) По секретному договору с Пруссией (май 1802 г.) Франция приобрела Фульду для Оранского дома.

[191]

Pasolini, "Memorie," *ad init.*

[192]

"Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon" (Paris, 1889).

[193]

Депеша мистера Джексона от 17 февраля 1802 года из Парижа. Согласно Миоту де Мелито ("Мэмс", гл. xiv), Бонапарт предложил пост президента своему брату Жозефу, но сковал его таким количеством ограничений, что Жозеф отказался от этой чести.

[194]

Редерер сообщает нам ("OEuvres", т. iii., стр. 428), что он составил два плана конституции для Цизальпии; один очень короткий и многое оставляющий президенту, другой точный и детализированный. Он попросил Талейрана посоветовать Бонапарту принять первое, поскольку оно *"короткое и"* — он собирался добавить *"ясное"*, когда дипломат прервал его словами: *"Да: короткое и неясное!"*

[195]

Письмо Наполеона Жозефу Бонапарту от 2 февраля 1802 г.; см. Также меморандум Корнуоллиса от 18 февраля.

[196]

Будет справедливо по отношению к Корнуоллису процитировать письмо с пометкой "Личное", которое он получил от Хоксбери в то же время, когда ему было приказано сохранять твердость:

"ДАУНИНГ-СТРИТ, 22 марта 1802 года.

"Я считаю правильным сообщить вам, что у меня состоялась конфиденциальная переписка с Отто, который приложит все усилия, чтобы побудить свое правительство согласиться со статьями, касающимися принца Оранского и заключенных, в том виде, в каком они сейчас предложены. Я очень не сомневаюсь в его успехе и поэтому надеюсь, что вас скоро освободят. Мне нет нужды напоминать вам о важности отправки вашего самого оперативного гонца в тот момент, когда решается наша судьба. Казначейство почти истощено, и мистер Аддингтон не может должным образом выплатить свой заем в нынешней ситуации неопределенности".

[197]

Смотрите британские заметки от 6-16 ноября 1801 года в "Переписке Корнуоллиса", том iii. В своей речи в Палате лордов 13 мая 1802 года лорд Гренвилл жаловался, что нам пришлось послать в Вест-Индию в мирное время флот вдвое больший, чем тот, что находился там во время последней войны.

[198]

Об этих и последующих переговорах читайте в "Воспоминаниях" Люсьена Бонапарта, том ii., и в "Следах мира" Гардена, том iii., глава xxxiv. Дistinguished Х. Тейлор в "Североамериканском обозрении" за ноябрь 1898 года подсчитал, что Новый Свет был разделен таким образом в 1801 году:

Испания площадью 7028 000 квадратных миль.

Великобритания 3,719,000 " "

Португалия 3,209,000 " "

Соединенные Штаты 827,000 " "

Россия 577,000 " "

Франция 29,000 " "

[199]

"История Соединенных Штатов, 1801-1813" Х. Адамса, том i, стр. 409.

[200]

Письмо Наполеона от 2 ноября 1802 г.

[201]

Депеша Мерри от 21 октября 1802 года.

[202]

Инструкции, которые он отправил Виктору, содержат интересный комментарий к французской колониальной политике: "Система этой, как и всех других наших колоний, должна заключаться в том, чтобы сосредоточить свою торговлю в национальной торговле: она должна быть особенно нацелена на установление отношений с нашими Антильскими островами, чтобы занять в этих колониях место американской торговли.... Капитан-генерал должен воздерживаться от любых нововведений, благоприятных для иностранцев, которые должны быть ограничены такими сообщениями, которые абсолютно необходимы для процветания Луизианы".

[203]

Lucien Bonaparte, "Mémoires," vol. ii., ch. ix. Он описывает тревогу Джозефины по поводу этого дурного предзнаменования в то время, когда ходили слухи о разводе.

[204]

Harbé-Marbois, "Hist. Луизиана", цитируется Х. Адамсом, указ. соч., том ii., стр. 27; Ролофф, "Колониальная политика Наполеона".

[205]

Garden, "Traité," vol. viii., глава xxxiv. Смотрите также Редерера, "Oeuvres", том iii, стр. 461, о выражениях Наполеона после обеда 11 января 1803 года: "Модит сукре, модит кафе, модит колонии".

[206]

Корнуоллис, "Переписка", том iii., депеша от 3 декабря 1801г.

[207]

Смотрите ценные статьи о работах генерала Декена в "Историческом ревю" за 1879 и 1881 годы.

[208]

Dumas' "Précis des Événements Militaires," vol. xi., p. 189. Версия этих инструкций, представленная Тиером в книге xvi, совершенно вводит в заблуждение.

[209]

Лорд Уитворт, наш посол в Париже, заявил (депеша от 24 марта 1803 г.), что Декан должен быть незаметно усилен войсками на французском жаловании, отправленными каждым французским, испанским или голландским кораблем, направляющимся в Индию, чтобы не привлекать внимания. ("Англия и Наполеон", под редакцией Оскара Браунинга, стр. 137.)

[210]

Смотрите мою статью "Французская Ост-Индская экспедиция на мысе Кейп" и неопубликованные документы в "Eng. Hist. Rev." за январь 1900 года. Французский дизайн мыса укрепил нашу решимость приобрести его, к чему мы и готовились летом 1805 года.

[211]

Уэлсли, "Депеши", том iii, Приложение, депеша от 1 августа 1803 г. Смотрите также "Письма и депеши" Каслри, Вторая серия, том i, стр. 166-176, статьи лорда Элджина и другие, все за 1802 год, описывающие крайнюю слабость Турции, вероятность падения Египта под ударами любого захватчика, угрозу Кавказу и Персии со стороны России и необходимость оккупации Адена в качестве сдерживающего фактора для любых французских замыслов в отношении Индии со стороны Суэца.

[212]

Депеша Уэллсли от 13 июля 1804 года: к ней он приложил перехваченную депешу, датированную Пондишери 6 августа 1803 года, "Памятную записку о фактической важности Мира и мойен, а также об эффективности восстановления Французской нации в ее древнем великолепии". Писатель, лейтенант Лефевр, описал непопулярность британцев в Индии и огромные богатства, которые Франция могла бы получить от их завоевания.

[213]

Отчет Itaum приведен в "Письмах" Каслри, Вторая серия, том i, стр. 203.

[214]

"Voyage de Découverte aux Terres Australes sur les Corvettes, le Géographe et le Naturaliste," rédigé par M.F. Péron (Paris, 1807-15). Прилагаемая карта была скопирована из Атласа.

[215]

Здесь можно вкратце рассказать о его более поздних неудачах. Будучи вынужден зайти на Иль-де-Франс для ремонта своего корабля, он был там схвачен и содержался под стражей как шпион генералом Деканом, пока рыцарское заступничество французского исследователя Бугенвиля, наконец, не помогло добиться его освобождения в 1810 году. Поведение Декена было тем более одиозным, что французские экипажи во время их пребывания в Сиднее осенью 1802 года, когда новости об Амьенском мире были еще неизвестны, получили не только большую помощь в ремонте своих кораблей, но и самое щедрое личное внимание, официальные и частные лица в Сиднее согласились ограничивать себя в этот сезон дефицита, чтобы у исследователей была еда. Хотя этот факт был доведен до сведения Декена братом commodора Бодена, он, тем не менее, отказался признать действительность паспорта, который Флиндерс, как исследователь географии, получил от французских властей, но продержал его в плену семь лет. Подробнее см. "Путешествие с целью открытий к Австралийским островам" капитана Флиндерса (Лондон, 1814), том ii, главы vii-ix. Названия, данные Флиндерсом побережьям Западной и Южной Австралии, были сохранены из-за приоритета его исследования; но французские названия были сохранены на побережье между устьем пролива Мюррей и Бассовым проливом по той же причине.

[216]

Смотрите письмо Бодена Кингу от 23 декабря 1803 г. в т. v. (Приложение) "Исторических записей Нового Южного Уэльса" и другие важные письма и депеши, содержащиеся там, а также там же., стр. 133 и 376.

[217]

Зашифрованное послание мистера Мерри из Парижа, 7 мая 1802 г.

[218]

Невозможно углубляться в сложный вопрос о восстановлении Германии, осуществленном в 1802-1803 годах. В Раштадте было заключено общее соглашение о том, что в качестве компенсации за потери германских государств при завоевании Рейнской области Францией они должны получить церковные земли старой империи. Имперский сейм назначил делегацию для рассмотрения всего вопроса; но до того, как этот орган собрался (24 августа 1802 г.), в Париже с одобрения России был тайно заключен ряд договоров, которые благоприятствовали Пруссии и подавляли Австрию. Австрия получила архиепископства Трента и Бриксена, в то время как ее эрцгерцоги (ранее Тосканы и Модены) были возведены в Зальцбурге и Брайсгау. Пруссия, как *протее* Франции, получила Хильдесхайм, Падерборн, Эрфурт, город Мюнстер и т.д. Bavaria received Würzburg, Bamberg, Augsburg, Passau, etc. См. Гарден, "Traité", том vii, глава xxxii.; "Annual Register" of 1802, pp. 648-665; Oncken, "Consulat und Kaiserthum," vol. ii.; and Beer's "Zehn Jahre Oesterreichischer Politik."

[219]

Британские ноты от 28 апреля и 8 мая 1803 года снова требовали соответствующей компенсации для короля Сардинии.

[220]

Смотрите его письма от 28 января 1801 г., 27 февраля, 10 марта, 25 марта, 10 апреля и 16 мая, опубликованные в работе "Бонапарт, Талейран и Штапфер" (Цюрих, 1869).

[221]

Daendliker, "Geschichte der Schweiz," vol. iii., p. 418; Muralt's "Reinhard," p. 55; and Stapfer's letter of April 28th: "Malgré cette apparente neutralité que le gouvernement français déclare vouloir observer pour le moment, différentes circonstances me persuadent qu'il a vu avec plaisir passer la direction

des affaires des mains de la majorité du Sénat [helvétique] dans celles de la minorité du Petit Conseil."

[222]

Garden, "Traités," vol. viii., стр. 10. Мистер Мерри, наш *временный поверенный в делах* в Париже, сообщил 21 июля: "Господин Штапфер хвастается тем, что получил согласие Первого консула на полный вывод французских войск из Швейцарии. Я узнал от некоторых доброжелательно настроенных швейцарцев, которые находятся здесь, что такое согласие было дано; но они рассматривают это лишь как меру, рассчитанную на усиление беспорядков в их стране и предоставление французам предлога для повторного вторжения в нее".

[223]

Рединг в брошюре, опубликованной вскоре после этого, подробно описал свои беседы с Бонапартом в Париже и заявил, что полностью одобрил его (Рединга) федеральные планы. Ни Бонапарт, ни Талейран никогда этого не отрицали.

[224]

См. "Бумаги Пейджета", том ii, депеши от 29 октября 1802 г. и 28 января 1803 г.

[225]

Наполеон признал это в своей речи перед швейцарскими депутатами в Сен-Клу 12 декабря 1802 года.

[226]

Записка лорда Хоксбери от 10 октября 1802 г., апелляция швейцарцев и ответ мистера Мура из Констанца полностью опубликованы в документах, представленных парламенту 18 мая 1803 г.

Герцог Орлеанский написал из Твикенхэма Питту замечательное письмо, датированное 18 октября 1802 года, в котором предлагал отправиться в качестве лидера к швейцарцам во имя независимости Швейцарии и Европы: "Я естественный враг Бонапарта и всех подобных правительств....Англия и Австрия могут найти во мне все преимущества того, что я французский принц. Избавьтесь от меня, сэр, и укажите мне путь. Я буду следовать этому". См. "Жизнь Питта" Стэнхоупа, том iii, глава xxxiii.

[227]

Смотрите Редерер, "События", т. iii, стр. 454, о любопытных изменениях, которые Наполеон предписал в опубликованных отчетах об этих речах; также депешу Штапфера от 3 февраля 1803 г., которая заслуживает большего доверия, чем официальная версия в "Переписке" Наполеона. Это, однако, содержит угрожающее предложение: "Европа признает, что Италия и Голландия, а также Швейцария находятся в распоряжении Франции".

[228]

Справедливо будет сказать, что они признали свою ошибку и недавно пообещали равенство прав для ранее подвластных округов и для всех классов. См. "Райнхард" Муральта, стр. 113.

[229]

Смотрите, *среди прочего*, "Монитор" от 8 августа, 9 октября, 6 ноября 1802 г.; от 1 и 9 января, 19 февраля 1803 г.

[230]

Депеши лорда Уитворта от 28 февраля и 3 марта 1803 года в книге Браунинга "Англия и Наполеон".

[231]

Секретные инструкции лорду Уитворту, 14 ноября 1802г.

[232]

"Отчеты Министерства иностранных дел", Россия, № 50.

[233]

В своем обычно точном "Руководстве по истории политики стран" (том ii, стр. 238) М. Буржуа утверждает, что в мае 1802 года лорду Сент-Хеленсу удалось убедить царя *не* давать гарантии по пункту, касающемуся Мальты. Каждое сообщение, которое я читал, в точности противоречит этому утверждению: факт заключается в том, что царь обиделся на этот договор и отказался выслушать наши неоднократные просьбы о его гарантиях. Тьер справедливо утверждает, что британское министерство настаивало на том, чтобы царь дал свои гарантии, но Франция долгое время не направляла своего заявления. Почему это пренебрежение, если она хотела уладить дело?

[234]

"Письма и депеши" Каслри, Вторая серия, том i, стр. 56 и 69; "Вечера" Дюма, ix. 91.

[235]

Памятная записка Франциска II. to Cobenzl (March 31st, 1801), in Beer, "Die Orientalische Politik Oesterreichs," Appendix.

[236]

"Воспоминания", том i, глава xiii.

[237]

Ulmann's "Russisch-Preussische Politik, 1801-1806," pp. 10-12.

[238]

Уоррен сообщил (10 декабря 1802 г.), что Воронцов предупреждал его быть очень осторожным при отказе от Мальты; а 19 января Чарторыйский сказал ему, что "император желает, чтобы Англия сохранила Мальту". Бонапарт предъявил претензии на Морею, чтобы возместить ущерб бурбонам и Савойскому дому. ("Ф.О.", Россия, № 51.)

[239]

"Англия и Наполеон" Браунинга, стр. 88-91.

[240]

"Ф.О.", Франция, № 72.

[241]

Мы предпринимали это посредничество. В депеше лорда Элджина из Константинополя от 15 января 1803 года говорится, что он убедил Порту позволить мамелюкам удержать провинцию Ассуан. (Турция, № 38.)

[242]

Документы, представленные в парламент 18 мая 1803 года. Я передаю оскорбления генералу Стюарту, поскольку Себастиани 2 февраля отрекся перед лордом Уитвортом от всего, что он сказал или что его заставили сказать по этой теме, и упомянул Стюарта "с большим уважением". Согласно Меневалю ("Mems.", том i, глава iii), Жобер, который был с Себастьяни, видел корректуру отчета, напечатанную для "Moniteur", и посоветовал опустить наиболее раздражающие пассажи; но Марет не осмелилась взять на себя ответственность за такие упущения. У Люсьена Бонапарта ("Мэмс", том ii, глава ix) есть другая версия — я думаю, менее правдоподобная, — что окончательный вариант доклада Себастьяни продиктовал сам Наполеон; и когда последний проявил некоторую нерешительность, первый консул пробормотал, когда были зачитаны наиболее раздражающие пассажи: "Parbleu, nous verrons si ceci-si cela-ne decidera pas John Bull à guerroyer". Жозеф был очень огорчен этим и воскликнул: "Ах, моя бедная черта Амьенская! Il ne tient plus qu'à un fil."

[243]

Итак, "История США" Адамса, том ii, стр. 12-21.

[244]

Мио де Мелито, "Mems.," том i, глава xv., цитирует слова Жозефа Бонапарта, обращенные к нему: "Пусть он [Наполеон] еще раз зальет Европу кровью в войне, которой он мог бы избежать и которая, если бы не возмутительная миссия, с которой он отправил своего Себастьяни, никогда бы не произошла".

Талейран приложил немало усилий, чтобы убедить лорда Уитворта в том, что миссия Себастиани была "исключительно коммерческой": Наполеон в своей долгой беседе с нашим послом "не пытался приписать это исключительно коммерческим мотивам", но представил это как необходимость нарушения нами Амьенского мирного договора. Это оправдание столь же неискренне, как и первое. Инструкции Себастьяни были составлены 5 сентября 1802 года, когда британское министерство собиралось выполнить условия договора относительно Мальты и тщетно добивалось от России и Пруссии гарантий ее независимости

[245]

Депеша от 21 февраля.

[246]

"Взгляд на состояние республики", прочитанный перед Легислатурным корпусом 21 февраля 1803 года.

[247]

Документы, представленные парламенту 18 мая 1803 года. Смотрите также речь Питта, 23 мая 1803 года.

[248]

Смотрите обращение Рассела от 22 июля к жителям Антрима, в котором "он не сомневался, что французы тогда сражались в Шотландии". ("Ann. Reg.", 1803, стр. 246.) Плоуден игнорирует этот документ ("История. Ирландии, 1801-1810").

[49:]

Депеша от 14 марта 1803 г. Сравните ее с очень мягкой версией в "Корреспонденте" Наполеона, № 6636.

[250]

Лорд Хоксбери генералу Андреосси, 10 марта.

[251]

Лорд Хоксбери - лорду Уитворту, 4 апреля 1803г.

[252]

Депеши от 11 и 18 апреля 1803 г.

[253]

Уитворт - Хоксбери, 23 апреля.

[254]

Чарторыйский ("Мэмс", том i, глава хiiі) называет его "превосходным адмиралом, но безразличным дипломатом — прекрасным представителем ничтожества и недееспособности министерства Аддингтона, которое его назначило. Английское правительство редко бывало счастливо со своими послами". Итак, "Письма" графа Минто, т. iii., стр. 279.

[255]

Смотрите "Дневники" лорда Малмсбери (том iv, стр. 253) о плохих результатах задержки Уитворта.

[256]

Примечание от 12 мая 1803 г.: см. "Англия и Наполеон", стр. 249.

[257]

"Корреспондент", том viii., № 6743.

[258]

См. Письмо Ромилли Дюмону от 31 мая 1803 г. ("Мемуары", том i).

[259]

"Lettres inédites de Talleyrand," November 3rd, 1802. В своем письме от 3 мая 1803 года лорду Уитворту М. Хубер сообщает о откровенном предупреждении Фуше в Сенате Бонапарту: "Вы - мой друг, я не понимаю, что происходит в результате революции, и война решает все проблемы. On vous flatte en vous faisant compter sur les principes révolutionnaires des autres nations: *le résultat de notre révolution les a anéantis partout.*"

[260]

Копия этого письма с подробными предложениями находится в архиве нашего Министерства иностранных дел (Россия, № 52).

[261]

Bourgeois, "Manuel de Politique Etrangère," vol. ii., p. 243.

[262]

Смотрите "Письма и депеши" Каслри, Вторая серия, том i, стр. 75-82, о необходимости примирить общественное мнение, даже приняв Корфу в качестве компенсации за Мальту, при условии, что таким образом можно будет обеспечить прочный мир.

[263]

"Lettres inédites de Talleyrand," August 21st, 1803.

[264]

Garden, "Traités," vol. viii., c. 191.

[265]

От Голландии требовалось предоставить 16 000 солдат и содержать 18 000 французов, предоставить 10 боевых кораблей и 350 канонерских лодок.

[266]

"Корреспондент", 23 мая 1803г.

[267]

Письма Нельсона от 2 июля. См. также "Жизнь Нельсона" Махана, том ii, стр. 180-188, и письма Наполеона от 24 ноября 1803 г., в которых он призывал мамлюков обратить свои взоры на Францию.

[268]

"Отчеты Министерства иностранных дел", Сицилия и Неаполь, № 55, 25 июля.

[269]

Письмо от 28 июля 1803 г.

[270]

"Сон. Корреспондент", 23 августа 1803 г., и Онкен, ч. v.

[271]

"Корреспондент", том viii., № 6627.

[272]

Лефевр, "Кабинеты Европы", глава viii.; "Сон. Корреспондент", т. viii., №. 6979, 6985, 7007, 7098, 7113.

[273]

Французскими и голландскими кораблями, находившимися в строю, были: линейных кораблей - 48; фрегатов - 37; корветов - 22; пушечных бригад и т. Д. - 124; флотилии - 2 115. (См. "Воспоминания графа Сент-Винсента", том ii, стр. 218.)

[274]

"Жизнь лорда Сидмута" Пеллью, том ii, стр. 239.

[275]

"Жизнь Питта" Стенхоупа, том iv, стр. 213.

[276]

Редерер, "Произведения", том iii, стр. 348; Меневаль, том i, глава iv.

[277]

Люсьен ("Мэмс", том iii, стр. 315-320) говорит, что в Мальмезоне; но "Переписка" Наполеона показывает, что это было в Сен-Клу. Массон ("Сон. и наша семья", гл. xii) ставит под сомнение эту историю.

[278]

Там же, стр. 318. Сцена была описана Мюратом: настоящая фраза была *coquine*, но Мюрат смягчил ее до *maîtresse*.

[279]

Миот де Мелито, "Воспоминания", том 1., глава xv. Люсьен поселился в Папской области, где он, бывший якобинец и признанный распутник, позже получил от папы титул принца Канино.

[280]

"Lettres inédites de Napoléon," April 22nd, 1805.

[281]

Pasquier, "Mems.," vol. i., p. 167, and Boulay de la Meurthe, "Les dernières Années du duc d'Enghien," p. 299. Интригующий роялист из Невшателя Фош-Борель побывал в Англии в 1802 году, чтобы заручиться помощью министерства Аддингтона, но потерпел неудачу. Смотрите статьи Кодрилье в "Историческом ревю", ноябрь 1900—март 1901.

[282]

"Фуше" Мадлена, том i, стр. 368, сводит к минимуму *роль* Фуше здесь.

[283]

Desmarest, "Témoignages historiques," pp. 78-82.

[284]

"Alliance des Jacobins de France avec le Ministère Anglais."

[285]

Брит. Mus., "Add. MSS.," № 7976 *и последующие*.

[286]

В наших Архивах (Франция, № 71) есть письмо графа Декара, датированное Лондоном 25 марта 1805 года, лорду Малгрейву, военному министру, с отчетом о различных суммах, авансированных нашим правительством для роялистской "армии".

[287]

"Документы Пэджета", том ii, стр. 96.

[288]

"Parl. Дебаты", апрель 1804 г. (особенно. 16 апреля). Официальное опровержение, конечно, принято Элисон, глава xxxviii.

[289]

Это выражение принадлежит Георгу III, который далее заметил, что все послы презирали Хоксбери. (Роуз, "Дневники", том ii, стр. 157.) В письме Уиндхэма, датированном Биконсфилдом 16 августа 1803 года, опубликованном в газетах Пюизе, французские *эмигранты* предупреждались, что им не следует рассчитывать ни на какую помощь со стороны министров, которые "во все времена проявляли такую слабость духа, что едва осмеливаются поднять глаза на такие цели, на которые вы указываете. ("Доп. рукопись", № 7976.)

[290]

См. в главе xxi, стр. 488. Наш посланник Спенсер Смит в Штутгарте также был схвачен французским шпионом, капитаном Розе, действиями которого руководил Наполеон. См. Его письмо (№ 7669).

[291]

"F.O.", Австрия, № 68 (31 октября 1803 г.).

[292]

Лавалетт, "Мэмс", глава xxiii.; "Жорж Кадудаль" Жоржа де Кадудалья (Париж, 1887).

[293]

Посмотрите его письмо от 24 января 1804 года к Реалю, в котором он инструктирует его рассказать Мехи, что такое ложь, чтобы найти место в следующем бюллетене Мехи для Дрейка! "Продолжайте постоянно заниматься делом моего портфолио".

[294]

Мио де Мелито, том i, глава xvi.; Паскье, том i, глава vii. Смотрите также Десмарест, "Квинза и высшая полиция": его утверждение о том, что полиция ранее ничего не знала о заговоре, опровергается письмами Наполеона (например, от 1 ноября 1803 г.); а также Гильерми, "Бумаги эмигранта", стр. 122.

[295]

Сегюр, "Мэмс", ч. х. Бонапарт Мюрату и Харелю, 20 марта.

[296]

Письмо Реалю, "Корреспондент", № 7639.

[297]

Оригинал находится в "F.O." (Австрия, № 68).

[298]

Pasquier, "Mémoires," vol. i., p. 187.

[299]

Заметки графа де Мосбурга в книге графа Мюрата "Мюрат" (Париж, 1897), стр. 437-445, доказывают, что Савари получил инструкции по казни герцога не только от Мюрата, но и от самого Бонапарта, который, следовательно, должен нести единоличную ответственность за состав и поведение этого суда. Попытка Массона ("Сон и семья", гл. xiv) обвинить Мюрата очень слаба.

[300]

Хулин в "Катастрофе герцога Энгийенского", стр. 118.

[301]

Дюпен в "Катастрофе герцога Энгийенского", стр. 101, 123.

[302]

Единственное оправдание, заслуживающее здесь внимания, заключается в том, что Наполеон в последний момент, когда Жозеф призвал его к милосердию, уступил и поздно ночью отправил в Реаль приказ возвращаться в Венсен. Реаль получил какой-то приказ, точный смысл которого неизвестен: была поздняя ночь, и он отложил поездку до завтра. По дороге он встретил Савари, который приехал в Париж с известием о казни герцога. Первыми словами Реаля, услышавшего эту неожиданную новость, были: "Как это возможно? Мне нужно было задать герцогу так много вопросов: его обследование могло многое прояснить. Еще одна ошибка: Первый консул будет в ярости. Эти слова впоследствии были повторены Паскье и Савари, и Реалем: и, если только

Паскье не лгал, запоздалый приказ, отправленный Реалю, не был помилованием (а Наполеон в своем последнем путешествии сказал Кокберну, что это не так), а просто приказом вытянуть из герцога такую информацию, которая скомпрометировала бы других французов. Кроме того, если Наполеон отправил приказ о *помиловании* герцога, почему этот приказ не был представлен в знак его невиновности и промаха Реаля? Почему он заперся в своей отдельной комнате 20 марта, так что даже Джозефине было трудно попасть туда? И если он действительно хотел простить герцога, то почему, когда в полдень 21 марта Реаль объяснил, что прибыл в Венсен слишком поздно, единственными словами, сорвавшимися с губ Наполеона, были "C'est bien"? (См. Меневаль, том i, стр. 296.) Почему также его лицо было единственным, на котором впоследствии не отразилось раскаяния или горя? Коленкур, узнав о результатах своего рейда в Баден, упал в обморок от ужаса, а когда к нему явился Бонапарт, осыпал его упреками. Почему же могила была вырыта заранее? Почему, в конце концов, Савари и Реаль не были опозорены? Удовлетворительного ответа на эти вопросы так и не было дано. "Катастрофа герцога Энгийенского" и "Дерньерские анны герцога Энгийенского" графа Буле де ла Мерта, а также "Переписка" Наполеона содержат все документы, необходимые для вынесения решения по этому делу. Доказательства исследованы мистером Фэем в "The American Hist. Rev.", июль и октябрь 1898 г. О вознаграждении убийц см. Массон, "Сон и семья", глава. xiii.

[303]

Ducasse, "Les Rois Frères de Nap.," p. 9.

[304]

Мио де Мелито; том ii., гл. i.; Паскье, том i., гл. ix.

[305]

Я не могу согласиться с М. Ланфреем, том ii, глава xi, в том, что Империя не была желанна нации. Мне кажется, что этот автор приписывает апатичным массам свою собственную непревзойденную остроту видения и энтузиазм в отношении демократии. Лафайет хорошо резюмирует ситуацию в замечании, что он был более шокирован всеобщим подчинением, чем узурпацией одного человека ("Мэмс", т. v., стр. 239).

[306]

Смотрите возражения Олара, "Rév. Française", стр. 772.

[307]

Roederer, "Œuvres," vol. iii., p. 513.

[308]

Макдональд, "Сувениры", гл. xii.; Сегюр, "Воспоминания", гл. vii. Когда Тибо поздравил Массену с его новым титулом, ветеран насмешливо ответил: "О, нас четырнадцать". (Тибо, "Мэмс", глава vii, англ. правка.) См. также Мармона ("Мэмс", том ii, стр. 227) о его собственном исключении и включении Бессьера.

[309]

Шапталь, "Сувениры", стр. 262. О популярности Моро см. "Фуше" Мадлена, том i, стр. 422.

[310]

На следующей публичной аудиенции Наполеон упрекнул одного из судей, Лекурба, который утверждал, что Моро невиновен, и после этого лишил его судейского поста. Он также опозорил своего брата, генерала Лекурба, и запретил ему приближаться к Парижу ближе чем на сорок лье. ("Официальные письма Наполеона", 22 и 29 августа 1805 г.)

[311]

Миот де Мелито, том ii, глава i.

[312]

Наполеон Редереру, "Маневры", т. iii., стр. 514.

[313]

Лафайет, "Мэмс", том v., стр. 182.

[314]

"Mémoires de Savary, Duc de Rovigo." Итак, Буррьен, которого проинформировал присутствовавший Рапп (том ii, глава xxxiii). "Монитор" (4-й Фримар, XIII год) утверждал, что папа занял место справа; но я не доверяю его версии.

[315]

Мадам де Ремюза, том i, глава x. Поскольку *кюре* прихода не присутствовал даже в качестве свидетеля, Бонапарты сочли этот новый контракт недействительным. Однако несомненно, что Феш всегда утверждал, что брак может быть расторгнут только актом произвольной власти. Об отказе Наполеона причаститься утром в день коронации, чтобы он, будучи тем, кем он был, не оказался виновным в святотатстве и лицемерии, см. Сегюр.

[316]

Ségur, ch. xi.

[317]

F. Masson's "Joséphine, Impératrice et Reine," p. 229. О бриллианте Питта читайте в брошюре Юла и в "Дневнике" сэра М. Гранта Даффа от 30 июня 1888 года.

[318]

De Bausset, "Court de Napoléon," ch. ii.

[319]

"Отчеты Министерства иностранных дел", *Intelligences*, № 426.

[320]

"Жизнь Фултона" Колдена (1817); также "Жизнь Рейгарта" (1856).

[321]

Jurien de la Gravière, "Guerres Maritimes," vol. ii., p. 75; Chevalier, "Hist. de la Marine Française," p. 105; Capt. "Проекты разрушения британских островов" Де Брайера, том i. Прилагаемая гравюра показывает, насколько фантастичными были некоторые из ранних французских планов вторжения.

[322]

"Воспоминания Маршала Нейя", bk. vii., гл. i.; то же самое относится и к Мармону, т. ii., стр. 213; Мэхан, "Морская мощь", гл. xv.

[323]

Roederer, "OEuvres," vol. iii., p. 494.

[324]

Полковник Кэмпбелл, наш уполномоченный на Эльбе, отметил в своем дневнике (5 декабря 1814 г.): "Как я понял из многих бесед, Наполеон понятия не имеет о трудностях, вызванных ветрами и приливами, но судит об изменениях положения кораблей так же, как о войсках на суше".

[325]

Журьен де ла Гравьер, том ii, стр. 88, который говорит: "Его мягкий и меланхоличный нрав, его печальное и скромное поведение плохо соответствовали честолюбивым планам императора".

[326]

"Корреспондент", № 8063. Смотрите также № 7996 о плане Наполеона нести гаубицу на носу своих орудийных судов, чтобы его снаряды могли *разрываться в древесине*. Уже в Булони он произнес пророческие слова: "Нам нужны снаряды, от которых задрожат деревянные борта кораблей".

[327]

Джеймс, "Военно-морская история", том iii, стр. 213, и Шевалье, стр. 115, подразумевают, что флот Вильнева из Тулона после прочесывания Вест-Индии должен был объединить силы Рошфора и прикрыть Булонскую флотилию: но этому нет места в сентябрьском плане Наполеона, который требовал от Гантеума сначала высадить войска в Ирландии, а затем переправить флотилию конвоем, если погода будет благоприятной, или, если будет шторм, форсировать Ла-Манш войсками из Голландии. См. О'Коннор Моррис, "Кампании Нельсона", стр. 121.

[328]

Коломб, "Морская война", стр. 18.

[329]

Jurien de la Gravière, vol. ii., p. 100. Нельсон знал об ошибках, переполнявших мозг Наполеона: "Бонапарт часто хвастался, что наш флот был бы истощен, удерживая море, и что его флот

содержался в порядке и увеличивался, оставаясь в порту; но теперь он обнаруживает, я полагаю, если императоры слышат правду, что его флот страдает больше за ночь, чем наш за один год". — Нельсон Коллингвуду, 13 марта 1805 г.

[330]

Garden, "Traité," vol. viii., стр. 276-290; также капитан. Махан, "Влияние морской силы и т.д.", том ii., глава xv. *до конца*. Он цитирует мнение испанского историка дона Хосе де Куто: "Если все обстоятельства будут должным образом взвешены ... мы увидим, что все обвинения, выдвинутые против Англии в связи с захватом фрегатов, могут быть сведены к отсутствию должного предвидения численности сил, выделенных для его осуществления". — В секретных письмах Адмиралтейства (1804-16) я нашел инструкции сэру Дж. Орду с "Свифтсур", "Полифем", "Агамемнон", "Руби", "Дефенс", "Лайвли" и двумя шлюпами захватить суда с сокровищами. Похоже, никакой драки не ожидалось.

[331]

"Корреспондент", № 8379; Махан, *там же.*, том ii., стр. 149.

[332]

Письмо от 29 апреля 1805 г. Я не могу согласиться с Мэханом (стр. 155), что это было сделано только для того, чтобы отвлечь нас.

[333]

"Lettres inédites de Talleyrand," p. 121.

[334]

Jurien de la Gravière, vol. ii., p. 367.

[335]

Тьер пишет крайне неискренне, как будто письма Наполеона от 13 и 22 августа могли повлиять на Вильнева.

[336]

Дюпен, "Путешествия по Великой Бретани" (том i, стр. 244), у которого были факты от Дару. Но, как разумно замечает Меневаль ("Мэмс", том i, гл. v.), Наполеону не было свойственно драматично диктовать свои планы так далеко вперед. Конечно, *в военных вопросах* он всегда подчинял свое воображение фактам. Только 22 сентября он сделал какие-либо письменные официальные заметки о последних действиях своего главного корпуса; кроме того, австрийцы не пересекали Инн до 8 сентября.

[337]

Дневник генерала Бингхэма в "Журнале Блэквуда", октябрь 1896 г. Прилагаемая медаль, на обратной стороне которой выгравированы слова "frappée à Londres, 1804", служит еще одним доказательством его намерений.

[338]

Марбо, "Мэмс", глава xix; Фуше, "Мэмс", часть 1; Мио де Мелито, "Мэмс", том ii, глава i.

[339]

См. Письма Нельсона от 25 августа 1803 г. и 1 мая 1804 г.; также письма Коллингвуда от 21 июля 1805 г.

[340]

В "Ф.О.", Франция, № 71, приводится отчет шпиона о беседе Наполеона с О'Коннором, которого он произвел в дивизионные генералы. См. Приложение, стр. 510.

СНОСКИ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

[1]

Армфельдт Дрейку, 24 декабря 1803 г. ("Ф.О.", Бавария, № 27).

[2]

Депеша Дрейка от 15 декабря 1803 г., *ib.*

[3]

Чарторыйский, "Воспоминания", том ii., глава ii.

[4]

Жалобы царя были следующими: изгнание короля Сардинии, повторная оккупация С. Италия французами, перемены в Италии, нарушение нейтралитета Бадена, оккупация французами Куксхафена и взимание выкупа с ганзейских городов, чтобы избежать той же участи ("Ф.О.", Россия, № 56).

[5]

Лорд Харроуби адмиралу Уоррену ("Ф.О.", Россия, № 56).

[6]

Garden, "Traité" vol. viii., p. 302; Ulmann, "Russisch-Preussische Politik," p. 117

[7]

Смотрите письмо в "Paget Papers", том ii, стр. 170.

[8]

"Ф.О.", Россия, № 55. См. Примечание на стр. 28.

[9]

"Воспоминания" Чарторыйского, том ii, главы ii-iv.

[10]

"Lettres inédites de Napoléon" (May 30th, 1805).

[11]

Смотрите Отчет Новосильцова в "Мемуарах" Чарторыйского, том ii, глава iv, и заметку Питта, развивающую предложения России, в книге Гардена "Особенности", том III. viii., стр. 317-323, или Элисон, Приложение к главе xxxix. Сравнение этих двух меморандумов покажет, что в континентальных вопросах не было такой разницы, какую Тьер делал вид, что видит между великодушной политикой России и "холодным эгоизмом" Питта. Как доказал Чарторыйский в своих "Мемуарах" (том ii, гл. x), Тьер допустил ошибку, придав значение лишь первому наброску разговора, который Чарторыйский имел с этим изобретательным интриганом, аббатом Пьятоли. Официальные предложения, отправленные из Санкт-Петербурга в Лондон, были очень разными; *например*, предложение Александра относительно французских границ было таким: "Первая цель - вернуть Францию в ее древние пределы или в такие другие, которые могут показаться наиболее подходящими для общего спокойствия Европы". Поэтому бесполезно утверждать, что это была исключительно политика Питта после того, как он "переработал" российские предложения.

[12]

"Корреспондент", № 8231. См. также Буррьен, Мио де Мелито, том ii., гл. iv., и Тьер, bk. xxi.

[13]

Этот отказ подвергся резкой критике. Но знание британским правительством того, что Наполеон все еще упорствовал в своих планах против Турции и что сами русские со своей базы на Корфу работали над тем, чтобы закрепиться на албанском побережье, несомненно, предписывало осторожность ("Ф.О.", Россия, № 55 и 56, депеши от 26 июня и 10 октября 1804 г.). Далее было известно, что австрийское правительство предложило царю планы, враждебные Турции, и они не были решительно отвергнуты в Санкт-Петербурге; и из записок, оставленных Чарторыйским, ясно, что перспектива завоевания Корфу, Молдавии, части Албании и драгоценного приза Константинополя сохранялась в виду. Питт согласился восстановить завоевания, сделанные во Франции (Депеша от 22 апреля).

[14]

Garden, "Traité," vol. viii., стр. 328-333. Ясно, что Густав IV. был правителем, который настаивал на том, чтобы сделать реставрацию Бурбонов главной целью Третьей коалиции. В наших "Отчетах Ф.О." (Швеция, № 177) есть отчет (20 августа 1804 г.) о беседе лорда Харроуби со шведским послом, который заявил, что такое заявление "ослабит оружие Франции". Наш министр иностранных дел ответил, что это "гораздо более определенно ослабило бы оружие Англии: мы развязали войну, потому что Франция стала слишком могущественной для мира в Европе".

[15]

"Корреспондент", № 8329.

[16]

Bailleu, "Preussen und Frankreich," vol. ii., p. 354.

[17]

Тьер (bk. xxi.) приводит весь текст.

[18]

Аннексия Лигурийской, или Генуэзской, республики произошла 4 июня, и путь для этого был подготовлен бывшим покровителем Наполеона Саличетти, который щедро раздавал взятки. Чуть позже Республика Лукка была дарована Элизе Бонапарт и ее супругу, ныне именуемому принцем Баччочи. Парма, до сих пор управлявшаяся французским губернатором, была включена во Французскую империю примерно в то же время.

[19]

Пэджет лорду Малгрейву (19 марта 1805 г.).

[20]

Beer, "Zehn Jahre oesterreich. Politik (1801-1810)." Заметки Новосильцова и Харденберга напечатаны в "Дневниках" сэра Г. Джексона, том i, приложение.

[21]

См. Биньон, том iv., стр. 271 и 334. Вероятно, Наполеон знал через Лафореста и Талейрана, что Россия недавно призвала к этому Георга III. следовало предложить Ганновер Пруссии. Питт отклонил это предложение. Пруссия больше прислушивалась к предложению Наполеона о Ганновере, чем к предположениям Чарторыйского о том, что она могла бы получить его от его законного владельца, Георга III. И все же Дюроку не удалось добиться от Фридриха Вильгельма большего, чем обещание его нейтралитета (см. Гарден, "Traité", т. viii., стр. 339-346). Швеция не была членом Коалиции, но заключила договоры с Россией и Англией.

Большие надежды, которые питало министерство Питта, видны из следующей оценки сил, которые будут брошены против Франции: Австрия - 250 000; Россия - 180 000; Пруссия - 100 000 (Питт тогда отказался субсидировать более 100 000); Швеция - 16 000; Саксония - 16 000; Гессен

и Брауншвейг - 16 000; Мекленбург - 3000; Король Сардинии - 25 000; Бавария, Вюртемберг и Баден - 25 000; Неаполь - 20 000. В постскрипуме он добавляет, что поддержка короля Сардинии не потребуется и что Англия имела частные договоренности с Неаполем относительно субсидий. Эти мемуары не датированы, но они должны относиться к началу сентября, до того, как стало известно о дезертирстве Баварии ("Ф.О.", Пруссия, № 70).

[22]

"Ф.О.", Россия, № 57; записка Гауэра от 22 июля 1805 г.

[23]

Депеши полковника Грэма, которые, несомненно, повлияли на министерство Питта в пользу назначения Мака нынешним командующим. Пейджет ("Документы", том ii, стр. 238) утверждает, что позиция Иллера была выбрана Фрэнсисом. Лучший анализ характера Мака содержится в "Воспоминаниях графа Толля" Бернхарди (том i, стр. 121). Государственные документы содержатся в книге Берка "Кампания 1805 года", Приложение.

[24]

Мармон, "Мэмс", том ii, стр. 310.

[25]

See "Paget Papers," vol. ii., p. 224; also Schönhals "Der Krieg 1805 in Deutschland," p. 67.

[26]

"Корреспондент", № 9249. Смотрите также № 9254, чтобы узнать подробности обходных маневров, которые Наполеон тогда (22 сентября) точно спланировал за двадцать пять дней до нанесения заключительных ударов: однако № 9299 показывает, что даже 30 сентября он верил, что Мак поспешит обратно в Гостиницу. Пиво, стр. 145.

[27]

Rüstow, "Der Krieg 1805." Хормайр, "Geschichte Hofers" (том i, стр. 96), утверждает, что, разрабатывая совместно с Россией план кампании, австрийцы забыли учесть разницу (двенадцать дней) между русским и григорианским календарями. Русские определенно опоздали на одиннадцать дней.

[28]

"Корреспондент", № 9319; "Дневники" сэра Г. Джексона, том i, стр. 334.

[29]

Там же.; также Меттерних, "Мэмс", том i, глава iii. О протесте Пруссии Наполеону, который разрушил французские оправдания, см. Гарден, т. ix., стр. 69.

[30]

Шенхальс; Сегюр, глава xvi, оправдывает Мюрата и Нея.

[31]

Шенхальс, стр. 73. Тьер утверждает, что 6000 человек Дюпона одержали победу над 25 000 австрийцев, отделенных от 60 000, оккупировавших Ульм!

[32]

Мармон, том ii., стр. 320; Лежен, "Воспоминания", том i., глава iii.

[33]

Тьер, Б. К. xxii. Во время беседы Мака с Наполеоном (см. "Документы Пейджета", том ii, стр. 235), когда император спросил его, почему он не прорвался к Ансбаху, он ответил: "Пруссия выступила бы против нас". На что император возразил: "Ах! Пруссаки не заявляют так быстро".

[34]

"Александр I и Чарторыйский", стр. 32-34.

[35]

Смотрите эти условия в сравнении с англо-российским договором от 11 апреля 1805 г. в Приложении к книге доктора Хансинга "Коалиция Харденберга и дритте" (Берлин, 1899).

[36]

Häusser, vol. ii., p. 617 (4th. edit.); Lettow-Vorbeck, "Der Krieg von 1806-1807," vol. i., *ad init.*

[37]

О гораздо более простой уловке, которую Кутузов применил к Мюрату в Холлабрунне, см. Тьер, bk. xxiii.

[38]

Лорд Харроуби, находившийся в то время со специальной миссией в Берлине, сообщает (24 ноября), что это обращение царя было "встречено прохладно", и никакие прусские войска не войдут в Богемию, пока не станет известно, как был принят посланник Пруссии к Наполеону граф Гаугвиц.

[39]

Тьер говорит "1 декабря", что исправлено письмом Наполеона Талейрану от 30 ноября.

[40]

Thiébault, vol. ii., ch. viii.; Ségur, ch. xviii.; York von Wartenburg, "Nap. als Feldherr," vol. i., p. 230.

[41]

Отчеты Даву от 2 и 5 декабря в его "Корреспонденте".

[42]

Сегюр, Тибо и Лежен утверждают, что Наполеон во время предыдущего наступления на север предсказал, что вскоре произойдет крупное сражение под Аустерлицем, и объяснил, как он будет его вести.

[43]

Тибо ошибочно приписывает эту помощь Ланну: к этому маршалу, который только что оскорбил Сульта и бросил ему вызов, Тибо был явно пристрастен. Савари, хотя и враждебно относится к Бернадотту, отдает ему должное за этот шаг.

[44]

Харроуби, очевидно, считал, что поведение Пруссии будет зависеть от развития событий. Незадолго до того, как поступили новости об Аустерлице, он написал на Даунинг-стрит: "Взоры этого правительства обращены почти исключительно на Моравию. Именно там должна решиться судьба этих переговоров". Однако он сообщает, что 192 000 пруссаков находятся под ружьем ("Ф.О.", Пруссия, № 70).

[45]

Джексон, "Дневники", том i, стр. 137.

[46]

"Lettres inédites de Talleyrand," pp. 205-208.

[47]

Меттерних, "Мэмс", том i, глава iii.

[48]

Ганновер, наряду с несколькими районами Баварской Франконии, принес бы Пруссии прирост в 989 000 жителей, в то время как она потеряла бы только 375 000. Невшатель предложил себя Фридриху I Прусскому в 1688 году, и предложенный им обмен с Францией обеспокоил Харденберга ("Мэмс", том ii, стр. 421).

[49]

Послание Гауэра лорду Харроуби из Ольмюнца, 25 ноября, в "F.O. Records", Россия, № 59.

[50]

"Lettres inédites de Tall.," p. 216.

[51]

Впервые полностью напечатано в "Lettres inédites de Tall", стр. 156-174. 5 декабря Талейран снова умолял Наполеона укрепить Австрию как "необходимый оплот против варваров, русских".

[52]

Я не согласен, хотя и с большой застенчивостью, с мнением М. Вандаля ("Наполеон и Александр", т. i, стр. 9) относительно предложения Талейрана.

[53]

Napoleon to Talleyrand (December 14th, 1805): "Sûr de la Prusse, l'Autriche en passera par où je voudrai. Je ferai également prononcer la Prusse contre l'Angleterre."

[54]

Отчет М. Отто, август 1799 г.

[55]

Чарторыйский ("Мэмс", том ii, глава xii) утверждает, что Англия предложила Голландию Пруссии. Я не нахожу доказательств этого в наших записях. Районы между Антверпеном и Клеве бельгийские, а не голландские; и мы никогда не колебались в нашей поддержке Оранского дома.

[56]

Эти предложения, датированные 27 октября 1805 года, были несколько изменены после известий о катастрофе Мака и Потсдамском мирном договоре. Харденберг заверил Харроуби (24 ноября), что, несмотря на щедрую финансовую помощь Англии, Фридрих Вильгельм испытывал большие трудности с согласием на предложенные территориальные соглашения ("Ф.О.", Пруссия, № 70).

[57]

"Воспоминания" Харденберга, том ii., стр. 377, 382.

[58]

Омптеда, стр. 188. Армия вернулась в феврале 1806 года.

[59]

"Ф.О.", Пруссия, № 70 (23 ноября).

[60]

"Дневники достопочтенного Г. Роуза", том ii, стр. 223-224.

[61]

Ib., стр. 233-283; Роузбери, "Жизнь Питта", стр. 258.

[62]

"Дневник" лорда Малмсбери, том iv, стр. 114.

[63]

Письмо от 27 декабря 1805 г.; Джексон, "Дневники", том ii., стр. 387.

[64]

Моллиен, "Mems.", том i. *до конца*. и том ii., стр. 80, для бюджета 1806 года; также Фиве, "Международные отношения с Бонапартом", том ii., стр. 180-203.

[65]

Неаполитанский суд утверждал, что в Соглашении с Францией его посол граф де Галло превысил свои полномочия, пообещав нейтралитет. Смотрите беседу Луккезини с Генцем, цитируемую Гарденом, "Traités", том x, стр. 129.

[66]

Смотрите мою статью в "Eng. Hist. Rev.", апрель 1900 г.

[67]

Ducasse, "Les Rois Frères de Napoléon," p. 11.

[68]

Письмо от 7 февраля 1806 г. В тот же день он обвиняет Жюно, тогдашнего командующего Пармой, в слишком большой снисходительности к некоторым повстанцам близ этого города. Итальянцы были фальшивым народом, который уважал только сильное правительство. Пусть он тогда сожжет две большие деревни так, чтобы не осталось и следа, расстреляет священника одной деревни и отправит триста или четыреста виновных на галеры. "Доверься моему старому опыту общения с итальянцами".

[69]

Список главных титулов Наполеона см. в Приложении, *ad fin.*

[70]

2 января 1802 г.; то же самое и с Фиве, "Мои отношения с Бонапартом", том ii, стр. 210, который отмечает, что, основав дворянский орден, Наполеон покончил со своей изоляцией и присоединил к своим интересам могущественную землевладельческую касту.

[71]

"Мемуары" Харденберга, том ii., стр. 390-394.

[72]

Харденберг - Харроуби 7 января, "Пруссия", № 70.

[73]

Я не нашел копии этого проекта; но в "Пруссии", № 70 (отправлено Джексоном 27 января 1806 г.), есть подробная "Объяснительная записка", откуда я извлекаю эти детали, еще неопубликованные, я полагаю. Ни Харденберг, ни Гарден, ни Джексон, ни Пейджет не упоминают о них.

[74]

Отчеты, "Пруссия", № 70, от 21 февраля.

[75]

Харденберг, "Мэмс", том ii, стр. 463-469; "Нап. Корреспондент", № 9742, о мыслях Наполеона относительно мира, когда он услышал, что Фокс стал нашим министром иностранных дел.

[76]

Его взгляды относительно слабости Англии и Пруссии см. в "Nap. Correspondent." № № 9742, 9773, 9777. Этот мирный договор от 15 февраля 1806 года подтвердил передачу Невшателя и Клеве Франции, а Ансбаха Баварии; но не передал никаких франконских округов прусским землям Байройт. См. Харденберг, "Воспоминания", том ii, стр. 483, текст договора.

[77]

Странная порочность Хаугвица нигде так не проявляется, как в его самовосхвалении по поводу отсутствия прилагательных *наступательный* и *оборонительный* в новом союзном договоре между Францией и Пруссией (Харденберг, т. ii., стр. 481). Наполеон был теперь не обязались помогать Пруссии в войне, которая Георга III. объявленные против нее на 20 апреля.

[78]

Примечательно, что во всех последующих переговорах Наполеон ни разу не поднял вопроса о нашем строгом морском кодексе, что доказывает, насколько пустыми были его обличительные речи в адрес морского тирана в другие времена.

[79]

Депеша от 20 апреля 1806 года в Документах, представленных парламенту 22 декабря 1806 года.

[80]

"Мэмс" Чарторыйского, том ii, глава xiii.

[81]

"Я не желаю, чтобы Римский двор больше вмешивался в политику" (Послание Папе Римскому, 13 февраля 1806 г.).

[82]

Я перевожу буквально эти NB, вставленные в конце мемуаров Ярмута от 8 июля ("Франция", № 73). Поскольку инструкции Убрила, я полагаю, никогда не публиковались, приведенный выше отрывок несколько важен, поскольку доказывает, насколько сильно он превысил свои полномочия при обмене Сицилии. Текст Убрильского договора приведен у Де Клерка, том ii., стр. 180. Секретные статьи требовали, чтобы Россия помогла Франции склонить Мадридский

двор уступить Балеарские острова королевскому принцу Неаполя; свергнутые король и королева не должны были там проживать, а Россия должна была признать Жозефа Бонапарта королем Обеих Сицилий.

[83]

В беседе с нашим послом мистером Стюартом барон Будберг извинился за поведение Убрила, сославшись на его нервозность из-за угроз французского полномочного представителя генерала Кларка, который едва давал ему говорить, и мрачно намекнул на многие другие изменения, которые должны произойти, если Россия не заключит мир; Швейцария должна быть аннексирована, Германия разгромлена, а Турция разделена. То, что Кларк был мастером дипломатической критики, хорошо известно; но из частных расспросов Стюарт выяснил, что царь в своей частной беседе с Убрилом казался более склонным к миру, чем Чарторыйский: следовательно, когда последний подаст в отставку, Убрил вполне может уступить перед буйством Кларка. (Депеша Стюарта от 9 августа 1806 г., F.O., Россия, № 63; также см. "Воспоминания" Чарторыйского, том ii, глава xiv; и Martens, "Traité", дополнение, том iv.)

[84]

"Мемуары Карла Генриха, рыцаря Ланга".

[85]

Сад, том ix., стр. 157, 189, 255.

[86]

"Корреспондент", № № 10522 и 10544. О французском отчете см. "Mems." Барона Десвернуа, стр. 288.

[87]

"F.O. Records", Неаполь, № 73.

[88]

Это было сделано по совету Наполеона. 18 августа он написал Талейрану из Рамбуйе, чтобы извиниться за задержку: "Император на охоте и вернется не раньше конца недели".

[89]

То же самое Наполеон сказал Лас Кейсу на острове Святой Елены: "Смерть Фокса была одним из роковых событий в моей карьере".

[90]

Депеши от 26 сентября и 6 октября.

[91]

Bailleu, "Frankreich und Preussen," Introd.

[92]

Указ от 26 июля.

[93]

См. "Корреспондент" № 10604, примечание; также письмо Талейрана от 4 августа ("Иностранные письма", стр. 245), в котором указаны компенсации, которые могли быть предложены Пруссии после потери Ганновера: они включали, конечно, небольшие государства, Ангальт, Липпе, Вальдек и т.д.

[94]

Gentz, "Ausgew. Schriften," vol. v., p. 252. Беседа с Луккезини.

[95]

"Корреспондент", № 10575, 10587, 10633.

[96]

"Мэмс", том iii, стр. 115, *и далее*. Июльская прусско-российская конвенция, которой эти державы взаимно гарантировали целостность своих государств, была в основном работой Харденберга.

[97]

Байе, стр. 540-552. См. также "Наполеон" Фурнье, том ii., стр. 106.

[98]

Байе, стр. 556-557. Точно так же письмо Наполеона Бертье от 5 сентября - первый намек на его мысль о континентальной войне.

[99]

Королева Луиза сказала Генцу (9 октября), что решение о войне было принято не из-за эгоистичных расчетов, а из чувства чести (Гарден, "Traités", т. х., стр. 133).

[100]

2 сентября ему был вручен памятный знак. Оно было подписано братьями короля Генрихом и Вильгельмом, а также лидером воинственной партии принцем Луи Фердинандом, генералами Рюхелем и Фаллом и будущим диктатором Штайном. Король упрекнул их всех. См. Перц, "Штайн", том i, стр. 347.

[101]

"Ф.О.", Россия, № 64. Дешети Стюарта от 30 сентября и 21 октября.

[102]

Müffling, "Aus meinem Leben."

[103]

Lettow-Vorbeck, "Der Krieg von 1806-7," p. 163.

[104]

Смотрите "Письма о стратегии" принца Гогенлоэ (стр. 62, англ. изд.) об эффекте этого быстрого марша; "Прусская кампания" Фукара, том i, стр. 323-343; также "Герцог Брауншвейгский" лорда Фитцмориса.

[105]

Хепфнер, том i, стр. 383; и Леттов-Форбек, том i, стр. 345.

[106]

Фукарт, указ. соч., стр. 606-623.

[107]

Марбо говорит, что Рюхель был убит, но он оправился от раны и сослужил хорошую службу следующей весной.

Картина Верне, изображающая Наполеона, инспектирующего своих гвардейцев в Йене перед их атакой, по-видимому, отражает хорошо известный случай, когда солдат выкрикнул "*en avant*"; после чего Наполеон резко повернулся и велел этому человеку подождать, пока он не командует в двадцати битвах, прежде чем давать ему совет.

[108]

Фукарт, стр. 671.

[109]

Ланг так описывает четырех французских маршалов, которых он видел в Ансбахе: "Бернадотт, очень высокий смуглый мужчина с горящими глазами под густыми бровями; Мортье, еще выше, с глупым взглядом стража; Лефевр, старый эльзасский лагерник, со своей женой, бывшей прачкой в полку; и Даву, маленький, с гладкими чертами лица, непритязательный человек, который никогда не уставал танцевать вальс".

[110]

Davoust, "Opérations du 3^{me} Corps," pp. 31-32. Французские писатели сокращают свои силы до 24 000 человек и увеличивают общее количество брауншвейгцев до 60 000. В книге Лемана "Шарнхорст", том I, стр. 433, приводятся подробности.

[111]

Фукарт, стр. 604-606, 670 и 694-697, который обвиняет его только в медлительности. Но он выступил из Наумбурга до рассвета и, хотя и задержался из-за труднопроходимой дороги, был около Апольды в 4 часа дня и взял 1000 пленных.

[112]

За эту службу, как и за свои подвиги при Аустерлице, Наполеон высказал мало похвальных слов. Протест Ланна опубликован генералом Тумасом, "Маршал Ланн", стр. 169. Император втайне недолго любил Ланна за его очень независимую осанку.

[113]

"Вздремни. Корр.", 21 ноября 1807 г.; "Наполеон и Ангильтерра" барона Лумброзо, стр. 103; "Гарден", т. х., стр. 307.

[114]

Этот декрет от 10 Брюмера и V числа напечатан полностью и прокомментирован Лумброзо, указ. соч., стр. 49. См. также Сореля, "L'Europe et la Rév. Fr.", т. iii., стр. 389; и мою статью "Наполеон и английская торговля" в "Eng. Hist. Rev." от октября 1893 г.

[115]

Эта фраза встречается, я полагаю, впервые в беседе с Наполеоном 1 мая 1803 года: "Мы сформируем более совершенную береговую систему, и Англия закончит тем, что прольет кровавые слезы" (Миот де Мелито, "Мэмс", том i, глава xiv).

[116]

E.g., Fauchille, "Du Blocus maritime," pp. 93 *et seq.*

[117]

См., в частности, брошюру Дж. Стивена "Замаскированная война, или Обман нейтральных флагов" (1805). Было сказано, что эта брошюра послужила причиной Распоряжений в Совете. Весь вопрос обсуждается Мэннингом, "Комментарии к праву наций" (1875); Лоуренсом, "Международное право"; Мэханом, "Влияние морской силы", т. ii., стр. 274-277; Моллиеном, т. iii., стр. 289 (первое редактирование); и Шаптале, стр. 275.

[118]

Хауссер, том iii., стр. 61 (4-я правка). Саксонский федеральный контингент был зафиксирован на уровне 20 000 человек.

[119]

Документы, представленные парламенту 22 декабря 1806 г.

[120]

После интервью от 28 ноября 1801 года Корнуоллис сообщает, что Наполеон "выразил пожелание, чтобы мы согласились удалить недовольных из любой страны ... и заявил о своей готовности отослать объединенных ирландцев" ("F.O. Records", № 615).

[121]

Чарторыйский, "Мэмс", том ii, глава xv.

[122]

В наших "Отчетах Ф.О.", Пруссия, № 74, приводится отчет об ответе Наполеона депутации в Варшаве (январь 1807 г.): "Я предупреждаю вас, что ни я, ни какой-либо другой французский принц не интересуемся вашим польским троном: у меня есть короны, которые я должен отдать, и я не знаю, что с ними делать. Вы должны прежде всего подумать о том, чтобы раздать хлеб моим солдатам — "Хлеб, хлеб, хлеб"... Я не могу содержать свои войска в этой стране, где нет никого, кроме дворян и несчастных крестьян. Где ваши великие семьи? Они все проданы России. Это Чарторыйский написал Костюшко, чтобы тот не возвращался в Польшу". И когда галицийский депутат спросил его о судьбе его провинции, он набросился на него: "Неужели ты думаешь, что я навлеку на себя новых врагов для одной провинции". Тем не менее, энтузиазм поляков не был полностью охлажден. Их контингенты сослужили ему хорошую службу. Несколько позже женская преданность привела к тому, что красивая молодая полька стала его любовницей, в первую очередь в надежде помочь в освобождении своей земли, а затем и добровольной пленницей очарования, которое он оказывал на всех, кто к нему приближался. Их сыном был граф Валевской.

[123]

Марбо, глава xxviii.

[124]

Леттов-Форбек оценивает потери французов более чем в 24 000 человек; потери русских еще тяжелее, но в основном из-за плохого комиссариата и общей разбросанности. Об этом см. "Кампанию в Польше" сэра Р. Уилсона, гл. i.

[125]

13 февраля Наполеон поручил Бертрону предложить *устно, но не письменно* королю Пруссии сепаратный мир без уважения к царю. Фридрих Вильгельм должен был быть восстановлен в своих государствах к востоку от Эльбы. Он отклонил предложение, которое разорвало бы его обязательства перед царем. Наполеон повторил это предложение 20 февраля, что показывает, что в этот кризис он действительно желал мира с Пруссией. См. "Нар. Корреспондент", № 11810; и Hausser, том iii., стр. 74.

[126]

"Прусское и русское правительства неоднократно оказывали на меня давление, - писал лорд Хатчинсон, наш посланник в Мемеле, 9 марта 1807 г., - по поводу диверсии, которую британские войска намеревались предпринять против Мортье.... Штеттин - большое место с небольшим гарнизоном и в плохом состоянии обороны" ("Ф.О.", Пруссия, № 74). в 1805 году Питт пообещал направить британские войска в Штральзунд (см. стр. 17).

[127]

Секретный отчет лорда Кэткарта Военному министерству, датированный 22 апреля 1807 года, касался обращения лорда Хатчинсона и *проекта* Дюмурье, оба из которых настоятельно призывали к экспедиции в Штральзунд. 30 мая Каслри получил донесение от ганноверского офицера Кьюкака, в котором говорилось, что Ганновер и Гессен созрели для восстания и что Хамельн может быть легко взят, если английские войска поддержат северных немцев ("Письма Каслри", т. vi., стр. 169 и 211).

[128]

"Ф.О.", Россия, № 69.

[129]

"Корреспондент", № 12563; также "Миссия генерала. Gardane en Perse," par le comte de Gardane. Наполеон в своем воззвании от 2 декабря 1806 года сообщил войскам, что их победы принесли Франции ее индийские владения и мыс Доброй Надежды.

[130]

Уилсон, "Кампания в Польше"; "Операции 3-го корпуса [Даву], 1806-1807", стр. 199.

[131]

"Соответствующие" номера 12749 и 12751. Лежен в своих "Мемуарах" также показывает, что главной целью Наполеона был захват Кенигсберга.

[132]

"Мемуары Удино", ч. i

[133]

Отчет датирован Мемелем, 21 июня 1807 г., в "Ф.О.", Пруссия, № 74. Хатчинсон считает, что у русских было не более 45 000 человек, участвовавших во Фридланде, и что их потери не превысили 15 000: но было "множество отставших". Леттов-Форбек дает примерно те же оценки. Оценки, приведенные во французском бюллетене, сильно преувеличены.

[134]

17 июня 1807 года королева Луиза написала своему отцу: "... мы падаем с честью. Король доказал, что предпочитает честь позорной покорности". 23 июня Беннигсен заявил о желании сражаться, в то же время тайно советуя сдаться (Харденберг, "Мэмс", т. iii., стр. 469).

[135]

"Ф.О.", Россия, № 69. Сульт сказал лорду Холланду ("Зарубежные воспоминания", стр. 185), что Беннигсен замышлял убийство царя, и он (С.) предупредил его об этом.

[136]

"Lettres inédites de Talleyrand", стр. 468; также Garden, т. x., стр. 205-210; и "Ann. Reg." (1807), стр. 710-724, ответы Великобритании Австрии.

[137]

Каннинг Пэджету ("Документы Пэджета", том ii, стр. 324). То же самое относится и к депеше Каннинга от 21 июля Гауэру (Россия, № 69).

[138]

Стадион раскусил это. См. Veer, стр. 243.

[139]

"Nap. Корреспондент", № 11918.

[140]

Ib., № 12028. Это очень важное письмо, как мне кажется, опровергает теорию м. Вандаля ("Нап. и Александр", гл. i.) о том, что Наполеон повсюду стремился к союзу с *Австрией*, или Пруссией, или Россией.

[141]

Каннинг Пэджету, 16 мая 1807 г. ("Бумаги Пэджета", том ii, стр. 290).

[142]

Гарден, т. х., стр. 214-218; и депеша Гауэра от 17 июня 1807 г. (Россия, № 69).

[143]

Все ссылки на историю остальное, в конечном счете, на Биньон, "Хист. де Франс" (том. vi. стр. 316), которая не дает ваучер на это. По причинам, указанным выше, я должен рассматривать эту историю как подозрительную. Среди такого остроумного, любящего фразы народа, как французы, хорошее *высказывание* почти наверняка завоюет доверие и таким образом войдет в историю.

[144]

Tatischeff, "Alexandre I et Napoléon" (pp. 144-148).

[145]

Отчеты Савари и Лессепса, процитированные Вандалом, *указ. соч.*, стр. 61; "Корреспондент", № 12825.

[146]

Вандал, стр. 73, говорит, что новость дошла до Наполеона на смотре, когда Александр был рядом с ним. Если это так, то повод был тщательно выбран с целью произвести впечатление, поскольку новость дошла до него 24 июня или раньше (см. "Корреспондент" № 12819). Гауэр

утверждает, что новость достигла Тильзита еще 15-го; и Харденберг тайно предложил политику раздела Турции 23 июня ("Mems.", т. iii., стр. 463). Харденберг подал в отставку 4 июля, поскольку Наполеон отказался лечить через него.

[147]

"Корреспондент", № 12862, письмо от 6 июля.

[148]

Татищев (стр. 146-148 и 163-168) доказывает из российских архивов, что эти планы принадлежали Александру и в основном были отвергнуты Наполеоном. Это опровергает утверждение Вандаля (стр. 101) о том, что Наполеон вынудил Александра захватить Мемель и Польские районы.

[149]

"Erinnerungen der Gräfin von Voss."

[150]

Вероятно, это относится не к реституции Силезии, которую он вежливо предложил ей (хотя ранее предоставил ее по просьбе царя), а к Маджебургу и его окрестностям к западу от Эльбы. 7 июля он сказал Гольцу, прусскому представителю на переговорах: "Я сожалею, если королева приняла за положительные заверения *фразы вежливости*, которыми разговаривают с дамами" ("Мэмс" Харденберга, том iii, стр. 512).

[151]

Ознакомьтесь с новыми фактами, опубликованными Байе в "Книге Гогенцоллернов" (1899). Истории о "розе" нет ни в одном немецком источнике.

[152]

В своих "Воспоминаниях" (том i, часть iii) Талейран говорит, что он несколько раз повторял эту историю в Тюильри, пока Наполеон не упрекнул его за это.

[153]

До Тильзита в Пруссии было 9744 000 подданных; впоследствии - только 4938 000. Смотрите ее границы на карте на стр. 215.

[154]

Точные положения секретных статей и секретного договора стали известны только с 1890 года, когда благодаря трудам М. Фурнье, Татищев и Вандаль - они увидели свет.

[155]

Депеша Гауэра от 12 июля. "Ф.О.", Россия, № 69.

[156]

Де Клерк, "Черты характера", том ii, стр. 223-225; Гарден, том x, стр. 233 и 277-290. Наш посланник Джексон докладывал из Мемеля 28 июля: "Ничто не может сравниться с наглостью и вымогательствами французов. Как только выполняется одно требование, выдвигается новое".

[157]

То, что в ноябре 1807 года он всерьез подумывал о том, чтобы оставить Пруссии менее половины ее и без того стесненных территорий, ясно из его инструкций Коленкуру, своему послу при царе: "Разве не в интересах Пруссии, чтобы она сразу и с полной покорностью поставила себя в ряд низших держав?" Должен был быть составлен новый мирный договор под предлогом *толкования* договора о Тильзите, согласно которому Россия сохраняла за собой Дунайские провинции, а Наполеон - более половины Пруссии (Вандал, т. i, стр. 509).

[158]

Lucchesini to Gentz in October, 1806, in Gentz's "Ausgewählte Schriften," vol. v., p. 257.

[159]

Смотрите ответ Каннинга на записку Штаремберга от 25 апреля 1807 г. в "Ann. Reg.", стр. 724.

[160]

Отчет Маккензи и другие подробности, почерпнутые из наших архивов, см. в моей статье "Британский агент в Тильзите" в "Англ. Hist. Rev." от октября 1901 года.

[161]

Джеймс, "Военно-морская история", том iv, стр. 408.

[162]

"F.O.", Дания, № 53.

[163]

Сад, том x, стр. 408.

[164]

"Correspondent.," № 12962; см. также № 12936, приказывающий 15 000 испанским солдатам, которые сейчас служат ему близ Гамбурга, сформировать ядро наблюдательной армии Бернадотта, которая, "в случае событий", должна была быть усилена таким же количеством голландцев.

[165]

"F.O.", Дания, № 53. Я опубликовал этот Меморандум о консервировании и другие неопубликованные документы в статье "Консервирование и Дания" в "Англ. Хист. Преподобный" от января 1896 года. Условия капитуляции были, по-видимому, в основном определены сэром Артуром Уэлсли, который написал Каннингу (8 сентября): "Я мог бы увеличить наши условия ... если бы наши войска не были нужны дома" ("Ну что ж. Дешпи", т. iii., стр. 7).

[166]

"Корреспондент Каслри", том vi. Точно так же Гауэр сообщал из Санкт-Петербурга 1 октября, что общественное мнение "решительно настроено против войны с Англией ... и мне кажется, что английское название едва ли когда-либо было более популярным в России, чем в настоящее время".

[167]

Письма от 19 и 29 июля.

[168]

Эта фраза принадлежит виконту Стрэнджфорду, нашему послу в Лиссабоне ("Ф.О.", Португалия, № 55). So Baumgarten, "Geschichte Spaniens," vol. i., p. 136.

[169]

Отчет португальского посла Лоренсу де Лима от 7 августа 1807 г., приложенный виконтом Стрэнджфордом ("Ф.О.", Португалия, № 55).

[170]

Это утверждение относительно даты повестки в Португалию является ложным: он приказал отправить ее 19 июля, то есть задолго до того, как до него дошли новости из Копенгагена.

[171]

"Корреспондент", № 12839.

[172]

Смотрите "Талейран" леди Бленнерхассет, том ii, глава xvi, где обсуждается роль Талейрана в новой политике. Этот вопрос, как и многие другие, не может быть решен из-за уничтожения Талейраном большей части своих бумаг. В июне 1806 года он советовал провести раздел Португалии, а осенью, как говорят, он способствовал свержению испанских бурбонов. Но, несомненно, должна быть какая-то связь между письмом Наполеона к нему от 19 июля 1807 года о португальских делах и отставкой, которую он настойчиво предлагал по их возвращении в Париж. 10 августа он написал императору, что это письмо станет последним актом его служения ("Lettres inédites de Tall.", стр. 476). Его сменил Шампани.

[173]

"Корреспондент" № 13235, 37, 43.

[174]

"Соответствующие" номера 13314 и 13327. Точно так же генералу Кларку, своему новому военному министру, он писал: "Жюно может говорить все, что ему заблагорассудится, пока он владеет флотом" ("Новые письма наполеона", 28 октября 1807 г.).

[175]

Депеши Стрэнджфорда полностью опровергают уверенное заявление Тьера о том, что португальские ответы Наполеону были спланированы совместно с нами. Я не могу найти в наших архивах копию англо-португальской конвенции, подписанной Каннингом 22 октября 1807 года; но в его депешах есть много ссылок на нее. Это дало нам возможность оккупировать Мадейру; и наш флот сделал это в конце года. В апреле следующего года мы обменяли его на Азорские острова и Гоа.

[176]

"Корреспондент", 22 июля 1807г.

[177]

В период с 1 сентября 1807 года по 23 ноября 1807 года он написал восемнадцать писем на тему Корфу, который, по его замыслу, должен был стать его оперативной базой, как только удастся возобновить обсуждение Восточного вопроса. 8 февраля 1808 года он написал Джозефу, что Корфу важнее Сицилии и что *"в нынешнем состоянии Европы потеря Корфу была бы величайшей из катастроф"*. Это указывает на предложенный им раздел Турции.

[178]

Письмо от 13 октября 1807 г.

[179]

"Ann. Реестр" за 1807 год, стр. 227, 747.

[180]

Там же., стр. 749-750. Другое распоряжение Совета (25 ноября) разрешило нейтральным судам еще несколько возможностей для колониальной торговли, и прусские купцы были освобождены (*там же.*, стр. 755-759). В апреле 1809 года мы также выступили за перевозку британских товаров нейтральными судами, особенно в Соединенные Штаты или из них.

[181]

Бурьен, "Мемуары". Доводы против Приказов Совета справедливо изложены Ламброзо и Элисон, глава 50.

[182]

Гауэр сообщил (22 сентября), что испанский посол в Санкт-Петербурге умолял там о помощи, чтобы отомстить за это оскорбление.

[183]

Baumgarten, "Geschichte Spaniens," vol. i., p. 138.

[184]

"Вздремни. Корреспондент" от 17 и 31 октября, 13 ноября, 23 декабря 1807 г. и 20 февраля 1808 г.; также Нейпир, "Война на полуострове", bk. i., глава ii.

[185]

Письмо от 10 января 1808 г.

[186]

Письмо Карла IV. послание Наполеону от 29 октября 1807 года, опубликовано в "Мюрате, лейтенанте империи Испании", Приложение viii.

[187]

"Новые письма Наполеона".

[188]

"Корреспондент", письмо от 25 февраля.

[189]

Мюрат в 1814 году сказал лорду Холланду ("Иностранные воспоминания", стр. 131), что не получал никаких инструкций от Наполеона.

[190]

Тьер, примечания к bk. xxix.

[191]

"Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution d'Espagne, par Nellerto"; also "The Journey of Ferdinand VII. в Байонну" Эскойквиса.

[192]

"Корреспондент", № 13696. Тщательное сравнение этого натужного, прерывистого излияния с кратким военным стилем подлинных писем — и особенно с № № 93, 94 и 100 "Новых писем" — должно продемонстрировать их неаутентичность. Аргумент Тьера об обратном бессвязен и слаб. Граф Мюрат в своей недавней монографии о своем отце объявляет это письмо выдумкой острова Святой Елены или более поздней. Впервые она была опубликована в "Мемориале Святой Елены", недостоверной компиляции, составленной Лас Кейсом после смерти Наполеона по записям, сделанным на острове Святой Елены.

[193]

Сначала Наполеон предназначал испанскую корону Людовику, которому он написал 27 марта: "Климат Голландии вам не подходит. Кроме того, Голландия никогда не сможет восстать из своих руин ". Людовик отказался на том основании, что его призыв к Голландии был с небес, а не от Наполеона!

[194]

Мемуары Тибо и Де Бройля; то же самое и у Де Рокки, "Война в Испании".

[195]

Смотрите письмо англичанина из Буэнос-Айреса от 27 сентября 1809 г. в "Cobbett's Register" за 1810 г. (стр. 256), в котором говорится, что новое народное правительство там было вынуждено из-за нехватки средств, "а не из добрых пожеланий Англии", открыть свои порты для всей иностранной торговли на умеренных пошлинах.

[196]

Vandal, "Napoléon et Alexandre," ch. vii. Оно не опубликовано ни в "Переписке", ни в "Новых письмах".

[197]

Вандал, "Наполеон и Александр", том i, глава iv и приложение II.

[198]

В беседах, которые Меттерних вел с Наполеоном и Талейраном 22 января 1808 года и после этого, он был убежден, что французский император намеревался разделить Турцию, как только ему это будет удобно, то есть после того, как он подчинит Испанию. Наполеон сказал ему: "Когда русские будут в Константинополе, вам понадобится помощь Франции против них". — "Мемуары Меттерниха", том ii, стр. 188.

[199]

Так Сулыт сказал лорду Холланду ("Зарубежные воспоминания", стр. 171).

[200]

Вандал, том i, стр. 384.

[201]

Меттерних, "Мэмс", том ii. стр. 298 (англ. ред.).

[202]

Я думаю, что Бир (стр. 330-340) несколько ошибается, оценивая работу Талейрана в Эрфурте по очень высокой оценке этого государственного деятеля, которую он повысил в последующие годы: см. "Воспоминания" Гревилла, Вторая часть, том ii., стр. 193.

[203]

Вандал, том i, стр. 307.

[204]

Sklower, "L'Entrevue de Napoléon avec Goethe"; Mrs. Остин "Германия с 1760 по 1814 год"; Онкен, bk. vii., гл. i. О споре Наполеона с Виландом о Таците см. Талейран, "Мэмс", том i., стр. 5. Когда кареты императоров были готовы к отъезду, Талейран прошептал Александру: "Ah! si Votre Majesté pouvait se tromper de voiture."

[205]

"Ф.О.", Россия, № 74, депеша от 9 декабря 1808 г. 14 января 1809 года Каннинг подписал союзный договор с испанским народом, обе стороны соглашались никогда не заключать мир с Наполеоном, кроме как по общему согласию. Оно было подписано, когда дело Испании казалось безнадежным, но его свято соблюдали.

[206]

"Фуше" Мадлена, том ii, стр. 80; Паскье, том i, стр. 353-360.

[207]

Сили, "Жизнь и времена Штейна", том ii, стр. 316; Хауссер, том iii, стр. 219 (4-е издание).

[208]

В наших архивных документах указано, что мы хотели помочь Австрии; но длительная задержка была вызвана тем, что Георг III настаивал, чтобы она сначала заключила мир с нами. Каннинг тем временем отправил в Триест 250 000 фунтов стерлингов в серебряных слитках. Но в своей записке от 20 апреля он заверил Венский двор, что наша казна "почти истощена" войной на полуострове. (Австрия, № 90.)

[209]

О кампании читайте в мемуарах Макдональда, Марбо, Лежена, Пеле и Мармона. В последнем (том iii, стр. 216) говорится, что, если бы австрийцы предприняли свои последние атаки при Асперне, катастрофа была бы неизбежна; или если бы Карл позже перерезал французские коммуникации под Веной, должен был последовать тот же результат. Но исследования военных историков не оставляют сомнений в том, что австрийские войска были слишком измотаны своими героическими усилиями, а их запасы боеприпасов слишком истощились, чтобы оправдывать какие-либо рискованные действия в течение нескольких дней; а к тому времени к Наполеону подошло подкрепление. See too Angelis' "Der Erz-Herzog Karl."

[210]

Thoumas, "Le Maréchal Lannes," pp. 205, 323 *et seq.* Десвернуа ("Мэмс", гл. xii) отмечает, что после Аустерлица ни одна из войн Наполеона не получила одобрения Франции.

[211]

Об экспедиции Вальхерена см. Элисон, том viii.; Джеймс, том iv.; а также о неудаче Гамбье при Рошфоре. Письма сэра Байама Мартина, находившегося в то время в крейсерстве у Данцига, показывают, как наши офицеры хотели оказать своевременную помощь Шиллу ("Военно-морские отчеты", том xii).

[212]

"Французский пленник" капитана Бутби, глава iii.

[213]

О желании Карла просить мира после первых сражений на Верхнем Дунае см. Хойссер, т. iii., стр. 341; также, после Ваграма, *ib.*, стр. 412-413.

[214]

Нейпир, bk. viii., главы ii. и iii. В Приложении к тому III "Депеш Веллингтона" приводится критика Наполеоном действий Жозефа и французских маршалов. Он обвиняет их в отсутствии *ансамбля* и в поспешной атаке, которую Виктор посоветовал в Талавере. В заключение он сказал: "Пока вы атакуете хорошие войска, такие как английские, на хороших позициях, не проводя их рекогносцировку, вы будете вести людей на смерть *в чистом виде*".

[215]

Австрийский посланник призывал к оперативности на Даунинг-стрит. 1 июня он написал Каннингу: "Оперативность противника всегда была ключом к его успеху. Многолетний опыт доказал это миру, который, похоже, до сих пор не воспользовался этими знаниями". 29 июля Каннинг подтвердил получение австрийской ратификации мира с нами, "сопровождаемой прискорбным известием о перемирии, заключенном 12 июля между австрийской и французской армиями".

Наполеон на острове Святой Елены сказал Монтолону, что, если бы 6000 британских солдат быстро продвинулись вверх по берегам Шельды в тот день, когда экспедиция достигла Флашинга, они могли бы легко взять Антверпен, который тогда удерживался очень слабо. Смотрите также другие мнения, процитированные Элисон, гл. ix.

[216]

Пиво, стр. 441.

[217]

Вандал, т. ii., стр. 161; Меттерних, т. i., стр. 114.

[218]

Письмо от 10 февраля 1810 года, цитируемое Ланфри. Смотрите также "Мэмс" принца Евгения, том vi, стр. 277.

[219]

"Воспоминания", том ii., стр. 365 (англ. изд.).

[220]

Боссе, "Мэмс", глава XIX.

[221]

Mme. de Rémusat, "Mems.," ch. xxvii.

[222]

Tatischeff, "Alexandre et Napoléon," p. 519. Уэлшингер, "Развод Наполеона", глава ii.; он также исследует предполагаемые нарушения религиозного брака с Жозефиной; Феш и большинство беспристрастных авторитетов отметили их как надуманное оправдание.

[223]

Депеша Меттерниха от 25 декабря 1809 г. в его "Мемуарах", том ii, § 150. Первые намеки были обронены им Лаборду 29 ноября (Вандал, т. ii., стр. 204, 543): они достигли ушей Наполеона примерно 15 декабря. О влиянии этих брачных переговоров на подготовку разрыва Наполеона с царем см. Главу xxxii. этой работы.

[224]

"Беседы с герцогом Веллингтоном", стр. 9. Неповиновение Нея и Сульта во многом сорвало кампанию Массены, и он проиграл битву при Фуэнтес-д'Оноро, главным образом из-за битвы при Бессьере. И все же, поскольку он не смог удовлетворить максиму Наполеона "Добивайся успеха: я сужу о людях только по результатам", он был опозорен.

[225]

Указ от 5 февраля 1810 года. См. Вельшингер, "Порицание премьер-министра империи", стр. 31. О захвате "Allemagne" мадам де Сталь и ее изгнании см. Ее предисловие к "Dix Années d'Exil".

[226]

Моллиен, "Мэмс", том iii, стр. 183.

[227]

Фуше уехал в Италию и, наконец, поселился в Эксе. Его место в министерстве полиции занял Савари, герцог де Ровиго. Смотрите "Фуше" Мадлена, глава хх.

[228]

Портер, "Прогресс нации", стр. 388.

[229]

Письма от 6, 7, 29 августа. Соединенные Штаты только что отменили свой Закон о запрете сексуальных контактов от 1807 года. Об их отношениях с Наполеоном и Англией читайте в книге Ченнинга "Соединенные Штаты Америки", главы vi и vii.; также англо-американскую переписку в "Реестре Коббетта за 1809 и 1810 годы".

[230]

Моллиен, "Мэмс", том i, стр. 316.

[231]

Тук, - Хист. о ценах", том i, стр. 311; Моллиен, том iii, стр. 135, 289; Паскье, том i, стр. 295; Шапталь, стр. 275.

[232]

Письмо Эжену от 6 августа 1810 г.

[233]

"Прогресс нации", стр. 148.

[234]

Итак, Моллиен, т. iii., стр. 135: "Известно, что его мощное воображение было плодородно для иллюзий: как только они соблазнили его, он добросовестно попытался повысить их престиж, и ему легко удалось убедить многих других в том, в чем он убедил себя. Он смело шел навстречу трудностям в бизнесе, как шел навстречу опасностям на войне".

[235]

Мио де Мелито, том ii., глава xv. О некоторых благоприятных симптомах французской промышленности см. Lumbroso, стр. 165-226, и Chaptal, стр. 287. Их приписывают Континентальной системе; но, несомненно, они стали результатом внутренней свободной торговли и разумного управления, которыми Франция пользовалась со времен Революции.

[236]

"Сон. Корреспондент", 8 мая 1811г.

[237]

Гете опубликовал первую часть "Фауста" *полностью* в начале 1808 года.

[238]

Baur, "Stein und Perthes," p. 85.

[239]

Лавалетт, "Мэмс", глава xxv.

[240]

Письма от 10 и 13 октября 1810 г. и 1 января 1811 г.

[241]

Письмо от 17 сентября 1810 г.

[242]

Письмо от 8 марта 1811 года. Более подробно о коммерческой борьбе между Великобританией и Наполеоном читайте в моих статьях "Наполеон и британская торговля" и "Снабжение Великобритании продовольствием во время французской войны" в томе, озаглавленном "Наполеоновские исследования" (Джордж Белл и сыновья, 1904).

[243]

Чарторыйский, "Мэмс", том ii, глава xvii. В это время он снова попал в распоряжение царя, и ему было велено надеяться на восстановление Польши царем, как только Наполеон допустит грубую ошибку.

[244]

Татищев, стр. 526; Ванда, т. ii., гл. vii.

[245]

"Корреспондент", № 16178; Ванда, том ii, глава vii. В *разоблачении* от 1 декабря 1809 года утверждалось, что Наполеон не намеревался восстанавливать Польшу. Но это не удовлетворило Александра.

[246]

Письма от 23 октября и 2 декабря 1810 г.

[247]

Ванда, том ii., стр. 529.

[248]

Татищев, с. 555.

[249]

Вандал, том ii, стр. 535, признает, что мы к этому не приложили руки. Но царь, естественно, стал более благосклонен к нам и в конце 1811 года тайно разрешил въезд нашим товарам.

[250]

Цитируется по Garden, том. xiii., стр. 171.

[251]

Bernhardi's "Denkwürdigkeiten des Grafen von Toll," vol. i. p. 223.

[252]

Чарторыйский, том ii, глава xvii. В Дрездене в мае 1812 года Наполеон признался Де Прадту, своему посланнику в Варшаве, что выход России из Континентальной системы был главной причиной войны; "Без России Континентальная система - абсурд".

[253]

О заигрываниях России и Швеции с нами и их непомерных просьбах о займах читайте в отчете мистера Херефорда Джорджа в его тщательном и систематическом исследовании "Вторжение Наполеона в Россию", глава iv. Только в июле 1812 года мы официально заключили мир с Россией и Швецией и послали им денежную помощь. Здесь мы можем отметить, что Наполеон в апреле 1812 года направил нам предложения о мире, если мы признаем Жозефа королем Испании и Мюрата королем Неаполя и выведем наши войска с полуострова и Сицилии: тогда Наполеон эвакуировал бы Испанию. Каслри сразу же отказался от предложения, которое дало бы Наполеону возможность бросить все свои силы против России (Гарден, т. xiii., стр. 215, 254).

[254]

Сад, том. xiii., стр. 329.

[255]

Херефорд Джордж, указ. соч., стр. 34-37. Меттерних ("Мемуары", том ii, стр. 517, англ. изд.) показывает, что Наполеон также давал Австрии надежду получить Сербию, Валахию и Молдавию (последняя из которых тогда была захвачена русскими войсками), если она предоставит 60 000 солдат: но Меттерних успешно сопротивлялся.

[256]

Смотрите его слова Меттерниху в Дрездене, "Воспоминания" Меттерниха, т. i, стр. 152; а также то, что он не продвинулся бы дальше Смоленска в 1812 году.

[257]

Bernhardi's "Toll," vol. i., p. 226; Stern, "Abhandlungen," pp. 350-366; Müffling, "Aus meinem Leben"; L'Abbé de Pradt, "L'histoire de l'Ambassade de Varsovie."

[258]

"Erinnerungen des Gen. von Boyen," vol. ii., p. 254. Этот и другие факты, которые будут изложены позже, опровергают историю, навязанную Мюффлингу прусским генералом фон дем Кнезебеком в его преклонном возрасте. Кнезбек заявил, что его миссия перед царем в начале 1812 года, которая заключалась в том, чтобы убедить его пойти на мирный компромисс с Наполеоном, прямо противоречила секретным инструкциям, которые он получил от Фридриха Вильгельма Александру. Он описал несколько полуночных бесед с царем в Зимнем дворце, в ходе которых убедил его, что, воюя с Наполеоном и заманив его в сердце России, Европа будет спасена. Леманн показал ("Knesebeck und Schön"), что эта история противоречит всем документальным свидетельствам. От этого можно отмахнуться как от порождения старческого тщеславия.

[259]

"Пошлина", том i, стр. 256 *и далее*. В 1819 году Фалл заверил Мюффлинга, что план Дриссы был лишь частью более грандиозного проекта, у которого никогда не было реальных шансов!

[260]

"Потери" Бернхарди (том i, стр. 231) показывают, что главная "армия запада" Баркляя на самом деле насчитывала всего 127 000 человек вместе с 9000 казаками; Багратион со второй "армией запада" сначала насчитывал всего 35 000 человек при 4000 казаков; в то время как корпус Тормасова, наблюдавший за Галицией, был примерно таким же сильным. Клаузевиц дает гораздо более высокие оценки.

[261]

Лабом, "Повествование о 1812 году", и Сегюр.

[262]

Смотрите длинное письмо Де Прадту от 28 мая 1812 года; также "Мемуары" герцога де Бройля (том i, глава iv) о пустоте польской политики Наполеона. Биньон, "Дипломатические сувениры" (гл. xx), ошибается, говоря, что Наполеон обвинил Де Прадта — "За агитацию, за разжигание". На острове Святой Елены Наполеон сказал Монтолону ("Плен", том iii, гл. iii): "Польша и ее ресурсы были всего лишь поэзией в первые месяцы 1812 года".

[263]

"Толль", том i, стр. 239; Уилсон, "Вторжение в Россию", стр. 384.

[64:]

Здесь мы также можем отбросить заявления некоторых авторов, утверждающих, что Наполеон намеревался нанести удар по Санкт-Петербургу. Возможно, какое-то время он так и делал. 9 июля он написал в Вильно, что предлагает выступить *как на Москву, так и на Санкт-Петербург*. Но это было в то время, когда он все еще надеялся, что Даву заманит Багратиона в ловушку, и в то время как отступление Барклая к Дриссе казалось вероятным переносом войны на север. Наполеон всегда нацеливался в первую очередь на армию противника; и отступление Барклая из Дриссы к Витепску, а оттуда к Смоленску, окончательно решило продвижение Наполеона на Москву. Если у него и был какой-то предвзятый план - а он всегда руководствовался событиями, а не железным планом, — то это был удар по Москве. В Дрездене он сказал Де Прадту: "Я должен закончить войну к концу сентября.... Я еду в Москву: одно-два сражения решат дело. Я сожгу Тулу, и Россия будет у моих ног. Москва - сердце этой империи. Я буду вести войну с польской кровью". Свидетельствам Де Прадта нельзя полностью доверять, но я убежден, что Наполеон никогда всерьез не думал о том, чтобы отправить 200 000 человек в бесплодные районы Северной России поздним летом, в то время как английский, шведский и русский флоты были готовы потревожить его фланг и прекратить снабжение.

[265]

Письмо Марет от 24 августа; то же самое относится и к "Рассказу" Лабома и "Саду", т. xiii, стр. 418. Мистер Джордж считает, что Наполеон решил 21 августа нанести удар по Москве из соображений общей политики.

[266]

Лабом, "Повествование"; "Воспоминания" Лежена, том ii, глава vi.

[267]

"Мэмс" Марбо. Боссе, преданный слуга Наполеона, опровергает часто рассказываемую историю о том, что он заболел при Бородино. У него не было ничего хуже сильной простуды.

Любопытно, что подобные истории рассказывают о Наполеоне после каждого сражения, когда его гений не блистал. В данном случае она основана на бурном повествовании Сегюра и не гармонирует с повествованиями Гурго и Пеле. Клаузевиц оправдывает осторожность Наполеона, заставлявшего его сохранять Бдительность.

[268]

Bausset, "Cour de Napoléon." Толстой ("Война и свобода") утверждает, что пожары были делом рук подвыпивших мародеров. То же самое и Арндт, "Мэмс", стр. 204. Доктор Ценофф в научной монографии (Берлин, 1900) приходит к тому же выводу. Лежен и Бургундия признают обе причины.

[269]

Сад, т. xiii, с. 452; т. xiv, с. 17-19.

[270]

Кэткерт, стр. 41; смотрите также письма царя в "Депешах" сэра Байама Мартина, том ii, стр. 311. Этот факт показывает всю язвительность разговоров, которые вели русские в 1807 году о "нашей алчности и вероломстве" при захвате датского флота.

[271]

Например, массовая миграция крепостных *Ростолчина* из их деревни под Москвой вместо того, чтобы попасть под власть Франции (Уилсон, "Французское вторжение в Россию", стр. 179).

[272]

Письмо от 16 октября; см. также его недатированные заметки ("Корреспондент", № 19237). Боссе и многие другие считали, что лучшим планом было бы провести зиму в Москве. Он также говорит, что любимой книгой императора во время пребывания в Москве была "История Карла XII" Вольтера.

[273]

Лежен, том ii, глава vi. Так случилось, что Кутузов решил отступить, если Наполеон нападет на него. Возможно, это единственный случай, когда Наполеон допустил ошибку из-за чрезмерной осмотрительности. Фезенсак заявил в Москве, что он не увидит и не услышит правды.

[274]

Наполеон и большинство французских историков этой кампании постоянно заявляли, что его потери были вызваны главным образом исключительно суровой и ранней зимой. Это утверждение не подлежит проверке. Сильные морозы обычно наступают до 6 ноября в России на 55 ° широты; суровая погода, которую он тогда пережил, сменилась попеременными оттепелями и более слабыми заморозками до начала декабря, когда всегда ожидаются сильные морозы. Более того, основная часть потерь прилась на период до первой снежной бури. Численность Великой армии, наступавшей на Смоленск и Москву, можно оценить в 400 000 человек (включая подкрепления). В Виазме, *перед наступлением сильных холодов*, численность сократилась до 55 000 человек. Здесь мы можем отметить любопытный факт, подтвержденный Элисон, что французские войска переносили холод лучше, чем поляки и северные немцы. Смотрите также "Беседы" Н. Сениора, том i, стр. 239.

[275]

Bausset, "Cour de Napoléon"; Wilson, pp. 271-277.

[276]

Oudinot, "Mémoires."

[277]

Херефорд Джордж, стр. 349-350.

[278]

Бургундия, глава viii.

[279]

Паскье, том ii., *ad init.*

[280]

Полковник Депре, сопровождавший отступление, так описал королю Жозефу заключительные сцены: "Истину лучше всего выразить словами о том, что *армия мертва*. Молодая гвардия насчитывала 8000 человек, когда мы покидали Москву; в Вильно она едва насчитывала 400 человек.... Корпуса Виктора и Удино насчитывали 30 000 человек, когда они переправились

через Березину; два дня спустя они растаяли, как и остальная армия. Отправка подкрепления только увеличила потери".

Следующий французский официальный отчет, копию которого я нашел в наших отчетах Ф.О. (Россия, № 84), показывает, насколько ужасающими были потери после Смоленска. Но следует отметить, что рядовой состав в данном случае насчитывал под Смоленском всего 300 человек и, следовательно, потерял более половины своей численности — и это в гвардейском полку.

GARDE IMPÉRIALE: 6^{ME} RÉGIMENT DE TIRAILLEURS.

1^{ère} Division. Situation à l'époque du 19 Décembre, 1812.

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
Perte depuis le départ de Smolensk											
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
Présents sous		Restés sur		Blessés qui		Morts de		Restés en		Total des	
les armes au		le champ		n'ont pu		froid ou de		en arrière		Pertes	
départ de		de bataille		suivre,		misère		gelés, ou		sous les	
Smolensk		restés au		pour cause		armes					
		pouvoir de		de maladie							
		l'ennemi		au pouvoir							
		de l'ennemi									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----											
Off.		Tr.		Off.		Tr.		Выкл.		Тр.	
31		300		—		13		4		52	
24		13		201		17		290		14/10	
---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---											

Signé le Colonel Major Commandant
le dit Regiment. CARRÉ.

Les autres régiments sont plus
ou moins dans le même état.

[281]

"Корреспондент", 20 декабря 1812 года. По поводу так называемого Конкордата 1813 года, заключенного с плененным Пием VII. в Фонтенбло, см. "Корреспондент" от 25 января 1813 года.

Папа римский отрекся от него при первой возможности. Наполеон хотел, чтобы он поселился в Авиньоне как послушный подданный империи.

[282]

Моллиен, том iii., *ad fin.* О его туманных предложениях смягчить суровые условия Тильзита для Пруссии и предоставить ей политическое существование, если она будет сражаться за него, см. Харденберг, "Мэмс", т. iv., стр. 350.

[283]

Уолпол сообщает (19 и 22 декабря 1812 г.) о зависти Меттерниха к успехам русских и их оккупации левого берега Дуная. Уолпол сказал, что, по его мнению, Александр предоставил бы Австрии компенсацию против этого; но Меттерних казался совершенно бонапартистским ("Ф.О.", Россия, № 84). Смотрите также полный отчет, основанный на документальных свидетельствах, в книге Лаквальдта "Остеррайх и борьба за свободу народов" (Берлин, 1898).

[284]

Харденберг, "Мэмс", том iv, стр. 366.

[285]

Oncken, "Oesterreich und Preussen," vol. ii.; Garden, vol. xiv., p. 167; Seeley's "Stein," vol. ii., ch. iii.

[286]

Arndt, "Wanderungen"; Steffens, "Was ich erlebte."

[287]

В это время у нее было всего 61 500 человек, готовых к боевым действиям; но у нее было 28 000 человек в гарнизоне и 32 000 в Померании и Пруссии (собственно), согласно отчету Шарнхорста, содержащемуся в "Ф.О.", Россия, № 85.

[288]

Письма от 2 и 11 марта.

[289]

"Воспоминания" Меттерниха, т. i, стр. 159; Лаквальдт, указ. соч., ч. vi.

[290]

Смотрите всю заметку в Luckwaldt, Приложение № 4.

[291]

Онкен, указ. соч., том ii., стр. 205. То же самое относится и к письму Меттерниха Нессельроде от 21 апреля ("Мемуары", том i, стр. 405, англ. изд.): "Я прошу вас продолжать доверять мне. Если Наполеон будет достаточно глуп, чтобы сражаться, давайте постараемся не столкнуться с поражением, которое, я считаю, вполне возможно. Одно проигранное Наполеоном сражение - и вся Германия будет под ружьем".

[292]

"Ф.О.", Австрия, № 105. Несомненно, как с большой резкостью указал Онкен, знание Каслри о том, что Австрия предложит изменить наши морские притязания, способствовало его отказу рассматривать ее предложение о всеобщем мире: "но я убежден, судя по тону наших отчетов, что его главным мотивом был опыт непреклонности Наполеона и чувство лояльности нашим испанским союзникам: мы также обязались помогать Швеции и России".

[293]

Письма от 24 апреля.

[294]

Войска Наполеона в Торне сдались 17 апреля; войска в Шпандау - 24 апреля (Фейн, "Рукопись 1813 года", том ii, глава i).

[295]

Онкен, том ii., стр. 272.

[296]

Отчет Кэткарта в "Ф.О.", Россия, № 85. Мюффлинг ("Aus meinem Leben") рассматривает задержку прибытия Милорадовича и приготовления к обороне, которые французы успели провести в Гросс-Гершен, как причины неудачи союзников. Главной жертвой с французской стороны стал Бессьер, командир гвардии.

[297]

"Корреспондент", № 20017-20031. Его интервью журналу Vubna см. в Luckwaldt, стр. 257.

[298]

"Пошлина" Бернхарди, том iii., стр. 490-492. Мармон дает французам 150 000; Тьер говорит о 160 000.

[299]

В своем бюллетене Наполеон признал, что потерял от 11 000 до 12 000 человек убитыми и ранеными за два дня под Баутценом; его фактические потери, вероятно, составили более 20 000 человек. Он описал численность союзников как 150 000-160 000 человек, что почти вдвое превышает их фактическую численность.

[300]

Müffling, "Aus meinem Leben."

[301]

"Lettres inédites." То же самое можно сказать и о его письмах Эжену от 11 июня и 1 июля; и от 11, 17, 6 и 29 июля Ожеро, который должен был угрожать Австрии из Баварии.

[302]

Смотрите его разговор с нашим посланником Торнтоном, о котором последний сообщает в "Письмах Каслри", 2-я серия, том iv, стр. 314.

[303]

"Письма Каслри", 2-я серия, том iv, стр. 344.

[304]

Гарден, том xiv., стр. 356. Мы также оговорили, что Швеция не должна ввозить рабов в Гваделупу и должна пресекать работорговлю. Когда на Венском конгрессе этот остров был возвращен Франции, мы выплатили Бернадотту денежную компенсацию.

[305]

"Lettres inédites de Napoléon," June 18th, 1813. Смотрите также, что от 16 июля, *там же*.

[306]

Письма Ф. Пертеса.

[307]

Жозеф - Мармону, 21 июля 1812 года.

[308]

"Воспоминания. du Roi Joseph," vols. viii. и ix.; Нейпир, книга xix., глава v.

[309]

"Mémoires du Roi Joseph," vol. ix., p. 195.

[310]

Нейпир и Элисон говорят, что 18 марта, что опровергается "Воспоминаниями. du Roi Joseph," vol. ix., p. 131.

[311]

Там же., том ix., стр. 464.

[312]

На самом деле у него там было 50 000 долларов в течение трех месяцев, и он не добился успеха. Смотрите письмо Кларка к Клозелью, "Воспоминания. du Roi Joseph," vol. ix., p. 251.

[313]

"Беседы с Веллингтоном" Стенхоупа, стр. 20.

[314]

"Mémoires du Roi Joseph," vol. ix., p. 60.

[315]

Тьер, Б.К. xlix.; "Сон. Корреспондент", № 20019; Баумгартен, том i., стр. 577.

[316]

"Mémoires du Roi Joseph," vol. ix., pp. 284, 294. Первый приказ Джозефа в Клозель был отправлен под охраной *эскорта из 1500 человек*.

[317]

Смотрите жалобу лорда Мелвилла на необоснованные обвинения Веллингтона по этому поводу в "Письмах сэра Б. Мартина" ("Военно-морские отчеты", 1898).

[318]

Миот де Мелито, том ii., глава xviii.

[319]

Впоследствии Клозель жаловался, что, если бы он получил какой-либо приказ на этот счет, он мог бы двигаться дальше, чтобы оказаться в Виттории ("Воспоминания. du Roi Joseph," vol. ix., p. 454). Сводные списки французов были потеряны при Виттории. Напье оценивает их силы в 70 000 человек; Тьер - в 54 000; Журден - в 50 000.

[320]

Официальный отчет Веллингтона о сражении гласит, что французы захватили только две свои пушки; а Симмонс, "британский стрелок", утверждает, что последняя из них была взята около Памплоны 24-го. Веллингтон великодушно приписывал испанским войскам много заслуг — гораздо больше, чем позволит Напье.

[321]

Ducasse, "Les rois, frères de Napoléon."

[322]

"Наполеоновские письма", 1, 3, 15 и 20 июля.

[323]

Стадион Меттерниху, 30 мая, 2 и 8 июня; в Luckwaldt, стр. 382.

[324]

"Совершенно секретная" депеша Кэткарта от 4-16 июня из Райхенбаха. Всего месяцем ранее он сообщил, что предложения царя Австрии включали все эти условия в абсолютной форме, а также отделение Голландии от Франции, восстановление власти Бурбонов в Испании и "Свободу Италии для всех партий управления и влияния на Францию". Таковы были и *частные* пожелания Меттерниха относительно границы Ольо с Австрией на юго-западе. См. Oncken, том ii., стр. 644. Официальные термины появились отчасти под прямым влиянием императора Франциска.

[325]

В секретной статье Договора мы обещали предоставить Австрии субсидию в размере 500 000 фунтов стерлингов, как только она присоединится к союзникам.

[326]

Мартенс, том ix., стр. 568-575. Наши подозрения по отношению к Пруссии вновь проявляются (что было почти неизбежно после захвата ею Ганновера) не только из-за малости выделенной ей суммы — поскольку мы выделили всего 2 000 000 фунтов стерлингов шведскому, ганзейскому и ганноверскому контингентам, — но и из-за условия, согласно которому она должна согласиться на возможную аннексию Ганновером бывших прусских районов Восточной Фризии и Хильдесхайма. Мы также отказались подписать Рейхенбахский мирный договор до тех пор, пока она, весьма неохотно, не согласится на эту предполагаемую уступку. В Германии это всегда

считалось подлой сделкой; но, как указал Каслри, эти районы сильно мешали развитию Ганновера. Пруссия должна была получить компенсацию за принесенные жертвы; и мы взяли на себя главное бремя выпуска "федеративных бумажных заметок", которые позволили союзникам подготовиться к кампании ("Документы Каслри", 2-я серия, т. iv., стр. 355; 3-я серия, т. i., стр. 7-17; и "Архивы Бата", т. ii., стр. 86). Более того, мы тогда отправляли 30 000 мушкетов в Штральзунд и Кольберг для использования прусскими войсками (Депеша из "Ф.О.", 28 июля, Торнтону, "Швеция", № 79). 6 июля мы согласились оплатить стоимость Немецкого легиона численностью 10 000 человек по приказу царя. Его комиссаром был полковник Лоу.

[327]

Официальные отчеты см. в Garden, vol. xiv., стр. 486-499; также отчет Боссе "Cour de Napoléon".

[328]

Любой отчет о частной беседе двух проницательных интриганов следует принимать с осторожностью; и мы вполне можем усомниться в том, действительно ли Меттерних был таким твердым, чтобы не сказать провокационным, каким он впоследствии изобразил себя в своих "Мемуарах". Но в целом его рассказ более достоверен, чем рассказ Фейна, секретаря Наполеона, в его "Рукописи 1813 года", том ii, глава ii. Фейн помещает интервью 28 июня; в "Корреспонденте Наполеона" оно перепечатано, но отнесено к 23 июня. Онкен указывает правильную дату - 26 июня. Рассказ Биньона об этом (т. xii, гл. iv) отмечен его обычной предвзятостью.

[329]

Кэткарт сообщил 8 июля, что Шварценберг настаивал на продлении перемирия, чтобы Австрия могла противостоять "обширным и неожиданным" приготовлениям Франции ("Россия", № 86).

[330]

"Россия", № 86.

[331]

Депеша Торнтон от 12 июля ("Документы Каслри", 2-я серия, том iv, *и далее*).

[332]

Там же., стр. 383 и 405.

[333]

Подробнее см. Онкена, Лаквальдта, Тьера, Фейна и "Мэмс" герцога де Бройля; также Генца, "Бриф и Пилат", от 16-22 июля 1813 г. Гумбольдт, прусский посол, 13 июля сообщил в Берлин, что Меттерних рассматривал войну как совершенно неизбежную, а Конгресс - просто как средство убедить императора Франциска в невозможности достижения прочного мира.

[334]

Тьер; "Марет, герцог де Бассано" Эрнуфа, стр. 571.

[335]

Биньон "Ист. де Франс", том хii, стр. 199; Лефевр, "Кабинеты Европы", том v., стр. 555.

[336]

Письмо от 29 июля.

[337]

Генц сэру Г. Джексону, 4 августа ("Архивы Бата", том ii, стр. 199). Версию, льстящую Наполеону, смотрите в "Марет" Эрнуфа (стр. 579-587), которая, безусловно, оправдывает министра.

[338]

Меттерних, "Воспоминания", том ii., стр. 546 (англ. изд.).

[339]

"Ф.О.", Россия, № 86. Прилагается письмо генерала Ньюджента (27 июля) из Праги. Когда он (Н.) выразил Меттерниху опасения, что прибытие Коленкура туда предвещает мир, М. ответил, что это ничего не изменит, "поскольку предложения были таковы, что они, безусловно, не будут приняты, и они даже будут дополнены".

[340]

"Souvenirs du Duc de Broglie," vol. i., ch. v.

[341]

Цели Великобритании на данный момент четко изложены в инструкциях и сопроводительной записке лорду Абердину, нашему назначенному послу в Вене, датированной Министерством иностранных дел 6 августа 1813 года: " ... Ваша светлость, вероятно, поймете из этих инструкций, что всеобщий мир, чтобы надлежащим образом обеспечить спокойствие и независимость Европы, должен, по мнению правительства Его Величества, ограничить Францию, по крайней мере, Пиренеями, Альпами и Рейном; и если другие Великие державы Европы почувствуют себя способными бороться за такой мир, Великобритания полностью готова согласиться с ними в такой линии политики. Если, однако, державы, наиболее непосредственно заинтересованные в этом, решат, вместо того чтобы сталкиваться с рисками более затяжной борьбы, доверить свою собственную безопасность более несовершенному устройству, то британское правительство никогда не пыталось диктовать другим государствам упорство в войне, которое они сами не признавали необходимым как для их собственной, так и для общей безопасности ". Что касается деталей, мы хотели видеть возвращение Венеции Австрии, Папских земель Папе Римскому, северо-запада Италии королю Сардинии, но надеялись, что для Мюрата можно будет найти "либеральное учреждение" в центре Италии. Наполеон знал, что мы хотели ограничить Францию "естественными границами" и что мы были полны решимости настаивать на наших морских притязаниях. Поскольку наше правительство заняло эту непопулярную линию и пошло дальше Австрии в своих планах ограничения французского влияния, у него появилась прекрасная возможность отделить Континентальные державы от нас. Но он заявил, что эти Полномочия были куплены Англией, и что мы были настроены унижить Францию.

[342]

Boyen, "Erinnerungen," Pt. III., p. 66.

[343]

Fain, том ii., стр. 27. Выделенные курсивом слова даны им таким образом; но они читаются как более позднее оправдание неудач Наполеона.

[344]

"Комментарии к войне в России и Германии", стр. 195.

[345]

В своих письмах Макдональду и Ней от 16 августа он предполагал, что союзники могут нанести удар по Дрездену или даже продвинуться на запад до Цвикау, но тем временем он выступит "на стороне Блюхера".

[346]

"Lettres inédites de Napoléon." Император передал это предложение Савари (11 августа): оно, несомненно, означало выпуск фальшивых бумажных купюр, подобных тем, которые были распространены в России годом ранее.

[347]

Кэткарт, "Комментарии", стр. 206.

[348]

"Extrait d'un Mémoire sur la Campagne de 1813." С характерной неточностью Марбо замечает, что отступничество Жомини, *противоречащее планам Наполеона*, было "катастрофическим ударом". То же самое говорит Дедем де Гелдер, стр. 328.

[349]

О рвении императора свидетельствует тот факт, что 21 августа он начал диктовать депеши в Лаубане в 3 часа ночи. Накануне он продиктовал семнадцать депеш: двенадцать в Циттау, четыре после поездки в Герлиц и еще одну по прибытии в Лаубан в полночь.

[350]

Письма Бертье от 23 августа.

[351]

Бойен, том iii, стр. 85. Но см. Вира, "Сон и Бернадотт в 1813 году", который доказывает, насколько рискованной была позиция Б. с крепостями на Одере, удерживаемыми французами, на одном фланге, а Давустом и датчанами - на другом. Он опровергает многие немецкие наветы на Бернадотта.

[352]

Хауссер, стр. 260-267. В "Мемуарах" Удино вину возлагают на медлительность Бертрана в достижении концентрации на Гроссбир и на безрассудную стремительность Ренье. Вир (стр. 74-116) доказывает на основании депеш, что Бернадотт намеревался атаковать французов к югу от Берлина: он дискредитирует анекдот о "костях".

[353]

Письма от 23 августа.

[354]

Назван так, чтобы отличать его от двух других нейсов в Силезии.

[355]

Бласендорфса "Блюхер"; Мюффлинга "Жизнь во плоти" и "Кампании Силезской армии в 1813 и 1814 годах"; Бертена "Кампания 1813 года". Хауссер считает, что у французов в битве было около 60 000 человек, у союзников - около 70 000.

[356]

Jomini, "Vie de Napoléon," vol. iv., p. 380; "Toll," vol. iii., p. 124.

[357]

"Пошлина", том iii, стр. 144. Кэткарт сообщает (стр. 216), что Моро заметил ему: "Мы уже находимся на связи с Наполеоном; овладение городом [Дрезденом] не является целью; в будущем он падет сам по себе". Если Моро сказал это всерьез, то это можно назвать только проявлением идиотизма. Союзники были далеки от безопасности, пока не отвоевали у Наполеона один из его опорных пунктов на Эльбе; взятия Пирны было явно недостаточно.

[358]

"Корреспондент" № 20461.

[359]

"Комментарии" Кэткарта, стр. 230; Бертен, "Кампания 1813 года", стр. 109; Мармон, "Mems.", bk. xvii.; "Достижения кавалерии" сэра Эвелина Вуда.

[360]

Из писем Наполеона от вечера 27-го ясно, что он был не совсем доволен работой дня и думал, что противник будет стойко держаться или даже возобновит атаку завтра. Они опровергают дикие заявления Тьера о всеобщем преследовании в тот вечер, захвате тысяч пленных и т.д.

[361]

Вандамм 28-го получил подкрепление в восемнадцать батальонов, и с тех пор у него было всего шестьдесят четыре; однако Марбо считает, что у него было всего 20 000 человек.

[362]

Тьер приводит депешу Бертье полностью. Смотрите также карту, стр. 336.

[363]

Мармон, bk. xvii., стр. 158. Он и Сен-Сир ("Мэмс", том iv, стр. 120-123) сходятся во мнении относительно беспорядка, царившего в их войсках, когда они толпились вместе на этой дороге. Целью Наполеона было обеспечить захват всех вражеских пушек и складов; но его поспешные приказы привели к блокированию преследования на средней дороге. Сен-Сир послал в штаб за инструкциями; но теперь их перевели в Дрезден; отсюда и фатальная задержка.

[364]

Тьер показал, что Мортье не получал приказа от Бертье поддержать Вандама *до 30 августа*. То же самое можно сказать и о Сен-Сире, который получил его только в 11.30 утра того дня. Лучшей защитой Сен-Сира является письмо Наполеона к нему от 1 сентября ("Официальные письма Наполеона"): "У этого несчастного Вандама, который, кажется, покончил с собой, не было ни часового в горах, ни резерва где-либо еще.... Я отдал ему категорический приказ укрепиться на высотах, расположить на них свои войска лагерем и посылать в Богемия только отдельные группы людей, чтобы потревожить врага и собрать новости". Сравните с этим одобрительное заявление Наполеона Мюрату от 29 августа ("Корреспондент", № 20486): "Вандамм шел на Теплиц *со всем своим корпусом*".

[365]

"Lettres inédites de Napoléon," September 3rd.

[366]

Хойссер, том iv, стр. 343, и Бойен, "Erinnerungen", том ii, стр. 345-357, за подозрительные задержки Бернадотта в этот день; также Мармон, bk. xviii., за критику Нея. Наполеон послал за Леженом, который в то время командовал дивизией армии Нея, чтобы объяснить катастрофу; но когда Лежен добрался до штаба в Доне, к югу от Дрездена, император приказал ему немедленно возвращаться — доказательство его нетерпения и гнева из-за этих неудач.

[Примечание 367: Торнтон, наш посланник в штабе Бернадотта, написал Каслри, что желанием этого лидера было пощадить шведский корпус; он ожидал, что Бернадотт нацелится на французскую корону ("Документы Каслри", 3-я серия, том i, стр. 48-59). См. также Бойен, том ii., стр. 378.]

[368]

Письмо Рейнье от 10 октября. Это и его письмо Маре, как мне кажется, опровергают утверждение Бернхарди ("Толль", т. iii, стр. 385-388), что Наполеон имел в виду только оттеснить северных союзников за Эльбу, а затем повернуться против Шварценберга. Планы императора менялись каждые несколько часов, но план переправы через Эльбу большими силами был явно подготовлен.

[369]

Тьер утверждает, что так оно и было. Но если так, то как император мог написать Макдональду (2 октября), что силезская армия двинулась на Гроссенхайн: "Похоже, это сделано для того, чтобы атаковать укрепленный лагерь [в Дрездене] со стороны равнины, по дорогам на Берлин и Мейсен".? В тот же день он высмеивает Лефевра-Десноэтта за то, что тот написал, что Бернадотт переправился через Эльбу, и возражает, что если бы он это сделал, для него было бы намного хуже: война скоро закончилась бы.}

[370]

Письмо Рейнье от 10 октября. Это и его письмо Маре, как мне кажется, опровергают утверждение Бернхарди ("Толль", т. iii, стр. 385-388), что Наполеон имел в виду только оттеснить северных союзников за Эльбу, а затем повернуться против Шварценберга. Планы императора менялись каждые несколько часов, но план переправы через Эльбу большими силами был явно подготовлен.

[371]

Martens, "Traité," vol. ix., p. 610. Эта тайная сделка выбила почву из-под ног немецких юнионистов, таких как Штайн, которые желали избавиться от второстепенных князей или строго ограничить их власть.

[372]

Тьер и Бернарди ("Толль", т. iii, стр. 388) избавились от этого вымысла.

[373]

Сэр Э. Вуд, "Достижения кавалерии".

[374]

"Корреспондент", № 20814. Мармон, том v., стр. 281, резко замечает, что Наполеон теперь считал истинным только то, что входило в его комбинации и мысли.

[375]

Отступлению Бернадотта через Эльбу помешали только протесты его офицеров, наступление Блюхера и тот факт, что мосты на Эльбе теперь удерживали французы. О военном совете в Кетене 14 октября см. Бойен, том ii., стр. 377.

[376]

Мюффлинг, "Кампания 1813 года".

[377]

Присутствовавший при этом полковник Лоу говорит, что он выигрывал и проигрывал пять раз (неопубликованные "Мемуары").

[378]

Бюллетень Наполеона от 16 октября 1813 года обвиняет Нея в этой растрате большого корпуса; но из официальных приказов, опубликованных Мармоном (т. v., стр. 373-378), ясно, что Наполеон не ожидал какого-либо серьезного сражения на северной стороне 16-го. Он считал, что корпуса Бертрана будет достаточно для обороны севера и запада, и оставил оборону на этой стороне в крайне неопределенном состоянии.

[379]

Дедем де Гелдер, "Mems.", стр. 345, сурово обвиняет бездействие Наполеона 17-го; либо он должен был напасть на союзников до того, как подошли Беннигсен и Бернадотт, либо отступить, пока было время.

[380]

Лорд Бюргерш, сэр Джордж Джексон, Одеleben и Фейн относят этот разговор к вечеру 16-го; но официальный отчет Мервельда о нем (приложенный к депешам лорда Кэткарта) датирует его 17 октября в 14 часов дня ("Ф.О.", Россия, № 86). Я придерживаюсь этой версии, а не той, что дал Фейн.

[381]

То, что британские министры не намеревались ничего подобного даже в час триумфа, видно из депеши Каслри от 13 ноября 1813 года лорду Абердину, нашему посланнику при австрийском дворе: "Мы не хотим навязывать Франции никаких позорных условий, которые ограничивали бы количество ее кораблей: но она не должна оставаться во владении этим пунктом [Антверпеном]" ("Документы Каслри", 3-я серия, том i, стр. 76).

[382]

Бойен описывает удивительные эффекты огня британской ракетной батареи, служившей в армии Бернадотта. Капитан Боуг выдвинул его вперед, чтобы проверить атаку французской

колонны на шведов. Он был подбит, но лейтенант Стрейнджуэйз открыл такой жаркий огонь, что колонну "разнесло на части, как муравейник", и люди бросились обратно в укрытие под громкий смех союзников.

[383]

Преждевременный взрыв произошел, конечно, не из-за Наполеона, а из-за стремительности сержанта и умелого флангового удара легких войск Сакена, о котором см. Кэткарта и Мармона. Потери под Лейпцигом стали еще тяжелее из-за гуманного отказа Наполеона поджечь пригороды, чтобы отпугнуть союзников. Он справедливо сказал, что мог бы спасти многие тысячи французов, если бы сделал это. Это правда. Но странно, что он не отдал приказа о строительстве других мостов. Пеле и Фейн утверждают, что он отдал устный приказ; но, как объясняет Марбо, Бертье, начальник штаба, придерживался педантичного обычая никогда не действовать на основании чего-либо меньшего, чем *письменный приказ*, который не был отдан. Пренебрежение к обеспечению средств для отступления тем более странно, что последние несчастья на Березине были в значительной степени вызваны официальными ошибками того же рода. Веллингтон резко критикует тактику Наполеона под Лейпцигом (депеша от 10 января 1814 г.): "Если бы Бонапарт не поставил себя в положение, которого избегал бы любой другой офицер, и не оставался в нем дольше, чем это соответствовало каким-либо представлениям о благоразумии, он ушел бы в отставку в таком состоянии, что союзники не смогли бы рискнуть приблизиться к Рейну".

[384]

Сэр Чарльз Стюарт писал (22 марта 1814 г.): "На Эльбе Наполеон был совершенно безумен, и его длительное пребывание там стало причиной битвы при Лейпциге и всех его последующих несчастий" ("Документы Каслри", т. ix., стр. 373).

[385]

Нейпир, том v., стр. 368-378.

[386]

10 ноября лорд Абердин, наш посол при австрийском дворе, написал Каслри: " ... Как только он [Мюрат] получил последнее послание, адресованное ему князем Меттернихом и мной в Праге, он написал Наполеону и заявил, что дела его королевства настоятельно требуют его присутствия. Не дожидаясь никакого ответа, он немедленно тронулся в путь и не останавливался ни на минуту, пока не прибыл в Базель. Находясь в пути, он отправил зашифрованное послание принцу Кариати, своему министру в Вене, в котором он сообщает ему, что надеется быть в Неаполе 4 числа этого месяца: что он горит желанием отомстить за [так в оригинале] все обиды, которые он получил от Бонапарта, и присоединиться к делу

союзников в борьбе за справедливый и стабильный мир. Он предлагает объявить войну сразу по прибытии". И снова, 19 декабря, Абердин пишет: "Вы можете считать дело Мюрата улаженным.... Вероятно, все закончится тем, что Австрия согласится на изменение им границы на папской территории - ровно настолько, чтобы удовлетворить его тщеславие и дать ему возможность показать что-то своему народу. Я сильно сомневаюсь, что будет возможно, учитывая притязания Сицилии, Сардинии и самой Австрии на севере Италии, вернуть ему три дипломатические миссии: но что-то адекватное должно быть сделано" ("Австрия", № 102). Споры между Мюратом и Наполеоном будут прояснены в готовящейся к печати работе барона Лумброзо "Мюрат". Пока что смотрите Биньон, том. xiii., стр. 181 *и далее.*; Десвернуа, "Mems.", гл. xx.; и Шапталъ (стр. 305) за коварный совет Фуше Мюрату.

[387]

"Дневник" леди Бюргерш, стр. 182.

[388]

Fain, "Manuscrit de 1814," pp. 48-63. Эрнуф, "Жизнь Маре", стр. 606, утверждает, что Наполеон подправил записку Маре; цитируемая выше фраза, несомненно, принадлежит императору. Тот же автор доказывает, что советы Маре всегда были более миролюбивыми, чем предполагалось, и что теперь, на своей старой должности государственного секретаря, он оказал Коленкуру ценную помощь во время переговоров в Шатийоне.

[389]

"Документы Каслри", 3-я серия, том i, стр. 74. Это было написано, конечно, до того, как он услышал о франкфуртских предложениях; но это замечательным образом предвосхищает их. Тьер утверждает, что Каслри, узнав о них, отправил в Абердин новые инструкции. Я не могу найти ни одной в наших архивах. Это письмо предостерегало Абердина от любых компромиссов по вопросу об Антверпене; но ясно, что Каслри, когда он прибыл в штаб союзников, был сторонником мира по сравнению с царем и прусскими патриотами. Шварценберг писал (26 января) в Лангре: "Мы должны заключить здесь мир: наш кайзер, также Штадион, Меттерних, даже Каслри, полностью придерживаются этого мнения — но кайзер Александр!"

[390]

Fournier, "Der Congress von Châtillon," p. 242.

[391]

"Документы Каслри", *цитата*, стр. 112.

[392]

Metternich. "Воспоминания", том i, стр. 214.

[393]

"F.O.", Австрия, № 102.

[394]

"Lettres inédites" (November 6th, 1813).

[395]

Меморандум одобрен: "Выдержка из Инструкций, переданных мне генералом. Поццо ди Борго, 18 декабря 1813 г." ("Россия", № 92).

[396]

Письмо Меттерниха Худелисту, в Fournier, стр. 242.

[397]

"1814" Уссэ, стр. 14; Меттерних, "Воспоминания", том i, стр. 308.

[398]

"Наш успех и все остальное зависит от нашей умеренности и справедливости", - писал он лорду Батерсту (Napier, bk. xxiii., глава ii.).

[399]

"Иностранные письма" (12 ноября). Дата важна: она опровергает заявление Напье (bk. xxiii., гл. iv.) о том, что император планировал, что Фердинанд войдет в Испанию в начале ноября, когда споры между Веллингтоном и Кортесами в Мадриде были в самом разгаре. Биньон (т. xiii, стр. 88 *и последующие*) говорит, что неосторожность Талейрана раскрыла переговоры испанскому Кортесу и Веллингтону; но депеши нашего генерала показывают, что он не слышал о них до 9

или 10 января. Затем он написал: "Я давно подозревал, что Бонапарт прибегнет к этому средству; и если бы у него было меньше гордости и больше здравого смысла, это увенчалось бы успехом".

[400]

14 января император приказал Сульту, как только стало известно о ратификации договора, выступить из Байонны на север "со всей своей армией, оставив только то, что необходимо для создания заслона". Сюше также должен был поспешить с 10 000 пехотинцев, *en poste*, и двумя третями своей конницы в Лион. 22-го император обвиняет обоих маршалов в том, что они не отправили пехоту, хотя испанский договор *не* был ратифицирован. После долгих проволочек Фердинанд отправился в Испанию 13 марта, когда война почти закончилась.

[401]

"1814 год" Уссэ, глава ii.; Мюффлинг "Кампания 1814 года".

[402]

Письмо Джозефу от 31 января.

[403]

"Воспоминания Ланжерона" в Houssaye, стр. 62; но см. Мюффлинг.

[404]

Письмо Кларку от 2 февраля.

[405]

Меттерних сказал о Каслри: "Я не могу его достаточно похвалить: его взгляды в нашем смысле самые мирные" (Фурнье, стр. 252).

[406]

Каслри - лорду Ливерпулю, 22 и 30 января 1814 года.

[407]

Письмо Худелисту (3 февраля), в Fournier, стр. 255.

[408]

Письмо Стюарта от 27 января 1814 г. в "Каслрийских бумагах", том ix, стр. 535. В тот день Харденберг записал в своем дневнике: "Обсуждение плана операций и недопонимание. Интрига Штейна, направленная на то, чтобы направить армию прямо в Париж, как того хочет царь. Австрийцы выступают против этого: другие не знают, чего они хотят" (Фурнье, стр. 361).

[409]

Заметки Стюарта в "Бумагах Каслри", стр. 541-548. 17 февраля Каслри пообещал вернуть все наши завоевания в Вест-Индии, за исключением Тобаго, и попытаться вернуть Франции Гваделупу и Кайенну у Швеции и Португалии; также вернуть все французские владения к востоку от мыса Доброй Надежды, за исключением Иль-де-Франс (Маврикий) и Бурбона (Фурнье, стр. 381).

[410]

Письма Джозефу от 31 января и 2 февраля.

[411]

Напечатано в "Корреспонденте" Наполеона от 17 февраля. Я не могу согласиться с Эрнуфом, "Жизнью де Маре" и Фурнье в том, что Коленкур мог подписать мир только на основании "карт-бланша" Маре. Человек, который был жестоко обманут Наполеоном в энгиенском деле, естественно, теперь хотел получить четкий приказ.

[412]

Given by Ducasse, "Les Rois Frères de Napoléon," p. 64.

[413]

Hausser, p. 503. По словам Наполеона, было захвачено 6000 человек и сорок пушек!

[414]

Письмо от 18 февраля 1814 г.

[415]

На Эльбе Наполеон сказал полковнику Кэмпбеллу, что он заключил бы мир в Шатийоне, если бы Англия не настаивала на его сдаче Антверпена, и что, следовательно, Англия была причиной продолжения войны. Это письмо, однако, доказывает, что он был так же настроен удержать Майнц, как и Антверпен. Затем Коленкур пожелал ему заключить мир, пока он может сделать это с честью ("Документы Каслри", том ix, стр. 287).

[416]

Фурнье, стр. 132-137, 284-294, 299.

[417]

См. Письмо Меттерниха Стадиону от 15 февраля в "Фурнье", стр. 319, 327.

[418]

Уссей, стр. 102.

[419]

Инструкции Флахо от 24 февраля, "Корреспондент", № 21359; "Дневник" Харденберга в Fournier, стр. 363-364.

[420]

Фурнье, стр. 170, 385.

[421]

Там же., стр. 178-181, 304; Мартенс, том ix., стр. 683. Каслри, том ix, стр. 336, называет это "моим договором" и добавляет, что Англия практически поставляла Коалиции 300 000 человек. В одной секретной статье предлагалось Испании и Швеции присоединиться к договору; в другой говорилось, что Германия должна состоять из федерации суверенных князей, что Голландия должна получить "подходящую" военную границу и что Италия, Испания и Швейцария должны быть независимыми, то есть от Франции; третья обязывала союзников поддерживать свои армии в боевом состоянии в течение подходящего времени после заключения мира.

[422]

Смотрите его инструкции Коленкуру от 2 марта: "Ничто не заставит Францию сделать что-либо, что унизит ее национальный характер и лишит ее ранга, который она занимала в мире на протяжении веков". Но это было именно то звание, которое союзники были полны решимости присвоить ей, ни больше, ни меньше. Совместная нота союзников от 29 февраля участникам переговоров в Шатийоне предписывала им "объявить французскому участнику переговоров, что вы готовы обсудить в духе примирения все изменения, которые он может быть уполномочен предложить"; но что любое существенное отклонение от условий, уже предложенных ими, должно привести к разрыву переговоров.

[423]

Письма от 2, 3, 4 марта Кларку.

[424]

Уссэ, стр. 156, примечание. Точно так же Мюффлинг, "Aus meinem Leben", показывает, что Блюхер мог пересечь Энну там, или в Понтавере, или в Берри-о-Баке.

[425]

Смотрите письма Наполеона Кларку от 4-6 марта.

[426]

Уссей, стр. 176-188.

[427]

Мюффлинг говорит, что Блюхер и Гнейзенау опасались нападения *Бернадотта* им в тыл. 25 февраля Наполеон посоветовал Жозефу попытаться расположить к себе этого принца, у которого были очень подозрительные отношения с французским генералом Мезоном в Бельгии. Вероятно, Гнейзенау хотел пощадить своих людей по политическим соображениям.

[428]

"Пошлина" Бернхарди, том iv, стр. 697. Лорд Бюргерш писал из Труа (12 марта): "Я убежден, что этой армией не будут рисковать в генеральном сражении С. почти хотел бы вернуться на Рейн". И снова 19-го числа он написал полковнику Хадсону Лоу из Поуги: "Я не могу много сказать о нашей активности; я не в состоянии объяснить причины нашей апатии — факты

слишком очевидны, чтобы их оспаривать. Мы пробыли десять дней в Труа, один - в Пон-сюр-Сен, два - в Арси и теперь находимся здесь. Завтра мы едем в Бриенну" ("Неопубликованные воспоминания сэра Х. Лоу"). Стюарт остроумно заметил, что Наполеон приезжал в Арси, чтобы пощупать пульс Шварценберга.

[429]

Письма от 20 марта Кларку.

[430]

"Документы Каслри", том ix., стр. 325, 332.

[431]

Эти письма были написаны парами — одно официальное, другое конфиденциальное. Ответы Коленкура показывают, что он высоко оценил их (см. Fain, Приложение).

[432]

Из письма Коленкура Наполеону от 3 марта; Биньон, т. xiii., стр. 379.

[433]

"Документы Каслри", том ix, стр. 555.

[434]

"Документы Каслри", том ix, стр. 335, 559. Проект Коленкура от 15 марта во многом напоминал тот, что был продиктован Наполеоном тремя днями позже; Австрия должна была получить Венецию до Адидже, итальянское королевство отойти Евгению, герцогство Варшавское королю Саксонии и т.д. Союзники отвергли его (Фейн, стр. 388).

[435]

Фурнье, стр. 232, опровергает, и, я думаю, успешно, возражения Уссэ (стр. 287) против его подлинности. Кроме того, письмо находится на том же моральном уровне, что и инструкции Коленкуру от 4 января, и напоминает их во многих отношениях. Ни один фальсификатор не мог знать об этих инструкциях. На Эльбе Наполеон признал, что был неправ, не заключив мир в это время. "*Mais je me croyais assez fort pour ne pas la faire, et je me suis trompé*" (Lord Holland's

"Foreign Rem.," p. 319). Тот же автор утверждает (стр. 296), что он видел официальную переписку о Шатийоне: она дала ему самое высокое мнение о Коленкуре, но поведение Н. было "полно уловок и выдумки".

[436]

От Каслри до Кланкарти, 18 марта.

[437]

Нейпир, bk. xxiv., глава iii. Веллингтон, похоже, думал, что союзники, вероятно, заключат мир с Наполеоном.

[438]

Бройль, "Мэмс", bk. iii., глава i.

[439]

Письмо Джозефу от 25 февраля. Тибо рассказывает нам странную историю о том, что Бернадот послал агента Рейнвилля убедить Даву присоединиться к нему в атаке в тыл союзников; но в присутствии Даву самообладание Рейнвилля настолько изменило ему, что он повернулся и бросился бежать, спасая свою жизнь!

[440]

Коленкур писал Меттерниху 25 марта: "Прибыл только этой [последней] ночью к императору, Его Величество ... дал мне все полномочия, необходимые для подписания мира с министрами союзных дворов" (Fain, стр. 345; Эрнуф, "Жизнь Марета", стр. 634).

Тьер не упоминает об этих попытках Наполеона, которые, несомненно, наиболее характерны. Все его продвижение на восток было продиктовано ими. Были предприняты усилия (*например*, М. де Бакуром в "Воспоминаниях" Талейрана, стр. vii, приложение. 4) доказать, что 25-го Наполеон был готов согласиться на все условия союзников и, таким образом, уступить больше, чем было сделано Людовиком XVIII. Но нет никаких доказательств того, что он намеревался сделать что-либо подобное. Условия записки Коленкура были совершенно расплывчатыми. Более того, даже 28-го, когда Наполеон был встревожен, у него состоялась беседа с захваченным австрийским дипломатом Вессенбергом, которого он освободил, чтобы тот мог посоветоваться с императором Франциском. Он сказал посланнику, что Франция все же окажет ему поддержку: он хотел сохранить естественные границы, но, вероятно, заключит мир на менее выгодных условиях, поскольку хотел положить конец войне: "Я готов отказаться от всех французских колоний, если таким образом смогу сохранить устье Шельды для Франции. Англия

не будет настаивать на том, чтобы я пожертвовал Антверпеном, если Австрия не поддержит ее" ("Вессенберг" Арнета, том i, стр. 188). Этот отрывок свидетельствует не о большом желании выполнить условия союзников, а скорее о стремлении отделить Австрию от ее союзников. Согласно леди Бюргерш ("Дневники", стр. 216), Наполеон признался Вессенбергу, что его положение было отчаянным. Я думаю, что это была приятная выдумка этого посланника. Нет никаких доказательств того, что Наполеон был полностью подавлен до 29-го числа, когда он услышал о La Fère Champenoise ("Сувениры" Макдональдса).

[441]

Биньон, том. xiii., стр. 436, 437.

[442]

Услышав об их уходе, Штейн засиял от радости: "Теперь, сказал он, царь отправится в Париж, и скоро всему придет конец" (Тургенева цитирует Хойссер, т. iv., стр. 553).

[443]

"Пошлина" Бернхарди, том iv., стр. 737 *и далее*; Уссэ, стр. 354-362; также сообщение Нессельроде опубликовано в "МЭМС" Талейрана. Тилен и Радецкий утверждали, что инициатива в этом вопросе принадлежала Шварценбергу; и лорд Бюргерш в своей депеше от 25 марта ("Австрия", № 110) согласен с ними. Штайн поддерживает утверждение Толля. Я не могу согласиться с Уссэ (стр. 407), что "Наполеон смирился с тем, что Париж был принесен в жертву". Его перехваченное письмо, а также официальные письма № 21508, 21513, 21516, 21526, 21538, показывают, что он верил, что союзники отступят и что его связь с Парижем будет в безопасности.

[444]

Я черпаю этот отчет в основном из неопубликованных мемуаров сэра Хадсона Лоу. Наполеон обвинил Мармона в том, что он не выступил маршем на Реймс, как ему было приказано. На Эльбе Наполеон сказал полковнику Кэмпбеллу, что неповиновение Мармона испортило движение на востоке и сорвало кампанию. Но если бы Мармон и Мортье присоединились к Наполеону в Витри, Париж был бы абсолютно открыт для союзников.

[445]

Уссэ, стр. 485 *и далее*.; Письма Наполеона от 8 февраля и 16 марта; Моллиен, т. iv., стр. 128. В письме Наполеона Жозефу от 2 апреля ("Новые письма") нет ни слова упрека в адрес Жозефа за то, что он покинул Париж.

[446]

"Документы Каслри", том ix, стр. 420; Паскье, том iii, глава xiii.

[447]

Мы точно не знаем, почему Александр так внезапно бросил Бернадотта. 17 марта он заверил агента роялистов, барона де Витроля, что и слышать не желает о бурбонах и что сначала он думал о том, чтобы утвердить во Франции Бернадотта, а затем Эжена. Однако мы знаем, что Бернадотт делал подозрительные заигрывания с французским генералом Мезоном в Бельгии ("Документы Каслри", том ix., стр. 383, 445, 512).

[448]

De Pradt, "Restauration de la Royauté, le 31 Mars, 1814"; Pasquier, vol. iii., ch. xiii. Витроль ("Mems.", том i, стр. 95-101) говорит, что 15 марта Меттерних заверил его, что Австрия не будет настаивать на регентстве Марии Луизы, но прислушается к пожеланиям Франции.

[449]

Первый проект этой Декларации см. в "Корреспонденции" № 21555 (примечание).

[450]

Паскье, том iii, глава xv.; Макдональд, "Сувениры".

[451]

Уссей, стр. 593-623; Мармон, том vi., стр. 254-272; Макдональд, главы xxvii.-xxviii. На Эльбе Наполеон сказал лорду Эбрингтону, что войска Мармона были одними из лучших, и его предательство все разрушило ("Журнал Макмиллана", декабрь 1894 г.).

[452]

Pasquier, vol. iii., ch. xvi.; "Документы Каслри", том ix, стр. 442. Элисон ошибочно утверждает, что *Наполеон* выбрал Эльбу.

[453]

Мартенс, том ix., стр. 696.

[454]

Тьер и Констан относят это событие к ночи с 11 на 12. Я вслед за Фейном и Макдональдом отношу его к следующей ночи.

[455]

Bausset, "Cour de Napoléon."

[456]

"Дневник" сэра Нила Кэмпбелла, стр. 192.

[457]

Ашер, "Последние путешествия Наполеона", стр. 29.

[458]

Бывший якобинец Понс (де л'Эро), комиссар рудников на Эльбе, оставил "Сувениры из Иль д'Эльба", которые отличаются колоссальной доверчивостью. В главе xi он приводит рассказы о заговорах с целью убийства Наполеона — некоторые из них очень глупы. В части ii, глава i, он называет его "essentiellement religieux" и самым мягкосердечным человеком, который был вынужден из благоразумия скрывать свою чувствительность! Однако официальные отчеты Кэмпбелла показывают, что Понс *в то время* был далек от восхищения Наполеоном.

[459]

"Ф.О.", Австрия, № 117. Талейран в своих письмах Людовику XVIII утверждает, что нарушил соглашение Держав. Но ясно, что страх перед Россией был сильнее, чем *утонченность* Талейрана. Перед началом Конгресса Каслри и Веллингтон посоветовали дружбу с Францией, чтобы пресечь "необоснованные претензии" в других местах.

[460]

"Беседы" Стэнхоупа, стр. 26. В наших архивах ("Россия", № 95) есть подозрительное письмо Поццо ди Борго, датированное Парижем, 22.10.1814 г., к Каслри (его нет в его письмах), содержащее следующую фразу: "*Существование Наполеона*, комильфо, когда ты бываешь в

прошлом, это неудобно для того, чтобы встретиться с ним". О письме Фуше Наполеону, умоляющем его добровольно удалиться в Новый Свет, см. "Мэмс" Талейрана, стр. vii, приложение iv. Лафайет ("Мэмс", т. v., стр. 345) утверждает, что французские роялисты готовили его убийство. Брюлар, губернатор Корсики, был заподозрен Наполеоном, но, похоже, ошибочно ("1815" Уссэ, стр. 172).

[461]

Pallain, "Correspondance de Louis XVIII avec Talleyrand," pp. 307, 316.

[462]

"Воспоминания", стр. 16; "Ф.О.", Франция, № 114. Приведенные выше факты, как мне кажется, опровергают часто звучащие заявления о том, что союзники нарушили соглашение на Эльбе и таким образом оправдали его побег. Факты доказывают, что союзники стремились принудить Людовика XVIII. выплатить Наполеону оговоренную сумму и что император приветствовал неуплату. Его слова лорду Эбрингтону от 6 декабря дышат убежденностью в том, что Франция скоро восстанет.

[463]

"Воспоминания" Флери де Шабуллона, том i, стр. 105-140; Лафайет, том v., стр. 355.

[464]

"Дневник" Кэмпбелла; Пейрусс, "Мемориал", стр. 275.

[465]

"1815 год" Уссэ, стр. 277.

[466]

Гизо, "Мэмс", гл. iii.; Де Бройль, "Мэмс", Б. К. ii., гл. ii.; Флери, т. i., стр. 259.

[467]

Peyrusse, "Mémorial," p. 277.

[468]

Как указал Веллингтон ("Депеши", 5 мая 1815 г.), фраза "il s'est livré à la vindicte publique" обозначает общественное правосудие, *не* публичную месть. На острове Святой Елены Наполеон сказал Гурго, что он *слишком рано* вернулся с Эльбы, *полагая, что Конгресс распущен!* ("Дневники" Гурго, том ii, стр. 323.)

[469]

"Дневник", 15 и 18 апреля 1815 года.

[470]

"Parl. Дебаты"; "Дневник" Ромилли, том ii., стр. 360.

[471]

Наполеон сказал Кокберну во время своего последнего путешествия, что он даровал эту конституцию не потому, что это была мудрая мера, а как необходимая уступка чувствам народа. Континентальные народы не были пригодны для представительного правления, как Англия ("Последние путешествия Нап.", стр. 115, 137). Точно так же он сказал Гурго, что был неправ, созывая Палаты вообще, *"особенно потому, что я намеревался распустить их, как только стану победителем"* (Гурго, "Дневник", том i, стр. 93).

[472]

"Кампания при Ватерлоо" Мерсера, том i, стр. 352. О миссии Флери де Шабуллона "Озвучить Австрию" читайте в его "Мэмс", том ii, и в "Фуше" Мадлена, глава xxv.

[473]

В "Истории английского языка. Обзор" за июль 1901 года я опубликовал переписку между сэром Хадсоном Лоу (генерал-квартирмейстером наших вооруженных сил в Бельгии до мая 1815 года) и Гнейзенау, Мюффлингом и Клейстом. Эти двое последних *больше всего не хотели* посылать передовые прусские войска в Бельгию для охраны слабых пограничных крепостей от *государственного переворота*: но аргументы Лоу возобладали, решив таким образом основные черты войны.

[474]

"Ф.О.", Франция, № 116. 9 июня герцог поручил Стюарту, нашему посланнику в Генте, защищать этот курс на том основании, что у Блюхера и у него было много необученных войск, и они не могли безопасно продвинуться во Францию и окружить крепости, пока русские и австрийцы не будут сотрудничать.

[475]

Сэр Х. Вивиан утверждает ("Письма Ватерлоо", № 70), что герцог намеревался дать бал 21 июня, в годовщину рождения Виттории. Смотрите также "Кавалерия в кампании при Ватерлоо" сэра Э. Вуда, глава ii.

[476]

"Ф.О.", Франция, № 115. Французский роялист прислал рапорт, датированный 1 июня, в котором рекомендовал "обратить внимание на Бонапарта".... Il faut user l'armée de Bonaparte: elle ne peut plus se recruter."

[477]

"Кампания при Ватерлоо" Роупса, ч. v.; Чесни, "Лекции при Ватерлоо", стр. 100; "Веллингтон" сэра Х. Максвелла (том ii, стр. 14); и О'Коннор Моррис, "Кампания 1815 года", стр. 97.

[478]

Жанен, "Кампания Ватерлоо", стр. 7.

[479]

Pétiet, "Souvenirs militaires," p. 195.

[480]

Заслуга в первую очередь принадлежит Константу де Ребеку, бельгийцу, начальнику штаба принца Оранского, за перенос пункта сосредоточения из Нивеля по приказу Веллингтона в Катр-Бра; также генералу Перпончеру за поддержку нового движения. Бельгийская сторона кампании была хорошо изложена Булджером в "Бельгийцах при Ватерлоо" (1901).

[481]

Gourgau, "Campagne de 1815," ch. iv.

[482]

Уссей, "1815", стр. 133-138, 186, примечания.

[483]

Хэмли, "Военные операции", стр. 187.

[484]

О задержках Жерара см. Уссэ, стр. 158, и Хорсбург, "Ватерлоо", стр. 36. Опоздание Наполеона едва ли замечено Уссэ или Гурго; но оно было осуждено Жомини, Шаррасом, Клаузевицем и лордом Уолсли.

[485]

Оллек (стр. 125) видит в этом условное предложение помощи Блюхеру. Но на каком основании? В нем говорится, что у принца Оранского есть одна дивизия в Катр-Бра и другие войска в Нивеле: что британский резерв достигнет Женаппа в полдень, а их кавалерия - Нивеля в тот же час. Как мог Блюхер надеяться на помощь от столь слабых и разрозненных сил? См. также "Роупс" (примечание к гл. х.). Хорсбург (гл. v.) показывает, что Веллингтон полагал, что его силы находятся дальше от фронта, чем они были на самом деле: он приписывает ошибку Де Ланси, начальнику штаба. Но справедливости ради стоит добавить, что Веллингтон был очень высокого мнения о Де Ланси и после его смерти при Ватерлоо сурово обвинял подчиненных.

[486]

Стэнхоуп, "Беседы", стр. 109.

[487]

Reiche, "Memoiren," vol. ii., p. 183.

[488]

Термин *корпус* имеет большое значение. Только в 3.15 Сульт использовал термин "*армия*", говоря о войсках Блюхера. Последнее важное предложение депеши в 14:00 приведено не Уссей (стр. 159), а напечатано Роупсом (стр. 383), Сиборном (т. i, стр. 453), Чаррасом (т. i, стр. 136) и

Олlexом (стр. 131). Это доказывает, что *еще в 14 часов дня* Наполеон ожидал легкой победы над пруссаками.

[489]

Лучшие источники сообщают, что пруссаки насчитывают 87 000 человек, а французы - 78 000; но последняя оценка включает корпус Лобау численностью в 10 000 человек, который не достиг Флерюса до наступления темноты.

[490]

Я считаю решение этой головоломки, предложенное Уссэ, наименее неудовлетворительным, но оно не показывает, почему Наполеон должен был быть так озадачен. Д'Эрлон вышел из леса Виллер-Первин *именно там, где его могли ожидать*. Был ли Наполеон озадачен тем, что корпус направлялся на юго-восток, а не на восток?

[491]

Дельбрюк ("Гнейзенау", том ii, стр. 190) показывает, насколько шторм благоприятствовал атаке.

[492]

Здесь я следую "Гнейзенау" Дельбрюка (том ii, стр. 194) и Чаррасу (том i, стр. 163). Райхе ("Mems.", том ii., стр. 193) говорит, что его корпус из 30 800 человек потерял 12 480 15-го и 16-го: он отмечает, что Блюхер и Ностиц, вероятно, были обязаны своим спасением простоте своей формы и головных уборов.

[493]

"Письма Ватерлоо", № № 163 и 169, доказывают, что время было 3 часа дня, а не 3.30; смотрите также отчет Кинкейда в книге Фитчетта "Люди Веллингтона" (стр. 120).

[494]

"Письма о Ватерлоо", № 169.

[495]

Последовательность этих событий приведена в Houssaye, стр. 205.

[496]

Оллек, стр. 167-171. Полковник Бэзил Джексон в своей книге "Ватерлоо и остров Святой Елены" (напечатано для частного распространения), стр. 64, утверждает, что он был нанят для изучения бельгийских дорог и составления отчетов о них, и делал это на дороге, ведущей на юг от Вавра. Этот отчет был отправлен Гнейзенау и, должно быть, придавал ему больше уверенности в ночь на 16-е число.

[497]

О'Коннор Моррис, стр. 176, одобряет критику Наполеона и порицает действия Гнейзенау против Вавра: но, несомненно, Вавр обладал большим количеством преимуществ, чем любая другая позиция. Он был доступен для всей прусской армии (включая Бюлова); его было легко оборонять (как показали события); и это сулило воссоединение с Веллингтоном для защиты Брюсселя. Уссэ говорит (стр. 233), что Гнейзенау не сразу предвидел огромные последствия своего поступка. Конечно, он этого не сделал, потому что не был уверен в Веллингтоне; но он предпринял все шаги, которые могли бы привести к огромным последствиям, если бы все пошло хорошо.

[498]

Мюффлинг, "Отрывки", стр. 238: Чаррас, том i, стр. 226, дискредитирует это.

[499]

Бэзил Джексон, указ. соч., стр. 24; Коттон, "Голос из Ватерлоо", стр. 20.

[500]

Гручи скрыл это сообщение, но оно было опубликовано в 1842 году.

[501]

Мерсер, том i, стр. 270.

[502]

Pétiet, "Souvenirs militaires," p. 204.

[503]

Вережки, стр. 212, 246, 359. Я следую "полученной" версии этого сообщения. Сравнение с "Ворчливой" версией см. в Horsburgh, стр. 155, примечание.

[504]

Вережки, стр. 266, 288; Уссей, стр. 316, с хорошим примечанием.

[505]

Ollech, pp. 187-192; Delbrück's "Gneisenau," vol. ii., p. 205. Я не могу поверить истории, рассказанной Хардингом в 1837 году эрлу Стэнхоупу ("Беседы", стр. 110), о том, что в ночь на 16 июня Гнейзенау пытался отговорить Блюхера от присоединения к Веллингтону. Хардиндж получил эту историю только из вторых рук и ошибочно приписывает ее Вавре. Во второй половине дня 17-го Гнейзенау приказал Зитену *поддерживать открытую связь с Веллингтоном* (Оллех, стр. 170). История о том, что Веллингтон прискакал в Вавр ночью 18-го на своей лошади "Копенгаген", конечно, миф.

[506]

"Журнал Блэквуда", октябрь 1896 г.; "Корнхилл", январь 1901г.

[507]

"Королевский германский легион" Бимиша, том ii, стр. 352. Сэр Хасси Вивиан утверждает, что позиция союзников ни в коем случае не была сильной; но генерал Кеннеди в своих "Заметках о Ватерлоо" (стр. 68) называет ее "хорошей и хорошо занятой". Годом ранее Веллингтон отметил это как хорошую позицию. Сэр Хадсон Лоу затем предложил укрепить его: "Запрос относительно строительства сооружения на горе Жан, являющейся командным пунктом на пересечении двух главных дорог" ("Неопубликованные мемуары").

[508]

Клаузевиц, Кеннеди и Чесни осудили Веллингтона за то, что он оставил такие большие силы в Хэле. Возможно, он хотел защитить короля Франции в Генте, хотя, несомненно, был освобожден от ответственности своей депешей от 18 июня, в 3 часа ночи, в которой герцог Берри умолял герцога де Берри удалиться вместе с королем в Антверпен. Мне кажется более вероятным, что он был настолько уверен в скором наступлении пруссаков (см. Его другое сообщение от того же часа и заявление сэра А. Фрейзера — "Письма", стр. 553 — "Мы ожидали сотрудничества Пруссии в начале дня"), что предположил, что Наполеон сделает ставку на наступление с

правого фланга; и в этом случае силы Hal сокрушили бы французский тыл, хотя он был очень далеко.

[509]

Веллингтон графу Батерсту, 25 июня 1815 года. Граф Элсмир, писавший под влиянием герцога, заявил, что не более 7000 британских солдат видели выстрел. Это неверно. Дивизия Пиктона, все еще численностью в 5000 человек, почти полностью состояла из испытанных солдат; а бригада Ламберта насчитывала 2200 ветеранов; многие гвардейцы видели огонь, а 52-й был закаленным полком. Томкинсон (стр. 296) считает всех 5220 британских и 1730 королевских немецких кавалеристов "боеспособными", а сам Веллингтон, по словам Мерсера, сказал Блюхеру, что у него 6000 лучших кавалеристов в мире.

[510]

"Британский стрелок", стр. 367.

[511]

Я не доверяю истории, рассказанной Зеновичем и приведенной Тьером, о том, что Наполеон в 10 часов утра с нетерпением ожидал Груши; также письмо Марбо, упомянутое в его "Мемуарах", *и далее.*, в котором он говорит, что император приказал ему смело продвигаться к Вавру, поскольку войска под Сен-Ламбером "не могли быть ничем иным, как корпусом Груши". Депеша Груши и официальный ответ показывают, что Наполеон знал, что Груши находится где-то между Жамблу и Вавром. Кроме того, в отчете Бюлова (Ollech, стр. 192) говорится, что, находясь в Сен-Ламбере, он отправил два сильных патруля на юго-запад и не был замечен французами, "которые, казалось, понятия не имели о нашем существовании". Это полностью опровергает историю Марбо.

[512]

Уссей, глава vii. В "Англ. Hist. Rev." за октябрь 1900 г., стр. 815, мистер Х. Джордж приводит доказательство этого, ссылаясь на время, которое ему потребовалось, чтобы пройти по дорогам, по которым мог продвинуться Граучи.

[Сноска 513 "Письма Ватерлоо", стр. 60-63, 70-77, 81-84, 383. Во всей бригаде едва ли было 1000 сабель. Сэр Э. Вуд, стр. 126-146; Сиборн, том ii., стр. 20-45.]

[514]

Уссэ, стр. 354, 499, признает этот отпор.

[Сноска 515 Б. Джексон, стр. 34. Мюффлинг говорит, что неплательщиков было 10 000 человек! Сочувствуя усилиям голландско-бельгийских писателей от имени их родни, я должен принять доказательства Джексона как убедительные. См. также статью г-на Омана в "Девятнадцатом веке", октябрь 1900 г.]

[516]

Б. Джексон, стр. 35; "Письма Ватерлоо", стр. 129-144, 296; Коттон, стр. 79.

[517]

Уссей, стр. 365, 371-376; Кеннеди, стр. 117-120; Мерсер, том первый, стр. 311-324.

[518]

Гурго (глава vi) утверждает, что время перемещения Лобау было 4.30, хотя он ранее произвел разведку справа от себя. Заявления Наполеона по этому поводу на острове Святой Елены противоречивы. В одном говорится, что Лобау двинулся в 1.30, в другом - в 4.30. Возможно, заявление Янина объясняет, почему Лобау не предпринял ничего определенного до более позднего часа.

[519]

Отчет Бэринга ("Королевский германский легион", приложение xxi) показывает, что ферма была взята примерно во время последней крупной кавалерийской атаки. Кеннеди (стр. 122) и Омштеда (*и далее.*) столь же откровенны; а свидетельства французских архивов, приведенные Уссэ (стр. 378), не вызывают сомнений.

[520]

Оллек, стр. 243-246. Непомерные заявления Райхе (том ii, стр. 209-215) опровергаются "Письмами Ватерлоо", стр. 22.

[521]

Лакост (Декостер), фламандский гид Наполеона, рассказала об этом сэру У. Скотту, "Жизнь Наполеона", том. viii., с. 496.

[522]

См. книгу Булджера "Бельгийцы при Ватерлоо" (1901), стр. 33.

[523]

Формирование и сила французской гвардии в этой атаке много обсуждались. Тьер вообще не упоминает о второй колонне; Уссэ ограничивает ее силы одним батальоном, но его рассказ неубедителен. На стр. 385 он говорит, что девять батальонов гвардии продвинулись в долину, но на стр. 389 он сообщает только о шести. Другие источники соглашались, что в атаке участвовали восемь. Что касается их образования, Уссе выдвигает множество доказательств того, что это были пустотелые квадраты. Вот еще один. 19-го Бэзил Джексон проехал верхом по склону и гребню хребта в задней части Угумона и поговорил с несколькими ранеными из Императорской гвардии. "Лежа, они образовывали большие квадраты, центры которых были полыми" (стр. 57). Мейтленд ("Письма Ватерлоо", стр. 244) говорит: "Сначала была одна большая колонка, которая разделялась на две части". Гоулер (стр. 292) добавляет, что "Вторая колонна была разделена на две части, расположенные близко друг к другу, и что *весь ее фланг был намного длиннее фронта нашего 52-го полка*". Трудно согласовать все это с атакой пустыми квадратами; но, вероятно, квадраты (или продолговатые?) следовали друг за другом так близко, что казались сомкнутой колонной. Никто из наших людей не мог видеть, были ли эти массы твердыми или полыми, но, естественно, предположили, что они твердые, и, следовательно, сильно переоценили их прочность. Колонна, состоящая из пустотелых квадратов, безусловно, является странным формированием, но, возможно, вполне пригодна для противостояния кавалерии и подавления пехоты.

Я не могу согласиться с утверждением Уссэ (стр. 393), что французские каре атаковали наш фронт в четырех разных местах, от 52-го полка справа от нас до брауншвейгского полка в нашем центре, в четверти мили к востоку. Единственное свидетельство, подтверждающее это, принадлежит Макреди ("Письма Ватерлоо", стр. 330); он говорит, что люди, атаковавшие его каре (30-й и 73-й полки), были из Средней гвардии; так сказали их раненые; но Келли из того же каре думал, что это были люди Донзелота, которые, несомненно, атаковали там. Сиборн, по-видимому, опираясь на заявление Макреди, утверждает, что часть колонны гвардейцев направилась туда: но это маловероятно. Правдоподобно ли, что гвардейцы численностью менее 4000 человек должны были распространять свои атаки на четверть мили фронта? Разве колонна не была обычным методом атаки? Таким образом, я утверждаю, что мое объяснение гвардии, атакующей полыми продолговатыми группами, сформированными в две главные колонны, согласуется с известными фактами. Смотрите "Отношение" Пети в "Англ. Хист. преподобный", апрель 1903г.

[524]

Жанен, стр. 45.

[525]

Бертран на острове Святой Елены сказал, что он *слышал*, как Мишель произнес эти слова (Монтолон, том iii, глава iv).

[526]

"Повествование" Мейтленда, стр. 222. Бэзил Джексон, который хорошо знал Гурго на острове Святой Елены, узнал от него, что тот не смог закончить свой рассказ о Ватерлоо, "поскольку Наполеон никогда не мог решить, как наилучшим образом завершить великую битву: он (Гурго) предложил не менее шести различных способов, но ни один из них не был удовлетворительным" ("Ватерлоо и остров Святой Елены", стр. 102). "Дневник" Гурго показывает, что Наполеон по очереди винил рейна, Нея, Груши, Вандама, Гийо и Сульта; но заканчивает он так: "это был роковой случай, потому что, несмотря ни на что, я должен был выиграть ту битву".

[527]

"Lettres inédites de Napoléon."

[528]

Gourgaud, "Journal inédit de Ste. Элен", том ii, стр. 321, небольшая правка.

[529]

Люсьен, "Мэмс", том iii, стр. 327.

[530]

Депеша Стюарта от 28 июня, "Ф.О.", Франция, № 117; Гнейзенау Мюффлингу, 27 июня, "Отрывки", приложение.

[531]

Крокер ("Документы", том iii, стр. 67) получил этот отчет от Жокура, который получил его от Беккера.

[532]

Оллек, стр. 350-360. Успех французской кавалерии под Версалем был обусловлен исключительными обстоятельствами.

[533]

"Повествование" Мейтленда, стр. 23-39, опровергает утверждение Тьера о том, что Наполеона там не ждали. Письмо Мейтленда Хотэму от 10 июля ("Ф.О.", Франция, № 126, отсутствует в "Повествовании") заканчивается так: "Судя по выражаемому отправителями беспокойству по поводу побега, на них очень сильно давит правительство в Париже". Инструкции Хотэма Мейтленду от 8 июля были самыми строгими. Смотрите мое эссе в "Наполеоновских исследованиях" (1904).

[534]

Дата письма опровергает заявление Лас Кейсса о том, что оно было написано *после* его второго интервью с Мейтлендом и *вследствие* предложений, сделанных Мейтлендом!

Ссылка Наполеона на Фемистокла вызвала всеобщее восхищение. Но почему? Было установлено, что афинский государственный деятель в мирное время интриговал с Персией против Афин; он бежал к персидскому монарху и был богато вознагражден *как отступник*. Никакое сравнение не могло бы быть менее удачным.

[535]

"Повествование", стр. 244. [Эта работа была переиздана господами Блэквудом. Блэквуд, 1904.]

[536]

"Ф.О.", Франция, № 126; Аллардайс, "Воспоминания лорда Кита".

[537]

Мейтленд, стр. 206, 239-242; Монтолон, том i, глава iii.

[538]

"Документы Каслри", 3-я серия, том ii., стр. 434, 438. Воспоминания Битсона находятся в журнале "Ф.О.", Франция, № 123. Этот и другие факты опровергают заявление лорда Холланда ("Зарубежные воспоминания", стр. 196) о том, что правительство рассматривало возможность передачи острова Святой Елены Ост-Индской компании в начале 1815 г. — Почему лорд Розбери, "Наполеон: последняя фаза", стр. 58, пишет, что лорд Ливерпуль считал, что Наполеона следует либо (1) передать Людовику XVIII. чтобы с ним обращались как с мятежником; или (2) обращались как с паразитами; или (3) чтобы мы (с сожалением) задержали его? В своих письмах Каслри в Париж Ливерпуль прямо говорит, что для нас, а не какой-либо

другой державы, было бы лучше задержать его, и ни слова не пишет о том, чтобы обращаться с ним как с паразитом. Лорд Роузбери, несомненно, знает, что наше правительство и Веллингтон сделали все возможное, *чтобы исключить возможность обращения пруссаков с ним как с паразитом.*

[539]

Письмо Кейта от 1 августа в "Ф.О.", Франция, № 123: "У генерала и многих из его свиты есть идея, что если бы они только могли ступить ногой на берег, никакая сила не смогла бы их вытеснить, и они полны решимости предпринять попытку, если это вообще возможно: они становятся наиболее непокорными".

[540]

В архиве нашего Министерства по делам колоний, остров Святой Елены, № 1, находится письмо от 2 августа 1815 года от итальянского подданного Наполеона (адресованное

мадам . Бертран, но на самом деле для него), заявляя, что 16 000 фунтов стерлингов были переданы в надежные руки за его услуги, четверть из которых будет немедленно передана фирмам в Нью-Йорке, Бостоне, "Филадельфи" и Чарльзтауне, чтобы обеспечить средства для осуществления его побега, и снова заявляя, что "le plus beau trône de l'universes". Оно умоляет его отложить свой отъезд из Плимута, поскольку недовольные британские офицеры составили заговор с целью избавиться от премьер-министра и еще одного министра. Наполеон не должен возлагать никаких надежд на принца-регента: "Le Silène de cette isle.... Je fonde donc mon espoir avant tout sur les navires marchands, Anglais comme autres, par l'apais du gain." Имя автора неразборчиво, как и оригинальный почтовый штамп: письмо, вероятно, пришло из Лондона: в нем не было мадам . Бертран в Плимуте, последовал за ней на остров Святой Елены и был вскрыт сэром Г. Кокберном, который отправил его обратно нашему правительству. Я опубликовал его

в полном объеме

в моем томе "Исследования Наполеона " (1904), а также сопроводительное письмо мисс Маккиннон из Бинфилда, Беркс, к Наполеону, в котором говорится, что ее мать, все еще живая, знала его и оказала ему гостеприимство, когда он был лейтенантом в Валенсе.]

[541]

Дела Лас, "Мемориал", том i, стр. 55, 65.

[542]

Жаль, что у меня нет места посвятить целую главу отношениям между Наполеоном и вигами и показать, как их поддержка нанесла ущерб обеим сторонам в 1803-21 годах, втянув его во многие рискованные предприятия и погубив дело реформ в Англии на целое поколение.

[543]

"Ф.О.", Франция, № 123. Кит добавляет: "Я сопровождал его, чтобы посмотреть жилье на борту "Нортумберленда", которым он, по-видимому, остался вполне доволен, сказав: "Апартаменты удобные, и вы видите, что я ношу с собой свою маленькую палатку-кровать". В книге также содержится письмо Мэнгода и т.д. Бертран запросил разрешения у нашего правительства вернуться через год; Гурго, когда его призвал долг перед престарелой матерью; О'Мира оговорил, что он по-прежнему должен оставаться британским хирургом на полном окладе и на действительной службе.

[544]

"Отрывок из дневника сэра Г. Кокберна", стр. 21, 51, 94.

[545]

"Последние путешествия Наполеона", стр. 163.

[546]

Я нашел этот ответ в "Секретных письмах адмиралтейства", 1804-16гг.

Лорд Роузбери, желая извиниться за наше обращение с Наполеоном на каждом этапе, говорит ("Нап.: последняя фаза", стр. 64): "Они [изгнанники] были набиты, как сельди в бочке. "Нортумберленд", как говорили, был арестован на обратном пути из Индии, чтобы доставить Наполеона: вся вода на борту, как утверждалось, тоже была в Индии, была обесцвечена и испорчена, а также в недостаточном количестве". — Напротив, дневник Гловера в "Последних плаваниях Нап.", стр. 91, показывает, что корабль находился в Медуэе в июле и был оборудован в Портсмуте (где обычно хранились запасы воды): также (стр. 99), что капитан Росс дал указание поднялся в свою каюту к Бертранам, а Гловер - к Монтолону: Гурго и Лас Касес спали в кормовой каюте, пока для них не построили каюты. Мы уже видели (стр. 529), что Наполеон был вполне доволен своей собственной комнатой. Вода, вино, скот и фрукты были доставлены в Фуншал, несмотря на шторм.

[547]

Гурго, "Журнал", том i, стр. 47, 59 (небольшое издание); "Последние путешествия дремоты", стр. 198.

[548]

Дневник сэра Г. Бингхэма в "Журнале Блэквуда", октябрь 1896 г., и "Корнхилле", январь 1901г.

[549]

Гурго, "Дневник", том i, стр. 64.

[550]

"Последние путешествия", стр. 130.

[551]

"Документы Каслри", 3-я серия, том ii., стр. 423, 433, 505; "Стейн" Сили, том iii., стр. 333-344.

[552]

Смотрите "Дневник" Гурго, том ii, стр. 315, о тогдашнем взгляде Наполеона на нашу глупость: "На их месте я бы оговорил, что только я могу плавать и торговать в восточных морях. Для них нелепо оставлять Батавию (Яву) голландцам, а Иль-де-Бурбон французам".

[553]

Форсайт, "Плен Наполеона", том i, стр. 218. Плантейшн-Хаус также был центром семафоров острова.

[554]

Миссис Эйбелл ("Бетси" Балькомб), "Воспоминания", глава vii. Они были составлены двадцать пять лет спустя и, как правило, не заслуживают доверия, но Гловер назвал их "жмурками". Позже Балькомб нарушил британские правила вместе с О'Мирой.

[555]

Гурго, "Журнал", том i, стр. 77, 94, 136, 491.

[556]

Гурго, "Журнал", том i, стр. 135, 298. Смотрите также "Корнхилл" за январь 1901 года.

[557]

Хирург Генри из 66-го полка в книге "События военной жизни", глава xxviii, пишет, что в "Плантейшн Хаус" он обнаружил бок о бок чайный куст и английский голден-пиппин, хлебное дерево, персик и сливу, мускатный орех, затеняющий крыжовник. В главе xxxi. он отмечает влажность нагорья как недостаток, "но неудобство - ничто по сравнению с комфортом, плодородием и оздоровлением, которые даруют облака". Он обнаружил, что в лагере Дедвуд, за Лонгвудом, здоровье солдат было гораздо лучше, чем в Джеймстауне.

[558]

Депеша от 12 января 1816 г. в Министерство по делам колоний, остров Святой Елены, № 1.

[559]

Лорд Роузбери ("Наполеон: последняя фаза", стр. 67), следуя французским источникам, приписывает превосходство сил Лоу; но официальные документы, опубликованные Форсайтом, том i, стр. 397-416, показывают, что имело место обратное. У Лоу было 1362 человека; у французов - около 3000.

[560]

Из письма, находящегося у мисс Лоу.

[561]

Форсайт, том i, стр. 139-147.

[562]

Смотрите интервью в "Monthly Rev.", январь 1901г.

[563]

Дневник Бингхэма в "Корнхилле" за январь 1901 г.; Гурго, том i, стр. 152, 168.

[564]

Форсайт, том i, стр. 171-177.

[565]

Версия Лоу (Форсайт, том i, стр. 247-251) полностью подтверждается версией адмирала Малкольма в "Дневнике Святой Елены" леди Малкольм, стр. 55-65; Гурго при этом не присутствовал.

[566]

"Ватерлоо и остров Святой Елены" Б. Джексона, стр. 90-91. Утверждение в статье о Б. Джексоне в "Диктанте Нац. Биография", что он был родственником Лоу и, следовательно, равнодушен к нему, неверно. Мисс Лоу уверяет меня, что он не видел ее отца до 1815 года.

[567]

"Воспоминания горной леди", стр. 459.

[568]

В "Блэквудз", октябрь 1896 г., и "Корнхилл", январь 1901 г. Я не могу согласиться с враждебным вердиктом Штюрмера в отношении Лоу как беспристрастного свидетеля. Записи острова Святой Елены показывают, что Штюрмер упорно уклонялся от предписаний губернатора, тайно встречаясь с французскими генералами. Впоследствии он был отозван из-за своих нарушений. Русский Бальмен и французский комиссар Моншеню справедливы к нему. Последний постоянно давил на Лоу, *чтобы тот был строже с Наполеоном!* Видеть Месье Фирмен Дидо издание сообщает Montchenu в "La Captivité de Sant. Элен", особенно приложение. раздел III. и viii.

[569]

"Ватерлоо и остров Святой Елены", стр. 104.

[570]

Лоу приказал переписать "Дневник", когда он попал к нему в руки в декабре 1816 года. Этот отрывок приведен Форсайтом, том i, стр. 5, и Ситоном, "Сэр Х. Лоу и Наполеон", стр. 52.

[571]

Случай, рассказанный настоящему автору дочерью сэра Хадсона Лоу, покажет, насколько внимательно он следил за всеми деталями и за всеми людьми на острове. В гарнизоне не хватало британского солдата; и поскольку это произошло в то время, когда Наполеон пребывал в строгом уединении, возникло опасение, что предательство позволило ему сбежать в солдатской форме. Тайна была разгадана через несколько дней, когда недалеко от берега была поймана большая акула, и при ее вскрытии были обнаружены останки солдата!

Следует помнить, что Лоу убедил рабовладельцев острова освободить детей рабов, родившихся там в Рождество 1818 года и после него.

[572]

Цитируется Форсайтом, том i, стр. 289. Этому письму, конечно, нет места в более поздней злонамеренной постановке О'Мира "Голос со острова Святой Елены"; история о голоде там повторяется *так, как будто это правда!* То, что Наполеон был разборчив до последнего, подтверждается архивами нашего Индийского офиса, в которых содержится запись (11 декабря 1820 г.): "Владелец магазина заплатил 105 фунтов стерлингов за 48 дюжин шампанского, отвергнутых генералом Бонапартом" (сэр Г. Бердвуд "Отчет о старых записях Индийского офиса", стр. 97).

[573]

Форсайт, том i, стр. 330-343, 466-475.

[574]

Я цитировал это *in extenso* в "Исторических очерках колледжа Оуэнса". Не могли ли слова "постоянно проживающий" и "работающий" вызвать у Лоу подозрения в отношении Балькомба и О'Мира? Наполеон всегда говорил, что он не хотел бежать и надеялся только на смену министерства в Англии. Но какой ответственный человек мог бы поверить его словам после Эльбы, где он неоднократно говорил Кэмпбеллу, что покончил с этим миром и был покойником?

[575]

Форсайт, том i., стр. 310, том ii., стр. 142, том iii., стр. 151, 250; Монтолон, "Плен Наполеона", том iii., гл. v.; Фирмен-Дидо, Приложение vi. Схемы, названные Форсайтом, высмеиваются лордом

Роузбери ("Последняя фаза", стр. 103). Но разве он проигнорировал бы их, будь на месте Батерста?

[576]

Гурго, "Журнал", том i, стр. 105.

[577]

Он сказал Гурго, что, *если бы у него был весь остров для прогулок, он бы никуда не выходил* ("Дневник" Гурго, т. ii., стр. 299).

[578]

"Дневник" Гурго, том i, стр. 262-270, 316. Однако Монтолон ("Пленение Наполеона", том i, глава xiii) впоследствии писал об уходе Лас Касеса: *"Мы все любили этого хорошо информированного и доброго человека, которого мы имели удовольствие почитать как Наставника.... Он был огромной потерей для нас!"*

[579]

Гурго, том i, стр. 278; Форсайт, том i, стр. 381-384, том ii, стр. 74. Бонапарт хотел, чтобы ему вернули этот "Дневник", но Лас Кейсес и слышать об этом не хотел, поскольку в нем содержались *"вопросы"*. Она хранилась под замком до смерти Наполеона, а затем была возвращена составителю.

[580]

Генри, том ii., стр. 48; Б. Джексон, стр. 99-101; цитируется Ситоном, стр. 159-162.

[581]

Форсайт, том iii, стр. 40; "Дневник" Гурго, том ii, стр. 531-537.

[582]

"Апостиль" от 27 апреля 1818 года. Что касается нового дома, см. Форсайт, том i, стр. 212, 270; том iii, стр. 51, 257; он был готов, когда болезнь Наполеона стала тяжелой (январь 1821 г.).

Если крысиная эпидемия действительно была очень серьезной, почему Гурго так мало внимания уделял ей?

[583]

"Дневник" от 4 октября 1817 года. На обратном пути в Англию мадам Дж. Бертран рассказал хирургу Генри, что секретные письма постоянно передавались между Лонгвудом и Англией через двух военных офицеров; но приведенный выше отрывок показывает, кто был виновником.

[584]

Форсайт, том iii., стр. 153, 178-181.

[585]

"Отчет" Штюрмера от 14 марта 1818 г.; "Дневник" Гурго от 11 и 14 сентября 1817 г.

[586]

Описано Бертраном Лоу 12 мая 1821 года ("Записи о Святой Елене", № 32).

[587]

Лорд Холланд, "Зарубежные воспоминания", стр. 305.

[588]

Гурго, том i, стр. 297, 540, 546; том ii, стр. 78, 130, 409, 425. См. Las Cases, "Мемориал", том iv, стр. 124, о защите Наполеоном полигамии. Смотрите Эссе о религии Наполеона в моих "Наполеоновских этюдах" (1904).

[589]

"Зарубежные воспоминания" лорда Холланда, стр. 316; Отчет полковника Горрекера в "Корнхилле" от февраля 1901 г.

[590]

"Отчеты министерства колоний", остров Святой Елены, № 32; Генри, "События военной жизни", том ii., стр. 80-84: h также утверждает, что Антоммарчи, когда собирался подписать отчет, согласованный английскими врачами, был отозван в сторону Бертраном и Монтолоном и после этого отказался подписать его: впоследствии Антоммарчи опубликовал свой собственный отчет, в котором сделал упор на рак *и увеличенную печень*, таким образом поддерживая теорию О'Мира о том, что болезнь была вызвана климатом острова Святой Елены и недостатком физических упражнений. In our records is a letter of Montholon to his wife of May 6th, 1821, which admits the contrary: "C'est dans notre malheur une grande consolation pour nous d'avoir acquis la preuve que sa mort n'est, et n'a pu être, en aucune manière le résultat de sa captivité." Тем не менее, по возвращении в Европу Монтолон упорно утверждал, что причиной смерти его хозяина стало заболевание печени, эндемичное для острова Святой Елены. Однако примечательно, что на смертном одре Наполеон убеждал Бертрана примириться с Лоу. Соответственно, они с Монтолоном отправились в Плантейшн-Хаус, где, судя по всему, было похоронено мертвое прошлое.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЧИЗВИК ПРЕСС": НАПЕЧАТАНО ЧАРЛЬЗОМ УИТТИНГЕМОМ И КОМПАНИЕЙ.</br> TOOKS COURT, ЧАНСЕРИ-ЛЕЙН, ЛОНДОН.